

СУМЕРКИ



«САЙГОНА»



Петр Охта. Памяти посетителей кафе «Сафтон».
1992. Холст, масло

СУМЕРКИ «САЙГОНА»



ZAMIZDAT

Санкт-Петербург
2009

ББК 63.3(2-2СП6)

УДК 94(47+57)

С89

СЕРИЯ «ТВОРЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА»

Издание осуществлено при поддержке Фонда имени Д. С. Лихачева

Составление и общая редакция:

Юлия Валиева

Редактор:

С. В. Друговейко-Должанская

Оформление обложки и логотип:

Д. В. Каховский

С89

Сумерки «Сайгона» / Сост. и общ. ред. Ю. М. Валиева. — СПб., 2009. — 832 с.: 157 ил. + Вклейка. 65 с. — (Творческие объединения Ленинграда)

ISBN 978-5-98361-077-4

Поэты Виктор Кривулин и Виктор Ширали, музыканты Сергей Курёхин и Майк Науменко, художники Боб Кошелов и Африка, философ Татьяна Горичева, профессора и хиппи, диссиденты и спекулянты, будущие знаменитости и никому не известные бродяги — всех их можно было встретить в кафе на углу Невского и Владимирского, получившем неофициальное название «Сайгон» и ставшем легендой Ленинграда 1960-х — 1980-х гг. В книге представлены воспоминания как завсегдатаев, так и несчастных посетителей кафе, интервью, фотографии и материалы самиздата из личных архивов. Отдельная глава посвящена «кафе поэтов» на Малой Садовой. В книгу включена антология поэзии и прозы. Большинство материалов публикуется впервые.

ББК 63.3(2-2СП6)

УДК 94(47+57)

© Zamizdat (Валиева), 2009

© Ю. Валиева, составление, 2009

© В. Пешков, фотографии, 2009

© В. Окулов, фотографии, 2009

© О. Корсунова, фотографии, 2009

© Б. Смелов (наследники), фотографии, 2009

© Б. Кудряков (наследники), фотографии, 2009

ISBN 978-5-98361-077-4

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

К истории замысла

Седьмого ноября 1971 года меня взяли на демонстрацию. Колонна отправлялась от Александро-Невской Лавры. Бабушки выносили на продажу искусственные цветы и раскidayчики на тонкой резинке. На Старо-Невском пошел снег. Меня расспрашивали, нравится ли мне в детском саду. Перед площадью Восстания долго топтались на одном месте. Наконец послышалось «Нашу колонну пропускают. Не задерживаемся, товарищи. Ускоряем шаг!». Меня посадили на шею одному из маминых сослуживцев и вынесли на площадь. В этот самый момент белую завесу на небе на некоторый момент прорвало и солнечный луч, неправдоподобно одинокий и прямой, осветил противоположную сторону площади — там, с усмешкой созерцающая толпу, стоял человек. Он был без пальто. Грудь оголена. На шее на толстой золотой цепи висел крест. «Кто это?» — «Больной человек. Нравится, когда на него смотрят». Больным, однако, он не выглядел. Иконописная внешность, но не страдальческая, а вызывающая в своей прелести. Он был наг — и в одежде (кожаные в обтяжку штаны), и в позе (по-наполеоновски скрещенные руки). Проходящие с транспарантами волей-неволей поворачивали головы к нему.

После демонстрации мы с мамой поехали на кладбище в Парголово. В электричку набилось много народа, но мы успели устроиться у окна. В руках у меня был воздушный шар. Напротив нас сидел пьяница. Он всю дорогу откровенно рассматривал нас. «Ты в Бога-то веришь?» — вдруг обратился к маме и, не дожидаясь ответа, прохрипел: «Жизнь заставит — поверишь!». Внезапно его внимание привлек мой воздушный шар. «Можешь так?», — он взял шар двумя руками, придвинул к себе, раскрыл, оскалившись, рот — и укусил.

Так я впервые увидела сайгонавтов, и они произвели на меня отталкивающее, хотя и завораживающее впечатление. «Сайгон» был для этих двоих своим местом, но своим он был и для других его постоянных посетителей — знатоков литературы, восточной философии, музыкантов, — о существовании которых я узнала, когда сама стала проводить вечера на сайгонском подоконнике. Этому перекрестку различных культурных миров Ленинграда середины 1960-х — середины 1980-х гг. и личных орбит людей, живших в эту эпоху, и посвящена книга, которую вы держите в руках.

Предшественники «Сайгона»

Кафе «Сайгон» в жизни Ленинграда конца 1960-х — сер. 1980-х — явление уникальное. К нему неприменимы модели описания «артистических кафе», таких как «Бродячая собака» или парижское «Chat noir», поскольку «Сайгон» не был «артистическим кафе» в строгом смысле слова — в нем не проходило каких-либо организованных программ, театральных или поэтических. Не подходят для воссоздания его атмосферы модели описания дружеского застолья, вроде пушкинского перечня блюд: ростбифа «окровавленного», «живого» лимбургского сыра и т. п. Ассортимент пирожных кафетерия при ресторане «Москва» ничего не скажет о жизни «Сайгона», хотя речь идет об одном и том же месте. Вечером в «Сайгоне» было не протолкнуться. Насладиться в полной мере чашечкой кофе и пирожным не представлялось возможным — тебя со всех сторон толкали, и ты с трудом мог прилечь к столику, за которым стояли подчас не совсем симпатичные тебе люди.

На мой вопрос «Вы ходили в «Сайгон»?» один художник воскликнул: «А кто туда не ходил? Все там были!», — но тот факт, что в «Сайгоне» пересекались

самые разные круги культурной жизни Ленинграда, ожидать появления которых в одном месте и в один час было практически невозможно, у моего собеседника вызвал только скепсис: «Так ведь и в булочной в очереди кто только не стоял». Очередь к кофейному аппарату в «Сайгоне» действительно очень напоминала очередь в булочной, с одной только разницей: практического смысла стояния сайгонавтов в очереди не было никакого. Многие посетители вспоминают, что кофе они на дух не переносили, на пирожные у них денег не было, и приходили они туда вовсе не для того, чтобы насладиться гастрономическими изысками.

У сайгоновской очереди существуют предшественники, но скорее литературные, нежели реальные. Думаю, мой собеседник удивится, но я назову не хэмигузевскую «Ротонду» или «Куполь» и не кафе из произведений И. Эренбурга (там и очередей-то не было — посетителей обслуживали официанты), а ленинградскую булочную (!) из повести Д. Хармса «Старуха», где в очереди за хлебом происходит следующий разговор:

«Я: Вы любите водку? Как это хорошо! Я хотел бы когда-нибудь с вами вместе выпить.

Она: И я тоже хотела бы выпить с вами водки.

Я: Простите, можно вас спросить об одной вещи?

Она (сильно покраснев): Конечно, спрашивайте.

Я: Хорошо, я спрошу вас. Вы верите в Бога?

Она (удивленно): В Бога? Да, конечно.

Я: А что вы скажете, если нам сейчас купить водку и пойти ко мне. Я живу тут рядом.

Она (задорно): Ну что ж, я согласна».

Чаяние пищи духовной в очереди за пищей материальной — это парадокс «Сайгона». Однако сказать, что все завсегдатаи «Сайгона» были из одного «духовного теста», было бы неправильно. В интеллектуальном и социальном плане — это были разные люди: и профессора университета, и господа безо всякого образования и безо всякой профессии. Рядом с мудствующими и философствующими стояли и те, кого интересовал не Ницше и Кант, а промысел нищенствующих и карман соседа. Их не могло сближать и единство политических воззрений: здесь были как люди совершенно аполитичные, так и диссиденты. Кроме того, далеко не всякий посетитель «Сайгона» ощущал себя его «жителем» — «сайгонавтом», «сайгонцем», «сайгоновцем», «сайгонщиком». Дабы определить, что их объединяло, я воспользуюсь выражением Андрея Платонова — «вещество существования». «Вещество существования», заполнявшее «Сайгон» и бывшее сутью жизни «сайгонавтов», представляло собой энергию постоянного брожения. Сами ли люди были его носителями или оно возникало благодаря эмоциональному контакту (разряду), напряжение которого зашкаливало? Трудно сказать. Но именно энергия эмоционального брожения сбивала сайгонавтов в кучки и двигала одних бежать через Невский за портвейном, других — кружить по городу, преследуя столь же беспокойные духи Достоевского, Гаршина, Ахматовой и порожденные ими фантомы. Эта же энергия толкала людей друг к другу, вскрывала запечатанные горнила. Кто-то становился Голосом, кто-то Ухом.

Малая Садовая — «Сайгон»

Если большинство посетителей литературных кафе Ленинграда середины 1960-х гг. (см. раздел «Кафейные маршруты») быстро осваивали новое место как еще одну возможность для встречи и общения, то завсегдатаи кулинарии на Малой Садовой относились к «Сайгону» с некоторым подозрением, противопоставляя свой круг, аристократов духа, — посетителям «Сайгона» (вплоть до иронического аргумента о вероятности в последнем «подхватить бытовой сифилис» (И. Черняк)).

За Малой Садовой закрепились слава интеллектуального, поэтического Китежа, допускавшего до себя далеко не всех, и бывшего «задолго до...». Последнее, однако, не совсем верно: компания наиболее страстных ревнителей Малой Садовой — поэтов-хеленуков и их друзей — открыла для себя этот ареал летом 1964, а 1-го сентября того же года начал работать и кафетерий под рестораном «Москва».

Роль этих двух заведений в жизни ленинградской неофициальной культуры была схожа. Они стали частью интеллектуального маршрута, который включал в себя также посещение Публичной библиотеки, совместную прогулку, беседу, чтение стихов, вкушение вина и отличался ритуальностью: «День я проводил в читальном зале Публичной библиотеки, затем заходил на Малую Садовую» (А. Мионов); «Я весь день проводила в библиотеке, а потом, когда уставала, обязательно шла в «Сайгон». Обычно с пяти там уже собирались все. Подходили Эмиль, поэт Виктор Ширали говорили: «Хильда, пора!» (в смысле, что пора пить). Там же продавалось дешевенькое болгарское вино» (Т. Горичева).

Что существенно отличает малосадовскую культуру — так это *цеховое единство* (выразившееся в создании симультанных текстов, коллективных сборников) и ориентация на *письменную традицию* — хранение и почитание рукописей, следование букве текста, представление об образцовом тексте. Именно этим обусловлен тот факт, что воспоминания малосадовцев (раздел «Малая Садовая») отличаются общей установкой — не допустить разночтения, «выстроить» историю. Отсюда сознательный отбор фактов, предварительная сверка точных данных, внутренняя «цензура», особое внимание к текстологии и библиографии.

В «Сайгоне» торжествовала *устная традиция*. Произведения сайгонавтов (от Колеса до Кривулина) свойственна исключительная вариативность, что объясняется свободой от представления о застывшем тексте. «Ходячие» тексты обрастают дополнениями «от себя», поскольку важен не текст как таковой, а ситуация, его породившая, или автор, в память о котором важно сохранить эту энергию брожения, «дух безумия». В самиздатских сборниках сайгонавтов отсутствует установка на академичность издания.

Завсегдатаи приходили сюда ради *диалога*. Если инициация Малой Садовой заключалась в проверке на способность к общему интеллектуальному переживанию через текст (Достоевского, кино и т. д.), то инициация «Сайгоном» — на способность к со-бытию: не только через поэзию или совместные занятия философией, но и путешествия автостомом, пьянство, наркотический трип, свободную любовь, оккультные практики, гипноз и т. д., но главное — на диалог. В сайгонских компаниях всегда находился тот, кто *говорил*, и тот, кто готов был *слушать и слушать*, — внутреннее ухо, развернутое сразу ко всем. Роли говорящего и слушающего были самодостаточны. Слушающий не был человеком пассивным, и, хотя он за вечер мог не произнести ни слова, все присутствующие понимали его невербализованные мысли. Возникало ощущение, что ты говоришь со всеми одновременно. Роль Большого Уха и пытался взять на себя составитель этой книги, включив в нее, помимо письменных мемуаров, материалы полусотни диктофонных записей интервью, взятых в 2007 — 2008 гг. у очевидцев — как завсегдатаев «Сайгона» (тех, кто занимал место на одном из широких подоконников кафе), так и обычных посетителей, стоявших в одной со всеми очереди и смотревших на происходящее со стороны, и тех, кто сознательно дистанцировался от всего, что связано с этим названием, но тем не менее заходил «просто выпить кофе».

Социальный статус, «имя» и на Малой Садовой, и в «Сайгоне» ценности не имели, но в отличие от малосадовцев, для которых культурная составляющая (путь самообразования) имела существенное значение, в кругу сайгонавтов человек был ценен своей самостью:

«Я там стояла лет десять подряд, ко мне подходила какая-то дама и говорила: «Ну что, все еще здесь стоишь?» Мол, карьеру не сделала... То есть это предел падения для мещанства. Я знаю многих людей, которые даже обходят его стороной. Именно из-за боязни... не то что дна, а беззащитности полной... Деформализации. Потери ролей, потери лица» (Т. Горичева).

Со-бытие — и было, пожалуй, самым важным «делом» сайгонавта, и противопоставлялось «занятию делом» в общепринятом смысле этого слова и бытовизму. В ожидании со-бытия могли проходить часы, а то и дни:



Виктор Колесников на фоне собственного портрета работы жены Светланы. Фото Ю. Валцовой. 2008 г.

«Стоишь-стоишь часами, вышел — покурил — зашел — аскнул на кофе — вышел — целый день стоишь, ждешь чего-то или кого-то, безвыходняк полный, особенно если холодно на улице или дождь» (Умка. Из письма).

Конечно, среди посетителей «Сайгона» были и те, у кого этот диалог не состоялся или остался незамеченным, и время «Сайгона» отождествляется у них только

с эпохой «Большого стакана», а следовательно, «вспоминать нечего и незачем» (И. Фаррахов).

Поэзия сайгонавтов

Поэзия сайгонавтов — явление неоднородное. В отличие от малосадовцев, поэты-сайгонавты (Олег Охапкин, Виктор Кривулин, Евгений Вензель, Виктор Ширали, Петр Чейгин, Владимир Нестеровский, Славко Словенов) никогда не объединялись формально под знаком «Сайгона» в какую-либо литературную группу. За время существования этого кафе на углу Невского и Владимирского (1964—1989) не было издано ни одного совместного сборника, который бы позволил говорить о «Сайгоне» как о творческом содружестве. Тем не менее, существовал единый круг общения, включавший, помимо перечисленных выше поэтов, Бориса Куприянова, Юлию Вознесенскую, Елену Пудовкину, Бориса Лихтенфельда, Петра Брандта. Стихи тех лет, приведенные в антологии «Маленький двойной» (раздел «В кругу сайгонавтов») и связанные взаимными посвящениями, говорят об ощущении сопричастности, того самого сайгоновского со-бытия.

В антологии «У Голубой Лагуны» (1980—1986) Константин Кузьминский включил в раздел «Страна Sajgonia» (см. Архив. Ч. 1) имена совершенно другие — фактически неизвестные не только по официальной печати тех лет, но и по самиздату (кроме разве что Юппа): Александр Кутев, Владимир Евсеев (Боенко), Олег Рощин, Михаил Бестужев-Взятко, Михаил Юпп. Публикации предпослана статья «Юпп и Гера Григорьев (о стукачах, графоманах и непризнанных)». Первого ККК прилюдно обвиняет в стукачестве, тексты другого так и остаются притчей по языцех. Получается, что для знатока неофициальной культуры Ленинграда тема *литература и «Сайгон»* к собственно литературе не имеет отношения и ассоциируется с поэзией неосознанным и с таким же неосознанным (по крайней мере, другими), «за гранью» бытием.

В 1991 году Владимиром Безродным был подготовлен самиздатовский машинописный сборник «Поэты кафе «Сайгон» 1960—1980-х гг.» (см. Архив. Ч. 2), составленный из материалов, опубликованных в самиздатовском журнале «Петербург» (редактор Валерий Трубицын). Поэтами «Сайгона» называли себя Генрих Абельмас, Владимир Безродный, Михаил Бестужев, Герман (?) Григорьев, Вильям Добровлянский, Михаил Зарайский, Виктор Кривулин, Валерий Филатов. Особенность этого сборника — в преобладании «низовых» жанров: ироико-комических, пародийных. Весьма характерно, что наследники двух авторов (оба филологи по образованию) были против публикации стихов из этого сборника. О том, кого можно считать поэтом кафе «Сайгон», предоставим судить читателю и последующим исследователям.

Книга снабжена указателем персоналий (биографические сведения об авторах настоящего сборника), именным указателем «В очереди за маленьким двойным...» и библиографией материалов, посвященных «Сайгону».

В книге использованы архивы самиздата и материалы из личных собраний Жанны Бровиной, Вячеслава Долинина, Натальи Казимировской, Сергея Ковальского, Вадима Максимова, Валерия Трубицына, Бориса Трубникова, Владимира Овчинникова, Нины Рубинштейн, фотографии из личных архивов Анатолия Белкина, Жанны Бровиной, Вячеслава Долинина, Надежды Калининой, Дмитрия Каховского, Кирилла Козырева, Виктора Колесникова, Ольги Корсуновой, Кирилла Миллера, Аллы Минченко, Владимира Окулова, Владимира Пешкова, Екатерины (Кэт) Питерской, Бориса Трубникова, Татьяны Трубниковой, Алмаз Фельх (Абрамовой), Владимира Эрля.

Составитель выражает глубокую благодарность всем авторам, независимо от исповедования ими тех или иных кафеинных традиций, и сожалеет, что данное издание не сумело вместить все присланные тексты. Мы надеемся на то, что сборник будет иметь продолжение, и просим присылать свои замечания и дополнения электронной почтой по адресу: jouliali@rambler.ru.

Мы признательны Петру Брандту, Юрию Должанскому, Вячеславу Долинину, Дмитрию Каховскому, Петру Чейгину, Вячеславу Пинхасовичу, Юрию Элику, Владимиру Эрлю — за поддержку и участие, а также журналисту Татьяне Ковальковой, главному редактору журнала «Сайгонская культура» Михаилу Петренко, главному редактору журнала «Пчела» Полине Беспрозванной, потомку владельцев дома на Невском пр., 49 Виктору Ушакову, директору Архитектурного бюро «Литейная часть — 91» Рафаэлю Даянову за предоставленные материалы.

Особая благодарность — Фонду имени Д. С. Лихачева за финансовую поддержку, без которой издание этой книги было бы невозможно.

Юлия Валиева

КАФЕЙНЫЕ МАРШРУТЫ



Ленинград. 1969-1970 гг. Фото Б. Кудрякова



Невский проспект. 1970 - 1972 гг. Фото Б. Кудрякова

Константин Кузьминский
ПОЭТЫ И КАФЕ-ШАЛМАНЫ*

— *Кафетерий на углу Владимирского и Невского.*
— *«Ротонда»?*

— *Вам все еще никак Париж не позabyть!*
Шир-Али

В кабаках, в переулках, в извивах...
Блок

1

Кафейный период русской литературы. Его можно считать законченным. Даже «Сонеты» превратились в комсомольскую расписочную с джазом. Но, собственно, зачем они теперь, эти кафешки? Теперь у поэта есть свой читатель, пусть «избранный», но за ним гоняться не надо. Он сам гоняется за поэтами. И в этом немалом деле «утверждения поэзии» свою роль сыграли и кафе.

Началось, как полагаю, на Полтавской. Ваккурат по другую сторону Старо-Невского от клуба им. Дзержинского, МВД, то есть. Как и Союз писателей расположен по другую сторону Литейного от Большого дома, КГБ, значит. Близкое соседство. Я даже утверждал, что там подземный ход проложен. На Полтавской хода не было, а было «Кафе поэтов». Открылось оно где-то году в 1960-м и функционировало года три-четыре. Потом накрылось. Кафе действовало под эгидой обкома комсомола, но тогда многое происходило этим путем. Сначала в кафе можно было читать просто заявившись или по просьбе публики, потом уже — по списку участников, джем-сейшены же устраивались уже неофициально, стихийно — просто кто-нибудь вылезал и начинал читать. Читали там много кто, от «знаменитостей» и до «малоизвестных». В малоизвестные попадал Герман Плисецкий, которому я предложил лучше станцевать, Александр Городницкий, который тогда еще не пел, да мало ли кто. Выделялся в 1961–1962 году Юп (или, как он сам себе называл, Юпп — о нем см. «Юпп и Гера Григорьев»**). Именно в этот период он писал (и исполнял) свои прекрасные «Яичницы» и «Твисты». Читал Леня Аронзон, о котором появился фельетон в «Смене» году в 1964-м, что он устроил распродажу автографов своих стихов, на вырученные деньги накопил водки и шел по городу, плача фиолетовыми слезами. Подобные «побочные» доходы властями не поощрялись, прямых же — просто не было, поскольку поэтам не платили, и даже кофе покупался за свой счет. Но приходили туда не за кофе, а за стихами. Стихи, особенно не числящиеся в программе, стали вызывать подозрение, и совет кафе начал требовать с поэта рукопись в ТРЕХ экземплярах. Этот третий экземпляр больше всего и раздражал поэтов. Ну, один — в архив совета, второй — в КГБ, а третий-то куда? Конечно, совету давалось одно, а читалось другое, и по просьбе публики, и без таковой. Наконец, году к 1965-му в кафе стало просто непереносимо, и ходить туда перестали.

* Печатается по: У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. Newtonville, Mass., U.S.A.: Oriental Research Partners, 1980 — 1986. Т. 4а.

** Раздел «Архив» в настоящем издании — *Прим. ред.*

Параллельно существовали и другие кафе, иногда подолгу, иногда нет. «Булатино», например, на Восстания — там тоже читали. Или кафе «Улыбка», к которому был причастен я. Как уже говорилось, «публика» тогда еще только создавалась. В большинстве это были итээры, инженерье, которые сами в поэзии разбирались слабо, но хотели. Поэтому на роль консультантов иногда приглашали поэтов. В декабре 1962 года по ошибке пригласили меня. Тогда я дружил с «мухинцами» — покойным Саней Юдиным, которого убили, выкинув из электрички, Валерой Ивановым, ныне «членом», Толиком Васильевым из «метафизической школы» Шемякина и др. Устроили мы выставку-чтение, с юными тогда Кривулиным, Пазухиным, Соколовым и более зрелыми Шнейдерманом и Моревым. Иванов и Юдин выставили гуашь — женский портрет, созданный по моим стихам «Лала» и «Оранжевая», — и назвали его «Портрет Лалы». На оригинал он мало походил, но является примером «обратной иллюстрации». Помимо портрета, Иванов нарисовал спаниеля с женскими грудями (им там нужно было собак к зачету рисовать, и в чешском альбоме фото собак обнаружилась такая спаниель-кокетка, что осталось только груди пририсовать), Саня Юдин изобразил двуликого Януса с профилями Сталина и Гитлера (это прошло), а вот стилизованная морда негра на грязной чертежной доске (несколько кубистическая) вызвала бурю негодования, как и спаниель: «Что ж это вы наших друзей негров на грязном фоне рисуете» или «Вы что же, считаете, что женщины — суки?» и т. п. После чего выступил скульптор Санан (которого к тому времени выперли из бакинского художлища, а позднее — и из Мухинского), выставивший керамику «Люди, гнущие трубы», несколько египтизированной, и произнес горячую речь: «Есть такая азербайджанская поговорка: “Если у тебя до тридцати лет нет бороды — и не будет, если у тебя до тридцати лет нет ума — и не будет!”» И, обращаясь к одному из наиболее активных критиков: «А у тебя — ни ума, ни бороды — нет. И не будет!» После этой выставки и последовавших двух чтений меня из консультантов вышибли, и приходил я туда скандалить уже как посетитель. Выступать стали уже «официальные» поэты и делать там больше было нечего.

Потом появились уже кафе при институтах, например «Молекула» в Институте высокомолекулярных на углу Большого и 9-й линии, где приглашались поэты. Там я как-то встретил Коржавина. Я пришел читать, а он уже отчитался. Бежит к выходу, такой маленький, подслеповатый, натывается на меня. «Здравствуйте, — говорю — Наум Евсеевич». (А сам первый раз его вижу.) «Да-да, здравствуйте», — говорит, и ручкой меня по плечу потрепал, и — дальше. Я и говорю, в голос: «Старик Коржавин нас заметил и, в гроб сходя, благословил!» Обернулся он так, в ужасе: «Да-да, до свиданья!» — и дальше побежал. Больше я его и не видел. А кафе было мерзкое. На стенах — «абстрактные» фотографии молекул, мадонны на мешковине цветными проводками вышиты, итээрочки в фартучках кофий разносят, а в открытую дверь — видно, как в кухне бабы-посудомойки столовские посуду моют. И естественно, после чтения — вопросы. Эдик Шнейдерман, наивная душа, признался, что любит Сашу Черного — покивали одобрительно-снисходительно: как же, знаем! (Саша Черный к тому времени в большой серии «Библиотеки поэта» уже вышел). Ну, мне пришлось заявить, что люблю я Торквато Тассо, Хлебникова и Тихона Васильевича Чурилина. Этого последнего высокомолекуляры даже понаслышке не знали: «Кто это такой?» Ах, кто такой? И на полчаса на память им Чурилина. Ошизела инженерня. Несъедобно.

С этой публикой уже приходилось бороться. Устроил я в 1966-м году чтение Бродскому в Ботаническом саду, в институте. А Бродский с собой Володю Уфлянда притащил, учителя своего. И после своих шаманско-раввинских завываний выпустил поэта — тонкого, ироничного, застенчивого. Который и сам-то себя читать не умеет. Публика, пришедшее (именно «пришедшее», а не «пришедшая»)

на скандальное имя Бродского — валом поперла из зала во время чтения Уфлянда. Не в коня.

Поэтому в 1960-е годы поэзия стала уже «эпатирующей» (стоит отметить Анри Волохонского, о котором дальше, и всю школу неообэриутов). Уже этого читателя следовало бить по голове, дабы внушить уважение к прочитанному и услышанному. Кое-чего поэты 1970-х годов уже добились: публика стала «избранной». Но за счет этого прекратились веселые безобразия конца 1950-х — начала 1960-х годов.

Кафе эти курировались, естественно, комсомолом. Но и сам комсомол искал путей пропаганды неофициального искусства. В поэтическом кафе «Ровесник» (а неофициально — «Серая лошадь») году в 1962-м Ленья Палей свел меня с Вадимом Чурбановым, секретарем обкома комсомола (в обкоме, помимо Чурбанова, значились — Тупикин, Плешкина, Мазалова, и никого это не шокировало). Лене было предложено место заведомо поэзии в редакции молодежного журнала (будущей «Авроры»), и он тут же назвал меня в заместители. Я взял Чурбанова за горло: «Кого печатать будем? Бродского печатать будем?» Выяснилось, что Бродского печатать не будем. Тогда я высказал свое мнение о журнале, об обкоме комсомола и ниже. После двух-трехчасовой беседы с Вадимом договорились об устройстве «пробного» вечера для Бродского на базе университета. Нужен он народу или не нужен? Я требовал афиш, Вадим же объяснял, что если Бродского после выступления вынесут на руках, то его из обкома вынесут — ногами. Договорились, что он встретится с Бродским у меня, Бродский, как всегда, нафармазонил, вечер не состоялся. Но не по моей вине: я тогда уже уехал в экспедицию. Рассказывают, что после этого разговора в кафе у Чурбанова справлялись, с кем это он говорил. На что Вадим сообщил, что на жалованьи на Литейном он не состоит, и меня не называл. Потом Вадима повысили в ЦК комсомола, откуда за строптивость, принципиальность и бунт против «прибавок» — он сказал, что и так получает втрое больше рабочего, — выкинули куда-то в Кустанай. Но разговор этот весьма примечателен. И полиомиелитная Клара Плешкина пыталась, чем могла, помочь поэтам. В середине 1960-х это были так называемые командировки от обкома: ездили в Гатчину, и в Лугу, и в Лодейное Поле — это давало возможность и почитать, а иногда и заработать десятку на водку помимо расходов. Но эти люди, пришедшие в послесталинские годы, долго на высоких постах не удерживались. Выжили другие.

Тем не менее, можно сказать, что в 1960-е годы и кафе и обком сыграли роль положительную. Поэты поймали возможность читать, поймали выход к аудитории, и уже следующее поколение поэтов получило возможность эту аудиторию — выбирать. <...>

2

Существовали, наконец, и неофициальные кафе — наши «Ротонды» и «Куполи». Первым было кафе «У Веры» — кондитерская напротив Гоголя, на Невском, рядом с «Лавкой художника» (где тогда уже начали выставляться на продажу работы Вали Левитина, харьковского «кубинца» Эдди Мосизва, позднее — Вилли Бруя и т. д.). Вера поэтам (мне и Ирэне Сергеевой) варила особый кофе. Не тот, что публике. Это становилось традицией. Поэтов знали и уважали. Другие поэты (и геологи) сидели напротив — в угловом здании «Аэрофлота», на втором этаже. Там я встречал Бродского. Но мы были, так сказать, пионерами.

Традиции кофейни сложились на Малой Садовой. Этому способствовало все: и расположение — посередине Невского проспекта, и наличие гастронома «Елисейский», и, наконец, близость двух садилов — Екатерининского и на Манежной площади. Екатерининский садик облюбовали педерасты, и только пьяный Глеб Горбовский рисковал спать там под скамейкой. (В декабре! Когда Элик Богданов, сев поздно

ночью забить косячок, обнаружил под скамейкой спящее тело, то признал в нем Горбовского. После чего вытащил его и доставил к нему домой, на Пушкинскую. Когда я рассказал этот эпизод Глебу, Глеб совершенно серьезно сказал: «А ведь если б это был бы не я — я бы замерз!») Остальные люди, выпив кофе, отправлялись покурить в садик на Манежной. Иногда прихватывалась и бутылка бормотухи, чернил, краски, биоминциника — одним словом, портвейнового. При этом читались стихи. И немудрено, что в 1966-м году группа поэтов, объединившись, выпустила даже альманах «Фиоретти. Малая Садовая». Туда вошли, помимо вездесущего Юпа, поэтесса Алла Дин (она же Тамара Мишина-Козлова-Буковская, ныне печатающая религиозные стихи в журнале «37» и потому хорошо известная на Западе), поэты Гайворонский и Ниворожкин, прозаик (а тогда поэт) Женя Звягин и Владимир Ибрагимович Эрль.

Но вершиной периода стал «Сайгон». Начавшись с безобидных «Петушков» и «Подмосковья», он был тут же переименован в это зловещее имя. По открытии (году в 1967-м) облюбовали его поэты. За столиком у окна прочно засел Кривулин, пия кофий чашку за чашкой и изредка выходя покурить на угол. Поэтому столики убрали, вместо них сделали стойки, но публику изгнать было уже невозможно. За поэтами пришли карманники из «Жигулей» и от Пяти углов, проститутки (но не с Лиговки, а рангом повыше: пили не портвейн, а требовали шампанского), за ними «братья-наркомы» и, конечно, стукачи, но этих все знали и никто не замечал. При этом нельзя сказать, что «Сайгон» был расположен удобней Малой Садовой или что кофе там был лучше. Но, во-первых, он был больше (а и поэтов прибавилось). Во-вторых же, публика там собиралась тоже другая. Более аристократичная. Если на Малой Садовой, с ее демократическими нравами, пили в садике прямо из горла — то в «Сайгоне» употреблялись уже стаканы. Кроме того, большее количество публики позволяло быстрее сообразить на бутылку, да и гастрономов было два — «Соловьевский» на углу Владимирского и второй на углу Литейного. Распить же можно было в «Мороженице» за углом. Там бабуса давала стаканы, за что собирала бутылки. Покурить, правда, было негде, поэтому просто прислонялись у стен. Народ пер косяком. Однажды, году в 1970-м, я пить не хотел, но и домой тоже. Поэтому просто стоял, часа четыре — то кофе попьешь, то покуришь. Так вот, за четыре часа я увидел двадцать восемь человек, с которыми мне нужно было о чем-либо переговорить, тем же, с кем просто раскланивался, — просто не было счету. Посудите сами, какой популярностью пользовалось данное место! Естественно, читались стихи, естественно, передавались рукописи, так что это время можно с полным правом окрестить как «сайгонский период русской литературы».

Были и издержки. При наличии столь разношерстной публики слухи плодились без числа, в «стукачах» ходил, по меньшей мере, каждый, перепадало по мордам, то Колю Носа убьют, то Гена Волосов нахулиганит. И однако, тянулись. Тянулись, как к «Куполу» и «Ротонде», тянулись к своим, тянулись к изгоям, а что стукачи — так ведь они везде. Я вот дома не знал, кто из моих друзей на меня стучит — что же говорить о «Сайгоне»? И надобно отметить, что это слегка неврастеническое бытие очень приходилось в жилу в годы предэмиграционные. Люди начинали понимать, что они здесь не к месту, что они — изгои, такие же, как рукоуси и проститня, что их мир — это не мир уютных кафе, и даже не мирок Малой Садовой — а большой проезжий проспект.

Уже потом начал фигурировать «Ольстер», на углу Марата и Невского, но поэты бывали там редко — бар заполонила фарция, у которой (в отличие от поэтов) деньги в карманах водились.

А «Сайгон»... «Сайгон» останется в истории и в памяти многих — как символ той множественности и той безысходности, которую представляли все мы.

Горячая точка планеты.

Виктор Кривулин

НЕВСКИЙ ДО И ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ КОФЕЙНОЙ РЕВОЛЮЦИИ*

Пчела: Началось это все...

Кривулин: Началось это все с закупки в 1960-х годах первых кофейных аппаратов. В то время и возникли кафетерии. Появление кафе означало, что в обществе происходят радикальные перемены, появилась новая возможность неформального общения. До этого (и после) были сборища на квартирах — но это было не то. Я застал только «хвостик» Ленинграда 1950-х, и тогда не было кофейной культуры, вообще не было тусовочной культуры, связанной с безалкогольными напитками.

Пчела: А с алкогольными?

Кривулин: «Алкогольные» места были и до этого, например, «США» — «Советское шампанское» на углу Садовой и Невского. Пили там, с одной стороны — люди из Пушкинского дома, с другой — бомжи. Такое было место... Кроме того, на Невском было несколько «автопоилок» — сейчас этого понятия уже не существует. Автоматы с вином, причем вином иногда очень редким и нынче безумно дорогим. Херес, малага... Тогда стакан стоил копейки.

Потом появились кафетерии, в которых подавали коньяк и шампанское (водки и портвейна там не было, приходилось с собой носить). Они находились в городе повсюду, но больше всего их было на Невском, и туда съезжались все любители потусоваться.

Невский называли «Бродвей», или «Брод». Люди победнее пили в автопоилках, публика чуть побогаче, например получавшая гонорары в Доме книги, — на крыше «Европейской», в «Кавказском»... В «Европейской» было шикарное и не слишком дорогое кафе, там собирались шестидесятники — Битов, Попов, Рейн... У Бродского таких денег не было.

Пчела: А где пили кофе?

Кривулин: Первым местом, где поставили кофейные аппараты, был «Аэрофлот», кафе над кассами. С «Аэрофлота» началось «интеллектуальное общение». Его конкурентом, но без аппаратов, был «Норд» — кафе «Север». В «Норде» собирались фарцовщики, в «Аэрофлоте» — студенты. Тем не менее, это были как бы сообщающиеся сосуды. Третьей точкой такого рода был «Метрополь», где кофе варили вручную и подавали в кофейниках, как и в «Севере», но можно было выпить дешевый портвейн. В «Аэрофлоте» портвейна не было, зато делали «крутой» кофе. Небогатая публика оттуда году в шестьдесят первым частично переместилась в кафе «Экспресс» на углу Старо-Невского и Суворовского. Тогда же открылось «Кафе поэтов» на Полтавской, где по субботам собирались литераторы.

Пчела: Стоит, наверное, упомянуть, что названия, которые вы употребляете, не имеют никакого отношения к «официальным».

Кривулин: Разумеется, да официальных и не было. Интересной особенностью ленинградских кафе, что немало удивляло москвичей, являлась их анонимность, и это давало народу возможность фантазировать, которой он и пользовался.

Еще одним местом, ставшим действительно культурным центром, было кафе на Малой Садовой. Там даже выпускали книги (рукописные, естественно) поэтов, писателей, мистиков, религиозных деятелей — завсегда таево кафе. Частенько на Малой Садовой я сталкивался с Бродским — «Сайгон» он любил меньше: по-моему, ему

* Интервью, взятое у В. Кривулина Еленой Здравомысловой. Опубликовано в: Пчела. 1996. № 6.

не слишком нравилась там атмосфера. Единственным неудобством Малой Садовой было отсутствие мест для сидения {в «Аэрофлоте», скажем, были кресла}. Впрочем, там и встать негде было. В маленьком помещении, где продавали, кроме крепчайшего кофе, от которого «ловили кайф», торты и пирожные, люди часами простаивали у стойки, выдерживая укоризненные взгляды, иногда пинки, тычки в спину и т. д. Если было тепло, отправлялись в садик неподалеку, там рождались всякие идеи, литературные журналы...

Пчела: А когда вы сами стали ходить в подобные заведения?

Кривулин: В «США» я захаживал лет с пятнадцати, в шестнадцать попал в «Кафе поэтов»...

Пчела: Интересно, а в таких кафе ели?

Кривулин: Я, например, там обычно не ел. Кормились в других местах — в пельменных, дома. Приезжие ели, случайные люди... Культуры еды в Ленинграде, в отличие от Москвы, не было, не было мест, где могли нормально поесть. В «Сайгоне» лоток с едой стоял в самом углу, там всегда была меньше очередь. Люля-кебаб брали...

Пчела: Вот, наконец, мы подошли к «Сайгону».

Кривулин: Да. «Сайгон» открылся году в шестьдесят четвертом — это было событие. Сначала его называли «Подмосковье», так как он находился под рестораном «Москва», который и выделил низ под кулинарию. Потом, когда слово «Сайгон» не сходило с газетных полос, к кафе приклеилось это название. В «Сайгоне» было семь или восемь кофейных аппаратов, там вечно стояли очереди. Он сразу стал пользоваться популярностью, во многом благодаря удачному расположению. По легенде, сначала «Сайгон» был расписан замечательным художником-абстракционистом Евгением Михновым, который изобразил на кафельных стенах каких-то пародийно-народных петухов. В «Сайгон» приходили люди и стояли, попивая кофе, минут сорок, час... Некоторые, например Евгений Вензель, приходили туда, как на работу — с утра до вечера. Поначалу были столики, за которыми сидели, но потом их заменили, и сиденьями служили разве что подоконники. Приносили с собой портвейн, распивали вместе с кофе... На это, как и на курение, смотрели сквозь пальцы.

Пчела: А что курили?

Кривулин: Кстати, интересный вопрос. Вообще, можно обозначить волны. В конце 1950-х многие курили албанские сигареты, ароматные, пряные и дешевые, с шестьдесят первого стали курить болгарские, вроде «Родопи», и кубинские сигареты и сигары, например «Легерос». Были как бы две культуры: одни курили болгарские — таких было большинство, другие — «Беломор». Некоторые предпочитали дешевый и крепкий «Памир». В конце 1960-х началась борьба с курением в помещениях, но курили все равно, хотя иногда штрафовали. Впрочем, особых притеснений не было.

Пчела: Какое был контингент «Сайгона»?

Кривулин: Там, кроме богемы, собирались фарцовщики, «книжники» (совсем рядом, на Литейном, находился главный городской черный рынок), уголовники разного рода. Костяк тогдашней мафии составляли «немцы» — немые. Они готовы были убить любого рублей за триста. Убивали, по слухам, в электричках. Помню, как-то, когда меня в очередной раз забрали органы, мне сказали: «Вы постоянно бываете в «Сайгоне», а там, по нашим сведениям, готовится 70 процентов преступлений центральных районов!» Думаю, может, и больше...

Пчела: А КГБ «Сайгон» часто беспокоило?

Кривулин: Гэбэшники имели интерес к этому заведению и поэтому не прикрывали его — так было удобней. Стояли, как все, пили кофе... Захожу, скажем, встаю рядом с человеком — и вспоминаю его лицо: он у меня на обыске был...

Пчела: Боялись КГБ?

Кривулин: Да нет, в общем, нет, страха не было... Была даже какая-то романтика — опасности, приключения. Весело было... Устраивались драки, дуэли. Все знали, что, скажем, сегодня в полдень Ширали дерется с Вензелем. Приходи-ли посмотреть.

Пчела: После «Сайгона» что-нибудь появилось?

Кривулин: В начале семидесятых некоторые посетители «Сайгона», которым уже обрыдло там стоять (в их числе был и я) стали перемещаться, например, в ресторан Дома актера — там были белые скатерти, дешевый кофе, можно было прийти, образно говоря, в белом пиджаке и сидеть, курить...

Татьяна Никольская

БЕГЛЫЕ ЗАМЕТКИ НА КОФЕЙНУЮ ТЕМУ

До девятнадцати лет я жила в доме почти на углу Невского и Литейного — «между блинной и пирожковой», как я объясняла потенциальным гостям. В школьные годы оба эти заведения усердно посещала, одна и с подругами. Первое кафе, в которое меня повела бабушка, называлось «Ленинград». Было оно молочным, а располагалось на Невском, неподалеку от улицы Маяковского. Здесь мы ели ленивые вареники, которые подавали прямо на маленькой алюминиевой сковородке, гурьевскую кашу и несладкие взбитые сливки, лишь посыпанные сахарной пудрой, а пили молочный коктейль, лишь недавно появившийся в городе. Класа с восьмого на экономенные от завтраков деньги мы с подругами по 215-й школе изредка убежали с уроков труда в «Лягушатник» — кафе-мороженое на Невском около Софьи Перовской (ныне Малой Конюшенной), где главной приманкой было не мороженое, а два сорта коктейля — десертный и крепкий. Коктейли подавали во втором зале, декорированном зеленым плюшем. Народу набивалось много. Порой приходилось стоять в очереди, но зато, потягивая коктейле через соломинку, мы себя чувствовали взрослыми современными девушками. В простые кафе-мороженые (в просторечии «мороженицы») мы ходили часто. Особенно в ближайшую от школы, на Владимирском проспекте, дом 2. Я любила заказывать шарик фисташкового мороженого (потом куда-то сгнувшего) и шарик крем-брюле. Посещали мы и мороженицу на Невском рядом с Садовой, где однажды заказали с подругой «два по двести ассорти без земляничного», а нам принесли одного земляничного и наотрез отказались исправить ошибку. Иногда родители брали меня в Большой зал филармонии. На обратном пути мы неизменно заходили в магазин «Пищевые концентраты» на улице Бродского и ели в дегустационном зале вкусную гречневую кашу из брикета с кусочком холодного сливочного масла. Если не ошибаюсь, стоило это удовольствие пятнадцать копеек, пломбир — девятнадцать копеек за сто граммов, а порция шампанского, продававшегося в мороженицах, — тридцать семь копеек.

В начале 1960-х на Садовой около ресторана «Метрополь» открылось кафе «Лакомка», где подавались очень вкусные пtiфуры и мороженое с земляничным пюре. Последнее (в отличие от земляничного мороженого) всячески мною приветствовалось. Можно здесь было подкрепиться и бульоном со слоеным пирожком. Сюда я ходила с подругами уже из 319-й школы, в которую перешла после восьмого класса, а позднее и с нешкольными знакомыми. Помню, как мы сидели в «Лакомке» с Борей Дышленко и Кириллом Вовком-Потоцким, который без устали рассказывал анекдоты о Чапаеве. К этому времени мне уже был знаком и «Север», от которого теперь осталась лишь кондитерская. Когда

я училась в девятом-десятом классах, меня водили в «Север» бабушка или мама с папой. Родители смаковали мороженое с меренгами. Меренги возвышались наподобие усеченной пирамиды и были прослоены полушариями мороженого. А с одиннадцатого класса я начала посещать «Север» примерно раз в месяц самостоятельно и всегда выбирала мороженое с коньячным ароматом. Когда бывали деньги, заказывала блинчики с капустой (порция из трех блинчиков стоила сорок четыре копейки), глнтвейн «Спортивный» (за тридцать семь копеек) и кофе по-варшавски (стоимости этого скорее молочного, чем кофейного напитка я не запомнила). Помню только, что располагала на все рублем и иногда еще небольшим количеством мелочи. В «Севере» я почти всегда встречала кого-нибудь из своих новых «взрослых» знакомых: кузена Алешу Хвостенко, часто вместе с его Дульцинеей — Маргаритой Задориной; Эллу Липпу, Вику Иерихонову — тогда уже бывшую жену Бориса Понизовского; Алика Альтшулера. Я знала, что настоящее веселье происходит в ресторане «Восточный» на улице Бродского и на «Крыше» в «Европейской». Некоторые из моих тогдашних приятельниц там бывали.



Алексей Хвостенко с Маргаритой Задориной (Дульцинеей), 1965–1967 гг.

Помню, как однажды мы сидели у Хвоста на Греческом и кто-то из присутствовавших дам (кажется, это была бывшая жена Ефима Славинского Галя Патраболова) попросила Игоря Мельца позвонить в ресторан, позвать к телефону то ли Семена, то ли Степана из оркестра и спросить, нет ли в ресторане ее знакомых Блажина и Бакаютова, которые могли бы пригласить нас в свою компанию. Оркестрант к телефону подошел, но Блажина с Бакаютовым в ресторане не оказалось. В конце концов мне пришлось попросить папу сводить меня пообедать в «Восточный». Тем мое знакомство с этим знаменитым местом и ограничилось. На «Крыше» я два-три раза была уже в начале семидесятых. Один раз с моими друзьями Викой и Мишей Беломлинскими. Они пригласили в ресторан своего нового знакомого, московского

переводчика (фамилию не помню), а заодно и меня. Вика вела стол, декламировала свое единственное, как она говорила, стихотворение и была обворожительна.

С 1963 по 1969 годы я почти ежедневно пила кофе на Малой Садовой. Папа устроил меня подрабатывать в многотиражную газету «Ленинградский автотранспорт», редакция которой располагалась на углу площади Островского и улицы Зодчего Росси. В обеденный перерыв вместе с корреспондентами Люсей Стефанович и Ирой Никифоровой мы ходили в знаменитую кулинарию, где я впервые узнала значение слова «волован». Заказывали обычно по «два двойных» и по воловану с курицей, осетриной или крабами, стоимостью от девятнадцати до двадцати шести копеек. К кофейному автомату всегда стояла очередь из знакомых: Володи Эрля, Саши Миронова, братьев Вадима и Сережи Танчиков, Коли Николаева и других, кого я встречала в квартире Володи Эрля на Пушкинской улице, в гостях у Лени Аронсона, а иногда и у себя дома. Несколько раз кто-нибудь из знакомых любезно пропускал меня без очереди, но, поскольку я заказывала шесть двойных, такие знаки внимания вскоре прекратились. Продавщицы отдела добродушно перемывали косточки «малосадовцам» и делились своими наблюдениями с другими постоянными клиентами, вроде нашей троицы. В ту же кулинарию за волованами часто заходили известные артисты — рядом были и театры, и Дом радио, где артисты часто подрабатывали. Волованы без кофе им отпускали без очереди. Наименьшей популярностью пользовались крабовые, а наименьшей — куриные.

В 1964 году, как свидетельствует энциклопедия «Самиздат Ленинграда», открылся «Сайгон». В ресторан «Москва», к которому относилось это кафе, мы с бабушкой несколько раз ходили обедать, и ничего необычного в этом ресторане я не запомнила. В том месте, где был вход в «Помосковье» (так первоначально называли это кафе), раньше располагался табачный магазин, в котором мы с подругам по 215 школе Таней Гуревич и Валей Терешонок как-то раз покупали сигареты, когда решили попробовать курить. В «Сайгоне» я впервые узнала, что кофе бывает не только «двойным», но и «тройным». Сама я, правда, такого убойного напитка не пила, но неоднократно слышала, как его заказывали. В кафе заходила неоднократно, но своих знакомых, как правило, там не встречала. Пить кофе, насколько помню, можно было и сидя и стоя, но сидячих мест не хватало.

В «Сайгоне» можно было съесть и горячее — например, сосиски или даже шницель. В связи с последним, кроме строчки «Рютбеф, ростбиф, на крайний случай шницель» из филфаковской стенгазеты, запомнился такой эпизод. Неподалеку от «Сайгона» на углу Вадимирского и улицы Марии Ульяновой жили Леня Аронзон и Рита Пурешинская. Однажды, когда я была у них в гостях, Рита предложила сходить съесть по шницелю, но не в «Сайгон», «где на каждый шницель толпа пабежит», а в «Москву». Мы обсудили, по сколько человек может накинуться на каждый шницель, и остались дома пить чай.

Другой в «Сайгоне» был связан с моей грузинской подругой, которая не очень хорошо разбиралась в стилистических тонкостях русского языка. «Скажи, пожалуйста, «вые...ать» — это очень неприлично?» — спросила она меня однажды. — «Очень», — подтвердила я. Подруга смутилась и рассказала, что в «Сайгоне» к ней пристал какой-то тип в неряшливо спущенных красных носках. Когда его навязчивость довела мою подругу до белого каления, она рывкнула: «Подтяни носки, а то вые...у!» Парень обалдело посмотрел на нее и прекратил приставания.

Из постоянных посетителей «Сайгона» мне запомнился худенький прихрамывавший молодой человек, который однажды в моем присутствии жаловался своему товарищу на неэтичное поведение общего знакомого и приводил в пример себя: «Вот я у Наташки живу, так с ее ребенком гуляю и в магазин хожу». Как звали этого молодого человека, я так и не узнала.

Несколько раз я пила кофе в кафе «Эльф» (сейчас «Кения») на углу Стремянной улицы и Дмитровского переулка. Там собирались хиппи, к которым было обращено послание, написанное крупными буквами на стене дома, стоявшего в прилегающем к кафе садике. Начиналось оно обращением «Милые хиппи», а дальше следовал вопрос, почему хиппи обитают в городе, а не отправляются туда, где им следует быть по определению, — на лоно природы. Был и ответ: «Теперь в этом смысла нет».

Во второй половине 1960 годов одним из мест встреч друзей Хвоста служило небольшое кафе на втором этаже «Аэрофлота» на углу Невского и Гоголя (точный адрес Невский, 7/9). Кафе было более чем скромным и состояло из кофейного автомата и нескольких столиков, часто пустых. Там можно было погреться в холодный день, подчас встретить Леню Ентина, Валью Герасименко, Ефима Славинского или Борю Дышленко, а можно было и никого не встретить.

В конце восьмидесятых, когда «Сайгон» уже давно был закрыт, я обнаружила молодежную тусовку в кофейной на углу Литейного проспекта и улицы Некрасова. Меня привлекали в этом заведении вкусные взбитые сливки и почти домашние пироги. Судя по обрывкам разговора, услышанных в очереди, кафе оккупировали представители «системы». Помню, как один подросток утешал другого, не поступившего в институт: «Если останешься в Питере, то будет реальный шанс вписаться в систему». Однажды я оказалась за столиком с девочкой лет шестнадцати, которая советовалась с двумя сверстниками, где достать денег, чтобы снять комнату и не возвращаться домой к родителям. Один из мальчиков посоветовал ей продать скелет в Военно-медицинскую академию, объяснив, что немного денег дадут сейчас, а в паспорте поставят соответствующий штамп. Запомнились высокая блондинка в офицерской шинели с чужого плеча и нервный молодой человек, громким шепотом ругавший другого молодого человека за то, что тот принес в кафе дорогие сигареты «Парламент», поскольку это не соответствовало неписаным законам компании. Когда начала и когда закончила функционировать тусовка в этой кофейне, я не знаю.

За пределами моих беглых заметок остались литературные кафе — от знаменитого «Кафе поэтов» на Полтавской до «Литературного кафе» на углу Невского и Мойки, где на втором этаже на фоне элегантного gobelena Нasti Томашевской артист Юрий Томашевский читал стихи поэтов Серебряного века. А еще кафе-автомат на углу Невского и Рубинштейна, где можно было купить жетон, бросить его в прорезь и получить взамен выскочивший из-под стекла бутерброд, а также съесть очень вкусную солянку. Атмосфера в этом кафе напоминала вокзальную, и разминуться с товарищем было проще простого; ресторан «Кавказский», памятный многим, но не мне; ресторан ВТО, в котором я однажды в начале семидесятых впервые услышала едкие монологи Жванецкого и в компании Беломлинских и Наташи Шарымовой замечательно встретила День дураков 1-е апреля.

Тамара Буковская

ОТ «КОФЕЙНОЙ» КУЛЬТУРЫ К ПЛАТОНОВСКОЙ АКАДЕМИИ*

Первым пристанищем поэтов, художников, философов, музыкантов, прелестниц и празднующихся «художников жизни» была Малая Садовая и крошечный кафетерий с новыми, сверкающими хромированным никелем итальянскими

* Печатается в сокращении по: «Москва» — «Сайгон» — «Radisson SAS Royal Hotel» (Из истории одного дома) / Сост. В. К. Ушаков. St. Petersburg, 2003.

кофеварками, которые с шипением и свистом выплевывали пар и цедили по капле кофе эспрессо.

Постижение тонкой градации вкусовых ощущений шло постепенно, но уже через несколько месяцев после открытия кофейни на Малой Садовой все посвященные знали, чем отличается «большой двойной» от «двух двойных в одну чашку».

«Кофейная культура» сформировалась за несколько месяцев. К кофейному агрегату потянулись художники из Мухи..., актеры из Театрального и молодые поэты, чей путь пролегал через Малую Садовую, когда жажда «читать до потери сознания» (Виктор Кривулин) доводила их до студенческих залов Публички... Малая Садовая подготовила почву для «Сайгона».

Если началом культурной жизни на Малой Садовой можно считать начало 1960-х годов, то Сайгон утвердил свою власть над представителями неофициальной культуры в конце 1960 — начале 1970 годов.

Кафетерий, открытый на первом этаже дома, в котором находилась гостиница «Москва», был в несколько раз больше маленькой кофейни на Малой Садовой, имел два зала и около десяти кофейных агрегатов. Стены были выложены керамической плиткой, расписанной в «народном стиле», а точнее, стилизованными красными петухами. Бог весть, почему такая скрыто бунтарская символика была выбрана для сюжета росписи женолюбивым и до поры до времени вполне согласным с властями и не обиженным официальными фондовскими заказами художником Борисом Аксельродом, но эти петухи стали свидетелями формирования «второй культуры», «второй литературной действительности».

Сюда с Малой Садовой переключались поэты и художники, сюда потянулись и новые лица. Местоположение кафетерия — угол Невского и Владимирского было словно бы самой судьбой определено, чтобы он сыграл особую роль в петербургской культуре.

Старожилы помнят, что в 1950-е годы на противоположном углу Невского проспекта, возле магазина «Гастроном», в трёх окнах которого были выставлены три больших зеркала, собирались «стиляги» и место это называлось у них «У трёх зеркал», и все, кто выходил «прошвырнуться по Бродвею», обязательно оказывались здесь. Так что место было уже «освящено традицией».

Свободное общение (в духе бесед платоновской Академии), точнее — «сообщение» за чашкой кофе осуществляло зарождению многих фантастических проектов, часть из которых воплотились как культурные новации этого сложного и, казалось бы, столь неудобного для развития культуры времени.

Разумеется, на кафетерии не было вывески «Сайгон» — это имя он получил у своих завсегдатаев вскоре после начала американских военных действий во Вьетнаме — должно быть наэлектризованная атмосфера кофейни чем-то напоминала брутальные страсти театра военных действий. А, может быть, густой кофейный аромат вызывал ориенталистские ассоциации и порождал восточные страсти. Здесь влюблялись, флиртовали, кокетничали, пили кофе, курили травку... Но главное, что здесь делали, — говорили! Говорили о литературе, о политике, о квартирных выставках, поэты читали стихи, фарцовщики подторговывали джинсой и шузами, книжники «цельностянутыми» и самопальными книгами, здесь в ходу был самиздат. Много из того, что стало нынче раритетами самиздата, зарождалось здесь.

Самиздатские журналы «37», «Часы», «Обводный канал», антологии «Лепта», «Острова» не только вобрали в себя произведения поэтов, прозаиков, философов, теоретиков культуры — завсегдатаев «Сайгона», но во многом и сформировали умонастроения «сайгонщиков». Здесь можно было увидеть Константина Константиновича Кузьминского (поэта) и составителя многотомной антологии «У Голубой Лагуны»), Виктора Кривулина (поэта), Татьяну Горичеву (религиозного философа),

Льва Рудкевича (ученого-биолога) — редакторов журнала «37» и учредителей религиозно-философского кружка; здесь едва ли не во всякое время дня можно было разыскать поэта Виктора Ширали, он успевал читать свои новые стихи, обольщать барышень, стрелять деньги на кофе и «выпить» и наблюдать местные нравы; здесь, возможно, оформлялись в стройную концепцию идеи создания «Горкома художников» — объединения художников, которые по идеологическим мотивам или профессиональным склонностям не совпадали с установками ЛОСХа (Ленинградского Союза художников); здесь проводил дни своей «мятежной юности» будущий депутат Госдумы Александр Невзоров; здесь молодой БГ (Борис Гребенщиков) показывал еще неумелые тексты Виктору Кривулину, а совсем юный музыкант Сергей Курёхин спорил с не менее молодым режиссером Эдуардом Грошевым; поэт и актер Николай Беляк толковал об идее «Интерьерного театра», то есть «летучей» театральной труппе, которая играет спектакль в историческом, подлинном интерьере, а уж в Петербурге (а именно так именовали свой город обитатели «Сайгона») недостатка в таких интерьерах не было; здесь пропитывался интересом к живой истории Лев Лурье, к философии Сурен Тахтаджан... В «Сайгоне» можно было встретить и перекочевывавших сюда с Малой Садовой Михаила Юппа, Владимира Эрля, Александра Миронина, Евгения Вензеля, Тамару Буковскую, Николая Аксельрода (впоследствии написавшего повесть «От «Сайгона» до Садовой»); сюда захакивал Виктор Соснора, совершавший свой традиционный обход питерских забегаловок, здесь видели Сергея Довлатова, здесь подрастали будущие митьки, здесь обсуждались первые большие выставки неконформистского искусства (выставка в ДК им. Газа в 1974 году и выставка в ДК «Невский»), арест группы художников и литераторов, написавших на стенах Петропавловской крепости антибрежневский лозунг, обыски, аресты диссидентов и конечно же отъезды — по доброй воле и в изгнание. Отъезд Бродского, Хвостенко, Абезгауза... Смерть Аронсона, смерть Кита... Политические процессы...

Не то чтобы вирус «шпионизма» висел в воздухе «Сайгона», но (вероятно, не без основания) его обитатели предполагали, что в этой раскаленной атмосфере сотрудникам КГБ было легко улавливать необходимые для агентурных отчетов сведения — имена, фамилии, умонстроения. Да и расположены оба заведения были так соблазнительно близко...

Сюда забредали и художники, но по специфической многотрудности своего ремесла задерживались здесь недолго. Видели здесь Глеба Богомолова, Владимира Овчинникова, большую часть дня проводил здесь Боб Кошелюхов... Художник и искусствовед Михаил Петренко, издающий ныне в Сан-Франциско журнал «Сайгонская культура», сделал обитателей «Сайгона» героями своих офортов... На одном из них мы и видим поэта Виктора Кривулина, художников Валерия Мишина и Анатолия Заславского, поэта Тамару Буковскую, художника и музыканта Симу Островского, художника Арона Зинштейна и многих, многих, чьи имена забыты и не забыты...

«Сайгон» пережил свой расцвет на рубеже 1970—1980 годов, с ним пытался соперничать «Ольстер», открывшийся на углу Марата и Невского, но безуспешно...

В конце 1980—х «Сайгон» тихо увял... В перестроечные времена там пытались торговать то аудиокассетами, то писсуарами и джакузи, затем эпоха первоначального накопления капитала плавно перетекла в русло традиционных капиталистических отношений, да и КГБ уже не испытывал такой неистребимой тяги к изучению современной литературы, философии и истории современного искусства...

Время «Сайгона» ушло в прошлое. На месте кафе ныне — благопристойный ресторан пятизвездного отеля. «Сайгон» остался в воспоминаниях, стихах, прозе, картинах и судьбах тех, чьи имена составили историю культуры 1970—1980 годов XX столетия.

МАЛАЯ САДОВАЯ



Манежная пл., садик «Катценов». «Эдипов комплекс»

Владимир Эрль

ГДЕ ЭТО. КОГДА ЭТО

Где это

...и я подумал: но ведь это я, но в другом виде, это второй я...

«Сайгон», свидетельствует Виктор Леонидович Топоров, открылся 1 сентября 1964 года. Но до апреля 1965-го я ни разу в него не заглядывал. Стен «Сайгона», расписанных (вспоминает художник Михаил Петренко) «треугольными цветными петухами», я тоже не застал. Кстати сказать, кафетерий ресторана «Москва» (ещё безымянный) вскоре после открытия закрылся на косметический ремонт и снова открылся уже в апреле. Но у меня (хотя я жил по соседству, — на Пушкинской улице) были другие маршруты.

Весной 1963 года, на излёте (в марте, разумеется) девятого класса я начал писать стихи, а осенью того же года обзавёлся первым литературным другом — Андреем Гайворонским (тогда ещё не носившим псевдоним). Строго говоря, первым литературным знакомым был мой одноклассник Геннадий Несис (сейчас он известный шахматист; его фамилию я даже встретил несколько лет назад в кроссворде!). Вместе с Андреем (непонятно, зачем) мы поступили в клуб «Дерзание» при Дворце пионеров. Занятия вела Наталья Иосифовна Грудинина, а «ударной группой» были Вензель, Топоров, Гурвич («Мяснов»), Беляк (Тиль), Марк Мазья и Волькенштейн. Там мы познакомились с Романом Белоусовым и Тамарой Козловой (впоследствии Буковской), а тогда предпочитавшей называться «m-me Грицадуева»). К весне 1964 года мы с Андреем полюбили там и сям читать стихи на публике, и (за это) Грудинина попросила нас покинуть «Дерзание».

Мы стали искать себе уличное пристанище и решили собираться на «Орбите», то есть площади Искусств. Напомню, что «Сайгона» ещё не было в природе. А пока я продолжал ездить на автобусе в школу (№ 195, на ул. Воинова) или слоняться по Невскому, но чаще сидел дома в одиночестве и читал. На лето меня пристроили по благу в пионерский лагерь в Лисьем Носу, где я жил отдельно от пионёрчиков на веранде и упражнялся на взятой напрокат пишущей машинке. Именно там я изобрёл свой псевдоним; это произошло 20 июля. Псевдоним был образован по аллитерации с именем, а также был навеян городом Арлем («Кафе в Арле») и, наверное, новеллой Мопассана «Орля». Время от времени меня навещали друзья из города. Часто наезжал Роман Белоусов, и я издал первый сборник его стихов под названием «Конец начала». Однажды вместо Романа приехал Саша Прокофьев, который познакомил меня со своим одноклассником, — Дмитрием Борисовичем Макриновым. О том, как именно произошло это знакомство (и другие детали), написано в моём рассказе «Писатель у себя дома».

Когда в конце августа я вернулся в город, меня ждал приятный сюрприз. Андрей Гайворонский набрёл на кафетерий (собственно, «кулинарию» Елисеевского магазина) на Малой Садовой. В «кулинарии» стояли два кофейных аппарата «Эспрессо», а к кофе продавались замечательные пирожки и волованы. В соседнем отделе были и пироги, от которых можно было купить половину или четверть... Выпечка поставлялась знаменитой кухней ресторана «Метрополь» (не путать с «Метрополем», появившимся позже!). Завсегдатаями кафетерия были сотрудники Русского музея, Театра комедии, других соседних предприятий и просто «праздношатающиеся». Довольно подробно об этих людях написано С. Савицким, Гайворонским и мною. Чтобы не повторяться, отсылаю читателей к этим

трудам*. Жалко, что в кофейном отделе было всего два или три высоких столика, и посетители пили кофе, стоя за ними или (иногда) выходя на улицу и располагаясь у уличного подоконника. Очень несправедливо о нашем кафетерии вспоминает то ли режиссёр Стефанович, то ли Сергей Андреев, записавший его рассказ: «Молодые ленинградцы, интересовавшиеся искусством, собирались в *маленькой грязной забегаловке* на Малой Садовой»**.

Тогда же (в августе) на Малой Садовой появился Коля (Николай Иванович) Николаев, одноклассник Романа Белоусова, а в сентябре 1964 года я совершенно неожиданно познакомился в Публичке с А. Мироновым и привёл его на Малую Садовую (об этом знакомстве написано всё в том же рассказе «Писатель у себя дома»). Почти сразу Малая Садовая стала для меня вторым домом. Хотя с некоторыми её завсегдатаями отношения у меня не сложились и остались (если остались) прохладными, как я ни старался. Многие старшие справедливо относились ко мне иронически; иронически воспринимали меня и девушки Малой Садовой (эти — несправедливо). Дружил я — тоже дискретно — со своими ровесниками (старше на год был Макринов, младше — Миронов). По-настоящему друзьями остались только мы с Николаем Ивановичем Николаевым, хотя порой тоже случались шероховатости. Также вполне дружеские отношения остались у нас с Андреем Гайворонским и прозаиком (тогда — поэтом) Евгением Звягиным. Но вначале мы ходили стайкой: Белоусов — Макринов — Миронов — Николаев — и я (перечисляю не в порядке появления на экране, а в алфавитном порядке). Примыкали к нам Тамара Козлова и Прокофьев. Тамара Козлова некоторое время фигурировала под псевдонимом Алла Дин (придумал Гайворонский), а позже вышла замуж за художника Валерия Мишина, стала называться Тамарой Буковской (по псевдониму мужа) и исчезла с Малой Садовой... Из Миронова и Прокофьева сложился *особый* тандем неразлучников, — «Саша большой и Саша маленький», как они были названы в фильме А. Стефановича «Все мои сыновья», снимавшемся в 1966, наверное, году. Прокофьев всегда был по натуре провокатором и ставил над Мироновым психологические (и не только психологические) эксперименты. В 1967 или 1968 году Прокофьев женился и подался в священники, а Миронов завёл новый тандем с Серёжей Танчиком...

Но я немного забегаю вперёд. В феврале 1965 года меня познакомили с Леонидом Аронзоном. С ним мы как-то сразу подружились и даже перешли на ты. Я стал постоянно у него бывать и часто приходил к нему вместе с друзьями; существенно, что я познакомился и с друзьями Аронзона — Юрием Шмерлингом, Леонидом Ентиным и Юрием Галицким. Лёню Ентина я поначалу побаивался (как младший старшего), но потом от всей души полюбил. Галицкий, художник и когда-то талантливый литератор, тоже умел произвести впечатление***. К апрелю Александр Чурилин предложил собрать альманах «кофейного общества» — «Fioretti», в который дали свои подборки стихотворений и Аронзон, и его ближайший и самый верный друг Александр Альтшулер (Аронзон один или два раза заходил на Малую

* С. Савицкий. Андеграунд: История и мифы ленинградской неофициальной литературы. М., 2002. — Ср. первоначальный вариант в журн. НЛО, № 30 (1998). Оба варианта страдают ошибками и искажёнными понятиями фактами; А. Гайворонский. Сладкая музыка вечных стихов. Малая Садовая: Воспоминания. Стихотворения. СПб. 2004; Вл. Эрль. Поэты Малой Садовой // Премия Андрея Белого: 1978—2004: Антология. М., 2005.

** Газ. «Смена», 18 дек. 2007, с. 6. — С негодованием выделено мной.

*** NB! Художника Юрия Иосифовича Галицкого (р. 1944) часто путают, к сожалению, с более молодым литератором Юрием Васильевичем Галецким (собственно Ушаковым, р. 1954).

Садовую, Альтшулер в 1965—1966 годах бывал часто). Тогда же — в начале апреля — у меня произошло что-то вроде творческого кризиса, я бросил одиннадцатый класс школы, обнаружил вновь открывшийся «Сайгон» и впервые переступил его порог. «Сайгон» был почти безлюден — была первая половина дня. Перед столиками стояли, если не ошибаюсь, кресла. Я взял себе кофе, сел и принялся то ли писать, то ли переписывать — уже не помню — в записную книжку свои сочинения. Понятно, совсем недавно был прочитан *гемингвеевский* «Праздник...», что не мешало немногочисленным посетителям иронически меня рассматривать.

Позже «Сайгон» стал совершенно значным местом и официальным бельмом на глазу компетентных товарищей. Тогда в целях обострения классовой борьбы были удалены кресла. Рассказывают, что, впервые обнаружив неожиданное отсутствие сидений, одна из посетительниц воскликнула: «Ба! Из-под интеллигенции выбили стулья!..» Забавно, что после этого кафетерий стал вместительнее, а посетителей едва ли не вдвое больше. Впрочем, за Малой Садовой тоже, по слухам, был глаз да глаз...

...В апреле 1965 года мы с Мироновым, неожиданно, «с бухты-барахты» махнули на *перекладных* в Москву и пробыли там около двух недель. В Москве мы познакомились со смогистами, и Володя Батшев включил наши стихи в машинописный альманах «Сфинксы», который был воспроизведён в *страшном* журнале «Грани» (№ 59) и переиздан отдельным изданием мельчайшим шрифтом на папирсной бумаге — словно партийные издания начала века. Наши стихи в «Сфинксах» (как и в «Fioretti») были очень плохие — мои, по крайней мере. В Москве мы заявили к Алексею Елисеевичу Кручёных, сначала нас не пустившему и потребовавшему прочитать по памяти хлебниковские «Трущобы», которые я благополучно прочёл. В результате Алексей Елисеевич отнёсся к нам вполне благожелательно и даже сводил пообедать в молочный буфет.

Осенью, чтобы закончить одиннадцатый класс, я записался в вечернюю школу в Щербаковом (кажется) переулке, где, между прочим, русский язык и литературу для более младших классов преподавал Леонид Аронзон. Но в вечерней школе мне было совсем нелегко, и я перешёл в Городскую заочную школу (ул. Союза Печатников), где наконец благополучно закончил своё образование. Весной, кажется, 1966 года мне повезло: я купил за девяносто рублей «контрибуционную» (немецкого производства) портативную пишущую машинку «Olympia Progress» и, следовательно, перестал быть «безлошадным». Хотя моё издательство «Польза» действовало уже полтора года. Летом после какого-то отсутствия в доме Аронзона появился легендарный Алексей Хвостенко, а немного позже его друг и соавтор Анри Волохонский. Очень скоро их произведения стали основной продукцией «Пользы». *И видел я, что это хорошо.*

Осенью 1966 года мы с Макриновым основали хеленуктизм (название *образовано* мной) и написали манифест группы. Тогда же в ряды хеленуктов вступил Миронов, а зимой на Малой Садовой появился Виктор Немтинов, который также был удостоен этого высокого звания. Кроме того, некоторое время мы работали вместе с Немтиновым музейными рабочими в музее этнографии (народов СССР).

23 ноября я читал в лито Союза писателей, думая для понта туда поступить. Тогда им руководил Лев Мочалов. На обсуждении меня почти единодушно разгромили. Особенно старались, свидетельствует Кузьминский, Нина Королёва и Бродский. Королёву совсем не помню, а Бродского тогда я видел первый раз, но запомнил. Между Бродским и Аронзоном разгорелся жаркий спор. Собственно говоря, спор шёл об искусстве вообще, а я и мои стихи только предлогом.

В феврале 1967 года я совершенно зря в первый (но не в последний) раз женился, а в марте устроился рабочим по чистке книг в резервно-обменный фонд

университетской библиотеки (рядом со Смольным). Через три дня меня за таланты повысили до младшего библиотекаря. По соседству заканчивал аспирантуру Анри Волохонский, и мы часто вместе пили кофе в свои обеденные перерывы. В начале лета я поспорил с Аронзоном и больше у него не бывал... В августе я уволился из библиотеки, надеясь поступить в пединститут им. Герцена, но не поступил и продолжил службу младшим библиотекарем: сначала два месяца в Публичке, потом почти год в университетской библиотеке (на этот раз в главном здании). Отмечу, что в университетской библиотеке (и опять за таланты) я был повышен из младшего в библиотекари просто. Между прочим, за стенкой трудился библиографом Макринов, а через некоторое время был принят на работу экспедитором Н. Николаев. Надо ли говорить, как мы им помыкали!

В 1968 году я развёхался с родителями, с которыми проживал до этого времени, а через год (слава Богу!) развёлся. Позже, с января до октября 1969 года, работал организатором экскурсий в музее этнографии (опять народов СССР) и летом познакомился на Малой Садовой (NB!) с зашедшими туда Кузьминским, Куприяновым и Чейгиным. В октябре 1969 года я поступил в ЛПО «Автотехобслуживание» контролёром-приёмщиком (т. е. сторожем) автостоянок и сторожил их семь лет. На автостоянках работало много знакомых: А. Миронов, Б. И. Дышленко, А. Ник, А. М. Гиневский и Немтинов... В те времена «автолюбителю» получить место на автостоянке даже на ночь было *проблемно*, и однажды Немтинов потребовал взятку с приехавшего в его дежурство главного директора «Автотехобслуживания». Взятку Немтинов получил, но на следующий день со службы был изгнан с позором и «изрядно накостылёванным затылком».

После автостоянок я служил три месяца секретарём (*на бумаге* — «старшим лаборантом») Комиссии комплексного изучения художественного творчества, около полутора лет сторожил водно-моторную станцию на Малой Невке (не путать с лодочными стоянками!), столько же работал инструктором пожарной охраны на Охте и шесть с половиной лет оператором газовой котельной на Мойке. Водно-моторную станцию окружал сад имени Дзержинского с его хорошеньким бюстиком при входе; в этом саду я *трудился* вместе с А. Антоновым (сыном известного писателя) и Борисом Ванталовым (Аксельродом, двоюродным братом А. Ника). Моим коллегой по пожарной охране был Игорь Владимирович Бахтерев — правда, на другом заводе, так что по службе мы не пересекались. Слаще всего было в котельной, хотя начальство было подловатое. Зато коллектив подобрался неплохой: левантийский по темпераменту Ханан, желающий всё знать (но не понять) Лихтенфельд, его будущая жена Маша и я. Всех вместе нас со службы и погнали. Это произошло в июне 1986 года, уже в так называемую перестройку.

Следующие четыре года (1986—1990) мне пришлось работать киоскёром «Союзпечати» (никуда больше уже не брали). Из моих семнадцати работ эта была самой тяжёлой, хотя начальство относилось ко мне хорошо...

Важно сказать, что в 1967 году я познакомился с Всеволодом Николаевичем Петровым, а в 1968 с А. А. Александровым и стал — можно сказать, профессионально — заниматься творчеством Хармса. По Малой Садовой я был знаком с Татьяной Никольской, вместе с которой мы позже готовили к печати прозу К. Вагинова. Мы были знакомы раньше, но с 1969 года стали постоянно видеться с Эликом (Леонем Леонидовичем) Богдановым. Иногда часто виделись, но чаще ссорились с Мироновым, позволяющим себе непристойные и даже подлые выходки. Тем не менее к 1970 году я подготовил и издал первую книгу его стихотворений — «Εποχή». В 1970 году (26 мая) я присутствовал на свадьбе К. К. Кузьминского и подарил ему вешалку из оленьих рогов (по-моему, очень хороший подарок, но ККК злонамеренно о нём не вспоминает)... В 1970-е годы

я часто бывал у ККК, где, как ни странно, познакомился с Ольгой Седаковой и видел однажды Аллу Минченко. Опять же у ККК познакомился с замечательным писателем А. Ником (= Аксельродом Николаем) и прозаическим фотографом Кудряковым. Можно сказать, что там же я познакомился и с Мейлахом, хотя, кажется, нас с ним и Бродским уже знакомил на Малой Садовой Владимир Марамзин (с Марамзиным мы были знакомы по литобъединению при издательстве «Детская литература»).

Однако я забежал далеко вперёд. Летом 1967 или, скорее, 1968 года кофеварочные аппараты впервые не занимались своим делом, так как девушек, варивших кофе, отправили, по слухам, «на подшефную турбазу». Что делать? Приходилось идти в «Сайгон», где кофе был хороший и даже крепче (там варили тройной, а на Малой только двойной)... Кое-кто покинул Малую Садовую и навсегда ушёл в «Сайгон» — например, Вензель. Но для меня «Сайгон» всегда был *чужим домом*, а Малая Садовая *своим*. По словам Андрея Гайворонского, «Малая Садовая в то время была местом в некотором роде элитарным, в отличие от открывшегося чуть позже истинно демократичного, но всеядного “Сайгона”». В конце концов, можно было просто заходить сюда, чтобы выпить кофе, но без малейшей надежды попасть в “свой” круг». Действительно, Малая Садовая — это ведь не только маленькая «кулинария» и даже не только улица, но и «собачий садик» напротив, но и площадь перед Домом кино, но и студенческие читальные залы Публички, но даже и Кленовая аллея*, и окрестности Михайловского замка... А что «Сайгон»? Сам кафетерий, мороженица за углом да двор по соседству...

Раньше (сначала) мне не нравилось предложенное Петром Брандтом определение «уличная культура» (из-за слова «уличная»), но теперь я думаю, что оно *правильное*.

Что это (было)

*серое небо, серая даль, наполненная
скитающимися серыми призраками.
В сереющем окрест болоте кишат и
клубятся серые тины; в сером воздухе
беззвучно реют серые птицы; даже
дорога словно серым пеплом усыпана...*

Как бы то ни было, но подо всем был второй «культурный слой».

На смену дивным шестидесятым явились *уточнённые* семидесятые, неминуемо перешедшие в мерзостные восьмидесятые. Одновременно «уличная культура» превращалась в «неофициальную культуру», или *вторую* (но не *культуру*, а *действительность*). О том, во что всё *вылилось* написал в своём «Путешествии нигилиста» Василий Кондратьев: «Я даже убеждён, что непреодолимое желание *печататься, как все*, помешало русской “неофициальной культуре” шестидесятых-восьмидесятых годов, — а точнее сказать, тому её передовому отряду, который Владимир Эрль называет *неофициальным неофициальным искусством*, — перейти в следующее десятилетие в качестве реальности, а не сомнительного мифа; хотя тут тоже бывали исключения»**.

* Названная так, вероятно, оттого, что вместо клёнов там стоят каштаны.

** Митин журнал. № 63 (2005). С. 285–286.

Не менее существенно поминает мою персону Кузьминский: «...участники того самого литературного процесса, центральной фигурой которого был Эрль. <...> Я их так и делю: на эрлезянцев и бродскианцев. <...> Странно, что мало кто любил Эрля: от его сотоварищей по середине 60-х — слова доброго не дождешься»*.

Разумеется, всё не так, — в центре я жил (см. выше), но центральной фигурой никогда не был; я даже подчеркнул о себе, чтобы не было кривотолков: «Буддой не является»**. С другой стороны, причины меня не любить были у многих, а вина в том — моя... Детство у меня было сугубо домашним, а от детского сада я был изъавлен и время проводил в одиночестве за чтением. Я научился читать рано — может быть, года в три. По крайней мере, к шести годам уже был прочитан двухтомный «Давид Копперфильд»... В результате вырос я воспитанным книгами и очень наивным. Немного позже, уже в отрочестве, меня поразил рисунок в отрывном календаре: по снегу идут, беседуя, два мужика в тулупах и валенках. Текст беседы был в подписи: «Снежок-то хрустит!» — «А под ним капуста...». То, что это была сатира на бесхозяйственного председателя колхоза, мне стало ясно многие годы спустя. А *тогда* навсегда запала в душу восхитительно *иная* логика, и я стал инакомыслящим в подлинном смысле слова! Моё «традиционное» инакомыслие подкрепил опять же отрывной календарь, опять же с рисунком, — молодой человек стоит с девушкой у окна, а отец девушки сидит в креслах и *хохочет, читая газету*. В подписи приводился диалог молодых людей: «Какой у тебя весёлый отец!» — «Да нет, просто у него зубные протезы не того размера». Разумеется, моё инакомыслие многие чувствовали и потому негодовали. Иногда негодование принимало вполне ощутимые формы. Счастливым исключением был Вася Кондратьев. Наверное, он тоже был бы недоволен, но для меня важнее не «вандализм дада и одухотворенность сюрреалистов» (С. Дубин), а «вандализм сюрреалистов и одухотворенность дада»! Хотя я опять забегаю вперёд...

В начале 1975 года по примеру «Горожан» (и впоследствии «МетроПоля») был затеян сборник «неофициальных» поэтов «Лепта». Заседания инициативной группы проходили на квартире Юлии Вознесенской; там я впервые увидел Б. И. Иванова. На одном из заседаний Кривулин объявил о намерении издавать поэтический журнал, на что Иванов ответил аналогичным прозаическим проектом. «Лепта», разумеется, не вышла***, но журнал «37» начал выходить в январе, а альманах «Часы» летом 1976 года. «Часы» Иванов издавал при участии В. Долинина (недолгом — до ареста) и Б. Останина (постоянным). Элла Липпа, остроумная Алла Пугачёва неофициальной культуры, сказала как-то про Иванова: «такой *поживший* мужичок, немного посидевший, где его научили тому-сему... журнал издавать...»; она же определяла психологический склад Останина «маниакально-репрессивным психозом». Если первая характеристика — *внешняя* (Борис Иванович человек по натуре, вообще-то, не вредный), то вторая замечательно точна. Останин, сделавшийся ленинградцем в 1961 году, остался провинциалом (в плохом смысле слова) с непомерными амбициями и повадками *советского* редактора...

После скандала с «бульдозерной» выставкой власти открыли две «официальные» — сначала в ДК им. Газа, потом в ДК «Невский». Рассказывают, что к отдельным уклоняющимся от участия художникам приходили соответственные товарищи и настоятельно им указывали. Однако после художников последователи С. В. Зубатова взялись за литераторов, создав «Клуб-81». Сейчас «начали

* У Голубой Лагуны. Т. 4А, 1983. С. 198 и 200.

** Там же. С. 200.

*** Конечно! чего ради? Вспомним, что сказал ещё летом 1926 года запрещённый до 2014 года поэт: «Сделай, он говорит, крестная мать мне подарок? А та ему не хочет никакого подарка делать».

распространяться слухи о том, что «Клуб-81» создан органами КГБ, — говорит Э. Шнейдерман. — Слухи эти, выгодные самому КГБ и от него исходившие, абсолютно лживы. В конечном итоге мы использовали КГБ»*. Подобное говорил и Б. И. Иванов в передаче на радио «Свобода» и, кажется, верил, что так оно и было. Однако сказано: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых»... Я помню, как с несколькими авторами, заранее отказавшимися вступить в «Клуб-81», встретились его сторонники. Встреча прошла в «нашей» котельной. От нас были Букowska, Вензель, Ю. Колкер, Ханан и я; соблазнять и искушать нас пришли Б. И. Иванов, Э. Шнейдерман (кажется), С. Стратановский и кто-то ещё. Присутствовал я и 30 ноября на «установочном» общем собрании в зале музея-квартиры Ф. М. Достоевского. Вёл собрание куратор от Союза писателей Ю. А. Андреев и отчасти Останин, предложивший считать членами Клуба всех присутствующих. К счастью, предложение не прошло, и мы остались свободными...

В 1979 начал выходить «Транспонанс», а в 1985 «Митин журнал». С обоими изданиями я активно сотрудничал. Для «Транспонанса» я придумал второй (для «авангардных» сочинений) псевдоним Б. Ванталову (Аксельроду) — *б. конструктор*, превращённый им позже в «Б. Конструктора» и даже «Б. М. Конструктора». Псевдоним, однако, был позаимствован у Саши Соколова: «кашель трамвайного конструктора» в «Школе для дураков», которую Ванталов брезгливо обругал. В мае (точнее, в апреле) 1986 года мне присудили премию им. Андрея Белого, но не за творчество, а за текстологию — «за многолетнее беззаветное служение *тексту и автору*... за участие в издании сборника «Памяти Леонида Аронсона»». О всей моей литературной жизни можно сказать (немного переиначив известные слова): «вплоть до 1993 писал, подготавливал и служил, служил, подготавливал и писал. К 1994 году совсем оставил службу и исключительно отдался литературе».

В 1985 году (спасибо Елене Шварц) я познакомился с замечательным поэтом Светланой Кековой. Её первую книгу я подготовил в 1991, но издать удалось только в декабре 1995 года.

25 февраля 1987 скоропостижно умер Леон Богданов, а через два года, 13 апреля, мой папа. Это были первые потери моих близких...

Осенью 1992 года я познакомился и подружился с Василием Кондратьевым и Александром Скиданом. Душа рванулась навстречу Васе (как раньше к Элику), но 25 сентября 1999 года Кондратьев погиб.

Следующие события происходили уже в следующем, XXI веке.

Малая Садовая, сначала всеми покинутая, превратилась в квази-Арбат, а родной садово-парковый «эдипов комплекс» в «собачьем садике» заменили на поганое идолище. «Сайгон» закрывался, открывался, *меняя ориентацию*, переезжал (!) и наконец снова открылся как кафе. Но это, увы, уже не «Сайгон»...

Что добавить? Когда-нибудь я встану и опять далеко пойду. Пойдёт дождь. Дождя не будет.

Рекомендованная В. Эрлем литература:

Вл. Эрль. Рисунки русских писателей. *Вечно живое наследие: О Хеленуктах* // НЛО. № 62 (2003). С. 283–285.

Вл. Эрль. Ответы на вопросы Марко Саббатини. — По-итальянски: eSamizdat. 2007, №1–2, pp. 186–188; русский оригинал — в сети: <http://www.alestep.narod.ru/earl/interview.htm>

Вл. Эрль. С кем вы, мастера той культуры? *Книга эстетических фрагментов* // В печати.

* «НЛО», № 14 (1995). С. 248.

Александр Миронов
МАЛАЯ САДОВАЯ. 1960-е*

Для меня все начиналось с Малой Садовой.

Малая Садовая представляла собой центр некоего культурного ареала: с одной стороны, это студенческий зал Публичной библиотеки на Фонтанке, с другой стороны — это Малый и Большой зал Филармонии, куда мы тоже ходили, площадь Искусств, маленький, но замечательный музей Бродского с Шагалом, музей Пушкина, Русский музей... Все это притягивало.

Это был 1965 год. Я записался в Публичную библиотеку, в студенческий зал на Фонтанке, подделав год рождения в паспорте, вследствие чего матушке потом пришлось долго извиняться в милиции, когда нужно было менять паспорт. Студенты заказывали какую-нибудь книгу, например Сальвадора Дали в зале эстампов, — и проход в главный зал был обеспечен, а там можно было читать Бердяева, Флоренского. Философская литература Серебряного века была доступна. Разумеется, это были дореволюционные издания.

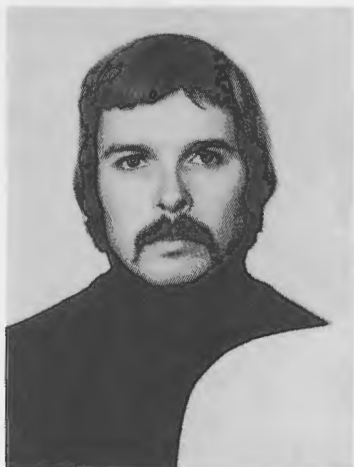
В Публичной библиотеке я познакомился со своим ближайшим другом в то время, Владимиром Ивановичем Эрлем. Он заинтересовался каким-то моим заказом — по-моему, книгой стихов Хафиза. Оказалось, что Владимир Иванович тоже знает этого поэта. Мы разговорились. О Хлебникове, Цветаевой, Пастернаке... Подружились. Стали меняться книгами в читальном зале. Благодаря Эрлю я познакомился с Леонидом Аронзоном.

В том же году у Владимира Ивановича Эрля родилась идея отыскать могилу Хлебникова на Новодевичьем кладбище, и мы с ним поехали автостопом в Москву. Очень долго добирались. В течение, наверное, двух суток. Ночевали в каких-то коровниках. Наконец попали в Москву. Идею нашей поездки активно поддержал Леонида Аронзон. Он сказал, что нам очень полезно познакомиться с представителями московской богемы, но в этом была известная доля шутки, специфической для Лени, потому что он хотел «сделать козу» Наташе Горбаневской. Наташа тогда родила ребенка, и Леня решил так тихо поиздеваться над ней, послав к ней двух придурков, каковыми, конечно, на сто процентов нас не считал, потому что ценил стихи Эрля и мои какие-то опусы. Но в этом поступке проявилась специфическая Лёнина ирония, потому что когда мы приехали в Москву и явились к Наташе, которая жила в коммунальной квартире, ютилась в комнате с маленьким ребенком, она просто не знала, что делать, и стала передавать нас с рук на руки. Мы ночевали у каких-то художников-авангардистов, еще где-то и наконец обрели покой у Леонида Губанова. Так мы познакомились с клубом смогистов (СМОГ — «Смелость, Мысль, Образ, Глубина» или «Самое молодое общество гениев»): Губанов, Владимир Батшев, Юлия Вишневецкая и др. Они же познакомили нас с Валерием Яковлевичем Тарисом, одиозной личностью тех лет. Он писал такие «просолженицынские» опусы о лагерной жизни, задолго до «Архипелага ГУЛага». Тогда же состоялось наше знакомство с великолепным художником Василием Ситниковым.

Это путешествие стало значимым событием в моей жизни, потому что вовлекло меня в литературную орбиту. После него началась наша ленинградская богемная жизнь. Школа была заброшена (я закончил ее заочно только несколько лет спустя). День я проводил в читальном зале Публичной библиотеки, затем заходил на Малую Садовую.



У «Эдипова комплекса». Владимир Эрль и Сергей Иванович Николаев.
Лето 1971 г.



Дмитрий Макринов.
1977 г.



Владимир Эрль.
Сиверская. Июль 1965 г.



Николай Иванович Николаев. 1966-1968 гг.



Иосиф Бродский. Портрет работы В. Левитина.
Печать с рельефной формы. 1971 г.
Из собрания Музея А.Ахматовой в Фонтанном доме



Владимир Эрль и Элик Ботданов в Михайловском саду.
Июнь 1970 г. Фото Б. Кудрякова



Элик Ботданов и Владимир Эрль. 1974 - 1976 гг.
Литография Г.М. Неменовой



Леонид Ентин.
Фото И. Бродского



Тамара Буковская
Фото В. Мишина. 1965 г.

В садике
 «Катцетор».
 Слева направо:
 неизвестные
 девушки,
 Алексей
 Александрович
 Козырев,
 Алексей
 Георгиевич
 Сорокин,
 Гера
 Григорьев,
 Михаил Юнн.
 Фото
 В. Нехтинова



Белая ночь. 1971 г.
Константин Кузьминский
и Владимир Эрьв.
Фото Б. С. Мелова





Николай Аксельрод, Борис Кудряков, Борис Аксельрод (Конструктор)
на Малой Садовой. 1970 г.



Владимир Эрль (в центре), Дмитрий Макринов (справа),
Виктор Немтинов (слева). Зима 1966 - 1967 г. Фото Н.Федючёрк (?)



Последняя встреча с Константином Кузьминским.
Июнь 1974. Фото В. Окулова

Алексей
Георгиевич
Сорокин
«Он любил
протулки по
ночному городу»
старинный
фарфор, запач-
канные
уходящих
флажков,
флаконы,
хранящие
ароматы
духов...»
К. Козырев



Алексей
Георгиевич
Сорокин.
1973 г. Фото
Б. Кудрякова



Эрик Богданов.
26 июня 1970 г.
Фото
Б. Кудрякова



Эрик Богданов.
Литография
Г.М. Неченовой





Анри Волохонский



*А. Ник (Николай Аксельрод).
1972 или 1973 г. Фото Б. Кудрякова (?)*



Василий Кондратьев



Борис Конструктор и Борис Кудряков. 1972 г. Фото Б. Селова



Алексей Хвостенко. На юге. 1960-е гг.



Владимир Эрль на вечере памяти Леонида Аронсона. 18 октября 1975 г.



Равид Яковлевич рар. 1970-е



Игорь Бахтерев. На 5-й выставке ТЭИИ («Грани портрета») в РК им. Кирова. 1984. Фото В. Немтинова

День рождения
Владимира Эра.
1971 г.
Владимир Эра,
Алексей
Александрович
Козырев.
Фото Б. Кудрякова



Культуртрегером Малой Садовой я могу назвать такого замечательного человека как Александр Чурилин, который впервые издал машинописный сборник стихов и прозы «Gioretti» (аллюзия на «Цветочки» Франциска Ассизского). Этот человек был многогранно образован, прекрасно знал историю русской философии Серебряного века, великолепно переводил с английского (такие сложные вещи, как пьесу Грэма Грина «Оранжерея»), приобщал нас к истокам западной литературы. Благодаря ему мы стали интересоваться Прустом, Джойсом, Андре Жидом, Хаксли.

Малая Садовая собирала таких ярчайших представителей ленинградской богемы, как художники Владимир Овчинников, Юрий Иванов.

После чашки кофе можно было продолжить беседу в приемной радиокомитета, там прятались от холода и общались, даже читали стихи. Не существовало никаких особых запретов.

На Малой Садовой собирались не только поэты и художники, но и «подвижники». Я хотел бы упомянуть двух людей, с которыми меня свела судьба. Это были братья Танчики: Сергей Васильевич и Вадим Васильевич. С одним из них — Сергеем Васильевичем Танчиком — мы долгое время прожили вместе, снимали комнату, и он был мне больше чем друг. Эти люди были представителями православной ориентации, они образовывали круг, куда входили Марианна Козырева, Алексей Александрович Козырев, Кирилл Петрович Вовк и многие другие.

К тому времени, как мы познакомились, Сергей Васильевич Танчик был человеком богословски образованным (самостоятельно как многие в то время), знал старославянский язык. Благодаря Танчику я приобщился к азам церковнославянского языка. Богословскую литературу (отца Игнатия Брянчанинова и др.) можно было тогда купить на черном рынке, у спекулянтов, или обменять (богословская литература была под запретом). Что-то Сережа покупал у поэта Миши Юппа, который коллекционировал иконы и книги.

В период с 1965 года до начала 1970-х годов, когда братья Танчики организовали вокруг себя религиозное сообщество, они достаточно пострадали за это: психиатрические больницы, экспертизы... Я сам попал в психиатрическую больницу из-за того, что участвовал в побеге Сергея Танчика из больницы Скворцова-Степанова.

В то время главным врачом больницы Скворцова-Степанова был психиатр Константин Случевский, известный своими экспертизами диссидентов в институте Сербского. Случевский и меня отправил в психиатрическую больницу (на улице Лебедева). Произошло это так. После побега Сергей стал добиваться правды, и мы с ним вместе пошли (это был глупейший поступок с рациональной точки зрения) в приемную Большого дома, узнать, каковы реальные причины изоляции. Человек, к которому он обратился в приемной, переправил его к генеральному прокурору города. К самому генеральному прокурору мы не попали, нас принял его заместитель, а после десятиминутного разговора, внешне вежливого и корректного, появились санитары, взяли Сережу под руки и волоком его потащили вниз по лестнице. Я спустился вслед за ним и, когда его поместили в машину, стал дергать ручку двери, а врач, который сопровождал машину, сказал: «Ну что, ты тоже хочешь прокатиться? Залезай». Я залез. И тогда познакомился в Скворцова—Степанова со Случевским, который мне все в открытую сказал: «Занялся не своим делом? Если ты тоже хочешь полежать, то полежишь...» Так я оказался в больнице.

Среди постоянных посетителей Малой Садовой был и Виктор Хейф, любитель поэзии Бродского, о котором Владимир Иванович Эрль написал повесть «В погоне за утраченным Хейфом». Это был один из первых хеленуктических опусов. А хеленукты — это то образование, которое случилось благодаря Владимиру

Ивановичу Эрлю. И само слово «хеленукт» было изобретено именно им. Хеленуктами стали наши общие друзья: Дмитрий Макринов, Виктор Немтинов, который издал первую мою книгу «Метафизические радости». Хеленукты родились абсолютно спонтанно, за чайником сухого вина дома у Владимира Ивановича.

Что должен был делать настоящий хеленукт? Вести хеленуктический образ жизни, то есть абсолютно асоциальный. Придумывались абсурдистские игры, всевозможные симулятивные тексты, которые мы писали совместно с Эрлем, с Макриновым, — такое «хоровое» творчество. Потом к этому подключались даже проходящие люди: Леонид Ентин, который в Париже вместе с Алексеем Хвостенко издавал журнал «Эхо», художник Юрий Галецкий.

Юрий Галецкий был фантастически изобретателен — например, приходил в гости к Владимиру Эрлю, приносил слайды и спрашивал: «Есть ли у тебя проектор?». Потом, установив проектор, проецировал свои абстракционистские картины и репродукции православных икон на кирпичные стены соседних домов. Прохожим казалось, что это чудо.

Хеленуктические игры были странного порядка, например травестийные. Так, Владимир Иванович надевал платье своей матушки, закутывал свою бородку в платок — становился такой «тряпичной бабушкой». Мы выходили с ним под руку на улицу, как бы прогуливаясь. Он до времени прикрывал лицо и потом вдруг неожиданно, обращаясь к кому-то, открывал бородку.

Однажды одним из таких приколов мы очень обидели Леонида Аронсона. Мы купили в аптеке стеклянную утку и наполнили ее черносливом, настоящим сочным черносливом, который продавался в Елисеевском магазине, и принесли ему в подарок на день рождения, думая, что он отнесется к подарку адекватно, по-хеленуктически. На самом деле, он настолько обиделся, что долгое время после этого мы не общались. Правда, тогда он все время находился в удрученном состоянии (это было незадолго до его смерти), что было связано с судебным процессом по делу Швейгольца (человека из его круга), убившего свою жену.

Был суд, и поведение Швейгольца на суде — его эстетство, театральное шоу в такой трагической ситуации — поразило Леонида. Швейголец, например, демонстрировал залу чистый лист бумаги и говорил: «Вот все умеют читать, только скользья глазами параллельно листу, я же могу читать его с ребра». Для Лени такие эстетические эскапады стали причиной нравственных переживаний, очень глубоких.

Тогда весь этот круг людей, с которыми общался Леонид, стал деградировать. Возможно, таково было веяние времени, но это явилось основной причиной трагической гибели Аронсона: произошла утрата идентичности, потеря идентификации.

Присутствие карнавального момента, несмотря на тягу к ортодоксальности, к церкви, к истине, было, наверное, парадоксом того времени, парадоксом «оттепели». Кирилл Петрович Вовк и его друг Александр Баранников (по происхождению из князей Вяземских) организовали так называемое «Испанское правительство», и Кирилл Петрович объявил себя фюрером Испанского правительства. Это было шутовство и тоже своего рода хеленуктизм. Вообще, ту свободу общения, которой мы тогда обладали, я нигде более не встречал.

В «Сайгоне» появлялись те же самые люди, которые были на Малой Садовой, но я понимаю период «Сайгона» как период распада богемы, когда богема начала спиваться, покуливала травку. Я видел там совершенно другую жизнь, нежели на Малой Садовой: менее трезвую, более спонтанную, более шутовскую по своему характеру. Я манкировал «Сайгоном» по ряду причин: там не было того очерченного круга общения, который существовал на Малой Садовой, и это был период распада связей. Тогда мы уже тесно не общались с Владимиром Ивановичем, каждый нашел свою дорогу, наш круг общения распался. Как не странно, это совпало

с образованием «Сайгона». Потом я уже стал писать исключительно для себя, «в стол», хотя первые мои книги готовили Владимир Иванович Эрль и Николай Иванович Николаев, замечательный исследователь, которому мы обязаны появлением сборника трудов Льва Пумпянского.

Николай Иванович Николаев

ПОД ЗНАКОМ 1964-го

В то время, о котором идёт речь, я учился в 207-й школе, во дворе кинотеатра «Колизей». Это была школа-одинадцатилетка с геодезическим и геологическим уклоном для мальчиков девятого — одиннадцатого классов. У нас была замечательная учительница литературы — Елена Борисовна Чернова. Её муж, литературовед, был репрессирован, она тоже подвергалась арестам. Запомнилась такая подробность: когда она возвращалась домой, то всегда смотрела, не горит ли в ее окне свет, не ждут ли ее уже... Елена Борисовна была человеком исключительно образованным и умным. Она перевела и принесла нам воспоминания Евгения Евтушенко, напечатанные в 1962 году во французской коммунистической газете «Лет-тр франсэз» (эта газета у нас продавалась), прекрасно знала Серебряный век. Её постоянно окружали молодые люди, увлеченные не только литературой. Остальные педагоги, искоса поглядывая на нее, осуждали эту необычайную ее популярность среди учеников. Кто-то из девочек в нашем классе принес переписанные в тетрадь «Романтические цветы». Этот сборник Гумилева — наверное, первая серьезная поэзия, прочитанная мною, если не считать классической по школьной программе, — произвел на меня довольно сильное впечатление, и я сам попытался сочинять стихи, заботясь по недомыслию, прежде всего, о правильности размера и точности рифм. От школьных разговоров мы пошли дальше и уже по собственному почину стали читать с моим одноклассником Борисом Аракчеевым на Фонтанке в юношеском зале Публички Д. Мережковского, Н. Бердяева и других авторов.

Состав учащихся во всех классах был достаточно сильным. Я сошёлся и с теми, кто учился классом старше: Александром Прокофьевым, Дм. Макриновым, Кисой Прокоповичем — прирожденным математиком.

Александр Прокофьев был, как бы теперь сказали, своего рода интеллектуальным лидером — и в школьные, и в более поздние годы. Он был человеком чрезвычайно быстрого и острого ума, очень начитанным, особенно в области физики и кибернетики (физиком, кажется, был его отец), хотя тогда это было веянием времени и все читали «Кибернетику и общество» Норберта Винера и «Что такое жизнь с точки зрения физики?» Э. Шредингера, перевод которой вышел еще в 1947 году. В этом издании было замечательное приложение о восточной философии, которое исчезло при переиздании перевода в 1970 годы. Из любимцев Елены Борисовны, тех неординарных учеников, которые часто бывали у нее в доме, Прокофьев, безусловно, был первым, и это первенство никем не оспаривалось.

Дм. Макринов, приятель и одноклассник Прокофьева, был близорук и носил очки, как и Прокофьев. Но, в отличие от своего энергичного приятеля, был тих, спокоен, молчалив и во время разговора неизменно улыбался, стесняясь то ли глупости собеседника, то ли своего ума. Он написал философскую повесть «Всё для твоего же блага, Ман!». Ман — понятие экзистенциальной философии, из «Бытия и времени» М. Хайдеггера, обозначающее некую близкость толпы. Правда, мне так и не довелось повесть прочитать.

Прокофьев жил на Литейном, в доме, во дворе которого расположен театр. Овна их коммунальной квартиры выходили на проспект — кажется, прямо в эркер над подворотней. Это был проходной двор, и можно было с Литейного сразу выйти на Фонтанку через садик перед Шереметьевским дворцом, где мы любили сидеть перед решеткой.

Однажды летом 1964 года в этом садике произошла неожиданная встреча. Мы сидели на скамейке с Сашей Прокофьевым и, кажется, Дм. Макриновым, и к нам подошёл Роман Белоусов, мой бывший одноклассник. Он, как и я, 1947 года рождения; мы вместе учились с первого по шестой класс в 206-й школе на Фонтанке. Тогда я ещё жил в центре, на Садовой улице, рядом с Суворовским училищем, а он — в Поварском. Мы с ним очень дружили, вместе гуляли, ходили в музеи, читали... С тех пор, как я стал учиться в другой школе в Невском районе, а потом в 207-й, мы не виделись. Именно Роман и привёл нас на Малую Садовую.

Таким образом, Малая Садовая стала существовать для нас с лета 1964 года. Когда начались занятия в школе, я успевал на большой перемене съездить туда выпить кофе и вернуться назад.

Едва мы пришли на Малую Садовую, как вскоре, в конце августа, там появился Владимир Эрль. Его привёл Андрей Гайворонский. Эрль уже был знаком и с Дм. Макриновым и с Александром Прокофьевым через Романа Белоусова. Появилась Тамара Буковская и другие люди. Кто-то из клуба «Дерзание» привел Евгения Вензеля, он тогда жил рядом с Этнографическим музеем. И хотя Виктор Топоров в своих воспоминаниях пишет о нём как о человеке «Сайгона», завсегдатаем «Сайгона» он стал позднее, в 1969 году, когда вернулся из армии. Для меня он — поэт Малой Садовой. Вензель, правда, своих стихов, кажется, никогда не читал или почти не читал. Он как-то естественно сдружился с Хейфом и быстро прославился своим неординарным поэтическим поведением. Эта его слава перешла пределы Малой Садовой. «Юродствующий Евгений Вензель, уличный Меркуцио» — так описал его Лев Халиф в «ЦДЛ», книге о московском Центральном доме литераторов, в главе о ленинградских делах. Отрывки из «ЦДЛ» воспроизведены в четвертом томе антологии «У Голубой Лагуны» Константина Кузьминского, в разделе о Малой Садовой — пожалуй, и сейчас (при неизбежных пробелах) наиболее полным и лучшим собрании материалов о Малой Садовой. Многие тексты для этого раздела антологии Кузьминского были предоставлены Владимиром Эрлем. Сам же Виктор Топоров на Малой Садовой, кажется, тоже появлялся несколько раз, но мне не запомнился.

Вообще-то, на Малую Садовую почти каждого кто-то приводил. Из нашей школы на Малой Садовой бывали многие. Бывал, например, Борис Аракчеев (мы с ним сидели за одной партой). Привёл я и Илью Черняка, с которым вместе учился в седьмом и восьмом классе. Но далеко не все, кто приходил, как я уже сказал, оставались. Кто-то приживался, кто-то нет и вскоре исчезал. Вензель из вечерней школы, где тогда учился, привел Юру Ярмолинского. Именно у него дома я впервые услышал Колтрейна. Приверженность к джазу и его великим фигурам была обязательной чертой любой контркультуры, начиная с битников. И на Малой Садовой этот битнический след для меня всегда был связан со стильной фигурой Андрея Гайворонского. Именно в его поэзии битнические мотивы и ритмы, как мне кажется, получили явственное воплощение:

Ангел мой белокрылый,
ангел души моей,
чудо с глазами карими,
крыльями мрак развей.
Мир, как воздушный шарик,

вертится на лету.
 Вновь по дорогам шаркать,
 следуя в суету.
 Всё, что так сердцу мило,
 отобразит холст,
 радугою над миром
 встанет желанный мост.
 Воды под ним струятся,
 волны несутся вспять.
 Только бы не сорваться,
 только бы устоять,
 только б не вырвать звука
 из опалённых губ...
 Там, распластав руки,
 ангела тусклый труп.

Существовали и свои постоянные персонажи, которые были и до и после нас, — это Виктор Хейф, Мирон Саламандра, Александр Шейдин. Их прекрасно изобразил Андрей Гайворонский в книге «Сладкая музыка вечных стихов. Малая Садовая» (СПб., 2004). Хейф — природный философ, человек своеобразного здравого смысла, экзистенциалист по общему мнению и по собственным убеждениям — почти всегда казался немного навеселе. Державший во внутреннем кармане сложенную машинопись поэмы Бродского, он порой не без пафоса, покачиваясь, читал отрывки из «Петербургского романа»: «Литейный, бежевая крепость, / подъезд четвертый КГБ». И если Хейф был высок ростом и ходил стремительно, выставив вперед одно плечо, то Мирон Саламандра, неизменно появлявшийся каждый раз с новой барышней, был ростом мал и говорил себе в нос. Когда его в известном учреждении попросили рассказывать о том, что происходит на Малой, он спросил: «А сколько вы мне за это заплатите?» И его просто выставили вон. Приходил Евгений Звягин, тогда поэт, а сейчас один из ведущих прозаиков Петербурга, тончайший стилист. Именно он, кажется, привел на Малую Валю Петрунина, жившего с ним в одном дворе. Там были и люди старше возрастом лет на семь-восемь, те, кто оказал на нас влияние: Саша Чурилин, Олег Ниворожкин, Михаил Юпп, художник Юрий Иванов. Постоянно бывал молчаливый и сдержанный Саша Шевелев. Кажется, это он рассказывал об одном старом петербуржце, который переписывается с Набоковым.

Первый год на Малой Садовой был чрезвычайно насыщен событиями. Время было сжато, каждый день что-то происходило. Обычно, когда говорят о Малой Садовой, почти всегда вспоминают постоянное винопитие. Конечно, это было. Но в первые годы это бывало (по крайней мере для меня) лишь от случая к случаю. Чашки кофе и быстроты событий хватало, чтобы разгорячить голову. И хотя на Малой почти все курили, я сам закурил только в 1968 году.

В середине сентября Владимир Эрль познакомился в Публичной библиотеке с Сашей Мироновым. Поначалу на Малой Садовой юный Миронов (ему было шестнадцать) попадал в курьезные ситуации. Вот он, выпив кофе и выйдя из кафетерия, стоит у входа и курит, задумавшись, с отрешенным лицом. К нему подходит Александр Шейдин — как всегда в шляпе, при галстукe и с неизменным портфелем — и спрашивает с ехидцей: «Что это Вы, молодой человек, стоите как брошенная б... на берегу озера?» Или в другой раз тот же Шейдин подходит к кафетерии с пухленькой гражданкой, которую только что подцепил на Невском, и представляет ей нас: «А это — мои друзья поэты». Потом ведет нас на Орбиту

(площадь Искусств), усаживает нас на скамейку и говорит: «А теперь, Саша, почитай нам стихи». И Миронов, приосанившись, безропотно начинает с выражением читать свои последние творения, тогда как упитанная девица только хлопает глазами, ничего не понимая...

Мы появились на Малой Садовой в тот самый момент, когда посадили Бродского. За ним идти в поэтических поисках было нельзя, акмеистическая линия была перекрыта. У нас движущей литературной силой, а также цензором суждений, что есть хорошо, что есть плохо, был Владимир Эрль — он следовал хлебниковской традиции поэзии футуризма. Это был не левый (лефовский), а правый авангард, который потом соединился с поэтикой обэриутов. Но тогда, в 1964 году, мы обэриутов ещё не знали, сборник Заболоцкого в большой серии «Библиотеки поэта», где были переизданы «Столбцы», вышел только осенью 1965 года.

Стихи шли потоком. Энергия поэтического потока — вот что отличает творчество этого периода не только у Миронова, но и почти у всех поэтов Малой Садовой. Но в особой степени это было характерно для Тамары Буковской. И с тех пор все новые ее стихотворные тексты я воспринимаю сквозь энергетическую призму этих интонаций, которые слышу и теперь:

Мой мир с раздвоенными тенями...
 Мы теряем себя, теряем
 В хаотичном нагромождении
 Заблуждений и пробуждений.
 Мы в потенции гениальны,
 Наши помыслы маньякальны...
 Но раскованными родниками
 Неосознанно возникает
 Недоступное пониманию,
 Недоступное и великое...
 Остальное — просто безлико.
 Наши портики и базилики
 На песке мы воздвигли зыбком...
 Интуиция, ты превыше
 И рассудка, и старых привычек!
 Наши строки — наши кривые,
 Может, выведут, может, не выведут...
 Прежде слово, потом осознание,
 Слово яростное и осязаемое,
 Как мазки на картинах Сезанна,
 Слово, бьющееся в подсознании...
 Наше творчество — наши тернии...
 У кого-то не хватит терпения...
 Что-то важное будет утеряно.
 И тогда происходит деление
 На венки из лавра и терний...
 Это в будущем... А сейчас
 Мир с раздвоенными тенями,
 В этом мире себя обретаем,
 Раздвоению научась.

этапах жизни Малой Садовой. Но школа Александра Миронова — это школа Владимира Эрля, который был направляющим вектором. Впрочем, об этом и сам Миронов написал через несколько лет в своих воспоминаниях, выдержанных в хеленуктитических тонах. Миронов приходил на Малую Садовую каждый день и почти каждый день читал только что написанное. Мы с Эрлем всё, что он написал, изымали и сохраняли, чтобы он ничего по молодости не потерял. Вот его «Рыбий блюз» весны 1965 года:

Не кораблик, не потонет
Плот тяжелый на понтонах.
Так и будешь — плавать, плавать,
Так и будешь — плакать, плакать.
Рыбы стонут, оглушают.
Ты — их первый, ты — глашатай,
Ты — добыча и расплата,
Притча рыбьего распада.
Ты, на вечность обреченный
В день слепящий облаченный,
Ты, толпою обличенный,
Ты, потерянный для мира,
Так и будешь — плавать, плавать,
Так и будешь — плакать, плакать.

И уже в сентябре 1964 года состоялось поэтическое чтение в институте им. Герцена — в нём все принимали участие, из старших читал Михаил Юпп. В декабре было выступление в Мухинском училище. На этом вечере Роман Белоусов (у него была особая, запоминающаяся манера чтения, — он стихи *выпевал*) читал свой стих «Про травку» (имеется в виду обычная зеленая трава):

Легкой и пустой душой
Дышу росой
И высокою осокой
Будущего платинового лета.
Мысли опадают словно листья
На мои бумажные стихи,
А дни длиннее стали.
А еще стою я
В предвесеннем
Серебре,
Когда прошли
Ленивые стальные холода.
Пью я
Допьяна
Восточный ветер.
Слушай, что
Расскажет нам
Он в синей своей песне.
Слушай шепот ветра
В ветках;
Он там вьет спираль
Свирельной ленты.

Обретение своего поэтического языка шло очень быстро. Если сначала были увлечения условно-модернистским направлением, Андреем Вознесенским, перепевы Цветаевой (первый ее сборник у нас — «Избранное» — вышел в 1961 году), Пастернака, Леонида Мартынова, то уже в стихах 1966 года и у Андрея Гайворонского (прежде всего в цикле «Летние стихи» с посвящением Леониду Аронзону), и у Александра Миронова слышен абсолютно свой голос.

В отличие от членов поэтического кружка, существовавшего на филологическом факультете (В. Кривулин, В. Топоров, В. Будагагин, Л. Васильев), и представителей «золотой поэтической молодежи», от К. Азадовского до И. Бродского, которые воспитывались в интеллектуальной атмосфере профессорских семей, нас характеризовала не только литературная культура, но и культура уличная: наша жизнь проходила между Малой Садовой и Публичной библиотекой. Мы не были «квартирными» людьми, как например, А. Битов, Дм. Бобышев или М. Мейлах.

Было и еще одно отличие. Нам был абсолютно чужд проявлявшийся даже у Бродского мрачный, если не сказать экзистенциальный, романтизм поколения конца 1930-х — начала 1940-х. Если не все это поколение, то наиболее активная, так сказать, его часть прямо строила свою жизнь по Ремарку или вела ее под знаком героев этого писателя. Помню одного из них, но не по Малой Садовой, рассказывавшего в те же годы, как он и его друзья достали машину и втроем вели буквально жизнь «Трех товарищей», героев знаменитого тогда романа Ремарка. Этим было отравлено почти все это поколение. Именно это отличало старших. Мы же, представители послевоенного поколения (возможно, здесь свою роль сыграли законы генетики — надо было восстанавливать утраченное народонаселение), такой аморалистический романтизм не принимали.

В отличие от «Сайгона», сам кафетерий на Малой Садовой не был местом разговоров и действия. Люди заходили, выпивали кофе, а дальнейшее общение происходило или в «Собачем садике», где стояла статуя, прозванная нами «Эдипов комплекс» (ее замечательно описал в своем эссе о Миронове Евгений Звягин)*, или на «Орбите» (площади Искусств), или на Манежной площади.

Хочу подчеркнуть, что Малая Садовая не была диссидентским явлением (диссидентский круг появился только после событий 1968 года), и в то же время это отнюдь не «Праздник, который всегда с тобой», не тот «Париж», в который приезжали и уезжали, это и не особая форма инициации, как в армии, и не клуб по интересам. Конечно, Малая Садовая характеризовалась свободой суждений, и всё неофициальное там присутствовало, но для меня, как и для большинства малосадовцев «моего призыва», это было, прежде всего, вынужденное бегство — бегство внутрь себя. Когда я учился и потом, когда уже работал, это было единственное место, куда я мог всегда уйти. Оно было не просто «площадкой» для встречи, а особым пространством, над которым витало нечто метафизическое. Мы там собирались не для того, чтобы решать свои личные дела, а для иного. Там были разные люди, но, как и в рок-культуре, никакого значения не имели, скажем, профессия или национальная принадлежность (напротив, никакой национализм не приживался). Главное, чтобы за тобой что-то было, поэтому выжить на Малой Садовой было не так просто.

Одно из самых ярких впечатлений той весны, весны 1965 года — знакомство с Леонидом Аронзоном. Он мне тогда подарил книжечку Басё из серии «Сокровища лирической поэзии», и она сохранилась у меня до сих пор. Аронзон казался намного

* Евгений Звягин. Несколько слов об Александре Миронове / Евгений Звягин. Письмо лучшему другу. СПб., 1995. С.59

ник старше: ему было двадцать шесть лет, а нам по восемнадцать. Он относился к нам исключительно благожелательно, а для молодых людей такая поддержка очень нужна. Иногда мы вели с ним довольно сложные разговоры. И он всегда со вниманием прислушивался к чужим словам. Столь же дружелюбно держался с нами и другой замечательный поэт — Алик (Александр) Альтшулер, ближайший друг Аронсона.

Весной 1965 года, со сборника «Fioretti», собранного Александром Чурилиным, и названного по аналогии с «Цветочками» Франциска Ассизского, начинается очень важная для всех нас тема — религиозно-философская. О том, насколько эта тема оказалась важна, говорит уже тот факт, что позже ушёл в монашество Дм. Макринов, и стал священнослужителем Александр Прокофьев. Как раз в то время через Александра Чурилина мы познакомились с трудами П. А. Флоренского, прежде всего с книгой «Столп, или Утверждение истины». Тогда же прочитали ранние работы А. Ф. Лосева. «Диалектика мифа» Лосева (М., 1930) даже не была запрещена, поскольку существовала в единственном экземпляре в Библиотеке им. Ленина. Я её выписал в 1968 году по межбиблиотечному абонементу, затем мы её пересняли на фотопленку, распечатали и читали. Нужно сказать, что Чурилин в те годы сыграл исключительную роль в нашей жизни. Мягкий и спокойный, он постепенно приохотил нас к чтению Грэма Грина («Ценой потери») и других писателей с явным христианским подтекстом, обсуждал с нами «Феномен человека» Тейяра де Шардена, указал на публикацию «Обратной перспективы» в третьей «Семиотике», но, главное, успокаивал наших родителей, когда они пытались вернуть своих детей в лоно семьи. И это заслуживает только благодарности.

Те, кто постарше, например Кирилл Петрович Вовк, читали тогда книги мистического и общеполитического характера: Эккартсгаузена в изданиях начала XIX века, Папюса, П. Д. Успенского, В. А. Шмакова («Священная книга Тота: Великие Арканы Таро» (1916) и «Основы пневматологии» (1922)), буддистскую литературу. Имела хождение «Махабхарата» в переводе Б. Л. Смирнова, изданная в Ашхабаде Туркменской Академией наук. Всё это расширяло сознание. Но для нас это была лишь «боковая» линия, имевшая только косвенное влияние.

Каждый искал свой путь. Многие в тот период крестились. Кто-то, как Евгений Звягин, крестился на дому, в катакомбной церкви... Меня этот процесс новообращения не коснулся, поскольку я, как и Илья Черняк, был крещён с детства. Новообращение и постепенное воцерковление, особенно после появления в 1965 году братьев Танчиков, придерживавшихся православия в строгой обрядовой форме, безусловно, сказывались на общей атмосфере Малой Садовой.

В конце апреля 1965 года произошло ещё одно эпохальное событие. Владимир Эрль с Александром Мироновым прямо с Малой Садовой пошли и сели на третий номер трамвая, который шёл до мясокомбината, и уехали... в Москву. Вернулись они через месяц на электричках. В день их отъезда мне пришлось идти сначала к родителям Эрля, потом к родителям Саши Миронова объяснять, почему их дети не пришли домой. В Москве они познакомились со СМОгами и завязали контакты со многими московскими литераторами (тогдашнюю встречу с Эрлем упомянул М. Н. Соколов в своих воспоминаниях, напечатанных в НЛО). Стихи Владимира Эрля и Александра Миронова были напечатаны в «Сфинксах», а потом в «Гранях» (и это был уже криминал!). Это стало очень важным этапом «вхождения» поэтов Малой Садовой в литературный мир.

Именно тогда, в мае, появляется стихотворение Эрля «Обмакнув в воду перья крыл...», посвященное Леониду Аронзону. Это стихотворение свидетельствует об обретении Эрлем своего поэтического стиля и об отказе от присущих его ранним произведениям экспрессионистических настроений с их экзистенциальной окраской. Можно сказать, что такие настроения были общими у всех поэтов Малой

Садовой. Для Миронова переломным стало написанное в 1966 году стихотворение «Белой ночью...»:

Белой ночью от гимна до гимна
можно видеть усопших майоров
с блескотнёй их душ голубиных,
с воркотнёй их мундиров мореных.
Над балтийско-советской волною
раскололи хребет партизану.
Вы плывите, и шведы, и финны,
вы поститесь, евреи, — глазами.
Вы не бойтесь, герои, опричнин, —
эту ночь государство заводит;
здесь и кошки, и дети по крышам,
как майоры усопшие, ходят.

Со сборника «Fioretti» (хотя, скорее, и еще раньше) начинается ещё одна важная линия — связанная с личностью Александра Прокофьева. Прокофьев задумал написать «Братьев Карамазовых», и мы верили, что он сможет это сделать. Для нас Достоевский обладал абсолютной реальностью. Всё просвечивалось Достоевским: он объяснял, что происходило с нами в любое мгновение. Были важны не столько персонажи, сколько типы сознания: Ставрогин, Подросток, Раскольников. Мы прочитывали «Записки из подполья» как вчера написанную книгу. Любимый вопрос, которым мы проверяли друг друга: «Ты виноват или все виноваты?» Это сразу стало отражаться в сочинениях Миронова. Вот, например, стихотворение, написанное летом 1966 года после их совместной поездки с Прокофьевым в Выборг:

О Выборг, крайний из клевет,
с дымком на блюде тополей,
твой воздух белый, как билет
в интимный склеп, как в кабинет
искусных Гофмана затей.

Флажками гота сдобрен Спас, —
пасхальный город в праздник красный,
твой сон ушёл дымком из нас, —
но крестным ходом сдобрен час,
и он явился Пасхой праздной.

Ты спутал, православный, сны,
хоругви с рожей транспаранта,
звон с лихолетьем тишины,
и крестный ход — с кругами Данта...

Прокофьев писал тогда прозаическое сочинение «Построчки — туалетная сласть». Уже в самой заглавии, понятно, видна стилистика Достоевского. Речь там шла о некотором стоящем в стороне известном строении, где время от времени менялись местами соответствующие буквы, так что каждый новый посетитель оказывался в ситуации выбора — естественно, экзистенциального. Это сочинение, кажется, так и не было дописано. Но замысел его показателен. Тогда, в начале 1960 годов вся Европа билась над проблемой выбора.

Одним из ключевых слов, характеризующих личные отношения, было «эксперимент»: «Ты ставишь надо мной эксперимент». Из этого следует, что отношения были далеко не простыми. Часто инициатором психологических экспериментов становился Александр Прокофьев. Это отталкивало Владимира Эрля, он не был сторонником столь жесткого интеллектуального углубления, чреватого непредсказуемыми последствиями. Вот пример такого «эксперимента». Как-то уже в самом конце 1960-х мы с Прокофьевым шли от Аничкова моста вдоль Фонтанки к цирку. Что-то обсуждали — кажется, последнюю, четвертую, «Семиотику». Нужно сказать, что я тогда увлекался (и, наверное, чрезмерно, потому что потом это увлечение вызывало справедливые нарекания моих университетских учителей) чтением тартуских семиотических трудов. И вот в разговоре Прокофьев говорит мне, что я вполне мог бы быть автором «Семиотики». Известно, что тщеславие — всепоглощающая и губительная страсть. Я понимал, что сказанное им — всего лишь очередной «эксперимент», что — и не только по молодости — я вряд ли смогу написать что-либо ученое, не говоря уже о семиотическом. И все же на какое-то мгновение я, наверное, поверил ему — его авторитет был слишком велик для меня — и принял этот яд тщеславия. И хотя в середине 1980-х мне довелось подготовить для одного из томов «Семиотики» публикацию важного текста, я до сих пор не могу без стыда вспоминать этого укола тщеславия, который был подготовлен Прокофьевым — но выбор ведь оставался за мной. И при всем том я очень многим обязан Прокофьеву. Один его дар, дорогой для меня, — крестик, освященный в Почаеве, — был всегда со мной до самого последнего времени, почти сорок лет.

Царила атмосфера невозможных событий. В 1962 году на Каннском фестивале Золотую пальмовую ветвь получил фильм Дуарте «Обет». Сюжет был следующий. Бразильский крестьянин дал обет пронести крест к городскому кафедральному собору, пройти дорогу длиной в крестный путь, если исцелится его осел. И принёс крест ко воротам собора, но его не пустили внутрь. Им всеми брошен, предан и покинут, и в конце концов его убивают. Тогда негры кладут его тело на крест, разбивают ворота и вносят в собор. Этот фильм произвёл потрясающее впечатление! И вот Александр Прокофьев решает пройти крестный путь (и для этого у него были свои причины). Он поехал в Пушкин, сколотил крест и пронес его до главной Пулковской высоты, где и поставил. Эту историю рассказывал А. Чуринин.

Всё было всерьёз, взаправду. Показателен и такой эпизод, о котором упомянул Валентин Олегович Петрунин в 1999 году на вечере в Фонтанном доме, посвященном Малой Садовой. Однажды Рыбаков и Прокофьев решили стреляться, но не на пистолетах, а на охотничьих ружьях, поехали за город, взяли с собой, кажется, даже врача. Стреляли, конечно, в воздух. Но, когда они приехали обратно на Малую Садовую, свидетели отметили только одну деталь: у одного из них зубы стучали о кофейную чашечку... Настолько все было всерьёз.

Мы вместе отмечали дни рождения у Дм. Макринова, у Владимира Эрля, у Романа Белоусова. Музыка играла существенную роль. Как герои романа Г. Гессе «Игра в бисер» (для нас этот роман был значим), мы слушали прежде всего старинную европейскую музыку. Тогда были неплохие венгерские, польские, гэдээровские, то есть из Восточной Германии, издания лучших записей классической музыки. Позднее появилась рок-музыка, мы её, конечно, слушали, пытались писать тексты (Андрей Гайворонский много работал с «Россиянами», а Мионов в начале 1970-х создал целый ряд текстов (например, стихотворение «Авва мой, дитя с глазами скворца...») для композитора Валерия Арузманова, но из этого предполагавшегося сотрудничества так ничего и не вышло). Как это теперь ни парадоксально звучит, но тогда русский язык еще не ложился на рок-музыку.

На Малой всё обсуждалось. К примеру, когда я ушёл с работы, именно там меня пристроили в университетскую библиотеку. Это тоже было особое место, кто здесь только ни работал: Тамара Буковская, Евгений Звягин, Владимир Эрль, Дм. Макринов, Александр Миронов, Юра Алексеев (ученик Константина Кузьминского), Женя Кришталь... Или такой пример. От работы году в 1966 мы должны были ехать на экскурсию в Тарту, где я никого не знал. Я зашёл в магазин «Старая книга» на углу Невского и ул. Герцена (Большой Морской). У прилавка стояли люди с Малой Садовой. Я сказал, что еду в Тарту, и спросил, к кому там можно обратиться. «Ну как же, — мне тут же ответили, — ведь там Сеня Рогинский». Мы с приятелем, приехав в Тарту, зашли в университет. Как раз Ю. М. Лотман читал лекцию из своего курса по истории культуры. После лекции нас подхватил Арсений Борисович Рогинский, устроил на ночлег на матрасах в студенческом общежитии, там же я познакомился с Габриэлем Суперфином, также учеником Лотмана.



День рождения Владимира Эрля. 1971 г. Николай Иванович Николаев, Ирина Месс, Александр Миронов (слева направо). Фото Б. Кудрякова

С самого первого дня на Малой Садовой присутствовал и некий игровой момент, который точнее можно обозначить как шутовское начало. Один из самых любимых наших романов тогда — «Шутовской хоровод» О. Хаксли (прочитанный нами еще в переводе 1936 года). Цитировали мы и нелепицы русской литературы, начиная с К. Пруткива, наивных поэтов, которых так любил Д. Хармс, поэзию нарочитого примитива, вроде поэм Александра Шейдина. Одним из любимых занятий было коллективное посещение новинок советского кино, особенно тех, где торжествовал абсолютный китч. Так, в 1968 году мы совершили культпоходы поочередно на все четыре серии фильма «Щит и меч», поставленного по роману известного советского писателя Кожевникова В. Басовым, далеко не простым режиссером и нетривиальным актером. С упоением, другого слова и не найти, мы читали и зачитывали вслух целые страницы из романов Ивана Шевцова «Тля»

(1964), «Во имя отца и сына» (1970), «Любовь и ненависть» (1970). А Эрль выписывал журнал «Корея» и более «серьезный» — «Новая Корея» (подписчиков на эти журналы на весь Ленинград было всего десятка два) и пропагандировал «серьезной миной на лице идеи чучхэ. Это был своеобразный соцарт в жизни, только соцарт — читательский и исполнительский, вполне реальный, но в своей игре не переходивший грани реальности. Можно (и нужно) шутить с текстами, но не с самой реальностью. Когда игровой соцарт осуществляется всерьез, происходит нечто трагическое, как случилось в 1990-е с Курёхиным и Лимоновым.

Жанр хэппенинга тогда еще не был известен отечественному искусству, но мы его активно практиковали в жизни. Например, садимся с Владимиром Эрлем в автобус, проходит какое-то время, и Владимир Эрль начинает прилюдно, на весь автобус, меня стыдить: «Почему ты, Коля, не заплатил за билет? Коля, что о тебе подумают! Ведь тебя учили в школе!». Автобус весь поворачивался к нам: в этом, собственно, и заключалась интрига.

Мы все увлекались кино. Это было время «новой волны» французского кинематографа. Мы следили за всеми новинками, знали о том, что идут съемки «Андрея Рублева» А. Тарковского. В журнале «Искусство кино» в те годы публиковались замечательные статьи И. Соловьевой, В. Шитовой, М. Туровской

и др., где под видом анализа давались подробнейшие, покadroвые пересказы фильмов. При нашем обостренном восприятии, мы ещё до того, как увидели фильмы Феллини или Годара, знали их содержание буквально по кадрам. Одно из важных событий первого года Малой Садовой — фестиваль польского кино весной 1965 года, когда мы впервые увидели фильмы Анджея Мунка «Пассажирка» (1961), А. Вайды «Пепел и алмаз» (1958) «Как быть любимой» Войцеха Хаса, вскоре снявшего «Рукопись, найденную в Сарагосе». За этим последовал фестиваль французского кино. Тогда привезли фильм Филиппа де Брока «Человек из Рио» с Ж.-П. Бельмондо (1964), и это был совершенно новый тип боевика. Одно из самых сильных впечатлений произвел на меня, и не только на меня, фильм «Любовники из Теруэля» с декорациями в духе Сальвадора Дали (1962, реж. Р. Руло, — экранизация балета Теодоракиса) — к сожалению, теперь забытый



Арсений Рогинский. Тарту. 1960-е гг.

не только у нас, но и на Западе. Темы отчуждения и одиночества, свойственные искусству сюрреализма, демонстративная асоциальность были характерны и для нашего творчества тех лет. Помню, когда у меня 14 марта 1965 года был устроен день рождения и пришли мои новые друзья по Малой Садовой, то Прокофьев с Мироновым опоздали, опоздал и мой старый друг Илья Черняк: они явились с очередного просмотра французского фестивального фильма.

Потом, через несколько лет, в университетской библиотеке мы посещали кино клуб и посмотрели «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене, «На последнем дыхании» и «Карабинеров» Ж.-Л. Годара, «Жюля и Джима» и «Нежную кожу» Ф. Трюффо («Четыреста ударов» были в нашем прокате), а также фильмы Кокто. Нас привлекала чрезвычайная изощрённость киноязыка французской «новой волны». Когда в 1967 году появился кинотеатр «Кинематограф» в (ДК им. Кирова на Большом пр. В. О.), стали показывать фильмы немецкого экспрессионизма, а затем и кинофильмы 1930-х — начала 1940-х годов (Ж. Виго, М. Карне, Ж. Ренуара, Л. Бунюэля и др.), мы увидели истоки этого киноязыка.

К этому времени уже был прочитан Заболоцкий, и образовалась могучая кучка, назвавшаяся хеленуктами (1966 год), вдохновителями которой были Владимир Эрль и Дмитрий Макринов. Я же был их оппонентом. Именно в хеленуктических творениях полностью раскрылся ирои-комический поэтический дар Дм. Макринова. В этом можно легко убедиться, раскрыв изданную Вл. Эрлем в 1993 году книгу «Хеленуктизм». Но этот ирои-комический стиль сложился раньше. Уже в 1965 году появились первые шедевры Макринова, написанные в этом духе. Нужно сказать, что Виктору Хейфу в эту хеленуктическую эпоху очень нравилась пьеса Эрля и Макринова о неких лесных персонажах, сплошь написанная скоромным слогом. Причем нравилась настолько, что он всякий раз при встрече с ними просил Эрля ее прочитать. Известно, с каким неподражаемым артистизмом читает Эрль — и не только свои сочинения. Так что совсем не случайно Вл. Эрль сделал Хейфа главным героем своей повести*. Как показало время, это направление — хеленуктизм — оказалось наиболее продуктивным среди прочих и ярко сказалось в последующем творчестве всех его участников.

Возвращаясь к теме кинематографа, хочу рассказать об одной немаловажной для меня встрече. Однажды я пришёл в гости к Михаилу Юппу, жившему на Петроградской. В это время у него дома был кинорежиссёр Александр Стефанович. Тогда он еще учился во ВГИКе, в мастерской С. Герасимова. Мы познакомились, разговорились и, выйдя от Юппа, продолжали беседовать ещё часа три на улице. Тогда он мне впервые пересказал фильм «Затмение» М. Антониони и «Этот безумный, безумный, безумный мир» Стэнли Крамера. От него я впервые услышал имя Сергея Параджанова и узнал о его фильме «Тени забытых предков». Правда, о Параджанове он говорил не без некоторой снисходительности, вызванной, возможно, высокомерием вгиковской аудитории: якобы Параджанов принес отснятый материал монтажёру и сказал, что не знает, что с ним делать. И наконец рассказал об «Аталанте» Жана Виго: «Каков Мишель Симон и какая высокая эротика!» Я привел Стефановича на Малую Садовую, где он со всеми познакомился. В это время он вместе с грузинским режиссёром Омаром Гвасалия снимал свой дипломный фильм. Это была документальная телевизионная лента «Все мои сыновья», где разные люди — а среди них и школьник Миша Генделев, будущий поэт — отвечают на общежитейские вопросы.

* Владимир Эрль. В поисках за утраченным Хейфом. СПб., 1999; Николаев Н. И. О подлинности Виктора Хейфа в повести Владимира Эрля // НЛО. 2006. № 5 (81). С. 282–292.

В этом фильме Стефанович снял Сашу Прокофьева и Сашу Миронова, они фигурируют в сценарии как «Саша—маленький» и «Саша—большой». Их снимали, кажется, прямо на улице у киностудии или телецентра. Здесь, для документальности, лучше воспроизвести текст сценария, так как даже сценарная запись, не говоря уже о кадрах фильма, все же передает, хоть и отрывочно, неповторимую ауру Малой Садовой тех лет. Кроме того, о том, что в этом фильме запечатлены люди Малой Садовой, просто забыли:

«Университет. Лестница в здании философского факультета. Двое молодых людей сидят на ступеньках. Курят. Один в очках, маленький, небритый, с колючим взглядом. Шея его замотана шарфом. Другой — его полная противоположность: высокий, широкоплечий, без очков. Глядит вокруг то ли беспомощно, то ли с сожалением. Всем своим видом оба выказывают полное равнодушие к происходящей киносъемке. На вопросы репортера, который сидит тут же, на лестнице, отвечают с усталой вежливостью.

Репортер. Как вас зовут?

Первый [Прокофьев]. Саша.

Репортер. А вас?

Второй [Миронов]. Тоже Саша.

Репортер. Чем вы занимаетесь?

Первый [Прокофьев]. Мы студенты.

Репортер. Вы счастливы?

Первый [Прокофьев]. Да как сказать. Это очень сложный вопрос.

Репортер. Ну, какие условия необходимы для того, чтобы вы могли назвать себя счастливым человеком? Вот вы, Саша.

Второй [Миронов]. Мне кажется, для того чтобы мне стать счастливым, я должен отказаться от парадоксальных решений.

Репортер. А вам?

Первый [Прокофьев]. Наверное, покой.

Репортер. А что бы вы делали, если бы у вас оказалась неограниченная сумма денег? Как бы вы построили свою жизнь?

Первый [Прокофьев]. Мне не нужна неограниченная сумма денег.

Репортер. Ну а все-таки?

Первый [Прокофьев]. По-моему, это бессмысленный эксперимент. Я даже не представляю, как бы я это делал.

Репортер. А вы?

Второй [Миронов]. Вероятно, я тоже <...>

Саша второй [Миронов]. Пожалуй, съездил бы куда-нибудь...

Репортер. Куда?

Второй [Миронов]. Во Францию.

Первый [Прокофьев] *(не желая отставать)*. А я бы в Италию.

Репортер. А что бы вы купили себе в первую очередь?

Второй [Миронов]. Во Франции я бы приобрел все произведения Алена Роб-Грийе <...>

Репортер. Кто ваш самый любимый писатель?

Саша первый [Прокофьев]. Достоевский.

Репортер. У вас?

Второй [Миронов]. Фолкнер.

Репортер. Ну а все-таки что такое счастье?

Первый [Прокофьев]. Счастье — это стремление к радости, мне кажется. Причем движение к радости не в пустоте, а довольно сложном мире. Но, кстати, этот вопрос о счастье можно связать с вопросом о любимых писателях, потому как

Достоевский и Фолкнер как раз создали такой мир. В котором можно выжить и в котором возможно стремление к радости...

В т о р о й [Миронов] (*подхватывая*). Достоевский очень хорошо понял ортодоксальность русской души, стремление к ортодоксальным решениям...»*.

В этих немногих репликах отразились, помимо особенностей характера отвечавших, ключевые имена и темы разговоров на Малой Садовой: Достоевский, Фолкнер, французский «новый роман», парадоксальность, эксперимент, ортодоксальность (православность).

Мне довелось присутствовать и при других событиях, когда на Малой Садовой появились новые люди: Коля Аксельрод, его брат Борис (Констриктор), фотограф Гран Борис (Кудряков). Там же произошло знакомство с Константином Кузьминским... Приходил Алексей Александрович Козырев, брат знаменитого астронома, человек сидевший, многое в жизни повидавший, помнивший ещё довоенный МХАТ. А еще раньше Владимир Эрль познакомился с Алёшей Хвостенко и Анри Волохонским. Так постепенно круг общения увеличивался, и раздвигались, так сказать, литературные горизонты.

Привел я и своего брата Сергея. Он тогда был увлечён рисованием карикатур. Одна из его карикатур, под названием «Детство», была опубликована в журнале «Аврора». На ней была изображена лампочка, и внутри неё на прикрепленных к нити накаливания качелях качался жизнерадостный ребёнок. Когда вышел журнал, все на Малой Садовой к Сергею подходили, жали руку и благодарили. Детство без воздуха — это только одна из возможных тем этой карикатуры.

Среди малосадовцев имела успех и карикатура художника Ю. Галёцкого (не путать с литератором Юрием Галецким), прозванная Эрлем «Детство Тёмы»: у забора мочится мужик, у его ног образуется ручей, неподалёку сидит на корточках мальчик и пускает в этом ручье кораблик. В этих карикатурах уже присутствовало то, что позднее стало называться московским концептуализмом.

Малая Садовая просуществовала примерно до 1974 года, когда закрыли кафе-терий и все разошлись. Но выбор индивидуальных путей произошел много раньше: Евгений Вензель перешёл в «Сайгон», Роман Белоусов стал ближе к Аронзону, Тамара Буковская вышла замуж...

В «Сайгоне» мы все бывали, но там был «свой» мир и «свои» люди, и той атмосферы интеллектуального единения, которая была присуща Малой Садовой, не было.

За годы Малой Садовой многое пережито. Когда мы порой встречаемся и начинаем разговаривать, то понимаем друг друга с полуслова. О «сборище друзей, оставленных судьбою» замечательно написал Александр Миронов:

В этом городе на лобном месте
тук припрятанный зарыт,
в этом городе, собравшись вместе,
мы искали ось или зенит:
ражий пес Трезор и крошка Цахес,
бледный Малакия, сукин сын,
и ловивший звезды, словно ахи,
злой пиит и буйный Арлекин.
Словно мухи, нежно, деловито

* А. Стефанович, О. Гвасалия. Все мои сыновья // ТВ — публицист. Сборник сценариев. М., 1971. С. 69—72.

мы искали первую любовь,
 атомы всевидца Демокрита, —
 чтоб, столкнувшись, не встречаться вновь.
 Все это не больно и не странно
 и совсем знакомо для души.
 Только память, как гофманиана,
 зазвучит в кладбищенской тиши,
 и придут, и встанут в отдаленьи,
 и падут перед собою ниц
 пять желаний, пять светоявлений,
 пятеро забывчивых убийц.

Борис Констриктор ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТИНКИ



Оглядываясь на прожитую жизнь, с удивлением понимаешь, что она нерассказуема.

Наша юность прошла в лирическую эпоху, когда мир еще не сломался окончательно (по терминологии чеховского Фирса, до «несчастья»). Было еще относительно вегетарианское время, когда казалось, что от тебя хоть что-то зависит. Процесс глобализации только набирал обороты. Выбор был делом всей твоей жизни. В паруса человечества дул экзистенциализм.

Теперь очень трудно адекватно воспроизвес-

ти сумеречную гармонию коммунистической пасторали, уют карточного домика рушащейся империи.

Те немногие, кому было не по пути не только с большинством, но и с меньшинством тоже, часто оказывались на Малой Садовой, где паслась разношерстная компания: поэты, прозаики, художники, лица духовного звания, философы, филологи, йоги, актеры, буддисты и честные пьяницы. Меня туда привел мой двоюродный брат Коля Аксельрод, впоследствии снискавший широкую известность в узких кругах как поэт и прозаик, под псевдонимом А. Ник. Он же притащил туда своего приятеля, понемногу промышлявшего фарцовкой, Витю Гуля и коллегу по фотоучилищу Бориса Кудрякова. Самому А. Нику поведал о Малой

Садовой Александр Луппов — инженер, дизайнер, а впоследствии инструктор по горнолыжному спорту.

Общительность Коли тогда была широка, как родная страна. Он завел приятельские отношения с десятками молодых изгоев.

Колоритной фигурой того «великого противостояния» (о катастрофическом потеплении не было ни слуху ни духу, сидение в садике на скамейке — нечастая роскошь, поэтому в основном приходилось вести перипатетический образ жизни) был Валерий Шведов. В кофейне он иногда устраивал маленький спектакль (перформанс, если следовать современной терминологии). Попивая четверной кофе, невинно гремел листом жести. Периодичность интервалов была спонтанной. На возмущенные возгласы ошалевших ревнителей порядка следовал ответ: «Никого не трогаю, починая примуса». Роман «Мастер и Маргарита» был свежим впечатлением.

Боевой подругой Валеры и неизменной участницей жестяного перформанса была тогда художница Наталья Черногорова. В отличие от многих из нас Шведов обладал собственной комнатой на улице Союза («самиздатских», шутили продвинутые гости) Печатников. О времяпрепровождении хозяина и его друзей-приятелей любопытствующие могут узнать из рассказа Бориса Кудрякова, открывающего книгу «Лихая жуть».

Процветало хэмингуэевское житье-питье. Для разгона нужен был рубль. Цены -то шадящие. Закусывали сигаретами и беседами. Мы были еще интересны друг другу. Романы раздувались и лопались с быстротой мыльных пузырей. Хромой А. Ник быстрее всех бежал за троллейбусом, а неумолимые время и судьба вразвлочку шли за нами, зная, что своего не упустят никогда.

Уже в начале семидесятых Малая Садовая распалась. Кто-то уехал (как А. Ник в Прагу), кто-то женился-остепенился, кто-то переехал в новостройки, кто-то сел. Не мытьем, так катаньем жизнь раскидала шумную компанию по разным уголкам мироздания.

И каково же было мое изумление, когда несколько лет назад я получил из Праги от брата Коли воспроизводимый здесь рисуночек Наташи. Вот мы (слева направо) у витрины «Кулинарии»: Витя Гуль, А. Ник, я. А спиной к зрителям — сама Н. Ч. 16 ноября 1971 года.

Господи, помилуй нас грешных!

СПб
Черная
е
ч
к
а

Илья Черняк

ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОГО НЕЛИТЕРАТОРА

Мои воспоминания о поэтах Малой Садовой весьма специфические. Я, не будучи литератором, принадлежал к тем посетителям этих собраний, о которых Владимир Ибрагимович Эрль сказал, что они были «только благодарными слушателями или зрителями, иногда (надеюсь, что я принадлежу к их числу — И. Ч.) просто приятными собеседниками»*.

* Цит. по: Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е. Литературная энциклопедия. М., 2003. С. 425.

Постоянное посещение кофейни на Малой Садовой и встречи там относятся к четко определяемому периоду — это последний класс школы и первый курс университета, то есть 1964—1966 годы. Все началось летом 1964 года, когда Коля Николаев привел меня к своему приятелю, Роману Белоусову, с которым он учился в школе, еще до переезда на новую квартиру. Роман дал мне почитать свои стихи, которые были переписаны в тетрадь, оформленную как печатный сборник. На рисованном титульном листе местом издания был назван Петербург (sic!). Это был первый прочитанный мною поэтический опыт литератора, связанного с кругом Малой Садовой. У Романа над письменным столом висела репродукция картины Ван Гога «Пейзаж в Овере после дождя» из Пушкинского музея в Москве. Я ее очень люблю, и у меня сразу возникла симпатия к этому человеку. Мы (то есть Николай, Роман и я) встречались в тот год несколько раз, бывал с нами еще и одноклассник Николая Боря Аракчеев (нынешний директор Музея истории религии). Борис, насколько я помню, на Малой Садовой был, как и я, посетителем и собеседником. Тогда он был увлечен символистской поэзией, особенно Дмитрием Мережковским, — на этом мы с ним и сошлись.

Помню забавную сцену в кафе «Белые ночи» на Садовой, знаменитом позднее тем, что в нем в 1971 году музицировал Дюк Эллингтон, когда приехал с одним концертом в Петербург. В кафе у нас возникли какие-то сложности, официантка начала нам грубить, и тогда Аракчеев, встав со стула, сказал: «А вы знаете, кто у меня папа?» На что официант дерзко ответила: «Мне плевать. Хоть генерал!» И Борис выдает: «У меня папа — Аракчеев!» Как ни странно, она немного смутилась. Что-то, видимо, зашевелилось с мозгу. Возможно, генетическая память сработала или возникли какие-то школьные воспоминания... В тот же день мы пошли гулять к Михайловскому саду. Была весна, сад был закрыт на просушку, и мы перелезли через забор. И тут оказалось, что сад охраняют собаки, которые бежали на длинных цепях. Одна была настолько близко, что, казалось, вот-вот схватит кого-то из нас зубами. Аракчеев задрал брюки и сказал: «Пускай едят. Мясо нарастет, а брюки жалко, они новые». Эта фраза почему-то запомнилась.

На Малую Садовую меня привел тоже Николай. Дело в том, что многие из нас тогда ходили в юношеский читальный зал Публичной библиотеки на Фонтанке, располагавшийся в здании Екатерининского института, в той части, которая ближе к Шереметьевскому дворцу. Библиотека работала часов до девяти, и после закрытия мы шли пить кофе.

(Мне представляется, что тут нужно учитывать еще одно очень важное обстоятельство: чтобы люди стали ходить в кофейню, их надо сначала приучить пить кофе. Истоки этой, с позволения сказать, моды, следует искать, с моей точки зрения, во временах более ранних. До середины 1950 годов у нас был кофе только двух видов: «кофе черный молотый» и «кофе молотый с цикорием» (оба вида были расфасованы в картонные коробки). К нормальному кофе эти напитки имели весьма отдаленное отношение. По-настоящему кофепитие начало практиковаться лишь тогда, когда в 1958 году (так подсказывает мне память) на нечетной стороне Невского, в доме 81, почти у Московского вокзала, открылся магазин «Чай — Кофе», где стали продавать кофе в зернах, и там же можно было его размолоть. Тогда публика к кофе и пристрастилась. Появление первых кофеварочных машин «Espresso», сделанных в Венгрии, но по итальянским лицензиям, довершило эту «кофейную революцию» — такого по вкусу кофе советские граждане до этой поры не знали.)

Для меня эти встречи были поводом увидеть Николая. Мы с ним до девятого класса учились в одной школе, потом по воле родителей, которые пытались за нас планировать наше будущее, оказались в разных. Кто ввел в малосадовскую компанию Николая Ивановича, мне сказать трудно. Но точно знаю, что вместе с ним

там появились ребята, которые учились с ним в одной школе: Саша Прокофьев (сейчас рукоположен в священники), Дима Макринов (тоже ныне священник) и уже упоминавшийся Боря Аракчеев.

Собирались на Малой Садовой еще и другие люди, уже никак не связанные со школой Николая: Володя Эрль, Саша Миронов, Валя Петрунин. Старшее поколение, своеобразные хранители традиций (они были знакомы с И. А. Бродским), Миша Юпп и Виктор Хейф держались несколько особняком. Средними по возрасту были Саша Чурилин и Женя Звягин, которые вели себя более демократично. Часто приходил Мирон Саламандра, но я едва был с ним знаком. Впрочем, сейчас, глядя на список, приведенный в энциклопедии «Самиздат Ленинграда», я понимаю, что был знаком с очень небольшим кругом собиравшихся там литераторов.

Обычно, приходя на Малую Садовую, сразу шли в кофейню. Выпивали по первой чашке кофе и выходили на улицу, ожидая других знакомых. Пять копеек стоил простой кофе, восемь копеек — двойной (без сахара на две копейки меньше). И надо сказать, что «кофейницы» нас знали, кого по именам, кого в лицо. Причем после того, как ты выпивал какую-нибудь пятую или шестую чашку, они кричали: «Хватит! Тебе не дадим!» И бывали случаи, что действительно не давали. В кулинарии было несколько отделов: в одном продавали кофе и легкие пирожки (с рисом, слоеные языки и волованы), в другом — пироги серьезные (кулебяки, пироги с капустой и т. д.). Для того чтобы взять, скажем, кофе и кулебяку, надо было выбивать лишний чек, а это неудобно, да и брать в другом отделе «серьезный» кусок считалось нарушением стиля: «Мы же не ешь сюда ходим!» На улице обычно курили и там начинались беседы. Когда собиралось уже несколько человек, снова шли пить кофе, после чего совершали более длительную прогулку. Зимой часто курили в вестибюле Радиокомитета. Там довольно долго весьма терпимо относились к дыму, но однажды начались гонения и нас повели в милицию.

Когда нас вели, почему-то зашел разговор про любимую песню Владимира Ильича. Предположили, что это «Вы жертвою пали». Но чувствовалось, что тут что-то не так. И тут меня осенило. «Нет, ребята, — “Замучен тяжелой неволей”». Кто-то из нас загнусавил, и под эту песню мы в милицию и пришли. Когда в отделении нас попросили предъявить документы, ни у кого не оказалось никаких документов, кроме читательских билетов Публичной библиотеки. К общему удивлению, это позволило отделаться назидательной беседой. Нас пристыдили и отпустили без каких-либо записей и протоколов.

Что касается горячительных напитков, то бывали случаи, когда с собой приносили какие-нибудь бутылки. Основным напитком тогда было сухое вино — как правило, белое. Насколько я помню, особого пьянства там не было. Даже люди постарше нас, такие как Миша Юпп, скорее имитировали пристрастие к спиртному, нежели были ему действительно подвержены. Иногда, когда водились деньги, ходили в «Север» и там заказывали сухое вино. В связи с этим запомнился один эпизод. 1 января 1965 года мы сидели в «Севере» с Сашей Мироновым. Неожиданно пришел Миша Юпп. Он изображал из себя человека, который испытывает страшное похмелье (причем, судя по его виду, это было сильное преемление), жаловался, что плохо встретил Новый год, и говорил, что ждет Рождества. Пожалуй, тогда и состоялся единственный наш с ним серьезный разговор о литературе, который закончился рассказами о его друзьях-поэтах: Иосифе Бродском и Викторе Хейфе.

Главный наш маршрут проходил по Малой Садовой на Манежную площадь, в садик, где стоял знаменитый «Эдипов комплекс». Это была гипсовая статуя, изображавшая мать, на которой гроздьями висят дети. Рядом со статуей стояли скамейки, где мы обычно и сидели. На Невский, как это ни покажется странным, выходили редко.

Прогулки были поводом для бесед, в которых мы, в первую очередь, обсуждали прочитанное. Модным философским течением тогда был экзистенциализм. Меня это направление мало интересовало. Но, слушая споры о нем, я, к сожалению, понял, что разобраться в сути дела могу лишь с трудом, потому что тексты философов-экзистенциалистов, по вполне понятным причинам, оставались недоступными. Были какие-то переводы Сартра. «Слова» появились несколько позднее. В 1964 году была, правда, издана книжка Т. Шварца «От Шопенгауэра к Хайдеггеру», которую все читали, но изложение в ней было очень мутным — ее, видимо, затем и перевели, дабы показать, какая мерзкая штука экзистенциализм. Почему-то тогда к экзистенциализму причисляли и Ф. М. Достоевского и русских религиозных философов начала XX века, например Н. А. Бердяева. И вот это чтение имело для нас огромное значение. Через него пришел интерес к религиозным проблемам. В Публичной библиотеке дореволюционные издания выдавались свободно, статьи представителей русской религиозно-философской мысли были и в журналах «Новый путь» и «Мир искусства». Наиболее усердным читателем первого был Коля Николаев. Меня же Н. А. Бердяев интересовал и как критик марксизма. Еще учась в школе, я занимался в семинаре Матвея Александровича Гукковского, заведовавшего одновременно и кафедрой истории средних веков, и библиотекой Эрмитажа. И благодаря этому я получил возможность посещать эту библиотеку. Там-то я и прочел сборник статей Бердяева «Sub specie aeternitatis» («С точки зрения вечности»). В нем была статья «Катехизис марксизма», в которой Николай Александрович подверг уничтожающей критике «Анти-Дюринг» Ф. Энгельса. Этот разбор марксизма, демонстрация его несостоятельности были очень интересны и притягательны. Ведь уроки обществоведения уже привили стойкую антипатию к этой доктрине. Впрочем, последователи марксизма были и среди посетителей Малой Садовой. Так, свою приверженность ему выказывал Саша Прокофьев. Правда, кончилась она довольно быстро, и Прокофьев первым перешел на христианские позиции, а за ним последовали Саша Миронов и, по-моему, Валя Петрунин. В этом было много эпатажа. Например, Прокофьев и Миронов были исправными посетителями концертов ансамбля «Мадригал», который, как правило, в первом отделении исполнял старинную западную музыку (от Ренессанса до рококо), а во втором — древнерусские сочинения (используя, видимо, реконструкции М. В. Бражникова). В первом отделении Прокофьев и Миронов чинно сидели на своих местах, но когда начиналось второе — вставали и, демонстративно хлопая стульями, покидали зал, показывая, что не могут терпеть столь кощунственного исполнения литургической музыки. Но показная сторона религиозности быстро прошла. Недаром из этого круга вышло два священника и довольно много истинно верующих людей. Несколько позже там появились братья Танчики, Сережа и Вадим. Они были знакомы с мариенбургским священником, отцом Петром, к которому многие стали ездить, а кое-кто там крестился. Мы с Николаем были крещены еще в младенчестве, но в Мариенбург (это последняя станция перед Гатчиной) я несколько раз съездил. Впрочем, период религиозного увлечения прошел у меня довольно быстро. Я, как в ту пору многие, видел в церкви некую оппозиционную организацию, но довольно быстро знающие люди объяснили мне, что духовенство довольно тесно сотрудничает с властями, и это во многом охладило мои идеологические поиски в этом направлении.

В связи с экзистенциализмом вспоминаются разговоры о лекциях И. С. Кона. Я на них не попал, поскольку там была ужасная давка. Многим приходилось слушать лекцию, стоя на стульях, поставленных в дверях. И. С. Кон, конечно, фигура интересная, но многие из малосадовцев его поругивали, говорили, что он не на все вопросы мог ответить. А некоторые хвалились тем, что им удалось поставить его в тупик.

Я помню, что важным событием была публикация в журнале «Иностранная литература» статей, разбирающих книгу Роже Гароди «Реализм без берегов». Сама книга вышла несколько позже, в 1966 году, под блаженной памяти грифом «Для научных библиотек». Гароди тогда был марксистом, но, поскольку он пытался расширить пределы реализма до такой степени, чтобы втиснуть в него и Сезанна, и Пикассо, и Кандинского, и Кафку, его концепция показалась начальству опасной. Мы много говорили об этой теории с Сашей Мироновым. Особенности споры вызвало у нас положение, согласно которому сходные явления в культурах различных веков могут выступать то как некая патология, то как закономерное явление. Конкретно спор зашел о мысли Гароди, что Босх для рубежа XV — XVI веков являлся патологией, а Сальвадор Дали, вписываясь в такое значительное явление, как сюрреализм, для искусства XX века вполне естественен. Уже тогда серьезно интересуясь искусством Возрождения, я понимал, что концепция эта достаточно примитивна, что Босх, теснейшим образом связанный с религиозными течениями эпохи и нидерландским фольклором, более чем естественен для своего времени. Тем более что у меня уже тогда сложилось предубеждение в отношении Дали, работы которого я знал по очень плохим черно-белым воспроизведениям (впрочем, знакомство с оригиналами мало изменило мое отношение), тогда как Босх для меня был гораздо более интересным художником. Да и сама идея связать их воедино казалась мне весьма натянутой. Но само обсуждение этих проблем было для нас важным явлением, поскольку это был путь противостояния соцреализму.

Вообще, интерес к живописи более всего был присущ Коле Николаеву и Саше Миронову. И если с Николаем мы были почти единодушны в своих оценках и, самое главное, придерживались того взгляда, что интерес к современной живописи не должен приводить к отрицанию старых мастеров, то Саша отдавал явное предпочтение первой. Впрочем, те мастера прошлого, которые привлекали внимание художников XX века, были ему тоже интересны. Разделял он и мой интерес к творчеству Боттичелли, о котором я писал работу, занимаясь в секции истории искусства Клуба юных историков на историческом факультете (в 1990-х годах Володя Эрль вставил переписанный текст моего членского билета этого клуба в одну из своих книг), и в тоже время пытался привлечь мое внимание к М. Чюрленису. Синие папки с репродукциями работ Чюрлениса были тогда во многих интеллигентских библиотеках. Я для себя ничего интересного в его творчестве не нашел и убедился в этом еще раз, когда в 1984 году попал в Каунасскую галерею.

Мне было интересно разговаривать с Женей Звягиным. Он был тогда резким, колючим, пытался писать курсовую работу о Мандельштаме, которую не очень-то одобряло начальство. Тогда мы еще совсем мало знали о Мандельштаме. В расширении наших знаний огромную роль сыграли мемуары Н. Я. Мандельштам, с которыми я познакомился в декабре 1970 года, слушая их чтение в передачах по радио «Свобода». Я тогда служил в армии на финской границе, а там глушили слабее, и со слуха очень хорошо запомнил содержание первого тома, в чем убедился уже после возвращения, прочитав его в самиздатовском виде.

Что касается современной официальной русской литературы, и в первую очередь поэзии, то всякий интерес к тогдашним кумирам — Е. Евтушенко, А. Вознесенскому и Р. Рождественскому — у нас почти отсутствовал. Казалось странным, что, с одной стороны, эти поэты были официально издаваемыми, с другой стороны, официально ругаемыми, а с третьей стороны, по своей идеологии являлись вполне правильными советскими людьми. Впрочем, когда мы прочли стихотворение Е. Евтушенко «Нигилист», то признали, что хотя поэт он так себе, но понимает некоторые вещи правильно. Важную роль сыграла его нашумевшая «Автобиография». Многие исторические факты, в первую очередь

подробности похорон Сталина, мы узнали из нее. Для меня Евтушенко до сих пор, в первую очередь, автор этого сочинения.

Пожалуй, из официальной когорты только Б. Ш. Окуджава был нам более или менее близок, и надо сказать, что многие с ним были знакомы лично. В книге Андрея Гайворонского описывается визит к Окуджаве на Ольгинскую улицу, но несущественный редактор этой книги не знал, что Окуджава жил некоторое время в Ленинграде, и посчитал, что все это происходило в Москве*. В. Эрль и А. Гайворонский ходили к Окуджаве, а после визита зашли к Роману Белоусову, дома его не застали и написали на двери: «Эх, Рома, где ты гуляешь? А мы тут ходили к Булату Шалвовичу». Ничего серьезного из знакомства малосадовцев с Окуджавой не вышло. Ребята потом стали двигаться в другом направлении, да и Булат Шалвович перебрался в Москву. Авторская песня как разновидность поэзии, кажется, не привлекала никого из малосадовцев.

Помню, как Эрль и Миронов, сидя на железном козырьке, покрывавшем подоконник кофейни на Малой Садовой с уличной стороны, обсуждали стихотворение М. И. Цветаевой «Попытка ревности». (Саша пришел с томом «Литературной Москвы», в котором были опубликованы небольшие подборки стихов М. И. Цветаевой и А. А. Ахматовой.) К сожалению, я не помню деталей этого глубокого анализа. Но именно тогда я понял, что восприятие стихов поэтами во многом отличается от нашего, любительского. Запомнился и разговор с Володей Эрлем весной 1965 года во время нашей долгой прогулки: с Малой Садовой по Фонтанке, через Симеоновский мост, на Литейный. Разговор шел о поездке Эрля с Сашей Мироновым в Москву. Они побывали в гостях у Алексея Елисеевича Кручёных. Эрль рассказывал о его чудачествах: перед тем как направиться с моими друзьями в молочную столовую, Кручёных надел шляпу, которая лежала под ковриком при входе в комнату. Володя подробно изложил мне и рассказ Кручёных о смерти Велемира Хлебникова, которая произошла во время их совместного путешествия с П. В. Митуричем. Кроме того, рассказал о своей встрече с В. Я. Тарсисом и кругом СМОГ'ов. Тарсис, насколько я запомнил, хвалился тем, что у него целый чемодан с рукописями романов из истории итальянского Возрождения. Возможно, имелся в виду сборник новелл «Флорентийская лилия», который в начале 1960-х годов, после рецензии, полученной из Института мировой литературы, не был допущен к печати. Позже, уже находясь в эмиграции, Тарсис издал его на Западе.

«Скандал в Манеже» стал сигналом того, что опять начинается поход против всякого свободомыслия. Поэтому сама идея малосадовцев издавать альманах была опасной. Однако разговоры об этом плане, причем довольно открытые, будоражили и привлекали именно своей рискованностью. Иногда об альманахе практически кричали на всех улах. Не помню точно, кто, Юпп или Звягин, предлагал изобразить на обложке вид на памятник Екатерине, сделать номерные экземпляры и один из них послать прямо в спецхран Публичной библиотеки. Думаю, что этот разговор происходил еще до того, как возникло название «Fioretti». Уж слишком с ним не вязался такой рисунок.

Ну а стихи? Удивительно то, что моя память сохранила буквально считанные случаи чтения поэтами своих стихов. Обычно того, кому хотели показать свои новые сочинения, отзывали в сторону и вручали ему рукопись. Увы, я не был тем, с кем это случалось часто.

* Гайворонский А. В. «Сладкая музыка вечных стихов...»: Малая Садовая: Воспоминания. Стихотворения. СПб.: 2004. С. 17.

От этого времени осталось несколько шуточных фраз, например: «Маразм не догма, а руководство к действию», «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Мне особенно запомнилось одно его удачное *bon mot* Володи Эрля. Как-то у нас возник спор о том, случайность или закономерный ход событий привели Россию к Октябрьской катастрофе. Володя слушал внимательно, молча, и вдруг заявил: «Не надо было стенку пальцем тыкать!» Раздался общий хохот. Ведь все помнили описанный в школьных учебниках ответ Ленина на замечание жандарма: «Что вы, молодой человек, бунтуете? Ведь перед вами стена!» — «Стена, но гнилая. Ткни пальцем, развалится!»

Общение с малосадовцами стало угасать после моего поступления в университет. Религиозные вопросы, которые нас сближали, интересовали меня уже меньше. Ученые занятия способствовали появлению новых дружеских связей. И я все меньше стал бывать на Малой Садовой. Последние встречи там относятся к 1967 году. Осталась постоянной только дружба с Николаем Ивановичем Николаевым, который, влившись в круг моих новых университетских друзей, сумел сохранить и малосадовские связи. Чаще других я встречаюсь с Валей Петруниным и Женей Звягиным. Недавно, после многих лет, я виделся с Сашей Чурилиным, и нам было что вспомнить.

Определять место круга поэтов Малой Садовой в истории петербургской литературы я не берусь. Тем более что это уже сделали В. И. Эрль, А. В. Гайворонский, Н. И. Николаев и другие. Отмечу только, что общение с такими людьми, как Владимир Ибрагимович Эрль, Александр Николаевич Миронов, Дмитрий Борисович Макринов, Михаил Евсеевич Юпп, не прошло для меня бесследно.

«САЙГОН»



Рабочие устанавливают оборудование в кафетерии ресторана «Москва»

Эрик Горошевский

ТОЧКА ВХОДА В ИСТОРИЧЕСКУЮ ДРАМУ*

«Сайгон» для меня — это точка входа в историческую драму. Я режиссер — и потому все воспринимаю как драму. Выходящих из «Сайгона», выходящих из памяти недалекого прошлого, людей, которые мне близки и дороги, я воспринимаю как персонажей исторической драмы, декорацией коей явился «Сайгон»...

Если бы «Сайгон» на этом месте не возник, его стоило бы выдумать. Потому что это идеальное место, самое демократическое место города. Аничков мост — это граница города официального, граница города дворцов, граница города аристократического. А дальше начинался другой город, где совершенно иными были всегда взаимоотношения и людей, и архитектурных линий, этих таинственных перекрестков. Когда идешь по Владимирскому проспекту и видишь угол этого дома, то за этот угол хочется завернуть, а там — скос и дверь. И чрево, чрево «Сайгона», куда проваливаешься. Фасад остается фасадом, а внутри бурлит особая жизнь. Это поразительно таинственное место, убить которое можно только сняв все углы и построив площадь. Но сделать это невозможно — сам город будет этому сопротивляться.

Это место выстроено так, его масштаб таков, что даже при моей близорукости я могу через Невский на той стороне увидеть близкого мне человека. Я его ожидаю. Я здесь очень многих людей ожидал. Перекресток как место ожидания — это мистическая вещь.

Люди, которые собирались здесь, которые выбрали это место (а скорее даже — само место выбрало этих людей), входили во чрево «Сайгона» и становились героями исторической драмы.

Виктор Кривулин

КОФЕЙНАЯ КУЛЬТУРА*

В Ленинграде кофейная культура стала развиваться как вообще параллельная культура. Это совершенно особый способ существования: люди встречаются в кафе, пьют там кофе, а не чай. Домашняя культура — чайная, то есть чаепитие было как-то ритуалом. Пусть даже водку пили, но это все равно было чаепитие... Чай и водка — это как бы из одного ряда, на самом деле. А наркотики и кофе — это совершенно другой ряд. «Сайгон» — это поиски себя через другого. И сам ритуал питья кофе... И имитация ночной жизни днем. Пока не появился «Сайгон», мы так жили ночью. А в «Сайгон» входил, и первое ощущение — как будто со света во тьму; даже зимой, когда темно на улице, все равно... Ощущение, что ночь среди дня...

...Причем «Сайгон» — это все-таки ленинградское явление, это идея, которая связана с идеей будущей столицы. Минусовой столицы.

...Когда я пятнадцать лет назад ходил в «Сайгон», он никак не ассоциировался с культурой, наоборот. Кому-то я выговаривал: «Как, ты все еще в «Сайгон» ходишь?»

* Из беседы с Татьяной Ковальковой. Здесь и далее данным примечанием сопровождаются материалы, собранные Т. Ковальковой к телевизионной передаче «Что такое «Сайгон»?» (Из цикла «Петербургские истории») // Пятое колесо. 22 сентября 1988.

** Из беседы с Татьяной Ковальковой. 1988 г.

Прошло пятнадцать лет и оказалось, что эти случайные встречи за чашкой кофе и разговоры — все это превратилось в некую культурную систему. Оказалось, что «Сайгон» был местом, где сконцентрировалась в годы, которые мы называем застойными, ленинградская демократическая культура. Могу сказать, что из «Сайгона», на мой взгляд, вышло все самое интересное, что создавалось в те годы в Ленинграде, причем не только в литературе, но и в живописи, в музыке, даже в философии, ну и в каком-то смысле — в духовных исканиях ленинградской интеллигенции. Почему так вышло — трудно сказать. «Сайгон» — это ведь не «Ротонда», это не то место, где можно было уютно расположиться. В те годы сама наша жизнь была неуютной по сути своей, и в этом неуюте мы находили какой-то духовный импульс для творчества.



Виктор Кривулин. 1970-е. Фото В. Окулова

Мишель Понтон

ПАРИЖ — ЛЕНИНГРАД*

Об этом кафе мне рассказывала Татьяна Горичева, кроме того, я читал о нем в ее книгах, которые очень популярны у нас в Париже. Подобные кафе существуют и у нас, они посещаются людьми творческими, ищущими. В принципе, такие кафе складываются случайно, но они оказываются крайне необходимыми. Эти кафе предполагают философские и политические дискуссии, а наличие дискуссий такого рода — это уже признак настоящей свободы. Конечно, многие из ищущих людей ничего не нашли, а потеряли, но это не значит, что творческие поиски надо прекратить. Почему эти поиски идут у нас? Это знаменательно. Многие сегодня потеряли свои корни. Кто-то пытается их найти через обращение к церкви, но существует и такая форма — скажем, интеллектуального и духовного обмена. Через эти поиски они могут укрепить свое духовное начало, а это опора и в жизни. Без этой поддержки человек многое теряет.

Татьяна Горичева
СУМЕРКИ «САЙГОНА»*

*За столиком ресторана
Под музыку оркестровую
Профессор термано-западный
С Татьяной беседует Горичевой.*

*Она эрудит блестящий
У ней репутация тения.
Она переводит здорово
Гльдерена творения.*

Илья Левин (начало 1970 гг.)

Рильке писал, что Россия в отличие от других стран не постарела — это страна будущего и одновременно страна, в которой всегда свершается первый день творения. И мне кажется, что «Сайгон» символически репрезентует Россию как райское детство человечества. «Alles Vollendete fällt heim zum Uralten»**, — писал Рильке, да и многие другие поэты модернизма начала века говорили: все, что закончено, возвращается к началу. «Сайгон» и был таким модернистским явлением. Не постмодернистским, где нет ни начала, ни конца, а именно модернистским, поскольку в нем начало и конец совпадают. Все направления начала века — кубизм, фавизм, примитивизм, лучизм, дадаизм, даже Хлебников и обэриутство — возникли из стремления к истокам: к истокам языка, к истокам религии, к абсолютной простоте. И поэтому эти этапы искусства, с одной стороны — завершающие, во всем были, с другой стороны, устремлены к первому дню творения.

Сюрреалисты считали, что центр Парижа — это башня Сен-Жак, потому что она воплощает в себе как мужское, так и женское начало. Это одна из древнейших церквей, причем незаконченных, внутри неё сидел Паскаль, рядом жил Гюисманс, бродил Бретон — там творилась, так сказать, Вечность. И «Сайгон» был своего рода такой башней Сен-Жак, где обретались Паскали, Бретоны и прочие обэриуты, сюрреалисты, нигилисты... Нигилизм сайгонский, потрясающий все уровни бытия, был апофатическим нигилизмом: то есть не нигилизмом революционеров XIX века, которые непременно хотели всех свергнуть, расстрелять и убить, а очень позитивным нигилизмом — за которым скрывалось начало. Этот нигилизм отрицал абсолютно все, что принадлежит миру сему, и вместе с тем принимал все — принимал в преображенном свете. Хотя, казалось бы, этому свету и взяться-то неоткуда: культуры, нравственности, религии не существовало у нас в то время — традиция была абсолютно разрушена, русская традиция, европейская традиция, мировая традиция. Поколения без Бога... Когда я написала Хайдеггеру письмо, он был им потрясен, так как думал, что в России все живут либо в сумасшедшем доме, либо в тюрьме. И вдруг из этого сумасшедшего дома вырывается на волю безумие, святое безумие сайгонское. «Сайгон» воплощал все то, что происходило в стране...

Люди приезжали в «Сайгон» со всех концов, откуда-то из Кишинева, из Риги — в сущности, они были такие же, как и мы, сайгонщики. И мы неожиданно узнавали,

* Беседовала Юлия Валиева.

** Всё, что вершится, уводит века в древние были (перевод Г. Ратгауза). — *Примеч. ред.*

что есть и еще в России близкие нам по духу люди. Причем одновременно у всех было одно и то же ощущение: какого-то начала и одновременно завершенности, то есть вечности.

«Сайгон» был элементом Рая, первозданного бытия. Несмотря на то что все кругом страдали (и наиболее страдающими, наверное, были именно те, кто собирался в «Сайгоне») — не имея возможности нормально жить, не имея ни свободы политической, ни свободы читать, передвигаться, высказываться — внутри этого сакрального пространства, этого сакрального кафе, которое стояло на пересечении очень многих линий, происходило именно такое творение бытия.



Татьяна Горичева. 1980–1981 гг.
Фото В. Окулова

Я бы сказала даже, что «Сайгон» — это Ноев ковчег. Потому что Ноев ковчег с его «всякой твари по паре» — это и есть Рай, повторение Рая. Сайгонская публика — это режиссеры, поэты, музыканты, которые стали крупными знаменитостями; а еще, например, моряки, которые приходили из дальнего плавания и в «Сайгоне» за три дня пропивали абсолютно все. То есть там смешивались интеллектуалы и люди мещанского типа, для которых пребывание в «Сайгоне» становилось проникновением в антологическую щель. Это был тот самый хаос, о котором писал Ницше: «Только тот, кто носит в душе своей хаос, может породить пляшущую звезду». Ведь Петербург, хотя он и построен геометрически правильно, взвешенно, — город абсолютного хаоса.

Сама его геометрия призвана скрывать ужас, таящийся в основании Петербурга. И из этого хаоса вдруг, словно пляшущая звезда, рождается «Сайгон»... <...>

* * *

Очень важно для меня начало — каким оно было.

Я не помню точно, сколько мне было тогда лет: двадцать — двадцать один год. Я всю жизнь свою, с самого детства, читала книжки — другой жизни у меня не было. С утра до вечера книги. И вот как-то, выйдя в пять часов вечера из Публичной библиотеки, я заглянула в «Сайгон». И вижу: там бегает какие-то лохматые, совершенно не от мира сего существа и читают стихи! А все остальные: кто слушает, кто подпевает, кто танцует... О таком я только в книжках читала... Я в то время была последовательницей Камю, Сартра и экзистенциалистов, и в душе моей жила фраза Камю: «Человек — это вечная драма, это рискованнейшая авантюра». Но я думала, что у нас даже не с кем об этом поговорить, и пребывала в полнейшем внутреннем одиночестве, а когда зашла в «Сайгон», то увидела, что эта «рискованнейшая авантюра» творится прямо у меня перед глазами. Вдруг я поняла, что

на самом-то деле у нас несколько не хуже, чем в начале века, или чем при немецких романтиках, а может быть, даже лучше.

Я ведь с детства ненавидела все, что меня окружало, жила как зверушка какая-то... Притворялась, что я, так сказать, хорошая ученица, а на самом деле во мне зрело героическое отвержение всего: пускай я буду считаться сумасшедшей, буду сидеть в одиночестве и читать, не пойду замуж, не буду работать... Но положительных образцов я ведь и не видела! Когда я читала Сирано де Бержерака или «Овод», то думала, что этих людей и эту жизнь, наверное, в книжках и выдумали, а на самом деле жизнь бывает только такой, какую я вижу вокруг себя. И только в «Сайгоне» я почувствовала, что существует живая жизнь, жизнь — которая абсолютный риск, и что есть люди, которые рискуют и идут на все, и таких людей много... Оказалось, что есть настоящая любовь, есть дружба, есть радость бытия. И что мы — все вместе. Ведь даже если вспомнить книгу Иова — книгу страданий, протеста, крика, боли — то у Иова были единомышленники, были и традиции, а мы все вышли из полного одиночества, из пропасти, из ада...

Вот оно — соборное начало. Это был такой подарок! Мы были действительно счастливы. Ведь счастье — это причастие. <...>

...Потом, когда я путешествовала с докладами по всему миру, я везде искала «Сайгон» и не могла найти. Есть, конечно, прекрасные кафе в Париже, но там, где раньше бывали Модильяни, Ахматова, Гумилев (в «Сопполе», например), сейчас сидят только богатые туристы. В других собираются эмигранты — они, конечно, бедные, но они ничего не читают, ни о чем не хотят знать... А соединение нищеты с духовным богатством — этого нигде в мире нет, только в России.

* * *

Многие сайгонцы стали священниками (отец Борис (Куприянов), отец Геннадий). Батюшка отец Александр Анисимов, Царство ему небесное, служил во Всеволожске, и в числе его духовных чад было очень много сайгонцев: Витя Кривулин, отец Борис Куприянов, Виктор Алымов, Миша Новиков и многие другие, человек пятьдесят, наверное. Это был самый популярный священник среди поэтов, писателей, людей свободного творчества, пришедших в христианство в 1970 годы. Еще до своего возвращения в Россию я посылала из Франции, Германии, Италии к отцу Александру своих друзей, потому что все спрашивали: «Как нам увидеть то, о чем Вы рассказываете в свих лекциях?» Одним из таких людей был Мишель Понтон — генеральный секретарь УДФ, центристской партии де-голлеского направления. В конце 1970-х он был правой рукой Жискара д'Эстена, который стоял во главе партии. И потом занимал очень крупные посты, был важной политической фигурой, сейчас он мэр одного из крупных городов в центре Франции. Я познакомилась с Понтоном, когда была в ссылке: тогда все говорили, что свет идет с Востока, из России, и я делала доклады о русских монастырях, о русских святых, о духовности. А в 1989 году Мишель Понтон со своей женой Флоранс приехал в Россию, и они познакомились со всеми сайгонскими людьми, самим «Сайгоном». Понтон принимал потом в Париже друзей Виктора Кривулина, всех, кто приезжал, помогал даже какими-то документами, лечением.

Понтон был истово верующим католиком, но часто обращался за духовной помощью к отцу Александру. Так что отец Александр в каком-то смысле руководил политической жизнью Парижа.

Мишель Понтон познакомил меня с главой всего епископата монсеньёром де Флуа, который тоже приехал в Россию и привез мощи мученика Виктора в дар Всеволожской церкви. Монсеньёр де Флуа вместе с батюшкой сослужили литургию, за

что отец Александр пострадал, был изгнан на пенсию и не мог служить. Это было ужасным событием, потому что для священника остаться вне служения, вне литургии — это очень тяжело, и батюшка вскоре умер. <...>

В «Сайгон» мной были «втянуты» еще два святых человека, братья Жакар. Это два врача-священника, которых послали из Парижа в Африку в 1970-е годы служить за прокаженных. А они вместо того, чтобы просто проповедовать, во-первых, стали их кормить, собирать деньги, и, во-вторых, изобрели протезы, делали операции, и очень многих прокаженных вылечили. Потом были в Азии. И в Россию приехали, чтобы искать прокаженных и их лечить. Им, конечно, сказали, что в России они прокаженных не найдут, не может быть в Советском Союзе больных и инвалидов. «Ну а «Сайгон»-то мы найдем?» — спросили они (о «Сайгоне» они прочли в моей книжке). Несмотря на то, что их отговаривали сотрудники всевозможных спецслужб, несмотря на строгий распорядок посещения (поклониться Неизвестному солдату и т. д.), они сначала пошли в «Сайгон». Стояли, любовались типажам. Их сопровождал, естественно, большой эскорт: ведь они были очень знамениты, не меньше, чем Мать Тереза.

Я была в то время во Франции. Когда они вернулись в Париж, то пришли ко мне и сказали: «Мы все поняли без всяких слов. Как здорово, что мы туда пошли! Какие там люди! Нас потом в Эрмитаж повели. А мы хотели там стоять».

* * *

<...> В «Сайгон» приходили кто в четыре часа, кто в пять, кто в шесть, кто в семь, но там всегда всех можно было найти. Всегда. Ведь, как говорил Мармеладов, должно быть у каждого человека место, куда можно пойти. «Сайгон» был церковью без церковности, мармеладовской такой церковью, где они с Раскольниковым узнали друг друга среди хохочущей толпы...

В «Сайгоне» был «праздник, который всегда с тобой». Каждый день буквально. Был взрыв постоянный, вулкан. Все негативные эмоции тут же истлевали, потому что дух тяжести был преодолен. <...> Близость была. Искренность. Это слово церковнославянское: «искренний» — значит «ближний». «Возлюби искреннего своего», — сказано в Евангелии.

Вот «Сайгон» и был союзом таких искренних — со-бытием...

Борис Кошелов ДИАЛОГИ САЙГОНАВТОВ*

Я тот самый классический вариант — Иван, не помнящий родства. Родился я на Урале, в городе Златоусте, куда мою маму, ленинградку, отправили в эвакуацию. Иду я как-то по Златоусту — мне лет, наверное, двенадцать. И какая-то женщина вдруг меня называет по имени: «Бориска!» — а я её в первый раз вижу, немножко шархаюсь. Она говорит: «Мы с твоей мамой вместе работали. Я тебя два месяца выкармливала из соски». Они с мамой работали на железной дороге, и после того, как мать попала под поезд, она меня выхаживала в железнодорожной будке. А дальше как-то надо было выживать, всё-таки война. Она и отдала меня в Дом малютки...



Борис Кошелёв. Фото В. Пешкова

В одном из очередных детдомов (это было в городе Куса, в четырнадцать километров от Златоуста), в первом классе, сдружился я с парнем Юрой Кислухиным. Его родители — из местной интеллигенции (детдомовские и домашние учились в одной школе), дома у них было много книг, дети сытые, обихоженные, одетые. Меня, оборванца, не прогоняли, я часто бывал у них дома.

Старший брат Юры подсунул нам Ницше. Юра не стал читать, а я стал. Затем он Достоевского подсунул. Вот откуда истоки интереса моего к экзистенциализму. Читаешь — какие-то слова неясные, надо их значение узнавать. А потом в одном из детдомов меня часто забирали к себе домой доктор-психолог Раиса Федоровна, и я у нее всю ночь читал. У нее было очень много литературы и художественной, и по философии.

А на утро она писала записку учителям: «Не будите его, он все знает».

Закончил железнодорожное военное училище, захотелось разобраться, как человек мыслит. Было у меня такое материалистическое представление, что если я узнаю, как у меня мышцы соединены, как они косточку дергают, какие нервные пути проходят, — я буду знать, как человек мыслит. Но, увы, это совсем не так. Можно изучить глубоко анатомию и все же ровным счетом ничего не знать о том, что такое думать, мыслить.

Приехал в Ленинград, поступил в медицинский институт, отучился четыре семестра. Потом нас, группу пять человек, «за экзистенциализм» отправили в академику: дали досрочно сдать экзамены, и отправили «набираться уму разуму». На этом мое медицинское образование закончилось.

Как я попал в «Сайгон»? Это, наверное, был конец 1964 — начало 1965 года. На том самом месте была маленькая табачная лавчонка, вход был прямо с угла Невского и Владимирского. Я туда заходил покупать сигареты, а потом смотрю: лавку закрыли, и появился кафетерий. Потихоньку-потихоньку образовались какие-то связи, люди стали там назначать друг другу встречи. Кофе сначала пили на Малой Садовой или в кафе «Север», но мне там не очень нравилось, как-то по-советски буржуазно было.

«Сайгон» — это место, куда люди приходили общаться. Это был всеобщий клуб, не Английский клуб в классическом смысле, а шире: у нас были все равны и равны. Какие это были годы? Можно, конечно назвать «1960-е», «1970-е», но по большому счету, этот клуб существовал вне времени и вне пространства. Сайгонавтов, как космонавтов, определишь сразу, даже если они находятся где-то на другом конце города. Даже в другом городе вы сразу определите, что видите сайгонавта.

Мы шли в «Сайгон» из Публички, когда она закрывалась, пили кофе и продолжали наши дискурсы, дискуссии. Это была отдушина, поиск свободы, время как ощущение свободы, но у свободы нет времени — вот такой парадокс. Если задумаешься, что есть свобода, с необходимостью придешь к философии. Как мне случайно подсунули в семь лет Ницше, так я и «погиб». В Публичной библиотеке на Фонтанке я познакомился с Татьяной Горичевой (в то время она училась на младших курсах университета), с Женей Звягиным, с Марком Мазьей (он тогда только поступал в институт). Говорили о литературе, о творчестве, угощали друг друга кофейком, если у кого-то не было денег. Читали и обсуждали стихи: и Витя Кривулин читал, и Марк Мазья, Бродский тоже читал, Костя Кузьминский. Я у них был как груша для битья. Часами читали: и в курилке в Публичке, и у «Сайгона» (в первом дворе по Невскому, в сторону Московского вокзала), и в скверике на Невском у дома. 65. Костя мог читать стихи на-английском, да и свои стихи часов двенадцать к ряду, везде, где угодно — феноменальная память, кладезь просто. Бог ему дал такой дар — поэтического хранилища. И обязательно чтобы какие-нибудь слушатели были — он должен парить. Лежит, совершенно обнаженный, на шкафу и читает стихи. Читал он потрясающе, с поэтической придурью, как большинство поэтов, но в отличие от них, умел интонацию эту выстроить, и эта выстроенность и холодность не были лишь поэтическим имиджем — он внутренне жил этим состоянием.

Я читал философскую литературу, в основном экзистенциалистов — Жан-Поль Сартр, Камю, Хайдеггер, Ясперс. Читал по-русски, но пытался и в оригинале. С Горичевой и с другими ребятами с философского факультета мы делали подстрочники, переводили. Когда гэбэшники спрашивали, что я делаю в «Сайгоне» или в Публичке (стукачи докладывали, что я интересуюсь философией), то обычно отвечал по-шоферски грубовато: «Бабу ищу». Спрашивали: «Что читаешь?» «Как что читаю? Мопассан». — «А почему?» — «Так надо ж с бабой как-то разговаривать. Я сам не умею». Я выбирал такую схему общения с ними. Представлялся: живу в строительном общежитии, работаю шофером... Я тогда действительно кем только не работал: грузчиком, санитаром, электромонтажником — на самых непритязательных лимитных работах. Жил действительно в общежитии для строителей.

В «Сайгон» приносили книги, обменивались ими, хотя там было не лучшее место для этого. Договаривались иносказательно: «пирожки», «горшки», «Мопассан появился». Например: «Вот у меня Мопассан, нет ли у тебя Гого? Ну, приходи, где встретимся?» И все время нужно было просчитывать, чего ожидать, хотя доверие к людям было полное. Опознать стукача при первой встрече было совсем нелегко.

Главным для нас был *диалог*. Приходил в «Сайгон» новый человек, ты начинал с ним говорить, возникал диалог, и уже не важно, как тебя зовут, кто ты — инженер или художник. Подобными социальными вопросами просто не интересовались, и диалог такой, как будто мы сто лет друг друга знаем. И ходили мы туда именно ради диалога: и Бродский, и Костя Кузьминский, и Миша Безродный, и театралы... Игорь Владимиров со мной разговаривал. Часами мог, просто так. Мимо идет, выпить надо, позовет меня. Я не пил, да и сейчас не пью, но не портил ему компанию: уходили из «Сайгона» и заваливались в какое-нибудь кафе, например в «Медведь» или «Север», разговаривали о театре, о литературе, о философии. «Папика» не гнул из себя. Потом появился Миша Боярский, очень учтиво здоровался, но за этим была громаднейшая дистанция. Театральные, они целуются, обнимаются, вроде бы на равных говорят с тобой, но дистанция жесткая. В этом смысле поэтам, писателям, как это ни парадоксально, больше нужен контакт, и при этом контакте они что-то пытаются постичь, что-то отдать.

С биологами из университета я тоже очень много общался на разные темы. Объяснение у них для ГБ было хорошее: «Что вы делаете в “Сайгоне?”» — «Да пот для опытов нужны люди». Или: «Надо народ набирать в экспедицию». Они и кофе пили, и не только кофе — спирт приносили.

«Сайгон» — такое разнообразие в постоянстве! Все слои представлены: физики, музыканты, преподаватели из Консерватории, уголовники, бичи, спившиеся менты, проститутки... Там была одна девица, ей было шестнадцать лет, так через нее за месяц проходило советских ответственных работников человек сто восемьдесят. Она могла мне дать денег (зная, что у меня денег нет) и рассказывала, без всякого комплекса, а я выслушивал. Хотя она проституцией занималась, но была, как это ни парадоксально, поэтесса. Таких девиц было много. Бывало, что придет какая-нибудь писаная красавица, в шубе, шубу бросит прямо на пол и оказывается совершенно обнаженной...

Вся толпа, которая была в «Сайгоне», как собиралась? Сначала все попадали туда случайно, а потом моментально завязывались контакты, и эти контакты пригивали, хотелось еще прийти.

Живописью я стал заниматься довольно поздно, в тридцать три года. В 1975 году я познакомился с философом христианским Владимиром Полетаевым. Он пришел в «Сайгон» и во всеуслышание стал орать: «Кто здесь философ?» Crazy! Сумасшедший! «Вон философ», — показали на меня. Мы с ним вцепились друг в друга: семьдесят два часа сплошных разговоров. Он мне говорит: «У меня есть друг, художник, Валера Клевер, но вы никогда не сойдетесь — настолько разные». У «Сайгона» встречаемся с Клевером — через пятнадцать минут мы с ним прямо оттуда отправились в Печоры. И с художниками я уже познакомился через Валеру на выставках в ДК им. Газа и в «Невском», в «Сайгоне» художники фактически не бывали.

Для меня «Сайгон» распределился на два периода: до того, как я стал рисовать, и после. Когда я стал заниматься изобразительным искусством, «Сайгон» для меня приобрел иное качество. Я работал сутки через трое, и надо было картинку писать, а картинку я писал все время, поэтому на стояние у «Сайгона» не хватало времени — ну, выскочишь из дому (жил я в доме на пересечении Невского и Владимирского, где был кинотеатр «Титан», на четвертом этаже, в угловой комнате, из окна видно, кто у «Сайгона» стоит), забежишь, выпьешь чашку... По городу ещё надо было добывать подрамники и материю. Из какого-нибудь Автова мог на себе тащить десять дверей от шкафов — свяжу и, как крестьянин торбу, тащу. С подрамниками и с «тряпками» (холстами) проблем не было, а краски были проблемой. На работе зарплата была мизерная, хватало только на кофе и на сигареты. Обходился самыми дешевыми красками, покупал их в хозяйственном магазине. Ещё так бывало: если человек со мной пообщаться хочет, скучно ему, есть у него желание выпить, себе он алкоголь берет, а мне алкоголя не надо, мне на эти деньги — краски. Потом в шахматы деньги выигрывал. На работе познакомился с парнем, он очень любил играть, и я у него очень много денег выиграл в блиц: начинали с пяти копеек и доходили до десяти тысяч рублей. Ну, такую сумму он отдать не мог и говорил: «Я тебе тысячу дам» — и я шел и на тысячу рублей покупал краски. Мы и на кладбище с ним играли на Красненьком (он там тоже работал, камнями занимался), прямо на могиле. Начинали в девять утра и на следующее утро заканчивали, он отвозил меня на такси домой, отдавал часть денег, что проиграл.

В 1976 году уехал Клевер, мой учитель, и я решил организовать группу художников «Летопись». Обнародовал эту идею. Круг общения большущий, стали у меня собираться, на Мытницкой. Дело подошло к тому, что нужно как-то объединяться, и где-то в апреле пришел Тимур Новиков первый раз. Шестнадцать с половиной лет мальчику. Восточный красавец, здоровый. Принес какие-то маленькие

картинки в ключе Сальвадора Дали. Я Тимуру говорю: «Тимур, ты такой большой, красивый — и такие маленькие картиночки». Так как-то завязались отношения. Стал он приходить, мы его приняли в нашу группу. Тимур с четырнадцати лет в «Сайгон» ходил, вертелся там сначала как фарцовщик (джинсы там поменяет на пластинку, пластинку на джинсы), но он был безумно талантливый. Единственный недостаток, который я видел у своего ученика — ему быстро хотелось добиться успеха, славы, быть на гребне волны. Не знаю, чего больше в нем было, художника или шоумена, но и шоумен, и художник он был прекрасный...

Через меня в «Сайгоне» прошел океан людей. Если представить их как гору маковых зерен, то в этом рассказе я просто два-три маковых зернышка поднял.

РАССВЕТ
КОНЕЦ 1960-х — НАЧАЛО 1970-х



51-й дворик (Владимирский пр., д. 51). Фото В. Пешкова

«SAIGONULATIONS», ИЛИ ПИСЬМО К ЮЛИИ ВАЛИЕВОЙ

«Сайгон»... Помню, зашёл туда как-то днём
по пути с Моховой на репетицию к З. Я.*,
а там Мишка** с каким-то парнем в кепке, мне незнакомым...

Мишка стоит у столика
(ну, помнишь эти столики, высокие, крутые, на одной ножке),
а парень в плаще сидит на подоконнике рядом
и дымит почти в открытую...

Мишка ко мне бросился:
не найдется ли лишних семи копеек —
мол, Бродскому на кофе...
«Кому?» — «ра Бродскому, стихи почитает».

Ну, я взял себе и Мишке одинарную,
а Бродскому двойную, за шестнадцать...

И стихи были...
Ну, давай, пока, рад был видеть!

Короткий разговор с удверей
в тардериб в роле актера на Невском.
7 февраля 2008 года, после вечера,
посвященного И. А. Бродскому.

По реке плывёт матрос
полосатый как матрац...

К. Кузьминский

«Сайгон», Юлия, сделал меня тем, кто я сейчас, — то бишь писателем, историком литературы и преподавателем...

Правда, каждым понемногу и в кавычках, но всё-таки больше «писателем», то есть человеком, не просто пишущим *разное такое художественное* (помните, как Софья Андреевна записала однажды в своём «Дневнике», что вот, мол, Лёвочка опять начал писать «художественное»), но имеющим наглость этим делиться не с двумя-тремя друзьями, а аж со всем миром (даже если этот «мир» ограничивается населением родного двора, кафетерия или таким городом, как наш, в котором писателей хоть пруд-пруди). Именно так объяснял, кто такие писатели, на уроках словесности в Тенишевском училище рыжебородый учитель Мандельштама, Жирмунского и Набокова — Василий Васильевич Гиппиус. <...> А недавно в рукописи одной неопубликованной фантастической повести (цензурное разрешение 12 апреля 1840 г.!) мне удалось обнаружить ещё одно довольно изящное определение слова «писатель», принадлежащее перу некоего Василия Егоровича Семевского: писатели — это «рыцари чернильного креста, которые, не теряя надежды доискаться в себе призванья к чему-то высшему, безмилосердно тупят перья и марают бумагу, между тем как в них не доищешься ни одной идеи в голове и не дощупаешь сердца под жилетом...» <...>

Итак — «Сайгон»!

* З. Я. — Зиновий Яковлевич Корогодский.

** Мишка — Михаил Богин.

Моя резиденция, моя вотчина, моя кафедра, мой книжный угол...

Я появился здесь в середине лета в 1965-м, уже готовеньким: герой, жертва и персонаж отечественной литературы. Я знал наизусть многое из Мандельштама, Ахматовой, Эренбурга, Лунца, Вагинова («У милых ног венецианских статуй / тратата тата татата тата...», — картаво, но с пафосом читал у стойки, вызывая у окружающих дикое уважение, особенно у Мариночки Минской и Валечки Лиходед). А также: произносил *Пикассу*, а не *Пика́ссо*; знал, что жена Сальвадора Дали была русская и её звали просто Гала; что Фёдор Сологуб — Владимир Соллогуб, а Тетерников; что у Семёна Надсона была поклонница Мария Валентиновна Ватсон; что Гончаров любил сирень и умер на Моховой, а Блок не любил Надежду Павлович, которая его боготворила; называл Цветаеву исключительно «Марина», Гумилёва — уважительно «Николаем Степановичем», Осипа Эмильевича — непременно с фамилией, полностью; носил в портфеле четвертый том «Словаря псевдонимов» Масанова; курил напоказ и только болгарские сигареты с золотым обрезом, изящно открывая ногтём верхнюю крышку коробки, носил бородку, берет, «бумажный» свитер...

Короче, на этом углу я таки нашёл то, что искал, к чему стремился и к чему был, вероятно, «по жизни» призван. <...>

Правда, сначала первым таким «своим местом» для меня стал кафетерий «Экспресс», что на углу Старо-Невского и Суворовского. Обыкновенная привокзальная распашонка-стекляшка. Но в ней были и соблазнительные обстоятельства: узкая-преузкая, довольно длинная и шаткая лесенка на второй этаж да широкие окна с обзором на две стороны света, одна из которых представляла собой огромную и совершенно пустую, с ног до головы оштукатуренную каменную стену (брандауэр) почти во всю длину Суворовского (до 2-й Советской), с единственным оконцем под самой крышей (по темным вечерам в нём вдруг виделся свет, занавески, угадывался даже абажур и тени, а на самой стене широкая надпись, рекомендующая нам беречь деньги в сберегательной кассе или заказывать такси или про кино (может быть, что-то иное, не помню — помню только, что эта стена и оконце под самой голой крышей как-то тревожили моё творческое воображение).

Сверху можно было лихо приветствовать приятеля или целую команду друзей и наблюдать жизнь огромного перекрёстка, переплетения людей, машин и сухожилий проводов с огнями разлетающихся во все стороны холодных неоновых искр, которые высекались дугами неторопливо ползущих туда-сюда синих троллейбусов... На втором этаже «Экспресса» никогда не было случайного человека: всё вокзальное, мешочное и распивочное происходило, как правило, вниз.

Конечно, «Экспресс» не знаменитая «Ротонда» (из того самого мемуарного романа Эренбурга «Люди. Годы. Жизнь», некогда напрочь и уже навсегда изменившего мою (а может быть, и целого поколения) обыденную житуху <...>) на углу Монпарнаса, где парижские поэты, художники, актёры и тэдз проводили многие часы за чашкой кофе и сигаретами «Голуаз», читали друг другу стихи, рисовали, пели, пили вино, влюблялись, ревновали, требовали любви и признания... И мечтал я найти в Ленинграде такое же место, где бы я мог с сигаретой и чашечкой кофе напропалую курить и писать, писать и курить, встречаться с приятелями, назначать свидания и даже выпивать (как у поздней Ахматовой: «В углу старик, похожий на барана, / Внимательно читает «Фигаро». / В моей руке просохшее перо...»). <...>

И в этой стекляшке (с конца 1963 по лето 1965) я перечитал всего всего Хэма, Ремарка, Олешу (<...> замечу, кстати, что как ни крути, а основной источник биографии человека моего поколения — это список книг, формуляр домашней или школьной библиотеки), написал первые рассказы...

Здесь же я нашёл новых друзей: такую же, как и я, вечную абитуру, эрудитов со средним образованием и невских бродяг, искавших общения да и просто где бы приткнуться подальше от двора и дома. (Вот уже который год в Доме кино в дни фестиваля «Послание к человеку» я встречаю самого талантливого и самого долгового режиссера-документалиста, приятеля моего со времен «Экспресса». Так что, господа теоретики так называемой «второй» ленинградской культуры, знайте: не токмо Малая Садовая и Тургеневский садик давали хорошие всходы!) Именно в «Экспрессе» я впервые прознал про самиздат («Чевенгур» Платонова, «Некрополь» Ходасевича, «Улисс» Джойса) и кое-что про диссидентство...

Одно было в «Экспрессе» из рук вон плохо: собственно кофе. И ещё: внизу



Евгений Белодубровский.
Фото В. Пещкова

обосновались курильщики «плана» (так называемый «бан»), быстро дуреющие, говорящие «на фене» и пьющие всякую парфюмерию. А вскоре нас со второго этажа стекляшки буквально выперли (сами того не сознавая) туристы. Они раскладывали на столах свои рюкзаки, термосы, географические карты, галдели, обсуждали будущие походы, от них веяло большим здоровьем (ничего, то есть, поэтического), они не курили, а их девушки спартанского вида были стриженные, мужественные и ходили в толстых носках и брюках.

И вот я появился в «Сайгоне» (ещё не имеющем такого названия — его позже придумал Марк Мазья), «готовенький». Мой приход туда был связан с поступлением весной 1965 года на новую работу: постановщиком-монтажником на Ленинградскую студию телевидения (в период ее расцвета, то есть «живого вещания», скреплённого и воодушевлённого содружеством авторов,

режиссёров, художников, актёров, дикторов, техников, телеоператоров, всех цехов obsługi и нас — рабочих сцены). Все члены бригады, в которую я попал, были сплошь моими сверстниками и соратниками по честолюбивым мечтам, то бишь самостийными поэтами, кинооператорами, фотографами, сценаристами, прозаиками, музыкантами, искусствоведами, режиссерами театра и кино... (Забегая вперёд, скажу, что почти все они состоялись на избранном поприще.) <...> Один из нас, Саша Шейдин (умер недавно Александр Яковлевич, журналист и поэт, — светлая ему память), пригласил меня к себе домой показать какие-то новые открытки и репродукции с картин Брака, которые он надыбал в «Старой книге». <...> Саша жил где-то в районе Фонтанки и Литейного. По пути мы должны были зайти в кафешку на углу Владимирского и Невского, где у Шейдина было назначено свидание с какой-то дамой. И стоило нам только войти в дверь этого заведения, как меня сразу напавал буквально сбил с ног и закрутил, завьюжил запах настоящего чёрного

кофе, сопровождаемый дерзким шипеньем пара и треском кофемолки. Я прошёл и лыл и увидел у высокого прилавка величественно торчащий бронзово-красный кручённый бок внушительной кофеварочной машины с фирменной (диссидентской) надписью «ESPRESSO ITALIJANO NAPOLI». Оглядываюсь по сторонам: сплошь молодые люди в джинсах, парни, девушки, мои сверстники и постарше. Стоит, тянут кофеёк. Настоящий. И за каждым столиком — небрежно открытая пачка сигарет, листки, говорок, сопровождаемый жестами...

Вот и всё — все дороги привели «туда и оттуда», как в Рим и из Рима... <...>

И люд-то в кафе сразу открылся мне разный-разный, на три головы отличный от публики «Экспресса»: молодые философы, филологи, литераторы, художники, поэты...

А были и вовсе иные постояльцы. Например, «книжники»: особый и от нас весьма далекий, лукавый народец с драными портфельчиками, в замызганных китайских плащах, с авоськами, со свёртками под мышкой. Их «мекка» была на той стороне Литейного, от угла до магазина «Академкнига». Там, на улице или во двореке «Старой книги», они договаривались, а в «Сайгоне» расплачивались, быстро обмывали сделку коньячком в залышке при входе и к нам (на одну всего ступеньку) почти никогда не спускались. Некоторых из них я встречаю и поныне на том же забитом людьми тротуаре, уже постаревших и посеревших (как и я самый), с теми же авоськами и портфельчиками и с тем же вопросительным взглядом: кто что несёт на продажу или в обмен. Мы раскланиваемся, как заговорщики, понимая, что время бескорыстного библиофильства уступило корыстной и убийственной диктатуре денег.

Однажды утром ранёхонько, часов в двенадцать, ко мне подбежал едва знакомый книжник, достал из кармана тоненькую коричневую брошюрку «Переписки из двух углов» Вячеслава Иванова и Михаила Гершензона (1918 г.) и попросил: «Слушай, старик, помоги! Сколько эта штука стоит? Процент твоей, без балды». Я взял книжку, повертел в руках и вдруг обомлел: на последней (а не на первой, как принято) странице обложки стояла надпись «Милейшему Федору Кузьмичу на память и прочтение. Авторы». Я и сказал, что за автограф поэту Сологубу стоит взять втрое дороже. Книжник исчез, а через пару дней притащил мне за столик три плетёных бутылки «Гамзы», блок «БТ» и сказал, что только благодаря мне не лопухнулся: никто кроме меня автографа не заметил, да ещё самого Сологуба. Так я прослыл в «Сайгоне» ещё и знатоком старой книги.

Библиофилом, кстати, был и Михаил Юпп, учитель-наставник поэтов Анри Волохонского, Андрея Гайворонского и Гогина, а по мирской профессии повар-кондитер. Сей Юпп был тучный, круглоголовый, раблезианского вида и кроя весельчак и славный человек. Человек-легенда. Ходить предпочитал в белом. Я знал его мало-мало и уж не припомню нынче, каким макарон удостоился чести быть приглашённым к нему домой... Помню, что в самом красном углу высился такой а-громадный резной шкаф или буфет-буфетнице с башенками, ярусами, дверцами, замочками, а в нём — не на виду, а за рюмками-фужерами, хрусталём, дорогими винами и коньяками — стояли обложками «на выказ» томики Кузмина, Мандельштама, Блока, Ахматовой, редкий Адамович («Облака» 1916 г.)... Юпп доставал каждую драгоценность из своей шкафчика, гладил толстенной лапой, показывал издаലെка. И ставил на место. Я спросил: а есть ли у него «Одна любовь» Сологуба, 1921 года, редкость превеликая... Миша извлёк из второго ряда сей сборничек и даже дал подержать. Я открыл и стал читать самое мне знакомое: «Мы покидали милый дом...» Юпп тут же наизусть продолжил: «Мы с тем приютом расставались...» Потом налил себе и мне по капле виски из квадратной бутылки (это было для меня тогда совсем внове, тоже факт моей «сайгонской» биографии), и мы хлопнули по рюмашке.

Появлялись в «Сайгоне» и ребята уж совсем никуда: какой-то господин весь-ма солидного вида (пальто «джерси», чёрные очки, залысины) с большим баулом подошёл к нашему столику, отозвал меня в сторону («ты тут всех, мол, знаешь»), раскрыл баул и вытянул оттуда непонятного вида металлическую загогулину, которая оказалась немецкой ручной бензопилой. И предложил мне реализовать партию этого добра.

А были и вовсе странные: один такой (нескладный, на костылях и в нечистом голубом кителе и офицерской фуражке) приносил с собой в «Сайгон» баночку, в которой плавала золотая рыбка. Ставил этот «аквариум» на столик, отвинчивал крышку, доставал из портфеля пульверизатор, опускал его носик в банку и давил на грушу, пуская пузыри, дабы рыбка могла дышать и радоваться жизни... Иногда вместе с банкой он доставал бумагу и эту рыбку рисовал. А однажды устроил из своих рисунков вернисаж, выложив листы на подоконник. И когда какие-то случайные люди, увидев «такое», стали потешаться над нашим странным живописцем-ихтиологом, мы взяли его под свою защиту: какой-никакой чудак, а наш!

Вот ещё коллекционеры: среди них был один безумец, который собирал всевозможные точилки для карандашей, сам их мастерил в виде лягушек, ежей, рыбок, слоников, ставил на них заморский знак «made in singarout» и загонял (вши-вал, то есть), другой собирал «счастливые» билеты, вставлял их в толстенные кляссеры для марок, хвастал экземплярами типа 371 137, 996 699, умолял нас пополнить его коллекцию и даже ставил кофе в наград; третий знал наизусть курсы всех иностранных валют — у него были всегда под рукой детские такие счёты с разноцветными колёсиками, дабы быстро назвать, сколько за одну единицу всяких там драхм, динаров, лир, фунтов стерлингов (в «Известиях» в конце каждого месяца печатали столбиком их курсы) можно выручить советских рублей...

И вообще, в те «баснословные года» захаживало, заглядывало в «Сайгон» великое множество людей. Отметиться, покрутиться там хоть полчаса—час стало модой, частью культурной программы. Особенно для вальяжного московского «истеблишмента».

«Отметиться» — вот самое что ни на есть точное слово. И потому был наш «Сайгон» пристанищем в том числе и безденежных неудачников, рифмачей, графоманов, коллекционеров всякой всячины и небывальщины, художников-недоучек, антисоветчиков, тунеядцев, курильщиков различного зелья, торгашей-перепкупщиков, придурков и даже квази-уголовников — центр есть центр.

Но никак не они, не они задавали здесь тон, не они принесли этому заповедному уголку живую славу и признательность «от невших берегов до стен недвижного Китая». И чтобы там ни писали нынешние учёные мужи в своих диссертациях и трактатах о так называемом феномене ленинградской «второй культуры» — всё было, как говорится, «с точностью до наоборот».

Ибо главное в «Сайгоне» моего времени — это была свобода (конечно, призрачная — «но призрачна твоя свобода, как птиц свободных голоса» — но всё же свобода), то есть свободный выбор, нечто вроде внутренней эмиграции: неучастие в чём-либо общественном, политическом, карьерном, пошлом, привычном, ходучем, торгашеском. Мы, испытанные сайгонцы первого поколения (1965 — начало 1970 гг.), пребывая (проживая) в этом месте большую часть своего нерабочего времени (кто лифтёр, кто сторож в церкви, кто кочегар-котельщик парового отопления, кто киоскёр «Союзпечати»), попивая кофеёк «от Стеллы» (только она умела варить и варила отнюдь не каждому встречному-поперечному двойной с фантастической мраморной пенкой), а то и очень красный и очень крепкий портвейн или легкий белый «сухарь», воровато мерцая огоньком сигареты, с книжницей или тетрадкой и под клёвый разговор, придавали «Сайгону» первоначальный смысл.

Естественно, что такой «конгломерат» разношёрстной публики приблизительно — одного возраста, языка общения, образа жизни и формы существования, сосредоточенный в одном месте не мог не интересовать и «специальных» людей. Но они довольно быстро себя обнаруживали, пытаясь «косить» под своих, и потому были не очень опасны. При их приближении мы либо меняли разговор, либо скопом ушли курить на Владимирский угол. Помню одного невысокого лысоватого парня с плоским лицом, который ну никак не отставал от нас, терпеливо пил много кофе и пытался даже нас угощать. Он почему-то даже в самую холодную погоду носил очень легкие пиджаки, смятую кепаруху и кеды, говорил, что живёт в общежитии, и постоянно заводил разговоры о Пастернаке, Ремарке etc. Потом его сменил долговязый мужик в прохарях, который занимал у всех подряд деньги. Настораживало и то, что он всегда отдавал их в срок, и то, как показывал он направо и налево отпечатанный на ротапринтере слепой текст стенограммы суда над Даниэлем... Как-то ко мне вечером подрулила одна юная леди и предложила поруководить её чтением для курсовика по философии: «Ну там, Розанов, Фёдор Степун...». Она изысканно курила, была мила до бесконечности, синеглаза, но названное ею имя Фёдора Степуна меня несколько смутило: в «Сайгоне» прошёл слух, что кого-то заловили с эмигрантским изданием «Бывшего и несбывшегося». Но я виду не подал и на следующую встречу принёс сборник статей советского фольклориста Розанова, Ивана Никанорыча (вместо ожидаемого реакционера и отщепенца неукротимого Василья Васильевича). Девушка быстро отстала...

<...> В «Сайгоне» кто-то даже пустил пулю, что в огромные часы, висевшие на над входом в «соловьевский» гастроном насупротив нашего угла, вмонтированы телекамера и микрофон... Но эта идея быстро утонула: один из нас, технарь, быстро растолковал, что на такую уникальную штучку ни у какого Большого дома денег не хватит. И этот наивный аргумент тогда нас вполне успокоил.

<...> А мои занятия русской историей, литературой, библиографией и эвристикой начались с... клопов, которые нас в коммуналке на Желябова совершенно «достали». Мама решила сорвать все старые обои до самой drankи, где эти твари размножались, и наклеить новые. Я лихо так отдираю один «исторический» слой обоев за другим (в квартире Блока на Офицерской музейщики в своё время насчитали аж тринадцать таких слоёв, пока не добрались до блоковского, тканевого, с лазоревыми цветочками и вазочками) и вдруг вижу, что стена заклеена старыми газетами: «Современное слово», «Речь», «Новое время»... Читаю, что вот, мол, третьего дня в ресторане «Вена» писатель Куприн «дал в морду» писателю Леопиду Андееву, и вызванный с улицы городской зафиксировал два огромных синяка и подозрение на перелом челюсти у одного и ряд крупных царапин у другого. Юморист Аркадий Аверченко, пытавшийся помешать драке, сам получил по лицу... Третейский суд состоится вскоре. Арбитры со стороны истца — Александр Грин и Кремлёв-Свэн, со стороны ответчика — журналист Николай Шебуев и сатириконец Владимир Воинов... <...>

Вдова Владимира Воинова Анна Матвеевна жила со своим сыном Валькой в огромной коммуналке на улице Рубинштейна, прямо напротив «толстовского» дома. Валька Воинов, культурист, легкоатлет и тренер по спринтерскому многоборью сборной СССР, служил со мной в одном дивизионе на «севере диком». И, вышед на гражданку, я запросто приходил к Вальке качать мышцы по его системе, рыться в книгах, но всё больше меня увлекали рассказы Анны Матвеевны о прошлой ленинградской жизни, о писателях, художниках, чьи имена мне были в большинстве знакомы (в том числе и с той голой стены). <...> Анна Матвеевна читала наизусть острые пародии и стихи своего мужа, очень популярного в своё время поэта-сатирика, коронного автора «Сатирикона», «Пулёмёта», «Бегемота»,

«Крокодила», «Пушки», «Нового Робинзона» и др. <...> Она знавала Грина, общалась с Луначарским, хоронила Блока в 1921 и Фёдора Сологуба в 1927, переписывалась с Горьким, Екатериной Пешковой, дружила с Василием Князевым, Анной Радловой, с женами Зоценко и Бенедикта Лившица... Однажды Анна Матвеевна позвала меня на кухню к окну и показала на низенькую пожилую женщину, идущую через двор как-то бочком, медленно: «Это поэтесса Идочка Наппельбаум, одна из трёх сестёр-красавиц, в тюрьме сидела за висевший у неё на виду в гостиной портрет Гумилёва, соседи донесли, уже после войны, живёт в «Слезе» в отдельной квартире...» <...>

Память у Анны Матвеевны была беспощадная: про жён писателей, у кого они шили горжетки и чьи у кого детки, кому и с кем изменяли, куда и с кем ездили «на юга», чем болели и у кого лечились... Потом эти уникальные сведения мне как библиографу и историку литературы здорово помогли.

С легкой руки Анны Матвеевны, разыскивая по ее просьбе карикатуру на Аверченко, напечатанную в каком-то тонком журнале 1913 года (не то «Двойка», не то «Тройка»), <...> я обнаружил в Публичке «Русский журнальный фонд», где спокойно так выдавались все без исключения «реакционные» религиозно-философские журналы, альманахи и сборники со статьями, эссе и мемуарами выдающихся русских богословов и философов начала XX века, в то время, как книги и собрания сочинений этих авторов размещались только в спецхране. И с той поры я с восхищением листал и описывал эти издания, заполняя подчас «за одну смену» текстами, именами, цитатами, псевдонимами целиком карманные блокнотики. Потом я в «Сайгоне» щедро делился всеми этим сведениями со всеми, кто меня окружал, и это были настоящие устные семинары.

Но отсюда никак не следует, дорогая Юлия, что вокруг меня в «Сайгоне» крутились какие-то неграмотные юнцы, алкающие истины единственно от меня. Скорее, наоборот. Окружающие меня друзья-товарищи: лифтеры, кочегары, продавцы газет и книг, художники, рабочие-эрмитажники, осветители, киношники, абитуриенты, технари и их спутники — знали отнюдь не меньше моего, хотя почти все они нигде не учились, не имели дипломов и даже студенческих билетов. <...>

Помню первое (или одно из первых) самостоятельных посещений «Сайгона». Лето. 1965 год. Полдень. Вокруг пустош, в нижнем зальчике два-три человека, в самом конце кафе, у прилавка, где всякая прочая еда, две-три женщины в чём-то железнодорожном. Попросил сварить двойной за четырнадцать. Вспомнил, что надо позвонить. Аппарат на стенке у входа свободен. Снимаю трубку, набираю номер. И вот беда: одна двушка «проглочена», вторая, третья, больше нет. Стукнул кулаком. Ничего. Вдруг подходит ко мне незнакомый мужчина, инвалид: руки как два крыла, в одной — незажжённая сигарета. Улыбнулся широко и сказал: «Да господи мой боже, как всё просто в этой жизни» (уже скоро, когда мы подружались, я узнал, что это была такая у него присказка на все случаи жизни), сильно дёрнул трубку вниз — и все мои монетки высыпались.

Это был Марк Мазья. Мы вышли на улицу и закурили. Кофе взяли с собой, это было необычно и мне страшно понравилось. Марик сказал, что этот телефон «с характером», что он ему сто лет знаком и что если надо срочно позвонить, то он тут близко живёт, на Колокольной, можно зайти, а потом вернуться и продолжить... Всё равно, сказал он, лучше всех делает кофе только Стелла, а она сегодня работает только с двух часов. И ещё он сказал, что он поэт, но сейчас пишет другое. Учитися на филфаке и даёт уроки по русскому языку и литературы отстающим школьникам на дому. Я был удивлён: вот человек называет себя без стеснения «поэтом», говорит, что «пишет», и так далее. Марк познакомил меня со своими

друзьями, Лёвой Панеяхом, Андреем Крыжановским, Игорем и Татьяной Шаковыми, дерзновенным поэтом Гогиным, а я его — со своими.

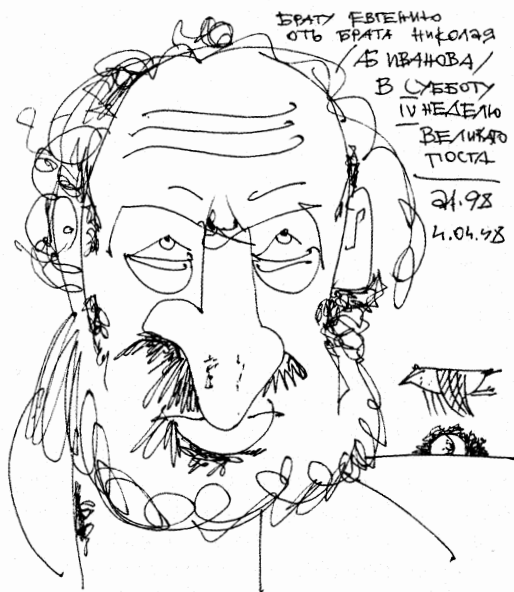
И всё завертелось, дорогая Юлия.

И до сей поры — вертится в памяти и наяву. И хотя у памяти, по Гумилёву, «рука великанши», я могу припомнить навскидку только некоторые приметы и имена и только самых близких мне по «Сайгону» друзей, к которым я испытываю и по сей день, как говорил Александр Бенуа, «род сердечной благодарности»...

Году в 1999 на площадке лестницы в редакции журнала «Звезда» я увидел Витю Кривулина. Мы привычно поздоровались, выкурили по сигарете, перекинулись двумя-тремя словами, я сказал, что давно собираюсь провести вечер под

названием «Поэты и прозаики «Сайгона» первой волны». Виктор оживился и предложил для начала составить словарь завсегдатаев и близких друзей «Сайгона». И прямо тут мы насчитали навскидку сразу десятка три-четыре фамилий... Потом, недельки через две, я такой именник составил, позвонил Виктору, он обрадовался... <...>

А теперь вот, Юлия, никого почти из того затерявшегося списочка в живых и нет... Виктор Кривулин, Марк Мазья... <...> Миша Богин, самый молодой из нашей бригады рабочих телевизионной сцены. Знал наизусть почти весь репертуар русской поэзии. Я привёл его в «Сайгон», но он был, кажется не так к кофе охоч, как искал почитателей своей поэзии. Особливо среди женщин и девушек. И с успехом необычайным покорял самых стойких и строптивых. Как-то из «Сайгона» мы компанией поехали к Мишке — на стихи. Он где-то умудрился купить несколько томиков Бальмонта и Северянина, и на кухне, сидя на полу, мы всю ночь читали эти



Евгений Белодубровский. Дружеский шарж. «Этот рисунок сделан художником сашей Ивановым (ударение на «а») на ступеньках бывшего «Сайгона» в апреле 1998 года, на следующий день после нашей случайной с ним встречи (и очень для меня радостной и живительной) в полдень около пивного ресторана у станции метро «Озерки». (Он приехал тогда из Германии.) Рисунок был сделан в одну-две минуты тонким фломастером прямо на листке моей рабочей ученической общей тетради, потом ещё минуты три-четыре мы сашей потоптались на заветном углу, выкурили ещё по паре сигарет... И разошлись»

книжки. Из всего, чем его щедро одарила природа, Михаил Богин выбрал самое трудное — режиссуру. И, едва поступив в институт (в мастерскую Корогодского), он почти весь свой курс притащил в «Сайгон». <...> Кинорежиссёр Михаил Богин погиб несколько лет тому назад. Должен сказать, что к его стихам я относился спокойно. Но недавно его друг и сокурсник, режиссер Геннадий Руденко прислал мне одно, и я пожалел, что был так невнимателен к Мишке Богину как к поэту...

Когда стоял Я перед Богом
И робко Душу предлагал,
За мной от Божьего Порога,
Где след оставила нога,
Тянулась очередь, роптала,
Друг другу задники топтала,
Кому-то на голову став...
Лицо в грязи — блее мела...
Все торопились поскорей
С последнею Нуждой расстаться
И хоть в Аду, но — ОКАЗАТЬСЯ!!!
Но всем помеха я — еврей,
Стоявший молча перед Богом
И заслоняющий толпу...
Я был для них вторым Порогом
Который НЕ ПЕРЕШАГНУТЬ...!

Боря Кудряков — великан, усач, гурман, страстный патриот «Сайгона». После его закрытия в знак протеста он бросил город с его помойками, дворами, подъездами, вонью бензина и перебрался загород — писать. <...> Его первый роман «Рюмка свинца» я читал едва ли не первым (Витя Кривулин его опубликовал в 1990-м). В «Сайгон» он вваливался таким медведем в жилете с тысячами карманами (фотограф). <...> Фотоаппарат «Зоркий» Борис постоянно носил с распаханутым на настежь объективом и, заведя жертву, незаметно «нажимал на курок». И кадр готов. А потом был рассказ, ибо каждый удачный снимок — подстрочник. <...> К своим рассказикам сам делал рисунки. В последнее время мы частенько встречались в «Борее» на Литейном. <...>

Толя Гальбрайх! Друг Андрея Геннадиева. <...> Он кончил Муху, в «Сайгоне» мог часами рассказывать о Колтрейне и Рави Шанкаре. Толя одарил меня своими друзьями: тетральным художником и графиком Юрой Ярмолинским (который притащил как-то под полой своего длиннющего кожаного пальто «Защиту Лужина» Набокова в парижском издании 1957 года; помню его иллюстрацию к той же «Защите Лужина» на пресловутой «газовой» выставке, с чего, признаюсь, и началось собственно моё профессиональное «набоковедение». Юра едва ли не первым из «сайгонцев» съехал в Штаты и получил место художника-декоратора в «Метрополитен-Опера»), художником Сашей Шестаковым, поклонником Булгакова и Достоевского, который почти каждый день приносил в «Сайгон» новый портрет Родиона Романовича с новым топориком; с Юрием Жарких, с Сашей Ивановым, с саксофонистом из «Севера» Славой Чевычеловым. На один из дней рождения я прямо в «Сайгоне» подарил Толе фотографию Дюка Эллингтона в простой водолазке, с индейскою косичкой и с крестиком на груди, снятую моими коллегами-рабочими на репетиции в Концертном зале на Лиговке во время гастролей музыканта в Ленинграде...

Вот Роман Исакович Цветов (наш Алик), самый справедливый и остроумный из нас. По профессии — бухгалтер, по жизни — арбитр. Основной талант — дружить

и помогать. Тогда только что закончил Финэк. Один из первых из нас — женатый, то есть — серьёзный. Его жена Лида — выпускница философского факультета, с курса Татьяны Горичевой и Сайды Магай. <...>

Сергей Владимирович Белов. Профессор. Он появился в «Сайгоне» чуть позже меня и сразу стал близким человеком. Сергей владеет волшебным даром — открывать людей, находить в них талант. Он притащил меня в свой круг библиофилов и писателей, познакомил с Лихачёвым, пригласил в соавторы. Да что там говорить!!! Решил судьбу, «заразил» Достоевским. <...> Смею предположить, что Сергей Владимирович так случайно застрял в «Сайгоне», возможно, еще и потому, что Фёдор Михайлович избирал свои жилища в Петербурге исключительно в угловых домах.

Дима (Дмитрий Константинович Равинский) — ныне научный сотрудник Публичной библиотеки и, возможно, самый серьёзный учёный в области социологии и культуры чтения. <...> Его в «Сайгоне» привела страстная любовь к чёрному кофе самой высокой крепости и цветности. Подлинный кофеман, он действительно понимал в этом напитке толк и вкус, смаковал его маленькими глотками (четвертная кондиция — это была его норма), в отличие от многих из нас, для которых потребление кофе было скорее жестом общения и куража. <...> Дима был посвящён в судьбы многих книг, авторов и псевдонимов. <...>

Мой сайгонский товарищ Феликс Балонов сейчас верой и правдой служит в Эрмитаже, но более всего известен в миру как биограф, летописец и исследователь творчества Булгакова. <...> А в те годы (несмотря на свой армейский опыт и харизму) я всегда немного робел перед Феликсом: он был универсантом и уже тогда читал по-гречески...

Петя Гуревич, тогда двадцатилетний инженер, в совершенстве владевший французским языком (его мама была француженкой, а дядя — членом компартии Франции и участником Сопротивления). Петр иногда приносил в «Сайгон» номера «Диманш» или «Леттр франсез» и учил еще и польский, чтобы перевести какую-то заушную авангардную пьесу Ружеви́ча. <...> У Пети дома я впервые услышал пластинку с голосом Эдит Пиаф и попробовал куриный суп-пюре. <...> Сегодня Петр Беньяминович уже давно живёт в Париже, но почти каждый год приезжает в Петербург на кинофестиваль «Послание к человеку» для присуждения премии в память своего сына Данилы, талантливого кинооператора, который погиб в Кармадонском ущелье с группой Бодрова. <...>

Петя Брандт, сын ленинградского драматурга и сценариста (помните телефильм «Остров Серафимы»?), <...> знаток, тонкий ценитель и поклонник поэзии Лёни Аронсона, Роальда Мандельштама, Кости Кузьминского, которые были его друзьями.

Помню ещё консерваторского студента — музыковеда Петра Гулько; <...> режиссёра Йонаса Вайткуса с курса Корогодского; драматурга Шульгинадзе (он писал исторические драмы из жизни Петра Великого и Бориса Годунова по «своим» источникам); <...> сайгонского донжуана Диму Люлина — художника Пушкинского театра <...>; Колю Зеличенко в огромных чёрных очках; <...> геологоразведчика и веселого рассказчика по фамилии Кольчугин; поэта-песенника Мирона Саламандру <...>; убиенного Бориса Сочнева; филологинию Ирочку Месс; шахматиста и книгочая Льва Панеяха; безудержного фантазёра <...> Альберта Левинтова, теперь проживающего далеко за морем; огненно-рыжего Геннадия Славинского; искусствоведа Верочку Андрееву; киношника Лёню Чечельницкого <...>; Вильяма Бруя — художника журнала «Нева» (<...> его мастерская была на чердаке «Дома политкаторжан», откуда виден Летний Сад и вся округа; как-то я пошёл к нему, а на дверях карадаши́к на леске привязан и блокнотик самодельный: там всякие надписи, имена, телефоны... Последняя была такая: «Был Бродский,

ушёл...» Я взял карадашик и ниже приписал своё «И правильно, Иосиф! Ты Царь. Живи один, дорогою свободной иди...»); красавицу неземную Валентину Лиходед, тогда продававшую на Невском роскошные альбомы издательства «Искусство»; художник Андрея Геннадиева — первого иллюстратора перевода «Алисы в стране чудес» Набокова; Колю Беляка, читавшего «Бесов» — с неподражаемой дикцией, с оттенком дамасской стали в голосе; и, конечно, классика и летописца поэтического наследия «Сайгона», поэта-учёного и расстригу Константина Кузьминского <...> — вынесенное мною в качестве эпиграфа стихотворение я слышал в его чтении на приступочке у «Сайгона» в ожидании гонца, которого мы, скинувшись, послали за бутылкой портвейна № 33 в гастроном напротив.

В чём феномен «Сайгона», в чём его подлинная историческая неотчуждаемая ценность, в чём его (на протяжении почти полувека) щемящая «неумолкаемость» в потоке времени — судить не мне (как одному из равнодушных участников процесса).

Но понять, дорогая Юлия, объяснить, почему историки ленинградской культуры в своих трудах старательно обходили сей Центр мира, — невозможно.

Но лучше поздно, чем никогда.

Ольга Старовойтова

МОЙ «САЙГОН»

Я впервые попала в «Сайгон» примерно в 1964 году, точнее не вспомнить.

Родилась я где-то у Троицкого поля, недалеко от Володарского моста, а потом наша семья жила в разных местах Кировского района, и я хорошо помню два адреса: проспект Стачек, дом 16, за спиной у памятника Кирову, и потом — Стачек, 57, один из полукруглых домов Комсомольской площади.

В первом случае это была двухкомнатная квартира, с ванной и телефоном — по тем временам редкость. У нас появился один из первых телевизоров. В школе мне было неудобно говорить, что у нас есть ванна... Тогда было как-то стыдно вато признаваться, что живешь в благоустроенной квартире — по крайней мере, в нашем рабочем районе.

Квартира на Комсомольской площади была по тем временам шикарной, «генеральской»: три комнаты, довольно больших, огромный коридор, где ставился стол для пинг-понга. В квартире была родительская спальня, комната «для девочек» и гостиная. Мы с Галей постоянно ныли, что гостиная стоит пустая, там только надо вечно пыль вытирать, и вообще глупо, что мы живем в одной комнате. Очень хотелось иметь каждой свою комнату. И обе клялись, что в случае прихода гостей всё будет быстро и идеально убрано...

Родители были неумолимы.

Зато мама и папа никогда не возражали, чтобы к нам приходили гости. И гостей было много, очень разных. Мои гости — попроще, Галины — заметно элитарней. Например, кажется, в 1967 году у нас был Иосиф Бродский.

В центр выезжали, но не так уж часто. Мне и сейчас кажется, что это разные города, теперь бы я их назвала — Ленинград и Петербург. А тогда было ощущение, что мы живем где-то не там, неправильно...

Друзья нашей семьи, Левашовы, отец, мать и две девочки, жили на Гагаринской улице (тогда — Фурманова), рядом с нынешним Европейским университетом, в коммунальной квартире, в одной высоченной и узкой комнате с окном в углу. Вот

к ним мы ездили. Даже в очень раннем детстве. Помню, что на автобусе «двойка». Красиво, пока едешь, и Летний сад там недалеко, но комната у них была, конечно, незавидная.

Галя была не просто старшая по возрасту. Она была принципиально старше, качественно старше. Как-то рано повзрослела. Она стала ездить то в Русский музей на какие-то курсы, то к каким-то друзьям. И постепенно «обрастала» интереснейшими людьми тогдашнего Ленинграда. А меня, как только родители перестали



Ленинград. 1969 г. Фото Б. Кудрякова

заставлять со мной возиться, брать с собой перестала.

Я больше общалась со школьными друзьями-подружками. Мы встречались в своем районе, ходили в кино, иногда пробовали портвейн. Начались «влюбленности», и круг общения вращался по этим осям. Потом пошла полоса поездок за город, «в походы», всё более серьезные и дальние. Мы ездили «на скалы», почему-то иногда на товарняках... С ночевками в палатках. Родители отпускали, хоть и скрепя сердце.

Была у меня подружка, Ленка. А у нее — Наташка. Немного постарше нас. То ли они в пионерском лагере познакомились, то ли она была ее троюродная сестра. Теперь и не вспомнить. Главное, что Наташка жила на Стремянной улице.

Когда Лена привела меня к Наташе впервые, я была поражена ее домом, в первую очередь — лестницей, огромной, красивой, с высокими арочными окнами. В этом доме долго было кафе «Эльф». Тоже легендарное. Совсем недавно его передавали, и это было жутко обидно и грустно.

Я и предположить не могла, что бывают такие лестницы в жилых домах.

Однако квартира — коммунальная, с классическими корытами и велосипедами по стенам. Папы у Наташки нет, а мама — как будто выпивает...

Так странно это было. В такой квартире...

Наташка сама шила себе необыкновенно оригинальные юбки. Большая фантазия у нее была. Одна юбка — из шинельного сукна, короткая, асимметричная,

скошенная как-то очень смело. Другая — из гипюра. Еще более смелая. Мне это вроде бы и нравилось, но одновременно казалось и каким-то стыдным.

И вот эта Наташка стала понемножку нас «просвещать». Возможно, она больше хвастала, но я верила. Наташа рассказывала о том, о чем теперь пишут во многих изданиях, продающихся даже в Доме книги, в разделе «психология», — «как завладеть сердцем мужчины». Объясняла, как лучше класть ногу на ногу. Показывала,



*Волчицы 1960-х гг. Ленинград,
пляж у Петропавловской крепости. 1963 г.
Фото Б. Кудрякова*

как красить ресницы. «А что у тебя с ногтями?» — вдруг говорила она. И мне становилось неловко за свои ногти. И в то же время постоянно грызла мысль: как же ей не стыдно так выставлять себя напоказ, так демонстрировать, что она — самка? Даже само это словечко пришло мне тогда в голову.

Естественно, Наташа показала нам и «Сайгон». Мы спрашивали — почему «Сайгон?». Конечно, как я теперь понимаю, Наташка и не знала толком. Она вообще мало чего знала, кроме того, как лучше себя упаковать и подать. Ответ был — это потому что американские парни в Сайгоне пьют. Слова «Вьетнам» Наташа не знала. Что шла война — тоже. Наташа откуда-то знала, что они там пьют. А я что-то знала про войну, но не могла понять, какая тут может быть связь.

Однако это ее объяснение вполне имеет право на жизнь. Я никогда позже не думала о происхождении названия «Сайгон». Но оно, конечно, — как и почти всё вот такое, полузапретное, — было связано

с Америкой. Уже тогда был, с одной стороны, мощнейший тупой антиамериканизм, а с другой стороны, естественно, неодолимая тяга к чему-то американскому.

«Гуд бай Америка, оуа... где я не буду никогда... нас так долго учили любить твои запретные черты...».

Я была в Америке. Но гораздо позже.

Как гораздо позже я стала понимать, что такое миф.

Миф об Америке.

Миф о нашем «Сайгоне».

Мне казалось, что это «питейное заведение», и туда девчонок не пускают. Оказалось — нет, еще как пускают. И вовсе не обязательно там пить принесенный

с собой портвейн. Можно купить кофе. Это для меня было совершенно необычно. Дома кофе не водился.

Длинное, узкое помещение, можно только стоять, а столы, довольно высокие, все заняты. На столах резаные уголок бумажки. Вроде как салфетки. Длинная, долгая очередь. Это никого не раздражает, потому что в очереди все — как бы свои, общаются.

Озираюсь, с опаской — не потому что посетители какие-то необычные, а, пожалуй, опасалась, что выгонят. «Большой двойной» взяла, как все. Но пить-то невозможно! Горько, совсем не вкусно. Чашки — вернее, фаянсовые стаканчики — без ручек, края часто чуть побиты, а уж трещинки — почти на всех. Без ручек! Брать невозможно — горячо! Смотрю, как другие берут — кто как. Потом увидела, что некоторые манжет вытягивают, и через него чашку-бокальчик прихватывают. Очень трудно было, но справилась. Надо же марку держать!

Непонятно, почему, и не вспомнить теперь, но было очевидно, что сюда прийти как-то престижно, «клёво». Без всяких рациональных объяснений, а скорее именно потому, что их не было, мы стали приезжать в «Сайгон».

Хотелось — «как большие». Мне казалось, что вот так, как Наташа, и надо жить. Это настоящая жизнь, в центре города, у «Сайгона». С такой лестницей, как в ее доме. Время от времени ее окликали более взрослые парни, здоровались, спрашивали, как дела. Она отвечала лихо, с шутками.

Однажды я нарисовала ресницы, как учила Наташка, но всё же забыла об этом, конечно, — почесала глаз и размазала мешавшую, раздражавшую краску...

Школа жизни не знает каникул. И краситься я научилась.

Как-то раздался шепот, разраставшийся волнами: «Довлатов, Довлатов...». Я не знала, кто это. Оказалось — огромный мужик. Кажется, пьяный. Пожалуй, страшноватый, но с очень красивыми глазами. Наташка — на мой вопрос — сказала, что он тут самый клёвый. Я толком не поняла, но восприняла. Поверила. Что она имела в виду, я не спросила. И до сих пор не знаю. И опять в ее словах была правда.

Дома, конечно, не знали, что я туда иногда езжу. До «площади Восстания» на метро, потом пешком. Только через несколько лет сообразила, что от «Владимирской» было бы ближе. Но — ненамного. Добираться до «Сайгона», да еще и практически тайком, — тоже ритуал.

Однажды мы вошли в кафе позже обычного времени. Я уже почти ничего не боялась, скорее — наоборот, от крайней моей инфантильности делала вид, что мне и море по колено. И вдруг — страшно испугалась. Потому что за одним из столиков стояла наша Галя. Она весело болтала с какими-то совсем взрослыми мужчинами, явно лидируя в разговоре. И вообще как-то было сразу видно, что она — центр этой компании.

Галя была в колготках и длинной, почти до колен, кофте. Оба этих предмета ее одежды были мне совершенно не знакомы, я не видела их дома.

Для сегодняшних молодых людей следует, видимо, объяснить, что такое в шестидесятых годах двадцатого века были колготки. Почти невозможная вещь! Это было более чем шикарно. Мы все носили чулки, которые застегивались на резинки, а резинки были пришиты к «поясу». Чулки были всякие, разные, но шиком считались «фильдекосовые». А тут — колготки! Это была такая вещь, на которую полгорода оглядывалось. А если сверху юбка — никто не оценит.

У Гали в то время была очень хорошая фигура, почти идеальная. И выглядела она в колготках (о, ужас, без юбки!) совершенно сногсшибательно.

Я испугалась, что будто бы нечаянно подглядела чужую тайну. А кроме того, я боялась Галю. Она меня ругала, высмеивала. Я опасалась, что она может высмеять меня при чужих людях.

Из «Сайгона» я трусливо смылась...

Прошла целая жизнь.

Гаяля стала блестящим ученым, правозащитником, политиком. Собственно, этого и следовало ожидать от нее с детства. Только мы не знали, что у нас будет несколько лет свободы — кто считает, что пять лет, кто — что три... Это было её время.

И ушло это время.

Убили Гаялю.

Я стала искать обмен квартиры, нужно было съехаться с родителями, потому что тогда казалось, что они одни теперь не смогут.

Теперь живу в Поварском переулке. Совсем близко от «Сайгона». Вернее, от того места, которое когда-то было этим магнитом. Ведь давно уже нет нашего «Сайгона». Сначала там торговали унитазами, потом еще что-то было, теперь это помещение отошло к гостинице — «Рэдисон», что ли? Несколько лет назад на Невском, в другой его части, сделали кафе под названием «Сайгон».

Напрасно сделали.

Потом я много слышала о настоящем «Сайгоне», о том, какие люди там бывали. Но сейчас, когда вспоминала те годы, специально не говорила об этом. Писала то, что было со мной, без позднейших «наслоений». Толковее и осмысленнее пусть пишут другие.

Когда выбирала квартиру, я не вспоминала «Сайгон». Но, уже переехав, вдруг отчетливо поняла, что из тридцати шести рассмотренных вариантов квартир я выбрала именно эту не просто так. Где-то внутри оставалось чувство, что жить надо вот здесь, где жила Наташка, где был «Сайгон».

Магия места сохранилась.

Юрий Динабург

ЖАНРОВЫЕ СЦЕНКИ ЭПОХИ «САЙГОНА»*

Я много размышлял в свое время, почему этот кафетерий называли именно «Сайгон». Сайгон — это Вьетнам, но причем тут Вьетнам? Мы живем мирной жизнью, кафетерий — на Невском проспекте. Потом меня озарило, что это относится к атмосфере, описанной у Грэма Грина в романе «Тихий американец». Он был издан в конце 1950 годов в «Иностранной литературе». В своих разговорах со знакомыми я зондировал, кто помнит, что такое «Сайгон» и где в мировой литературе «Сайгон» часто упоминается и описывается. Может быть, в Западной Европе или Америке есть книги, где действие происходит в Сайгоне, но у нас в России в переводной литературе есть только один текст, в котором постоянно фигурирует Сайгон и описана какая-то определенная психологическая атмосфера в этом Сайгоне. Я стал припоминать этот роман о соперничестве американца и англичанина, которые живут в Сайгоне, столице Южного Вьетнама, где была благодатная обстановка и вместе с тем неожиданные непонятные взрывы. Я никаких взрывов в «Сайгоне» не видел, и вообще по воспоминаниям моим «Сайгон» — это место, где я пил кофе и иногда встречался с какими-нибудь знакомыми.

Я в то время был аспирантом университета, философского факультета. Прописан был в Петергофе, в общежитии, но ездить постоянно в Петергоф было довольноно

лучно. И иногда я вел образ жизни бомжа, ночевал где придется, даже на вокзалах. Меня не «гоняли». Бывало, разбудят, но у меня вид был благообразный: борода, волосы седые и одет хорошо. Если милиционер спросит: «Что Вы здесь делаете?» — скажу: «Встречаю гостя. Поехал заранее, чтобы утром встретить». Следующий раз поехал на какой-нибудь другой вокзал, чтобы не примелькаться на одном месте. На

Балтийском вокзале я мог спокойно спать, никто на меня там не обращал внимания — видимо, привыкли. Я просыпался и мог идти, куда хотел. С того момента, когда у меня появилось, в том числе благодаря «Сайгону», множество всяких знакомых, я ночевал у них. Например, в доме у Льва Рудкевича, в Графском переулке, а утром вставал и шел в «Сайгон», и оттуда уже отправлялся по всяким другим делам, куда угодно.

Я был очень подвижным, живым. Но тогда настроение у меня было дурное из-за личных неприятностей: у меня был роман с Галей Старовойтовой, который длился несколько лет, и вот как раз в то время мы расстались. Я ходил в состоянии транса, рассеянно смотрел вокруг на все; у меня тогда осталась всего одна подруга — красношерстная с сединой собака Джеки (драдхард). Мы гуляли в окрестностях «Сайгона» и по всему Невскому. Собака была так красива, что за нами ходили толпы тогдашних старушек... Позднее мы подружились с француженкой, привозившей к нам своих парижских школь-



Анатолий Белкин. Иллюстрация к роману
М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
1976 г.

ников, и гуляли в тех же самых местах — от «Сайгона» до музея Достоевского, привлекая к себе примерно такое же внимание старушек, не сводивших глаз с колен и шорт Жаклин.

Теперь уже давно на Невском и Владимирском нет места для подобных спокойных прогулок. А навсегда таи тогдашнего «Сайгона» состарились, разъехались и вымерли.

На соседнем по Невскому углу был еще один кафетерий, по той же литературной ассоциации названный «Ольстером». В Ольстере тогда тоже протекал вяло текущий ирландский террор Старого света.

Я приходил в «Сайгон», вставал в очередь, пил кофе, подходили ко мне какие-то знакомые... Там была группа девочек, из которых одна была очень красива, поэтому я на нее смотрел, наверное, очень пристально. Тут же мы все перезнакомились.

Девочки были под впечатлением от романа Булгакова «Мастер и Маргарита», только-только опубликованного, и отождествили меня с Мастером. Мне это было очень лестно... Потом эта компания распалась. Они были из отряда археологов, который отправился в Туву.

В «Сайгоне» со мной познакомился Борис Останин: я стоял в длинной очереди за кофе, а он у меня за спиной. И заговорил со мной, как-то постарался меня заинтриговать. Мы вышли на улицу, прошлись, разговаривая о разных литературных вещах, и он вдруг спросил меня об Ионеско. Я ему рассказал о своих впечатлениях от «Носорогов», и он предложил издавать самиздатовский журнал, в котором печатать переводы из Ионеско: девочки будут переводить, «болванки» делать, а он их будет перерабатывать уже в хороший русский текст. И Борис действительно начал этим заниматься и приносил в течение нескольких месяцев по частям переводы «Стульев» Ионеско, и мы с ним вместе редактировали, но потом через год потеряли постоянный контакт: у меня родилась дочь, я ушел целиком в домашнюю жизнь.

Я тогда не испытывал от «Сайгона» никакого особого очарования. Это было будничное для меня место. Но были люди, которые воспринимали это место по-другому. Например, Таня Горичева. Таня воспринимала все чрезвычайно экзальтированно, взвинчивала в своем восприятии все происходящее и потому вдруг увидела, что кругом в «Сайгоне» ходят молодые гении.

У Тани Горичевой был кружок из девочек с философского факультета (Лена Островская, Лариса Потемкина). Они занимались разными вещами: Лена Островская изучала тогда Кришнамурти, индусов, Таня — немецкую философию и даже переписывалась с Хайдеггером, а Лариса занималась Чикагской социологической школой.

С Виктором Кривулиным Таню познакомил я. Мне очень нравились его стихи, и мы с ним проводили очень много времени в разговорах. Говорили о Мандельштаме, которым я тогда зачитывался...

С Таней я уже был знаком до этого, по философскому факультету. За недостатком времени (мы не виделись по многу месяцев) мы с ней переписывались. Я получал от нее письмо, надо было что-то ответить, и я посылал ей кривулинские стихи. А она взяла и однажды разыскала его самого. Кривулин к тому времени уже окончил факультет и устроился работать, у него был период творческой депрессии, вызванный отчасти неожиданной популярностью Бродского. К Бродскому Кривулин относился свысока, и вдруг совершенно неожиданно Бродский стал Нобелевским лауреатом, как бы вместо него. Кривулин на этом совершенно помешался. Он сжег почти все свои стихи. По крайней мере, говорил, что все. Я с ним из-за этого поссорился. Стал ему возражать, доказывать, что он вполне вправе игнорировать Бродского и всю славу его, что это искушение.

И тут появилась Таня. Они поженились. А через два года Таню выслали за издание женского православного журнала.

Вокруг Кривулина был кружок, тогда распадавшийся уже, — кружок студентов филологического факультета, самая молоденькая была Лена Шварц, была там и Елена Игнатова. Я с ними дружил.

У Елены Игнатовой муж занимался очень серьезными вещами — распознаванием и обработкой речевых феноменов. Гулять ему было просто, видимо, недосуг. И поэтому Лена, если собиралась проделать какую-нибудь прогулку, чем-то развлечься, сходить в гости, заходила за мной на Васильевский остров. Я жил на Второй линии, на углу, прямо возле Академии художеств. Она говорила: «Давайте прогуляемся». И мы отправлялись. Куда, заранее не знали. Скажем, в квартиру Блока, которую только что превратили в музей. Зашли как-то к Самуилу Лурье,

где провели целый вечер. В компании нашей было еще несколько человек из тех, кто учился на смежных курсах с Виктором Кривулиным.

Что тогда читали? В конце 1960-х в моду вошел Заболоцкий, им зачитывались. Об обэриутах я знал через своих воспитателей. Один из них, Матвей Александрович Гуковский (заведующий кафедрой истории Средних веков на историческом факультете), лично знал обэриутов. Матвей Александрович для меня очень многое сделал. У Гуковского был любимый ученик — Лев Николаевич Гумилев. Хотя он был старше меня на пятнадцать лет, мы были с ним очень дружны в 1950—1970 годы.

Освободившийся из ГУЛага Гумилев успел побывать в Праге в гостях у Петра Николаевича Савицкого, одного из основателей евразийства. И там от самого Савицкого выслушал длинный рассказ обо мне как его студенте в Потье (Мордовии). Я таких людей называл моими академиками-воспитателями. В частности, таков был Матвей Александрович Гуковский, у которого мы и познакомились с Гумилевым. Полтора десятка лет мы встречались у М. А., а после смерти Гуковского еще столько же, но уже гораздо реже в самых разных аудиториях и домах.

Впрочем, я очень медленно втягивался в знакомства с его этнологическими гипотезами и антропологическими фантазиями и долго мне казалось, что я могу их деконструировать своими шутками и насмешками над такими коммунистическими метафорами, как «пассионарность» или «марксизм» и «околоземная космология». Но Лев Николаевич никогда не обижался на меня, наивного юношу в его глазах, и я, в свою очередь, не воображал еще, какие появятся у него эпигоны, идейные Диодохи и просто плагиаторы от геополитики.

Я видел в Москве Алексея Крученых, даже познакомился с ним. Мы оказались в 1959 году на одном из первых публичных концертов Окуджавы. Это было в Артистическом кафе, в Камергерском переулке. В очереди перед этим кафе стоял и Крученых. Ему было за шестьдесят. Он выглядел совершенным бомжом — лицо помятое, приставал к молоденьким девушкам, говорил очень фривольные вещи, чтобы их шокировать.

Это кафе в Москве было чем-то аналогично нашему «Сайгону». В тот вечер я оказался за столиком лицом к лицу с кем-то, кого не мог сразу опознать, а за спиной у меня стоял с гитарой Окуджава. Где-то когда-то виденный мной визави моим пристальным взглядом был настолько задет, что трижды мне отвешивал поклон. Я отвечал ему тем же, но никак не мог вспомнить, кто это такой. Когда мы наконец расходились, я увидел как он надевает калоши и вспомнил его в роли князя Мышкина, в «Идиоте». Это был сам Смоктуновский. <...>

В 1970 годах я совершенно сменил профессию, сделался экскурсоводом в Петропавловской крепости и перестал бывать в «Сайгоне».

Вячеслав Долинин

НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ ПРОСПЕКТОВ

Впервые я оказался в «Сайгоне» в 1965-м. К тому времени вьетнамское название за кафетерием, расположенным на пересечении Невского и Владимирского, уже закрепилось. Привел меня туда школьный приятель и сосед по лестничной площадке Леонид Шестаков, который учился на английском отделении филфака ЛГУ. Ему, в свою очередь, тропу в «Сайгон» указали коллеги по факультету. Как и многие филологи, Шестаков писал стихи. В моей памяти сохранилась строфа:

Был осенний рыдающий бал
Хрупкий нос на холодные плиты
Юный принц уронил, как бокал
И, всплакнув, разошлись сателлиты.

Иногда нас сопровождал Евгений Строгий, соученик Леонида по университету. Он тоже писал стихи. Из его рукописного сборника «Огрызки» помню несколько слов: «В белого кафеля тихую сень / С хлопаньем двери врывается день» (это об общественном туалете). И еще:

Морда у друга
Распухла с испуга.
Гляди-ка гляди —
Все впереди!

Кроме Строгого, к нам присоединялись Эммануил Поляков, учившийся на французском отделении филфака, наши школьные товарищи Александр Бужинский и Леонид Богданов, а также Борис Алтынов и другие друзья и знакомые. Большинство из нас обитало неподалеку от «Сайгона». Я и Шестаков, например, жили на Шпалерной. Часто всей компанией мы заходили и в другой кафетерий. Он находился при кондитерском магазине на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля и, по аналогии с «Сайгоном», имел восточноазиатское название — «Гонконг». За кофеваркой в «Гонконге» работала немолодая дама, которую все называли Никодимовной. Она знала своих постоянных клиентов по именам и варила им кофе не хуже «сайгонского».

После окончания ЛГУ Шестакова направили военным переводчиком в Египет. Там он тяжело заболел. Последние годы после развода с женой Леонид жил один на окраине города и почти не с кем не встречался. Он умер неожиданно. Труп обнаружили примерно через две недели после смерти — соседи почувствовали подозрительный запах из-под двери его квартиры.

В 1970-е я познакомился с Виктором Кривулиным и Татьяной Горичевой. Они, вместе и по отдельности, нередко навещали «Сайгон». За Татьяной обычно тянулся хвост друзей и почитателей. Она, как личность харизматическая, привлекала к себе самый разнообразный народ — от талантливых поэтов и художников до графоманов, сумасшедших и стукачей. В 1974-м Горичева организовала квартирный религиозно-философский семинар. Его актив составляла небольшая группа литераторов и философов, делавших доклады и инициировавших дискуссии. Многие «сайгонцы» знали о существовании семинара и, порой в больших количествах, появлялись на его собраниях. Приходили как те, кто всерьез интересовался религиозно-философскими вопросами, так и случайная публика, для которой «Сайгон» являлся основным местом пребывания, а злоупотребление кофе и алкоголем основным занятием — персонажей, тяготивших к бесплодной богемности, в кафетерии всегда было предостаточно. Иногда такой персонаж называл себя художником или поэтом, хотя мог (или только собирался) написать одно стихотворение или одну картину. При этом качество произведения никак не влияло на самооценку творца.

«Сайгон» открывался рано утром, но первые завсегдатаи появлялись там где-то после полудня. Частым гостем заведения, например, был фотограф Николай Сапожников. У кофеварки он познакомился со своей будущей женой. После заключения брака молодая семья больше года снимала комнату у моего соседа по коммунальной квартире. Регулярно навещались в «Сайгон» вечно пьяный Нестеровский,

печно трезвый Мазья и другие поэты и прозаики, не имевшие возможности печататься в подцензурных изданиях. Некоторые из них писали для самиздата, некоторые ограничивались тем, что читали свои произведения вслух в кругу друзей и знакомых. Наиболее престижной для неофициального литератора в ту пору считалась публикация не в советских «Неве» или «Звезде», а в «Континенте», «Вестнике РХД» или каком-либо ином эмигрантском журнале. Обжили «Сайгон» и художники-нонконформисты. Уже в середине 1970-х они смогли отвоевать право на проведение выставок своих работ, открытых для широкого зрителя. Эти выставки, проходившие в нескольких домах культуры, на пересечении Невского и Владимирского обсуждались долго и темпераментно. Литераторам-неофициалам пробиться к читателю было сложнее. Впервые напечатать в государственной типографии свой коллективный сборник им удалось только в конце 1985-го.



*Вячеслав Роликин и Л. Богдамов. Конец 1960-х — начало 1970-х гг.
Фото В. Аншуква*

Одной из самых колоритных фигур «Сайгона» был художник-нонконформист Борис Кошелюхов. Он носил потрепанную шляпу с широкими полями, глядя на которую многие, не сговариваясь, высказывали предположение, что художник нашел ее на помойке. Во всяком случае, в советских магазинах подобные головные уборы не продавались. Из-под шляпы спускались длинные черные волосы, выходящая борода закрывала нижнюю часть лица и верхнюю часть туловища. Одежда Бориса была живописно заляпана разноцветными пятнами краски. Когда он в величественной позе стоял на углу Невского и Владимирского и вдохновенно курил сигарету за сигаретой, все без исключения прохожие оглядывались на него. В глазах «ленинградцев и гостей нашего города» светились у одних недоумение («что это за чучело?»), а у других восхищение («это, конечно, непризнанный гений»). За непризнанного гения приняла Бориса и одна итальянская графиня, переводчица с русского и пассионарная коммунистка. Она увезла Кошелюхова на Апеннинский полуостров, но итальянец из него не получился.

Вместе с писателями, поэтами и художниками в устойчивый круг «сайгонцев» входили их читатели и зрители, убежденные в том, что именно неофициальная литература и нонконформистская живопись являются подлинными вершинами современной культуры. Без поддержки этой аудитории, наверное, литераторам и живописцам было бы много тяжелее продолжать свое дело и выживать на задворках советского социума.

Постоянная «сайгонская» публика употребляла не только кофе. Из кофейных стаканчиков пили водку и портвейн. Один такой стаканчик у меня сохранился. Он был украден из «Сайгона» более двадцати лет назад (этот подвиг совершил не я). Бутылки открыто никто не демонстрировал — спиртное наливали в кофейную посуду под столиками. Иногда алкоголь распивался рядом с «Сайгоном» — на Невском, Литейном и Владимирском было достаточно дворов и парадных, подходящих для возлияний. В «парадняке» (это слово произносилось с ударением на букву «е») пили в холодное время года.

Помимо литераторов, художников и всевозможной богемы, в кафетерии обосновались «книжные жучки» — перекупщики дефицитной литературы (в дефиците была не только колбаса, но и пища духовная). В неограниченном количестве в продажу поступали сочинения классиков марксизма-ленинизма и социалистического реализма, но они заметного интереса у покупателя не вызывали. В то же время некоторые издания, спрос на которые опережал предложение, становились дефицитными и попадали на «черный рынок». Потолкавшись у книжных магазинов, «жучки» собирались в «предбаннике» — отделе, находившемся в помещении «Сайгона» сразу за входной дверью. Там торговали коньяком в разлив и бутербродами с красной рыбой (кофеварки были установлены дальше, в глубине зала). Отдельными кучками собирались у столиков проститутки, наркоманы, фарцовщики и воры (кто-то из них однажды попытался продать мне сумку). В солнечную погоду на карнизах «сайгонских» окон со стороны Владимирского сидели хиппи.

Заходили в «Сайгон» и случайные прохожие. Помню, как один из них, с виду типичный алкаш, стоял возле кофеварки прямо передо мной. Когда подошла его очередь, он сделал заказ: «Двести кофе». Кофеварщица, привыкшая варить маленький тройной, унизила клиента презрительным взглядом и, пародируя его плебейскую интонацию, ехидно повторила за ним: «Двести кофе...».

Визиты в «Сайгон» было удобно совмещать с походами по книжным магазинам. Неподалеку от кафетерия располагалась «Академкнига», а по соседству с ней — лучший в городе магазин старой книги. В этом магазине я находил не только редкие поэтические сборники символистов и футуристов, но даже антимарксистскую литературу, изданную в начале XX века. Она попадала в продажу, вероятно, по недосмотру приемщиков — проверить каждую ветхую книжку на предмет идеологической совместимости с догматами КПСС они не могли.

Всесоюзная шпиономания распространялась и на «Сайгон». Почти все его постоянные посетители были уверены в том, что за ними бдительно наблюдает КГБ. О способах этого наблюдения рождались разнообразные легенды. Под подозрение, например, попал телефон-автомат, установленный при входе в кафетерий, — некоторые считали, что он прослушивается «органами» и не решались им пользоваться. Как и большинство советских людей, «сайгонцы» были склонны преувеличивать всемогущество и всезнайство КГБ, а также интерес к себе со стороны этой организации. Однако кое на кого из них (думаю, что таких было немного) службы госбезопасности, безусловно, заводили оперативные дела.

В 1975-м во всем городе на длительное время из продажи исчез кофе. Это вызвало слухи о его предстоящем подорожании. Правда, вскоре на «черном рынке»

появился мексиканский зеленый кофе в зернах. Я жарил его на сковородке до необходимой кондиции. В «Сайгоне» в этот период начали торговать чаем. В среде его обитателей начались разговоры о неизбежном закрытии популярного заведения. Совместно с Горичевой мы решили провести анкетный опрос народонаселения погибающего кафетерия. (К тому времени меня приняли в Советскую социологическую ассоциацию, а Татьяну выгнали из социологического отдела Русского музея по причине идеологической профнепригодности.) В нашей анкете были четыре вопроса. Завсегдатаям предлагалось назвать лучших поэта и художника кафетерия, а также выбрать Мистера и Мисс «Сайгон». Удалось опросить около тридцати человек. Лучшим поэтом был назван Иосиф Бродский, лучшим художником Александр Арёфьев. Титула Мистер «Сайгон» удостоили Виктора Колесникова по прозвищу Витя Колесо. Мисс «Сайгон» стала Е. В.

В том же 1975-м завершалась вьетнамская война. Об этой войне и участии в ней Советского Союза и Соединенных Штатов ходили анекдоты. Приведу для примера два:

1) «Голос Америки» сообщает: «Над Южным Вьетнамом сбит северовьетнамский самолет. Фамилия летчика Ив Ан Ов».

2) Соединенные Штаты закупили в Советском Союзе миллион ящиков «Солнцедара» и применили его во Вьетнаме («Солнцедар» — это производившееся в то время дешевое крепленое вино, вкус и последствия употребления которого нельзя вспоминать без ушаса).

Постепенно события на полуострове Индокитай принимали все более трагический оборот — коммунисты наступали на Сайгон. В конце концов они заняли город и переименовали его в честь своего вождя в Хошимин. Некоторые питерские «сайгонцы» в шутку стали называть любимый кафетерий «Хошимином», но эта новация не прижилась. Ситуация же в столице Южного Вьетнама катастрофически изменилась, и десятки тысяч жителей города вынуждены были бегством спасаться от красного террора. Я узнавал об этом из передач «голосов» (так называли зарубежные радиостанции). Для меня «голоса» были главным источником информации о событиях в мире.

В июле 1980-го пришлось эмигрировать Горичевой — накануне олимпиады КГБ очищал Ленинград от неблагонадежных граждан. Перед Татьяной были два варианта выезда — либо в «столыпинском» вагоне на Восток, либо рейсом «Аэрофлота» на Запад. «Летайте самолетами «Аэрофлота» — призывали советского человека многочисленные рекламные щиты.

В конце 1970-х — начале 1980-х меня заносило в «Сайгон» почти ежедневно. Во время продолжительных бесед с самыми разными знакомыми я поглощал тройной кофе чашку за чашкой. Как в меня влезало такое количество крепкого тонизирующего напитка, сегодня просто не понимаю. Тогда я думал, что жизнь без кофе невозможна.

Однако в июне 1982-го все переменялось. В следственном изоляторе КГБ (на Шпалерной, 25), а потом и в пермских политических лагерях кофе был недоступен. Зэки пили густо заваренный чифир. К сожалению, делать это удавалось нечасто — в лагерном «ларьке» продавали лишь по пятьдесят граммов дрянного чая на одного заключенного в месяц, а из дома получать сырье для чифира нам запрещалось.

В 1986-м меня по этапу отправили отбывать ссылку к Полярному кругу в город Усинск. В местных магазинах кофе отсутствовал — в свободной продаже имелся только зеленый чай самого последнего сорта, но после лагеря и это казалось счастьем.

Вскоре «перестройка» начала набирать ускорение и весной 1987-го, на волне демократизации, я вернулся в Ленинград. За время моего отсутствия «Сайгон»

сильно изменился и как-то потускнел, заполнился панками и прочим несолидным людом. Казалось, что там стало больше сумасшедших и наркоманов. Конечно, и я за это время тоже изменился, поэтому многое видел иначе, чем раньше.

В 1990-м, через полтора года после закрытия «Сайгона», мне удалось попасть на другой край планеты — в Мельбурн. Во время одной из прогулок по городу, на самой его окраине, я заметил вывеску с поразительной надписью. На вывеске было выведено слово «Saigon». С удивлением несколько раз перечитал я эту надпись, пока не убедился, что не ошибся. Вспомнилось, что в 1970-е, когда железный занавес приподнялся и третья волна эмиграции начала осваивать дальше зарубежье, неизвестно откуда до Ленинграда доползли слухи о том, что где-то в недоступном для нас мегаполисе — то ли в Нью-Йорке, то ли в Париже — бывшие питерцы основали кафетерий с ностальгическим названием «Сайгон».

Как выяснилось, «Saigon» на окраине Мельбурна был рестораном, открытым беженцами из захваченного коммунистами Южного Вьетнама. В этом ресторане преобладали блюда вьетнамской кухни, а кофе лишь отдаленно напоминал маленький тройний из нашего «Сайгона». Беженцы, оказавшиеся в Австралии, дали название своему заведению в память о покинутом городе, переименованном завоевателями. Не сомневаюсь, что Сайгон еще вернет себе историческое имя, как уже вернул Санкт-Петербург.

И в наши дни я часто бываю на углу Невского и Владимирского, прохожу мимо окон ныне покойного «Сайгона». По сравнению с 1960—1980-ми в его помещении все, включая интерьеры, переменялось, и публика, облепившая столы, стала совсем другой. Даже дверь, через которую любители кофе заходили в прежний «Сайгон», крепко заперта, как и всякая дверь, ведущая в прошлое. Но я не забыл, как раньше здесь в любой день недели можно было встретить знакомых — посетителей квартирных выставок и чтений, коллег по газовым котельным, авторов и читателей самиздата. Некоторые самиздатчики вошли в «Клуб-81», который стихийно возник осенью 1981-го. Поначалу он размещался недалеко от «Сайгона», в музее Достоевского, и прямо оттуда поэты и прозаики ходили в кафетерий пить кофе и спиртное. Здесь же читались стихи, завязывались дискуссии. «Сайгонцы» обменивались новостями и литературой, в том числе запрещенной, находили единомышленников и собутыльников. За дверями оставались служебная суета и будничная скука — им не было места на территории свободного общения.

Привлекательность «Сайгона» объяснялась не только его удобным географическим положением. Привлекала живая атмосфера кафетерия, радикально отличавшаяся от той, которой дышали все официальные учреждения. Эту атмосферу создавала среда завсегдаев-неофициалов — поэтов, писателей, художников — для них строительство коммунизма и прочие затеи советского государства не представляли никакого интереса. Многие из неофициалов работали коچهграми и сторожами. Их скромных заработков хватало только на тройной кофе и дешевый портвейн, но материальных запросов более высокого уровня (не считая покупки книг), как правило, у этого народа никогда и не было. Служебная карьера «сайгонцев» тоже не волновала. В несвободной стране наименее несвободен тот, кто стоит на нижних ступенях социальной лестницы.

Постоянные клиенты «Сайгона», в своем большинстве, не были политически-ми диссидентами, хотя к партии, правительству и герою анекдотов Леониду Ильичу Брежневу относились безо всякого почтения. Для них внутренняя эмиграция — в культуру, в свободное творчество, а для кого-то в божием безделье — была единственно доступной альтернативой «советскому образу жизни». «Сайгон» стал

экологической нишей для тех, кто не захотел или не сумел вписаться в социалистическую действительность с ее тотальным абсурдом. За четверть века его беспокойной жизни через помещение, пропахшее кофейными ароматами, прошла, наверное, не одна сотня литераторов и художников, не принимавших каноны соцреализма. Кафетерий превратился в один из центров спонтанного формирования неофициального творческого сообщества, он органично вошел в историю свободной культуры Ленинграда 1960—1980-х. Роль, которую сыграл «Сайгон» в становлении этой культуры, достойна того, чтобы сохранить о нем хоть какую-то память. Сделать это можно по-разному. На стенах бывшего пристанища неофициалов, например, достаточно места для установки мемориальной доски. Уверен, что такая доска на пересечении Невского и Владимирского обязательно появится, но не стану гадать, что на ней будет написано.

Лев Рудкевич

«37» — «ГРАНИ»*

Я родился в Нижнем Новгороде, но после войны, когда мне еще не было года, семья переехала в Ленинград. Мы поселились в квартире на углу Владимирского проспекта и Пролетарского (Графского) переулка. В старших классах школы я был дружен с Женей Британишским (младшим братом Володи Британишского), моим троюродным братом, — мы учились в одном классе. С ним и еще несколькими друзьями, художниками и поэтами, мы ходили в кафе на Малую Садовую. Туда приходило много интересных людей, которые потом стали довольно известны: Евгений Рейн, Евгений Звягин... Потом появился «Сайгон» и как-то вытеснил Малую Садовую. Я жил рядом и заходил выпить кофе в «Сайгон». Но я «Сайгон» недолюбливал.

— Почему?

Дело в том, что я всегда был строгим пуританином. И если в кафе поэтов на Малой Садовой собиралась «культурная богема», то здесь были и спекулянты, и сторонники сексуальной революции, и гомосексуалисты, и лесбиянки.

— Они демонстративно себя вели?

Да, достаточно. Тогда была в моде теория сексуальной революции Вильгельма Райха, вседозволенности. Мне все это не очень нравилось.

— А семьи, сложившиеся в «Сайгоне», были?

Интересно, что из семей, созданных в то время, я не знаю ни одной, которая сохранилась бы до сих пор, разве что Валентин Левитин и Жанна Бровина, или Юлия Шор и Аркадий Бартов.

— А Малую Садовую сексуальная революция обошла?

В «Сайгоне» все же атмосфера была другая. Но кофе мы пили. С Юрием Динабургом, с Виктором Николаевичем Колесниковым или еще с кем-то из знакомых. Бывало, они заходили ко мне, и мы вместе направлялись просто выпить чашечку кофе.

— Как сложился ваш круг?

У меня было два круга общения. Один — это мои друзья-психологи, с которыми я был связан профессионально. Прежде всего, я был очень дружен с моим

* Беседовала Юлия Валиева.

научным руководителем Марией Даниловной Александровой и с ее старшим братом, который раньше был ректором Ленинградского университета, математиком Александром Даниловичем Александровым, я часто бывал у них в доме. Второй круг общения у меня сохранялся еще со школьных лет — интеллигенция-богема: помимо Жени Британишского и Евгения Звягина, это были Боря Останин, Юрий Иванов (талантливый, рано погибший художник), Юлия Шор, Елена Шварц. Дружил я и с Виктором Кривулиным, с которым познакомился еще в университете.

— **Как психолог и антрополог, что бы вы могли сказать о богеме тех лет?**

Она представляла собой пеструю картину. Там были и люди талантливые, а были и стукачи, осведомители (я знаю их имена, но называть не буду). Правда, не все талантливые люди были вполне... работоспособны. Например, Олег Охапкин — бесспорно талантлив, мы с ним очень дружили, но он написал бы в несколько раз больше, если бы вел другой образ жизни. Александр Николаевич Миронов, думаю, тоже... Вот Виктор Кривулин много времени отдавал работе, хотя и часто бывал в «Сайгоне».

— **А как получилось, что вы стали издавать журнал?**

Мне пришлось снимать двухкомнатную квартиру за тридцать рублей. Для меня это было дорого, и я решил, что вполне могу жить в маленькой комнате, а в большую комнату кого-то поселить, чтобы разделить плату. Как раз тогда поженились Виктор Кривулин и Татьяна Горичева, и они поселились в большой комнате. Бытом больше всего занимался я: покупал продукты, готовил. Мы подрабатывали репетиторством: я — по биологии (это моя первая специальность), а Кривулин — по русскому языку и литературе. Сначала у нас проходили семинары, потом мы решили издавать журнал.

— **Как проходили семинары?**

Очень многие семинары вели сами Горичева и Кривулин. Они тогда увлекались христианством и, чего я никак не одобрял ни тогда, ни сейчас, — фрейдизмом. Потом выступал Александр Кондратов, автор многих книг, писатель Сомов. Много художников было (Евгений Рухин, например). Приходили и читали стихи Елена Шварц, Олег Охапкин. Были и дискуссии. Обстановка была свободная: кто хотел — приходил, кто хотел — уходил. И, что было странно, напротив всегда стояли свободные такси, хотя в то время было обычно трудно найти машину (понятно, что это были за такси).

— **Как собирали материалы для журнала?**

Публиковали статьи в основном участников семинаров и своих друзей. У меня там были опубликованы две статьи: одна — посвященная творчеству второй половины жизни (по моей научной теме), а вторая — довольно крамольная — о вере. Идея была такая, что Бог произошел от обезьяны.

— **И как их воспринимали?**

Я помню, в рецензии Горичева писала, что «37» — журнал вполне толерантный, поэтому, хотя в целом в нем преобладает религиозная тематика, была напечатана явно атеистическая статья Рудкевича.

— **Были авантюрные истории?**

Однажды меня забрали на одной квартире, а у меня с собой был самиздат, в частности журнал «37». Вывели на улицу. У парадного стоял милицейский фургончик, но, когда милиционеры отвернулись, я юркнул в переулок, а там рядом оказалась трамвайная остановка. И меня не нашли. Как-то я поехал в Москву, на Московском вокзале меня арестовали с целым чемоданом экземпляров журнала. Завели уголовное дело. Это было за две недели до защиты диссертации. Конечно, отменили защиту. На первом же допросе мне предложили уехать. Я отказался, сказал, что

готов понести наказание. Тогда мне заявили: «Мы подключим ваших коллег, и будет групповое дело, да и сроки будут другими. Если хотите, чтобы дело прекратили, уезжайте». И я уехал.

— **Какой это был год?**

Это был 1977 год. В аэропорту в Вене нас встречал представитель «Сохнута» (еврейского общества), он меня спросил, куда я хочу — в Израиль или не в Израиль, потому что двадцать процентов тогда отправлялись в Израиль, а восемьдесят процентов в другие три эмиграционные страны: Америку, Канаду и Австралию. Я ответил, что никуда ехать не хочу. На следующий день пошел в фонд беженцев, мне разрешили остаться в Вене и оформили паспорт беженца. Тогда я связался с НТС (Народно-трудовой союз российских солидаристов), с издательством «Посев», и мне предложили организовать в Вене русский клуб. Я снял большую квартиру недалеко от центра, на Разумовски-гассе. Ко мне, в русский клуб, приходили почти все известные люди, уехавшие из Советского Союза. Каждую субботу вечером в клубе проходили семинары для эмигрантов. Собиралось человек иногда по пятьдесят.

— **Это был постоянный круг людей?**

Нет-нет. Дело в том, что тех, кто уезжал в Израиль, сначала помещали в специальный лагерь под Веной, чтобы избежать покушений со стороны арабских террористов, они там проводили дня три, и потом их на самолете отправляли в Израиль. А те, кто уезжал в три другие страны, проводили в Вене недели две-три, потом переезжали в Италию. В клуб приходила в основном, эта вторая группа. Мне показывали самиздатовские памятки для уезжающих, причем не только из больших городов вроде Ленинграда и Москвы, но и маленьких украинских городов, где был указан мой адрес.

— **Как проходили эти вечера?**

Я сам находил, кто будет выступать. Было много интересных людей. Ближайшим моим другом был известный потом политический деятель (он тоже вернулся в Россию после 1991 года) Кронид Любарский. Я очень дружил с Абдурахманом Авторхановым, автором книги «Технология власти», постоянно ко мне приезжал Михаил Сергеевич Восленский, автор книги «Номенклатура» о советской партийно-правительственной элите. Выступали в клубе и Юлия Вознесенская, и Татьяна Горичева. Всех не перечислить. Проходили и концерты, у меня там был рояль. Пианисты, певцы, скрипачи... Приезжали люди из Франкфурта, центра НТС. Один раз выступал чемпион мира по stokлеточным шашкам Куперман. Довлатов как только приехал, на следующее же утро пришел ко мне. «Мне, — говорит, — тут дали почитать «Континент», так я, когда ехал в электричке, запрягал его в портфель поглубже». Я ему говорю: «Вы же не Советском Союзе. За «Континент» срока не получите». В Вене Довлатов жил вместе с матерью, а примерно через год уехал в Америку. Довлатов писал, но в перерывах между запоями. Дня три, а то и пять он пьет, потом несколько дней отдыхает от запоя и работает. Много пил. Он дружил с Юзом Алешковским, и они у меня часто выступали.

— **Вы встречались потом с Довлатовым?**

Нет. Георгий Николаевич Владимов предложил мне портфель заместителя главного редактора журнала «Грани», и я переехал в Германию. С Довлатовым я больше не виделся, но мы переписывались и разговаривали по телефону. Но, надо сказать, что Владимов Довлатова не печатал — считал, что он не соответствует профилю журнала. Из писателей я также очень дружил с Фридрихом Незнанским, даже редактировал две его книжки. Это душа-человек, очень простой в общении. Он же уехал в Америку с женой. Жена — член коллегии адвокатов, он —

прокурор по особо важным делам. В Америке их дипломы не признают, и он работал инкассатором, перевозил драгоценности из ювелирных магазинов, жена — бэбиситером, но потом он начал писать политические детективы, и внезапно они пошли. Затем он вступил в НТС, переехал с женой во Франкфурт и стал работать в редколлегии журнала «Посев», писал, печатался... Мы с ним очень дружили. На мой взгляд, ранняя его работа «Ярмарка в Сокольниках», по которой был поставлен фильм «Черный квадрат» — это лучшее, что он написал.

— Что читали в эмиграции?

Было достаточно много в то время русскоязычных издательств. В Ленинграде, например, братьев Стругацких можно было купить только на черном рынке. А в издательство «Посев» их издавали, и можно было за небольшие деньги купить «Гадкие лебеди», «Улитку на склоне», «Сказку о тройке». Были издательства, которые специализировались на переводах тех западных авторов, которых по какой-то причине не переводили на русский язык в Советском Союзе. Вот, например, я читал Лоуренса «Любовник Леди Чаттерлей». Считается, что это эротический роман, и если другие романы Лоуренса переводили на русский язык, этот роман — нет.

— А что издавали в «Посеве»? Кто решал, что издавать?

Это было достаточно крупное издательство, выпускало два больших журнала «Посев» и «Грани», еще информационный бюллетень «Встречи» (но это только для членов НТС, внутренняя информация). И книгоиздательство. Издавали и классиков русской философии (Ильина, Бердяева, о. Сергея Булгакова), и современных авторов, в том числе моего друга Авторханова.

— Но план издательства как составляли? Каждый мог предложить?

Приходило очень много авторов, присылали рукописи... Мне как-то Владимов рассказывал, что когда его взял Твардовский на должность заведующего отделом прозы, то он увидел в своем кабинете штабеля рукописей. «Да я же в жизни все это не перечитаю» — а Твардовский ему: «А ты читай каждую рукопись до фразы: “Листья деревьев о чем-то перешептывались”». Владимов решил сначала, что Твардовский пошутил, взял рукопись, лежащую сверху, открыл и на первой же странице увидел: «Листья деревьев о чем-то перешептывались». Взял другую, там — на второй странице. Почему-то все графоманы обожают эту фразу! Но если же приходила рукопись хорошая, я мог ее предложить в издательство... Правда, есть моменты, о которых трудно говорить. Владимов писатель — это, конечно, талант, и сейчас он незаслуженно забыт, его мало читают. Но... при нем журнал «Грани» не был особенно интересным. Поскольку я был заместителем главного редактора, могу сказать почему. Печатали в основном по знакомству. Рукописи, которые присылались неизвестными людьми, даже если они были талантливы, просто клали в стол. Кроме того, Владимов фактически превратил издательство «Посев» в советскую коммунальную квартиру, где соседу подсыпают стиральный порошок в кастрюлю со щами. Работать было просто невозможно, сплошные интриги. Он мог доверительно по телефону обратиться к вам с просьбой, как к «близкому человеку», — высказать мнение о ком-то из сотрудников, а при этом тайно записать разговор на магнитофон (хотя это в Германии запрещено), затем выбрать из вашей речи только отрицательные отзывы, скомпоновать и предъявить запись сотруднику, со словами: «Вот что о вас думает такой-то». Мог попросить положить письмо пасквильного содержания на стол директору издательства, так, чтобы тот вас не видел. Все это было непереносимо.

— Когда вы вернулись в Петербург?

Началась перестройка, Горбачев. В 1991 году я вернулся — и окончательно обосновался здесь.



Гера и Эмил. 1970-е гг. Фото В. Пешкова



У входа в «Сайтон». слева направо: Николай Беляк, Виктор Кривулин, Вячеслав Ролинин (спиной)



Евгений Звартин. 1970-е гг. Фото В. Пещкова



Михаил Ботин. 1970-е гг. Фото В. Пещкова



Елена Игнатова и Елена Пудовкина. Фото В. Окулова



Марк Мазбуз. 1970-е гг.
Фото В. Пещкова



Владимир Ханан. Фото В. Пещкова



Виктор Колесников. Фото В. Пещкова



Татьяна Горичева и Виктор Кривулин. Фото О. Корсуновой



Борис Куприянов и
Константин
Кузьминский.
1970-1971 гг.
Фото Б. Кудрякова



Евгений Вензель
14.12.1977



Эмма Кузьминская
(«мышь»).

Фото О. Корсуновой



Татьяна Каминская.

Фото В. Пещкова



Виктор Ширали. 1974 г. Фото Б.Кудрякова

Ольга Корсунова.
1973 г.
Фото Б. Сметова



Борис Сметов.
1970-е гг.
Фото В. Пешкова



Алла Минченко.
Фото В. Окулова



Владимир Окулов. 1970-е гг. Фото О. Корсуновой



Юлия Вознесенская.
1970-е гг.
Фото О. Корсуновой



Юрий Новиков.
Фото В. Пещкова



Венчание Сергея Олефирова. Фото О. Корсуновой



Елена Гордиевская. Фото О. Корсуновой

Александр Попов.
1975 г.
Фото О. Корсуновой



Борис Останин.
Фото В. Окулова



Петр Чёткин, Алла Липина, Илья Левин. Фото О. Корсуновой

Аркадий
Драгомощенко.
1970-е гг.
Фото
Б. Кудрякова



Василий Филиппов.
1975 - 1977 гг.

Митя Шатин. 1970-е гг.
Фото О. Корсуновой





Леонид Усвѣцов



Анатолий Ромм (Кит) и Григорий Прудников.
Начало 1970-х гг. Фото О. Корсуновой



Отъезд М. Генделева в Израиль. А. Тронь, М. Генделев, К. Меликов, В. Ширази, Б. Трахтенберг, Ю. Должанский. 1977 г.



На ступенях Михайловского замка. Сидят верхний ряд: А.И. Бужинский, М.И. Ковалев, Л.А. Ботданов, Володя «Полс» (Щётолев). Сидят нижний ряд: В. Доликин, Л.П. Шестаков. Стоит Б.В. Алтынов. Конец 1960 – начало 1970-х гг. Фото В. Анщукова

Александр Штамм

«ВЫ ПИРОГ СЪЕЛИ?» — «Я-ТО СЪЕЛ, ЖЕНА ДОЕДАЕТ»*

Давайте так. Вначале о себе. Потом Вы будете вопросы задавать. Меня зовут Александр Юрьевич Штамм. Я родился в Ленинграде 11 декабря 1946 года в семье советского офицера, артиллерийского инженера, Юрия Павловича Штамма. Отец прошел войну, имел «козу», то бишь «Красную звезду», за Курскую дугу. Во время войны моя мать находилась на оккупированной территории, за это была изгнана из университета, и университет ей удалось закончить лишь в 1956 году во Владивостоке. Она с трудом прорвалась туда к мужу, её не пускали по той же самой причине, по которой не дали учиться — из-за пребывания на оккупированной территории**.

Приступим к делу. «Сайгон» тоже имеет свою историю.

Вначале при ресторане «Москва» была «Ёрш-изба». Это было небольшое заведение, вход прямо с Невского. Когда на том же месте открылся кафетерий, мы поначалу называли его «Ёрш-избой». Название «Сайгон» появилось, когда началась война во Вьетнаме.

— Как Вы впервые попали в «Сайгон», случайно?

В 1968 году, вместе со своим начальником, ныне покойным Евгением Васильевичем Соколовым.

— А где Вы работали?

В ЛЦПКБ — Ленинградском центральном проектно-конструкторском бюро, которое находится на Ставропольской, 10. Оно принадлежало к Министерству морского флота. Морского, учтите, а не военно-морского. Почему я туда попал? Шёл 1967 год — «юбилейная мастурбация» по поводу пятидесятилетней годовщины Великого Октября. Я учился в Политехнике (Политехническом институте). На первом этаже нашего общежития, что на Лесном проспекте, висели плакаты, посвященные комсомолу и Гражданской войне. На пятом этаже одна из комнат всегда была под замком, и мы с приятелем, Виктором Васильевичем Власовым, сделали на её дверях надпись «Коммунизм». Получалось, что коммунизм — на чердаке, под замком. Началось разбирательство, и нас вычислили. Деканат. Собрание. «Поведение, недостойное советского студента»... Я взял вину на себя. Витя — из Муром, и в случае отчисления оказался бы в Ленинграде без жилья, или его бы тут же отправили в армию, а я был для армии непригоден. Секретарем комитета комсомола факультета был Левушка Черкасов, он сказал: «Зачем же парню-то все портить? Давайте он по собственному желанию уйдет». Я тогда из Политехника перешёл в Институт водного транспорта, на вечернее отделение. И пристроился на работу в ЛЦПКБ. Потом мы подобные шутки проделывали уже вместе с Женей Соколовым. Женя был старше меня, он 1934 года. С виду он был мужик очень простой, одевался в дешёвенький костюмчик и ковбойку, как физики обычно ходили, по специальности он инженер, но в нём скрывался творческий человек, талантливый пианист и неплохой художник. Как раз тогда, в 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, в продаже появились плакаты «Болтун — находка для врага». Мы посылали знакомых девочек в книжные магазины. В одном магазине они покупали плакаты, а в другом — фотопортреты членов Политбюро. Мы делали коллаж — лепили на плакат портрет Брежнева и затем развешивали по городу...

* Беседовала Юлия Валиева.

** Владивосток был в то время закрытым городом. — *Прим. автора.*

— Итак, Вас привёл Соколов?

Да, Евгений Васильевич... И там я вскорости познакомился с Игорем Львовичем Буничем. Сошлись мы на почве обмена военно-морской литературой, я, как вам сказать, «shiplover». А когда получше друг друга узнали, стали меняться «ватой». Знаете, что такое «вата»? «Вата» — это антисоветская литература. Поскольку везде была подслушка, при обмене использовали условный язык: «Ты пирог съел, который я тебе передал?» — «Я-то съел, теперь жена доедает». Или: «Осторожней, у меня вата». Бунич отличался в «Сайгоне» тем, что «толкал» романы. На лагерном сленге это означает что-то пересказывать. Так как Бунич отлично знал немецкий и английский, он пересказывал содержание книг, которые не были в Союзе переведены. «Тихарей» (стукачей) было много, и он старался пересказывать что-нибудь безобидное — в основном, американские покетбуки, которые он покупал у Валентины, заведующей магазином «Академкнига» на Литейном. Рассказчиком Бунич был неплохим, но иной раз, когда речь заходила о специфических реалиях, случались и промахи. Помню, он пересказывал роман Нэвила Шюта «На последнем берегу» о приключениях американской подводной лодки. По сюжету лодка должна была направиться «в Датскую гавань»... Я подумал: не может быть, скорее всего, лодка шла в Датч-Харбор, это Алеутские острова. Спорили, конечно.



1 мая 1964 г. Фото Б. Кудрякова

Пересказывал он и книги Барбары Такман, которые тогда ещё не были у нас изданы. Раскрашивал, разумеется, пересказы своими фантазиями.

В «Сайгоне» мы познакомились и с Натаном Григорьевичем Масловатым, ныне покойным. Судьба у него очень интересная. Он был рабочим на судостроительном заводе им. Жданова, специалистом самого высокого разряда. Помните, как у Стругацких в «Сказке о Тройке»: «Пятый пункт: национальность — птеродактиль». Каждый новый начальник отдела кадров начинал с того, что вызывал его к себе для разговора, потому что в графе «национальность» у него значилось — еврей, в графе «место рождения» — Нью-Йорк. Натан Григорьевич жил

тогда на улице Червоного Казачества, в семиэтажном доме у самой железной дороги, в двухкомнатной коммуналке. Представляете, что такое коммунальная квартира в новом доме! Я не знаю, чем он питался, но даже в «Сайгоне» он пил только жиденький чаёк. Иногда обходился и без чая, потому что все деньги у него уходили на книги. Натан Григорьевич занимался корабельной фотографией, он был знаком с отцом Иосифа Бродского, который был одним из крупнейших фотографов флота. У Александра Ивановича Бродского была колоссальная коллекция фотографий, и они с Натаном обменивались. Как-то Натан взял меня с собой, и я побывал в квартире у Бродского...

К нам присоединялся в «Сайгоне» Юрий Исаакович Бржежинский. Он работал инженером в ЦНИИ морского флота, а кроме этого в газете «Спортивная неделя Ленинграда» под псевдонимом Барканов (по фамилии матери) писал обзоры. Он был автором так называемых «фашек», ехидных эпиграмм, которые выходили у него бесподобно.

Надо сказать, что объем антисоветской литературы, причем именно тамиздата, был довольно большой. «Чернокнижники» собирались в садике на Литейном, за магазином «Академкнига». Мы называли этот садик «Приют чернокнижников». В ваше время всех уже разогнали, поэтому и название не сохранилось. Из сленговых выражений было еще слово «лейборейтор». Лейборейторами назывались те, кто тащил что-то из библиотек... Я думаю, тусовка, собиравшаяся в «Сайгоне», с «чернокнижников» и стала образовываться. По крайней мере, наша часть.

О том, насколько активно литература ходила по рукам, можно судить по такой смешной истории, которая однажды со мной произошла в магазине «Академкнига». На дворе стоит 1984 год. Я прихожу в магазин к Валентине, там было заведено оставлять сумку на стуле. У меня была самая обыкновенная сумка через плечо, чтобы можно было надеть наискосок, и руки были свободны, удобно было в транспорте держаться. Пока я разговаривал с Валентиной, пришёл ещё кто-то и тоже оставил сумку на стуле. Сумки были абсолютно на одно лицо, и получилась ситуация, как в фильме «С лёгким паром». Я беру сумку, выхожу из магазина, а потом обнаруживаю, что в ней лежит другой набор книг. У меня среди вполне безобидных изданий лежала аккуратно завернутая книга Авторханова. В сумке, которую я держал в руках, тоже находились отнюдь не термосы с чаем или кофе, а очень даже интересные вещи, в том числе «Зияющие высоты» Александра Зиновьева. Дня через три раздается звонок: «Вы пирог съели?» Я отвечаю: «Я его давно съел». Мне говорят: «А я ваш ем с удовольствием». И мы потом в «Сайгоне» обменялись сумками.

Понятно, что был и самиздат, но разный. Началось с переводов. Не понимаю почему, но первой шла французятина: Мишель Бютор. Натали Саррот. Перевели даже Алена Роб-Грийе «Прошлым летом в Мариенбаде». А вскоре после дела Бродского был издан первый сборник самиздатовский, который, насколько я помню, назывался «Процесс над тунейцами и оборотнями». Там было дело Бродского и все прочее. Естественно, ходили письма Солженицына и письма Сахарова... Потом пошли уже серьезные вещи, я заполучил на вечер «Раковый корпус»... Именно в самиздатовском варианте прочитал Оруэлла (он ходил и в тамиздате).

Самиздатчиков-то было не один-два человека. «Сайгон» являлся, так сказать, центром, потому что где ещё друг с другом познакомиться? По телефону же не спросишь... Как только советскому человеку дали в руки множительную технику, он нашёл ей достойное применение. Тогда были не ксероксы, а машины под названием «Эра», жуткие совершенно сооружения... Печатная машинка вам может помочь далеко не всегда. Попробуйте размножить на ней главы «Улисса», которые были опубликованы в «Интернациональной литературе»! Где-то года с 1982-го множительную технику взяли под контроль, но АЦПУ под контроль не

очень то возьмешь. АЦПУ — алфавитно-цифровое печатающее устройство. Это большие машины, работающие с помощью магнитной ленты. Ну, голь на выдумки хитра, а советский человек еще более. Жесткому контролю не подвергался вычислительный центр Армянской академии наук. Что контролировать астрономов? Мой дядюшка Толя* привозил оттуда магнитную ленту. А я был «программист» и занимался в Красном селе «асучиванием», то есть ставил автоматизированную систему. В Красном Селе много чего было размножено: от эротики до писем Сахарова. Количество копий можно было задать, а можно было вставить трех- или пятистрочную бумагу. Скорость же печати была даже выше, чем на принтерах современных компьютеров. Как делали, чтоб никто не увидел? Можно было закрыть дверь в зал, но как-то не принято было... Обычно оператор ЭВМ либо инженер собой закрывал то, что печатается. Со стороны выглядело так, будто стоит себе специалист, смотрит за работой... Если какая-то зараза заходила в зал, надо было ровно одну клавишу нажать, и содержимое ленты начинало обнуляться. Операторами там работали две девочки, Галочка и Танечка, они в «Сайгоне» не бывали, но печатали очень хорошо.

— **Обменивались тоже в садике за «Академкнигой»?**

Нет, садик был поднадзорный... Обычно выходили из «Сайгона», шли в сторону метро «Владимирская» и заходили в садик у Владимирской церкви. Там располагалась станция скорой помощи. Что можно подумать? Извините меня, пошли по малой нужде... Удобным для обмена местом были дворы. Ходили во двор кинотеатра «Титан», прямо напротив «Сайгона». Ну, подумаешь — два мужика стоят, болтают, курят... А в «Сайгоне», если книгами обмениваться, то советскими, в смысле, изданными в советское время. Или дореволюционными...

— **А дореволюционными не боялись обмениваться?**

Это смотря какими. Бердяевым-то особо не обменяешься. А антиком можно было обмениваться безбоязненно — Тацит, Геродот... Или дореволюционным Ключевским... Вот уже религиозной литературой не рисковали.

— **Эпоха самиздата для Вас когда началась?**

В 1956 году, когда мне было десять лет... Отец, он тогда еще был офицером во Владивостоке, принёс домой доклад Хрущёва на XX съезде. Потом, уже в Ленинграде, стал приносить обзоры ТАСС, так называемые «тассовки», причем те «тассовки», которые касались Советского Союза. Мой отец человеком был серьезным. Это ему принадлежат стихи: «Посередине кремлевской рощи три символа советской мощи: Царь-колокол, что не звонил, Царь-пушка, что не стреляла, и «Н-1», что не летала». «Н-1» — это советская лунная ракета Королева. Отец работал в «мыльнице», закрытом НИИ-303 (ЦНИИ «Электроприбор»), что на Петроградской стороне, занимался разработкой систем, отвечающих за стыковку, и систем наведения. На совещании по поводу «Н-1» он сказал Королеву: «Сергей Павлович, схема-то здесь такая сложная, что ракета ведь не улетит». В 1973 году отец ушёл с работы и тогда же вышел из КПСС (в партию он вступил после доклада Хрущёва), а мне тогда прямо сказал: «Здесь ничего не получится, вступай в НТС». Что я и сделал в 1975 году.

— **В НТС тут вступали?**

Я отправил с надежным человеком на Запад письмо. Мы списались. Они мне прислали микрофишу, в которой указывалось, что надо завести тайник и так далее...

— **Помимо «черно книжников», какие ещё круги были в «Сайгоне» в конце 1960-х?**

— С социальной точки зрения «Сайгон» был структурой кружков, отчасти соприкасавшихся, отчасти нет. «Нашим» человеком был художник Ильдус Фаррахов (одно время мы вместе работали в ЦНИИ морского флота), но он входил и в художественную тусовку. Ильдус учился книжной графике в Полиграфическом институте. Правда, книжной графикой не очень-то горел. Он был художник стиля Миров. На работе мы получали копейки и придумали, чтобы немного заработать, следующее. Мы с ним при помощи формопласта делали разные рельефы, в том числе эротические, и продавали. У нас были оптовые покупатели, ну а заодно мы продавали это в «Сайгоне».

Из поэтов заходили Евгений Рейн и Иосиф Бродский, все с пиететом к ним относились, это были уже имена. Был круг филологов, к которому относился, например, Марк Мазья. Марик был великодушным человеком. Он так рассказывал о пушкинских временах, что можно было заслушаться... Мы познакомились через математика Костю Бердичевского, чья жена была завсегдатаем Публички. А Марк отличался тем, что он в Публичке, в курилке, «развивал темы». Помню, как-то мы пошли в «Соловьевский»*, выпили портвейна, абсолютно гадостного, и Марик стал читать свои стихи и говорить о любовных победах... Я был настолько поражен его эротическими фантазиями, что через несколько дней у меня родилась эпиграмма:

Есть у Мазьи мужская сила
И поэтический талант:
В стихах он половой гигант,
А с ... капают чернила.

Музыкальная тусовка была двоякая: с одной стороны, непосредственно музыканты (Голощекин, само собой), с другой, — магнитофонщики, то есть те, кто обменивался записями. Из магнитофонщиков я многих знал. Туда ходили два парня из моего дома: Паша Бакастов, который начинал с самиздата (смешно сказать, но ещё в школе вместе с подругой они печатали «Камасутру»), и Леша Евдосеев. Царствие им небесное... Магнитофонщиками были Григорий Константинович Рыжик и Евгений Яковлевич Крол (они сейчас где-то в Штатах), Костя Бердичевский и уже упомянутый мной Витя Власов, который, хотя и собирал Высоцкого, Галича, Городницкого, Кима, дослужился в Белоруссии в конце 1970 годов до чина первого секретаря райкома, потом я потерял его из виду.

— Какие записи тогда ходили?

Первые записи, которые стали ходить в самиздате — еще магнитофонов не было — это песни Игоря Ринка «О войне, о любви». Из магнитофонных сначала — Галич, потом появились Высоцкий, Ким, Городницкий.

— С кем из музыкантов пересекались в «Сайгоне»?

Заходил в «Сайгон» Гребень (Гребенщиков). Но у нашей компании он был не в почете — вечно окружен девицами. Чуть позже, уже в 1980 годы, бывал Шёвчук, хороший парень. Он тогда дворником работал... Представил нас Юра Захаров, кинорежиссер, документалист. Году в 1983 я познакомился там с Витей Цоем. Просто разговорились — знаете, как бывает. Потом решили вместе поехать домой на троллейбусе. Выяснилось, что нам в одном направлении, на Петроградскую. Цой показал, где его кочегарка, которую мы прозвали «цоевка».

— Долго ли продержалась Ваша компания «чернокнижников»?

Она распалась после так называемого «корабельного дела» в 1980 году, когда Евгения Николаевича Иванова обвинили в шпионаже в пользу Великобритании.

* Гастроном на углу Невского пр. и Владимирского пр.

Евгений Николаевич Иванов, мастер — золотые руки, ювелир и судомодельщик, делал так называемые «подносные» модели кораблей, то есть модели, которые предназначались для подарков высокопоставленным особам. Причем он сам сопровождал модели в Москву. На свое несчастье, он договорился встретиться с членом редколлегии журнала «Warship International» Рене Грегором не в «Сайгоне», а в гостинице. Иванова прихватили 11 мая 1980 года. Начались обыски. У самого Иванова дома обыск длился четырнадцать часов, поднимали половицы и снимали подоконники. Единственное, что у него нашли, — чертежи большого противолодочного корабля, который он делал кому-то на продажу... Потом пришли к Буничу, после визита к которому им пришлось изрядно «оттираться», поскольку на антресолях, где особо тщательно искали, устроила «секретное место» его кошка.

— Вас это тоже коснулось?

Игорь меня предупредил, и я успел вытащить из дома всё, что только мог. Меня прихватили в конце сентября. Когда Иванову предъявили расстрельную шестьдесят четвертую статью «Измена Родине», он признался, что копия текста «Одного дня Ивана Денисовича» из «Нового мира» у него «от Штамма». Женя был уверен, что я выкручусь. Начался обыск: «Снимите, пожалуйста, вазочку, мы ее можем разбить», «Александр Юрьевич, покажите места общего пользования». Я веду Виктора Васильевича Черкесова, который проводил обыск, в туалет, говорю: «Капитан, смотрите внимательно, там на крышке унитаза я жевательной резинкой приклеил мобилизационный план военно-морского флота». — «Перестаньте делать замечания в процессе обыска!». Увидели в какой-то советской книге вложенные листки со стихотворениями Маяковского и Евтушенко. «Ну, мне больше нравится Маяковский» — «А мне, — говорю, — Евтушенко». Вот такой интеллектуальный разговор...

А я из дома все вынес, кроме Библии и «Лебединого стана» Марины Цветаевой. Запрятал, конечно, но уносить не хотел. Ни то, ни другое при обыске не нашли. А почему не унёс? Моя матушка, светлая ей память, крестила меня в катакомбной церкви. У нас дома ни одной иконы не висело никогда, все таились, тихарились. Когда я закончил школу, дед (по матери) мне сказал: «Не ходи ни в какое гуманитарное учебное заведение, там людей расстреливают». Сам он закончил кораблестроительное отделение Политехнического института. «У нас, — говорит, — всех экономистов перестреляли».

Как вам сказать, что такое «Сайгон»? Это островок свободы в царстве тоталитаризма. Ничтожный островок...

Феликс Балонов

ЧИТАТЬ ГЛИНУ В ГЛИНЕ*

Надо сказать, такой кафетерий, куда бы приходили главным образом для того, чтобы выпить кофе, а не перекусить, был редкостью. Поблизости от «Сайгона» существовало несколько кафе, но в них, как правило, закусывали: в двух шагах, на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна, находился кафетерий с вывеской «Кафе-автомат», но в нашей среде его называли «Гастрит». Официальное название было связано с тем, что в этом кафе когда-то стояли автоматы: можно было бросить монетку и получить обед. Я застал эти автоматы уже в нерабочем состоянии.

В «Гастрите» можно было взять солянку, сосиски с гарниром, что-то еще, столь же грубо перерабатываемое. Когда в 1964 году (я в то время служил в армии) открылось новое кафе на углу Невского и Владимирского, то, как мне рассказывали потом друзья, сначала оно функционировало наподобие «Гастрита», как закусочная. Прямо при входе был сделан небольшой закуток, где можно было выпить бокал лимпанского или коньячок. Потом шли ряды кофеварочных аппаратов, с соответствующей обслугой, а в самом конце зала продавалось горячее — там можно было перекусить теми же сосисками или солянкой. Впоследствии эту часть закусочной ликвидировали, и с 1967 года это заведение превратилось в кафетерий. Если кто хотел выпить, шли в холл гостиницы «Москва» либо в соседние заведения.

Поначалу (году в 1967) я в «Сайгоне» ни с кем знаком не был, приходил, пил кофе (кофе варили там неплохо — лучше, чем в других местах) и, разумеется, обращал внимание на посетителей. Нельзя было не заметить Сергея Довлатова, который иногда туда заглядывал. Он ведь все-таки дядя двухметрового роста. Захаживал, хотя и редко Иосиф Бродский. Чаще его можно было увидеть в компании с Володей Уфляндом и Анатолием Найманом в кафе у Елисеевского магазина. Сам я на Малую Садовую заходил только если «Сайгон» по каким-то причинам был закрыт или мне было не успеть туда добраться.

В 1967 году я поступил в университет, на истфак. Сентябрь месяц мы провели на картошке, а с октября, когда началась учеба, стали ходить в свой факультетский кафетерий, где кофе был замечательный, по такой же цене, как и в «Сайгоне»: три копейки — чашка кофе без сахара, если с сахаром — на две копейки больше, «двойной» — восемь копеек. Постепенно появились какие-то знакомства и привязанности, дававшие стимул для того, чтобы после лекций отправиться в «Сайгон», хотя знали мы тогда друг друга очень поверхностно, и по имени и фамилии я знал только тех, с кем уже были плотные контакты. Это филологи Сергей Владимирович Белов, Марк Мазья, актер Евгений Луцевский и художник Петр Батраков.

Самые плотные контакты у меня образовались с Сергеем Беловым и с Марком Мазьей. Мы сошлись на филологической почве: Марк занимался творчеством Кюхельбекера, Сергей — был знатоком Достоевского, а я был археологом, тяготеющим к литературоведению. К началу 1980-х я уже полностью погрузился в булгаковедение, и многие меня знали в «Сайгоне» именно как булгаковеда. Марка я встречал в «Сайгоне» и до того, как мы стали заядлыми собеседниками. Его невозможно было не заметить, в глаза бросались его руки — короткие-короткие, не такие, как у всех (он был инвалидом с рождения). На него нельзя было смотреть без сострадания, хотя он в этом сострадании, как я уже позже осознал, не пуждался. Помню, как меня поразило, когда Марк стал появляться в «Сайгоне» с девушкой — красавицей, с ума можно было сойти! Сразу потеряешь голову, как только увидишь. Это была Нина Рубинштейн. По всему было видно, что чувство было взаимным, и в конце концов они поженились.

Обычно после университета я шел по книжным магазинам, расположенным на Невском проспекте. Заходил в магазин «Глобус» в самом начале Невского, магазин «Искусство» (книги по искусству соцстран), нотный магазин, Дом книги и так далее до «Сайгона». Около магазина «Старая книга» на Литейном паслись «чернокнижники» — компания ребят, которые занимались, по тогдашнему официальному определению, «спекуляцией книгами». У них была своя клиентура, в том числе и в «Сайгоне». Среди чернокнижников я знал Колю Сапожникова, фотографа. Он был хорошим человеком, но жутким пьяницей, что его в могилу и свело в конце концов. Был там и теперь уже покойный поэт Владимир Безродный, человек отменной души, хотя тоже большой любитель выпить.

Трехбуквенная организация

В «Сайгоне» имели широкое хождение истории, так или иначе связанные с известной организацией из трех букв. Женя Лушевский, впоследствии эмигрировавший, рассказывал, что не раз обнаруживал за собой слежку. После того как на него напали в подъезде его дома и избили, он окончательно решил уехать из страны. Один его приятель, Эдик-армянин, настолько был потрясен нападением на Женю, что до сих пор при встрече на улице каждый раз осматривается по сторонам, прикладывает палец к губам и понижает голос: «Тссс! Тихо, тихо...»

Сам не ведая того, и я оказался под особым присмотром трехбуквенной организации. Случилось это после археологической экспедиции в Туркмению, в 1970 году.

Это была экспедиция по исследованию эпохи неолита и бронзового века, возглавлял её доктор наук Владимир Михайлович Массон. Для меня как археолога это была уникальная возможность научиться «читать глину в глине». В эпоху бронзы там использовали для строительства домов глину, смешанную с соломой. Глиняные кирпичики высушивали на солнце, а затем из них складывали строение. Как только дом ветшал, его ломали, утрамбовывали и на его месте строили следующий. И вот так поселение, существовавшее на протяжении нескольких тысяч лет, росло и росло... Экспедиция была небольшая, всего десять человек.

Через некоторое время после возвращения из экспедиции, в общежитии, где я жил, раздаётся звонок из газеты «Смена»: «Вы были в экспедиции Массона. Мы бы хотели написать о её результатах, об интересных находках. Можно ли с Вами встретиться, поговорить?» Можно, почему нет. Через пять минут на историческом факультете, где звонивший назначил встречу, ко мне подходит человек лет тридцати пяти, внешне мало похожий на журналиста молодежной газеты, и приглашает пройти в комнату коменданта. Сам открывает ключом дверь, пропускает меня вперед и запирает дверь изнутри. За столом в этом маленьком помещении нас поджидает еще один человек. Мне предлагают сесть и начинают разговор: «Ну, рассказывайте, как там в экспедиции?» Однако очень скоро я понял, что научные устремления экспедиции «журналистов» не интересуют, и газета «Смена» тут ни при чем. Их интересовали наши беседы, а более всего — что говорил нам Вадим Михайлович. (Позднее я узнаю подоплеку их пристального интереса к фигуре ученого. Она окажется проста, как репа. ВММ всегда был фрондером, даже в своих лекциях нам, студентам, игриво отзывался об учении Маркса-Энгельса. Так вот, он был женат на дочери генерала КГБ. И, когда развелся с ней, она с помощью папы и его коллег ему начала мстить.) Но как я мог упомянуть наши разговоры? О чем мы только за месяц не говорили! Тогда вопрос конкретизировали. Прозвучало название рассказа Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Я ответил, что об этом никаких разговоров не было. Спросили и о моем отношении к рассказу. А затем представились. В комнатке коменданта подполковник и капитан госбезопасности муржили меня в течение шести часов. Сначала давили на мое пролетарское происхождение, потом на членство в партии. На тот момент я был молодым коммунистом. Меня черт догадал в армии вступить в КПСС. Во что только не вступил по молодости лет, по недомыслию. На самом деле, в экспедиции больше всего говорили о литературе. Когда мы только приехали и знакомились с Ашхабадом, я по привычке побегал по книжным магазинам и купил там то, что в Ленинграде купить не мог — в частности, три тома из собрания сочинения Ильи Эренбурга. Вот что я читал. А, кроме того, у ребят был с собой только что вышедший в русском переводе роман Томаса Манна «Иосиф и его братья».

Позднее выяснилось, что расспросы велись вокруг книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАг», которая тогда уже ходила по рукам. Откуда-то стало известно,

что члены экспедиции собирались по возвращению домой устроить совместное чтение книги.

Через месяц раздается еще один звонок, вызывают на второй разговор. Ждут меня около Института культуры им. Крупской, который мы тогда иронично называли «Институт культуры и отдыха». Прихожу в назначенное время — никого не видно, прошелся до Лебяжьей канавки и обратно, и тут — бац! — как чертик из табакерки этот самый капитан. Повели меня через Марсово поле, в здание Ленэнерго. Сцена повторяется: маленькая комнатка, запертая изнутри, стол. На столе портфель, к которому капитан то и дело в течение разговора подходит, пощелкает замками и садится опять. То ли на новую дорожку переключает, то ли на новую бобину. Вопрос повторяется неумолимо один и тот же: «Ну, что вы за это время вспомнили?» Надоело мне, и решил я сыграть ва-банк. Говорю: «Да кое-что вспомнил». И рассказал о том, как в последний год моей службы в армии меня однажды вызвали в Особый отдел и предложили по окончании срочной службы идти учиться в Высшую школу КГБ, но, завершил я, моя стезя — археология, свой выбор я подтвердил, поступив на истфак — три года штурмовал ЛГУ, приезжая из Краснодарского края. Подполковник посмотрел проникновенно на меня поверх очков и говорит: «А напрасно отказались! Из Вас неплохой бы разведчик вышел». Было это сказано после восьмичасовой «беседы»... Впоследствии мы вычислили осведомителя, он в «Сайгон» не ходил, это был мой коллега по истфаку.

Пришла весна 1971 года, и вдруг прямо во время лекции в аудиторию входит секретарь деканата и называет мою фамилию. В коридоре она посмотрела на меня большими глазами: «Феликс! Что вы натворили?» Дело в том, что студентов в студенческий отдел университета вызывали только в каких-то экстренных случаях. В главном здании, где был этот отдел, я увидел знакомую фигуру капитана в штатском. Ведут меня в Первый отдел, опять я слышу щелчок замка сзади. И тот же самый вопрос: «Ну, что вспомнил?» Я не выдержал... послал их на три буквы. Меня отпустили, но потом всё делали для того, чтобы я всю жизнь их помнил. Несмотря на красный диплом, работа по специальности была мне заказана... В 1989 году, оказавшись в очередной раз без работы, а значит, освободившись от необходимости вставать на партийный учет, отослал свой партбилет в райком КПСС, написав, что не желаю больше состоять в этой организации.

Испытав на себе деятельность Комитета Глубокого Бурения, в разговорах я был, конечно, осторожен. И в «Сайгоне» тем более. Но, честно говоря, я не слышал там никаких провокационных бесед, да и круг общения к тому времени постепенно сужался.

Вторая жизнь Сайгона: Ламбада и Скворечник

После того, как «Сайгон» приказал долго жить, мы перебрались в кафетерий, расположенный между улицами Марата и Пушкинской. Там постоянно звучал магнитофон, чаще всего раздавалась модная в то время ламбада. И как-то так получилось, что с легкой руки художника Пети Батракова сам кафетерий стали называть «Ламбодой». Говорили: «Пошли в “Ламбоду”»...

Потом открылся еще один кафетерий — в гастрономе на углу Пушкинской и Невского. Через некоторое время проход через гастроном закрыли, и посетители стали входить в кафе непосредственно с Пушкинской улицы. Стены там были обшиты деревом, и Петя, увидев новый интерьер, тут же окрестил кафетерий «Скворечником» (художник есть художник), и это название тоже прижилось. И вот мы кофейничали то в «Ламбаде», то в «Скворечнике».

Петя обладал не только легкой рукой давать меткие названия, но и неким мистическим даром в рисовании. Однажды он показал мне свои иллюстрации к булгаковскому роману «Мастер и Маргарита». Мне понравилась манера, в которой они были выполнены, и один из этих рисунков, на котором были изображены Фагот и Бегемот, я решил взять, с согласия Петра, в качестве иллюстрации к своим статьям о романе. И в 1988 году в газете «Ленинградский университет» вышла моя статья под названием «Сатанинский цвет», с этой иллюстрацией.



Фагот и Бегемот. Илл. П. Батракова

Вот что из этого получилось. Фагот и Бегемот — поджигатели. В романе Булгакова они сожгли Дом Грибоедова. И что же вы думаете? Не успела газета с моей статьей попасть в Библиотеку Академии наук — и библиотека сгорела... Такое мистическое совпадение. По официальной версии, пожар начался с газетного фонда. Это что, Фагот и Бегемот слезли с газетной страницы?! На следующий день я поймал Петю в «Ламбаде» и спросил: «Ты слышал о том, что сгорела Библиотека Академии наук?». Петя отвечает: «Да, да знаю, это просто ужас...» Я говорю: «Петя, а знаешь, из-за чего она сгорела? Какого числа был пожар? Пожар был после того, как газета с моей статьей и с твоим рисунком попала в библиотеку!»

Запомнился еще один случай, теперь уже символический, произошедший в «Ламбаде» во время путча 1991 года... Девятнадцатого августа все в кафе

были в невероятном возбуждении! Мне, однако, казалось, что всё это несерьезно, что всё закончится через три дня. Об этом мне, как булгаковед, говорила сама дата: в «Роковых яйцах» Булгакова 19 августа «морозный бог ех machina» побил красных гадов, ползущих к Москве, с которыми справиться не могли ни ОСОАВИАХИМ, ни Красная армия. В тот же день вечером я наблюдал дома из окна, как на Адмиралтейском проспекте тащат скамейки из Александровского сада и кладут поперёк трамвайных путей, строят баррикады. А через три дня всё действительно закончилось. На третий день, 21 августа, мы опять встретились с Петей Батраковым (в тот период он носил псевдоним Петр Охта) в «Ламбаде». Стоим в очереди, берем кофе, подходим привычно к своему столику, а там два типа уголовного вида и с ними девицы. Похоже, что ребята только несколько дней как вышли из заключения. Один из них стал на нас кричать, что, дескать, наше время, «дерьмократов», кончилось: «ГКЧП тут...». Я ему ответил, что его информация устарела, теперь как раз на нашей улице праздник. Верзила схватил Петин стакан, да так, что окунул палец в кофе, но Петя успел ухватиться за стакан, рванул его к себе, а затем стакан оказался впечатан в физиономию

напившего. Тут завязалась потасовка, и я, признаюсь, тоже внес свою лепту. Кофе-питие, однако, было испорчено. Мы вышли на Невский покурить, а следом, расточая угрозы, вышел окровавленный тип. Нас было уже не запугать, слово было за нами. Кто-то нас предостерегал: «Смотрите, приведут корешей с вами посчитаться!» Но они не вернулись. На самом деле, начались хорошие времена, хоть и ненадолго.

Как-то раз американские молодые туристы, попав в мастерскую Петра и увидев там портрет Джона Леннона его работы, захотели его купить. Петя, душа-человек хотел уж, было понравившийся американцам портрет подарить. Но они поступили честно, заплати Петру за этот портрет сто тысяч рублей. На следующий же день среди давних знакомых Пети нашлась масса нуждающихся. Одалживали у него кто сколько мог, объясняли примерно одно и то же: «Завожу свое дело, нужны средства для разгона, тысяч десять-пятнадцать, как только встану на ноги, отдам». И Петя все раздал. Никто ничего ему не отдал. Петр стал пить, совсем обнищал. Мы, несколько человек, помогали ему как могли, уговаривали бросить пить. Но... Петра Батракова уже нет в живых...

Когда закрыли «Ламбаду», а затем «Скворечник», все связи оборвались, мы стали встречаться изредка, случайно... И только с Сергеем Беловым и Марком Мазей общались, но уже на конференциях, в Публичке или дома. Теперь же, когда и Марика не стало, встречаюсь только с Беловым. Вдова Марка с сыновьями уехали, и теперь благополучно живут в Чикаго.

Игорь Андреев

ЕЩЕ РАЗ ПРО «САЙГОН»!

Прошло почти двадцать лет со дня закрытия знаменитого кафе «Сайгон», что на углу Невского и Владимирского проспектов. Уже написаны десятки статей об этом легендарном заведении Ленинградского общепита, а тайна «Сайгона» продолжает вызывать интерес у любознательных питерцев.

Я был если не завсегдаем, то частым гостем «Сайгона» более двадцати лет.

Я не литератор, не журналист и вообще человек далеко не творческой профессии. По образованию — книговед, по реальной работе — продавец книжной продукции. Проработал на этом поприще более трех десятилетий. Распространял советскую литературу вперемешку с антисоветской (антисоветскую, разумеется, на общественных началах и бескорыстно), потом — постсоветскую, и так — до сего времени.

Воспоминатель я никудышный, поэтому примите мои заметки на полях как читательский отклик на уже написанное о «Сайгоне», рассказанное знакомыми сайгонцами и т. д. За стиль не обессудьте.

В этих заметках я хотел бы высказать и по возможности обосновать одну из версий: почему власти так долго терпели «Сайгон» и не прикрыли его при первых же признаках роста его популярности, особенно после чехословацких событий 1968 года.

Я помню, лет двадцать назад мы с товарищем, тоже сайгонцем, спорили об этом до хрипоты, да так к единому мнению и не пришли. Товарища уже нет, попытаюсь это сделать сейчас уже я один.

Собственно о «Сайгоне». Попал я туда совершенно случайно. Жил неподалеку от Московского вокзала, вел холостяцкий образ жизни и посему по вечерам ходил питаться в ближайшие кафешки и столовки. Так набрел на «Сайгон», о котором

до этого и слыхом не слыхивал. Не долетела еще его слава до Сахалина, откуда я незадолго до этого вернулся в родной город после десяти лет странствий по СССР. Да, думаю, и в Питере его популярность была не столь широка. До легенды «Сайгону» было ой как далеко — шел 1967 год.

Первое впечатление от увиденного и услышанного ошеломило — куда я попал? Это не просто кафешка и даже не клуб по интересам, это нечто другое. Любопытство и желание разобраться, что такое «Сайгон» и кто его посетители, такие расхристанные и в то же время такие свободные, подвигло меня бывать там почти каждый вечер.

По свойству характера я не очень общителен, а тут еще многолетнее «бродяжничество» наложило свой отпечаток. К телефону-автомату с опаской подходил — не было телефонов или почти не было в тех краях, откуда я вернулся. Чтобы понять, чем меня заинтересовал «Сайгон» и каких встреч и знакомств я надеялся там найти, должен сказать несколько слов о собственной биографии, досайгоновской, разумеется.

Семнадцатилетним я уехал на целину в Казахстан, затем три года армейской службы в Белоруссии. Оттуда, минув дом, прямым ходом на стройки «коммунизма» Урала и Сибири, наконец — Сахалин. Уезжал из города инфантильным восторженным юнцом, вернулся — с антисоветским кукишем в кармане. Как там у марксистов: «Бытие (общественное) определяет сознание». Вот-вот, это о нас — послевоенном инфантильном поколении, детях ленинградской блокады. Советская действительность с ее вселенской ложью и агрессией, с ее растленной идеологией, делала из нас антисоветчиков-диссидентов. Андрей Синявский как-то заметил: «Мое расхождение с Советской властью не идеологическое, а эстетическое». Дико было бы ставить себя на одну доску с известным писателем — политэзком. Все же осмелюсь предположить: мои расхождения с «Софьей Власьевной» — этические в первую очередь. Политическими они стали после грохота советских танков по улицам Праги. Вот когда шелуха иллюзий о «социализме с человеческим лицом» отпала навсегда и бесповоротно.

Так в качестве маргинала-шестидесятника я впервые переступил порог «Сайгона» и переступал еще много-много раз, вплоть до его закрытия уже в горбачевскую перестройку.

В первые месяцы, посещая «Сайгон», я ни с кем не общался, разве что перекидывался двумя-тремя репликами с незнакомыми посетителями, выпивал свою чашечку кофе и уходил восвояси. В шестидесятые годы здесь собиралась патлатоджинсовая молодежь с повадками хиппи советского разлива. Они томно сидели за чашечкой кофе и с бутылкой дешевого вина под столом. Обменивались новостями, городскими сплетнями, рассказывали анекдоты, читали стихи — свои и чужие. Одним словом — молодая фронда.

Были среди них начинающие поэты, художники, рок-музыканты. Всех их объединяла неустроенность творческих судеб и, как следствие, конфликты с властью. Но они не унывали. Я не замечал унылых среди этой сайгоновской публики. «Не знают, не печатают. Еще узнают, еще напечатают, еще мы выйдем в гении и всем этим престарелым творцам утрем нос», — вот такая аура витала в этом заведении, и туда тянулись любопытные, чтобы поглазеть, пообщаться с непризнанными гениями и немножко себя показать. Запомнил я из того времени (середина 1968 года), как читала стихи молодая поэтесса. Совсем девчонка, лет шестнадцати. Стихи мрачные, пессимистичные, что-то о «свинцовой стране». Запомнил только два четверостишия:

Там к гражданам покорным
Часов свинцовых бой
Приносит сон свинцовый
Тяжелый и пустой.

А концовка славная, неунывающая:

Лишь изредка поэтам
Холодная луна
В дырявые карманы
Просыплет серебра.

Это «Сайгон» до августа 1968 года. После чехословацких событий власть повсеместно (а в Ленинграде — особенно) стала пресекать малейшие признаки свободомыслия. Казалось, что «Сайгон» обречен. Его прихлопнут в одночасье. Ничего подобного не случилось. Наоборот! «Сайгон» пополнился новыми посетителями. Здесь можно было увидеть известных писателей, художников и т. д. Они создавали особую атмосферу, особый дух этого заведения. Сюда, как бабочки на огонь, слетались все новые и новые посетители.

Иногда по вечерам в «Сайгоне» было не протолкнуться. Его слава вышла за пределы Ленинграда. Приезжие из других городов, известные и не очень, считали своим долгом отметить в «Сайгоне», выпить чашечку-другую знаменитого сайгоновского кофе, пообщаться с его аборигенами. Несмотря на это, ленинградские власти, которые трудно было заподозрить в либерализме, не принимали мер к закрытию этого «гадюшника», рассадника свободомыслия и диссидентства. Почему?

Предложу свою версию по поводу то, что послужило причиной долголетия «Сайгона». Она, конечно, не нова, но те мемуаристы, которые о ней все-таки упоминают, считают ее второстепенной, тогда как мне именно эта причина кажется главной.

Карательные органы Ленинграда в лице КГБ через стукачей и осведомителей прекрасно знали, что из себя представляет «Сайгон» и что за публика там собирается.

Поэтому всякий раз, когда «Сайгону» угрожало закрытие, КГБ удавалось убедить партийные власти города не делать этого. «Сайгон» для КГБ был чем-то вроде приманки, манка, который используют охотники за дичью. Пусть дичь кучкуется на одном маленьком пятачке: так легче ее пасти и контролировать.

То-то опечалилась московская криминальная полиция времен Гиляровского, когда сожгли Сухаревскую башню и закрыли Сухаревский рынок. Все «мазурики», обитавшие там, как тараканы расползлись по всей Москве. Вся оперативная работа насмарку. Наши ленинградские чекисты оказались «мудрее» московских властей. Они оберегали свою Сухаревку — «Сайгон» — от всяких поползновений как со стороны «сознательных» граждан, что заваливали инстанции письмами с требованием «закрыть гадюшник», так и со стороны своих антагонистов — конкурентов — городской милиции. Кстати, милиция в «Сайгоне» почти не появлялась, а если и появлялась, то по оперативным соображениям кураторов-чекистов.

Курировали «Сайгон» до тех пор, пока главная башня колоса на глиняных ногах, Агитпроп, не зашаталась. КГБ стало не до «Сайгона». С конца 1980-х он тихо умирал. Там еще роилась молодежь, но большинство ее было абсолютно аполитично, с откровенными «голубыми» и «розовыми» интересами.

Стало ясно, что судьба «Сайгона» предрешена. В конце 1988 года кафе было закрыто на ремонт... Открылось это заведение уже в другом качестве — как магазин импортной сантехники. В витринном окне бывшего «Сайгона», на стекло которого когда-то отчаянные ребята наклеивали рисунки Шемякина, красовался большой унитаз. Отомстили бывшие комсомольцы ненавистному «Сайгону». Всюду им дорога была открыта: во дворцы, дорожке гостиницы, даже в партийные и комсомольские бордели. Только в «Сайгон» — закрыта! А ведь, наверное, хотелось? Тоже ведь люди!

Но не знают вельможные каты,
 Что не всякая близость близка
 И что в храм ре-минорной токкаты
 Недействительны их пропуска
 (А. Галич).

«Сайгон» умер! Да здравствует «Сайгон»!

Александр Тронь
 Александр Земцов

КАК МЫ БЫВАЛИ В «САЙГОНЕ»

«Сайгон»! Как много в этом звуке... Да, для петербуржца 1960—1970 годов уже прошедшего столетия (тогда, понятно — ленинградца) в этом звуке действительно заключено очень многое...

Но мы хотели бы поделиться лишь некоторыми впечатлениями и воспоминаниями, связанными с этим знаковым местом: пусть они отрывочны и эклектичны, но важно, чтобы даже мелкие детали и эпизоды не утонули в историческом море.

Мы стали регулярно посещать «Сайгон» примерно с 1968—1969 годов, то есть со второго-третьего курса университета (Ленинградского государственного университета, в те годы носившего имя А. А. Жданова). Тогда многие люди, впоследствии оставившие заметный след в жизни и культуре Петербурга, были связаны с университетом и часто собирались в знаменитой «Академичке» — столовой при университете и Академии наук.

В первой половине дня там частенько можно было увидеть Леона Карамяна (единственного и любимого сына известного ученого-биолога), который организовал блестящий интеллектуальный салон в собственной квартире; Колю Черниговского (сына академика-биолога В. Н. Черниговского) — талантливого человека, знавшего несколько языков, тонкого и широко эрудированного собеседника и вечного студента биофака; поэта Олега Григорьева; знатока живописи и коллекционера Андрея Угарова и многих других. Часам к пяти пополудни перемещались в «Сайгон», где продолжали общение, пили кофе, и, что греха таить, портвейн (в шутку этот напиток называли «партийным вином», а его любителей — «портвейн-геноссес»). Благодаря своему центральному положению в географии города «Сайгон» стал своеобразной узловой станцией петербургской жизни.

Напомним уважаемому читателю, что 1968 год — это год ввода войск стран Варшавского договора (союзников СССР) в вольнодумную Чехословакию; год, когда начала циркулировать в самиздате статья А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

Поскольку в 1971 году один из нас (А. Тронь) попал по распределению в Институт Арктики и Антарктики (ААНИИ), который тогда находился в Шереметьевском дворце, поблизости от «Сайгона», ежедневную жизнь «Сайгона» этой поры нам довелось наблюдать практически с утра до вечера. Вскоре после открытия костяк немногочисленных посетителей обычно составляли искатели возможности «поправиться» после вечерне-ночной нагрузки (в первом залежке наливали спиртное!). В обеденное время подтягивался служивый люд из многочисленных институтов, контор, «почтовых ящиков». Иногда обеды затягивались, но, несмотря на то что места были только стоячими, уходить никто не хотел. Здесь проходи-

ли импровизированные семинары, обсуждались научные новости — в какой-то мере это было компенсацией недостатка академической свободы, реакцией на дух казённости и официоза, царивший в институтах и «ящиках». В кафе можно было встретить известных ныне океанологов Володю Романова, Володю Ивченко, Володю Павлова, Ваню Фролова (ныне директора ААНИИ), Андрея Тарасевича, талантливого астронома, ставшего потом главой районной администрации, а позже — священником, и многих других физиков и технарей.

Затем снова наступала относительная пауза, а где-то с пяти—шести часов пополуночи начинался расцвет жизни «Сайгона» — физиков и инженеров сменяли лирики: художники, пишущая братия и многочисленная публика, состоявшая при мэтрах.

Украшением сайгонского общества были прекрасные девушки: Оля Баранникова, выпускница восточного факультета университета (потомственный индолог, внучка академика А. П. Баранникова), привела в «Сайгон» блистательную Алмаз (Молли) Абрамову, которая на многие годы стала центром притяжения для многих деятелей «второй культуры» сначала в Ленинграде, а затем в Вене, где она живет с 1977 года. Здесь можно было встретить очаровательную Сою Казаккову (скончавшуюся в прошлом году от тяжелой болезни), феминистку Галю Григорьеву, художника-модельера Сашу Соколову. Неудивительно, что некоторые браки (например, Земцов — Баранникова) начинались со «встретимся в “Сайгоне”», поговорим».

Конечно, такое место не могло остаться вне поля зрения 5-го управления КГБ, пытавшегося держать под контролем интеллектуальную жизнь города. О двух эпизодах, связанных с КГБ, мы и хотим рассказать.

14 декабря 1975 года на Сенатской площади произошёл импровизированный митинг, приуроченный к юбилею восстания декабристов. В нем участвовало человек двести — кстати, почти все постоянные посетители «Сайгона». Митинг был разогнан минут за двадцать, а потом за многими его участниками, их друзьями и коллегами «пятеркой» было установлено демонстративное круглосуточное наблюдение (с целью, видимо, психологического прессинга), которое продолжалось две недели.

Не избежали «наружки» и мы. Для нас это не было удивительным: в 1972 году нас привлекали свидетелями по «антисоветскому» делу нашего общего друга Юрия Мельника (Юру приговорили к нескольким годам лишения свободы, но нас на суд не вызывали, так как показаний против него мы не дали), за нами числились регулярные собрания нелегальных семинаров, на которых, помимо прочего, распространялась запрещенная литература (сам- и тамиздат). А за несколько недель до декабрьского митинга мы оба отметились встречей с академиком А. Д. Сахаровым в Москве.

Нас «вели» на улице, в транспорте, в Публичной библиотеке... Через некоторое время мы уже привыкли к подобному обществу и даже испытывали некоторый спортивный интерес, делая попытки оторваться. Нас находили и снова брали «под колпак». Однажды, 17-го — 18-го декабря, один из нас (А. Тронь) зашел в «Сайгон» после занятий в Публичке, где его плотно опекали два «читателя», выпить чашечку кофе. Как только Тронь встал у столика, к нему тут же пристроилась пара — неулыбающийся молодой человек и девушка, державшая руки в большой муфте и напомнимшая революционно настроенную курсистку, которая готовится через эту самую муфточку выстрелить в полицейстера. Неожиданно из муфточки зашипела рация и довольно громко прозвучало: «Семнадцатый, Семнадцатый, ответьте первому!» Тронь наклонился через столик и вполголоса сказал: «Уменьшите громкость, вы сорвете всю операцию!» Молодой человек подавился кофе, девушка отшатнулась от Троня, как от чумного, — и пара выскочила из «Сайгона». Из больших окон кафе легко было увидеть, как они садятся в черную «Волгу», стоявшую неподалеку...

В июле — августе 1976 года мы готовились к экспедиции на Камчатку на извержение вулкана Толбачик. Хотя к тому времени явный прессинг со стороны

«пятёрки» и прекратился, тем не менее мы постоянно ощущали её присутствие и внимание — пару раз А. Троня (который тогда работал в ЛТИ им. Ленсовета) вызывал кадровик из отставников для невнятных бесед о «планах»...

Подготовка к экспедиции шла тяжело, было много технических и организационных проблем. И вот, наконец-то, мы получили в УВД на улице Каляева пропуска в пограничную зону — а надо сказать, что тогда это была серьезная проблема: нужно было подать официальное письмо, постоять в очередях на подачу и получение и пр. На радостях мы, конечно, зашли в «Сайгон»! У Саши Земцова все документы — паспорт, пропуск, рабочие записи — были в небольшой кожаной папке, которую он положил на полочку под столиком. Народу было мало, вечерний «Сайгон» еще только набирал обороты. Не отходя далеко от столика, мы отвернулись секунд на двадцать взять кофе, а когда повернулись обратно, папки уже не было... Даже по меркам одесских «щипачей» времен интервенции это была мастерская работа! Потертая папка вряд ли заинтересовала бы карманников, поэтому нам стало ясно авторство операции. Пропажа документов означала срыв экспедиции, подготовленной с таким трудом. Мы бросились в отделение милиции у Московского вокзала, к территории которого относился «Сайгон», подали заявления о краже, но по плохо скрываемой улыбке дежурного поняли бесполезность обращения к «бюстителям порядка»... И только шарм Саши Земцова, произведший неизгладимое впечатление на паспортистку Петроградского райотдела милиции, позволил в невиданные для советской бюрократии сроки восстановить паспорт и снова получить пропуск...

Менее чем через год, в 1977-м, когда нам обоим органы госбезопасности предъявили так называемые «официальные предостережения» о том, что наша деятельность может быть квалифицирована по ст. 70 и 190 УК РСФСР, майор из органов (имя его не запомнилось) с ухмылкой напомнил историю «желтой папки», и все окончательно разъяснилось...

Пользуясь случаем, назовем имена своих ближайших друзей, участников нашего кружка, также регулярных посетителей «Сайгона»: Миша Белевич, Саша Григорьев, Олег Друговеико, Евгений Марков, Константин Меликов, Володя Смирнов, Борис Трахтенберг, Слава Тряпицын, Олег Реутский (Карлыч). Все они были участниками наших нелегальных семинаров, и каждый вносил свой вклад — говоря сегодняшним языком — в создание институтов гражданского общества. Приведем только некоторые примеры: Олег Друговеико создал и возглавил в Ленинграде школу-колледж № 642 «Земля и Вселенная», где воспитывалась свободомыслящая молодежь; Борис Трахтенберг, ставший учителем в колледже «Земля и Вселенная», за свой труд на пути независимого преподавания заслужил звание «Соросовского преподавателя».

Нашими общими собеседниками в «Сайгоне» и товарищами стали Юра Должанский и Володя Румянцев (за иконоподобный облик получивший прозвище «Христос»). Здесь же появлялись многие члены городского Совета молодых ученых, ставшие позднее видными деятелями отечественной науки (Дмитрий Дмитриев, Олег Князьков, Андрей Финкельштейн), а также известные ныне филологи Александр Лавров, Николай Сулханянц, Татьяна Павлова.

Следует упомянуть имя Владимира Хлебникова, на время ставшего хорошим приятелем А. Земцова. Личность легендарная, начавшая с фарцовки на Невском проспекте, что и помогло ему создать семью в Финляндии. Однако семейная жизнь не продлилась долго, и, вернувшись, Володя сделался питерским бродягой с утонченными манерами. В этом качестве он стал во времена перестройки героем одной из телепередач Виктора Правдюка в защиту бомжей. После многих мытарств и акций протеста (его не выпускали к семье и на могилу рано умершего сына) Хлебников получил заграничный паспорт. Но визы на въезд в какую-

либо страну в этом паспорте не было. И тут жена Земцова, Ольга Баранникова, предложила реализовать иезуитски тонкий ход: потребовать от «органов» билет на выезд в Западный Берлин, открытый для граждан стран-победителей город. И это сработало! Хлебников купил в дорогу дешевого вина, сел в самолет, и далее следы его затерялись где-то в Европе.

«Сайгон» вошел в историю города как интеллектуальный клуб, где бывали яркие представители культурной, научной и инженерной элиты. Сколько идей,opusов, предприятий и мероприятий обсуждалось за его столиками! Меткое народное название этого кафе отражало противоречивый характер времени и борьбы миров внутри Ленинграда — Петербурга. Спасибо тебе, «Сайгон»!

Михаил Новиков

ОТ «САЙГОНА» ДО РИМА*

Я попал в «Сайгон» в незабвенный момент юности, когда заканчивал одиннадцатый класс, в 1967 году. И прошёл, так сказать, все этапы: от первого «Сайгона» до последнего, знал всех, кто туда заходил более-менее регулярно.

Уникальность «Сайгона» в том, что там пересекались совершенно разные группы людей, всех возрастов и всевозможных биографий. Прежде всего — литераторы. Там был целый ряд отдельных кружков: Виктора Кривулина, Виктора Ширали, Геры Григорьева, Игоря Савво, Петра Чейгина и команды. Заходили и «коммунистические» поэты, вроде Трепова, и тоже читали свои стихи. Частенько можно было встретить автора ста сорока четырех сонетов Славко Словенова...

Разумеется, бывали музыканты. Джазмены заходили утром, поскольку вечер у них, как правило, был занят работой. Если у вас был знакомый джазмен или ресторанный музыкант, можно было после закрытия «Сайгона» пойти в ресторан («Балтийский», «Москву», Дом журналиста), продолжить общение «за кулисами».

Как это ни странно, много было и людей науки. Помню, например, химиков Вадима Бытенского и Эдуарда Сорокина.

И мистики забредали, вроде Валеры Кривошея.

Иногда, но крайне редко, заходили богословы.

Наведывались, ради каких-то встреч, оккультные люди, но у них не было в «Сайгоне» своей тусовки.

Заходили странники, что было тогда большой экзотикой. Мужчины от двадцати пяти до тридцати лет, смотрившие на все и всех немножко отрешенно.

Случайно заглядывали «командировочные» из самых разных областей России, можно было с ними пообщаться и слегка представить себе, чем там живут люди.

Бывало, иностранцы залетали — итальянцы, американцы. «Сайгон» закончился раньше, чем началась перестройка, иначе их было бы намного больше.

Были просто люди, которые недалеко работали или жили и приходили туда, как в обычное кафе, выпить кофе с пирожным.

Там было такое пересечение, которое сейчас даже невозможно себе представить, его нигде не найдешь. Оно давало возможность объемного восприятия жизни. К тому же, ты где-то работал, учился, возвращался домой в коммуналку и т. д. Получалась, в общем-то, школа жизни. Сейчас такого уже нет, слишком велика

* Беседовала Юлия Валиева.

социализация. Можно, конечно, с помощью Интернета или телевидения искусственно создать многомерность, но это останется пространством виртуальным, а там было реальное.

Поначалу атмосфера в «Сайгоне» была приподнятая, было стремление создать «маленький Запад», причем такой, какой существовал у каждого в голове, потом уровень «накала» стал снижаться: кто-то спивался, кто-то уходил, кто-то уезжал... Но окончательно своего духа «Сайгон» не потерял, приходили новые, молодые, улавливали эту атмосферу и по-своему её поддерживали.

В самом начале, когда ещё сидели за столиками, многие приносили с собой книги, там же их обсуждали. Часто разгорались споры, в том числе и по личным вопросам: кто кому задолжал и так далее. Иногда и до мордобития доходило, но в целом порядок соблюдался. Можно было вслух почитать стихи — конечно, всех посетителей за свой стол не соберешь, но кружок собирался всегда. Если ты видел новую компанию, можно было подойти, познакомиться, не было дистанции, «Сайгон» её снимал.

Как знакомились? Обычно за стаканом портвейна. Самое главное ведь — поговорить. Выпили портвейна, солью закусили (очень хорош портвейн с солью!), кофе запили и вышли на угол — постоять, поговорить.

В одно время, при Андропове, вышел указ о борьбе с пьянством. В «Сайгоне» этот указ никакой силы не имел. Милиционер заходил и видел, что все пьют, и никто не собирается этого скрывать. Он дефилировал по залу с грозным видом и уходил. Выпивку приносили с собой. Добавлять отправлялись кто куда — кто во двор, кто в ближайший ресторан.

Я обычно приходил один, потом выбирал из толпы несколько знакомых. Со всеми пообщавшись, мы шли гулять по городу и философствовали, размышляли о жизни. Под влиянием этой атмосферы я начал интенсивно писать стихи. Я сочинял и до этого, в школе, но темы как таковой у меня не было. За период «Сайгона» я написал стихов двести — двести пятьдесят, такое было стремление к самовыражению. С помощью знакомого художника я сделал книгу самиздата (и это «сам» было основополагающим моментом). Сейчас коммерция, а тогда интересовал непосредственно процесс со-творчества. И переplёт, и иллюстрации — всё делали бесплатно. И поэты свои книги дарили, а не продавали. Уникальная ситуация.

Религиозные поиски начались именно тогда, в той атмосфере. Помню Колесникова — колоритнейшую в «Сайгоне» личность. С ним были вечные рассуждения о жизни. Он ходил в Духовную академию, приносил оттуда сведения по тем вопросам, в которых самому было сложно разобраться. Поначалу он очень много интересных вещей говорил. Разумеется, после портвейна или вермута.

Человек приходил в «Сайгон» совершенно потерянным, потом знакомился, «осваивал» все эти компании, выбирал единомышленников и, наконец, свой путь. Многие обратились таким образом к православной церкви. Священниками стали художники Сергей Чекменёв, Ваня Сотников.

И мне пришлось сначала всё обойти — прежде, чем я выбрал свой путь. Конiec 1970-х — начало 1980-х — время наиболее интенсивных религиозных поисков. Какие были круги? Самые разные. Я знал кружок йогов, организованный братом православного богоискателя Сергея Лебедева — Андреем, ныне покойным. Собрания у них проходили за городом, на даче. В «Сайгоне» они нечасто, но бывали. Что касается буддистов, то их тогда было гораздо меньше, чем сейчас. Помню, мы ездили в буддистский храм познакомиться с учением. Католики были, но католический круг состоял в основном из тех, кто ходил в костёл в Ковенском переулке. Мы тоже из любопытства некоторое время туда ходили. Мне запомнилось, что на первой же проповеди ксёндз сказал: «Мы считаем православие главной религией».

Опять же через сайгоновское знакомство я вышел на исследователей толстовства, сохранившего где-то в Алтайских горах, или в Саянах.

Из сектантов в «Сайгоне» встречались только баптисты, и они заходили максимум выпить кофе, ведь, по их учению, вкушать пищу нужно только у себя дома. Но не все придерживались таких строгих правил. Время от времени я пил там кофе вместе с баптистом Николаем Филипповым. Мне было интересно увидеть, что из себя представляет это учение, и я ездил в Озерки, слушал проповеди.

Заходил я и в лютеранскую церковь, и к этому направлению присматривался.

Был я знаком и с группой мистиков, но в «Сайгоне» у меня серьезного контакта с ними не было, помню только имена (Саша, Володя). Увлекались они тем же, что и все в Европе — Бёме, Силезиусом, Сведенборгом. Я сам полюбил Силезиуса, переводил двустиишия. Разумеется, они читали «Ригведу», «Авесту», Рудольфа Штайнера, Блаватскую и считали, что мы находимся вне контекста истории. Важно только то, что откроется. Такой взгляд дал мне еще одно очень важное измерение.

Существовал «Египетский круг» — социолог Лена Островская и её муж Аркадий. Их интересовала не только теория оккультизма, но и практика: трансформация мысли на расстоянии, ясновидение и прочие.

В кругу оккультистов были гипнотизеры, например Петр Зорин. В «Сайгоне» он опытов не проводил, но некоторые посетители «Сайгона» его хорошо знали. Я однажды присутствовал у Петра Зорина на сеансе массового гипноза. На меня не подействовало. Он тогда сказал: «Я вижу, что не все тут загипнотизировались, — спокойно сидите и ждите, что будут делать другие».

Увлекался оккультизмом Женя Линьков, у него был кружок в Публичке, в «Сайгоне» его тоже можно было встретить.

В Публичке образовался и кружок Татьяны Горичевой, изучавший философию Хайдеггера.

Всё пришлось обойти. Остановился я на традиционном православии.

Через моего хорошего знакомого Александра Дмитриенко, который жил в Пушкине, я познакомился с православным самиздатом. Александр перепечатывал Святых отцов и, в частности, «Историю церкви» и «Апостольские правила». «Правила Вселенских и Поместных соборов» — очень важная книга, и я подумал: «Что же я один буду читать?» В 1984 году (тогда уже «Сайгон» на ладан дышал) я организовал кружок. Приходило много народу: духовные лица, верующие от Василия Ермакова и от Василия Лесняка, светские философы, литераторы, ученые. Семинар просуществовал пять лет, собирались каждую субботу у меня на квартире. Доклады готовили по желанию. Если никто не желал — я доставал «Правила», мы читали их. Разбирали и богословские труды. Если кто-то совершал поездку по монастырям или храмам, то делал сообщение, сопроводив, при возможности, фотографиями. Я сам тогда объехал всю Россию, включая Дальний Восток. Официальная церковь к кружку хорошо относилась, ведь мы организовали сами для себя ликбез.

К идее возрождения дворянского движения я пришёл уже через серьезное изучение исторической литературы на богословских курсах. В итоге мы создали «Союз потомков дворян». Но это был уже 1990 год...

В «Сайгоне» же к истории относились гораздо более иронично, потому что время-то другое было. Анекдоты, прозвища. И безвременью не видно было конца. «Сайгон» интеллектуально развивал, но застревать в нем надолго было нельзя, нужно было рано или поздно принять для себя какое-то решение, ведь «Сайгон» — это не место «делания». Однако такое «пассивное» наблюдение, которое там происходило, знакомство с самыми разными людьми и позволяло в конце концов это решение принять.

Татьяна Мнёва
МЕСТО БЕЗДЕЙСТВИЯ

Памяти С. Ю. Маслова

«Сайгон» 1970-х был — по крайней мере, для меня — местом не столько действия, сколько бездействия.

Действие происходило обычно где-то в других местах, но стоило прийти в «Сайгон» — и оно куда-то отступало. И вместо него наступало то, что составляет на самом деле основу и причину почти любого действия — отъединенность от происходящего, покой и безмятежное любопытство.

В большинстве виденных мною в «Сайгоне» людей я этого всепоглощающего бездействия не замечала: они разговаривали, жестикулировали и явно были чем-то очень заняты — но попадались и такие же, как я. Ничем в данный момент не занятые, ничего не делающие. Бездействующие.

Одним из тех, для кого «Сайгон» становился местом отдыха от обычной для него в других местах кипучей и какой-то даже яростной деятельности, был Сергей Юрьевич Маслов.

Сергей Юрьевич родился в 10 июня 1939 года в Ленинграде, в семье филологов (это важно: при всей своей математической замечательности Маслов был человек в высшей степени гуманитарный и в очень большой степени филологический — в смысле миропонимания и даже способа миропознания). В 1956 году он поступил на матмех ЛГУ, в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1972 году докторскую (кто помнит те времена, тот знает, что тридцатитрехлетних докторов наук тогда практически не бывало). Круг его научных интересов описать почти невозможно — для этого понадобилось бы очень много букв — но вкратце он выглядит так: в 1960 годы Маслов принимал участие в создании программы (для ЭВМ), в которой (впервые в мире) моделировались человеческие особенности при поиске доказательств утверждений, и к середине 1960-х им был создан метод поиска доказательств — его сейчас называют «обратным методом Маслова». В конце 1960-х занимался большей частью общей теорией дедуктивных систем: это была деятельность в той же степени гуманитарная, в какой и математическая, потому что объектами ее становились самые разные области человеческого бытия — биология, экономика, история и даже процесс творчества.

Тогда же, в конце 1960 годов, Маслов (с друзьями, естественно — одному такое потянуть невозможно) создал на матмехе ЛГУ семинар по общей теории систем и привлек для участия в нем ученых из самых разных областей науки и литераторов. В 1972 году этот семинар был вынужден переехать с матмеха домой к Маслову, где и продолжал существовать еще очень долго, до самой смерти Сергея Юрьевича.

Любопытную (и очень правильную) вещь сказала об этом семинаре Елена Маслова в статье о своих родителях, напечатанной в вышедшей в 2002 году в СПб книге «Сумма» — книге, в которой собран и напечатан выпускавшийся Масловым и его женой в 1979–1982 годах машинописный журнал «Сумма» (там печатались и обсуждались тексты из самиздата и тамиздата): «Стержнем духовного противостояния системе была для С. М. скорее интеллектуальная свобода, независимость мысли, а не практические действия. Он почти никогда не оказывался в центре политических событий, связанных с правозащитным движением. Но всегда, когда кому-нибудь нужна была помощь, он не ждал просьб и не думал о возможных последствиях для себя — например, именно он поехал в Москву, чтобы сообщить А. И. Солженицыну о том, что КГБ нашел хранившийся в Ленинграде экземпляр

«Архипелага ГУЛаг»; он с женой навещал в ссылке Р. И. Пименова; во время суда над Ю. Орловым он послал телеграмму протеста Брежневу, требуя его немедленного освобождения — что осталось, кажется, неизвестным даже самому Орлову. Будучи скрупулезно аккуратным в том, чтобы никого не подставить под удар своими высказываниями, он никогда не считал нужным скрывать свои мысли — практически в любых ситуациях, в общении с любыми людьми он считал нужным и возможным попытаться высказать и объяснить свою точку зрения и никогда не боялся этого делать, сколь бы «запрещенной» ни была тема. Это был его способ жизни, и за это он готов был рисковать».

Я тоже помню про Сергея Юрьевича Маслова именно это — то, что «стержнем духовного противостояния системе» была для него скорее «интеллектуальная свобода, независимость мысли», а не практические действия. И что это был «его способ жизни».

В 1975 году я поступила в ЛФЭИ (Ленинградский финансово-экономический институт), на специальность «экономическая кибернетика», и в 1980 году этот институт закончила.

В том же 1975-м Маслову пришлось уйти из Математического института, где он работал с 1961 года, с того момента как закончил матмех, и он стал преподавать в ЛФЭИ, на специальности «экономическая кибернетика».

А в 1980 году, после подписания письма в защиту Сахарова, Маслов был решением райкома КПСС из ЛФЭИ уволен.

На специальность «экономическая кибернетика» набиралось две небольшие группы. Лекции Маслов читал всему потоку, обеим группам, и в одной из групп (в той, где я училась) вел еще и семинары. Поэтому так уж вышло, что за всю свою жизнь Сергей Юрьевич Маслов целиком и полностью, от начала и до конца учил только одну студенческую группу — и именно нашу.

Преподавал он у нас матанализ и вел два спецкурса — дедуктивные системы и общую теорию систем. Не буду рассказывать, как он преподавал — все равно дать об этом представление у меня не получится. Кажется, я за все годы учебы не пропустила ни одного его занятия, а на спецкурсы правдами и неправдами затаскивала всех, кого только могла — особенно знакомых, учившихся на матмехе. Конспекты по дедуктивным системам и по общей теории систем были единственными за всю мою жизнь конспектами, которые я пыталась сохранить и довольно долго действительно хранила. И даже иногда перелистывала.

Потом, в какой-то момент, они все-таки потерялись, как теряется все на свете. Но удивительное ощущение, исходившее от этих двух тетрадок, я помню до сих пор.

Ну и, наверно, здесь же надо хоть как-то упомянуть о том, что Сергей Юрьевич Маслов вел у нас в институте еще и кружок по логике, тоже довольно популярный.

Как-то так сразу получилось, что у меня с Масловым сложились очень хорошие отношения.

Сначала просто на почве занятий математикой как таковых.

Я человек не слишком дисциплинированный и постоянно забывала вовремя то принести, то сдать какие-нибудь домашние задания, и довольно быстро обнаружилось, что если Сергея Юрьевича не видно на кафедре высшей математики, то есть резон поискать его в «Сайгоне».

Сам он, будучи тоже человеком не слишком дисциплинированным и относясь к этому свойству с пониманием, мне эту тайну и рассказал — для взаимного удобства.

Туда, в «Сайгон», я и стала иногда приносить ему недосданное, совмещая приятное с приятным и полезное с полезным. Там и видела, как он сидит в полной тишине, в совершеннейшем бездействии, представлявшем собой, видимо, необходимую противоположность его постоянному во всех других местах действию. Во втором от входа зале, на подоконнике, спиной и чуть боком к выходящему на Владимирский

окну, устремив в сторону Невского торчащую бороду, с взметающейся, как на ветру, вверх, лысеющей от лба шевелюрой. Легкий, худой, стремительный даже в полной неподвижности. Как одинокая и умная птица.

Пил кофе. Ни с кем не общался. Так сидел. Не очень долго обычно сидел — по моему, его никогда не бывало в «Сайгоне» по вечерам. Можно было, отдав ему свои бумажки, помолчать с ним, тоже с чашечкой кофе в руках, а можно было и поговорить, если хотелось и было о чем — но это тоже получалось почти молча. Как-то почти без слов.

А в других местах я тоже встречала его довольно часто. И не только в институте. А например, в переводческом семинаре (восточном) Бориса Борисовича Вахтина, с которым дружила и с которым, как довольно быстро выяснилось, дружил и Маслов. Или дома у того же Вахтина, куда Маслов приходил иногда просто поговорить, а иногда и почитать стихи, которые он писал.

В других местах это был совсем другой Маслов, не такой как в «Сайгоне». Не бездействующий. Совсем другой.

О гибели Сергея Юрьевича я узнала буквально сразу после того, как это произошло, но при этом совершенно случайно.

Летом 1982 года, на берегу Финского залива, где мы с друзьями выгуливали своих маленьких детей, повстречали Инну Михайловну и Геннадия Валентиновича Давыдовых. Инна Михайловна преподавала на матмехе, а Геннадий Валентинович у нас в институте, на нашей специальности, в нашей группе — там же, где и Маслов. Мне кажется, он был одним из самых верных и одним из самых близких друзей Маслова. И всегда находился где-то поблизости от Сергея Юрьевича.

Давыдовы сказали, что Маслов погиб. В автомобильной катастрофе. 29 июля 1982 года.

Обстоятельства его смерти до сих пор кажутся загадочными и непонятными, и вряд ли они когда-нибудь прояснятся.

Дмитрий Равинский

ЛУЧШАЯ ПОРА НАШЕЙ ЖИЗНИ

Не вполне уверен, что я принадлежу к числу тех, кто должен писать воспоминания о «Сайгоне». Конечно, с «Сайгоном» связана очень важная часть моей жизни — тех лет, которые зовут обычно «лучшими годами», юность и молодость. Я начал регулярно бывать в «Сайгоне» в мае 1970 года (по ряду причин — запомнил точно) и с тех пор появлялся там практически ежедневно. В 1978 «Сайгон» по каким-то причинам закрылся на несколько месяцев и, поскольку я уже привык к хорошо сваренному, крепкому кофе, пришлось найти другое место. Таким местом стала кофейня на углу Загородного и Подольской (называвшаяся в разных кругах по-разному: «Джибути», «У Бубыря», «У Доры» и, наконец, «У Нины Андреевой» — поскольку находилась возле Технологического института). Так что с 1978-го я чередовал «Сайгон» с «Джибути» — пока не закрылись сначала «Сайгон», а потом и «Джибути». Похоже, что сегодня не так много осталось людей с таким длительным сайгонским стажем и мои «клочки воспоминаний», как любил выражаться в XIX веке, могут представить интерес.

Тем не менее, я не могу себя отнести к «настоящим сайгонцам». Безусловно, многие стороны сайгонской жизни прошли мимо меня. Я, например, так и не узнал в лицо знаменитого Рыбакова, сотрудника УВД, курировавшего «Сайгон».

Надо сказать, что посетителей «Сайгона» можно разделить на две категории. Первая — те, кто заходил туда выпить кофе, узнать новости, встретить знакомых, познакомиться со знакомыми знакомых и т. д. Вторая — те, для кого «Сайгон» был образом жизни, по крайней мере, главным в этой жизни занятием. Их называли сайгонцами или сайгонщиками (последний термин кажется мне более точным, поскольку означал не столько простое место обитания, сколько род занятий). Кажется, Славко Словенов придумал слово сайгонавт («сайгонавты и ольстерониды» — «Ольстер», если нужно пояснять, кафетерий ресторана «Невский»). Как легко заметить, сайгонавт придуман в рифму с алконавтом, что вполне отражало реальное положение дел.

Постоянные посетители появлялись в определенное время — начиная с пяти вечера и примерно до половины седьмого. В это время в «Сайгоне» встречались — с теми, кто появлялся в определенное время, или — реже — с теми, с кем специально договорились о встрече. После этого — или «дела», то есть заранее намеченное времяпровождение или, если «дел» не было, — свободное течение событий: курение на «веранде» (близлежащий двор на Невском), часто «совместное употребление спиртных напитков», ну и так далее. После половины седьмого в «Сайгон» приходили либо на заранее условленную встречу, либо — для завершения дня, расслабиться в приятной компании.

Была еще небольшая категория тех, кто в «Сайгоне» обретался постоянно. Без них трудно было представить себе это заведение в любое время дня. Вспоминаются прежде всех, конечно же, Колесников и Эмиль, являвшиеся атрибутами сайгонского интерьера. Но это был определенный круг, постоянно обретавшийся на бойком месте. Насчет места их работы никто ничего определенного сказать не мог, про одного из таких персонажей говорили, что он работает в каком-то институте и его работа заключается в том, чтобы один раз в сутки принять сигнал со спутника. Что-нибудь подобное, надо полагать, могли и себе рассказать и другие завсегдатаи этой категории. По мере взросления и приобретения опыта приходило понимание, что в этом постоянном пребывании в «Сайгоне» и заключается их работа... Помню, как мой знакомый с мрачным видом кивнул одному из участников очень веселой компании за соседним столиком. Позже счел нужным пояснить истоки знакомства: в пригородном поселке, где у приятеля дача, этот человек служит участковым милиционером. Таких завсегдатаев, думаю, в «Сайгоне» всегда хватало.

Впрочем, мы отвлеклись. Возвращаюсь к себе. Так вот, я выпадал из общего распорядка «Сайгона», отчасти потому, что у меня не было жесткого рабочего расписания (был студентом, потом аспирантом, потом преподавателем), а отчасти потому, что пристрастился к очень крепкому кофе — «маленький тройной» — его варили не все — не всем. Это и определяло мое сайгонское поведение: отстояв в очереди, я выпивал свой кофе и, заряженный энергией, убегал (такие привычки у меня сохранились и по сию пору). Поэтому я не обретался в «Сайгоне» долго, что неизбежно означало поглощение нескольких чашек кофе.

Наверное, многие вспомнят Хильду (Татьяну Горичеву), Кривулина, Ширали и еще некоторых. А я хочу рассказать о трех персонажах, которых могут и забыть. Один — человек по имени Илья Левин. Ирония судьбы заключалась в том, что в Сайгоне было два Ильи Левиных. Один — довольно известный диссидент, подвергавшийся гонениям (о чем сообщали западные радиостанции), уехавший и работавший затем на «Голосе Америки». «Другой Илья Левин» — мало кому известный человек небольшого роста, при этом постоянно сутулившийся и мрачно взиравший исподлобья на окружающую действительность. Он учился на философском факультете, причем учился много лет и, как понимаю, без перспектив завершить образование. Примечателен он тем, что считался редактором «Сайгонской

правды» — местного печатного органа. Никогда не видел ни одного номера этого издания и, скорее всего, их и не было. «Сайгонская правда» существовала только в устном виде — как эссе и стихи, сочиненные Ильей. Помню в его исполнении два небольших эссе — одно о том, как «Сайгон играет в стукача» — отклик на очередную волну «разоблачений», которые время от времени возникали в сайгонской среде, а содержание второго эссе трудно воспроизвести — это был просто пересказ сайгонских разговоров с перечислением разных сайгонских реалий и фамилий, что-то вроде эстрадного обозрения на злободневные темы — такое сравнение приходит на ум. Лучше запомнилось, естественно, поэтическое произведение. Это был перифраз известного стихотворения Маршака «Фрица вызвали в гестапо», заканчивающееся, как известно, оптимистически: «Рада мама, счастлив папа — Фрица приняли в гестапо!» Стихотворение Ильи — о том, как «принимали в “Сайгон”» юного кандидата. Кандидат сдавал экзамен на правильные сайгонские ответы. Сегодня, спустя три десятилетия я помню только одну строчку: «Хильда думает за нас!» (у Маршака, разумеется, «Гитлер думает за нас!»). Строчка эта произносилась очень громко и с неподдельным пафосом. В том же духе были и прочие сайгонские ответы. Интересно, помнит ли кто-нибудь эти стихи и вообще «Сайгонскую правду»?

Другой сайгонский персонаж — Володя Ц. Молодой — в ту пору — человек простой, «народной» внешности, в котором легко можно было заметить психическую аномалию. Говорили, что он был вундеркиндом, математическим гением и из Германии даже приезжал профессор с ним познакомиться. Однако Володя влюбился — и пробуждение полового чувства оказалось роковым для его психики. Потерялись и математические способности. Володя увлекся философией, в «Сайгоне» он часто появлялся с томиками Гегеля или Канта, говорил на философские темы, внося в германское суетумудрие русскую страстность и искренность. Искренность вообще была его качеством. Через несколько лет он попытался завести семью, женился. «У меня теща есть», — сказал он с гордостью. Но болезнь брала свое... Семейная жизнь закончилась, Володю отправили в психиатрический интернат. Одно время я регулярно встречал его у входа в метро «Площадь Восстания». «Я живу ужасно», — просто говорил Володя. Стрельнув десятку (для чего, очевидно, он и приходил к метро), Володя быстро исчезал. Прошло, наверное, лет восемь, как я его больше не встречаю. Грустно думать о судьбе этого скромного, незлобивого человека.

Колоритной фигурой был Юрий С—в. Вот уж действительно — фигурой... Высокотого роста, породный. Длинные волосы до пояса, которые сначала ниспадали волной, а позже Юра стал завязывать их в косичку на манер сельских батюшек. Добавим окладистую бороду, широкополую шляпу-гречневик, длинные, специально отращенные ногти, массивный перстень. Словом, колоритен. И еще — большие, по-детски чистые серо-голубые глаза. Нигде он не работал, целыми днями просиживал в Публичной библиотеке, читая редкие книги — в основном, сочинения отцов церкви. Об источниках его дохода я, разумеется, не спрашивал, но, кажется, была какая-то пенсия. Обладал Юра многими замечательными познаниями. Мог, например, не видя лица, по звучанию голоса, описать внешность человека. Утверждал, что как-то прошел первого мая на Дворцовую площадь сквозь оцепление, используя знание проходных дворов. Любил Тютчева — на чем мы и сошлись. Но главным своим интересом он считал историю и культуру Византии, говоря, что только этим, собственно, и стоит в этой жизни интересоваться. Юра писал философские заметки — пять-шесть страниц, исписанных красивым, выработанным почерком. Тогда — мне было немногим больше двадцати — эти заметки произвели на меня сильное впечатление. Яркое и свободное философствование,

когда отвлеченные понятия приобретают плоть и актуальность. Впервые я тогда узнал о Григории Назианзине и Григории Паламе. Музыка их мысли захватывала. Не знаю, много ли было читателей этих заметок — может быть, я был единственным, и автор писал их прежде всего для себя?

Юрия я не видел много лет и столкнулся с ним году в девяностом. Вместо осязаемого православного мыслителя передо мной был юркий, «динамичный» арт-менеджер, устроитель художественных выставок, побывавший за границей и рассуждавший о финансировании. Даже тучность куда то испарилась. Вдобавок Юра сменил фамилию, взяв загранично звучащий псевдоним. После девяностого мы не виделись. Больше того — я о нем и не слышал. Не удивлюсь ничему.

Таких фантастических людей в «Сайгоне» было немало — и этим он и дорог. Но «Сайгон» подарил мне двух самых дорогих для меня друзей — Романа Цветона и Евгения Белодубровского. В «Сайгоне» сформировался стиль нашего общения — бескорыстного и щедрого. Несколько лет назад мне случилось участвовать в съемках телепередачи про «Сайгон». Постаревшие ветераны вспоминали былое. Но главное — была среди собравшихся какая-то запоздалая нежность, тоска по былой простоте отношений. Действительно, это была лучшая пора нашей жизни.

Сергей Белов

«САЙГОН» — ЭТО СУДЬБА

Открытие «Сайгона» прошло незамеченным, а вот закрытие вызвало столь бурные протесты, что до сих пор собираются подписи с призывом снова открыть это ставшее легендой кафе. <...>

Существует легенда, согласно которой на открытии было сказано, что у нас, мол, будет заведение не хуже, чем в Париже и Сайгоне. Я все же думаю, что «Сайгоном» окрестили это кафе за некий иррациональный дух, изначально ему присущий.

А если перевести все в плоскость политики, то можно сказать, что «Сайгон», появившийся еще на гребне хрущевской оттепели, был, пожалуй, единственным глотком свободы в Ленинграде брежневских времен. <...>

Безусловно, возможность выпить и дешево поесть была немаловажным стимулом для встреч в «Сайгоне», и все же не это было главным. Нас неудержимо тянуло туда стремление к общению — и не просто к общению, а общению с себе подобными.

Сюда ходили, прежде всего, молодые люди, так или иначе пострадавшие от Совдепии (причем неважно, по какой причине: нарушители закона, диссиденты, борцы за права человека и (таких было большинство) поэты, прозаики, художники, музыканты, артисты — представители неофициальной, непризнанной культуры). Делавшие карьеру обходили «Сайгон» стороной: боялись себя скомпрометировать, боялись стукачей, которых там было полно (вот почему власти двадцать пять лет не закрывали «Сайгон» — там удобно было следить за постоянными посетителями, на многих из которых, несомненно, имелось досье в КГБ). Но настоящие сайгонцы ничего не боялись и приходили сюда просто отвести душу. <...> Каких только анекдотов о Брежневе не рассказывали в «Сайгоне»! Это было время бурного расцвета жанра. <...> В 1983 году, когда к власти пришел Андропов, у нас в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, где я работал и работаю до сих пор, ввели книгу записи так называемых «местных командировок». Я все время пропадал в «Сайгоне», а в этой книге писал, что ушел в Библиотеку Академии наук,

в Пушкинский дом, в журнал «Звезда» и т. д. В конце концов писать стало нечего. И тогда мой старый друг по «Сайгону» А. В. Блюм (сейчас профессор Университета культуры и искусств) посоветовал: «Напиши, что ушел в КГБ, и тогда от тебя отстанут». Так я и сделал — и больше партийные дамы не спрашивали, куда я ухожу в рабочее время.

...Никто тогда и не подозревал, что в «Сайгоне», в его далеко не всегда трезвой среде, незаметно прорастает новая культура, которой сейчас мы так гордимся.

Из сайгонцев первого поколения, кроме имен, которые уже упомянуты друзьями, хотел бы назвать художника Александра Иванова, живущего сейчас в Германии; М. А. Космана (он психолог, в настоящее время профессор психологии Института туризма); Николая Лаврова, замечательного артиста, безвременно ушедшего из жизни; режиссера Андрея Лапикова... Ныне сайгонцы разбрелись по всему миру (кто уехал по своей воле, а кого вынудили), некоторые успели отсидеть срок в лагерях, а многих уже просто нет на этом свете (как, например, геолога Геннадия Филиппова, или Юры Хрусталева, с которым мы вместе учились в Педагогическом институте, Миши Феоктистова...). Кто-то остепенился (например, Марк Мамонтов к Дима Равинский — кандидаты наук, работают в Российской национальной библиотеке), кто-то стал членом творческих союзов (это произошло при Горбачеве и Ельцине), многие стали примерными отцами семейства.

Но сайгонцы продолжают поддерживать друг друга, сопереживая в горестях и невзгодах. Вспоминаю, как Роман Цветов (главный бухгалтер СПбГУ), Соломон Вейнгер (инженер, которого судьба, как и многих талантливых людей той эпохи, забросила в котельную), Сергей Лебедев (историк, которого прозвали «Гангутским») и Виктор Колесников (неотъемлемая принадлежность сайгоновского быта) были рядом со мной в январе 1981 года, когда меня по заданию КГБ не приняли в Союз писателей.

И никто не жалеет, что прошел через «Сайгон». Жалеют только об одном — что «Сайгона» больше нет. Ни к чему властям этот «гадюшник» в центре города. Я не верю, что мальчишки и девочки, пришедшие туда в начале перестройки, были сплошь представителями иной, криминальной среды. Хотя, разумеется, это был уже другой «Сайгон», наша эпоха закончилась. Но память о нем, выражаясь высокопарным языком, жива. Ведь «Сайгон» — это не просто кафе, это судьба!

Вера Кобец

СО СТОРОНЫ, СУБЪЕКТИВНО, С ЛЮБОВЬЮ

В годы цветения перестройки на вечере, посвященном (ура! наконец!) Мандельштаму, Е. Б. Белодубровский попросил, обращаясь к залу: попробуйте припомнить, когда вы впервые услышали это имя, когда и как Мандельштам вошел в вашу жизнь. Аудитория честно задумалась. Но почему-то не вспоминалось. Казалось — знали всегда, но понимали — точно уж не с младенчества.

Сейчас, волею случая замешавшись в воспоминания о «Сайгоне», я попыталась задать себе этот же каверзный вопрос: когда я впервые о нем услышала — и поняла, что есть несколько разных ответов, а вот какой из них верный — не знаю.

В кафетерий на углу Невского и Владимирского мы забежали гораздо раньше, чем он стал «Сайгоном». 319-я школа находилась на углу Фонтанки и Пролетарского (теперь снова Графского) переулков, и за большую перемену из нее можно было успеть сбежать в «Сайгон» — пирожки там были вкусные.

Но вот слово «Сайгон»...

В середине 1980-х болтаем о с Надей Бровенко, искусствоведом, реставратором рукописей, сотрудницей Института востоковедения, и она вдруг говорит о ком-то: «Нет, я с ним мало знакома. Встречала раза два в «Сайгоне», вот и все». Надя, наверное, хорошо рассказала бы о «Сайгоне». Но ее уже давно нет на свете. А тогда я спросила только одно: «“Сайгон” — откуда, собственно, это название?» К моему удивлению, Надя задумывается: «Что-то вроде пародии на сводки последних известий, — говорит она наконец. — Тогда ведь была война во Вьетнаме. По радио каждый день: бомбежки... напалм... Сайгон... сегодня американская авиация...» Я совершенно не помнила этих последних известий. Радио у нас в доме обычно бывало выключено. Телевизора не было вовсе. Какой телевизор, если есть книги, театры, филармония...

Став студенткой, я сохранила привязанность к нашему школьному кафетерию. Очень удобно расположен, чуть ли не отовсюду на полпути. О его темной славе узнала случайно. Однокурсница Юля, войдя туда с подругой выпить кофе, в ужасе зашептала: «Пошли-ка отсюда. Смотри, вон там Кобец. Расскажет, что я здесь была». «Но ведь она и сама здесь», — резонно ответила Юлина спутница. Потом — как не посплетничать? — этот курьез был рассказан и мне. Происходило это в самом конце 1960-х, сомнительная репутация заведения успела докатиться до востфака ЛГУ, но вот названия «Сайгон» даже всеведущая Юля еще не знала.

Когда ж я впервые услышала слово «Сайгон»? Нет, не помню.

Но то, что внутри говорливо бурлящего кафетерия существует еще и таинственная особая жизнь, — углядела довольно скоро. Отличие этой жизни от общей было, прежде всего, цветовое. 1970-е — начало 1980-х — время, когда одевались разноцветно и, в общем, неплохо. То, как добывалась эта одежда (многочасовые очереди, номерки на ладонях), описано многократно, но сейчас речь не об этом. Публика, заполнявшая кафетерий на углу Невского и Владимирского, была уверена в себе, благопристойна. Дамы среднего возраста, не слишком заботясь о талии, уписывали и в самом деле вкусные пирожки, ватрушки, булочки. Стайки девиц от них не отставали. Солидные воспитанного вида мужчины деликатно на них поглядывали, иногда вклинивались в разговор короткой репликой. Вступали в беседу, только если подружки-пичужки сами, смеясь, обнаруживали интерес. Допив кофе, с приятной улыбкой откланивались.

В глубине зала (не сразу, а года через два-три) появился отдельный короткий прилавок. Там торговали не кофе и сдобой, а едой основательной. Котлеты, бифштексы, сосиски — все вкусное. Те, кто уверенно шел в глубь зала, хотели основательно поесть. Их главной задачей было как можно скорее насытиться и как можно скорее уйти.

Как ни странно, но схожую торопливость проявляли обычно и те, чьи интересы были сосредоточены на «предбаннике»: здесь, в маленьком переднем зальчике, продавали шампанское и коньяк. На закуску — только шоколад. Сюда, к светлой мраморной стойке, чаще всего подходили мужчины лет тридцати—сорока, успешные, деловитые. Вынырнув из кипения дел, они пропускали сто граммчиков коньяка и, втянув животы, устремлялись к новым победам. Иногда появлялись парочки: брали шампанское, надолго застывали возле столиков. Толкотни в первом зальчике не было; обстановка, если немного дать волю воображению, почти интимная. Правда, бывали и налеты. Студенческая компания, празднующая удачно сданный экзамен. Еще одна, то ли студенческая, то ли просто близкая к ней по возрасту и облику: «Да, и шампанского, и коньяку!»

Все эти подробности я рассмотрела в начале и середине 1970-х, в свои аспирантские годы. Просидев несколько часов в восточном отделе Публички, располагавшемся

тогда в официально закрытом для посетителей здании на Фонтанке и не имея желания сразу спускаться в метро, я изредка делала остановку на углу Невского и Владимирского. «Куда заходишь, в “Подмосковье”?» — спросил кто-то. «Почему в “Подмосковье”? Там, по-моему, никакой вывески». — «Но наверху-то ресторан “Москва”. Так что внизу — “Подмосковье”». Сказано это было уверенным голосом. Женским? Да, кажется. Потом еще раза два промелькнуло: «Так можно пойти в “Подмосковье”». И быстро, и вкусно».

Интерьер кафетерия не привлекал внимания. Однажды, войдя туда после долгого перерыва, я все-таки не могла не заметить: что-то переменялось. Не было раньше кафельных стенок с крупными пестро-красными петухами. На миг безвкусица отделки раздражала. Вспомнить, как было прежде, так и не удалось. Ведь главное оставалось без изменений. Интерьер создавала толпа. Все те же дамы, с аппетитом уписывающие слоеные пирожки, все те же хихикающие девицы, все те же с улыбкой поглядывающие на них солидные мужчины с портфелями. И все та же компания за одним из столов: черное, мрачноватое, неясные мысли о криминале рождающее пятно на фоне приятной, всеми цветами радуги переливающейся жизни.

За столом, находившимся в этом же зале, но словно в ином пространстве толпилось (или так казалось?) человек десять — двенадцать. Как они там размещались, было неясно: и впятером-то вокруг стола стоять тесно.

Теперь, после нескольких разговоров с сайгоновцами, я знаю, что среди членов «клуба» появлялись и женщины. Но сама, сколько ни напрягаю память, ни одной женской фигуры в магическом черном кругу не помню. Откуда все-таки это ясное ощущение черного? Несколько черных бород? Черные шевелюры? Темный цвет курток как неосознанный клубный знак?

Вокруг этого столика (иногда и двух соседних) кипит отдельная, никак не связанная с прочим жизнь. Нас, жующих свои пирожки, они просто не замечают. Для них мы невидимы. Причем в равной степени это относится и к располневшим лакомкам в шляпках, и к юным веселым студенточкам. Лохматые, обтрепанные, на плече часто сумка, набитая книгами, истинные сайгоновцы проходят, не глядя вокруг. Кто мы для них — штафирки? «Фармацевты»? А кто они для нас?

У меня, например, позвякивание стекла о стекло вызывает вполне понятное отторжение. Этим позвякиванием сайгоновцы как бы уравниваются с мужиками в столовке, из-под полы достающими свою «маленькую». Именно так, как на своих, смотрят на них тетки-уборщицы: «Ишь, грязь развели!» «Ну а это ты брось, живо отсюда вылетись!» — слышится не так редко. Одышливая толстуха в несвежем халате, пыхтя, уносит стаканы. (Она же и принесла? Или другая, такая же толстая?) На ругань, в которую иногда вкраплено и «милицию позову!», обнесенный магическим кругом стол реагирует добродушно и пьяновато, перепихнуться с теткой парой ласковых тут любят. И тетки, в целом, на стороне этих черных и большей частью замызганных не то парней, не то мужиков. Теткам они симпатичнее, чем добротнo одетые и вежливые, их, теток в фартуках, не замечающие.

И все-таки: каково мое отношение к этой странной компании? Оно двойственное. Шум, панибратство с уборщицами, «бульк» в стакан под столом отталкивают. Иногда кто-то из этой компании, ослабев или опьянев, сидит на подоконнике. Взгляд, устремленный в одну точку. «Странно, — говорю я приятелю. — Вот этот, на подоконнике, пьян, но на пьяного не похож». — «А он и не пьян. Он под кайфом».

Кто-то сидит на подоконнике, уставясь в одну точку. Но кто-то читает, чиркает, пишет. Строчит собственные стихи? Выправляет слепую машинопись, что дают на ночь, микроскопические буквы фотокопий? Те, что стоят у стола, то шепчутся, то горячатся. Иногда кажется — дело вот-вот дойдет до драки. Двое вдруг

поворачиваются и быстро, рассерженно идут к выходу. Один возвращается. Брякает что-то на стол...

Думаю, что не только я, но и кое-кто еще из тех, кто сейчас с удовольствием прихлебывает кофе, лишь изредка поглядывая в сторону необычного клубного уголка, в общем, догадывается, что ищем и читаем мы одни и те же книги. В отношении к строю, партии и правительству сходимся. И стихи тоже могли бы скандировать хором. Но «мы» свои вкусы скрываем, а «они» демонстрируют. И форма этой демонстрации скорее отталкивает, чем привлекает.

«Вы в «Сайгоне» бывали?» — спросила я своего ровесника, поэта, «коти-ровавшегося» в 1970-х среди неформалов. «Нет, — сказал он. — Там была своя жесткая субординация. Мне это не нравилось».

Если не бей, то презирай чужих — это, пожалуй, витало над их сплошь уставленным чашками столиком. Пили не маленький двойной, а маленький тройной. Снова и снова, пристраиваясь друг к другу, оказывались у кофеварочного автомата. Оттесняли, не замечая, всех этих пошляков (совков?). Своеобразный дух сектантства веял. Верность какому-то особому кодексу.

От искушения как-то приблизиться к этому кругу и возможной неловкости, что не примут, что не найду с общего языка, спасла еще и случайность. В 1980-е я познакомилась с Димой Равинским, Евгением Борисовичем Белодубровским, Феликсом Балоновым, принадлежавшим к сайгоновской компании. Но ни с кем из них я ни разу там не столкнулась. С Марком Мазьей приятельствовала со школьных лет. Потом встречались то на факультете, то на Невском, то на набережной. Но опять же: в «Сайгоне» судьба не сводила. И еще одно стоит, наверно, упомянуть. Марик был вечно полон идей, бурно делился ими, не дожидаясь просьб, читал свои стихи, рассказывал о разных новостях. Но «Сайгон» в разговорах не мелькал. Не думаю, чтобы это было сознательной фигурой умолчания. И все же свидетельствовало: «Сайгон» — мир закрытый. Пришло это на ум уже *post factum*. А тогда я, пожалуй, просто не знала о принадлежности Марка Мазьи к тому неистребимому кофейному братству. Уничтожить «Сайгон» не смогли ни милиция, ни КГБ, под силу это оказалось только мусорному ветру, о котором Мазья написал в своем рассказе «Человек из табакерки».

Долгожданный ветер перемен принес нам много неожиданного. В том числе неожиданные реакции на потери и обретения. Когда зимой 1991 года я, перейдя Владимирский, увидела в окнах «Сайгона» сверкающие белоснежные унитазы — это был шок. И внезапное осознание, что кусок моей жизни вдруг отломился и уплыл куда-то далеко. Нет, даже иначе: нажатием белой кнопки с грохотом спущен в канализацию.

Виктор Лисняк

МЫ БЫЛИ СТРАСТНЫМИ ЛЮДЬМИ...

*Бессмысленно стремился век
сместить нас с взрослыми в придачу
мы были страстными людьми
мы верили в свою удачу...*

Прощаясь с Марком Мазьей, я сказал: «Жизнь подарила мне возможность общаться со многими прекрасными людьми, но ничьей дружбой я не дорожил так, как дружбой с Марком». Я и сейчас могу подтвердить эти слова, потому что он был человеком редкой душевной чистоты, и это свойство ощущали все, кто хотя бы

один раз его видел. Марк был *страстным* человеком, отстаивал свою правду и в стихах, и в критических статьях — всем своим поведением, поступками, мыслями и помыслами.

В руках у меня первый и единственный сборник стихов Марка Мазыи — «Маятник», с посвящением жене Нине, выпущенный в 1995 году. Хочу обратить внимание на две буквы «D. C.», входящие как элемент в оформление обложки. Это аббревиатура выражения «Da saro al fine». «Da saro» значит «повторение»; так обозначаются повторяющиеся разделы в некоторых музыкальных формах, например в менуэте или в рондо. И в отдельном стихотворном тексте, и в творчестве поэта в целом повторение тоже может быть исключительно значимым элементом. Повторяемость какой-то темы, интонаций, мысли — это знак, требующий читательского внимания.

Поэтическое и, я бы сказал, философское кредо Марка Мазыи выражено в стихотворении «Радищев». Оно завершается строфой:

Перестанет сердце биться,
Тело обратится в пыль...
Словом стань, самоубийство,
Средь ликующей толпы.

Если нам всегда говорили о том, что нужно от слова стремиться к делу, здесь как раз обратный путь: дело должно подняться до уровня слова и остаться тем самым навеки в истории. Поэтому для Марка, как для поэта, найти слово было главной целью жизни.

На то, чтобы найти слово «за строчкой судьбы», жизни оказывается мало. Если человек нашел это слово, тогда он может считать себя счастливым.

Мне бы только суметь! Мне бы только дойти!
Мне бы только не кончился путь!
Чтоб за строчку-судьбу, что легла на пути,
Я еще раз сумел шагнуть.
(«Ах, как я не люблю маяты-правоты...»)

Есть у Марка строки, звучащие пронзительно:

Я устал писать о тебе.
Я устал писать о судьбе.

Наряду со стихотворением «Будущей осенью в Иерусалиме», они могут, возможно, восприниматься как признак усталости, особенно если учесть, что жизнь автора вскоре оборвалась. Но мне, как человеку, которому довелось общаться с Марком незадолго до его смерти, представляется, что такой непреодолимой усталости Марк не испытывал — скорее, это был способ набраться новых сил для будущих творческих свершений.

Сборник предваряет очень теплое вступление Нонны Слепаковой. Я позволю себе несколько не согласиться с тем, что пишет наша замечательная поэтесса о творчестве моего друга. Первое, с чем я не согласен, — это интерпретация заглавия сборника. Слепакова определяет значение слова «маятник» как производного от «маяться». Эта мысль звучит в названии ее статьи («Маятник — от слова маяться»), однако в одном из центральных стихотворений сборника «Только маятника стук...» есть указание на авторское понимание этого образа:

Только маятника стук
 Экая досада! —
 По минуточке пастух
 Собирает стадо.
 <...>
 В тихой комнате пастух
 Свой напев выводит.
 Только маятника стук —
 Точно кто-то ходит.

Маятник — это символ времени. Что же касается мотива «суеты—маяты», сборник в целом и некоторые стихотворения в особенности очень ясно характеризуют весьма типичную для Марка Мазыя раздвоенность: с одной стороны, перед нами счастливый человек — муж, отец (и это главная тема, которая проходит через весь сборник); с другой — человек, который не может не видеть того, что происходит вокруг него.

Подобная двойственность присутствует и в пленительном стихотворении «Тихо в комнате моей»:

Дождь.
 За окнами вдали
 встали сосны-корабли,
 паруса висят.
 Плыть...
 Куда ж мы поплывем,
 если только дождь кругом,
 звезды не горят?

На мой взгляд, здесь есть два независимых, но очень глубоких психологических пласта: лирическое переживание, связанное с некоей пейзажной зарисовкой, и метафора общественно-политической ситуации.

Не могу согласиться и с утверждением Нонны Слепаковой о том, что «Марк Мазыя был изгоем и преодолевал свое изгойство». Он мог им быть лишь постольку, поскольку все люди определенного менталитета в советском обществе чувствовали себя изгоями. Но внутри своей среды, начиная с Дворца пионеров, он изгоем не был. Это было очевидно от первого до последнего дня его короткой жизни. Его пришли проводить люди, которые подчас стояли по разные стороны баррикады и представляли разную поэтическую позицию. Марк был как раз тем человеком, кто во многом объединял людей.

* * *

Я вырос в доме, где поэзию всегда любили. С годами менялись мои поэтические пристрастия, но одно из них, оставшееся до сих пор, и послужило поводом для нашего знакомства с Марком. Я не был участником литературного клуба «Дерзание» Дворца пионеров, где занимался Марк, но случайно присутствовал на одной встрече и запомнил ее на всю жизнь. Это было осенью 1963 года.

Руководитель кружка старших поэтов в клубе «Дерзание» решила познакомить ребят с Наумом Коржавиным, который к тому времени выпустил единственный сборник «Годы» (1961), произведший на многих (в том числе и на меня) очень сильное впечатление.

с моей точки зрения, готовый мини-спектакль для двух актеров. У меня было ощущение, что Марк очень хорошо чувствует театр. Театральность, отличающая его творчество, выражается не в любви к какой-то позе, а в стремлении создавать зримые образы. Когда читаешь стихотворение «Радищев», мгновенно представляешь его героя, последние моменты его жизни. Способность вызвать у читателя такую реакцию — это, на мой взгляд, качество прирожденного драматурга. Мне жаль, что никто нигде не ставил его произведений.

Наша с Марком последняя встреча произошла 9 мая 1996 года. Я пришел к нему и мы отправились гулять в Летний сад. Это была во всех смыслах последняя встреча. Он сказал: «Знаешь, мы все-таки крепкие ребята». Был 1996 год, время ломки многих представлений, особенно для нашего поколения, с его романтизмом и бессребренническим отношением к жизни и к искусству. Я, зная, что передо мной сильный духом человек, был польщен тем, что он меня объединил в этом качестве с собой. Часто вспоминаю эти слова.

В юности Марк жил недалеко от «Сайгона» и часто приходил туда, чтобы встретиться с близкими ему людьми; там читали стихи, слушали, спорили. В «Сайгоне» бывали люди, составлявшие дружеский круг Марка: Евгений Белодубровский, Сергей Белов, Феликс Балонов, Михаил Яснов, Михаил Богин. Михаила Богина с Марком объединяло юношеское поэтическое соперничество. Как потом вспоминал Миша, «... мы буквально ходили стенка на стенку».

Марк был поэтом и в жизни, и в творчестве. Когда его не стало, Е. Б. Белодубровский в некрологе написал: «Марк Мазья — поэт бессмертного «Сайгона».

* * *

Мы были и остались страстными людьми. Это относилось и к Марку, и ко всем тем, о ком я вспомнил сегодня.

Наталья Рубинштейн

ВНИЗУ, ГДЕ БЫЛ КОГДА-ТО «ГЛАВТАБАК»...

С осени 1961-го я работала в шерамыге (ШРМ — школа рабочей молодежи) в Сестрорецке, уезжала первой электричкой, возвращалась последней, и урывки свободного времени, которые заочной аспирантке полагалось бы расходовать на науку, таяли в сизом дыму курилки в Публичке — нельзя сказать, что вовсе бесполезно, но совершенно бесцельно и вполне бесследно.

Кроме того, с 9 января 1962 года уже имел место в моей жизни БР*, а он никогда ни в какой «Сайгон» не пошел бы. БР был тринадцатью годами старше, не лирик, физик, СНС в НИИМД**, с зарплатой и премиями, у него даже было в шкафу три неопределенно-светлых венгерско-польско-гедезровских костюма. Он ездил на Яве-350***, каждый день менял рубашку и носил блеклые, мелко-го рисунка галстуки с узким узлом, что мне казалось признаком подозрительной

* Борис Евсеевич Рубинштейн (1925–2001) — мой муж.

** СНС — старший научный сотрудник; НИИМД — Научно-исследовательский институт магнитодиэлектриков.

*** Ява-350 — мотоцикл чешского производства, похожий на гигантского красного муравья.

состоятельности — не то пижон, не то буржуй. У сверстников редко была вторая пара брюк. И они, если хотели пижонить, надевали под спортивный пиджак или куртку тонкий свитер с воротом-стойкой, который в Питере именовали «банлон» (по названию синтетического волокна), а в Москве «водолазка». А галстук не надели бы никогда, ни там ни тут, — хоть удавился. БР же юность отходил в кирзе и гимнастерке и ценил комфорт и хорошую одежду. У него с приятелями для прожигания жизни были ресторан «Кавказский» (Невский возле Казанского) или «Крыша» (над «Европейской»). И мама очень убивалась, что я хожу с этими старцами (всем за тридцать) в такие развратные заведения. «Хожу» — это сильно сказано, было-то раза два-три. А вот куда деваться мужику из разваливающейся семьи с девицей, живущей в коммуналке в одной комнате с родителями — это вопрос. Когда-нибудь и об этом расскажу, но — не сейчас.

В «Сайгон» я ходила с Леней и Ритой (Аронзоном и Пуришинской), когда БР был в командировке в Томске, и, конечно, зря ему об этом рассказала. Это вызвало такую бурю негодования, что если потом я и заходила в «Сайгон», то впечатлени-ями больше не делилась.

<...> Мой старинный приятель и коллега по Би-Би-Си, видный персонаж питерской богемной сцены шестидесятых, Ефим Славинский (по-тогдашнему, Слава), помнит, что 21 августа 1968 года вышел под вечер из дома в скверном настроении, ничего еще не зная, встретил Топорова, который сказал ему: наши танки в Праге. Они купили бутылку портвейна, распили ее с горя в парадной и пошли запивать кофе в «Сайгон». Легенда о том, что «Сайгоном» это место обозвал мент, сделавший замечание бухим завсегда: «Что вы тут Сайгон устраиваете!» — мне очень нравится. Но кто проверит?!

Кстати, здесь в Лондоне свои легенды, немного похожие. Первая итальянская кофеварка «эспresso» (а с нею и хороший кофе вместо английской национальной бурды) появилась в Лондоне (в Чайна-тауне, в богемном квартале Сохо, в джаз-клубе Ронни Скотта на Фрит-стрит, 47) примерно тогда же, когда и в ленинградском «Сайгоне». В те поры в любителях джаза недостатка не было, но кофеварка «эспresso» все же сильно повысила привлекательность места. Правда, — местная специфика — в Лондоне обходились без стукачей.

А в Питере другая кофейная машина стояла в магазине полуфабрикатов на Малой Садовой. Там покупали вместе с кофе волованы с курицей или осетриной. Туда мы бегали на рассвете, продрогнув в ночных очередях за билетами в филармонию — номер химическим карандашом на внутренней стороне ладони, перекличка в полночь, в три ночи и в шесть утра, — магазин открывался в восемь, и было клево есть горячую гречневую кашу, запивая крепким кофе. Там, на Малой Садовой, сложилась своя богемно-литературная тусовка (в мое время и слова такого не было), и даже говорят о «литературе Малой Садовой». Но это если и расцвело, то уже после нашего отъезда.

<...> По-моему, «Сайгон» привлекал зеленую молодежь, если говорить о второй половине 1960-х. Первый раз мне там совсем не понравилось. Гулко как в бане, и ощущение зародышевых страстей и свального греха в детском саду. Еще пишут, что там читали стихи. Не знаю — младшие, может, и читали. Поколение от поколения отличается. Но у нас стихи читали только дома. Сидя на полу, откладывая шахматы и карты. Иногда по кругу, иногда запойно, без приглашения или обсуждения. Скорее, стихотворец просил послушать: «Ну, вот еще стишок, один, новый принес. Ладно?» — интонация слегка извиняющаяся. В «Сайгон» приносили машинописные листки и вожделенные книжки — это было. Но читали стихи?? — в тамошнем гвалте кто бы что услышал?! И еще: мои ровесники применительно к себе не сказали бы ни «мое творчество», ни «моя поэзия». «Стишок,

стишки» — вот терминология родившихся перед войной. Следующие, послевоенные, бэбibuмеры советского разлива, не без тартуанского щегольства говорили о «текстах», что замечательно закреплено стихотворением Льва Лосева из цикла «Продленный день» в сборнике «Чудесный десант»*. Я думаю, стоит привести из него строфу, потому что описанная в нем публика, несомненно, завалилась в редакцию к автору либо прямо из «Сайгона», либо по пути в «Сайгон»:

...В «Костре» работал. В этом тухлом месте,
вдали от гонки и передовиц,
я встретил сто, а, может быть, и двести
прозрачных юношей, невзрачнейших девиц.
Простужено протискиваясь в дверь,
они, не без нахального кокетства,
мне говорили: «вот вам пара текстов».
Я в их глазах редактор был и зверь.
Прикрытые немислимым рваньем,
они о текстах, как учил их Лотман,
судили, как о чем-то очень плотном,
как о бетоне с арматурой в нем...

Историко-литературное значение «Сайгона» — говорю только о 1960-х — по моему, сильно раздуто воспоминателями. На «салоны и кружки» или «Бродячую собаку» не тянет. Но это важный знак бытовой перемены во вкусах и нравах обделенной элементарным комфортом молодежи, в большинстве своем не знавшей никакой приватности. Ей стало куда пойти. У старших, у послевоенных бедолаг из раздельных школ, кроме танцплощадки в Доме офицеров и вечера в актовом зале с гостями иного пола из школы напротив, ничегошеньки не было. Ну да, ну да, вам хоть сейчас расскажут про бордели на дачах у отпрысков вальяжных родителей. Но я не о них...

Хочу вспомнить еще пару важных мест по соседству с «Сайгоном». Столовку на Невском против Марата, куда в конце сороковых мы ходили вместе с папой. До войны, то есть до его ареста, то есть до моего рождения, там, по его словам, была «Еврейская рабочая столовая». Теперь она, разумеется, так не называлась. Но повар был, видимо, тот же, и мы оба со Славинским помним, что это было единственное место в городе, где и в 1950 годы подавали кисло-сладкое мясо с черносливом. И печеночный паштет. И селедочный форшмак. И даже фаршированную рыбу. Этикетки были приличные: сельдь рубленая, мясо в кисло-сладком соусе. А вот и маца на блюдечке. Ну, как она должна называться в эпоху борьбы с космополитизмом? Никогда не догадаетесь... — «Крекер национальный». Вот как!

Кстати, в двух шагах от «Сайгона», на углу Рубинштейна и Невского, было еще одно выдающееся место, там, где теперь Макдональдс, будь он неладен. По вывеске — «Кафетерий». В народе — «Американка». Там ели и пили, как и в «Сайгоне», встоячку. Кофе был похуже, зато недорого стоила порция сосисок с тушеной капустой. Хлеб и горчица на столах бесплатно. Где-то я читала, что после войны оголодавшие ленинградцы, если повезет, могли там купить килограммовый брусок дрожжей. Потом их пилили на кусочки и распродавали из-под полы. Такой вот бизнес. Но я этого, конечно, не застала. Этот кафетерий, как вспоминает мой коллега по Би-Би-Си Леонид Владимирович Владимиров, детство которого прошло в предвоенном Ленинграде, — своеобразный памятник самому первому

* Лосев Лев. Чудесный десант. Н.-У.: Hermitage, 1985. С. 54.

детанту, первому раунду американо-советской дружбы. США признали СССР сснью 1933 года. Завязалась междоударственная торговля. Именно под этот детант Ильф и Петров в 1935 году проехали насквозь всю Америку и написали об этом книжку. В Ленинград завезли и оборудовали в гастрономических магазинах американские установки для продажи соков и газированной воды. И американская манера пить сок прижилась в стране социализма. В старых американских или канадских фильмах подростки в первом приступе ухаживания пьют за прилавком в аптеке сок и крем-соду точно из таких установок. У нас они дожили чуть ли не до перестройки. Три-четыре стеклянных конуса, продетых в металлические кольца, куда вливали трехлитровыми бутылками виноградный, томатный, яблочный или мой любимый вишневый. Продавалось стаканами — на выбор. Рядом на блюде соль с чайной алюминиевой перекрученной ложкой, какую не унесут, — для томатного. Серая, крупного помола соль намокала, слипалась комочками и ржавела, потому что ложку много раз пихали в стакан с рыжим помидорным соком. Ну, и газировка тоже продавалась стаканами, которые толстозадые русалки в грязно-белых халатах поверх ватников мыли на вертящихся металлических дисках с дырками, откуда снизу вверх била вода. Разноцветные сиропы в прозрачных градуированных цилиндриках. Можно было попросить с двойным сиропом, а некоторые предпочитали чистенькую, за копейку. И даже имел хождение одесский анекдот: «Вам с сиропом да или с сиропом бэз?» — «С сиропом бэз». — «Бэз которого?»»

Мама с теткой, докторские дочки, все это презирали как негигиеничное. Тем слаще было нарушить запрет и залпом выдуть граненый стакан микробов. Так вот, и кафетерий-сосисочная возник в доме на углу Рубинштейна и Невского тогда же, что и конусы, в тридцатые годы, и был оборудован как настоящая американская забегаловка. Кажется, даже работал круглосуточно.

В студенческие годы порция сосисок — особенно со стипендии — была вполне доступным развлечением.

И вот мы идем с Таней Галушко, из института, по Невскому, по солнечной стороне, пешком. Мы знакомы с Дворца пионеров, с ее тринадцати — моих двенадцати лет, а теперь нам девятнадцать и восемнадцать, но, как в детстве, я не могу от нее оторваться, и если она готова проводить со мной время, отбрасываю все остальное. Сперва я ее провожаю на Владимирский, 8, потом она меня до Чехова, 5, потом все сначала, и еще, и еще... Я выслушиваю горячую доверительную повесть о в очередной раз разбитом сердце, об албанце Мустафе, которому партком ихнего албанского землячества запретил с ней встречаться. И стихи, и слезы, и не хочется домой... Ни ей, ни мне. «Зайдем, — говорю я, — в «Американку», съедем по сосиске». — «Нет, — отвечает Таня. — Туда — никогда. Когда мама заболела и стало ясно, что она больше работать не сможет, пенсию долго оформляли. Я ходила сюда собирать со столов хлеб». Так что с 1957 года и я больше не ходила в этот кафетерий, и не знаю, была там молодая жизнь ключом или нет.

* * *

...Через день после того, как я поместила этот текст в Живом Журнале, где, кстати, и до того, немало было написано о «Сайгоне», Василий Бетаки прислал мне из Парижа три строфы из своего стихотворного «Недоромана», относящегося к 1970 году. По-моему, славно:

22.

Однако же куда спешил он так?
На уголке, знакомом всем пижонам,

Внизу, где был когда-то «Главтабак»,
 Кафе с названием неопределённым
 В те дни ещё скрипело кое-как,
 Звалось то «Подмосковьем, то «Сайгоном»,
 То «Петухами»: кафели стены
 Там были петьями испещрены.

23.

Нет, «Петухи» — не в ранге ресторана,
 И вывески с названием не найдёшь,
 Но там с утра до ночи, как бараны,
 Полустуденческая молодёжь,
 Фарцовщики, доценты, графоманы,
 И те, кого никак не назовёшь,
 Воспринимали как судьбы подарок
 Продукцию венгерских кофеварок*.

24.

.....

25.

Тут вам, конечно, встретится Кривулин,
 И ждущий, кто заплатит, Топоров,
 И старый Дар на колченогом стуле,
 И Ширали в компании двух коров,
 Порой — стукач Куклин на карауле
 (Свисток в кармане, говорят, готов),
 Порой заходит Свяцкий с гостем польским,
 И Гнедич Т., со мной и с Антокольским...

Поразительно, что и Бетаки помнит, как прежде на перекрестье Владимирского и Невского был с угла магазин «Главтабак», где божественно пахло «Кэпстеном» (табаком, переименованным в пятидесятые в «Капитанский»), который мы там покупали с моим кузеном Борей Володиным, когда он приезжал в командировку из Москвы и курил — гордясь и красуясь — трубку, подаренную ему самим Федоровым, знаменитым ленинградским трубочником, который (был слух) сделал трубку для самого Жоржа Сименона, автора романов о комиссаре Мегрэ.

* Василий Бетаки, конечно, прав, когда называет кофеварки венгерскими, а не итальянскими, как я в силу отвычки от отечественного быта и опыта, написала. Конечно, венгерские, соцстрановские, хотя и передранные с итальянских. Это у меня позднейшая аберрация от жизни в Европе, что все кофеварки итальянские.

PRIME TIME
1970-е



Вход в Саутоу. 1970-е гг.

«ВАМ ВСЕ ЕЩЁ НИКАК ПАРИЖ НЕ ПОЗАБЫТЬ...»

Кафетерий на углу Владимирского
и Невского...
— «Ротонда»?
— Вам все ещё никак Париж не позабыть.
Каждый день, чаще к вечеру:
— Будьте любезны, маленькую двойную.
Крепкого. Наскоро.
Но лучше дать остыть.
Куда нам торопиться.
Живем тлеть.
Стремглав живем,
не тлеть.
На шаткий стол локтём установиться,
смотреть и кланяться знакомым...
— Рада вас видеть.
— Я вас тоже
очень.
Вы заторели,
Но грустны с лица.
— В Крыму вчера жара,
А здесь дожди и осень.
И сразу черная,
Как будто началась с конца.
— Ну, вам-то что,
Вы славно заторели,
Всё солнце в вас.
Ослеп, тляжу из-под руки.
Лишь трудь белая.
Соски как две свирели:
Звонки и высоки.
— Ах, Ширали...
— Так брать вам кофе?
— Можно.
— А Ширали лишь птица на тубах.
Какое вам заказывать пирожное?
Сегодня я немного при деньгах.

Вот, пожалуй, из-за этого стихотворения «Сайгон» бы мог остаться в людской памяти.

Полагают, что в Ленинграде было две культуры. Первая — официальная и вторая — андеграунд. Я считаю, что существовало три: была еще и сайгоновская. Перечислю имена людей, которые в «Сайгоне» бывали или бытовали, кто как. Наше поколение: ваш покорный слуга, Виктор Кривулин, Виктор Топоров, Николай Беляк, Евгений Вензель. Каждый по-своему, мы хоть строчкой, но останемся в памяти людской. Поколение постарше: Иосиф Бродский, Леонид Аронзон, Дмитрий Бобышев, Сергей Довлатов, Александр Севастьянов. И ещё постарше: Александр Володин, к примеру. Место это было поначалу светлое, солнечное и не очень людное. Поначалу там стояли

даже столики и, кажется, подавали газеты к кофе. Чем не Париж, однако? Мы тусовались там с утра до вечера. Вели разговоры, завязывали знакомства и романы, иногда на всю жизнь. Тогдашнего рубля хватало на целый день сайгоновской жизни — двой-



Виктор Ширали Фото В. Окулова
«Виктор Ширали — восточного типа красавец, высокий, стройный. Чисто по-мужски у меня чуточку возникало чувство ревности — вокруг него всегда столько юных женщин, дам, девушек. И стихи, в основном, посвящались женщинам» (Боб Кошелохов)

ной кофе за двадцать две копейки, пирожное за двадцать восемь, кому надо было что-нибудь покрепче — бежали в два соседних магазина. Дебошей и драк я там не помню. Барышни туда приходили очаровательные. Не с одною у меня случался роман — правда, чаще всего платонический. Любил я тогда очень свою первую жену Алёну. Были там и свои чудачки, юродивые как бы. Им подавали на кофе, на стакан вина и они быстро исчезали из поля зрения. Мы вели там весёлую (наверное, потому что юную), живую жизнь. Выпускали устную газету. В ней обменивались эпиграммами, анекдотами друг о друге, амурными историями.

Открылся «Сайгон» году в 1964 и поначалу назывался «Петухами» — по рисунку выложенных в интерьере изразцов. Но потом началась эта вьетнамская война, и кто-то окрестил его «Сайгоном» — кто, уж это мне не ведомо. Потом наступили более скучные времена.

Наведываться туда стали наркоманы и стукачи, и свободно говорить стало

опасней. Я перестал ездить в «Сайгон» еще до его закрытия, кажется в конце восьмидесятых. Закрыли его позорно, превратив из места встречи творческой интеллигенции в магазин зарубежной сантехники.

Когда-либо, когда начнут восстанавливать историю шестидесятых годов двадцатого века, непременно вспомнят и о «Сайгоне» — может, даже повесят несколько мемориальных досок. Люди там бывали знатные.

Чуден Невский

Труден Невский при переходе. Труден во все времена года. С каждым годом машин становится всё больше, и всё труднее перейти его в один прием. Да и ноги уже

не молодые. А Невский, в сущности, неширок, хотя был, есть и останется главной перспективой города, на который я умудряюсь не налюбоваться уже шестой десяток лет. Но о годах помнить скучно и досадно, поэтому вспомним молодость.

В один приём, без остановки, мы пролетали эту перспективу от Московского вокзала — стелы городу-герою ещё не было (надо сказать, что мне, в отличие от многих, эта стела нравится — она прекрасно рифмуется с торчащей на другом конце Невского Адмиралтейской иглой). Лучшие стихи о Невском и о нас на Невском написал царскосельский поэт Юрий Алексеев.

Мы летели по Невскому вверх,
Распустив парусины одежды.
Мы бежали за общей надеждой —
Разделив её братски на всех.

Разделив на двоих — пополам —
Дымный призрак небесной свободы,
Этот шум, этот крик, эти своды...
Мы бежали, как псы, по следам
Нашей юности, наших утрат,
Наших женщин из общей постели.
Мы шагали, бежали, летели
Наудачу, вперед, наугад.

Ни себя, ни любви, ни друзей
Не жалея в азарте погони.
Наших судеб крылатые кони
Подминали случайных людей.

Мне лестно, что стих этот посвящен мне. <...>

Я помню Невский больше весенним, апрельским, солнечным. Обычно я шел с какой-нибудь юной прелестницей, знакомых у меня было тогда не счесть, имен я их не помнил, а лица мелькали, как в киноленте. Меня спасало то, что я сразу начинал их знакомить со своей очередной барышней, они назывались — так я и выходил из неловкого положения.

Что ещё помню о Невском? Помню, как выходил из «Сайгона» с чашечкой дымящегося двойного кофе и ловил кайф, не меньший, наверное, чем в Рио-де-Жанейро или в других кофейных городах.

Ещё помню, как однажды на стороне, противоположной «Сайгону», чуть правее Литейного, в апрельский, всюю солнечный день села мне на нос откуда ни возьмись (камень был кругом) крапивная бабочка и сидела минуту, верно. Я стоял не шелохнувшись, пока она не улетела дальше по своим делам. Свидетелями этого события были Саша Севастьянов (жив ещё, но болеет тяжело), Марик Зайчик (двадцать лет уже в Иерусалиме) и Миша Богин (два года как лежит на Волковском кладбище). Событие это, по мне, равно всяческому перевороту в нашем отечестве и закончу я этот рассказ уже своими стихами.

Я перейду на солнечную сторону
Где Невский многолюдней
Суетней
И словно
День добрый говорю я

Рад Вас видеть
 А Вам я кланяюсь
 Не захотев обидеть
 Тем как живу
 Не вечен как неистов
 Открыт и весел всем
 В ком есть желанье риска.

Малая Садовая

Так вот, кроме трех культур, мною перечисленных выше, была ещё и четвертая — малосадовская. На Малой Садовой была «Домовая кухня», а в ней два кофейных автомата и несколько столиков. Вот вокруг них и группировалась малосадовская публика. Их-то наверняка забудут, хотя кто знает эту старуху-историю и кто знает, что выплывает в этой своенравной речке.

Когда мне надоело обитовать в «Сайгоне», я брал чашечку двойного кофе, двух подвернувшихся под руку видных девиц, иногда даже незнакомых, но неотразим я был тогда, господа! Неотразим. Об этом есть материалы в парижской прессе, в нью-йоркской, а теперь и в нашей, отечественной (читайте девятый номер «Звезды» за 2002 год).

Я выходил из «Сайгона» с чашечкой дымящегося кофе, с тростью под мышкой, с двумя девицами чуть поодаль. Они были тоже с чашечками кофе, но его даже не пригубляли — они несли его для меня. Так я переходил Невский, затем Литейный, мелкими глотками опустошая чашечку. Когда кофе в моей кончался, мне подавали другую. Так мы и проходили весь путь через Фонтанку, вдоль «Лавки писателей», вдоль Елисеевского магазина и сворачивали на Малую Садовую. Чашечки мои пустели, и я их сдавал тамошним кофеварщикам. Они мне наливали нового за ту же цену.

Здесь я попробую перечислить наиболее характерных посетителей Малой Садовой: Тамара Буковская, она же (в разные годы) Алла Дин, она же Тамара Мишина и опять Тамара Буковская, Владимир Эрль, Дмитрий Макринов, и ещё один — фамилии его не припомню, но одно стихотворение у меня до сих пор на слуху. Называлось оно «Перепёлочка». Бывал там и Аронзон, но изредка и как мэтр. Чуть правее этой «Домовой кухни», уже на Итальянской улице, существовал садик (кажется, и сейчас существует), где мы пили купленное в Елисеевском магазине сухое вино. Чаще всего самое дешёвое «Алжирское». Здесь я приведу стихотворение, не к этому рассказу написанное, вообще написанное не к прозе, а само по себе, но к месту.

Нет радости в вине
 Когда оно
 Слезами горькими напоено
 Не наблюдай
 Но наслаждайся счастьем
 Беседа круговую ходит чашей
 И опадает горечь дней на дно
 И веселит
 И радует вино.

А дальше, после этого смертельного напитка, опять же в кофейную на Малой Садовой, где я опять брал кофе, и с теми же двумя девушками, или двумя другими, тем же путем — но обратно в «Сайгон».

Олег Охапкин

КЛАССИЧЕСКИЕ ГОДЫ «САЙГОНА»*

С 1966 года я ходил в кафе на Малой Садовой, где собиралась литературная молодежь, в основном круга Леонида Аронсона, Владимира Эрля. Я с ними там познакомился, а чуть позднее на углу Владимирского и Невского открыли кафе, которое называли «Сайгон», и мы переместились с Малой Садовой туда. Это были классические годы «Сайгона», когда он тоже, как и Малая Садовая, был литературным клубом, без всякой темной публики, безо всяких стукачей, всяких КГБ, всяких уголовников и дельцов. Поэтому-то Татьяна Михайловна Горичева и говорила моей жене Татьяне Ивановне Ковальковой, которая снимала фильм о «Сайгоне»**, что она везде мечтала о «Сайгоне», даже когда была в Бразилии или в Аргентине, что нигде такой свободы, такого интеллектуального общения она не видела и нигде так не была счастлива.

Нас там хорошо знали. Кофе стоил очень дешево. Мы покупали двойной кофе и, за столиками стоя, стихи читали, и сговаривались, куда ехать дальше на вечеринки, литературные посиделки, романы у нас закручивались там. Можно было даже в долг взять кофе, поскольку известно было, что мы люди честные, мы заплатим. Известный поэт Виктор Гейдарович Ширали стоял там и просил рубль (такие были времена: рубль — большая сумма, доллар по тогдашнему курсу). Он просил, я помню, у Довлатова на опохмел: «Сережа, дай мне рубль, иначе ты причинишь вред русской поэзии». А Довлатов ему отвечал: «Если я дам тебе рубль, то *ты* причинишь вред русской поэзии». Опохмелялись мы, конечно, не в «Сайгоне» (в «Сайгоне» пьяных не было), а рядом, чуть подальше по Владимирскому, в кафе-мороженом, там продавали сухое вино. Это был «Сайгон» № 2. <...>

Там прошли наши золотые годы. Когда-нибудь это будет вспоминаться как кафе Парижа, где собирались Верлен, Бодлер. Я не хочу сказать, что мы поэты такого масштаба были, но все-таки среди нас был, например, Иосиф Александрович Бродский. Помню, я с ним зашел в «Сайгон», в предбаннике мы выпили коньяку. У меня в кармане была дореволюционная книга «Поэзия Хомякова», маленькая, покотбук, и я ему все рассказывал о Хомякове, какое он большое на меня впечатление произвел, а Иосиф так пренебрежительно сказал: «Но это же славянофил. Как Вы, Олег, им увлекаетесь? Мы с Вами — западники». Я говорю: «Западники были в хороших отношениях со славянофилами. Вот я, как западник, в хороших отношениях с Хомяковым. Это же второй Тютчев!» Это был единственный раз, когда Бродский при мне зашел в «Сайгон»: знал, что я без «Сайгона» не могу — без кофе, без коньяку сайгоновского. Может, без меня он еще заходил, да и наверняка, но вот я свидетелем этому был только один раз. Попили кофе, поговорили по душам, а потом пошли стрелять в тир на Литейном, и Бродский показал высокий класс стрелка. Я сам хорошо стрелял, но меня поразило, что Бродский так метко стреляет. Помню, когда я с первой женой познакомился, Еленой, матерью моей дочери Маши, мы ходили в тот же самый тир, и я ей рассказывал, как с Бродским стрелял.

В это время стали открывать бары, чем очень восхищался друг Бродского — известный литературовед и переводчик Константин Маркович Азадовский, сын

* Беседовала Юлия Валиева.

** Что такое «Сайгон»? (Из цикла «Петербургские истории»). Автор Т. И. Ковалькова. // Пятое колесо. 22 сентября 1988.

известного фольклориста. Я помню, что Констан, как мы его с Бродским называли, был в восторге оттого, что стали открываться кафе-мороженицы, где продавали сухое вино, и даже самые настоящие бары. Бар был где кинотеатр «Знание» (первый синема в России), на втором этаже. Из «Сайгона» мы ходили в этот бар и так были рады: мы как на Западе — у нас бар, «праздник, который всегда с тобой», Хэмингуэй (а мы все были хэмингуисты).

Мы застали золотые времена «Сайгона». Кто-то из нас (не я, не мои знакомые, но кто-то из этого круга) придумал это название — «Сайгон», поскольку шла война Америки с Вьетнамом. Еще его называли «Подмосковье», потому что на втором этаже был ресторан «Москва». Мы и в этом ресторане бывали, поскольку тогда все было дешево. Мы «поцарствовали», как моя бабушка говорила (она жила до революции, была простая крестьянка, но говорила не «царь царствовал», а «мы царствовали, а вам этого никогда не видать»). Все стоило баснословно дешево: кофе двойной, крепчайший, с сахаром, стоил какие-то жалкие двадцать копеек, пачка «Примы» или болгарских сигарет «Солнце», которые мы курили, стоила тоже двадцать копеек. А с фильтром («БТ», «Булгартабак» или «ТУ-134») — они пятьдесят копеек стоили, но для нас это считалось дорогим, мы экономили. Скромно получали, зарплату были маленькими.

Я работал в Эрмитаже с Михаилом Шемякиным. С ним я тоже заходил в «Сайгон», и с известным артистом балета Валерием Пановым. Мы втроем (Шемякин, Панов и я) обговаривали в «Сайгоне» такие, например, дела, как переплыть Черное море, чтобы в Турцию на надувной игрушке (как в песне Алексея Хвостенко). Обговаривали до мельчайших подробностей, доверяя друг другу и не страшась никаких посторонних ушей. <...>

Вечером мы шли на квартиру, обычно к какой-нибудь даме, которая как бы держала у себя салон. Одна, помню, была баронесса немецкая, хотя и петербурженка, ленинградка, но настоящая баронесса. Так вот, у нее был салон недалеко от «Ленфильма», на Кировском проспекте (ныне Каменноостровском). Мы из «Сайгона» к ней ехали, целый вечер читали по кругу стихи. Там, конечно, сухое вино пили (водка — это грубовато, не артистично), белое «Совиньон» (бутылка стоила рубль двадцать), красное «Каберне». Мы скидывались в «Сайгоне», у кого сколько было («по рублю, по рваному», как это называлось).

Около метро «Владимирская» был гастроном (угол Загородного проспекта и Владимирской площади). Если стоявший у гастронома держал указательный палец вверх, к нему подходили еще два партнера, по рублю скидывались, получалось три шестьдесят две — это пол-литра водки. И вот приехал в Ленинград Генрих Бёльль. Он, проходя мимо этого гастронома, заинтересовался, зачем это палец вверх держит подходящего вида мужчина. Подошел и сделал тоже так палец... А после обхода всех близлежащих гастрономов очнулся перед «Асторией», в садике, на скамеечке. Его обувь была под головой аккуратно поставлена, накрыта газетой, чтобы голова на чистом лежала, и его охранял с почетом постовой. Постовой сказал: «Нельзя так нализываться, вы все-таки в гостях. Я вас прошу, вы — антифашист, мы все зачитываемся вашими романами»...

С Константином Кузьминским мы с 1970 года подружились через знаменитого поэта Владимира Эрля, завсегдатая Малой Садовой. Кузьминский коллекционировал поэтов. У него в комнате на бульваре Профсоюзов (ныне Конногвардейский), в проходном дворе, который выходил на Красную улицу (Галерную нынче), на верхнем этаже, они и ночевали, и квартировались...

Эрль был шикарен. Он ходил в шляпе и выглядел как какой-нибудь Хичкок. Кузьминский, Эрль, Вензель были экстравагантны, Бродский не был экстравагантен, Довлатов не был экстравагантен, я не был экстравагантен.

Так как я неоклассик, у меня и поведение было неоклассика: я скромно приводил очередную даму, поскольку был влюбчив, читал ей стихи, обольщал ее. Потом считался. За каждую сватался. Но я был бедный поэт, в «Сайгоне» кофе мог купить даме или бутылку сухого вина, не более того. Они за меня не шли, хотя я был красавец, атлет, универсальный спортсмен, весельчак, умница, талант, но дамы — ни в какую. А поскольку я верующий, мне нужна была верная супруга, подруга и помощница, как говорится, семья, дети. А они в койку пожалуйста, но не более того. Именно дамы делали из нас донжуанов. Поэт в «Сайгоне» — это почетно, это такая публика, такие салоны, знакомства... Но никто за нашу братию замуж не выходил.

Олег Охупкин

ОДНА ИЗ ЛЕГЕНД «САЙГОНА»*

— Одна из легенд «Сайгона» связана с вашей встречей с Иосифом Бродским на колокольне Смольного собора.

На куполе Смольного собора. Мы познакомились с Бродским в 1967 году, в июне. Я тогда работал в Эрмитаже, и мы освобождали собор от эрмитажной тары военного времени. А Бродский пришел получать деньги за публикацию в «Костре». Мне нравились его стихи о сломанной Греческой церкви, и я хотел показать ему собор, пока и его не снесли, и провел на купол, под самый крест. Мы провели там часа два. Говорили о поэзии, о его стихах, и он мне сказал: «Вы, наверное, сами пишете стихи — и хорошие, если так говорите о поэзии». Пригласил меня к себе домой, прочитал мои стихи и сказал: «Олег, вы действительно пишете хорошие стихи, и если так это будет продолжаться, то через двадцать лет Нобелевская премия будет ваша». Вероятно, он уже тогда думал о Нобелевской премии, потому что ровно через двадцать лет сам ее получил. Так мы познакомились и стали дружить.

Петр Брандт

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ИЗ «ПОДМОСКОВЬЯ»

Когда пишешь про «Сайгон», нельзя обойтись без имён его посетителей, то есть участников той самой культуры «сопротивления», ради которой, собственно, мы и вспоминаем теперь это заведение.

Ближайшим мне человеком того времени из этих самых посетителей был Николай Беляк — поэт, режиссёр театральной студии, которая впоследствии стала «Интерьерным театром». Он жил в то время совсем недалеко от «Сайгона», в переулке Марии Ульяновой, теперь переименованном в Графский. Его комната в маленькой коммунальной квартире была постоянным местом сборищ тогдашней сайгоновской богемы.

Но где еще найдем друг друга?
Когда стемнеет небосклон,

* Из беседы с Татьяной Ковальковой. 1988 г.

То ярче солнечного круга
Во мне сияет твой притон.

Так писал про эту комнату поэт Евгений Вензель — постоянный её гость. Здесь бывали также Виктор Ширали, Борис Куприянов, Олег Охупкин, Михаил



Петр Брандт. 1976 г.

Генделев и многие другие поэты, обитатели «Сайгона». Беляк, обладавший от рождения природной культурой, нравственной требовательностью (я бы сказал, какой-то особой принципиальностью, не свойственной большинству людей нашего поколения), обаянием, обладал также литературным талантом и безусловным лидерским даром, и был в то время центром и организатором многих сборищ и чтений. Через его студию, да и просто через общение с ним прошли люди, впоследствии прославившиеся, а также те, которые не стали известными, но все они, безусловно, испытали на себе его влияние, без которого, возможно, жизнь их потекла бы совсем по иной стезе.

Евгений Вензель — один из ближайших друзей Беляка, завсегда́й «Сайгона» — поэт, которого относят к группе «поэтов Малой Садовой». Впрочем, как уже было сказано, в семидесятые годы эти компании практически слились в одну, и здесь, в «Сайгоне» нередко

можно было встретить и поэта Владимира Эрля — одного из апологетов Малой Садовой, а также её, Малой Садовой, патриарха — поэта Леонида Аронсона. Часто тогда мы видели Женю Вензеля стоящим у «Сайгона» со стороны Владимирского проспекта, сетующим на то, что нужно как-то убить время, и возвещающим всем, что время это убить ему могла бы помочь некая «падшая женщина» по имени Лю-Лю, которой сейчас с ним нет.

Я ношу свою кепочку набок,
Я съедаю на завтрак лимон.
Обожаю я толстых прорабков
В хриплом мареве их панталон.

Нередко в то время компанию его разделял теперешний литературный критик Виктор Топоров, а также весёлая троица друзей: Лев Лурье — ныне телеведущий, Сергей Чарный и Натан Фёдоровский, позже эмигрировавший в Германию, там, в Германии, ставший известным коллекционером картин и безвременно погибший. Всем троим был присущ какой-то особенный, жизнерадостный, иронический дух.

Достаточно было поговорить минут пятнадцать с любым из них, чтобы прийти в самое великолепное настроение, сопровождаемое чувством весёлого «превосходства над всем миром», которое почему-то очень бодрило.

Одним из живописнейших персонажей этого заведения был уже упомянутый поэт Виктор Ширали. Подтянутый, всегда изящно одетый, с тростью, он появлялся в кафетерии с какой-нибудь из своих спутниц или один и, разумеется, не мог не привлечь к себе внимания. В разговорах он также был изыскан, остроумен и часто беспощаден в своих шутках, что, впрочем, было присуще почти всем посетителям «Сайгона». Я хорошо знал жену Ширали, Аллу. Это была женщина очень привлекательная внешне и необыкновенно интересная в общении, обладавшая живым и смелым умом. Компанию Ширали часто составляли поэты Олег Охапкин, совсем молодой Борис Куприянов и Петр Чейгин. Помню, как крепкий, с красивым мужественным лицом Олег вызвал какого-то здорового мужика, случайно оказавшегося здесь, на поединок «на руках». И, несмотря на грозный вид мужика, легко положил его руку. Расплатой была то ли бутылка вина, то ли порция кофе.

Борис Куприянов — поэт с необыкновенно одухотворенным лицом, впоследствии ставший священником, служит теперь в церкви у станции Александровская. Но за время своей творческой молодости сумел написать достаточно для того, чтобы быть постоянно упоминаемым в книгах о независимой культуре того времени.

Одним из патриархов «Сайгона» был Славко Словенов — тоже поэт и замечательный человек, о котором почему-то почти не упоминают в мемуарной литературе. Между тем едва ли найдется литератор из бывшего «Сайгона», которого Славко не поддержал бы в свое время добрым словом. Человек с характерным орлиным профилем, какие бывают на старинных греческих монетах, всегда готовый говорить о стихах и читать стихи, знавший массу легенд из архива устных преданий уличной культуры и, по-моему, никогда ни в чем себя не уронивший. Его друг Владимир Шалыт — на мой взгляд, великолепный поэт, написавший много настоящих, мощных стихов. Ныне он печатается под фамилией Шали. Еще один поэт того времени, Михаил Зарайский, тоже друг Славко Словенова, поразил меня как-то одной красивейшей строфой:

Прощай, Коринф! Галеры с грузом
Краснофигурных хрупких ваз
На полдороге к Сиракузам
Плывут, качаясь, мимо нас.

Из литераторов в «Сайгоне» бывали поэты Виктор Кривулин, Владимир Нестеровский, Владимир Ханан, Марк Мазья, Михаил Юпп, Олег Григорьев и Геннадий Григорьев, поэт и прозаик Евгений Звягин, поэт и переводчик Сергей Рейман, разыскивавший в ту пору по всему городу рукописи стихов совсем уже забытого поэта Роальда Мандельштама, и многие другие.

Ну и, конечно, особые слова следует сказать в адрес ещё одного поэта — Константина Кузьминского. С мощной шевелюрой, с бородой и усами, он появлялся тогда в «Сайгоне» чаще всего в кожаных джинсах, в рубаше, расстегнутой до пупа, и с большим крестом на груди, и был похож на библейского пророка, шокирующего и пугающего мирных граждан тогдашнего советского города. Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет этот самый «городской ненормальный» вытащит всю эту компанию на «свет Божий», предприняв титанический труд, сопряженный, к тому же, в то время, с немалой опасностью, по сбору и публикации на Западе практически всего, что было тогда ценно в неофициальной культуре. Итогом этой работы стала многотомная антология современной поэзии России (не только

Петербурга) под названием «У Голубой Лагуны», изданная в Америке в начале 1980-х годов. Эта антология, где кроме стихов были многочисленные фотографии поэтов и художников андеграунда, сопровождаемые статьями автора, разошлась тогда по университетам и библиотекам всего мира, утвердив, таким образом, за неофициальной культурой России новый, признанный всеми, статус. Помимо того что антология эта почти для всех её участников была признанием их творчества,



*Эрик Горошевский с женой,
актрисой Аллой Конт*

она ещё являлась для них, как это ни странно, щитом, защищавшим от возможного преследования властей. Ведь, на самом деле, в нашей стране всегда легче всего было расправиться с человеком, который никому не известен. Преследовать человека хоть сколько-нибудь замеченного оказывалось гораздо труднее. Антология «У Голубой Лагуны» — явление совершенно уникальное в истории неподцензурной поэзии и сравнима разве что с таким явлением, как «Газоневщина» в художественном андеграунде.

Кроме поэтов здесь, в «Сайгоне», бывали художники, артисты, музыканты, студенты разных вузов и просто какие-то никому не понятные люди. Захаживал, например, в «Сайгон» в то время такой художник — Игорь Лонский (мы его звали Гариком), человек, окруженный фантастическими легендами. Одной из них была замечательная история о том, как они с друзьями выиграли «Волгу» на лотерейный

билет, который им чуть ли не насильно всучили вместо сдачи. Они всей компанией работали тогда в порту шкиперами на баржах, и такой выигрыш, понятно, явился «взрывом» для всего порта. Самое замечательное заключалось в том, как они его израсходовали. Да! Конечно! Они его пропили. Но как талантливо и красиво. Это надо было слышать!

Не могу удержаться и не процитировать одно из высказываний Гарика, коих было немало, так как в этом была еще одна его неповторимая черта. Он блестяще точно, в двух словах, мог высказаться так, что реплика его запоминалась на годы. Как-то раз я спросил у Гарика, почему у всех моих знакомых девушек в «Сайгоне» трудная судьба. «Это потому, — ответил Гарик, — что все они по своей природе провинциальные барышни и мыслят свою жизнь романами. Нам с тобой это трудно понять, потому что мы мыслим свою жизнь скетчами».

Следует, наверное, особым образом упомянуть театральные студии, тоже как-то независимо ни от кого существовавшие в то время и всем составом посещавшие «Сайгон». Среди тогдашних режиссеров таких студий были Иосиф Райхельгауз, Петр Гулько, Борис Цейтлин, режиссер и поэт Михаил Богин и, конечно, Эрик Горошевский, впоследствии возглавивший «Театр реального искусства», который отделился от «Клуба-81».

Об Эрике нужно сказать особо. Каким-то непонятным образом этот человек создавал вокруг себя атмосферу постоянного праздника. Говорил ли он с вами о театре или об оперном искусстве, в котором был сведущ не меньше, чем в драматическом, или о традиции чайной церемонии в средневековом Китае, речь его всегда была чарующей и изобиловала самыми неожиданными деталями и подробностями. Меня всегда удивляло, откуда он может знать, как накрывали на стол во Флоренции XV века, или какие сосуды были у тибетских монахов и т. д. Общение с ним всегда было праздником — ярким, радостным, веселым. Было в этих праздниках что-то итальянское, резко выделявшее их из окружавших нашу жизнь тогда серых будней. Эрика, конечно, в жизни всегда сопровождали люди. Знаменитые, хорошо оплачиваемые актеры охотно соглашались работать с Эриком бесплатно, лишь бы общаться с ним как с режиссёром и как с человеком. Среди выходцев из его студии был, например, известный музыкант Сергей Курёхин, тоже, кстати сказать, бывавший в «Сайгоне» вместе со своими друзьями из рок-клуба. Впоследствии Эрик возглавил «Театр Реального искусства», просуществовавший около десяти лет.

Может создаться впечатление, что «Сайгон» посещали только мужчины. Нет, конечно! Среди обитателей «Сайгона», в том числе среди художников, поэтов и актёров в большом количестве были, разумеется, и женщины. Например, красавица художница Елена Захарова — участница «Газоневщины». Участие в «Газоневщине» было совсем не безопасным делом в то время и требовало изрядной храбрости, не все мужчины на это решались.



Художница Елена Захарова. Фото Г. Приходько

Или, скажем, поэтесса Тамара Буковская, известная мне тогда под псевдонимом Алла Дин, которая вместе со своим супругом — поэтом и художником Валерием Мишиным — была членом группы поэтов с Малой Садовой и участвовала в легендарном сборнике «Fioretti».

Перечень приведённых выше имен нельзя считать даже «неполным списком». Это вообще не список. Я только слегка прикоснулся к тому миру, который являл собой кафетерий «Сайгон», около двадцати пяти лет просуществовавший в центре Санкт-Петербурга (тогда Ленинграда) в 1960—1970—1980 годы, и попытался воссоздать его атмосферу.

Я не сомневаюсь, что многие еще будут писать об этом кафе, и список этот будет многократно пополнен. Однако главное, из-за чего пишут и будут писать о нём, всегда будет неизменным. Вся эта компания была бы просто обычной богемой, если бы не особая миссия, возложенная судьбой на неё, — миссия культурного противостояния насилию над свободным сознанием человека.

Аркадий Драгомощенко
Николай Беляк

МЫ ГОВОРИМ НЕ О МЕСТЕ, А О СУДЬБЕ ПОКОЛЕНИЯ*

Драгомощенко: Давайте вернемся к тем временам, когда «Сайгон» был той самой первой неформальной организацией, организацией перехода, я бы даже сказал, чистилищем, которое не относилось ни к аду (дну города), ни к его иерархическим структурам (социально-государственной жизни). В чем была его уникальность? Мы все бывали в «Сайгоне», проходили через «Сайгон», встречались в «Сайгоне». Популярен был в ту пору вопрос: с кем ты пьешь кофе. Или: где ты пьешь кофе. Вопрос, кстати, не праздный, ибо ответ на него вызывал определенную реакцию. Если для людей одного круга встретиться в «Сайгоне» и выпить чашку кофе было уже ритуалом, а само слово «Сайгон» стало чем-то вроде пароля, то у других оно вызывало реактивное чувство: само упоминание о «Сайгоне» могло бросить на них тень, помешать их возможному включению в ту систему, которой противостоял «Сайгон». «Сайгон» стал средоточием тех людей, которые (внутренне или по каким-то другим причинам) не могли принять ту шкалу ценностей, те иерархии подчинения, предлагаемые обществом, которые могли бы обеспечить им безбедное и спокойное существование. Более того, сознание общества, о котором идет речь, общества послесталинского периода, пришедшее на смену параноидальному состоянию одержимости манией преследования, оказалось сознанием шизофреническим, расщепленным. То есть мы знали, какова государственная идеология, какова навязываемая нам система ценностей, но сами исповедовали совершенно иную идеологию и систему ценностей. Есть один язык, и есть другой. А говорить на двух языках — это и есть шизофрения. Так вот, мне кажется, что в эту пору «Сайгон» был единственным убежищем людей, которые, пройдя через намеренное унижение их обществом, обретали некую очень узкую свободу. Ну, какого рода была эта свобода, мы сейчас не будем говорить, потому что сейчас она кажется фиктивной, чрезмерно романтической, но, во всяком случае, сообщество людей «Сайгона» пыталось восстановить культурные связи, разрушавшиеся с официального благословения.

Беляк: Отсутствие внутренней цензуры — это тоже очень важно.

Драгомощенко: Ну, отсутствие внутренней цензуры имело определенные пределы... Потому что в обществе насилия невозможно существование общественной единицы, которая не знала бы, где есть предел ее свободы. Этот предел был, и беспокойство, и неврозы всегда возникали, когда человек близко подбирался к этой черте. Я бы даже сказал, что эта странная смесь крайнего радикализма и требовательности и одновременно полного поражения в рамках собственных условий и была тем неврозом, который характерен для «Сайгона».

Беляк: Да, ведь, говоря о «Сайгоне», мы говорим не о месте, а о судьбе поколения.

Драгомощенко: Если называть это поколение, следуя Гертруде Стайн, то я назвал бы его поколением, разбитым вдребезги, ибо оно не создало ничего. Я бы даже объяснил это следующим образом: ему было даровано некое подобие свободы, независимости существования в уплату за низкое положение на иерархической лестнице, и эта независимость, в сущности, и стала для него самоцелью, а весь этот романтический идеализм дал только один результат: неумение работать. Неумение трезво оценивать ситуацию. Неумение понимать себя самого в первую очередь, постоянно находясь в некоей грезе...

Беляк: Инфантилизм?

Драгомощенко: Нет, это не инфантилизм. Это просто-напросто романтическое поведение, доходящее порой до эго-мании, которая была свойством каждого: «Я лучше, я тоньше, я восприимчивей, я впечатлительней»... Фактически под этой гомогенной гладью скрывалось много драм, чьи конфликты все были построены на выявлении этого «я». Естественно: ведь, с одной стороны, социум полностью уничтожил всякое «я», аппарат для этого у него был достаточно изощренный и оснащенный. Следовательно, было совершенно необходимо говорить о своем «я». Это не было исследование, не анализ, а именно попытка найти себя. Но дальше этой первичной попытки дело не пошло, работать никто не стал. И многие вещи, которые были сделаны в ту пору и в той жизни вызвали ответные реакции, теплые чувства, сейчас кажутся наивными и бесполезными. Умонастроения «Сайгона» особо не отличались от умонастроений западных: в Америке, во Франции. Только в итоге в 1968 году во Франции случилась студенческая революция, а здесь ничего не случилось... Независимо от того, какие были устремления у этого поколения, — оно было альтернативным поколением. А альтернативное поколение — это негатив. Это не изменение конфигурации. Это то же самое, только обратного цвета. В эти годы был расцвет популярности мистических традиций, увлечения религией. Само по себе это не плохо, но это были альтернативные ценности. Это были вынужденные выборы. Это были неестественные выборы. Тогда как на Западе была естественная ситуация: человек может взять с полки книжного магазина Маркса, Ленина, Шопенгауэра, Кьеркегора, Христа... Ему не придет в голову искать Кьеркегора только потому, что его нет на полках, где стоит один сплошной Маркс. В этой ситуации у человека не возникнет инфантильно-обратной реакции, как у ребенка, репрессированного родителем, сделать все наоборот... Если можно все, то ты будешь делать именно что свой собственный выбор. А он требует тех качеств, которые мы, к сожалению, не выработали. Способности к анализу, выбору, пониманию...

Беляк: Основной положительный эффект «Сайгона» — «Сайгон» создал поколение людей, вынужденных и научившихся рефлексировать так и по тому поводу, как и по какому поводу нигде больше и никто больше не рефлексировал.

Драгомощенко: Совершенно верно. Я бы даже сказал, что в ту пору «Сайгон» был единственным местом, где мы могли говорить о таких вещах, о которых мы говорим сейчас с вами. В «Сайгоне» можно было встретить то, чего до

сих пор вы не встретите ни в одном творческом союзе (а «Сайгон» вполне можно считать неким мегатворческим союзом): ни в Союзе писателей, ни в Союзе художников, ни в Союзе композиторов, где происходит просто дележ денег. Стало быть, «Сайгон» — это единственное живое место, со своими достоинствами и недостатками, но на общем некрозе существования — единственное живое место, где люди жили, и где болело.

Белая: Где умирая — жили... Я вернусь опять к рефлексии... Это примерно то же самое, что «проклятые поэты» во Франции. Эта рефлексия — не просто некоторая интеллектуальная деятельность, а способ существования человека, тождественный его сознанию, или не тождественный, но при этом связанный непосредственно с этим. И это самое главное.

Драгомощенко: Самая страшная вещь — та ирония, которую выработал «Сайгон». Индивидуум, субъект осознает свою выброшенность из общества, и единственное, что ему остается, — это изживание этой ситуации путем иронии. С иронией относясь к самому себе. Как к случайной, непредвиденной жертве, принесенной обществом, членом которого он является. Так вот, за всеми нашими ностальгическими воспоминаниями всегда будет крыться ирония, с тем, чтобы, как говорят художники, немного сбить тон. Но ведь ирония — это чудовищная вещь, потому что она лишает наше мышление онтологической ясности, а сейчас задача только в онтологической ясности: кто мы, зачем мы, куда идем? Надо принимать реальность со всеми выводами, которые следуют из нее, а не закрывать глаза на одно и мифологизировать другое. В том числе и делать миф из «Сайгона»...

Лев Лурье

«САЙГОН» И ОКРЕСТНОСТИ*

«Сайгон» — это социологическое явление. Как сказал один мой знакомый американский стажёр в то время, «The dirtiest place of the East Europe».

«Сайгон» — это такой длинный коридор, который идет вдоль Владимирского проспекта и делится на равнину и плато, находящееся наверху. На плато — барная стойка, и там торгуют чем-то привлекательным, но недоступным, типа коньяка и бутербродов с икрой, а дальше идут кофейные автоматы, и в конце уже (эта композиция все время менялась) находится прилавок, где продают куриные котлеты и люля-кебабы. Столики с мраморными или «под мрамор» столешницами и знаменитые петухи на кафельной плитке, которой облицованы стены. Курить нельзя, и идёт непрерывная борьба за курение, в которой были свои герои, например Коля Беляк — он всегда пытался курить. Но, в общем, это было трудно, поскольку народу было не меньше, чем в очереди в «ДЛТ». Поэтому все сначала пили кофе в помещении кафе, а потом курили около стеночки, вытянутой вдоль Владимирского (что описано в стихах Евгения Вензеля), и снова заходили.

Но «Сайгон» было совершенно не предназначен для того, чтобы проводить там много времени — это было, собственно говоря, место встречи. Мы туда заходили за тем, чтобы с кем-то встретиться и разбрестись. «Сайгон» был своего рода полуклубной системой, а она заключается в том, что там есть известный процент завсегдатаев при сменяющемся большинстве. Завсегдатай имеет большой шанс встретить

идея какого-то приятеля. Понятно, что сотовых телефонов тогда не было, и поэтому люди, которые проводили день вне дома, не могли созвониться и заранее договориться... Встреча всегда была случайной. Кроме того, молодость всегда (а особенно это характерно для эпохи застоя) построена на ожидании чуда, некоей неожиданности, которая должна с тобой произойти, — встретить прекрасного принца, девушку-красавицу или пророка. В поисках этого счастья в «Сайгон» и приходили.

А был ещё «Большой Сайгон», включавший в себя окрестности. Его география постоянно менялась, но, в общем, он состоял из нескольких мороженниц, расположенных на Владимирском проспекте. Одна из них находилась совсем поблизости, и Виктор Топоров со свойственным ему юмором назвал её «Придатком». В более теплое время в «Большой Сайгон» входили и соседние дворы, где можно было распивать. Потом появился «Ольстер» — кафетерий ресторана «Невский», с довольно криминальной публикой. На другой стороне Невского проспекта был ресторан под названием «Застолье». На Владимирском проспекте — пивной бар «Жигули». Кафе «Эльф» на Стремянной улице. И, как правило, вечер заканчивался там. Это была такая «программа минимум». Но при этом денег у всех было довольно мало, и все ожидали кого-то, кто непонятным образом заработал или украл у мамы три рубля и теперь желает их на приятелей потратить. Помню, мы как-то зимой стоим с кем-то — скажем, с Китом или с моим покойным другом Сереей Чарным — около «Сайгона» и вдруг видим: большое количество явно незнакомых друг другу мужчин бежит на юг по Владимирскому проспекту. Мы спрашиваем: «Куда вы бежите?», а они говорят: «А там в магазине на углу Колокольной берут “херсу”». И мы тоже за ними побежали — и успели, купили, она стоила 1 рубль 37. Но алкогольные вкусы постепенно эволюционировали. Когда я пришел в «Сайгон», было принято пить сухое, и, в общем, я там придерживался этого обычая. Хотя появились люди, которые пили портвейн, что сначала рассматривалось как отступление от норм, а затем к этому привыкли; потом уже водка добавилась.

Позднее появились другие возможности для выпивки, а так как я всю жизнь жил на Петроградской, то ходил выпивать куда-нибудь в «Ландыш»; или в кафе «Орбита», которое мы называли «Голова Кибальчича» — это такое цилиндрическое сооружение напротив тогдашнего кинотеатра «Молния». Я бы не сказал, сравнивая с тогдашние времена с последующими, что мы много пили — скорее, делали вид, что пили, и желания допить до последнего не было. Денег было мало, поэтому выпивали до той поры, пока оставалось пять копеек на метро, — и все, на этом вечер заканчивался.

Лучше всего, конечно, было пойти в гости. Имелись среди сайгонцев местные филантропы типа Леона Карамяна (зять академика М. П. Алексеева), отец которого, академик Армянской АН и член-корреспондент большой Академии, армянскую свою зарплату отдавал Леону. Леон, по-моему, ничего не делал, но был светским человеком. И можно было поехать к нему, на проспект Мужества, где давали виски, да еще и ввозили закуски на століке со стеклянной столешницей, что производило, конечно, сокрушительное впечатление. Там бывали в гостях солистки Мюзик-холла.

Если заводились какие-то денежки, то можно было пойти и в ресторан. Я работал одно время учителем в средней школе на улице Маяковского и все деньги пропивал. Когда я получал зарплату, то сразу шёл в «Сайгон», находил там кого-нибудь, и мы шли в ресторан «Универсаль» тратить деньги на то, чтобы заказать песню «Семь-сорок» — она была запрещена к исполнению, и оттого этот поступок становился особенно лихим.

«Сайгон» был своего рода Ноевым ковчегом — каждой твари по паре. Старожилы взаимно уважали друг друга, и, скажем, если человек из банды «глухонемых» приставал к Коле Голю, то Женя Вензель мог уладить этот вопрос с руководителем

«глухонемых». Были фарцовщики, но немного, потому что у фарцовщиков это место не считалось козырным, они ходили в «Север», «Европейскую» или в «Невский». Приходило большое количество девочек в поисках кумира, и это была, конечно, очень привлекательная целевая группа. Девушки заканчивали работу в своем НИИ или КБ и по пути, скажем, с завода «ЛОМО» домой в Купчино выходили на Невском для того, чтобы себя показать и на других посмотреть. Они знали, что там собирается богема. И таких девушек сразу выискивал в толпе хищными глазами Витя Ширали. Что-то и нам доставалось.



*В. Кривулин и А. Лурье у входа в «Сайгон».
1970-е гг.*

Считалось, что у нас довольно строгий светский код. С Женей Вензелем, Геней Григорьевым мы были на «ты», а, например, с Леоном Карамяном и Колом Черниговским я был на «вы». С девушками, когда знакомились, обязательно были на «вы». Как во всяком хаотическом обществе, всякая семиотика в «Сайгоне» приветствовалась.

Иногда там было бурно. Поэт Петя Брандт нередко предлагал совершить какой-нибудь экзистенциальный выбор, поискать себе на голову приключения. Тогда надо было пойти в бар «Жигули», где ты точно получал по голове кружкой и уже мог на все сто считать, что вечер не просто удался, а случилось чудо...

Были и в «Сайгоне» знаменитые бретёры — например, Гарик Лонский, который считался специалистом по части кулачного

боя. Страшно романтичен был Николай Беляк (хотя для меня Беляк — это все-таки воспоминание скорее школьное). Главный жест Беляка — снять перчатки и ударить ими по щеке подлеца. Он бледнел, очертания его прекрасного черепа еще ярче выступали на фоне сайгонского мутного окна... Коля наносил удар и предлагал сатисфакцию. Беляк был красив как полубог.

Помню знаменитую трехдневную драку Вензеля и Ширали из-за девушки Сони, которая была общезвестной красоткой (она умерла в этом году в Праге). Дрались около телефона-автомата, что неподалеку от магазина «Русские сувениры», рядом с «Сайгоном». При какой-то части драки я присутствовал — скажем, в начале второй серии. В обоих противниках чувствовалась немалая мощь: у Ширали всегда был прибитый вид и глаз горел, а Вензель и вовсе одно время был чемпионом города по метанию диска.

В конце 1970-х появилась идея автономного существования — отдельно от государства. Создавалась среда, в которой была возможность получать деньги не от государства, читать книги, которых нет в магазинах и библиотеках, слушать музыку, которую не продают в «Мелодии», и вообще существовать как бы «подо льдом». Причем этот лед постепенно становился все тоньше и тоньше, как мы теперь понимаем.

Важное явление, возникшее в середине 1970-х, — это иностранные стажеры. Они появлялись в нашей компании разными способами, но в основном передавались от человека к человеку, кого-то я подцеплял в библиотеке или архиве. Иностранцы быстро начинали ходить в «Сайгон», а потом и еще куда-нибудь, затем находили здесь девушку, иногда на ней женились... В общем, они были милые молодые люди, а главное — страшно полезные в смысле возможностей вместе с ними выпить-закусить.

Существовала целая мифология, относящаяся к взаимоотношениям «Сайгона» и правоохранительных органов. Как человеку много в жизни повидавшему, мне сейчас понятно, почему в «Сайгоне» было довольно много ментовских оперативников. Просто потому, что там обреталось немало уголовников: кто со шконки отчалил — туда шел. Что же касается пристального внимания КГБ, то это, по-моему, чистый миф, потому что в «Сайгоне», конечно, никаких диссидентов не было. Иногда случалось, что кто-то там оставлял портфель с нелегальной литературой, но в основном в 1970 годы политикой не интересовались. Считалось, что это пройденный этап, а интересоваться надо дзэн-буддизмом... Хотя я помню, что и о награждении Солженицына Нобелевской премией, и об отъезде Бродского я услышал именно в «Сайгоне». Конечно, эти сюжеты там как-то обсуждались.

Разложение началось с нескольких вещей. Во-первых, «Сайгон» — это все-таки для определенной возрастной категории. Если туда ходил человек старше двадцати пяти лет, то в этом было что-то не очень нормальное. Во-вторых, наступило какое-то новое время, время коچهгарок, кухонь и, я бы сказал, специализации. В-третьих, в «Сайгоне» стали продавать портвейн (это происходило несколько раз, волнами), и туда бросился пролетарий, что, конечно, спутало карты.

* * *

Я начал ходить «Сайгон» в 1967 году, когда поступил в университет, а перестал в 1974-м. В вузовские времена (наверное, со второй сессии первого курса) день у меня делился на «Академичку» утром и «Сайгон» вечером. Какое-то время я там бывал ежедневно. У меня было несколько кругов, хотя они пересекались.

С одной стороны, это приятели, восходящие к клубу «Дерзание», — прежде всего Женя Вензель и Гена Григорьев. Вензель — абсолютно «сайгоновский» человек. Он одевался в какой-то старый (я думаю, папашин) плащ, носил воротничок поднятым и говорил, что он — «поколение поднятых воротничков». У Вензеля была необычайная бонтонность, он выработал в себе морскую походку и специально говорил очень громко. Например, он объявлял: «Лев! Обрати внимание на морских офицеров. Как прекрасна их выправка, как их черные шинели украшают наш город!» Это он серьезно говорил.

С другой стороны, у меня были друзья из университета, как Сережа Чарный — самый близкий друг, с которым мы составляли какого-то кентавра. Это был замечательный, очень красивый, мужественный молодой человек, необычайно воспитанный — в каком-то более широком смысле слова. С хорошим опытом уличных драк, но при этом очень миролюбивый, если его не доводили; милейший, остроумнейший, такой человек-солнце. Пришли мы вместе, а потом, уже в «Сайгоне», разошлись — просто разные интересы появились.

Была ещё большая компания прелестных деградантов с биофака во главе с таким человеком, как Николай Владимирович (Кол) Черниговский. Отец его, Владимир Николаевич, был директором Института физиологии имени Павлова. Кол был складный, невысокого роста брюнет, в те времена вполне румяный. Совершенный герой пьесы Горького «На дне», а именно Барон. И в то же время похожий на князя Мышкина. То есть, Кол был положительно прекрасный человек. Он с детства виртуозно владел английским языком и свободно переводил любой текст, что позволяло ему не умереть с голоду, поскольку он во всех научных журналах писал «Summary». Добрейший, милейший — и абсолютный пропойца. В конце концов от этого он и погиб. Из той же компании, которая восходила ещё к Комарово, были Сережа Грецишкин и Саша Лавров. Они, в свою очередь, учились вместе с Витей Топоровым.

С Витей у меня всегда были сложные отношения, хотя в конце концов они превратились во взаимоотножительные, но времени должно было для этого пройти много. Он был злобный, быстрый на слово, остроумный. Нужно было специально себя приготовить, чтобы ему противостоять, но я не в обиде — это учеба.

Ходили туда и Гарик Левинтон, мой приятель еще по 30-й школе, и Катя Видре, и наш общий приятель Анатолий Ромм (его кличка была Кит, или Китаец) — знаменитый меломан с артистическими качествами и один из разрушителей структуры «Сайгона», потому что у него каким-то образом нарисовалась двухкомнатная отдельная квартира на «Чернышевской», и, естественно, все стали ходить к нему. Появился в «Сайгоне» и юный сладострастный Курёхин с какими-то девицами; там я впервые увидел молодого Гребенщикова, и там уже появились первые рок-музыканты, еще до рок-клуба. Это тоже середина 1970-х.

Я помню чудный момент, характерный для «Сайгона». Мы с Китом спим где-то не у себя дома и встаем непривычно рано. Я работаю экскурсоводом в Петропавловской крепости, у меня работа начинается в 11.00, а Кит и вовсе нигде не работает. «Сайгон» открывается в 10.00, и мы идем пить кофе. Там видим моего приятеля, тоже экскурсовода Петропавловской крепости, Севу Грача, модника, красавца, любителя и любимца женщин. Он стоит с какой-то страннейшего вида девицей, вполне, впрочем, миловидной, выглядит при этом довольно несчастным и одет как-то неуклюже. Мы говорим: «Привет, Севка! В чем дело?» — «Знакомьтесь. Это Лев, это Кит. Это Тоня. Тоня — медсестра из военкомата, пришла доставлять меня в военный госпиталь, так как я кошу армию». Кит говорит: «Ну, надо выпить тогда с девушкой. А что у вас, девушка, в пакете?» А в пакете — личное дело с медицинским диагнозом. Кит был самый из всех ушлый, самый обаятельный, он не растерялся — повел всех в мороженицу, которая еще не была открыта, но там, естественно, работали знакомые официантки. Мы купили шампанского, выпили с девушкой, вскрыли этот конверт на пару, узнали, какой диагноз выносится нашему другу Севе. Потом с девушкой провели целый день. Сева благополучно избежал армии. Правда, ему делали пункцию, что крайне болезненно.

Еще была компания Тани Горичевой и Вити Кривулина. Правда, с Витей в «Сайгоне» мы только мельком виделись, а близко сошлись позже — он старше меня на шесть лет. В том возрасте шесть лет — это большая очень разница. А с Таней познакомились в «Сайгоне». Это была середина 1970-х, я тогда с грехом пополам закончил университет, экономический факультет, и работал в конторе с трудновоспроизводимым названием, назовем ее «Мраморная плитка и мраморная крошка». Там у меня появился приятель Боря Гройс, потом ставший специалистом по софарту. Он был старший инженер, а я просто инженер. Мы писали какие-то алгоритмы по оптимизации загрузки барж с песком, используя самые передовые математические методы. Так вот, мы наловчились ходить в так называемые местные командировки с целью изучения процесса загрузки барж, а на самом деле сразу

заходили в «Асторию», в «Щель», там выпивали, если были деньги, а потом шли в «Сайгон», где Боря встречался с Таней Горичевой, которая была его приятельницей и товарищем по философским семинарам.

Года с 1974—1975 я начал заниматься историей, поэтому больше стал ходить в архив, в библиотеку, и там познакомился уже с историко-диссидентской компанией — с Сеней Рогинским, с теми, кто выпускал потом сборник «Память», превратившийся затем в сборник «Минувшее», что и закончилось арестом Рогинского и изгнанием его папы из Пушкинского дома. В этой компании было не очень принято ходить в «Сайгон» — такое времяпрепровождение считалось не то чтобы предосудительным, но довольно бессмысленным.

Очень важно было в «Сайгоне» не застрять, вовремя оттуда вылезти, потому что это, конечно, было абсолютно развращающее существование. Вот в Москве не было своего «Сайгона» — не потому, что Ленинград лучше, чем Москва... В Харькове, например, «Сайгон» был — он назывался «Молоток» и находился на Сумской улице, его подробно описывает в своих произведениях Лимонов, и в Одессе были свои «Сайгоны». А в Москве ничего этого не было, там молодые люди моего возраста уже жили отдельно, у них не возникало необходимости искать какого-то укрытия от родителей, свободной площадки. Ленинград был беднее, и у нас все превращалось в какой-то субарктический карнавал, будто мы в Венеции живем.

Для заключения могу рассказать такую вещь. Помню, в 1988 году мне предложили что-то написать для только что созданного журнала «Искусство Петербурга». Я встречаюсь на пороге издательства с Витей Топоровым и говорю ему: «Вот, Витя, пришли новые времена, теперь ты не будешь переводить поэтов ГДР, а я не буду писать диссертации для девочек из Москвы — мы будем с тобой печататься в издании “Искусство Петербурга”». А Топоров мне отвечает: «Только мы с тобой, может быть, и будем печататься в этом журнале. Может быть, ещё Витя Кривулин — и всё. Потому что все разучились работать, даже желание что-либо делать атрофировалось». И это совершеннейшая правда. Чудом Женя Вензель, прежде чем уйти в сумрак, написал какое-то количество стихов и, что еще более удивительно, их сохранил; чудом Витя Топоров собрал тексты некоторых поэтов этого круга в сборнике «Поздние петербуржцы» — но, в общем, это погибшее поколение. Не погиб В. В. Путин, 1952-го года рождения, не ходивший в «Сайгон».

Петр Чейгин

КТО ПРИВЁЛ МЕНЯ В «САЙГОН»?

Кто привёл меня в «Сайгон»? Спросим у памяти. И память ответит. Заговорит, как у Набокова.

Так вот. Школу среднюю я закончил в 1966 году. И к этому времени был достаточно осведомлённым человеком. То есть читал «Доктора Живаго» на фотобумаге и машинописных Стругацких. «Улитку на клоне» и «Гадких лебедей». Как братья напишут, так мой знакомый, получив оригинал у одного из братьев, закажет машинистке несколько копий, переплетёт для пушей сохранности и запустит по знакомым. А те — по своим знакомым. Так получается круговое чтение. Одна часть переплетённая — «Кандид», кажется — затерялась у меня и превратилась затем в один из памятников самиздата. Так что не Солженицыным единым да Бродским жила пресловутая прослойка в середине моих 1960-х. Но и без них не обходилась.

Так вот. А в «Сайгон» меня привела то ли школьная подруга, приткая та-кая реактивная неврастеничка, до многих юношеских слёз меня доводившая, то ли Марик Мазья прямо из «Дерзания», куда меня затолкнула та же подруга при участии Лены Игнатовой, которая оказалась моей соседкой и соседкой подруги моей подруги. Вот так я вам всё и объяснил.

А «Сайгон» тогда, в 1964–1965 годы, назывался «Подмосковьем», так как кафетерий входил в ресторанный комплекс «Москва». Ещё там был замечательный коктейль-холл, куда мы тоже хаживали, когда деньги появлялись. И с Глебом Маркеловым, после занятий в «Дерзании» у И. А. Маляровой. И с той же школьной подругой. И с её подружками. Но тогда мы только начинали знакомиться со спиртным, и всё было замечательно, даже если перебирали. Коктейли, правда, были дороговаты и быстро надоели. Бутылочка на укомной скамеечке была куда милее.

Так вот. Кафетерий называли «Подмосковьем», и столики с креслами были, и петухи на стенах, а вот кто варил кофе тогда — не помню. Позже — помню, и лица помню, особенно — Стеллу, яркую женщину, варившую нам в долг, понимавшую — мы здесь надолго.

Мой «Сайгон» — это три-четыре временные доли.

Школа — «Дерзание» — время перед армией.

После армии — магазин «Букнист» и лито Глеба Семёнова в СП. Затем период до «Клуба-81». Работа в музее Достоевского и несколько лет в гостях на Б. Московской. Всё это, сами понимаете, находилось не так далеко от «Сайгона» и трудно было найти место лучше для встреч и бесед. Мама Кости Кузьминского так и называла «Сайгон» — «трёпсалон». Пишется вместе. Да, место встреч и бесед различных людей, с разными интересами. Конечно, им было тесно в «Сайгоне», и когда он закрылся (даты не помню), то разлетелся по городу в виде разных там «Бореев», «Платформ», «Стирок» и проч.

Но свою роль он сыграл с блеском. Это была плавильня и трамплин, время там ускорялось. Саксофонист стоял рядом с художником, тут же пил свой «двойной» сотрудник Публички. А в большие окна глядели на это «безобразие» будущий шоумен Лёва Лурье и некая выпускница ветеринарного техникума, опубликовавшая потом свои впечатления в «Часе пик» — ох, не помню в каком номере. Да и популярная Тамара Буковская — Мишина — Козлова, (она же — Алла Дин по молодости) начальственная дама, проходя мимо, обдумывала свои мемуары о «Сайгоне», в котором и не бывала, но надо же отрабатывать роль историка самиздата, хотя и даётся это даме уже с трудом, да и времена меняются...

Ах, нежные девушки, чья любовь грела нас в ужасные зимы и капризные ноябри! И вы заходили в «Сайгон», не важничали, не чурались поэтов. Нас любили, и гордились знакомством, и наливали, и подливали, так как это положено. Если ты — поэт, ты должен быть навеселе, таково было мнение народа, который нас в большинстве не понимал. Да и как может понять поэта человек, у которого есть начальник. Вот смотрите. Идут по улицам города люди. И у каждого свой начальник. Или он сам уже начальник. Но ещё пеший.

А у поэта может быть начальник? Кто ответит правильно — тот был завсегдаем «Сайгона» в те года. Но эти самые года шли. И мои товарищи покидали «место». Семья и старания по её выживанию, болезни и отъезд «за бугор» или в другие города меняли их маршруты, и только Стелла спрашивала иногда о них, весёлых и стремительных, добрых и заботливых.

А потом и сама Стелла отбыла куда-то в Скандинавию, а в «тамбуре» сидел спивающийся Леон Карамян, и меня просили опохмелить его, и я делал это по «сайгонской солидарности» где-то во дворике на Невском грубым черным портвейном. Пустел, ветшал «Сайгон», залетал сюда иногда «свой», оглядывал с площадки

перед баром «заведение» — и скрывался в серебряной паутине города. Он уже превращался в «человеко-текст» с «ящери-речью», но блеск «сайгонского ветра» ещё был в его глазах.

Вращение «Сайгона» вокруг оси «Медного всадника» (позволю себе такие словеса), температура его проектов и споров, предположений и осмыслений напоминает процесс строительства Вавилонской башни (если кто помнит, конечно). «Сайгон» исчез, как и башня, но населил город выводком клубов, постояльцы и гости которых несли в себе частицу «Сайгона», память о нём (см. выше).

Константин К. Кузьминский, автор поэмы «Вавилонская башня», которая просится в руки читателя, как и всё творчество легендарного «Коки», совершившего подвиг по созданию совместно с Г. Ковалёвым антологии «У Голубой Лагуна», не обошёл в своих трудах вниманием и «Сайгон». Вот что он написал автору этих строк совсем недавно:

«2 самиздатских машинописных тома безродного «поэты сайгона» у меня лежат мёртвым грузом годы уже

фотографа сайгонии и малой садовой владимира пешкова печатали токо в «на дне» с рассказами...

а будет ВСЁ — типа САВИЦКОГО

типовое...

сделал антологию и — ладно

где и про сайгон

здесь пытался впустую работать с м.петренко

с его самиздатским журнальчиком «сайгонская культура»

закис и заглож днепропетровец давненько

а было там немного кое-что...»

И ещё:

«я-то вырос на АВАНГАРДЕ

а вы все — на ахматовском АРЬЕРГАРДЕ

чтоб стихи с пердисловием кого аккуратненькой книжечкой

«в обойму»

чтоб прилично

чтоб привычно...

не с кем мне там Петя...

остальные лишь в памяти...

но любить вас всех не перестаю

почитай «Фрадиса»

КЫ.»

Пока о Коке всё, так как лежат, знаю где, страниц восемьдесят о нём, да и вообще о нас, кто был впереди...

Далее я выкладываю собираюсь частями дни и часы нашей жизни, требующей присмотра архивной девушки, поклонницы, обязательно это, — поклонницы Сергея Георгиевича...

Что же ты лежишь, брат?

Что же ты лежишь, брат, на этом асфальте?

Что же ты лежишь, брат, на этом асфальте, а не на той лужайке?

На той лужайке, где все равны: единороги и жаворонки, секвойя и папоротник, ты и я.

Осторожен — вдох и неосторожен — выдох.

Ибо — напрасен.

С выдохом вышла пища, сработанная тоненьким армянином и выставленная на стол тебе.

Ты не ответишь, соколик.

Ты не отвертишься.

Сколько их, лежащих на тротуарах моего блаженного города в этот блаженный июль?

Нет им числа.

Даже если ты не лежишь — ты хотел бы лежать.

Нет, они не плюнут на твой пиджак. Их не так воспитали. Они пройдут мимо, они не видят тебя, соколик. Поэтому, чуток попозже встань, расправь крылышки и улетай,

вростроносый наш.

На зелёный прудик, жестокую осоку. И страшен будет твой сон на траве зелёной.

На козе, с чёрной книгой в руке въедешь ты в «Сайгон».

В ранний «Сайгон» конца 1960-х.

И не поднесёт тебе Витя выдержанную семьёй, девушку-моль.

И не угостит кофеём Марик.

Но блеснёт хищным оком с угла некто, и перо из кармашика вырвет, и зачиркает на чём-то, не в силах сдержаться.

А о чём зачиркает? А кто его знает.

Вот об этом хотя бы, сидящем на наружном «лобном подоконнике» в скукоженных сандалиях на босу ногу, в чёрных кудрях и при яростном взгляде. Ты предвидишь в нём одного из столпов питерского самиздата и заботливого отца весёлых семейств?

Не предвидишь. И я не предвижу. Поэтому отвернёмся от ушкуйника и пойдём пить пиво в начало Стремянной. Пойдём. А через годы возьмём «сабониса» (водка в зелёной отделке на 0,75 л.) и в любой садик — парадняк.

Беседовать с Колом Черниговским уж и не вспомнишь о чём, но помнишь — «за что». И раскланяться с Серёжей Чарным...

И немного отвлечённо...

Ну, не стояла по молодости в «Сайгоне» бабушка-академик, дама наша начальственная. Не было её там. Хотя и строчит сейчас в свою охотку мемуарии о своём нешуточном вкладе в подпольную культуру и самиздат. О своей блистательной карьере.

И о пополнении своего архива позаботилась, не вернув владельцам их материалы, любезно предоставленные для выставок. Впрочем, простим ретивую старушку...

И Володя Эрль, редкостный наш академик, не ходил, не стоял в «Сайгоне».

А стоял Эрль на Малой Садовой, за что мы его и любим. А в «Сайгон» ходил, когда Малая Садовая с её волованами надоедала молодому человеку.

А теперь товарищи дают понять, что несли свой поэтический огонь через жизнь бережно и начальственно и не расплескали. Понимать надо...

Кто не заглядывал в «Сайгон»? А кто оставался? Попытать себя о себе...

(На Женьку Кушнера возлагали большие надежды заиндевелые прозаики, но, когда Женька заявил, что папа Саша помогать прозаикам не будет, бодрые перья приуныли, осерчали, пустились в непредсказуемое. И бросался активный Вова Алексеев на братьев Звягинных из подворотни Невского, добывая уважение у Кривулина и покой внутри тела...)

Серёжа Коровин, будучи штатным телохранителем Аркадия Трофимовича*, и за порядком в «Клубе-81» следить успевал. В основном доставалось легенде «Сайгона» Шир-али, который систематически нарушал покой литдам, мирных лев, усердно вяжущих нечто тёплое в средних рядах залы музея Достоевского, где порой проходили клубные сборища, И визжал легенда «Сайгона» Шир-али в стальном захвате сержанта Серёжи. И трепетали девы. И воинственный докладчик продолжал долбить с трибуны о вкладе Б. И. Иванова в современную культуру и полную победу постмодернизма во Фрунзенском районе.

По сию пору не растерял армейской сноровки прапорщик Сергей, еще публикуясь в «Сельской молодёжи» подумывавший о стуле редактора. И таки сел на стул. Но и встал.

А недавно «достал» меня выражением необщим. «Лобный подоконник» («Сайгона»).

На котором «входил в себя» Серёжа Хренов. Царство ему небесное.

Выражение сильное, уровня «прокуренной пятки» корифея лито Бакинского, на занятие которого меня пригласил когда-то Фёдор Чирсков, Царствие ему небесное, соратник по музею Достоевского. И Серёжа Довлатов, староста логова прозаиков, представил меня, как «осколок лито Семёнова». Царствие им небесное...

Серёжа Довлатов, кстати, в «Сайгон» не ходил. Был слишком большим для него. Серёжа Довлатов сам был «Сайгоном» со всеми его вывертами, которые жаждали вырваться на волю. Серёжа Довлатов ходил в магазин «Букинист» заимствовать книги. Его таким и вспоминали продавцы. Не большим писателем, а «заимствованием». Да мало ли кто у кого что заимствовал. Заимствовать могли девушку, имя, телефонный разговор со Свердловском на непростительно крупную сумму. И цели у всех были благородные. Как видится и водится. Теперь заимствуют литпремии. И в трудную минуту писателю могут дать премию на ремонт квартиры или мозгов. А вот за что и на что дали премию имени Бунина комсомольскому поэту Дементьеву — это вопрос к ревтрибуналу гражданина Лимонова.

Самой большой премией для сочинителя скоро явится отказ от неё. Даже от «нобеля-шнобеля», что для русскоязычного писателя явилось бы актом публичного расстрела перед лицом человечества. Да? (А что если на каждое — Да? говорить — Нет. Кто за? И наш «нобелиус» сильно грешил этим «Да?» Нет?)

Не говоря о премии имени Ахматовой или Суркова. На худой конец — Веры Инбер...

К концу 1970-х наше время в «Сайгоне» кончилось. Он продолжал успешно настаивать на своих особенностях. Он встречал, разводил, дарил и ухаживал. Он по-прежнему был одним из самых удобных мест для коротких встреч в городе. В нём варили изумительный кофе. Но он не грел. Молодость покаялась и спустилась по пожарной лестнице на опушку.

Впереди были чудеса жизни, и флаги твоих цветов запахивались в ветер продолжения...

К концу 1970-х я составил список из семидесяти пяти отъехавших хороших знакомых и сапожным гвоздиком соединил лист со стеной справа от окна. Дворовый ветерок иногда задевал его и трепыханье пойманных в сети наших лет творило холодок в груди, как мысли о предполагаемой смерти мамы...

Кто-то напишет так. В разное время в «Сайгоне» сходились за стойками самые разные люди из разных слоёв населения. Холодный книжник мирно попивал кофеёк с художником, а фарцовщик — с сотрудником музея Достоевского. За ними при-

* Драгомощенко

смаatrивала местная б... и балетмейстер средних лет. Алкаши, хлебнувшие зоны, табунились в самом углу, куда бабули уносили чашки на мойку и выдавали стаканы или те же ополоснутые чашки для страждущих. Во всём был порядок, и это было хорошо...

У входа-выхода на «чистом» пятакче и кофий варили и коньячок наливали. А в летнее время и «сухарь» водился. На эту территорию принёс я как-то из магазина напротив вино «Южное», и выпили мы с Хильдой и Витей за их духовный брак, как сам Витя выразился, эту очевидную гадость, но другого вина тогда не водилось — и правильно делалось. Попили себе на радость в конце 1960-х — и хватит... Брак с Таней Горичевой благотворно влиял на Витю, но склонность к авантюрам взяла своё, а зачистка места вокруг для создания образа «номера один» требовала времени и жертв. Думаю, он сам себе судья...

И ещё. Как-то в 2006 году завернул я по делу в «Лимбус». И, беседуя у входа с курящим Топоровым, получил по поводу какой-то своей реплики: «Ты мне эти сайгонские шуточки брось!» (Грозен редактор, но справедлив. Нам на радость. Злодеям на горе.)

Пришлось мне эти сайгонские шуточки бросить. Так поднимут же!

А кто поднимет? Кока вот не поднимет. Поскольку редко бывал в «Сайгоне».

С дивана руководил «процессом». Одно время над его изголовьем, к шкапу-ширме прищипандоренный, сиял член, из части узловатого дерева приготовленный умельцем и Коке вручённый, как скипетр, что ли. По улицам он ходил с палицей такой же узловатости, её и в заграницу, кажется, вывез. Или нет? Чи — та, чи — нет.

В «Сайгоне», конечно, Коку всегда знали и почитали. Местные дарования снабжали его своими «нетленками» в виде поэзии, прозы и сработанных из подручных средств материалов.

Кока всё брал сначала, как самиздат. Позже стал важничать, браковать, палкой стучал, от портвешка отказывался. Но народ сайгонский Коку всё равно крепко уважал, ценил за начитанность и знание целой кучи языков. Народ сайгонский знал, что Кока о них всегда думает, даже когда на диване лежит в стельку, в дугу, в дупельину или совсем трезвым — не суть. Но — думает. Подумал-подумал Кока в Питере, да и свалил за бугор думать. Не нашлось ему применения на поребрике нашего города. Да и энергию его нешуточную употребить было не к месту. Ох, как не к месту. А за бугром, однако, свободы на просторе было чуток поболее, хотя каралась свобода даже стороже, чем в Отечестве. Но, однако, 13 февраля года 2007 стукнул тридцать один годик, как Кока в США проживает. А потому посмотрим на фотографию Кокину прошальную в аэропорту, где провожают его те, кто был удостоен. От Юлии, уже предвкусившей занятия трона Коки, самой безбашенной феминистки города (ныне ретивой прозанин с православным уклоном) до неопознанной фитюльки, как-то входившей в действо. Посмотрим на фото и подумаем о роли Коки, о его талантах, тормозивших и побуждавших нас. В «Лагуну» он успел сгрести жар хроник тех лет, дать характеристики героям и ещё раз определить искусство как способ жить. Он много успел и был свиреп в работе.

Он, видевший и понимавший больше других, ненавидит фальсификаторов самиздата.

Всех этих эксов, лицемеров, постсовков, шагнувших за совками след в след, так как другого пути они не знают. И ты просишь не писать о тебе ничего, кроме — «знал, помню, люблю».

Это же просил сказать от твоего имени на могиле Татьяны Григорьевны Гнедич...

Конечно же, ты не вернёшься. В американском селении, в постройке, которую рвала стихия и гладили гости, упёршись в «инет», собирая морщины и страдая

похмельем, ты соберёшь как-нибудь лоции своей жизни, увяжешь и отправишь к нам на болото. В русский Вавилон, где следы твоей дщери на набережной приводят на салют в день снятия блокады...

И последнее твоё письмо мне, объясняющее...

«да НИЧЕГО уже не хочется петюня
паче имея ТОЛЬКО негативный (и многократный) опыт печатания «там»
или пиздоболство донского или самодеятельность аси...
и это в ЛУЧШЕМ случае

проконтролировать там ничего НЕ можно
а так — пускать по ветру...
зачем?

всё почти что я могу (хочу) сказать — лежит у лёши на сайте
и доступно КАЖДОМУ

а серьезные книги — доверить мне там категорически НЕКОМУ

сволочь е.степанов имея просроченную доверенность от ... 1992 году —
напечатал окошеренные выдирки из «поэмы Ада» в «детях Ра» пару лет тому
и нахамил вдобавок

с ним в упряжке работают мишины-буковские, слава лён и тутошний лёха даен
не взирая

изрядная пачка до-компьютерных лит.статей пропала с концами в
«лен.литераторе» у балуева/прохватилова
оригиналы утопи

просто «отметиться» — я не собачка (вот мол я...)

ни к чему это петя
СЕЙЧАС

не ругаюсь а ОБЪЯСНЯЮ

работать мне там НЕ С КЕМ
кроме кутюева

с орловым/ахметьевым тож завязал
тиснули чудакова и ковенацкого — без моих материалов/советов
оне сами с усами

бессмысленно

ПОНЯЛ?

обнимаю

кы».

И ещё одно послание:

«петь
цытировать меня можно как хошь
скобкина чем и занималась
уж как ни тщиалась а когти лезут

о сайгоне бери куски цытатами ж если хошь из антологии 4А
да и в 1-м есть
типа «разговор с мною»
пжалста

премии меня не колышут
покойная юка была на моей премии и ушла
отписав весьма трезво весь маразм
всего-то от неё пара-тройка писем была
утопли...

и вообще меня волнует токо САРДИНСКОЕ КРЕМНЁВОЕ РУЖЬИШКО
которое боюсь не
отколется
мово оружейника Арци черти понесли за кордон а партнёр его увёз чудо в
тель-авивскую лавку клиенту...

отчего грущу

а писания...
на кому они?

абнимаю».

Вот пока и всё о «Сайгоне», Коке и прочем, что было свойственно тому времени.

И если некто в сером возопит: «Был ли Сайгон?» — ему ответят: «Был». Как была наша молодость, наше единство. И имена, не занесённые на этот лист, обнуржуются на других и вместе лягут на стол книгой.

Евгений Вензель

ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА*

В самом конце 1968 года я вернулся из армии. Малая Садовая тогда уже сдавала свои позиции. Я услышал от Виктора Топорова, что есть на углу Невского и Владимирского какое-то кафе, вроде бы представляющее интерес. Замечу, что расстояние от Малой Садовой до «Сайгона» — двести метров, но такова уж инерция сознания, а потому и поведения человеческого, что всё новое кажется находящимся где-то за

* Беседовала Юлия Валиева.

горизонтом, и у меня было представление, что «Сайгон» — это где-то очень далеко. Да и вообще какой в нем прок? Как-то туда я всё же забрел. Была первая половина дня. Я увидел длинное кафе, примитивные столики со стульями. Не заметил ни одного знакомого лица, развернулся и ушел. Но поскольку Виктор Топоров жил на улице Достоевского, то время от времени мы стали встречаться с ним в «Сайгоне».

Образовались первые знакомые — там можно было встретить Леву Лурье, Сережу Чарного, Натана Федоровского... Виктор Ширали туда заходил, биологи Кол Черниговский, Леон Карамян, Коля Яшугин. Ну и, наконец, Анатолий Ромм, то есть Кит.

Сережа Чарный обладал настоящим обаянием, очень опасным для женщин. Он был интеллигент, но мог и подраться, был отчасти и «бывший футболист», и отчасти «бросивший университет» человек. При этом весьма привлекательный внешне — коренастый паренек, шатен. Натан Федоровский — огненно-рыжий еврей с кривым носом, человек ускользающий, но по-своему симпатичный...

Запомнилось, как мы с Львом Лурье и Сережей Чарным отправились утром в «Сайгон» пить кофе после ночи театрального аврала. Николай Беляк ставил тогда чеховскую «Свадьбу». Я предложил нарисовать на заднике тарелки, и всю ночь перед премьерой их рисовал — была страшная гонка. И вот утром мы пошли в «Сайгон»...

Всё время препровождение в «Сайгоне» крутилось вокруг алкоголя. Это был необходимый фон. Не содержательный, а как в театре — главная декорация, на фоне которой можно провести длинейший вечер. Хорошо было тем, кто обладал своей комнатой. А я был одним из многих-многих, у кого ее не было. Спокойно посидеть дома можно было только тогда, когда отсутствовали родители. А отсутствовали они, как всякие работающие люди, в лучшем случае до шести. Важно было прийти домой, когда домашние уже спят. На самом деле, я благодарен «Сайгону» хотя бы за то, что он был спасением от острого состояния бездомья. Ты знал, что можешь зайти туда, выпить чашку кофе, постоять и так затянуть время до девяти вечера, из «Сайгона» пойти домой пешком — и этим ещё затянуть время, лишь бы вернуться как можно позже. Я помню, как сочинял некоторые стихи в 1970 годы: садился в метро и куда-то уезжал, лишь примерно понимая, где я. Потом шел пешком в сторону центра и, соответственно, «Сайгона» — час, два, три — всё крутя в голове какую-то строфу. Для сознания, хоть сколько-нибудь функционирующего, невозможна полная неподвижность, бездеятельность. Алкоголь же изменяет сознание. Эта тема не обсуждалась, но пьянство совершенно четко было способом самосохранения.

Приходил я в «Сайгон» в разное время дня. Я просыпался с похмелья в пять — шесть утра, а «Сайгон» открывался в девять, поэтому приходилось ехать сначала в гостиницу «Европейская», где кафетерий открывался в семь. Если ты побрит, помыт и не шатаешься из стороны в сторону, можно сказать швейцару: «Я в кафе» — и тебя пропускали.

Если у многих тяга к «Сайгону» определялась этой смесью бездомства и потребности в алкоголе как фоне, то были и такие люди, которым просто нравилось туда ходить, нравилось пить этот кофе, нравился сам процесс. Такие долго стояли с одной чашкой кофе, сидели на подоконниках. Для них «Сайгон» был чуть ли не местом, где раздают Грааль. Из-за обилия посетителей там стояли огромные очереди, особенно утром и вечером. Очереди были как физическое тело, которое занимает большую часть пространства...

В «Сайгоне», по сути, не было ничего, кроме людей, которые там стояли. Существовали отдельные компании, но никаких контактов между компаниями не было. Не было людей, которые «прошивали» весь «Сайгон». Колесников пытался, но что он мог сшить? Его лишь терпели за неиссякаемое добродушие...

Я лучше про бандитов из «Сайгона» расскажу... Помню одного, он был ростом примерно метр тридцать пять, пиджак же носил пятидесятого — пятьдесят второго размера, то есть этот человек фактически представлял собой вытянутый квадрат. Он был похож на идолище из какого-то советского фильма, — огромная круглая голова, почти без шеи. Уголовник, видимо, настоящего пошива. Не помню его клички. Кто-то, зная мой злоречивый язык и боясь, что я отпущу какую-то реплику в адрес этого человека, предупредил меня: «Ты с ним лучше не шути».

Другого звали Боря Шкаф. Это был крупного телосложения молодец, который носил короткую стрижку и презирал всех окружающих. Также довольно грозная фигура, но не чета Идолищу... Однажды он требовал у Коли Голя рубль, а я подошел и сказал: «Боря, прекрати, это мой друг». Боря Шкаф мог меня уложить одним ударом кулака. Не знаю почему, но он тогда отошёл. Была, однако, история, которая чуть не закончилась для меня трагически. Поскольку я имел обыкновение напиваться до потери памяти, все подробности случившегося я узнал из рассказов только на следующий день. Сидим мы — Ваня Чежин, Кол Черниговский и я — в мороженице около «Сайгона», пьем, как всегда, какое-то вино, и входит Боря Шкаф. Он молча подходит к нашему столу, берёт чей-то стакан, выпивает и аккуратно ставит его на место. По рассказам, я встал и плюнул ему в рожу. В ответ посыпались страшные угрозы. Меня решили быстро посадить на тридцать четвертый трамвай, который прямо от мороженицы шёл с Литейного на Петроградскую, но он успел-таки меня ударить и рассёк мне подбородок... (По словам Вани Чежина, когда меня посадили на трамвай, я обливался кровью. Но ничего этого я не помнил — я приехал домой, и, как всегда, лег спать.) Чежин подумал, что на этом инцидент не закончится, что для сохранения своего авторитета Шкаф попытается меня убить, и вступил с ним в переговоры, предложив поединок — кулачный бой: если Ваня выдержит его удар, то Шкаф меня не убьёт. А если Шкаф выдержит — то мы от него отстанем.

Когда мне это рассказывали, я весь позеленел от страха. Зашли они во двор, Ваня говорит: «Без ножей?» Шкаф отвечает: «Без ножей». Чежин хулиганом не был, он примыкал к компании биологов, но был крепкий парень, ростом выше среднего — такой добрый молодец.

Поединок состоялся. Ваня так ему треснул, что Шкаф признал свое моральное поражение, но я тем не менее потом целый месяц обходил «Сайгон» стороной. Ведь не шутка, когда тебе всерьёз грозят пистолетом или ножом: «Мы тебя то-сё...»

Но день шел за днём, и вот как-то вышел я из дома, бреду по одной из параллельных Литейному улиц, отдаленный, отрешенный от «Сайгона». Вдруг вижу: мне навстречу идёт Боря Шкаф, вид у него грустный (ходили слухи, что его вот-вот должны посадить). И тут я решил, что, раз уж мы встретились, надо что-то сказать. Набрался храбрости и говорю: «Боря, между нами что-то было?» Он так на меня посмотрел, уж не знаю, что подумал, и произнес: «Брось, старик...» — и пошел себе грустно дальше. Словом, как-то все само собой образовалось. Я на всякий случай подождал неделю и отправился в «Сайгон». А запомнил эту историю потому, что впервые тогда струхнул не на шутку. Когда не можешь себя защитить — это очень непростая вещь.

Был еще один человек, по кличке Полковник. Большого роста, на голову выше Бори Шкафа, блондин, он был не то чтобы добрее или умнее Шкафа, но спокойнее. Как-то сидели мы в той же самой мороженице, которая, кстати, была своеобразным приложением к «Сайгону». Полковник что-то пил, я что-то пил, встали, и он мне говорит: «Что, старик, тяжело?» — «Да ничего». — «А мне тяжело».

...Катя Видре рассказала мне, что несколько лет назад она видела Полковника и Шкафа около бани на углу Марата и Стремянного переуллка, где они сидели и торговали вениками...

Помню, как однажды я пришёл в «Сайгон» и вдруг ощутил в воздухе страшную тревогу. Я бегал, говорил: «Что-то случилось...» А это, как оказалось, был день смерти Брежнева. Один профессор тогда сказал: «Ну, будет другой...» Но я почувствовал, что со смертью Брежнева что-то сильно изменилось. Когда сместили Хрущева — мне было семнадцать лет — такого не было: ну, сместили так сместили. А вот в 1982 году — мне было уже тридцать пять — была эта тревога.

Говорили, что брежневская эпоха закончилась и наступила долгожданная свобода. Но в чём заключалась эта пресловутая свобода? Если речь о свободе поведения, то в этом помехи и раньше не было. Я, например, одевался очень небрежно и расхаживал по Невскому... В общем-то, можно было делать всё что угодно, без уголовщины только. Да, пьяных, вроде меня, хватали и везли в вытрезвители, хотя могли и отпустить... Когда я слышу: «Я и КГБ», «КГБ и я» — звучит как описание схватки на ринге. Могло ли подобное происходить? Так ли это было?

...Все-таки поэт — существо чувствительное. Мне вспоминается Бродского восьмистишие гениальное, с рифмой «мужа» — «лужа», — про то, что кто-то не за того вышел замуж. И то, как идя я с Соней Казаковой, а она меня спрашивает: «А ты бы так мог написать?» — и я ответил: «Нет». Или она сказала: «А ты так не можешь», — и я ответил: «Да»?

Евгений Пазухин

АНТИСОЦИУМ

Из какой почвы произросла плодоносная лоза ленинградского культурного неофициоза? Если говорить о социальном аспекте, то она коренилась где-то на границе люмпенства и разночинства. В нашей среде почти не было представителей элитарных слоев. В какой-то степени исключением была Елена Шварц, мать которой занимала престижный пост завлита театра им. Горького. Правда, в общении и в быту это была всё та же божемная «бесшабашка».

Стихийный отбор в неконформистскую среду происходил по принципу вытеснения из плотного слоя официозности и житейской устойчивости всей этой бестолково мельтешащей взвеси «самозванных» литераторов, художников, музыкантов. Вспоминается, к примеру, Гребенщиков, проводивший «по рублю с носа» концерты на квартирах. Ныне он, так же как и некоторые другие выходцы из культурного подполья, осыпан почестями и наградами. Но, по большей части, они остаются все теми же «неформалами», по-прежнему сидящими по сторожкам и котельным, а нередко и по психушкам. Иных уж нет...

Хроническая «социально-экономическая не востребованность» — одна из главных черт нашего литературного андеграунда. Ярчайшим примером может служить судьба живущего ныне в Америке поэта, собирателя и издателя ленинградской неофициальной поэзии Константина Кузьминского. Ни проделанный им титанический труд (антология «У Голубой Лагуны»), ни широкая известность в кругах литературных профессионалов и любителей не дали ему ни устойчивого социального положения, ни материальной обеспеченности. Одержимые одинокими, полунищие, люмпены — таков стартовый уровень почти всех сотворцов так называемой «второй культуры». Таким же нередко оказывается и уровень финишный.

Одной из отличительных черт представителей этой среды являлась поразительная взаимоопознаваемость. Мы мгновенно выделяли друг друга из любой толпы. К примеру, случайно разговорившись в шумном школьном коридоре с Виктором Кривулиным, я с этого момента подружился с ним сорок лет вплоть до Витиной смерти в 2001 году. Действительно, на нас было какое-то тавро, предопределявшее безошибочность опознавания. Я могу дать этому лишь отрицательное определение: «органическая нестыкуемость» с советским социумом.

Именно из этой предпосылки образовывался некий «антисоциум», в который мы в конце-концов и переселились. Этот параллельный, несуществующий или «как бы существующий» мир вполне может быть обозначен псевдотопонимом «Сайгон», в качестве символа нашего инобытия в границах тоталитарного пространства. Принадлежность к этому «сайгону» (для различения с абсурдистским наименованием несуществующего ныне кафе я впредь буду писать его с маленькой буквы) характеризовала слой («плесени», «трутней» — согласно тогдашней официальной терминологии), образованный нами на тщательно отполированной, идеологически чистой поверхности советского общества.

Важно отметить, что в нашей среде (по крайней мере, в 1960 годы) практически не существовало политической оппозиции. Мы пребывали в некоей капсульной замкнутости, изъятости из окружающей нас советской реальности, исключаяющей какое либо взаимодействие с властью. Мы могли оказаться объектом преследования со стороны государства (например, Бродский), но сами были к нему абсолютно индифферентны.

В этом контексте уместно привести фрагмент из интервью с Виктором Кривулиным, взятого в начале 1990 годов Алексом Спруденом. На вопрос о степени политизированности нашего культурного сообщества Виктор ответил: «Наше поколение оказалось не просто аполитичным — мы возникли как какая-то реакция на правозащитное движение. Я знаю людей замечательных, чистых, светлых, которые боролись за права человека, за его свободу. Но в эстетическом плане это были люди, воспитанные советской культурой... У них была советская ментальность».

Чрезвычайно существенным является то, что творческой самоидентификации предшествовало пробуждение личности. Это был неотрефлексированный мощный, почти стихийный процесс: задавленные ростки выпрямлялись, разламывая гнетущую их почву. В нашей среде это именовалось «духовностью». Понятие это своей емкостью и неопределенностью вполне соответствовало нашему тогдашнему неотрефлексированному мироощущению.

В этом культурном слое парадоксально сочетались люмпенизированность с эстетической рафинированностью, порочность с высокими нравственными и творческими порывами, самозабвенный труд с безудержным разгулом. Пьянство и сексуальная распушенность совершенно естественно переходили в культурное общение и творческое сотрудничество. В любовных интригах и пьяных подвигах формировались и отрабатывались художественные идеи и методы. Не случайно игровой момент имел огромное значение в культуре российского послевоенного андеграунда, одной из символических фигур которого являлся мой самый близкий друг Виктор Кривулин.

К наиболее ностальгическим моим воспоминаниям относятся часы (а в сумме недели и даже месяцы), проведенные в 1960 годы в Витиной квартире, в «фонаре» с видом на Большой проспект Петроградской стороны. В нем мы чувствовали себя почти небожителями, парящими над суетливо копошащимся под нами человеческим муравейником. Что там только не было говорено, читано, поведано, исповедано!.. Такая дружба бывает в жизни только раз. Именно эти «фонарные» сидения и навевали мне приводимые ниже строки.

ВИКТОРУ КРИВУЛИНУ

*За окном большое солнце мая
Маленькая радость импотента*

И снова так невесело живем
Под равномерным небом руберойда,
И снова собираемся вдвоем
Поговорить о праведности Фрейда

В углу бутылъ изогнутой воды,
Железный козырек люминесцента,
И в кулачке зажатый желтый дым —
Маленькая радость импотента.

Дом развезет беременный живот
По обе стороны уборной коммунальной,
И всякий, кто тут движется, живет,
Постигнет суть тоски эмбриональной.

(1962)

Вторая строфа этого текста представляет собою описание обстановки «фонаря», в котором мы тайно курили. При этом мы выпускали дым в кулак, чтобы воспрепятствовать его проникновению в соседнюю комнату, где находились Витины родители. Кривулин же, видимо, введенный в заблуждение последней строчкой второй строфы, восторженно объяснял всем, что это «гениальная метафора мастурбации». Не припоминаю, чтобы мы с ним занимались чем-либо подобным за компанию... Курили, выпивали, блатные анекдоты рассказывали, в карты играли. Бывали и другие мальчишеские проделки.

Расскажу про одну. Мы, юные многообещающие литераторы, были не ахти как сильны в правописании и брали уроки у одной очень опытной и чопорной учительницы. Витя, не приготовив задания, попросил, чтобы я, когда она позвонит, открыл дверь и сказал, что его нет дома. Когда раздался звонок, я отправился выполнять его поручение. Выслушав мое вранье, учительница, ни слова не говоря, прошла в комнату и сразу увидела торчащие из-под кровати Витины ноги. После этого она резко развернулась и ушла навсегда. Жалко, хорошая была учительница! Так вот мы с Витей и не выучились писать без ошибок, хотя и значились позднее в дипломах преподавателями русского языка и литературы. Справедливости ради стоит сказать, что Витя в конце концов грамотой овладел и даже сам зарабатывал репетиторством.

В 1960 годы мы с Виктором посещали при клубе «Держание» во Дворце пионеров поэтический кружок, которым руководила Наталья Иосифовна Грудинина. Наталья Иосифовна была, как тогда говорили, «настоящей коммунисткой»: человеком исключительного мужества и кристальной честности, «бросавшимся грудью» на все амбразуры ради защиты справедливости. В частности, она выступала свидетелем защиты на знаменитом процессе по делу «тунеядца Бродского». Через нее же распространялись ходившие по рукам стенограммы этого процесса.

У нас с Витей установилась традиция: в течение недели экономить на школьных обедах деньги, на которые, перед тем как отправиться во Дворец пионеров, мы покупали бутылку (как правило, это была маленькая «Перцовки» за рубль одиннадцать) и выпивали ее в каком-нибудь лифте из горла. После этого отправлялись на заседание клуба. Один раз, когда мы пришли под особенно сильным кайфом, какая-то администраторша потрясенно воскликнула: «Мальчишки, ведь это Дворец п-п-пьянеров!»

Из участников заседаний клуба, помимо нас с Виктором, я могу вспомнить Сергея Стратановского и Михаила Гурвича. Последний очень рано начал публиковаться под псевдонимом Михаил Яснов.

Иногда устраивались расширенные заседания, на которых члены клуба в присутствии гостей читали свои стихи. На одном из таких заседаний я читал несколько стихотворений, в каждом из которых кто-нибудь обязательно помирал. Первое прочитанное мною стихотворение («Лыжник») заканчивалось так:

Не слышно ни крика, не возгласа дикого.

Вопль в немоте кинокадра гаснет.

И только спокойный голос диктора:

«Номер сто первый разбился насмерть».

Затем следовала «Страшная сказка с хорошим концом», конец которой был такой:

Кончилось все, к счастью, безобидно.

Говорят, что в этот самый вечер

Был убит из-за угла дубинкой

Маленький горбатый человечек.

А когда я принялся читать стихотворение, начинавшееся словами:

Этот день я надолго запомню:

На кровати, прижатой к стене,

Человек захрипел и помер.

И задумался, окостенев... —

присутствовавшие и в самом деле чуть было не померли со смеху.

Дворец пионеров проводил очень смелые по тем временам мероприятия: вечера стихов в большом актовом зале, на которые могли прийти все желающие. Причем читать мог любой, не подвергаясь предварительной цензуре. К тому времени я, шестнадцатилетний стихотворец, приобрел уже довольно широкую известность одним стихотворением. Называлось оно «Баба». Рассказывали даже, что его, разгуливая по улицам Питера, хором читала богемная молодежь. И вот, когда на одном из вечеров поэзии я скромно сидел в зале, даже не предполагая выступать, зал вдруг начал скандировать: «Па-зу-хин! Па-зу-хин! Ба-бу! Ба-бу!» Я вообще-то человек мирный: скандал не в моей натуре. Читать я не хотел и даже пытался спастись бегством. Но меня догнали, на руках внесли на сцену и поставили перед сотнями разинутых глоток, из которых вылетало: «Ба-бу! Ба-бу!» И я начал читать:

Троллейбус набит, как с начинкой пирог,
и морды — как спелые брюквы.

А баба,

базаря,

сочилась вперед

и навалилась

брюхом.

Мне жарко. И жадно хотелось бежать,

я чувствовал стыд и усталость,

а баба

с животным

желаньем рожать

по мне

животом своим

стлалась.

Живот был похож и на чан, и на чайник,
я слышал: там что-то спекалось, варилось...
А мне наплевать,
что бы там ни зачато —
зачем
на меня навалилась?!

(«Баба», кстати, была сначала раза в два длиннее, но Костя Кузьминский сделал ей, по его собственному выражению «обрезание», отчего она очень выиграла.)

Уже во время чтения второй строфы на сцену поднялась очень крупная женщина — ответственная за проведение этих вечеров — и всей своей массой стала надвигаться на меня: маленького худого мальчишку в рваном свитере. Я, защищаясь, вытянул вперед руки и, отступая в глубину сцены, выкрикнул последние строки буквально ей в живот. На этом вечера поэзии во Дворце пионеров прекратились, за что многие меня порицали. Зато Кривулин сказал, что «Бабу» следовало бы высечь золотыми буквами на мраморной доске и установить эту доску на фасаде Дворца.

Проходя с год назад по Невскому вдоль здания бывшего Аничкова дворца, такой доски я на нем не обнаружил. Правда, нашел в Интернете «мнимореальную доску» (кузьминский либо кривулинский неологизм): мое имя, появляющееся при наведении курсора на Дворец пионеров на карте памятных культурных мест Петербурга. «Бабой» я и вошел в историю русской литературы. В последнюю нашу встречу в 2000 году в Петербурге Кривулин, представляя меня знакомым, иначе чем «Бабой» не величал. Я терпел. На Витьку что обижаться! К тому ж стихи я снова пишу. Даже издал недавно в Питере эпическую поэму под названием «Голем и Медный Эквилибрист. Баден-баденская повесть».

Виктор (Царствие ему Небесное!) был, между прочим, патетическим вралем. И, следует признать, вралем очень талантливым. Жалко, что никто не догадался его импровизации записывать. Витину фамилию, кстати, многие переосмыслили в смысле «кривизны, лукавства, вранья». (По мнению же грамматической программы компьютера, слово «Кривулин» — «просторечное выражение, не свойственное литературной речи»).

Еще одним весьма характерным Витиным свойством было невероятное честолюбие. Он по-настоящему страдал от отсутствия похвал. Всякий раз, прочтя мне новый текст, он выдерживал небольшую паузу и спрашивал: «Ну, как тебе эти стихи?» Я обычно начинал выдавливать из себя какое-то псевдоаналитическое занудство.

Признаюсь откровенно, кривулинские сочинения меня очень редко «брали за живое». Мне они всегда казались мастерскими, виртуозными конструкциями, но слишком головными и холодными. Для меня Витя был прежде всего гением версификации и лишь изредка творцом, способным вызвать сопереживание, катарсис. Кривулин чувствовал это и постоянно держал на меня обиду. В последние годы моей жизни в России он демонстративно дарил свои новые тексты не мне, а моей жене Лене.

В 1960 годы (примерно года за три—четыре до свержения Хрущева) существовала возможность устной публикации: чтение стихов в «Кафе поэтов» на углу Полтавской улицы и Старо-Невского проспекта. Я бывал в нем с первого дня его существования. Мы с Витей Кривулиным первыми читали там свои стихи. Никакой предварительной цензуры сначала не было. «Карательная», в виде тут же возникавшего по поводу литературных разногласий мордобоя, правда, существовала. Вспоминаю, как в результате несовпадения мнений в оценке творчества друг друга, между Евгением Рейном и Марком Троицким произошла стычка, стоившая Рейну зуба. Присутствовавший при этом Бродский подошел к Марку и с глубокой

скорбью в голосе произнес: «Я понимаю, конечно, — грубая среда». (Последнюю реплику воспроизвожу со слов Кривулина.)

В кафе я познакомился со многими поэтами, в том числе и с Леной Шварц, с которой меня потом очень долго связывали крайне напряженные и часто прерывавшиеся дружеские и творческие отношения. В «Кафе поэтов» выступали Бродский, Окуджава, Гордин, Горбовский, Юпп, Чейгин, Ширали и многие другие. Атмосфера царила самая непринужденная. Посетители жевали, выпивали, пилились на женщин, болтали. Поэты, не обращая на них внимания, читали свои стихи. Каждый занимался своим делом, и все были довольны собой и друг другом.

В этот период я стяжал некоторую популярность. Ко мне в кафе подходили начинающие поэты и робко просили посмотреть их стихи. Какие-то московские журналисты обещали помочь с публикацией: «Вот придет Евтушенко, он все устроит...» Евтушенко не приехал, а для советских издателей я так и остался «слепым пятном». В самиздате я, правда, был представлен достаточно широко: от стихов в скромном сборнике «Лай», составленном Владимиром Комаровым в 1961 году, до внушительной подборки с обширным комментарием, опубликованной Константином Кузьминским в антологии «У Голубой Лагуны». Наибольшую известность принес мне, пожалуй, сборник «Городская песенка», выпущенный издательством «Бе-Та» (Борис Тайгин при активном участии Кузьминского) в 1962 году.

Постепенно внутриполитическая ситуация начала меняться к худшему. Это отразилось как на положении культуры в целом, так и на атмосфере в «Кафе поэтов» в частности. Стали требовать стихи для предварительного ознакомления, чтения становились все скучнее и официознее. Наконец, все более или менее талантливые поэты просто перестали туда ходить.

За этим последовал длительный период культурного «броуновского движения». Правда, время от времени предпринимались попытки создания самиздатской периодики. В 1966—1967 годах я был членом редколлегии журнала «Звенья», выпускаемого студентами филфака Ленинградского университета. Написал предисловие к этому изданию. Главным редактором был Владимир Новоселов. В редколлегию входили также Виктор Кривулин, Виктор Топоров, Ярослав Васильков, Лев Васильев. Журнал был разгромлен после выхода в свет двух номеров — из-за отказа редколлегии предоставлять материалы для предварительной цензуры.

Следует отметить, что важной опознавательной чертой нашего «Сайгона» были многообразные формы «неформального поведения»: эксгибиционизм Кузьминского, похабщина Охупкина, «половой бандитизм» Ширали, драчливость Чейгина, буйство Шварц. (Можно было бы добавить еще «занудство Пазухина», но на фоне вышеперечисленного оно выглядит не особенно выразительно.)

Для Лены Шварц, к примеру, одной из составляющих общения были скандал и рукоприкладство. При этом в ход шло все, попадавшее под руку. Как-то раз досталось и мне. Во время одной коллективной попойки Лена начала колотить всех подряд сумочкой на длинном ремне. Кто-то из впереди стоящих уклонился от удара, и я получил увесистую оплеуху. Вообще-то, Лена, не знаю даже за что, меня очень любила и никогда на меня руки не поднимала. Это, впрочем, не мешало мне относиться к ней с некоторой опаской. И я был в этом отношении не единственным. Как-то раз, когда Лена собиралась в гости к Кузьминскому (кажется, так и не собралась), Костя чуть не сбежал из дому.

Расскажу еще одну запомнившуюся историю. В первой половине 1970-х мы проводили на Лениной квартире так называемые «Шимпозиумы». Это было очень любопытное мероприятие — изобретение самой Лены. Во время заседаний мы все старательно изображали обезьян и носили соответствующие клички: Шимп, Оранг, Горилл, Макак. Я фигурировал под кличкой Брат Ленивец. На

скорбью в голосе произнес: «Я понимаю, конечно, — грубая среда». (Последнюю реплику воспроизвожу со слов Кривулина.)

В кафе я познакомился со многими поэтами, в том числе и с Леной Шварц, с которой меня потом очень долго связывали крайне напряженные и часто прерывавшиеся дружеские и творческие отношения. В «Кафе поэтов» выступали Бродский, Окуджава, Гордин, Горбовский, Юпп, Чейгин, Ширали и многие другие. Атмосфера царилла самая непринужденная. Посетители жевали, выпивали, пялились на женщин, болтали. Поэты, не обращая на них внимания, читали свои стихи. Каждый занимался своим делом, и все были довольны собой и друг другом.

В этот период я стяжал некоторую популярность. Ко мне в кафе подходили начинающие поэты и робко просили посмотреть их стихи. Какие-то московские журналисты обещали помочь с публикацией: «Вот приедет Евтушенко, он все устроит...» Евтушенко не приехал, а для советских издателей я так и остался «слепым пятном». В самиздате я, правда, был представлен достаточно широко: от стихов в скромном сборнике «Лай», составленном Владимиром Комаровым в 1961 году, до внушительной подборки с обширным комментарием, опубликованной Константином Кузьминским в антологии «У Голубой Лагуны». Наибольшую известность принес мне, пожалуй, сборник «Городская песенка», выпущенный издательством «Бе-Та» (Борис Тайгин при активном участии Кузьминского) в 1962 году.

Постепенно внутриполитическая ситуация начала меняться к худшему. Это отразилось как на положении культуры в целом, так и на атмосфере в «Кафе поэтов» в частности. Стали требовать стихи для предварительного ознакомления, чтения становились все скучнее и официознее. Наконец, все более или менее талантливые поэты просто перестали туда ходить.

За этим последовал длительный период культурного «броуновского движения». Правда, время от времени предпринимались попытки создания самиздатской периодики. В 1966—1967 годах я был членом редколлегии журнала «Звенья», выпускаемого студентами филфака Ленинградского университета. Написал предисловие к этому изданию. Главным редактором был Владимир Новоселов. В редколлегию входили также Виктор Кривулин, Виктор Топоров, Ярослав Васильков, Лев Васильев. Журнал был разгромлен после выхода в свет двух номеров — из-за отказа редколлегии предоставлять материалы для предварительной цензуры.

Следует отметить, что важной познавательной чертой нашего «Сайгона» были многообразные формы «неформального поведения»: эксгибиционизм Кузьминского, похабщина Охапкина, «половой бандитизм» Ширали, драчливость Чейгина, буйство Шварц. (Можно было бы добавить еще «занудство Пазухина», но на фоне вышеперечисленного оно выглядит не особенно выразительно.)

Для Лены Шварц, к примеру, одной из составляющих общения были скандал и рукоприкладство. При этом в ход шло все, попадавшееся под руку. Как-то раз досталось и мне. Во время одной коллективной попойки Лена начала колотить всех подряд сумочкой на длинном ремне. Кто-то из впредистоящих уклонился от удара, и я получил увесистую оплеуху. Вообще-то, Лена, не знаю даже за что, меня очень любила и никогда на меня руки не поднимала. Это, впрочем, не мешало мне относиться к ней с некоторой опаской. И я был в этом отношении не единственным. Как-то раз, когда Лена собиралась в гости к Кузьминскому (кажется, так и не собралась), Костя чуть не сбежал из дому.

Расскажу еще одну запомнившуюся историю. В первой половине 1970-х мы проводили на Лениной квартире так называемые «Шимпозиумы». Это было очень любопытное мероприятие — изобретение самой Лены. Во время заседаний мы все старательно изображали обезьян и носили соответствующие клички: Шимп, Оранг, Горилл, Макак. Я фигурировал под кличкой Брат Ленивец. На

«тих «Шимпозиумах» мы по очереди читали доклады, в основном по литературной тематике. По окончании доклада слушатели голосовали разноцветными шнурочками: самой высокой оценкой был черный шнурок, затем — белый, самой низкой — красный. Мы были очень строгими судьями: высший приз был присужден только единожды, по-моему хозяйке.

Повздорив на одном из таких «Шимпозиумов», не помню уж по какому поводу, с Борисом Останиным, почему-то оказавшимся в этот момент позади нее, Лена, не глядя, наотмашь ударила его стоявшей перед ней на столе открытой бутылкой. При этом сама Лена оказалась с ног до головы облитой водкой, а все Борино лицо было залито кровью. Несколькими днями позднее, по словам Кривулина (если он, конечно, не соврал по своему обыкновению), Лена сказала ему, что «сначала хотела повеситься от раскаяния, а потом написала стихи».

Есть основание предполагать, что это было стихотворение из цикла «Кинфия»:

Сами смотрят кровавые игры,
Жрут ягнят, телят и голубей,
И плетут, что очень я жестока.
Я в таком ни в чем не виновата.
Правда, раз я обварила супом
Наглого и мерзкого мальчишку —
Пусть под тунику не лезет за обедом,
Суп имею право я доесть.
Раз в клиента запустила бюстом
Брута, кажется. Его мне жалко —
Черепки-то выбросить пришлось —
Раз нарушила закон гостеприимства —
Со стены сорвавши дедушкину пику,
Понеслась я с нею на гостей.
Уж не помню почему. Забыла.
И они ушли с негодованьем,
Говоря, что больше не придут.
И меня ославили свирепой,
Я же кроткая, я кротче всех.
Мной рабы мои всегда довольны,
Муравья я обойду стороной,
У ребенка отниму жука.

Думаю, что именно в стихах тут как раз и дело. Существует, на мой взгляд, некая замкнутая цепочка, точнее — порочный круг. Неудовлетворенное творческое побуждение порождает стрессовое (в данном случае — агрессивное) состояние. (На самом деле, разновидностей этого состояния может быть бесчисленное множество.) Реализованная агрессия инициирует творческий акт. Осуществленный творческий акт, восстанавливает спокойствие — «кротость». Эта схема, нисколько не оправдывая насилия, приподнимает завесу над тайной «произрастания стихов».

В творческом человеке борются две личности: *бытующая* (нередко — бунтующая) и *творящая*. Конфликт между ними и приводит подчас к самым неожиданным, а подчас и опасным аномалиям. Не скрою, именно это нередко удерживало меня от общения со многими чрезвычайно талантливыми и очень ценными мною людьми. Но это никогда не мешало мне относиться к ним с любовью и уважением, а часто и с восхищением. Именно это восхищение и побудило меня написать такой «ностальгический» текст:

Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать,
На Васильевский остров
я приду умирать...

Иосиф Бродский

Убежав из Венеции мозглой
в изумрудную плесень волнистых лесов,
я живу не в стране, а под выбранным мною погостом,
а мой остров мансардный —
лишь чаша небесных весов.
Здесь не жизнь после жизни,
а рваный пунктир рас-Творенья
барабанит по грани обратно идущих часов...
(Я не рифму теряю, а то, что гораздо страшнее:
ритм дыхания уходит... его не вернешь...)
Наш богемный приют как-то мент окрестил
без напалма сожженным Сайгоном,
ну а нам положить на его сановитый погон.
Он дерзнул нашу жизнь ограничить кофейным загоном,
ну а нам что за дело —
мы сами, ребята, сайгон!
По прямой на Литейном фискалы в гражданском
нам с пристрастием чинили
перекрестный допрос.
Сладковатым душком подсыхающий пресс их давящих
щекотал наш забитый петербургскою слякотью нос.
Кто уж в небо ушел,
проводя глазами каналы,
кто на дальнюю землю
листом пожелтелым опал.
Либералы слиняли,
в структуры вошли радикалы,
лишь в дыму над сайгоном
свободный бушует напалм.

Николай Беляк

КУЛЬТУРА ЭПИГРАММЫ*

Культура эпиграммы, в том виде, в каком она существовала тогда, когда возникла: на балах, в гостинных — то есть той эпиграммы, которая была острым словом, сказанным здесь же и распространяющимся моментально, с окончанием пушкинской эпохи исчезла. Остались лишь чисто литературные эпиграммы, псевдоостроумные, которые в малом кружке писали друг на друга и потом печатали в «Литературной газете».

Но она была возрождена как раз вот в семидесятые годы — в «Сайгоне»... Какое количество устных стихотворных газет выпускалось здесь! Какое количество стихов было написано с лету! Один из замечательнейших поэтов нашего города, Евгений Вензель, и стал человеком, который культуру эпиграммы в этом ее смысле возродил. Вспоминаю его стихи, посвященные Эрлю:



Николай Беляк. 1970-е гг.

Бродили днем погожим
По городу мы с рыжим.
И взгляд по сонным рожам
Скользил, подобно лыжам.

Или, скажем, придя ко мне в дом и услышав наш разговор с Тоней, он тут же написал:

Из всех мужей
Ты всех хуже.

А вот его автоэпиграмма:

В «Сайгоне» Вензель зубоскалит,
На малолеток зубы скалит.
Не трусь его, он не укусит,
Он сам тебя сильнее трусит.

Еще помню такую эпиграмму:

У Пети Брандта нет таланта,
А если... — ч т о у Пети Брандта?

Кривулин был автором эпиграммы на Кушнера:

Как у Сушнера у Кашки
Не стихи, а промокашки.
Промокает он, однако,
не с меня, а с Пастернака.

Вот Топоров, «Девушке-стиховеду»:

Хорея от анапеста
Не отличит она, пизда.

Сонечка К. как-то с альбомом обошла всех поэтов, и каждый написал ей какой-то мадригал, подошла ко мне, подала альбом, и я ей написал:

Неверным пламенем, неярок,
В твои неполных двадцать лет,
Гори, гори, свечи огарок —
Нам в темноте и это свет.

Жили в такой атмосфере! Понимаете, да? Это очень важная вещь. И абсолютно петербургская в полном смысле этого слова.

Владимир Безродный

НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ. ГЛОТОК ВИНА И СВОБОДЫ*

*Вечером поплелся я в запыленный «Сайгон».
Стол, бутылка водки, «сизыб нос».
Руц заблудших и потерянных затон
Там детина разогнал вразнос.*

В среде этих посетителей кафе, как в капле кофе, отразилось наше многослойное общество времен экономического застоя и нравственного загнивания — мешане и фарцовщики, чернокнижники, делаши, алкаши, любители «свободной любви» и эстеты, правонарушители и борцы за права человека, диссиденты (где-сиденты), правоохранители и «стукачи».

Не встречал я там в то время только наркоманов и рэкетиоров.

Легко возбудимым и ранимым, свободомыслящим и эксцентричным служителям Музы и Аполлона было явно нелегко среди такой разношерстной публики.

Самые тесные и дружеские отношения, но не без яда ревности и зависти, у них складывались друг с другом, а также с ценителями и знатоками поэзии, которые после прослушивания стихов выступали в роли критиков, судей, хулителей; мнением их поэты дорожили.

Бытовая и творческая аура кафе была своеобразна и неповторима.

* Печатается по: Санкт-Петербургская еженедельная газета. №12 (017). 1993. 8—14 апреля.

Бывали случаи, когда поэта, как шута для увеселения (рецидив эзовского поведения), — перехватывала группа правонарушителей. Его приглашали на чашечку кофе или стакан вина, символически заменявшие лавровый венок или букет цветов.

Когда он потрафлял вкусам падких на сенсационную информацию бывших эзов, его принимали, как своего «Кента», щедро угощали и восторгались, но упаси господа не угодить — гнали от враждебного столика с презрительными возгласами: «Эх, падло», «Фуфло».

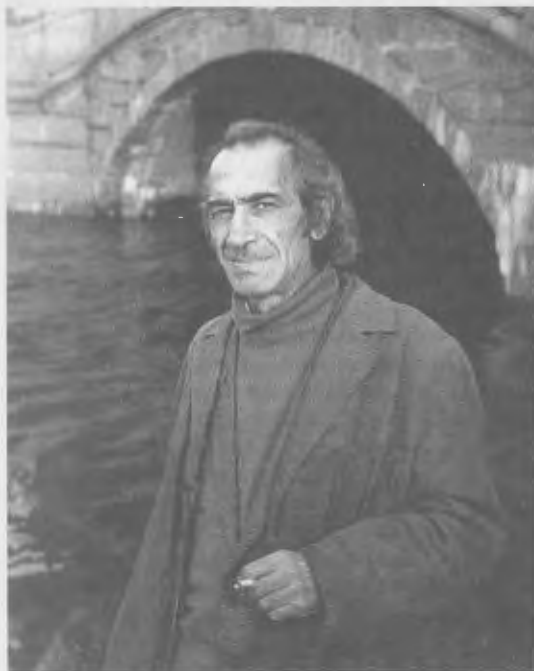
Возможно, бунтарские мотивы творчества поэтов, как и их фантазия, были близки интуитивно правонарушителям. Остальные группы, за исключением эсте-

тов и ценителей — знатоков поэзии, реагировали сдержаннее и спокойней.

Среди самих поэтов были свои «бунтари», защищавшие от любых посягательств свое человеческое и поэтическое достоинство. Они, как львы или петухи, смело вступали во всевозможные стычки с правоохранителями и правонарушителями. Для отдельных это заканчивалось судом и сроком тюрьмы или лагеря.

Среди них выделялись дуэлянт с многочисленными шрамами на лице — поэт Г. Абельмас, поэт-эпиграммист и силач Ю. Крутько, правдолюбец, эпик и лирик М. Бестужев.

Эксцентрично, но более покладисто-снисходительно вели себя в кафе такие популярные сайгоновские лирики, как С. Словенов (Гогин), В. Ширали, В. Нестеровский, скромно — В. Шалыт,



Владимир Безродный. 1970-е гг.
Фото В. Пешкова

грубовато и несдержанно — П. Чейгин, скромно и замкнуто — В. Трепов.

У них были не только яркие поклонники, но и фанатичные молодые экзальтированные и эротичные поклонницы.

Чаще они появлялись с маской и в одежде байроновского Чайлд-Гарольда, денди и франта.

<...> В период лжи и лицемерия, когда пьянство, воровство и доноительство (платное или добровольное) становились нормой поведения «гомо советикуса» с психологией люмпена и тунеядца, сохранение честного и чистого восприятия, поведения и отражения жизни становилось и считалось аномалией.

Поэтов воспринимали, как шутов, «белых ворон», «чокнутых». В погоне за призрачными и низкопробными удовольствиями жизни (кабак, вино, женщины) и материальными благами (дачи, машины, яхты, «шмотки») падал интерес к духовной жизни и к ее носителям и выразителям — поэтам.

Падал интерес к культуре, искусству, литературе, поэзии.

В старину прославленный поэт
За поэму получал венок или букет.
Теперь же за лирический сонет
Не даст хозяйка комплексный обед.

Все, что говорили или читали поэты своим слушателям, вызывало нездоровый интерес и неприязнь у блюстителей порядка и их тайных осведомителей, а их было хоть пруд пруди. Добровольные (добромилыцы, дээндэшники) или платные осведомители — «стукачи» при их тайном характере «работы» быстро расшифровывались, как легкий ребус. От них можно было отвязаться двумя путями: либо «вешать им на уши лапшу», либо при их появлении менять содержание разговора. Тяжелее было отвязаться от всевластной, всевидящей и всеслышащей «пятерки» (то есть пятого отделения милиции на Лиговском проспекте), «пасушей» этот загон для сбора криминальной информации.

Представители и блюстители порядка, одетые в штатское, как на маскараде, усматривали в поэтах главных носителей и распространителей крамолы, а потому неоднократно предупреждали отдельных из них о том, что они «разлагают публику» в кафе, поэтому частое посещение ими «Сайгона» и чтение там своих стихов весьма нежелательно. <...> Бывали и трагикомические случаи, когда фантазия и сообразительность поэта спасали его от всевозможных неприятностей... Приведу для иллюстрации только два факта. Поэт читает многочисленной публике свою поэму. На окрик молодого милиционера без лычек на погонах: «Что читаете?» — в ответ летит молниеносно: «Брюсова. “Гунны”». Кто такой Брюсов? И кто такие гунны? Блюститель порядка отстает в недоумении.

За столиком рядом со своими тремя слушателями-субутильниками поэт по тетради читает поэму. На грозный вопрос старшего сержанта: «Это что такое?» — он терпеливо, водя пальцем по страницам, объясняет: «Это моя поэма. Здесь — античность, здесь — средневековье, здесь — капитализм, о социализме я ничего не написал». Удовлетворенный концовкой ответа, сержант отвязывается. Поэт и слушатели получают кратковременную передышку и глоток вина и свободы.

Николай Черниговский **МНЕ ЕЩЕ НЕ СТО ЛЕТ***

Кол Черниговский умер в июне 2001 года. Его нашли дома спустя несколько дней после смерти, видимо насильственной. На похоронах собралось множество друзей. Кол принадлежал к той питерской среде, которая связана с контркультурой позднесоветского общества. Человек незаурядный, талантливый, эрудированный, обаятельный и красивый, он выпал из жизни, не совладав с ее жесткостью. <...>

* Интервью, взятое у Н. В. Черниговского 15 ноября 1997 года социологом Еленой Чикадзе. Печатается в сокращении по: Пчела. 2001. № 34. Републиковано в: Мед и деготь Петербурга: избранные статьи и интервью из журнала «Пчела» за 1996–2006 годы / Сост. П. В. Беспрозрачная. СПб., 2006.

Родился я в самом конце 1946-го года, следовательно, мне сейчас пятьдесят. Произошло это в Ленинграде, потом мы на шесть лет уехали в Москву, это было связано с работой отца. Потом вернулись. Семья в целом была очень благополучная, потому что отец был сперва профессор, член-корреспондент, в дальнейшем — академик и директор Павловского института. Мать занимала более скромные должности, но она отличный преподаватель английского языка, работала, главным образом, в университете.

Тут сразу приходится обращаться к одному такому щекотливому, но важному вопросу — к вопросу о пьянстве. Отец мой был алкоголик, но алкоголик все-таки определенного рода. Он начал пить, уже достигши известных степеней, поэтому хотя, конечно, на пользу ему это пьянство не пошло, но оно ему и не сильно повредило, потому что одно дело, если дворника пьяного в канаве поднимают, другое дело, если под белы руки уводят перепившего академика из его роскошного кабинета. Кстати, насколько мне известно, когда отец уже жил со своей последней женой, то ему как-то удалось, ну, если не полностью остановить это пьянство, то, по крайней мере, его купировать.

— А когда они развелись с вашей матерью, сколько вам тогда было?

Мне было лет двадцать. Ну, так вот... Хотя это пьянство не оставалось, конечно, для меня незамеченным, оно никогда — это я точно могу сказать — не являлось для меня примером для подражания. Мой интерес к пьянству возник совершенно независимо и очень рано, кажется, лет в четырнадцать или в пятнадцать. Занимался я этим со своим школьным соучеником по фамилии Яшугин, человеком по-своему очень талантливым во многих областях, но из которого тоже, в общем-то, ничего не получилось. Началось это пьянство у нас с эксперимента. Мы с ним купили бутылку портвейна, поехали в лес и выпили ее, и с первого же раза я почувствовал, что это моя стихия, моя судьба.

— Почему?

Вот не знаю, вот так почувствовал. Потом я пытался это анализировать: может быть, это был все-таки какой-то выход комплекса неполноценности или какая-то попытка самоутверждения. Может быть, какие-то такие элементы и были, хотя и не вполне осознанные, мне просто это очень нравилось.

— В какой школе вы учились?

Это была 213-я английская школа, элитарная отчасти, хотя в ней учились и ребята, которые сюда попали просто по месту жительства. Лет в шестнадцать я вроде как влюбился — может быть, конечно, это была своеобразная юношеская попытка убедить себя в том, что ты влюбился, — в свою одноклассницу, с которой мы рядом сидели. Через несколько лет мы женились. В девятнадцать лет у нас родился ребенок, ему сейчас уже двадцать восемь. Потом, правда, лет через семь-восемь, мы развелись.

В школе я учился очень небрежно, то есть большого труда мне это не составляло. Отличником я не был, так — серединка на половинку. Английский, поскольку у меня все-таки мать преподаватель профессиональный, мне всегда давался очень легко. Точные науки давались сложнее: как я позже понял, за счет того, что я хуже знал математику и весь математический аппарат, на котором основана физика, химия. Это не позволяло мне проникнуть в суть того, что эти науки объясняли.

— После школы вы поступили на биофак — это по стопам отца получается?

В какой-то степени да. Там у меня учение тоже шло ни шатко ни валко, потому что естественнонаучные предметы, те же биологические, хорошо шли, а с физикой и с математикой я долго мучился.

Дальше произошел довольно смешной эпизод. На втором курсе я официально не женился, до этого мы были женаты ну как бы неофициально. И, не досдавши

экзамена по математике, — что, конечно, было неразумно, хотя и не преступно (можно ж, знаете, и после каникул досдать), — уехал в свадебное путешествие. При этом в шутку где-то в компании студентов сказал: «Ну вот, мы женились, теперь в Ниццу съездим, в Баден-Баден». И кому-то пришло в голову это воспринять совершенно серьезно [смеется]. Поэтому, когда я вернулся, устроен был студенческий совет, где мне вменено было в вину, что вместо того, чтобы сдавать математику я, значит, по ниц-цам разъезжаю [смеется]. И меня выгнали. Причем, любопытно, что на нашем курсе еще были две девочки: Лиза Берг, то есть настоящая ее фамилия Кирпичникова, но она внучка академика Льва Семеновича Берга, и поэтому ее принято было по дедушке называть. И Танечка Алексеева, это академика-филолога дочка. Так получилось, что у них тоже были какие-то мелкие неприятности с академической успеваемостью, и вот нас всех троих выперли с факультета. Потом было много смеха, что выперли трех «академиков».

— В каком году это было?

Поступил я в 1965-м, выгнали меня, значит, в 1967-м. Вскоре выяснилось, что мое изгнание с дневного факультета не препятствует тому, чтобы я тут же восстановился на вечернем. Но для этого нужно было поступить на работу. И я поступил в институт цитологии, он тогда располагался на Маклина, в лабораторию — на электронный микроскоп, который, опять же в силу слабого знания математического аппарата, поначалу мне давался сложновато. Потом, конечно, привык. Проработал там довольно долго, может быть, даже лет пятнадцать. Параллельно я потихоньку учился в университете, но тоже как-то очень вяло, неохотно. В результате я, наверно, в течение лет восьми дошел до последнего курса и даже написал диплом, но так до сих пор его и не защитил. Даже не знаю почему. То ли пороку не хватало, то ли как-то уже не было стимула его защищать, потому что я понял, что он, собственно говоря, не столь уж и необходим для счастья в жизни. Так что я, в конечном счете, недоучка, хотя скажу (да не сочтите это хвастовством), что до сих пор считаю себя весьма образованным биологом, потому что я все-таки очень много читал и до, и после того, как уже бросил университет, да и сейчас продолжаю интересоваться, по возможности, этим делом.

— А что с армией?

Перед самым поступлением в университет у меня обнаружили гломерулонефрит — это почечная болезнь. На самом деле я убежден, что никакого гломерулонефрита там не было, в крайнем случае, был пиелонефрит, то есть более легкая форма. Ну тут, может быть, сказалось то, что отец мой, естественно, послал меня лечиться к лучшему медику по этой части, а лучшему медику неудобно было не найти у меня самую страшную болезнь. Так вот и вышло, что я получил статью, начисто освобождающую меня от армии.

Кстати, моя неприязнь к армии как к институту, как к месту службы, совершенно не распространяется на мой интерес к военной истории и военной технике, поэтому лет с шестнадцати я начал заниматься военной археологией. Одни из первых, наверно, в городе, мы ездили по всем местам боев: и на линии Маннергейма, и за Колпино. Но тогда это дело было очень мало принятое, и найти можно было все, что угодно. На поверхности лежали самые разнообразные предметы: от трупов до целых танков. И постепенно такой чисто, может быть, детский интерес к оружию: схватить ружье и из него выпалить — сменился таким, что ли нумизматическим, то есть больше стали интересоваться какие-то наградные знаки, нашивочки, бляшечки, содержимое карманов. Я бы сказал, что этот интерес у меня сохранился до сих пор, но просто уже руки не доходят этим заниматься.

— Когда вы начали ходить в «Сайгон»?

Ну, почти что в самом начале его существования. Я помню, что я туда еще ездил мучительно седьмым автобусом от университета. Это было где-то году, наверно,

и шестьдесят... ну, пятом, в шестьдесят шестом, не позднее. И там основным кругом моим были всякие поэты из клуба «Дерзание» при Доме пионеров. Это были Коля Голь, Коля Беляк, Топоров. Ну, была там и пара людей постарше, Валерий Попов как-то туда заглядывал, Соснора заглядывал, потом был такой Олег Григорьев, ныне покойный — знаете, детский писатель. Ну, а вообще, ведь чем характеризовалась обстановка в «Сайгоне» — во всяком случае, в моем кругу? Подойдет один человек к столику там, ну, минут пятнадцать о чем-то таком поговорит, иногда какими-то новостями обменяется, иногда анекдот расскажет, потом уходит к другому столику, заменяется другим, так что все это было постоянно какая-то движущаяся масса.

Кроме того, конечно, очень много уделялось места и времени портвейну, который пился в «Придатке», там такая мороженица рядом была.

Что же касается какого-то давления со стороны властей, то, конечно, были там постоянно какие-то шпики, многих из них мы и в лицо знали, но я как-то от них ни разу не пострадал всерьез. Один раз меня вызвали в КГБ, и то по поводу вот этой военной археологии. Ну и так мелко спросили, а что, собственно, я делаю в «Сайгоне», что я там интересного слышу, и недвусмысленно предложили обмениваться информацией о том, что я слышу, но я как-то от этого очень скользко ушел, так что визит в КГБ прошел спокойно.

Ну, а второй случай был вообще смехотворный. Мы пошли за угол с самым невинным намерением — выпить квасу в бочке. Вдруг нас какие-то люди хватают под белые руки и тащат в штакеншнейдеровский дворец, где тогда помещался комсомольский патруль или что-то такое. Как выяснилось, им показалось, что мы вели какие-то криминальные беседы и чуть ли не заговор затевали. Ну, что, конечно, была ерунда, мы, наверно, могли вообще обсуждать только количество портвейна, которое предполагалось выпить.

— А милиция?

Ну, бывало, бывало, что куда-то утаскивали в отделение, бывало, что штрафовали. Бывало, что кто-то и в вытрезвитель попадал. Я, кстати, попадал в вытрезвитель неоднократно, но, по-моему, ни разу из «Сайгона», абсолютно из каких-то других мест. В основном, почему-то больше доставалось курильщикам, там же курить было запрещено — даже в тамбуре на входе, и то было запрещено. Почему-то милиционеры в первую очередь этих курильщиков и хватали.

Знаете, в начале «Сайгона» было возвышение, подиум, что ли, где, помимо кофе, торговали еще и напитками. Туда заходили иногда люди из театра Ленсовета. Ну, и вот как-то пришел Олег Басилашвили и, значит, попросил сто грамм коньяка, чашечку кофе, коробочку сигарет и говорит: «А спичечки у вас можно купить?» А продавщица эта, то ли она была в дурном настроении, то ли ее сегодня уже извели до крайности, она вот так свесилась на него [изображает] злобно, как будто он нанес ей личное оскорбление, и говорит ему: «Спичек у нас не бы-ва-ет». А Басилашвили говорит: «О, о, вот это замечательно, вот это правильно, очень хорошо», — и ретировался. Очень смешно было.

— А что можно сказать о политических пристрастиях вашей компании?

Сколько я помню, это не носило какого-то яркого характера. То есть, в большей или меньшей степени, все, конечно, были оппозиционеры. Кто в душе, кто, может быть, на деле, кто, может быть, даже что-то и публиковал. Но, то ли из боязни того, что все-таки это может плохо кончиться, то ли просто как-то не принято было, говорили об этом мало. В основном, сколько я помню, обменивались шутками, сравнительно безобидными анекдотами, замечаниями. Чтобы кто-нибудь за столом стал орать: «Долой Советскую власть!» — такое просто представить себе невозможно было. Или, может быть, какое-то инстинктивное чувство заставляло меня сторониться и просто не замечать такого.

— Не помните ли вы, откуда брались сайгонские прозвища? Когда вас стали называть Колом?

Колом меня стали называть еще в школе. Поскольку школа была английская, то всем старались давать какие-то английские или англоизированные клички. Когда я в шестом или седьмом классе туда приехал, кто-то там сказал, что Коля, Николай — никуда не годится, пусть будет Кол, и так это ко мне пристало, и даже нравится, потому что я не воспринимаю это как оскорбление, а напротив, как нечто такое очень оригинальное.

А вот того моего товарища Яшугина...

— Он тоже был в вашей сайгонской компании?

Да, да, да. Он был тоже из хорошей семьи, у него отец был знаменитый оперный бас, народный артист. Мы его называли Джейкоб — от Якова. И так до сих пор это имя сохранилось.

Вензель Евгений Петрович, который, как вы, может быть, знаете, сейчас живет очень скромно, хотя выпустил недавно две маленькие книжечки, вот он одного нашего общего знакомого начал называть просто Еврей. Это было довольно смешно, потому что евреев там было три четверти, и это никак не отличительная черта, но все-таки эта кличка за ним так и закрепилась.

— Вы говорите, что «диспутов» не было, был треп, анекдоты. Но что-то было, что-то обсуждалось? Ведь это был период 1960-х годов, когда выходили хорошие книги, когда стали ставить хорошие фильмы...

Понимаете, все это, безусловно, обсуждалось. Но это всегда как-то проходило между делом. Ну конечно, каждый говорил о том, какую книжку он прочел, какой фильм он посмотрел, что ему понравилось или не понравилось в сегодняшних новостях, но как-то это все было мельком, скакали с темы на тему. Иногда бывало так, что шесть человек за столом стоят и по диагонали (двое на двое) разговаривают на совершенно разные темы.

Много шутили, в особенности поэты... Топоров очень любил писать злые эпиграммы, он очень талантливый человек, но, можно сказать, очень злой, жесткий. Иногда просто стебались: например, соревнование, кто лучше напишет какую-то рекламу или объявление. Один пишет: «Продается пес Маркиз / И к нему презерватив». А другой ему отвечает: «Покупаю ундервуд / И к нему ночной сосуд».

— Пока я слышу в основном мужские имена, а какие-нибудь девушки были в вашей компании?

А знаете [пауза]... Может быть, это мое личное ощущение, потому что я был женат, сперва на одной жене, потом на другой, а в промежутках имел какие-то постоянные привязанности, так что меня, в общем-то, девочки в широком смысле и не интересовали. А во-вторых, их было как-то действительно меньше, и не столь они были яркие, как мужики, так мне казалось. Они присутствовали, они охотно принимались в компанию, участвовали в разговорах. Но мне трудно сейчас назвать хоть двух-трех запоминающихся... Мне как-то казалось в те времена, что образованными могут быть только мужики. Имя Бори Гройса вам ничего не говорит? Это был такой математик, потом он уехал в Германию и там долгое время издавал (поскольку склонности у него были не столько математические, сколько философско-литературные, причем с экзистенциальным уклоном) очень заумный журнал на русском языке. Вот с ним была девочка-философ, настоящего имени ее мне не вспомнить, но ее почему-то называли Хильдой*. Настоящее было какое-то попроще, русское. Ну вот, она тоже была постоянно с Гройсом, потому что была тоже большой специалист по экзистенциализму.

Очень интересный человек был, конечно, Карамян. Совершенно уникальный, он даже, может быть, не столько сайгонский, хотя он в «Сайгоне» бывал много. Он был яркая и сильная натура, несомненно, неглупый, весьма образованный и иррациональный, при этом полный бездельник. Он тоже учился на биофаке, но так и не закончил, и даже, по-моему, бросил всякие попытки заканчивать свою физиологическую кафедру.

Он был такой эстет, поэт жизни, и умел собирать вокруг себя, несмотря на сложность известную характера (иной раз он был крут, с ним было трудно договориться), какое-то общество, даже, может быть, некое подобие салона, где постоянно толкался какой-то народ. Вот там-то как раз велись эти самые беседы, дискуссии, которых почти не было в «Сайгоне». Там были всякие экзотические книги, альбомы, новые пластинки. Но он рано и нелепо погиб, его в Крыму задавил мотоциклист. Ему было года тридцать два, максимум тридцать три — возраст Христа*.

Высказывались даже мнения, что, может быть, это было подстроенное убийство, но я не очень в это верю, потому что и организовать его было трудно, и вообще непонятно, кому это нужно.

— **Были вхожи в его салон?**

Да, даже мог бы считаться одним из весьма близких людей. Из сравнительно ранних и обидных смертей еще помню Сергея Чарного. Это был человек очень яркий и талантливый во многих отношениях. Он закончил экономический факультет, но у него как-то не сложилось с экономикой. Он, кстати, одно время работал вместе с Леовой Лурье, в учреждении, которое называлось АСУ «Мраморная плитка и мраморная крошка». Потом этот Сережа Чарный сделался наркоманом. И, по-видимому, именно это его и сгубило,

— **Его наркомания была как-то связана с «Сайгоном» или нет?**

Ну, разве что инициально. Может, он там что-то впервые попробовал, а потом он действовал уже в совершенно других сферах: у него были свои какие-то связи, контакты и продавцов, и компаньонов по этому делу. Считается, что он умер от передозировки или, может быть, нечистоты продукта. Очень его жалко.

А в самом «Сайгоне», в общем-то, наркотики были приняты. Ну, кто колосся, это, знаете, обычно делается не на глазах у людей, поэтому не так часто это увидишь. А вот гашиш, анашу курили практически совершенно свободно. Это всегда было. Но мое личное отношение к наркотикам очень любопытное. Я перепробовал почти все и пришел к глубокому выводу, что человечество не изобрело наркотика лучше этилового спирта. Поэтому мне просто это все неинтересно.

— **Какие в вашей компании были литературные пристрастия?**

Ну, очень трудно на этот вопрос ответить. В моем литературном образовании колоссальную роль сыграл все тот же Карамян. Должен сказать, что до знакомства с ним я очень холодно относился к стихам. То есть я признавал, пожалуй, только Лермонтова и Гумилева, а остальные мне были как-то мало интересны. Он пристрастил меня ко всему Серебряному веку, оттуда пошло дальше и глубже, вплоть до Державина. И вверх, уже в наши времена. Когда мы — это в шестьдесят шестом, что ли, было — хоронили Ахматову, то я ее уже хорошо знал и высоко ценил. Потом я стал интересоваться и тем, что сами эти ребята пишут, потому что были там вещи любопытные.

— **Сколько раз вы были женаты?**

Второй мой брак был, я бы сказал, экспериментальным и заранее обреченным на провал — на девушке такой полусайгонской-полууниверситетской — продолжался он недолго, кончился трагически, потому что ее в тюрьму посадили за то, что она якобы

* Леон Карамян родился 1 января 1947 года и погиб 4 сентября 1980 года. — *Прим. ред.*

не работала. Совершенно бессмысленный предлог: она была замужем за мной, имела право не работать. Ну, а сейчас я женат в третий раз. У меня двенадцатилетний сын.

— **Чем же для вас был «Сайгон», если вы, невзирая на браки, на детей, каждый день туда стремились?**

В первую очередь, местом общения с друзьями, которых я всегда там мог найти, тех или других, поскольку их было много.

— **Когда ваша сайгонская компания начала распадаться?**

Наверное, в самом начале 1980-х. Я, к сожалению, никаких дневниковых записей не вел, и архивы мои в полном развале и беспорядке. Я просто стал замечать, как бы сказать, проявление угасания какой-то юношеской энергии. Понимаете, когда мне было года двадцать два, то, несмотря на то что у меня была работа, у меня была семья, ребенок, я мог вполне спокойно с пяти до одиннадцати проводить время в «Сайгоне», а потом, при первом приглашении, завалиться к кому-нибудь в квартиру, там переночевать, а может, и на дачу к кому-то уехать. Теперь такое почти невозможно. Даже люди, которых я по-прежнему считаю своими ближайшими друзьями, мы с ними порой месяцами не видимся. Просто какой-то энергии уже нет, или такой потребности, что ли, в каждодневном общении. Вот такое я могу придумать объяснение.

— **А что вы делали, когда ушли из Института цитологии?**

Ну, я поработал в самых разных местах. В Институте защиты растений, потом в Институте болезни рыб. Потом довольно долго я работал в институте Гипроводхоз, это всякие гидротехнические сооружения. Это уже было полу- по специальности. Ну, а потом я уже стал куда попало бросаться, вплоть до ночного приемщика хлеба в булочных или чего-то такого. Но у меня же есть еще вторая специальность, я переводчик. И вот это в какой-то степени, может, меня еще удерживало на плаву. Правда, заказы на переводы очень нерегулярны, но, пока они есть, я все-таки еще считаю, что сохраняю какой-то уровень интеллигентности. Сейчас я вообще уже года три как не работаю, если опять же не считать переводов, которые... то их мигом густо, а то разом пусто.

— **Эта смена работ — вы сами уходили или вам приходилось уходить?**

Ну, нечто среднее. Меня, по-моему, еще ни разу не выгоняли со скандалом и по статье, но я все-таки сам иногда чувствовал, что случился маленький перебор, что пора, в общем, сматывать удочки.

— **А когда, как вы думаете, пьянство ваше стало алкоголизмом?**

Это очень важный вопрос, потому что если солдатами не рождаются, а становятся, то алкоголиками, может быть, и рождаются. Это медицински очень сложный вопрос. Видимо, я все-таки предрасположен к этому, биохимически и генетически предрасположен. Хотя, конечно, я никогда не пытался и не буду пытаться, тут у меня хватает, в общем, совести и честности, сваливать свое пьянство на то, что это какая-то болезнь, природная неизбежность, или на то, что я пью оттого, что жизнь у меня такая, что уж больше и деваться некуда, кроме как в бутылку лезть. Отговориться — у меня язык хороший — я всегда смогу. Иногда, когда меня об этом спрашивают, я в шутку говорю, что если считать алкоголизм болезнью, а Международная организация здравоохранения лет пятнадцать назад именно так и постановила, то известно, что ни ум, ни деньги, ни какие-то другие достоинства от болезни не спасают. А если говорить о психологическом плане этого дела, то у Оскара Уайльда есть отличная цитата: «Простые удовольствия есть последнее прибежище сложных натур» [смеется].

— **Даже сейчас вам это доставляет больше радости, чем...**

Да. Это, может быть, даже какой-то род мазохизма... Зная, как я буду мучиться, я все равно набрасываюсь на бутылку при первой возможности. Потом тут же есть масса тонкостей. Если человек пьет по полбутылки в день, по бутылке в день,

хоть по три бутылки в день, но делает это регулярно, то, в общем, ничего страшного. Самое сложное — это переходный период. Похмелье, ломки, попытки перейти от пьянства к непьянству, вот это очень мучительно. А всякая регулярность, состоящая либо в полном воздержании, либо в некотором регулярном употреблении, это может продолжаться бесконечно.

— **А вам не кажется, что это, в конечном итоге, помешало вам реализоваться?**

Даже наверное так. Но в истории есть один такой запрет: «Что было бы, если бы не...». Так ставить вопрос, кем бы стал Кол Черниговский, если бы он не жрал водку, это тоже как-то, по-моему, более или менее бессмысленно [смеется].

А вообще я должен сказать... Что это? Оптимизм ли? Или, напротив, непродожимая глупость? Но за все, как турок или татарин, судьбе я равно благодарен. Я не считаю, что жизнь моя прошла как-то ужасно, что нужно сетовать, руки на себя накладывать. Ну, вот так случилось. В большинстве каких-то своих несчастий сам виноват. Да, может, еще что-то и изменится к лучшему. В конце концов, мне еще не сто лет [смеется].

Николай Голь

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ КРУГИ (лиро-аналитический этюд)*

*Везде пласт масса, никель — все не та...
Иосиф Бродский*

Дожили: о «Сайгоне» говорят как о некоем культурном феномене. А ведь во времена своего существования он им не был — он был частью ежедневного бытия. И в голову не приходило что-то там специально запоминать, тем паче — записывать. Так что мелочи, слава богу, забыты — остался сухой осадок.

Тогда еще не было «центровых». Но Центр уже был.

Телеграмма от Гены, попавшего, как это с ним водилось, в стационар с очередной травмой: «Больницы бежал встречаемся центре». То есть — в «Сайгоне».

Встрепанная Леночка врывается в «Сайгон» с малолетним сыном в коляске: нужны пятнадцать рублей — выкупить мужа из вытрезвителя. Легкое кружение — и вот они, жуткие деньги.

— Но почему ты побежала в «Сайгон»?

— А куда же еще бежать?

Другие места обитания воспринимались как приложение к метрополии. Недаром кафе-мороженое на Владимирском, в двух шагах, именовалось «Придаток».

От «Сайгона», как от брошенного в воду камушка, расходились круги. Мы не толклись тут часами (я имею в виду свой круг) — мы здесь встречались. Скинулись по рублю — и вперед!

Впрочем, направление было совершенно условно, круги они и есть круги: в ближайший гастроном, в какой-нибудь садик, в забегаловку с купленными бутылками. Конечно, распитие принесенного с собой запрещено, но мы обычно не бузили и к нам относились сносно. В «Придатке» сердобольная уборщица могла и картошки дать на закуску, тем более что пустая тара доставалась ей.

* Опубликовано в: Пчела. 1998. № 12.

Потом — променад по улице, опять садик, проверочный заход в «Сайгон». При этом компания обростала, как снежный ком, рассыпалась, снова росла...

Когда позже я прочитал поэму «Москва — Петушки», меня поразила именно целенаправленность главного героя: он упорно двигался к определенной точке. И пусть достичь ее в принципе невозможно — она была! У нас же, как правило, отсутствовала. Еще одно явное отличие Москвы от Питера.

Конечно, кроме «Сайгона» существовали еще и «Манчестер», и «Ливерпуль». Но отправиться туда мне даже не приходило в голову. Как Манчестер и Ливерпуль без кавычек, они были абстрактными географическими координатами, о посещении которых не шло и речи.

Иногда снежный ком закатывался в мастерскую к какому-нибудь художнику. В сторожку вневедомственной охраны. В квартиру — порой от Невского сильно удаленную. И тем не менее:

— Где ты вчера был?

— В «Сайгоне».

И это чистая правда — ведь стартовали-то оттуда!

Зачем же мы двигались? Примерно в те годы (и уж точно в «Сайгоне», где же еще!) я впервые услышал о перипатетиках*. Перипатетиками мы и были. Дворик с палисадником на углу переулка Марии Ульяновой (ныне, как и в незапамятную эпоху, он вновь Графский) — чем тебе не сад Академа?

Двигаясь, мы разговаривали. Люди пишущие, в «Сайгоне» мы существовали в культуре по преимуществу вербальной. Потому и записей практически никаких не осталось.

Круги расходились, сходились, расходились вновь. Да был ли тут какой-нибудь смысл? О да! Бросая в воду камушки, наблюдай за кругами, ими образуемыми, — так, кажется, советовал Козьма Прутков.

Знать бы только, кто эти камушки бросал.

Аркадий Драгомощенко

МНОГОЕ ТОГДА ПРОСТО ВИТАЛО В ВОЗДУХЕ... **

Я приехал в Ленинград поступать в театральный институт в 1969 году, и осенью, когда начал учиться, какие-то пути мои, конечно, стали проходить через «Сайгон». Тогда были еще и другие места: заканчивало свою жизнь кафе-экспресс на углу Суворовского и Старо-Невского; ещё существовала Малая Садовая, но, сколько бы ни приписывали этой кофейне заслуг, она уже увядала и не была особо популярна — осталась таким местом романтическим, утопией поэта.

В «Сайгоне» было более демократично, да и стратегически он был очень удобен. Поэтому постепенно возникало все больше и больше знакомых, которые предпочитали местом встречи именно «Сайгон», и я потихонечку входил в разного рода круги: Гарик Лонский, допустим, и Виктор Топоров, которые неиз-

* Перипатетики (от греч. *peripatetikos* «прогуливающийся») — последователи философии Аристотеля. Такое название философской школы, основанной в Афинах в 333 до н. э., возникло потому, что, по преданию, Аристотель читал своим ученикам лекции во время совместных прогулок. — *Прим. ред.*

** Беседовала Юлия Валиева.

бежно при встрече друг с другом пикировались. Лонский — это совершенно фантастическая фигура, умница, золотые руки. Он учился на режиссуре у Товстоногова. Был и дизайнером замечательным, и актером иногда подрабатывал где-то... Да и вообще был в ту пору явлением блестящим — по такой уличной эрудиции, остроумию необыкновенному, реагентности. Ну, и злословию, конечно же. Он очень дружен был с Деликом Таболовым, который занимался тем, что писал иконы. У них была компания: Лонский, Делик Таболов и А. Б. Иванов. Делик Таболов в начале 1970-х ухитрился уехать, а они остались вдвоем, такие два неразлучных друга.

Были в «Сайгоне» персонажи всем известные — Витя Колесников, например... Коля Беляк очень часто приходил, но он, как правило, стоял один. У каждого были какие-то свои места: кто-то был в глубине, кто-то — ближе к выходу.

— А из поэтов?

В ту пору Лена Шварц, Витя Кривулин, Боря Куприянов, Олег Охапкин — это была такая своя компания. Они тоже так или иначе имели отношение к «Сайгону». Не знаю, посещала ли «Сайгон» Лена Шварц, но пару раз она там тоже была. Чтобы очень долго там сидели — я бы не сказал, но иногда притаскивали с собой бутылку вина, из-под полы наливали в кофейные чашечки и продолжали беседу, когда уж совсем некуда было пойти.

— Что писал тогда Борис Куприянов?

Боря Куприянов был очень интересным поэтом, в те годы писал достаточно изощренные стихи. Это был расцвет такого маньеризма петербургского, когда пережитый уже Серебряный век заплетался в барочные спирали...

— Евгений Вензель входил в ту же компанию?

Вензель автономен был, отделен... Он был близким другом покойного Кита (Толи Ромма). Это была еще одна компания — Кит, Вера Стрелкова (она сейчас в Америке, математик, очень успешна в своей области), Вензель, Коля Беляк, Виктор Топоров.. Опять же, этот круг пересекался и с А. Б. Ивановым, и с Лонским... Коля Беляк жил недалеко от «Сайгона», у него была квартира где-то во дворах, сразу же у пивбара «Жигули». Тоня Славинская, бывшая жена Беляка, была редактором, они часто вместе с Топоровым переводили с английского. Сам Топоров переводил и с немецкого, он на тот момент уже был признанным переводчиком, профессионально зарабатывал этим деньги.

— А чем занимался Толя Ромм?

Ничем. Когда спрашивали: «А чем же все-таки занимается Делик Таболов?» — Лонский отвечал: «Как — чем? Он говорит!» Так вот, Толя Ромм *был*, и это достаточно много. В том смысле, что не просто *был*, а *являлся*, да и показывал себя... Потом уже возник Курёхин с компанией, с музыкантами. Он был со всеми и ни с кем, я бы так сказал. С Курёхиным я был дружен где-то с 1970 года, когда он еще жил на проспекте Победы. Он часто бывал у меня... Они были в родственных связях Эриком Горошевским.

— А как вы познакомились с Курёхиным и Горошевским?

Я учился на театроведческом факультете, искал нетрадиционные формы... А как раз тогда возникла группа «Аквариум», настоящая, с Джорджем-барabanщиком (Анатолием Гунником). Гаккель и Дюша одновременно еще работали как актеры у Эрика Горошевского в спектакле «Невский проспект». Думаю, это 1972–1973 годы. В клубе общепита на Новоизмайловском у Горошевского была студия, небольшой зальчик. Меня познакомила с Курёхиным Лена Лозинская, которая имела отношение к другому кругу людей — Вячеслав Дреер, Валера Швер, жена его Наталья Швер — это компания театроведческого факультета. Лена знала всех, и Эрика Горошевского, и черта в ступе. Я отчетливо помню, как Курёхин мне сказал: «Давай писать балет, чтобы там только пели».

Я говорю: «Пели и потом еще разговаривали». А он: «Легко». Вот так посмеялись, разговорились и оказалось, что мы много знаем друг о друге... Курёхина тогда опекал Леша Фейгин, который уехал в Лондон: у него была студия звукозаписи и он выпускал диски альтернативного джаза. Сережа тогда, по-моему, бесконечно учился на первом курсе института культуры. Позже, в начале 1980-х, мы с Горошевским вместе работали над одной постановкой. Каким-то образом еще при советской власти «оторвали» чердак на Чернышевского, 3. Там возник театр, который назывался ТРИ — «Театр реального искусства». Я помогал Эрику делать инсценировку «Сад» по Битову. До сих пор где-то валяется битовская записка, с разрешением на постановку.

— **Какие театральные принципы были у Горошевского?**

Горошевский был совершенно помешан на работе с актером. Я думаю, что это влияние Товстоногова — ведь он тоже его выпускник. Горошевский микроскопически работал с актером, и в результате помешался на этом.

— **В чем заключалась его работа с актером?**

Она сводилась к тому, что он бесконечно репетировал. Процесс становился такой тотальной репетицией — десять, пятнадцать лет... Актер уходит, приходит новый, тоже попадает в эту паутину, потом просыпается, плюет, уходит, приходит.

Николай Беляк — тоже режиссер. Они с Горошевским были конкурентами, соперниками идеологическими, в художественном смысле, в эстетике. Один делал свой театр, другой — свой.

— **Кто еще из театрального круга бывал в «Сайгоне»?**

Молодые актеры, начинающие режиссеры заходили с однокурсниками. Леша Лебедев, Митя Светозаров... Они все поступили, чтобы сразу, на следующий год, перескочить к дяде Алексею — Георгию Товстоногову. У нас была какая-то зыбкая компания, безо всяких особых очертаний... Додик Смелянский, он был директором театра им. В. Комиссаржевской, затем театра миниатюр Аркадия Райкина, а сейчас профессор, у него свой курс «Работа продюсера». Это был фонтан энергии. И тогда у него была жилка такого бесконечного продюсерства, антрепренерства. Мы с ним вместе работали в Смоленске, он был там директором театра, я — завитом. Это был ужас какой-то, это театр-кошмар. Там сидело в зале два человека. Люди туда ходили потому, что это было единственное место в городе, где вечером продавалось пиво. Актеры пьяные, грязные... Я проработал там год после того, как ушел с театроведческого факультета, — зарабатывал деньги.

Потом я стал дружить больше с художниками... С Игорем Захаровым и всей компанией. Начались более серьезные, взрослые отношения. Первая выставка нефигуративного искусства проходила в 1976 году в Доме культуры им. Орджоникидзе на 18-й линии Васильевского острова. Это клуб судостроительного завода. Я был пресс-секретарем этой выставки. Как раз после ее открытия ко мне подошел Борис Иванов и предложил принять участие в издании журнала «Часы». Я был членом редколлегии «Часов» все время, пока журнал выходил... Он десять или пятнадцать лет существовал! До перестройки!

— **Вы тогда предпринимали попытки публиковаться?**

В 1971 году я пошел в журнал «Аврора». Он еще находился на Литейном, и там был завотделом поэзии Лидия Гладкая, которая почему-то ко мне тепло очень отнеслась и совершенно неожиданно рекомендовала меня на какой-то слет писателей Северо-Запада или творческую конференцию писателей Северо-Запада. Однако тут же получила от некоего Самуила Бахтина отповедь, на бланке с печатями: «То, что вы предлагаете, не имеет никакого отношения к литературе». И этим закончилось мое отношение к так называемой большой серьезной советской литературе.

— **Что вы тогда читали?**

Сказать откровенно, у меня тогда не было никакого любопытства к тому, что мы называем советской литературой... Мандельштам, Хлебников, Серебряный век... Читал Толстого, потому что любил Толстого, читал Тургенева, а также то, что мог найти в переводах в «Иностранной литературе», публикации в «Вопросах философии»... Все это медленно соединялось в общую картину. Очень много было таких критических исследований, в которых, с одной стороны, с позиций марксистско-ленинской эстетики все эти явления незнакомой нам западной культуры подвергались бичеванию, а с другой стороны, приводилось достаточно много объективного материала в виде цитат. По этим цитатам можно было составить собственное представление, это был такой процесс «подтягивания» разрозненных фрагментов универсальной мировой культуры. И потом, в театральном институте был достаточно серьезный курс западноевропейской драматургии, начиная от античности...

Таня Горичева и Борис Гройс имели возможность читать на немецком языке. Таня иногда какие-то вещи переводила, читала лекции, но что люди могли тогда понять в Хайдеггере, если они не владели аппаратом ни Канта, ни Гегеля... Ведь для этого нужно было пройти какой-то путь... А хотелось сразу получить бонусы, написать так, чтобы сверкало...

Я был с Горичевой, Кривулиным, Гройсом в достаточно близких отношениях, но мы не переступали какого-то порога. Они относились к тому, что я делал, естественно, поскольку я делал совершенно иные вещи, чем они. Они принадлежали к ленинградско-петербургской традицией, а я стоял от нее в стороне. Корни мои, если прибегать к такой глуповатой метафоре, залегали в совершенно других почвах. Я приехал из Винницы, где культуры смешаны: польская, украинская, еврейская... У нас все читали по-польски, а в Польше тогда очень многое печаталось: сюрреалисты чешские и польские, например. Кафку я в первый раз читал именно по-польски.

Когда я попал в совершенно другую культуру, то чувствовал себя эмигрантом. Нужно было адаптироваться.

...Очень многое, конечно, тогда просто витало в воздухе. Ты схватывал это — и получал то, что тебе было нужно.

Сергей Коровин

«САЙГОН» КАК «САЙГОН»

И что только не рассказывают теперь об этом кафетерии! Одни утверждают, что там был некий творческий центр Северной столицы, другие что-то разводят об особой духовности, третьи — еще чего-то. И мы с ними спорить не будем: пускай — возможно, они к этому относились именно так. И спасибо им, ведь именно благодаря их усилиям теперь, наверно, все уже знают и когда этот «Сайгон» открылся, и когда он закрылся, и кто из серьезных людей был его посетителями, и какое значение... и прочее. Что сюда добавишь? Только какие-нибудь детали. Но на таком расстоянии ничего уж не разглядеть. И еще одно обстоятельство оправдывает наше бессилие: разве помним мы под солнцем Йорка, что позади зима тревоги нашей?

Однако в отношении этого самого «Сайгона» не все еще доподлинно раскумекано. Никому, например, и по сей день неясно, почему все городские и междугородные маршруты перемещения весьма многочисленных индивидов пролегли исключительно через перекресток Владимирского и Невского. К примеру, ежедневная дорога с Университетской набережной на Гаванскую улицу в те времена проходила именно через «Сайгон» и занимала часов восемь, тогда как на поездку

в автобусе от Гаванской до факультета уходило минут двадцать — двадцать пять. И с Петроградской на Финбан некоторые тоже ехали часов по десять — двенадцать, а то и вовсе никуда не приезжали и через несколько суток — усталые, но довольные — возвращались домой, так и не собрав ни грибов, ни ягод, и не проведая дорогую бабушку на даче в Каннельяви. Часто бывало, что дева, отправленная за картошкой где-нибудь в Купчине, обнаруживала себя через некоторое время не в зеленой лавке, не на базаре, а на известном углу, причем в такой час, что уже ничего, кроме водки, нигде не купишь ни за какие деньги. Или еще веселее было, когда, скажем, некто, спустившийся во двор на Декабристов с переполненным помойным ведром и заглянувший по дороге к мусорному баку на чашечку кофе в «Сайгон», вовсе никогда в тот дом не возвращался. Таких примеров не счесть. Вы скажете: для бешеного зайца сто верст — не крик. Но почему именно таким образом — в смысле, что непременно включая «Сайгон»? О, то-то! Вообще-то, подобные места на земном шаре обычно называют как-нибудь нетривиально: «Долина смерти», или «Пойдешь — не вернешься», или «Бермудский треугольник», или еще как — короче, «нехорошее место». Хотя что значит «нехорошее»? Между прочим, в те времена любой, прибывший хоть на Московский вокзал, хоть на Витебский, хоть на Варшавский, хоть на какой, чесал прямо в «Сайгон» (откуда они, интересно, о нем знали?) и там запросто, объяснял ситуёвину: мол, мы тут приехавши — разумеется, с гуманитарными целями — и мечтаем, кстати, найти человека по имени такому-то... (Мобильников тогда не изобрели еще, а автоматы все сплошь были раздолбанные — и куда деваться?) И им, как правило, отвечали: мол, такой-то обычно является после пяти. Или смеялись прямо в лицо: «Щас, будет он вам тут, когда в «Гастрите» пиво в двенадцать выкинули». Или еще как-нибудь в том же духе, потому что вокруг тоже были замечательные точки навроде «Колокольной», «Стремняной», «Зеркал», а уж оттуда прямого обратного хода не было — явное распитие тут всяко преследовалось тоталитарным режимом, и с этим делом надо было проводить время жизни в недальних окрестностях типа «Пале-Рояля», «Больнички» или любой парадной. Вот там-то и решались всякие творческие вопросы, потому что тут мигом загребут в упаковку.

Вот, представьте, что вы стоите, пьете свой маленький двойной, а тут подваливает какое-нибудь юное дарование вроде Женьки Кушнера и хвастается, что оно типа рассказ написал. «А как называется», — интересуетесь вы, и оно застенчиво мямлит, что называется оно так: «Я стою и пью кофе». «Хо, — радуетесь вы, — оригинально-то как!» И даете ему совет: мол, а возьми-ка ты, Жень, в «Зеркала» «дядьку в шляпе» и подожди в «Пале-Рояле» — ща мы туда подтянемся и все проанализируем.

Приблизительно так все это и выглядело. Потому что мы были тогда молоды и бессищены. И когда кто-нибудь из приезжих каких-нибудь, особенно заграничных, вежливо осведомлялся: мол, не видели ли вы тут поэта Кривулина — хорошим тоном считалось указать на вечно околачивающегося у входа местного колченогого попрошайку Витю Колесо: «Да вот ваш Кривулин». И дико ржали, глядя на их изумленные рожи: Колесо-то на все их вежливые обращения, представления и прочее отвечал одним неперменным требованием: «Ды-ды-даай мы-мы-мне наа мааленький ды-двойн-ной!»

Но это было такое время. В нас кипели вперемешку юношеский максимализм и ненависть к постылой совдепской действительности. Не смейтесь, тогда только последние подонки могли чувствовать себя хозяевами жизни, а мы — боролись. Да, каждый стакан бормотухи был ножом в спину большевиков: нет, мы не будем такими, как вы, не дождетесь! Сейчас многим это видится так. И только теперь, пережив подлый и лживый диктат всевозможных Лукичей—Кузьмичей, мы избавились от

ненависти и освободили наши сердца для любви. А любовь не бывает ни поздней, ни ранней — она всегда просто любовь. И нисколько не жаль пресловутой молодости, этой зимы тревоги нашей, поскольку с солнцем нам возвратилось лето.

Пусть сие и звучит несколько пафосно, но это именно тот случай, когда все к месту.

Юрий Кублановский ТАЙНА «САЙГОНА»

Во-первых, почему же «Сайгон»?

Почему кафе на углу Невского с Литейным, которое стали посещать питерские неформалы — а потом к ним присоединились и московские — получило вдруг такую кликуху? Я лично (быть может, на уровне подкорки) всегда считал так: «Сайгон» — символ сопротивления коммунизму. Ведь и впрямь, не могло кафе, *свое* для людей свободомыслящих, инакомыслящих, инакочувствующих — называться, скажем, «Ханой». Тогда все мы, кто в силу своего общественного темперамента, а кто и просто в пику Совдепии, мысленно воевали отнюдь не на стороне Северного Вьетнама. Американцы, американская культура, свободолюбие — были тогда наши союзники. Все, кто ходил в «Сайгон» пить кофе, по вечерам слушали западные «голоса» и безусловно их идеологию разделяли.

В том, что питерские неформалы облюбовали для встреч именно кофейню, был немалый логичный культурный смысл. В Москве «Сайгоном» скорее стала бы пивная. Московская самиздатовская поэзия всходила на алкоголь. Питерская — на кофе. А потому, следуя своеобычным культурным традициям, она всегда была более декадентской и элитарной, чем поэзия московская, чье лирическое начало и публицистичнее, и народнее...

Было время, когда я ездил в Питер чуть ли не по два раза в месяц. Благо, билеты стоили копейки, а Питер для меня был почему-то глотком свободы. Хотя, на самом-то деле, диссидентство в Москве чувствовало себя, конечно, намного вальяжнее.

И, приезжая в Северную Пальмиру, как было не пойти прежде всего в «Сайгон»? Казалось, что и кофе там намного лучше, чем в московском общепите. Лишь пожив на Западе и вдосталь потоптавшись там у барных стоек, я понял, что был этот кофе — бурдой.

Питерская поэзия была моею любимой. Пока существовал в Питере Бобышев, я останавливался у него и с любопытством впитывал его полуапокрифические рассказы о героическом прошлом 1960 годов. Да и московские мои старшие коллеги Рейн и Найман — ведь были (и остаются) по сути петербуржцами. Хотя Москва, конечно, обоих их хорошо потрепала...

Но уж поэтический мир жившей тогда на Черной речке Елены Шварц так меня захватил, так привлек сам ее облик, так я, попросту говоря, полюбил ее — что все это навсегда стало веской составной частью моей жизни.

Великое было время — великое своей контрастностью, контрастностью подлого официоза и нашего бескорыстного бытия. Наше дело было — поэтическое служение. И проходило оно — отчасти — в «Сайгоне».

Жаль, что теперь от «Сайгона» ничего путного не осталось. Но ведь, впрочем, ничего не осталось и от «Ротонды» в Париже. Дух места выветривается вместе с исчезновением тех, кто его создавал.

Но пока живы — мы помним тебя, «Сайгон».



М. Петренко. Офорт «Сайтон» из серии «Линии жизни». 1980 г.

НЕ ТОЛЬКО О «САЙГОНЕ»...

У кафе «Сайгон» были предшественники. В начале 1960 годов в Ленинграде было известно «Кафе поэтов» на Полтавской улице. По замыслу создателей, ему предстояло стать местом встреч литераторов, художников, диспутов «физиков» и «лириков» и т. п. На деле это выродилось в заурядное заведение «общепита» с легким налетом абсурда: посетители за столиками пили кофе, ели пирожки, а поэты читали стихи. Я побывала там однажды с Виктором Кривулиным. В тот вечер выступал он, Александр Морев, нашлись стихотворцы и среди посетителей. Распорядитель призывал устроить обсуждение, но желающих не оказалось. Все было чинно, формально, скучно, и вскоре «кафе поэтов» заглохло. Примерно к этому времени сформировался круг завсегдатаев кафе на Малой Садовой улице. Там собирались поэты Владимир Эрль, Тамара Буковская, выступавшая в то время под псевдонимом Алла Дин, Александр Миронов, Евгений Вензель и другие. Были здесь и молодые люди, причастные к кино: помощники операторов, осветители, такелажники на телевидении и на «Ленфильме». Они были снобами и взыскательными ценителями киноискусства; от одного из них я впервые услышала о фильме «Андрей Рублев», который вышел на экраны гораздо позже. Кафе было крохотным, поэтому разговоры и обсуждения проходили на улице возле него или в садике неподалеку. Там поэты читали друг другу стихи, пили дешевый портвейн и чувствовали себя привольно. В отличие от воспитанников клуба «Дерзание», они были знакомы с поэзией обэриутов и подражали не только стихам, но и стилю этой группы. Вид Эрля, в широкополой шляпе и длинном пальто, был почти цитатой из стихов Николая Заболоцкого о друзьях: «В широких шляпах, длинных пиджаках...» К жанру в стиле обэриутов относится и запомнившаяся мне прогулка с поэтом Александром Мироновым. Какой-то неразумный профсоюз доверил ему платежные марки, и он наклеивал эти марки на каждую скамейку, на которой мы сидели. К концу нашей прогулки профсоюз был разорен. Кафе на Малой Садовой во многом было предшественником знаменитого «Сайгона».

Я бывала в «Сайгоне» не часто — главным образом, в начале 1970 годов, — поэтому просто поделюсь впечатлением. В длинном, узком зале было грязновато, здесь варили скверный кофе, но многие посетители проводили здесь целые дни. Публика была пестрая: литераторы, художники, дельцы книжного «черного рынка» и разного рода неясные личности, среди которых запомнился некто Колесников — суетливый человек средних лет, который отирался у столов, прислушиваясь к разговорам. Его считали стукачом, но, возможно, он просто наслаждался причастностью к беседам интеллектуалов. Оказавшись в этом волшебном месте, посетители преображались. В импозантном, стилизовавшемся под Эренбурга господине, с важным видом курившем трубку, я едва узнала гардеробщика Фиму, который принимал и выдавал пальто студентам на филфаке. В «Сайгоне» он был известен как крупный делец книжного рынка. Знакомые литераторы вели здесь столь глубокомысленные и туманные разговоры, что понять их было трудно, но девушки за соседними столами поглядывали на них с интересом. Среди этих девушек были красавицы, и некоторые из них удостаивались благосклонного внимания литераторов. Это был своего рода театр, в котором каждая группа разыгрывала свое действо. Я помню, с каким любопытством его разглядывали трое высоких, серьезных, строго одетых молодых людей: Лев Рудкевич, Галина Старовойтова и Владимир Руденко — талантливый ученый, вскоре погибший в автомобильной катастрофе. Им было не место среди этой разночинной публики, и, постояв немного, они удалились. В числе завсегдатаев «Сайгона»

были поэты Виктор Ширали, Виктор Топоров, Николай Беляк, Петр Чейгин, Евгений Вензель, Борис Куприянов, Марк Мазья, режиссер Михаил Богин и другие. Это был парад юношеского самолюбия: они дружили, соперничали, ссорились, неутоlimо острили и сочиняли грубоватые эпиграммы. Ширали, с «пушкинской» тростью, был невыразимо томен, Николай Беляк — подчеркнуто ироничен, Куприянов и Чейгин — нервны и ершисты, Богин и Мазья — смешливы с оттенком шутовства... За этой игрой было стремление самоутвердиться, определить свое место в литературе. Все разрешилось с появлением «второй литературной действительности» в противовес официальной, когда каждый из них сделал свой выбор. Единственным, кто оставался невозмутимым в кофейном чаду «Сайгона», был Виктор Кривулин, теоретик и стратег «второй культуры», — его выбор определился гораздо раньше.

Если говорить о ленинградских литературных салонах, то в первую очередь надо упомянуть Эру Борисовну Коробову. Она принадлежала к ближайшему ахматовскому кругу, была женой Анатолия Наймана, но ко времени нашего знакомства это осталось в прошлом. Я редко встречала людей со столь страстным интересом к искусству. В своей страсти она была демократична: посещала музейные выставки и квартирные выставки «неофициалов», филармонические концерты и конспиративные концерты питерских рок-групп, взбиралась в мансарды и спускалась в полуподвалы, где устраивались литературные чтения или спектакли. (Один из таких спектаклей, «Пир во время чумы», поставила юная поэтесса. Актерами были ее столь же юные друзья. Постановкой это можно назвать условно: сгрудившись вокруг стола со спиртным, мальчишки выкрикивали монологи, то и дело прикладываясь к бутылкам и вскоре так очумели, что едва довели действо до конца.) На приемах в доме Эры Борисовны все происходило иначе: она заранее продумывала список приглашенных, среди которых были филологи, историки и искусствоведы — ее сослуживцы по Эрмитажу. В ее доме читали стихи Белла Ахмадулина, Дмитрий Бобышев, Евгений Рейн, пел Булат Окуджава... Другие известные мне попытки создать салон были не столь удачны. Однажды я выступала и потом несколько раз бывала в доме на окраине Невского района. Хозяйка, объясняя, как ее найти, указала ориентир: по соседству есть дом с мемориальной доской; кажется, там издавали газету «Искра» и несколько раз бывал Ленин. Не знаю, как проходили встречи подпольщиков «Искры», но обстановка, в которой читали стихи, была почти подпольной: слушатели сидели на полу вдоль стен пустой комнаты, выступающий — в центре. Из-за непривычного даже для нас аскетизма этого «салона» и трудности пути на окраину он просуществовал недолго. Знакомство с другим литературным салоном, на окраине Купчина, обернулось курьезом. Его хозяин долго донимал меня приглашением, напирая на то, что у него уже «все читали». Человека этого я не знала, ехать не хотелось, но он был настойчив, и я согласилась. С трудом нашла дом и квартиру, где уже ждали гости, однако хозяина среди них не было. Мне объяснили, что он так утомился организацией приема, что успел выпить, и теперь спит в соседней комнате. Начали без него: я читала стихи, один из приглашенных — рассказы, потом завязался общий разговор, и разошлись мы к полуночи. А наутро позвонил хозяин с горькой обидой — почему я подвела его и не пришла вчера... Впрочем, литературные салоны не играли особой роли в нашей жизни, гораздо важнее были дружеские кружки. Я часто бывала у Кирилла Бутырина в Царском Селе, где собирались Андрей Арьев, Борис Рохлин, Сергей Стратановский и Александр Жидков, потом много лет — у поэтессы Елены Пудовкиной. В этот кружок входили Стратановский, Олег Охупкин, поэтессы Елена Дунаевская, Елена Барихновская, Алла Минченко и другие. Кружков было много, они складывались по принципу сходства взглядов, интересов, отношения к литературе. Эти маленькие объединения сыграли важную роль в преодолении разнородности литературной жизни.

Местом встреч «неофициалов» с начала 1970 годов был дом Юлии Вознесенской. Вернее, не дом, а комната в коммуналке на улице Жуковского. Там бывали выставки картин, застолья с чтением стихов, но это был не салон, а скорее штаб, где проходил смотр сил неофициальной культуры. Многие из тех, кто составлял ее основу в 1970—1980 годах, познакомились у Вознесенской. А интеллектуальным центром этого сообщества был дом Виктора Кривулина. Разговоры, встречи, собрания в его квартире на Большом проспекте Петроградской стороны, в значительной степени влияли на становление и развитие «второй литературной действительности».

Анатолий Белкин

УГОЛ НЕВСКОГО И СУДЬБЫ*

Ресторанов, где можно было выпить, на главной улице пятимиллионного города имелось три: «Крыша» в гостинице «Европейская», куда ходили, главным образом, знаменитости старшего поколения, «Метрополь», где давали замечательный бульон со слоеным пирожком и котлетку по-киевски (туда шикарно было сходить с девушкой на обед — сразу устанавливалась прочная дружба) и знаменитый «Кавказский».

Из кофеен была Малая Садовая, где варили очень дешевый и очень вкусный кофе, и «Сайгон», где кофе был также первоклассный.

Кафе на Малой Садовой и «Сайгон» отличались, потому что на Малой Садовой больше собирались художники: пили кофе, потом делали небольшой променад к садику, и в садике общение продолжалось на скамейках. А в «Сайгоне» кого только не было! Все толпились у входа, курили, а потом снова ныряли внутрь.

«Сайгон» был своеобразным клубом, где мы узнавали новости. Можно было прийти в любое время дня и все узнать: где читают поэты, кто с кем и где. Особенно часто я ходил в «Сайгон» с человеком старшего, как это ни странно, поколения — Борисом Борисовичем Безобразовым, великим коллекционером, из таких мастодонтов, как Г. Д. Костак, Яков Моисеевич Рубинштейн или А. Ф. Чудновский. Так вот, Борис Борисович по воскресеньям всегда пил в «Сайгоне» двойной кофе, со всеми раскланивался. Он тогда был совсем молодой — ему было лет семьдесят. И я с ним пил.

Там были разные персонажи: литератор Боря Останин, прозаик Юра Гальперин, Алексей Александрович Козырев, поэт Петя Чейгин (кличка у него была «Чайник»), такой основательный, спокойный; Боря Кошелухов, художник; гранд-Борис (Боря Кудряков), фотограф. Были художники Коля Аксельрод, Игорь Захаров-Росс. Иногда в шляпе, в каком-то шлафроке и в широких сапогах с ботфортами появлялся Андрюша Геннадиев, он все время играл в такого странствующего рыцаря. Да им и был, собственно. На Малой Садовой и, конечно, в «Сайгоне» бывал Владимир Овчинников, из следующего поколения — Тимур Новиков, но я его не помню. Из поэтов часто зааживали Виктор Ширали, Борис Куприянов (ныне священник), Виктор Кривулин, который мог провести в «Сайгоне» целый день. «Сайгон» отличался крайним разнообразием типов.

В «Сайгоне» можно было курить — я, по крайней мере, курил. Куришь, а если заметят, то говорят: «Выйдите, выйдите!» Выходили, курили у входа и опять ныряли.

* Беседовала Юлия Валиева.

Вообще, это был клуб: стояли, беседовали... «Сайгон» быстро стал своим местом. Было шикарно пить кофе среди красавиц из университета с филологического факультета и поэтов.

Тогда было очень модно говорить «свой» — «стукач». Предупреждали, пока в очереди стоишь: «Ты ничего не говори, за тобой стукач».

Было два зала. В одном даже ели. Но тех, кто ел, мы презирали: в «Сайгон» не ходят, чтобы есть. В «Сайгон» ходят, чтобы пообщаться, посмотреть друг на друга и поспорить о том, кто какую книжку прочел, даже не поспорить, а похвастаться. Вот для чего ходили в «Сайгон». Но не есть же вульгарно!



Анатолий Белкин и девушка. Фото О. Корсуновой

Что мне запомнилось из увиденного в то время? Саша Кожин показал мне альбом Пауля Клее. Ничего подобного я раньше не видел. Прошло сорок лет, а я помню каждую картину. В Академии художеств демонстрировали фильмы режиссеров «новой волны»: Ф. Трюффо, Ж.-Л. Годара. Впечатление они производили потрясающее. И документальные фильмы. Вдруг я увидел парижскую Оперу с росписью М. Шагала и, конечно, целую неделю рассказывал про это в «Сайгоне». На Васильевском в кинематографе посмотрели «Андалузского пса» Бунюэля и Дали. Так мы воспитывались. Мы все время мчались что-то смотреть, и если кто-то чего-то не видел — с ним даже говорить было не о чем!

Я носил с собой книгу Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», пока в телефонной будке не забыл ее. Мне очень нравилось то, как герои в этом романе пьют вино. И мы, поначитавшись Хемингуэя, стали есть и пить то, что пролетарии не ели и не пили. Водку мы не пили, потому что водку вся страна пила, а мы же художники и поэты, поэтому мы пили сухое вино. Сухое вино тогда было ниже всякого уровня. «Алиготе» — кислятина редкостная. Только природная стойкость и молодость не дала нам умереть от язвы желудка. Но когда мы, отстояв очередь, брали две бутылки сухого вина, продавщица смотрела на нас как на инопланетян. К сухому вину мы покупали креветки. Рядом с домом Мертенса, на Невском, был знаменитый рыбный магазин. Воняло от него за версту. Можно было быть слепым

и все-таки безошибочно прийти в этот рыбный магазин. Там продавались креветки. Люди в стране не знали, что это такое. Никто, кроме нас, их не брал, как и маслины. Так мы интуитивно двигались в правильном направлении.

* * *

Я оказывался в разных местах с колоссальной легкостью. Илья Левин (будущий консул Соединенных Штатов Америки) тогда работал ночным сторожем на лодочной станции вместе с Виктором Ширали. Их деревянная будочка находилась на реке Карповке. Я там тоже бывал. У них там было очень романтично: тепло, топчан, книжки лежали, было сгущенное молоко, бутылка вина всегда тут же. Денушки приходили. Все друг другу писали стихи на стенах.

Ходил в гости к Владимиру Эрлю. Он меня всегда поил чаем. Эрль был очарователен! У него все книжки стояли не как у нормальных людей корешками вперед, а вперед страницами, но он безошибочно вынимал нужную. Эрль был очень аккуратный, высокий, стройный. Ходил в шляпе. Рыжие усы. Красавец невероятный!

Эрль курил «Беломор». У него был один трюк: он носил с собой маленькие маникюрные ножницы, с загнутыми концами, ставил пачку «Беломора» и вырезал в ней дырочку, чтобы выбить папиросу. Вырезал всегда три буквы «нал». Получалось вместо «Беломорканал» — «Беломорка». Страшно веселился и всем показывал.

Однажды у меня в мастерской он заваривал чай. (У них был культ чая. Элик Богданов и Эрль были настоящие чаевники). Володя говорит: «А-на-то-лий, сейчас я Вам сделаю чай». Он мне полчашки налил. Крепчайшего какого-то чифирия. Я взял чайник и долил кипятком. У Володи вытянулось лицо, он говорит: «То-ля, чай водой разбавлять — только желудок портить».

Ездили к Давиду Яковлевичу Дару, отцу и учителю всех ленинградских поэтов, мужу Веры Пановой. Про них была написана такая эпиграмма:

Хорошо быть Даром,
Получая даром
Каждый год по новой
Сборники Пановой.

Давид Яковлевич был метрового роста; на животике с помощью старомодных подтяжек держались штаны, из них вылезала голова Голова Черномора с трубкой во рту. Клубы дыма. И подтяжки. Он угощал поэтов бутербродами и наставлял. В комнате у него чудно пахло табаком.

У меня есть фотография, где я его провожаю, когда он улетает навсегда. Он мне говорил: «Толенка, я уже начал учить иврит. Я хочу купить ослика и буду на ослике ездить по Иудее. И выучил две фразы: “Простите, сколько это стоит?” и “Благодарю Вас, это слишком дорого”».

Особо нужно сказать об Алексее Александровиче Козыреве, брате Николая Александровича Козырева, астронома великого. Алексей Александрович жил в Купчине, писал стихи. У них был очаровательный дом. Книг было масса. Марьяна Львовна, его жена, необыкновенно вкусно готовила. Всегда у них какая-нибудь паливочка была. Я там просто жил! Алексей Александрович прогуливался по Петербургу, где-то работал, но впечатление было такое, что он только и делает, что ждет нас, чтобы покормить и поболтать. Я был просто в него влюблен!

Дамы у нас были красавицы — все. Милейшие девушки! Брали к себе, как только родители у них уезжали, и старались нас накормить. У нас всех по очереди

был роман с Сонечкой по кличке Череп. Она была машинист котельной, и у нее была жилплощадь в доме 112 на Невском проспекте. Весьма символично, что в доме было несколько выходов: на Невский, 112, на Невский, 108, на ул. Маяковского и на ул. Восстания. Символично потому, что сначала я был влюблен в Сонечку, потом в нее влюбился Боря Куприянов, а в результате женился на ней Эрль!

* * *

Я очень любил бинокли. Помню, как в очередной бинокль я смотрел на ворон, которые кружились над Исаакиевским собором. Бинокль так приближал хорошо! Я прямо лапки у них видел, характер каждой вороны! Я смотрю и смотрю,

завороженный. Вдруг мужик какой-то ко мне подходит и спрашивает: «Простите, куда Вы смотрите?» А я ему и отвечаю: «Только на Запад». Он как убежит!

Я обожал Исаакиевскую площадь, Александровский садик, — там прошло мое детство, мы с няней гуляли. Няню я страшно любил. Это была такая рязанская деревенская бабушка, очень старенькая, как мне казалось. (Хотя ей лет тридцать, может, было.) У нее было три абсолюта. Первым был я — она меня безумно любила! Вторым было пиво, и третьим был Ленин. Может, я перепутал порядок, но это были основополагающие вещи, ее сквозная любовь. В Александровском садике располагалось кафе «Парус», такого страшного зеленого цвета, каким красят коридоры в присутственных местах. Там давали пиво, «с подогревом» и без. И на блюдечках лежали бутербродики с колбаской (она так немножко загибалась) и с икрой (уже покрытой под-



А. Белкин. Иллюстрация к повести Р. Хармса «Старуха». 1972 г.

сохшей корочкой, потому что ее редко брали — дорого). Няня во время прогулки подходила, брала себе кружку пива, а мне — маленькую «с подогревом». Я ведь маленький, на саночках. И покупала мне из своих денег бутерброд с черной икрой. Так как я не мог его съесть целиком, она откусывала булочку вокруг, оставляя мне саму эту горочку икры. Я выпивал пивка и спал, и розовым меня

привозили домой, и все думали, что я отлично гуляю. Так продолжалось до тех пор, пока однажды моя мама, известный детский врач, идя с приема в неурочное время, не решила посмотреть, как мы гуляем в Александровском саду, и застукала няню в тот самый момент, когда она вливала в меня пиво. Ой, что было! Няня вылетела с треском. Я так плакал! Это была такая нервная травма, от которой я не оправился до сих пор.

* * *

Первая выставка, в которой я участвовал, была в Дегтярном переулке, в мастерской у Володи Овчинникова (еще до всяких Невских). Потом К. Кузьминский организовал в университете на психологическом факультете выставку графики и графики-фото*. Там Олег Лягачев показал мне, как нужно делать паспарту. Он взглянул на мою работу: все криво, клеено ужасно. Я до сих пор помню, как он посмотрел и говорит: «Надо переделать. Я помогу. А то как-то нелепо». Вот это слово «нелепо»...

Помню, как Кузьминский открыл заседание, на котором обсуждалась выставка. Я тогда в первый раз в жизни упал в обморок. Причем случилось это прямо во время моего выступления, потому что я с Кузьминским в женском туалете выпил огромную бутылку плодово-ягодного вина, а перед этим я два дня не ел вообще. Ну и грохнулся, меня откачивала Марьяна Козырева, и поливали водой. Уже начал выступать новый какой-то человек, а я хотел продолжить, но не мог.

Потом была выставка «Под парашютом» у Кузьминского дома, на Конногвардейском бульваре. Как там обычно проходило? Кузьминский лежал на диване, и шел бесконечный шлейф людей, а главный пиит возлежал, всех учил, всем оказывал менторскую поддержку. Он курил «Шипку» бесконечно. Такие желтые пальцы, огромные длинные ногти. Халат. Борода. Кока редко выходил на улицы, но когда выходил, надевал кожаные штаны, которые ему Шемякин подарил, коричневые, невероятной красоты. А поскольку штаны были единственные, их надо было беречь, он их смазывал касторкой, отчего они чудо как блестели. И вот идет Кока с палкой, с клюкой такой, бородастый, в этих кожаных штанах!

В 1976 году для пиратского издания Гелий Донской заказал мне иллюстрации к «Мастеру и Маргарите», которые потом купил у меня Нортон Додж: 30 иллюстраций пером — по 15 рублей штука (в 1977 они вышли в издательстве Карла Проффера). В тот момент я чувствовал себя миллионером...

* * *

Мы с Галкой, матерью моей дочери, сняли комнату в квартире на страшной улице, за Балтийским вокзалом, не помню уже сейчас ее название. Район мрачный! Первый этаж... Спасал только аромат хлеба — там был неподалеку маленький хлебный заводик. Мы поселились в той самой квартире № 37, где в соседней комнате жили молодожены В. Кривулин и Т. Горичева. Мы все жили в одной квартире.

Как мы там жили? Там было дикое количество бутылок, все пили, и у нас были тропинки между бутылками в ванну, в туалет и в другие важные места. Вдруг однажды

* В однодневной «Экспериментальной выставке графики и графики-фото», организованной К. Кузьминским на психологическом ф-те ЛГУ в 1973 году, участвовали А. Белкин, Б. Кудряков, О. Лягачев, А. Путилин, И. Росс, Б. Смелов, Б. Чупов. — *Прим. составителя.*

Горичева притащила «котеночка», который на следующий день оказался взрослой кошкой. Через пару дней я увидел, что по квартире расползаются такие маленькие комочки: кошка родила у нас котят, штук восемь!

Витька любил писать стихи в ванной, там была сделана такая дощечка, на которой можно было сидеть. И вот сцена: захожу в ванную, и чуть от ужаса не обмер — Витька лежит в ванной, вода сошла, а он весь в трупных пятнах. Оказалось, всю ночь писал стихи и заснул в ванной. Он чернилами писал, и они все расплылись. И вот лежит, облеплен собственными стихами. Сцена прямо как «смерть Марата». И тут же котята пищат.

Я стучу Горичевой, говорю: «Слушай, Таня! Ты притащила кошку, так отвечай за нее. Дай ей молочка, и потом котята всюду между бутылками застревают, орут. Это кошмар!» Она говорит: «Толя, я не могу! Я готовлюсь к семинару по Шопенгауэру»...

Еды у нас фактически никакой не было. Я питался только «Беломором», был влюблен тогда, и мне было не до еды. Да и готовить специально никто не готовил. Я как-то говорю Вите: «Путь Таня сходит, принесет нам колбасы, кефира или хлеба». Он мне «Иди сам с ней поговори». «Тань, сходи», — говорю. А она в ответ: «Мы готовимся к коллоквиуму по Ницше». Я думаю: «Какой Ницше?! Какой Шопенгауэр?! Бедный Витька голодный ходит. Котята орут. Ад просто...»

Гости были бесконечные. Дикое количество. Проходили в большую комнату, к Тане и Вите. Туда вносили все стулья, бутылки прибавлялись, тропинки становились уже.

Одного гостя я запомнил на всю жизнь. Зима. Слякоть. Погода типично петербургская. Я помню, пришел один человек, одет в полушубок, глаза горят (я вам клянусь) — безумные такие глаза. Вдруг как распахнет полушубок — а он совершенно голый, и с тела посылались какие-то листочки папиросной бумаги, что-то отпечатанное на «Ундервуде». И говорит: «Я убежал от ментов, я прошел весь город. Довез!»

Вся жизнь была авантюрой. Что я вытворял тогда! Но об этом еще рано рассказывать...

Валерий Козиев (Вальран)

Я ПОЗНАКОМИЛСЯ В «САЙГОНЕ»...*

— Какую роль «Сайгон» сыграл в вашей жизни?

Там я познакомился с Леной Захаровой, ставшей моей первой женой. Она была художником, работала в сюрреалистической манере, мне не близкой. Лена познакомила меня со многими другими людьми, составившими круг моих интересов, например с Е. Рухиным и В. Овчинниковым. Я помогал в развеске выставок «газонеvского движения», но сам не участвовал, решив, что рано. Через сайгоновских людей я познакомился с Костей Кузьминским. Он был одним из самых замечательных деятелей культуры андеграунда: делал выставки в своей большой квартире, объединял людей, собирал и издавал всех неофициальных поэтов того времени. Он принимал гостей, лежа на кожаном диване в кожаных же штанах. Возлежал, как древний грек, никогда не вставал. Вокруг него ходили две изумительно красивые собаки.

Паталья Казимировская

ЧТО ТАМ НА ДОНЫШКЕ ДУШИ...

Время это было для меня особым. «Особость» молодости ощущается каждым, но уникальность моей ситуации в том, что мне посчастливилось попасть в самую сердцевинку того, что может называться «неофициальной культурой», «андеграундом», а мной ощущалась как параллельная действительность, свободная и вольная жизнь, не укладывающаяся в рамки правил и предписаний. Как предписаний общества, против которого мне и самой хотелось бунтовать, так и правил хорошего поведения, возвращённых во мне с молодых ногтей в нашей положительной и добропорядочной, как мне казалось, еврейской семье. Кумиры мои и «гении», которых я встретила в «Сайгоне» и в «присайгоньи», ругались матом, пили, легко вступали в случайные связи и даже, как я с ужасом могла только предполагать, баловались наркотиками. Попав в эту компанию не за свою гениальность и не за свою неординарность, а скорее по причине миловидной мордашки и округлых форм, вызывавших у некоторых преемников Майоля и Рубенса порывы вдохновения и недолгой влюблённости, я ощущала себя музой и роковой «пожирательницей сердец». Расправив пончо и обвязав вокруг лба яркую красную ленточку, я располагалась на полу у свечи в просторной, как мне тогда казалось, квартире-салоне Серёжи Зубарева и с томным видом пыталась уследить за потоком мыслей и темами бесед, которые возникали вокруг меня. Тем было много. Заходила Хильда. Доклад её был выше моего тогдашнего разума. <...> Приходил Марик Мазья — красивое выразительное лицо с изумительными проникновенными русалочьими глазами и... коротенькие недоразвитые ручки, практически обрубки, которыми он исхитрялся делать всё: подавать пальто даме, зажигать и подносить спичку, угощая девушек сигаретами. С некоторыми посетителями зубаревского салона я подружилась на долгие годы, иногда на всю жизнь. С Мариком я дружила до самого дня своей свадьбы, на которой он был в качестве гостя... Марик был поэт, интересный своеобразный человек, любил жизнь, женщин, впоследствии женился на юной красавице Нине, имел детей, очень рано умер (я уже в это время в Питере не жила). На него ходила едкая, как и на многих в том кругу, эпитаграмма:

Дана Мазье мужская сила
и поэтический талант.
В стихах он — половой гигант,
а с х.. капают чернила.

Добрые были люди вокруг, как вы понимаете... Помню ещё одну такого же «эротического» или «антиэротического» содержания эпитаграмму на Костю Кузьминского:

Дева, Поэту не верь!
Дева, Поэт обманет!
Скажет Поэт, что любит,
Но у Поэта не встанет.

В салоне Зубарева я подружилась на всю жизнь с Димой Равинским, ныне успешно работающим учёным. Было время, когда он сильно пострадал за то, что читал запрещённую литературу. Кто-то донёс. Когда мы встретились, это был скромнейший, деликатнейший, застенчивый худенький очкарик, добрый, глубоко порядочный

человек. Он никогда не был «богемным», но был «своим» в силу своего интеллекта и свободолюбия.

В салон Зубарева, мне думается, я попала через Женю Глуховского — брата Леночки Глуховской, впоследствии вышедшей на какой-то период замуж за поэта Михаила Генделева, а в описываемое мной время провалившей экзамены в театральный институт и живущей у меня, в моей пятнадцатиметровой комнате в коммуналке на Московском проспекте. Жили мы, надо сказать, весело. Спорили, читали стихи, запрещённую литературу, выпивали, выпускали какие-то стенные газеты с собственными произведениями, бесились до полночи или до утра, ночевать иногда оставалось по семнадцать человек — это в пятнадцатиметровке-то! Заходивший «на огонёк» Женя и познакомил меня с Мазьёй, Равинским, Маниловичем, Зубаревым. Он же, по-моему, привёл меня на выставку художников на психфак университета. Никогда не забуду и этот психфак на улице Красной, и эту атмосферу выставки — набитые народом комнаты, какие-то невероятные люди вокруг и не менее невероятные картины. Тогда я впервые услышала имена Михаила Шемякина и его дочки Доротеи Шемякиной, какая-то из её работ (она в то время была ещё совсем маленькой) выставлялась на психфаке. Наиболее сильное впечатление произвели на меня, как я помню, рисунки Толика Белкина — маленького, сутулого, больше-носого, слегка лохматого. «Он расскажет вам сказку» — так зловеще называлась картинка, на которой был изображён страшный старёвщик, безобразный горбатый старичок с ужасными и непропорциональными чертами лица. На другом рисунке, называвшемся «Мальчик с пальчик», была изображена семья великанов, сидящих за обеденным столом, сервированном вилками и ножами, а на блюде перед ними — голенький малыш, болтающий пухлыми ножками. Голова кружилась от обилия каких-то фантастических фигур — самих художников и посетителей выставки, от неожиданных экспонатов. А посреди всего этого великолепия или бедлама — Константин Кузьминский. Мне казалось, что он царил там, как потом царил долгие годы везде, где появлялся. Он царил даже тогда, когда он лежал — а лежал он у себя дома почти всегда, остальные располагались вокруг «царского ложа». На выставке на психфаке он не лежал, а стоял, окружённый почитателями таланта и приятелями. Помню впервые тогда увиденного «прикузьминившегося» Генделева с очень скучной благообразной внешностью студента санитарно-гигиенического института — таким я его восприняла и оставила в памяти на всю жизнь. Тогда же, как мне кажется, я встретила Андрюшу Геннадиева, с которым тоже дружу по сегодняшний день. Там же были Пти (Птишка) и Гран Борис — эти прозвища они, по-моему, получили от ККК. Я впитывала всё, что увидела вокруг, встречи мои с этими людьми продолжились, «старик Державин нас заметил» — Кузьминский моментально принял меня под своё крыло, и я стала завсегдадаем как его квартиры, так и «Сайгона», и квартир его друзей. Так появились (они у меня сохранились до сего дня) мои фотографии, сделанные Гран-Борисом — толстеньким и крупным, добродушным, на мой взгляд человеком, которого я всегда представляла в паре с Пти-Борисом. Так появился мой портрет, сделанный Андреем Геннадиевым (его купил впоследствии у Андрея мой муж, представлявший всем нам по тем меркам богатым человеком — он был сахалинский моряк). Так появились рисунки Толика Белкина на листках с нацарапанными на них и посвящёнными мне поэтическими строчками Кости Кузьминского. Так появилась дорогая моему сердцу незаконченная поэма «Наталья Витебская», написанная и посвящённая мне Кузьминским, в которого я в те годы была влюблена до дрожи в коленках.

Роман с Кузьминским был недолгий, но интенсивный. Безответная терпеливица Мышь выносила мои ежедневные появления на бульваре Профсоюзов, где, как подчёркивал ККК, вход к его подъезду через арку с надписью «Парикмахерская»

помещался как раз под четвертым слогом этого слова. А сама квартира была заполнена картинами Михаила Шемякина, экзотическим предметами искусства — но самым экзотическим предметом этой любимой мной комнаты, где проходили «мои университеты», был её хозяин.



У Константина Кузьминского дома. 1972 г. Фото Б. Кудрякова

Кульминацией и финалом этих взаимоотношений стал переезд Кузьминского в мою коммуналку, мои нелепые потуги приучить его к домашнему хозяйству (никогда не забуду, как он, в своих кожаных штанах и со знаменитой тростью, понуро брёл со мной на рынок у «Электросилы», а потом нёс оттуда какие-то авоськи со снедью) и, наконец, его исчезновение из моей жизни, связанное с увлечением, (а может, это была и любовь?) моей подружкой Леночкой Глуховской.

С исчезновением Кузьминского исчез и ряд людей, которых мне не хотелось больше встречать. Но оставался «Сайгон», посещаемый мной почти ежедневно, оставался Андрей Геннадиев, с которым мы поддерживали приятельские отношения. Андрей — добрейшей души человек, талантище, высоченный красавец, любимец женщин. Помню, как всякий раз, получив неожиданно от какого-нибудь любителя изящного деньги за свою картину, Андрей нёсся по центральным питерским улицам, скупая в разных лавках какие-то бронзовые ступки, пестики (ими была заставлена его квартира-мастерская), а заодно и космическое количество спиртного и пельменей в коробках, а за ним, за его длинющей экзотической фигурой, толпой неслись друзья и приятели, и с каждым кварталом толпа обрастала новыми встреченными им — и в таком виде все заваливались в его маленькую квартиру, и начиналось пиршество!

Мне хочется вспомнить ещё одного человека, с которым я познакомилась уже через несколько лет, когда навещала маму ККК, с которой мы подружились. Впоследствии я же помогала во время её похорон. Кузьминский уже давно жил за рубежом, и она оставалась совсем одинокой. У неё дома я встретила гениального Эдуарда Берсудского, и он пригласил меня к себе посмотреть его произведения. Берсудский жил на Московском проспекте, у метро «Электросила», и вся его квартира

была заполнена, как мне показалось, какими-то полыми стволами деревьев, внутри которых на разных уровнях были вырезаны фигурки, какие-то сцены. Берсудский нажимал на какую-то кнопку или какой-то рычаг, и всё это начинало крутиться, вертеться, подсвечиваться, жить своей жизнью. Это было какое-то чудо, волшебство! Невообразимость! Магия! А за окнами был холодный, грязноватый рабочий район, серые усталые люди, потоками вливающиеся в здание метро. Надо сказать, что сегодня Берсудский живёт в Шотландии, судьба устроила так, что спутницей его жизни стала моя знакомая из совершенно другого мира — мой оппонент при защите диплома, театровед Татьяна Жаковская. Их потрясающий театр-галерея «Шарманка» расположен в самом центре Глазго, работы Берсудского, его движущиеся скульптуры украшают ряд престижных музеев мира. А когда-то Московский проспект был и его, и моей альма-матер (я много лет жила напротив, во дворе диетического гастронома).

В эти же годы (хотя хронология — не самое моё сильное место, но мне кажется, что это было не намного позже или почти параллельно), у меня возник ещё один круг друзей и людей, к которым я относилась с огромным почтением и нежной любовью. Если круг художников, артистов, поэтов, всего «присайгонья» был богемным и немножко в стиле фантазий Гойи (я перестала постепенно принимать всерьёз чувства и образ жизни моих друзей — не вписывалось это в мою жизнь), то этот другой круг был значительно более серьёзен, более реален, более политизирован, более конкретен. Там постоянно водились редкие и умные книги, там было меньше позы и «актёрства», там было, как мне казалось, и больше реальной опасности вокруг. Я говорю о круге Володи Аллоя, его друзей Жанночки и Леры Зверевых, обо всех их друзьях. Я преклонялась перед Володей. Он, как мне кажется, нежно меня любил, и с его лёгкой руки за мной закрепилось прозвище Чебурашка. Как я теперь понимаю, они все меня берегли, и, хотя я рвалась на помощь, хотела прятать запрещённую литературу, хотела прятать тех, кому грозила опасность, — мне не пришлось этого делать всерьёз. Жанночка Зверева — добрый ангел, умнейшее, кроткое создание, была мне как старшая сестра (Жанночка и её муж Лера просидели впоследствии «в отказе» много лет, потом выехали в Париж, и там Жанночка умерла от рака). Светлая ей память! Квартира Зверевых на Васильевском, их знаменитые посиделки — интереснейшие люди, вкусная еда, радушие и гостеприимство полное — по отношению к тем, кому доверяли. Тот, кому не доверяли, второй раз в этой квартире не появлялся.

Именно Володя Аллой заронил в моей душе зёрнышки сформировавшегося в будущем желания эмигрировать. Когда мы выезжали из страны в неизвестность, я знала, что во Франции есть Володя и что, если я ему позвоню в самом несчастном положении, он мне всегда поможет. Это знание помогало мне все первые годы эмиграции. Когда мы с мужем впервые прилетели в Париж, первым, кого мы навестили, был Володя. Впоследствии я не часто виделась с Володей Аллоем, не знала его второй жены, но мы встречались всякий раз, когда я появлялась в Питере, куда он возвращался не единожды. Я догадываюсь, что Володя был разный, об этом писали, об этом мне рассказывали, но я всегда ощущала его как бесконечно доброго и надёжного старшего друга. Моя любовь к нему и уважение безграничны.

Я не ощущаю себя старой — мне странно, когда мои ровесники говорят, например, «жизнь моя сложилась так-то и так-то». Мне не кажется ещё, что она у меня уже «сложилась». Это постоянный процесс сложения и вычитания. Самое тяжёлое — это вычитания. Многих из тех, кого я здесь вспомнила, уже нет на свете, о периоде нашей молодости почему-то уже пишут книжки, те, кого не признавали и «гнобили», вошли в историю литературы и искусства, а некоторые и просто обозначены словом «великие», некоторые с возрастом стали конформистами, другие и сегодня верны юношеским идеалам. Мне, пожалуй, более близки последние.

Владимир Окулов

НА УЛИЦЕ ЖУКОВСКОГО*

В 1970 году мы с моей женой Юлией Вознесенской стали жить недалеко от «Сайгона», на улице Жуковского, в коммунальной квартире, на четвертом этаже. Окна выходили на Куйбышевскую больницу. У нас была одна комната, разделенная перегородкой на две: детскую и гостиную. В доме всегда был народ: собирались в «Сайгоне» и шли к нам. С утра придешь — полным-полно людей. Приходишь вечером — опять сесть негде. Иногда человек по шестьдесят набивалось в одну комнату... У нас стояло пианино, играли на нём те, кто умел. Мы сами не очень умели. Публика собиралась артистическая, эмоциональная. Драки бывали. Нестеровский обычно долго не думал, хватал бутылку — и по голове... Когда приходил Миша Мейлах, то просил: «Дайте, мне, пожалуйста, что-нибудь мягкое». Юлия приносила ему маленькую подушечку, и он сразу же вставал на голову — йогой занимался. Постоит так минут десять и говорит: «Вот теперь я пришёл в себя». Миша читал нам поэзию французских трубадуров — это такая заумь, что никто ничего не понимал, только Наталья Лесниченко говорила, что понимает. Он ещё какую-нибудь строчку прочитает по старофранцузски... Было полное ощущение богемы, так сказать. Всё портила околосайгоновская публика. Бог знает, зачем они приходили — тоже, видимо, общаться. Бывали всякие люди — прямо Вави-



На дне рождения Володи Окулова (стоит в центре): Борис Куприянов, Олег Охупкин, Елена Пудовкина, Полина Беспрованная, Юрий Новиков, Алла Минченко

лон какой-то. Соседи очень ругались, что к нам столько народу приходит, особенно после того, как однажды гости съели соседскую морковку. Я «Сайгон» не очень

* Беседовала Юлия Валиева.

любил, потому что там было много окололитературной публики — намного больше, чем тех, кто занимался делом. Жена тогда не работала какое-то время, двое детей маленьких. Бывало, вернешься домой — есть нечего...

Иной раз устраивали что-то типа семинаров. Приглашали, помню, Игоря Бахтерева, созывали к его приходу гостей, задавали ему вопросы о Хармсе, Введенском, Олейникове.

Я тогда закончил Театральный и работал в Управлении кинофикации на Владимирском, 14 — мимо «Сайгона» уж никак не пройти. Утром шёл туда пить кофе. В утреннее время там ещё не было народу, это потом народ собирался.



Юлия Вознесенская и Владимир Окулов

В «Сайгоне» было много ребят, которые закончили театроведческое отделение, заходили и из театра Ленсовета знакомые — Семенов, Барков — и шло общение, общение, общение...

«Сайгон» не парижская «Ротонда», никто там (по крайней мере, при мне) за столиком не писал — просто встречались и пили кофе.

Крепкий кофе считался почти что наркотиком, и двойной кофе (по двадцать восемь копеек) продавали только своим. Если кто-то посторонний придёт — там ещё посмотрят, дать или не дать. А по четырнадцать копеек — пожалуйста. Когда надоело там сидеть, брали «пузырь» какой-нибудь (пили тогда вино) и заходили к нам. Потом шли гулять по центру и опять возвращались в «Сайгон»...

Конечно, каждый день что-нибудь да происходило. После «бульдозерной» выставки в Москве начались выставки неофициального искусства в Ленинграде. Первая фотовыставка проходила дома у Кости Кузьминского в 1974 году*. Я был её участником.

* «Под парашютом» — одна из первых выставок ленинградского фотоандеграунда. Участники: Л. Богданов, О. Корсунова, Б. Кудряков, Вяч. Михайлов, В. Окулов, Г. Приходько, Б. Смелов, В.-М. Тиль. Проходила дома у К. Кузьминского на бульваре Профсоюзов (ныне Конногвардейском), д. 15. — *Прим. составителя.*

Мне всегда было интересно «запечатлеть» человека. Я рисовал, а потом понял, что фотография — это гораздо лучше. Первый фотоаппарат мне купили еще лет в двенадцать. Фотовыставка, которую Костя Кузьминский устроил у себя в квартире, называлась «Под парашютом», потому что весь потолок в комнате был завешен парашютной тканью. Я сделал четыре портрета: Юлии в веночке из цветов, Вити Ширали, Бори Куприянова и Пети Чейгина. Принес в последний день и уехал, не надеясь ни на что. Звонит Юлия: «Поздравляю» — «С чем?» — «Ты победитель». Потом Кузьминский на меня сердился, говорил: «Есть в тысячу раз лучше, чем у тебя!» Но парашют, как приз победителя, мне отдал. У меня были традиционные фотографии, самые простые, безо всяких эффектов, изысков — видимо, поэтому и понравились.

Раз позвонили и сказали: «Через полчаса состоится вечер ОБЭРИУтов на Невском, в Доме искусств*, бери камеру и беги». Это был 1975 год. Я жил недалеко. Быстренько собрался и пошёл...

Была ещё такая история. Задумали Игорь Синявин, Вадим Филимонов и другие ребята в день восстания декабристов выйти на Сенатскую площадь, снять шапку и постоять около памятника. Это не было бы политическим выступлением, если бы Филимонов не написал плакат: «Декабристы — первые диссиденты». Утром в семь часов раздаётся звонок в дверь, входит милиция, Юлию берут под руки — и в отделение. И других ребят тоже задержали ещё до выхода из дома. Они по телефону договаривались, поэтому вычислить было несложно. Никаких обвинений им не предъявили, Юлию объяснили задержание тем, что она похожа на женщину, которая спекулировала сапогами на рынке. Я тут же позвонил приятелю, фотографу: «Пойдём, снимем». К двенадцати часам подходим к Сенатской площади. У памятника стоят солдаты. По периметру на каждом шагу милиция. Вижу, группа людей: Маша Ланина с детской коляской стоит, у неё новорожденный ещё ребёнок был, Катя Видре, Лена Игнатова, Лена Пудовкина. Потом Витя Ширали подошёл, полушубок нараспашку. Они стояли метрах в ста от памятника. Ни одного зачинщика не было. В этот момент началось самое интересное: Филимонов развернул плакат, его сразу же схватили, плакат затрещал. Филимонова повели в машину, которая стояла на набережной. Это снимать было категорически нельзя, но у меня камера была уже настроена, и Филимонов — в машине совсем рядом со мной. Я начинаю снимать, тут же к нам бежит мужик, а я делаю вид, что объясняю приятелю, поворачивая то так, то саяк камеру: «Если так снимать, то Исаакиевский собор не помещается, а так помещается». Это сработало, я сделал несколько снимков, и нас не взяли. Поскольку я был тогда засвечен со всех сторон, я отдал своему приятелю проявить плёнку. Посмотрели — получилось нормально. Я попросил его спрятать плёнку в надежном месте, и он отдал одному экстрасенсу, который вообще не имел к этим событиям никакого отношения, а через неделю я не нашел и следов плёнки, она исчезла...

* Из комментария В. Эрля: «Действительно, вечер ОБЭРИУ состоялся! Точнее, вечер (а ещё точнее, *день*), посвящённый драматургии ОБЭРИУтов. И не в Доме искусств, а в ВТО на Невском. Лично присутствовал Бахтерев; что-то вроде докладов делали Евг. Биневиц и А. А. Александров... Биневиц специализировался на Дойвбере Левине, но тогда говорил почему-то про Шварца. Александров, понятное дело, о Хармсе. Я там тоже сравнил «Некоторое количество разговоров» А. Введенского с «Беседами буддийских монахов» (напечатанными в нач. 1920-х в «Трудах» музея этнографии). Но главное — целиком прочёл «Ёлку у Ивановых!» <...> Интереснее всего то, что день я помню точно — 22 апреля! В этот день отменили ряд мероприятий (и даже какой-то концерт в филармонии!), но заседание благополучно прошло. Нужно ли говорить, что я с выражением произнёс советы *другой* няньки «горевать, горевать и горевать» и «учиться, учиться и учиться». Помню, что кто-то (сейчас трудно установить кто именно) громко хрюкнул. Да что поделаешь!»

Владимир Овчинников

КОМЕДИЯ «САЙГОНА»****В трех картинах*****Интродукция**

Когда я впервые попал в «Сайгон», за давностью лет уже трудно установить точно. Это, пожалуй, был год 1968. Мы тогда делили квартиру с одним совершенно замечательным человеком, который считается поэтом и драматургом, Георгием Викторовичем Григорьевым, иначе — Герой, иначе — Герой-бомжом. Это великий человек! Уже к тому времени, когда мы с ним познакомились, он отказался работать на советскую власть, по крайней мере, так заявлял. Я-то сделал столь смелый шаг только лет через пять, а он уже был готов к свободному плаванию. В то время он чуть-чуть подфарцовывал и, когда были деньги, снимал комнату или квартиру, но деньги были не всегда. Бывало, встретишь его — а он помятый, ночевал на лестнице в какой-то парадной. Говорю: «Так холодно же!» — а он отвечает: «Я ноче-



Герой Григорьев и Виктор Кривулин. 1970-е гг. Фото В. Пещкова

вал на подоконнике, а чтобы теплее было, подкладывал под себя военный билет».

Приютил нас с Герой еще один замечательный человек, значительно нас старше, Сергей Григорьевич Писаренко. Настоящая его фамилия была Закгдейм. Отец его перед революцией и во время нэпа был известным в Питере меховщиком. Сергей Григорьевич мехами не занимался, а учился в свое время на философском факультете в Ленинградском университете. Где-то году в 1946—1947 арестовали группу студентов университета (трех человек с философского факультета и двух с математического), предъявив обвинение в подготовке заговора на вождя и учителя. В этой

компашке был и он. И приговорили к расстрелу, который потом заменили двадцатью пятью годами лагерей. Вышел он в 1954—1955 году, полностью амнистированный. Вернулся в Ленинград, надо было устраиваться, а единственной возможностью устроиться была женитьба. И он женился... Его выбор пал на Марию Егоровну Писаренко, даму в ортопедическом ботинке, профессиональную нищую. Она действительно была специалисткой в своем деле, промышляя около Александро-Невской Лавры. Это была дама бешеной энергии! У нее имелась какая-то своя комнатка. Как только они поженились, Мария Егоровна тут же пожелала иметь детей, что и случилось благополучно, и она тут же выхватила двухкомнатную квартиру, и это в те годы! Квартира находилась на улице Замшина, тогда новостроечной. Когда дети подросли, Мария Егоровна решила, что Ленинград — слишком тесное поле для ее деятельности, и уехала применять свои творческие таланты в Загорск, а Сергей стал обладателем двухкомнатной квартиры, поскольку, как говорила Мария Егоровна, «этого идиота» она оставляет здесь, в Ленинграде. Идиот остался в Ленинграде и приютит еще двух идиотов, нас с Герой Григорьевым. Мы жили превесело.

Иногда мы с Герой выезжали кофейку попить в «Сайгон», и через «Сайгон», естественно, круг знакомых расширялся, становился богаче. В «Сайгоне» все, если не напрямую, то через кого-то, были знакомы друг с другом. Невозможно было прийти в «Сайгон» и ни с кем не поздороваться. Всегда кто-то: «Привет», — кто-то: «Здравствуйте», — к кому-то подойдешь: Зиночка, Манечка, двойной, траляля, водички поменьше, водички побольше, и так далее... Сначала в зале стояли высокие мраморные столики. Потом сделали эксперимент — усадили людей в кресла, но тогда посетители попросту перестали из-за столов вставать, сидели и пили по-черному. Тогда снова поставили мраморные стоечки. Входишь, сначала был первый зальчик, там алкоголь продавался, потом еще одна ступенька вниз, и вот уже длинный зал, который тянется вдоль Владимирского, там кофе варили. Нам тогда за алкоголем дешевле в магазин было сбежать за углом, но иногда с удачи какой-то и в «Сайгоне» можно было сто грамм коньячку выпить за этой стойкой в первом зале.

Если я появлялся дома поздно вечером слегка навеселе, и меня сразу тянуло в койку, то Писаренко принимал воспитательные меры: садился на край моей кровати и начинал мне читать труды Толстого — Писаренко был «толстовцем». С тех пор у меня дома ни одной книги Толстого нет.

Помимо трудов Льва Толстого, Писаренко очень любил девушек. В этом смысле лагерь нанес ему незаживающую травму. В те годы на Литейном функционировал лекторий, и Сергей (еще в пору семейной жизни) зачастил туда на лекции. Мария как-то мне говорит (она ко мне благосклонно относилась): «Ну и что ты думаешь, зачем этот идиот ходит в лекторий?» Я отвечаю: «Как зачем? Лекции слушать, интересуется...» «Нет», — говорит, — «Я могу тебе рассказать: вот идет лекция, все сидят стройными рядами, и этот идиот делает вид, что записывает что-то себе в блокнотик. Потом он роняет карандашик и начинает ползать между рядами, будто карандашик ищет, а сам девок щупает». Прекрасная картина!

Картина первая

В «Сайгон» я заходил, но много времени там не проводил. В основном «Сайгон» для меня был просто местом встречи. Действительно очень удобным. Не на морозе ждать и не под дождем. Встретились, попили кофе, поговорили и куда-то потом пошли. Уж таким постоянным завсегдатаем я не был, хотя, конечно, кое-кого знал. Частым посетителем «Сайгона» тех лет был Михаил Юпп, поэт. Он живет сейчас в Филадельфии. Я с ним познакомился в кафе на Малой Садовой, где мы кофейничали еще до «Сайгона». Среднего роста, плотненький, темно-темно-рыжий,

очень коротко подстриженный. Когда он появлялся в «Сайгоне», то Гера Григорьев сразу же просыпался, открывал глаза, подходил к нему энергичным шагом и говорил: «Юпп, дай руп!» Это было коронной фразой, и, как правило, Юпп давал. Мишка всегда был очень активный, подвижный. В «Сайгоне» книжками занимался, он такой книжный червячок был, поэтому денежки у него на кофе бывали, и на двойной маленький хватало. Миша жил на Петроградской стороне с мамой, на одной из бесконечных улочек, которые от Большого проспекта отходят. Там была у них двухкомнатная небольшая квартирка. Писал стихи, ходил, размахивал бумажками. Миша очень хорошо читал, его стихи были гораздо интереснее в его исполнении, чем на бумаге. Помню, как он читал мне свои стихи на станции метро «Невский проспект». Когда спускаешься, сначала идет большой эскалатор, потом поворачиваешь направо, и там лестница. А когда-то на месте лестницы был второй маленький эскалатор между станциями. Дело было так. Юпп написал кулинарный цикл стихов (он по своему образованию повар) и решил мне его прочесть в тот самый момент, когда мы спустились на эскалаторе со станции «Гостинный двор» на «Невский проспект». Стихи очень ритмичные, слегка заводные, и он сам очень подвижный, ритмичный. Сначала он прочитал стихи про яичницу, а потом про люля-кебаб. Ну вот, мы едем по эскалатору, он: «О-ля-ля-лю-ля!» — и тут эскалатор остановился. Я ему до сих пор напоминаю: «Мишка, а ведь теперь на том месте лестницу сделали, а не эскалатор». — «А что такое?» — «А ты же сломал эскалатор».

Заходил в «Сайгон» коллекционер Борис Борисович Безобразов. Мы с ним договаривались по телефону встретиться в «Сайгоне», выпивали по чашке кофе и отправлялись на целый день в музей. Борис Борисович был много старше меня, он еще очень хорошо помнил нэп и рассказывал массу невероятно интересных вещей. Мы с ним ходили в Русский музей, в Эрмитаж.

Очень любил «Сайгон» художник Коля Любушкин, внешнею он был вылитый Карл Маркс, такая же борода, такая же шевелюра, только молодой.

Часто ошивался там Володя Чириков, музыкант. Он был лауреат всесоюзных конкурсов, играл на аккордеоне Баха...

Из эрмитажных частенько захаживали Костя Кузьминский, актер Миша Никитин. Шемякин не ходил в «Сайгон». Он домосед был. Если кто к нему — пожалуйста, а сам он не особенно разгуливал.

В «Сайгоне» были и всякие местные экзотические личности. Например, персонаж по прозвищу Луноход. Это был такой маленький человечек, очень тщедушный, он ходил, сильно хромя. При всей своей физической ущербности он тоже отличался повышенной любовью к дамам. Хотя он не был поэтом, он там бесконечно читал стихи. В те годы он умудрялся зарабатывать на жизнь потрясающим способом. Я прихожу в один прекрасный день в Лавру, в собор, Луноход идет в подраяснике и собирает деньги. Ну и, конечно, три четверти от всех в карман складывает... Это очень живописная личность была.

В начале 1970 годов Володя Чириков познакомил меня со своим учителем — музыкантом и композитором Евгением Сергеевичем Троицким, который тоже был сайгонским человеком. Жил он — композиторством не проживешь — как преподаватель музыки. Давал дома частные уроки игры на фортепьяно и преподавал в музыкальном училище. После того как у меня отобрали мастерскую, одна из моих квартирных выставок проходила у него дома.

Самая же первая выставка, в которой я участвовал, была в Эрмитаже в 1964 году. Устроился я туда на работу в 1963-м. К тому моменту в Эрмитаже работали многие мои друзья. Они говорили мне: «Ну, что ты болтаешься? Иди к нам, у нас хорошо!» А я ничего, я тунеядствовал. Наконец глубоко вздохнул, набрал воздуха и пошел

устраиваться. Для себя я решил, что не уйду из отдела кадров, пока меня в Эрмитаж не примут. Мне говорят: «Приходите через два-три месяца». А я не уйду. Мне надо в Эрмитаже работать и все, я не уйду! Мне объясняли, меня уговаривали, потом опять пошелестели гроссбухами: «Есть место в электрическом цехе, вакансии дежурного электрика». Делать нечего, пошел в электрики, хотя электричества ужасно боюсь и до сих пор не понимаю, почему лампочка горит, почему приемник работает! Спрашивают: «Ты представляешь обязанности дежурного электрика?» Я отвечаю: «Ну конечно!» И начинаются мои приключения. В одно из первых моих дежурств что-то перегорело в «Тёмном коридоре», где висят шпалеры и gobelены. Окон там нет, а освещение в то время было очень примитивным. Вдоль карниза были проложены длинные толстые доски, и на каждой доске крепилось штук по сороку электрических лампочек. Что нужно делать, я точно не знал, но видел до этого, как электрики открывали щиток, засовывали внутрь кусачки или плоскогубцы, в результате получалась искра, и что-то там восстанавливалось. Я так и сделал — и... вся доска с сорока лампочками перегорела. Подобным же образом я очень «эффективно» чинил электрические плитки. В конце концов ускоренным методом мы нашли вакансию в бригаде «рабочих по экспозиции». Там я расцвел.

Наша бригада была исключительно творческая: Михаил Шемякин, Володя Уфлинд, актер Михаил Никитин, он в Театральном институте учился, и писатель Павел Саутер... Конечно, не каждый день приходилось развешивать выставки, и зимой, если были холодные снежные дни, нас выгоняли на улицу дворникам помогать набережную быстренько расчищать. Мы покопаем-покопаем и бежим греться в подвал Эрмитажа. В те годы по периметру всего дворца шла огромная тепловая труба, метра два в диаметре. Там всегда кошки плодились, и мы приходили к кошкам греться, устраивались у этой трубы, и каждый там занимался своим делом. Шемякин рисовал как безумный, Миша Никитин роли свои учил, а Павел Саутер, прислонившись к трубе в эрмитажном подвале, писал роман... об австралийских аборигенах. Я его спрашиваю: «А что ты знаешь об австралийских аборигенах?» Он: «Ничего, но это ж неважно, глупые, банальные вопросы задаешь, это совершенно неважно».

Бригадиром у нас был Костя Кузьминский. Художий — всегда таким вопросительным знаком ходил, сутулый. Шевелюра — что-то среднее между блондином и рыжим. Волосы дыбом, борода дыбом, потому что все это хотело виться, но не очень вилось. Артистическая натура! Костя заикался, но умел свое заикание снимать вообще, когда надо, а иногда, наоборот, бравировал им. Бесконечно говорливый, готовый без перерыва читать стихи, свои, чужие... У него была исключительная память. Он очень хорошо знал историю поэзии, особенно наш Серебряный век, все читал наизусть, с любого места.

Тогда существовала (как, собственно, и сейчас существует) традиция время от времени устраивать показ творческих работ сотрудников Эрмитажа. Среди хозяинов всегда были художники, я уже не говорю о реставраторах — они все художники: кто-то летом на этюды выезжает, кто-то своих жен пишет, ну и так далее. Для таких выставок существовало постоянное место: они развешивались или во внутренних коридорах, которые огибают Эрмитажный театр, или в большой комнате, которая находится за сценой театра, далеко в глубине. Нас это не устраивало. Мы — рабочие по экспозиции, хозяева помещения! Поэтому было решено разметить выставку в Растреллиевской галерее. Расставили работы. Ну и, естественно, нужно было эрмитажное начальство пригласить, чтобы посмотрели. Директор М. И. Артамонов был где-то в отъезде, и мы отправились к его заместителю по науке, Владимиру Францевичу Левинсон-Лессингу. Это был чудный старец, дивный, умнейший человек. Он пришел к нам, все очень внимательно посмотрел, попросил снять две картинки (откровенные обнаженки). Ну, раз Владимир Францевич сказал — конечно,

убрали. Напечатали на машинке триста штук пригласительных билетов: открытие 30 марта 1964 года. Выставились: Михаил Шемякин, Валера Кравченко, Володя Уфлянд (он делал тогда иллюстрации к собственным стихам), Олег Лягачев и я. Это помещение было открыто всем посетителям Эрмитажа! Идут в Древний Египет — а тут... В общем, выставка просуществовала два дня. Приходим мы на работу первого апреля — естественно, сначала бежим к себе на выставку, а там... веревочки висят, обрезанные аккуратно. Что, где, куда? Никто ничего не знает, дождались часов десяти и отправились к главному хранителю Эрмитажа: «Что случилось? Кто закрыл выставку?» — «Вы что, маленькие, не знаете, кто у нас закрывает выставки?». Мы большие, мы понимаем. «Можно нам забрать работы?» — «Ничего не знаю, ваши работы опечатаны». — «А что дальше будет, их сожгут?» — «Ничего не знаю, идите работайте». Мы день проработали, а после работы пошли в юридическую консультацию на Малой Морской, выяснить — какие могут быть санкции? Нам отвечают: «Уничтожить могут в трех случаях — в случае откровенной порнографии, антисоветской пропаганды или религиозной пропаганды». Поскольку у нас там не было ни порнографии, ни религиозной пропаганды, мы чуть-чуть успокоились. И действительно, примерно через неделю главный хранитель нас пригласил и говорит: «Идите, открывайте комнату, снимайте печать, и чтобы этой дряни в Эрмитаже не было. Духу чтоб не было!» Мы, естественно, все работы в тот же день унесли, думали, что нас тут же уволят по какой-нибудь статье. Нет, с нами стали вести профилактические беседы, с каждым с глазу на глаз. Рефреном шло: «Ребята! Вы же таланты! Вы талантливые художники, а работаете дворниками. Уходите, уходите из Эрмитажа, конечно же, это недостойная вас работа! Вам учиться надо». В общем, в течение месяца-полутора нас всех из Эрмитажа вымыли.

Картина вторая

После того, как нас вышибли из Эрмитажа, была жуткая депрессия. Никому мы не нужны... Ужасно тяжелое было то лето, и мы с Мишей Шемякиным не придумали ничего лучшего, как поступать в семинарию. Чтобы в семинарию поступить, нужно было прежде всего иметь рекомендацию действующего священника, который тебя хорошо знает и может поручиться за тебя, что ты человек благонадежный, «белый», «пушистый» и очень религиозный. Шемякин рекомендацию получил от ключаря Никольского собора. А у меня рекомендации не было — что делать? Я записался на прием к митрополиту ленинградскому и новгородскому Никодиму. Прихожу, излагаю. Никодим сидит за письменным столом, на котором стоят несколько телефонных аппаратов. Когда он со мной говорил, зазвонил один из телефонов. Никодим берет трубку: «Але?» — не тот, снимает другую — не тот. Снимает третью, начинает говорить, а на том конце его, видимо, не слышат. Он — шварк эту трубку. В эту минуту в кабинет влетает его секретарь: «Владыко, первоначально кнопочку нажать надо!» — «А, какая твоя кнопка, твою мать?» И это «владыко, первоначально кнопочку нажать» осталось у меня в памяти на всю жизнь... Так вот, Никодим меня выслушал: «Ну ладно», — говорит, — «иди». Думаю, не даст рекомендацию, все, и последний день приема уже. Прихожу в канцелярию, называю фамилию, а мне и отвечают: «У меня для вас хорошая новость» — и подают мне телеграмму: «Рекомендую принять в семинарию Владимира Овчинникова». Никодим по делам церкви уехал в Болгарию и оттуда дал телеграмму, не забыл! От самого митрополита рекомендация! А на следующий день ко мне домой приходит комсомольская делегация, не успев я ее выпроводить, как звонят из семинарии и просят зайти к инспектору. У инспектора квартира была в самом здании семинарии на Обводном канале, на первом этаже. Я прихожу, а он сидит, играет на рояле. «Вам отказано

в приеме в семинарию, несмотря на вашу блестящую рекомендацию от владыки митрополита». Я спрашиваю: «Что такое, почему?» — «А нам не надо. Выставки будете с Шемякиным устраивать. Вам с Шемякиным отказано». И добавляет: «Ну, впрочем, я думаю, что все это уляжется со временем, так что приходите на будущий год, мы вас обязательно примем». Но на следующий год мне и в голову не пришло в семинарию поступать!

Раз в семинарию не взяли, Миша поехал в Псково-Печерский монастырь, к знаменитому отцу Алипию, который сам был художником, закончил московское Суриковское училище. Миша нашел у него работу, а на следующее лето мы поехали вместе, и Алипий нас принял. В Михайловском соборе этого монастыря, в алтаре, стоит высокий витраж. Днем, когда идет служба, он открыт, а на ночь его снаружи закрывают ставнями, чтобы не побили. Ставни большущие, метра три высотой. Мое первое задание было эти ставни расписать: «Вот, напиши мне на одной ставне архангела Михаила, а на другой — архангела Гавриила». Высоко было, взял леса, стоял там и мазал. Я был молодой, неопытный, фигуру написал, а фон забыл. А потом стою, с фоном мучаюсь, облачка рисую, но все не то получается. Когда работаешь, затылком чувствуешь, что кто-то стоит и смотрит на тебя. Оборачиваюсь — Алипий. Лицо сквасит всегда, что уже так ему тошно, так ему горько. «Ну, и что?» — «Да вот, батюшка, с фоном мучаюсь». — «А что ты хочешь?» — «Ну вот небо голубое, облака» (с фантазией у меня небогато было). «Ну и дурак ты! Это нам, грешным, небо голубым кажется, а там, где архангелы обитают, небо из чистого золота!» И на следующий день прислал бабу-позолотчицу.

Про Алипия можно бесконечные истории рассказывать. У него обычай был летом к вечеру, перед закатом, обойти весь монастырь, осмотреть все хозяйство. Его всегда сопровождал дьякон Досифей. Алипий сам не очень крупный человек, а Досифей был здоровенный, с глубоким басом. Как тень за ним ходил. В монастыре был скотный двор: коровочки, петухи, куры. Входит Алипий и видит, что посередине двора стоит петух. Такой красавец, черный с желтым. Алипий: «Какой красивый!». Подходит к нему: «Петя, запой». Петух стоит, глаза выпучив. «Петя, ну запой! Петя, ну запой!». Молчит, сволочь. Алипий: «Досифей, неси топор, голову ему руби». Дьякон убегает за топором, а Алипий продолжает свой осмотр, к коровам идет, с ними разговаривает, с монахами, которые там работают, с послушниками. Минут через десять Досифей прибегает, как безумный, протягивает топор Алипию. «Это шо? Ты шо?» — «Так это ж, батюшка, петуху голову рубить». Он так смотрит: «Ну и дурак же ты, Досифей!»

Картина третья

Зимой 1969—1970 года через одного моего приятеля, который работал в Ленинградской областной филармонии, мне удалось раздобыть мастерскую. Она располагалась у Никольского собора, в Кустарном переулке. Это была просторная трехкомнатная квартира, в первом этаже, две ступенечки вниз. Здесь мы организовали выставку нескольких художников: Игоря Захарова—Росса, Владлена Гаврильчика, Игоря Синявина, Юрия Жарких и других. Народу туда приходило очень много. Мы сделали два дня в неделю открытый доступ, а сарафанное радио работало быстро. Выставка продержалась на удивление долго (с начала декабря 1970 по конец марта 1971 года). В середине марта заявила милиция: «Ну и что тут у вас? Так, выставка... Может быть, вам повесить дорожный знак с указателем, что у вас здесь выставка?» Через пару дней пришла уже не милиция с ордером на обыск. А искать особенно негде: кроме дивана, полочки с книгами и картин ничего не было. И тут видят чемодан. Чемодан этот был Геры Григорьева, он

в нем хранил всякое свое имущество. Гера куда-то уехал и оставил чемодан у меня. «Это», — говорят, — «ваш чемодан?» — «Нет, не мой, моего приятеля». —



Выставка на Кустарном пер. справа Юрий Жарких Фото Б. Кудрякова

«А что в чемодане?» — «Да не знаю». — «Как это вы не знаете? А может быть, там расчлененка?» Вот полет фантазии... Открыли его, посмотрели, там только трусы да рукописи. Гера писал пьесы, причем исключительно из русской истории. Ему очень нравилась история о княгине Ольге, о том, как она древлян сначала



210 *Выставка на Кустарном пер. слева Гера Григорьев. Фото Б. Кудрякова*

накормила-напоила, а потом велела березки наклонить и привязать к ним гостей. Березки отпускали, и древяня разрывало пополам, так они и висели. Гера унывался этой историей, у него было пять или шесть пьес про Ольгу, про князя Владимира... Причем пьесы большие, в каждой много действующих лиц. Сам Гера стеснялся ходить предлагать свои пьесы — вид, говорит, не представительный. Конечно, если на окне ночуешь, какая там представительность. И он просил своих более цивилизованных друзей ходить по театрам и предлагать. Помню, поэт Андрей Гийворонский ходил... Так вот в чемодане они и лежали. Хотя ничего запрещенного не нашли, мастерскую отобрали, заявив, что мастерская используется не по назначению: «Вы художник и должны в мастерской работать, а для выставок существует Дом культуры».

Занавес

Чуть позже домашние выставки стали устраивать Рудольф и Наташа Казариновы, супружеская пара. Они жили на Дрезденской улице, в районе Светлановской площади, и я там жил неподалеку. Рудик работал в закрытом институте, он был человек науки, дико засекреченный. Казариновы мечтали эмигрировать, но по этой причине никак не могли. Пока муж ходил на свою секретную работу, Наташа познакомилась с Женей Рухиным, с Юрой Жарких, со мной, стала ездить в Москву к Оскару Рабину. Надо сказать, что Рабин не очень любил Питер. Бывал иногда, но в основном мы ездили в Москву. У Оскара на Преображенке была трехкомнатная квартира, на первом этаже, которая использовалась и как мастерская. Он сам работал в большой комнате, его сын, Саша, тоже художник, — в комнате чуть поменьше, а в самой маленькой комнате, которая сначала использовалась как кладовка, поставили две раскладушки, и мы с Рухиным там ночевали. У Жени машина была, отцовская «Волга», мы сверху на багажник положили свои картины и из Питера прямо до Москвы. Приезжали к Оскару всегда утром. «О, питерцы приехали, садитесь чай пить». Оскар — чаёвник, чай всегда с утра до вечера пил. Рухин: «Оскар, чай — питье не казачье» — и бежал в гастроном. Выставки как таковые у него дома не проводились, разве что пару раз. Оскар любил чистые стены, он не любил выставки. Мы просто показывали свои работы. Женька сразу усаживался звонить каким-то своим приятелям-корреспондентам, каким-то дипломатическим охламонам, и к вечеру собирался народ: «Ленинградцы приехали». Ну, и начинались безобразия.

Так вот, Оскар дал Наташе Казариновой совет, как выехать: проводите квартирные выставки. Надо сказать, что это сработало! Через три года их из страны выпроводили. Духу чтоб не было! Выставки у них всегда сопровождались какими-то приключениями. Вот типичная картина. Ничем не примечательный дом: длинный, вытянутый, и вдоль всего дома стоит милиция с мотоциклами, — это Казариновым такую блокаду устроили, что ни выйти, ни войти. Наташа мне звонит: «Слушай, мы здесь в глухой осаде, принеси поесть!» Я купил бутылку водки и килограмма два сосисок, но вместо их квартиры оказался на бывшей даче Бадмаева, тибетского врача, который Николая II лечил, на Поклонной горе. Там было отделение милиции. Привезли меня, сижу, жду. Наконец вызывают: «Что у вас в сумке». Я говорю: «Сосиски». — «Хватит шутить, что у вас в сумке?». Я открываю сумку, вытягиваю сосиски. «Ах так... Будете все пятнадцать суток свои сосиски есть». Отправили меня за решетку, а часов в одиннадцать вечера вызывают к начальнику. Тот спрашивает: «Вы мне можете дать слово, что не пойдете сегодня на Дрезденскую?» Я отвечаю: «Да, я даю слово, что *сегодня* (а одиннадцать часов вечера) на Дрезденскую не пойду». Выхожу из милиции, звоню Наташе: «Ребята,

ну подождите до завтра, сегодня я дал слово!» Меня потом года три дразнили, что Овчинников на честное слово с ментами разговаривал.

Мы уже тогда стали встречаться с Управлением культуры по поводу будущих выставок. На одной такой встрече я сказал какой-то чиновной даме, что вот сейчас проходит очень интересная выставка на Дрезденской улице. Она мне в ответ: «У нас выставочного зала на Дрезденской улице нет». Вот и весь разговор. Выставки нет, а милиция с мотоциклами есть.

Комедия окончена

Кирилл Козырев

ПАПОЧКА И ДОМАШНЯЯ «МАЛАЯ САДОВАЯ»*

Так случилось, что до того, как я стал заходить в «Сайгон», я уже бывал на Малой Садовой. Сегодня трудно оценить всю степень артистичности персонажей Малой Садовой. Представьте себе будни кулинарии Елисеевского гастронома в 1960 годы: чисто одетых советских граждан, стоящих в очереди за салатом «оливье», покупающих селедочное масло, печеночный паштет, пирожки. И среди этих неприметных людей — человека в форме военно-морского офицера царской армии (так, бывало, одевался Юрий Галецкий), или Алексея Георгиевича Сорокина, который ходил в крылатке и цилиндре, а в руках держал трость с роскошным янтарным набалдашником, или Элика Богданова с большим бантом на шее. Однажды женщина, стоявшая рядом с Эликом в очереди, удивленно взглянув на бант, сказала: «Как на гитаре!..»

С Малой Садовой (а вернее, первоначально со многими ее посетителями) я познакомился благодаря моим родителям. Вся компания собиралась у нас дома. Надо сказать, что папочка был значительно старше всех малосадовцев (он родился в 1916 году), но общался с ними как с ровесниками. Он, подобно многим людям, отсидевшим большой срок в лагере, как бы законсервировался: его вырвали из этой жизни двадцатипятилетним, и когда через пятнадцать лет он вернулся, то продолжил жить дальше с этой самой отметки.

Папочку взяли 22 июня 1941 года ровно в 4 часа. Когда всей стране объявили войну, то и ему тоже объявили, но такую отдельную, личную войну. Приговорили его к расстрелу, но потом расстрел заменили на лагеря и бессрочную ссылку. Когда отец вернулся, меня еще не было — я дитя хрущевской оттепели.

В 1962 году у родителей была уже своя семнадцатиметровая комната. Вся эта малосадовская компания еще не образовалась, но творческие люди бывали в доме постоянно. Так, почему-то у нас жил художник Кубасов. Двоюродный брат Саша, с которым мы жили в одной квартире, где-то с ним познакомился. Мне было тогда лет шесть или семь, и художник Кубасов произвел на меня сильнейшее впечатление. Он был ташист. Помню, как этот здоровенный дядька лил краску на большие листы ватмана. И сам любовался тем, что образуется на листе.

Бывали у нас в доме Саша Миронов, братья Танчики, Кирилл Петрович Вовк, Александр Львович Вяземский (Баранников), супруги Мосевы, Острины. Всех этих молодых людей объединяло то, что приблизительно в это время они открыли для себя православие. И мы вместе ходили в церковь, вместе праздновали христианские праздники.

Затем мы переехали в новую квартиру в Купчине, и там художественно-религиозные собрания расцвели пышным цветом. Это была уже отдельная квартира, хотя она тоже была очень странная. Дело в том, что у нас на покупку квартиры не хватало денег, и у нашего друга Валеры Васильева, который ездил в геологические экспедиции, были кое-какие деньги и не было своего жилья. И вот мы купили кооперативную квартиру на двоих. Мы занимали две смежные комнаты, а Валера — отдельную маленькую. Он был очень обаятельный человек, и тоже дружил со всей малосадовской компанией.

Чего только не происходило в этой квартире! Помню, например, как в 1967 году Сережа Танчик прибежал к нам седьмого ноября из сумасшедшего дома. Дело было так. Перед ноябрьскими праздниками братьев Танчиков посадили в сумасшедший



Алексей Козырев. 1974 г. Фото О. Корсуновой

дом — «во избежание каких-либо эксцессов». Каких эксцессов ждали от братьев Танчиков? Что они отдельной колонной пойдут с хоругвями против ликующих масс? Не знаю, но их решили изолировать, чтобы не испортили трудящимся праздник. И вот наступает седьмое ноября. Поганая погода. Квартира еще плохо отапливается: новостройка, «брежневский» дом, первый этаж. Холодно. Мы все на кухне. И вдруг в окошко стучится Сережа Танчик. Я очень хорошо запомнил, что на нем был синий больничный халат поверх пижамы. Пешком пришел из Скворцова-Степанова! В тапочках. А это ведь очень далеко от Купчина... То, чего так боялись большевики, свершилось: Сережа двинулся, можно сказать, поперек всех ликующих масс — правда, без хоругвей, но зато во всем больничном... Саша Мионов потом моим родителям пенял, что они отказались пустить Сережу на постой. А папочка заявил, что свое уже отсидел и что за Сережу не хочет опять идти на Голгофу. Нет, разумеется, его поили, кормили, но в том, чтобы Сережа, перейдя на нелегальное положение, залег на дно у нас на квартире, отказали.

Наше совместное проживание с другом-соседом усугубилось еще и тем, что папочка совершенно неожиданно для всех еще раз женился. Летом он путешествовал на пароходе по Волге, а обратно вернулся с новой женой, которая тоже у нас поселилась. Она училась на искусствоведческом факультете, то ли в Академии художеств, то ли в университете, и лет ей было восемнадцать (а мне, наверное,

двенадцать). Валера продолжал жить в своей комнате, а посередине нашей мы водрузили шкаф... Нам смежные комнаты, в общем, вещь знакомая, мы столько лет за ширмой прожили.

Меня эта ситуация мало беспокоила. Может быть, она мне даже и нравилась. В детстве как-то всегда хочется, чтобы гости не уходили, хочется, чтобы они остались ночевать, это кажется более правильным. Но соседи, и особенно соседские



Кирилл Козырев. 1973 г. Фото Ржоян?

...В моем аттестате за восьмой класс стояли одни только тройки. Продолжать учиться в школе я уже не мог, как не мог продолжать учиться и мой приятель Игорь Жиров. Когда его очередной раз вызвали к директору, и директор, как заезженную пластинку, завел разговор о том, что тот позорит имя своего отца, Игорь увидел в окне важно шагающего по улице Колю Ника (большого поклонника Фрэнка Заппы), который вытупивал на поводке швейцарскую машинку «Зинтер» — в лучших традициях русского футуризма. Именно в этот момент мой приятель понял, что его обучение в школе закончено. Эту историю я услышал от него за чашкой кофе в «Сайтоне»

жены, выказывали глубокое чувство непонимания и осуждали «разврат, который творится в доме». У папочки появилось нехорошее реноме. Потом эта девушка исчезла из нашей жизни, и все покатилось как раньше.

* * *

Где-то в начале 1970-х годов у нас стали регулярно собираться поэты, художники, философы. Папочка читал свои переводы из Гейне, мамочка — стихи и пьесы. Приносили свои новые работы Толя Белкин, Игорь Росс, Игорь Синявин. Приходили Боря Останин, Таня Горичева, Витя Кривулин, Лев Руткевич, Борис Понизовский, Костя Кузьминский, Юра Динабург, Илья Левин. Конечно, всех трудно перечислить. Можно сказать, что это был весь цвет ленинградской

неофициальной культуры. Беседы и чтения эти впоследствии послужили материалом для самиздатовских журналов «37», «Часы». «Обводный канал».

В это время меня определили в художественно-педагогическое училище. Там клепали учителей рисования. И преподаватели, и сам процесс обучения — все говорило о том, что рисовальщиком ты можешь и не быть, но учителем стать обязан. Заведение это находилось во дворе Театрального института, то есть поблизости от Мухинского училища. И я переместился в Муху «вольнотрушателем». А еще стал там работать натурщиком. Правда, поскольку мне еще не было шестнадцати лет, меня оформили по паспорту моего друга, чья фамилия была Тумаринсон. Получается, что я начал свою трудовую деятельность как бы под псевдонимом. Натурщики в Мухе — это особая тема... Жаль, что студенческие рисунки не сохраняют, и не осталось их изображений, потому что среди них встречались очень фактурные женщины. Одна (ее звали Леа) была совершенно потрясающая! Я больше никогда не видел такого удивительно красивого цвета кожи. Когда в литературе встречается сравнение кожи с персиком, всегда кажется, что это некоторое преувеличение. Но ее кожа была именно такой — как у младенца, что называется, шелк и бархат. Леа всегда сопровождала душещипательные истории. Она любила мужчин, но все каких-то подлецов. Она как-то безошибочно их находила, сразу выбирала последнего негодяя и проходимца. И так по возрастающей: своего предыдущего негодяя она бросала ради еще большего...

Среди натурщиц встречались и старорежимные старухи, из «бывших». У меня был друг, тетка которого жила прямо напротив Мухинского училища, звали ее Манефа, она преподавала в Театральном институте. Квартира ее располагалась на чердаке, во дворе дома на углу улицы Пестеля и Соляного переулка. Поднимаясь туда, надо было искусно маневрировать, потому что на лестнице отсутствовало несколько ступеней. Аварийное состояние — не то слово, про такое говорили «маневренное». Квартира была большая. Стоял рояль, всякие канделябры и море антиквариата — Манефа была женщина со вкусом... И вот к ней вечерами к ней приходили эти дамы, наши натурщицы, устраивали вечера романсов и т. п.

Из Мухинского мы часто ходили в «Сайгон», но было у нас еще одно любимое заведение — кафе «Гном», которое располагалось недалеко от института, на Литейном. Там тоже собиралась своя публика. Из постоянных посетителей помню актера Смирнова, он всегда приходил в кафе с мамой. На углу Литейного и Пестеля была кондитерская, откуда всегда чудесно пахло кофе, там стоял хороший кофейный автомат.

Это был тот редкий период в моей жизни, когда меня окружали сверстники. С кем-то я познакомился в Мухе, с кем-то когда-то отдыхал в пионерском лагере ВТО. В нашей компании были Андрюша Романов, Миша Тумаринсон, Алина Раппопорт, Боря Гребенщиков, Галя Рейн, еще какие-то еврейские красавицы... Как раз тогда стали устраивать музыкальные «сейшены» в институтах: в Академии художеств, в Бонче, в Текстильном, и мы везде тусовались. Ну, и в «Сайгоне», разумеется.

Вспоминаю, что в «Сайгоне» были компании, которые проводили там чуть ли не целый день: я приходил — они уже были там, я уходил — они еще оставались. Мне казалось, что это людей там можно застать в любое время, когда ни придешь. «Сайгон», что ни говори, был удобным местом встречи. Правда, у малосадовской публики ходить в «Сайгон» считалось проявлением дурновкусия. «Сайгон» называли «стремным местом». Но почему-то все в него ходило. Он был так удобно расположен, что ноги сами туда несли, хочешь не хочешь.

Из тех, кого всегда можно было застать в «Сайгоне», помню Эмиля. Это был красавец еврейско-осетинского типа, с такими печальными карими глазами, благородной седой, щетиной на щеках, всегда окруженный длинноногими девушками — такими, каких можно было увидеть разве что в Доме мод или в ресторанах... Его все знали, но я не видел, чтобы с ним кто-то близко общался.

Всегда стоял в «Сайгоне» Гера Григорьев — как будто врос в это место. Все знали, что у него есть загадочное сочинение — пьеса, которую никто не читал (до конца, по крайней мере). Он часто порывался публично ее прочесть, но ему так ни разу и не удалось. Гера стал частью сайгоновского ландшафта.



Владимир Швейгольц («Швейг»). У окна, у себя дома на Кутузовской наб. 1982–1984 гг.

Есть у некоторых людей такая способность — становиться частью городского пейзажа. Сейчас, конечно, такого уже не увидишь... У меня был друг — Володя Швейгольц. Не знаю, ходил ли он в «Сайгон» до того, как его посадили в тюрьму, но он обладал именно такой способностью. Посадили его в 1968 году, а вышел он в 1978-м. В лагере он отморозил ноги, и нужно было их ампутировать. Когда Володя освободился, мама его уже умерла, и жил он по разным знакомым, в том числе и у меня. Но тут появилась в его жизни девушка — Аня М. Она была женой известного коллекционера, который жил недалеко от «Сайгона», на улице Рубинштейна, — Льва Борисовича Каценельсона. Благодаря хлопотам

Ани и Льва Борисовича, после первой ампутации Володе дали квартирку. Вся она была метров шестнадцать, и на этих шестнадцати метрах помещались коридор, кухонька, сидячая ванна и комната. Располагалась квартира на третьем этаже, и, когда Володя лишился второй ноги, возникла новая проблема: в эту квартирку ему было просто не подняться. Аня написала еще одно слезное письмо, Володя получил большую квартиру на первом этаже дома братьев Елисеевых, что на Кутузовской набережной, и вот тогда-то он и стал частью пейзажа. Он буквально жил на подоконнике, играл с прохожими в шахматы, загорал... Помню, я зашел к нему, а там — пятеро или шестеро детей. Катаются на его коляске, гоняют на «инвалидной платформе», такой совсем низенькой на крохотных колесиках... Одного спрашиваю: «Сколько лет тебе?» А он еще и говорить не может, на пальцах показывает. Оказалось, соседки оставляют у него своих детей, закидывая их прямо через окно. И воспринималось это как само собой разумеющееся: казалось, что он в этом месте жил всю жизнь, и так всегда было заведено, что женщины оставляют на него детей. Если бы они знали подробности его биографии, то, я думаю, вздрогнули бы, потому что сел он на десять лет за убийство — перерезал горло своей возлюбленной...

И в «Сайгоне» были персонажи, которые стали его неотъемлемой частью: то находясь внутри, то стоя снаружи, они, как кариатиды, поддерживали это сооружение и практически его не покидали. Хотя иногда должны были куда-то отходить по нужде, ведь в самом кафе туалета не было. Общепит не предполагал наличия туалета,

хотя, наоборот, в самих туалетах (по крайней мере, в мужских) были своего рода закусовые: газетка на окне, какая-то незамысловатая еда, бутылка и люди вокруг. И если иностранец чувствовал себя неловко, справляя нужду в присутствии выпивающих и закусывающих, то местный народ считал это абсолютно естественным.

* * *

Атмосфера в «Сайгоне» странным образом напоминала семейную, потому что люди, которые даже не были друг с другом знакомы, виделись там так часто, что возникало ощущение родственности. Вместе вкушали напиток, вместе курили, стреляли друг у друга сигареты и так далее...

Но главная роль «Сайгона» состояла в том, что это было место старта на вечер. Конечно, и днем кто-то туда заходил, забивал стрелки, но существовали два дежурных часа, между пятью и семью вечера, когда из «Сайгона» лучеобразно расходились группки, каждая в своем направлении. Кто — в Филармонию, кто — в мастерские, кто — на какой-нибудь «сейшен», а кто-то приглашал к себе, потому что уехали родители и была свободная квартира.

Мы частенько направлялись к Леше Розенфельду. Его отец был известный детский композитор Розенфельд, большой, грузный человек, без ног (тогда это было распространенным явлением, следствием войны или лагерей), а мать — очень красивая женщина, «из простых». Жизнь ее явно не баловала: муж — инвалид, сын — наркоман... Леша унаследовал от матери красоту, но всячески старался эту красоту как можно скорее разрушить, и эти старания придавали его облику декадентский оттенок. В то время (а это было начало 1970-х) он открыл для себя панк-рок — когда еще и в Англии-то мало кто знал про это направление. Панки — они, как известно, далеко не ангелы, хотя с падшими ангелами их сравнить вполне можно... И вот такого падшего ангела Леша Розенфельд заделывал отлично. Он шел по улице в длинном кожаном плаще на шерстяной подкладке (такие носили английские летчики), а из плаща во все стороны разлетались клопы... Леша жил поблизости от Московского вокзала и покупать анашу ходил на Маяковку. И, благо недалеко, брал с собой кота, которого использовал как дегустатора. Кот нюхал траву, и по его дальнейшему поведению Леша понимал, насколько качествен товар: чем резче кот дергает головой — тем лучше анаша. Но это лишь маленькая деталь, из песни слова не выкинешь. Без темы кайфа, говоря о «Сайгоне», не обойтись, однако записать всех в алкоголики или наркоманы было бы несправедливо.

Вспоминаю замечательного Алексея Георгиевича Сорокина. Он был убежденным монархистом и заядлым морфинистом. На фоне анархизма и пьянства тех лет это выглядело достаточно оригинальным. Да и сегодня его манера одеваться и вести себя производили бы, без всякого сомнения, впечатление карнавала. Он просил встать при упоминании имени государя; садясь в такси, бил тростью водителя по спине и говорил: «Пошел, хам!» Алексей Георгиевич был светский человек и большой любитель музыки: его можно было встретить в Большом зале филармонии на симфонических концертах, неизменно во фраке. В антракте регулярно разыгрывалась следующая картина: Алексей Георгиевич учтиво беседует с дамой, но при этом производит странные движения руками (он испытывал чудовищный зуд, оттого что употреблял кодеин в чистом виде, однако, как светский лев, изо всех сил старался сохранить лицо).

В самом «Сайгоне» наркотиками торговали крайне редко, для этого поблизости существовал Кузнечный рынок. А напротив рынка располагалась парикмахерская, где всегда (якобы в очереди на стрижку) сидели те, кто торговал кокаином. Удобство и для покупателей и для продавцов заключалось в том, что не нужно было тусоваться на улице — в парикмахерской все выглядело прилично: сидят люди в очереди, общаются... Здесь я как-то встретил Сашу Исачёва.

Саша Исачев частенько заходил в «Сайгон» (это было еще до его знакомства с Георгием Михайловым). Впервые я увидел его, когда он только что приехал в Ленинград из Белоруссии и его привел к нам домой Костя Кузьминский. Саша был очаровательный человек: красивый, с немного женственными чертами лица. Это был молодой, талантливый, яркий художник. В то же время в нем ощущалась какая-то трагичность — видимо, это связано было с первыми признаками болезни. Впоследствии он ослеп.

Летом на Невском можно было встретить человека с бумажной хризантемой в петлице и в перчатках или безумную старушку-«красавицу». Это были городские сумасшедшие, которые тоже составляли часть знакомого пейзажа.

В «Сайгоне» подобным персонажем был Витя Колесо. Некоторые подозревали его в стукачестве. Тема стукачества тоже, надо сказать, типично «сайгонская». Игрой в разоблачение стукачей увлекались многие, и я в том числе. Вполне допускаю, что стукачи в «Сайгоне» действительно существовали. Впрочем, эта подозрительность была своего рода скрытой формой мании величия. Если за мной не следят — что же я, тварь дрожащая? А я право имею!

* * *

«Сайгон» имел непосредственное отношение и к тому новому для советской страны явлению, которое стало называться «системой». Система состояла из людей, которые свободно перемещались по всей нашей великой стране. С 1969—1970 годов в «Сайгоне» стали появляться люди из Владивостока, Уфы, Новосибирска, Свердловска, Одессы, Киева... Ну и конечно, из Прибалтики. «Система» использовала «Сайгон» как место сбора, где происходило «распределение» системщиков по домам. Такой открытый дом для системных людей был и у моего ближайшего друга Кирилла Воскресенского, с которым мы были связаны с раннего детства. Наши родители когда-то учились в одной школе. А когда мой папочка освободился и поступил на работу в Геологический институт, выяснилось, что там служит мама Кирилла Наталья Юрьевна Загорская, геолог, доктор наук, писательница... И связи между нашими домами наладились.

Жили они под Поклонной горой, рядом с баптистским молельным домом, в очень красивом месте. На участке росли громадные, в три обхвата, вязы и липы. Дом был в чеховском духе, со старинной мебелью, множеством замечательных книг, шкурой белого медведя на полу, с портретами и мраморными бюстами родственников (Кирилл был внучатым племянником Семенова-Тянь-Шанского). Роскошный каменный дом, с балкончиками на втором этаже, окруженный чудесным яблоневым садом, потихоньку приходил в упадок, но в нем еще хранилось много необыкновенных «старорежимных» вещей — например, мы нашли там купальные костюмы начала XX века. Такие комбинезончики в полоску, с матросскими воротничками, один голубенький, другой розовенький, предназначавшиеся, видимо, соответственно для мальчика и для девочки. Костюмы были нам тесны, немножко терло между ног, но мы в них все-таки влезали и направлялись в Озерки (благо это было совсем рядом), где шокировали своим видом отдыхающих.

В какой-то момент Наталья Юрьевна уехала жить в Карелию, а дом остался детям, и в нем начал останавливаться самый разный системный люд. Откуда только ни приезжали: из Киева, со всей Прибалтики... Жили там и наши ленинградские «системные» ребята, которым казалось, что на кой черт идти домой, когда здесь так хорошо... Жил там одно время и Швейгольц, и человек по имени Леша Шульц — теперь он стал затворником, а тогда это была очень яркая фигура. По-разному сложились

судьбы тех, кто жил и бывал в этом доме. Скажем, Петя Рейман — тогда был свободным поэтом, даосом, а теперь он архимандрит в Сибири...

Этот открытый дом прекратил свое существование примерно году в 1976, когда его хозяина посадили «за содержание притона», дали пять лет... Это был жестокий и, вне всякого сомнения, несправедливый приговор.

О ком мне еще хотелось бы рассказать, так это о Саше Сафарьянце по прозвищу Бат. В «Сайгоне» он, конечно же, бывал, но никто его и не вспомнит, к большому сожалению. Благодаря смеси армянских и еврейских кровей, Сафарьянец обладал весьма колоритной внешностью — густые мелко-мелко выующиеся волосы, которые он носил заплетенными в косичку, и такая же мелко выующаяся борода, вокруг губ желтая от никотина. Его отец был когда-то дипломатом, семья жила в достатке, и дом был полон красивых и диковинных вещей, привезенных из поездок в разные страны.

Полное прозвище Сафарьянца было Батенька, но потом его сократили до Бата. Прозвище это он приобрел следующим образом. Зимой Батенька ходил в покрашенной в фиолетовый цвет собачьей шубе, поверх которой надевал какие-то шаманские обереги, и однажды, обкурившись анаши, пристал к проходившей мимо женщине с вопросом: «Гражданочка, на кого я похож?» Она в ответ: «Дурак ты, батенька». Вот так и прилепилось к нему это прозвище.

Вместе с Батом мы работали сторожами на Армянском кладбище, которое находится на Васильевском острове. Здесь в двухэтажном особнячке рядом с церковью, бывшем церковном здании, хранились какие-то радиоактивные вещества, изотопы или что-то в этом роде. В самой же церкви находилась мастерская скульптора Пинчука, который ваял Сталиных, Лениных и т. п. (Позже я узнал, что благодаря Пинчуку у скульпторов возник термин «отпинчужить», то есть отполировать поверхность скульптуры.) Когда он помер и мастерская освободилась, эти истуканы вышли наружу — в этом было что-то страшное... А вспомнил я об этом вот почему: когда началась перестройка и армянская церковь была вновь открыта, Бат стал ее старостой — первым старостой армянской церкви, после того как ее открыли в Ленинграде в постсоветское время. И чуть ли не первым постсоветским захоронением на армянском кладбище стала его могила.

А до армянского кладбища Бат работал сторожем в буддистском храме, где в то время располагалась орнитологическая станция и все внутреннее пространство представляло собой громадную клетку, в которой летали птицы. И возникало ощущение, что птицы там служат...

Олег Леваков

ЮНОШИ — В ТУЛУПАХ, ДАМЫ — В ШАПОКЛЯКАХ*

Я не был в «Сайгоне» причастен к какой-то группировке или клану, я был «космополитом», потому что мне всё было интересно. Моя однокурсница вышла замуж за поэта Гену Беззубова, и он собирал у себя на улице Рубинштейна раз в месяц какие-то посиделки. Ольга пекла пироги, очень тонкие (денег-то не было), и мы чаевничали. Собирались поэты-полусайгончики и читали стихи. Никакой политической направленности ни в стихах, ни в разговорах не было. Никто советскую власть не проклинал, поскольку мы жили в той среде и считали, что советская

* Беседовала Юлия Валиева.

власть навсегда и что другой и быть не может. И в «Сайгоне» никакие политические разговоры не велись.

Там было очень демократично, знакомились тут же: «Коля, это Олег. Олег — театральный, Коля — художник» — и приглашали к себе: «Вот, сейчас у меня выставка будет, приходи». Я его знать не знаю, но он уже приглашает. А я говорю: «А ты приходи на просмотр». Никто ни к кому не приходил, но это неважно. Главное — эта секундная контактность и доверие к людям, сейчас такого нет.

Я помню, был в «Сайгоне» такой Костя Демократ. «Демократом» его прозвали потому, что он был очень маленького роста, но при этом у него была очень длинная борода. Он еле доставал до стола-стойки. Это был завсегдатай, который проводил там дни и ночи и всегда был готов составить компанию: «Костя, ты выпьешь?» — «Да, выпью». — «Покуришь?» — «Покурю». Работал, как модно было, в кофегарке где-то. Это был настоящий сайгонщик. Он знал все группировки, но ни к одной не принадлежал: «Костя, Алёна была здесь?» — «Да, она была в два часа». — «А когда она будет?» — «Она в шесть еще зайдет». Он был информатор: кто, когда придет, где, что. Такой оператор «Сайгона», знающий всё про всех. А разговоры о литературе, кино, театре — это всё его не интересовало.

Или был такой очень странный человек — Саша Худой. Как полагается, пальто длинное, шляпа. Однажды мы поехали в Бернгардовку к Саше Худому в гости. Называлось это «съездить на природу». Он снимал комнату в деревянном доме. Кухонька, комнатка — всё страшно обшарпано. Но самое удивительное заключалось в том, что у него вся прихожая и полкомнаты были заставлены бутылками из-под подсолнечного масла. Оказывается, он питался только хлебом и подсолнечным маслом и больше ничего не ел вообще! То ли это у него была фишка, то ли денег не было — я не знаю. Если грузовую машину туда подогнать, она не увезет всё, что у него там стояло. Когда мы ему налили пятьдесят грамм, он их выпил и тут же упал, потому что у него организм был настолько истощен, что он даже эти пятьдесят грамм не мог освоить.

«Сайгон» требовал определенного антуража. Я сам ходил с портфелем, завязанным веревкой, — а как же? В «Сайгоне» ходить с нормальной сумкой? Нет! Надо портфель старый, на котором уже замков нет — оторваны и веревкой завязаны. У меня была курточка под «Биттлз», что было очень модно. Обязательно шарф — рваный, весь в дырах, клочьях, непременно длинный, чтобы заматывался пятнадцать раз. Мне подарили варежки огромного размера, на резинке, и я ими очень гордился, в «Сайгоне» все просто млели от них. Для особого шика требовалось добыть тулуп, и я его добыл. Были люди, кому удавалось достать шинель, меняли на ней пуговицы и т. д. Зимой пытались носить валенки с галошами. Одно время в моде были суконные боты «прощай, молодость» на молнии. Но в них особо в грязь не походишь, они промокают. Каждый там дефилировал в силу своей изобретательности, и кто в чём мог, ведь там среда была не очень-то богатая, все были в основном из среднестатистических семей, если не просто бедных. Моделировали, что называется, «из подбора». Что было у соседа, что выкидывалось, то и надевали. Этим ещё и бравировали. Знакомая, которая меня туда привела, была как раз из тех оригиналок, или, скажем так, альтернативщиц. У неё было очень длинное пальто, она буквально «подметала» улицы. На голове не шляпа, не платок, а что-то всё вместе перевязанное. Посмотришь со стороны: полушапокляк-полуледи.

Приключений там было много. Однажды у меня исчез портфель. Мы стояли, ели-пили, смотрю — портфеля нет. Я обратился к Косте Демократу: «Костя, портфеля нет». — «Сейчас разберемся». Куда-то ушел. Через пять минут приходит: «Люди уже думают, как, чего, сейчас разберемся, что к чему». Через десять минут подходит, говорит: «Ты знаешь, портфель твой нашли. В мусорной бачке, на Владимирском в каком-то дворе, но там его не отдадут, надо дать червонец». А это же состояние, деньги! Дружья сбросились. Он говорит: «Сейчас, секунду». Приносит

портфель. У меня такое ощущение, что портфель никуда и не исчезал, просто была провернута такая авантюра с вымоганием червонца, который при определенной добавке (если три рубля шестьдесят две копейки умножить на три, получается почти десять, там добавить-то чуть-чуть) позволил бы купить три «флакона».

Были и истории, которые не очень украшают литературную тусовку. Когда ещё стояли столики, в конце 1960-х годов, молодежь там потягивала травку, стоял характерных запахов, и по углам поднимался дымок. Но не скажу, что это было постоянным явлением. Просто были и такие люди, которые курили, и которые кололись, и большая прослойка просто тусовщиков. Спрашиваешь такого: «Ты кто?» — «Валера». — «Ты вообще кто?» — «Инженер». — «Инженер чего?» — «Просто инженер». Вынимает удостоверение, там его фотография, какой-то непонятный штамп и написано «инженер». Я говорю: «А где ты работаешь, инженер, место там же всегда пишется?» — «Неважно, я работаю там, где мне надо»... Потом выяснилось, что он работал в психиатрической больнице медбратом — возил каталки, а в удостоверении было написано «инженер»...

Я не был заядлым сайгонщиком, но сейчас понимаю, что к театру я пришел через «Сайгон» — та альтернативная среда, которая там была, давала понять, что есть еще нечто живое и интересное в искусстве.

Когда меня туда привели в первый раз, я заканчивал Художественно-педагогическое училище, это был 1967 год, наверное. Мой диплом назывался «Трубоукладчики» — станковая живопись, полотно полтора на один метр. Там была изображена огромная труба, один человек стоит с лопатой, у другого перекур. Перспектива трубы уходит куда-то... Мою работу оценили на пять. Но потом я понял, что путь художника мне неинтересен. Художник, как и писатель, — человек все-таки одинокий, человек «в колпаке», в своей скорлупке. Он должен быть один на один со своим миром, а мне по моему характеру это не дано. Я пошёл в театральную студию, которую вёл Михаил Левшин (в ДК им. Дзержинского), где я и заразился «вирусом» театра.

Это была полупрофессиональная студия, там играли и любители, и молодые начинающие артисты с образованием. Мы поставили мюзикл Оскара Фельцмана «Мой брат играет на кларнете», очень тогда модный. У меня была роль внука, а Лев Геннадьевич Сундстрем, сегодня ректор нашей Театральной академии, играл моего дедушку. С нами вживую выступал квартет под руководством Давида Голощёкина: фоно, бас, ударные и сам Додик — на скрипке или на трубе... Левшин нам дал очень многое в смысле понимания театра. Он учил, что в театре надо поменьше мудрить и умничать по поводу жизни, а надо больше фантазировать. Театр — это, конечно, зеркало жизни, только зеркало кривое...

Начиная с 1970 года, когда я поступил в Театральный институт, обозначилась среда, в которой мне интересно жить. Институт забрал всё время, хотя именно андеграундная среда заложила те отношения ко всем сферам искусств, которых я до сих пор придерживаюсь. Потом я женился и прекратил бывать в «Сайгоне». Жена, когда я назначал там встречу, говорила, что не пойдет туда.

Владимир Ханан SIC TRANSIT...

«Сайгон» был для меня заведением с сомнительной репутацией — там собиралась не всегда понятная, а иногда и просто неприятная мне публика. Одновременно «Сайгон» был для меня местом с репутацией довольно высокой, ибо, бывая там, я неизменно обнаруживал за стойками и в очередях за кофе добрых

литературных знакомых. Короче, завсегдатаем «Сайгона» я не был. Дело, может быть, хотя бы частично состояло в том, что я был равнодушен к кофе и в свои литературно активные года налегал на чай, даже дешёвые сорта которого были в те времена крепки и вкусны. Каким-то образом активно творческие годы — и не у одного меня — случаются не то чтобы наиболее голодными, но довольно часто сопровождаются определённой, скажем так, диетой. Моя — дневная — состояла из двух приёмов (утром и ночью) двух стаканов крепчайшего (не чифирия!) чая, сопровождаемого двумя бутербродами с докторской колбасой. Венчали это великолепие солёные огурцы. С тех пор я думаю, что ничего лучше этой диеты человечество не изобрело. Где-то в начале восьмидесятых я неосторожно пошутил в стиле героя Ильфа и Петрова (американец из «Одноэтажной Америки»), что мы ещё доживём до того, что даже солёные огурцы — исконнейший российский продукт — станут дефицитом. Словами надо пользоваться с опаской! Солёные огурцы тогда не замедлили пропасть из городской торговли, «доставать» их приходилось через кафе и рестораны. Думаю, именно тогда в головы многих постучалась давно напрашивавшаяся мысль, что так дальше жить нельзя!

В общем, в «Сайгоне» я бывал эпизодически, редко когда специально. Заходил, когда оказывался рядом. Был, правда, год, когда я встречался с молодой талантливой поэтессой, жившей неподалёку. Встречаясь, мимо «Сайгона» мы уже не проходили. Довольно быстро у нас образовалась разношёрстная и неустойчивая по составу группка, с которой мы, попив кофе (и только изредка сухое вино), шли в один из местных двориков, где читали друг другу последние «эпохалки» и «нетленки», всякий миг ожидая облавы литературных критиках в милицейских погонах. Как я уже говорил, публика в «Сайгоне» собиралась разномастная. Помню, как однажды ко мне подошёл парень с застывшим взглядом и нетвёрдой речью и несколько раз настойчиво повторил, что он «работает в тине» (вещество, как я тогда понял, содержащееся в чифире). Результатов этой «работы» мне, по счастью, увидеть не случилось. В другой раз недалеко от «Сайгона» меня остановил парнишка явно приبلатнённого вида и взволнованно сообщил, что только что «менты взяли Сяку». Кто такой Сяка и за что его взяли менты, я не ведал ни сном ни духом, но понял, что становлюсь в «Сайгоне» не последним человеком.

Наши походы во дворики продолжались, стихи писались, читались и обсуждались. Надо сказать, что это было небезынтересно. В то время мы все были молодыми, но был с нами и совсем молодой, лет шестнадцать, поэт, посещавший литобъединение Виктора Сосноры и писавший интересные стихи. Одно я помню до сих пор:

В этой жизни безвозвратной
Суждено, быть может, нам
Умереть не в поле ратном,
А в чужом глухом парадном,
Прислонясь к чужим дверям.
Только дверь — не дверь от рая,
Спит за ней такой же страх...
Общее, следует сказать, настроение.

Он-то и познакомил меня однажды с весьма колоритной личностью, из тех, что ранее на моём пути не встречались. Как-то в одно литобъединение, куда мы, маститые профессионалы, иногда забредали, кто зачем (одни — чтобы блеснуть своими новыми стихами, другие — чтобы высмотреть молодую поэтическую поросль женского пола, дабы бескорыстно помочь её литературному становлению), наш молодой поэт привёл своего приятеля, который вскорости нас удивил — и не

своей очевидной инвалидностью и даже не своей из ряда выбивавшейся судьбой (бывший боцман, после травмы ставший православным священником), сколько тем, что во время чтений по кругу, бытовавших тогда в литобъединениях, прочитал как своё стихотворение Иосифа Бродского «Пилигримы». Позже, когда мы уже вышли на улицу, я не скрыл от него своего недоумения, на что он спокойно ответил: да, мол, действительно, когда-то «попросил Осю взять это стихотворение на себя». Как выяснилось позже, «брали на себя» его стихотворения и другие поэты, порой не менее известные, чем тогда Бродский. Так в моей записной книжке появился телефон игумена Владимира. Был случай, когда мне понадобилось позвонить по этому телефону. Оказалось, что попал я и вправду в церковь, хотя про игумена Владимира мне сказали, что «в настоящее время его нет». А вот уж о том игумене или другом шла речь, этого я не знаю.

Спустя какое-то время поэтесса, о которой я уже упоминал, угодила-таки в милицейскую облаву. В отделении милиции ей задали вопрос, что она, студентка Литературного института, делает в этой более чем сомнительной компании, на что она ответила, что ей, как литератору и человеку, интересны все необычные человеческие судьбы. Например, боцман, ставший священником. «Священником... как же... — ответствовали стражи порядка. — Да мы его не одно десятилетие знаем как карманного воришку». Спустя несколько лет герой этой истории подтвердил мне основные тезисы милицейского заявления. Так что, когда мой друг Серёжа Васильев, остроумец и бонмотист, которого я часто цитирую в своих «Запасных книжках», сообщил, что познакомился в «Сайгоне» с человеком, принимавшим в 1968 году участие в чехословацком сопротивлении советским войскам, где и получил пулемётной очередью по ногам, я, не дослушав, назвал имя и оказался прав. Следует всё-таки обязательно подчеркнуть, что мой герой действительно писал стихи, а потому называть себя поэтом имел право не меньшее, чем каждый из нас, а кроме того, его странные, имеющие более чем относительное отношение к реальности, рассказы о рыбаковских судах, монастырских кельях и чехословацких маки — так легко и удобно совпадали с таким же смутным статусом «Сайгона», что крепко приклеившееся к его впалой груди звание символа этого места не кажется мне несправедливым.

Последняя моя встреча с «Сайгоном» произошла так. Утром какого-то дня я ждал у входа в «Сайгон» моего приятеля. В то время я работал в Эрмитаже в высоком звании вохровца (военизированная — слава Богу, без оружия — охрана). На встречу я приехал между дежурствами, по каковой причине был одет в форменную шинель образца годов этак тридцатых. Стянутая в талии, с необъятными полами и зелёными ромбами петлиц на воротнике. Плюс к тому рукава чуть ниже локтей, плюс моя буйная шевелюра, развевавшаяся резвым весенним ветром. Зрелище, прямо скажем, было ещё то. И, естественно, на него обратила внимание милиция. Вышедший из ПМГ (машина подвижной милицейской группы) сержант подошёл ко мне и потребовал предъявить документы. Поскольку паспорт мой остался в Эрмитаже, в пиджаке, меня посадили в ПМГ и повезли в Пятое отделение милиции, курировавшее Невский проспект, включая, естественно, «Сайгон» В машине я вспомнил, что в брюках у меня лежит эрмитажное — с фотографией — удостоверение и постучал в стекло, отделявшее в машинах подобного рода «чистых» от «нечистых», с полной уверенностью, что меня тотчас же выпустят. Однако в отделение меня всё-таки привезли, и там-то и произошёл случай, коему чёткого объяснения я не нахожу по сие время. Во дворе отделения дверца машины открылась, и заглянувший туда абсолютно незнакомый мне офицер предложил мне выйти. Предложил, назвав по имени. Поскольку я стал недоумённо оглядываться по сторонам (в машине, правда, никого, кроме меня, не было), офицер повторил свои слова — и вновь назвал меня по имени. Чтобы читателю стало понятно моё недоумение,

вынужден объяснить, что моё имя в документах не имеет ничего общего с тем, под которым меня знают все литературные друзья и, льщу себя надеждой, какое-то количество читателей. Дальше не было ничего интересного, меня, конечно же, выпустили, задав несколько идиотских вопросов, а по вышеприведённому поводу мне ничего иного не осталось, как признать, что под тем или другим именем я превратился в нешуточную знаменитость, чему, по всей видимости, посоедействовали мои пусть даже нечастые посещения нынче уже вошедшей в память веков скромной ленинградской кофейни на углу Невского и Владимирского проспектов.

Краткий эпилог. Спустя немалое количество лет, проходя мимо знакомой двери, я (скорее всего — машинально) толкнул её... и оказался в салоне, сверкавшем всеми красками и оттенками всевозможной импортной (не слишком ещё привычной в те времена) сантехники. На меня высокомерно взирали голубые и розовые унитазы и ванны, небрежно поглядывали хитрые чудо-краны и души, а то и (я тогда и слова-то такого не знал!) уже окончательно загадочные джакузи. Робко и невнимательно осмотрев это великолепие, я повернулся и вышел, подумав — в силу классического образования — на латыни: «*Sic transit...*» (Так проходит...) Мысль была, несомненно, верная. Но, согласимся, весьма печальная.

Владлен Гаврильчик

БОЛЬШАЯ ЛИТЕРАТУРА СУЩЕСТВУЕТ...*

Я с «Сайгоном» вообще никак не пересекался. Заходил я туда, считайте, столько же раз, сколько в обувной магазин. В те времена я жил на улице Коломенской. Рядом был литературный салон Бори Понизовского на Стремянной улице, рядом же был литературно-индустский философический салон Вадима Крейденкова (ныне он американский поэт Крейд, главный редактор «Нового журнала» в Нью-Йорке).

Салон Понизовского меня мало интересовал, поскольку я получал в то время теологическое самообразование, а к литературе имел отношения исключительно как читатель. У Крейденкова я бывал. У него в салоне собирались интересные люди: Бродский, Горбовский, в основном университетская публика. А я был совсем из другой песни. Я был только что уволенный в запас военно-морской офицер пограничного флота, приехал с Дальнего Востока.

Когда я в 1955 году демобилизовался и приехал в Ленинград, в первую очередь я стал искать, как познакомиться с приличными людьми. Я был мальчонка любознательный, ещё в школе очень много читал, любил поэзию. (Я детдомовец. Сначала — интернат для детей пограничников, потом Ташкентское суворовское училище. А вообще, я родился по дороге с погранзаставы в ближайший город, в пустыне Кызылкум, в караван-сарай, и место моего рождения зарегистрировано в ближайшем городке Термез на Амударье.) И я пошёл в изостудию, в Дом культуры пищевой промышленности.

Поскольку нам, дуракам, после училища** выдали корочки о высшем образовании, я сразу устроился на работу в военно-промышленный комплекс. Страна тогда пыталась обогнать Америку хотя бы по числу образованных людей — самая знающая, самая образованная. Меня приняли на завод штурманских приборов,

* Беседовала Юлия Валиева.

** Ленинградское пограничное высшее военно-морское училище.

и центральное конструкторское бюро, в лабораторию. Ну а так как я, будучи еще школьником, не вылезал из детского авиамodelьного кружка, техника для меня всегда была любимым делом. Меня всегда интересовало, как это всё крутится, почему это всё происходит. После работы я бежал в изостудию. Очень много времени посвящал рисованию, получая от этого огромное удовольствие, покупал художественные материалы, кисти, краски, литературу изучал соответствующую... А потом, совершенно случайно, я встретился с нужным мне человеком. Его звали Василий Полево. Он был младше меня, и по социальной лестнице стоял гораздо меня ниже — сторож на стройке, но это был талантливейший, интереснейший человек, и он стал моим учителем. Он целиком и полностью был привержен кубизму. Через него я вошел в общение с молодыми психами питерскими, назовем их кубистами. Они меня ввели в курс дела, я же понятия не имел, что творится: что Союз художников создан специально для того, чтобы надзирать было удобнее, что это каста, в которую принимали только своих. До этого я не понимал, что быть просто художником — это очень почетно. Пусть они в своем Союзе всякой ерундой занимаются, а я вот... Мне понравилось, что я — оппозиционер.

Я очень много учился: сидел в отделе эстампов в Публичке, записался ещё в библиотеку Академии художеств — там были все новейшие журналы, американские, французские. Да я и сам выписывал журналы, которые нам поставляли страны народной демократии. Особенно хороши были чешские и словацкие, там гнали крутую модерну, и никто ничего не мог поделаться. В нашем почтовом отделении было всего два человека, которые подписывались на эти журналы, — я и Лёня Каминский. В Публичной библиотеке я нашел в каком-то журнале репродукцию Пиросмани, перевел с фотографии его рисунок на кальку, записал точно все размеры и сделал копию в натуральную величину. Поскольку снимок был черно-белый, раскрашивал я по своему разумению. Потом, когда была выставка Пиросмани в Русском музее, я сравнил, что сделал Пиросмани и что сделал я. Совершенно разные цветовые решения. На обзорных я тоже вышел благодаря журнальному залу, перелопатил все выпуски «Чижа» и «Ежа».

В изостудии спустя некоторое время создали собрание и исключили меня за «формалистические кривляния», я не стал их слушать, оделся и ушел.

Через Васю Полевого я врубился в современное искусство, а уже благодаря этому — приобщился к иконописи, к искусству средневековому.

А «Сайгон» проходил мимо меня, потому что я в военно-промышленном комплексе работал, у меня на это просто времени не хватало, на эту беготню. Я даже не посмотрел цикл знаменитых оттепельных фильмов, и потом мне мой друг, шкипер, блестящий рассказчик, пересказывал все эти фильмы на барже за чаепитием.

О «Сайгоне» у меня было такое представление, что там просто собираются даже не пьяницы, а люди с каким-то странным уклоном — может быть, фарца... Не знаю, я не вникал. Кофе я не пил. Просто раз зашел посмотреть, потому что познакомился с кружком Кузьминского.

Благодаря Полевому я попал к Крейденкову. Я внушал уважение, некое доверие, несмотря на свою подозрительную биографию: погранвойска же относились к КГБ, то есть я — офицер КГБ...

В салоне Крейденкова обменивались литературой, которая, в основном, была доступна лишь в фотокопиях. Там были продвинутые университетские ребята, они меня познакомили с кругом литературы, которую нужно прочитать, а это великое дело — подсказать человеку, в каком направлении развиваться. Тогда я прочёл в Публичной библиотеке Рабиндраната Тагора «Творчество жизни (Садхана)», и, чтобы ничего не упустить (на полях ведь пометки ставить нельзя), я книгу просто переписывал. От ребят я узнал об интереснейшей вещи: оказывается, в первом издании

Ромена Роллана, которое выходило под редакцией Горького, в девятнадцатом томе, был напечатан труд «Сравнительное исследование мистики Запада и Востока». Я и его штудировал. Далее, была книга Ромена Роллана «Вселенское Евангелие Вивекананды». «Жизнь Рамакришны» (того же автора) я прочитал в фабричной библиотеке. Дело в том, что хотя большевики чистили все народные библиотеки, они как-то позабыли, что фабриканты тоже собирали книги и потому на каждой фабрике сохранились совершенно шикарные библиотеки. Там же я сгрел, заплатив библиотекарю по 50 копеек за книгу, всего Метерлинка, мистическую часть — о смерти, о душе цветов («Разум цветов», «Вторжение смерти»). Их же никто не читал. И, больше того, время от времени эти книги подвергались уничтожению.

Многие книги, кстати, издавались официально — те, которые считались слишком заумными и потому безобидными. «Махабхарата», например. Какой-то дяденька Смирнов сидел всю жизнь в Средней Азии и переводил эту книгу. Для меня главная её ценность заключалось в том, что половину книги составляли комментарии, где рассматривались все системы йоги, начиная от джани-йоги и кончая хатха-йогой.

Я читал очень много о йоге. Я даже смешил всё КБ (там были пятиминутки физкультуры) тем, что всю пятиминутку стоял на голове. Если делал какие-то упражнения, то согласно хатха-йоге. Ближе всего и понятнее мне показалась карма-йога — йога бескорыстного труда, согласно карма-йоге я и стараюсь жить.

Когда я с Васей Полевым познакомился, меня прорвало вдруг на чтение стихов. Он начал сочинять стихи, а я думаю: «А что бы и мне не сочинить?» Тем более что дело происходило на этюдах. А на этюдах выпивали. На этюднике стояли две бутылки водки, лежала треска горячая, помидорчики, хлеб. Этюдник очень удобен как столик. Разговаривали, и он поделился своими поэтическими описаниями, я ему подыграл. Потом стали возникать какие-то строчки. Полушарие, которое отвечает за письменность, у меня стало выдавать на-гора какие-то свои тексты. Я долго не был удовлетворен своими сочинениями. Потому что я сочинял такие вещи, которые приспичивало сочинять, и мне даже физически становилось плохо, если получалось плохое стихотворение.

У меня образовался свой маленький литературный кружок — на почве бухла и чтения тамиздата и самиздата. В этом кружке был, например, аспирант философского факультета, его специализацией была математическая логика. Он подрабатывал в столорно-веночной мастерской где-то за Домом культуры Горького, делал гробы и венки. Я помню, мы в этой гробовской мастерской писали ему диплом... В моем кружке и девочки были, очень симпатичные, первокурсницы, или даже десятиклассницы, безо всяких, кстати, амурных отношений. Мы устраивали литературные игры, писали буриме. Поскольку мы были резко оппозиционно настроены к окружающей действительности, мы издавали свои журнальчики. Выпускали и газету — «Сексуальная правда» с подзаголовком «Интимный орган». Постепенно, за бухлом и в живом общении с этими молодыми людьми, через игры в буриме, у меня выработался мой собственный стиль.

* * *

Когда я работал в конструкторском бюро и в других более серьезных местах, меня стали заманивать в такие секретные дебри, что я сказал: «Нет, мне ваши секреты не нужны» — и ушел на баржу (я имел диплом штурмана малого плавания). Когда при устройстве на работу взяли посмотреть мой диплом и трудовую книжку, то поняли, что имеют дело с сумасшедшим человеком — кругом сплошные плюсы, никто обо мне плохо не отзывался. Я с начальством не воевал. Я работал тихо, мирно — пусть делают что хотят. Наше дело — не препятствовать. У меня железное

правило всегда было: если я взялся за какую-то работу, то я должен быть отличным-ком в этой профессии, у меня амбиции.

Я стал директором (так мы себя называли), то есть шкипером, баржи, мы возили песок. Баржи водили парами. И на соседней барже был Юрка, шкипер, со Стремянной улицы — жил рядом с «Сайгоном». Я его любил со страшной силой за одно качество. Нужно на швартовку. Мы сигнализировали очень просто — берешь полено или кувалду и кидаешь ему на соседнюю баржу. И вот он вылезает оттуда, смотрит на весь этот мир и говорит: «Да пропади он пропадом!» — типично сайгоновская установка. На швартовку идёт — еле ноги тащит. Я, например, со свистом, с песнями выходил — чем хуже погода, тем мне веселее, папираса в зубах, сандалии на босу ногу... Но когда мы заканчивали погрузку, отваливали — Юрка оживал. Он становился бодрым, энергичным! У него был оборудован трал, лебедка, и он тралил рыбу. Он сразу становился другим человеком — работал на себя! Поэтому у нас всегда был суп из судака, окунь вяленый и бездна лещей. А если хочется выпить, берёшь судака — и бегом на бронепоезд, особенно ночью. Почему бронепоезд? Потому что он стоял на запасном пути. Цистерны с вином — дагестанским, грузинским и так далее. Там сидел на вахте грузин, у него всегда горел костер. Приходишь, если есть деньги —купаешься, но и натурой он принимал обязательно.

К тому времени, как я ушел на баржу, я написал двадцать одно стихотворение. Я назвал этот сборник «Изделия духа». Дело в том, что каждый аппарат, который мы выпускали, назывался «изделием» (изделие №...) — получалось, что я живу среди одних изделий. Я был очень чуток ко всякой фальши, в том числе к лингвистической, она меня приводила в бешенство.

Была одна девушка (мы с ней были знакомы по работе), которая увлекалась переплетным делом. Она перепечатала мои тексты и сделала три томика в хорошем переплете. Один из этих томиков попал к Косте Кузьминскому. Он захотел со мной познакомиться. Сам-то он парень нормальный, но «контора», которая шлялась к нему, — они меня не вдохновляли, я с ними не очень контактил. Мой сборник стихов потом каким-то образом оказался у Шемякина и был напечатан в «Аполлоне—77». Так я и «возник».

Вася Полевой меня привел к Олегу Григорьеву, он ещё жил на Васильевском острове. Я, помню, взял две бутылки водки и две пачки пельменей. Вася сказал: «Вот — художник прекрасный, вот — поэт». У Олега я впервые увидел *объект*, я знал по журналам, что это такое, понимал. Объект был простой — доска, покрытая в палец толщиной пластилином, в который он натывал шестеренок от будильника. На меня это произвело очень сильное впечатление. На следующий день я нашел железяку и сделал объект, который до сих пор у меня хранится. Если в распоряжении у Олега был только будильник, то у меня — самое разнообразное железо.

С Олегом Григорьевым мы дружили до последнего дня. За день до смерти он зашел ко мне, мы его напоили, накормили, он у нас переночевал. Потом он пошел к Позинзовскому, на Пушкинскую, 10, там его и прихватило.

А «Сайгон»? В «Сайгон» я как-то раз зашел, кого-то надо было найти. И вдруг увидел моего приятеля, смешного человека, писателя Геру Григорьева, который с каким-то мэном сидел при входе, где сидячие места были, и что-то пил. И Гера мне вдруг говорит: «Большая литература существует!» И к собутыльнику обращается: «Почитай». Тот с очень важным видом поясняет: «“Литературная газета” напечатала мое произведение...» Оказалось, что в газете напечатали его афоризм: «Фортуна! колесую». Это называлось «большая литература»!.. Это единственная встреча в «Сайгоне», которая мне запомнилась, она незабываема.

Писать я не люблю по простой причине — очень много я писал служебных бумаг: в училище каждые полгода требовалось заполнять толстенные анкеты, затем пошли вахтовые журналы, навигационные журналы, техническое описание работы механизма... Или — проводишь испытание механизма в технической лаборатории, нужно написать протокол. Очень я любил это делать — все должно быть ясно и понятно. Причем на испытания я приглашал фотографа, он делал мне фотографии, протокол у меня готов и переплетен вне очереди, машинистки меня любили... Я совершенно не люблю писать, но очень люблю читать.

Георгий Михайлов

Я ИЗ «САЙГОНА» ИХ ВЫТАСКИВАЛ...*

Ни с кем конкретно в «Сайгоне» я отношения не поддерживал. Иногда мы там встречались с Валерой Клевером, несколько раз с Бобом Кошелуховым — они любителями были. С Юрой Петраченко пару раз заходили. Но сказать, что я постоянно посещал «Сайгон», не могу. Я, напротив, старался вытаскивать людей оттуда: «Приходите лучше ко мне. Я вам тот же кофе сварю, всё у меня можно то же самое делать». На мой взгляд, там была нездоровая обстановка. Во-первых — наркота, во-вторых — физиономии родные наших стукачей. Но всех участников тогдашних событий, всех, кто там был — поэтов и художников, — я знал, они через мою квартиру прошли. Я устраивал чтения у себя на квартире — шоссе Революции, дом 43, квартира 142. Каждое воскресенье с шести до десяти без звонков можно было приходить, даже если я уезжал в командировку или просто в отпуск, я оставлял у себя художников, которые дежурили и впускали всех желающих — моя галерея работала с 1972 года (регулярно с 1974) по 21 февраля 1979, когда меня арестовали за выставку Михаила Шемякина, и продолжила работу с 3 марта 1983 года — когда я вышел на свободу.

Что касается «Сайгона», я больше всего боялся за свой статус: я преподавал физику в университете и очень опасался быть втянутым в какую-нибудь историю с наркотой, потому что у меня тогда уже были напряженные отношения с КГБ. Сам я всегда был категорическим противником наркотиков. А в «Сайгоне» они ходили вовсю.

После окончания ЛГУ я учился в Лейпциге и до 1974 года часто ездил за границу, а здесь много лет в Доме дружбы в качестве переводчика принимал английские, американские и немецкие группы. У меня была трехкомнатная квартира, жил я один. И ко мне любили водить иностранцев — демонстрировать жильё «простого советского преподавателя». Мы расстилали на полу поролон (поскольку мебели там не было), застилали его пледами, рассаживались и вели беседы. Самая главная тема была — Израиль (много еврейских групп приезжало) и Чехословакия (это был 1968 год). К тому времени я прочёл всех Оруэллов, Стругацких, «Приглашение на казнь» Набокова и, конечно, Кафку, мальчики же, которых мне давали в придачу для ведения переговоров, ничего этого не читали, и имён-то таких знать не знали. Поскольку мою квартиру использовали, мне сходило с рук то, что не сходило с рук другим — я отказывался писать «отчёты» и всякого рода доносы.

Кончилось это тем, что в 1974 году на меня накатились кагэбэшная волна: шесть раз меня вызывали во дворец Белосельских-Белозерских (там был их пункт) с целью завербовать для работы, намекали на райские кущи, говорили: «Мы знаем, что вы хотите поехать в Америку».

После выставки в ДК им. Газа (1974) многие художники привезли свои работы ко мне развесить. Тогда я после развода с женой жил в двухкомнатной квартире в том же доме, но в другой парадной. Это было удобно, потому что народ уже знал ко мне дорогу. Маленькая комната была моей спальней; кроме того, там стояла аппаратура для занятий физикой, радиопередатчики стояли, ловить империализм разный и т. д. Большую комнату я отдал для художников. Картинами завесили все стены. Когда назначили цены, я подсчитал, что у меня там висит пять «Волг». К счастью, тогда не воровали. Первым, кто выставился у меня, был Юра Галецкий, с ним мы познакомились на выставке в Кустарном переулке, но Галецкий редко бывал в «Сайгоне».

В «Сайгоне» один из завсегдатаев всё время приглашал меня к себе за стол, расспрашивал, как там у меня все происходит. Я говорю: «Ты лучше приходи и увидишь». И он пришел потом. Не помню его имени, но он мне всё предлагал ширнуться. Я говорю ему: «Нет, не надо мне этого!» А там прошли через это почти все. Когда мне звонили, что Сашка Исачёв сидит в «Сайгоне», я ездил его оттуда вытаскивать — я за него очень боялся.

Первый раз я Исачёва встретил на выставке у Кости Кузьминского. Он сидел, развалившись, в кресле, дымил непрерывно. Я подумал, что это какая-то дивчина. Саша очень красивый был внешне, очень похож на девушку. Оказалось, что Костя Кузьминский в белые ночи 1973 года встретил его на Марсовом поле, у вечного огня, — он сидел и разогревал тушенку. Приехал в Питер совершенно ни с чем, жить негде. И они познакомились. Кузьминский говорит: «Что ты здесь-то? Пойдем, поживешь пока у меня». Но где у Кости-то жить? И одно время Саша жил у Наташи Жилиной, до тех пор, пока не переехал ко мне.

Сашка Исачёв родился в Гомельской области, на берегу Днепра. Их было четверо у матери. У него были способности, и с шестого класса его отдали в специальную художественную школу в Минске. Он с первого же захода получил первую золотую премию на выставке детского искусства в Италии. А после восьмого класса его из школы выгнали. Он ходил с длинными волосами, как у девушки, это ему поначалу прощалось. Но когда он однажды выкрасил голову хной и стал рыжим, директор сказал: «Немедленно наголо, или вон из школы!» Надо сказать, что у меня случилась такая же история: меня выгнали из десятого класса, хотя я был лучшим учеником в школе и шел на медаль — точно так же попал на дурака-директора. Такие интересные переклички с Исачёвым. Выгнали его из школы — деваться ему некуда, он пошел маляром. Потом решил поехать в Питер.

После выставки у Кузьминского я не видел его почти полгода, до выставки в ДК «Невский» (которая открылась 20 октября 1975 года), где я уже помогал ему развешивать его картины. Он женился в этот же год, и у него появился малыш, потом они все втроем жили у меня в квартире. Это уже было после выставки в «Невском». Саша очень много работал, беспощадно к себе. Когда его жена Наташа уехала, мы решили Саше снять квартиру — его работы хорошо покупали. Сняли на Кондратьевском проспекте. Саша говорил: «Только никому не говорите, где я живу». Понятное дело, все из «Сайгона» приходили, ставили бутылки. Но, надо отдать Саше должное, он рисовал, даже когда там сидела бесконечная публика. Они все на халыву пытались... Ну, и его приобщили к наркоте.

Мы в марте 1976 года сняли ему квартиру. Я привозил ему краски, холсты, снабжал всем необходимым. В этот период и написаны его основные работы. В тот год была очень поздняя Пасха — 3-го мая. Накануне Страстной пятницы приходит ко

мне Галя Григорьева (тоже, кстати, завсегдадай «Сайгона», ныне мать восьмерых детей), приносит кулич, пасху. Спрашивает: «Где там Саша, как он?», — просит дать его телефон. Я говорю: «Нет, Галенька, не дам, Саша запретит давать кому-либо...» — «Ну, мне-то можно. Я ему просто передам яйца, кулич, обещаю...» Я спасовал — это, собственно, во многом и сыграло роковую роль. К Саше в мастерскую вместе с Галей «похристоваться» пришла некая М., на вид лет сорока, оказавшаяся восемнадцатилетней наркоманкой со стажем. С этого момента Сашка уже не работал. И чего там только не происходило... Была фотография, которую он сам подписал: «Я в полном обдолбеже». Потом все мы его пытались вытащить, я приезжал в «Сайгон» и увозил его.

А 1976 год — это разгул пожаров, я ездил по городу, навьюченный фотоаппаратами и снимал все пожары, которые устроил Комитет. До 1976 года — ни одного пожара, после 1976 — ни одного пожара, а в 1976 — сто пожаров. Сгорел Женька Рухин, сгорела квартира Лихачева, сгорела полностью коллекция Сорокина, горел дважды Илья Левин... Горел Вадим Нечаев — жил неподалеку от меня, на шоссе Революции. Кагэбэшники наверняка не хотели убивать никого, просто им нужно было потренироваться, отработать систему поджога. Я все это снимал, все эти снимки у меня. Могу сказать, что «Сайгон» я не снимал никогда, потому что там всегда было много народу, тем более народу мне несимпатичного — я знал, что они сидят там и высматривают свои жертвы.

В 1978 году я организовал у себя в квартире выставку Михаила Шемякина. В Москве выставку Шемякина умудрились предупредить, приняты были меры, а в Питере я просто выставил его картины у себя, не говоря ни слова. Выставка проходила с 20 октября по 22 ноября. Ежедневно. Мы выделили дежурных. Семь тысяч человек прошло тогда через мою квартиру. 16 ноября в Смольном Романов по полной программе срывал ордена: «Я вас всех разжалую! Как это Москва не пропустила, а вы пропустили всех этих проклятых эмигрантов. Когда прекратится это?» После этой выставки пошло очень много разговоров, и я очень опасался провокаций.

А в январе 1979 года произошло следующее. Тогда Саша Исачёв с Наташей жили у меня. Я вставал в семь часов, в девять у меня начиналась лекция. Саша всю ночь рисовал, утром слышу — не спит, ведет с кем-то разговоры по телефону. Тут стучится ко мне в дверь Наташа и говорит, что здесь, в квартире, после моего ухода Саше назначена встреча, ему предлагают купить анаши. Я тогда просто взорвался, меня это привело в бешенство. «Саша, это правда?» — я даже разорвал на нём рубашку. «Жорочка, это всё ерунда, это всё мелочи...» Я выхожу из парадной — всё оцеплено. Это была провокация. Брать-то меня собирались, не его. Не знали, за что взять, я был чистым всегда.

Я вызвырнул его из квартиры и сказал: «Я не прекращаю с вами отношения, но мой дом закрыт для вас». Получилось, что действительно закрыт, потому что через 31 день меня посадили и приговорили к четырем годам Колымы, а все картины моей коллекции — к уничтожению.

Тогда вмешалась международная общественность — президент Франции Жискард д'Эстен, президент США Картер написали Брежневу письма, и благодаря этому удалось сохранить большую часть коллекции. А уже после второго приговора, когда в 1987 году я уезжал из страны, мне удалось вывезти рекордное по тем временам количество картин — четыреста тридцать четыре (из девятистот), морем они поплыли во Францию. Я ехал поездом из Москвы, взяв с собой около восьми-десяти картин, которые помещались в купе.

К тому времени наши отношения с Сашей более-менее восстановились... Он увлёкся Востоком, ударился в индийскую религию — все эти этапы прослеживаются

по его картинам. Для меня это было менее интересно, чем то, что он делал раньше. Хотя я покупал его работы, он очень талантливый парень.

Когда я уезжал из России 7 марта 1987 года, Саша меня провожал. Я просил его сделать к отъезду триптих «Крещение наших детей». Мы крестили наших двух мальчишек — моего сына, Данилу, и Мишу, сына моей сестры. Я хотел, чтобы там была изображена вся наша семья. Саша картину привёз, но оказалось, что она требует доработки. Я уехал, между нами шла переписка. Он написал: «Я почти закончил вашу работу». Всю осень 1987 года я стремился приехать в Россию. Невероятно, но мне удалось добыть визу, я приехал 19 декабря, но его уже не было в живых. Он умер с четвертого на пятое декабря.

Валентин Левитин

ВСТРЕЧИ С ПОЭТАМИ

Отец Кости Кузьминского — художник, график и офортист, погиб на войне. В те годы я занимался только графикой (у меня был самодельный офортный станок), поэтому Костя был очень ко мне расположен, и мы подружились. В семидесятые годы Костя с мамой получили большую комнату на пятом этаже в этом же доме (Конногвардейский, 15). Теперь у него часто собирались совсем молодые тогда поэты. У него было удивительное умение находить таланты.



Валентин Левитин. 1970 г.

Рис. Константин Кузьминского



Валентин Левитин. 1954 г.

Поэзия была его жизнью: обладая блестящей памятью, он мог читать стихи по многу часов подряд. В те годы стихи, напечатанные на машинке, распространялись по городу очень быстро, и еще в 1962 году мне подарили переплетенную подборку ранних стихов И. Бродского (его я не знал тогда лично), которые произвели на меня сильнейшее впечатление. Константин говорил мне, что эту подборку сделал он сам.

Костя в те периоды, когда не работал, начинал обход пивных ларьков с пл. Труда, потом заворачивал на угол Мойки и Английского (тогда — Маклина) и затем попадал к нам (на угол Английского и Офицерской). Так, однажды в конце 1969 года он привел ко мне своего нового знакомого — поэта из лито Татьяны Гнедич (в Царском Селе). Поэту было семнадцать лет, он заканчивал школу. Это был высокий, худой юноша с пронзительным взглядом и быстрыми движениями. Начал читать (цитирую по памяти, неточно):

Меня к стихам располагало в тот, может быть, обыкновенный вечер.
 Душа ночами замыкала все человеье с нечеловечьим.
 Я шел, и шорох шел за шагами...

У него был хорошо поставленный голос, прекрасная дикция, и его стихи, благодаря оригинальной ритмико-синтаксической структуре, чередованию медленных тихих отрезков и громких ударных ритмических фраз, произвели ошеломляющее впечатление.



Борис Куприянов

Это был Борис Куприянов. Мы подружились и стали встречаться как у нас, так и у Кости на Конногвардейском.

Куприянов всегда выделялся среди своих сверстников, и мне его поэзия нравилась больше, чем поэзия И. Бродского. Борис же очень высоко оценил мой цикл «Туманно-серый Петербург», и я подарил ему, наверное, больше десятка оттисков монотипий. Боря позже посвятил мне одно из своих стихотворений:

Зажиточное прошлое мое —
 О, вечное раздолье узнавания.
 Зажиточное в смысле искупленья,
 Вины кристальный водоём
 И лебеди плачевные на нём,
 И потому к себе из сострадания
 Безумно обращенное признание...
 И головы гордящийся залом.
 И облака предсмертного покровы.

В эти годы я часто бывал у Кости. Как-то весной к нему пришел Олег Охапкин. Я тогда его видел

в первый раз. Высокого роста, в белой рубаше и в белых брюках, с прекрасной улыбкой, голубоглазый. Он появился как светоносное видение. Как я потом услышал, И. Бродский предрекал ему Нобелевскую премию.

На Конногвардейском всегда было многолюдно, приходили сюда и художники. В один из таких дней судьба свела меня и подружила еще с одним замечательным поэтом (тогда восемнадцатилетним юношей) Петром Чейгиным. Костя называл его «Чайником» и представлял как своего ученика. В этот день читали стихи несколько поэтов, но Петр произвел на меня очень сильное впечатление, особенно такое стихотворение:



Константин Кузьминский и Борис Куприянов. 1970 г.

От двух поклонников — коленапреклоненно
 Течёт ли Время, Кочет ли кричит
 Но расшибя бабку о кирпичи
 Левитин, на тебя взираем умиленно
 Порадуй Сердце, кое-сды влюбленно
 И герр, метисом? Боде не кичись
 Поелику и всё в сей Жизни тленно
 ? (звою бысе-в-цето качни
 Сдиновзвучно всё, Сдиночленно

И уку протяни нам утомленно.

23.21. 13.9.70
 Санкт-Петербург

Куприянов
 К. Кузьминский
 Б. Куприянов

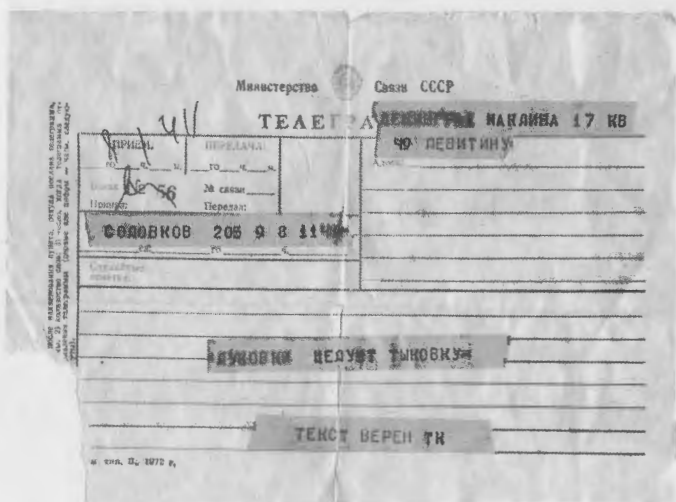
ЛВ

Надпись на обороте фотографии

То ли щемящим холодом выдохнет вглубь ледяного стекла,
 То ли строчку пробьет на машинке гремющей, под утро,
 Выпив чайник воды, одноглазый скупой грамотей,
 Или жилка набухнет у грязной старухи под пудрой,
 Или рыбкой объявится грязный фабричный ручей.
 Всё отложится в памяти синим по белому полю.

В течение 1971—1973 годов Боря и Пётр Чейгин два-три раза в месяц вместе приходили к нам, читали новые стихи. Они уже состоялись как поэты. <...> Благодаря Косте, у нас появились Виктор Кривулин и Серёжа Стратановский.

Я обычно проводил весенние и летние дни в пустынном дворике с множеством деревьев, который граничит с Алексеевским садом. В садике скамеек не было, но у кирпичной стены всегда лежали деревянные ящики. Помню, как 22 мая 1972 года я вошел в садик и увидел группу молодых людей: часть из них сидела на ящиках,



Костя Кузьминский учился на биораке и всегда отправлялся летом в поездки и экспедиции, даже когда уже прекратил учебу. Однажды летом он работал на Соловках и поздравил Валу Левитина телеграммой с днем рождения. Луковки — это, конечно, купола. Кузьминский с любовью и пиететом относился к Вале и Валиному творчеству и, когда у Вали появилась лысинка, стал называть его «тычковкой»

кто-то стоял. Олег Охапкин, Витя Кривулин и две молодые поэтессы, которых я не знал. Мы познакомились — это были совсем еще юная Лена Пудовкина и Алла Минченко. Алла жила совсем близко, на ул. Писарева, и мы часто встречались, пока она не переехала из коммуналки в отдельную квартиру на Канонерском острове. С Леной стали встречаться немного позже, в конце 1978 года. Она дружила с Серёжей Стратановским и Димой Бобышевым. Обычно на Пасху у нее (а она жила тоже близко, в доме А. Блока) собирались поэты, читали стихи. Дима Бобышев, Сергей Стратановский, Олег Охапкин, Лена Игнатова, Алла Минченко, Лена Дунаевская. Лене Пудовкиной очень нравились мои грустные натюрморты

и туманно-серые каналы и набережные Петербурга, и вообще у нас есть много общего в отношении к духу Петербурга — у меня в графике и живописи, у нее — в стихах. Она посвятила мне небольшое стихотворение.

В конце 1979 года Дима Бобышев эмигрировал в Штаты, и, когда он пришел прощаться перед отъездом, я подарил ему две небольшие живописные работы: натюрморты на окне на фоне петербургских крыш. Володя Эрль был последним из поэтов, появившихся у нас в 1975—1976 годы. Он подарил нам два сборника своих стихов в красивых картонных обложках. Появлялся он обычно к двенадцати ночи и читал своим тихим, таинственным голосом страшные пьесы Д. Хармса и А. Введенского («Елка в доме Ивановых» и другие).

Костю принудили эмигрировать, он уехал в 1975 году. Постепенно распалась и эта поэтическая компания.

Алла Минченко

ИЗ КНИГИ «ИМЕНА НООСФЕРЫ»

Сколько я помню себя, столько и фантазирую. Началось до войны. Активно, азартно продолжилось после войны — пересказ во дворе детям сказок, которые я знала наизусть, и попыток изобразить сценически. Театр — двор. Декорации — сараи для дров. Непосредственно сцена — огромная куча толстых бревен посередине двора. На них можно было забираться и рассказывать то, что знаешь и что фантазируешь. Я уверена, что фантазии тогда (да и потом во всей моей жизни) защищали меня от реальности. А в пору войны и страшных реальных событий, происходящих на моих глазах, помогали мне выживать. Даже в момент клинической смерти зимой сорок второго года, в самый тяжелый период блокады, меня спасли эти фантазии. Я осталась жива.

И после войны я продолжала рассказывать себе сказку на ночь — продолжение или дополнение к предыдущей. Эти сказки помогали мне отогнать ужасный сон, который продолжал преследовать меня и после окончания войны: за мной по пескам гонится скелет, а я в валенках и шубе, и мне тяжело, очень тяжело вытаскивать ноги из ярко-желтого песка и убегать, убегать под палящим солнцем от страшного скелета. Иногда у скелета, начиная от горла до самого живота скелетного, торчали ящички. Некоторые полуоткрыты. Будто для моих ног, головы, рук... Постепенно я стала учиться не только убегать, но и отлетать чуть выше. Не сразу, но все-таки научилась во сне от всего страшного взлетать, иногда высоко. А позже, значительно позже, — когда хотела, тогда и летала. Часто по всему городу. Это было прекрасно. Небо, крыши города, шпиль, колокольни и воздух воздух-воздух! Мне всегда не хватало воздуха и воды. Я любила много гулять и бегать в поле, долго-долго бродить по городу. Особенно мне нравилось под дождем, а еще лучше под ливнем. А еще я любила гулять с детства целый день и читать где-ни-попадая и что попадется. Вообще-то, я много чего любила. Я осталась жить и любила жизнь, ценя жизнь других. Слишком много было за моей маленькой жизнью смертей. Я любила жить и быть живой.

Олег Григорьев

С Олегом Григорьевым я познакомилась у художника Андрея Геннадиева. Не помню, кто привел меня к Андрею впервые. Андрей жил и писал картины тогда в доме на

улице Плеханова. Удлиненная большая комната на шестом этаже с высокими потолками, старинной мебелью, запахом красок. Картины, необычные для меня, знающей музейную живопись. Словно бы всюду музыка Баха, Вивальди... Андрея видела не раз в костюме Петра Первого. Он шел по Невскому проспекту, удивляя всех и своим ростом (около или больше двух метров) и, конечно, костюмом. В такие мгновения я не подходила к нему. Он играл в Петра. Не хотелось прерывать игру. Рассматривала публику и любовалась шествующим Андреем — Петром. Андрей — высокий, худощавый, изящный, со слегка выющимися светлыми волосами, с говорящими пронизательными глазами, прекрасный, легкий — лучился притягательным обаянием. Он любил карнавалы, розыгрыши, мгновенные спектакли. Как-то несколько художников и Андрей в том числе завели вокруг меня хоровод, быстро накинув платочки на головы и запев какую-то русскую песню. Я изображала скромную барышню. Хороводили уже в новой мастерской Андрея — на углу Желябова и улочки, ведущей к Мойке, на втором этаже.

Мне нравился Андрей с его собственным «я», с его талантом и со всем тем, что его окружало.

К Андрею часто приходил Олег Григорьев. Я заставляла его сидящим в углу дивана, с толстой тетрадкой в клеенчатом зеленоватом переплете. Я знала, что он писатель. Просить прочесть что-либо стеснялась.

Олег был из чистосердечных. И незаметных. Его незаметность была органична. Часто казался грустным. Позже он прочел мне из своей тетрадки стихи. И смеяться и плакать хотелось одновременно, а вот «чернушные» стихи меня испугали. <...>

Собирались у разных людей. Квартирные встречи. Чай, разговоры. Иногда бутылка сухого вина или портвейна.



Алла Минченко и Виктор Ширали в гостях у Юлии Вознесенской

Встречала Олега и у Юли Вознесенской. Она часто собирала друзей-поэтов у себя в комнате коммунальной квартиры на улице Жуковского. Тоже читали по кругу. У Юлии бывали разные люди. Олег Григорьев охотно читал свои стихи. Многие смеялись, но не я. Мне было не просто грустно слушать его стихи, а страшно. Конечно, были и смешные, но рядом такая бездна. Словно с каждым стихом человек

прощается с жизнью. Олег, если ты с ним познакомился и часто слушаешь его стихи, родился тебе. <...>

Он приглашал меня к себе, в вытянутую пенальную комнату с высоким потолком и тусклой лампочкой. Холостяцкую и бедную. Длинный стол с поблекшей клеенкой. Жил он тогда в угловом доме на пересечении Невского и Литейного. В доме напротив было кафе с хорошим кофе из первых тогда аппаратов, готовящих эспрессо.

Популярность этого кафе росла еще и потому, что с начала семидесятых или раньше несколькими годами сюда приходили поэты, актеры, молодые философы, музыканты, сотрудники Пушкинского дома, будущие историки, философы. Заходил Гребенщиков, тогда еще простой в обращении, и многие другие. Там быстро знакомились, обменивались книгами, какой-то информацией. Читали стихи. Возле кафе всегда можно было встретить кого-либо из знакомых. Или тебя тут же знакомили. Иногда из «Сайгона» отправлялись к кому-либо домой, чтобы продолжить чтение стихов. Прихватив в ближайшем магазине одну—две бутылки «Гамзы». Жизнь в кафе была таинственной. Не открывалась непосвященным. Конечно, для людей, не связанных с литературой или другим искусством, это было просто кафе, где подавали хороший кофе. О том, что когда-то кто-то из остроумцев называл кафе «Сайгон», я узнала в конце 1960 годов.

На Малой Садовой была кондитерская, где тоже постепенно сформировался свой круг людей, объединенных творчеством. Их впоследствии называли «поэтами Малой Садовой». В «Сайгоне» запросто знакомились. На «Малой Садовой» — нет. Отделяли себя от других, презирали «сайгоновцев». Впоследствии все перемешалось.

Там я часто встречала Бору Смелова, Тамару Буковскую. Конечно, выделялся Володя Эрль, с которым я тогда не была знакома. Саша Миронов, молодой, прекрасный, с длинными тонкими нервными пальцами. Эрль был элегантен и отделял себя от незнакомцев, да и от знакомых некоей условной стеной. Он производил впечатление абсолютной недоступности, корректности, хорошего вкуса, артистичности и манерности, что мне очень нравилось. А еще мне нравилось, что у него рыжие усы, шляпа и тросточка. Усы он начал отращивать, по его словам, только в 1969 году. Значит, на Малую Садовую я приходила в 1968-м, когда поступила в аспирантуру Агрофизического института.

В «Сайгоне» встречала Костю Кузьминского, объединившего столько людей. Конечно, были и затворники — например, художник Валя Левитин. <...> Часто видела Петю Чейгина, Виктора Ширали, Бориса Куприянова, Сергея Олефира, Наталью Яковлевну Шарымову, Диму Бобышева, Олега Григорьева, Гену Григорьева, Сашу Морева, Виктора Кривулина, Марика Мазью. Редко Володю Ханана, похожего на оперного Ленского.

Баек о «Сайгоне» было много. Рассказывали, будто есть поэма о том, как Эрль и Кока Кузьминский соревновались в поедании эклеров. В те годы мне прочли отрывки. Помню, что было очень смешно. <...>

Рассказывают, как Кузьминский, выйдя из кафе на Невский, увидел Александра Кушнера и, словно бы сняв шляпу с головы, сказал: «Здравствуйте, Александр Сергеевич». Кушнер холодно ответил: «Меня зовут Александр Семёнович». Костя тут же сделал шагок вправо и, чуть кланяясь, повторил: «Здравствуйте, Александр Сергеевич». Сердясь, но сдерживая себя, Саша повторил: «Александр Семёнович». И т. д. и т. д. Тон Кушнера становился все более напряжённым, а тон Кузьминского — более почтительным. В конце концов Кушнер перешел на другую сторону Невского.

Помню, как Олег сидел в своей комнате, чуть в разворот к высокому окну, давным-давно не мытому. Из окна хорошо виден угол Владимирского и Невского, вход в «Сайгон», толпящиеся возле кафе маленькие люди. Еды у Олега дома не было

никакой, и казалось, что никогда и не бывает. Зарабатывал ли он? Даже если и зарабатывал, то очень мало. Советская литература не признавала его. Сборник его стихов друзьям удалось опубликовать только после его смерти.



Петр Чебин и Алла Минченко

Кто-то заснял его спящим. Я сказала, что это нехорошо. Спящими людей нельзя фотографировать. От бабушки слышала — к ранней смерти. <...>

Квартирные встречи:

Канонерская улица — улица Писарева — Канонерский остров

<...> Мама привела меня в школу № 228 на Покровке в 1946 году, когда мне было восемь лет. Поздно, потому что зимой сорок пятого у меня отнялись ноги. <...> Я была маленького роста и худенькая. Платье мне сшили подруги мамы из перекрашенного хной детского одеяла. Полосы от одеяла видны были на платье. <...>

В девятом классе нас объединили с мальчиками. Я попала в 245 школу на канале Прибоедова. <...> Учившийся классом старше меня Володя Окулов через много лет стал мужем Юли Вознесенской.

Она — известная писательница. Володя Окулов — общий любимец. Благороднейший и очень красивый человек. <...> Почти весь альманах «У Голубой Лагуны», изданный Костей Кузьминским, — с фотографиями Володи Окулова.

Ещё в школе подружились четыре девочки — Соня Прохвятилова, Женя Огаркова, Галя Ротшильд и я. Соня, Женя и Галя жили в одном доме на канале Прибоедова. Соня младше нас классом. Я была редактором литературного школьного журнала, а Соня заведовала «картинной галереей», которую сама придумывала и развешивала на том этаже, где была библиотека, — копии картин из Эрмитажа и Русского музея. После школы Соня поступила на филологический факультет университета, а я на биологический. Интерес к литературе и живописи нас не оставил, собирались у меня на Канонерской улице, перепечатывали стихи. Соня познакомила меня с Иррой, которая пачками приносила стихи Иосифа Бродского. Она была в него до слез влюблена. Были у них и встречи. Но роман быстро закончился.

Тем не менее Ира продолжала перепечатывать его стихи. В машинку вкладывали шесть, семь тонких листочков бумаги, чтобы напечатать как можно больше экземпляров и раздать знакомым. Я участвовала в создании трёх- или четырёхтомника прозы Марины Цветаевой, затейного Сонеи и её знакомыми по факультету.

Соня привела ко мне на Канонерскую Асю Чернову, которая позже поступила в Тарту на филологический. Однажды в нашей квартире появился молодой человек, который преклонил предо мной колени, подарил алую розу и сказал: «Так Ася просила Вас приветствовать». Это был Даня Фрадкин, благодаря которому началась моя дружба со студентами Тартуского университета <...>. Я познакомилась со многими студентами Лотмана — Сеней Рогинским, Гариком Суперфином, Мишей Билинским. Бывала на лотмановских лекциях, та-аких удивительных, что дух захватывало. Туда приезжала Лена Шкловская, студентка филфака Ленинградского университета.



Ася Чернова и Михаил Билинский. Тарту. 1960-е гг.

Позже она переучилась на врача-психиатра, и через несколько лет после ее отъезда в Америку говорили, что она стала там знаменитым психиатром. <...>

В 1966 году нас переселили на улицу Писарева, в дом 18, рядом с мастерскими Мариинского театра. <...> У меня бывали и читали стихи Юля Вознесенская, Лена Пудовкина, Лена Игнатова, Виктор Ширали, Боря Куприянов, Виктор Кривулин, Петя Чейгин, Миша Генделев, Сергей Олефир, Олег Охапкин, Евгений Рейн, Дима Бобышев, Саша Морев, Сергей Стратановский, Ольга Седакова, Олег Охапкин, Володя Ханан, В. Нестеровский, Саша Соколов, Кари Унксова и многие другие.

Перед самым своим отъездом зашел Иосиф Бродский. <...> С Бродским и Рейном я познакомилась в 1968 году на дне рождения Тани Никольской. За длинным столом теснилось много народу. Некоторых гостей я знала по журналам. Грузный и одновременно подвижный высокий человек пригласил меня танцевать и представился: «Женя Рейн». Бродский, которого до этого я видела и слышала читающим стихи в кафе «Молекула», лег на диван в позе римского патриция и лениво спросил у Рейна: «Ну, как стихи Аллы?» «Хорошие стихи», — ответил Женя,

чуть отстранившись от меня и оглядев снизу вверх. «Приходите ко мне в гости», — пригласил Иосиф.

Я пришла. И, едва переступив порог дома, обомлела от сходства наших комнат. Все



Елена Шкловская. Тарту. 1964 г.

было таким же: книги, безделушки... Села у двери в позе школьницы. Руки на коленках. Спина прямая. Иосиф возлег в своей любимой позе на тахте у окна. «Читайте», — бросил нехотя. Я смело начала читать стихи, посвященные Ахматовой, Цветаевой, Мандельштаму. Он внимательно слушал. Потом встал, зажег удивительную, словно маленький примус, спиртовку, согрел кофе, налил по рюмочке коньяку. Глянул в мои бумаги: «Кто это написал?» — «Я». — «А это кто?» — «Тоже я». — «Вот этим строкам может позавидовать лучший поэт. А эти — полный провал. Как это у вас совмещается, не понимаю... Прочтите мне что-нибудь, никому не посвященное». Я прочла пять стихотворений. Он очень оживился. «Вы — поэт, Алла, очень хороший поэт». Пили кофе и коньяк. Пошли гулять, он читал свои стихи, я, уже не стесняясь, — свои. «Но как же вы будете жить в России?» — «Я — биолог, зарабатываю. А сейчас поступила в аспирантуру». — «Нет,

вам надо заняться переводами. Какие языки вы знаете?» — «Польский, английский. Но сказать, что хорошо знаю — преувеличение». — «И всё-таки переводы».

Мы встретились ещё раз, гуляли, читали стихи. Бульвар Профсоюзов — к Новой Голландии — по ул. Писарева. Я была счастлива. Когда-то здесь ходил, или гулял вместе с певицей Дельмас Александр Блок. Ее квартира располагалась в доме, где я жила, над нашей квартирой.

<...> Частые встречи, чтения стихов происходили у Наля Подольского. Он жил в мансарде в доме на углу улиц Декабристов и Маклина. Одна из комнат выходила в длинный коридор. Однажды Наля весь этот длинный коридор устелил свечами. Свечи из коридора через комнату вели на крышу, где стоял стол с лампионом и свечой внутри. Были Лена Пудовкина, Володя Гоос, Андрей Геннадиев, Женя Рейн и, по-моему, Женя Звягин. Читали стихи, острили, танцевали. Стихи звучали везде: у Лены Пудовкиной, где справляли Пасху и Рождество; у Ольги Корсуновой. В это время появились первые фотографии Володи Иосельзона. Конечно, приходили Жанна Бровина и Валя Левитин — художники, жившие в том же доме, что и Лена Пудовкина.

Как-то Наташа Каменская, с которой я училась вместе в аспирантуре у Б. М. Мошкова, привела ко мне в гости Хвостенко. Они пришли вместе с Леной, будущей женой художника Тюльпанова. Хвостенко пел под гитару тихим голосом необычные песни: «Пускай работает рабочий, а я работать не хочу...», «Орландину» и другие;

Лена рассказывала великолепные сказки, я читала стихи. Не хотелось расходиться. Так мы прожили три дня. А потом рано утром третьего провожали Хвостенко по набережной Невы. Он шел через мост, хрупкий, за спиной гитара, медленно, чуть вразвалку. И где-то на середине моста словно растворился в тумане...

Однажды в моей комнате на улице Писарева несколько человек читали стихи — Лена Игнатова, Лена Пудовкина, Олег Охалкин, Боря Куприянов, Марина, будущая Куприянова, Миша Генделев, еще кто-то. Вдруг за окном раздалось — псалмы Давида. Во дворе-колодце звук летел вверх и ширился. И на этом фоне Елена Игнатова читала:

Хлебный ангел, ангел снежный, ангел занятый косьбой —
Все три ангела, три ангела кружатся над тобой...

Пение все приближалось, и вот уже распев звучал так, что зазвенели стекла...

Слабый шелест, сладкий голос — ангел леденее льда,
Врачеванье легкой болью всех потерь, всего труда.



Елена Игнатова

И вдруг пение прервалось, зато раздался звонок в дверь. На пороге стояли Сергей Чиж и Мефодий — студенты Консерватории, с которыми я познакомилась через двоюродного брата Леночки Олефир, Виктора...

Здесь, на улице Писарева, стихотворные чтения происходили постоянно: Александр Горнон, Сергей Стратановский, Ольга Седакова... С Кари Унковой меня познакомил Давид Флакс. Она в то время увлекалась, как и многие из этого круга, индийскими учениями, в частности Кришнамурти. Большие карие глаза, высокий лоб, чёрные гладко зачесанные волосы. Порывистая. Стихи писала крупным почерком, скашивающимся до противоположного угла писчего листа. В ней самой, в ее почерке, в ее стихах было что-то убегающее, нервное, то-ропливое. Летящее. Еще миг, и ее унесет волшебный ветер...

Костя Кузьминский

С Костей Кузьминским я познакомилась на первом курсе биофака в 1956 году, где он проучился года полтора—два. Он был первым поэтом, который прочел мне много своих стихов. Это было белой ночью 1957 года. А вообще-то мы «знакомы» с моего четвертого класса, когда его мама, учившая девочек в 228 школе на Покровке (ныне площади Тургенева) вышиванию, почему-то привела меня к себе домой и накормила обедом.

Он был худеньким, стесняющимся молодым человеком. Мы блуждали по Коломне вечером. Было еще светло. Остановились на Аларчином мосту через канал Грибоедова

и, облокотившись на ограду, смотрели вдаль на старинную пожарную вышку. Когда-то в далеком детстве она мне казалась волшебным замком. Костя читал стихи, я слушала и одновременно вспоминала послевоенное детство... После того, как он ушел из университета, до меня доходили слухи, что он поступил в Театральный. <...>

Снова попав к Косте домой в сопровождении Пети Чейгина, вышагивавшего так важно, словно он вел меня в королевские апартаменты, я поняла, что уже была здесь когда-то. Конечно, была... Мы прошли по знакомому коридору мимо дверей в кухню и еще одну дверь, затем вошли в большую комнату. На стенах висели фотографии, картины. У всех моих родственников и знакомых на стенах было много фотографий и картин. Но здесь мне казалось, что они занимают все пространство — от пола до потолка. Я наткнулась взглядом на торец шкафа, на котором увидела балетную тапочку, завязанную бантиком на большом толстом фаллосе.

Костя, пополневший, вальяжный, лежал на тахте и вел с кем-то беседу. Ни следа от той юношеской робости. Пристально посмотрев на меня, он вдруг встал, запахнул на груди халат, покраснел и поцеловал мне руку. Я думаю, что все, кто там был, особенно Петя, онемели от этой сцены. Я тут же стала «своя». Тогда же, по-моему, или позже у Кости я познакомилась с элегантным Юрой Алексеевым, который живет теперь в Пушкине и работает во дворце, с Борей Куприяновым, всегда поражающим изысканностью манер, Мишей Генделевым. Костя был центром андеграунда тех лет и даже после отъезда в Америку в 1975 году не перестал им быть. Он человек свободный. Вел себя свободно. Одевался театрально и подчас эпатажно. Суковатая палка, нараспашку что-то с рукавами. Однажды встретила его на бульваре Профсоюзов вот в таком виде, да еще и с огромным крестом на животе.



После отъезда Кости и Эммы в Америку, я еще долго приходила к его маме на бульвар Профсоюзов. Мы по старинке пили чай на кухне и рассказывали друг другу о своем житье-бытье.

На литературных встречах слышала, что в бывшей квартире Кости Кузьминского собираются сделать музей.

Олег Ошапкин

В 1974 году на выставке на в ДК «Невский», куда меня провел Толик Белкин, я получила подарок: портрет Олега Ошапкина работы Натальи Жилиной, сделанный резкими сине-красными мазками. Тогда они были в ссоре, и Наташа рассержено сказала: «Пусть он будет таким».

А Андрей Геннадиев как-то нарисовал меня — с одним крылом. Поразительно, но как раз в то время я написала

посвященную Олегу Охупкину поэму «Портрет», в которой был именно такой образ меня. Андрей не читал поэму...

Сейчас два портрета, Олега Охупкина и мой, висят у меня дома рядом.

Олег замечательно читал свои произведения, которые завораживали ритмом и архитектурной выверенностью композиции. Он был талантлив, красив. Но почему-то его хотелось пожалеть. Зыбкость какая-то была в его жизни. Олег укрылся у меня от всего и всех. Но Витя Кривулин стал приходить к нам на Писарева с целыми толпами людей, и все они оставались до позднего вечера. Олег уходил в себя. Однажды я вернулась из библиотеки, купив по дороге продукты, влетела в квартиру... и сразу поняла, что комната стала другой какой-то, не той, из которой утром я ушла. Даже не потому, что Олега не было. Изменение сакральное. Переворот во всей моей жизни. Олег оставил удивительную и романтическую записку... На столе лежала его рукописная книга «Посох», со всеми его поэмами, в том числе «Летучим голландцем». На внутренней стороне обложки, во весь лист — послание ко мне.

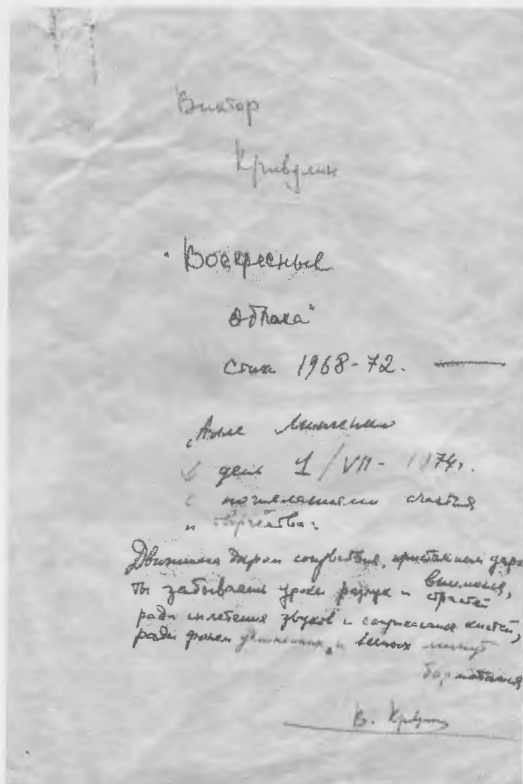
Я почувствовала пустоту во всем и в себе... Очнулась на кухне у Кузьминских. Истерически рыдаю. Около меня Евдокия Петровна с йодом и ватой, Костя и Эмма...

Виктор Кривулин

Приблизительно через год после отъезда Бродского я решила пойти искать единомышленников, пишущих стихи. Почему-то зашла в Клуб строителей, что на

бульваре Профсоюзов, нынешнем Конногвардейском. В зале довольно много публики. Со сцены звучали стихи — невероятно скучные, читаемые скомкано, невнятно. И, вдруг — совсем иное, словно кто-то бросил горсть солнечных лучей. Зазвучали ритмы, смыслы, образы. После прочтения со сцены сошёл яснолицый человек, еще не так сильно, как потом, хромающий, с копной легких густых волос. Я буквально сорвалась с места — и к нему. Я не слышала его фамилии, не видела, как он очутился на сцене, поэтому спросила, кто он. Он ответил, что его зовут Виктором, и, словно бы отозвавшись на мою радость, оживился и заговорил со мной так, будто бы мы давно знакомы.

Такова была моя первая встреча с Виктором Кривулиным. Я сразу была вовлечена в стремительное, вихревое



движение. (То, что вокруг настоящей личности концентрируются особое время, пространство, воздух, магнетизм, я подметила давно.) Тем же вечером, на бульваре он подарил мне книгу в старинном переплете — «Кипарисовый ларец» Анненского. До сих пор удивляюсь драгоценности подарка! Прогулка через Неву, разговоры о литературе и чтение, чтение стихов. Помню то состояние захватывающей радости от встречи с настоящим (правда, совсем иным, чем Иосиф) поэтом. Во мне исчезло переживание одинокости и неприкаянности во времени и среди людей. Ведь я тоже читала свои стихи. Точное ощущение братства. Возможно, я и ошибалась. Но тогдашние оттенки чувств помню хорошо. Крайним зрением, как бы мельком, я впитывала мистически приглушенные вечерним временем образы, краски, тени и полутени. Конец сентября. Сквозь стволы деревьев, сквозь переплетенные веточки кустарников — скамейки с выгнутыми спинками, редкие гуляющие прохожие. Темный сгущенный воздух, наполненный вечерним чуть горьковатым запахом земли, листвы, трав, начинающей увядать природы, обступал освещенный бульвар. Но то, что мы идем вместе, четко очерчено в моем сознании, как некая отделенность от окружающей нас действительности. Моментально-мгновенные взбросы — взгляды Виктора. На фоне медлительного и одновременно стремительного нашего путешествия быстро разлетаются, вихрятся стихи, рассказы о поэтах Серебряного века... <...>

Мы виделись часто. Как-то Витя подарил мне рукопись: «Воскресные облака», стихи 1968—1972 года с дарственной надписью «Алле Минченко с пожеланием счастья и творчества». На титульном листе стоит дата — 1.7.1974 год. И еще стихи, посвященные мне:

Движима даром сочувствия, пристальным даром вниманья,
ты забываешь уроки разлук и страстей
ради сплетения звуков и соприкасания кистей,
ради фоном удлинённых и вечных минут бормотанья.
<...>

Заходя в «Сайгон» между командировками, я встречала там и Виктора, как всегда в окружении людей. Тогда он ходил без костылей. Однажды, не помню в каком году, состоялся вечер памяти Аронсона. Вечер устроила Рита, вдова поэта. Огромное помещение — клуб общежития Политехнического института. Народу очень много. Посередине большой проход. Витя сидел недалеко от меня. Он постоянно поворачивал голову и смотрел в направлении входа. Помещение длинное. Вдруг глаза его, такими никогда не видела, засияли такой любовью и нежностью, от которой и мне стало тепло. Показалось, что он весь светится. По проходу шла красивая, статная, серьезная лицом женщина, Таня Горичева. Вскоре они поженились. Горичева — тоже легенда нашего города. Потом я приезжала к ним изредка на Обводный канал, в дом 37.

Борис Смелов

На перенесении святых мощей Серафима Саровского было огромное стечение народа. Великое шествие от Казанского собора к Лавре. Помню мелькавшего в толпе Бориса Смелова. Мастер время от времени поднимал высоко вверх руку со своим волшебным фотоаппаратом. И тепло и застенчиво улыбнулся мне. Он улыбался так всегда, этот удивительный ребенок, один из величайших фотографов. Когда он показывал мне свои работы, то всякий раз говорил: «Это плохо, это очень плохо, это стыдно»... Но потом загорался и начинал рассказывать, что собирается сделать и кое-что этакое, новенькое. Главное — абсолютно новая, никому неизвестная методика обработки фотографии. Проходили дни. Первой работой нового

типа он гордился. Потом снова разочаровывался и так бесконечно... Он искал гармонию в месте или некую особенность в людях, которые становились персонажами его работ. Получались невычурные образы города и людей. У меня есть Борина фотография Александрийского столпа на Дворцовой площади. Не одна я, многие подмечают, что, присмотревшись к фотографии, видишь, как облака плывут мимо Ангела. Он — живой, облака — живые.

Как-то он пригласил меня в белые ночи пофотографировать. Установил фотоаппарат на ножках на левой стороне мостика на Крюковом канале. Простояли мы с Борей неожиданно долго. Что-то около пяти часов. Я устала невероятно. Но Боря неустойчив. «Что ты делаешь и почему так долго?» — «Фотографирую движение». Он что-то объяснял про важность длительности выдержки, в результате чего на пленке должно быть отображено нечто необычное. Мне интересно было всё, что он делал. Даже паутина и пыль не смущали, когда мы залезали на какой-нибудь чердак, чтобы сделать там фотографии. К чердакам я привыкла с детства. «Казаки-разбойники» — любимая послевоенная игра в нашем дворе на Канонерской улице, где я жила во время всей войны и блокады. В войну фотографировать имели право только специальные фотокорреспонденты. Если без разрешения, то людей арестовывали и расстреливали. Так же и с записями, и с ведением дневников. Об этом я узнала на выставке в Петропавловской крепости. Называлась выставка, кажется, «Неизвестная блокада». Но почему в семидесятые годы милиция отлавливала ночных фотографов? Доставалось и Ольге Корсуновой, и Боре. Они часто вместе фотографировали. Где-то в середине семидесятых огромную серию работ Бори содрали прямо с выставочного стенда и куда-то засунули, практически погубив работы. Я очень хорошо помню, как горько переживал Боря эту гнусную историю.

Думаю, если бы не Наташа Жилина, а потом Митя Шагин, он бы остался неизвестен. До поры до времени. Сам себя рекламировать или продавать он не умел, не умел суетиться.

Письмо Эллы Липпы в Сибирь в поселок Селенга

Зимой 1973—1974 года, во время одной из своих многочисленных командировок по очистным сооружениям нашей огромной страны, я оказалась в посёлке Селенга на Байкале, где попала в больницу. Тогда-то я и получила письмо от Эллы Липпы. Элла — само произведение искусства. Её совершенство подметила Нейменова в рисунке углем — изящество, красота, ум. Письмо это я сохранила до сих пор. Когда мне бывает не очень хорошо, я перечитываю его.

Элла, пиши письма всем, кого любишь!



Марина Унксова

КАРИ (МОЯ СЕСТРА)

Кари Унксова родилась 21 октября 1941 года в г. Алма-Ата (Казахстан), куда её семья была отправлена в эвакуацию в начале Великой Отечественной войны. Родители Кари — геологи, оба — доктора наук. В 1965 году Кари окончила геологический факультет Ленинградского университета, счастливо вышла замуж, родила двоих детей, но главным содержанием ее жизни было поэтическое творчество. Кари погибла в автокатастрофе в сорок два года. Осталось примерно четыреста страниц текстов — стихи, поэмы, прозаические отрывки, автобиография. Все вспоминающие ее подчеркивают могучее обаяние Кари, притягивавшее людей как магнитом. К ней в гости приходили художники Евгений Рухин (один из главных организаторов «Бульдозерной выставки»), Глеб Богомолов; поэты Иосиф Бродский, Алексей Хвостенко, Анри Волохонский, фотограф Валентин Тиль Мария Самарин, композиторы Борис Тищенко и Сергей Баневич...

Входящий в квартиру Кари прямо со двора попадал в длинный коридор и сразу видел обращенный к нему большой плакат: «Дорогой гость! Помни, что, приходя без звонка, ты можешь нарушить планы хозяев, о чем тебе не говорят только из вежливости!» Но люди шли и шли — со звонками и без. Вот характеристика этой легендарной квартиры, взятая из официального акта обследования жилищно-бытовой комиссии (1976 г.): «Квартира находится на 1-м этаже, пол на уровне земли, окна выходят во двор-колодец, кухня полностью темная, в квартире постоянные сумерки, во дворе шум и выхлопные газы... Квартира непригодна для постоянного проживания». А когда наша семья поселилась там, в квартире не было даже полов, окна забиты фанерой, в уборной ползали мочки, в кухне — крысы и тараканы, поскольку под окнами была грандиозная помойка. Почему родители — научные работники — согласились поселиться в этом ужасе? Потому, что это была отдельная квартира, не коммуналка, в которой жили почти все в послевоенном Ленинграде. В этой квартире Кари прожила почти всю жизнь, из неё ушла в свою последнюю прогулку к Неве.

Кари любила гостей — всяких, и хиппующих музыкантов, и соседей по дому. Соседи — в основном работяги-алкоголики и их подружки — любили устраивать рядом с её окнами драки и выяснения отношений, но не возмражали, когда на одной из вечеринок Кари открыла окна, Боря Тищенко подогнал свой «Москвич», включил фары, и гости, не помещавшиеся в комнатах, начали танцевать прямо на асфальте двора под песни Эдит Пиаф, включенные на полную громкость.

Тогда ли, в другой ли раз Кари за столом толкнула меня, указывая на сидящих напротив в ряд Бродского, Тищенко, Рухина, Хвостенко, и шепнула: «А что, хорошую я собрала компанию!» Помню чтение стихов Алексея Хвостенко. Стихи были абстрактные и сложно воспринимаемые, но он пел под гитару — и это было божественно. И свое знаменитое «Город золотой...», и мандельштамовское «...твой град Петрополь умирает...», и «Орландину». А мы сидели на полу вдоль стен пустой комнаты. Припоминаю Татьяну Никольскую в прозрачных синих капроновых чулках и лыжных ботинках.

В квартире было много работ Евгения Рухина, с которым Кари училась в одной группе в университете. Учились они небрежно. Помнится рассказ Кари о встрече с Женей на практике и его словах: «Ты ничему не удивляйся, я сейчас найду преподавателя, стану перед ним на колени и буду вымаливать зачет». Многие считают, что именно под влиянием Кари Рухин, как и она, ушел в искусство из науки, которой так успешно занимались родители обоих. И первые их опыты — её стихи, его абстрактные этюды и пейзажи — возникли, можно сказать, синхронно — в начале

1960-х годов, в период так называемой «оттепели». Они дружили семьями и постоянно навещали друг друга. Позже, примерно в 1970—1971 году и Женя Рухин, и его жена Галя Попова решили написать портрет Кари. Она старательно позировала, и, по ее словам, «у Женьки ничего не вышло, а Галя сделала моментально».

У нашего отца был настолько плохой почерк, что машинистки отказывались печатать его многочисленные статьи. Сразу после войны была куплена маленькая пишущая машинка, и Кари как-то сразу начала свои стихи не писать, а печатать. С самого детства эти отпечатанные листки валялись по всему дому. В университетские годы я, помнится, привела Кари на собрание литературного объединения геологического института, где я работала. Это было в начале 1960-х: в нашем конференц-зале выступал Бродский, и мы сидели с Кари в первом ряду, пытаюсь записать на магнитофон его чтение стихов — завораживающе-музыкальное. Из институтского литобъединения вышли Олег Тарутин, Эдуард Кутырев, Сергей Шульц-младший, издавшие позже свои книги. Но все они были такие мужественные мужички-геологи, поэты реалистического-публицистического толка, а Кари прочла им что-то про «странные линии кринолинов...», «ах, ты обронила тацеты...» (тацеты — мелкие нарциссы, первые весенние цветы). Её раскритиковали в пух и прах. Контакта не получилось. Были и еще неудачные попытки включить стихи Кари в литературный процесс. В основном стихи распространялись в самиздате. Чтения на собраниях литературных кружков были немногочисленны и кончались почему-то скандалами. В 1982 году Кари готовила в самиздате альманах «Наша Личная Ответственность» (НЛО) со стихами Андрея Изюмского, Виктора Резункова и своими, рисунками художника Алексея Соболева. Виктор Резунков был известным деятелем рок-культуры, и Кари принимала участие в жизни рок-клуба, в акциях в защиту культуры. Широкий круг ее знакомств и известность в мире неофициальной культуры вызывали недовольство ленинградских властей. Кари даже как-то задержали за «хулиганство» и заперли в холодном ноябре на три дня и три ночи в пустой комнате отделения милиции, где не было стекла в форточке и холод был как на улице. Но первый судья, к которому привели ее — в высшей степени интеллигентную, обаятельную женщину, мать двоих детей, — отказался ее судить. Нашли другого, и после «суда» Кари провела пятнадцать суток в камере с воровками и бомжами.

По настоянию властей Кари должна была покинуть Советский Союз вместе с мужем и двумя детьми. Но за две недели до отъезда, 3 июня 1983 года Кари Унксова была сбита автомобилем при невыясненных обстоятельствах и на следующий день умерла.

Андрей Чернов

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЭПИГРАММЫ

У совка агония.
Вот и пью в «Сайгоне» я.

*Школа Олега Григорьева.
Начало 1990-х.*

Эти стихи — реплика моей подруги и героини Пелагеи Марфовны* на попытку пообщаться в «Сайгоне» с Олегом Григорьевым.

* О ней см.: www.chernov-trezin.narod.ru

Я жил тогда в Москве, но в Питер мотался каждый месяц, а то и чаще. (Даже не в Питер, а в любимую мою Выру.) Накануне договорились с Мишей Ясновым, что утром я приезжаю, а он с поезда меня поведет в «Сайгон», где назначена встреча с Олегом Григорьевым, первую детгизовскую книжку которого с таким упоением читает гостям другой мой друг — московский критик Владимир Вигилянский. (Особенно он любит рассказ про детей, заснувших в брошенной трубе. Не помните? Это там, где потом пришли рабочие и трубу в речку сбросили. А дети выпались и пошли домой, потому что они в другой трубе спали.)

Про «Сайгон» я знаю из стихов того же Яснова (конечно, неопубликованных) и в то время еще не отредактированных самим автором.

...В заведении питейном,
Угол Невского с Литейным,
На углу в «Аэрофлоте»,
Где вы часто кофе пьете,
В «Доме книги» возле Люси
С толстым томом Фирдоуси
На персидском...

(Это потом Яснову не понравится неправильное ударение на «у» в слове «Фирдоуси», но у меня в московском альбоме эти стихи записаны его рукой так, а не иначе, и ничего поделаться с собой не могу...)

На дворе год 1977-й. Или начало следующего.

Зимняя оленигражденная промозглость. Часов 10 утра.

Встретились. Мишка протащил меня мимо бара вглубь, на ходу отбиваясь от каких-то хмыреватых личностей.

Потом поворот налево. Тут и свободный столик.

Только присели, как Яснов встрепенулся:

— Олег, Олег, сюда!..

Григорьев ловко отвязывается от тех же хмырей: увернулся от объятий, скользнув у кого-то из них под рукой, пробрался между столиков к нам.

«Витамин роста» еще не издан, еще в Колонном зале Кремля персек московских литераторов Феликс Кузнецов с трибуны писательского съезда не объявил, что эта книга инспирирована западными спецслужбами.

Выйдет так, что я на том съезде буду (не как писатель, как газетчик).

Кузнецов тогда едва успел договорить, как в президиуме что-то недобро блеснуло. Это очки проснувшегося вдруг Суслова.

И даже с балкона видно, что главный идеолог страны очень недоволен. Вертит головой и вроде как даже фыркает.

Потом, когда в стенограмме этих кузнецовских слов не окажется, станет ясно, что недоволен он самодеятельностью писательского персека.

Но это все позже. А сейчас Яснов пошел за кофе.

Пытаюсь заговорить с Олегом.

Но ему это по барабану. Мишка денег ему не дал, и он покорно ждет кофе.

Сообразив, что расспросить гениального «собеседника» ни о чем не удастся, сам начинаю что-то рассказывать. Олег, уткнувши глаза в стол, сначала делает вид, что слушает, а потом уже и не делает, косится на спину стоящего в очереди Мишки.

Кофе подан. Проглотили и вышли в слякоть Владимирского проспекта.

Мишка сказал:

— Да ты, понимаешь... Эх...

Михаил Петренко САЙГОНСКАЯ КУЛЬТУРА

Питерский народ слышит об этом знаменитом кафетерии. О нём даже на Ленфильме сняли киноленту воспоминаний: «Чхая о “Сайгоне”»*. <...>

«Сайгон» для многих был таким местом, где можно «не быть, но казаться». Там можно было придуриваться кем угодно: поэтессой, капитаном дальнего плавания, мастером спорта, священником, художником-авангардистом, красавицей, агентом КГБ, зубным врачом, солисткой балета, букинистом и антикваром. Можно было при этом быть им в действительности, но это не имело никакого значения. Тотальная театрализация.

И место для этого «театра» было выбрано изумительное. Очень популярный перекресток: напротив через Невский на углу Литейного проспекта продовольственный магазин, в просторечье — «Зеркала». Здесь, на этом углу постоянно ошивалась фигура человека в натянутом на уши черном берете, галошах и с поролоновой хризантемой в петлице долгопалого пальто. Он помахивал рукой в белой перчатке проходящим автобусам с туристами. «Выходил на связь с иностранцами», — авторитетно сказал мне Володя Эрль. А чуть правее этого психа — ступеньки в подвальчик «Вино. Шампанское», ещё правее — «Дом работников искусств» с поликлиникой № 40 для творческих деятелей и их жен. С левой стороны, через Владимирский, тоже не худой магазин, далее к улице Рубинштейна — кинотеатр «Титан» и магазин-салон Худфонда «под “Титаном”» с портретом Карла Маркса и вечно торчавшим рядом старым бородатым и волосатым евреем, служившим натурщиком и прототипом для изображений этого коммунистического мыслителя. Он позировал многим поколениям студентов Мухи и Академии и стоял недалеко от кассы Худфонда, в которой получали деньги художники.

По Литейному туда-сюда ходила в белом кружевном свадебном платье одна сумасшедшая дама — жилистая, пожилая, усатая, в кокетливой бежевой шляпке с кружевами и вуалью. Говорят, она свихнулась во время блокады Ленинграда. Она почти летала со своим белым кружевным старомодным зонтиком вокруг «Сайгона», создавая архитектурно-пространственную среду этого места. И если я долго её не встречал, то начинал беспокоиться, как будто на нашей улице снесли какое-то важное строение. Среда города включает в себя не только таких обитателей, витрины и стены домов, но даже запахи, присущие тому или иному месту. Около «Сайгона» всегда витал кофейный запах. <...>

Росписи в новооткрытом кафе исполнял главный комсомольско-пионерский художник-монументалист из Мухи Борис Аксельрод. Он глазированный керамическую плитку раскрасил треугольными цветными петухами, но нетленное произведение скоро стало осыпаться со стен, так как советские плиточники-отделочники были не самыми лучшими специалистами в мире. Да и самого Бориса Петровича тоже «ссыпали» из Союза художников и вообще из Советского Союза в государство Израиль, когда очищали город перед Олимпиадой.

* «Чхая о „Сайгоне“ Людям второй культуры посвящается». Сценарий и постановка Владимира Витухновского, худ. руководитель Семен Аранович. Ленфильм, 1992 г. 25 мин. «Чхая, — как говорит один из участников фильма Владимир Эрль, — в одной из восточных поэтик означает: интонация, оттенок, а лучше сказать, нюанс». О людях «кофейной культуры» Олеге Григорьеве, Леониде Аронзоне и о возникновении этой культуры рассказывают: Евгений Прицкер, Андрей Гнездилов, Виктор Кривулин, Михаил Петренко, Владимир Эрль, Борис Понизовский, Виталий Аронзон, Маша Лобановская-Григорьева.

Позитивный пофигист из «Штиглица»

Иронизирующая над всем святым молодежь, о которой поэт сказал, что она «плюет на алтарь и в детской резвости колеблет твой треножник», в годы развала и застоя играет позитивную историческую роль. Каким же образом эти лентяи, бездельники и тунеядцы, которые только и делают, что поют дурацкие песни и сочиняют идиотские стихи, выполняют такое предназначение? А вот как раз этими песнями, стихами и картинками.

В 1950–1965 годы в Америке складывалась особая культура битников, искусство протеста против бездуховности и сытости капиталистического общества. <...> На поле, вспаханном битниками, расцвели дети цветов — хиппи и различные адепты восточной философии. Потом вирусы этой философии проникли в здоровое до той поры советское общество, и к концу 1970 годов сложились условия для массового молодежного «пофигизма». Источниками этой инфекции, как в местном, так и в союзном масштабе, стали ленинградские рок-группы вроде «Аквариума», «ДДТ», «Алисы». <...> И Гребенщиков со своим «Аквариумом», и будущие митьки получали подпитку из немногочисленных источников «элитарного пофигизма» — таких, как, например, мастерская Акселя.

Аксель, то есть Борис Петрович Аксельрод, член Живописно-монументальной секции Союза художников, один из первых выпускников военного приема в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Штиглица,



Аксель (Борис Петрович Аксельрод).
Офорт М. Петренко

бывшее Мухиной, ныне Академия дизайна и прикладного искусства), имел в качестве мастерской мансарду на углу Фонтанки и Большой Подъяческой. Раньше это помещение было заурядной питерской коммуналкой с окнами, выходящими прямо на крышу. Теперь это стало очагом искусства. Как напоминание о реальной жизни, на посетителей падали с потолка клопы. Просто сыпались!

Аксель — личность легендарная. Когда я учился в «Штиглица», в первой половине 1960 годов, в коридорах училища в качестве образцовой была выставлена его дипломная работа на тему «Демократическая молодежь мира» — сграфито на брандмауэре гостиницы «Дружба» на улице Чапыгина. Это произведение и до сих пор там, хотя автора еще перед московской Олимпиадой по представлению КГБ исключили из Союза художников за связь с таинственным «Белым братством», отобрали мастерскую и вынудили уехать «на

родину предков». <...> С Акселем меня познакомили мои студенты и бывшие ученики из 190-й школы. К тому времени он совершенно забросил монументальную

живопись, мастерил скрипки и починял другие музыкальные инструменты. Для «отмазки» от Союза художников он уже лет десять говорил, что делает «Небо». Куски этой легендарной мозаики валялись по всей мастерской, и каждый посетитель мог вложить несколько кусочков смальты в это нетленное произведение. В его мастерской паслись не только юные художники, но и вундеркинды из школы при консерватории, в том числе и мой сын, и студенты консерватории, и мухинцы, и вообще неблагополучные дети благополучных родителей. Так что была там вполне элитарная обстановка. В одной из комнат на полу валялись матрасы, и какие-нибудь разнополые члены этого общества зачастую ночевали там — в ожидании первого трамвая, как они говорили родителям по телефону.

Я не знаю, бывал ли там Борис Гребенщиков, но многие из его друзей и товарищей бывали. Некоторые из них работали парокотельщиками, некоторые — сторожами, как знаменитый по песне БГ «сторож Сергеев». Возможно, некоторые пытались работать на заводе, как столь же знаменитый «Иннокентий». Самое главное достояние и достижение этой генерации поэтов и художников состоит в том, что они не только сами без пиетета относились к понятию «народ», но и всех своих сверстников развратили. Опошили самое святое еще с пушкинских времен, ибо понятие «народность» — единственное из известной формулы графа Уварова (самодержавие, православие, народность) — несмотря на все социальные потрясения, оставалось незыблемо святым для истинно русских. <...> Противопоставив понятию народности свою элитарность, «пофигисты» победили — молодые пошли за ними, под их знаменами и с их песнями, наплевав на ценности предыдущего поколения и разрушив представление о святости «новой человеческой общности — советского народа», который они называли «совком». Ничего ценного «пофигисты» не создали, кроме разрушения своим безответственным поведением сложившихся стереотипов. Создавать новые духовные ценности? Зачем? Да это и не их задача. В лучшем случае нужно нагнуться, подобрать с пола в мастерской Акселя пару кусочков золотистой или голубой смальты и вставить в общую мозаику «Неба». Вот и все дела!

Ходасевич писал в холодном и голодном Петербурге 1921 года: «Время гонит толпу людей, спешащих выбраться на подмошки истории, чтобы сыграть свою роль и уступить место другим, уже напирющим сзади».

Вторая культура

<...> С годами тема «Сайгона» как центра «второй культуры», неконформистской «тусовки» 1960—1980 годов в Ленинграде звучит всё слышнее. Для меня это явилось одной из причин издавать в Америке самиздатский журнал под названием «Сайгонская культура». Другая причина — уход из жизни друзей и знакомых, талантливых и востребованных, в расцвете духовных сил. <...> Нельзя ждать, что кто-то, кроме тебя, память о них сохранит. Нельзя ждать. Настало время собирать камни.

В конце 1970 годов я стал делать автобиографические картинки. Я, конечно, и раньше делал, но тут затеял цикл изображений своих соседей из коммуналки, интерьеров мастерских и очередей в пункт приема посуды. Рисовал обыденную жизнь и переводил в технику офорта. Представленный здесь офорт «Сайгон» я сделал в году в 1979—1980. Я поместил на картинку моих знакомых, друзей и себя в уголке. По часовой стрелке: Витя и Ия Маслачковы, Жора Сомов, Феликс Дробинский, Люда Шелестюк (Левитина), Нина Соловей, Женя (фамилии не помню), Лёва Айзенштадт (Дановский), Сергей Спинодель, Валерий Черешня, Анатолий Заславский, Володя Гандельсман, Вера Дановская, Анна, Никита, Колесо (Колесников), Таня Спиридонова, Арон Зинштейн с девицами, Валерий Мишин и Виктор Кривулин, какие-то люди, которых забыл, Яков Островский и я, автор.

Квартирный вопрос и творчество

Для советского писателя и поэта в условиях перманентного жилищного кризиса и принципа классовой справедливости при распределении жилья квартирный вопрос всегда был жизненно важным. Даже важнее денег.

Как стесненные квартирные условия влияли на творческий путь деятелей советского искусства?

Я по этому поводу целое исследование написал и назвал его «Музы поэтов и квартирный вопрос». <...> Когда появился «Сайгон», то для многих молодых это стало частичным решением квартирного вопроса. Кофейное общение требовало наличия неких определённых общепринятых в этом месте условностей. Например, не препятствовать желанию собеседников «не быть, но казаться». Большинство людей, посещавших «Сайгон», как бы носили маску.

Для того чтобы излагать события эпохи «сайгонской культуры», я тоже придумал маску. Языковую маску графомана-литературоведа из кафе «Сайгон». За прототипом далеко ходить было не нужно — им послужил один мой знакомый кровельщик, Феликс Д. Этот кровельщик был большим интеллектуалом и эрудитом с незаконченным высшим образованием. Он не закончил филфак Ленинградского университета, потому что поддался романтическим порывам и уехал в Сибирь на стройки комсомола. Естественно, там начал писать стихи.

Нужно сказать, что Феликс и его семья были известными в Гомеле людьми: папа был крупным партийным работником, но через некоторое время после войны, ещё при Сталине, попал в ГУЛАГ, где сидел вместе с искусствоведами Н. Н. Пуниним. Так что всё гомельское землячество в Ленинграде дневало и ночевало в квартире у Феликса. Племянник Феликса Коля Спиридонов учился в Ленинграде в ПТУ на «плиточника», и я по просьбе Феликса занимался с ним рисунком и живописью и подготовил его к поступлению в Муху. Так и племянник стал человеком «сайгонской культуры». <...>

Но вернёмся к героической эпопее покорения Сибири иудеем из Гомеля. Там таки было тяжело. <...> Намаевшись на стройках, наш герой труда, весь из себя больной и пессимистически настроенный, намылился обратно в «колыбель революции». Но не тут-то было. Удалось прописаться только «по лимиту» — сначала на стройке, потом пожарником, а через несколько лет упорного интеллектуального труда Феликс стал парокотельщиком. В «Сайгоне» парокотельщики были самой распространённой и уважаемой профессией. Но затем наш герой из-за ведомственного жилья несколько опустился по социальной лестнице до кровельщика в ЖЭКе. И в этом качестве ему нужно было работать молотком по железу. Вершиной его карьеры могло быть место диспетчера лифтов или инспектора пожарной охраны. Но туда брали исключительно после окончания философского факультета Ленинградского университета. <...> На служебной жилплощади Феликс содержал изысканный литературно-художественный салон (по мнению соседей — притон для пьянок и интеллектуальных дебошей). Ясное дело, все литературные и художественные сливки из «Сайгона» гудели там и квасили. <...> Художники развешивали свои авангардные работы, поэты, сменяя один другого, читали стихи (помнится, одно начиналось так: «Я люблю тебя стабильно»), прозаики обменивались замусоленными рукописями в папках с надписью «ДЕЛО»...

Познакомил меня с Феликсом мой соученик по Мухе Юра Козлов.

Мы с Юрием Андреевичем Козловым были знакомы более сорока лет. То есть с тех пор, как встретились 1 сентября 1963 года в аудитории по рисунку на третьем этаже Мухинского училища. <...> Стали мы заниматься, и Козлов довольно быстро загрузил. Почему он загрузил, я не знаю. Не допытывался. <...> И вот

он лежал на койке в общежитии на Фонтанке 23, недалеко от «Сайгона», рядом с конями на Аничковом мосту и грустил. И беспрерывно курил сигареты «Прима». Или «Памир»? В общем, самые дешевые. <...> И так смог долежать до третьего курса, но потом всё-таки его выгнали.

Юрий Козлов полагает отчисление из института очень положительным в его карьере художника этапом: «Если бы не выперли, я бы никогда художником и не стал». Но уезжать из Ленинграда не хотелось, и Козлов пошёл в пожарники: их прописывали «по лимиту». Я его в пожарке в Апраксином дворе навещал. И он мне показывал свои рисунки, которые стал рисовать в свободное от боевых тревог время. <...> А позже стал участником знаменитых выставок в ДК им Газа и «Невском». <...> Юрий Андреевич — очень самобытный и талантливый рассказчик — поведал мне историю про Феликса, подчёркнуто уральским говорком, с междометиями и словами-паразитами:

«Мы с Феликсом встретились, когда проходили курс молодого бойца в Апраксином дворе. Его часть была на Петроградской. Я запомню, какая улица. Там они с Тимохой вместе были. Тимоху знаешь? Ну, не важно... До этого каких только Феликс профессий не нахватался! Он вроде как наш Буревестничек великий, Алексей Максимыч, в народ решил уйти: и бетонщиком был, и тачки возил эти, понимаешь, и шпалы таскал в Сибири-то. «В люди» пошел. «Мои университеты» начинать и заканчивать. Писателю русскому это, разумеется, необходимо. И вот в Омске будучи, работал бетонщиком на стройке, но при этом писал что-то, по радио какие-то его пьесы шли. То ли про художников, то ли про кого, не знаю. Получил стресс, нервное перенапряжение, уехал в Гомель к родителям лечиться. В психдиспансере лежал с алкоголиками. Потом в Ленинград перебрался, по лимиту прописался. Меня как раз тогда, бляха-муха, в академку выгнали, и я в пожарники пошел. И вот встречаемся мы на курсах молодого бойца... И все шло хорошо, пока изучали огнетушители и теорию, шланги там всякие, и вот, пока он шланги изучал, все было нормально, но тут стали изучать противогаз. И теоретически-то изучили, а как мордой туда влезать, тут Феликс и заупрямился. Нет и все. Не хочет он туда влезать, и матом всех послал. И туда и сюда. Что-то ему там дискомфортно стало, худо совсем, задыхаться стал, сорвал маску, прочь отбросил. Так с тех пор без масок пожары и тушил. Да. Мне там так тоскливо было, а тут он сам ко мне подошел. Маленький такой иудейчик, в зелененьких лыжных штанишках, ну, как лягушонок, маленький такой. Это потом он раздобыл, а тогда мордочка у него была маленькая, ну, истощенная, испитая. И вот сам подошел он ко мне и говорит: “Эт-та. Вы художник Козлов?” — “Ну, был вроде того. Не совсем, конечно, еще художником я не стал, но пытался. Вот вылетел, как орел из гнезда”. — “Ну, вы знаете, да, это должно у вас пойти. Если заложено, то должно быть”. Стал убеждать меня, чтобы не бросал, и вот с этого момента мы вместе. И так до конца. Как он салон у себя открыл? Он часто паспорта терял, чтоб снова в Ленинграде прописаться, и после геологоразведки тоже потерял. Ну, потом заплатил сколько там, я не помню. После геологоразведки он богатый был и вот тут-то и поступил кровельщиком. У него много всяких специальностей было, когда он, как Буревестник, по стране метался. В том числе и кровельщик. И там, рядом с Пряжкой, очень хорошая начальница ЖЭКа была. Валентина Ивановна ее звали. Фамилию не помню, на “К” начиналась. ЖЭК этот находился в домике отдельном на Писарева, в конце, во флигеле дворца великого князя Алексея Александровича. На Мойке, где она с Пряжкой сливается. Рядом — скульптурные мастерские. А в самом дворце находился “Оргтехстрой”. Здание эпохи эклектики. Как игрушечка! И вокруг решетка красивая с вензелями АА, то есть Алексей Александрович, если сокращенно. И я еще помню, росписи академика Липгарта там были. На панелях. Типа натюрмортов, кажется.

Флигель выходил на улицу Писарева, бывшая Алексеевская. Недалеко от Новой Голландии. Красивейшие места, но так загажены были... Ну вот... Да... Тут паспорт новый выдали ему. И поступил он в ЖЭК кровельщиком, и ему от ЖЭКа дали комнату. Он во время “университетов” своих наверняка этому научился. Он ведь даже специальность крановщика получил, а это уже квалификация... на кране-то. Народ к нему всегда ходил. Даже в пожарку. Всегда вокруг него народ в общезнании толкомся. И ведь че-то такое в нем было. Ведь он имел такой талант собирать народ вокруг себя. Талант просвещать. Любил просвещать. Любил превозносить.



Салон у Феликса на Пряжке. Офорт М. Петренко

Он очень любил людей превозносить. Вот ты никто, ничто, говно, а он тебя словами поднимет, вознесет, а ты уже про себя подумаешь: «А-а, мол, смотри-ка, и я что-то могу». Что-то ты из себя значишь. Понимаешь! Вот! Вообще — молодец. Сам вроде бы ничего не создал, да, а вот это было — вокруг себя создать народную массу. Сводить всех, кого-то разводить. Так что вот так. А когда случилась эта выставка в “Невском” — в Газа, то народ восторжен. Интересоваться стали. А салон пошел, когда мы с Филимоновым там выставку сделали. В комнате в этой. У Феликса. И так туда народ и попер, на эту выставку. Вот там салон тогда и образовался. Потом другую комнату ему дали, побольше, на Пряжке. Да, жизнь его учила. Пытался сам писать тоже. Он написал пару рассказиков. Нас с Жоркой пригласил на читку. Только нас с Сомовым, никого больше. Ну, Жора ему прямо сказал, а я промолчал. Хреново, мол. Может, и обиделся. Я-то деликатно промолчал, конечно. Но он и сам понял. Перестал пытаться. А жену, Катерину эту, бляхмуху, он в Кингисеппе нашел. Направили его туда в геологоразведку кембрийскую глину искать. Вот там он с ней и познакомился. С Катериной. Она из Кингисеппа. Истеричная какая-то, хихикает, смеется. Как-то, в общем, бабешка не совсем нормальная. Впечатление не совсем здорового человека. Психически. На себе она его женила, ребёнка родила — может, только это ей и нужно было, не знаю. А потом и кинула его, нашла другого. Он ведь и в психушке побывал. Большинство

гам лечилось от алкоголизма... Я, как после второго инфаркта, когда инвалидность получил, завязал и больше ни-ни. Давай-ка чайку попьём. Ну, так я продолжаю про Феликсюшу. Он рассказывал: "Пошли как-то мы с Лёшкой в Эрмитаж и захватили с собой одну девицу. Она приехала в Ленинград, чтобы поступить в эт-та, институт культуры, на режиссерское отделение. Пока устроилась дворником. Между прочим, дал я ей как-то почитать эт-та, «Гойю» Фейхтвангера. «Ну, как, — спрашиваю потом, — понравилась?» — «Да, ничего, — говорит, — только человек он нехороший был, этот художник. Развратник». Сам понимаешь, в институт её с такой нравственной позицией не пустили. Так дворником и осталась". Ну, давай еще по чайку...»

Яков Островский

Когда я пообтесался в литературно-художественном «Салоне у Феликса», то привёл туда своих знакомых Ию и Виктора Маслачковых. Они недавно обосновались в Ленинграде и были не чужды поэзии и искусства, то есть были, самые подходящие для сайгонской культуры люди. <...>

Сайгонская культура питалась здоровыми культурными соками советской провинции. Жора и Феликс были из Белоруссии, Козлов с Урала, а Витя и Ия из Днепропетровска, где в те годы на местных молодых поэтов наводил страх и ужас Яков Островский. Он был не только журналистом и поэтом, но культуртрегером и, как он утверждал, духовным отцом многих поэтов. Культуртрегерство его состояло в том, что он приезжал в Ленинград, останавливался в моей мастерской и посещал ленинградские поэтические тусовки, а затем, возвратившись в Днепропетровск, рассказывал местным романтикам о жизни в культурной столице СССР.

Меня с Яковом познакомил Витя Кривулин: привёл его к нам, так как Якову негде было ночевать. Мы с женой Олей были студентами-молодоженами и снимали комнату, в которой, кроме двуспальной кровати, размещался ещё старый продавленный диван. На этом диване Яков и прижился. Он стал ходить в «Сайгон» пить кофе, а кушал черный хлеб со смальцем из трёхлитрового бутыля. Это свиное сало он сам умел приготавливать впрок в Днепропетровске, и поэтому денег на еду у него почти не уходило. Только на хлеб и кофе. Яков — это яркая фигура сайгонской культуры. В Днепропетровске он вёл добропорядочную жизнь семьянина, был членом КПСС и членом Союза журналистов. Здесь называл себя «поэтом-шести-десятиником» и ходил в «Сайгон».

Мне его стихи нравятся. Я даже за свои деньги издал подборку его стихов, к которым написал предисловие. И там, в частности, сказано: «Излюбленный его жанр — баллада. Он хорошо усвоил мастерство предшественников, советских поэтов двадцатых — тридцатых годов. В этом старом романтическом жанре он сумел сказать своё. Сюжет в стихах Островского, как правило, к кульминации совершает неожиданный скачок, сдвиг во времени и пространстве, отчего причинно-следственная связь как бы затрудняется, и тем акцентируется, подчеркивается многозначность смыслов. Вот коротенький характерный стишок:

То-то радость — воротился. А уж думала — убит.
Воротился, не забылся, не забылся, не забыт!
Покурил чутко, постлался, привалился он ко мне...
А мужик мой там остался.
Там, в окопах. На войне.

Драматургически это оправданно, так как путь от кульминации до конца баллады практически мгновенный»...



Поэт Яков Островский в мастерской
М. Петренко. Офорт М. Петренко

Когда мы с ним познакомились, он только и делал, что говорил о правильном восприятии поэзии. К счастью, балладный жанр тяготеет к прозе, а Яков хороший рассказчик, а потому его многочасовые пояснения по поводу своего стиха в шесть-двенадцать строчек были в духе жанра. Больше того, это общение между поэтом и слушателем представляло собой некое театральное-литературное действо и всегда увлекало простодушного слушателя.
<...>

Яков эмигрировал в Германию, сейчас живёт в Ганновере и по пятницам играет в преферанс. Стихов, вроде бы, уже не пишет. И вообще ничего не пишет.

Виктор Кривулин

Виктор Кривулин — формообразующая фигура сайгонской культуры. <...>

Я познакомился с ним в «Кафе поэтов» на Полтавской улице. Со мной был мой приятель художник-мухинец Валерий Мишин. Мы пригласили Кривулина почитать стихи в «красном уголке» общежития ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. С Кривулиным пришли Владимир Эрль, Тамара Козлова (Алла Дин, Т. Буковская), Виктор Ширали, Саша Миронов и ещё одна юная красавица-поэтесса. <...> Охраны в «красном уголке» отродясь не было, но после поэтического вечера начались «охранительные мероприятия»: «Посторонним вход воспрещен» и т. д. Но мы сразу подружились со всей поэтической компанией. Потом Валера Мишин и Тамара Козлова поженились, а Гена Сорокин на своей пишущей машинке распечатывал стихи поэтов, а также сборники Мандельштама, которые привезли Кривулину друзья из Сорбонны. <...>

Одним из признаков таланта художника или поэта является суггестивность, то есть умение внушать. Вот и сейчас у меня в голове вертится строчка из Кривулина: «бородатый, в застиранных джинсах, не чуждый искусствам, от меня отодвинулся». И я уже про всякого бородатого человека в застиранных джинсах начинаю думать подобным образом: видать, «не чуждый искусствам»... Особенно мне нравилось, как Витя управляется в стихах с длинными словами типа «перпендикулярный», «полуфабрикат», «чистопородный»... <...>

Как-то раз в «Сайгоне» зашёл у нас с ним разговор о том, чтобы вдвоём снять мастерскую. Лучше всего, решили мы, на Васильевском острове. Мне она была нужна, чтобы картины писать, а ему — чтобы проводить философские семинары и поэтические мероприятия. Мне удалось уговорить начальницу одного из ЖЭКов, и

я получил подвал на 6-й линии, напротив кинотеатра «Балтика». Дом был предназначен «на снос», и теперь его уже нет. На картинке, прилагаемой к этому тексту, изображен один из философских семинаров посвященный Гуссерлю. Докладывала будущая жена Кривулина, Татьяна. Она закончила философский факультет Ленинградского университета, но работала инспектором пожарной охраны. И слушатели были соответствующие: парокотельщики, дворники, диспетчеры лифтов и т. п. Таня и Виктор вскоре поженились и стали издавать журнал «37», названный так по номеру квартиры, которую они снимали на Огородникова. <...> Помню, как в этом подвале на 6-й линии в самом начале 1970 годов состоялся вечер памяти



*Семинар Виктора Кривулина и Татьяны Горичевой
на 6-ой линии Васильевского острова.
Офорт М. Петренко*

трагически погибшего поэта Леонида Аронзона. Собрались друзья, пришла его жена Рита. Читали стихи, готовили подборку для печати... <...>

Когда после окончания вуза Виктора распределили учительствовать в Понтонную, а меня чуть подальше, в Ивановскую — рисовать катера и яхты на заводе «Пелла», мы встречались с ним ежедневно, вернее ежеутренне. <...>

Как-то раз Витина мама, выйдя на кухню, где я курил (в знаменитом «фо-

наре» курить родители запрещали), спросила: «Как вы думаете, из Вити какой-нибудь толк будет?»

Жизнь всё расставила по местам, и пусть земля ей будет пухом — любая мама может гордиться таким сыном. Он остался в Вечности.

Олег Григорьев

После смерти Александра Сергеевича Пушкина в Конюшенной церкви не отпевали больше никого. <...> Но в мае 1992 года храм Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади Петербурга был снова открыт, были повешены иконы, приглашены священники — и всё это было сделано для того, чтобы отпеть Олега Григорьева. <...> На отпевании обрался весь поэтический и художественный Петербург, и ещё из Москвы народ приехал. Что ж такое? Олег был известен в городе как клиент вытрезвителя и «Крестов». А тут такой почёт и уважение! Ничего страшного, Ленин тоже в «Крестах» сидел. И в этой тюрьме писал прокламации и делал чернильницы из хлеба. А Олег Григорьев прокламации не писал — он писал стихи и картины. Но ему не повезло в жизни потому, что в их коммунальной квартире поселился милиционер и стал Олега сдавать в ментовку. Ну, а те его уже

в «Кресты» отправляли. И там Олег продолжил ленинскую традицию лепить из хлеба разные предметы, вроде человечков. Он там даже за девушками, как и полагается поэту, заочно ухаживал:

Я вылепил ей из хлеба
Человечка мужского,
Она к нему прилепила
Человечка другого.

А тех человечков с полки
Ночью украла крыса:
Один человек в локонах,
Другой человек лысый.

Я познакомился с Олегом Григорьевым на выставке в ДК «Невский» в 1975 году. Поскольку об этой выставке объявляли не советские радио и газеты, а «Голос Америки», Би-Би-Си и «Свобода», то народу на ней была тьма. Посетителей и художников «обслуживали» бригады стукачей из КГБ, они же автобусами приво-



Городской сумасшедший.

Офорт М. Петренко

работы картин Олега Григорьева не была наигранной: <...> казалось, что во время работы его несла какая-то вдохновенная стихия.

Его и вообще в жизни, что называется, «несло». И он этому не сопротивлялся.

Так, стихия занесла художника в поэты. Олег Григорьев учился в школе при Академии художеств в Ленинграде. В те времена, в конце 1950 годов СХШ при институте им. Репина ещё находилась там, где ей отвели место сто пятьдесят

зили пэтэушников и проводили их внутрь через черный ход. Для осуждения искусства нонконформистов. Кстати, пэтэушникам так понравилось «осуждать» искусство, что они ночью поскидывали мраморные статуи в Летнем саду:

Венеры нагую фигуру,
Как пьянь положили на лавку.
Психею связали с Амуром, —
Спустили в Лебяжью канавку.

На выставке, волей случая, мои и григорьевские работы висели почти рядом. Выглядел Олег как пацан: худенький, шуплый. Выставил он триптих «Гнёзда» — это была по-настоящему хорошая живопись, в духе экспрессионизма. Его картины вообще отличались энергичным рисунком. Триптих говорил о том, что у неприкаянного, не принятого миром художника есть один приют, одно гнездо — его внутренний мир. <...> Экспрессия картин Олега Григорьева не была наигранной: <...> казалось, что во время работы его несла какая-то вдохновенная стихия.

лет назад создатели Академии, — в главном здании на набережной Невы. О присутствии интерната для вундеркиндов в этом храме русского искусства свидетельствовал не только детский крик в сводчатых коридорах, но и густой запах шей или горохового супа. О начале перерыва на обед — кульминационного момента в художественной жизни — извещал жуткий грохот множества ботинок и сапог по железной винтовой лестнице. От этой лавины вздрагивали тихие провинциальные юнчицы-искусствоведки, сидевшие в библиотеке рядом с лестницей. Если я попадал в Академию в это время, то всегда в этот час испытывал восторг перед разгуливавшей стихией и неистовством жаждущей плоти.

<...> Чтобы отсеять тех, кто мог составить конкуренцию детям и внукам академиков при поступлении, старались сделать так, чтобы к последнему классу все более или менее способные были отчислены. <...> У Олега Григорьева был талант, но не было влиятельных родственников. Я думаю, что его, как и Шемякина, и других талантливых ребят, именно из-за отсутствия блата выперли из СХШ, а не потому, что он не захотел рисовать ведро и веник. <...> К сожалению, Олег Григорьев, по его собственным словам, «не отстоял себя как живописец». <...> Но в поэтической сфере его талант сразу же получил всенародное признание, и его стихи стали фольклором. Легенда гласит, что знаменитое стихотворение про электрика Петрова, ныне переведенное на все основные языки мира, он написал в шестнадцать лет.

Я спросил электрика Петрова —
Для чего ты намотал на шею провод?
Петров мне ничего не отвечает.
Висит и только ботами качает.

<...> Конечно, жизнь у него была не сахарная. <...> А ещё друзья-художники абсурда подбавляли. Художник Владимир Шагин как-то пришёл к Григорьеву домой. Видит, стоит Олег у окна и смотрит в пространство. Шагин как шарахнет кулаком по оконному стеклу: чтоб пейзаж за окном поэту был виднее. Дело было в холодную пору, а тут окно вдребезги. И Олег, уже в совершенном отчаянии возопил: «За что это мне! Есть за что мстить? Или меня уже оттуда не охраняют?» — и тыкал рукой в небо... Шагину стало совестно. Он привел Григорьева в свою мансарду на Загородном, подвёл к окну и сказал: «Бей» — мол, мне отмщение и аз воздам. Но Олег бить не стал: он жалостливый был человек. Даже написал элегию «На смерть стрижа». И какие бы выкрутасы не устраивала ему судьба, он сумел сохранить светлую печаль души, хотя беспросветность жизни затягивала горизонт. <...> Пребывание в психушке на Пряжке вылилось у Григорьева в классический хорей с плясовым звучанием ударных и безударных:

Хармс погиб в пустыне этой,
В склеп живых сюда сойдя,
Живописцы и поэты...
Вот сподобился и я.

Олега Григорьева в будущем история отметит как последнего элегического поэта. Смерть входила в его поэзию не то чтобы буднично и несуетливо — она казалась избавлением от тягот жизни. Спокойное отношение к смерти, как к чему-то обыденному, к смерти, в которой интереснее всего причина и обстоятельства, а не сам факт, говорит более всего о среде и о времени, в котором пришлось жить поэту.

Иван лежал с открытым ртом,
В фуфайке, на спине,
И сверху вниз кубинский ром
Лить приходилось мне.
Вдруг замечаю — что за черт?
Осталось мне так мало!
Я лью, и лью, а он уж мертв —
Грамм восемьсот пропало.

Умереть можно сразу, а можно постепенно. Жизнь Олега Григорьева — это самоубийство, растянутое на годы. <...> Он как будто мстил жизни. Смерть же была «прекрасна и так же легка, как вылет куколки мотылька».

Бах у койки. Домашние концерты

<...> Красавицы шестидесятых и семидесятых годов — это отдельная тема. Главное, что, на мой взгляд, отличало красавиц этого времени, — они должны были быть ещё и талантливыми. Если нет таланта, то и красота вроде бы с изъяном.



*Художник и модель. Анатолий Заславский
пишет портрет Ольги Петренко.
Офорт М. Петренко*

Моя жена — именно такая талантливая красавица, и никто не знает, сколько забот и волнений доставляло мужу это обстоятельство в молодые годы. Оля была студенткой консерватории по фортепиано и органу и подрабатывала в филармонии и капелле, как «перелистыватель нот» знаменитым органистам. <...> Нередко после концертов она приходила домой с непрошеными провожатыми. А особенно наглые «ценители Баха» даже врываются в нашу комнату. Приходилось поить их чаем и вежливо выпроваживать. Особенно отличался друг Акселя по фамилии Раппопорт — жутко наглый тип, который всё порывался играть с Олей в четыре руки. Некоторые композиторы писали музыку на её стихи и даже добивались исполнения этих песенных циклов на публике. Но в этом

было и нечто приятное — гонорары. На один из таких гонораров на семейном совете решили купить мне теплые ботинки. Как я думаю, — в качестве компенсации за моральный ущерб. <...>

Сейчас мода на орган прошла, а тогда в Ригу, в Домский собор, меломаны ездили на органные концерты, как мусульмане в Мекку. <...>

В те годы помещались мы с женой и сыновьями, плюс орган «Прелюдия», плюс пианино «Блютнер», плюс скрипка старшего сына и пелёнки младшего, плюс мой мольберт и офортный станок в комнате 15,8 квадратных метров коммунальной квартиры на Кирилловской улице, 17. <...> Для того чтобы получить официальный статус «солиста», одного таланта и профессионализма было мало: необходимы были еще настойчивость и упорство. <...> И чтобы «обыграть на публике» новую программу, устраивались домашние концерты. Многие посетители кафе «Сайгон» побывали на этих домашних концертах, так же как и на «квартирных» выставках художников. <...> Публика забиралась с ногами на койки, располагаясь на них в два ряда, на всех стульях и табуретах, и на полу.

Анна Кацман (Кривулина)

КОФЕ С ЛИМОНОМ — ВКУС ВРЕМЕНИ

Посвящается В. Б. Кривулину

*...тебя всё меньше — скоро
ты станешь каплей света
на острие иглы.*

Виктор Кривулин

Эта цитата не о «Сайгоне», но...

С 1971 по 1974 год мы бывали в «Сайгоне» очень часто. Это было особенное место. Там прошла лучшая часть нашей жизни. Мы — это первое послевоенное поколение. Тридцать пять лет назад именно в «Сайгоне» собиралась интеллектуальная часть петербургской молодежи. Мы не жили в советском Ленинграде. «Сайгон» переносил нас в другое кафе, более близкое нам по атмосфере, по интересам — в «Бродячую собаку». Оформление тут было ни при чем. Оно вообще отсутствовало. Культурный провал после поэтической пляды Петербурга начала века должен был быть заполнен — нами. И это ощущение, как показало время, было правильным.

Мы чувствовали себя людьми той общности, той культуры. Передавали друг другу Андрея Белого — его «Петербург» под редакцией Л. Долгополова выйдет позже, но существовала Публичка. Именно там мы могли найти то, что ещё не продавалось в магазинах, но упоминалось в «Сайгоне»: Георгий Иванов, «Окаянные дни» Ивана Бунина, Ирина Одоевцева, Зинаида Гippiус и многое другое, что делало нас причастными к истории культуры.

Наши родители, как правило, были далеки и от истории культуры, и от нас самих. Послевоенные рассказы о том, как выживали, какие ужасы переносили, что видели, что ели в блокаду, навсегда остались в моей памяти. Родители были недовольны тратой денег на книги, пластинки. Нам же хотелось узнать о другом, о непохожем на то, что существовало вокруг.

Эпоха начала века с его модерном и модернизмом, северный краткий расцвет литературных и художественных талантов, изысканная слабость умирания в темах, самоанализ и поиск истины перед революцией, как перед всемирным концом... Всё это было актуально для нас, это волновало, это опьяняло...

Узнать больше о людях Серебряного века, почувствовать близость к ним, к их творчеству, к их судьбе, оживить их помогало (не побоюсь быть высокопарной)

слово поэта — Виктора Кривулина. Витя вообще знал много «слов» и имен, которые не произносились в окружающей среде. Направленность его интересов декларировалась почти в каждом стихотворении:

Пью вино архаизмов. Горю от стыда над страницей:
ино-странница мысль развлекается в мире ином,
иногда оживляя собой отрешенные лица.
До бесчувствия — стыдно сказать — умудряюсь напиться
мертвой буквой ума — до потери в сознании моем
семигранных сверкающих призм очевидца!

За несколько лет до описываемых событий Витя защитил диплом по И. Анненскому. И «царскосельская» поэзия, вернее выходцы из неё: Ахматова, Гумилев, Комаровский — были ему хорошо известны. Он был знаком и с живыми царскосёлами — Татьяной Гнедич и её учениками.

Витя был интеллектуальным стимулятором окружавших его многочисленных знакомых. Его разносторонняя эрудиция, отличная память, парадоксальное мышление, общительность — все это, умноженное на талант, притягивало к нему. Общаясь, он отдавал, раздавал сублимированную культурную информацию. Люди Серебряного века, казалось, были совсем рядом. Их талант не был недостижимым. Витины культурные реминисценции, свободная ориентация в литературе не только русской, но и западной, делали интересным и вдохновенным всё вокруг.

«Сайгон» был как бы малым филфаком. Там, в легких разговорах, ехидных замечаниях, в вопросах типа «а ты этого не знала?», я получила больше, чем впоследствии дала мне учеба на литфаке в институте Герцена, где задавали прочесть к сессии сотню книг советских авторов! И так все годы обучения. Контрольные по советской литературе приходилось за меня писать Вите. На экзамене преподавательница, увидев меня, встала! Она, оказывается, ничего лучшего по советской литературе, чем моя контрольная, не читала!

Дома Витю, конечно, не понимали. Его мама Евгения Львовна — врач, прошедшая фронт, — просила меня почитать ей его стихи. В стихах были дождь, тоска, неуютность, безбытность, а на самом деле Витин дом на Петроградской был вполне ухоженным, с тяжелыми бордовыми шторами на многочисленных окнах большой комнаты, с полированной мебелью и хрусталем в серванте. Стихи Евгении Львовне были непонятны и вообще не нужны.

Витя работал в медицинском издательстве на углу Садовой улицы и Апраксина переулка. До «Сайгона» добираться было близко, но неудобно: надо было делать пересадку с трамвая на троллейбус. Однако почти каждый день он отправлялся обедать именно туда, хотя по дороге были и другие вполне приличные кафе — и у Публички, и на Малой Садовой (географию близлежащих к «Сайгону» кафе точно дал В. Топоров в «Двойном дне»^{*}).

В «Сайгон» приходили обедать и сотрудники музея Достоевского. Тогда ещё работала там замечательная Нина Перлина, практически создавшая музей. Позднее начальство вынудило ее уволиться, а затем уехать в США. Помню ироничные рассказы о «директрисе», которая работала «по звонку», в соответствии с указаниями из управления культуры, и которой надо было чуть ли ни пересказывать биографию Достоевского (прозванного в «Сайгоне» «кормильцем»). С Ниной приходила целая компания филологов: Белла Улановская, Федя Чирсков,

его приятельница Зина. Были ещё две Наташи (одна из них, Ашимбаева, станет потом директором музея) и миловидная Таня (с некоторыми из них Витя учился в ЛГУ).

В самом музее тогда проходили отличные конференции. Доклады Г. Померанца проливали свет не только на творчество Фёдора Михайловича, но и на жизнь вообще. Всё это было интересно, живо и нестрашно. Вскоре половину сотрудников музея Достоевского уволили — или они сами уволились вслед за Ниной Перлиной.

Обед Кривулина состоял из двух или трёх чашек двойного кофе и, изредка, полоски с повидлом. Позже, в Париже, когда он уже имел возможность «расширить» меню, кофе добавлялся чашка за чашкой. Одна француженка говорила, что если бы кофе, выпитый Витей, вылить на пол, то в полу была бы прожжена дыра. Так что язве желудка удивляться не приходилось.

Сайгонская публика была творческой. Как-то знакомая спросила меня, есть ли в моём окружении кто-нибудь, кто не пишет стихов, прозы, не рисует картин. Подумав, я ответственно сказала — нет.

Конечно, никого не печатали, не выставляли... Это сейчас не проходит дня, чтобы не услышать знакомую фамилию по радио, не увидеть кого-то по ТВ, не прочесть чью-то статью в газете или журнале. А сколько литераторов вышло из «Сайгона»! Это те из них, кто дожил, не уехал, не оказался в психушке...

После кофе следовало: «Пойдем покурим». Это означало, что большая компания вываливала на Литейный, и Витя, окруженный собратями, садился на подоконник того же «Сайгона». Оттуда было видно, кто находится внутри и наоборот. Уже тогда мне казалось, что Витина жизнь закончится скоро. На том подоконнике.

Стукачи, конечно, пасли это место, но, как мне тогда по наивности казалось, стояли снаружи. Воздух кафе для них был тлетворен.

На улице было слишком шумно, чтобы читать стихи. Иногда мы шли просто в соседнюю парадную или какой-нибудь заброшенный садик. Потом возвращались на работу. А вечером Витя мог читать уже новый «стишок», например «Блаженная рассеянность в бывшем саду» или «Дети поликультуры»:

Так помянем усопших
в золотистом и тучном модерне!
Не о них ли в чугунных гирляндах, в усохших,
льется мед нашей памяти, мед наш вечерний...
Наших жизней, вчерне пережитых полвека назад,
бьются тайные пчелы — сосут почерневший фасад.
Или такие строчки:
Но паутина смерти так тонка,
о, так тонка и серебриста,
как пар над жертвою, как перья-облака,
как белый плащ евангелиста!
Клубится, и летит, и вьётся за спиной,
и, разворачиваясь свитком,
о прошлой жизни плачет — об одной,
с её убогим преизбытком.

«Обыкновенные» советские люди в «Сайгон» не ходили. Ни пыжиковых уша-нок, ни оренбургских платков там было не увидеть. Как-то Витя попросил своего знакомого встретить меня в метро. Этот человек раньше никогда меня не видел. Моя внешность была описана так: «У неё самое длинное пальто». Человек безошибочно подошел ко мне: «Вы Аня Кривулина?»

В воскресенье я просилась погулять. Пойти в неподалеку расположенный от Тверской улицы, где мы жили, Таврический сад или на выставку или поехать за город. Хотелось подышать не прокуренным воздухом. Витя всегда на всё соглашался, но: «Сначала пойдем выпьем кофе». В «Сайгоне» наше гулянье начиналось, там оно и заканчивалось.

Кофе с лимоном стоил дороже. Немного. Но брали мы его только тогда, когда могли себе позволить пошиковать. Лимон к кофе предлагался и в буфете Мариинки, и в филармонии, то есть в местах престижных, что говорило о «хорошем вкусе» и места, и данного сочетания. Оказавшись после эмиграции в контакте с представителями других стран, я вдруг, к своему большому удивлению, узнала, что нигде: ни в Европе, ни в Америке, ни тем более на Востоке — такое сочетание невозможно! Есть даже фильм, который называется «Кофе с лимоном» — как метафора невероятного сочетания! Я даже провела небольшое исследование этого вопроса — встречали ли хоть где-нибудь такое сочетание люди уже много поездившие?! Одна приятельница вспомнила, что в Стокгольме и Париже она пила кофе с лимонной цедрой. Но это совсем другой вариант. Отсутствие этого привычного для Ленинграда рецепта кофе в кофейных домах других стран мира меня, как человека эстетики «Сайгона», удивляет! Я этого до сих пор понять не могу! Кофе с лимоном приходится пить только у себя дома.

Богемность «Сайгона», интеллектуальная направленность его посетителей были исключительны! Это было одно из немногих мест того времени, которое хоть ненадолго позволяло «укрываться» там людям с определенными культурными устремлениями. Там мы могли вдохновляться на Предстоящее. «Когда подумаешь, какие предстоят нам годы унижений...» — так писал Кривулин в свои двадцать восемь лет. Да, это место, специфику которого может оценить, быть может, только участник.

Память о «Сайгоне» вытапывали с садистическим наслаждением. Сначала на месте кафе открыли магазин сантехники с унитазами, потом какой-то другой... Я ещё долго ломилась в ту дверь, но за ней было что-то остолебяющее иное.

«Друзья! Окликну я, окликну я, тоскуя, неслышным голосом...» — это тоже Кривулин.

Андрей Арьев

ЕЩЕ ОДНА ОСТАНОВКА (о Федоре Чирскове)

Охотнее, чем с завсегдатаями «Сайгона», Федор Борисович Чирсков (1941–1995) общался с Вечностью. То есть был человеком и писателем одной потаенной темы, вызывающей в памяти стихи Андрея Белого из «Пепла»:

Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!

Вселенская территория этого русского рассеяния — это и есть территория прозы Федора Чирскова.

Его персонажи могут обосноваться где угодно, потому что автор не успевает облюбовать в своих странствиях милый его сердцу уголок земли, разыскать родное пепелище. У Чирского человек этого вообще не в состоянии сделать, по своей экзистенциальной природе он — странник, блудный сын. Каждая поведенная читателю история — это рассказ о страннопримном доме, неудачная попытка его обжить. Территориально таким ближайшим к месту жительства автора домом оказался в 1970 годы «Сайгон». Увидеть Федора Чирского здесь можно было часто, но всегда случайно. Литературных встреч он в этом кафе не назначал, да и среди «мастеров случайных знакомств» не числился. И все же стал одной из приметных фигур этого и без него популярного заведения, фигурой, не всеми отличаеваемой от интерьера. Но бесспорно украшавшей «Сайгон»: одинокий, изящного, но крепкого, сложения молодой человек с чашкой кофе. Кофе всегда был крепкий, двойной, даром что более крепких напитков Федор предпочитал избегать.

Очевидно, в 1970-е Федора Чирского можно было увидеть в «Сайгоне» и среди знакомых: рядом, в музее-квартире Достоевского на Кузнецком, он в те годы работал — наверное, заходил сюда и вместе с сослуживцами, знакомыми еще по университету филологами. Вдобавок угла Невского и Владимирского по пути из его квартиры на Марсовом поле в музей было не миновать...

То, что Федор Чирсков хотел сказать людям, он хотел сказать как писатель, а не как лидер или адепт какого бы то ни было литературного движения, каких бы то ни было школ, кругов и кружков. «По его строгому решению написанное имело большее право на жизнь, чем он сам» — вот его кредо из повести «Столица», 1970 года, при жизни писателя, разумеется, не опубликованной.

Силою вещей Федор Чирсков должен был представлять в ту пору — и представлял — питерскую потаенную культуру. Но и в ней обрел свой особый, «остраненный» статус, так как был в гораздо меньшей степени, чем большинство тогдашней литературной молодежи, ориентирован на совместный бунт против соцреалистических устоев тогдашней отечественной словесности. Она для него скорее не существовала, чем была противна. Его духовный поиск находился в русле традиций высокой русской классики — Толстого, Достоевского, поэзии Блока... Самым близким из авторов, искусство которых связано было с левыми пред- и пореволюционными течениями, для него был Пастернак, впадший уже к моменту формирования литературных вкусов Федора в желанную и ему самому «ересь простоты».

Этой поэтической ересью вдохновлен и впервые публикуемый ниже рассказ Федора Чирского «Окна». Не рассказ даже, а этюд. Но и эта миниатюрная вещь очень характерна для прозаической манеры писателя, вполне передает ее дух.

С «авторами "Сайгона"» Федор Чирсков был знаком как с товарищами по допечатным странствиям. Вместе с ними участвовал в собраниях и литературных выступлениях известного «Клуба-81». Охотно давал прозаик свои вещи и в самиздате, печатался в «Числах», «Обводном канале»... Проникали его произведения и на страницы эмигрантских изданий. В 1978 году ему была присуждена парижская литературная премия им. Владимира Даля.

В подцензурной печати в советское время вышло немного: тонкая детская книжечка «Ключик в траве» (1984), повесть «Прошлогодний снег» в сборнике «Клуба-81» «Круг» (1985) и уже на самом излете существования СССР, в 1990 году, большая подборка рассказов в коллективном сборнике «Перекресток». Только в 2007 году удалось издать отдельную книгу Федора Чирского — «Маленький городок на окраине Вселенной». В нее вошел главный, много лет писавшийся, одноименный роман писателя, последний его рассказ «Через Воскресение. Отечество», а также стихи.

ВЗГЛЯД ИЗ КОЛОМНЫ*

В «Сайгоне» я бывала редко, заходила, чтобы выпить кофе, когда работала неподалеку — сначала в Публичной библиотеке, затем на Лиговке, в рекламном отделе «Ленкниги». Из завсегдатаев «Сайгона» 1970-х больше всех мне запомнился Витя Колесников (его еще звали «Колесо»). Впрочем, с ним я была знакома и раньше: в 1960 годы он заглядывал в литературный клуб «Дерзание» во Дворце пионеров, где я тогда занималась. После занятий мы выходили большой компанией на улицу, и Колесников, к моему ужасу, невзирая на светофоры, на своих изуродованных полиомиелитом ногах, лавируя между машинами, перебежал на другую сторону Невского. Сколько ему было тогда лет, я не знаю, но и с годами он не менялся. Однажды кто-то привел его ко мне домой. Колесо тут же сообщил, что он переплётчик, и сходу взялся переплестать мои книги (что-то и вправду переплел). Это был странный такой человек: доброжелательный, и при этом как бы «отсутствующий»... В романе Томаса Манна «Иосиф и его братья» есть такой персонаж — ангел, который то слегка привирает, то приворовывает. Что-то у них с Витей было общее. Колесникова можно было застать в «Сайгоне» в любое время: забежишь утром, по дороге в типографию — он уже там; заглянешь днем — тоже обязательно его встретишь. Были там, конечно, и другие завсегдатаи, они стояли небольшими группками, решали какие-то свои дела, что-то обсуждали, а Витя Колесников подходил то к одним, то к другим и служил неким связующим звеном. Иногда он обращался с разными неожиданными предложениями: то звал меня в какую-то подворотню покупать сапоги, то обещал достать кому-то из знакомых ротатор, то что-то еще. Встречала я его и в Публичке. В журнальном зале на Фонтанке он однажды появился в синем кителе с погонями и сказал, что стал летчиком. Потом я встретила его на Невском в монашеском одеянии, и он сразу предложил устроить меня по знакомству в монастырь. Человек он был совершенно фантастический! Что с ним стало, когда «Сайгон» исчез, я не знаю, но с тех пор я его не встречала. Довольно часто в «Сайгоне» или где-нибудь поблизости я пересекалась с поэтом Мариком Мазьей, он тоже выпускник клуба «Дерзание».

С периода Публички мне запомнилась и Татьяна Горичева, еще одна постоянная посетительница «Сайгона». Она поразила моих коллег по библиотеке тем, что в читательском формуляре, в графе «занимаемая должность» написала: «Страж бытия»! Это было красиво. Помню, как она ходила по длинным коридорам библиотеки на Фонтанке, а вокруг нее клубились диковинного вида юноши с развевающимися волосами, и из их кружка звучало многократно повторяемое, как мантры: «Хайдеггер, Кьеркегор — Кьеркегор, Хайдеггер»...

В тот же период, году в 1974, я познакомилась с поэтами так называемой «второй литературной действительности». Ирина Александровна Малярова вела в Доме писателей литературно-музыкальные вечера, куда приглашала молодых поэтов из разных кругов. На одном из них читали свои стихи Борис Куприянов и я. В зале сидели друзья Бориса: поэты Юлия Вознесенская, Виктор Ширали и другие. После окончания вечера кто-то из них ко мне подошел, так мы и познакомились. Многие поэтические вечера и застолья проходили у Юлии Вознесенской — в ее «салоне» на улице Жуковского. Юлия жила в коммунальной квартире на последнем этаже. Одна стена в ее комнате была кирпичной — без обоев и штукатурки, а внутри

* Беседовала Юлия Валиева.

проходил лаз (бывший дымоход), который вел на крышу. Юлия была артистичная и талантливая. Ее муж — фотограф Володя Окулов — много снимал ее, по стенам были развешаны Юлины фотографии. На одних она была обнаженная, на других — укрытая цветами, на третьих (в профиль) — стилизованная под Ахматову, сейчас бы ее, наверно, назвали моделью. На застольях читали по кругу стихи. Помню пронзительные строки Бориса Куприянова про «радистку слепую», про «двуликого Януса»...

Как-то накануне 150-летия восстания декабристов Юлия позвонила мне и предложила встретиться на Сенатской площади у Медного всадника — почитать стихи. Мы пошли туда вдвоем или вчетвером — вместе с живущими неподалеку от меня, в Коломне, литераторами. Уже на бульваре Профсоюз (Конногвардейском) стали замечать, что нам то и дело встречаются какие-то невероятно разряженные милиционеры. У некоторых из них были даже золотые лампасы и погоны с кистями. Чем ближе мы подходили к площади, тем больше их становилось, а площадь была полностью ими заполонена. Позже выяснилось, что этот «маскарад» имел прямое отношение к нам. (Юлия зачем-то сообщила о наших скромных планах почитать у памятника стихи в какую-то официальную инстанцию — кажется, в Управление садов и парков). Но в тот момент ничего подобного мы не ожидали — просто стояли и таращили глаза на происходящее. Потом встретили других знакомых поэтов: Елену Игнатову, Виктора Ширали... Пока мы стояли небольшой группкой у ограды садика со стороны Невы и гадали: «Что же тут происходит, и где Юлия, которая нас всех созвала?» — рядом появились люди в штатском. Они начали ходить взад-вперед и «прорезать» наш кружок, приговаривая: «Уходите, а то уедете». В это время кто-то из художников развернул плакат (как потом рассказали — со словами: «За миг свободы я отдам жизнь»). Прочесть, что там было написано, мы не успели, потому что художника тут же скрутили, усадили в машину и увезли, а плакат улетел в Неву. Было уже понятно, что к памятнику нас не пропустят, и мы пошли по Неве в сторону Дворцовой. Рядом с нами некоторое время ехала на малой скорости легковая машина, из которой нас кто-то фотографировал, а сзади шли несколько человек характерной внешности.

Через несколько дней после этих событий меня вызвал начальник отдела, в котором я работала, и вручил приглашение на вечер памяти декабристов, сказав: «Вот, велели тебе передать». На этом для меня та история и закончилась.

А Юлия Вознесенская, как мы вскоре узнали, в тот день находилась под домашним арестом, но позже ушла от своих стражников, выбравшись через дымоход на крышу. Правда это, или байка — не знаю, но на правду похоже. Помню, как-то Юлия, Петя Чейгин и компания были у меня в гостях, и, уходя, Юлия с кем-то поспорила, что пройдет над лестничным пролетом по сетке лифта. Отговорить ее мы не успели. Юля быстро вскочила на перила, вцепилась в сетку и пошла над пропастью на высоте пятого этажа на другую сторону пролета. А Петя побежал вниз ее ловить.

* * *

Примерно в то же время я познакомилась с поэтом Олегом Охупкиным.

Помню, вместе с ним, Витей Кривулиным и скульптором Жанной Бровиной мы сидели в садике в одном из дворов Коломны и разговаривали о Ветхом Завете. Олег тогда был очень красив — мужественной такой красотой. У нас как-то сразу сложились дружеские отношения. Благодаря Олегу в 1980 году я устроилась работать в кочегарку. Он мне рассказал, какие курсы пройти, какие экзамены сдать, и даже обучал меня котельному делу. Это была удобная работа: дежуришь сутки

через трое, никто тебе не мешает, хочешь — читаешь, хочешь — пишешь... Моя первая котельная находилась на Адмиралтейской набережной, потом и Олег туда перевелся. В соседних котельных в то время работали Митя Шагин, Володя Ханан, Юра Колкер, Костя Бобышев, Люся, жена Володи Гооса... Мы ходили друг к другу пить чай, читали стихи, иногда нас навещали другие поэты, писатели, художники... Нам с Охапкиным присвоили звание передовиков производства, и какое-то время наши фотографии висели на Доске почета. Начальником на нашем участке был хороший человек — Иван Павлович Шкирко; говорили, что он учился в семинарии. Вообще, на начальство нам везло. Однажды я почему-то опаздывала на работу и увидела нашего нового мастера. Он меня окликнул, и я уже приготовилась к различным неприятностям, вроде лишения премии. А мастер подходит и говорит: «Скажите, Лена, есть ли у вас стихи об Ахматовой?» Это был Саша Кобак. Сейчас он возглавляет Лихачевский фонд культуры, а тогда занимался историей утраченных петербургских храмов и готовил сборник, посвященный Ахматовой.

Юрий Колкер (в то время «отказник») тоже сначала был мастером, а потом перешел в кочегары. Году в 1983—1984 он уехал из страны и вскоре стал рассказывать по «голосам», как замечательно мы живем на Адмиралтейской набережной, как у нас в котельной проходят поэтические чтения и т. п. Из-за этих выступлений у нашего начальства начались большие неприятности, да и к нам пошла комиссия за комиссией.

* * *

Со скульптором Жанной Бровиной и художником Валентином Левитиным я тоже познакомилась в 1970 годы. Валентин на протяжении многих лет сосредоточено работал над композицией Благовещения. Только вместо Девы и Ангела у него были башни, сосуды и деревья. А Жанна строила-растила свои скульптуры. Одни



Жанна Бровина за работой

из них походили на головы, смотрящие вглубь себя, другие — казались полуангелами—полудеревьями. Мы жили (и живем) в Коломне, неподалеку друг от друга. Сейчас у Жанны и Валентина вышли альбомы, их работы находятся в Русском музее и Третьяковке, а тогда их творчество было знакомо только небольшому кругу друзей

и знакомых. Чуть дальше, за Мойкой, в бывшем имении Бобринских, находилась мастерская еще одного нашего общего друга — скульптора и художника Григория Пирайлевича. Он отливал в бронзе небольшие головки своих друзей и знакомых (и том числе — и мою) и экспериментировал с разными материалами. В его башенке, среди скульптур, просверленных «останков» духовых инструментов и мелодично звучащей меди, мы как-то встречали Новый год. В этот круг входил и фотохудожник Володя Иосельзон, мы с ним жили в одном доме и дружим с первого класса. Неподдалску, на углу Английского и Декабристов, жила Ольга Корсунова — тоже фотограф (и частая посетительница «Сайгона»). И Володиные, и Ольгины фотографии (в том числе и портреты петербургских поэтов) участвовали во многих выставках.

В Коломне жила и Алла Минченко, у нее, в коммунальной квартире, в крошечной комнатке, собирались и поэты, и художники. Соседи у нее были классические. Помню, кто-то из них ворвался к ней в комнату и тряс над столом шваброй, требуя, чтобы мы засвидетельствовали, что швабра принадлежит ему. Алла была человек-праздник: солнечная, жизнерадостная. Художники рисовали ее и дарили

свои картины, (помню ее портрет работы Андрея Геннадиева). У Аллы в комнате были антресоли: как придешь, на них всегда кто-нибудь спит (некоторые застревали там надолго). У Аллы я познакомилась с Володей Гоосом — очень талантливым художником. (Его работы я запомнила до нашего знакомства — по выставке в ДК «Невский»). Мы с ним — ровесники, поэтому, наверно, быстро подружились. Он был самоучкой (хотя чему-то учился у Геннадиева), но очень ярким, творческим человеком. Поведения он был непредсказуемого, его все время тянуло куда-то. Кажется, он баловался наркотиками и дважды отбывал за это срок. В Коломне у него имелись свои диковинные знакомые: например, художница Таня. Высокая, коротко стриженная, с огромными, овально-вертикальными глазами (такими изображают инопланетян) — она всегда пребывала в недоступном извне, каком-то обалденном мире и выходила из него крайне редко. У нее, в свою очередь, был приятель, который



Налё Подольский. 1973 — 1975 гг.

Литография Г. М. Неменова

свил у себя в комнате гнездо и жил в нем. Ел и пил он из сковородки — в ней, кажется, и мылся. Одно время он повадился ходить ко мне и звать к себе в гнездо, почему-то он считал, что вместе мы можем творить чудеса.

С другим жителем Коломны — Налем Подольским (математиком, писавшим прозу) и Виктором Кривулиным мы самозабвенно играли в скрэббл (английское название игры «Эрудит», особо любимой Набоковым). Играли сутками напролет, а иногда — и дольше. На третий день в голове оставались только «дорогие» слова

на буквы «щ», «ц», «ф», «ш», «э» или «ю» (за эти буквы присваивалось по десять очков). Если кто-то выходил в туалет, остальным тоже приходилось покидать комнату — каждый понимал: стоит ему хоть на минуту отойти — двое других тут же вытащат себе из банка самые дорогие буквы. Кривулин иногда приносил в кармане запасные фишки с «дорогостоящими» буквами и норовил их тайком поставить. Такие буквы были в комплекте в одном экземпляре, поэтому если вдруг появлялась вторая, все становилось понятно. Чтобы вытряхнуть из его карманов буквы, Кривулина пытались перевернуть, но он отбивался палкой. Еще он норовил ставить несуществующие слова: как-то поставил слово «эфэг» (двадцать одно очко — всего за четыре буквы!), уверяя, что это название такого прибора для ловли эф...

В то время я искала работу, и кто-то порекомендовал меня в музей Блока (блого он находился прямо в моем доме). С музейной литературоведцей я встретились после трехдневной игры в скрэббл — когда в голове у меня оставались только слова, начинающиеся на «ш» и «щ»... Потом музейные тетушки кричали с лестницы: «Барышню не возьмем! Барышню эту не возьмем ни за что!»

* * *

Самое начало 1970-х было связано для меня еще и со «знакомством» с местным отделением КГБ. История эта уходила своими корнями в те времена, когда я занималась в литературном клубе «Дерзание» Дворца пионеров. Лева Лурье, который также ходил в этот клуб, написал листовку политического содержания, принес ее на занятие и потерял где-то во Дворце. Ее нашла бдительная уборщица, отнесла в органы, после чего уволили заведующего клубом, любимого всеми Алексея Михайловича Адмиральского. Финал был трагический: Адмиральский покончил с собой.

Леву эти безумные люди из органов отыскали через несколько лет, когда он уже учился в университете, и заодно стали «шерстить» круг его детских друзей. Так под наблюдение попала сначала я, а потом и мои коллеги по Публичке. Самиздат у меня был по сегодняшнему дню совершенно невинный: перепечатанные и переплетенные кустарным способом стихи Мандельштама, Окуджавы, Цветаевой, первые рассказы Солженицына... Вместе со мною в журнальном зале работали Юлия Узлова и Варя Князева — тоже из клуба «Дерзание». Конечно, мы что-то давали друг другу почитать, и каким-то образом нас отследили. Сначала вызвали меня и потребовали, сдать имеющуюся «антисоветчину» — иначе придут с обыском. Пришлось отнести им две-три книжки, а остальное куда-то перепрятывать.

Кагэбэшник представлялся нам как Сергей Семенович (по-нашему — «Эсэс»). В его резиденцию во дворце Белосельских-Белозерских вел отдельный ход. Нажимаешь на звонок, дверь открывается, а вдалеке — длинный-длинный коридор, в конце которого эффектно появляется фигура Сергея Семеновича. Когда вызвали Юлию Узлову, она зашла в кабинет и вытащила из сумки пистолет — игрушечный, конечно, но впечатление произвела.

Методы работы у нашей «охранки» были простые и незамысловатые. Скажем, идешь по Невскому, а на Аничковом мосту подходит к тебе незнакомый человек и спрашивает: «Девушка, у меня тут есть книга (например, Солженицына), хотите, дам перепечатать?»

* * *

Названием «Вторая литературная действительность» принято обозначать некое противостояние официальной литературе. Причастность к ней чаще всего обнаруживалась «по факту» — опытным путем, ведь заранее никто не рассчитывал, что

дорога в печать будет ему перекрыта. Помню, в 1970 годы мы с Леной Игнатовой отнесли по подборке стихов в разные журналы. В каждом из них с нами провели беседы, чаще всего произносили что-то вроде: «Неплохо, но не то, что требуется». Зато в «Звезде» меня неожиданно «похвалили»: «Техникой Вы уже овладели, можно доверить Вам писать стихи про Ленина».

Потом, уже в 1980-х, появилось специальное постановление, что мои стихи не подлежат публикации на территории СССР из-за религиозного содержания (в начале перестройки это постановление опубликовала «Звезда»). Думаю, дело было не столько в стремлении защитить читателя от моего вредного воздействия, сколько в жажде мелкой мести: в то время я близко общалась с диссидентами и на допросах отказывалась говорить то, что хотели услышать следователи. (Возможно, какую-то роль сыграл и мой отказ вступить в «Клуб-81»). Впрочем, постановление это никакой существенной роли в моей жизни не сыграло: до перестройки я о нем и не подозревала, а стихи и без него не печатали.

Борис Лихтенфельд

ПРОГУЛКИ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Я заглядывал в «Сайгон» еще студентом (в конце 1960-х — начале 1970-х годов). Вспоминается мне то время смутно и фрагментарно. Привёл меня в это кафе, кажется, Сергей Олефир, с которым мы познакомились в лито Сергея Давыдова при Дворце культуры им. Ленсовета. Одновременно с нами там стали бывать и другие постоянные и эпизодические посетители: Владимир Ханан, Наталья Гранцева (теперь главный редактор журнала «Нева»), Елена Игнатова и др. Кроме лито Давыдова, я бывал в литобъединениях Александра Кушнера и Глеба Семёнова, участвовал в конференции молодых литераторов Северо-Запада (в семинаре Г. Семёнова), но этого литературного общения было явно недостаточно.

«Сайгон» стал для нас неким перевалочным пунктом на пути к Юлии Вознесенской на улицу Жуковского (так было написано на доме), а там собирался почти весь цвет поэзии «второй культуры»: Олег Охупкин, Виктор Ширали, Елена Игнатова, Петр Чейгин, Борис Куприянов, Юрий Алексеев... Помню совсем юного художника (прежде всего, замечательного графика) Сашу Исачева. Однажды мы с Н. Гранцевой (носившей тогда другое литературное имя) пришли к Юлии, и Саша, сидя на ковре, прочитал посвящённое Наталии стихотворение. Особое впечатление на меня произвёл Борис Куприянов, его завораживающая манера чтения. А стихотворение «Признание в любви» многие тогда (и я в том числе) сразу запомнили наизусть:

Если сердце заслушает, не забываясь, означает
Речь громадного мастера яда в рассыпанных искрах стыда,
Обязательно тут же сидящая дева заплачет,
Зарыдает двуликого Януса та половина и та.
О, двуликий, учи мастерство преступленью.
Золотая середина, вырождая святош по любви,
Не годится творящему, любящему для уменья
Выживать, но учивший летать, обязательно скажет: плыви...

В начале 1980-х в «Часах» был напечатан куприяновский роман в стихах «Время встречи», который я и поныне считаю вершиной русской поэзии. Позднее его

опубликовала Татьяна Горичева в Париже (1989), к сожалению, со многими неточностями. В 2005 году он был переиздан Виктором Немтиновым при моём участии (я выверял текст, так как сам Б. Куприянов, став священником, мог только уточнять разночтения). У Юлии я впервые увидел Владимира Эрля, с которым познакомился много позже, в 1981 году. Он читал тогда Д. Хармса: пьесу «Елизавета Бам» и стихи — читал как-то поразительно невозмутимо и вообще казался «не от мира сего» (каковым, видимо, и является, как я убедился впоследствии). Тогда я, конечно, не мог и предполагать, сколь велика окажется его роль в моей дальнейшей жизни. Обэриутов, прозу Вагинова, Леона Богданова, стихи Красовицкого, Аронсона, Волохонского я узнавал по предоставленным Эрлем машинописям или довоенным изданиям; важны были для меня и его скрупулёзные замечания по поводу моей тогдашней «продукции». Но всё это было гораздо позже.

Из постоянных посетителей «Сайгона» помню Виктора Колесникова, Мирона Саламандру, Татьяну Горичеву (Хильду). Позднее я читал её переводы из Пауля Тиллиха, Эриха Фромма, а познакомился с ней уже в начале перестройки. В те годы многие поэты и художники ездили в Печорский монастырь, к отцу Алипию. Помню, как мы с Колесниковым (Луноходом) провожали в Печоры Олефира.

Вспоминаю одну чудесную прогулку в белую ночь с Юлией Вознесенской, Ольгой Корсуновой и Олефиром. Заходили мы во двор дома Рогожина на Гороховой, в какой-то знаменитый дом в районе Садовой (кажется, связанный с Грибоедовым). Закончилась прогулка в чьей-то мансарде (вероятно, у Ольги Корсуновой) гаданием на свечах с зеркалами. Вообще, прогулки по городу тогда включали в себя и дворы. Теперь большинство петербургских дворов, даже проходных, закрыто, и у меня такое чувство, что у нас отнимают наш город (к тому же постоянно его уродуя по «новым» понятиям о красоте). Боюсь, что скоро лишь фотографии Бориса Смелова, Бориса Кудрякова, Ольги Корсуновой, Владимира Иосельсона будут как-то напоминать о том «непарадном» городе, который мы знали и любили.

А однажды мы с Хананом, Олефиром и Н. Гранцевой, встретясь в «Сайгоне», купили бутылку вина и взяли напрокат лодку. Где-то у Летнего сада мы написали многозначительную записку и отправили её в опорожненной бутылке «потомкам».

Вспоминаю ещё Машу Ланину, с которой познакомился, кажется, тоже в лито Давыдова и часто встречался в «Сайгоне». Она тогда поставила спектакль «Пир во время чумы». Шёл он в каком-то подвальном помещении. Актёры были тоже из завсегдатаев «Сайгона». После спектакля были поэтические чтения: читала она сама, а также Игнатова и Ширали.

После института в 1972 году я собрался в Армению, перед этим зашёл в «Сайгон» и встретил Виктора Ширали, который пригласил меня под Туапсе в пионерлагерь «Орленок», где он должен был сниматься в фильме у Отара Иоселиани. Так что неделю перед Арменией я провёл там. Ширали часто читал мне свои стихи; многие строки так врезались в мою память, что звучат в ушах по сей день (в характерном авторском исполнении):

Благожелательно и гордо
страна над нами право правит
и, если не возьмёт за горло,
то просто задницей придавит
для лада общего, для блага,
но в этой роще соловьи
поют своё с такой отвагой,
что Господи благослови!

На днях прочитал в «Неве» «Флейтисточку» и «Летучий Голландец»* — и убедился, что до сих пор знаю их почти наизусть. Помню, как мы с ним и его другом-кинооператором (кажется, Клебановым) ходили по местным домам, выпивая стаканчик-другой «Изабеллы», после чего иногда я отволакивал Витю домой на своих плечах.

В Ереване я встретился с поэтессой Сэдой Вермишевой, чьи стихи мне ранее понравились. Потом она приезжала в Питер, и я познакомил её с Виктором Кривулиным, Еленой Игнатовой, Владимиром Хананом, Жанной Бровиной и др. Уже в 1980-х годах через Сэду я познакомился с аспирантом Института востоковедения исламоведом и антропософом из Армении. У него была большая эзотерическая библиотека, которой он щедро разрешал мне пользоваться. Тогда я с увлечением читал Якоба Бёме, Мейстера Экхарта, популяризаторские брошюры доктора Папюся и т. п. Это чтение повлияло и на мою книгу — уже начатое в то время «Путешествие из Петербурга в Москву». До неё я собрал (и распространил среди знакомых) две машинописные книги, но так получилось, что время их аннулировалось, так как стихи в них уже не представляли интереса.

Вспоминаю также венчание Олефира в Никольском соборе. Шаферами были Ширали и Чейгин, а когда у них от усталости стали дрожать руки, державшие венцы, к нам с Хананом подошла старушка и попросила их подменить. Ханан отказался, сославшись на нашу «некрещённость», а я всё-таки сменил Витю. Несколько лет назад Ольга Корсунова подарила мне фотографию со мною — некрещеным шафером. Помню, Юлия тогда заронила во мне мысль о крещении.

В 1974 году я по совету (и по стопам) Лены Игнатовой предпринял поездку в Белозерск, Кириллов, Ферапонтово, Вологду. Это путешествие утвердило меня в намерении креститься. В то время меня, как и многих вокруг, интересовала русская религиозная философия. Впрочем, так называемый религиозный ренессанс в некоторых практических своих воплощениях вскоре стал вызывать у меня отторжение, и это при том, что сама церковь, тогда слабая и зависимая, но всё же отделённая от государства, была мне роднее нынешней. В конце 1970-х я написал стихотворение «Блаженной памяти московского храма Христа Спасителя», имевшее успех в Москве. Тогда невозможно было и предположить, что этот храм будет восстановлен, и предугадать его роль!

В 1976 или 1977 году я случайно встретил Олефира на Московском вокзале и узнал о его новой работе — проводником почтовых вагонов. К тому времени я уже изрядно тяготился каждодневной работой в НИИ. Эта встреча предопределила дальнейшее: я получил «кабинет на колесах» — о чём ещё можно было мечтать? — и за 4 года неоднократно пересёк всю страну по всем направлениям (от Львова до Иркутска, от Мурманска, Архангельска и Воркуты до Севастополя, Баку и Ташкента). Почтово-багажные составы хороши тем, что подолгу стоят в разных железнодорожных пунктах. Кроме того, я часто договаривался с почтовой бригадой (особенно летом, когда не надо было топить) и покидал вагон до конечного пункта, а возвращался на обратном пути. Так я побывал в Самарканде, Махачкале, Дербенте, Омске, Кургане, Перми, Кунгуре, Вельске, Каргополе, Сольвычегодске, Великом Устюге, Инте, Апатитах. А однажды мой вагон возвращался с юга порожняком без почтовой бригады, и я распоряжался им, как своим личным транспортом — надо было только договариваться со сцепщиками. Так я провёл пару дней в Харькове, где жил мой приятель, теперь известный московский художник Валерий Черкашин, а потом в Воронеже, где мне удалось разыскать подругу Мандельштамов Наталью

* Нева, 2008. № 4. — *Прим. ред.*

Евгеньевну Штемпель. Она читала мне свои воспоминания. Потом мы с ней переписывались, встречались ещё раз в Москве; я ей посвятил небольшой триптих. До меня, как она мне рассказала, её так же нашёл Томас Венцлова. Завязывались и другие интересные знакомства — с поэтом и переводчиком Владимиром Портновым в Баку, с Полиной Беспрозванной в Апатитах. Иногда я брал в свои поездки друзей и знакомых (Егора Начинкина, Александра Богатырёва, Михаила Костоломова). Во многих городах удавалось покупать книги, которых у нас в городе было не достать. Из Баку мне постоянно присылали почтой редкие «Литпамятники». Часто бывал я в Москве, откуда привозил ксероксы с книг русских философов (от ученика о. Александра Меня Сергея Маркуса, вскоре посаженного). Встречался с поэтами «Московского времени» А. Сопровским, С. Гандлевским, Б. Кенжеевым, Т. Полетаевой, а также с В. Лёном, Ю. Кублановским, Вс. Некрасовым, В. Сергиенко и др. (на квартире Вали Яхонтовой).

В один из моих приездов в Москву мы встретились на Воробьевых горах с Александром Сопровским («как Герцен с Огаревым», по его словам). Он задумал тогда собрать антологию «Вольное русское слово» и просил меня оповестить об этом питерцев. Все участники должны были подготовить свои тексты и ответы на составленные им вопросы. Потом Саша приехал в Питер, за несколько дней с дружескими попойками обошёл всех, собрал тексты и ответы, а на Московском вокзале был задержан прямо у поезда. Все тексты и анкеты попали в КГБ. Потом всех авторов вызывали на беседы, некоторые имели неприятности на работе (так Сергей Стратановский, работавший тогда внештатным сотрудником Эрмитажа, не был зачислен в штат и вынужден был искать другое место). Меня тогда не нашли, так как я не жил дома (нашли позже — сразу после процесса над Евдокимовым и Долининым*). Многие полагали, что вся эта история с крахом московской затеи как-то ускорила создание «Клуба-81».

А жил я тогда в Коломне, в мансарде (снял комнату). Рядом жили Наль Подольский, Борис Останин, Валентин Левитин с Жанной Бровиной, Лена Пудовкина, фотограф Владимир Иосельзон, с которым мы поступили на кочегарские курсы (работу почтового проводника я оставил). На тех же курсах учился Михаил Берг, с которым мы вдруг встретились на первом организационном собрании «Клуба-81». Но это уже другая история. В 1980 году уехала Ю. Вознесенская, подарив мне на прощание свой карандашный портрет работы Тимура Новикова с трогательной надписью. Работал я в котельной с В. Хананом и В. Эрлем (отапливали Центральный телефонный узел), по совместительству — на Уткиной даче (в старинном здании бывшей конюшни на берегу реки Оккервиль) с Б. Ивановым, Б. Останиным, А. Кобаком, Ю. Колкером, а потом ещё во многих котельных. Коллегами моими в разных местах были Александр Горнон, Юлий Рыбаков (художник, депутат и правозащитник), Николай Никитин, Олег Охупкин, Александр Дюрис, Борис Дышленко, Григорий Беневиц, Елена Дунаевская, Дмитрий Григорьев, Евгений Кушнер, Александр Березницкий, Елена Пудовкина — почти обо всех есть сведения в энциклопедии «Литературный самиздат Ленинграда». Работая с Хананом и Эрлем, я часто заказывал для всех нас перепечатку некоторых произведений («Время встречи» Б. Куприянова, «Рифмованная околесица» В. Уфлянда) моей знакомой ещё по институту

* Беседовавший со мной «сотрудник», прочитав моё восьмистишие: «Пережить бы только эту зиму! / Знобко телу, голодно душе... / Сил нет ждать, когда осаду снимут. / Снимут ли? Не верится уже... / Впрочем, жизнь идёт привычным ходом, / И поука не замёрз родник, / Постоим ещё под этим сводом, / Обречённость пряча в воротник» — поинтересовался, не об их ли осаде идёт речь.

Паталье Лесниченко, с которой когда-то играл в шахматы на лекциях по истории КПСС и которую однажды вдруг встретил у К. Кузьминского (или, кажется, ещё раньше на упомянутой выше конференции литераторов Северо-Запада). Помню в 1982 году её неожиданный звонок едва ли не в полночь с просьбой немедленно встретиться для передачи перепечатанного Куприянова: она подъехала к моему дому на Гражданке с тогдашним своим мужем Юлием Рыбаковым и рассказала, что арестовали Р. Евдокимова и есть опасность обыска у неё.

К этому времени «Сайгон» уже перестал играть роль в нашей жизни. Можно вспомнить литературные салоны: я бывал у Галины Иосифовны Грининой на улице Шелгунова в Невском районе и у Тамары Валенте (жены художника Юрия Васильева, вскоре умершего) на улице Ленсовета в Московском. Часто встречались мы в квартире Лены Чикадзе и переехавшего из Вильнюса поэта Михаила Дидусенко на Первой Красноармейской (бывали там и упомянутые выше москвичи). Сами котельные стали удобными местами для встреч. Появились такие выходы к читателю, как самиздатские журналы (я публиковался в «Часах» и «Обводном канале»), чтения в «Клубе-81» (помнится, мне довелось читать перед Борисом Куприяновым в переполненном зале музея Достоевского). Многие публиковались за границей (несмотря на недовольство кураторов «Клуба»). Была опубликована и подборка моих стихов в венском славистическом альманахе «Гумилёвские чтения». Для меня этих возможностей было достаточно: можно было жить, как бы не замечая советской власти (чего нынешняя власть не даёт), а «вторая культура» (в своей изначальной установке) «воспитывала» пренебрежение к участию в официальном литературном процессе и сильна была именно своим противостоянием. То, что она всё-таки изменила этой установке, может быть, её и погубило как явление.

Что касается «Сайгона», то, оглядываясь назад, я представляю себе его неким исходным пунктом моих странствий — близких и далёких, реальных и ментальных — и, может быть, в том числе и многолетнего моего травелога, начавшегося в 1982 году.

Юрий Колкер

МОИ КОЧЕГАРКИ

Сектанты

Где теперь эти двое, эта пара? Кто поблагодарил их? А ведь они кое-что сделали. Не для нас делали. Стихов не читали, живописью не интересовались. Делали для себя, по велению совести, но без этого слова на устах. Перед Богом ходили...

В декабре 1979 года началась афганская война, и я понял: больше не могу. Цинизм советской власти перешел последнюю черту. Нужно выйти — не *на площадь*, нет, (в провинциальном Ленинграде моей гибели никто бы не заметил), а *хоть в другое пространство*. Иначе не удержать последних крох того, ради чего стоит жить.

От приятеля, безвестного стихотворца из многотысячной армии самиздата, получил я, в качестве пароля, имя: Иван Павлович Шкирка, начальник участка треста Теплоэнерго-3. Берет, было сказано, людей с дипломами (и с «неблагозвучными» фамилиями) на должности операторов газовых котельных. Либерал, стало быть, если не прямой диссидент.

Оказался Иван Павлович прост, не из интеллигенции. Места для меня у него не нашлось, но он отправил меня на другой участок треста (1-й Октябрьский

Адмиралтейского предприятия), к Тамаре Васильевне Голубевой, и та — взяла, хоть и не кочегаром: сменным мастером. Я уступил. Хотя разом сменить статус мешала свирепая, вошедшая в кровь система советских предрассудков. В стране труда труд рабочего и вообще-то презирался, а уж кочегарка была просто социальным дном.

Нашел я Тamarу Васильевну на улице Декабристов, в доме 14. Во дворе росли два громадных каштана, в глубине, в двухэтажном флигеле, помещалась котельная, над котельной — начальство участка, некто Коломийцев, и всякие канцелярии.

Тамара Васильевна тоже была проста донельзя, и тоже — особенная. Эта особенность не сразу проступала. Занималась начальница только работой: котлами, трубами, дымоходами, задвижками, запорными клапанами, дисциплиной. Хлопотала, ни минуты не сидела, сложа руки: звонила, распоряжалась, бегала по котельным, сердилась — потому что всегда было на что сердиться; подчиненные трудовым энтузиазмом не кипели. Под ее началом находилось человек семьдесят, в основном женщины: молодые, из приезжих и неустroенных, которым нужна была прописка; пожилые, из потерянных; мужчины же — счетом на единицы и чуть не сплошь старые алкоголики. Работа, между прочим, грязная была: краска, смазка, цемент, асбест... не говоря о людях. При всём том — отличала Тамару Васильевну особенность, которую, по прошествии десятилетий, не могу определить иначе как словом *чистота*. Чистота и цельность. Английское *integrity* подходит для ее характеристики. Вижу эту женщину ясно: высокая, хрупкая и строгая, даже властная, с прихваченными платком волосами. Меня, помнится, ни о чем она не спросила, хоть и поняла с первого взгляда, что я *из других*. Избегала праздных разговоров. Умела улыбаться. Было ей в начале 1980 года (как я знаю *теперь*) неполных тридцать девять лет. Мне — на пять лет меньше.

В кочегарки я ушел из учреждения с апокалипсическим именем СевНИИГиМ. Наука там жалась к стене, как нищенка. Я состоял в вычислительном центре, писал программы на вымершем компьютерном языке, сам набивал их на перфокарты. Спустя месяц после моей метаморфозы позвонила мне оттуда программистка Галя, и вскоре появилась у меня со своим мужем. Он, сколько помню, работал дворником, но хотел в кочегары. Тоже был из образованных и протестующих, из тех, кто больше *не мог с ними*. Звали его Саша Кобак. Я отправил его к Тамаре Васильевне; он стал вторым сменным мастером. Третьим — через Кобака — был принят на такую же должность Слава Долинин. Оба принадлежали ко «второй культуре»: полуподпольной среде, в которой каждый в той или иной степени противостоял пошлому и бездарному режиму. От Кобака нить тянулась к литераторам, от Долинина — к борьбе и заговору, к Народно-трудовому союзу, политической партии, в которой он состоял.

В последующие месяцы на 1-й Октябрьский участок хлынули отверженные всех мастей: стихотворцы, живописцы, выкресты, шалопаи, подвижники.

«Вторая культура» дала меньше, чем представлялось при начале свобод в 1990 годы — и чем кажется ее ветеранам сегодня. Бродский на поверку оказался одним из лучших поэтов эпохи Бродского. От других шумных в ту пору имен не осталось ничего. Но вместе с тем общественное значение этой среды было велико, а для ее участников — громадно. Это был выход из советского тупика, из круговой поруки лжи, безумия и подлости.

С Кобаком и Долининым я поверхностно подружился, но между нами сразу обнаружился эстетический барьер, на деле шедший дальше эстетики: затрагивавший имена. Дилемма *с ними или против них* читалась в искусстве так: либо советский академизм, либо авангард во всех его павлиньих перьях. Я отвергал и то, и другое. Говорил тогда, повторяю и теперь: сознательный поиск *новизны* (всё равно, в искусстве или политике) — сперва пошлость, а потом — подлость, жестокость.

В политике авангардизм ведет к нацизму и большевизму (теперь — и к терроризму), в искусстве — к черному квадрату, к консервной банке с экскрементами художника в качестве произведения искусства. Новизна как самоцель преступна. Есть Бог или нет его, режиссура мирового спектакля должна оставаться в Его руках. Традиция умнее нас. XX век свел эпоху Возрождения к абсурду, увенчал ее режиссурой обезумевшего человека. Это был век режиссуры. Неслучайно и профессия режиссера, карикатурная, неизвестная при Эсхиле и Шекспире, разрослась исполнинским мухомором. Советские подмостки и советское кино были и остались в моих глазах сплошным театром на поганке.

Спор наш можно обозначить именами. Не только Бродский, но и Виктор Кривулин ходил у моих оппонентов в гениальных поэтах, я же, зная его с отрочества, не соглашался признать за ним и таланта (разве что — талант вождя). Спор, собственно, шел с Кобаком; Долинин «знал как надо» и был слишком поглощен политикой. Как это всегда бывает при твердом несогласии и тесном контакте, в итоге с Кобаком мы поссорились.

Олег Охапкин, Владимир Ханан, Елена Пудовкина, Борис Иванов, Сергей Коровин — вот некоторые из литераторов, первыми захваченных тогдашним котельным движением. Завершилось оно в 1989 году журналом «ТОПКА» (Творческое объединение пресловутых котельных авторов), последним машинописным изданием. Его выпускала Ольга Бешенковская (1947–2006); первый номер открывался ее статьей «Поэтов — в ТОПКУ».

Иногда в котельных сходились большие компании. Появлялись и те, кто не кочегарил. Среди полуподпольных авторов были заметны люди, в 1960-е прошедшие через поэтические семинары при Дворце пионеров. В подцензурную литературу никто из них не вышел. Помимо советского гнета мешало то, что *автобус не резиновый...* У Лены Пудовкиной, «на Адмиралтейской, 3», спустя десятилетия после дворцовских лет, увидел я Сергея Стратановского, единственного представителя авангарда, в чей талант верил. Это было в 1981-м. К этому времени я уже *спланировал* из сменных мастеров в кочегары.

По насыщению интеллектуалами тогдашний Ленинград стоял на первом месте в мире. Интеллектуалами — и неудачниками. В Москве были кружки; в Ленинграде «вторая литература» поневоле составила единый круг — в результате крошечного гнета, смешавшего всё и вся, втиснувшего в один слой тех, кто при других обстоятельствах руки бы друг другу не подавал... Естественные науки тоже были представлены своими отверженными.

Машинописный журнал «Часы» (Борис Иванов, Борис Останин) тоже готовился где-то здесь, у газовых котлов. Литературная жизнь кипела на 1-м Октябрьском. Она пошла на спад 22 июня 1982 года, после ареста Славы Долинина. <...>

В сторону Ходасевича

1-й Октябрьский участок Адмиралтейского предприятия треста Теплоэнерго-3 простирался от «Московской, три» до «Адмиралтейской, шесть», по площади приближался к Монако, по населению превосходил Андорру. Сосредоточенной в этом княжестве литературы хватило бы на иную африканскую державу. Была тут своя печать, свои салоны, свои гении. Граница с миром внешним, советским, очень чувствовалась. Атмосферу пронизывала Достоевская мистика. Присутствовала и чертовщина — в абсурде ситуаций и положений, в непомерных честолубиях, даже — в именах: среди кочегаривших молодых женщин помню Люду Чертолясову и Катю Бесоногову. Половина полуподпольных стихотворцев тянула в сторону обэриутов.

В моих беседах с Сашей Кобаком всплыв Ходасевич. Его я противопоставлял и советской литературе, и гонимому ею авангарду. Вот, говорил я, узенький мост, перекинутый над пошлостью, одинаковой справа и слева; Ходасевич выше и чище не только сегодняшних *литературных передвижников*, но и *большой четверки* (Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Ахматова). <...> От стихов я требовал естественности и точности. Ненавидел расслабленность. Всеми силами души презирал усеченную рифму (типа «демократ — вчера»), называл ее уступкой черни. От ассонансов (вроде «чирикала — чернильница» у Сосноры) в бешенство впадал. Рифма должна быть опрятна... Заметьте: на дворе — безрассветная ночь, дышать нечем, был страшен, до получки трех рублей не хватает, работаю сизифом, жена и ребенок хронически больны, в коммуналке соседка-шизофреничка какает на пол в коридоре... а вопросом жизни и смерти становится рифма. Но это и понятно. Пуризм — морфий обездоленных. Другие спасались, забиваясь в другие щели.

В моде были квартирные лекции и семинары; тоже — форма эскапизма и протеста. Кобак предложил мне рассказать о Ходасевиче у него дома, в кругу знакомых. Но что же я знал о Ходасевиче? «Тяжелую лиру» — наизусть: и всё. Ходасевич был для меня идеей, эталоном вкуса; реинканрацией Боратынского в XX веке. Пришлось готовиться. Несколько раз сходил в Публичку. Осенью 1980-го семинар состоялся — в деревянном доме на улице Курчатова. За семинаром последовало предложение написать о Ходасевиче для журнала «Часы». Никакой прозы я отродясь не писал, но принялся за дело с воодушевлением. Чтобы иметь больше досуга, из сменных мастеров перешел в кочегары. Писал в основном в котельной «на Адмиралтейской, шесть»; писал остро отточенным карандашом, мелкими буквами, не выпускал из рук стиральную резинку. <...> Почти сразу нашел скрипичный ключ, ставший названием статьи: «Айдесская прохлада».

<...> По объему получилась небольшая монография. Она вышла в 29-м номере «Часов» (1981), перепечатывалась журналом «Молчание» (1983).

Статья удалась и произвела движение в умах. <...> Московский профессор Ю. И. Левин писал через три года после опубликования *Айдесской прохлады*: «Владислав Ходасевич — белое пятно на карте отечественного литературоведения. Несколькими пронизательными статьями (А. Белого, В. Набокова, Ю. Колкера и др.) едва намечены контуры этой земли...»*<...>

В процессе работы над статьей я многие часы просидел в Публичке. <...> Случались прелюбопытные попутные наблюдения. В статьях о Мандельштаме в 1920 годы повторялась мысль о том, что он «неискренен». Но что такое неискренность в стихах? Неумение себя выразить, иначе говоря, невлаждение словом. Вообще им не восхищались. Прибавьте сюда еще и многократно отменную «холодность» его стихов — и вспомните, какой бум вокруг него начался в 1970-е. «Лучший поэт всей человеческой цивилизации» — было и такое сказано. Почему Мандельштам не произвел громадного впечатления на современников? Да очень просто: как это всегда бывает, видели человека — и не слышали стихов. Человеческой убедительностью Мандельштам многим, рядом с Ахматовой или Маяковском карликом казался. Горстка людей понимала его значение.

Что до Ходасевича, что тут почти каждый шаг приносил крохотное открытие. Помню, как я радовался, обнаружив, что «Счастливый домик» (название второй книги Ходасевича) — словосочетание пушкинское, из стихотворения «Домовому». Никто этого не заметил; даже Мариэтта Шагинян, лучше всех писавшая о Ходасевиче. Конечно, не обошлось у меня без ошибок, притом не столько в статье,

где каждое суждение я выверял по десять раз, сколько в примечаниях к стихам. Особенно меня мучило потом вот что: псевдоним известного ивритского автора (Ходасевич переводил евреев с подстрочника) Ахад-’ха-ам я, с моими начатками иврита, смело перевел как «один народ», когда на деле это выражение переводится как «один из народа».

Многого не хватало — и нужные книги я подчас получал не в знаменитом книгохранилище, а я прямо в котельной. Приносили знакомые и незнакомые, прослышавшие о моем занятии; бывало, передавали со сменщиком. Дивное время!

Статья еще не была закончена, когда у меня в руках оказался парижский адрес Зинаиды Алексеевны Шаховской. Я думал, что она еще редактирует «Русскую мысль», в ту пору — единственную свободную (и уже этим лучшую) русскую газету мира, столь постыдно выродившуюся в XXI веке. Я написал Зинаиде Алексеевне и послал письмо обычной почтой — в полной уверенности, что либо письмо не дойдет, либо она не ответит, либо не дойдет ответ. Ответ (от 20 марта 1981) пришел через две недели. Это было *письмо из России*. Заявлялась переписка, длившаяся десятилетия. Потом, в эмиграции, я дважды ездил к С. Шаховской. Бедная старуха пережила свое время.

«Я и на революциях, и на войнах перебивалась — в Лондоне под годами бомбежек, — и в Гестапо допрашивалась, но вот для старости храбрости надо гораздо больше, чем для военных подвигов», — писала она мне 13 декабря 1982 года. В год ее смерти я напечатал все сохранившиеся у меня письма*. Шаховская была так одинока, что в 1997 году предложила мне, чужому, в сущности, человеку, атеисту, быть душеприказчиком ее литературного наследия. Мог ли я согласиться на это, не зная французского?

С Ходасевичем же Зинаида Алексеевна мне в письмах не слишком помогла; главное, что она знала, вошло в ее воспоминания, которые еще до нашего заочного знакомства дал мне на прочтение старик-архитектор Михаил Азарьевич Краминский. Но в другом отношении — помогла очень. Уж не знаю, как об этом зашла речь, а только в ее письме от 20 июля 1982 года нахожу фразу: «Мы разницу этническую не делаем — когда дело касается русской культуры — хочу Вас в этом уверить». Чту это в ту пору для меня значило, сейчас словами не объяснишь.

В субботу, 30 мая 1981 года, в моей коммунальной трущобе на ул. Воинова, 7, кв. 20 состоялась, страшно вымолвить, конференция, приуроченная к 95-летию Ходасевича. Было прочитано четыре доклада: Анатолия Бергера, Михаила Костомова и два моих: первый — по «Айдесской прохладе», второй — нечто вроде манифеста под названием «Пассеизм и гуманность»**. Присутствовало двадцать девять человек, среди них: *часовщики* (но без Кобака), Сергей Стратановский, Елена Игнатова, Ольга Бешенковская, Олег Охупкин, И. Ф. Мартынов, Полина Беспознанная, Елена Пудовкина, Елена Дунаевская, Борис Лихтенфельд, Александр Танков (казавшийся выходцем из официального мира), Эдуард Шнейдерман, Светлана Вовина — и немка Барбара Свитек (Switek), славистка (и феминистка), делавшая конференцию *международной*. Всё честь по чести. Одно мешало: общее для всех нас неумение выступать. Я изумлялся себе: ведь владею же материалом — отчего же не могу веско, кратко и убедительно изложить то, что знаю? Другие были немногим лучше. Я утешался примером Герцена. Тот, выступая на европейских свободолюбивых собраниях, всякий раз начинал с извинений: мол, у меня на родине искусство красноречия не процветает, извините, я свой текст прочту. <...>

* Колокол. 2001, № 2.

** Без моего ведома опубликован в «Wiener Slawistischer Almanach», где он назван лекцией.

Не успела «Айдесская прохлада» появиться в «Часах», как последовало еще одно предложение: подготовить двухтомник Ходасевича для парижского издательства «La Presse Libre». Исходило оно от поэтессы Тамары Буковской, из кругов новых православных. Я ответил: буду готовить двухтомник для самиздата, сам отпечатаю его в пяти-шести экземплярах — и раздам друзьям; а от дальнейшего меня увольте. Поручиться за себя не могу; не знаю, как поведу себя под пыткой; боюсь смаلودушничать. Парижскому изданию, конечно, буду рад, но переправляйте без меня, помимо меня.

Первый том был готов в 1981 году, второй — 10 ноября 1982 года, в самый день смерти Брежнева. Многие помогали мне советом и критикой, доставали книги и ссылки. Больше всех помог москвич Николай Котрелёв. Удалось добыть и отпечатать портреты. До меня Ходасевича не комментировали; комментарии, вместе с «Айдесской прохладой», составляли изюминку книги, хотя, конечно, и более полного собрания до той поры не существовало. Стихотворные переводы Ходасевича вовсе не были известны; я собрал их по крупицам. В этом помог мне Дима Северюхин, молодой человек, прежде ничем литературным себя не запятнавший. Явился он от Кобака с какими-то замечаниями по моей статье. Я пригласил Северюхина участвовать в парижском издании, написать для двухтомника статью о переводах; и он написал. Хорошо помню, что эта моя готовность *поделиться* была встречена (им и другими) с некоторым недоумением. А иные считали, что Северюхин — мой псевдоним (Владимир Эрль, например).

Блок в свое время издал и прокомментировал стихи Аполлона Григорьева. Матера этих комментариев мне не нравилась, а подход казался правильным: нужно не крючкотворством заниматься, а говорить о стихах и поэте и вместе с тем — о человеке вообще. Обычный литературоведческий комментарий устроен дико. Он каждым словом говорит читателю: не суйся, это не тебе, это специалистам. Глупое и пошлое начетничество; игра в сокращения (в наукообразии); мол, мы серьезные люди: посмотрите, как ловко мы затруднили для вас чтение и спрятали смысл. Этого мне не хотелось. Смеху ради (но и точности ради) я кое-где сообщал о месте первой публикации стихотворения, если сам его обнаружил: бросал кость своре, а себе тем самым высвобождал скромное пространство, чтобы сказать несколько слов о главном. Метил я при этом не в каждого литературоведа, а в присяжное литературоведение. Якобсон, Тынянов, Эйхенбаум, Лидия Гинзбург — не опровержение моему недоверию к этой касте. Литературовед может и должен быть *авантюристом*: мыслителем, писателем. Но где же эти качества у рядового *академического* литературоведа? Что это за феномен такой: корсар на зарплате?!

Весной 1983 года, в другой кочегарке, «на Уткиной даче» при слиянии Охты и Оккервиля, получил я от своего сменщика первый типографский том парижского Ходасевича — и успел показать его лежавшей при смерти матери.

В июне 1984 года, оказавшись (после долгих лет *отказа*) в эмиграции, я тотчас написал Нине Берберовой в Принстон; подруга Ходасевича преподавала там русскую литературу. Мой двухтомник она знала и в целом одобряла; в статье отметила два-три сомнительных места. Мы обменялись несколькими письмами, но едва наметившаяся между нами эпистолярная дружба вскоре оборвалась. Берберова, среди прочего, писала, что «в западных университетах литературу изучают, как химию». Я был задет за живое и ответил резко: что литература не формой жива, а нравственным наполнением, отсутствующим в химии; что литературоведы, с их пошлым наукообразием, не видят главного — в принципе не способны видеть это главное, и слишком часто вообще не понимают стихов. Было и другое: Берберова предложила мне передать собранные мною материалы американцу Малмстеду, готовившему многотомное собрание Ходасевича. «С чего бы это? — спрашивал я ее в письме. — Я рисковал, работал в жутких условиях, а эти сидят на зарплатах —

и когда в СССР приезжают, перед ними все архивы открыты...» Берберова ответила вопросом: «Отчего все эмигранты из России так надменны?» Последней каплей стал обмен сборниками стихов. Берберова прислал мне свой с дарственной надписью: «Нина Берберова — Юрию Колкеру». Я не остался в долгу: свой, только что выплывший, отправил ей со словами: «Юрий Колкер — Нине Берберовой». Сделал это не из надменности; не только из надменности. Рассуждал просто: поэт ведь царь, а у монарха нет возраста. На этом дело и кончилось. В 1986 году она не пригласила меня на конференцию по случаю столетия Ходасевича. Думала, верно, досадить мне, но промахнулась; я жил не этим. Занятие Ходасевичем позволило мне разом выговорить мою эстетику (а значит, и *этику*) на стихах любимого поэта.

В сентябре 1982 года судьба свела меня в Риге с Романом Тименчиком, будущим профессором Еврейского университета в Иерусалиме. Имени Тименчика я никогда не слышал. Ему сказали о моих штудиях.

— Ходасевичем? — изумился Тименчик. — Зачем же это? Ведь им занимается Малмстед в Америке, пятитомник готовит.

Мне (говоря словами Ходасевича) трудно было не засмеяться в ответ. Я впервые в жизни сталкивался со служилым литературоведением в его открытом цинизме и прагматизме. Для меня работа над Ходасевичем была нравственной потребностью, делом совести, я мою выстраданную эстетику отстаивал и утверждал, — а этот человек думал, что я кормушку ищу и промахнулся, бедняга: кормушка-то занята. <...> И он был не одинок. Позже, в 1984-м, в Иерусалиме, люди изумлялись моей непрактичности, не понимали, как это я ничего не требую на кафедре славистики, угорваривали записаться туда хоть заочным аспирантом, поскольку мой двухтомник — готовая диссертация. Растерянность в первые месяцы я испытывал нешуточную; уговорам вял; записался. Сходил на одну лекцию Ильи Захаровича Сермана; заскучал и вернулся к уравнениям. Что мне было PhD по литературе? Преподавателем я себя и в кошмарном сне не видел, а PhD (по физике) у меня и так есть... В середине 1990-х тот же Тименчик сообщил мне при случайной встрече, что я всё еще числюсь аспирантом у них на кафедре. Должно быть, и умру в этой почетной должности.

В ленинградском полуподполье Ходасевич еще резче отдалил меня от мэйн-стрима, закрепил мое эстетическое одиночество. В машинописных журналах «Часы» и «Обводный канал» появились на статью возражения, которых я так никогда и не прочел.

Острова блаженных

Мы были серьезные люди: серьезно относились к своему полуподпольному сочинительству. С каменной серьезностью. Верили, что принадлежим истории. Шло это, хм, из советской литературы. Большевизм дивным образом законсервировал в нашем сознании XIX век. Все мы жили в заповеднике. Знали (вместе с большевиками и со всем советским народом), что литература — грозная сила; думали, что мы — сила... Всеобщая грамотность перевернула мир, стерла границу между писателем и читателем, разжаловала священнодействие в ремесло, авгура — в сапожника. А Россия (спасибо соцреализму) ничего этого не замечала до 1990-х. До Марининых и Дашковых.

Лебедь, рак, щука и еще один рак

Одно очень серьезное предприятие было затеяно в апреле 1981 года: поэтическая антология непечатных ленинградцев. Идея пришла из «Часов», от Бориса Иванова и (или) Бориса Останина. Назначили команду: Светлану Вовину (она же

Нестерова и Востокова), Эдуарда Шнейдермана, Вячеслава Долинина и меня. Как тут оказался Долинин? Как представитель мирян. Остальные трое писали стихи. Как оказался я? Для баласа и для *четности*. Серьезность предполагает представительство, а консерватизм, воинствующий консерватизм, представить было больше решительно нечем; я один с гордостью называл себя *реакционером*, с пояснением: «реагирует — живое». Правда, Вовина тоже тяготела к правому крылу в эстетике, но до моего ретроградства и пуризма не опускалась. В целом *часовщики* неплохо уравнивали бригаду. Шнейдерман относился к традиции почти с таким же отвращением, как я — к новаторству; Долинин, своей эстетике не выстрадавший, живший политической борьбой, верил, что «ветер дует слева». Получалось двое на двое. С каждой стороны — по одному бешеному и одному умеренному.

Собрались в мастерской скульптора Любви Добашиной, жены Шнейдермана. С двумя из трех членов хунты я там и познакомился. Светлану Вовину прежде разве что видел. Была она старше нас с Долининым, моложе Шнейдермана, умна и хороша собою. С некоторой оторопью я узнал, что она четыре раза была замужем; вот, подумал я, жертва собственной красоты. Шнейдерман отличался изумительной мягкостью и неправдоподобной корректностью. Долинин был сух. Я — задирист.

Мастерская помещалась в полуподвальном помещении во дворе 19-го дома по Шпалерной, как раз напротив Шереметевского особняка, тогдашнего Дома писателя, которому мы кукиш собирались показать. Была она уставлена скульптурами из оаотной глины. Глядя на них, я вспоминал слова моего пращура Александра Семеновича Шишкова: «добродетель вещества много способствует искусству художника», — но держал их при себе, в чужое дело не лез. Там, среди монументов, мы заседали в течение года, собирались не реже чем раз в две недели, работали старательно — и, против всяких ожиданий, довели дело до конца. Получился солидный том под названием «Острова. Антология ленинградской неофициальной поэзии» (составители: А. Антипов [Долинин], Ю. Колкер, С. Нестерова, Э. Шнейдерман. Л., 1982). Почему «неофициальной»? Слово это предложил Шнейдерман. Точнее было бы сказать: неподцензурной. Не помню, кто нашел имя для антологии, удачное или, во всяком случае, выразительное. Взято оно из Вагинова: «На островах блаженных есть город Петербург...»

Exegimus monumentum

Получилось чотыреста с лишним страниц. Просмотрено было шесть тысяч двести стихотворений ста семидесяти двух авторов за годы с 1949 по 1980-й. Много это или мало? Мало. Пишущих — были тысячи. Так уж русский язык устроен, что от соблазна не уберечься. В быту, ни о какой поэзии не думая, мы нередко говорим чистыми ямбами и хореем, по одной, по две строки кряду; а то и трехсложниками. Писать стихи на этом языке — простейшее из умственных упражнений. Отсюда и соблазн.

С другой стороны, сто семьдесят два автора — много, слишком много. Сколько *поэтов* бывает в поколении? Читательское сознание не способно вместить более двадцати; иначе — слово *поэт* девальвируется. Считаем по десять лет на *литературное* поколение: выходит — по шестьдесят только в замшелом Ленинграде. Вздор. Куда столько?! Откуда эти стройные ряды? Но перед глазами был союз писателей, где *поэтов* числилось еще больше. Для этого ведь, по умолчанию, антология и затевалась — чтобы показать: нас много, мы — целая литература.

Отобраны в антологию были из ста семидесяти двух авторов только семьдесят девять. Имена некоторых и сейчас на слуху — но слух нужно иметь чуткий. В сущности, самые громкие имена, исключая Бродского, — не более чем тихие шаги за

сцепной. В гремучую обойму не вошел ни один. Разве что Евгений Рейн, но на то он и москвич.

Тут всем нам урок. Во-первых, не стоит быть слишком серьезным, особенно по отношению к себе. Во-вторых и в главных, стихи — маргинальное занятие; они пишутся немногими для немногих. Времена властителей дум канули безвозвратно. Богатство народов и их взрослость направлены против этого детского занятия, тесно (хоть и не прямо) связанного с верой. Бога от поколения к поколению становится в мире всё меньше, бог убывает — и вместе с ним убывает поэзия. С этой печальной истиной нужно смириться совершенно так же, как с мыслью о своей смерти. Взрослым — не до стихов. <...>

Отбирали мы не имена, а стихотворения. На каждом каждый ставил плюс или минус. Исходили из того, что иные авторы скорее слынут поэтами, чем являются. Здесь, разумеется, действовало задетое самолюбие: из нас-то, из составителей, к тому времени никто не добился даже «широкой известности в узких кругах», как Елены Шварц или Кривулин. Этот подход согласовался с тем, ради чего *часовщики* затевали антологию: им, думаю, хотелось сказать городу и миру, что ленинградское полуподполье дало не одного Бродского.

Дошло дело и до наших собственных стихов. К этому времени (к этому возрасту) я уже умел не придавать большого значения суду товарищей по несчастью. Без такого иммунитета в литературе не выжить. Готовился снести пытку молча — и снес *почти* молча, не удержался только, когда Шнейдерман предложил не включать одно мое стихотворение, со строкой «Не прозябает злак», на том основании, что злак не может прозябать.

— Как? Вы, филолог по образованию, не знаете, что *первое* значение этого слова — прорасть?! <...>

Когда дошло до отбора стихов Светланы Вовиной (Востоковой), я увидел в ее глазах неподдельную горечь. Человек всегда живет надеждой на внезапное признание, да что! на восхищение: поэт на меньшее не согласен, особенно засидевшийся; а тут отбор показал разве что уважение. Даже у меня ее стихи живого отклика не вызвали; как, впрочем, и мои у нее. Мне было довольно того, что она пользуется усеченной рифмой, которая в традиционных стихах меня корбила еще сильнее, чем авангардистских. <...> Потом судьба занесла Вовину на Гавайские острова. В справке, которую она дала о себе сетевому альманаху «Еврейская старина», я с некоторым удивлением прочел: «Была членом неофициального клуба писателей («Клуб-81») вместе с В. Кривулиным, Еленой Шварц, О. Охапкиным и др. Публиковалась в неофициальном журнале «Часы». Опубликовала цикл стихов в сборнике этого же клуба — «Круг», изданном ленинградским отделением Союза писателей в 1985. Эмигрировала в США в 1990 году. Сейчас живу в Гонолулу, стала художником...»

Упомянуть Кривулина и Шварц значило двумя мазками указать свой круг. Прием законный. Воспользуюсь им и я, чтобы отгородить свой угол: именно с Кривулиным и Шварц я никогда не хотел иметь ничего общего. Чуждые эстетически, они и по-человечески были мне чужды, а с ними — и весь их круг. <...>

Впечатления, на которое могли рассчитывать *часовщики*, антология не произвела. Кажется, никогда и напечатана не была, только вывешена в Интернете спустя двадцать лет.

К центру галактики

— ... Получил я за книгу порядочные деньги, — говорил мой собеседник, — и ушел с работы. Целый год жил, не работая. И что вы думаете, Юра, я много написал за этот год?

Разговор происходил в 1980 году, в кокегарке на улице Плеханова. Собеседника звали Борис Иванович Иванов. Должно быть, я спросил его, отчего он, печатающийся автор с перспективой вступления в союз писателей, не остался на вольных хлебах, а работает оператором газовой котельной. Мне в ту пору чудилось, что освободиться от сизифовой советской службы — уже величайшее счастье. А там — как же не писать, когда ты свободен? Ответил мне Иванов правильно, спасибо ему.

Лишь к Иванову, сколько помню, принято было в нашем котельном писательском полуподполье обращаться по имени-отчеству. Всем котельным авторам, находившимся в моем поле зрения, было в ту пору меньше сорока; Иванову — пятьдесят два. <...>

Иванов был прав: нужно работать. Для своего же блага, для душевного равновесия (без которого нет мечты — а значит, и мечты творческой). <...> Котелгарки способствовали сочинительству. Для меня они начались в январе 1980-го, <...> и за год я сделал больше, чем за предыдущие десять. <...> У котелгарки все же был один недостаток. Конечно, она была студией. Не я один приходил на смену с пишущей машинкой, книгами и тетрадками в рюкзаке. Сама по себе работа была не бей лежачего. Полагалось только за приборами следить. Пришел, принял смену — и ты на сутки в полном, в почти полном уединении. Сочиняй, читай, мечтай, а то и отдохни, вздремни (понятно, это запрещалось; но лежанки были всюду). Вот в этом и состоял подвох. Котелгарка располагала к расслабленности, к лени. Случалось, после бессонной ночи дома, я, придя на смену, сразу ложился, а рюкзак стоял не развязанным. Оттого-то и времени, живого, настоящего времени, оказывалось в жизни меньше, чем должно было и могло быть, — но всё-таки несопоставимо больше, чем в затхлых советских институтах, где приходилось тратить лучшее на чепуху.

Санскрит и Млечный путь

Преобладающей фигурой в котельных был писатель; бумага и авторучка — вот всё, что ему требовалось; для художника — котелгарка была скорее клубом, чем студией. Из художников на 1-м Октябрьском участке Адмиралтейского предприятия треста Теплоэнерго-3 смутно помню Митю Шагина — с картинами, приводившими на память Куинджи. От Шагина пошли потом *митьки*, но смысл этого культурного протуберанца от меня ускользает; я услышал о нем уже в эмиграции — и много изумился резвости котельных юношей. Я был старше. Для меня давно уже, говоря словами Пушкина, «прошел веселый жизни праздник».

Были и другие: дилетанты-бонвиваны с рассеянными интересами, не желавшие вписываться в жесткие и пошлые рамки советской жизни. Был Костя Бобышев, брат уже эмигрировавшего к тому времени поэта Дмитрия Бобышева. Костя рисовал, писал стихи, но вообще тяготел к мистике, например, производил какие-то загадочные операции над числом π . Был Толя Заверняев, изучавший санскрит и, как почти все, что-то писавший. Много позже, в 1990-е, мне передали на русской службе Би-Би-Си его письмо — с просьбой переслать другое, вложенное письмо... принцу Уэльскому. *Sancta simplicitas!* Он думал, что к представителю британского королевского дома можно вот так, с улицы, обратиться и получить ответ... Были иногородние: Нина Строительева, выпускница юридического факультета из Новосибирска; Оля Фалина из Казани, начинающая художница, потом ставшая археологом. Естественным фоном этой культурной Голконде служила безликая толпа нормальных котелгаров: пьянчужка Макарыч, бабка Пелагея, молодуха Галя «с белыми от распутства глазами».

Особняком стоял один котелгар: Александр Александрович Калиняк, астроном, выгнанный из Пулковской обсерватории за то, что совершил очередное открытие

(которое, за отсутствием человека, можно было присвоить). Его вклад в астрономию признан во всем мире: он догадался сфотографировать ядро нашей галактики в инфракрасном диапазоне. Фактически он открыл это ядро. У других галактик ядра просматривались, а у нашей — нет. Калиняк увидел его первым из людей.

Сколько ему было в 1981-м? Думаю, шестьдесят пять. Мне, 35-летнему, он казался глубоким стариком.

На два кирпича ставился чайник или кастрюля, снизу клался запальник (кусок трубы с краном, на шланге от главного газопровода). Прежде, чем поставить чай, Александр Александрович бросал в пламя запальника щепотку поваренной соли, приговаривая: «Видите спектр натрия? Люблю такую физику...» Я не видел спектра натрия. Физике меня учили плохо, даром что это слово входило в название оконченного мною факультета. Я был занят стихами и безнадежным, страстным богоискательством. Тут Калиняк мне не помог. Он верил, но Бога получил естественным путем — галактическим, с молоком матери. Моя невнятная религиозность была смятением и отчаянием, шла не от родителей, а от моей собственной неблагополучной семьи, от моего нищего семейного очага в советской коммуналке; у меня на руках были больные жена и дочь. Кто не испытал этого чувства, не знает жизни: семья — выше храма; особенно — пока дети маленькие. В настоящей семье Бог — рядом, даже если ты полный атеист.

Я рассказал Калиняку, каким унижениям и издевательствам подвергали мою жену в больнице, куда она попала парализованная, с выпавшим позвоночным диском. Его история оказалась и вовсе трагической: его жену попросту убили; врач скорой помощи сделал ей неправильный укол, от которого она умерла на месте. «Так и пропала моя душенька...», — сказал он. Я увидел перед собою одинокого человека без будущего, на краю могилы, у которого отняты любимое дело и лучший друг. Потрясенный, я пробормотал какую-то бестактность: мол, не всё еще для вас потеряно. Он понял меня неправильно и ответил:

— Для меня другие женщины — грязное белье.

Сколько раз я потом повторял эту фразу, про себя и вслух!

Другой урок тоже навсегда запал мне в душу. Узнав, что я добиваюсь разрешения на выезд, Калиняк спросил полуутвердительно:

— Вы ведь, конечно, в Израиль поедете?

Я обиделся — и пережил сильнейший приступ ностальгии. (Первый и единственный. В эмиграции она мне стала казаться болезнью сытых.) Мне почудилось, что меня запикивают в чулан; что родная культура отторгает меня по расовому признаку. Об Израиле я и не думал. Прошли годы, прежде чем я понял: в моей обиде было больше расизма, чем в словах моего собеседника.

Юрий Новиков

ОДНАЖДЫ В «САЙГОНЕ»...

Как-то совершенно непривычно было видеть знакомый интерьер в эту пору суток. В 10.00 часов утра 27 апреля 1981 года в «Сайгоне» все как будто бы было на месте. Три ступеньки с углового входа, вытертый подошвами мраморный пол, длинная деревянная стойка с внутренней стороны помещения, круглые табльдотные столики вдоль окон, выходящих на Невский и Владимирский, низкие мраморные подоконники...

Однако день был пренеприятнейший. Несмотря на весеннюю пору, колючий, даже морозный ветер забавлялся в складки одежды, заставляя мечтать о том, как

бы побыстрее добраться «Сайгона» — места, где нам была назначена заранее оговоренная встреча.

Встреча была назначена представителем КГБ, который назвался Владимиром Соловьевым (имя, возможно, вполне условное, но, столь же возможно, и натуральное). А мы — это четверо человек из редакции самиздатовского журнала «Часы», образовавшегося в 1976 году благодаря усилиям Бориса Ивановича Иванова. За глаза мы именовали основателя журнала «Бощманом», так как он какое-то время руководил небольшим коллективом (куда входили художник Владлен Гаврильчик, искусствовед Михаил Иванов и другие) так называемой «баржи-грязнухи» (такие баржи перевозили ил с акватории Невы в места его складирования). Вторым отцом-основателем был Борис Останин — личность беспокойная и яркая, филолог-«старатель», постоянно отыскивающий новые и новые золотые жилы еще мало кому ведомой неофициальной литературы. Третьим, кажется, был я — Юрий Новиков, по последнему образованию искусствовед (до того — монтажник-высотник, геодезист-картограф), который нашел свою собственную «Землю Санникова» не в полярных льдах, а здесь, в Ленинграде, в мастерских художников и в самостоятельных литературных «салонах».

Но тогда, 27 апреля 1981 года, здесь, в «Сайгоне» рядом с нами не было ни Бориса Иванова, ни Бориса Останина. По договоренности они остались за кадром. А «стояло» четверо: Ваш покорный слуга, Аркадий Драгомощенко, Эдуард Шнейдерман и Игорь Адамацкий.

Что же заставило нас собраться в столь непривычный час пусть даже и в очень привычном месте? Дело в том, что в конце 1980 — начале 1981 годов активизировались попытки редакции журнала «Часы» и сотрудников к тому времени распавшегося журнала «37» во главе с Виктором Кривулиным обрести некую общественную площадку, на которой могли бы открыто общаться со своими ценителями литераторы и художники, устраивавшие доселе свои посиделки лишь на квартирах. При этом команда Кривулина (с присущим Виктору авантюризмом) попыталась придать своему проекту некоторый политический привкус (не без расчета на западные СМИ). Позиция членов редакции «Часов» была противоположной. «Часовщики» придерживались принципа примата культуры и относились к политике (а особенно — к политиканству) с определенной брезгливостью. Что и отражалось на страницах журнала: поэзия, проза, критика, религиоведение и философия, переводы (многие из которых были печатно продублированы в постперестроечное время), хроника культурных событий. Со времени основания журнала «часовщики» организовали две конференции, посвященные проблемам неофициальной культуры, учредили премию Андрея Белого (что достойно отдельной книги, тем более что в 2008 году будет присуждаться юбилейная тридцатая премия) по разделам: поэзия, проза, культурология.

Несколько ранее, во времена шумных выставок «неофициальных» художников в ДК им. Газа и «Невском» (1974–1975 годы), я предлагал «экстремалам», стремившимся эмигрировать на Запад, взять на себя «героические» функции устроителей общественно-политических скандалов. В то время как другие, относительно «умеренные» (не в художественных формах, но в политических умонастроениях), могли бы существенно продвигнуться в возможностях признания своего творчества. Тогда эти предложения вызвали резкие обвинения в попытке разъединения общего движения.

Но вот сейчас сама собой возникла та ситуация, которая недавно была отвергнута художниками, — команда Виктора Кривулина в силу своих принципов и политического темперамента взяла на себя роль «экстремалов». В то время как «Часы» оказались в роли «умеренных» и внешне — не политизированных.

«Старший Брат», внимательно следивший за всеми нами, был в курсе этих событий. И поэтому в квартире Бориса Иванова раздался звонок из «Большого дома» с предложением встретиться и начать официальные переговоры. Встретиться в «Сайгоне». На вопрос «А как мы узнаем друг друга?» на другом конце провода зримо усмехнулись: «Ну, вы понимаете, мы всех вас хорошо знаем. А чтобы вы узнали нашего представителя, он при входе в «Сайгон» помашет вашим переговорщикам газетой “Труд”».

Итак, в 10.00 мы в «Сайгоне». Привычное место без привычных людей воспринимается чуждым и даже враждебным.

10.05. Наша четверка (которую я назвал — по примеру Рея Брэдбери — «группой контакта» с иной цивилизацией) уже успела сделать заказ: всем «маленький двойной и чуть-чуть воды». В «Сайгоне» только случайные люди. Никого из знакомых — они, конечно же, нахлынут сюда к вечеру.

Типы «Сайгона» заслуживают особого очерка по типу «физиологий Петербурга» XIX века. Так, конечно же, уже не мог здесь быть Сергей Довлатов (живший неподалеку, на улице Рубинштейна), вокруг которого всегда собиралась плотная кучка людей, время от времени взрывающихся заразительным смехом. Можно смело утверждать, что многие байки-новеллы Довлатова были отшлифованы именно в «Сайгоне». И отъезд Довлатова в 1978 году пробил в «физиологии “Сайгона”» огромную брешь.

Зато часто появлялся художник Боб Кошелов. Бородатый и косматый, в неизменной черной морской шинели. Жил в «доме Палкина», на противоположной стороне Владимирского. Он женился на итальянке, уехал на родину жены, развелся и, вернувшись в Петербург, организовал здесь сообщество молодых художников. Не понимаю, когда только он умудрялся покрывать плотной пастозной краской свои громадные полотна.

Еще один из постоянных — Ростислав Иванов. Он заказывал чашку кофе, доставал небольшой альбом и начинал зарисовывать (в какой-то «волосатой» манере, шариковой ручкой) портреты окружающих. И предлагал свои портреты за чашку кофе или стакан вина. Потом он станет истинно ревностным христианином, начнет писать иконы, но пока...

10.15. Мы внимательно вглядываемся в каждого присутствующего, а тем более — входящего, особенно если у него в руках газета.

Но пока ничего такого не замечалось. Приходили случайные прохожие, приезжие с Московского вокзала, совслужащие, продавщицы из ближайших магазинов. Ни одного сколько-нибудь знакомого лица. Впрочем, с учетом конфиденциальной миссии нашей «группы контакта», знакомые лица-то были вовсе ни к чему. А в эти часы могли появиться, например, коллеги из Москвы: Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин, Юрий Кублановский, Дмитрий Пригов, Бахит Кенжеев, Ольга Седакова и др. Такие московские десанты были достаточно регулярными, наводили много шороха в квартирных чтениях и доставляли изрядные трудности «компетентным органам». Утром, прямо с поезда, москвичи забежали в «Сайгон», а к вечеру, перед возвращением в Первопрестольную, регулярно отмечались здесь же. Но на этот день такого визита не предвиделось.

Поезда, приходившие в утренние часы, привозили и московских авторов бардовской песни: Юрия Визбора, Юлия Кима, Евгения Клячкина, Аллу Якушеву, Бориса Вахнюка, Новеллу Матвееву (и даже иногда — Владимира Высоцкого) и других участников ленинградского клуба «Восток» (размещавшегося в ДК Пицеевиков на ул. Правды — ныне разрушенного). В «Сайгоне» их встречали наши питерские барды и музыканты — Александр Городницкий, Виктор Федоров, Александр Дольский, Борис Гребенщиков, Сергей Курехин, Юрий Шевчук.

Этой бардовской составляющей «Сайгона» вскоре было суждено сыграть весьма полезную роль в контактах между неофициальной культурой и ленинградскими властями. Власти предложили новому объединению литераторов выбрать некоего «смотрящего» от официальной культуры. И после длительных совместных совещаний мы как-то сошлись на одной противоречивой фигуре — Юрии Андреевиче Андрееве. Он вначале совершенно не принимал неофициальной литературы и выслушивал наших авторов с недоумением и, пожалуй, даже с негодованием. Но оказался страстным поклонником бардовской песни, а кроме того — мастером спорта по самбо. И эти качества — спортивные, бойцовские — сыграли свою роль в отстаивании этим неординарным человеком интересов будущего «Клуба-81» перед ГБ, КПСС и даже своим родным Союзом писателей.

Мы заказали еще по чашечке «двойного». Впрочем, Аркадий Драгомощенко, кажется, «тройной», а Эдик Шнейдерман — «одинарный». (Кстати, буфетчицами в «Сайгоне» и кафе на Малой Садовой были женщины очень наблюдательные. Они не только знали своих постоянных клиентов в лицо, но и помнили, какой заказ («двойной», «тройной», даже «четверной» или «немножко воды») привык делать каждый из них. Когда-то мы с женой после концертов и спектаклей заходили в кофейню на Малой Садовой, которая и стала в 1960-х прототипом неофициального клуба свободных художников и литераторов. И вот годы спустя в другой кофейне дама уже преклонных лет, увидев мою жену и узнав в ней завсегдатая Малой Садовой, спросила: «А вам как обычно — “маленький двойной”?»)

Пока еще рано для появления Игоря Иванова — одного из героев выставок 1974–1975 годов, прекрасного живописца серий «Кукол», пейзажей и натюрмортов. Как-то он предложил мне обратить внимание на Игоря Адамацкого. Мне его опусы понравились, да и он сам тоже, хотя и не без некоторых сомнений. Очень акkuratный, как и положено школьному учителю (он преподавал русский язык и литературу), с властным баритоном, как у ливановского Шерлока Холмса, он по моему представлению вошел в члены редакции журнала «Часы», и наша троица (Борис Иванов, Игорь Адамацкий и я) начала замысливать свой заговор, который и предстояло осуществить в этот неуютный день конца апреля 1981 года.

Таким образом, «группа контакта» была вовсе не случайной. В соответствии с планом штаба Адамацкий и я играли роль опорной «тяжелой пехоты». Роль отвлекающей «легкой кавалерии» отводилась Драгомощенко и Шнейдерману. Аркадий, яркий поэт и златоуст, умеющий украшать свои горячие монологи разнообразными цитатами — от Ж.-П. Сартра до дзэновских коанов — мог заговорить любого. Эдуард Шнейдерман, поэт и историк неофициальной литературы (автор, в частности, воспоминаний о Николае Рубцове), мог долго с недоумением и даже робостью смотреть на своего собеседника, а затем ошеломить его неожиданным вопросом.

10.25. На другой стороне Невского мы видим Тимура Новикова (жившего рядом в третьей или четвертой подворотне Литейного по четной стороне) с большой папкой, спешащего куда-то в сторону площади Восстания. Пронесло! Тимур, один из образованнейших людей поколения конца 1970-х, по достоинству стал лидером целого ряда художников, теоретиком и философским лидером целого направления, не утратившего своей актуальности и доныне.

Еще рано было появляться в «Сайгоне» и Владимиру Лисунову. Этому стороннику несколько холодноватой и рассудочной эротической живописи, конечно же, не могло быть места ни на каких общественных выставках, кроме квартирных (одна из них, помнится, была на квартире у Аллы Осипенко или Джона Марковского, известных мастеров балета). Но зато самого себя Лисунов экспонировал регулярно. В строгом черном пальто и шляпе, с бабочкой на белоснежной рубашке, с подбритыми бровями и подкрашенными губами, он мог с загадочной мефистофельской



На заседании «Клуба-84»

улыбкой часами стоять над чашкой остывшего кофе, наблюдая окружающих. Однажды он «выставил» себя в какой-то золоченой барочной раме и стоял, не двигаясь и почти не моргая, целый час.

Наше внимание привлекает мужчина основательного вида с кучей газет. Любопытная сторона советского человека той поры, пожиравшего массу периодики, пытаясь в ней — полностью подцензурной и единообразной — найти признаки некой разношифрованности, вневедомственных разобщенностей... И ведь обнаруживались такие контексты и потайные смыслы (в этом плане литература была Литературой, а поэт больше, чем Поэт)! Я до сих пор узнаю читательских динозавров той эпохи по тому, как они листают газету или еженедельник — непременно с конца издания, со все меньшим вниманием к передовицам.

Выпив третью чашку кофе, мы направили к этому мужчине с кучей газет Игоря Адамацкого. Игорь прямо спросил: «Простите, Вы человек с “Трудом”?» Тот, с достоинством вытирая губы платком (салфеток, как известно, не было — дефицит-с): «Я человек марксистских убеждений, а без труда не было бы Homo sapiens!»...

Ввиду обилия в «Сайгоне» интеллектуальных сил, была у этого места и еще одна функция: сюда прибывали желающие приобрести дипломы, кандидатские и докторские диссертации (в основном из «братских» азиатских и кавказских республик). Грешен, и сам согласился на написание заказной докторской диссертации о Серебряном веке для выпускника Бакинского университета, но забавные обстоятельства помешали мне обогатиться, хотя думаю, что мой заказчик таки получил свое свидетельство. И сколько таких «научных работ» пошло по просторам СССР!

10.30. Мы уже как-то расслабились, заказали еще кофе, стали рассказывать друг другу анекдоты. Тем временем в кафе вторглись стайки отработавших свою смену гостиничных «путан» (новый тогда термин), в основном состоявшие из студентов филологического факультета ЛГУ им. А. А. Жданова — весьма красивых девиц, стильно одетых в импортные шмотки и пахнущих «Шанелью N 5». Они посещали и «Сайгон» и в поздневечернее время, являясь вместе со своими сутенерами —

негласными кагэбэшниками. С ними тусовался и симпатичный питерский чудак — Коля Васин, который посвятил практически всю свою сознательную жизнь созданию самой большой в СССР коллекции различных материалов о «битлах»: это были вырезки из разных изданий, фотографии и, конечно же, музыкальные записи. От длинноногих филологинь Коля иногда получал что-то из этого: ведь у зарубежных туристов можно было отхватить даже диск из тех, которые были в принципе запрещены к ввозу в страну.

Почти одновременно вместе с ними повалили «чернокнижники», охотившиеся за редкими книгами у магазинов «Лавка писателей», «Старая книга», «Академнига». Один из старых «чернокнижников» рассказывал в «Сайгоне» за чашкой кофе о том, как ему пришлось быть посредником в сделках между покупателями из генералитета Союза писателей и Зощенко, который после ждановского постановления 1946 года оказался без средств к существованию и был вынужден распродавать свое собрание книг и графики, в том числе раритеты с автографами великих современников. «Чернокнижник» признавался, что, используя положение Зощенко, он бессовестно занижал цены в интересах скупщиков... Некоторые из «чернокнижников» общались и с нами, поскольку могли предложить советские издания О. Мандельштама, Б. Пастернака, А. Ахматовой, Арсения Тарковского, М. Булгакова (которые продавались почти исключительно за рубежом на валюту), или, уже в случае особо доверительных отношений, — «Воспоминания» Н. Я. Мандельштам, сочинения А. Солженицына, В. Войновича, В. Аксенова... Но последнее грозило тягчайшими сроками. С этими людьми нам надо было быть очень осторожными.

10.35. Мы уже чувствуем себя свободными от ожиданий. Уставшие длинноногие филологини и согретые «чернокнижники» уходят на заслуженный отдых или на продолжение трудовой смены. Вдруг появляются два Бориса (Борис Кудряков — Борис Гранд (Grand), в силу роста и веса; и Борис Пти (Petit) — маленький, в очках с толстенными линзами), основатели ленинградского фотоандеграунда. (Борис Гранд живет рядом, на Б. Московской). Костя Кузьминский (иногда бывавший в «Сайгоне») в 1975 году устроил в своей комнате коммуналки на Конногвардейском бульваре великолепную выставку работ этих фотохудожников. Нам в те годы открылась еще одна неведомая до тех пор реальность, воспроизводимая фотохудожником и практически исчезнувшая из официальной фотожурналистики, — поэтика бытия и драматически трудной современности.

10.40. Мы уже устали ждать... А ну их в задницу!

В зале начали появляться «смотрящие». Самым главным из них был некий «полковник» — крупный мужик, которого окружали какие-то темные личности. Года через три его убили в соседней подворотне. Несомненно, должность «смотрящего» была весьма трудной. К трудностям относилась и профессиональная зависимость от алкоголя, без которого была немыслима деятельность «Сайгона». Там выпивать было как бы нельзя. Но вся атмосфера «Сайгона» в вечернее время была пропитана запахами дешевых портвейнов — «33», «777» и др., — которые распивались изпод табльдотов или на подоконниках. Все это было известно всем. И служба «полковника» и его подручных тоже была известна всем — как и служба длинноногих богинь-«филологинь», их сутенеров, «чернокнижников» и фарцовщиков.

Впрочем, основную массу посетителей «Сайгона» составляли все-таки художники, литераторы, рок-музыканты и та итээровская интеллигенция, которая подерживала новое независимое искусство.

Не так уж далеко от «Сайгона» находилась мастерская Николы Зверева. Этот крупный и обаятельный вологодский мужик стал создавать галерею петербургских типов: не только поэтов, художников, искусствоведов, но и каких-то бабок и спившихся мужиков, персонажей блошиного («Кузнечного») рынка, проституток

и вообще очень сомнительных личностей — одним словом, сделался бытописателем того, что в XIX веке называли «физиологией Петербурга». В одной из статей я назвал Зверева «зеркалом ленинградского андеграунда». Персонажи зверевской галереи появлялись и в «Сайгоне», выпрашивая прокуренными и пропитыми головами по двадцать-тридцать копеек — конечно, не на кофе, а на портвейн в ближайшем магазине.

10.45. Конечно же, рановато для появления поэтов — Петра Чейгина, Владимира Эрля (одного из основателей группы «Поэты Малой Садовой» — наряду с Т. Буковской, А. Мироновым, Е. Вензелем, А. Гайворонским), Владимира Нестеровского, Константина Кузьминского (последнего — обязательно в «фирменных» кожаных штанах); изредка и Виктора Кривулина, размещавшегося с компанией на низких мраморных подоконниках.

Рано и для музыкантов, базировавшихся неподалеку, на ул. Рубинштейна, в так называемом Доме народного и самодеятельного творчества, где наряду с выступлениями вполне добропорядочных самодеятельных кружков и коллективов начали происходить выставки неофициальных художников и фотографов, а следом за ними — концерты рок-музыки. Борис Гребенников, Сергей Курехин, Виктор Цой, Юрий Шевчук, прочие музыканты из разных городов Союза и их поклонники до репетиций и концертов также дружными и шумными толпами наведывались в «Сайгон».

10.50. Как-то сам собою начался разговор о предшественниках «Сайгона». Говорили о многожды воспетой парижской «Ротонде» 1910–1920 годов. В СССР (в Москве и Ленинграде) после Московского фестиваля молодежи и студентов 1957 года стали организовывать молодежные кафе. Но, как правило, эти учреждения (почему-то помещавшиеся сплошь в «стекляшках» массово-блочного строительства) с бодраячески-молодежными наименованиями быстро превращались в обыденный общепит с запахами шей и жареной трески.

К середине 1960 годов для обеспечения необходимого комфорта иностранным туристам были созданы несколько кофеен при гостиницах «Астория», «Европейская», «Ленинградская» и «Московская». Из них лишь последняя была доступной и для ленинградцев, при этом сохранив и хорошее качество изготавливаемого там кофейного напитка. Вначале это кафе приобрело наименование «Подмосковье», но затем стало «Сайгоном». Кому принадлежит авторство названия, сейчас установить невозможно, но скорее всего — иностранным гостям гостиницы «Московская», для которых этот кафе-бар стал ассоциироваться с популярной тогда антивоенной вьетнамской темой. Несомненно, что сама публика этого кафе в самом центре города — диссидентская (или около- и полу-) , с элементами полукриминальными, а также агентурными — могла напоминать им атмосферу реального Сайгона тех лет. К концу 1970-х проход из холла гостиницы «Московская» в прилегающее к нему кафе был заделан. И в результате «Сайгон» уже тем более перестал быть «Подмосковьем» и приобрел автономию.

В отличие от «Ротонды», которая с самого начала самоорганизовалась вне какого-либо государственно-властного вмешательства и естественно распалась по естественной причине (члены этого клуба просто-напросто устали друг от друга), «Сайгон» своеобразно возник на стыке интересов государства и общественности. Государство пожелало создать место для дозированного и осторожного знакомства иностранных туристов с отдельными представителями гуманитарной «фауны» Ленинграда, нечто вроде «швейцарий» и «шведий» времен Второй мировой войны, где могли бы общаться — и вольно или невольно поставлять ценную информацию властям предрежающим — разные противоборствующие силы. Но, опровергнув первоначальные замыслы своих создателей, «Сайгон» к началу 1970 годов становился все более непрограммируемым — и превращающимся в вариант «Ротонды».

Вот такие наблюдения позволили нам, «часовщикам», понять возможность использования этих самых властных структур в интересах свободной культуры.

...Подходит уже упомянутый Владимир Эрль. За чашкой кофе разворачивает машинописные страницы и продолжает их редактировать (он почти изнасиловал редакцию «Часов» своими указаниями: на сколько знаков надо сделать отступ абзаца, какой пробел...). При том, что он готовит свой текст для наших «Часов», между нами отношения полной нейтральности. Что нас сегодня более чем устраивает.

10.55. Поняв, что в КГБ нас попросту прокатили и выкушав по пятой порции «двойного маленького», мы уже собрались на выход... И тут в дверях появился человек, в обеих поднятых руках держащий по экземпляру газеты «Труд»... Со словами: «Извините, господа-товарищи. Уф! Шел пешком от самого Дома, но ни в одном киоске не было «Труда»... и к нам в контору его сегодня почему-то не доставили... Уф! Видел вас в окне, но без условного знака не рискнул подойти...Уф!.. Пришлось мчаться на Московский вокзал — там всегда доставляют рано... и лишь после этого вернуться... спасибо, что вы таки дождались...Уф!.. Может быть, выпьем по чашечке кофе? У меня к нему есть хороший коньячок...»

...После очередной порции «маленького двойного» мы под водительством нашего переговорщика направились в ближайшее представительство КГБ во дворце Белосельских-Белозерских. И началась длительная, затянувшаяся на многие месяцы, фаза переговоров нашей «группы контакта» с ГБ, чиновниками из Союза писателей и представителями ленинградского Обкома КПСС. Изматывающая дипломатическая война, в которой самым непримиримым противником оказался Союз писателей. Играя на противоречиях и амбициях этих, казалось бы, объединенных сил, нашей команде (с плотным включением стратегического таланта Бориса Иванова) удалось-таки выстоять и выиграть (и за это мы должны быть благодарны «Сайгону» — своеобразной модели тогдашнего общества под названием «Советский Союз»), организовав и легализовав к концу 1981 года «Клуб-81» — первое в СССР объединение неофициальных литераторов. (Все руководители разных ДК категорически отказались приютить в своих стенах «диссидентов», и лишь храбрая Белла Нуриевна Рыбалко, директор музея-квартиры Ф. М. Достоевского, пошла на этот риск.) Которое взяло под свое крыло таких же неофициальных художников, музыкантов, бардов и театральных деятелей. Все они вышли из «подполья» и «квартирного» состояния и обрели общественно значимую площадку — вначале в Музее-квартире Ф. М. Достоевского, а потом и в собственных помещениях во дворе дома № 5 на ул. П. Лаврова. Но это уже другая, длительная, увлекательная и драматическая история...

...А начиналось все с «Сайгона»...



Фотографии В. Пещкова

НАРИСУЙТЕ «САЙГОН»...*

Горошевский: Если сказать: нарисуйте «Сайгон», внутренность его, чрево — то, сколько бы ни было рисунков, чертежей, и описаний, они все будут непохожи. Его — нет. Вот он есть — и его нет. С феноменом России вы сталкивались, наверное? России же был преимущественно фасадник. Ему давали любую внутренность, а он оформлял идеальный фасад. Для меня этот момент очень важен, потому что он для меня есть и в людях... Я вспоминаю «Сайгон» — и вспоминаю сразу, с кем я встречался, с кем я разговаривал, кто на меня действовал, кто — не действовал. Но вот само это место — его нет... Его вечная переменчивость...

Беляк: Я добавлю... Действительно, отсутствие самого места сказывается в том, что всякий его описатель накладывает на это описание свою биографию, свой путь. И если он прошел по пути совершения подвига через это место, то для него «Сайгон» мог оказаться местом инициации, совершения подвига. И он станет говорить о «Сайгоне», что это «то место в городе, которое производит героев». И будет совершенно прав. И наоборот: человек, который в этом месте сломался, потерял человеческое достоинство, но, предположим, еще чего-то сохранил в себе, будет говорить: «Это место разврата, убийства» — и прочее, и прочее.

Горошевский: И еще один момент есть. Мы были люди дворов. Ленинградские дворы — это жесткий мир, совершенно особый. Там было свое воспитание, свои отношения, и так далее. Я думаю, что последний слой, последний выброс воспитанных городом, дворовой культурой — это наше поколение. Я ощущаю это на себе. Для меня защита громадная была — сам двор... И в период 1960—1970 годов «Сайгон» стал для меня компенсацией, воссозданием этого двора, от которого я был оторван с переездом в новостройки. Я в нем иногда — иногда! — чувствовал себя защищенным. Сейчас трудно ощутить на вкус и цвет, что значила тогда защита. Во многом, очень во многом «Сайгон» остался тонкой-тонкой пленкой защиты — защиты от невостребованности. В психологическом аспекте это был акт коллективного бессознательного. Это можно оценивать так или иначе, но это факт — вряд ли в каких-то других городах и в какую-то другую эпоху такой феномен мог произойти. Для этого нужно было, во-первых, талантливое поколение и суровое детство.

Беляк: В «Сайгоне» был лучший в городе кофе — для кого? Для нас, для всех нас, кто ходил туда каждый день. И таких постоянных посетителей было не пять, не десять, не двадцать, не сто. Их по меньшей мере тысяча.

Горошевский: Да, тысчонка наберется...

Беляк: Это постоянных! От уголовников до профессоров. То есть само место, как мы уже говорили, вроде бы и отсутствовало, но для каждого было персональным. Тоня [Славинская] удивительно говорила о публичности, очень точно: «Я знала, что я могу на секундочку войти в «Сайгон» и выйти, но кто-нибудь непременно придет и спросит: «Тоня не заходила?» И ему ответят: «Да, заходила, была». Человек знал, что его увидели». То есть, с одной стороны, входя сюда, он был совершенно один, совершенно независим, а с другой стороны — был на миру. И любой разговор, любое общение происходило на миру. Вот здесь одна компания, живущая своею жизнью, — а другая компания все это наблюдает, реагирует, зубоскалит... Видит! И это становится явлением общественной жизни. Как ни странно,

«Сайгон» — это была своего рода агора*, пусть примитивная, вырожденная, свеленная до уровня вот такого топтания — но все же агора.

Но мы оказались неспособны ни на какое объединение, кроме объединения по судьбе... Я хочу подчеркнуть одну важную вещь, которую Эрик поймет, как никто другой, ибо мы с ним — люди театра. А ведь театр — дело коллективное. Так вот, внутри той культуры никакой театр не мог родиться: собрать людей своего поколения вокруг себя и сообща сделать театр оказалось невозможно, не только по социальным, но и по внутренним причинам. У нас были студии, мы собирали каких-то людей, но люди в принципе оказывали деструктивное действие на любое коллективное объединение. Сколько спектаклей, сколько студий развалили нам наши друзья! Именно вот такого рода индивидуалистической деструкцией.

Татьяна Богомолова

ГАЛАНТНЫЙ ВЕК «САЙГОНА»**

Мое первое впечатление в «Сайгоне» — Витя Ширали, в длинном пальто, с тростью, эффектный. «Сайгон» на рубеже 1960—1970-х годов был исключительно галантным. Меня туда привел Славко Словенов, мы познакомились в каком-то соседнем кафе, где мы с подружкой обедали, и он пригласил попить кофе. Был ноябрь 1968—го. Мы заходим, а там такие лица! Живописные, невероятно красивые в своей неординарности, одухотворенные. Мы тогда все воспитывались на французской культуре — французские романы, импрессионисты, «Ротонда». Это всё я сразу увидела в «Сайгоне». Вот она, свободная, художественная, богемная жизнь.

Я из провинциального города Майкопа, очень чистенького, с белеными деревьями на улице... После Майкопа «Сайгон» был экстримом.

Первый раз я попала в Питер после шестого класса, летом 1961 года, совершенно случайно. Я провожала подругу, которая ехала в Ленинград со своей маленькой сестренкой. Та раскапризничалась и буквально в поезде объявила, что без мамы никуда не поедет, ей и сказали, что «тогда Таня вместо тебя поедет». Так я и поехала в Питер — в чём была. Мы здесь прожили два месяца, и я совершенно влюбилась в город и решила про себя, что буду жить только здесь. После десятого класса я сразу же сюда поехала, поступать в ЛЭТИ. На дневное я не поступила, поступила на вечернее, жила в общежитии.

Жизнь в общежитии была ужасающей. Надо было переночевать и куда-то быстро уйти. Работа, учёба — само собой, но что делать вечерами... Поэтому «Сайгон» невероятно притягивал.

Там все чем-то увлекались — кто-то писал стихи, кто-то — прозу, кто-то — рисовал. И потянуло невероятно. Сразу был брошен институт. Вся физика, в которую я была влюблена в школе, тут же полетела к чертовой бабушке, потому что здесь открылись те окна, о существовании которых я даже не подозревала.

* Агора (греч.) — рыночная площадь, служившая в древнегреческих полисах общегражданских собраний, которые также назывались агорами. Изначально представляла собой открытую площадь посреди городской застройки со стихийной планировкой; однако в классическую эпоху положение агоры стало более обособленным, и позднейший тип агоры — полностью обособленный, с регулярной планировкой — сообщался с городом лишь посредством ворот. — *Прим. ред.*

** Беседовала Юлия Валиева.

В принципе, я считаю «Сайгон» моим университетом, потому что там я нашла такой мир, в который в советское время было ну никак не проникнуть — только в интеллигентных семьях, где оставались еще традиции, сохранились старые библиотеки. В «Сайгоне» мы читали Мандельштама, Сашу Черного, Кафку, Фрейда... Я помню, был такой Витя Беленький, в десятом классе еще учился, а был уже завсегда, и он с очень умным видом произносил слово «Фрейд», любовно так. Снобизм там тоже витал. Но всё, что нужно было знать, — это всё дал мне «Сайгон». Ведь в те времена трудно было даже Достоевского достать. Мало того, что железный занавес отделял от внешнего мира, но и тут у нас было ещё столько занавесочек серьезных.

Если ты приходил в «Сайгон», то обязательно выносил оттуда если не саму книгу, то знание о ней: о том, что что-то вышло и что-то стоит прочесть. Помню, мне там попался двухтомник «Мастера русского стихотворного перевода», представлявший всю европейскую поэтическую культуру, имена, о которых мы вообще не слышали.

За кофейными машинами стояли милые Стелла и Марина, молодые женщины, казавшиеся нам тетеньками. Они знали нас, варили нам отдельно кофе, очень вкусный, хороший.

В предбанничке стоял маленький стол, за которым постоянно сидел какой-то человек полувосточной внешности по имени Гура, его знали все, и он всех знал. Он был типа администратора, — ничего не делал, только присутствовал. Когда ты ищешь кого-то, то спрашиваешь именно у него. Потом, уже много-много лет спустя, я подумала: «Зачем вообще эта единица была нужна? Что он делал в “Сайгоне”?»

Народ был очень разношерстный: студенты из Театрального, компания из Мухи, музыканты, книжники (малоприветный народ, но книги у них можно было поймать стоящие). Каждый вечер приходил один военный, холеный, в пенсне. Запомнился его образ. Аристократическое лицо. Никогда ни с кем не общался, просто выпивал свой кофе, разворачивался и уходил... С портфелем, золотые очки — тогда не было на них моды. Как долго он навевался — трудно сказать, но он запомнился. А кто-то — не запомнился. Лиза Богословская, сегодняшняя моя подруга, тоже все время ходила в «Сайгон», но я ее не помню. И она меня не помнит. Потому что если ты не постоял несколько раз вместе, не побывал вместе в других местах — это не вспоминается. Там было много прослоечек, сегодня ты с ними, а завтра уже в другую сторону пошел — таковы были сайгоновские знакомства.

* * *

30 апреля 1969 года сидим мы в «Сайгоне» на подоконниках и размышляем: «Завтра первое мая, денег ни у кого нет, а надо что-то делать — нерабочие дни, все свободны». И кто-то вдруг говорит: «А не поехать ли нам в Таллин?» Мы идем в ломбард — сдаём кто что может, и бегом на вокзал. Я сдала часы, Генка Филиппов — свое обручальное кольцо, он уже был женат к этому времени. Сесть в поезд в те годы была страшная проблема, все поезда были забиты до отказа. У каждого вагона стоит толпа желающих попасть в поезд без билета. И вдруг на перроне мы видим Хавкина. Он ехал со съемочной группой в Нарву снимать фильм «Зеленые цепочки» (кажется, Хавкин учился на оператора). И я пристроилась к ним. В Нарве все съемочная группа вышла.

Тут в вагон заходит плохо говорящий по-русски эстонский контролер, и всех безбилетников, человек пятнадцать, выпроваживают в тамбур. Билет из Ленинграда в Таллин стоил пять рублей, а штраф — три рубля. Но у меня и трех рублей не было. Все деньги, полученные в ломбарде, мы сдали Генке Филиппову, он был

у нас за главного. Гена — художник, очень фактурный: кудрявая борода, крупные, толстые линзы в очках, внушительный голос. Он ходил в колоритном длинном пальто, высокий. Я думала, ему лет 30, а когда в ломбарде увидела его документы, оказалось, что ему 22 года. Генка устроился где-то в купейном вагоне и был в недосягаемости.

Штраф за меня заплатили три морячка, скинулись по рублю. Потом мы с ними радостно проболтали до самого Таллина.

В Таллин поезд приходил часов в семь утра. И я помню это ощущение — мы приехали на ЗАПАД. Восторг начался еще с перрона, звучала какая-то абсолютно другая музыка, почти «Битлы». Город меня потряс. По всему Таллину были развешаны плакаты: три профиля — Ленин, Маркс и Энгельс. Необычность заключалась в том, что вожди пролетариата ехидно улыбались, — все как один!..

Мы зашли в кофейню и впервые в жизни выпили настоящий кофе. Из маленькой-маленькой чашечки. И еще была маленькая металлическая чашечка со сливками, что нас привело просто в полный восторг. Мы ходили по кофейням, а потом начался парад: тридцать три студента в каких-то специальных фуражечках и рабочий класс в количестве ста человек молча прошествовали по городу и удалились. После этого на улице появился народ — наряженный, гулятельный, без транспарантов, без политики. Мне это страшно понравилось.

Мы пробыли в Таллине еще два дня, то и дело встречали знакомых сайгонщиков. На те крохотные деньги, которые были получены в ломбарде, мы даже умудрились сходить в ««Минди-бар», а затем посидеть в ресторане «Москва». Гена Филиппов сказал: «Надо заказать бутылку коньяка». Она и вообще-то стоила рубля четыре, а в ресторане — рублей шесть. Мы видим, что за соседним столиком эстонцы пьют коньяк, на другом столике тоже стоит бутылка коньяка, а нам говорят, что коньяка нет. Мы поняли: национальный вопрос все-таки есть.

* * *

Это был «галантный век» «Сайгона» — романы сквозные, несквозные, верные, неверные... По-моему, для всего поколения интеллигенции тех времен главной отдушиной была любовь. Чем больше ты читал романы, тем больше возникало у тебя желание любить — так же, как и там. Все были «на грани», влюбленность присутствовала во всем.

С Эмилем Майвером мы как раз и познакомились в «Сайгоне», и много лет прожили вместе, он там был всем известен.

Я к тому времени поступила на дневное отделение в ЛЭТИ и жила у подруги, Лены Шмидт. Она училась на истфаке, на заочном, а работала дворником — ей дали «служебную площадь» где-то во внутреннем дворике на ул. Салтыкова-Щедрина. К нам можно было зайти через окно, мы так и делали. А когда уходили — заваливали окно книгами, чтобы его было не открыть. Ленка взяла халтуру — клеить обои в каком-то полуподвале. Был уже вечер, часов десять. Я зашла в «Сайгон» и встретила там Сережу Лебедева и Эмиля. Сережа Лебедев, сейчас известный историк, тогда уже был большим знатоком города, я любила гулять с ним по центру, он знал о каждом доме и очень живо рассказывал. Сережа — человек исключительно эмоциональный. Я помню, как он мне признался, что когда в детстве узнал о том, что Чайковский гомосексуалист, его вырвало. Эмиль всегда был мрачный, хмурый. В ту пору ему было 28 лет, а создавалось впечатление, что он уже в возрасте. Шапка волос, седые виски, борода с проседью. Если его доставали с национальным вопросом, то говорил, что он древний грек. Он был очень молчаливый, не вступал ни с кем в разговоры, — такой почти недоступный персонаж. Меня это очень интриговало.

Я их встретила и говорю: «Сейчас я иду клеить обои» — и они предложили свою помощь. Всю ночь мы клеили обои. С этого начался наш с Эмилем роман, — мгновенный, быстрый, стремительный. Эмиль тогда был четыре месяца на больничном, у него было отслоение сетчатки. Свободного времени было много, и он каждое утро приезжал в семь утра с Васильевского острова на ул. Салтыкова Щедрина, чтобы меня разбудить и доставить в ЛЭТИ. За четыре месяца, в течение которых он меня возил, наши отношения достигли такого накала, что пришлось бросить и институт, и «Сайгон». Мы стали жить вместе, ушли отовсюду и не вылезали из своей крохотной комнатки в коммуналке, наверное, год.



Эмиль Мабовер. 1970-е гг. Фото В. Пещкова

«Эмиль — президент «Сайгона». Он обычно ни с кем не разговаривал, вставал где-нибудь посередине зала за столиком, чтобы все его лицезрели, — патриарх, туру стоит, на всех смотрит свысока. Женщины от него без ума. Какие-то хулиганистые типы могли подойти к нему, пообещать побить» (Боб Кошелохов)

Но потом все-таки вернулись, и тогда тоже в «Сайгоне» я познакомилась с Таней Горичевой. Таню все тогда звали Хильда. С Таней Горичевой пришла огромная широта всяческих знаний. У меня такое ощущение, что она на тот момент могла защитить диссертации по литературе, музыке, философии, может быть, по каким-то еще неизвестным наукам.

Хильда не так уж заикливалась на «Сайгоне», она всё время устраивала какие-то вылазки. Я помню, Таня нас очень далеко везла в какой-то район, типа Охты. Хозяйка была молодая женщина, пианистка, она преподавала музыку в детском садике или в школе. Хильда нам читала там очень интересные лекции об экзистенциализме, о Хайдеггере.

Встретившись в «Сайгоне», народ оттуда куда-нибудь отползал — например, к кому-нибудь в мастерскую. У Юры Жарких был просто проходной двор. Юра сам не был сайгонщиком, но к нему «Сайгон» ходил толпой. У него была большая мастерская в переулке Ильича, недалеко от Витебского вокзала. Мансарда. Там точно кто-то жил. Юры нет — всё равно народ приходит, расставляют бутылки, садятся за стол... Это было время, когда Юра занимался организацией выставок. Сначала была «Бульдозерная выставка», тогда Юру посадили — мы об этом узнали в «Ольстере», собирались ехать в Москву, его выручать... После этого была выставка в ДК им Газа. Он очень часто уезжал в Москву. Квартира была брошена, и сайгонщики этим пользовались.

Попивали там рьяно. Я помню одну женщину, холёную, всегда хорошо одетую. У нее мама была какая-то «шишка» в Московском райкоме, а она влюбилась в одного художника, всё время проводила в мастерской и за полгода превратилась в алкоголичку. Иногда она пропадала месяца на три, потом вдруг снова появлялась — вымытая, очень хорошо одетая. Но на полчаса. Через полчаса ты её видел опять в хлам пьяную. Потом она исчезла — видимо, погибла. Меня гены спасли. Я всегда не любила алкоголь.

С Эмилем в этом смысле было сложно. Он был очень даже попивающий. Правда, в течение нашего стремительного романа и «затворничества» я даже не знала об этом. А когда мы вернулись в «Сайгон», то познакомились с философской тусовкой, а там все очень любили выпить. Хильда, кстати, тоже не была пуританкой. Но что меня поражало в этой женщине, — у неё всегда была ясная голова. Сидит шумная компания, уже всё прочитали про Хайдеггера, уже всё выпили, и пьяные несут бог знает что — а Хильда в стороночку отошла и сидит, что-то изучает. «Ты чего?» — «Да вот, учу древнегреческий». На полном серьезе, это вовсе не блеф. Помню, ездили на озеро, собирали грибы. Все уже пьяненькие валяются, а Хильда с книжечкой... «Зачем, на древнегреческом же уже никто не говорит!» — «Так на нем все философы... Я в подлиннике буду читать». К этому времени всех немецких философов она уже изучила в подлиннике.

* * *

Как-то Хильда мне дала в перепечатке на «Эре» несколько листов, озаглавленных «Четвертая проза Мандельштама». Там было собрано самое антисоветское: и про газету «Правдочку», и про Сталина, и так далее. Это был 1969-й год. И в сумке через плечо, сшитой вручную из двух салфеток из соломки, очень живописных, я примерно неделю носила эту перепечатку. Мы тогда из «Сайгона» на перекуры ходили в 54-й дворик, там почитаем, или зайдем почитать в парадную... Потом в один из дней я отдала листки то ли Хильде, то ли кому-то другому и возвратилась в «Сайгон». Попили мы кофе (я с мужем, кто-то ещё из знакомых) и разошлись. Мы жили на Васильевском острове, я перехожу на другую сторону Невского, там останавливался шестой автобус. Вдруг на остановке ко мне подходят два молодых человека правильной комсомольской наружности и говорят: «Пройдемте». Я понимаю, что у меня с собой ничего нет, никакого компромата, мне становится весело, и я начинаю говорить: «Что вы, молодые люди, да я замужем, посмотрите — обручальное кольцо. Нет-нет, я верная жена, я с вами не пойду». Они достают какие-то удостоверения, показывают: «Пройдемте...» Мы проходим во дворец Белосельских-Белозерских. Я по дороге шучу, мне так легко и замечательно. Я спрашиваю: «А почему вы меня взяли?» Они отвечают нечто невероятное: «Вчера на углу Невского и Литейного трое мужчин и одна женщина совершили убийство...» Ничего умнее придумать не могли. Приводят

еще нескольких человек, я их хорошо знала. Помню одного, он занимался йогой (тогда йога была в большой моде) и был помешан на Рерихе. Он курил самокрутки и носил с собой табак. Комсомольцы проверили, не марихуана ли это. Конечно, ситуация не из приятных. Одна я была рада — потому, что меня взяли сейчас, а не три часа тому назад. Поэтому я вела себя очень раскованно... Комсомольцы были моего возраста. Один из них сел на стол и вел себя по-хамски, а второму было очень стыдно, он практически не поднимал глаз. Мою сумочку всю перекрутили, так что солома насыпалась внутрь. Выложили на стол безобидного Олдингтона и стали пролистывать. Было понятно, что ищут целенаправленно. Потом привели Колю Сапожникова (он занимался музыкой, продавал пластинки), велели ему снять обувь и нашли у него в носке пять долларов. Коля сказал мне: «Только один человек знал, что там у меня пять долларов — самый верный друг». В «Сайгоне» у всех была паранойя, что вокруг одни стукачи. Помню, поэт Нестеровский дал Эмилию перепечатку своих стихов, тот их прочитал и забросил куда-то на шкаф. Прошло месяца три-четыре, и поэт обвинил Эмилия в том, что он отдал его шедевры в КГБ: «Ты стукач!»

* * *

Бесполезно вспоминать, как ты познакомился с Колесом, — он там был всегда. Это было такое справочное бюро. Когда Витя охмурял девочку, которая только-только появилась в «Сайгоне» и еще никого и ничего не знает, он мог прочитать ей лекцию на тему: «Как я был капитаном дальнего плавания...» В следующий раз это была уже другая история. Он был очень изобретателен и немало знал, чему тоже во многом обязан «Сайгону». Как-то он разговаривал с одним психологом, речь шла о Фрейде, и Витя говорил с таким знанием дела, будто посвятил изучению этой темы немало лет. Потом он женился на дочке Пушкарева, директора Русского музея. Время от времени она поколачивала Колесникова, и тогда он «уходил в монахи». Хождение его в монахи проявлялось в том, что он появлялся в «Сайгоне» в монашеской одежде, при этом проводил там, как и раньше, целый день. Самого монашества не было, была просто одежда.

Сайгонщики любили всякие странности. Эпатаж в принципе свойствен молодости и особенно людям, жаждущим артистических свобод. Я вспоминаю художника Сережу Сергеева и его жену Тому, с которой я тогда была близка. Серёжа продавал иностранцам за доллары свои работы, а так как доллары деть было некуда, он взял и обклеил ими свою комнатушку. Его посадили «за валютные махинации», дали пять лет. Суд был показательный, а в зале сидели все сайгонщики. Махинаций на самом деле никаких не было, Сереже хотелось в эмиграцию, и он думал, что за подобные выходы его вышлют из страны, как многих тогда высылали. Но его взяли и посадили. Тогда он написал Юрию Гагарину в надежде, что тот вызволит его из тюрьмы. Но ему еще два года добавили... Его жена, Тома, после того, как Сережу посадили, вдруг переделась в мужское платье, это был демонстративный уход в мужское...

Помню, мы поехали на пикник в Лисий нос — Колесников, его жена Марина Пушкарева, Томка Сергеева, я, Эмиль и Валя П.. Решили искупаться. Когда разделась Марина, я так и ахнула, — у неё была самая настоящая дистрофия. А Томка Сергеева оказалась в мужских трусах. Томка, надо сказать, культивировала в себе психическое нездоровье. Помню, она не хотела работать. Как взять больничный? Она раздобыла сухой лёд и держала его в руках, пока не сожгла ладони.

Подобных примеров было много среди сайгонщиков. Поэт Славко Словенов всё время не работал, ему платили какую-то пенсию, но, наверное, очень маленькую, однако неохота работать было очень сильна. Он подходил к кому-нибудь

и очереди и спрашивал: «Можешь купить мне кофе?» — «Да, могу». Если же видел, что из кошелька достают 3 рубля или 5 рублей, то добавлял: «И четыре пирожка!» Выбирал интеллигенцию, которая к нему относилась с пиететом, потому что он писал хорошие стихи.

* * *

Мы периодически пытались выйти из «Сайгона». Народ там здорово покосился алкоголем, потом здесь стали собираться в основном асоциальные люди, их становилось всё больше и больше, и в конце концов в «Сайгоне» стало невозможно существовать. В 1973 году после «Бульдозерной выставки» мы (Хильда и вся наша тусовка) демонстративно ушли в кафеюшку на ул. Марата. Тогда были какие-то события в Ольстере, и мы назвали эту кафеюшку «Ольстер». Кофе там хороший варили, но всё было менее демократично, и надолго мы там не прижились. Потом пытались уйти в «Эльф». А после рождения сына и в дальнейшем, в 1976—1980 годах, в «Сайгон» я могла зайти только выпить кофе. Желания встретиться с кем-то уже не возникало.

Хотя какие-то связи сохранялись. Была дивная Наташа Крачун. У неё оседали все, кто в «Сайгон» уже не ходил. Она была очень красивая — маленького роста, миниатюрная, очаровательная. Помню такой эпизод. Тогда в моде были дубленки, стоили бешеных денег. Как-то Наташка пришла в «Сайгон» в дубленке из искусственного меха, сшитой из двух ковриков, на которых была нарисована Эйфелева башня. Такое народное творчество. Это была жесткая конструкция, без воротника, не облегалась, мех вылезал везде... Наташа из университетской семьи, поэтому воспитание у неё было соответствующее. Легендарный искусствовед Боря Зернов рассказывал, что как-то пришел в гости к Наташиной маме и увидел девочку лет двенадцати. Она сидела и читала толстенный том Шекспира. Боря рассказывал: «У меня аж сердце ёкнуло от ужаса, что я сейчас могу в нее влюбиться». Настолько она была прекрасна.

Как ни придешь в ее квартиру на пр. Кима, сидят все вокруг неё и смотрят ей в рот. Она рассказчик — потрясающий. Любую историю расскажет так, что если эта история была на самом деле, то наверняка хуже в сто раз, чем её рассказала Наташа. Кроме того, пела притягательно невероятно — хриплым голосом, с удивительными модуляциями.

...С Глебом (Богомоловым) мы стали жить в 1984 году, «Сайгон» тогда был уже очень неприятен, мне не хотелось туда даже заходить. Одно дело — тебе двадцать лет, другое — тридцать. Я не думаю, что кто-то там оставался надолго, всё-таки «Сайгон» — это определенная ступень твоего образования и познания мира. Потом перед тобой уже новая ступень...

Татьяна Суворова

НЕ ИЗМЕНЯТЬ ПАМЯТИ

Воспоминание — процесс удивительный, интересный, захватывающий, иногда — пугающий. Вспоминая то, что было достаточно давно (в прошлом веке!), начинаешь реально ощущать в том числе и собственный возраст. Вспоминая, понимаешь, что это было в другой стране, в другом городе, что были у тебя иные ценности, и что люди, которые тебя тогда окружали, жили вместе с тобой в другом времени.

Воспоминание — процесс до некоторой степени мистический, потому что, вспоминая людей, которых, может быть, уже и нет на этой земле, ты невольно как бы притягиваешь их к себе вместе с событиями, в которых вы когда-то участвовали и с местом, где когда-то встречались.

Воспоминания словно яркие стеклышки калейдоскопа, образ не мной придуманный, но очень точный. Порой стеклышки эти складываются в единую картинку, а порой рассыпаются в виде ярких осколков из людей и событий.

Итак, «Сайгон». <...> У каждого, кто попытается вспомнить о нем, возникнет в памяти свой «Сайгон».

Возможно, он был не только и даже не столько удобным местом встреч за чашечкой крепкого кофе, но и тем самым местом, где мы чувствовали себя свободными. Свободными от условностей повседневной жизни, свободными в создании собственного образа, который сами же и поддерживали и который давал нам право на поступки, соответствующие этому образу. Иногда это приводило к тому, что у человека появлялось прозвище. Вот, например, Витя Колесников имел прозвище «Рупь двадцать». И потому, что ходил припадая на одну ногу, и потому, что всегда просил в долг именно эту сумму. Все знали, что долг он никогда не отдаст, но, давая ему деньги, каждый мог почувствовать себя чуть-чуть Ротшильдом, чем Витя и пользовался. <...>

Какие разные люди встречались в «Сайгоне»!

Михаил Сергеевич Боярский, который был восходящей звездой театра им. Ленсовета, — и он забегал на чашечку фирменного кофе «от Стеллы», далеко не всегда в нынешнем респектабельном виде и без шляпы.

Олег Даль — Царствие ему Небесное — однажды долго не мог преодолеть три ступеньки внутри кафе. Ему кидались помочь, но он помощников отталкивал, пытался над собой смеяться, только глаза были очень грустными. Был он в сером свитере грубой вязки и черных джинсах, и при этом почему-то показался мне очень похожим на молодого Пушкина.

А начинающий тогда писатель Валерий Воскобойников включил «Сайгон» как замечательный образ в одно из своих произведений, добавив тем самым себе популярности, а «Сайгону» дополнительной загадочности и престижности. <...>

Практически каждый, кто приходил в «Сайгон» регулярно, становился причастным к своему особому кружку, к своей компании. И хотя жестких рамок, конечно же, никто не ставил — да и какие «рамки» могли быть в «Сайгоне», где все знали всех, — но определенные неписанные правила общения соблюдались.

Собирались за столиками «книжники» — те, кто занимался скупкой и перепродажей книг. Были они тесно связаны с продавцами из магазина «Букинист» на Литейном. Особенно запомнился мне Толя — личность не очень приятная, можно сказать — скользкая. У него были тонкие губы, маленькие холодные глаза, и интересны ему были только деньги. А книги были для него лишь средством, чтобы эти деньги делать. Но при этом достать он мог практически любую книгу, и многие этим пользовались, несмотря на высокие цены.

Отдельная компания была у девушек с нетрадиционной ориентацией. Там была и парочка лесбиянок Маша—Наташа, и очень добрая и, по-моему, несчастливая Нина, и кто-то еще...

Ходили слухи о том, что в «Сайгоне» собирались представители криминального мира, связанные с распространением наркотиков. Возможно, это было и так. Во всяком случае, фарцовщики там были точно. Несколько раз была я свидетелем милиейских «рейдов». Но забирали только очень пьяных или открыто нарушавших общественный порядок. С остальными — договаривались. Часто милиционеры пользовались служебным положением для того, чтобы без очереди получить чашечку

кофе, сваренную Верой Петровной, или Галей-маленькой, или Мариной — яркой, высокой, темноволосой, острой на язык.

Кстати, совсем недавно встретила я Галю-маленькую. Она работает кондуктором троллейбуса.

Помню Наталью Шумкину — вот уже у кого поведение было в полном соответствии с фамилией. Она работала фельдшером на станции скорой помощи, часто появлялась после ночных дежурств в состоянии достаточно «расслабленном» и, возвышаясь над крайним правым столиком, с удовольствием раздавала всем медицинские и иные советы. Была она страстной любительницей животных и даже несколько раз появлялась в «Сайгоне» со своей любимцей — ньюфаундлендом Катей. (Кстати, вот еще пример удивительной особенности человеческой памяти: я до сих пор помню и эту собаку и ее записанную в родословную кличку — «Анна-Мария-Кэт-Ну-ну фон Марбэлл»).

Коля Сапожников («Граф»), Костя Бойченко, Гена Волосов запомнились мне потому, что были они доброжелательными, любящими выпить, стремились произвести впечатление интеллектуалов, а на самом деле (впрочем, это я уже потом поняла) были, что называется, «с неудавшейся судьбой». Их уже нет на свете, но в памяти остались их лица, характерные жесты и словечки. И пусть их всех Там простят.

А какой яркой парой были супруги Банщикovy — Роберт Семенович и Яна. Разница в возрасте была у них около тридцати лет. При этом и разница во внешности также публику эпатировала. Он — высокий, снежно-седой, с холеными тонкими руками художника, и она — маленького роста, толстушка с большими карими глазами. Знаю, что было у них трое детей. Роберт давно скончался, а вот Яну я недавно мельком видела в метро.

А к какой компании принадлежала я? Не знаю. Скорее к богемно-студенческой. Одно время у студентов университета была своеобразная мода — встречаться в «Сайгоне». Да и жила я тогда неподалеку, на Караванной улице (тогда — Толмачева). И, наверное, очень хотелось мне убежать из коммунальной квартиры, прийти в «Сайгон» и, пусть лишь на некоторое время, ощутить себя причастной какому-то иному миру. Это, конечно, была иллюзия. Но, видимо, именно это стремление к иллюзиям — а у каждого из нас они были свои — и собирало людей в этом странном и чудесном месте. Ибо там можно было получить не только замечательный кофе с пирожными. Там еще предлагали иллюзию «свободы, равенства и братства», там тебе могли продать мечту.

И если бы вдруг сейчас случилось чудо и на прежнем месте открыли кафе с названием «Сайгон», я бы, конечно, туда не пошла, чтобы не разрушать иллюзии и не изменять памяти.

Наталья Крачун

БОГЕМА*

Привела меня в «Сайгон» Таня Ведякина, моя школьная подруга, — она там бывала. Это было самое начало 1970-х. Стала я ходить, сначала забегала-выбегала, затем немножко пообтерлась, а потом меня уже просто было оттуда не вытащить. Начались прогулы университета, я уходила с утра из дома, якобы на

* Беседовала Юлия Валнева.

мы бегали
фотографироваться в
фотоавтомат напротив
«Сайгона»



Наташа Крачун
и Лена Гордиевская



Серета Грудзин



Сергей Михайлов

поиски работы, а сама — в «Сайгон». Потом уже у меня были и университет, и работа, и семья, и дочь, и вместе с этим «Сайгон». Придумывались дела: ой, мне завтра нужно в «Сайгон» — я Петру отдала шариковую ручку, я без нее просто не могу. Сами для себя объяснения находили. Как будто ты участвуешь в создании мифа, а при этом понимаешь, что это какая-то чепуха — и пытаешься этому придать какие-то рациональные контуры. А потом уже выживала оттуда дочь свою и отправляла быстренько домой: «Нечего в «Сайгоне» в годы твои находиться»...

Там мы — во всяком случае, я — ожидали какого-то чуда. Стоим, общаемся с прелестными, интересными людьми и всё на дверь смотрим: вот, сейчас войдет какой-нибудь принц, въедет на белом коне... Хотя и так всё сияло и полыхало. Прелестное было место! Однажды стояли мы у «Сайгона», на плече у Сережи Михайлова сидел Колесников и кричал противным голосом: «Пиастры, пиастры!», — а Сережа похлопывал по плечу и говорил: «Колесниковы живут вечно». Говорили, что нет ничего прелестнее на свете, чем стоять у «Сайгона» вечером и смотреть в сторону Адмиралтейства: солнце садится, а все девушки — на контражур... Ну и, конечно, «Сайгон» — это бесконечное распивание, поэтому осваивался вокруг архитектурный контекст — 51-й двор, соседние дворы, «Пале-Рояль», в котором было прелестно выпивать. Однажды мы пьянствовали целый год, не прекращая даже на время лютот зимы, и гости из Москвы говорили, что это просто эльфийский шик. Вино покупалось в «Зеркалах». Но и частенько выпивали «у Соломона», это была распивочная на вынос, на противоположной «Сайгону» стороне Невского, в одном из подвальных. Всякие фраера там, конечно, пили коньяк с лимоном, а мы — попроще, сухое вино. И это, может быть, оздоравливало ту часть нации, которая была в «Сайгоне». Портвейн можно было купить не всегда, но особо мы за ним не гнались, потому что это было не стильно. Хотя пили. Травку если и курили в те ранние времена, то это было интимным делом. Всё-таки мы были воспитанники советских школ. Для такого внутреннего раскрепощения нужно или быть природным курильщиком, или иметь духовные запасы. Я до сих пор с предубеждением отношусь к наркотикам вообще и к траве в частности... Вспоминаю слова одного нашего московского друга, который сказал: «Стакан какого угодно спиртного могу поднять за государя императора. А косяк не поднимешь!» Вообще наркотики — индивидуальное

дело, а «Сайгон», напротив, объединял хотя бы формально. Мы ходили туда, чтобы спланиваться, кучковаться, клубиться. Одиночества и глубин своих собственных всем хватало. Ходила такая шутка, что окажись на Северном полюсе и там тебе встретится какая-нибудь сайгоновская морда.

На нас однажды обиделся Сашка Голубков за то, что мы его «настоятельно» приглашали выпить с нами, «чтобы не обидно было». Но он не пил. Насколько я помню, у него одно легкое было. Может быть, поэтому не пил. А может, потому, что он был достаточно сильный человек. Сашка был очень высокий, костлявый, красивый, похожий на усохшего викинга — густые светлые волосы, борода, усы. Мог выдуть из стекла что хотите. Когда ставили «Орфея и Эвридику», он играл Смерть...

Мы не испытывали физиологической потребности в спиртном, просто сходились и выпивали. Наверное, притягивал единый дух. Однажды, когда «Сайгона» уже не было, мы с моей московской подружкой зашли в кафе, называемое в народе «Террорист», на улице Желябова. К нам подошли два мужика, предложили: «Не хотите ли выпить за граждан города Кале?»

Хотя я не со всякой компанией ходила выпивать, но, наверное, с любым сайгоновским человеком можно было выпить и найти какие-то общие темы.

Иногда бегали в киношки. Я помню, в кинотеатре «Знание» показывали документальный фильм «Японские сласти». Весь зал был набит сайгонщиками. Стильный фильм о приготовлении пирожных... И на фильме «Подземка» весь зал в кинотеатре «Титан» был набит сайгонщиками.

* * *

Говоря о «Сайгоне», я прежде всего вспоминаю Колесникова. Много про него могут гадостей понарасказывать, но мне вспоминается только хорошее. Как-то мы с Ленкой Гордиевской курили в одном из соседних дворов, в парадной, а по лестнице поднимались два пьяненьких противных мужичка, и они позволили себе какое-то замечание в наш адрес. Я пропустила его мимо ушей, а Ленка стала мутузить этих двух мужиков, а мне заорала: «Дуй в «Сайгон» за подмогой!» Я туда влетела, заорала: «Гордиевскую бьют!» Все сначала замерли, как у Гоголя, а через минуту первым спасти Гордиевскую кинулся, хромая, Витя Колесников. Когда мы прибежали, мужики уже были скручены, связаны. Менты говорили: «Может, вы их пожалеете?» Гордиевская подобрела: «Да ладно, пусть идут». А я кричала: «Нет-нет, не отпускайте этих гадов!»



Витя Колесников



Виктор Хватов
и Лена Федосова



Лена Гордиевская



Надя Скачкова



Лена Федосова



Гершт

Моя однокурсница Юлечка Заливалова уезжала в стройотряд, она снимала комнату и попросила у хозяйки разрешения оставить чемоданы. Хозяйка ей сказала: «Ты мне тридцать пять рублей ещё должна». Это были деньжищи! Юля умоляла меня спасти её чемоданы. Мы честно собирали в «Сайгоне» деньги, но тут же всё пропивали. В какой-то момент я уже начала обливаться слезой, потому что не выполнила поручение подруги. Колесников заметил мое уныние: «Ты чего рыдаешь?» — «Ну вот, Юля, деньги, чемоданы...» Не хватало двадцати рублей. И Колесников вынул их из кармана и хладнокровно мне вручил, доехал со мной на такси, и мы забрали чемоданы. Через какое-то время я ему про это напомнила, он совершенно искренне забыл. При этом он любил рассказать всякие героические истории о том, как он служил на флоте лет двадцать, сидел в лагерях лет пятнадцать и т. п. А все свои подлинные подвиги и приключения опускал.

Стоять в очереди безумно раздражало, потому что бесконечно подходили люди. Колесников мог за вечер взять двести тысяч чашек кофе — для одного, для другого, для десятого. Хотя странно, что раздражало, потому что, в общем, не из-за кофе совсем мы туда ходили. Как будто бы главное дело — взять кофе, взять и давиться им, без сахара, или есть слоеные пирожки с брынзой, которые, кстати, были чудные. Наверное, мы приходили туда общаться, заводить новые знакомства. Со многими я до сих пор поддерживаю отношения. Прелестная у меня тогда завелась подруга Лена Теткина (Емельянова). Познакомилась я с ней так. Мы шли выпивать, и уже собирались перебежать по-быстрому Невский, а она стояла, курила. Женщина такой красоты... Один из моих товарищей говорит другому: «Какая потрясающая женщина — такая, что духу не хватает подойти заговорить с ней». А я её пригласила с нами выпивать: «Девушка, пойдёмте...» И мы подружились и как сумасшедшие дружим до сих пор.

Московский приятель, Алеша Бубнов, по прозвищу Джеб, неоднократно приезжал к нам в гости в Питер. Он был художник-монументалист, типичный московский человек — очаровательный, интеллигентный. Его папа написал знаменитую картину «Утро на Куликовом поле».

Как-то мы проводили Джеба на вокзал, у него было восемь рублей в зубах на плацкарт. Но денег не хватило, потому что плацкартных билетов не было. Он пошел в «Сайгон» и, хотя он там никого не знал, насобирал недостающую сумму, ссылаясь на нас.

Сайгоновские люди одевались очень по-разному. Но мне кажется, что тот, кто был склонен к экстравагантности, именно в «Сайгоне» мог реализовать себя. Сережа Михайлов (мой первый муж, теперь он в Беломорске священник) носил джинсы, разрисованные шариковой ручкой, дамскую вязаную голубую кофту, зашитую, одетую задом наперед, а волосы были покрашены в ярко-соломенный цвет. Он был похож на персонажа из «Бременских музыкантов»: клेशи, красивый мужчина, и девки падали в обморок. А еще солдатскую шинельку, обрезанную, носил. Он, кстати, и траву курил, из армии вынес эту привычку.



Татьяна Ведякина

В «Сайгон» в затрапезном виде все-таки старались не ходить, во всяком случае, девушки. А если это был затрапез, то продуманный и стильный... Рита Отто одевалась в стиле лондонской девушки. Очень худенькая, в каких-то ботиночках, шубочке... При этом не то чтобы красotka, но очень привлекательная. Яркая, рыжая. Никакой косметики, боже упаси. Моя одноклассница, Елена Пташкина, перед походом в «Сайгон» два часа красила ресницы тушью за сорок копеек. И ресницы у нее были безупречные, километровой длины. Ехала она в троллейбусе в «Сайгон» и говорила: «Боже мой, какая я красивая, какие у меня ресницы». Я сначала думала, что они накладные и ужасно удивилась, когда узнала, что настоящие. Однажды я очень коротко подстриглась, совсем ежиком, в силу некоторых обстоятельств — нужно было на работу, шпильки растерялись, а рядом была подруга с ножницами, она сказала: «Ты похожа на городскую сумасшедшую, дай-ка я тебя подстригу». Я тогда ресницы красила синей или зеленой тушью, очень стильно выглядела — зеленая тушь, фиолетовый костюмчик. В таком виде я ехала в «Сайгон». Какие-то простодушные провинциалы громко сказали: «Смотри, какая тетка смешная — мало того, что из психушки, еще и ресницы зеленые». У меня были красные штаны, из-за которых меня пытались выгнать из университета. Замдекана говорил: «Что на вас, что это?!» Я говорю: «Пиджак, штаны» — «У вас же красные штаны! Красные штаны носят дураки!» За меня мама вступилась, она работала на истфаке. Но тогда университет был немножко ханжеским.

* * *

Многие из нашего дружного класса занимались в эрмитажном кружке, мы там ставили спектакли, и в «Сайгоне» оказались этой школьно-эрмитажной компанией, поэтому существовали там немножко обособленным миром. На нас, безусловно, оказала влияние наша учительница Людмила Александровна Иволгина, она и сейчас работает в Эрмитаже. В свое время она нам прочла газетную заметку: «Шел по чешским землям советский танк, чехи стали делать баррикады, и наш танкист, чтобы их не задавить, свернул в кювет и погиб». И спросила: «Дети, что вас потрясло в этой истории?» Мальчики сказали, что, мол, «не дело строить баррикады», девочки стали петь хвалу танкисту. А Людмила Александровна сказала: «Запомните, пожалуйста: самое потрясающее в этой заметке то, что по чешской деревне шел советский танк, с этого надо начинать. Всё остальное уже вторично». Она не допускала в людях непорядочности. Потрясающая женщина. Может быть, благодаря тому, что у нас была такая училка,

мы и оказались в «Сайгоне». Хотя не все мои одноклассники там прижились, кое для кого там было слишком богемно.

Богемность заключалась в выпивании, курении, употреблении ненормативной лексики. В «Сайгоне» были разные персонажи. Ужасающим мастером всего вышперечисленного был великий художник Гена Волосов. Он не выглядел ни респектабельным, ни обаятельным, он был ужасный грубиян и скотина. К вашему столу мог подойти вор-карманник, совершенный бандюган, и нахамить, и даже плюнуть вам в кофе, оказывая этим внимание... Был там Коля Таллинский, скользкий субъект, наделенный довольно-таки отрицательным обаянием. Забулдыга и шаромыжник. Он на некоторое время исчез из всеобщего поля зрения, а потом появился без нескольких пальцев на руке... Заходил частенько дюжий, крупный мужик по прозвищу Полковник. Про него говорили, что он бандит и злодей, спекулянт и авторитет.

И напротив, среди сайгонщиков был потрясающий Эмиль Майовер, библейской внешности, с ангельским голосом... Коля Сапожников, фотограф, — красавец-мужчина, такой персонаж итальянского кинематографа 1960 годов... Еще был удивительный Сережа Хренов, гениальный физик. Он ездил в командировки в Светлогорск и врал (а может, и говорил правду), что там снег и сосульки разноцветные. Потом Сережа стал переводчиком. Иногда мы посмеивались, говорили, что он в переводах исчерпывает весь свой словарный запас. Хренов был окаянный пьяница, но абсолютно светлый человек при этом. Однажды он возвращался домой пьяненький, у него была при себе какая-то крупная сумма денег, гонорар. Что-то случилось, он выпал из окна на лестнице. Очень много народу его хоронило.

В «Сайгоне» было видимо-невидимо сумасшедших или полусумасшедших. Однажды в очереди я услышала чей-то воландовский бас: ««Сайгон» — прият лишенцев». Я тогда не знала, что такое лишенец, мама мне объяснила.

Были там и проститутки. Лена Гордиевская рассказывала... Раннее для «Сайгона» утро, почти никого нет. Продажная женщина пьет себе кофе. Напротив нее стоит военный, в чине полковника, а может, подполковника. Смотрит на нее, достает четвертак, складывает пополам, кладёт его на стол и щелчком отправляет к ней, а она ему также щелчком возвращает его обратно. Полтинник — она его обратно. Тогда он — сто рублей. Она допивает кофе, кладет деньги в сумочку, и они выходят из «Сайгона». Может, врала, но история очень стильная. И такие люди тоже, безусловно, бывали в «Сайгоне», все-таки это географически удобно расположенное место.

Стоишь, куришь у «Сайгона», а тебе шепотом говорят, что тут лучше не кури и вообще не болтай, потому что в стены вмонтированы камеры и микрофоны и так далее. Что казалось мне вообще довольно бессмысленным. Было, конечно, определенное фрондерство, но фоновый уровень был не выше, чем на любой кухне. Слава богу, с этой стороной сайгоновской жизни мне сталкиваться не приходилось. Я считала все эти разговоры фигнёй. Хотя кое-кого это коснулось, например Витьку Абрамова. Он закончил Театральный. Работал сначала во Дворце молодежи, а потом стал независимым режиссером, поставил «Алису в стране чудес». Прелестный человек, хотя и пьяница, конечно. Как-то его вызвали в Большой дом и сказали: «Вот, у вас такой широкий круг общения, с молодежью работаете, а бываете в «Сайгоне». Давайте как-нибудь сотрудничать». Он: «Да что-то у меня нет настроения». А ему: «Ну, может вам тогда не стоит с молодежью работать?» Он с перепугу перестал бывать в «Сайгоне». Потому что не захотел стучать — и спасибо ему за это.

А еще бесконечно сидел на подоконнике один мужик и рисовал, рисовал, рисовал. Рисовал сайгоновских обитателей...

Александр Киселев

ПЕРЕКРЕСТОК*

Паренек я был шустрый. Мои детство и отрочество были абсолютно криминальными: приводов в милицию с детских лет было не десятки, а сотни, постоянно под контролем участковых — я ведь уличный человек, меня уже в пять лет в карты научили играть... Не знаю, как у меня хватило ума, но я вдруг резко отошёл от криминала и «ударился» в богему. Стал писать стихи, пошёл в театральную студию. Она находилась в ДК им. Дзержинского. Сценическое движение у нас преподавала очаровательная девушка с филфака. Она была мастером спорта по фехтованию, красавица. Мы, молодые, все от нее фонарели. Студия, стихи, всё завертелось, закрутилось — любовь, интересные люди... Попросили помочь, книжки привезти — как не удружить? И я стал во время своих поездок в Таллин у моряков забирать книжечки, изданные «Посевом», и так, в бумажном мешке, не особо заморачиваясь, привозил. Содержание того, что я вёз, меня не очень заинтересовало, только одного автора, помню, прочитал — Максимова. Интересен был сам процесс — контрабанда, конспирация и т. д. Съездил три раза, а на четвертый раз меня встречают на вокзале товарищи в погонах. Естественно, начинается: «Кто? Кому вёз? Мальчик, тебя запутали...» Говорили с «мальчиком» (мне было семнадцать лет) не больше часа — пока не получили мое досье, из которого увидели, что имеют дело с махровым представителем криминального мира. Для них сразу понятно, что если я воспитан в той среде, то договариваться со мной бесполезно и статью «антисоветская пропаганда» мне неудобно приписывать. Меня отпустили, а около дома, у пивного ларька, ко мне пристали три мужика. Сцепились, у меня нож с собой был. Менты мне тогда сказали: «Старичок, что тут говорить — подписывай да иди в Кресты, потому что не нашего это ума дело». Тогда был указ о борьбе с хулиганством, статья 206, часть вторая: «особо дерзкое хулиганство, от трех до пяти лет». Меня — в Кресты, четыре месяца жду суда, всё говорит о том, что дадут по максимуму, поскольку «курируют». В то время я работал в Ленкоме рабочим сцены. А как раз тогда же (это был 1961 год) вошли в моду общественные защитники, и из театра приходит меня защищать Юлиан Панич — очень популярный артист, кумир женщин (после фильма «Разные судьбы» даже продавались открытки с его фотографией). Кроме того, у меня был адвокат, причем один из самых дорогих в Питере. Моя мама была страшно удивлена, ведь я не имел никаких таких доходов. Вот говорят, что не было в Питере организованной преступности, а она была. Кто-то подсуетился, и у меня появился легендарный адвокат тех лет. Он говорил минут пять. Потом вышел Юлиан Панич и тешил судей около часа, декламировал стихи, отрывки из «Венецианского купца»... В итоге получилось совершенно невероятная ситуация: меня освободили из-под стражи прямо в зале суда и дали два года условно. Видимо, сработало, что Панич — известный актер, может последовать какой-то интерес к этому делу, всплывут прочие обстоятельства. Более того, когда стали зачитывать имена пострадавших, оказалось, что двое уже сидят, а третий числится во всесоюзном розыске. Получалось, что мальчишка семнадцати лет изувечил трех матерых уголовников! Меня выпускают. А в отделе кадров мне уже в трудовую книжку вписали: «Уволен ввиду ареста». Значит, на работу мне не устроиться, книжку показываю — от ворот поворот. Я болтаюсь без работы четыре месяца, и тут выходит указ «О борьбе

* Беседовала Юлия Валиева.

с тунейдством». Не успел он выйти, как через два дня утром за мной приезжают, везут на суд и выписывают два года ссылки в Каргаполье, в Архангельской области. Там уже были настоящие диссиденты, опытные, умные люди. Там я познакомился и с будущим лауреатом Нобелевской премии. В Каргаполье я работал конюхом, у меня была своя комната над конюшней, с печечкой, со всеми удобствами. Считал я себя крутым пацаном, ведь у меня уже вторая ходка... Бродскому говорил: «Иосиф, держись меня, не пропадешь». Смешно вспоминать.

Проходит три месяца, под диктовку умных людей я пишу заявление в местный суд. Поскольку в Каргаполье у меня «кураторов» не было, моё заявление принимают к рассмотрению, и через месяц выдают приговор, что я должен перевоспитываться по месту жительства. К невероятному удивлению моих «кураторов», я возвращаюсь в Питер. Подчеркиваю, я не был диссидентом, но «вели» меня до самой армии, и в армию продолжали приходить повестки: «Явиться на суд в качестве третьего лица». Мой замполит говорил: «Как же! Служить кто будет, если всех отпускать на ваши разборки!»

Когда «Сайгон» открылся, я был в армии. Мало кто вспоминает о том, что тогда, в 1960-е, все эти кофейни появились в связи с желанием иметь свою «Ротонду». В университетских кругах читали «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга, уважали Ремарка и Хемингуэя... Сидим, об искусстве разговариваем, картины свои показываем. Такие бородатые... Из следования этой внешней форме появлялись профессиональные сайгонщики — люди без ничего. Эта тоска по месту, где можно выпить кофе и посидеть, присутствовала потому, что такого места не было по определению. В кабак идти — там «школа сервиса». Официанты следили за тем, чтобы ты не расслабился и не раскуривался, а как можно больше ел и поскорее уходил. Любимое дело тогда было смотреть в Таллин, прибегать утром с поезда, зайти в ближайшую кофейню, заказать кофе, сесть с сигаретой... «Сайгон» был не первым, до него существовала Малая Садовая, но и у неё были предшественники. Первой точкой в Ленинграде, где можно было посидеть, выпить кофе и даже втихаря покурить, было кафе «Экспресс», двухэтажная стекляшка на углу Суворовского и Старо-Невского. На втором этаже ты мог взять кофе и мороженое. Там не было официантов. Сам подходишь к стойке, берешь, садишься. Место уютное, с хорошим видом на перекресток. Приезжали литераторы, занимали несколько столиков, читали стихи. Это было на самом деле похоже на «Ротонду».

Поскольку рядом Московский вокзал, это кафе быстро приобрело известность еще и среди уголовников — народ возвращался с зоны и по дороге домой или куда-то ещё назначал здесь встречи. Богемная ситуация: криминальный мир и филологи прекрасно сосуществовали. Второй этаж «Экспресса» экзотично пах анашой, поскольку вечером уголовники всю шмалили. Кстати, в этом кафе никаких политических репрессий не было, милиционеры гоняли исключительно за распитие алкоголя и курево. «Экспресс» прожил долго, но не стал таким местом, как Малая Садовая или «Сайгон».

Название «Сайгон» появилось не сразу. Прошло какое-то время, и поползла слава, что там собирается всякий сброд. В разгаре была война во Вьетнаме, сайгонская история, и по радио в любых новостях говорилось о том, что «Сайгон» — это гнездо разврата и наркотиков, где гниет американская армия. Это было на слуху. В ответ возникло чувство протеста. Потом появилось кафе на Петроградской стороне, ему приклеили название «Рим», но оно было не слишком популярно. Когда на Невском проспекте в разгар ирландской войны появилась маленькая кофейня в кондитерском магазине, её называли «Ольстер».

Сейчас придумали новые слова, которые тогда не употребляли — «параллельная культура», «андеграунд» (это слово, может, и было, но оно с «Сайгоном» как-то

не вязалось). Очень многие знали о «Сайгоне», но ходить туда не ходили. Отлично помню, как один приятель, который сейчас делает о «Сайгоне» телевизионную программу, тогда говорил: «Что вы суетесь в эту грязь? Здесь одни придурки!» Он был человек востребованный, нормально живший, для него это был грех. Можно было наблюдать картину, достойную кисти передвижника: наш знаменитый ИТР в «Сайгоне». Инженеры начитаются «Смены», «Комсомольской правды» — их жизнь скудна, им любопытно, что же там происходит, и они, отойдя от кульмана, после работы возьмутся за руки и идут в «Сайгон» посмотреть. И вот конец рабочего дня, ко всем кофеваркам стоят очереди из итэзровцев, они разглядывают друг друга с таким ужасом! Ты стоишь сзади и слышишь, как они перешептываются: «Ой, какие тут рожи собираются! Какой кошмар!» Это гениальная ситуация! Они глядят друг на друга и пыхтят: «Надо же, действительно, какие тут морды страшные!»

Всё происходило по определенным законам жизни социума. С социальной точки зрения «Сайгон» приносил несомненную пользу. Всегда настает такой момент, когда молодой человек оказывается перед выбором: или ты выбираешь тернистый путь и блуждаешь, но добиваешься своего, или просто зарабатываешь деньги, успокаивая себя мыслями: «Я вот сейчас заработаю еще чуть-чуть, за машину рассчитаюсь, на квартиру заработаю, а потом для души напишу, нарисую, сниму...» Как во все времена и во всех романах. В те времена, когда существовал «Сайгон», если человек выбирал тернистый путь, он не проваливался в одиночество, как это происходит сейчас. Я выбрал путь дворников и сторожей, но я всегда могу пойти в «Сайгон» и найду там единомышленников, с которыми могу стоять и через окно поплевать на этих граждан, которые пашут неизвестно ради чего. Время изменилось, и сейчас «Сайгон» был бы невозможен, не нужен, не востребован. У сегодняшнего поколения, которое стоит перед таким выбором, — всё круче и страшнее. Если ты пошёл по тернистому пути, тебе моментально закричат: «Лузер, лох!» Твои одноклассники, твои ровесники, даже если они к тебе хорошо относятся, смотрят на

тебя с чувством сострадания. «Сайгон» в этом отношении был своеобразным инкубатором, где можно было сохранить себя и найти себе подобных. Хотя «Сайгон» тоже не всегда был приятен, там была категория людей, которые уже тогда делали из этого культ. Они не рисовали, не писали, не играли музыку, но считали, что это они олицетворяют «Сайгон», что это место — их, и придумывали какие-то правила, традиции.



Кадр из документального фильма «Сайгон», реж. А. В. Киселев (Санкт-Петербургская студия документальных фильмов. 2003)
Алла: «Как их раньше-то называли... Хиппи... хиппи... Вот он съездил, коров попас и привез мне какой-нибудь там веночек засушенный красивенький: "Теть Алла, клянусь, для тебя собирал". Такого больше уже не будет... Прямого доброго человеческого отношения»

В советское время подобную роль разыгрывали бабушки в церкви — приходишь, а они на тебя смотрят зверем: «Что пришел? Это храм!» Таких персонажей было в «Сайгоне» много. Хотя из их среды выходили люди, типа Колесникова (Колеса). Он, собственно, тоже не художник, не поэт. Колесо был мне симпатичен, он был коммуникабелен, простоват, его легко можно было обвести вокруг пальца, но и сам он этому быстро научился. Как-то он объявил себя хорошим сапожником. В то время импортная обувь была большим дефицитом, барышни всё-таки как-то её доставали, но тащить в мастерскую, если что, было страшно. Луноход создал о себе легенду, что он может починить любую фирменную обувь. И вот бедная барышня бегала и ловила Лунохода, потому что была пара сапог, а остался один. Затем он объявил себя мастером переплетных дел. Какое-то время находились придурки, которые давали ему старинные книги. Чем это кончилось, тоже понятно. На одного Лунохода было двадцать придурков, для которых в этом круговращении был смысл жизни. В «Сайгон» ходили как на работу.

Типичным сайгоновским человеком был Коля Сапожников (Сапог). Он с богемой не контактил. Это просто был очень обаятельный человек, компанейский, всегда «сообразит» выпить, поговорить. Он был одним из первооткрывателей «Сайгона». Я помню, была такая девушка-филология Юля, она училась в университете чуть ли не на первом курсе. Однажды она накропала поэму о «Сайгоне», в три печатных листа, где перечисляла основоположников, была там строчка и о Сапожникове: «Пришел Сапог и заявил, что “пусть я буду сволочь, подонок и свинья, командовать парадом в «Сайгоне» буду я!”». Таких «командиров»-то было много, Коля же был типичным сайгоновским человеком: тунеядствовал, представлял то фотографом, то еще кем-то. Потом он спутался с криминалом (что для «Сайгона», наверное, достаточно заурядная ситуация): собралась шибутная компания, залезли в какой-то институт, тут же их и накрыли. Коля получил восемь лет за «кражу государственного имущества».

Ещё одной легендарной личностью была Кира Саламандра. Не моего круга барышня, но я ею по-своему восторгался. Она была из старой петербургской семьи, в которой было принято дома один день говорить по-немецки, второй — по-английски, третий — по-французски. Поэтому Кира знала три языка, но больше, чем иностранные языки, Кира любила портвейн. Так обозначились три её жизненных приоритета: «Сайгон», портвейн и иностранцы (поскольку у них много денег на портвейн). Кира доставляла массу хлопот ответственным работникам, которые, отлавливая дам, интересующихся иностранцами, дежурили у гостиницы «Европейская», потому что на них работать она отказывалась и за проституцию её не привлечешь, ведь приходила она за другим — выпить портвейна и поболтать по-французски. Кира была барышней язвительной, но и увлекающейся. И однажды сайгонское «общество» узнаёт, что у неё родилась дочь. Загадка «Сайгона» — кто отец? Так и не выяснили. А через год или через два она рождает вторую дочку — этого вообще уже никто не понимает, от кого. Потом Кира вышла замуж за негра-коннозаводчика, который приехал в Ленинград на международные торги. Негр встретил Киру и влюбился. Брак с иностранцем в те времена был вопросом не из простых. Когда наконец оформили необходимые бумаги, Кира месяц должна была ждать документы на выезд в Америку и, долго думая — муж богатый, — сняла в «Европейской» шикарный номер-люкс с белым роялем. Для гостиницы «Европейская» наступили черные дни, потому что пол-«Сайгона» устремилось в номер-люкс поговорить об искусстве, опробовать белый рояль и, разумеется, выпить портвейна, целый день напролёт сайгонские «аристократы» трясали своими обносками в гостиничных коридорах. А Кира, которую всю жизнь гоняли швейцары и прочая служба, царила среди

всей этой вакханалии, задавая халдеям жару. Потом она уехала со своим мужем в Америку, а старшую дочь отправила учиться в Англию, в закрытую иезуитскую школу. Но тихую семейную жизнь в маленьком заштатном американском городке Кира выдержала недолго. Её натура требовала выхода в народ. Помимо прочего, она ввязалась в студенческое движение, и на одной студенческой демонстрации её задержали. «Кто такая? Из России?!» Мужу такой штраф припаяли, что он её тут же разлюбил. После развода он купил ей домик под Парижем, многие сайгоновские люди там гостили. Домик этот был очень известен вплоть до конца 1980 годов. Первый номер журнала «Аполлон», вышедший в перестроечные годы, готовился там, у Кире.

Как ни странно, группировок (по определенной идее) в «Сайгоне» было очень мало. Политического выхлопа не было. Были диссиденты, вроде Славы Долинина, самиздатчики, но у них, естественно, была конспирация, они в «Сайгоне» не размахивали руками, не выкладывали рядом с чашкой кофе журнал «Часы» или «37». К диссидентам у меня особое отношение, потому что они уже тогда на полном серьезе говорили, что социализм в закате, что он скоро кончится. Я считал это шуткой дурного тона, поверить в это было невозможно. О том, что это не вечно, что это на исходе, знали большевики наверху и знали эти ребята. Они ходили в «Сайгон» ради некоего отдохновения. «Сайгон» был поддержкой для людей, которые ушли из социума. Это было место спасения от одиночества, и ещё одна важная деталь — это было место прохождения информационного потока: с одним поговоришь, с другим, с десятым... Про самиздат много, конечно, не узнаешь, но о концертах, спектаклях — всегда.

Театралы, конечно, тоже бывали в «Сайгоне», например Толик Гитлин, карикатурист и режиссер. Его знали все, очень своеобразный человек был. Он сначала закончил актерское отделение Театрального института, подался в провинцию — не понравилось. Потом поступил на режиссерское, помог ему в том случай. Он любил рассказывать эту историю: «Я возвращался к себе домой, на Гражданку, в пять часов утра, навстречу шёл один-единственный прохожий, и вдруг именно в тот момент, когда он проходил мимо меня, я споткнулся и угодил ему головой в живот». Выяснилось, что это декан Театрального института. Таких историй было много. Погиб Толик трагически. В том же месте и в тот же час: в пять часов утра на Гражданке по пустой улице ехала одна-единственная машина — она его и сбила.

Театральными людьми (по духу так уж точно), чрезвычайно общительными и весёлыми, были и два приятеля: Миша Шагаль (потом в Америку уехал) и Саша Иванов. Миша работал звуковиком в Театре комедии. Он обладал потрясающим чувством юмора, мог свести с ума любого, хоть по заказу. Ему говоришь: «Миша, давай прикольного», — и Миша тут же за три минуты доведёт до икоты любого, от пролетария до академика. Если бы он писал, это было бы три О' Генри в одном лице. Такое вытворял! С ним в паре ходил Саша Иванов, художник и пианист, тоже чрезвычайно остроумный человек Его многие знали в «Сайгоне». Саша непонятным образом устроился преподавать рисование и живопись в школе для американских детей (хотя был тунеедец из тунеедцев!). Зарплату получал чеками. Когда он получал зарплату, мы шли на эти чеки отовариваться спиртным, и наступал праздник! Как-то мы сидели около памятника Пушкину на площади Искусств, и они с Мишей Шагалем вели обсуждение этой фигуры. Саша Иванов говорит: «Слушай, я вот думаю: хорошо стоит Александр Сергеевич. Рука у него так зазывающе... Вот хочется взять и повеситься на этой руке! А на груди повесить надпись: "От поэта поэтам"».

Что же касается профессии киношников, это вид деятельности коллективный: ты на виду, в социуме. Людям, которые уже начали снимать как постановщики, — что им в «Сайгоне» делать? Разве что из любопытства — центральное место, можно

попить кофе и договориться о встрече. На Ленфильме тогда работало восемьдесят тысяч человек, и, наверное, молодежь в обеденный перерыв заворачивала в «Сайгон». Но всегда было опасение попасться на глаза. Если ты работаешь в кино и пробился пусть даже в ассистенты режиссера, а какая-то сволочь (заваистников-то полно) вдруг и обронит: «А, это тот, который вечно в «Сайгоне» торчит!», — партийное руководство студии может к этому прислушаться: «“Сайгон”! Это что такое? А ну-ка, на всякий случай...» Из осторожности люди киношные могли лишний раз в «Сайгон» и не пойти, особенно в 1970 годы. Рассудить: «Дома кофе полью, на кухне — и нормально». Потом они же и говорили «Да там собирается бестолочь всякая, которая ничего не умеет».

Цеховое в «Сайгоне» было только одно сообщество — рок-клубовцы. Они либо в рок-клуб идут, либо из рок-клуба, всегда компанией, не в одиночку. Многие сайгоновские оболтусы где-то даже им завидовали, потому что это были единственные люди, которые могли прийти компанией и о своём деле орать во всю глотку. Они не отгораживались, но на них смотрели с уважухой.

В середине 1970-х у нас появился хиппизм. Их в «Сайгоне» было пруд пруди. Это было их любимое место. «Хиппи» они себя редко называли, говорили «системный человек» или «системщик». У каждого была толстая записная книжка, ты спрашиваешь: «Как бы мне в Москву» или «в Тамбов», — он открывает книжку и дает тебе телефоны, вписки — к кому обратиться. Из любопытства я в Москве останавливался на одной такой квартире — безумно весело. В конце 1970-х — начале 1980-х кто-то стал себя называть пацифистом, кто-то — панком, появились какие-то группировочки.

* * *

Ещё Бальзак определил, что богема — это художники и выпавшие из законной жизни люди — по-нашему, уголовники. Они тоже в «Сайгоне» бывали, им тоже там было более или менее нормально, хотя в силу своей направленности они нутром чувствовали, что «Сайгон» под колпаком, хотя кто же им поверит. Разговоры, конечно, ходили: «За нами следят, вон там камеры, да...» Но об этом больше всего говорили те, кого я называю «неуловимым Джо» — он неуловим, потому что никому даром не нужен.

Очевидно, что КГБ там было удобно работать. Никаких видеокамер не нужно. Пришел, вживую посмотрел, послушал. Это сейчас многие бахвалятся: «Я любого гэбиста отличу!» Что-что, а эта машина тогда отлажено работала. На моей памяти в «Сайгоне» был только один человек, которого отличали сразу и над которым могли и посмеяться. Это был участковый, приходивший туда в цивильной куртке, без фуражки, но в милицеских штанах с красным кантом, полагая, видимо, что куртка — достаточная маскировка. Он «по-свойски» подходил к кому-нибудь и говорил: «Давай скинемся по рублю...» Его все знали в лицо, некоторые экспериментировали, скидывали по рублю, выводили его во дворик пить. Финал был неизменен: он их традиционно сдавал. Это был человек небольшого ума, но ему нравилась живая оперативная работа.

У милиции был свой план, и она периодически устраивала в «Сайгоне» облавы. Мероприятия эти готовились заранее: дня за три-четыре в первом зальчике появлялся в продаже недорогой портвейн. Народ оживлялся, жизнь закипала! Тут-то всё и начиналось. И меня там как-то замели. Стояли мы, пили портвейн, приобретенный не где-то на стороне, а, как полагается, здесь же, за прилавком. К нам подошли четыре человека: «Вы тут распиваете спиртные напитки...» Слушать нас не стали, увезли в отделение на Лиговке, а утром выписали десять суток! Менты,

которые меня держали, только сказали: «Это не нашего ума дело, не наша организация работает». Тогда я был ассистентом режиссера. Когда я оказался на сутках, утром на разводе встречаю Володю, ассистента с «Научпопа», художника Шапошникова — все мы там. «За распитие» сутки получить было трудно, не давали за это. Очевидно, прошло мероприятие, и нас всех собрали на десять суток. Это была такая сайгоновская хохма. Она не всем была известна, потому что не все ходили постоянно: был сайгоновский период, потом он заканчивался, обреталось какое-то дело, работа. Мне же по-любому мимо было не пройти, куда бы я ни шел, — «Сайгон» был рядом, и на первую чашку кофе я туда обязательно заходил.

Если собрать всех людей, с которыми я там познакомился за пятнадцать лет, что туда ходил, то и БКЗ «Октябрьский» маловат бы оказался.

Юрий Петрович («Йог»)

«ЧЕМ ТЫ ЗАНИМАЕШЬСЯ?» — «ЖИВУ!»*

Первая компания слиплась у нас в школе, два друга — Анатолий, Валера и подруга Элла (говорили «Элла-не-Фитцджеральд»). Она уже в школе стихи писала, была очень энергичная, общительная. Она нас привела и в «Сайгон», и на третий этаж Эрмитажа — там, у импрессионистов, собирались «сэхэкатики»**. Еще до «Сайгона» мы ходили на джаз-сейшны в кафе «Ровесник» на Карла Маркса, где выступали первые джазмены: Голощекин, Вихарев, Гольштейн. Это было так интересно — новое, импровизация! Наш круг, благодаря Эллочке, разрастался. Познакомились с потомком Голицына — Бобом, он нас втянул в автостоп, по европейской части покатались. Собирался я автостопом в Прибалтику поехать, стою жду Анатолия, и тут встречаю художника Борю Быкова, вместе с ним седовласый мужчина. Оказалось, это Игорь Николаевич Вускович (который затем стал главным художником Ленфильма), ему нужен был ассистент. Я думаю, почему бы и нет? Первый фильм был «Седьмой спутник» Леши Германа, второй — Надежды Кошеверовой «Старая, старая сказка». Так я двадцать лет с ними путешествовал, надоест — уходил, потом возвращался, на двенадцати картинах был. Приезжал, уезжал, а параллельно — «Сайгон».

Начало «Сайгона» в «Севере» было, но там была мужская компания. Были там и мастера спорта, и короли Дерибасовской, и короли Киева и других «стран»: Шалик (Шавый) — двухметровая машина, акробат на батуте и чемпион Украины по боксу, а другой был Пан Директор, он окончил диверсионную школу, тяжело-вес, «янтарные перчатки Прибалтики». Но чемпион ты или нет, решали только уличные драки, мы это знали, поэтому нам там было безопасно.

От «Европейской» до «Октябрьской» идет «Невский коридор» — Бродвей. И по левую, и по правую руку питейные заведения: «Астория» (хотя в меньшей степени), у Думы пиво было, «Садко» (у меня там были все метрлотели знакомые), «Европейская» — все этажи и «Крыша», «Метрополь» (но это так...), бар у Казанского собора (через Мойку), «Универсаль», ВТО, журналисты, потом «Сайгон», сам ресторан «Москва» и заканчивался гостиницей «Октябрьская», где был закрытый валютный бар (туда моему знакомому направление дали

* Беседовала Юлия Валиева.

** Ученики средней художественной школы при Академии художеств.

от ЦК). Много денег — шли в большой ресторан, с большой компаний, не так много де-нег — средний ресторан, компания поменьше... и так далее. Нет денег — шли по садикам, но всегда денег немножко не хватало.

Я же человек, и ничего человеческого мне не чуждо. У меня был знакомый, когда его спрашивали «Чем ты занимаешься?», он отвечал: «Живу!» И он действительно жил, а мы только так, прикидывались. Я же мужского рода, и казачки-разбойники у меня в крови, поэтому хулиганско-бандитские разборки всегда присутствовали. Вот вы говорите, «Сайгон» — мы вечно попадали на поле битвы. Свою компанию держали. Наполовину компания собралась хулиганско-мордобойная: бандиты, воры в законе, авторитеты — все в нее входили. Жженный, Седой, Майкл Орлиный (Горный Орел), Сельский — они в «Сайгон» тоже приходили. Территории были поделены. В пивбаре «Жигули» там Булан был, бандюга, это его была область. На Желябова — Сельского была территория, у него в банде Череп был, это бандюги из другого клана. А в «Сайгоне» — Полковник и Шкаф. Но банду *держат* надо было. Как-то я Полковника спросил: «Как ты их всех держишь?» «Я, — говорит, — по праву». Но он хоть руководитель был банды, а вино с нами в ресторане пил и кофе в «Сайгоне» — это было единое место, уникальное. Тогда был бум информационный. Вот я приехал из экспедиции (с киношниками) — сразу в «Сайгон», обмен информацией. Ну, подходит, скажем, Дерибас, он же Шавый (Аркадий Шавалашвили, король Дерибасовской) — я со своей информацией, он со своей, сразу с полуслова ясно. И был бум алкогольный. Иногда проснешься — и не поймешь, где ты. Раз я проснулся — кругом одни наркоманы, колются, говорят: «Давай тебе». Я говорю: «Погоди, погоди». Как я к ним влез? Не знаю. А я попробовал ханку* раз — у меня не пошла, а алкоголь пошел. Это было мужское дело, иной раз попадешь в такую компанию, что и не знаешь, доживешь до утра — не доживешь. Никто и не знал, куда тебя приведет. Собирались на троих, а потом нас пятнадцать—двадцать человек, а потом уж концы с концами не найдешь.

Как-то встречаемся мы с Валерой (он разъезжал по всему Союзу, как и я), подходит к нам карманник-профессионал, в «Сайгон» заходим, кофе берем. Стоим втроем, пьем кофе. Валера — он прекрасно играл на фоне, импровизатор от Бога, он мог играть под Луи Армстронга, под кого угодно, стихи писал, философ. Тут подходит экстрасенс знакомый, энергетик, типа Чумака или Кашпиrowsкого. Затем еще один — оккультист, совсем не знаю, как его назвать, — связанный со вселенскими делами. Разговариваем, переходим к темам глобально-тотальным, к йоге. Потом речь идет о том, что появилась пленка о хиллерах, знакомый приехал из Филиппин, можем посмотреть. А вор стоит, ему скучно, тема не его, он спрашивает: «Валера, а где твои часы?» Нет часов. Вор ему протягивает: «Да вот твои часы!» Валера: «Какой ты молодец, а я и не заметил». Проходит время, мы все о своем, а тот опять: «Валера, который час?» Тогда уже Валера их положил на «чердачок» — в верхний карман на пуговке. Опять время проходит, темы сменились, тот спрашивает: «Валера, сколько времени?» И опять часов нет. Тут подходит его друг, авторитет, приводит с собой молодежь, и они вдвоем за соседним столиком показывают «мастер-класс», как по карманам лазить. А мы тут же рядом продолжаем обсуждать оккультные дела. У меня кликухи не было, так между собой Йогом называли. Почему прозвали? Во-первых, потому что меня это интересовало, а во-вторых, в других реинкарнациях я тоже был йогом.

Появился я в «Сайгоне» в 1969-м, следующим образом. Я занимался в ТЮТе (Театре юношеского творчества в Ленинградском Дворце пионеров), а там действовал принцип «гармонии творческого и простого труда», и, помимо занятий актерским мастерством, каждый работал в каком-нибудь театральном цехе: бутафорском, гримерном, монтировочном. Я был осветителем. Этой практики оказалось достаточно для того, чтобы без дополнительного обучения попасть в профессиональный театр. Я пошёл в Малый оперный, где и познакомился с Эмилем Майовером, заядлым сайгонщиком, имевшим даже неофициальный титул «президента «Сайгона»». Я был о нём заранее наслышан, но при встрече оказался совершенно поражён его библейской внешностью. Мы с ним стали общаться. Надо сказать, что театральная жизнь была близка к сайгонской. В Малом оперном была закулисная кафешка. Допустим, идёт пьеса из пяти актов, а тебе надо только фильм сменить в антракте. Ты свет направишь — и в течение целого часа свободен, идешь пить кофе с Эмилем. Он мне много рассказывал о «Сайгоне», а потом я решил, что хватит слов, пора мне увидеть всё самому. Эмиль меня привёл, познакомил с сайгонщиками, и я, когда работал в театре, в перерыв стал заходить в «Сайгон». Потом я как-то в него врос, обрёл знакомства, друзей. Сайгонские друзья-приятели меня научили, как избавиться от армии. Ведь все как один поэты и художники были со статьей «7Б». Насколько я помню, это «психопатия с неполной декомпенсацией». В результате я освободился от военной службы и стал вообще свободным человеком.

Поскольку я был совершенно неопределенный по роду занятий персонаж, то как меня там только не представляли: и художником, и философом. И чтобы этому соответствовать, я старался знакомиться с текстами, которые там обсуждались. Дело в том, что школу я не закончил. До восьмого класса учился вполне прилично, а когда перешёл в девятый, то поменял школу, и всё показалось каким-то чужим. Пустота оглушала, и я из школы ушёл, чем привёл родителей в полную растерянность. Они никак не могли понять, как это я не хочу поступать в институт, а я был романтиком или сумасшедшим, и у меня не было даже группы поддержки. «Сайгон» был единственным местом, которое воспринималось свободной территорией, где, в общем — то, дышалось.

Мне не нравилось тогда бывать дома, и вместо того, чтобы ехать ночевать домой, мы отправлялись с Витей Белым (его многие в «Сайгоне» знали) в аэропорт, на вокзал или ночевали на каких-то стройках. Как-то мы забрались на ночь в один из закрытых на капремонт домов, где-то на улице Марата. Была осень, холодно. Смотрю, Витя спит, а лицо у него совершенно окоченевшее. Я пошёл, ободрал какую-то дверь и обложил Витьку ватой. Он проснулся в ужасе, сел и сказал: «Мне приснилось, что я сплю на русской печке». Вообще, если у тебя в карманах обнаруживался червонец, и ты был готов положить его на общее дело — о программе на вечер можно было не беспокоиться. Раз я проснулся в комнате с золотыми обоями, вокруг ходили незнакомые бородатые люди, рассматривали холсты...

Однажды в «Сайгон» пришла Наташа Крачун. Это была фантастическая встреча! Мы с ней как-то сразу подружились. Все курили в 51-м дворике. Мы сели на скамейку, закурили и не сходя со скамейки... сочинили роман. Она сказала: «Представь,

* Беседовала Юлия Валиева.

что я дочка небогатого феодала». Мы стали играть в эту игру и за два с половиной часа сочинили исторический роман. Со мной такого никогда в жизни не было. Как оказалось, и у неё это было впервые, но, поскольку я видел эту девушку в первый раз, то подумал, что для неё это норма. Она была маленького роста, большеглазая, очень хорошенькая. Крачушка всегда была звездой, мы называли её «Солнце Аустерлица». Вообще, она цирковой персонаж — она на арене, а все вокруг.

С Серёжей Михайловым они составляли весьма колоритную пару: если Крачун была очень миниатюрная, то он был наоборот чрезвычайно высокий, метр девяносто с лишним. Михайлов пришёл в «Сайгон» в шинели — он комиссовался тогда из армии, пополнив наш полк «7Б». В тот день, когда мы познакомились, разговор зашёл о том, кто что читал, заговорили о «Зависти» Юрии Олеши, одном из моих любимых произведений. К моему удивлению, Михайлов знал текст этой повести чуть ли не наизусть. Он оказался человеком весьма эрудированным, мог, как Кот у Стругацких, строить бесконечные коллажи из цитат. Однажды, помню, он сплёл трехчасовую композицию, без перерыва. Как лоскутное одеяло. Это было совершенно потрясающе, потому что цитаты были неожиданные, мы не всегда успевали распознавать источник, начинали спорить, просили подсказок. Михайлов кем только не работал: сторожем, таксистом, рабочим на стройках — рушил межэтажные перекрытия, потом с Ленкой Усвятцовым ездил куда-то на север ловить рыбу. Сейчас он батюшка, служит в Беломорске. Я был там у него в гостях, вышел на вокзал, и у первого встречного спросил: «Где тут у вас церковь?» А мне говорят: «Вы, наверное, к отцу Сергию?» — и тут же указали дорогу к его избушке. Есть гениальная фотография, где Михайлов стоит на фоне неба, «по-моряцки» держась за крест, такой «капитан неба»...

* * *

Сайгонская картинка. За столиком стоят и пьют кофе трое: два кочегара и их приятель. Когда приятель удаляется, один кочегар говорит другому: «Не кажется ли тебе, что он не вполне улавливает разницу между трансцендентным и трансцендентальным?» Это не анекдот, а вполне реальный сайгонский диалог. В «Сайгоне» был определенный культ безумия, все были одного полка «7Б». Кроме того, половина людей там — поэты, художники, кочегары, сайгонские философы — были склонны к безумию, да еще и кокетничали на эту тему. Безумство было нормой жизни, в определенном смысле.

Ведь и Эмиль закончил тем, что стал настоящим сайгоновским сумасшедшим. После развода с женой он уехал в Израиль, но там не прижился. Вернулся, обитал в сайгонском регионе, просил милостыню, играл на гитаре, пел... Как-то я увидел его на Владимирской площади, с большим сомнением подошел к нему, сказал: «Привет, Эмиль». Думал, не узнает. Он поднял глаза: «Привет, Володь». Как будто мы виделись с ним вчера.

Гена Волосов появился в моей жизни с таким же театральным эффектом, как и Эмиль. До того как я с ним познакомился, я уже слышал немало историй о нём. Например, такую. Стоит Гена Волосов и пьет дешевый портвейн. К нему подходят и спрашивают: «Ну что, Гена, пьянствуешь?», — а Гена качает головой и говорит: «Тризна по совершенству...»

Гена был высокий, красивый, с детским выпуклым лбом, обаятельными глазами и порочной алкоголической припухлостью умных губ. Он был абсолютно «за чертой», наркоман и пьяница. Выглядел Гена начинающим бомжом: какое-то неопределенной формы пальто, поднятый воротник, небритость, задумчивость. Я любил с ним путешествовать, хотя понимал, что мы наверняка попадём в ментовку,

и нас там будут бить, если не побьют ещё до этого, потому что Гена был марсианин, и к тому же юродивый. В нём жил незатаивающийся вихрь! Когда он входил в «Сайгон», начинался ветер. Вот характерная сцена. Идёт какая-нибудь тетка в шубке к столику, держит в руках чашечку кофе, пирожное, а Гена совершенно спокойно, величественно, царственным жестом протягивает руку, берёт пирожное, кладет целиком себе в рот. Она ошарашено глядит на него и ничего не может сказать. Он ей говорит: «Что смотришь? Кричи. Но если ты закричишь, я тебя Аллахом прокляну!» — и страшно поднимает вверх палец. Однажды мы с ним сходили в метро, в вагоне он увидел мужчину с лыжами, который своей позой очень напоминал скульптуру «Девушка с веслом». Что сделал Гена — он подошёл к нему и стал ощупывать его грудь в поисках женского начала. Мужик, разумеется, дал ему лыжами в лоб. Гена был жуткий провокатор. Он обладал гипнотическим обаянием. Если он говорил незнакомой встречной: «Послушай...», — она внимала как завороченная. Однажды мне не сиделось дома, я думал: «Куда податься? Некуда». Вдруг вспоминаю, что у меня есть Генин адрес, он жил в Пушкине. Я на последней электричке к нему отправился. Нашел его дом. На лестнице мне встретилась молодая женщина, она меня спрашивает: «А вы, наверное, к Гене?» Я говорю: «Да». Она: «Замечательно, такой приятный, удивительно интеллигентный молодой человек...» Тут я засомневался, что приехал к тому самому сайгонскому Гене Волосову, который крадёт пирожные у мадам! Но это был Гена, хотя и неузнаваемо тишайший, открыл дверь: «О, Володя, проходи, чаю попьем...» Он показал мне свои работы — абстрактные, но в них ощущалась какая-то невероятная жизнь, что-то шевелилось, происходило. Кстати, первая выставка, в которой участвовал Гена Волосов, была в Озерках, в доме у Валеры Кривошея, затем он выставлялся в мастерской у Володи Овчинникова, в Кустарном переулке.

Я зная в «Сайгоне» и профессиональных бродяг. Еще не было хипповской системы, а бродяги появлялись, они держались по отдельности и зарабатывали себе на хлеб, можно сказать, литературным трудом — находили благодарного слушателя и рассказывали ему истории о своих приключениях, и тот, в конце концов, должен был сказать: «Старик, пойдем-ка, я тебя покормлю». Их рассказы были совершенно невероятны: о том, как они обходились без всякого жилья, без денег, просто садились в поезд, очаровывали проводников и путешествовали на самый «край Земли». Я их слушал, открыв рот. Был в «Сайгоне» поэт Витяка Терентьев, добрый такой человек, в больших, некрасивых очках, которые всегда съезжали, с тяжёлыми стёклами. Примерно таким я представлял себе Пьера Безухова. Пообщавшись с бродягами, Витяка решил пойти по Руси. Была зима, но он собрался в дорогу и уехал. Направился куда-то на север, а вернулся через какое-то время уже с юга. Витяка рассказывал, что есть такое место в Сибири, где бьет из земли газ, и он горит среди вечной мерзлоты гигантским костром. Вокруг него растопило снег, растёт трава. Там собираются бродяги, пришедшие из разных мест. Время от времени туда приезжают менты, сажают всех бродяг в машину, завозят куда-то в лес и выкидывают на снег...

У Витяки Терентьева было много рассказов о путешествиях. Тогда я работал сторожем на Васильевском острове, а он сторожил на Карповке катера, возле Ботанического сада. Когда я возвращался со своей службы, наступало время начала смены, и я шёл к нему — слушать его рассказы.

Через несколько лет Терентьев поступил в семинарию, а потом ушёл в монахи. С тех пор я его видел только один раз. Он, видимо, приехал в Питер по каким-то командировочным делам и зашел в «Сайгон» абсолютно так же, как и я — по старой памяти выпить кофе. Разговорились, я вспомнил Гену Волосова, и тут Витя

мне рассказывает совершенно невероятную историю. Будучи в Питере, он вдруг подумал о Гене, что давно его нигде не видно, ничего о нём не слышно, и решил съездить в Пушкин проведать. Приехал, поднимается по лестнице, видит, что дверь в квартиру открыта, входит, а там на столе лежит мертвый Гена... Так монах Витя Терентьев отпевал художника Гену Волосова...

Среди моих сайгонских друзей был драматург Александр Попов. Познакомились мы так. Был канун Нового года, я шёл на Новый год к Маше Островской и думаю: «Дай-ка зайду в “Сайгон”». Зашел — а там никого из знакомых. Я сел на подоконник и не заметил, что там лежал белый пакет. Оказалось, что в пакете были яйца... И хотя пакет никак не пострадал, его владелица на меня набросилась, готовая меня просто уничтожить. Я извинился перед ней, а она не унимается. И тут за меня вступился какой-то человек, доброжелательно и спокойно убеждая тётку, что не надо кричать, нарушать предновогоднюю тишину, и вся её кислотность исчезла, она ушла. Мы с этим человеком переглянулись, поздравили друг друга с наступающим Новым годом, а через полчаса... встретились на квартире у Маши Островской. Оказалось, что это драматург Саша Попов.

Саша Попов боролся с абсурдом, он слышал голоса. Однажды он боролся с абсурдом у себя дома на улице Чайковского, и все предметы, в которых он почувствовал присутствие абсурда (книги, полки и т. д.), были сложены посредине комнаты и сожжены. Ему самому пришлось выбираться из комнаты через окно. Он стоял на карнизе, между окон, пока не приехали пожарники и не скрутили его. Потом он мне рассказывал: «Они завернули мне руки и лицом в асфальт положили. А у меня перед лицом из асфальта лезет трава молодая. И я понял, что я победил».

У Саши были особые отношения с пространством: когда мы гуляли по городу, он то и дело легко прикасался ладонью к стенам домов, к деревьям, к одному ему известным «точкам истины», всё время что-то поправляя в балансе мироздания... Мы с ним подолгу сидели, общались. Однажды он сказал: «Я понял, кто ты. Ты — ящик. Я вышел как-то в ванную и вижу: у меня кошка черная спит, ее зовут Мора. Пришло понимание, что это Мировое зло, а спит она в ящике деревянном. Пришло понимание, что ящик защищает окружающее от Мирового зла. И мне сверху сказали, что это Дубровский».

Саша Попов говорил, что безумия не надо бояться, его надо предпринимать.

В «Сайгоне» существовал орден вещателей. Такой человек подходил к твоему столу и начинал говорить, а ты стоял и слушал его часами, его речь оказывала какое-то гипнотическое воздействие. Поэт Олег Охупкин тоже обладал таким даром. Кто-то рассказывал, что Охупкин говорил как-то пять часов подряд, общество сидело и внимало ему, потом все вышли на улицу, а он продолжал говорить, проводили его на остановку и, пока ещё были открыты двери трамвая, стояли и слушали.

* * *

В «Сайгоне» бывали и крайне неудачные дни. Тебе плохо, ты идёшь в «Сайгон», а там — никого, и начинается сайгонский невроз, специфический: пьёшь и пьёшь кофе. Мне говорила одна моя знакомая: «В “Сайгоне” иногда стоишь-стоишь, стоишь—стоишь, думаешь: хоть бы кто-нибудь ко мне подошёл! Когда ты перестоишь так один день, второй, третий — вырабатывается рефлекс отторжения от “Сайгона”». И со мной это случилось. Я брал чашку кофе и чувствовал это отторжение — понимал, что надо уходить.

Я оставил город и «Сайгон» из «философических причин», удалился в Васильки, где числился лесником, а работал скульптором.

Петр Брандт САША ПОПОВ

Я встретился с драматургией Саши Попова, а вернее сказать — с одной единственной его пьесой, совершенно неожиданно. До этого случая я вообще никогда не слышал его фамилии.

Так вот, случилось это в восьмидесятые годы, в театре реального искусства, руководимого тогда моим другом, режиссером Эриком Горошевским. Однажды Эрик пригласил меня на премьеру своей новой постановки с названием «Придверие», по пьесе Александра Попова. Все это происходило в Доме культуры профтехобразования на улице Софьи Перовской, где в те времена вышеозначенный театр иногда давал спектакли.

Должен признаться, что спектакль увлек меня сразу, и в первую очередь, если можно так выразиться, литературой. Действительно. Первым впечатлением моим было впечатление слуха.

Не так-то часто в современной драме встретишь настоящий диалог. Когда реплики образуют некую вязь, когда одна реплика тянет за собой другую, а другая, хоть и единственно возможная, при этом почему-то всегда неожиданна. Такой диалог радует и веселит слух чуткого к тексту зрителя. Даже среди маститых писателей мастера диалога встретишь не вдруг. <...>

Реплики были точны, лаконичны и при этом очень красивы и умны. Это был современный живой язык, но не общепринятый — язык интеллектуального Петербурга 1960—1970 годов.

Разгадка такого феномена, скрывалась, конечно же, в самом содержании пьесы, так что по ходу спектакля стало ясно, откуда этот язык взялся. Героями пьесы Попова были странные люди современного мне Петербурга: обитатели мансард и подвалов, просто петербургских квартир — художники и поэты, музыканты и философы, студенты и семинаристы, собиратели книг, мечтатели и изобретатели, непризнанные артисты и фотографы — словом, люди, которые имели обыкновенное человеческое призвание, но при этом почему-то выпали из нормального спектра советского общества. Верно, у них было все же иное мироощущение — на мой взгляд, более глубокое и серьезное. К ним ко всем подошло бы название «внутренние эмигранты». Мир этот хоть и являлся частью нашего общества, но существовал как бы параллельно ему и был открыт не многим. Вот о нем-то и была пьеса Попова, и в этом, я думаю, и заключалась ее притягательная сила и секрет ее необычно точного и умного языка.

Иными словами, в пьесе Попова появился тот самый положительный герой, наш соотечественник и современник, которого так не хватало отечественной драме 1960—1970—1980 годов. При этом герой этот не был выдуман. Он был взят из жизни и существовал в его пьесах органично и свободно. Это создало, на мой взгляд, новую, ни на что не похожую драматургию.

В тот же вечер мы праздновали премьеру в доме Эрика Горошевского, в этом же доме я позже еще несколько раз встречался с Сашей Поповым. Первое впечатление, которое он производил, было скорее отталкивающим. Он был некрасив и, пожалуй, грубоват и походил на городского безумца. Говорил бессвязно, какими-то резкими, полуистеричными репликами, что никак не вязалось с замечательным текстом его произведения.

Вообще, всем своим обликом и поведением он составлял разительный контраст с домом Эрика Горошевского и его жены, верной спутницы и соратницы во всех делах, актрисы Аллы Конт. Домом, в котором буквально с порога вы попадали в атмосферу гармонии и веселого творческого торжества. Вас как бы брали на руки и окружали

заботой, любовью, щедростью и даже какой-то аристократической роскошью, совершенно необъяснимой, если принять во внимание весьма скудные заработки этой семьи. Я, пожалуй, не припомню места, в котором чувствовал бы себя в такой изысканной обстановке. Не могу представить себе человека, будь то даже английская королева, с которым мне неудобно было бы прийти в такой дом, без всякой специальной этого дома подготовки. Не было в нем ни одного предмета, ни одной самой незаметной детали одежды или обстановки, которая не казалась бы мне безупречной и совершенной. Конечно, на этом фоне Саша с его неказистой внешностью и диковатыми повадками выглядел занозой, грубой и безобразной. И тем не менее в определенный период времени жизненные пути этих трех человек пересеклись, результатом чего стала, на мой взгляд, замечательная театральная работа, очень оригинальная и пронзительная, которую почему-то почти никто тогда не заметил.

Событие же, о котором я хочу рассказать, произошло несколько позже всех этих встреч. Спектакль «Придверие» благополучно прошел. Театр работал уже над другими пьесами, и я достаточно долго не видел Сашу Попова. И вот однажды встретил его на остановке 47 автобуса, который ходил тогда с Васильевского острова до Финляндского вокзала. Мы вместе влезли в автобус на улице Желябова, ныне Большой Конюшенной, и речь у нас опять зашла о постановке «Придверия», что было, очевидно, единственным тогда предметом возможного между нами разговора. Я в очередной раз похвалил его пьесу.

— А у меня есть еще одна, — сказал Саша и как-то лукаво, со странным блеском в глазах посмотрел на здание Спаса на Крови, мимо которого мы в этот момент проезжали. Здание собора сверху донизу было закрыто лесами, к чему, впрочем, мы все давно уже привыкли. И он стал пересказывать мне содержание своей пьесы.

Главным ее героем опять был странный молодой человек, обитатель петербургской мансарды, не то поэт, не то художник, не то какой-то уличный философ, книжник — словом, человек без определенных занятий. И вот в какой-то момент, глядя из окна своей мансарды на Спас на Крови, этот философ прозрел, что строительные леса с этого собора (который, как мы помним, был воздвигнут на месте убийства императора Александра II) будут убраны только тогда, когда падет советская власть. Далее действие пьесы развивалось, с героем происходили какие-то события, но все это я давно уже забыл, меня сразу же поразило то, что он сказал про собор. И, когда Саша вышел из автобуса, я долго еще думал над его словами.

Действительно, вся моя жизнь прошла неподалеку от этого храма, и в детстве своем, и в юности, и в зрелом возрасте, я, так или иначе, находился рядом с этим зданием. И на протяжении всей моей жизни этот храм то с одной, то с другой стороны был закрыт строительными лесами. Казалось, этому ремонту не будет конца.

— Но ведь этого не может быть, — думал я. — Сколько можно ремонтировать собор? Пусть еще десять, пусть двадцать лет... Но через двадцать-то лет уж точно, каким бы ни был ремонт, он должен закончиться. <...>

Слова о том, что советская власть падет к моменту окончания ремонта Спаса на Крови, звучали как пророчество — интригующее, но фантастичное. Ни у кого не возникало тогда ни малейшего сомнения в незыблемости и нерушимости как Советского Союза, занимавшего одну шестую часть суши всего мира...

Шло время, я опять потерял из виду Сашу Попова, и больше его никогда уже не видел. Знаю, что жизнь его оборвалась трагически, но об этом мне не хотелось бы здесь писать. Творческое его наследие тоже куда-то исчезло. Вроде бы кто-то из его родственников, опасаясь за судьбу своей семьи, то ли увез все его пьесы, то ли уничтожил. Толком никто ничего об этом не знает.

Но вот однажды (по-моему, как раз весной 1992 года, то есть вскоре после падения советского режима) в погожий солнечный день, проходя мимо Спаса на

Крови, я вдруг увидел, что на нем нет лесов. Храм сверкал на солнце во всей своей красе и казался мне незнакомым. Вот тут-то я и вспомнил пророческое прозрение героя никому не известной пьесы жившего рядом с нами, но почти никем незамеченного замечательного драматурга Александра Попова.

Мария Ланина

ГЛОТОК СВОБОДЫ*

В «Сайгон» меня привела мама, было мне тринадцать лет. Вероятно, она сочла меня человеком достаточно зрелым, чтобы познакомить с другой стороной жизни.

По дороге она сказала: «Вот, мы сейчас зайдем в одно место, где собираются совершенно другие люди». Действительно, там оказались другие люди. Мама — экспериментатор, но думаю, что она сама была не рада тому, что сделала, и когда я начала ходить туда регулярно, у неё это стало вызывать недовольство, но поделать было уже ничего не возможно.

Жизнь пошла своим чередом. «Сайгон» стал для меня просто отдушиной. Мы жили на проспекте Гагарина, училась я на проспекте Космонавтов в английской школе. У меня там были две ближайшие приятельницы — Лена Баснер и Лена Нестерова (она сейчас возглавляет Академию художеств). Без двадцати три заканчивался шестой урок, без четверти четыре закрывался на обед «Сайгон». Задача заключалась в том, чтобы попасть в «Сайгон» до закрытия: от проспекта Космонавтов доехать на автобусе до Парка Победы, сесть на метро, с пересадкой до Владимирской, и добежать! Если мы успевали — считалось, что день прожит не зря. Если опаздывали — приходилось идти в Летний сад, ждать целый час и к пяти возвращаться. Был у нас маршрут по Фонтанке — до Летнего сада и обратно через Михайловский сад к «Сайгону».

Это были восьмой — десятый классы. Мы приходили в школьных платьицах, в передничках, с портфелями, естественно, в силу этого зачастую становясь объектами внимания. Как ни странно, в «Сайгоне» присутствовало ощущение лиризма, ощущение того, что к тебе нежно относятся. Просто люди, которые были намного старше нас, вырастили это отношение к миру внутри себя — возможно, оно было единственным способом защиты от холодного и бездушного официоза. А мы просто попадали в сферу влияния. И эта нежность была резким контрастом тому кошмару, который существовал вокруг. Все антисоветские идеи были позднее. Первый толчок, импульс по направлению к «Сайгону» связан у меня с этим ощущением нежности. Это неуловимо. В те времена было трудно себе представить, чтобы кто-то давал друг другу деньги не в долг, а там это было. Такие незначительные мелочи создавали ощущение другой жизни. Не масочной, не фальшивой, а какой-то дышащей, доброй, нежной. Там у всех были живые глаза. Они могли быть разной заряженности, разного эмоционального качества, но они были живыми.

* * *

Поскольку мама занималась в те годы театром, и главным образом — театром на Таганке, я видела все таганковские спектакли. Естественно, я собиралась

* Беседовала Юлия Валиева.

стать режиссером. Первый мой спектакль — «Пир во время чумы» — был задуман ещё классе в девятом. Лена Нестерова ходила на вечерние занятия в художественную школу на Фонтанке, историю искусств там преподавал Михаил Бернштам. В отличие от классического «посмотрите направо, посмотрите налево», он рассказывал какие-то неожиданные, живые вещи. Когда заканчивались занятия, мы всегда вместе выходили, я что-то «квакала» о своих театральных идеях, и М. Б. мне сказал, что у него есть человек, с которым я наверняка найду общий язык — таким образом я познакомилась с Толей Роммом, а через него с большой компанией: Ольга Корсунова, сестры Кутаевы, Вова Лукьянов... Это тоже очень важная особенность отношений в «Сайгоне»: все друг другу помогали, можно что-то «вякнуть», и кто-то скажет: «Ага... а у меня есть человек, который может каким-то образом в этом деле помочь, предложить что-то». «Пир во время чумы» был поставлен в подвале на улице Жуковского. Подвал был отдан под спортивный зал, но к тому моменту о спорте напоминали только шведские стенки, это был длинное помещение с низким потолком, пригодное для любого действия. Конечно же, спектакль прежде всего преследовал политические цели: драматические отрывки из Пушкина чередовались с чтением стихов. Читали: Михаил Юпп, Виктор Ширали, Елена Игнатова, Евгений Вензель. Я просто приглашала поэтов из «Сайгона» в день спектакля, и пока собирались зрители, в центре, за голым столом, в свете тусклой электрической лампочки люди уже читали стихи и пили вино... Пушкин естественно и органично просто вырос из этого. Ромм играл роль Председателя. Вероятно, власти предупреждавшие быстро сообразили, что не надо им такого детско-юношеского творчества, и все это быстро накрылось медным тазом. Хотя мы еще сыграли несколько спектаклей на других площадках; один из них — в школе при Консерватории, поскольку Священника играл Леша Заливалов, учившийся там и ставший впоследствии известным шоуменом и музыкальным хулиганом.

Вообще, «Сайгон» становился отправной точкой самых разнообразных начинаний. Именно оттуда в один прекрасный день я с Ольгой Корсуновой и Лялей Луспекаевой (дочерью известного актера), которой тогда было лет шестнадцать, отправилась на поиски натуры для съемки фотофильма (о настоящем тогда и подумать было невозможно). История закончилась плачевно: мы нашли чудную натуру — полуразрушенный дом с обнаженными лестничными клетками в районе Крюкова канала, беда была только в том, что именно с его крыши был виден весь Адмиралтейский завод, являвшийся военным объектом. Пока мы самозабвенно занимались творчеством, во дворе появился военный наряд, который аккуратно доставил нас в военную комендатуру на Якубовича, где нас натурально посадили в одиночки и начали таскать на допросы, обвиняя в шпионаже. А поскольку мы знали, что слово «Сайгон» лучше не упоминать, наши показания начали расходиться с самого начала, что еще больше укрепило военных в мысли, что мы — вражеские лазутчики. Если бы не мама Ольки Корсуновой, которая в те времена была прокурором Адмиралтейского района, еще неизвестно, чем бы это все закончилось. Вышли мы из комендатуры уже на рассвете, оглашая Якубовича воплями «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья...» и далее по тексту.

Дальше я попала под крыло ученика Полунина — Жени Ицковича, у него была своя студия пантомимы в ДК «Невский». Сейчас он водит экскурсии по Нью-Йорку, очень милый человек был. У него я уже выступала в качестве актрисы. Но и студия вскоре приказала долго жить.

Это время у меня воспринимается скорее в цвете, нежели в именах и фамилиях. Помню конкретные отношения, все остальное смылось.

Михаил Юпп был гораздо старше нас, он приклеился к нам просто потому, что к симпатичным молоденьким девочкам надо клеиться. Как потом оказалось,

он был одноклассником моего дядьки. От дядьки я узнала, что Миша Юпп работал поваром в какой-то ресторации на Петроградской стороне (чего, естественно, никто не знал). Когда я попыталась его подколоть на эту тему, он страшно смутился. Он вообще был такой Гаргантюа! Невысокого роста, плотный, ни одной юбки не пропускал. А стихи писал очень изысканные, чем-то напоминавшие персидские миниатюры.

Женя Вензель был чистый Трентиньян, как раз тогда вышел фильм «Конформист». Он, по-моему, изображал его из себя — все его движения, длинный плащ, в котором он ходил; и всё время было ощущение, что он сейчас выкинет из-под полы ствол автомата... Я понимала, что Женя очень хороший поэт, но отношения у нас тогда были напряженные. Он всегда на всех рявкал, и на меня, юную особу, это производило страшное впечатление, поэтому я старалась держаться подальше.

Витя Ширали ходил в шляпе с широкими полями, в черном пальто и длинном-длинном шарфе. Вите надо было распустить хвост, для него декламировать в «Сайгоне» — святое дело. Наши отношения существовали на уровне пикировки: Витя постоянно изображал из себя романтического героя, хотя все знали, что он живет за счет мамы и на деньги «милых барышень». Однажды мы случайно встретились на троллейбусной остановке у Казанского собора. Витя был при своём длинном шарфе. Пока он разговаривал, я привязала кончики шарфа к троллейбусу, стоявшему тут же, на остановке, и, когда троллейбус тронулся, шарф уехал вместе с ним. Витя долго не мог мне забыть это хулиганство.

В «Сайгоне» настоящих поэтов было немного, но был большой разряд «полупоэтов», типа Славко Словенова. Это люди, которые всё время попадали в какие-то милицейские истории, причем не по политическим мотивам, а чисто уголовным, при этом они не были обделены долей таланта. Такая зажигательная смесь. Человек ощущал, что он способен что-то срифмовать, и в нём удваивалась бунтарская сила. Такие люди и сейчас есть, это присущий русскому народу тип. Люди эти страшны тем, что внутри них не существует ориентиров, поэтому их может занести в такие дебри, что только руками развести остается.

Ещё одна часть сайгоновской публики — книжники, они обитали в первом зале. Сначала они заходили во второй зал взять кофе, поскольку там варили лучше, потом шли в первый зал за коньяком. Пересеклись наши пути тогда, когда для меня наступило нищенское время, и я продавала книги. Книжка малой серии «Академии» шла по двадцать пять рублей — это в те времена полмесяца жизни. Английские pocket-book'и были за десятку.

Однажды я чуть не продала Юру Жарких... Это отдельная история. Одно время я работала в «Интуристе», пока меня не вышвырнули. Вышвырнули меня по очень смешному поводу. Были майские праздники, и перед Гостиным двором, как всегда, было выставлено всё Политбюро. Я вела группу по Невскому, и руководитель группы начал меня спрашивать: «А это кто? А это кто?» После моих невразумительных ответов он сказал: «Какое непопулярное правительство...» Эта фраза стоила мне работы, поскольку к каждой группе был приставлен стукач. Меня уволили, но у меня осталось огромное количество связей с самыми разными людьми. В Ленинград приехали две американки, с которыми я состояла в переписке: состоятельные дамы, любительницы искусства, кроме того, интересующиеся нашей подпольной жизнью. Я решила привести их в мастерскую к Юре Жарких, предварительно с ним договорившись. Он тогда страшно бедствовал, а они были готовы купить картины. Юра жил в переулке Ильича. Когда мы туда пришли, Юра спал на полу, он был в сосиску пьян. Бедные дамы осмотрели живопись, сказали, что все это им интересно, и они бы хотели поговорить с автором... Но автор был совершенно невменяем, и на этом моя неудачная попытка закончилась.

В ТЮЗе я работала сначала редактором, потом завлитом, а параллельно перепечатывала Тенесси Уильямса, Пинтера, Алана Эйкборна. Из режиссерского курса Зиновия Корогодского я немножко общалась с Мишей Богиним, Ваней Лапиным... С Мишей мы познакомились как раз в «Сайгоне». Он был талантливым, удивительно тонким по восприятию человеком, с ним было чрезвычайно приятно общаться. Дело даже не в том, что он владел музыкальными инструментами, сочинял музыку, писал на эту музыку стихи — дело в том, что он жизнь воспринимал ухом, он слышал жизнь. При этом он умел лавировать в этой жизни, и это было неплохо, это не значило, что он идет на компромиссы, что он предает себя или кого-то. Он интуитивно, ухом слышал места каких-то зияний, куда можно было попасть, и таким образом ему удавалось, не фальшивя, выжить в те полные фальши времена. С Корогодским его отношения не сложились, потому что З. Я. не терпел конкуренции в стенах собственного театра. Столкнулись мы с Мишей много лет спустя по очень смешному поводу. Когда над Корогодским совсем уже сгустились тучи, он начал хвататься за самую омерзительную драматургию в надежде, что его защитят. Так, он решил поставить пьесу Сергея Михалкова «Я хочу домой» (1953). Эта пьеса про русских детей, вывезенных в Германию, — их эксплуатируют, они погибают... Пьеса чудовищная, за гранью добра и зла. Когда на худсовете он сказал, причем в ультимативном порядке, что это будет поставлено, все просто пришли в ужас. Тогда он начал нас уговаривать: «Маша переписшет» (Маша — это я). Я действительно многое переписала. Сидела в Публичке над томами документов Красного креста... Но и этого было недостаточно. И тут появился Миша. Он написал песню, от которой весь зал рыдал. С припевом «Мир, мама, родина, надежда...» Я понимала, что мы балансируем на грани фола, превращаемся просто в продажных шлюх, еще немножко — и нам будет стыдно смотреть в глаза знакомым.

Мишу убили, это было чисто уголовное дело. Он жил на первом этаже, на улице Червоного Казачества, которая славилась большим количеством разношерстной публики. Выпивал, как многие в то время. Нашли его не сразу, он пролежал порядка трех дней...

Часто из «Сайгона» мы шли к Лёне Усвятцову на улицу Плеханова читать перепечатки (Лёня в «Сайгон» почти не заходил) — у него был перевалочный пункт литературы. Журнал «Континент», «Роковые яйца» и «Собачье сердце» Булгакова и чего только там не было прочитано. Причем, если Лёня из дома уходил, можно было у него остаться, сидеть и читать. Периодически прибежала его тетушка, которая жила рядом, кричала, что никто за собой не убирает. Тогда кто-нибудь нехотя брал тряпку, шёл на кухню и начинал что-то там вытирать... Помимо «библиотеки» сам- и тамиздата, у Лени был игровой дом. Приходила постоянная компания, человек десять, и с утра до вечера играли в покер. Я тоже играла, меня обучил Лёня. В частности, именно там, за игровым столом, я провела свой выпускной вечер в белом платице.

Лёня 1944 года рождения, мама его умерла в 1952-м, воспитывал его старший брат... Лёня принципиально нигде не работал. У него был бейджик (выданный когда-то), на котором было написано: «Консультант Усвятцов», — он с ним постоянно ходил, заявляя, что консультирует по всем жизненным вопросам. Помню лишь одну его работу: когда Михаил Козаков ставил «Пиковую даму», Лёня был консультантом по карточным играм пушкинской эпохи. Зарабатывал он тем, что

ездил на промыслы: нанимался в рыболовецкий сезон на пугину в бухту Провидения, приезжал оттуда в собачьих куртках, весь заросший, страшный. Ездил ловить рыбу и на Белое море. Однажды они сопровождали поезд с коньяком и портвейном, который шел куда-то на Таймыр. Работа их состояла в том, чтобы охранить всё это добро от разграбления, но, конечно, они и сами пили, и «делали бизнес» в дороге. На одном перегоне к Лёнке подъехал мужик: выпить надо, денег нет... и в авоське держит кошку. Лёня взял кошку, а она оказалась рысью! Потом была задача, куда сбыть рысь.

Лёня всегда был открыт, в отличие от всех остальных людей, державших наготове маску. Он не боялся жизни — это было самое важное, определяющее в нем. Это был человек, который самым фактом своего существования доказывал, что можно не иметь никакого отношения к этой власти, который своим примером давал понять, что «да, это непросто, но если ты хочешь — ты можешь». Я думаю, для меня это было самым значимым. В последние годы мы вели с ним философские беседы, и он сетовал на то, что ему не было дано веры. Возможно, когда человек лишен веры, у него вырабатывается собственный моральный кодекс, который может расходиться с общепринятой нравственностью. Моральным кодексом Лёни было представление об интеллектуальной честности. Под этим он подразумевал умение отвечать за свою мысль, не прятать ее, не скрывать, а соответствовать ей в поведении, в деле, в логике, отношениях. В этом смысле он был рационалист, человек эпохи просвещения. К интеллектуально нечестным людям — а их, в общем, довольно много — он мог проявлять жесткость, и даже жестокость.

* * *

Свою дочку, Сайгу, я стала таскать в «Сайгон», когда ей было года полтора. Она всегда сидела на первом, высоком, подоконнике, её там кормили пирожками... И вот, лет пять тому назад, когда она, уже совсем взрослая барышня, работала в какой-то конторе, к ней подошёл человек лет сорока, со словами, что где-то её видел, и вдруг он вспоминает: «Вы та самая девочка, которую я кормил на подоконнике в “Сайгоне”».

Мария Ланина ИЗ ДНЕВНИКА

30.7.1970. В «Подмосковье» подошел опять этот мальчик. И начал говорить, что беспокоится о моем здоровье, пришел проверить, не пью ли я кофе. Мы познакомились, и он начал договариваться о встрече, а когда оказалось, что я завтра уезжаю, сказал: «Ну, тогда после первого сентября. Счастливого отдохнуть». Просто так и все. И я поняла, что все и должно быть просто так. И в этом мудрость, чтобы снаружи было все просто, а внутри сложно.

29.3.1971. ...Больше я ходить в «Подмосковье» не буду. Я понимаю, поверить трудно. И все же... Дело вот в чем: надоели подонки, но это не самое страшное. А оно, самое страшное и интересное, заключается вот в чем: сегодня вечером мы зашли туда с Нестеровой, вдруг подходят два типа — один в штатском, другой военный, но без шинели и с кобурой. Штатский тыкает в нас с Нестеровой пальцем и говорит: «Вот эти двое». Потом они поворачиваются и уходят в «Москву». Мы быстро смыаемся. Важно? Да нет, в общем, видимо, не важно...

30.7.1971. ...Сели на скамеечку [в Летнем саду], кстати, на которой в свое время сидели Ширали с Нестеровой, и Ленка вспомнила об этом человеке, который говорил, что я плоха, бездарна и неестественна. А я сказала, что неестественность происходит от конфликта между поверхностной игрой и глубокой чувственностью. Жизнь периодически вынуждает делать не то, что реально хочется. А хочется серьезности и глубины.

15.11.1971. Вечером поехали с мамой в кафетерий. Пришел Ширали с Сонечкой...

10.12.1971. ...Видела Сашу [книжник-библиофил] в «Подмосковье»... Говорили о фильме каком-то...

9.1.1972. ...Слушала Топорова сегодня — хорошие очень стихи.

6.3.1972. ...У Ромма есть книга рассказов, которая называется «666 ассоциаций». Название очень яркое. С «Пиром» [во время чумы] все замерло. Сегодня обещали сцену, и вот еще ничего не известно и, похоже, что и не будет известно. Ромм дал почитать свои рассказы и говорил что-то о них. Рассказы мне не понравились. Создается впечатление, что так может каждый — у меня просто времени нет, да и усердия нет, чтобы сесть и записывать такие вещи.

15.12.1972. ...Боря Иванов — очень славный человек... Учитель. Бывают такие люди. В последнее время в голову приходят слова, которые и раньше часто произносились, но не было в них смысла моего. Теперь сладко от них во рту... «Пир» двигается, но есть угроза впасть в любительство.

Ольга Корсунова

ИЗ КРУГА В КРУГ*

Я училась в университете на юрфаке, на вечернем отделении, а днем, поскольку вечерникам надо было обязательно состоять на службе, работала секретарем в суде, затем в военно-морском училище, где и попала в фотолaborаторию. У меня в семье все были юристами: и мама, и бабушка, и дедушка... Ну и я по инерции пошла по этому пути.

Примерно в 1971 году я познакомилась с Борей Смеловым, замечательным фотографом. Эта встреча всё и определила. Я написала в деканат заявление: «Прошу отчислить по собственному желанию» — и ушла из университета, потому что кроме фотографии для меня на тот момент уже ничего не существовало.

«Сайгон» был для меня как нечто само собой разумеющееся. Это было место, где можно было обо всем узнать, передать любую информацию, найти кого надо, просто выпить кофе, а потом куда-то нестись. Всюду что-то происходило, только успевай: туда, туда, туда, туда... Мне везде было интересно побывать. Я сама по себе человек общительный, знакомых всегда было много, из самых разных кругов. Со времен учебы в школе существовала большая околотеатральная компания, которая сложилась в одном из летних лагерей, её центром был Виктор Малов, занимавшийся самодеятельным театром. Собирались мы в квартире под номером 40 в блоковском доме, на углу Пряжки и улицы Декабристов. Так и говорили: «Встречаемся в квартире сорок». Потом мы с Борей Смеловым познакомились, у него тоже был свой круг друзей. Были у меня знакомые и из круга моего друга Лёни Усвятцова и т. д.

Разумеется, когда я оказалась в первый раз в «Сайгоне» (это было в самом начале 1970-х), я тут же познакомилась с новыми людьми. Там было много ярких персонажей, мощных, вокруг которых всё вращалось, вокруг которых концентрировались люди. Такой личностью был Толя Ромм (Кит), которого кто-то привел в «квартиру сорок». Умный, толковый, в меру циничный, в меру пофигист. Как магнитом, народ к нему притягивался: и музыканты, и пишущие, и такие, и сякие. Это было время создания группы «Аквариум». Её становление происходило у нас на глазах, в том числе у Кита дома (он снимал квартиру). Приходишь, кто-то сидит, наигрывает на пианино. Узнаёшь, что это Курёхин... У Кита была исключительно дружеская атмосфера в доме...

Лёня Усвятцов, Рыжий его звали, не уступал Киту по внутренней силе и по мысли, но по складу характера это был человек совершенно другой. Одна из его



*Борис Смелов и Оля Корсунова. 1977 г.
Фото А. Богданова*

любимых фраз: «Жить по судьбе». Он этому девизу следовал. Лёня был таким пиратом-авантюристом, и те, кто его окружал, были чуть-чуть игроками. Мечтали об острове в океане, на который все переедут и будут там жить. Лёня мог сказать: «Приходи, завтра будет праздник!» Отправлялись за город, в Пушкин или в Павловск, там у кого-то был дачный домик. Приезжало много народу. Разыгрывали костюмированные истории. Устраивали для себя праздник. Лёня жил у Казанского собора. А чуть дальше на улице Казанской (тогда Плеханова) была мастерская Андрея Геннадиева, и там собиралась своя компания — художники, поэты. Геннадиев — художник эпатажный, сам человек-праздник. Он любил красивые истории, любил красиво наряжаться... Случалось, что брали

у знакомых в каком-то театре костюмы и ночью шли гулять по городу, по Петропавловской крепости. Тоже ради собственного удовольствия.

Путешествовали от одного круга к другому. Был такой фотограф Лёня Богданов, у которого на Большой Московской, рядом с Владимирской площадью, была фотографическая мастерская, называлась «Лавка», где группировались фотографы. Он мне говорил: «Оля, я тебе так завидую — ты пришла, посидела, стало неинтересно — ты убежала, а я тут сижу, потому что ко мне все приходит, я тут хозяин». Я действительно посижу — и мне куда-то в другое место надо.

В «Сайгон» ходили все. Не ходили: Эрль и компания, приверженцы Малой Садовой. «Сайгон», с их точки зрения, — это нечто «разлапистое», а Малая Садовая — для интеллектуалов. Но Малая Садовая — не моё было место, хотя и туда я забегала частенько, особенно когда надо было с кем-то встретиться.

У меня мама работала в прокуратуре и очень переживала: «Оля, ты нас безумно подставишь! Было совещание, показали фотографии, снятые при входе в «Сайгон». Думала об одном: только бы тебя не увидеть! Узнают — выгонят из университета, с работы!» Вокруг «Сайгона» постоянно стояла толпа народу — выпив кофе, выходили курить... Поговаривали, что нас снимают, — была легенда, что камеры установлены в окнах напротив, через Невский. Там были такие «нежилые» окна. Так бы и гадали, легенда это или нет, если бы не это свидетельство мамы.

В «Сайгоне» были две подружки, Лена Гордиевская и Таня Ведякина, — одноклассницы. Их школьным учителем (кажется, преподавателем математики) был Георгий Михайлов, которого потом посадили за квартирные выставки. С Леной и Таней я познакомилась, если не ошибаюсь, в компании Лёни Усвятцова, но бывали они и у Андрея Геннадиева. Лена училась в университете, на юридическом. Она была фантастически талантливым человеком, и уже в двадцать три — двадцать четыре года стала судьей. Это был уникальный в Советском Союзе случай. Работая судьей, она продолжала ходить в «Сайгон». Если у кого-то возникали какие-то юридические моменты — неважно, серьёзные или нет, — обращались к ней. Она вечно кому-то что-то объясняла. Но из судей она вылетела из-за одной истории. У каждого судьи есть секретарь. С девушкой-секретарем они подружились. Однажды в одной с ней компании где-то сидели, выпивали. А потом произошёл несчастный случай: девушка утонула. Лена была тут ни при чём, но, поскольку она оказалась в одной компании со своим секретарем, ей, видимо, это поставили на вид, и она ушла в адвокаты. Чуть позже, уже после закрытия «Сайгона», Лена была одним из инициаторов создания галереи «Борей». Умерла она молодой: наступила такая стадия, когда её уже было не остановить — ни семье, ни друзьям. И всё кончилось трагически.

Известным персонажем во всех кругах, о которых я говорила, был Наль Подольский. Он был кандидатом технических наук, преподавал в Корабелке, потом всё бросил, ушёл в чечегары, как тогда было «положено», и стал писать прозу. Как хроникёр, всегда оказывался в центре событий, при этом ходил только туда, где было интересно ему, где можно было встретить интересных людей. Наль мог говорить на любые темы, он был как ходячая энциклопедия, о чём не спросишь — о литературе, о математике, о физике, о русском языке, — всё расскажет. Много ездил в археологические экспедиции (археологом был его брат, Марк).

Наль писал и искусствоведческие статьи, например о выставках Наташи Жилиной, гениального художника из круга Арёфьева. Наташа Жилина в «Сайгон» не ходила. Она была как бы над всем, вне всего этого. Хотя у них дома собирались всё те же самые люди: поэты Виктор Кривулин, Олег Охупкин, Юлия Вознесенская и другие.

Юлия Вознесенская в своё время немного соперничала с Костей Кузьминским как держательница салона (Костя, конечно, хихикал по этому поводу). Свой «салон» на улице Жуковского она немножко искусственно создавала, специально «взращивала». Там собирались поэты — Боря Куприянов, Олег Охупкин, Виктор Ширали, — устраивались поэтические чтения, дни рождения отмечались. Были всё время какие-то посиделки — когда с вином, когда без. Пили много, сейчас так не пьют, как тогда. Юлия как будто играла роль хозяйки салона начала века, немного взбалмошной, эксцентричной. Её муж, Володя Окулов снимал её обнаженной, эти фотографии она показывала всем, демонстрируя, что у неё нет никаких предрешений и комплексов.

Всё время что-то происходило, всё время веселились, рассказывали истории о том, как кто-то одурачил власти или милицию, или смешные байки о своих поездках «зайцем». Была такая история. Таня Ведякина вышла замуж и переехала в Москву. Они с мужем поселились в доме возле Белорусского вокзала, и, разумеется, у них вечно кто-то из ленинградцев passa. Как-то мы приехали к ней в гости большой компанией. Билеты в обратную сторону были у нас на один день, но на разное время. Витя Кривулин говорит: «У вас поезд в полдесятого? А у меня в полдевятого. Встречаемся в девять». Естественно, когда в девять часов пришли на вокзал, его поезд уже полчаса как ушёл. Витю это ничуть не смутило, он уверенно заковылял к поезду, который в тот момент был подан на посадку, и потом с удовольствием рассказывал, как хорошо он доехал, пристроившись к иностранной делегации.

Сайгоновский народ решил устроить празднование Дня декабристов у Медного всадника. Одним из инициаторов этой акции была Маша Ланина. Ко мне тогда приехала подружка из Таллина. Она очень долго собиралась к выходу: плела какие-то косички, примеряла шляпы... И вот мы с ней пришли на полчаса позже, чем все договаривались. Идем по бульвару Профсоюзов. Всё оцеплено милицией. Какой-то милиционер говорит нам: «Дочки, не ходите, там заберут вас». Но это только прибавило нам задора. Приходим. А там уже большую часть народа забрали. Кто-то ещё оставался. Маша была с коляской — её не забрать. Мы потолкались-потолкались на морозе и поехали к Наю. Мы тогда часто собирались у Наля в мансарде играть в скрэбл. Все друг с другом перезваниваются: Кривулина арестовали, Юлю Вознесенскую задержали, в «Сайгоне» ничего не знают, все бегает и пытаются что-то узнать. Вечером задержанных отпустили, обвинения же предъявили такие, что нарочно не придумаешь. Юлю пытались обозначить как спекулянтку коврами из Гостиного двора, а Витю — как вора-порточника.

По тем временам венчание было редким явлением, поскольку могло закончиться для венчающихся непредвиденными последствиями. Но некоторые пары начала 1970-х венчались. Венчание поэта Сергея Олефира проходило в Никольском соборе, там даже разрешили фотографировать. Снимать было несложно и интересно. Снимала я и венчание Татьяны Горичевой и Виктора Кривулина. Народно было много и в церкви, и дома на свадьбе.

Крестить детей ездили во Всеволожск, к Константину Смирнову. Он был из круга Андрея Геннадиева. Первое образование у него было актерское, затем он поступил в Духовную академию, стал дьяконом церкви во Всеволожске. Сейчас отец Константин настоятель церкви на Конюшенной площади.

Так и жили, путешествуя из дома в дом, все на виду...

Василий Кондратьев

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ХРЕНОВА (1956–1995)*

11 июля 1995 года не стало Сергея Хренова. Сергей был человеком, которого знают прежде всего по имени, без чинов, и, хотя он особо не выглядывал из так

* Опубликовано в: «Заря Востока». 1995, № 9/10.

называемого «литературного мира», его жизнь и место там, где собственно — литература, были серьёзны и многое значат. То есть, звание «литературы» расплывается вместе со страной и с обществом, в котором цена имени или звания всем известна. Писатель же тот, кто рассказывает, — по своему опыту или с чужих слов на другом языке, — чтобы было кому и что прочитать. В наши более чем произвольные времена всё остальное — личные игры на публику, в которых Хренова никогда не было. Когда был самиздат, он собирал и печатал машинописный журнал «Предлог», который в Ленинграде знали и искали, потому что там можно было найти современные зарубежные вещи высокой пробы и хорошие русские тексты, до которых и сейчас не дошли руки издателей и журналов. Позднее он переводил для издателей такие книги, как «Двери восприятия» Хаксли, романы П. Энтони, Р. Бротигана, Дж. П. Данливи и «Сказание о Мануэле» Дж. Б. Кейбелла, за которое получил литературную премию «Странник». В общем, за короткую и сумасшедшую жизнь Сергей Хренов сделал для читателей столько, сколько и можно было сделать в болоте русских книгоиздания и словесности, где с годами ухудшается только качество обложек. Может быть, поэтому очень немногие знали его самого — автора стихов и прозы, который писал скупое, по сути меткое и не лезло, чтобы это слушали и печатали. Да это и не дело писателя.

Все знают из латыни, что «путь искусства долг, а человеческая жизнь коротка». К тому же она заталкивает и закапывает. На пути к искусству приходится многое прожить, чтобы потом ты не успел вернуть хотя бы кому-то и малую долю того, что прожито. И тогда это просто твоё. Сергей был человеком той музыки жизни, которая для многих из нас как-то связывается с американским акцентом, с местом «Сайгон» и возникавшими там «священными чудищами», а с тех пор ещё больше пошла вразброд, наверное потому, что её придумали негры. Но кроме того он знал ещё и слова к этой музыке, фразы, которые нужно было переводить на русский язык и в русскую жизнь: разбитое поколение, революция слова, психоделический взрыв и весь этот рок-н-ролл... Последняя книга, которую я ему давал, была толстая и в обложке: Джек Керуак и Уильям Берроуз под ковриком на какой-то квартире, полвека тому назад. Теперь я вижу и Сергея только на фото. Да, они выглядят вместе. Здесь, каждый по-своему.

Здесь бывает, что неба будто бы нет, и тогда всё — воздух или из воздуха, в пыли которого вырисовываются здания и каналы. Всё, что может быть, кажется театром наиболее видных домов, дымчатых и отступающих от прохожего высокими колоннадами и взметнувшимися тенями крылатых фигур, полуживотных или растительных, повитых пепельными ветвями. Всякая жизнь, словно нечто высшее и разумное, полупрозрачно проходит под их пролётами и в глубине мрака их перепутывающихся лестниц, крытых галерей и пустых залов. Там потерявшийся мальчик проходит науки — мифология, музыка и геометрия, — поприивыкнув, чтобы разглядывать тени, к потёмкам, где прилёг мраморный безголовый бог Пан... Но этого мало. Нужно солнце, чтобы картина полиняла в уличной грязи, когда всё вокруг заходит, забормочет и разбазарится. Потому что пока было — воображаемое, а между тем город дурно копошится мелкой сволочью жизни, в которой всё настолько же нелепо, настолько же потеряло вид, насколько вышеупомянутый пейзаж — пыль, вздохи, фразы. Нужно понять, что обманывало, а точнее — где так ты прожил и что было по сути, в которую сливаются дни и сны, слово и дело. В Петербурге, в середине года.

Наверное, Сергей бы понял трактир в полуподвале за углом от реки — ему нравилось подбирать слова с крепким отзвуком — где отодвинутый на клеёнке стола стакан бренди вызывает ожог, и при одной лампе можно объять всю жизнь

гут же, на этом твоём проплывающем по ней месте-в-пути, на оси которого все дела вдруг собираются с мыслями и идут в оборот, обретают координаты и вид круга людей. Это вроде музыки, невнятного блюза мест и лиц, неважно — кто где, что — зачем. Всё здесь. Это вещь. Смысл во всём, что разыгрывается и окружает тебя городом. Невский проспект, рукопожатие, пара слов или строк — вот всё, чем обнаруживает себя подпольная жизнь, которая происходит между умами и оберегает одиночество каждого. Месяцами, годами порознь, но, когда кого-то не стало, осознаёшь, кто наговаривает тебе мерцающую игру жизни и без кого падаль её картины, идеи и книги. Значит, вышеописываемый театр теней и правда имел место и больше может не быть.

Может, надо начать просто и по порядку. Но тогда будет так: мы выросли в красивом и подвымершем месте на развалинах какого-то другого города, и поэтому... Нет. Просто здесь никогда не было свободы, и поэтому в уме нет крупного плана жизни, чтобы сказать всю правду. Правда — это точность, а не то, что кажется правильным. Факт. Для которого у тебя здесь только твоя жизнь, или, бывает, один кафетерий на углу. Там, где ты стоишь на грани своего и другого. Почему Сергей и писал: «Большое и простое не может стать маленьким, а тем более — двойным».

Кто знает этот глоток кофе на Невском. Бросок мысли, крепкий дух с прикусом горечи. Чтобы жить и сказать прямо, отойди, глянь как бы сбоку на себя, а значит, других. Ты живёшь, чтобы найти свою точку и самому стать мерой и порядком произошедшего. Это не слово, не звание — просто точка, твоё место здесь, где кажется, что столики передвигаются, как фигурки шахмат. Всё идёт, и ты здесь, чтобы не сойти с пульса. Всё никогда не идёт как надо. Хорошо это тебе или плохо — не суть дела. Твоё дело отсюда войти в то, как оно катится, просто чтобы называть вещи своими именами. И здесь продолжай: мы выросли на развалинах какого-то другого города, и, поскольку жизнь всегда рисовалась нам, как могло быть или может быть, мы благодарно прозябаем и тащим каждый в свой угол, чтобы дожить до лучших времён и загладить несправедливость судьбы. Ты будешь неправ, потому что в ответ будет много простых и больших слов. Выпей. Глоток, чтобы всё стало крепко. Твоё право быть не со всеми, чтобы потом было что рассказать и понять: здесь твоё место и здесь ты нужен. Чувство, доходящее до снобизма. Как в лучшей, кажется, повести Бориса Кудрякова: «Здесь вопросов не ставят. Рюмку свинца изопьём и надкусим стекло».

Поэтому не найти пути в городе, идти по лунной тропе, как вьётся высоко вдали серебряный арлекин, которому вторят горячие воды канала, аспидные цветы оград и сумрачные полукозлы на воротах. Лампа-паук покачивается на цепях, и не одиноко раздумывать над искорками окон в ночи, которые ещё живы. Нет более глубокого и оцепеневшего времени, чем в состоянии разброда и близкой войны. Не за горами отсюда тысячи одинаково грязно одетых людей убивают друг друга, чтобы в жизни было очевидно, почему здесь, в тиши полумёртвых кварталов, пропадают и гибнут другие тысячи. На обед в великокняжеском зале выйдут орлами двубровые рыла, и полужверские статуи на зданиях оживут. Тихо. Можно идти без суеты и не успевая в завтра, поскольку без воздушного вида жизни и без нашего участия друг в друге никакого завтра не будет — только множество вероятных и невероятных миров, беспорядочно лопающихся в нашей толпе на проспекте в этот каждый день. Когда город выглядит пусто, как слова, среди которых погибший Сергей вдруг засаднит у меня в сердце, потому что там всё до боли сбывается и там каждый из нас носит свою толику смерти. Все поэты.

Татьяна Пономаренко
О БОРИСЕ КУДРЯКОВЕ*

Не могу сказать, что я сайгоновский человек. Когда я училась в институте и была домашней девочкой, то про «Сайгон» слышала, но меня туда не заносило, и среди моих друзей завсегдатаев «Сайгона» не было. Когда в 1991 году образовался «Борей», в него стали стекаться люди из разных групп, в том числе и из сайгоновского круга, и вдруг оказалось, что это одна огромная культурная тусовка, выяснилось, что все друг друга знают.

И с Борей Кудряковым познакомились мы уже в «Борее», когда делали его первую выставку в 1996—1997 гг. Разговоры с ним всегда были не бытовыми, потому что сам он был человек вне быта. Для меня он был патриарх, один из «мамонтов», я даже робела, когда предлагала ему устроить выставку.

Боря был человеком очень живого и быстрого ума, никогда не зависел от чьего-либо мнения, но при этом был совершенно незащищенным, уязвимым. В последние несколько лет он каждый день приходил в «Борей», и у нас уже были довольно близкие отношения, но всё равно я про него ничего не знала, он никогда про себя ничего не рассказывал. Когда умерла его мама, он стал совсем одинок. Мне показалось тогда, что ему может помочь какая-нибудь активная деятельность, хотелось его растормошить, и я предложила ему быть консультантом по работе с молодыми фотографами, по субботам вместе со мной отсматривать работы. Потом я поняла, что была неправа: Боря не мог критически говорить о чужой работе, да ещё в присутствии автора. Дай ему фотографию, сделанную мальчиком, который впервые взял в руки фотоаппарат, и он скажет: «Смотри, как это талантливо!» К своим работам Боря был, напротив, исключительно требователен. После его смерти оказалось, что архив рассредоточен по разным местам. После первой выставки в «Борее» он оставил мне часть фотографий в подарок, а уже через неделю пришел и всё забрал. Сказал, что он еще не закончил, с этим ещё должен работать, что-то доделать, переделать...

Наталья Иевлева

AMOR FATI**

(памяти Леонида Усвятцова)

Он не был завсегдатаем «Сайгона». Сейчас я понимаю, что там было много людей, которые ходили в «Сайгон» главным образом за тем, чтобы ощутить чувство сопричастности, этакую «гордость принадлежности»... А Лёня мог заглянуть туда, как комета, «попринадлежать» им на мгновение и уйти. Он сам создавал свою компанию. Постоянно ходить в «Сайгон» для него не было потребностью — он был свободен и от этого.

Лёня был старше меня на восемь лет, он 1944 года. Все называли его Рыжий. Я, впрочем, его рыжим не видела, он очень рано поседел, но его кожа, покрытая веснушками, была такой белой, какая может быть только у абсолютно рыжего человека.

* Беседовала Юлия Валиева.

** Беседовала Юлия Валиева.

Он был и остался самым главным человеком в моей жизни. С разнообразными перипетиями наш роман длился ровно двадцать лет. А познакомились мы где-то в 1977—1978 годах: моя лучшая подруга в то время стала его женой.

Всё начиналось на Казанской улице, за Казанским собором. Это была громадная коммунальная квартира, в которой Лёня жил вместе со своим братом Марком. Они были молоды, веселы, полны сил и энергии, ощущали свою молодость и жизнь как праздник, и им удавалось заразить этим ощущением других — это и привлекало людей в их дом. Там царила свободная атмосфера — разговоры, чтение, поэзия, песни под гитару, ночная игра в преферанс и, конечно же, выпивка. Приходило много очень разных людей, которые знакомились друг с другом, заведывались романы, создавались и рушились семьи — эта атмосфера была так непохожа на душноватую и серую обыденность советского быта и потому затягивала, давала остроту и вкус жизни.

Лёнька любил повторять, что «никто так сильно не занят, как бездельники...» Он был все время чем-то занят, хотя нигде постоянно не работал. Какое-то время учился в театральном институте, писал диплом о царе Эдипе, но так и не закончил. Он говорил: «Я влюбился, мне было некогда».

Конечно, у него никогда не было денег. В советское время можно было зарабатывать очень разными и при этом «сравнительно честными» способами, да и денег нужно было мало, хотя тратились они всегда крайне легко. Я помню, Лёнька рассказывал, что когда они были очень молоды, то в периоды острой нужды... стреляли голубей и ели их. У безденежья существовала своя градация: от обычного положения, когда «совсем нет денег», — до состояния, которое выражалось так: «денег нет совсем», «где взять денег?»...

Для заработка и, конечно же, для удовольствия ездили на Белое море, откуда привозили сёмгу, которую ловили старинными способами, на карбасах*, жили в избах... Ещё они ездили в Карелию и на Дальний Восток, что-то там починяли, строили; охотились на северных оленей; копали канавы где-то в глубинах Урала и Сибири. А уж гаражей и кочегарок — этого было не сосчитать... Был период в начале 1980 годов, когда мы все работали на доставке железнодорожных билетов, получали чаевые. Копейки, но в день что-то набегало. Работа тяжелая, но в ней была своя романтика, атмосфера постоянных перемен, движения, опасности и в чем-то всегда игры, потому что адреса бывали немислимые.

Лёня хорошо знал карточные игры, у него была большая коллекция карт. Помню эти безумные преферансные или покерные ночи, которые переходили в день... У меня-то нет азарта, а он был невероятно азартным человеком и в шахматы играл с таким же азартом, что и в карты. Много денег выигрывал, столько же проигрывал.

Вихрь Лёнькиной жизни захватывал многих. И для меня, молодой и просто-душной, все это было ново и притягательно: прежняя жизнь была одноплановой, однотонной и вдруг оказалась цветной и разнообразной.

Лёня был человек тонкой организации, «многослойный», не совместимый ни с какой банальностью, даже если речь идет о стиле одежды: он мог ходить в кирзовых сапогах и в белоснежной рубашке. Когда он появлялся, все оживлялось, всё приходило в движение. До сих пор люди из его компании используют Лёнины слова, выражения, рассказывают его истории, сами не замечая этого. После Лёниного ухода из жизни с нами, его друзьями, произошло такое инкорпорирование, включение его внутрь себя — как части своей души.

* Большая лодка с парусом, предназначенная для рыбного промысла и перевозки грузов (на Севере). — *Прим. ред.*

Притягивая к себе людей, он сам был чрезвычайно скрытен, сдержан. Мало кто знает, что у него часто случались депрессии. Бывало, что Лёня говорил: «Телефон молчит». То есть вроде бы все хорошо, ты, милая, рядом — но телефон молчит. Телефон зазвонил — Лёня расцветает, полетел. Ему надо было всё время быть с людьми, обмен энергией был необходим для его существования: люди давали ему стимул для жизни, а он им — жизненные токи. Иногда его общительность казалась мне чрезмерной, но сейчас я понимаю, что если творческим людям полноту бытия дает реализация своих талантов (в литературе, живописи, науке), то для Лёни ощущение счастья рождалось при отдаче себя самого... Лёня говорил: «Я ничего не сделал», «Я никто, я ничего не умею», «После меня ничего не останется» — и, конечно, страдал от этого.

Буквально за год-полтора до смерти он начал говорить мне: «Неужели всё уже кончилось? Неужели это всё, что мне покажут? И я больше ничего не увижу? Я очень люблю всё это...»

Лёня умер 19 августа 2000 года. Он много раз говорил: «Как я не люблю август!» Или: «Скоро август — как тяжело, какой плохой, неправильный месяц!» Август мы никогда не проводили вместе — я уезжала в деревню. В тот год перед отъездом я напечатала на компьютере календарики вперед на несколько месяцев. А когда, получив страшную телеграмму, прилетела в город, то увидела, что на моем календаре пропущено 19 августа...

Сейчас, когда мне бывает тяжело, я вспоминаю, как он утешал меня очень простыми словами: «У тебя же всё было, тебя любили, ты жила — чего ты еще хочешь?» Он меня научил *любви к своей судьбе*. Мы развешивали на стене бумажки (нам казалось, что мы сами это придумали) с разными изречениями, и одно из них было таким: «Amor fati» — «Любовь к своей судьбе»*. Долгое время я не понимала значения этих слов, для молодости это нормально. Потом потихоньку стала понимать...

* (лат.) Термин античной философии стоицизма, в новоевропейской философской литературе известный главным образом благодаря Ф. Ницше. В ницшеанском словоупотреблении amor fati есть мужественная воля к тому, чтобы сполна пережить свою жизнь, не только не требуя от нее никаких обещаний и гарантий, но будучи с самого начала готовым к самому страшному. — *Прим. ред.*

Андрей
Геннадиев
в своей
мастерской.
1974 г.
Фото
Б. Кудрякова





Анатолий Белкин и
Владлен Гаврильчик.
1979 г.



Юрий
Галецкий



Жанна Бровина с портретами Ошапкиным, Кривулиным, Курпиряновым.
Фото О. Корсуновой



Олег Ошапкин. Автопортрет.
1970 г.



Михаил Петренко
1964 г.



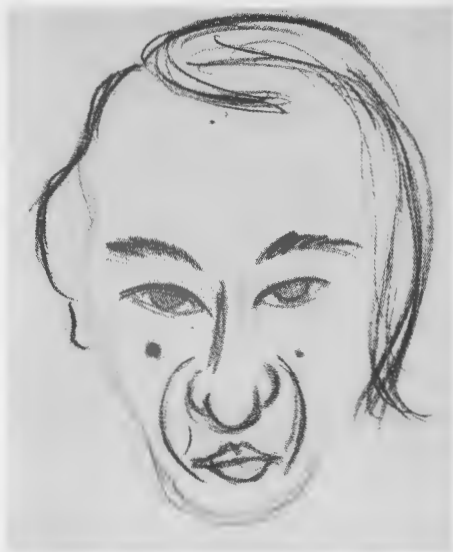
Борис Куприянов. 1974 г. Фото Б. Кудрякова



Константин Кузьминский. 1975 г. Фото В. Окулова



Г. Костаки и ленинградские поэты Олег Охалкин, Борис Куприянов,
худ. Юрий Петрович



Борис Куприянов. 1970 г.
Рис. К. Кузьминского



Константин Кузьминский.
Автопортрет. 1970 г.
Из коллекции Ж. Бровиной



Петр Чейтин. Фото Б. Кудрякова



Петр Чебытин. 1975-1978 гг.
Рис. Г.М. Неменов



Петр Чебытин. Рис В. Левитина.
Бумажка, масло. 1970 г.



Открытие «Клуба-81». В первом ряду: Борис Иванов, Виктор Кривулин,
Олег Охалкин. Во втором ряду: Лариса Дианова, Владимир Нестеровский,
Алла Минченка. В третьем ряду: Алексей Козырев, левее видны Шерф
и Евгений Пазухин. Фото В. Окулова



Чтение Виктора Ширали на квартире у Кита.
1972-1974 гг. Фото Б. Кудрякова



У Козыревых дома в Купчина. Марианна Львовна Козырева, Татьяна
Горичева, Виктор Кривулин (слева направо).
1975-1976 гг. Фото А.А. Козырева



Чтение Виктора Ширали на квартире у Кита.
1972-1974 гг. Фото Б. Кудрякова



Виктор Соснора в гостях у Константина Кузьминского.
1972 г. Фото Б. Кудрякова



салон Юлии Вознесенской. Фото В. Окулова



дома у Юлии⁴ Вознесенской. слева направо: Владимир Окулов (лежит), Юлия Вознесенская (сидит на диване), муж Елены Игнатовой, Елена Игнатова, Петр Чейгин (на первом плане), неизвестная. Фото О. Корсуновой



Леонид Усвятцов



Леонид Усвятцов на карнавале.
Фото О. Корсуновой



Кол Чернитовский.
Конец 1970-х гг.



Леон Карамян.
Конец 1970-х гг.

Константин Кузьминский
мастерской В. Левитина.
1973 г. Фото Г. Приходько



Выставка на квартире
Кузьминского.
слева направо:
Анатолий Белкин,
Константин Кузьминский,
Элла Кузьминская,
Олег Лятчев





Выставка в Сосновке. 1975 г. Фото В. Окулова



Домашняя выставка у Кирилла Миллера. Фото В. Окулова



слева направо:
Виктор Кривулин,
Юрий Гальперин,
Юрий Петрович,
Давид Дар, Игорь Росс,
Анатолий Белкин,
Владимир Овчинников,
Александр Исачев



Владимир
Овчинников и
Анатолий Белкин



Дмитрий Шатин, Борис Селов, Наталья Жилина.
1974 г. Фото О. Корсуновой



Д.Шатин. «Сайтон» 1960-х. Порты. Картон, масло



В кочетарке. Фото В. Окулова



Семья. Фото Б. Кудрякова

Много вопросов связано с «Сайгоном». Но можно выделить главное — социальный контекст, в котором возникает «Сайгон». Затем — основную идею «Сайгона» во всех ее аспектах: как романтическую идею, как идею, которая, несмотря на свою плодотворность, все-таки не дала ничего... Хотя результаты могут быть косвенными... Опять-таки вопрос! И, кроме того, «Сайгон» выполнял общественную функцию: ты всегда знал, что застанешь кого-то в «Сайгоне», перекинешься парой слов, как и положено в цивилизованном мире; узнаешь новости, причем те, которые важны для тебя, а не те, которые предлагают по радио...

Елена Здравомыслова

«САЙГОН» В РАССКАЗАХ ЗАВСЕГДАТАЕВ 1970-х ГОДОВ

То, что вы прочтете, не вполне укладывается в принятые литературные жанры. Это мозаика, составленная из фрагментов интервью с завсегдатаями «Сайгона», собранных в 1997 году. Сцеплены эти фрагменты вполне условными смысловыми мостиками, выстроенными автором публикации Еленой Здравомысловой. Она же собирала интервью. Информанты в большинстве случаев обозначены лишь инициалами.

История названия

По свидетельству одного из информантов, «Сайгон» открылся 1 сентября 1964 года. Предшественником «Сайгона» была «Малая Садовая». Публика, которая крутилась на Малой Садовой, перешла в «Сайгон». Завсегдатай рассказывает: «А потом я в «Сайгоне» бывал практически ежедневно лет двенадцать» (Г. У.). В то время все более или менее известные публичные места в городе имели народные названия. Карта центра города включала популярные среди молодежи тусовочные места, обозначенные топонимами «Лондон», «Ольстер», «Рим», «Сайгон».

Откуда появилось название? Единого объяснения нет. Завсегдатай 1960—1970 годов предлагает следующую версию: «Как я помню, по свежим следам, была история такая, что там то разрешали, то запрещали курить внутри, и, когда там было запрещено курить, стояли девушки и курили, к ним подошел милиционер и сказал: “Что вы тут курите? Безобразие! Какой-то Сайгон устроили”. Тогда шла вьетнамская война...»

Рассказывают, что первоначально это кафе звалось «Подмосковьем», поскольку было расположено под рестораном «Москва».

Недавно ушедший от нас поэт Геннадий Григорьев вспоминает: «В те годы, когда «Сайгон» уже, по моему, назывался «Сайгоном», появилось замечательное стихотворение Евтушенко. Он по любому поводу писал стихи и, когда он был в командировке во Вьетнаме, написал стихотворение «Ведет на Сайгон дорога, дорога номер один». Вот, это была тайная дорога, и я вот как бы выучил его наизусть и... прочитал

что в «Сайгоне», естественно. Оно было такое чисто «сайгоновское» стихотворение, что «опасная дорога» там, не знаю, это самая опасная, кругом мины (ха)...

А вот другая версия:

«Рассказывали, что кафе до своего первого ремонта неофициально называлось «Петушки», так как на стене за стойкой на белом кафельном фоне был выложен из цветной плитки декоративный орнамент, центральными фигурами которого были большие птицы, которых и прозвали «петушками». Тогда друг другу так и назначали встречу в центре города: «Встречаемся у петушков» или «в петушках». Но когда кафе уже частично закрылось на ремонт или это был просто вечер в уже отремонтированном (без «петушков» на стене) и только по времени суток закрытом кафе, но еще не ушли все буфетчицы и потому оставались завсегдатаи, которые в тот вечер были чем-то очень возбуждены и особенно много курили, но на площадке у входа в полуосвещенном и сильно задымленном помещении появилась та женщина. Ее все знали, она была из своих, только значительно взрослее бездельников старшего школьного возраста, среди которых ее ожидал взрослый мужчина. По их воспоминаниям, именно она тогда произнесла: «Ой, вы тут как сайгоновские марионетки!» Это восклицание попало в какую-то событийно важную точку, то ли у всех на слуху была вьетнамская газетная шумиха, то ли у кого-то в руках была газета с карикатурой этих самых «сайгоновских марионеток», но всем понравилось, запомнилось и прилипло — «Сайгон»». (Г. Ф.)

География

В поэме «Свидание со СПИДом» Геннадий Григорьев пишет:

Я столько лет поэт в законе,
я столько лет стоял в «Сайгоне»,
я вписывался в карнавал,
я спал с вьетнамкою и с финкой,
болел ветрянкою и свинкой,
но СПИД ко мне не приставал.

Среди завсегдатаев «Сайгон» обозначался как «Центр». Получив от поэта Григорьева телеграмму «Встреча завтра в Центре», поэт Николай Голь не сомневался в месте, где назначено ему свидание. Само месторасположение «Сайгона» делало его центром притяжения для фланеров. Частая посетительница кафе 1970-х рассказывает: «Домжур, Дом актера и «Сайгон» представляют собой как бы вершины треугольника; но те находятся на одной стороне Невского, а «Сайгон» на другой. И мне кажется, что хотя это во многом, может быть, координата формальная, но ее можно насытить определенной культурологической, что ли, семантикой, ибо в «Сайгоне» собирались те, кто, в том числе, мог бы по уровню своего дарования и направленности интересов быть и там, и там, но они не были ни там, ни там» (У. Е.).

Другой информант добавляет: «Более удачного положения для публичного места трудно было придумать. «Сайгон» находился в самом центре города, на пересечении главных улиц... После того как «Сайгон» набрал силу в начале 1970 годов, расширением естественного ареала он приобрел мороженицу рядом, на Владимирском, которую называли «Придасток»; невдалеке, на Загородном, у Пяти углов, находилась «запасная» мороженица, названная так для того, чтобы отличить ее от «основной» мороженицы. На углу улицы Рубинштейна кафе-автомат (в народе «Гастрит») знаменитое. Голодные «сайгончане» могли за сорок

копеек там поесть, в этом заведении. И действительно, некоторые там ели, но ведь можно было поесть и в «Сайгоне» в самом заднем отсеке. Считалось, что в «Сайгоне» лучший в городе кофе, хотя, скорее всего, это была легенда» (М. М.).

Итак, топографически «Сайгон» был отличным местом для встреч.

Г. У. рассказывает: «Я твердо знал, что, придя туда, в два часа ты нужного тебе человека непременно встретишь, потому что он тоже зайдет. Достаточно было просто быть там».

Образ и режим

Дадим слово Е. Г., известному питерскому поэту, которого можно было видеть в «Сайгоне» в 1970 годы каждый день. Тревожность, тоска, поиски приключений и бытовая неустраенность жителя коммуналки выталкивали в городское пространство. «Сайгон» стал его пристанищем по крайней мере на полтора десятилетия. Он рассказывает: «“Сайгон” был разным в разное время суток. Отчетливое... утро, где в любой день было очень мало народу — либо случайные посетители, либо вот... такие люди, ... с дикого похмелья, но не похмеляющиеся, а чтобы убить время туда заходили кофе выпить. <...> Это был один «Сайгон», он еще был прибран, заметь, поскольку убирали его регулярно после смены, естественно, после девяти вечера... То есть. с утра это было тихое место, где можно было спокойно... встретить какого-то знакомого».

Другое дело «Сайгон» полудни. В это время «он заполнялся книжными спекулянтами, которые скромно завтракали, по моим подсчетам, на треху съедая: два бутерброда с красной икрой, бутерброд, скажем, с чем-нибудь другим... или пирожное, пирожное добавляли, запивая это кофе, или даже брали еще стакан сока... И они... самыми богатыми были до какого-то момента. Они делали небольшой перерыв, вот между двенадцатью и часом, они кучковались там, о чем-то беседовали — отчасти о делах — и потом снова уходили стоять, там в «Старой книге» или еще где-то, то есть. на работу уходили. Потом, воленс-ноленс, «Сайгон» наполнялся просто немнящей публикой, которая натурально там пила кофе, часов до четырех. Потом был санитарный час. Самый бедлам начинался после пяти, когда на фоне все-таки обыденной и случайной публики туда добавлялись так называемые завсегдатаи. И фактически там было две толпы — уже толпы — пришлых и местных; причем местные считали, что имеют право, потребляя кофе каждый день, как бы получить его без очереди, и хотели это право использовать — и, естественно, вызывали возмущение у публики. Возникали небольшие перебранки, которые кончались ничем».

Другой завсегдатай вспоминает: «Там же, помнишь, было два «Сайгона», как бы он разделен: налево в бар можно было забежать, когда у тебя есть деньги, соточку коньяка — нормально — или шампанского. Или там (в большом зале) стоять, свой тройной маленький, двойной маленький пить...можно очень долго его пить, два часа, три часа... с кем-то поговорить, просто потреться... Многие же в то время люди одинокие был. Ну, просто вот нечего делать, а в «Сайгон» можно было, не имея практически ни копейки денег — ну, мелочь какую-то — пойти заказать чашку кофе и стоять. Просто обязательно с кем-нибудь ты встретишься, с кем-нибудь просто поговоришь. Я знаю, что для многих, для многих это было очень важно. Вот я вот не такой человек, но я знаю, что были люди, которым просто невозможно было вечером оставаться одному, а вот здесь он как бы в тусовке; здесь стоят, даже пускай там, не знаю, он будет стоять с половиной чашкой остывшего кофе до самого закрытия, до десяти часов, но все равно какое-то общение, он уже пообщался. А может, если он выпивающий человек, может быть, и повезет — кто-нибудь прикашляется с бутылкой, что тоже не так дорого будет стоить» (Д. Д.).

Вся атмосфера «Сайгона» демонстрировала «абсолютное презрение к комфорту. Ведь «Сайгон» был страшно некомфортное место, понимаешь. Не было ничего: ребята, скинемся и пойдем в ресторан, что, в общем, тоже было возможно. Ну, в принципе, какая разница? Попивать тут или в ресторане, это отличалось на рубль... А в «Сайгоне» скидывались по рублю. Но в голову как-то не приходило. Взял бутылку, пошел в мороженицу, надрался и все. Чего в этом хорошего, до сих пор не понимаю!» (О. Д.).

Описание повседневности не избегает деталей, связанных с телесным низом. Вспоминая трудные будни сайгонской жизни, Е. Г. рассказывает: «... Такая важная проблема, как мочеиспускание, как она решалась благородными людьми? Это решалось не путем захождения в парадные — во-первых, страшно, а во-вторых, противно. С помощью гривенника или пятиалтынного можно было зайти, сунув вот эту монету швейцару, в саму «Москву», где был довольно грязный сортир. А потом я, открыв ресторан ВТО, стал пользоваться сортиром ВТО, где гораздо благолепнее, надо ему отдать должное, никаких денег при этом не платя на вход туда. Там можно было вымыть руки мылом и даже, ну, если не полотенце, то, во всяком случае, в самих клозетных кабинках была хотя бы бумага, иногда газетная, а иногда... туалетная, может быть, не исключено, там раз, скажем, и полгода она появлялась...».

Примечание о курении в «Сайгоне»: «Какое-то недолгое, но запомнившееся многим время это было единственное кафе, разделенное на две части — для курящих и некурящих. На верхней площадке, где продавали коньяк и стояли один или два столика, курить было разрешено, а вот ниже (где только кофе и пирожки) — нет. Я уж не говорю, что на курящих втихаря завсегдатаев всегда поглядывали снисходительно» (Г. Ф.).

Человек сайгонный

Е. З.: А что было особенного в том времени твоей юности?

Григорьев: Мы были едины, потому что страшный монстр, который назывался советской властью и всем этим самым... он был настолько, что люди как бы объединялись совершенно разные, некоторые, даже не подозревая, не подозревая, что они вот ненавидят это, но они все равно как бы сплывались. А сейчас, сейчас пошло — вот разброс, каждый сам за себя.

У. Е., ныне сотрудница Академии наук, а в молодости частая посетительница «Сайгона», реконструирует условный тип «сайгонного человека»: «Личность, прошедшая зачастую неурядовой жизненный путь, либо обладающая какими-то психологическими особенностями, которые не вписывались в общий ранжир, она как раз и попадала туда, где могла иметь чувство «принятости», определенной защищенности... Непринятость в большой профессиональной среде и узость рамок этой профессиональной среды — она, конечно, выдавливала очень многих людей, имеющих потенции к творчеству... Это люди с определенной траекторией жизненного пути: если человек в силу каких-то особенностей не доучился, но сохранял какие-то запросы интеллигентного человека, а вот он работал кочегаром, — вот этот феномен же философа в кочегарке, многократно уже проинтерпретированный, вот это же тоже отсюда бесспорно. То есть я полагаю, что это была среда, которая, раз воспроизведя себя на отрицании ценностей большого общества той поры,... укреплялась в отрицании этих ценностей, и в этом отрицании она формировала свои позитивные ценности: признания, профессионализма и определенной идеологической ангажированности, потому что критицизм, как минимум, относительно ценностей большого

общества той поры, он должен был быть представлен (в позиции «сайгонного человека»). Но наряду с так называемым вот условным типом непризнанного гения там, конечно, были и люди совершенно из придонных слоев общества. Почему они могли туда прийти? Хотя все собиравшиеся там были бедны, но купить кому-то чашку кофе, либо дать двадцать копеек на выпивку, либо угостить вином — там это было популярно. Там процветал определенный такой вот «нетребовательный гуманизм», я бы сказала, ну, какая-то открытость... Вся эта уже совершенно захватанная так называемая духовность, ну, она в какой-то степени, конечно, там была представлена; хотя я думаю, что это, скорее, была не духовность, а нетерпение сердца: ну вот, не могу я видеть, как безногий инвалид у меня просит на водку, лучше дам ему двадцать копеек. Но в то же время, откуда это бралось? Это бралось от способности к соучастию, к состраданию, к... со-пониманию его проблем, ситуаций каких-то. Мне кажется, что это была какая-то вот такая вот питательная среда, которая могла полностью поглотить только тех людей, у которых был вот этот самый саморазрушительный инстинкт — инстинкт отторжения ценностей большого общества, доходящий до уничтожения себя как его части».

Социальный эпатаж был частью сайгонного поведения. Там уместно и принято было бравировать своей исключенностью из мира официальной публичности. Божемный стиль саморепрезентации в этой среде был идеализирован. «Модель сайгонного сообщества — ну, видишь, они такие были люди романтические все-таки — конечно, они взяли парижские кафе, монмартровскую богему в качестве образца» (У. Е.).

ГФ: «Все-таки далеко не каждый мог стать «сайгонным человеком», отбор все-таки был... По речи, по произношению — книжное воспитание было обязательным условием, книжное воспитание, которое задавало определенный размер фразам и ритм речи, логику аргументации и гарантировало умение слушать и говорить. Слово в «Сайгоне» очень ценили. Это было время блистательного пересказа и блистательного трепса. В «Сайгоне» пересказывали все — прочитанное, увиденное, услышанное. Помню случай, когда кто-то кому-то по телефону из Питера в Москву с незаурядным актерским мастерством наизусть пересказывал всего «Николай Николаича», а развеселые свидетели радостно хлопали в ладоши и временами подсказывали начало абзаца. Помню и другого «сайгоновца», который так пересказывал фильмы, что после этого смотреть их уже было скучно, его интонации и паузы были гораздо значительнее. Или только на одну ночь тебе передавали что-то почитать, а печать могла оказаться плохой или ночь была короткой, но всегда находился кто-то, кто умел досказать недочитанное, и очень-очень близко к тексту. Уже теперь я это понимаю, когда слушаю совершенно беспомощные пересказы своих студентов. В «Сайгоне» любили поэтов не за то, что их нигде не печатали, и не за то, что они обязательно сочиняли крамолу — их любили за то, что они болели Словом. Впрочем, любили не только стихотворцев, но и поэтическое мировосприятие, девочек с таким мировосприятием было хоть отбавляй».

Божемная сцена «Сайгона» создала свои персонализированные символы. У. Е. рассказывает: «Ты спрашиваешь о символах «Сайгона»? Ну, это, конечно, вот этот поэтический круг, вот, то есть кто откуда не вылезал: Охупкин, Ширали, Кривулин, Вензель, Топоров конечно... Вот, из таких вот христианствующих — Лебедевы-братки, один христианин, другой... к Востоку имеющий отношение. Какие-то прекрасные витальные девушки, такие как Соня Казакова, муза на все времена. Конечно, Колесо — ну, кто его не помнит, покойные Кит, Кол Черниговский, Леон Карамян. Замечательные персонажи этой сцены».

На языке социологии «Сайгон» был маркером неформальной публичной сферы — совокупности социальных практик, противопоставленных официальной публичности, подкрепляемой советской идеологией и выражающейся в коллективных ритуалах собраний трудовых коллективов и массовых демонстраций.

Известный тележурналист рассуждает о социальном смысле сайгонной культуры, к которой он в молодости был причастен: «“Сайгон” был символом того, что называется вторым обществом, вот того, идею которого сформулировал Левин из Пенсильванского университета: общество, которое научилось жить абсолютно автономно от государства — в этическом, эстетическом и экономическом смысле, то есть тотально, построило параллельную цивилизацию не только культурно, но и экономически. Потому что, на самом деле, все эти сторожения автостоянок и разнообразные частные приработки (печатать ли на машинке, давать уроки или заниматься фарцовкой, это в принципе неважно), но как бы вот жить не на зарплату — все это второе общество постепенно просто вытеснило официальное общество, отравило это официальное общество, абсолютно, так сказать, его использовало. И когда произошла революция 1989—1990 года, то просто, действительно, — просто открылся занавес, и уже все как бы дела, вот все, вплоть до мафии... всего остального там, не знаю, концептуализма, постмодернизма, некорреализма и всего прочего — оно уже все было создано (там, в недрах второй культуры)».

Молодежный клуб общения или тусовочно-коллективистская функция

«Само существование «Сайгона» было опосредовано тем, что люди тянулись к объединению. Я не знаю почему... Может, люди всегда тянутся к объединению, или просто мы так воспитаны при советской власти, что надо кучковаться... Но люди тянутся и тянулись к объединению совершенно неформального толка. Потому что комсомол, профсоюз, работа, институт — это не то» (М. Д.).

«Сайгон» как место встречи

«А что рассказывать? Ну, был «Сайгон», был центр. Мы туда ходили. Мы там пересекались. На самом деле, сколько людей осталось с того времени, столько и «сайгонов». Встречаться надо было где-то, надо было куда-то ходить! Ведь культурный молодой человек в советском городе — ну куда он может пойти?» (Д. Д.).

Встречались в «Сайгоне» не только жители Ленинграда. Он стал местом встречи путешественников и искателей альтернативной жизни из других городов: Урожденный москвич Л. М., ныне гражданин Франции, рассказывает: «В «Сайгоне» мы часто устраивали встречи, кто-то подъезжал через день из Москвы там, мы должны были там срочно спуститься — там из Вильнюса в Питер, встретить его в «Сайгоне». В общем, такое было место стрелки».

На вопрос «зачем ты каждый день торчал, как столб в “Сайгоне”», Е. Г. ответил: «Я туда ходил вполне с определенными целями... Я приходил туда для того, чтобы там... напиться... Вообще, в идеале, напиться — не стоять, а напиться. У меня все-таки была какая-то цель, то есть я считал себя потребителем «Сайгона»... Или: встретив там приятелей, предварительно назначив свидание какой-нибудь девице, напиться с ней, начав в «Сайгоне», а потом найти место для любовных утех. Но в любом случае я-то его использовал просто как некую площадку стартовую для дальнейшего развития и убивания вечера <...> При том при всем в нем, конечно, была другая функция: прийдя туда в шесть или в семь

вечера, ты точно знал, что ты там застанешь своих друзей и знакомых. Ну, ты же не соображал на троих с малознакомыми людьми. Просто вообще никогда! И вообще, с социально неблизкими, скажем школьным другом — не с каждым ты напивался». (Е. Г.).

Поиски приключений

«Я до сих пор не люблю ходить в гости и у себя принимать гостей именно из-за предсказуемости всего происходящего. В «Сайгоне» была открытая ситуация. Приходя туда, я не знал: то ли вечер будет безумно скучным, то ли захватывающе веселым, кого встретишь, закончишь вечер в милиции или в баре «Европы»» (Г. У.).

Если дверь в «Сайгон» открыта,
Ты заходишь вглубь,
У последнего пиита
Отнимаешь рупь.

Функция информационного ресурса

«Я, например, практически всю литературу самиздатовскую или тамиздатовскую получала не прямо в «Сайгоне», но от этих людей... Ну, тогда же у нас тамиздатом был, например, «Доктор Живаго» или какая-нибудь «Весна в Фиальте»» (Е. И.).

«Сайгон» создавал культурные события... Книжка, прочитанная кем-то, фильмы, которые непременно нужно посмотреть. Все это обсуждалось, легитимировалось сайгонной компанией... Служило информационным поводом для общения.

«Это была попытка сделать такое вот все-таки, извините, самодеятельное клубное объединение, — уж простите мне... этот культпросветовский жаргон, но, бесспорно, ну, клуб по интересам, ну, несомненно. Вот, конечно же, клуб по интересам. Если бы время не было таким зловещим, они бы чудно бы могли бы где-нибудь создать себе секцию в Доме ученых, да и сейчас там полно самодеятельного всего такого же рода. То есть уродство времени порождало уродливые формы реализации творческих интенций, вот в чем дело. Почему «уродливые»? Ну, потому, что не вело это никуда. Это были, так сказать, трагедии мыслителей, и поэты писали в стол, художники ваяли либо для квартиры, либо там еще что-то вот» (У. Е.).

Один польский профессор, который в 1970 годы эмигрировал в Штаты, рассказывал, что был в «Сайгоне» в начале 1970-х. Он привез ящик библейской литературы из Польши, и у него не было знакомых в Ленинграде, но ему сказали, что если пойти в это место, то там найдешь кого надо и раздашь литературу. (Профессор этот был, конечно, связан с «Солидарностью», она уже в то время существовала.) И он действительно так и сделал, и все было в порядке.

«Что читал «Сайгон»? Все. Солженицына, Мандельштам, Гинзбург, Стругацких, «Вехи», Герцена, Аксенова, Бунина, Льва Гумилева, Булгакова, Гессе, Томаса Манна и Хэма, Набокова, Флоренского, Алешковского и так далее, и так далее — это надо вспоминать особо. «Сайгон» читал все и обсуждал все. Я знала совершенно бескорыстных «сайгоновцев» — принципиальных распространителей запрещенной литературы, которые в домашних фотолабораториях или сами на пишущих машинках совершали этот титанический труд распространения Слова. Что мы все были бы без них! Что с ними стало без нас?» (В. У.).

«Было ли это сайгонное общение полезно для интеллектуального развития? Ну да, наверняка, потому что там возникали разговоры о литературе, об искусстве

вообще на том уровне, который был мне, скажем, незнаком. Кроме того, это было место, где, как нигде, ценилась быстрота интеллектуальной реакции, так сказать, и острота, это оттачивало... это такую гимнастику ума давало. А так что же говорить задним числом? Пьянство и безобразие!» (М. Д.).

«Сайгон» согревал и подкармливал на копейки, для многих кофеманов был «открыт кредит», так как «тетеньки» за стойками прекрасно знали постоянных клиентов. «Сайгон» и знакомил, и предоставлял ночлег на короткое время, и сдавал квартиры для игры в карты (в самом кафе играли в «шмен» — азартную игру, построенную на загадывании сочетания цифр серии и номера денежных купюр), и один—два раза в неделю предоставлял квартиру лесбиянкам. «“Сайгон” был местом общения по поводу. А без повода — это было просто территориально удобно расположенное кафе, где любой мог купить свой кофе и молча съесть свой пирожок». (Г. Ф.).

Символ контркультуры, символ неформальной публичности, диктующий правила культурного эпатажа и альтернативности в своей среде и выдвигающийся за ее пределы — вот что такое «Сайгон».

Социальная дифференциация

Сайгон был страннопримен. Там хватало места всем: правым, левым, жуликам, мошенникам, наркоманам, поэтам, художникам. Каждый выбирал свою компанию, у каждого был свой столик, каждый брал свой кофе.

«Это было просто молодежное кафе. Там у каждого была своя компания, компании друг друга знали, но... дистанция между ними строго соблюдалась. У нас была компания поэтов, связанная с ними компания художников, рядом была компания наркоманов, рядом компания спекулянтов обувью или просто фарцовщиков. Были там и настоящие уголовники, но все это как-то соприкасалось на уровне «здрасьте». Как во всяком месте, куда ходишь постоянно и тебя там знают. Чужих там нет, появляются только новые рекрутированные. У нас был круг изначальный сайгонский — в основном поэты. Да, поэты, девочки и какие-то люди, тяготеющие к этому и имеющие некоторый интерес. Потому что денег в основном не было, и был определенный «чип». «Чип» был установлен — семьдесят копеек. С семьюдесятью копейками ты имел право прийти в «Сайгон». Столько стоила поллитровая бутылка вина. А дальше — как раскрутится ситуация» (Г. У.).

Вот как описывает структуру сайгонного социального пространства, разделенного на автономные компании, М. С.: «Первая группа — это большая компания клуба «Дерзание». Когда я попал в «Сайгон», я прекрасно помню тот момент... И я себе представлял вот это поколение как поколение титанов: я таких красивых людей, на самом деле, серьезно говоря, не видел никогда — свободных; я был мамочкин сынок, а они были такие совершенно свободные ребята, по-другому устроившиеся... Вторая компания — биологические алко-голики или Академичка. Вот С. Ч., например, который был там же в «Сайгоне», он был частью второй экономики, и К. И. был частью второй экономики. И вообще вся биологическая компания постольку, поскольку она выжила, занималась исключительно перепродажей книг, картинок и так далее. Кроме того, были там и натуральные уголовники... Были какие-то люди, которые приходили из заключения, им нигде было жить. Это были абсолютно как бы люди со сложным положением. Рядом был, на Литейном, книжный рынок — вот этот самый, букинистический..., двор «Академкниги» и садик. Вот, и эти тоже ведь были завсегдатаями “Сайгона”».

Об этом круге подробнее рассказывает В. У. — у нее своя перспектива: «“Крутежники” работали на денежных заказчиков, но не только, они работали и на себя, собирая библиотеки или коллекции, и на ту часть «Сайгона», которая была безденежна, но формировала интересы, вкусы и пристрастия, помогая им «держать нос по ветру». «Крутежники» были разные, и только немногие имели узкую специализацию, в основном специализировались по преимуществу, но не исключительно по книгам, по пластинкам, по художникам (широкий спектр, связанный с творчеством художников, керамистов, ювелиров), по лекарствам, сталкеры (так называли себя те, кто собственными саперными лопатами перекопали места боев едва ли не по всему Карельскому перешейку в поисках всего, что могло оставаться в заваленном землей блиндаже или окопе), на фарцовке, на «железе», на валюте, на «травке» (довольно узкий по сравнению с нынешним спектр наркотиков) и просто «доставалы»-посредники, через которых можно было выйти на реализацию какого-то специфического заказа, например на фарфор, или оружие, или на книгу, которая никому, кроме тебя, не нужна. К ним часто обращались и мелкие коллекционеры, и мелкие покупатели, у которых вдруг появились какие-то деньги на подарок или на собственный каприз».

Компания глухонемых тоже легитимно занимала часть сайгонного пространства.

Другие — вовне и внутри

Существовал негласный договор между завсегдатаями и обслуживающим персоналом кафе, который сквозь пальцы смотрел на нарушение правил, без очереди обслуживал завсегдатаев, предоставлял им кредит, позволял распивать спиртные напитки в обеденный перерыв, не замечал постоянного курения на подоконнике справа от входа...

«Почему они были так снисходительны? ...Во-первых, они получали пустые бутылки, которые стоили от двенадцати до... сколько большая бутылка стоила? Тринадцать, по-моему... То есть это был общественный договор, и в морозе нище то же самое, то есть какая-то форма общественного согласия... то есть никаких специальных денег, чтобы там посидеть, — ну, как бы за беспокойство — не давалось. Охота, неохота, но они собирали эти пустые бутылки и не шумели. Они все видели, но, во-первых, можно сделать вывод, они могли бы, например, если бы это их раздражало, могли бы знакомого Колю-милиционера приглашать, с которым... были бы большие неприятности, да? ...Но этого не было ни разу» (Г. У.).

«В городе были и другие круги, которые явно не соприкасались с «Сайгоном»: книги туда попадали из-за границы, они не были склонны к божемному или околобожемному образу жизни,... чурались, может быть, больше ценили комфорт. Но и в этих кругах лидеры старались установить опосредованную связь с сайгоновскими кругами: посещали подпольные вернисажи Георгия Михайлова, где многие из них были главными (после самого хозяина и иностранцев) покупателями, доставали через сайгоновских «книжников» стихи или текст стенограммы судебного процесса над Иосифом Бродским и так далее... [Сохранилась] стойкая память, о том, что в «Сайгоне» никогда ничего не пропадало, проще говоря, не воровали. А далее можно приводить бесконечный список забытых там и непременно возвращенных кошельков, шапок, книг, шарфов, зонтов, пластинок, пакетов, очков, записных книжек, рукописей, тубусов и тому подобного — все, что мыслимо и почти немислимо терять и возвращать. А уж «Сайгон» как почтарь и тем паче работал исправно: твоя записка или бандероль могла быть оставлена утром и, пройдя через бесчисленное количество рук за день, к вечеру исправно находила адресата. Более

того, можно было и не писать, просто прокричать на выходе: «Передайте...» — и передавали, что сегодня ты решила уехать в Таллин со случайно сложившийся под настроение компанией. Это тоже делалось запросто и тогда называлось «сорваться». Если у кого-то случайно образовывались деньги, у кого-то настроение, у кого-то где-то необременительные заботы на тему посетить, навестить, послушать, поговорить — и возникал немедленно реализуемый порыв ехать в Ригу — в Домский собор, или в Москву — занять очередь в кассу театра на Таганке, чтобы попасть на премьеру, или в Вильнюс, где гастролировал кто-то из музыкантов, минуя нашу Северную Пальмиру. Расписание поездов в этих направлениях «Сайгон» знал наизусть. Получается, что за культурой мы не только охотились, но еще и гонялись!» (В. У.).

Почему власти терпели «Сайгон»?

Ответ М. Д.: «Почему не разогнали? Так ведь им можно было размахивать, как невесте этой самой запятанной простыней рано поутру после свадьбы перед всей деревней. «Вот, и у нас тоже свободы очень много! Вон, смотрите, банда грязных антисоветчиков, неопрятных, все время там толчется — в двух шагах от Большого дома — а мы ничего, мы терпим, ну, это о, нормально...» То есть надо было занять витринный образ — ну, в семидесятые годы же феномен витринного еврея, витринного священника, ну и витринного антисоветчика, конечно. Присутствие «Сайгона» с точки зрения властей преследовало две цели: С одной стороны, ОНИ (власти) создавали такие парафеномены, на основании которых можно было говорить, что это и у нас есть... отдельные вещи, не укорененные в системе, а сделанные этой системой для того, чтобы — ну, как бы облагородить... свое мурло мещанина. С другой стороны, легче контролировать то, что на виду» (У. Е.).

Резюме

Я хочу подытожить. Сайгонская культура была протестной по своей направленности, социально критической по своей идеологии — чтобы не говорить уже избыточно и невнятного слова «антисоветский». В профессиональном отношении она была очень неоднородна — по уровню, я имею в виду. И она была, конечно, культурой художественно-гуманитарной интеллигенции. В контексте этого жестокого времени там во многом находили приют люди, которые не могли реализоваться в большом обществе — они не подходили к нему по самым разным основаниям. Большое общество той поры предъявляло очень жесткие требования к отбору. Вертикальная мобильность или устойчивое социальное положение требовало от людей либо очень больших идейных жертв, либо очень большого напряжения сил, либо каких-то еще вот уступок, то есть надо было подавлять свою индивидуальность, встраивая ее в очень жесткие и колючие рамки. Поскольку такие критерии социального отбора не всем подходили, в том числе по личностно-психологическим параметрам, то аутсайдеры искали себе нишу самореализации в неформальной публичной сфере с ее салонами, кафе, выставками и прочими местами для тусовки. Это был остров, конечно.

«Я думаю, что “Сайгон” символизирует в некотором смысле тотальный протест. Если я игнорирую ИХ представления о работе, если я игнорирую ИХ представления о нравственности, если я игнорирую ИХ представления о досуге и о семье, то — да, значит, это мой политический протест. И даже в форме одежды, в стрижке—бритье, в алкогольных напитках мы видим это противопоставление неформальной публичности официальной сцене» (У. Е.).

Лев Лурье

«САЙГОН» И «ДЕРЗАНИЕ»*

Элита «Сайгона» вышла из Дворца пионеров, из клуба «Дерзание». Этот клуб однажды взял на поруки выпускника колонии малолетних преступников. Это был Витя Колесников... Однажды у нас было общее собрание клуба, и Алексей Михайлович Адмиральский (трудной судьбы прекрасный человек... который покончил жизнь самоубийством...) вводит за руку хромого маленького мальчика: «Вот, знайте: клуб «Дерзание» берет на поруки этого мальчика...»

Виктор Колесников (Колесо)

ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО**

(фрагменты)

*Дружеский шарж*

на Виктора Колесникова. Автор – Вася (Сергей Васильев). Иллюстрация к стихотворению М. Ольшеского «Колесо» (Из самиздатовского сборника поэтов Ленинграда и Москвы «Метастазы», 1985–1986 гг.)

Колесников я по матери. Про отца точно не известно ничего. Одни говорят, что мать попала в интернированную зону и что отец у меня француз, другие говорят, что русский. Но мне все равно: я его не видел и не знаю. Мама по образованию железнодорожник, работала на железной дороге до войны еще. Войну она отвоевала всю, участвовала в разгроме Квантунской группировки. У нее такой иконостас был! Мы с Олегом, старшим братом, когда пацанами были, орденами и медалями в песке играли и растеряли все. Жили мы в Сортировочной, там за мостами были три двухэтажных деревянных барака. Мать ездила чуть ли не до Владивостока. Олег учился в интернате.

У меня с 2-х лет был полиомиелит. В то время его не лечили. Я помню, когда мне было года три, я лежал в Турнера (тогда еще Турнер был жив), так там нас нянечки из-под кровати вылавливали, потому что мы как-то ухитрялись

* Из беседы с Татьяной Ковальковой. 1988 г.

** Беседовали Юлия Валиева и София Синицкая.

и люлек вываливаться на пол, причем не пиццать при этом, и ползали там под кроватями

В одиннадцать лет я сбежал из дома и курсировал по всему Союзу. Меня мама послала в булочную, дала двадцать копеек на полхлеба и батон за тринадцать копеек. Я ей позвонил через три дня из Одессы и сказал, что я отдыхаю на берегу Черного моря, что мне очень там неплохо. Один поехал. Однажды сбежал вдвоем с приятелем, но после этого зарекся кого-либо брать. В собачнике ехали (под вагоном), зимой. В нем холодно, он не отапливается. В Одессе я был, в Средней Азии, да по всему Союзу. Бродяжничал с семи лет. Нас тогда называли «космонавты».

В тринадцать лет я попал на «Скороход». Ростом я был вот с этот стол, мне подставляли скамеечку, чтобы я до станка дотянулся. В курилке самому «большому» человеку давали самую большую сигарету. Там были семь слесарей, а остальные женщины. В женское отделение курилки я не заходил — там такие разговоры велись... Один раз зашел туда, и больше ни ногой. Вот говорят, что мужики всякое там про баб рассказывают, но тут у меня уши свернулись в трубку — я услышал такое, о чем подумать даже не мог...

Потом я ушел в сапожники. Дядя Коля, Царствие ему небесное, первый мой учитель по сапожному делу, — вот это был человек! Он научил меня молоток в руках держать. Вот попробуйте в резину забить обычный гвоздь с одного удара. Я никогда не думал, что это может быть так трудно. Я бью — он гнется, я бью — он гнется. А был у нас такой Паша в мастерской, так он говорит: «У тебя гвозди не пожаренные, пойдй прожарь. Они тогда у тебя не согнутся». Я, как идиот, пошел к дяде Коле и спрашиваю: «Дядя Коля, где у тебя здесь сковородка? Мне сказали, что гвозди пожарить надо». А это все равно, что говорят: «Пойди собери пар».

Мне было лет семнадцать, когда я попал в литературный клуб, меня завлек Алексей Михайлович Адмиральский. Вот это был человек! Я просто пришел во Дворец пионеров, хожу по залам и думаю, чтобы такое уволочь покрасивше. Одна комнатка, вторая. Я во вторую-то захожу, там зеркала. А мне не до зеркал, я и не увидел, что сзади человек ходит. Спрашивают: «Молодой человек, вы куда?» А я запомнил название «Литклуб» и отвечаю: «Мне в литклуб». Хотя сам к литературе не имел никакого отношения, мне было не до литклубов.

В «Сайгон» я попал ну не в день открытия, но где-то в первые после открытия дни. Оно еще называлось не «Сайгон» в то время, а «Еврейское кафе», потому что собирались там евреи.

Работал «Сайгон» до девяти. Обед там был с трех до четырех. Кофеварочные машины стояли венгерские, полуавтоматы. Особенно хороший кофе был у тети Люси, у «Телевизора», у Гали Дюймовочки, они все работали на одной машине, второй по счету, к ней всегда стоял хвост. Стелла тоже кофе колоссально варила, хотя она недолго там проработала. Тете Люсе я еще с порога кричал: «Тетя Люся! Мне маленькую двойную, поменьше воды». А она мне: «А может быть, тебе просто сухим пайком дать?»

Как-то я пошел сдавать кассу за «Сайгон», а там наверху, где кассу сдаешь, висит Доска почета. И на Доске почета тетя Люся (Людмила Прокофьевна) при всех своих регалиях. Так я узнал, что она герой войны, у нее целый иконостас орденов. Тетя Люся умерла уже.

Негласное сборище полукриминального «Сайгона» было в кочегарке. Интеллигенция туда заходила редко. Кочегарка находилась в полуподвале: заходишь в первую подворотню с Владимирского, поворачиваешь, дальше еще одни железные ворота, арка, и там вход в котельную, черный ход в ресторан и в «Сайгон». Обычно если из ресторана или из «Сайгона» убежали, то через эту дверь. В котельной стояли «самовары» раздолбанные... «Игол» (то есть свищей) было немерено. Пар свистал из всех труб. И только там все наладишь, все в порядок приведешь, приходят пьяные

полууголовники, им обязательно надо что-нибудь сдвинуть. Там ручек много всяких и колесиков, и им обязательно их повернуть надо. Гена, заместитель директора «Сайгона», чуть что подбегал ко мне: «Колесо! Бросай все, бросай халат, давай в котельную. Опять напились, сволочи!» Расплачивался коробкой коньяку. Коньяк был хороший. Мы же его сами и покупали с Витей Коротким напротив, в «Зеркалах».

У меня была одна история в ресторане «Москва», в баре. Там меня тоже все знали. Смотрю: парень подходит, прилично одетый, дает по деньгам много, сто рублей. Пока ему наливают коктейль, он тут же эти сто рублей обратно забирает и получает еще сдачу! Я ему говорю: «Эй, друг, ты сто рублей-то отдай». Как в него вцепилась тогда барменша! А я за это имел право целый месяц ходит бесплатно.

Был у меня знакомый такой — Костик Бойченко. Мы с ним как-то пошли выпивать в парадную. Откуда мне было знать, что там Игорь Владимиров живет, около своего театра. Мы между этажами встали, открываем бутылки, и тут Игорь Владимирович идет. «Здравствуйте, Игорь Владимирович!» — «Здравствуй, Костя». (Костю он знал по Театральному институту, где Костя когда-то учился. А меня по «Сайгону» знал.) «Что делаете?» — «Да некоторым образом выпиваем». — «Подождите-ка минутку». И выносит такое серебряное блюдечко небольшое, на нем две стопочки, два бутербродика, и говорит: «Только, ребята, стопки и блюдо вернуть». Я спрашиваю: «Игорь Владимирович, а бутылку отдать?» «Бутылку, — говорит, — можете себе оставить». А когда мы отдавать стали, открывает Алиса Бруновна. Она тоже так спокойно отнеслась. Я думал, она ругаться будет, все-таки хозяйка, я привык, что у меня Граф всегда очень ругалась, когда дома устраивались попойки.

Из театральных в «Сайгон» еще Миша Боярский захаживал. С Мишей у меня была интересная история. Две девочки пристали ко мне: «Ты Мишу знаешь?» «Знаю». То, что он актер, я и не знал. «Пойди, возьми у него автографы». А мне на автографы наплевать, мне нужно три рубля на бутылку. Я подхожу к Мише. Миша вынимает авторучку. «Миша, говорю, мне твои автографы... Мне выпить надо». — «Ну, на тебе три рубля».

Из столпов церкви в «Сайгон» ходили покойный владыка Никодим, покойный владыка Мелитон (Соловьев). Я помню, мы в самом конце «Сайгона» вино себе рублим потихонечку от владыки Мелитона. Если бы он нас увидел, скандал бы вышел. Я тогда как раз университет бросил и в семинарию ушел.

Я женился первый раз по любви, второй раз по обязанности, третий раз снова по любви. Моей первой женой была Марина Пушкирева, дочка директора Русского музея, Василия Алексеевича. И Марина в свое время ходила в «Сайгон», было дело. Она была в папу, очень высокая, ходила в шинели, как Феликс Эдмундович. Кто её видел со спины, считали, что это парень с длинными волосами. Василия Алексеевича в семье звали Царь, а детей своих он называл «зверье». То есть он был такой царь зверей. Марину все прозывали Графом. Закончила она Академию художеств. С Графом я тоже в «Сайгоне» познакомился. А встреча наша с Царем произошла так. Мы с Мариной уже расписались к тому времени. Я пришел к Графу домой и нахально заявил Нонне Сергеевне, ее маме, на вопрос «А Вы Марине кто?» — «А муж я ей». И тут в дверях ключ поворачивается, входит Царь. Нонна Сергеевна так шепотом: «Папа, знакомься, это Маринин муж». А Царь меня знал по Русскому музею хорошо. Я сопровождал Никодима, когда приезжал к нам архиепископ Кипрский Макариус. И Царь их встречал как директор музея. Царь говорит: «Кажется, я узнаю этого молодого человека. А не Вы ли были в свите архиепископа и митрополита?» — «Я». — «Слушайте, ребята, только вы не...» — «Поздно — уже расписались».

Мы сначала с Графом снимали квартиру на Заневском проспекте, потом на Карповке, недалеко от Иоанновского монастыря. А потом я пришел домой к маме

и сказал: «Мама, брат в армии, что я буду мотаться-то?» Комната шестнадцать метров, нам на троих места хватит. Тут на мое счастье, сосед, дядя Вася, получил квартиру, и мама внаглую закрыла дверь в его комнату на ключ. Мы с Графом приезжаем из Москвы утром, и мне мама вручает ключ от дяди-Васиной комнаты: «Иди, вот твоя комната». Я вхожу. В комнате стоит мой продавленный диван, сервант, табуретки и все. Я говорю: «Что, Граф, будем жить». И что вы думаете, через две недели у нас уже пройти в комнате нельзя было. Там уже и банкетки какие-то, и чего только не было. Все-все собирали по дворам. Меблировал нас приятель, он был из Академии художеств. Мы его звали Рыжий. У него был нюх. Вот мы идем утром по Малой Морской. Рыжий во двор — шашь и что-то оттуда волокет. Мы прожили с Мариной пять лет, разошлись из-за меня. У меня умер друг тогда, и я запил, запил по-крутому.

Второй раз женился я так. Я жил угол Воронежской и Курской. От нечего делать пришла ко мне в гости девочка. Дело было в 1980 году, Олимпиада. Девочка приезжая, только что стала оформляться на работу, на почту, и тут возьми и нагрянь мой гадучастковый. Ну и написал ей на работу бумагу. И девочку, естественно, отфутболили. Что ей делать? Обратно возвращаться? «Давай, — говорю, — распишемся». Благо у меня ЗАГС на Курской, напротив...

И со Светой, моей третьей женой, мы познакомились в «Сайгоне».

Чего у нас только не было! Как-то мы с Мишей Соловьевым, Бакланом, попали к нашему квартальному, это на Курской было. Миша не пил, он чифирил. Даже когда в гости приходил, у него была литровая бутылка чифиря. Так вот, приходит квартальный и удивляется, что у меня на столе в углу комнаты стоят четыре бутылки портвейна, а мы сидим с Мишей и чай пьем — правда, крепкий-крепкий. Майора это насторожило, он нас поволок к себе. Миша стал ему гнать телегу: «Я вам перестрою Кресты под Олимпийскую деревню». И такого нагнал, что майор мне говорит: «Слушай, Колесников, забирай ты своего соловья и катись отсюда, чтоб я вас не видел. У меня голова разрывается». А Миша уgomониться не может: «Эй, начальник, ты послушай, я тебе еще не все рассказал». Миша был из интеллигентной семьи, а притворялся под уголовника. А когда вдвоем с ним сидишь, так о чем только не беседеешь.

Кто-то из вас наверняка знал по «Сайгону» пастора Жоржа. Жора был голосистый такой. Очень он уважал молитву. Выпьет и давай петь молитвы. Сам идти уже не мог, тащат его, а он во весь голос поет.

Эмиль Майовер был ума недюжинного, хотя жизнь ему далась тяжело. Умер. Его нашли на дороге мертвого, возле Лавры. В свое время я у него жил на Васильевском. С Эмилем мы познакомились опять-таки в «Сайгоне», его все знали, он поэт был, пел национальные еврейские песни, красиво пел. Безобидный, не жадный человек, я таких даже в монастырях встречал редко.

Был еще гениальный человек Володя Сорокин. Он и картины писал, и был кладезь всяких знаний. Жил в районе Никольского собора. Он приходил к нам с Мариной.

Мы в «Сайгоне» делали такой журнал «Зеленая свеча». Что там было? Там была статья Сережи Михайлова (ныне он отец Сергей), первого мужа Наташи Крачун, мои две статьи были про Софийский собор в Новгороде. Потом я написал (но потерялось полностью) «Сумерки “Сайгона”», или, как я их назвал, «Записки сумасшедшего», типа обозрения «Сайгона». В то время у меня память посвежее была. Там было обо всех, начиная от первых людей, кого я знал, когда там было еврейское кафе. А вы знаете, почему его называли «Сайгон»? Много версий ходит. Достоверную расскажу я. К нам стали ходить курсанты авиационного училища из Сайгона (Вьетнам). Потому кафе и называли «Сайгон».

Виктор Колесников
Светлана Колесникова

ЭПИЗОДЫ*

Света: Это было в 1985 году. Мне было двадцать пять лет тогда. Нас друзья познакомили, сказали: «Вот сайгоновское Колесо». У меня была трагическая ситуация на личном фронте. Прихожу в «Сайгон», смотрю — никого нет знакомого, только Колесо. Я перед ним кинула все свои деньги, а в себя пришла уже у него дома. Горько рассказывала свою судьбу. Потом у него так и осталась жить. Родители мои были страшно против. Теперь они уже привыкли и моя мама: «Виктору Николаевичу привет большой».

Я еще в 1985 году подрабатывала там — кофеварки мыла после закрытия. Меня месяца на два Витя пристроил в зале чашечки убирать. Мне это нравилось. Получалось ловко эти чашечки убирать. Мыть ловко не получалось, потому что женщины в мойке хватили десять чашек одновременно, на каждом пальце по чашке. И Витя тоже так мог. Там всегда можно было подработать, никак это не оформлялось. Витя на входе стоял, когда кафе на обед закрывалось...

Колесо: Валера Полковник умер где-то года три назад.

Света: Валера Полковник — это уже криминальный мир. Он меня шлепнул по заднице, я ему — раз сразу пощечину. Он меня поднял, потряс, поставил, и ка-а-к приложил. Я летела, летела, приземлилась...

Колесо: Валера Полковник умер от туберкулеза. Он в тюрьме подцепил туберкулез, и ребята рассказывали, кто его знал, что умер он худым как щепка. А я его помню здоровым мужиком.

Аркадий Драгомощенко
Николай Беляк

СУХОЙ ОСТАТОК**

Драгомощенко: В Сан-Франциско есть очень известный книжный магазин, он же издательство, — «City Night books», и его ведет уже тридцать лет Lowrens Serlyngetti, очень известный человек, классик. Напротив — «Итальянское кафе», стены которого все завешаны фотографиями и испещрены автографами. Это было место, где в 1953–1959 годах горела жизнь. Но когда я попал в это кафе... Тихо, жужжит вентилятор, какая-то итальянка делает капучино... И вдруг появился человек — лет семидесяти, с огромной бородой, как у пророка, в засаленной шляпе... У него была пачка книжечек, и он предлагал их купить. Мне сказали, что он сюда приходит ровно тридцать лет, с той самой поры!.. Он единственный, кто остался. Он продолжает писать стихи, приходит в кафе и продавать их... Вот там я вспомнил про «Сайгон»...

Беляк: Это интересно, потому что это «сухой остаток»...

Драгомощенко: Для него это место, видимо, настолько сильно, это такой космос, что покинуть его уже невозможно. Он и есть это место.

* Беседовали Юлия Валиева и София Синицкая.

** Из беседы с Татьяной Ковальковой. 25 июля 1988 г.

Беляк: Да-а, вот поэтому я о «сухом остатке» и сказал. Вот интересно: по отношению к «Сайгону» — неужели это будет Колесников?

Драгомощенко: Да... Луноход...

Беляк: А эти трагические судьбы «Сайгона», люди, ушедшие из жизни, как Кит?..

Драгомощенко: «Сайгон» создал львов асфальта: Лонского, Кита... Это образцы, эталоны поведения. Многие ориентировались на Лонского, а другие — на Кита. Это были разные полюсы. И тем не менее, уживались вместе. Этими людьми задавался тон. Задавался язык. Телесный язык. Чуть ли не график жизненный..

Беляк: Самое главное, что отличало этих людей, — это отсутствие ригоризма...

Драгомощенко: ...и щедрость...

Беляк: ...витальность...

Драгомощенко: ...терпимость...

Беляк: Такой каждый из них был немножко грек Зорба*.

* Грек Зорба — герой одноименного романа Никоса Казандзакиса (1943), а также снятого по этому роману фильма Михалиса Какоянниса (1964) — человек, живущий «здесь и сейчас», свободный от каких бы то ни было моральных запретов — существо, для которого не существует разницы между материей и духом, Богом и дьяволом. Ошо Раджниш считал грека Зорбу высшим проявлением буддовости. — *Прим. ред.*

[illegible]

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ СССР
ВООРУЖЕННАЯ СИЛА
МЕТОДИКА
ПРИКЛАДНОЙ ТЕОРИИ
ОД-33
СТЕВРО
170-3-2-25

Вспомнить «Сайгон»? Это невозможно. Каждый раз, когда меня просят рассказать о том, каким он был, я просто оказываюсь там, и здесь меня нет. Дело в каком-то непознаваемом свойстве сознания, которое...

Звучит фальшиво. Меня просто здесь нет.

Я стою за высоким столиком недалеко от входа в зал и смотрю, кто появится из предбанника. Конечно, это не предбанник, а буфет со спиртным, но поскольку оно меня не интересует (денег нет), то предбанник.

Там, на подоконнике, тоже сидят люди, но только потому, что им не хватило места в зале. «Люди» произносится со значением. Под «людьми» я подразумеваю тех, кому присуще то основательное содержание, которое делает их похожими на ласточек среди птичьего базара. Да. Именно так. Вот они, обитатели этого сурового побережья, вглядывающиеся в далёкий горизонт: тюлени, моржи, морские котики и слоны. А вокруг гомон залётных бакланов, глупышей, качурок и буревестников...

Три вещи завораживают взгляд: накатывающиеся на берег волны, танцующее пламя и текущая мимо толпа. Мы смотрим, как она движется за окнами... куда? Отсюда не нужно уходить: стихи здесь читают вслух, рукописи передают от стола к столу; слева от предбанника, в углу, с молниеносной быстротой на свет появляются портреты присутствующих. А что полезного ты узнаешь в библиотеке и что нового увидишь в музее? Да и к чему ходить в музей, если сейчас придёт Эмиль? Смотри на его профиль — и забудь о Гойе с Эль Греко. Смотри на его лоб в ореоле седой гривы, на его библейскую бороду — и жалею о том, что Рембрандт не дожил до наших дней. Только не смотри ему в глаза, как бы тебе ни хотелось этого: он сразу увидит, какой ты дурак... Скоро настанут белые ночи и весь город выйдет на площади; повсюду будут звучать песни, и на улицах снова станут слушать поэтов, а к Казанскому собору привлекут, так же, как волокли троянского коня, старое пианино, втащат его на колоннаду — и рядом с ним появится этот миниатюрный курчавый Одиссей с печальными глазами. В сумерках толпа рассеется, и он останется один среди колонн, и Гершвин будет звучать для опустевших скамеек, для фонтана, для кустов сирени и для редких троллейбусов, спешащих в парк. И конечно, для тебя...

...Теперь Эмиль сидит на тротуаре Невского с пустой пачкой из-под сигарет и вновь глядит, как мимо него течёт толпа. Мне лестно пригласить его в кафе и угостить. Мне кажется, что если я не сделаю этого здесь, что-то изменится там — и он не будет больше приходить в «Сайгон» и никогда не будет играть Гершвина белой ночью между колонн Казанского собора. Он уезжал и вернулся. Я не знаю, что там произошло с ним. О чём он говорит с Богом, мне не понять, и я просто сижу напротив, изредка вставляя пару слов. ...И снова оказываюсь за высоким столиком, с чашкой кофе в руке. Только теперь у зеркальной стены. Напротив той кофеварки, за которой стоит... а как же её зовут — в тёмных очках и с хриплым голосом? Внезапно отключилось электричество, надо ждать — и вдруг оказалось, что вся очередь знает друг друга и буфетчицу, и все виртуозно пикируются между собой, и только я один стою как пень, потому что не ботаю по фене и не могу вставить ни слова.

Зато я понимаю стихи. И знаю: вот стоят Поэты. Теперь их лица знакомы многим, а имена известны всем. Но я не могу назвать их, потому что прежде их не знал, не разговаривал с ними — и они не читали мне своих стихов. Я и не замечал их, хотя они, конечно, видели всех. И сейчас мне кажется, будто они возвышаются над головами посетителей, как два великана. Говорят, так видел и изображал людей на своих картинах Пиромани. Его упрекают: Нико, что же у тебя фигуры на заднем

плане вдвое выше, чем на переднем? Ты о перспективе-то слышал что-нибудь? А Нико отвечает: да ты что, дорогой, это же такие хорошие люди — как я могу их маленькими изобразить?!

И Митю Шагина я вижу большим. Хотя он такой и есть. С Митей я знаком по «Сфинксу». Это наш василеостровский «Сайгон», который на углу Боль-



Владимир Андреев

шого и 2-й линии, всегда залитой солнцем. Вернее, на самом углу — пельменная, а чуть дальше по линии — «Сфинкс». Туда приходят студенты университета, художники из Академии и полковники — тоже из Академии, только другой. Студенты пьют кофе, художники — сухое вино, а полковники — коньяк, закусывая шоколадными конфетами. Полковники всегда держатся особняком и стоят к нам спиной. Выпьют, закусят — и быстренько прочь. Студенты и художники — друзья. Времена никто из нас не жалеет: спешить пока некуда: зарабатывать особо не дают, и о том, что когда-то придётся крутиться, чтобы просто выжить, никто не думает... А образование — вот оно, здесь. Примером нам служат обитатели парижской «Ротонды», воспетой Эренбургом: Аполлинер, Модильяни, Брюсов, Ма-

яковский... Часами мы философствуем, говорим о музыке, декламируем друг другу свои стихи, упражняемся в графике, просто читаем за столом. Кончаются деньги — выходим на солнце бросать фрисби. Деньги появляются — идём в пельменную пить водку. Перебираемся из мастерской в мастерскую, с квартиры на квартиру, из мира в мир. И, уставшие от головокружения, пьём чай и, конечно, портвейн. И, наконец, срываемся с места и отправляемся всей компанией в столицу — «Сайгон». Там расскажут, где кто будет играть и как пройти на сэйшн. И каждый из нас — немного философ, немного художник, немного музыкант, немного поэт...

...Мой друг втискивается в очередь впереди меня:

— Читал мемуары Рекшана? Называются «Кайф».

Прикладываю палец к губам: друг втиснулся в аккурат между мной и Рекшаном. Рок-патриарх чуть напрягается и едва заметно поводит ухом в нашу сторону, но мы уже говорим о другом. Исправляюсь, Владимир Ольгердович: мемуары кайфовые.

Распахнулась дверь, взгляды туда. Ветер проносится меж столиков. Широким шагом, ни на кого не глядя, в длинном чёрном пальто, «Сайгон» рассекает Цой. Рядом с ним, будто пританцовывая, — барабанщик Гурьянов в кремовом костюме. У половины посетителей день прошёл не зря. Да и годы эти проходят совсем не чья, что бы там ни говорили...

...Каждый день я иду на работу мимо «Старой книги», что за перекрёстком, наискосок от «Сайгона», и вижу в очереди Курёхина с туго набитым портфелем. Говорят, всё, что он берёт в магазине, он читает за ночь, а утром сдаёт обратно и тут же заново набивает портфель. У Курёхина недавно родилась дочка, и я раз за разом приглашаю его к себе в магазин купить резиновые книжки, которые можно читать в ванной и даже грызть или рвать. Курёхин приходит и рассказывает, что он сейчас читает. Мне стыдно: я о таких авторах и не слышал. Только разве что о Лотмане. Больше я Курёхина не тревожу. И без меня ему спокойно кофе не попить: бакланов вокруг всё больше. Неряшливые, хриплоголосые, серые — они слетаются поглазеть и на него, и на Цоя, и на Митю Шагина, и на Рекшана; прилетают и качурки из Москвы — чистенькие, все в лакированных курточках с симметрично развешанными по обеим сторонам фенечками — и пройти в «Сайгон» теперь можно, только протискиваясь боком. Да и не так тянет уже туда: клубы дыма, бутылочные осколки на полу — и запах... мочи. И я понимаю, что храм сей обречён. И что скоро с ним будет то же самое, что произошло со «Сфинксом», где теперь официанты и фонтан посередине, а вокруг него пляшут под диско полупьяные мажоры...

...Эмиль сидит напротив меня и тихо проговаривает свои притчи. Пора уходить. И я наконец со всей отчётливостью понимаю, что «Сайгона» больше не будет; что теперь он — книга, закрытая навсегда. А мы, до конца её не понявшие, даже толком и не дочитавшие, растерянные, рассеянные по всему свету — народ этой Книги.

Кирилл Миллер

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СЕБЯ, ТАКОГО КРАСИВОГО...*

Я жил рядышком с «Сайгоном», на углу Маяковского и Жуковского. В те времена я был манерный молодой человек: длинная шинель, красный шарф до земли, широкополая шляпа — этот имидж я высмотрел в рок-опере «Орфей и Эвридика», и мне казалось, что это предельно «художественный» вид. Я одевался в эти красивые одежды и ходил в «Сайгон», потому что это было модное место.

Тем, кто спрашивал: «А как бы с тобой встретиться?» — я говорил: «С двенадцати до часу я пью кофе в “Сайгоне”». Там вечно стояла какая-то немислимая очередь к кофейным автоматам и ходили разговоры о том, что «за соседней машиной варят плохо, а здесь варят хорошо». Мне-то было абсолютно все равно, что они там варят, потому что я очень любил кофе и не понимал, в чем разница между хорошим кофе и плохим, но тем не менее ходил в «Сайгон» — показывать себя, такого красиво одетого. Я романтически сидел, романтически стоял и вообще был очень романтический...

В «Сайгоне» все курили, пили, сидели на подоконниках... Кто-то выкрикивал: «Я тебе возьму без очереди». И это было важно — прорваться без очереди. Ходил хромой Колесо, со всеми здоровался, да и все со всеми здоровались. И со мной

* Беседовала Юлия Валиева.

здоровалось огромное количество людей, хотя я даже не знаю, кто это был. Мне неважно было, кто эти люди, потому что моя задача тогда больше состояла в том, чтобы показать себя, чем узнать других.

Я все пытался найти в «Сайгоне» какую-то деятельность, но, кроме тусовки, деятельности-то никакой не видел. Тусоваться, однако, тоже было интересно (мы в те



*Кирилл Миллер
в сайгоновские времена*

времена еще были пьющие — надо учитывать). По молодости я любил выпивать — хорошо действовало на слабенькие юношеские мозги. Бутылка портвейна на двоих — и ты просто счастлив. Сейчас можно ящики этого портвейна выпить, а все равно счастья нет... В первом зальчике продавали шампанское и коньяк за какие-то немеренные деньги, а мы пили дешевое вино. Выпивать ходили в соседний садик, у «Эльфа». Поэтому вся тусовка переползала в «Эльф». Выпив в садике, я возвращался к «Сайгону» — посмотреть, что происходит.

Поэтов там тоже много болталось, они всегда были пьяные, и я всегда был пьяный. Я удивлялся: как такие всегда пьяные уроды могут писать стихи. Мне очень нравилось, как читал свои стихи Нестеровский: «Собака выла на луну. / Собака, лунная собака». Мои мозги плохо догоняли весь текст, но строчка «Собака выла на луну» меня как-то

очень пробивала. «Лунная собака» — так это было романтично.

Помню поэта Сергея Олефира, похожего на Блока, он тоже не вылезал из «Сайгона», дружил со всеми вокруг, поэтами и не только. Мы с ним много общались. Поэты очень любят, когда с ними говорят о литературе, так же как художники любят рассуждать об искусстве. Я не мог особо говорить о литературе, потому что мне читать было некогда, я водку пил. А он мог.

Было еще одно знаменитое место рядом с «Сайгоном» — «Гастрит». Я питался там: брал солянку и хлеб. Давали солянку в горшках, стояла она не очень-то дешево. Иногда, взяв бутылочку, ходили вместе с поэтами чтить культовые места — например, ступени Михайловского замка. Получается, что «Сайгон» — это не только «Сайгон»...

Для меня «Сайгон» был местом прощупывания среды. Один раз я познакомился там с какой-то барышней, а мне потом сказали, что она проститутка. В «Сайгоне» их было много, но они были на вид не очень яркие.

С «Сайгоном» были связаны истории, в которых я неожиданно для себя самого оказался наркодилером и человеком политически неблагонадежным. В конце 1970-х у меня умер папа, и я остался один в квартире, набитой самыми разными вещами. Естественно, приглашал к себе всяких друзей. И вот один приятель нашел ящик с папиными лекарствами, вытащил оттуда какие-то таблетки, и мы пошли с ним в «Сайгон». Куда еще идти, если не в «Сайгон», чтобы грамотно

растусоваться? Пока я то ли кофе пил, то ли болтал с кем-то, этого моего приятеля выуживает милиция и куда-то тащит. Я был мальчик героический, не испугался, пошел вызволять друга из вражьего стана. И первое, что увидел, когда пришел в отделение, — лежат на столе эти таблеточки. «Чьи таблеточки?» — «Мои». — «А почему они оказались у вашего приятеля в кармане?» Объясняю: так, мол, и так... А мне говорят, что таблетки-то наркотические. Завели на меня уголовное дело как на «распространителя наркотиков».

Рядом с «Сайгоном» жила Юлия Вознесенская, поэтесса. Кто-то привел меня к ней на улицу Жуковского прямо из «Сайгона». Мы как-то быстро нашли общий язык и начали общаться. У нее собирались диссидентствующие барышни и издавали самиздатовский журнал. А я был начинающий художник: «Вот, смотрите, у меня какие картинки». — «А нет ли у тебя чего-нибудь про женщин?» — «Есть». Через какое-то время, когда журнал вышел, ко мне пришли с обыском из КГБ, начали меня таскать за участие в этом журнале. А я им говорил: «Какая мне разница, что это был за журнал! И вы в своем журнале можете мои картинки напечатать!»

В «Сайгоне» всегда было тесно, не разойтись. И, чтобы «разойтись», мы шли на соседнюю улицу, в «Эльф». У меня был постоянный маршрут: «Сайгон» — «Эльф» — улица Маяковского — Литейный (на Литейном, ближе к Невскому, жил Тимур Новиков). Однажды, пьяный, я пришел к «Эльф» и начал по своему любимому маршруту, от «Эльфы» и далее, расписывать стены надписями «Свободу искусству!». На этом меня поймали, и я стал политически неблагонадежным.

С «Сайгона» началась и моя биография в «Аукционе». В «Сайгоне» было очень много стилияг, болтался там и один из главных стилияг — Олег Гаркуша, по



Юлия Вознесенская, ее портрет работы Кирилла Миллера и букет батульника. Когда я познакомился с Юлией Вознесенской, мне, портретирующему художнику, захотелось ее нарисовать. По дороге купил батульник, выяснилось, что это ее любимый цветок

кликче Слюнь. Он был остроботинковый, чубатый. Вокруг него вертелось море стилиажных девиц в коротких юбочках. Челочки, чубчики... Одну из них звали Се-ледка — такая худая была. «Сайгон» у Гаркуши был первой вотчиной, а кинотеатр

«Октябрь», который находился прямо напротив, через Невский, — второй. Гаркуша там работал киномехаником, и к нему в кинобудку часть «Сайгона» ходила пить и гулять.

Как-то раз прямо у «Сайгона», на улице, Гаркуша меня спрашивает: «Не хочешь стать художником в нашей группе “Аукцион”?» В «Аукционе» как художник я делал костюмы и имидж. В те времена всем, насмотревшимся «Kiss» и всяких западных групп, хотелось быть такими же, поэтому перед выходом на сцену все разрисовывались. Гаркуше я придумал нарисовать у глаз морщинки смеющегося человека. Такой макияж смотрелся потрясающе.



Кирилл Миллер и Олег Гаркуша

Потом образовалась новая тусовка — художественная, которая собиралась в кафе «Сфинкс» на Васильевском острове, на углу Большого проспекта и 2-й линии. Это место мне нравилось даже больше, чем «Сайгон», потому что там было много художников — ведь Академия художеств рядом. Мы просвистывали все деньги на кофе в «Сфинксе», а есть ходили в пельменную, которая была на соседней улице. Там, если ты покупал кусок хлеба, бесплатно давали бульон из-под пельменей, было очень вкусно. Здесь наедались, там пили кофе. В «Сфинксе» больше курили разную травку-муравку, меньше пили портвейна...

В «Сайгоне» было много «системных» людей. Среди художников чисто сайгоновским клиентом, человеком хипповского свойства был Тимур Новиков. Он входил в группу экспрессионистов, которая возникла вокруг Бориса Кошелюхова, матерого, волосатого, которого они нашли, по-моему, в «Сайгоне» же и называли великим учителем. Рядом с «Сайгоном» находился Дом народного творчества (который впоследствии стал рок-клубом), и там эта группа устроила свою первую выставку, я в ней тоже принял участие. Мы-то считали себя великими профессионалами, а власти называли все это «народным творчеством», самодеятельностью, потому что так им было удобней. Из Дома народного творчества путь опять-таки пролегал в «Сайгон»...

Экспрессионисты мне казались мазилами, с ними было не очень интересно. Я тогда быстро освоил структурную, графическую, геометрическую эстетику,

разу достиг в этом определенного успеха, и коллекционеры заговорили: вот он — последователь Филонова, Малевича... Я научился быстро делать качественное искусство на холстах, на фанере, на чем угодно. Мне больше нравилась фанера. В поисках фанеры и подрамников мы все, начиная с Кошелюхова, обходили ближайшие помойки. Любимым материалом была дверца от шкафа.

Дом народного творчества стал площадкой для современного искусства. Все шло на выставку из «Сайгона», а после выставки возвращались в «Сайгон». Было приятно, что тебя уже узнают и говорят: «Это художник». Раньше видели только меня, красивого, а теперь — еще и картины.

Наслушавшись про «бульдозерную» выставку под Москвой, наши художники решили, что мы тут тоже способны на такое, и стали выходить на разные уличные акции, выставки протеста. Помню знаменитую выставку возле церкви Кирилла и Мефодия, в районе Старо-Невского. Художников, у которых в этой церкви была мастерская, выставляли вон, и в связи с этим они решили устроить андеграундную акцию. Картины расставили на улице. С этой выставки начались группа «Кирилл и Мефодий», группа «Летопись».

Я помню эту акцию еще и потому, что мы ее делали вместе с Валентином-Марией-Тилем Самариним. Он был очень активный, занимался передачей культурных новостей: «Сегодня открытие выставки на квартире Аллы Осипенко», «Завтра выставка в мастерской у такого-то» и т. д. И было полное ощущение, что город действительно кипит культурой. Когда же Самарина в 1980-м выкинули из страны, у меня возникло чувство, что культура закончилась, потому что ни по радио, ни по телевизору информацию о таких событиях получить было нельзя.

Кто-то из поэтов (скорее всего, Олег Охупкин) познакомил меня с Митей Шагиным. На самом деле, я собирался познакомиться с художницей Наташей Жилиной. «Художник? Жилину знаешь? Нет? Надо идти, смотреть». Я пришел и увидел Шагина, её сыночка, большого и непонятного на вид. Со временем он стал моим крестным папой и крестным папой моего ребенка. «Митьки» зарождались, можно сказать, на моих глазах.

В те времена существовало две культуры: официальная и неофициальная. Иностранные дипломаты (в частности, американские) устраивали у себя мероприятия, на которые они приглашали людей как официальных, так и неофициальных, подчеркивая, что для них нет разницы между известными художниками и неформальными, уличными. Для человека, который только начинал что-то делать, было очень важно, что к нему относятся с уважением и принимают в американском консульстве. Благодаря этому у меня, например, зародилось ощущение, что я и есть настоящий деятель культуры... После одного из таких приемов (только мы за угол от консульства завернули) нас уже поджидали и «загрузили» в вытрезвитель. И тут же тиснули статью под названием «Тост за



Кирилл Миллер. На выставке в РК им. Кирова



На уличной выставке -
акции у Петропавловской
крепости. Валентин
Мария Тиль (самарин),
Кирилл Миллер, Алла
Афоничева, Елена
Фигурина, Антон (?)
Картины лежали на
земле, потом их стало
сдувать ветром.
Пришли менты, вяло
походили. Резонанс
был небольшой, но мы
показали, что и мы
можем



домашняя выставка у
Кирилла Миллера



Гилур Новиков, Олег Котельников, Кирилл Миллер в «Студии 974»
Валентина-Мария Тилья (Самарина)

демократию». Она очень характерна для тех времен: как же так — дружба между американскими дипломатами и какими-то левыми художниками!

Почему я мало помню? Потому что я постоянно был пьяный. Однажды меня ночью кто-то повез на выставку к Валентину-Марии, на Васильевский, где у него в то время на проспекте Кима была мастерская. Мы там пили, пили, пили, и я там допиллся до никакого состояния, а надо было уезжать. Всех вывозили — и меня вывозили. Куда девать пьяного человека, чтобы он не пропал? Естественно, в «Сайгон». Привезли меня к «Сайгону» и там бросили. Одеть-то меня одели, а обувь забыли... И тут же меня забрала милиция: «Ты что, хиппи?». — «Нет, я не хиппи». —

А почему тогда в носках стоишь на асфальте?». Ладно, был бы босой, а то в носках на панели, как дома на паркетe.

Московская публика, приезжавшая в Питер, знала, что искать приключения нужно исключительно в «Сайгоне». Я помню, приехали два колоритных человека — Ефим Шапиро и Сергей Шкодин, московские околхудожественные тусовщики. Меня они потрясли тем, что были с ног до головы джинсовые: у них были джинсовые сумки и джинсовые кепочки, джинсовые рубашки и джинсовые костюмы.

Это был самый романтический период: был «Сайгон» — и была жизнь, был петербургский андеграунд. Умер «Сайгон» — и андеграунд умер. Следовательно, «Сайгон» — еще и центр андеграунда.

Александр Донских КОФЕ И ПАПИРОСЫ

«Сайгон» я «открыл» для себя (это слово без кавычек) в 1975 году. Девятнадцать лет от роду. В Пермском краю, где я большую часть времени до этого, и кофе пивали, и о Вьетнаме слыхали. Однако и то, и другое было, по сути, экзотикой. Кофе пили растворимый и бочковой — разведённая в кипятке сгущёнка с кофе, довольно популярный в «Общепите» дринк. В отличие от какао, его не надо было перемешивать, а стоил он в два с половиной раза дороже трехкопеечного чая с сахаром, чёрного от добавляемой пищевой соды. Война во Вьетнаме, как всё политическое, абсолютно не интересовала, пока Джон Леннон и Фрэнсис Форд Coppola своими высокохудожественными протестами не пристыдили меня. В 1970-х, оказавшись в ЭТОМ городе

(с названием его вопрос всё время кажется открытым, как и с именами его улиц, домов и мостов, тайных и явных сообществ, и самого его предназначения) сразу после школы, я принялся изучать его. Его географию и правила игры. Его словарь. Впечатления от встречи с городом и с «Сайгоном» как его центром я записал в романе *«Призраки города N»**. Место этого городского клуба — в мемуарах ныне. Ушла, как говорится, натура. Упустили старушку. Город Петра, Ильича и Чайковского — именно так звучит старинная петербургско-ленинградская шутка. Три дороги от камня — известный сказочный сюжет, и к этой ожившей на болотном берегу фантазии он применим в полной



Александр Рончих.
Фото А. Медведева

сказочной мере. Пётр: приказом Императора всем курить табак и пить кофе! Приободрись, Русь! Ильич: Берегись, Русь! Чайковский... ну тут сами понимаете, лебединое озеро, пиковая дама... Пушкин и немного гомозротизма. Ну просто sex&drugs&rock'n'roll! Ленинград второй половины 1970-х. США + СССР = СОЮЗ-АПОЛЛОН. САША + САЙГОН = ВУДСТОК. Не много тогда было граффити на стенах, запретной была валюта, научной фантастикой — компьютеры и мобильники.

«Сайгон». Три окна по Невскому, девять—десять — по Владимирскому. Вход с угла. Небольшой «предбанник», где покуривают посетители, пока уборщица не выгонит на улицу. Столы по грудь посетителя среднего роста (вспоминаются мраморными, как прилавки и бассейн для рыбы в магазине напротив), стульев нет — в «Сайгоне» не рассаживаются, разве что на окнах, откуда, правда, тоже гоняют. Повесив сумку на крючок под столешницей (не забывать!), все пьют кофе. В основном маленький двойной, чаще без сахара. Двадцать шесть (с сахаром — двадцать восемь) копеек. Ухо-

дят, возвращаются. Снова кофе. И так — бесконечно. Пока хватает денег у вас — и ваших друзей.

В те годы копейка была реальной покупательной единицей. Если верить присказке, то «когда была свободной Русь, то три копейки стоил гусь». Не знаю уж, сколько в 1970-е стоил гусь, но на одну копейку можно было приобрести конверт без марки, стакан газовой без сиропа в автомате, ластик, коробку спичек... Деньги! Их нехватки тогда не ощущалось — в «Сайгоне» всегда встретишь кого-нибудь, кто угостит кофе. Или папиросой. Вдоль трёх окон на Невский ещё водятся бутерброды с сёмгой и икрой, плещется коньяк. В окнах видно постояльцев — стоящих у круглого столика (как рыцарики королика Артурика). (Из-за больших окон «Сайгон» почти просматривался с улицы, и, увидав знакомого, в кафе заворачивали и те, кто просто проходил мимо.) Вглубь, вдоль по Владимирскому — уже только кофе с редкими островками пирожных и слоек, бутербродов попроще (сыр и сервелат). Сверху, из трёх этажей ресторана

* Фрагменты романа опубликованы в сборнике «Бронзовый рок» (СПб., Амфора, 2004) и на www.remike.spb.ru.

«Москва», изредка спускаются носители подносов сюда, где расположенные буквой «Г» 7–8 человек безостановочно размалывают кофе, засыпают в металлические формы, через которые пропускают в бокальчики без блюдец строго дозированное количество кипятка, подают и снова мелют, мелют... От одного запаха уже сердце бьётся быстрее. «Мне, пожалуйста, четверной, водички на третью».

Кофе — первый наркотик большого города. Чтобы не спать, чтобы проснуться среди сна полярной ночи. Приподнять, как кариатида в наказание за измену, как атлант — это каменное небо над ртутной рекой. Чтобы затем вдохнуть поглубже дым из трубки Доброго Волшебника («Сделайте что-нибудь приятное... всем». — «Нет ничего проще, Ваше Величество!») и оживить призраков Города. В пифическом экстазе преобразить его в Александрию-на-Неве. Ритуалы и легенды окружают эти зёрнышки. «Арабика» раздобывается в зелёном виде у знакомых, с трудом жарится до тёмно-коричневого цвета, перемалывается и варится в турке. На купленном в магазине (равномерно обжаренном в печи) кто-то видел («своими глазами!») дырочки («из них шприцами вытягивают кофеин!»). В трамвае я как-то подслушал, как один старик сладострастно говорит другому: «Я его до трёх раз поднимаю...» Это о кофе. <...> Ритуалы давались не сразу. Джексы везлись, как и джазы, — из Прибалтики и Грузии. В домах всё же чаще предлагали чай. И растворимый — пионер «суррогатовой революции», шпион, за которым пролезли винилы, джинсы, пепси-колы! Кофейни, мороженицы с разным шампанским, чебуречные и пирожковые — прощайте, Незабвенные!

Нечто подобное «Сайгону» располагалось в кофейне недалеко от Техноложки, на углу Загородного проспекта и одной из этих улиц, зашифрованных во фразе «Разве можно верить пустым словам балерины»: Рузовской, Можайской, Вереysкой... Были «Рим» и «Ольстер», был «Тель-Авив»... Но легендой суждено остаться именно «Сайгону», как и воспевшему его в поэме «В объятиях джинсни» БГ. Исчезновение — необходимая часть мифа. Замурована арка, ведшая в котельную «Сайгона», где работал Распий, мой первый питерский друг, поэт и музыкант. <...> «Распий — Морских» — так называлось наше литературное объединение с 1977 года. Литературное кафе «Мартиш». Оно обладало своей мифологией, предназначенной для узкого круга. Нашего.

Закат «Сайгона» совпал с падением империи, имя которой начиналось на ту же букву. Обе агонии сопровождалась волнообразными метаморфозами, сравнимыми с умиранием экзотической рыбки, по пути от ранения до смерти испускающей радужные эманации различных цветов. «Сайгон» менялся, закрылся и снова открылся (по легенде — обещание Собачка Бродскому), затем превратился в магазин диссидентской роскоши (чего стоили одни унитазы с хрустальными стульчаками, в которых сверкала золотая (или платиновая — на выбор) колючая проволока или кресло-роза, состоящее из дожины разнокалиберных лепестков-подушечек!). <...> Затем снова закрытие, открытие рок-магазина, закрытие рок-клуба на Рубинштейна, 13 (во дворе), перенос кафе в начало Невского и дальнейшая мутация «Сайгона» как бренда.

А история нуждается в материале. Даже если он витает в воздухе, как струйка дыма или аромат свежесмолотого кофе.

Владимир Рекшан

БРАЖНИКИ

В городе, живущем на параллелях и перпендикулярах, на угол Невского и Владимирского вы попадете почти всегда. <...> Богема шестидесятых сходилась

на главном перекрестке за чашкой кофе. Покуда не пьянствовали особо, хотя это можно было сделать легко — в кафетерии имелся винно-коньячный буфет...

Сладостный демократизм, похожий на янтарный тягучий мед, пошел на убыль. Время остановило его золотой поток, кристаллизовало. Уже требовались умение и ловкость, дабы воспользоваться его целебными свойствами. Тут-то богема и начала попивать. Попивать, стоит быть справедливым, стали и рудокопы, и аспиранты, и промышленные рабочие, и крестьяне. Говаривали — за плотно запертыми дверьми бражничали и носители высших государственных регалий.

Богема же пила публично, и постепенно «Сайгон» приобрел сомнительную репутацию. Столики и стулья убрали. Вместо них водрузили высокие круглые столы, предполагая, что долго возле них стоять не станут. Философия ведь, как и дружеская попойка, требует устойчивости, усидчивости... Стулья хотя бы нужны! Но богема справлялась и без стульев. Только чаще подходил народ к буфетной стойке, чаще посылали гонца в ближайшую винную лавку.

Богема — понятие условное. Что-то вроде отстойника или спецраспределителя. Из нее кто-то пробился в официоз и пивал уже совершенно в иной плоскости, а к оставшимся прибывалась молодежь, стали появляться в «Сайгоне» по вечерам местные бандиты. Семидесятые годы стояли на дворе, и бандиты, случалось, особенно пивали в «Сайгоне» — в наколках и шрамах, в компании пропитых поблекших женщин. Лично мне приходилось быть свидетелем сцен безобразных! Однажды два одноногих уголовника дрались костылями, падали, роняли столы, пугая богему и случайную публику, зашедшую нечаянно перекусить. Водился в «Сайгоне» внушительного образа детина по кличке Полковник, огромноголовый, с кулаками как пивные кружки, покровительствовавший тем, кто похлипче, и взимавший за покровительство по рублю, по полтине, во сколько удавалось оценить пивные кулаки. Ближе к Московской Олимпиаде бандиты куда-то подевались.

Собирались в «Сайгоне» и разные экономические жулики. У них действовал свой табель о рангах — от, как говорится, антикварно-иконной крутежки и переправки народного достояния за кордон до пятерочных книжных спекуляций. Одного из крутых звали Распылителем за случайный и плевым для него проигрыш в карты пятидесяти тысяч, что по ценам черного рынка равнялось, наверное, десяти-двенадцати тысячам долларов.

Я видел Распылителя несколько раз, но он не часто навещался в «Сайгон» — лишь по особой надобности. Был он скромн телом, сероват лицом, носил бородку клинышком и не бросался в глаза. О нем говорили, будто он одним из первых прошелся по деревням и неприметно так, учтиво собрал икон в серебре и складней на миллион. Экономические жулики носили плащи и пальто из лайковой кожи и собирались между двумя и тремя часами пополудни, перед открытием букинистических, антикварных и комиссионных магазинов. В три же открывалась на Рубинштейна скупка драгоценных металлов, куда частенько несли, как лом, произведения настоящих ювелиров. Перед скупкой простодушных горожан перехватывали «лайковые плащи» и делали свои состояния, а после в «Сайгоне» играли в «шмен», открыто, несмотря на социализм и госбезопасность, передавали из рук в руки тысячи. Бедная богема, кто попрличнее, отводила глаза, а потерявшие стыд старались втюхать какому-нибудь «лайковому плащу» зрящую книжицу, чтобы выпить, а вечером стоять возле кафетерия, размахивать руками, курить и философствовать.

Каратисты дружили с «лайковыми плащами», иногда и сами бывали в лайке и презирали богему.

Девицы из провинции проходили через порочные руки «Сайгона» стройными шеренгами, стараясь, допустим, из Томско-Ачинского феодализма перескочить сразу в социалистический капитализм северной столицы.

Подкрашенные педрилы появлялись в «Сайгоне», но не прижились.

Рок-музыканты пивали с богемой, но их время наступило потом...

Но вот не стало в кафетерии бандитов, статья Уголовного кодекса отменила криминалистов, лишь крупницы из тысяч временных завсегдатаев выпали в осадок сайгонского *навсегда*, но оставался дух — дух раскованности, причастности к чему-то особенному. Дух надежды на скорые перемены и дух порока.

Ольга Жук

СТРОГАЯ ДЕВУШКА

(фрагменты рукописи)

Первый мой выход в андеграундную тусовку состоялся в 1971 году, когда мне было одиннадцать лет. Инициировал меня в питерский андеграунд Саша Раппопорт — мой приятель еще со времен детского сада ВТО, внук кинохудожника Л. Векслера и племянник оператора Ю. Векслера. У Саши были брюки клеш, самопальные, но очень красивые. И главное, модные. Кроме штанов, у Саши была старшая сестра — Алина. Алина общалась с питерским андеграундом, была одной посвященных в культурный высший слой. Она и ее друзья, среди которых я хорошо запомнила Кирилла Козырева, нам казались тогда недостижимыми, как боги с Олимпа. Они ходили в кафе на углу ул. Некрасова и Литейного пр. — «Abbey Road», названное так в честь песни битлов, и слушали западную рок-музыку. Однажды Саша пригласил меня пойти «Abbey Road» вместе с ним. А потом, инициировавшись, два прозелита, Саша и я, начали ходить не только в «Abbey Road», но и в легендарный «Сайгон».

С четырнадцати лет, уже окончательно повзрослев, я стала самостоятельно приходить не только в «Сайгон», но и во все модные тусовочные точки: «Рим» у станции метро «Петроградская», бар «Ольстер» у «Маяковской», «Сфинкс» на Васильевском острове. Общалась с художниками, музыкантами, поэтами, биологами и физиками, многочисленными студентами и экс-студентами, изгнанными из вузов за прогулы. В «Ольстер» днем можно было пройти бесплатно и просидеть за одной чашечкой кофе целый день, и потому большинство дневных посетителей «Ольстера» составляли прогуливавшие занятия студенты. Вечером вход в «Ольстер» становился платным, и публика в целом была другой.

Году в 1976 я познакомилась в «Сайгоне» с вором-карманником, бывшим фарцовщиком и валютчиком — Валерой, по прозвищу Сэм. Было ему лет тридцать пять, не меньше. Он был когда-то несказанно богат, о его богатстве напоминала идеально сшитая, но изрядно потрепанная одежда. Все заработанные искусным мастерством деньги Валера протарчивал, как к тому времени протарчал машину, квартиру, дачу и все сбережения. В день он съедал по десять—двенадцать пачек «желтого» (так называли кодеин) и десяток таблеток «белого» — ноксирона. Ноксирон усиливал кайф и снимал побочные явления от кодеина, когда лицо становилось красным и распухало, а человека «чухало» и бросало в жар. С Валерой мы даже вместе праздновали Новый год (по-моему, 1977) — в квартире моей школьной приятельницы, подруги поэта Саши Богачева, Лены Тельновой. Лена приготовила роскошный стол, ушла в гости, а ключи от квартиры преподнесла мне в качестве подарка.

Сэм патронировал меня несколько лет; при встрече он непременно угощал меня «желтым» с «белым» и вёл в хороший ресторан — мы заказывали икру и шампанское. Потом он куда-то исчез, перестал звонить и перестал появляться в «Сайгоне».

Я спрашивала о нем двух «зверей», у которых он брал кодеин на Кузнечном рынке, но они тоже Валеру не видели. Погиб, наверное. Он был очень плох — худющий, лицо со следами бывлой красоты состояло из одного носа и глаз.

После окончания я стала freelance, как говорят на Западе, а по-нашему — свободным художником. Меня даже чуть не посадили за тунеядку в начале 1984 года. Я устроилась секретарём к своему бывшему преподавателю Б. О. Костелянцу, члену Союза писателей. Члены Союзов были привилегированными творцами, они имели право на дополнительную комнату или даже мастерскую, право на секретаря, и многие мои знакомые и незнакомые этим правом члена Союза писателей пользовались. Работал секретарем у Н. Я. Рыковой Миша Мейлах. Когда-то служил секретарем у О. Берггольц, а затем у В. Пановой Гена Трифонов (до него секретарем у Пановой был Сергей Довлатов).

Одним из моих сайгоновских друзей был Серёжа Дмитровский. Мы познакомились в 1980 году во Львове, в кофейне, бывшей сродни нашему «Сайгону». Кофейня эта открылась на Армянской улице незадолго до нашей с ним встречи. Среди постоянной публики там бывал весь цвет альтернативного львовского общества — непризнанные поэты, художники, фотографы, несогласные с режимом. Я была во Львове со съёмочной группой фильма Игоря Усова «Сицилианская защита», в которой художником по костюмам, работала моя мама. В одной из главных ролей снимался Александр Абудлов. Для провинциального Львова приезд киногруппы был событием. Событием он стал и для Сережи — провинциального поэта. Сережа был на год младше меня, он родился во Львове в 1961 году. Вскоре после нашей встречи во Львове Сережа переехал в Ленинград, где работал под руководством Бориса Понизовского в театре «Да—Нет», печатался в театральном-художественном журнале «Грааль», в альманахе «88». В 1982 году с группой поэтов-единомышленников, которую составили Гоша Буренин (Бринь), Артур Волошин (Арти) и Леонид Швец (А. Богачев), он создал Петербургскую Школу Новейшей Эkleктики (в 1983 году статья об этой школе появилась в английской «Энциклопедии современных русских писателей»).

Сережа — автор восьми пьес, эссе о поэтике, семи стихотворных сборников. То, что Сережа большой поэт, я поняла со дня нашего знакомства, когда в кафе на Армянской услышала его стихи. Сергей Дмитровский — наследник традиции ямба. Вот строчки из его сборника „С. А. Д.“: «Тогда ли ты, душа моя и свет, Для верности гадая на ромашке, Поймешь, что я родился не в рубашке, А в эру облысения планет». <...>

Сережа любил играть в гомосексуальность. У него был платонический роман с Сашей Богачевым (Леонид Швец). Сашу я знала через Лену Тельнову, он жил у нее, когда ушел из дома из-за конфликтов с родителями. Дома у Лены, в небольшой однокомнатной квартирке в «районе еврейской бедноты» на Мориса Тереза, был своего рода художественный салон, или притон, как его называли добропорядочные советские соседи. Родители Саши были из простых, и литературных увлечений его не понимали, считая его бездельником, отправляли работать. Он и пошел на завод, что не мешало ему заниматься поэзией.

Вместе с Сережей они входили в круг почитателей Бориса Понизовского, участвовали в его домашней театральной студии. Понизовский был скорее учителем, чем режиссером. В те годы вокруг него собиралась творческая молодежь, преимущественно провинциальная. Он их учил, в первую очередь, не театру, а жизни, правде, честности. Понизовский был обезножен с ранней юности (он попал под трамвай) и к тому времени, о котором идет речь, практически не передвигался. За ним ухаживала Наташа Кудряшова, работавшая в научно-исследовательском отделе Театрального института на Исаакиевской пл.

После задержания с мешком «кухнара» (перемолотых головок мака), который он вез из Львова в Питер на продажу, Саша оказался в психушке на принудительном лечении. Решил сделать бизнес, поехал впервые, и попался... Трагично и поучительно. Саша пролежал, а точнее «просидел», в психушке четыре года. После того, как он вышел, след его для меня затерялся. Позже оказалось, что он ушел в монастырь.

В начале 1990 годов Сашу Богачева зверски убили неподалеку от монастыря, в глуши российской необъятной земли, местные хулиганы. Так закончилась непутевая и трагическая жизнь поэта Саши Богачева (Швеца).

Еще одним сайгоновцем, пололгу проживавшим у Лены Тельновой, был Арчибальд (в прошлом отец Александр) — андрогинного вида молодой человек, хрупкий, небольшого роста, с длинными, почти до плеч волосами и козлиной, дьявольской бородкой. Неистовый, харизматичный, невероятно пассионарный. Он был изгнан из церкви — за что, я не знаю, но подозреваю, что за разврат умов и сердец священнослужителей и прихожан. Арчибальд действительно был соткан из пороков. Он был интересен своей неординарностью, внутренней и внешней свободой (он путешествовал по всей стране и жил то здесь, то там). Жизнь Арчибальда была полетом странной двуполой языческой птицы. Этот полет прервался в 1987 году, когда Арчибальд (видимо, под психоделиками) выбросился в пролет лестницы в доме Лены Тельновой.

Сашу Башлачева я увидела в первый раз на квартирнике у Алины Алонсо году, наверное, в 1984. Пригласили меня туда Женя Каменецкая и сама хозяйка. Пришли мы вместе с мамой. Народу было очень много, хотя Сашу никто еще в городе не знал. Он сразу привлекал внимание своей искренностью и трагичностью, граничащей с обреченностью. Чтобы легализовать его в нашем городе, где для него, несомненно, было больше перспектив, чем в Черновцах, Женя вышла за него замуж. <...>

Питер оказался змеем-искусителем для многих приезжих артистов, художников, литераторов: они не выдерживали ритма города, а также искушения роскошью и испытания праздностью. Сломался и Саша Башлачев. <...>

Но вновь прибывающие в Питер снова стекались в «Сайгон», прибывались именно к нему. Все пути вели не в Рим, а в «Сайгон».

Дмитрий Раскин

Я ОБОГРЕВАЛ «САЙГОН»

Шёл 1980 год. После нескольких лет учёбы в Институте культуры у меня наступило глубокое разочарование в будущем. Я не хотел становиться клубным работником и быть дирижёром хора. Я разучивал на фортепиано сонаты Моцарта и Гайдна. Погружался в космическую мудрость Баха, испытывал невероятное чувство полёта, исполняя прелюдии Рахманинова.

В то далёкое время, когда лет было двадцать и когда жажда информации обо всём на свете и захватывающий поток эмоций рок-музыки не давали спать, я начал искать работу «сутки через трое».

Вскоре такое место было найдено, да не где-нибудь, а в самом «Сайгоне», в его котельной. Знакомый отца в то время работал инженером в ресторане «Москва. Сейчас это отель «Рэдиссон Славянская» (не понимаю до сих пор этого нелепого названия, более похожего на опереточно-цирковой псевдоним). После капитального ремонта

фасада двор в котельную исчез, став одним из окон ресторана. Но память жива, и не надо закрывать глаза, чтобы вспомнить, как это было.

«Сайгон» стал моим первым местом работы. Началом этапа «большого пути». И первая запись в трудовой книжке — «оператор газовой котельной». Работа была сменная, и надо было рано вставать. Признаюсь, я немного волновался,



Дмитрий Раскин

когда впервые шёл на смену: новое место, незнакомый коллектив. Раннее утро. В голове ещё бродят неуловимые остатки сна. Бутерброды в сумке, книжка и тетрадь для записей стихов. Этот двор был мне знаком с детства, так как я живу в центре и несчетное количество раз проходил мимо него. Но в подворотню никогда не заходил. Там всё время происходила какая-то жизнь. Тележки громыхали, дворники матерились, кто-то писал в подворотне. Помойка, кошки, крысы, как почти в каждом дворе. Пройдя сквозь этот адский коридор, я свернул налево и оказался во втором дворике. Он и был внутренностью «Сайгона» и ресторана «Москва».

Котельную я нашёл по валившим из открытых дверей-ворот клубам пара. Войдя внутрь, я оказался в царстве котлов, труб, ободранных стен. За столом сидела неприглядного вида тётенька. В помещении стоял

запах сырости, кошачьих туалетов и старых тряпок, к которому примешивались ароматы чеснока, лука и пота. Я поздоровался, сказал, что буду здесь работать. На лице тётеньки не засияла радость. Мне показали журналы, в один из которых каждый час записывались показания приборов: давление воды, газа, пара. Другой журнал — для жалоб и предложений. На столе стояли два телефона, городской и местный. В своих записках того времени я нашёл, что в мясной цех можно было позвонить, набрав 29, в горячий — 38, в холодный цех и мойку — 31, кондитерский — 41, гардероб — 17, кафетерий («Сайгон») — 36. Звонившие в котельную по городскому телефону просили пригласить повара, мясника, мойщицу, кондитеров и кофеварщиц из «Сайгона». Они часто приносили мне кофе и пирожные.

Став «оператором газовой котельной», я быстро оценил все прелести работы «сутки через трое» и даже привык к этой страшной и на первый взгляд взрывоопасной конструкции. В котельной, кроме меня, еще работали две тётеньки. Одна из них была та самая, с ароматами лука и чеснока, а другая — суховатая, прокуренная, с окрашенными в радикально чёрный цвет волосами, напудренным и нарумяненным лицом и глазам, обведёнными стрелками, — сейчас бы легко вписалась «мамой» в компанию любителей готического рока. Кстати, она любила кошек и собирала их в котельной. Зимой сытые кошки сидели во дворе на крышках люков, как на островках, и тихо грелись.

В дневное время ко мне часто забегали позвонить кофеварщицы, особо ценимые обитателями «Сайгона». Без них кафе не кафе. К ним выстраивались очереди за «маленьким двойным» и выпечкой, и они знали всех постоянных посетителей. Выходя «подышать воздухом» от смрада и пара из котельной, я наблюдал в большие, часто открытые во двор окна, как зал «Сайгона» с утра заполняется людьми. А днем из окон разносился по двору шум голосов из зала кафе. И так до самого закрытия. Обитатели «Сайгона» создавали постоянно звучащую какофонию из

голосов, обрывков фраз, звяканья посуды, металлического шелеста ложек и вилок, звона монеток и т. д.

Во время одного из моих дежурств, когда я читал что-то интересное, ко мне в котельную вдруг ввалилась странного вида женщина. Пахнуло дешёвыми духами. Женщина была одета в брюки и в узкую куртку из какой-то жёванной клеёнки, с мохнатым свалившимся воротником. Алкоголическое, изрядно подлущшее лицо ее было разукрашено косметикой. Пудра, жирные стрелки вокруг глаз, яркая помада. Грязно-рыжая копна волос была схвачена на макушке резинкой в хвост.

«Выпить есть? — спросила она характерным голосом. — А где Лида?»

«Здесь нет Лиды, — ответил я. — Сегодня моя смена».

«Хм, а ты что, новенький? Ну, выпить-то есть?» — сказала она уже как-то жалобно, пряча голову в плечи. «Вообще-то... я девушка. Меня Лисой зовут. Не веришь? Да спроси любого — Лису знаешь? Без вопросов... Меня сразу найдут. Приходи, только не забудь, как меня зовут. Помнишь? А когда Лида будет? Ни хуя ты не знаешь. Ну ладно... — она смачно рыгнула. — Я пошла». А я, пораженный, наблюдал, как она осторожно перешагивает через высокий порог и прикрывает дверь. Что это было?

Потом неоднократно еще появлялись в котельной похожие «артисты», но эта была настоящей звездой. Прошло столько лет, а пьяную Лису не забыть...

В журнал «жалоб и предложений» мои коллеги записывали свои обращения к начальству. Все эти записи я привожу в подлинной их орфографии:

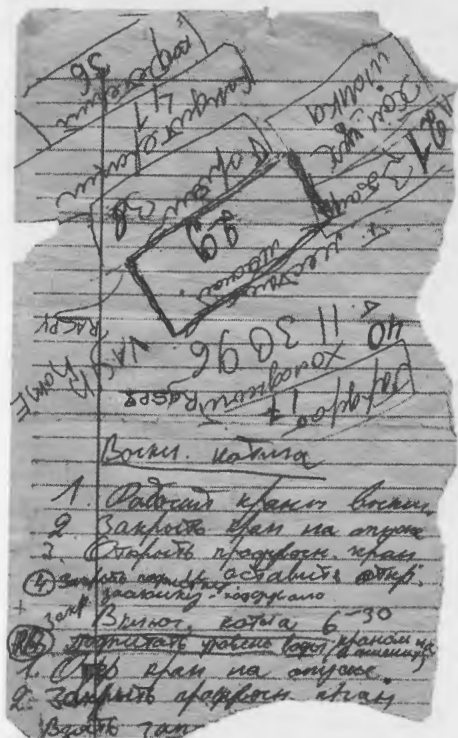
1. Шибера не работают у в2го котла. на пиле, нет винтеля. у колорифера винтиля не открыть и не закрыть. С фановой трубы парилка над стендом электричества.

У скоростника ! с двух винтилей течёт горячая вода.

2. у котла №1. С правой стороны при рожге вся стена мокрая, и горелка вся мокрая. а под огнём высушивает. С фановой нижней трубы сильный пар. идет до самой раковины временами. Из емкостного из соединении очень течет вода и стучит в емкостной задняя фронтальная плита отошла от котла и пахнет газом.

3. у 2го котла сильно перегревался боров, от нагрева был сильный вонючий запах. Кололифир греется зря отнимает унас воздух, и берет много пару, и работает летом, и зимой, а это нужно, только когда работает кафетерия.

5. На боров, и клопона не в коем случае нельзя ложить, тяжесть, груза. Срочно убрать кто это сделал. нельзя подойти котлу чтобы подпитать котел. вода льется прямо на голову с 22 часов до 3х часов ночи и с 6ти часов утра до 7ч. утра.



Фановая труба облила меня говном с ног до головы [*приписано*] кашачим
6. развели тут кашачию грязь! И не убирается. И на ихнем сидели помете то-
роканы, и мухи, и дышале этой гадостью. а если разводите кошек так убирайте за
ними грязь. они бегают по опоратуре играют со шлангами. у котла что будет авария
если не доглядите. клопона сильно гудят.

13²⁰
Ленинград

8. августа 1981

АКТ № 36

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика Радик Миса
тов. Радик В. М. представитель котлоры «Ленпролгаз» тов. Ильин В. В.
составили настоящий акт в том, что на основании договора между «Котлорой» и «Заказчиком» сего
числа отобразим пробны:

1. Отходящего газа	1	(стоимость одного анализа 4 руб.) на сумму	4	руб.
2. Возд. среды	1	(стоимость одного анализа 2 руб.) на сумму	2	руб.
3. Выезд	1	(стоимость одного выезда 1 руб.) на сумму	1	руб.
Итого на сумму			7	руб.

Представитель заказчика Радик Миса
Представитель котлоры Ильин В. В.

ППО № 1-4 Ленкупиздата. 4212. т. 150000, 1974

7. пар гуляет по котельни и его не выбрасывает по назначению. Это опасно для операторов где то большая ненормальность.

У пятли зделать винтиль не открыть, проворачивается краник и вываливается.

Запальник долго не разжигал все время искрился. и только на 10ом разе он воспломенился. Клапан очень гудить.

Смену сдола 8ч. 03-1981...

В 1990 годах на месте «Сайгона» открыли магазин унитазов и прочей иностранной сантехники. Видимо, стоны и вопли пара и кипятка, вырывавшиеся из прогнивших труб сайгонской котельной, а также записки операторов, приведённые выше, мистическим образом сконцентрировались. И новая сантехника триумфально утвердилась на этом месте.

ТОСТ «ЗА ДЕМОКРАТИЮ»

РЕПЛИКА

ТРУДНО житье нынче всякой «ляны». Подрубила ей крылья судьба-злодейка. Хотя вой после семи гектара на неизвестно где блуждающую по небу луны в тоске о золотых «бормотушных» временах.

Особенно туго приходится нынча, так сказать, «интеллигентной», «идеальной», «принимшей», затесавшись с умными разговорами в какую-нибудь компанию, пить из дармовицину. И компаний таких резко поубавилось, да и вообще за анекдоты с душком нынча самые «свежие» новости о том, что там — за «бутром», сейчас тоже не очень-то наливаются. Вот и остается «бормотушной элите» либо бросаться по вечерам, подобно простым смертным, с адовой в кулаке крошечной десяткой под колеса такси, шастать в поисках бутылки по общественным туалатам либо искать другие источники утоления жажды.

И она шипит их. И доказывает. Да Уткин, что не слышал даже выдавшей вилы милиции, анающей, казалось бы, наперечет все элитные места в городе.

Своеобразный профессиональный конфуз в этом плане испытали недавно работники Управления внутренних дел Держжикского района. За последнее время им удалось прикрыть несколько притонов, где по вечерам шла торговля спиртным на вынос и в розлив, навести порядок в винных отделах магазинов, отдалить под суд немалое число водочных спекулянтов. Все это позволяло работникам Управле-

ния пребывать в твердой уверенности в том, что они полностью контролируют положение дел в районе.

И вдруг... Проведя поздним вечером 3 июля очередной антиалкогольный рейд, милиционеры и помогавшие им дружинники к великому собственному удивлению то там, то сям стали наткнуться на напившихся до положения риз или близких к этому состоянию людей. В каких-то подкасах их набралась целая дюжина, включая и женщин.

Ошарашенные участники рейда принахались и изумлялись еще более. От всех задержанных: и тех, кто в бесчувствии валялся на тротуарах, и тех, кто в пьяном кураже приставал к прохожим, — разило не обычным плодово-ягодным, а джином, виски и прочие заморскими перегарами.

«Иностранцы, что ли?» — подумали участники рейда. Однако отборный мат, который несся из нелепых тдосов, тотчас же заставил отказаться от этого предположения.

Тогда начали разбираться с подобранными и задержанными, так сказать, индивидуально и выявили, мягко говоря, довольно странные и неполадные вещи.

Выяснилось, что все эти граждане, находившиеся в общественных местах, как зафиксировано в милицейских протоколах, «в оскорбляющем человеческое достоинство виде», напившись до скотоподобного состояния на приеме в генеральном консульстве США в Ленинграде по случаю Дня

независимости Америки.

Впрочем, в том, что напиться, ничего странного еще нет. Такое состояние не столь уж необычно для препровожденных в вытрезвитель называющей себя искусствоведем С. В. Сливинской, так называемых свободных художников Кирилла Миллера и Дмитрия Шагина, а также для привлеченных к административной ответственности за мелкое кулиганство стрелки охраны объединения «Красное знамя» Б. М. Ельчина, родственнотавющегося Сергея Козомарова и других лиц, задержанных участниками рейда. Так что, как уже говорилось выше, остается только поражаться изобретательности, с какой ищут и находят эти граждане места для дармовой выпивки.

Странно и неспоконно в данной ситуации другое. Как, все-таки, несмотря на всю их изобретательность, удалось попасть этим готовым пропить маму родную, никого в Ленинграде не представляющим людям, на официальный прием в генеральное консульство? Не оскорбляли ли они там, поднимая в ненормальном виде тосты за демократию, и трудолюбивый американский народ, празднующий День своей независимости?

Что касается всякого рода пьяниц, не желающих жить по нашим законам, то в полном соответствии с советской демократией с ними и впредь будет вестись самая бескомпромиссная борьба.

В. КОШВАНЕЦ

27.07.86

"Ленинградская правда"

В истории мировой цивилизации встречаются такие места, которые можно сравнить с геопатогенными зонами, только со знаком «плюс». В этих местах сливаются воедино потоки людей и какие-то другие потоки. В основе такого объединения лежат некие тектонические или геотектонические структуры. Петербург каким-то образом оказался размещен на одном из таких пересечений. В этом, собственно, и заключается суть этого города. Когда его распланировали, появилось пересечение двух крупнейших проспектов: Невского — который идёт с севера на юг, и Литейного — протянувшегося с запада на восток. Так, естественным образом — исторически естественным — сформировалась некая феноменальная точка, которую сложно создать и невозможно недооценить.

Что же касается геополитического контекста, речь идет о советском подполье, когда в условиях самой жестокой тоталитарной диктатуры на ровном месте сформировался культурный феномен. Деятели искусства и культуры были теми энергетическими точками, благодаря которым люди сцеплялись воедино, превращаясь в коллективное тело. Энергетические потоки приходят в движение с очень большим трудом и всегда не «под диктовку». Сегодня ситуация такова, что если что-либо сейчас закипит и заработает, то это лишь удешевит количество Киркоровых и Кобзонов, но не создаст хотя бы один «Сайгон», благодаря которому мы имели последнее поколение свободных поэтов, свободных музыкантов и свободных художников. До сих пор, несмотря на декларируемую свободу, городской ландшафт питается тем ресурсом, который по инерции достался нам от времен закрытого общества под названием «Советский союз» с его очень сложным культурным контекстом и заслуживающими тщательного изучения механизмами функционирования. Поэтому, несмотря на то что прошло уже практически двадцать лет с тех пор, как был закрыт «Сайгон», ничего подобного мы не имеем и, скорее всего, уже не получим. В силу опять же географических и биоэнергетических причин близкий от «Сайгона» галерейно-кофейный комплекс «Борей» по наследству принял на себя эту роль. Но это совершенно несопоставимые, несравнимые вещи, подобно тому как несопоставима и несравнима мощь и энергия Советской Родины и Российской Родины.

«Сайгон» по своей природе близок кабаре «Вольтер» или, скажем, «Бродячей собаке», которые, с одной стороны, были кофейно-питейными заведениями, а с другой стороны, представляли собой высококультурные, я бы даже сказал, культурно-генерирующие структуры. Я появился в «Сайгоне» мальчишкой, совсем молодым, и даже наблюдение со стороны для меня, не приученного наблюдать большие скопления людей, дало понимание того, что посетители «Сайгона» объединены некими общими интересами. Скажем так: это не очередь за хлебом, это не очередь на проходной завода, это была совершенно другая по своей мотивации группа людей, и она мне, безусловно, очень понравилась. Это были люди в основном интеллектуальной деятельности, гурманы, и для них кофе являлся высокостимулирующим веществом. В мире искусства и культуры во все времена использовались различные типы стимуляторов — от алкогольных напитков (например, абсент) и до всех типов растительных и синтетических препаратов, которые человечество когда-либо придумало. Это связано с тем, что особый тип

человеческой деятельности, который называется «художественное творчество», подразумевает очень сложную схему переходов по временам, пространствам и так далее. Поэтому так сложилось, что именно этот контингент является потребителем кофе.

Расцвет «Сайгона» приходится на 1960 годы, когда для всей планеты наступил очень интересный момент — опять же, предопределенный не только земными событиями. Достаточно взглянуть на психоделическую и сексуальную революцию, которая проходила на Западе. В этом процессе — даже в тех случаях, когда внешние государства и культуры разделены непреодолимыми барьерами, — была некая целостность, как и во всех глобальных явлениях и процессах. Подобное единство мы наблюдали и в «Сайгоне». Он становился местом встреч для иностранных коллег, всякого рода исследователей и музыкантов...

* * *

Я появился в «Сайгоне» где-то в 1980—1981 году. Первые мои впечатления: пугающе людно. Бывали моменты напряженные, когда заняты были все подоконники, все столики, и всё, что только можно было оккупировать, было оккупировано. Некоторые посетители стояли с чашками посередине зала, не зная куда приткнуться. В детстве я кофе не пил. В «Сайгоне» иногда глотал этот напиток, но меня он не привлекал. Я был сладкоежкой, а не кофеманом. С позиции сладкоежки помню, что супернасыщенности ассортимента не было. Как правило, предлагалось два вида пирожных (трубочки и корзиночки); но потреблялись они колоссальными объемами. Над «Сайгоном» располагался ресторан «Москва», и когда у меня какие-то деньги появлялись, я старался туда днём забежать, чтобы съесть тарелку борща. Там прилично готовили, рядом был «Сайгон», и потом по соседству находилось учреждение, известное как «Гастрит» — уже одно это название заставляло задуматься о своем здоровье. Зал ресторана был оформлен весьма строго. Там всегда было немногочисленно. Обслуживали, если не ошибаюсь, мужчины-официанты.

Начиная с 1982 года на протяжении многих лет мы каждый день встречались в «Сайгоне» с Сергеем Курёхиным (познакомились мы на концерте в ДК Ленсовета). Рядом находились книжные магазины, которые были объектом нашего интереса. Мы слонялись по Невскому от «Сайгона» до арки Генерального штаба (там находился букинистический магазин), по дороге посещали «Книжную лавку писателей». Спокойно прогуливаясь, мы этот маршрут проделывали ежедневно.

Когда открылся рок-клуб, люди встречались в «Сайгоне» перед концертами. Важные мероприятия, проходившие в рок-клубе, часто начинались именно в «Сайгоне». Вспоминаю, как мы в 1987 году в середине декабря встретились в «Сайгоне» с Цоем, с Каспаряном, с кем-то еще, выпили кофейку (уже я начал потихоньку кофе пить) и пошли в рок-клуб на концерт группы «Кино» — это было историческое событие.

В 1982 году была создана группа «Новые художники»*. Одна из первых наших выставок («С новым годом!»), приуроченная к концерту «Поп-механики»,

* Группа образована по инициативе Тимура Новикова и Ивана Сотникова. Участники: С. Бугаев, Г. Гурьянов, В. Гуцевич, О. Зайка, А. Козин, О. Котельников, А. Крисанов, О. Маслов, Андр. Медведев, Т. Новиков, Вад. Овчинников, И. Савченков, И. Сотников, К. Хазанович, В. Черкасов, Е. Юфит, музыканты С. Курехин, И. Веричев, В. Алахов, В. Цой и другие члены рок-группы «Кино» — *Прим. составителя.*

была организована на территории рок-клуба, который тогда назывался «Дом самодеятельного народного творчества». Эта выставка была для нас знаковой, потому что мы выделились в некую субстанцию под названием «Товарищество экспериментальных изобразительных искусств». Появление «Товарищества» было связано с тем, что в процессе работы над «Поп-механикой» наши пути пересеклись с Тимуром Новиковым, и стало очевидно, что сформировался такой тип объединения, который способен заниматься всеми формами творчества без исключения. Идее целостности и было подчинено взаимодействие «Поп-механики» и «Новых художников». Перед открытием выставки и концертом был устроен худсовет — таким образом отслеживали, «что ребята будут тут воротить», чтобы в случае чего пресечь на корню, пока «зараза» никуда не вырвалась, ведь «Дом самодеятельного народного творчества» был экспериментальной базой для всех видов контролирурующих инстанций: и Министерства культуры, и идеологических органов.

С Тимуром Новиковым мы ходили в «Сайгон» в раннее время, когда народу было еще немного, зал был полупустой. Он жил совсем рядом с «Сайгоном», на Литейном, я нередко у него останавливался. С Тимуром мы часто, выйдя из «Сайгона», переходили Владимирский проспект и шли к Борису (Бобу) Кошелухову, который жил прямо напротив «Сайгона», на другом углу Невского и Владимирского. Окно его комнаты выходило на Невский. Вряд ли кто-то жил ближе к «Сайгону», чем он. Кошелухов был уникальный человек, очень яркий, самобытный художник. Его картины того времени нужно показывать не только со стороны живописного изображения, но и оборотной стороной, чтобы виден был материал, на котором он работал. В то время для того, чтобы купить холст, масляные краски и другие художественные товары, нужно было предъявлять книжечку, в которой было бы написано, что ты являешься членом Союза художников и имеешь право всё это покупать. У Кошелухова, как и у большинства из нас, такой книжечки не было. Поэтому он ночью, как настоящий охотник, настоящий киберпанк, выползал на улицу и рыскал по домам, закрытым на капремонт, в которых оставалась брошенная выехавшими жильцами старая мебель. Знатоки выносили из таких домов уникальную антикварную мебель, кто-то специализировался по медным ручкам на окнах, кого-то интересовали старинные ручки от унитазов с надписями на немецком и английском языках. Кошелухов выбирал материал на подрамники, срезал с диванов обивочную ткань, которую можно было загрунтовать и использовать для живописи. Все его ранние работы, включая подрамники и «тряпки», уникальны. Эту специфику у него потом перенял Вадим Овчинников (группа «Новые художники»). Он тоже, вслед за Кошелуховым, шастал по городу в поисках материала. Такая традиция достойна возобновления — чтобы художник хотя бы холст и подрамники себе сам добывал, я не говорю про пигмент и другие химические реактивы, этого сейчас не добьешься. Боб Кошелухов для меня, молодого художника, стал исключительно мощным образом: он был готов наносить живописный слой на всё окружающее, хотя бы минимально к этому пригодное. Комната его была, наверное, метров двенадцати размером, десять из них были заняты его картинами, на которых был виден написанный порядковый номер: «1151», «1152» и т. д. Боб очень много курил. Уже тогда кончики его пальцев были коричневыми от никотина, — курил он, естественно, «Беломор» или самые суровые сигареты. И кофе он пил самый изуверский. Если маленький двойной был, скажем так, для интеллектуала, то Кошелухов концентрацию кофе удваивал. В одном глотке такого кофе было четыре чашки «американо».

Благодаря «Сайгону» мы имели возможность не пересекаться с группами советского общества — действовал принцип общественной дифференциации. Например,

художники никак не были связаны с алкогольной темой, мы были как бы контрагентами, не потому что курили траву, а потому что алкогольная тема нам казалась в принципе неперспективной — ну не хотелось нам пересекаться с людьми, которые пиво выпивали, хотя культ пива встречается в песнях и Майка Науменко, и Цоя, и Гребенщикова, и ранних «Митьков».

Первая моя женитьба также была связана с «Сайгоном». Это был фиктивный брак. Я женился на одной гражданке по фамилии Липовская. Знакомство с ней и наши встречи перед женитьбой происходили в тех же стенах. Привела её в «Сайгоне» старшая сестра, довольно известная феминистка и издательница всяких журналов. Прописан я оказался в результате своей первой женитьбы на Пушкинской, 10, в квартире № 1 (это было за пятнадцать лет до того, как «Пушкинская, 10» стала культурным центром). Работала моя жена в соседнем от «Сайгона» доме, в газовой котельной. Прямо в этой котельной она и была арестована, о чем я узнал из программы Невзорова «600 секунд». Это был период, когда к Цою, Курёхину, Гребенщикову и в целом к культуре андеграунда начали проявлять большой интерес иностранцы. В свою очередь правоохранительные органы искали возможность для внедрения своих людей в эту среду. Липовская торчала тогда на каких-то препаратах и была удобной мишенью для соответствующей организации.

Между 1981 и 1983 годом в «Сайгоне» произошел «визуальный скачок»: появились панки и всякого рода маргиналы, очень привлекательно выглядящие, и там стало еще живописнее.

Существенная роль «Сайгона» заключалась в том, что он представлял культурный ландшафт. Тогда функционировала развитая система самиздата. Перепечатки были самые неожиданные. Как сейчас помню, в «Сайгоне» нам с моим товарищем Евгением Смельковым передали распечатку пьесы Даниила Хармса «Елизавета Бам». Внутренне я долго готовился к этой встрече — ведь человек специально для нас привезёт это произведение. Мы до этого уже читали какие-то произведения Хармса, и, естественно, мне по молодости лет было непонятно, почему его творчество запрещено, в чём вообще проблема, почему мой товарищ говорит об этом так напряженно и к тому же шепотом. Я жил тогда у Смелькова в Купчине, и мы поехали в «Сайгон». Происходившее напоминало шпионскую акцию. Мы сидели на подоконнике, кто-то нам тихонько передвинул пакет, мы его тут же убрали в сумку. По приезде домой открыли. Это была пачка фотографий: на фотобумаге напечатан текст, переснятый с машинописи. Так как качественно напечатать тексты на фотобумаге сложно, то текст прописывался от руки простым карандашом поверх фотографического изображения — для того, чтобы можно было хоть что-то разобрать. Вот такая интересная техника.

У меня до сих пор хранится книга, которую я тоже получил в свое время в «Сайгоне»: Тимур Новиков подарил мне трактат Василия Кандинского «О духовном в искусстве» — один из важнейших манифестов в искусстве мирового авангарда. Он напечатан на машинке где-то в домашних условиях.

* * *

Сегодня ночью мне приснился Курёхин. Мне снилось, что мы готовим «Поп-механику» и что внезапно на сцене загорелся рояль. Это был такой горячий, приятный рояль. Гигантского размера и серьёзно деформированный. Мне выпала честь пробираться к пламени с огнетушителем. Я проснулся и подумал: «Надо будет где-нибудь поджечь рояль!»

Сергей Курёхин КАКТУСОВЫЙ САД*

В «Сайгоне» музыки как таковой не было. Но, поскольку там всегда были музыканты, можно сказать, что ленинградский рок практически сформировался в «Сайгоне», потому что первые попытки рока непосредственно были связаны с «Сайгоном». Где встречаемся? Естественно, в «Сайгоне». Перед тем как идти на репетицию — выпить кофе.

Те люди, которых я могу назвать друзьями, хорошие многолетние знакомые, они все практически в свое время бывали в «Сайгоне». В большей или меньшей степени. Конечно, большинство уже там не появляется, я сам появляюсь все реже и реже... Я чувствую, когда туда захожу, что там происходит уже другое единение, на другом уровне, имеющее свой смысл, свою предысторию, которая нам уже неизвестна.

...Вот смотрите: есть такие явно мистические растения — кактусы. Я ими много занимался... У меня есть мечта, чтобы кактусы росли у нас где-нибудь на Невском. Невский приобретет сразу другое ощущение... Я приблизительно так представляю: вокруг «Сайгона» заросли кактусов, или в «Сайгоне». Все пьют кофе на фоне агавы, скажем. Это нужно для того, чтобы внести в жизнь элемент, которого до сих пор в ней не было. Сначала кактусы, потом что-нибудь более значительное, а потом все более и более значительное. А потом уже элемент будет настолько значительным, что основная часть просто исчезнет.

Сергей Дебижев ФОРМАТ БЫТИЯ**

Сказать, что я был завсегдаем «Сайгона», не могу, потому что я человек другого поколения, и к тому моменту, когда началась более или менее осмысленная жизнь людей в стране, «Сайгон», в общем-то, захлопнулся как центр маргинально-диссидентского общения. Я застал только «хвост», да и не успел даже вникнуть в это всё, поэтому могу только анализировать общую ситуацию, которая вокруг этого места царил.

В «Сайгоне» существовал некий стиль общения людей, находящихся на определенном уровне понимания бытия, культуры, философии, политики, искусства и всего остального. Люди кучковались именно по этому принципу.

С одной стороны, в «Сайгоне» обитали люди, которых я бы назвал смирившимися диссидентами. Они были склонны уехать, вырваться отсюда и жить где-нибудь на Западе, работать, к примеру, на радио «Свобода». С другой стороны, было наше поколение. Мы были молодыми, восторженными, энергичными, смотрели в будущее, несмотря на то что никаких реальных перспектив не было и никто вообще не знал, что закончится эпоха Брежнева. Но молодость, энергия делали свое дело. Мы с безоглядным энтузиазмом занимались искусством, нам было не до борьбы с системой. Нас вообще не интересовала политика. Конечно, мы стояли в очереди на выставки — и в ДК «Невский», и в ДК им. Кирова, и во Дворец молодежи —

* Из беседы с Татьяной Ковальковой. 1988 г.

** Беседовала Юлия Валиева.

и по неопытности, по недостатку вкуса, мозгов или чего-то еще восторженными глазами смотрели на всё это альтернативное творчество, довольно-таки дикое и странное. Своей странностью оно нас и привлекало. Сейчас я понимаю, что по сути своей это искусством и не было. Это был внутренний шизофренический протест *чего-то* против *чего-то*. Причем эти *чего-то* были настолько разноразличные и настолько разноплановые, что между ними, по идее, вообще не должно было быть никаких взаимоотношений. Поэтому я никогда себя не ощущал причастным к диссидентскому кругу и совершенно определенно понимал, что мы — отдельно, а власть — отдельно. Но мы — это не протестный контингент. Индивидуальную жизнь человека совсем необязательно соотносить с жизнью большого идиотического государства, которое вокруг нас цвело и развивалось.

Мы знали, что за посетителями «Сайгона» велось постоянное наблюдение из окон напротив, всегда непрозрачных. Было очевидно, что Комитету государственной безопасности удобно иметь всех странных персонажей в одном месте, чтобы их всегда можно было контролировать. То же было и с рок-клубом. Однако контроль мог быть только внешний. Потому что именно в этой среде ковались личности и действительно существовала свобода в мыслях и в высказываниях. Если люди мыслят иначе — это еще не значит, что они правы; это не гарантия того, что они не станут впоследствии агентами влияния и пятой колонной. Просто эти люди не в состоянии жить той жизнью, которой требует от них государство, они находят в себе смелость и силы жить какой-то другой жизнью. Ясно, что наша жизнь была, в общем, непростой и болезненной, и этот другой взгляд, как я сейчас понимаю, был достаточно извращенный и крайне неопределенный.

Конечно, Борис Гребенщиков страдал оттого, что строчка из его песни, например «торговля открытками с видом на пляж», претерпевала изменения в письменном тексте: «торговля открытками с видом на плешь». Но всем, кто это слушал, было и так понятно, о чём идет речь. Поэтому эти страдания вряд ли можно назвать истинными духовными муками. Этих мук у нас ещё не было, потому что мы находились в том очаровательном творческом возрасте, когда нет ощущения, что тебя обманули на всю жизнь. Потому что твоя жизнь — она только начиналась. Мы просто не успели разочароваться во всём к тому моменту. Подобные же трансформации текста воспринимали как приколы.

Самым главным в «Сайгоне» была царившая там атмосфера, которую создавали странные, мутные, бородатые личности, всё время под хмельком, весьма приятные собеседники. Коньяк или портвейн разливался из кармана: помещалась в карман бутылка, держался наготове стакан, разливавший делал характерное «па» — поднимал ногу, и из кармана текла живительная влага. За кофейной стойкой стояла такая бандерша, настоящая буфетчица, очень позитивная, которая фактически командовала консистенцией кофейных зерен и вообще, так сказать, следила за порядком. Она всех знала и была, что называется, «на нашей стороне». Кому-то она продавала кофе вне очереди. Кофе делился по стоимости, и верхняя планка доходила до пятидесяти шести копеек — это был совершенно убойный кофе, в нем чуть ли ложка не стояла. В «Сайгоне» происходило огромное количество разных знакомств и встреч. Я вспоминаю поэта Олега Григорьева, его фигуру небольшого роста, как будто ему холодно, со сжатыми плечами... Мне он казался милой мрачной личностью. Он был как тень. Мог подойти в «Сайгоне» к совершенно незнакомым людям, с ними о чем-то заговорить, тут же достать тетрадку со своими стихами и начать читать. У него всегда была с собой такая потерянная общая тетрадь в клетку, читать он мог часами. Стихи были совершенно необычные, странные, прикольные, всем они очень нравились...

Году в 1983—1984 я познакомился с Борисом Гребенщиковым и с Сергеем Курёхиным, и с тех пор осмысленные походы в «Сайгон» были уже в их компании. До

этого я, конечно, тоже туда приходил, но вместе с тем у нас было и свое место — возле Мухи, на углу Литейного и Пестеля. Это было милое старинное кафе в булочной-кондитерской, которое, как мне сейчас представляется, было своеобразным «филиалом» «Сайгона». Я в то время прилежно учился, получая классическое художественное образование сначала в училище им. Серова, потом в Мухинском. И в связи с тем, что это кафе было расположено рядом с Мухой, мы в основном ходили туда. А в «Сайгон» — только если нам было по пути.

Как мы познакомились с Гребенщиковым, я прекрасно помню. Мы с другом случайно встретили Бориса Борисовича на Литейном, и с того момента, как нас познакомили, мы, собственно говоря, больше и не расставались. «Старик Козлодоев», «Трактористы» и всё это безумие первого альбома произвели на меня чрезвычайно сильное впечатление, я был ошарашен, что такое в принципе возможно.



Борис Гребенщиков и Сергей Курехин. Фото В. Пещкова

У Бориса Гребенщикова на улице Софьи Перовской (Малой Конюшенной) была комната в большой коммунальной квартире. Там было много комнат, но они все пустовали — это был маневренный фонд или что-то в этом роде. Кроме Бориса Борисовича в квартире жила только одна семья, девушка с молодым человеком, но они участвовали в общих посиделках, поэтому можно сказать, что в нашем пользовании была огромная (метров сто пятьдесят, а может быть, и больше) квартира, в которой был даже выход на чердак и на крышу. Жизнь в этой квартире не прекращалась ни на час. Кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то падал совершенно без чувств от выпитого, его относили в другую комнату, где были специальные матрасы для того, чтобы люди могли, так сказать, «проспать». Эта постоянная круглосуточная смена персонажей продолжалась не один год. Идея заняться кинематографом родилась у меня, собственно, там же. Дело в том, что вдруг появилась возможность сделать клип на песню Гребенщикова «Поезд в огне». Этот клип, тут же ставший знаменитым, был первым в моей жизни кинематографическим

опытом. Придумывали мы его в той самой квартире на улице Софьи Перовской. Так началось моё занятие кино, но вместе с тем волшебное круглосуточное общение как-то прекратилось.

Там велись разговоры, во многом были связанные с темами книг, которые мы в ту пору открывали для себя. Из метафизической литературы я бы выделил «Розу мира» Даниила Андреева. «Роза мира» появилась сначала в виде фотопластин, причем негативных. Это были черные пленки, формата А4. Текст на них читался с большим трудом. И мне пришла в голову мысль: а не издать ли нам эту книгу? Мы с Борисом Борисовичем скинулись, купили одной барышне-искусствоведу пишущую машинку (по-моему, электрическая пишущая машинка стоила сто пятьдесят рублей), и она за это напечатала под копирку десять экземпляров этой книги (последний экземпляр был, конечно, совсем кислый). Я переплел их в типографии. Это было в середине 1980-х, точнее не скажу. Думаю, что мы были первыми издателями «Розы мира». Я совершенно не понимал последствий, которые могли бы за этим наступить. Признаюсь, я и в самом тексте мало что понимал. Энтузиазм, который у меня породила эта книга, был связан с тем, что я впервые в жизни столкнулся с мыслями и идеями, оказавшимися выше уровня моего понимания. Это было нечто совершенно необычное... До сих пор у меня дома лежит один из экземпляров в зелененьком коленкоровом переплете.

* * *

Я сейчас точно не помню, произошло это в 1983 году или в 1985, когда «Сайгон» был весь переделан. На стенах появилась бездушная белая плитка, на которой были изображены гигантские разухабистые петухи орнаментального свойства. Когда я увидел это безобразие, я понял, что всё, «Сайгона» не стало. Может быть, кто-то туда ещё ходил по инерции, но, по-моему, это уже была чайная, а не кофейня. Атмосфера странной уютной гостиной исчезла.

Во время перестройки Сергей Курехин с энтузиазмом заговорил об идее снять телевизионную программу про «Сайгон». К тому моменту, по иронии судьбы, на месте «Сайгона» открылся магазин сантехники. Сережка со свойственным ему артистизмом рассказывал, как он зайдёт туда с камерой и с микрофоном и будет говорить, показывая на какой-нибудь унитаз, что здесь стоял когда-то Иосиф Бродский, и Олег Григорьев здесь написал свое знаменитое стихотворение: «Перебили мне переносицу, день рождения мой переносится». Курёхин очень веселился и был полон решимости реализовать эту идею.

Сергей в «Сайгоне» знал всех, и его все знали. Целая армия странных персонажей считала себя его хорошими друзьями. У него был дар со всеми поддерживать контакт, он постоянно кого-то знакомил, в кого-то вселял уверенность в собственные силы, объединял на совместное творчество. Он, как мне кажется, был последним замковым камнем в том куполе, который держал всю эту систему. Когда его не стало, все перестали друг с другом общаться и до сих пор сидят по своим мастерским, квартиркам, кочегаркам. Мне кажется, что та стройная система, которая так или иначе существовала, держалась во многом благодаря этой личности, его обаянию и совершенно неужённой энергии...

С Курёхиным мы все время «тёрлись» в одних компаниях, но сначала даже и не замечали друг друга, потом подружились и стали очень близки. Я прекрасно помню беседы, которые у нас с ним были. Чем мне Курёхин импонировал, так это тем, что он без каких-либо прелюдий мог сразу говорить о высоком. И это было настолько удивительно и ценно, что по большому счёту я других таких людей не знал в своей жизни, которые могли так легко, свободно и без патетики выходить на темы самого

высшего порядка в любое время дня и ночи. Его это интересовало в первую очередь. Поэтому, когда появилась возможность публичных проявлений, он сразу же за это ухватился, и первое, что он заявил каком-то высоком собрании: «Сделайте меня министром культуры». Как только появилась возможность заняться политической деятельностью, он вступил на этот путь. Бесконечно жаль, что мы не смогли увидеть никаких результатов именно этой его деятельности.

Меня всегда поражала глубина его знаний в самых различных областях: от, казалось бы, совсем далеких ему точных наук — до истории культуры и искусства. У Сергея дома была огромная библиотека, он постоянно её пополнял. Наверное, с точки зрения какого-то классического книговедения, он коллекционировал бессистемно: книги стояли горами, лежали на всех поверхностях и просто валялись. Мне казалось, что найти что-либо во всём этом было невозможно. Объем был колоссальный! Когда у него появились деньги, он начал покупать гравюры, литографии, букинистические редкости. Куда бы мы не шли, мы обязательно заворачивали в букинистический магазин, в частности на Литейном, и он обязательно что-нибудь покупал.

Как у настоящего художника и мыслителя, у Курёхина была сильно развита интуиция. Ему было достаточно просто бросить взгляд на что-либо, чтобы составить об этом своё мнение, и оно нередко опережало мысли, высказанные тем или иным исследователем, потратившим на это всю жизнь. В наших последних с ним беседах он неоднократно говорил о том, что к нему пришло понимание искусства, знание о том, что истинный путь искусства лежит в классическом традиционализме. Это был период, когда он общался с Александром Дугиним, философом, теоретиком геополитики. Именно тогда Курёхин очень сильно изменился, разом повзрослел, поменялась вообще вся система его ценностей. Он вдруг осознал, что фундаментальные подходы в искусстве, несмотря на все ограничения (парадоксальная, в данном случае, ситуация), — это ключ к истинной свободе, а все остальные пути ведут только к разрушению. В конкретное произведение этот новый подход не успел оформиться. Последние его «Поп-механики», наиболее эпатажные и сомнительные, говорили о внутреннем надломе, внутренней борьбе, это был пик. Когда уже нервы были на пределе, когда уже просто брызгала кровь и что-то должно было родиться совершенно новое. Он уже думал об абсолютных, глобальных вещах, где не существует только музыка, или только театр, или только политика, а где всё это должно было перерасти в какие-то невероятные мистерии... На это был способен только он. Но к каким последствиям это могло привести — неведомо. Тут только практика — критерий истины. Как мне кажется, не пройди он путь разрушения, он и не смог бы прийти к таким выводам.

Незадолго до смерти Сергей давал самоинтервью. Он придумал такую форму общения с внешним миром, потому что журналисты его совершенно не устраивали, их убогие вопросы его не вдохновляли. Он сам себе задавал вопросы и сам на них отвечал. Парочка даже дошла до публикации. Влад Листьев вёл телевизионную программу, которая называлась «Час пик». И там было интервью Курёхина, в котором он изложил всю свою систему взглядов — ту геополитическую конструкцию, замешанную на духовном опыте, к которой он пришёл за последние годы. Программа была запрещена к выходу. Её показали только после его смерти.

В двух словах эту концепцию не изложишь, но она сводилась к тому, что из-за огромного влияния постмодернизма и всех авангардных направлений на культуру разорвались все связи, смешались все молекулы и атомы. Сознание распалось, распалось всё. И самая главная задача заключается в том, чтобы по-новому их «сщепить», как он выражался. Но «сщепить» не в ту структуру, которая была в Древней Греции или в конце XIX века. Как я понимаю, он чувствовал в себе ту энергию, то понимание, которое бы позволило это сложить. Может быть, это было

что заблуждение, иллюзия, может, это было уже в принципе невозможно — потому, что удаление человечества от идеала произошло настолько далеко, что уже не вернуться на ту широкую дорогу, которой оно шло в начале XX века, до появления деструктивной культуры. Но такие иллюзии он питал.

Дело было не в изменении его музыкальных приоритетов. Я думаю, что к тому моменту его вообще больше интересовало искусство политики, нежели конкретно музыка — от этого он не переставал быть композитором. Курёхин перешёл на другой уровень общения с реальностью. Он как бы осознал, что у человека есть другие внутренние сакральные гигантские энергетические возможности, что он действительно может повлиять на изменение «формата бытия». На этом пути он, конечно, потерял огромное количество друзей. Вся эта диссидентствующая братия верещала: «Ты фашист! Что ты вообще такое говоришь? Так нельзя, это все неправильно». А он пытался им сказать, что нельзя мыслить только категориями скукоженных существ с дрожжащими хвостиками — что уже есть возможность мыслить в полный рост. Нужно не размениваться на жалкие мелкие уколы по отношению к системе, а просто брать эту систему в свои руки и начинать ею управлять. И на самом деле, это был тот период, когда такая возможность была, потому что власть была вялая, она не знала, что ей делать. Однако люди видели только поверхностную часть происходящего, и мало кто понимал, в каком направлении шел Сергей. Но так как его путь лежал в те пространства, в которых еще никто не бывал, а, к сожалению, в коридорах, которые вели к этим пространствам, сидели политические маргиналы, возникли совершенно ложные, ни на чем не основанные мнения о том, что Курёхин сбрендил. Просто это была огромная личность, которая вокруг себя заворачивала вихри, неведомые торнадо. Он был единственным человеком, который, пройдя весь этот путь, полуподпольный, полудиссидентский, зная всех и вся и будучи близким и к диссидентской среде, и к рок-н-роллу, и к авангардному искусству, и к неконформизму, ко всему-всему-всему альтернативному — пройдя это всё, обобщив это всё, смог понять, что не это есть путь. Что путь совсем в другом. С уходом Курёхина ушла та самая планка, которая его присутствием задавалась, — та планка «гамбургского счета» по отношению ко всему. Сейчас эта планка отсутствует, и я чувствую какую-то общедуховную импотенцию в культуре, и особенно в петербургской...

Владимир Пешков

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

После ухода Серёжи, как это всегда бывает, неожиданно объявился легион его друзей.

Упаси меня бог от таких претензий. Нет, я не могу претендовать на звание друга Курёхина. Просто мне было близко все, что он делал. И встречались, и общались мы, как правило, на его концертах. Я делал свое дело — снимал, дарил ему наиболее удачные фотографии, которые он тут же раздавал толпам поклонниц. Иногда мы встречались за чашкой кофе в кафе «Сайгон», куда он заходил обычно в сопровождении Тимура Новикова или Африки. Несколько раз он приглашал меня участвовать в концертах «Поп—механики» в качестве дребездофониста в массовках. Пару раз был у меня в гостях. И все-таки чаще всего мы сталкивались в букинистических магазинах, куда он ходил один, без свиты.

Этот снимок я сделал летом 1993 года на Литейном проспекте около магазина «Академкнига», где мы частенько встречались и общались на почве библиофильства.

Серёжа страстно любил книги, много и жадно читал, как будто боялся, что не хватит отпущенного ему времени на всё, что он хотел узнать. А интересовали его не только вопросы музыки. Он прекрасно знал средневековую, европейскую и восточную литературу, увлекался современной западной философией, индуизмом, мистицизмом и массой других самых различных областей литературы и философии. Особенно хорошо он знал и очень тонко чувствовал поэзию. В этом Серёжа был утончённым эстетом. Впрочем, несомненно, что Курёхин был и художником, и поэтом, и эстетом во всём, что сделал в своей такой короткой, но яркой феерической жизни. В тот день мы неожиданно встретились у книжной полки, почти одновременно протянув руки к заинтересовавшей нас книге «Русские символисты» Эллиса, изданной в 1910 году издательством «Мусагет». Я опередил на одну секунду, посмотрел на цену и с ужасом обнаружил, что денег у меня не хватит. Сережа выхватил книгу у меня из рук, жадно перелистал, а потом грустно спросил: «Сколько надо?» И только месяца через три сказал, что искал эту книгу много лет, и стал предлагать мне обменять ее на любую другую.

Каюсь, но расстаться с Эллисом я не смог. Книга эта и сейчас стоит в моём шкафу рядом с другим замечательным сборником — «Стихотворения» Китса. Подарком Сергея Курёхина.

А вот еще одно незабываемое воспоминание. Однажды мне на работу (я тогда был дежурным электриком в Эрмитаже) позвонил Сережа и сказал, чтобы я как можно скорее мчался в ДК им. Кирова, в джазклуб «Квадрат». Дело было вот в чем. К нему обратился представитель какой-то джазовой ассоциации, не то американской, не то канадской, точно не помню, с просьбой назвать «джазового» фотографа, который достоин благотворительного подарка — фотоаппарата «Nikon» с набором оптики.

— У тебя глаза на лоб полезут, — сказал Сережа, — такой огромный хромированный кофр, а в нем уйма безумно красивых вещей! Когда концерт закончится, тебя вызовут на сцену и торжественно вручат подарок.

Я отпросился на часок у диспетчера, пообещав позванивать на всякий случай, и радостно помчался в ДК им. Кирова. Концерт подходил к концу, когда я, как честный человек, позвонил в Эрмитаж, чтобы узнать, все ли в порядке. И тут услышал:

— Возвращайся немедленно! В Неве поднялась вода, подвалы музея заливают, вот-вот прибудет высшее начальство, все дежурные службы должны быть на месте!

Что мне было делать? Поколебавшись пару минут, я рванул в Эрмитаж. Идиот! В общем, ничего страшного на работе ничего не случилось, никакого начальство не явилось, просто диспетчер (гад!!!) перестраховался, а я... («Да лучше бы тебя потом и уволили по статье, — подвела итог жена и добавила нежно, — идиот...»). Таким образом, «Nikon» мне не достался, Сережа страшно на меня рассердился, и мы месяц не разговаривали. А к этой теме и вообще больше никогда не возвращались. Правда, однажды во Франции, на фестивале «Невский проспект — Андеграунд», после триумфального выступления «Поп-механики», которое я снимал своим стареньким «Зенитом», Сережа на банкете в мэрии, слегка подвыпив, попытался помочь мне еще раз:

— Послезавтра походим по лавкам, поищем тебе какой-нибудь приличный подарочный фотоаппарат.

Как бы не так! На следующий день я проснулся в каюте теплохода, где я жил (Курёхин жил на другом конце города в гостинице), задыхаясь от кашля. Бронхит. Температура 38.5. (Это не последний случай, когда не шел мне в руки «Nikon», были и другие, но они не связаны с Сережей, а появился этот фотоаппарат у меня совсем недавно, и я к нему совершенно равнодушен).

Образ Курёхина всегда вызывал у меня ассоциации с бахтинской «карнавальностью». И в манере общаться, и в манере одеваться, и в том, как он вел себя на

счете, как дирижировал — всегда присутствовали эксцентричность, гротеск, непредсказуемость. Во всех проявлениях — карнавальная маска, скрывающая некую тайну, а затем — неожиданная, немыслимая разгадка, развязка, фейерверк, салют.

А эти его «научно-исследовательские» истории, открытия: Ленин-гриб, Ленин-девочка, КПСС — партия голубых и масса других. При случайной, мимолетной встрече он мог сообщить, с заговорщическим выражением лица и тоном, исключающим подвох:

— Строго конфиденциально: в моем научно-исследовательском институте доказан факт — великая держава СССР развалится на шестьдесят шесть государств. Формула развала отправлена в контейнере на Мадагаскар.

И что удивительно: практически все его «открытия» рано или поздно подтверждались!

Курёхин, человек-карнавал, человек мифотворец, революционер в музыке, по-моему, сформировал язык культуры XXI века.

Господи! Ну почему ты забираешь самых лучших, самых талантливых, тех, кто так нужен оставшимся здесь, на Земле? Или это часть карнавала, в конце которого сбросят маски, из-за кулисы выйдет Курёхин, приложит палец к губам, чтобы наступила тишина, и скажет:

— А теперь о самом главном научном открытии...

И зал замрет в ожидании чуда.

Михаил Фанштейн

«PLAYBOY» И ДАМСКАЯ СУМОЧКА*

В 1970 году я поступил в Инженерно-экономический институт и заходил в «Сайгон» после занятий, поскольку это было рядом, за углом. А постоянным его посетителем стал уже в 1973, когда мы начали репетировать с Борисом Гребенщиковым в «Аквариуме». Репетиционная точка находилась около Смольного, в здании факультета прикладной математики ЛГУ, там учился Борис Борисович. Практически каждый вечер после репетиции мы штурмовали шестой автобус и доезжали до «Сайгона». Приходили, брали кофе, находили компанию. Потом нужно было покурить, еще раз попить кофе, еще раз покурить... Так созревал план дальнейших действий. Обычно ехали к кому-нибудь в гости и продолжали общение. Скажем, отправлялись к Мише Тумаринсону (мы звали его Чело, так как он играл на виолончели). У него были записи «Кинг Кримсон», что было редкостью в городе, Фрэнка Заппы, которого все безумно любили, и масса других редких пластинок.

Очень популярным человеком в сайгоновской тусовке был Толя Кинзерский (Кит), чем он занимался на самом деле — никто не знал, но он всегда приветствовал, когда к нему приходили. У Кита часто устраивали различные представления, читали вслух самиздатовскую литературу, репетировали.

Могли пойти в гости и к совершенно незнакомому человеку.

Для меня период «Сайгона» — это середина 1970-х, когда заходили туда каждый день. Это был фактически единственный клуб в городе, где можно было встретить и музыканта, и художника и вообще кого угодно. Если в обычном клубе люди собираются по каким-то определенным интересам, то в «Сайгоне»

* Беседовала Юлия Валнева.

интерес был чисто интеллектуальный. В этом было его основное отличие. Кто больше знал — рассказывал другому. У нас была своя компания: Борис Гребенщиков, Сева Гаккель, Джордж, Дюша Романов и я. Борис был очень авторитетным в «Сайгоне» товарищем, он лучше всех знал английский язык, а тогда вся информация шла на этом языке (радио, случайно попавшиеся журналы, типа «Billboard», непосредственное общение), поэтому у нас в компании о музыкальной жизни в Америке или Европе были более осведомлены, чем в какой-либо иной.

Мне знакомые моряки привозили, а иногда даже присылали по почте пластинки — приходилось идти на почту их выкупать. Заплатить надо было рубля четыре, это были деньги тогда. Фирменная пластинка стоила пятьдесят—шестьдесят рублей (при зарплате у инженера сто рублей), поэтому мало кто продавал—покупал за деньги, пластинками обменивались, или меняли их на что-то, только уж совсем сумасшедшие расплачивались деньгами. Что касается книг, то издания, которые невозможно было найти в обычном книжном магазине (например, М. Булгакова), можно было, тем не менее, купить за доллары в «Берёзке». Я прикидывался иностранцем, заходил, покупал, и у меня было много интересных изданий, которые были большой редкостью. А тогда это было очень важно.

Пока стоишь в очереди за кофе, обязательно подойдёт Колесников (Колесо), спросит: «Не богат на кофе?» Ему обычно давали.

Там даже бывали явные уголовники. Помню, подходили, восхищенно смотрели на мольберты, гитары и даже угощали коньяком.

Внешнему виду мы уделяли большое внимание, по крайней мере я. Носил серые, замшевые ботинки «Playboy», рубашку «Button», американского производства, с пуговичками на воротнике и петелькой сзади, и джинсы той самой фирмы «Levi Strauss». Мне нравился тогда этот стиль. Кепки шил себе сам, и не только себе, но и друзьям. Я ещё играл и в «Зоопарке», так вот Майк Науменко на многих плакатах сфотографирован в кепке моего производства.

Уже в 1980 годах произошла такая история. Одна девушка назначила мне встречу по поводу устройства концерта «Аквариума». Встретились мы у «Сайгона» и решили выпить вместо кофе и коньяку, он продавался в первом зале. Пока брали коньяк, у неё украли сумочку. В тот момент, когда мы обнаружили, что сумочки нет, мимо проходил Витя Колесников. Я его остановил и сказал: «Витя, ты меня уважаешь?» Он отвечает: «Уважаю». — «Так давай вернем сумочку». — «С деньгами или без денег?» — «С деньгами». Вернулись, а сумочка висит, и в ней даже деньги нетронутые. Девушка была настолько поражена, что мы впоследствии поженились. Это самое яркое воспоминание из моей личной жизни, связанное с «Сайгоном».

Наталия Яковлева (Ермолаева) ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ*

Меня привел в «Сайгон» один театральный художник из училища им. Серова, чтобы познакомить с ребятами из театральной студии Эрика Горошевского (я как-то попала к ним на спектакль и захотела присоединиться). В первом зале, где была барная стойка, собирались фарцовщики, или, как теперь говорят,

предприниматели... Одеты в кожаные пальто, в лисьи шапки, что по тем временам было — вообще! Они разминались коньяком, а потом, как рассказывали, отправлялись в плавучий ресторан, который снимали, ставили на входе милиционера и всю ночь играли в карты. Это была одна компания. Мы их, можно сказать, презирали: ну что это за мужики — трусами торгуют. Нам казалось это просто смешно. В следующем зале — ступеньки вниз — собирались художники, например члены группы «Алеф», поэты Нестеровский, Олег Григорьев, а также шахматисты — вся шахматная федерация во главе с Виктором Шерманом. Киношники, театралы, музыканты, Курехин, Гребенщиков, Гуницкий, Рекшан — в общем, легче сказать кого не было!

Я застала вторую волну театральной студии. Для спектаклей мы все делали сами — декорации, костюмы, и в основном по ночам, потому что днем учились или работали, вечером — театральная студия. Была еще околотеатральная публика, они ничего не делали — просто ходили. Из-за этой публики нас даже из Дома ученых выгнали: когда мы играли спектакль «Невский проспект», они свинтили там бронзовые дверные ручки. Нас поперли, заявив, что такая публика никому не угодна. Потом нас приютил Союз архитекторов во главе со Сперанским, дал нам площадку, — мы там репетировали. Напротив был Союз композиторов, мы еще туда ходили. К нам приходили как зрители художники из студии карикатуристов (Песков, Богорад, Светозаров), приходили и из «Лениздата». Ставили мы Корнея, Гоголя, пьесу А. Гуницкого «Метаморфозы положительного героя»... Но дело даже не в спектаклях — это была своеобразная форма общения.

Мы существовали как компания театральная, но в «Сайгоне» все сливалось в одно.

...Мы повсюду мотались за «Аквариумом». Например, для поездок в Москву в общий вагон загружался «Аквариум», а с ними еще двести человек. Девочек маленького роста, как Наталья Липовская (Сюся), провозили бесплатно — на багажную полку положат, мешками завалят, потому что денег никогда не было.

Моя мама однажды папу, старого коммуниста, отправила посмотреть, «что это за «Сайгон» такой и что они там делают». Папа долго не мог найти «Сайгон», потому что вывески же не было никакой. А когда вернулся, то сказал маме: «Знаешь, наши дети попали в дурную компанию, там все волосатые и вообще отребье общества». Там, кстати, многие находили себе мужей и жен, из того, так сказать, что там было: поэтов и художников. Я себе тоже там нашла — Сережу Добротворского. Моя мама, когда его увидела, спросила: «Наташа, на какой поимке ты его нашла?»

Владимир Волков

«НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕИЗВЕСТНЫМИ...»*

Впервые я попал в «Сайгон», когда еще учился в школе, это был 1974 год. Я тогда вообще в первый раз попробовал кофе из машины. А чему удивляться? Это было открытие, поскольку дома известен был только растворимый

* Беседовала Юлия Валиева.

кофе. Оказались мы с приятелем в «Сайгоне» случайно, нас пригласил туда какой-то человек непонятного вида. Не знаю, что он в нас нашел, и даже не хочется думать, чем мы его заинтересовали. Он отрекомендовал «Сайгон» как модное место, «непростое», однако я тогда ничего такого особенного не ощутил.

Когда я поступил в музыкальное училище, то не бывать в «Сайгоне» просто не мог, поскольку, если ты мало-мальски интересовался какой-то жизнью вне дома и музыки, то невозможно было не попасть в это заведение. Что и случилось. Естественно, «Сайгон» затягивал, потому что таких мест, куда можно было зайти и выпить кофе, было очень мало, их можно было пересчитать по пальцам одной руки. Конечно, существовало кафе в Союзе композиторов, но там на страже стоял целый полк вахтерш, одна пускала, другая не пускала, и всегда оставалась вероятность, что ты получишь отказ. «Сайгон» в этом смысле всегда был для тебя доступен, единственное неудобство заключалось в том, что надо было стоять в очереди. Очереди там были всегда. Какая там была атмосфера? Всем было понятно, что это закрытый клуб, хотя он, в то же время, являлся открытым. Если ты стоишь в «Сайгоне» и наблюдаешь, то начинаешь замечать что-то странное: перед тобой проходят одни и те же персонажи, ты видишь повторяющиеся картинки. Да, это был клуб, но я бы не сказал, что «Сайгон» был местом знакомства, скорее, местом встречи... Ты знал, что туда обязательно зайдут те, кого ты хочешь увидеть, и поэтому шел туда и обязательно кого-то встречал: Сергея Курехина, музыкантов из «Аквариума»... Часто бывал там и Боря Райский. Едешь по Владимирскому проспекту на трамвае, и еще издали видишь у «Сайгона» человека с виолончельным футляром. Практически безошибочно можно было сказать, что это Боря. Он никогда не расставался с виолончелью, всегда носил ее с собой. Кто-то даже стал подозревать, что футляр пустой.

«Сайгон» был своим местом для людей, которые хотели от жизни немножко больше, чем она предоставляла им в том социуме, в том времени. Они стремились найти выход в какое-то другое пространство, и этим пространством могла быть литература (тот же самиздат), музыка (какие-то квартирные концерты). В «Сайгоне» ты мог почерпнуть информацию об этом пространстве.

Почему я предпочитал в «Сайгоне» не знакомиться? Видимо, тут действовало напутствие из «Мастера и Маргариты» (этот роман в то время был особенно популярен): «Никогда не разговаривайте с неизвестными». Тем более что всем ме-решились осведомители...

Были и забавные эпизоды. Однажды, когда мы встретились в «Сайгоне» с Тимуром Новиковым, произошла такая сцена. У меня в кармане лежала половинка игровой карты, и я решил ее эффектно вытащить из кармана. И вдруг в ответ Тимур достает из своего кармана вторую половину. Это было похоже на сцену в плохой мистической комедии — плохой потому, что никто из присутствовавших не удивился.

Должен сказать, что продвинутые кофеварщицы были и в магазине «Чай — Кофе». Там мне довелось увидеть, как Боб Кошелухов заказал свой знаменитый «маленький шестерной». Я помню, что в чашке было что-то такое густое и зеленое. Он мне дал попробовать. Шестерной Кошелухова серьезно воздействовал на мое сознание и, видимо, даже подсознание. Боб мне тогда сказал, что он пробовал смесь чая с кофе, и поэтому считает, что ничего удивительного в названии «Чай — Кофе» нет: «Я пью, — говорит, — чай вместе с кофе, получается даже вполне неплохо». На самом деле, если вот так посредством маленького шестерного освободить сознание, что-то можно вспомнить...

Я посещал это пресловутое кафе с названием «Сайгон», где варили лучший кофе в городе, в середине семидесятых и в восьмидесятые годы. Собирались там самые разные люди, от известных поэтов и художников, вроде Иосифа Бродского и Бориса Кошелохова, до совершенно никому не понятной и не известной молодежи, среди которой проходили и всесоюзные «системщики». Это было, наверное, единственное место в городе с такой демократической атмосферой, где не надо было визитных карточек, не надо было представляться, хотя могли, в принципе, и морду набить не своему человеку.

В конце 1970-х на соседней с Владимирским проспектом улице Рубинштейна в Ленинградском Доме художественной самодеятельности (ЛДХС) стали устраиваться выставки неофициального искусства, жизнь забурилась, и наш постоянный маршрут пролегал от Дома творчества к «Сайгону», куда мы все время бегали пить кофе, и через Аничков мост в злосчастное Управление культуры, куда приходилось ходить, чтобы эти выставки пробивать. Поскольку место, где варили хороший кофе, было одно — «Сайгон», мы без конца туда возвращались. Там что-то все время обсуждалось, составлялись заявки на следующие выставки, совещались о том, какие письма надо писать в Ленинградское правительство, в правительство СССР, в ЦК и так далее, что мы и делали — писали и посылали. Однако, когда нужно было с кем-то обсудить серьезное дело, я предпочитал встретиться в «Эльф» или где-то еще, потому что в «Сайгоне» на тебя тут же накидывалось очень много народу, и если ты приходил с какой-то определенной целью — найти кого-то и с кем-то поговорить, — то чаще всего это не удавалось, потому что тут же вклинивается кто-то еще, тебя куда-то тянули и так далее.

Были в «Сайгоне» и свои знаменитости, которых все страшно уважали. Такой душой «Сайгона» был Эмиль. Он был очень эрудированный человек, знал всех и вся и читал хорошую поэзию. Его судьба трагично сложилась, я встретил его много лет спустя при необычных обстоятельствах. Когда мы уже переехали на Пушкинскую, 10 после ремонта, и у нас еще не было железных дверей внизу, с Лиговки в наш «Параллеллошар» арт-центра забредала целая армия бомжей, особенно по вечерам. Бывало, я как человек ночной, хочу выйти ночью из мастерской и не могу, потому что у меня под дверью кто-то лежит и спит. И вот однажды на моей площадке появляется седовласый старик, с привычками и манерами интеллигентного человека, аккуратно устраивается вечером на подоконнике со своей маленькой спиртовочкой, с каким-то полотенчиком, что-то там себе готовит, потом к кому-нибудь деликатненько стучится, нельзя ли там взять воды, поскольку водопровод у нас уже был, потом укладывается на широком подоконнике спать. Я долго не мог вспомнить, где я его видел, потом спросил: «Тебя как звать?» Он ответил: «Эмиль». Тут-то меня и пронзило. Я вспомнил, какой он был тогда, черноволосый, веселый, а здесь передо мной стоял совершенно потухший человек... Потом он куда-то исчез.

«Сайгон» располагался на углу Владимирского и Литейного. Этот перекресток в то время, безо всякого преувеличения, можно было назвать неофициальным деловым центром Питера. Царившую в «Сайгоне» атмосферу невозможно адекватно передать, не упомянув о той бурной жизни и о тех страстях, которые кипели на остальных трех углах перекрестка.

* Беседовала Юлия Валиева.



Самиздат. Из собрания
С. Ковальского



По диагонали от «Сайгона» собирались «книжники», то есть люди, которые спекулировали книжками. Их дислокацию можно было объяснить тем, что чуть дальше по Литейному во дворе находился «Букинист». У книжников можно было купить все: от альбомов Сальвадора Дали или Гогена, до русских поэтов — скажем, Кузмина, Ахматовой, Цветаевой... Сальвадор Дали в то время меня очень интересовал, однако его альбом тогда еще ходил среди запрещенных и с рук стоил очень дорого, поэтому его можно было только посмотреть по знакомству, из-под прилавка в букинистическом магазине. Если же нужна была поэзия Серебряного века, шли в садик за здание магазина «Академкнига» или отправлялись смотреть книги в какой-нибудь подъезд. Что касается самиздата, он бывал на этом углу крайне редко, это место было не для него.

Самиздат можно было найти на другом углу, где находился кинотеатр «Титан». Вот там встречались люди, пришедшие на перекресток Владимирского и Литейного именно за этим. Обмен происходил, что называется, «на бегу», надолго не останавливались и длительных разговоров не вели. Могли зайти в гастроном или в кассы кинотеатра, там для вида постоять в очереди и поменяться чем нужно. Мне все это было знакомо не понаслышке. Я не только с намерением что-то приобрести приходил на этот угол, но и сам «производил» самиздат. Вот, допустим, кто-то где-то доставал сборник стихов Николая Гумилева — надо было разработать систему, чтобы его издать. Прежде всего требовалось найти надежных профессиональных машинисток, которым можно было доверить оригинал и которые на дому могли бы печатать. Где находили? В том же «Сайгоне», например. Потому что там были девочки, влюбленные в поэтов, готовые печатать им стихи. Причем машинистки нам делали скидки: вместо двадцати пяти копеек брали пятнадцать копеек за страницу, потому что девочки сами это все читали и понимали, что они делают благое дело, а не просто деньги зашибают. Покупка бумаги лежала, конечно, на мне. Покупалась самая тонкая бумага, чтобы можно было заложить двенадцать экземпляров, даже тринадцать иногда, но этот последний был уже совсем слепой. Процесс был такой. Находишь бумагу, волочешь на себе эти толстые пачки, чаще всего в рюкзаке. Копирку мы иногда у себя на работе «заимствовали». Машинисткам говорилось, за какой срок (обычно очень короткий) необходимо напечатать столько-то экземпляров. За работу им, разумеется, платили. Потом находилась закрытая контора, где есть переплетная. Была такая на Большой Морской, друзья порекомендовали. Там же стояла машина «Эра», — она заменяла теперешний ксерокс. При благоприятных обстоятельствах можно было «отэрить» какое-нибудь издание. Были и умельцы, кто делал золотое тиснение. Потом все это тайно выносилось, разносилось по друзьям и продавалось по себестоимости. Сколько примерно стоил экземпляр? Рублей десять-пятнадцать. Моя самая «масштабная» операция была связана с изданием романа Набокова «Дар». Мне сказали: вот тебе «Дар» на два дня. У меня тогда работала очень хорошая, быстрая девочка, которая вслепую набрала за этот срок гигантский том (надо учесть, что все печаталось только с одной стороны листа бумаги).

На следующем углу, там, где был кинотеатр «Октябрь» (до и впоследствии «Паризиана»), по воскресеньям встречались коллекционеры монет, не каких-нибудь значков или марок, а именно монет. Процедура была та же: заходили в кассы кинотеатра. Слева от касс был магазин «Филателия». Естественно, вокруг этого магазина толпились люди совершенно другого профиля. У кого-то были вручную сшитые полиэтиленовые кармашки, как раньше шили для слайдов, кто-то приносил монеты в обычном кошельке, завернутыми в бумажечку, ведь обычно брали с собой одну монету, и ее удобно было затерять среди мелочи. Главное потом — не расплатиться этой монетой.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ
НИКОЛАЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ЛКСМ УКРАИНЫ

Для служебного пользования
Секретарям ГК, РК ЛКСМ Украины

Направляем примерный перечень зарубежных музыкальных групп и исполнителей, в репертуаре которых содержатся идейно вредные произведения, а также список тарифицированных вокально-инструментальных ансамблей СССР.

Рекомендуем использовать эти сведения для усиления контроля за деятельностью дискотек.

Данной информацией необходимо обеспечить все ВИА и молодежные дискотеки района.

Секретарь обкома
комсомола

П. Гришин

- | | |
|-----------------------|--|
| 13. Блек Сабат | — насилие, религиозное мракобесие |
| 14. Элис Купер | — насилие, вандализм |
| 15. Назарет | — насилие, религиозный мистицизм, садизм |
| 16. Скорпион | — насилие |
| 17. Чингиз Хан | — антикоммунизм, национализм |
| 18. Уфо | — насилие |
| 19. Пинк Флойд (1983) | — извращение внешней политики СССР («Агрессия СССР в Афганистане») |
| 20. Толкинхедз | — миф о советской военной угрозе |
| 21. Перрон | — эротизм |
| 22. Бохьянон | — эротизм |

Примерный перечень зарубежных музыкальных групп и исполнителей, в репертуаре которых содержатся идейно вредные произведения

Название коллектива Что пропагандирует

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Секс Пистолз | — панк, насилие |
| 2. Б-52 | — панк, насилие |
| 3. Меднессе | — панк, насилие |
| 4. КЛЭШ | — панк, насилие |
| 5. Стрэнглэрс | — панк, насилие |
| 6. Кисс | — неофашизм, панк, насилие |
| 7. Крокус | — насилие, культ сильной личности |
| 8. Стикс | — насилие, вандализм |
| 9. Айрон Мейден | — насилие, религиозное мракобесие |
| 10. Джудас Прист | — антикоммунизм, расизм |
| 11. Ай Си Ди Си | — неофашизм, насилие |
| 12. Спаркс Спаркс | — неофашизм, расизм |
| 23. Оринджинелз | — секс |
| 24. Донна Саммер | — эротизм |
| 25. Тина Тернер | — секс |
| 26. Джаннор Энглиш (Ретти) | — секс |
| 27. Кенед Хит | — гомосексуализм |
| 28. Мания Мешин | — эротизм |
| 29. Рамонз | — панк |
| 30. Бан Хейлен | — антисоветская пропаганда |
| 31. Хулио Иглесиас | — неофашизм |
| 32. Язoo | — панк, насилие |
| 33. Динч Мод | — панк, насилие |
| 34. Виллдж Пипл | — насилие |
| 35. Тен Си Си (Юсс) | — неофашизм |
| 36. Стоджис | — насилие |
| 37. Бойз | — панк, насилие |
| 38. Блонди | — панк, насилие |
| «ВЕРНО»
зав. общим отделом
обкома комсомола | Е. Пряжинская |

Там же можно было зацепить хорошего антикварщика и найти икону, скажем, XVIII века... У меня коллекции как таковой не было, но икон дома было много, я их сам привозил, когда работал в топографической экспедиции. Сначала мне было просто больно смотреть на брошенные деревни: входил в дом, в углах нетронутые образа стоят, а крыша уже потекла, и изображение, и даже грунт на иконах уже смывается... Поэтому я вывозил огромное количество икон, но как-то на коллекционерство не запал, поскольку меня срубила совершенно другая страсть — к музыке.

Но и музыку нельзя было нигде достать, кроме как «на улице». «Пласты», как тогда они назывались, завозили в основном по осени курсанты «мореходки».

И к этому времени как раз «приплывал» из зеленого леса, из другого «океана», с заработанными деньгами и с иконами. И начинался мен... Сначала на площади Искусств, а потом в разбитой квартирке за синагогой. Меня интересовал джаз: Джон Колтрейн, Джеки Мак-Лин, Луи Армстронг, Элла Фитцджеральд. Разумеется, круто было раздобыть оригинал «Битлз». Где ты тогда мог раздобыть оригинал? «На костях»-то (так называли пластинки сделанные на рентгеновских снимках), конечно, музыкальные записи были, слушать их было романтично (сейчас еще романтичнее), но звук был очень некачественный, все шипело и трещало... Оригиналы виниловых пластинок привозили в запечатанном виде, собирались покупатели. Рядом стояли конкуренты, которые приезжали из какого-нибудь Новосибирска, из Иркутска, готовые заплатить в два раза больше. Там город скидывался, и три-четыре человека приезжали в Питер скупать все. И тут уже был вопрос отношения. Например, если уж я постоянный клиент и пять лет покупаю, то мне «пласт» доставался по шестьдесят рублей (и это при зарплате девяносто, а то и шестьдесят рублей), а ребята из Сибири покупали по девяносто, по сто десять. Квартиру эту, я думаю, дали просто для того, чтобы отслеживать спекулятивный процесс и контролировать моряков. Тем более что в то время существовал список запрещенных к ввозу западных пластинок, среди которых значился, скажем, «Иисус Христос — суперзвезда».

Итак, все четыре угла были абонированы людьми совершенно разных страстей. И они редко пересекались. Что касается меня, я был знаком с посетителями всех этих четырех углов. Поэтому мне было особенно сложно с «конспирацией»: чтоб меня не заметили ни там, ни там, ни там, ни там. Идешь на один угол, а тебя уже видят с противоположного угла, а мне как раз сегодня туда совершенно не надо, поскольку у меня на эту тему сегодня ничего нет, и так далее... Это была игра. И страсть. A passion play...

Вадим Максимов

ОТ САМИЗДАТА К СВОБОДНОМУ ТЕАТРУ*

«Сайгон» я рассматриваю прежде всего как некую метафору — метафору внутренней свободы, метафору «второй культуры». «Сайгон» — это не литературное или художественное объединение, которое предполагает определенный, очерченный круг людей, как, например, поэты Малой Садовой или трансфуристы (Сергей Сигей и Ры Никонова). Под «Сайгоном» я понимаю в целом «поколение дворников и сторожей», то есть людей, которые сознательно отказывались от какого-либо сотрудничества с режимом, от «пробивания» своего места под солнцем. К таким людям я причисляю и себя.

Примерно в 1979 году у нас, трех студентов театрального института (Дмитрия Марченко, Евгения Пуссера и меня), возникла идея самиздатского журнала «Грааль». В то время Евгений Пуссер учился на режиссерском отделении, Евгений Марченко — на экономическом, я — на театроведческом. Никакого опыта самиздата у нас до этого не было. Мы знали о существовании журналов «37» и «Часы» и даже видели отдельные номера, но с их участниками тогда лично знакомы не были.

* Беседовала Юлия Валиева.

«Грааль» существенно отличался от других выпускавшихся в то время самиздатовских журналов, прежде всего тем, что в нем отсутствовала политическая составляющая. Проблемы, которые нас волновали и которым, собственно, и был посвящен наш журнал, были чисто эстетического порядка. Основную идею можно сформулировать следующим образом: в чем заключается критерий художественности произведения, как его определить? В официальном искусстве тогда доминировал один критерий — идеология. Нас это не устраивало. И театр, и литература потеряли главный ориентир — то, что и составляет природу искусства, — художественность. Такая подмена понятий не могла не вызывать отторжения. Созда-

вая «Грааль», мы ставили задачу вернуть художественные законы на первое место, этим была обусловлена и структура журнала: помимо художественного раздела, у нас был раздел теоретический, где публиковались статьи по эстетике и философии искусства. Что касается художественного раздела, в нем были представлены самые разные направления, главным условием для публикации было следование законам искусства, а не какой бы то ни было идеологии.

Так, в обращении к авторам «От редакции» в четвертом выпуске «Грааля» (1981 год) говорилось: «Мы предлагаем вам войти в искусство, осознавая его изнутри, пройти его путь в себе, создавать свое искусство. Для этого необходимо, прежде всего, творческое изучение культуры прошлого и нынешнего.

Мы предлагаем следующие основные направления: во-первых, осознание нашей куль-

туры; во-вторых — западной культуры XX века; в-третьих — культуры Востока.

Целью должно быть не углубление в свою область, а выход через нее на общечеловеческие проблемы. Литературовед может познать свой объект, только увидев его проявления в иных областях культуры.

Любое исследование, любая статья всегда должны быть художественным произведением. Только совместные искания художников различных специальностей дадут нам возможность выхода из ситуации, в которой мы оказались».

Как практически осуществлялись такие широкие задачи? Например, упомянутый выше выпуск открывался материалом, посвященным столетию со дня рождения Блока, был помещен отрывок из воспоминаний Андрея Белого, затем следовали две статьи Волошина — «Организм театра» и «Французский и русский



театр» из книги «Лики творчества» (изд. «Аполлон», 1914). Их сопровождала иступительная заметка А. Листовской («Театральные взгляды М. А. Волошина») В выпуске пятом теоретический раздел включал в себя статьи об экзистенциализме и творчестве Ежи Гроетовского. В художественном разделе был дан перевод из Жюжа Превера, а восточное направление было представлено публикацией книги Свами Вивекананды «Карма Йога» (М., 1912).

После выхода первых двух номеров к журналу появился интерес. Через Татьяну Щербину я познакомился с московским поэтическим кругом, и так сложилось, что авторы поэтического раздела «Грааля» были в основном московские (в том числе Ольга Седакова, Дмитрий Щедровицкий), хотя надо упомянуть и литовских поэтов, которые активно у нас печатались: Микалоюс Гинто, Игнас Гинас, Станисловас Йакимавичюс и др.

Среди художественных открытий «Грааля» я должен, прежде всего, назвать творчество Евгения Харитонов. Мы — первый журнал, который напечатал его тексты. Чуть позже благодаря «Граалю» у нас возникли творческие контакты с трансфуристами (Ры Никонова и Сергей Сигей), которые в то время жили в Ейске и издавали журнал «Транспонанс».

Как раз в то время я оказался в Политехническом институте как руководитель самостоятельности на одном из факультетов. В отличие от нас, увлеченных чистой эстетикой, там были молодые поэты, которые грезили «политикой». Они издавали журнал «Журнал», совсем небольшой по объему (страниц десять, напечатанных на машинке и скрепленных скоросшивателем), и разбрасывали его в студенческой столовой. Их интересовал театр как возможная политическая трибуна. Какими идеями они жили? Их волновало то, что идеи марксизма расходились с реальной советской действительностью. Мне это казалось наивным. Приходилось объяснять, что дело не в расхождении идей с действительностью, а в порочности самих идей. Комичность брежневского правления стала вполне очевидной к тому времени. Не выходить на ее обсуждение было невозможно. Об этом говорилось не только на кухнях, но и в студенческих коридорах.

Однако я, повторю, видел свою задачу в другом. У меня родилась идея параллельно с выпуском журнала организовать театральную студию. Это должна была быть экспериментальная студия, которая бы показала, что есть совершенно иные театральные и художественные ценности, нежели система Станиславского. Такой эксперимент улагось начать в студии самостоятельности Политехнического института.

Хотелось создать такую творческую структуру, в которой бы теория сочеталась с практикой. И вот в середине 1980-х годов у нас сложилась группа теоретиков, в которую входили психологи и театроведы. Основную теоретическую работу вели Александр Зубков, Наталья Каюкова, Геннадий Миропольский и я. Мы не просто ставили пьесу по принципу «какая хорошая пьеса, давайте ее поставим», а первоначально изучали ту театральную систему, с которой она соотносится, то есть контекст культурный, контекст философский, литературный, и только потом перешли к постановке.

Наше получившееся объединение было отчасти похоже на лито, потому что мы тоже обсуждали творчество самих участников, но это было не главное. Главным было изучение текстов различных эпох, или, лучше сказать разных художественных систем. Начинали с античной литературы. Читали пьесы, анализировали жанры, изучали Аристотеля, и так далее по эпохам. Из театральных концепций XX века остановились в своем выборе на символизме, футуризме, «психологическом жесте» Михаила Чехова и сюрреализме.

В практическом плане театральной подготовки наша задача была очевидной: разрушение монополии системы Станиславского и психологического театра. Театр



1970—1980-х годов был в этом смысле абсолютно однообразен. Подготовка актера строилась (как, собственно, и сейчас) только по системе Станиславского. И никак иначе.

Итак, мы приступили к задуманному. Сначала предполагалось, что у режиссеров и актеров будет определенная специализация, а научная группа станет этим руководить. Но этого не получилось: режиссеры теоретически понимали задачу, но, когда дело доходило до репетиций, все возвращалось к нулевой точке. В конце концов, в 1984 году мне пришлось самому перейти к режиссуре.

Первым моим спектаклем был «Выход актера» Мишеля де Гельдерода, второй спектакль — инсценировка по сказкам Оскара Уайльда. Начиная с третьего спектакля («Клейн и Вагнер» Германа Гессе) можно считать, что идея следования определенной художественной системе при постановке драматургии воплотилась. В «Клейне и Вагнере» использовались различные приемы символистского спектакля, вплоть до тюлевого занавеса (в то время нами осваивалось творчество Крэга и Мейерхольда).

Расскажу о спектакле 1988 года, ставшем для нас программным, — по пьесе крупнейшего русского режиссера-футуриста Игоря Тереньева «Жордано Бруно» (1924). Текст этой пьесы хранился в архиве Ильи Зданевича в Париже и был опубликован в Болонье (как позже выяснилось, в этом издании отсутствовала последняя страница пьесы).

Наш спектакль был первым и единственным обращением театра к этой пьесе. Он стал событием в освоении футуризма. И дело не просто в пьесе. И Хлебникова, и Хармса в это время начали ставить. Но, позволяю себе повторить, ставили текст, не передавая эстетику. А у нас были использованы приемы футуристического театра. Не только театральный костюм, но и тела актеров становились выразительным материалом: на обнаженное тело наносился рисунок, например женская грудь превращалась в глаза и т. д. В соответствии с футуристическим принципом



«мирсконца», действие развивалось от начала к концу и от конца к началу. Пьеса проигрывалась несколько раз (не целиком, а фрагментами). Мы использовали три способа зауми: в первом случае буквы «отматывались назад», во втором случае слова прочитывались в обратном порядке, в третьем — в обратном направлении произносились строки. Важным приемом был и повтор одной и той же сцены, представленной в разных стилях.

Среди зрителей этого спектакля были и историки театра, и живые представители эпохи футуризма, в том числе актриса театра Игоря Терентьева восьмидесятисемилетняя Эмилия Владимировна Инк.

Студия переросла в «Театральную Лабораторию», существующую до сегодняшнего дня.

Эпоха «Сайгона» закончилась с наступлением перестройки и изменением культурной и политической ситуации. Однако дух свободы, витавший в «Сайгоне», и возникшие тогда культурные формы (самиздат, театральная студия) остаются актуальными.



Фото В. Пешкова

Году в 1981 я зашел в магазин «Мелодия» на Невском проспекте, напротив Думы (сейчас он уже закрыт). Замечательный был магазин, там иногда можно было что-то интересное для себя прикупить: «демократов», то есть группы демократических стран — ГДР, Польши, Чехословакии, Венгрии. Иногда попадались польские сборники с настоящими зарубежными группами — «Sweet», «Black Sabbath», «Nazareth»; можно было купить лицензионные пластинки — Клиф Ричардс и что-то более-менее к рок-н-роллу относящееся, чуть позже — «ABBA», «Boney M» и так далее. Так вот, в магазине я заметил афишку: «Клуб «Мелодия» представляет лекции звукозаписи...» Были перечислены темы: «Машина времени» — ведет Андрей Бурлака, «Led Zeppelin» ведет такой-то и так далее. Раз в неделю во Дворце культуры им. Первой пятилетки. Мне это очень приглянулось: я увлекался музыкой и хотел знать всё об исполнителях, выискивал эту информацию, в том числе в журналах «Ровесник», «Сельская молодежь», «Аврора», в других каких-то изданиях, но информации было не так много. Решил сходить. Как раз попал на лекцию о «Машины времени» и познакомился с Андреем Бурлака. Я тогда фанател от «Машины», у меня были записи, которых у него не было. Познакомился с другими слушателями лекций, мы стали меняться записями. Я стал чаще туда заходить, а через некоторое время, благодаря стечению обстоятельств (какой-то диск-жокей заболел) — сам провел программу. А потом чуть ли не стал штатным диск-жокеем. Бурлака стал меня приглашать в ленинградский рок-клуб, где тогда ходили записи «Аквариума», «Зоопарка» или «Кино». Мне это жутко понравилось.

Очень важное для меня событие того времени — концерт группы «Россияне». По городу были официально расклеены афиши: «В «Зеленом театре» ЦПКиО пройдут два концерта группы «Россияне». Я купил билеты на оба дня, на всякий случай — мало ли что. И действительно — состоялся всего один концерт. Такого количества безумно интересного (по крайней мере внешне) народа, как на этом концерте, я в жизни не видел: битники, хиппаки и просто очень странно одетые люди. Они хлопали, танцевали и вообще вели себя совсем иначе, чем, скажем, публика на концертах группы «Ариэль» или «Диалог». Что ещё меня тогда поразило, так это огромное количество милиции и оперативников — обычных комсомольцев, которых задействовали в «наведении порядка». Ещё до начала концерта милиционеры стали вязать фотографа Наташу Васильеву, её били об угол машины. Концерт всё не начинался, потом вышел какой-то большой милицкий чин, чуть ли не генерал, и сказал, что «концерт не начнется, пока все не успокоится». Концерт всё же состоялся.

Я к тому времени уже закончил кинотехникум и в 1980 году поступил на работу киномехаником в кинотеатр «Современник», на Гражданке. Моя сестра тоже училась в кинотехникуме, но поступила на два года позже. С первого курса она подружилась с таким персонажем, как Виктор Бондарик, и я с ним, соответственно, познакомился тоже. Виктор играл тогда в группе «Фаэтон». Это такой хард-рок на стихи советских поэтов

Будучи на практике в Карелии, я стал пописывать стихи. Сначала ничего не получалось, но к 1981—1982 годам стало что-то вырисовываться. В 1983 году я уже был знаком с Лёней Федоровым, наше активное общение привело к тому, что несколько ранних песен «Аукциона» были написаны на мои слова. Я уже плотно

* Беседовала Юлия Валиева.

завязался с этим коллективом, но ещё не был на сцене, — стал звукооператором, свет где-то доставал, колонки, провода и т. д.

Для того чтобы вести в дальнейшем дискотеки, нужно было окончить специальные курсы, которые базировались в Доме самодеятельного творчества на Рубинштейна, 13. На зачет я придумал программу — с музыкой, слайдами, патефоном. Там была задействована моя будущая жена, принимали участие и несколько моих подружек.

Как раз в это время Наташа Веселова, куратор рок-клуба, готовила дискуссию «Сто вопросов Б. Гребенщикову» и попросила некоторых людей сходить к нему и задать вопросы. Там был Бурлака, еще какие-то люди. Мы пошли к Гребенщикову на работу, на улицу Некрасова. Я даже не догадывался, что это за работа может быть. На улице Некрасова стоит разрушенная баня, как раз рядом с моим домом. Вот в пристройке к этой бане и состоялась наша встреча. Борис Борисович вышел к нам с громадной овчаркой — он тогда сторожил какую-то автобазу. После того как были заданы подготовленные вопросы, все разошлись, а я остался: у меня не было качественных записей «Аквариума» и я хотел попросить их у БГ. «Ради бога, — сказал Боря, — только магнитофон сломан, надо его починить, и перепишешь». Я быстренько нашел некоего человека, который все починил, и пришел к Боре домой. Было утро, часов десять—одиннадцать. У него в квартире оказался Сережа Курёхин (видимо, он там ночевал), подошёл Цой, кто-то ещё. Потом я чуть ли не каждый день стал ходить к Борису.

Примерно тогда же я вступил в Ленинградское общество филофонистов (на ул. Римского-Корсакова существовало такое заведение, куда можно было заходить по определенным удостоверениям, менять и продавать пластинки) и стал ходить в рок-клуб. А, конечно же, где рок-клуб — там и «Сайгон», где «Сайгон» — там и «Эльф» плюс другие близлежащие места.

Активное общение с сайгоновской братвой у меня началось в октябре 1984 года, когда меня перевели в кинотеатр «Титан», который находился прямо напротив «Сайгона». В «Титан» ко мне многие сайгонцы заходили регулярно — бесплатно посмотреть кино, тем более фестивальное...

Я на днях заглянул в трудовую книжку и выяснил, что в «Титан» меня не сразу взяли киномехаником, а сначала специалистом по ремонту аппаратуры. Мне в напарники присовокупили молодого человека по имени Вадик Смирнов, которого выставили из соседнего кинотеатра «Знание», чтобы не мозолил глаза, потому что он был заядлый хиппак, травку покуривал, знал всех сайгоновских, кто по этому делу. А я был, напротив, такой педант, битник, стилиага. У меня даже благодарность была за хорошую работу.

Как-то я пошел с друзьями на концерт группы «Союз любителей музыки рок» в ДК моряков. Мы были такие моденькие, в черных очках, потанцевали. К нам подошли какие-то люди: «Мы из журнала, хотим вас пофотографировать». Через некоторое время я встречаю на Невском проспекте музыкального критика Алика Кана, который сказал, что видел мое изображение в журнале «Observer» и что номер этот есть у Коли Васи́на. С Колей Васиным я не был знаком, но как-то на него вышел. Взял в руки журнал. Фотографию сопровождала подпись: «Вот так отдыхают питерские стилиаги». Буквально через несколько дней на работе раздастся звонок с ул. Каляева: «Вы не могли бы к нам подойти?» И тут же звонит моя директриса: «Олег, ты свободен, тебя ждут внизу, замена тебе прислана, так что иди в фойе». Я выхожу в фойе, там сидит мужичок, в руках у него мое «Дело», и начались расспросы: «Как в журнале оказалась фотография?», «Знаешь ли ты Гребенщикова, еще каких-то людей?»... Завершение разговора было традиционным: «если появится информация, мы были бы счастливы...». Через некоторое

время этот человек опять появился и предложил мне билеты на какой-то страшный дефицит: «Надо?» — спрашивает. — «Надо». — «Ну, тогда необходимо кое-что там сделать». Я говорю: «Не вопрос». Никогда в жизни не стучал, но билеты прал, а что не взять-то.



Олег Гаркуша (слева). Фото В. Пешкова

В «Сайгоне» регулярно проверяли документы, чаще всего на улице. Причем, если ты стоишь со стороны Невского проспекта, тебя гоняют больше, потому что на Невском больше людской поток. Ты не должен пугать народ своим видом и грязными волосами. Как правило, гоняли оперативники и комсомольцы — проверяли документы, отводили в соседний участок, на Стремянную, около «Эльфа», а там назидательно говорили: «Вести себя надо так...»

Была масса смешных случаев. Захожу я после работы в «Сайгон», пью кофе. Подходит милиционер, говорит: «Ты что тут стоишь?» — «Жду человека». Показываю документы. «Так, вы где прописаны?» — «В Веселом поселке». — «А почему пьете кофе здесь?» — «А где мне его еще пить?» — «Вы должны пить кофе в Веселом поселке».

Рейды обязательно проводились первого апреля, в день рождения Ленина и тому подобные даты. В один из таких дней я возвращался домой с женой — она работала в Доме архитектора, я помогал ей крутить кино. Подходим к метро «Канал Грибоедова», я ей говорю: «Будут вязать». Она мне не верит. Входим в вестибюль, а там — «хорошие знакомые». Нас препровождают в «Икарус», где уже сидят Кэт, Слэм, еще кто-то. Автобус успел заехать к «Сайгону», на другие точки, собрал «контингент».

1 апреля (не помню, какого года) выхожу из станции метро «Маяковская», где мы должны были встретиться с девушкой, и вижу Антона Адасинского. Он хотел мне сказать, что только что был задержан Гребенщиков, но не успел, потому что меня тут же взяли. Вопросы задавали глупейшие: «Почему вы носите черные

очки?» (а очки эти ещё моя мама носила в 1960 годы), «Почему у вас галстук обрезанный?» и другую ерунду.

Задерживали и на концертах, и после концертов. Идет, допустим, концерт группы «Аквариум». Я в экстазе, напеваю, а с двух сторон от меня стоят персонажи в сером, фиксируют. Мы навестились потом убежать, но иногда не получалось. Оп! — и тебя уже схватили. Для нас это просто смешно было. Мы прекрасно понимали, что это несерьезно. Бывали, конечно, истории, когда кто-то вышел зимой, в Новый год, в тапочках, как Жора Ардановский, и до сих пор ходит неизвестно где, но с нами такого не случалось.

Однажды у «Сайгона» снимали фильм. Камеры были установлены в кинотеатре «Титан». Я стою, курю при входе в «Сайгон», съемки еще не начались. Ко мне подходит милиционер и начинает меня вязать. Я ему: «Я в кино снимаюсь! Меня нельзя!» Кричу ассистенту: «Беги сюда! Вязнут!» Пока не показали соответствующую бумажку, не отстал. В фильме же снимался другой милиционер — уж не знаю, за гонорар или так...

Когда в помещении, где раньше был «Сайгон», открылся музыкальный магазин, меня пригласили в него консультантом. Думали назвать магазин «Три желания» — для меня же единственно возможным было название «Сайгон», без вариантов. Когда же через несколько лет музыкальный магазин закрыли, а здание пошло на капремонт, для нового «Сайгона» нашли место в начале Невского — там, где раньше был валютный магазин «Березка». Новый «Сайгон» стал уже не только магазином, но и музыкальным клубом. Идея, конечно, была замечательная. Но настоящий сайгоновский дух — тот, который был в старом «Сайгоне», — не вернешь.

Кэт Питерская

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Был июль 1982 года. Я закончила восьмой класс, слушала «Led Zeppelin» и мечтала играть на барабанах как John Bonham. Я была полной тезкой радистки Кэт из фильма «Семнадцать мгновений весны», поэтому еще в школе получила прозвище Кэт.

Большинство приятелей разъехались на лето из города, и летнюю скуку я делила с Ниной из младшего класса, прогуливаясь по Комендантскому аэродрому. Нина красила волосы, что по тем временам считалось недопустимой вольностью, и у нее были фирменные джинсы, привезенные папой «из загранки». Однажды мы зашли в кафе-бар, где ее мама работала директором. В зале было немногочленно. На сцене играла настоящая рок-группа, и все мое внимание было приковано к их выступлению. Клавишник это заметил и в перерыве подошёл к нам вместе с гитаристом. Так я познакомилась с Андреем Муратовым (Мурзиком), который позже играл в группах «Зоопарк» и «ДДТ». Сейчас он живет в Кёльне. Гитаристом был Майкл Добровлянский, он жил в Сосновой поляне, постоянно ругал совдеп и в конце 1980-х уехал к отцу в Канаду. Я рассказала, что давно увлекаюсь рок-музыкой и хочу играть на ударных. Они пригласили на свое следующее выступление, где Мурзик познакомил меня с барабанщиком Валерой Кирилловым, впоследствии тоже игравшим в группе «Зоопарк». Валера показал мне, как правильно держать палочки.

Через пару дней мы встретились с Мурзиком «на Маяке» и пошли в сторону Владимирского проспекта. Мурзик сказал: «Вот это и есть “Сайгон”». Он рассчитывал встретить там свою барышню Юлю Сафро, которая должна была вернуться

и Коктебеля, но узнал, что ее еще нет, даже не заходя в кафе — у стоявших возле «Сайгона» знакомых. Так много длинноволосых юношей в потертых джинсах я видела до этого только однажды, в ЦПКиО, возле Зеленого театра.

Внутри было многолюдно, буфетчица с хриплым голосом (позже я узнала, что ее зовут Аллочка) сварила нам кофе. Мы выпили по «маленькому двойному» и поехали к Андрею Шевцову, на улицу Добролюбова. Кроме нас, в тот день к нему в гости пришли клавишник Костя Швейк и его подруга Аня Павлова. Пили чай под магнитофонную запись незнакомой группы. Оказалось, что это «Аквариум». По дороге домой я уже знала, что непременно вернусь в «Сайгон». Я стала бывать там, сначала изредка, потом чаще, а с весны 1983 года почти каждый день. Появилось много новых знакомых, с которыми можно было не только попить кофе, но и поговорить на самые разные темы — от самиздата до новых альбомов любимых групп.

Моя музыкальная жизнь началась тоже осенью 1983-го с поступления в джазовую школу на Гривцова и участия в музыкальном ансамбле при подростковом клубе «Мир» на Лиговском пр., 65. Руководителем нашей группы был Жора Ордановский. Через четыре месяца, в январе 1984-го, он бесследно исчез...

Осенью 1983-го «Сайгон» был пару месяцев закрыт на ремонт, и все волосатые переместились в кафе «Эльф» на Стремянной улице и примыкающий к нему скверик. Сидели, курили, слушали блюзы, рок-н-роллы. И за все мы подвергались ежедневным нашествиям дээндэшников, которые забирали нас в отделения милиции. Один из них был совсем рядом, на Дмитровском переулке, другой на Невском, под «Яблонькой».

Кончилась относительно беззаботная брежневская эпоха и начался андроповский жесткач. После ремонта в «Сайгоне» изменился цвет стен, а одна из них стала зеркальной: там, по слухам, находились микрофоны, камеры и, возможно, даже живой наблюдатель. Редкий день выдавался без появления ментов, которые проверяли у всех документы и обязательно кого-нибудь винтили.

В то время Андрей Ганшин из Москвы подарил мне хиповскую торбу из мешковины, с вышитым гладью пацификом. Я постоянно таскала в ней барабанные палочки и всякую ерунду.

Минимум раз в неделю по маршруту «Ольстер» — «Эльф» — «Сайгон» очень медленно курсировал ментовский автобус, собирая на своем пути всех, кто хоть чем-то выделялся из толпы. Конечной остановкой было отделение на ул. Константина Заслонова. Там каждого допрашивали комсомольского вида юноши в штатском, которые не только упивались ощущением собственной власти, но и конфисковывали все, что, по их мнению, пропагандировало «буржуазную культуру». В один из таких рейдов опер, чем-то напоминающий Мишу из фильма «Кортик», обратил внимание на пацфик на моей торбе: «Так... Что это такое?!» Я произношу традиционный для такого случая текст: «Это знак общепита — тарелка и вилка!» — «Короче, мы это конфискуем, у нас тут уже целый музей вашего общепита». — «А мне вещи положить некуда». — «Тогда вырезай картинку!» Ничего не поделаешь, пришлось аккуратно отпороть нашивочку и пополнить «музей» еще одним экспонатом. Вернувшись домой, я на темном невыгоревшем месте написала: «Nu chto ustavilsja? Hippovskih sumok ne videl, chto li?» Помню, какой-то мент интересовался, как это переводится...

Одним из моих первых сайгоновских друзей стал Влад Улан. Он жил на Невском, недалеко от «Сайгона», в большой круглой комнате. От Влада я узнала о существовании самиздата: он дал мне почитать «Дао де дзин». <...>

Для меня «Сайгон» — это огромное количество друзей и знакомых по всей стране. Внутри большой советской системы была своя «система». Системные люди были практически везде. В любом более-менее крупном городе Советского

Союза был свой «Сайгон». Путешествуя автостопом, «системные» не беспокоились о том, что могут остаться в незнакомом месте без еды и вписки: достаточно было показать «викторию» первому встречному волосатому. Я себя никогда не причисляла к «системным». Ездил стопом, но не носила фенечек и не перебарывала слова «герла», особенно по отношению к себе.

Моя первая поездка автостопом была в начале мая 1984 года. Кто-то сказал в «Сайгоне»: «Тарту. Фестиваль. Послезавтра». Встретившись утром с Энди, Леопольдом и Янкой на пр. Ветеранов, мы разделились на пары и вышли на трассу. Доехали быстро, не прошло и шести часов. Чувство усталости перемешивалось с ощущением свободы и счастья — кругом были друзья и знакомые со всей страны, не только хиппи. Помню, очень удивилась, увидев на поляне, в окружении волосатых, своих совсем не хипповых приятелей Женю Федорова («Текила джаз») с двоюродным братом Дюшей Михайловым и барышней, по имени Света «Ништяк». Братья играли

в созданной ими группе «Объект насмешек» (ранее «КСК»).

Все были готовы к встрече с эстонскими ментами, но они в первый день нас не беспокоили. Остаток дня мы провели замечательно, сидя на траве в центральном парке, и представляли, что мы на Вудстоке. На ночь значительная часть тусовки вписалась в университетское общежитие, а на следующий день мы всей толпой направились к концертному залу, где, по слухам, должен был состояться фестиваль. Когда мы поняли, что пускать нас туда никто не собирается, вернулись в парк и продолжили свой «фестиваль» у стен полуразрушенного замка. Через некоторое время замок был окружен ментовскими машинами. Я насчитала восемь. После шестичасовой осады, уже ночью, нас загрузили в два автобуса, вывезли за территорию Эстонии и высадили в лесу, недалеко от Печор. С нами была эстонская пара, которую менты затащили обратно в автобус. Мы все вместе добрались до Псково-Печорского монастыря,



Кэт на трассе Тарту — Питер

а потом разошлись кто куда. В Печорах мы с московским Димкой Шпинаком сели в электричку, чтобы доехать до Пскова. Менты были предупреждены и уже ждали на вокзале. Нас повязали с выходящими из другого вагона Андреем Хаером, Вовой Пасиком и Аликом Кировским (сейчас о. Антоний). А в «обезьяннике» уже находились Леша Граф Орлов-Чесменский и еще несколько москвичей. Нам было весело, несмотря на обстановочку. Через пару часов нас отпустили, и мы с Димкой вышли на питерскую трассу. Те, кому посчастливилось избежать депортации на автобусах, были повязаны в Тарту на следующий день. Никто из нас так и не узнал, состоялся ли фестиваль. Но это было уже не так уж важно.

В июне 1984-го в районе «Треугольника» я познакомилась с Пашей Краевым, который устраивал у себя на ул. Композиторов квартирники знакомых музыкантов. В их числе были Майк Науменко и Витя Цой. Первый квартирник, на котором и оказалась, был Витин. (Он есть в записи, благодаря Пашиному другу Коле



Виктор Цой. «Квартирник» у Паши Краева

Иванову.) Здесь познакомилась с Лешей Рыбиным: он пришел ближе к концу вечеринки и был явно чем-то огорчен. Позже выяснилось, что группа «Гарин и гиперболюнды» прекратила свое существование, а в новой Витиной группе «Кино» Рыба оказался не у дел.



Майк Науменко. «Квартирник» у Паши Краева

Благодаря приятельским отношениям с Рыбой, круг моих знакомых значительно расширился: я узнала Андрея Панова (Свинью), Олега Гаркушу (его тогда называли Слюней), Гриню Сологуба, Пиню, Птера, некрореалистов Олега Котельникова и Женю Юфита (Юфу), снимавших потрясающие короткометражки на восьмимиллиметровую камеру. Пару раз мы с Рыбой заходили в гости к уже знакомому мне Майку на Боровую. Там я впервые услышала группу «The Velvet underground». Как-то ездили на Ржевку к Коле Васину, который показал настоящий автограф Джона Леннона.

Однажды мы с Рыбой поехали в гости на Охту. Дверь открыло пышнотелое существо с длинными светлыми волосами и весело поприветствовало нас высоким голосом. Так я познакомилась с Лешей Вишней. Через десять минут мы уже слушали свежезаписанную песню с философским названием «Ты — говно, я — говно, будущего нет». Некоторые расхождения во взглядах на жизнь не помешали нам стать добрыми приятелями, а в январе 1985-го мы с Рыбой были единственными гостями на их с Леной свадьбе. Свидетелями были Свинья со своей барышней Тачанкой. Свинья был в черном костюме с большой серебристой звездой на груди. Жених не снизошел до свадебного костюма, но невеста заботливо завila ему волосы электрощипцами «Этиод».



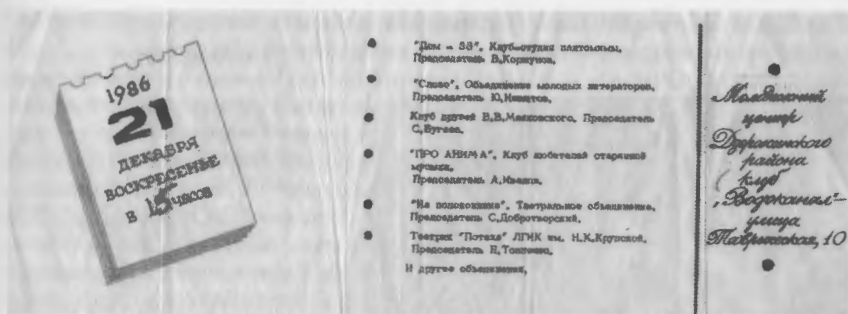
Алексей Вишня

Тем же вечером мы с пьяным Рыбой поехали к Паше Краеву, чтобы «вписать» приехавших из Новосибирска Юру Наумова и барабанщика Вову Зотова. Уже несколько дней я находилась под впечатлением песен, исполненных Юрой у меня дома, в день их приезда. Кроме Майка, приехавшего в Новосибирск в 1983 году, они никого в Питере

не знали. Приехав, нашли Майка, Майк дал им телефон Рыбы, а Рыба привез их ко мне. Юра сразу же расчехлил двенадцатиструнную гитару и спел песни «Винтик», «Поролоновый город», «Сюрреалист» и «Колыбельная для самоубийцы». Впечатление было очень сильным. Юра рассказал, что они были вынуждены уехать из Новосибирска из-за преследования КГБ и собираются как-то устроиться в Питере. Только через пару недель Вовка, по большому секрету, признался, мне: «Мы хотим уехать в Англию потому, что там «Led Zeppelin»». Они считали, что из Ленинграда свалить будет проще.

После первого квартирника у Паши, на который я позвала несколько человек из «Сайгона», слух о Наумове распространился быстро. На следующем концерте слушателей уже было в три раза больше. Юра пожил у Паши месяцев восемь, не потратив при этом ни рубля. В 1990-м его мечта осуществилась — он уехал в Штаты.

Саша Башлачёв появился в «Сайгоне» тоже в январе 1985-го — невысокий парень в рыжей шапке-ушанке, с открытой улыбкой и металлическим зубом.



Познакомились мы у Димы Бучина, куда специально для этого и приехали с Наумовым и Зотовым. Кроме Башлачева, в гостях у Димы был Андрей Отряскин, лидер группы «Джунгли». Стали играть. Андрей исполнил инструментальное произведение, Юра спел «Поролоновый город». Было интересно, что поет новый знакомый. То, что я услышала и увидела, поразило меня до глубины души. Не буду даже пытаться это описать, все равно не получится... Под впечатлением находилась не только я: Наумов дня три ходил задумчивым, а вскоре написал песню «Сказка о Карле, короле рок-н-ролла», в тексте которой явно прослеживалось Шашино влияние.

В начале 1980-х в «Сайгоне» почти ежедневно можно было встретить Клипса с Кроликом из группы «Хрустальный шар», скрипача «Аквариума» Ваню Воропаева. Часто заходили Петя Самойлов, ныне бессменный бас-гитарист «Алисы»; выделявшийся длинным хаером Анджей Кировский, который в середине 1980-х со своим земляком Женей Калачевым создал группу «Оберманекен». В 1986 году я познакомилась в «Сайгоне» с группой «ЧП», тоже из Кирова, которая позже сменила название на «Вино». В 1989-м их лидер Леша Федяков переехал в Питер, а с 1993-го по 1997-й я играла с ним в группе с уже англоязычным названием «Wine».

В «Сайгон» часто заходил Валера Алахов из будущих «Новых композиторов», бывал Тимур Новиков... Под боком у КГБ находился и клуб «НЧ-ВЧ», а в 1986 году, тоже неподалеку, в клубе работников «Водоканала», был открыт первый в Ленинграде МКЦ (Молодежный культурный центр), в котором Новиков и Бугаев (Африка) зарегистрировали «Клуб друзей Маяковского», а Курёхин устраивал первые концерты «Поп-механики».

«Сайгон» был постоянно обновляющимся организмом. Во времена «гласности», после выхода фильма «Взломщик» и передачи «Взгляд», где рассуждали о «системе», там появилось много новых посетителей. Впрочем, через некоторое время «Сайгон» закрыли.

Как-то летом 1989 года я шла по Невскому и увидела сантехнику, выставленную в знакомых окнах. «Маленького двойного» не захотелось...

Дмитрий Каховский ИСЧЕЗНУВШАЯ МУЗЫКА

В 1983 я бросил довольно успешное и перспективное профобучение и по совету нового знакомого — хиппующего художника из Вятки Алика Меркушева — устроился на работу в Русский музей, рабочим по перемещению экспонатов.

В совковые времена это была традиционная в художественных кругах профессия, не менее распространенная, чем оператор газовой котельной.



Дмитрий Каховский. 1985 г.

Признаюсь, ни до этого ни после этого я не испытывал такого воодушевления от трудовой деятельности. Рабочий день — с десяти до шестнадцати, включая перерыв на обед, три выходных дня (вторник в Русском музее — выходной)! И это в 1983 году!

Бригада грузчиков (рабочих по перемещению экспонатов) упаковывала и распаковывала выставочные работы, развешивала картины в залах, таскала их из запасников к реставраторам и обратно. Так я увидел наше авангардное искусство задолго до того, как оно было обнародовано на выставках времен перестройки.

Чем больше я смотрел на черные квадраты и динамические композиции, тем крепче утверждался в мысли посвятить свою скромную жизнь чему-нибудь действительно стоящему (тогда я еще не решил, кем я буду точно — художником или музыкантом).

Тогда в моем кругу общения появились художники, музыканты, наркоманы, сумасшедшие всех мастей, шаромыжники и авантюристы, гении и проходимцы — но это был свежий ветер!

О существовании «Сайгона» я знал с детства, просто потому, что, живя на ул. Чайковского, часто шатался по Невскому и не мог не обратить внимание на персонажей, которые толпились у входа в это кафе, курили, неторопливо что-то обсуждая, и всем своим видом отличались от толпы вечно спешащих людей с угрюмыми озабоченными лицами. Для меня было очевидно, что это были люди творческих профессий: именно такими их изображали в сатирических журналах — пьяненькими, бородатыми, в драных джинсах. Раздумывать было нечего — конечно, я с ними!

Надо сказать, романтическое восприятие этого кафе довольно быстро прошло, но все равно это было самое удобное место для встреч. Напомню, что тогда не у всех советских граждан имелись домашние телефоны (у нас в семье не было), а там нужного тебе человека можно было заловить почти наверняка.

Список развлечений в те времена был невелик. Может быть, поэтому запомнились концерты джазового фестиваля «Осенние ритмы» — там в 1983 году наша компания услышала трио Вячеслава Ганелина (Ганелин, Тарасов, Чекасин — в простонародье ГТЧ), чья музыка, как теперь говорят, «сорвала крышу».

С друзьями мы пытались играть что-то похожее на Френка Зеппу, «King Crimson», Брайана Ино, переварить джаз — от Луи Армстронга до Жака-Люка

Понти. В Ленинграде тогда слушали всё подряд: от Боба Марли до тяжелого металла, но непонятным для меня успехом почему-то пользовалась «новая волна», и все музыканты старались как-то походить на «Police», «Duran Duran».

Мне более интересен был джаз, а его тогда можно было услышать в «Клубе современной музыки» в Доме ученых в Лесном, джаз-клубах во Дворце молодежи и ДК пицеевиков, на фестивале «Осенние ритмы», на концертах экспериментальных коллективов из стран соцлагеря (что было тогда совсем не редкостью), на концертах этнической музыки (один фестиваль индийской культуры в 1985 году чего стоил!). Конечно, я старался попасть на концерты зародившейся тогда «Поп-механики», но музыкальные идеи Курехина были мне непонятны, и я смотрел на происходящее на сцене как на спектакль.

Но после ГТЧ я точно знал *что* надо играть, оставалось только найти единомышленников.

Первым единомышленником стал Олег Шавкунов, который играл тогда в незаслуженно забытой ныне и, на мой взгляд, единственной настоящей рок-группе «ЛУНА», откуда я всеми силами его сманивал, суля чисто духовные выгоды авангардного музицирования.

В нашей с Олегом первой репетиционной точке (подростковом клубе «Ротонда» на Гороховой) мы познакомились с саксофонистом из Малой Вишеры — Димой Федоровым. И так образовался первый состав нашего «Трио Z». Мы стали регулярно выступать в джаз-клубе ДК пицеевиков, где познакомились с Аликом Каном, который помог нам пробиться на джазовые фестивали (Днепропетровск,

Вильнюс, Ярославль, позже «Открытая музыка» в Ленинграде). К нашей компании периодически присоединялись Олег Васильев (трубач и флейтист), певица и своеобразнейшая гитаристка Людмила Колод (Терри), Андрей Красиков, Саша Владимирский, трубач Костя Оганов.

Примерно тогда же я познакомился с замечательным персонажем (тоже из Вятки) Гошей, который поразил меня неумейной страстью к экстремальным путешествиям (поездка стопом на поездах в Среднюю Азию, неожиданный и необоснованный уход в армию). Пиком его экспериментов было довольно долгое житие в монастырской келье на острове Валааме, где он работал фельдшером. Гоша и Олег стали моими друзьями на долгие годы, наше творческое общение было искренним и легким. <...>

Родители большинства моих новых друзей считали своих детей «подонками» и, я бы сказал, испытывали к ним чувство классовой ненависти. Намерения детей заниматься



Дмитрий Федоров. 1985 г.

музыкой, театром, живописью встречались яростным отпором, который сопровождался пожеланиями заняться, наконец, делом, — «пахать», «как они пахали и пахнут всю жизнь». <...> Меня это поражало, поскольку моя мама не только не бухтела, что мы допоздна сидим, курим, слушаем музыку и бренчим на гитарах, но и по мере возможностей кормила толпы, которые иногда останавливались у нас. Да и собирала в дорогу, если кто-то (что неудивительно) был одет совсем не по сезону. Благодаря хиппующим друзьям я познакомился с тем, что называлось «системой», — всесоюзной компанией дуралеев, тусовавшихся по стране и оседавших в Москве и Ленинграде (а где же еще?).

Любимое развлечение тех лет — компанией шляться по центру, заходя в музеи, мороженицы, «Сайгон» (как часть традиционного маршрута), с обязательным вечерним сеансом в кинотеатре «Спартак». Завернешь наугад, а там Антониони,



Гоша. 1985 г.

Бунюэль, Терри Гиллиам! Мы с Олегом Шавкуновым посмотрели там «Джабервоки», «Блоу Ап».

Воннегут и Кортасар, Касанеда и Борхес вообще воспринимались как инструкция к миропониманию, и «Сайгон» очень даже вписывался во всю эту карусель, хотя я и не могу сказать, что был его постоянным посетителем. Наша компания, как правило, ограничивалась кофе-брейком и куда-то бежала (обычно на репетицию). <...>

Однако посещение «Сайгона» всегда обещало что-то непредсказуемое — это была такая игра вслепую: заходя выпить кофе, ты не знал, куда направишься через двадцать минут, в какую передрыгу попадешь, что увидишь. Однажды я там дожидался приятеля и, так и не дождавшись, пошел к нему на Петроградскую; не застал дома, опоздал на метро и я забрел в Петропавловскую кре-

пость (в те времена вход в крепость был круглосуточным), где и провел ночь, сидя в крепостной башне на рavelине и наблюдая сверху ночную жизнь.

В другой раз мы с приятелем из «Сайгона» попали в гости к музыканту, где я впервые увидел, как варят струны. Считалось, что если в подсоленную воду добавить соду и варить струны минут сорок, их свойства восстанавливаются. Мы сидели на коммунальной кухне, мирно беседуя за чашкой кофе, а на плите в кастрюльке кипятились струны. Соседи подозрительно поглядывали на нас и на кастрюльку.

Вообще, как мне вспоминается, компании того времени были довольно четко структурированы: художники общались с художниками, литераторы сами по себе, и даже в среде музыкантов были фракции — рокеры, джазисты... «Сайгон» же был как раз тем местом, где вся эта компания могла очутиться в одно время.

Но уж точно — никакого духа творчества в «Сайгоне» не было, скорее это была витрина или скромный лоток коробейника, где все выкладывали что-то своё на обозрение других: кто — образ, кто — страдания, кто — пороки. (Таким образом и возникало, на мой взгляд, специфическое советско-русское искусство рубежа



Трио Z. Концерт в клубе современной музыки (в лесном). 1985 г.

веков, которое теперь называют постмодернизмом: его творцы ничего не создавали, и ограничивались многозначительными показами и комментариями.)

Но даже этого было достаточно, чтобы намагничивать городское пространство, вбрасывать в него обрывки информации, которые для кого-то становились толчком к движению.

«Сайгон» был феноменом исключительно советской эпохи — как место для общения (а ведь основой любой тусовки является естественное желание людей общаться) в условиях советского быта (милиция, коммунальные квартиры, зловредные соседи, маленькие дети — такой получается ряд), вынесенное за эти структурирующие социальное бытие рамки. Тем более что склонность русского человека к соборности (собраниям, тусовкам) зачастую бессознательна и недолговечна. Сравните массовые увлечения митингами и дискуссиями во времена перестройки — и нынешнюю социальную апатию; необъяснимую страсть советского человека к интеллектуальному творчеству (Шнитке, Тарковский, йога, художники-абстракционисты и пр.) — и полное равнодушие современников к творческим исканиям нынешней эпохи, пассивные революционные всплески — и иррациональную рабскую покорность. <...>

Многие мои знакомые чуть ли не с брезгливостью оглядываются из наших дней на то время. Их тогдашние поступки и поведение кажутся им глупыми и даже чем-то компрометирующими их сегодняшних. Но «Сайгон» уже потому заслуживает изучения, что иллюстрирует эту нашу пограничную неопределенность.



Кинотеатр «Спартак». 1984 г.

МАЛЕНЬКИЙ ЛЕНИНГРАДСКИЙ МОНМАРТРИК

Ты сегодня страж Горбда.
равнись подошвы камням.
Зданья в контурах улиц —
лица на лоне эскиза.
Вот «саблон». У него по торжественным дням,
вроде, как и по будням —
парадный подъезд Парадиза.

Впрочем, как... Что тебе-то в нём? Запах тех лет?
Невский уют Эдема... Кофейная в чашечках роза...
Подоконник заданен.
Удам этих ноги Лилит.
Выбегаешь долой. Там — асфальт. Впрочем — проза.

Я с тобой, рад Горбда. Тень нам шаркает вслед.
На Владимирском ветер:
эпоха суровая: финиш.
Мир взорвет — да не будет! —
ни ты не спасёшь, ибо слеп
за вуалью зрачков.
смотришь к птицам, а неба
не видишь.

(1981)

Роскошный «Рэдиссон-Сас отель», сияющий окнами на углу Невского и Владимирского, недоступный для большинства жителей Северной столицы, появился на месте совдеповского ресторана «Москва». А до революции в этих стенах, подпираемых ложноклассическими кариатидами, располагалась гостиница «Москва». Она была популярна — и у петербуржцев, из-за недорогого буфета, и среди состоятельных приезжих, благодаря удобному местоположению и умеренной стоимости номеров. Путеводитель «Петербург весь на ладони» (1874 год) сдержанно характеризует её как «гостиницу приличную и недорогую, средней руки». Более критичный А. Ф. Кони называет её «шумной и довольно-таки грязной». В 1874 году в одном из её номеров содержалась под домашним арестом игуменья Митрофания (в миру баронесса Прасковья Розен). Её дело вызвало в обществе громкий резонанс: настоятельницу Серпуховского Владычье-Покровского женского монастыря, аристократку, близкую ко двору, обвиняли в мошенничестве и вымогательстве.

В пьесе А. Н. Островского «Последняя жертва» есть такой персонаж — богатая купеческая вдова Пивокурова, толстуха лет сорока с лишним. Мозги у неё явно набекрень — то ли от пьянства, то ли от сумасшедших денег, доставшихся ей в наследство от мужа. Всё её занятие — разъезжать по гуляньям, пить вино да искать приключений с кавалерами. В конце пьесы на ней, а точнее на её деньгах, собирается жениться светский альфонс Дульчин. Осведомлённые современники без труда узнавали в Пивокуровой московскую купчиху Медынцеву (в фамилиях подсказка: «мёд» — «пиво»). Богомольная пьянчужка, она проматывала огромное состояние, тратя его на бесчисленных мужчин и опускаясь порой до сожительства

с собственным кучером или лакеем. Игуменя Митрофания, в обитель которой ездила на богомолье Медынцева, решила положить конец этому безобразию. Под её влиянием весёлая вдова перевела часть средств на счета Серпуховской обители. Не довольствуясь этим, Митрофания пошла на подлог: от имени полувменяемой нимфоманки были составлены фальшивые векселя, и львиная доля её состояния оказалась в распоряжении игуменьи.

Митрофания старалась не для себя. Деньги нужны были ей на благое дело. В её обители действовали художественные и ремесленные мастерские, мануфактура, приют для сирот, школа. Любимым её детищем была Покровская община сестёр милосердия, при коей по всей России создавались образцовые больницы. На всё это требовались деньги, и Митрофания изыскивала их, как и положено деятелю эпохи первоначального накопления капитала, не считаясь с законом и моралью. Тем не менее Митрофанию судили, признали виновной и приговорили к ссылке. Первоначально следствие по её делу велось в Петербурге. Прокурор петербургского окружного суда А. Ф. Кони сделал почтенной игуменье поблажку: не заключил её под стражу, а разрешил проживать в гостинице на углу Невского и Владимирского.

С этим же адресом связана скандальная история бракоразводного процесса князя Бориса Голицына. Князь, гуляка и игрок, промотал состояние в Париже и Ницце. Пытался было пустить по ветру имущество жены, но не тут-то было. Княгиня Мария и её возлюбленный, итальянец маркиз Инбоктри, затеяли бракоразводный процесс. В те времена для возбуждения дела о разводе необходимо было заручиться свидетельствами не менее чем трёх очевидцев акта «супружеской неверности» второго супруга. Существовали люди, профессионально зарабатывающие себе на хлеб такого рода показаниями. Инбоктри и Голицына за приличную мзду наняли «мастеров бракоразводных дел». Эти «свидетели» заявили, что, якобы, в 1867 году, в месяце марте (когда застоявшаяся за зиму кровь вновь бурлит в жилах), видели князя Бориса в ресторане гостиницы «Москва», где тот играл на бильярде. Проиграл и обратился именно к ним (первым, в общем-то, встречным) с просьбой дать денег под вексель. И они, добрые души, согласились. Когда через час—другой они с обещанными деньгами вошли, забыв постучать, в номер князя, то увидели его прелюбодействующим с неизвестной женщиной. Суд Консистории Петербургской епархии принял эти водеvilные показания и определил: расторгнуть брак с возложением вины на князя. По тогдашним законам это означало лишение права вторично жениться и взыскание огромных судебных издержек. Ошеломлённый князь кинулся искать милости у государя, помчался в Эмс, где в это время Александр II поправлял своё здоровье, подорванное революционным движением и семейными неурядицами. Император не стал вникать в перипетии интимной жизни знатного подданного и посоветовал тому обратиться в судебные инстанции. По жалобе князя было возбуждено дело о лжесвидетельстве, а «счастливый» брак Голицыных восстановлен.

В советские времена гостиницу ликвидировали, заняв часть её помещений под ресторан. В шестидесятых годах в первом этаже, входом с угла, открылся кафетерий от ресторана «Москва». В обиходе — почему-то «Сайгон». Знаменитое место «тусовок» ленинградской богемы времён брежневского «застоя». Беспокойный дух игуменьи Митрофании и разгульно-прелюбодейные тени княжеской четы Голицыных поселились за стёклами высоких полукруглых окон, тянувшихся цепочкой вдоль Владимирского проспекта. В новом, поздне-советском воплощении тени эти приняли облик ленинградской вольнодумной интеллигенции и околотоврческой богемы. Весьма пёстрый и говорливый люд циркулировал через эти тяжёлые двойные двери ежедневно с девяти утра до девяти вечера, на протяжении двух десятилетий.

Расцвет «Сайгона» поэтов, музыкантов и художников пришёлся на первую половину семидесятых, но и в начале восьмидесятых, когда я впервые вошёл в его напыщенное пространство, там кипела жизнь. Кто только не появлялся в этом длинном, как кишка, наполненном гулом голосов и кофеварочных машин помещении! Весь тогдашний творческий «андеграунд» (слова такого тогда, правда, не слышали) бездельничал здесь. Виктор Кривулин и Елена Шварц, Виктор Топоров и Гимур Новиков, Борис Гребенщиков и Владимир Рекшан... Поэт Виктор Ширали инсценивал это бестолковое сообщество в стихотворный ритм:

Ты подходишь к Сайгону,
чтоб одному не стоять
глаз на глаз с этим городом...

Литераторы, художники, музыканты, тогда молодые и безвестные, а теперь широко известные, узко известные или оставшиеся в вечном подполье, пили кофе и коньяк, стоя за высокими столиками, сидя на подоконниках, читали стихи, обсуждали творчество друг друга, передавали друг другу самиздатскую литературу... За ними десятками глаз и ушей следили штатные и нештатные осведомители КГБ. Ходили слухи, что в сайгонские столики (круглые и высокие, за которыми нужно было стоять) вделаны микрофоны и что всё здесь произнесённое внимательно прослушивается в Большом доме.

<...> Под сводчатыми потолками царил густой кофейно-коньячный дух. Мастерницы кофеварочного дела, Люся и Стелла, делали «простой» за тринадцать копеек, «маленький двойной» за двадцать шесть, совсем крепкий за пятьдесят две и по особому заказу, особым людям — тяжёлый, густой, за рубль четыре копейки. Другие не брались, а они делали. Во всем городе существовали еще два-три заведения, в которых кофе мог сравниться по вкусу и крепости с сайгонским творчеством Люси и Стеллы. Это — «Торты» на Невском возле метро Маяковская», где мальчик Саша умудрялся вываривать даже «шестнадцатерной», за два рубля восемь копеек, от коего голова дымилась и шла кругом; кофейня на углу Загородного и Подольской, где работала библейски-красивая старая еврейка Дора; да ещё, пожалуй, кафешка в низочке на Шестой линии, напротив метро «Василеостровская»; тамошнюю мастерницу звали Таней, и кафе так и прозывалось: «у Танечки». Это последнее заведение, как ни удивительно, функционирует и сейчас, пережив все российские перестройки, кризисы и дефолты.

По сравнению с «Тортами», Дорой и Танечкой «Сайгон» имел преимущество людности (оно же и недостаток). Здесь удобно было назначать свидания. И места было побольше, и ассортимент разнообразнее. Давали пирожные в обычном советском репертуаре: полоска, колечко, корзиночка, трубочка, эклерчик. По «маленькому двойному» и по корзиночке на двоих — как раз рубль. В дальнем углу за отдельной стойкой в алюминиевых кухонных кастрюлях дымились сосиски, котлеты, тушёная капуста и пюре. Всё было разделено: при входе, в первом отсеке — коньяк, вино, водка; в следующем секторе, две ступеньки вниз — кофе и пирожные; в самом зале — столовая пища. (Позднее этот отсек ликвидировали, и запах сосисок с капустой перестал щекотать ноздри любителей кофе.) Можно было общаться, стоя за столами, а можно сидеть на широких подоконниках: помещалось как раз три человека; или двое — и между ними чашки с «маленькими двойными». Удобно и поговорить, и передать «вату» (так почему-то называлась запрещённая литература) или входящую в моду «дурь» — лёгкие наркотики. Немудрено, что «Сайгон» был под колпаком у Большого дома. Здесь регулярно проводились облавы. Люди в штатском выискивали наркоманов, граждан без прописки и обладателей запрещённой литературы.

Как-то раз я сидел на подоконнике и мирно беседовал с Вадимом Лурье (не подозревая, что через десять лет он станет скандально известным в церковных и молodёжно-тусовочных кругах иеромонахом Григорием). Внезапно к нам приблизился, загородив пути к отступлению, массивный человек в тёмном пальто и, раскрыв красную книжечку, потребовал предъявить документы. Мой паспорт тут же был изъят и уложен во внутренний карман зловещего пальто, а мне велено следовать за гражданином в штатском. По всему кафе происходило то же самое — «винтили» людей преимущественно юных и длинноволосых. К счастью, не взяли Лурье: у него в акушерском саквояже всегда лежало не менее десяти книг и рукописей яро-анти-советского содержания; за каждую из них можно было получить реальный срок. Нас усадили в машину и отвезли в участок; там долго муржили, долго разглядывали обнаруженное в кармане моей куртки Евангелие, изданное в Брюсселе... В конце концов, пожуриив за то, что ношу длинные волосы, отпустили.

Я частенько заходил в шумное пространство «Сайгона» в начале восьмидесятых. Это было излюбленное место встреч с юными поэтами и поэтессами из лито Сосноры, с птенцами археологического гнезда Дворца пионеров. Чаше всего меня поджидал здесь Димочка Лурье. Он из всей нашей компании был самым закоренелым сайгонским завсегдатаем. «Сайгон» служил ему не только кафетерием и буфетом, но также рабочим кабинетом, а порой, на минутку-другую, и спальней. Расположившись на широком подоконнике, Димочка вечно что-то писал, читал бесчисленные книги, а точнее, проглатывал их почти с той же скоростью, что и сайгонские пирожные с белковым кремом «цвета дамского белья» (по Димочкиному же выражению). Тут же мог и соснуть минут пятнадцать, прислонившись к стеночке. Рядом с ним обязательно стояла чашка с «маленьким двойным без сахара». Кофе с сахаром Лурье не только сам не пил, но и знакомым не позволял. «Как вы можете пить эту гадость? Кофе с сахаром — это отвратительно!» И большинство друзей и особенно подруг, вздрогнув, переходили на горько-благородную кофейную диету.

Кроме всего прочего, «Сайгон» был местом знакомств, очных и заочных. Сейчас не вспомню точно, с кем именно познакомился в «Сайгоне» или о ком впервые услыхал в тутошних бесконечных беседах. Однажды, зайдя сюда утречком, обнаружил в небольшой очереди к Стелле темноглазую девушку в проливных одеждах, виденную мною прежде в лито Сосноры. Её окружали несколько юношей решительного вида. Девушку звали Оля Матюшкина. Её комната на Большой Московской, дом 6, на несколько ближайших лет стала местом постоянного кипения молодой творческой жизни. Поэтические души из лито, молодые художники, околелитературные девушки и, конечно, разновозрастные выходцы из кружка археологии Дворца пионеров чуть ли не круглые сутки приходили к Ольге, сидели, пили чай, читали стихи — словом, общались. Те серьёзные юноши, составлявшие Ольгину свиту в «Сайгоне», оказались именно археологами. Один из них был Лёша Ковалёв, по прозвищу «Китаец», ныне — руководитель археологических экспедиций и депутат Законодательного собрания, другой (если я ничего не путаю) — Андрей Мазуркевич, научный сотрудник Эрмитажа и тоже начальник экспедиций. В «Сайгоне» же, в разговорах с Лурье, Ольгой и их приятелями, я заочно познакомился и с Костей Чугуновым, в экспедициях которого потом много лет работал. В том числе и в знаменитой экспедиции, исследовавшей царский курган Аржан-2 в Туве, в главном погребении которого сохранились потрясающий золотой убор и оружие старика царя и молодой царицы.

Жизнь, кипевшая внутри «Сайгона», выплескивалась наружу. Возле дверей всегда клубилось человеческое облако. Выходили покурить, поговорить, отдохнуть от гама, подождать на свежем воздухе приятелей, с коими было назначено свидание в «Сайгоне». Стояли, курили, болтали, снова шли занимать очередь за «маленьким двойным» или «маленьким за пятьдесят две». Как в жаркий день на

плеще: люди выходят из солёных морских волн, ложатся на песок, гоняют мячик, перекидываются в карточки — и снова в воду. Тут и там виднелись знакомые физиономии, владельцев коих я не знал по имени, но которые регулярно появлялись то на квартирных выставках, то на стихотечениях, то на полуподпольных рок-концертах. Кое-кто приползал сюда из хипповской публики, анемично тусующейся «на Казани» — под колоннадой Казанского собора.

Не могу сказать, что я любил «Сайгон». Я любил кофе. И ежели слонялся без дела по городу, то ноги сами приносили сюда. Сердце приятно согревалось, когда издали случалось завидеть небольшую фигурку Димочки Лурье с огромным мешком книг на плече. В дверях столкнуться с Машей Трофимчик (ныне, увы, покойной поэтессой и переводчицей Толкина). За столиком в глубине сайгонской «кишки» узреть долгополое пальто Сергея Васильева — Васи, доброго гения «Группы спасения памятников истории и культуры»... Впрочем, «Группа спасения» — это уже самый закат «Сайгона», последние годы его жизни.

Своего рода символом позднего «Сайгона» был некто Колесников, профессиональный нищий и поразительный выдумщик всяких историй: <...> как он был капитаном подводной лодки, лётчиком-испытателем, танкистом в Афгане, кагэбэшником, настоятелем храма... <...> Как-то, в середине 1980-х, зашёл я во Дворец пионеров на юбилей литературного клуба «Дерзание» и, к величайшему изумлению, увидел там Колесникова, при галстуке, в костюме-тройке с иголочки. Оказывается, и он когда-то состоял в «Дерзании», и он был поэтом. Впрочем, кто тогда не был поэтом? Наркоманы, хиппи, рок-музыканты и стукачи, завсегдатаи сайгонских подоконников — все что-то писали, что-то читали друг другу. Потом настала перестройка, и поэзия куда-то подевалась. Видимо, в связи с нехваткой поэтов, «Сайгон» закрыли. А потом открыли — на новом месте. Совсем другой. Ненастоящий.

Вадим Лурье (игумен Григорий)

ДЕТСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ИЛИ В КАКОМ «САЙГОНЕ» Я ВЫРОС

«Сайгон» городских легенд последнего десятилетия, «Сайгон» эпических произведений вроде песни Умки «Маленький двойной», или, попросту говоря, «Сайгон» русского рока — это совсем не тот «Сайгон», в который ходил я.

Я ходил туда постоянно, почти каждый день, до 1982 года. Очень хорошо помню, как в этом последнем моем сайгоновском году непривычно выглядели в очередях за кофе «волосатые» от «Казани» (колоннады Казанского собора — места главной хипповской тусовки ещё с 1970-х). Как-то я заметил такую пару, и в голове отщелкнуло: что-то переменялось. А уже в 1983-м «волосатые» задавали тон... Тогда и начался тот «Сайгон» русского рока, память которого увековечила Умка.

Но «Сайгон», куда я пришел восьмиклассником в 1976 году, был совсем другим. Да, это в нем постоянно происходили сцены вроде «Мы познакомились с тобой в Сайгоне год назад». И даже песни по их поводу слагались Майком Науменко уже тогда, в 1970-е. Но это были просто сцены из жизни и просто песни про сцены из жизни — а не драматические постановки в сакральном пространстве русского рока. Хотя и тогдашнее пространство «Сайгона» было сакральным — но по-другому сакральным. Русский рок мог начать развиваться лишь внутри этого пространства, но где-то на периферии, где его мало кто замечал. А первые рокеры на это иногда обижались: песня Майка «Салоны» — как раз про центры той культурной жизни, внешней дверью в которую был дорокерский «Сайгон»:

Здесь все таланты: поэты, музыканты,
Художники разных мастей,
Здесь каждый третий — непризнанный гений,
Но много и других гостей...

Можно было говорить все что угодно про непризнанных гениев, но, если бы не они, тем, кто относил себя к числу «других гостей», было бы некуда приходить. Так что обо всем по порядку.

Предыстория

Только несколько лет назад я узнал*, что и в моей личной судьбе онтогенез был повторением филогенеза. Моя личная судьба повторила судьбу петербургского андеграунда как целого: все начиналось на Малой Садовой, а продолжалось в «Сайгоне».

Дело в том, что в «Сайгон» я пришел хотя и относительно малолетним, но уже законченным кофеманом. Вообще сомневаюсь, что я стал бы туда так регулярно ходить, если бы не моя тогдашняя кофемания. Тогда я даже о советских концлагерях (на которые было необходимо настраиваться) думал, прежде всего, в одном аспекте: как я там буду без кофе? А кофеманом я стал еще в восемь лет, и именно на Малой Садовой, в 1970—1971 учебном году. Тогда я учился во втором классе.

У моего тогдашнего школьного друга обнаружили дома мешочки с дореформенной серебряной мелочью (монетки достоинством в двадцать копеек до 1961 года выпуска): его родители их собирали, надеясь, что после деноминации они останутся в ходу, но не угадали. Так что спустя десять лет эти несколько килограммов мелочи оказались в нашем полном владении. Как-то раз мы обнаружили, что кассы-автоматы в магазине «Кулинария» (филиал Елисеевского гастронома, где один зал занимал кафетерий) на Малой Садовой принимают старые двадцать копеек за новые три копейки. А чашка черного кофе стоила пять копеек (восемь — двойной). В общем, мы стали завсегдатаями. Что пить черный кофе очень приятно и правильно, я понял гораздо раньше, еще в семь лет, научившись от мамы. Но тут это дело оказалось поставлено на поток.

В кафе тетеньки, которые варили кофе, нас знали и любили. Встречали приветствием: «А, опять кофейники пришли!» Мы и впрямь были похожи на кофейники: мало того, что восьмилетки, так мы еще были самыми маленькими в классе, а зимняя одежда нас сильно округляла.

Конечно, мы бы не могли тогда объяснить, что за люди в этом кафе нас окружали. Но точно, что эти люди создавали такую обстановку, которая казалась своей, и к которой притягивало.

Все это хождение на Малую Садовую продолжалось только один учебный год, а потом как-то закончилось. То ли закончились деньги, то ли как раз подоспело закрытие кафетерия (если не ошибаюсь, в 1972 году). Андеграундная публика окончательно переместилась в «Сайгон», а я временно отошел от светской жизни.

Но год этот не прошел даром. Видимо, тогда в моей голове настроился приборчик, различающий социально «своих» от социально «чужих». На Малой Садовой мы не знакомились ни с одним из завсегдатаев, но именно на той публике у меня отработался стандарт восприятия человека как «своего».

* Прочитав разное, из которого главное на сегодня — книжка Андрея Гайворонского «Сладкая музыка вечных стихов. Малая Садовая» (СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2004).

Так как в человеческой жизни обычно повторяются одни и те же сюжеты, то повторилась и Малая Садовая. В 1982 году моим духовником стал относительно молодой иеромонах, разумеется (как и я) вполне порвавший со своим дореволюционным литературным прошлым, — и поэтому я тогда не знал подробностей его светской биографии. Но уже не так давно я узнал их из печатных источников о Малой Садовой: там он был известен как «Дм. М.»*, один из наиболее запомнившихся поэтов круга Малой Садовой, соавтор Владимира Эрля по манифесту созданной ими литературной группы «Хеленукты». В манифесте хеленуктов (В. Эрль, Дм. М., 1966) был сформулирован тот принцип, который и не допустил нас с Дм. М. остаться в литературной богеме, хотя еще большой вопрос, привел ли он нас к чему-то более полезному: *Лучше нас никого нет, да и вообще никого нет.*

Воспринятый всерьез, этот принцип выводит не только из литературной богемы, но и вообще из реальности.

Знакомство

Особо знакомиться с «Сайгоном» мне было не надо, так как я там совсем рядом жил, в «толстовском» доме между Рубинштейна и Фонтанкой. Но почему-то долго не замечал, что это какое-то особенное место. Обычно проходил мимо. А как-то раз, осенью 1976-го, случайно зашел — да и остался на много лет.

Там было что-то вдохновляющее и захватывающее. Если бы я уже тогда умел писать стихи (и, к тому же, был женщиной — впрочем, это несущественно), то я бы, конечно, написал стихотворение покойной Анны Горенко:

в городе где темные соборы
где зато блестящие газоны
я фаянсовый стакан позора
жадно выпив встала у Сайгона
кровельным железом смотрит небо
не мечтаю жребия иного
я любая справа или слева
от ворот прекрасного Сайгона

Кофе всегда в белых фаянсовых стаканах без ручек, кровельное железо повсюду вокруг, если смотреть вверх по диагонали... Точность акмеиста. Точность, доступная только поэту, который умеет видеть главное.

Идеальным поэтом «Сайгона» стала Анна Горенко. За одно это стихотворение. Не Бродский, не Кривулин, не Майк Науменко, не БГ и даже не «вообще московская» Умка. Анна Горенко сумела увидеть главное и совсем не отвлекаться на мелочи, о которых обычно писали другие. Нужно ли говорить, что она сама так и не побывала физически ни в «Сайгоне», ни даже вообще в Петербурге?..

Для посещения «Сайгона» у меня были самые благоприятные условия. Школа находилась близко, в Графском переулке, так что выпить кофе я успевал на больших переменах. Но, кроме перемен, у нас были еще уроки физкультуры, на которых учительница требовала только одного: чтобы мы не шлялись по школе и не говорили, что у нас свободный урок. Поэтому занятия физкультурой также переносились в «Сайгон». Иногда туда ходили мои одноклассники, но они чаще предпочитали пойти к кому-нибудь домой покурить, а в «Сайгон» я чаще всего шел один. Само собой,

* <http://magazines.russ.ru/nlo/2003/62/erl.html>

что в «Сайгон» можно было ходить и по вечерам, хотя в то время вечера чаще отводились общению со сверстниками, а они моей страсти к «Сайгону» не разделяли.

Погружение в «Сайгон» сразу же изменило сознание. По непонятной мне до сих пор причине, я внезапно увлекся поэзией, к которой раньше был равнодушен. Хотя я с детства знал наизусть длиннющие баллады Жуковского, но они меня увлекали исключительно своим содержанием, и я не задумывался, стихи это или не стихи. В «Сайгоне» я по-прежнему не знал никого из поэтов, но они меня и не интересовали: я чувствовал, что справлюсь и сам. Да я и не знал тогда, в самые первые месяцы, что в «Сайгоне» собираются поэты.

В первые же дни сайгоновской жизни я написал оду «К Сайгону» (видимо, увлечение русской поэзией XVIII века началось одновременно). Вероятно, мне хотелось написать нечто такое, что впоследствии написала Анна Горенко. Но я уж написал, как умел. А умел я, разумеется, никак. То есть никак не умел. Собственно, всё было сказано в самом начале:

Сайгон, о край обетованный!
Неизъяснимо ты красив!
Сюда не влезет дядя пьяный,
И кофе тут дают в разлив...

Тут, конечно, хочется сразу сказать «гмм...». Гмм-то оно, конечно, гмм, но это «гмм» (прекрасно помню) я говорил себе прямо когда сочинял: образы очень даже пьяных дядь, всегда сидевших на подоконнике в небольшом тамбуре перед выходом на улицу, уже и тогда проносились пред моим мысленным взором. Но я ничего не мог с собой поделать. Чувство некоей высшей правды требовало настаивать на их несуществовании.

Сейчас я прекрасно понимаю, что я просто увидел тот «Сайгон», о котором написала Анна Горенко. А не тот «Сайгон», в предбаннике которого сидели полубомжи и внутри которого толкались сильно пьющие поэты предыдущего поколения. В ближайшие месяцы именно в «Сайгоне» мне предстояло осознать, что меня категорически отталкивает культура людей, которые регулярно пьют портвейн. Уточню для современного читателя, что «портвейном» в данном контексте именуется особый священный, но очень дешевый напиток тех лет, а вовсе не благородное вино португальского происхождения.

Майк Науменко, который тоже терпеть не мог портвейн, — он любил ром, — все-таки приспособливался к окружавшей его культуре и даже упоминал его в своих текстах. Но Майк был на семь лет старше меня. Он, как и БГ, принадлежал хотя и к самой младшей части, но еще предыдущего поколения. А мне не надо было приспособливаться. Как раз в «Сайгоне»-то я и понял впервые, что к этому поколению меня не тянуло.

В 1980 году Евгений Звягин, представитель «того» поколения, напишет трогательную повесть о жизни этих людей, пивших портвейн, интересную тем, что она не столько о них самих, сколько об их жизни. Как всякая жизнь, эта жизнь гораздо интереснее тех людей, которые ею живут. Женин текст, несколько десятков страниц машинописи, назывался «Сентиментальное путешествие вдоль реки Мойки, или Напиться на халяву». Теперь эта повесть где-то опубликована*, но я ее не перечитывал с какого-нибудь 1981 года, когда она ходила по «Сайгону» в самиздате. Совершенно не помню никаких подробностей, но хорошо помню это

* Впервые в «Континенте» за 1988.

впечатление, которое тогда она у меня оставила. Евгений тогда же написал еще один хит — статью под названием «Что такое «богемные христиане»» (опубликована в «Континенте» за 1989), очень ценное полевое этнографическое исследование по религиозности той же самой среды.

Но вернемся в конец 1970-х.

Убежище

С 1977 года «Сайгон» стал для меня главной средой обитания. Мы переехали из «толстовского» дома в отдаленные северные районы, где тогда не было даже метро. Девятый и десятый классы я заканчивал неподалеку, в обычной школе, где, впрочем, необычным был классный руководитель, пожилой учитель физики. Он мне давал почитать стихи Бродского в автографах (я тоже давал ему стихи Бродского — перепечатки из тамиздата, с которым у него было хуже), от него же я узнал вообще много хорошего, не только о физике, которую мы оба любили. Жаль, что как раз незадолго до нашего знакомства у него возникли какие-то осложнения с КГБ, и он сжег на пустыре основную часть своего архива. Тогда шла вторая половина 1970-х: после массированного выпихивания из страны почти всего его прежнего круга общения прошло лишь несколько лет. (Жив курилка! Только что нашел его сегодняшнее сообщение на форуме «Эха Москвы», где он всю возмущается фильмом о Тихоне Шевкунова, который якобы про Византию!).

Почему еще я тут вспомнил о Бродском: в самом конце 1970-х я очень любил его стихи, но остальные поэты его поколения мне казались, особенно на его фоне, совершенно убогими. Сейчас я уверен, что это была дикая несправедливость с моей стороны. Так, несколько лет назад я переоткрыл для себя Елену Шварц, причем те же самые ее стихи, которые вызывали такую аллергию тогда. А со стихами Сосноры я познакомился всерьез в 1980 (чуть позже, чем с ним самим), и еще тогда убедился, что русская поэзия, к счастью, не вся превратилась в «наследие Мандельштама». Но что было, то было. Было, вероятно, усиленное желание отрицать старших, чтобы обрести собственную идентичность. Сайгоновские поэты, которых я теперь все время наблюдал вблизи, воспринимались как «то, что осталось после Бродского». Что-то вроде отстрелянной гильзы.

Самым колоритным среди них был благообразный и бородатый человек на костылях, с ногами, как бывают после полиомиелита. При моей плохой зрительной памяти я, наверное, только его и запомнил. Много позже, в начале 1980-х, он стал иногда бывать на службах в храме Духовной академии, и там уже я узнал, что это Виктор Кривулин. Впрочем, лично знакомы мы никогда не были. Почему-то я считал его главой того направления андеграундной поэзии, которое меня (по моей молодости и глупости) всегда раздражало. Конечно, при всех разногласиях, эти поэты кривулинского круга (собранные чуть позже, в 1981, — посредством настоятельных рекомендаций из КГБ, но также и по собственному желанию — в «Клуб-81»), безоговорочно воспринимались как люди, творящие поэзию, хотя и плохую. То, что официально печаталось в СССР, априори считалось «советским дерьмом», находящимся вне литературы вообще.

От «Сайгона» до дома был час пути. Поэтому, уехав после школы в центр, я уже болтался там до самого вечера, и на долю «Сайгона» почти каждый день выпадало сколько-нибудь времени.

Сейчас я осознаю, что это тусовочное место в те годы меня спасло. В молос-ти очень важно научиться работать. Работать всегда приходится одному, не с друзьями. То есть нужно время для уединения, а его-то обычно и нет. Но в те годы (говоря о 1977—1979) почти все мои друзья были в кружке археологии Дворца

пионеров и тогда еще не ходили в «Сайгон». Археология для меня не была сферой научного интереса. Мое увлечение археологией как наукой продолжалось порядка одного года в первом классе, но я никогда не бросаю окончательно своих прежних интересов, и они нередко приносят большую пользу тогда, когда пик их давно прошел. Так было и с археологией. Она доставила мне лучших друзей и дала бесконечное количество всяких сведений для расширения кругозора. Но для науки мне требовалось что-то другое, и для этого «чего-то» так или иначе требовалось уединение. Тут было мало Публичной библиотеки, куда я начал ходить в том же 1977 году. Нужно было просто много времени, чтобы читать дома. Таким домом и стал «Сайгон». Там можно было просидеть на подоконнике с книжкой и час, и два. Да еще и записи делать.

Это было интересно, а знакомиться с сайгоновскими завсегдатаями интересно не было. Кой-какие знакомства все же происходили, но я больше всего ценил тогда «Сайгон» как зону своей личной свободы. Туда же я приходил со своими первыми и редкими знакомыми, появившимися в околonaучной среде. Она тогда для меня сосредотачивалась в двух местах: в лекциях Льва Николаевича Гумилева на географическом факультете и, главное, в спецкурсе и спецсеминаре Владислава Евгеньевича Холшевникова по стиховедению на филологическом факультете. При этом я учился в школе и поступать собирался на химический, так что параллельно ходил на малый химфак — и тоже с большим удовольствием. Химфак мне был нужен для завершенности образования, которое я непременно хотел видеть естественнонаучным, а также для работы потом в каком-нибудь советском институте, где получают маленькую зарплату, но зато ничего не делают. Там я собирался заниматься своими делами и печатать на западе статьи по чему-то похожему на философию. Философско-гуманитарные интересы отрезали в те годы возможность делать карьеру советского ученого: я бы не согласился поганить свои любимые предметы изучения и собственные мысли о них советским «новоязом» и отвратительными именами «классиков».

Тогда я не понимал рационально, но понял интуитивно, что андеграундная научная биография — биография действительно независимого ученого при советском строе — больше всего зависит вовсе не от успеха борьбы с ненавистными коммунистами, а от успеха борьбы с любимыми друзьями и с собственным желанием проводить время с ними, а не с книжками.

И тут «Сайгон» стал убежищем — как раз на те годы, когда это было критично, так как потом я уже и сам выработал внутренний ритм чередования работы и общения.

Где-то в конце 1979 года мои друзья моего же возраста стали, наконец, составлять заметную прослойку в «Сайгоне». Теперь, приходя в «Сайгон», я имел очень большой шанс встретить кого-то, с кем придется разговаривать. Хорошо помню, что уже именно за этим — чтобы встретить кого-то — я пришел в «Сайгон» в первый день «нулевого года» — 1980. Значит, уже к этому времени значение «Сайгона» в моей жизни переменялось.

Салоны

К 1980 году было покончено со школой (советская школа все-таки создавала усиленное ощущение своей зависимости от коммунистической власти: ты там был как-то очень уж на виду). Я уже умел быстро печатать на машинке и был счастливым собственником оной — сначала довольно громоздкой «Москвы», а потом гораздо более компактной югославской, любимой машинки тогдашней интеллигенции. У меня была привычка уходить из дома на целый день, захватив с собой

книги на все случаи жизни и печатную машинку. Поэтому я повсюду ходил с изрядной торбой. На подоконниках в «Сайгоне» я удобно располагался с машинкой на коленях, и никто мне не говорил худого слова, так как на фоне общего гомона стук клавиш никого не донимал. Тогда же у «Сайгона» появился как бы филиал на Певском — кафе при магазине «Торты. Пирожные», быстро получившее название «Огрызок», что подразумевало «огрызок “Сайгона”». Формально это были разные заведения, но фактически одно. Там тоже было удобно сидеть с машинкой на чем-то вроде подоконника, а машинку можно было поставить даже на стол, но места было мало. Зато до сих пор с благодарностью вспоминаю тамошнюю стенку, општукатуренную, с какими-то декоративными пупырышками. О них было очень удобно почесывать голову, в чем была почти постоянная нужда, так как мыть ее при таком образе жизни приходилось не вполне часто.

В это время мы уже много бывали в «Сайгоне» с друзьями и составляли очень приметный сегмент тамошних завсегдатаев. Происходили и разные смешные истории.

Так, тоже году в 1980-м, мы довольно долго сидели в «Огрызке» с Чугунеем (ныне известным археологом Константином Чугуновым), а потом вышли, под его рассказ про какого-то человека, который забыл где-то в публичном месте сумку с «Архипелагом ГУЛаг», а у него эту сумку украли... Тут в нас что-то екнуло, и мы спохватились, что сами оставили в «Огрызке» свою собственную сумку, где тоже лежал «Архипелаг ГУЛаг», а также, вероятно, немало предметов, по которым можно было отыскать хозяина... Прошло уже около получаса. Мы пережили незабываемые минуты колебаний — в какую сторону нам идти. Решили все-таки, что народа там много и сумку могут не успеть принять за бесхозную. Так что пошли назад — и не ошиблись: наша сумка стояла на месте, и никакие агенты КГБ нас не караулили. В те годы с «Архипелагом» у КГБ были строгости. Какие-то знакомые знакомых решили подшутить: один назначил другому встречу по телефону, сказав, что принесет «Архипелаг», и принес какую-то дурацкую книжку под названием «Таинственный архипелаг», но обоих все равно взяли и устроили им какие-то неприятности.

В «Огрызке» осенью 1980 года я познакомился с Валентином Марией. Или, лучше сказать, это он со мной познакомился. Сейчас легко узнать из Интернета, что его имя «в миру» Валентин Самарин, что он 1928 года рождения и до сих пор успешно работает в Париже. Это современный классик авангардной фотографии. Но тогда я его знал только под теми именами, которыми он представлялся: Валентин Мария и Тиль. Тогда он организовывал постоянно действующую домашнюю выставку живописи.

За несколько месяцев до этого из страны была выдворена Юлия Вознесенская, которая оставила в распоряжение Валентина внушительную коллекцию наших андеграундных художников. У Тили была и собственная коллекция, да и все художники были его друзьями. Так что получилось нечто очень внушительное.

Как он сам объяснил, он решил познакомиться со мной и моей спутницей (которая мне была совсем не то, что он подумал, хотя я и часто появлялся с ней вдвоем) исключительно потому, что мы ему понравились внешне, а за внешним, как он, опять же, сам объяснил, он видит внутреннее. Так что потом в течение года я несколько раз ходил на его выставку. Получив постоянное приглашение туда заходить вдвоем, я истолковал его как право водить туда всех своих друзей, но, увы, исключительно женского пола. Иначе было бы невежливо: когда приходишь с дамой, ты все равно считаешься за одного человека, а когда с не дамой, то за целую компанию.

Все продолжалось чуть больше года. Выставку в КГБ категорически не одобряли. Нередко в квартиру ломилась милиция, один раз — по дурной привычке 1970-х — устроили поджог и заставили переменить квартиру. В конце концов, Валентина арестовали и вскоре заставили «добровольно» уехать из страны, так что с начала

1981 года он живет в Париже. Сами по себе даже поджоги тут не могли бы особенно повлиять: Валентин рассказывал, как еще за несколько лет до этого при организации подобных выставок в коммунальной квартире «случайно» загоралась именно нужная комната (тогда считали, что это так точно поджигают напалмом; но я в это плохо верю — слишком сильное средство). Да и некоторые картины из собрания Юлии Вознесенской были интересны исключительно своим героическим прошлым, то есть своей обгорелостью. Это, впрочем, вполне заслуженно заставляло их ценить наряду с теми картинами, которые отличались собственно живописью.

Кстати о Юлии Вознесенской. Ее имя тогда никак не связывалось с нынешней авторшей православных «фэнтези» и суровой бабушкой форума дьякона Андрея Кураева. Тогда она внушала уважение: во-первых, как отчаянная диссидентка, а, во-вторых, как феминистка — ведь Юлия была выслана по делу журнала первых советских феминисток «Мария». В идее феминизма тогда виделось нечто особенно отчаянное и поэтическое — именно в силу ее некоей внутренней абсурдности. По тому же самому делу были выпихнуты Наталья Малаховская, с младшей сестрой которой, Машей, мы почти дружили, и Татьяна Горичева, с которой я познакомился лишь в конце 1980-х, но о которой уже тогда мне рассказывал мой учитель физики, с ней приятельствовавший. Тогда она поражала мое воображение как пример: живя безвыездно в СССР, она занималась философией и находилась в переписке с Хайдеггером. Тот же учитель физики подарил мне, еще в школьные годы, сделанный Горичевой перевод пьесы Эжена Ионеско «Лысая певичка», с которой начинался театр абсурда во Франции (а, вероятно, и некоторые увлечения самой Горичевой — вроде того же феминизма). Этот перевод вызвал у меня острейшее желание перевести все заново самому, что я и выполнил. Вряд ли этот мой опус представлял художественную ценность, но так я еще в школьные годы приучился к чтению на французском.

С Валентином у нас установилась устойчивая симпатия, но его окружение меня напрягало. Это был весь художественный и художественно-критический андеграунд — еще один заметнейший сегмент среди завсегдатаев «Сайгона». Конечно, я там почерпнул много для себя важного. К тому времени я уже довольно много лет как оставил мысли о собственных занятиях живописью, но еще вполне рассматривал себя как потенциального искусствоведа. В те годы я бы никогда не мог представить свою нынешнюю слепоту по отношению к какому бы то ни было изобразительному ряду. Но и тогда мне было понятней послушать искусствоведов (разумеется, тоже вполне андеграундных; Юрия Новикова можно было даже не слушать — он держался так, что было достаточно просто смотреть). Благодаря им, я до сих пор кое-как представляю себе развитие русской живописи в советский период — от Филонова через Стерлигова. Не знаю, как за московским, но за петербургским художественным андеграундом стояла вполне добротная художественная традиция (хотя, конечно, не ко всем участникам подобных вернисажей эти слова применимы буквально).

Валентин тогда всячески рекламировал, даже через самодельные цветные фотоальбомы, своего молодого друга Александра Исачева, который жил тогда где-то не в Петербурге. Правда, его картины не у всех вызывали такой же энтузиазм, как у самого Валентина. Меня они оставляли равнодушным, и даже религиозные сюжеты на некоторых из них мною как религиозные не воспринимались. Уже тогда создавалось впечатление, что Исачев — это какой-то рано умерший талант. Он и действительно прожил не так уж долго: умер, правда, только в 1987, но в возрасте тридцати двух лет. А среди тех молодых художников, которые постоянно общались с Валентином и помогали ему, мне особенно запомнился Тимур Новиков, впрочем, тоже рано умерший (1958–2002). Тимур был очень заметен и в «Сайгоне»,

где вокруг него всегда крутились разные люди. Так, от Исачева я запомнил только картины, а от Тимура только его самого.

Вернисаж Валентина, за вычетом самих картин, как раз и был одним из тех «салонных», о которых ехидно шептал Майк Науменко. Поговорить там было все-таки не с кем, так как нельзя было нарушать общий тон непринужденной болтовни. Когда народ расходился, можно было задержаться в узком кругу, но тогда пришлось бы пить, — не факт, что портвейн, но разговора все равно не получится.

Все эти годы я вспоминаю Валентина с большой благодарностью. Как оказалось, он сильно повлиял на мое воспитание.

Социальные меньшинства

Само собой разумеется, что в «Сайгоне» и вообще в андеграунде было принято хорошо относиться к православию. «Практикующая» религиозность (не обязательно православная, но чаще всего она была именно православной) воспринималась как один из достойных модусов жизни и вызывала доверие, так как православный человек (если он не церковный функционер) заведомо не мог быть советским. Всего таких общеизвестных социальных маркеров не сознательно-принципиальной, но в то же время и заведомой нессоветскости было только два, и они воспринимались приблизительно одинаково позитивно: православие и гомосексуализм. То и другое было для большинства старшего поколения сайгоновцев легкой экзотикой, чем-то, к чему относишься с чувством «это не для меня», но с уважением и доверием. Не то что непримиримых, но и вообще особых противоречий между тем и другим не видели, так что можно было, не шокируя публику, сочетать то и другое.

Таковы были тогда довольно широко распространенные установки в обществе, и они, безусловно, помогали митрополиту Ленинградскому Никодиму Ротову решать две задачи одновременно: привлекать к церкви образованных людей и формировать внутри церкви свой собственный клан — «голубое лобби», которое после смерти митрополита Никодима (1978) только усиливало позиции. Общество влияло на церковь, и церковь на общество, а результат повсюду был одинаковым: сближение православной субкультуры с субкультурой гомосексуалистов — благо положение тех и других в советском обществе было достаточно схожим. Православие, в отличие от гомосексуализма, не считалось уголовным преступлением, но и статья за гомосексуализм применялась обычно лишь к тем, кто чем-то другим досаждал власти.

Оказавшись в 1982–1983 годах в среде Ленинградской Духовной академии (еще в тот период, когда память митрополита Никодима там возводилась едва ли не в культ), я тогда не мог понять, почему так многое там напоминает «Сайгон». Еще через несколько лет я уже представлял себе, насколько, по своему тогдашнему неопитству, я переоценивал в этом роль портвейна и, напротив, недооценивал роль гораздо более могущественного фактора духовного единства.

Еще не будучи православным, я оказался на Пасху 1981 года на более Никольского собора. Туда пускали только по специальным билетам. Лично мне билет достался через маму моей подруги, которая работала секретарем большого начальника в Марининском дворце (исполкоме Ленсовета). Не удивительно, что я там встретил немало знакомых, особенно по «Сайгону» и особенно тех, кого у меня были основания причислять к записным сайгоновским «голубым». Уж откуда достали билеты они — я и предполагать не пытался, но, помнится, мне их пребывание среди привилегированной публики казалось тогда естественным. Судя по их поведению во время службы, они были не более православными, чем я, но им было искренне интересно.

Кажется, именно с тех пор эти «голубые» меня зауважали и стали пытаться познакомиться. «Подъехать» ко мне надо было как-то интеллектуально. Поэтому

и я мог в ответ спросить: а вы, мол, чем занимаетесь? Это тогда был у меня такой стандартный вопрос, в ответ на который предполагалось называть область научных занятий. Уже спустя годы я прочитал у Лескова, что почти так же спрашивали друг друга нигилисты 1860 годов: «Над чем работаете?» «Над Боклем работаю», — отвечала героиня романа «На ножах». На мой вопрос «чем занимаетесь?» собеседник, разумеется, не стал резать правду-матку, а ответил сбивчиво, слегка растягивая слова: «История, философия...» Я запомнил его ответ дословно, он и до сих пор служит для меня эвфемизмом пидарского (как теперь говорят, «в плохом смысле слова») отношения к науке.

К счастью, записные сайгоновские «голубые» не были религиозными, а записные сайгоновские православные были гетеросексуальны. Одна моя знакомая барышня, подводя итоги роману с одним из таких, любила приговаривать: «Он меня научил пить, курить, в церковь ходить». В этом, собственно, и состояла формула «богемного христианства», как определил это явление Евгений Звягин.

За все время пребывания в «Сайгоне» мне не пришло в голову отнестись к «богемному христианству» как к явлению религиозному. В моем сознании оно стояло строго в одном ряду со своим братом по социальной нише. Но, тем не менее, религиозные явления в «Сайгоне» тоже встречались, и они были причудливы. Лично я знал таких только два.

Колесников

В «Сайгоне» в течение почти всей его истории был свой живой православный талисман — Витя Колесников, фамильярно называемый (но мною — никогда!) «Колесо». Кажется, Витя был там с 1964 года (то есть вполне возможно, что он не врал, что был там с самого 1964) и досидел «до звонка» — до самого 1989-го. В «мое» время ему было около сорока. Впрочем, внешность сильно пьющего человека всегда обманчива.

Витя был инвалид, волочивший ногу, но, впрочем, чаще всего обходившийся без костыля. Для широкой публики он был просто попрошайкой, который, находясь в неизменном легком подпитии, стрелял копейки на кофе и на выпивку и взамен развлекал своей болтовней ни о чем. Обычно ему все подавали. Сейчас подумал, как бы сформулировать, почему? Но так и не смог сформулировать. Просто как-то нельзя было ему не подать. Он знал, о чем просил. За все годы в «Сайгоне» другого официального попрошайки не завелось.

Для избранного круга друзей (в него входило несколько сотен сайгоновских завсегдатаев) Витя был православным монахом. Этой репутации содействовала его православная внешность (с жидкой, но от этого еще более статусно-православной бородой) и не могло помешать уже ничто. Даже периодическое появление в «Сайгоне» какой-то женщины, представлявшейся самим же Колесниковым как его жена. Колесников на прямой вопрос о его церковном статусе отвечал разным собеседникам по-разному. Всегда пребывая в постоянно изменяющихся состояниях своего измененного сознания, он, скорее всего, воспринимал сам себя как некий спектр или континуум, а не зафиксированную раз и навсегда точку.

Лично мне в ответ на прямой вопрос он представился «иеромонахом» и, в подтверждение, открыл свою авоську, где лежало свернутым какое-то черное облачение. Тогда я еще не знал, что это его рабочая одежда и что она называется «подрясник». Кстати, тогда я вообще много чего не знал. Хорошо помню, что именно в этом разговоре с Колесниковым я впервые услышал слово «иеромонах». Дело было приблизительно в 1980 году. Так я понял, что «иеромонах» — это, вероятно, что-то хорошее.

А Колесников, несомненно, был «чем-то хорошим». Терапевтический (как я бы выразился сейчас) эффект от его болтовни ощущали очень многие: не только я, но и люди старшего поколения (можно почитать на просторах Сети, как о нем отзываются Сергей Белов, автор «Петербургa Достоевского», или Константин Кузьминский).

Основные финансовые поступления Колесникову приходилось зарабатывать. В последующие годы, став православным, я не раз наблюдал его «при исполнении». Он надевал свой подрясник и шел в храмы на дни храмовых праздников или в другие праздничные дни, когда немногие открытые тогда церкви бывали битком набиты. У него был идеальный вид для собирания милостыни при работе в формате странника. Тогдашние бабушки почитали за благословение Божие поделиться с таким копеечкой.

Вообще говоря, сейчас трудно представить, как легко было тогда, в начале 1980-х, собирать милостыню. Стоило мне в моей обычной одежде (обтрепанной не более, чем было принято по тогдашней молодежной манере), — той, в которой я ходил университет, — слегка приостановиться в Печерском монастыре у церковной паперти, как верующие бабушки и тетеньки немедленно начинали подавать милостыню. То же самое случалось даже у окруженной глухим забором часовни блаженной Ксении на Смоленском кладбище. Приходилось объяснять, что я не имею права принимать милостыню, так как не являюсь ни нищим, ни странником, то есть их милостыня на самом деле предназначена не для меня. Думаю, что для Колесникова в его подряснике тут была золотая жила. К сожалению, он часто сам портил дело, приходя на работу в сильно разгоряченном состоянии и с сильным перегарным выхлопом. Это обижало верующих бабушек и не могло не иметь финансовых последствий.

Витя, конечно, иногда раздражал. Но все же не могу сказать, что мои воспоминания о нем амбивалентны. Они однозначно положительные.

Арчи

Амбивалентно, но не менее ярко мне вспоминается Арчибальд, или Арчи, во многих кругах представлявшийся «отцом Александром». Мы познакомились в «Сайгоне», пожалуй, в 1981 году, а потом в течение тринадцати или четырнадцати лет наши пути постоянно пересекались, нередко напрямую, а чаще косвенно, через общих знакомых. Финальным аккордом нашего общения стали его похороны в 1994 году, организацией которых занималась близко с ним дружившая в тот период одна моя знакомая, понятия не имевшая о том, что и мне он небезызвестен. Мы выяснили это еще лет через пять после самого события. К тому времени Арчибальд сильно сторчался, и его, как и многих других наркоманов, переживавшихся тогда всей страной экономические трудности ввергли в долги, а его кредиторов — в повышенную раздражительность. Арчибальда выкинули из окна последнего этажа парадной на Казанской улице.

Но в 1981 до всех этих событий было не просто далеко, а очень далеко. Уходящая эпоха все еще продолжалась.

Однажды в «Сайгоне» я заметил непривычную пару. Один молодой человек — хипповского вида: очень длинные, едва не до пояса, соломенные волосы, такого же цвета борода, длиннополые пальто при очень маленьком росте, холщовая сумка вроде противогазной... Это и был Арчибальд. Рядом с ним, одетый во что-то серое, — типичный малолетка, побритый налысо, как будто только что с зоны. В тот же день вечером я встретил эту пару в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

В будние дни этот огромный и почти пустой собор был прекрасен. Перед входом, около свечных ящиков, еще кучковался народ, а уже в глубине слабо освещенного собора люди рассредоточивались и почти рассеивались. Там было интересно

бродить и думать о чем-то своем, даже и вовсе не будучи православным. В одном из пустынных закоулков собора «малолетка» лежал ниц в каком-то молитвенном забытии, а рядом стоял Арчибальд и чему-то улыбался. Картина была выдержана в стиле рассказов о древних подвижниках, которым приходили служить разные хищные звери. И вскоре я вновь увидел обоих — на Московском вокзале, причем было заметно, что «малолетка» находится в услужении и рад служить.

Так я еще до знакомства с Арчибальдом убедился, что он «что-то умеет». Познались мы с ним в «Сайгоне» чуть ли не на следующий день. Сегодня я бы сразу заподозрил, что «духовная связь», столь заметная между Арчибальдом и «малолеткой», имеет, скорее всего, исключительно гомосексуальный характер. Заподозрил, и был бы прав. Арчибальд потом еще пару-тройку лет скрывал от меня свои гомосексуальные наклонности, что было несложно при редкости наших встреч (Арчи не жил в Питере постоянно), но, в конце концов, мне пришлось сделать на его счет окончательный вывод.

Свою историю он рассказывал наверняка недостоверно, но в точности чувствуя *Zeitgeist**. Все факты, которые должны были в ней перепроверяться, и на самом деле перепроверялись. Главным из них был факт изгнания из Троице-Сергиевой Лавры где-то в 1978 году трех архимандритов. Якобы, это было сделано под давлением советской власти из-за слишком большого авторитета этих архимандритов среди верующих. Теперь я далеко не уверен, что это было именно так, и даже что это было вообще. Но история имела в тогдашнем «народе церковном» широкое хождение, так что базовый факт истории Арчибальда верифицировался.

Согласно автобиографической легенде, один из этих архимандритов (кажется, Андрей) был духовным отцом Арчи. Он очень хотел постричь его в монахи и оставить при себе. Арчи было двадцать лет. Об официальном постриге и поселении в Лавре тут было думать нельзя (действительно, такого советская власть тогда не разрешала), но можно было остаться жить в Загорске на частной квартире. Для прописки в Загорске был придуман фиктивный брак с благочестивой отроковицей, специально подобранной из местных. Постриг предполагалось совершить «тайно» — то есть без архиерейского (и, значит, кагэбэшного) благословения и официальных бумаг. Советские старцы практиковали иногда подобные «тайные» постриги, и, совсем уже изредка, эти постриги впоследствии удавалось официализировать через уполномоченного по делам религий, после чего архиерей имел право выдать тебе официальную справку, что ты монах.

Но как раз тогда, когда все необходимое было сделано, — совершены и монашеский постриг, и фиктивный брак, — трех стареньких друзей-архимандритов выгоняют из монастыря. Они расселяются кто куда, и почему-то новопостриженный монах Александр не может последовать за своим духовным отцом. От духовного отца у него оставался, по его словам, лишь один параманный крест (это такой довольно большой деревянный крест, который выдается при постриге и который монахи носят на теле). Тут отец Александр выбирает жизнь странствующего монаха, проповедующего в среде хиппи и ночующего на флэтах у «духовных чад». Он меня брал иногда в гости на флэт показывать духовных чад, и я мог убедиться, что ему удавалось окружать себя поклонением. Правда, все больше со стороны женщин, что его несколько фрустрировало. Как все впоследствии встречавшиеся мне церковные гомосексуалисты, он относился к женщинам раздражительно. Впрочем, всегда находилось достаточно женщин, которым нравилось именно это.

До сих пор я благодарен Арчибальду за его экскурсию в мир дикого народного православия, когда мы встретились в 1983 году в Печорах. Я говорю об этнографически аутентичном православии часовенков, источников, странников, юродивых и вообще всего того, что подпирало тогдашний церковный официоз, служа ему как бы подводной частью айсберга. Конечно, назвав это православие «этнографически аутентичным», я имел в виду, что догматически там православием и не пахло, хотя было очень много других сильных запахов. Но без понимания этой среды ничего не узнаешь, чем дышит наше народное христианство.

Здесь расскажу только о том, что прямо относится к «Сайгону». Именно Арчибальд научил меня не поднимать деньги с пола. О том, что монахам и нельзя себя вести иначе, я прочитал в патерике лишь через несколько лет. А на первых порах исходил из логических аргументов, которыми убедил меня Арчибальд.

Как-то на улице мы с ним увидели монету в двадцать копеек. Это была большая и редкая удача: тогда хороший суточный рацион стоил рубль, а знаменитый «маленький двойной без сахара» — двадцать шесть копеек. То есть деньги для нас были большие. Я уже потянулся поднять, как Арчи спросил: «Что же, мы кланяться ей будем?» И добавил: «Не ты ее положил, не ты ее и бери». Последняя фраза решила мои сомнения. С тех пор я никогда не брал денег с земли, уповая на то, что если есть воля Божия послать мне денег, то она исполнится каким-либо более каноничным способом.

Эпилог

Последняя в моей жизни история, связанная с «Сайгоном», произошла через несколько лет после того, как я совершенно перестал туда заходить. Она и стала эпилогом нашего с «Сайгоном» общения. А историю о том, как я окончательно покинул «Сайгон», я оставлю напоследок.

Утро 16 марта 1987 года застало нескольких моих товарищей и меня на Исаакиевской площади. Мы тогда составляли неформальную организацию «Группа спасения», занимавшуюся спасением домов Петербурга от чиновников, которые стали делать деньги на их уничтожении. Накануне вечером мы приняли окончательное решение устроить массовые беспорядки, чтобы не допустить сноса гостиницы «Англетер». Или, в крайнем случае (как оно и получилось), сделать из событий вокруг этого сноса точку опоры для опрокидывания советской власти в нашем одном отдельно взятом городе. Общая история тогдашних событий неоднократно описывалась. Тогда нам удалось в течение трех дней удерживать на Исаакиевской площади толпу до нескольких тысяч человек и тем самым создать первый в Советском Союзе прецедент таких массовых беспорядков, за которые были наказаны не организаторы, а те, против кого они протестовали...

Мы исходили из того, что у Горбачева, тогдашнего главы СССР, серьезные трения с властями на местах — настолько серьезные, что он нас, в принципе, мог бы поддержать против местного начальства. Этот расчет имел одну очень уязвимую сторону: было необходимо сделать так, чтобы Горбачев о нас мог узнать как о реальной гражданской силе. Для этого и нужны были массовые беспорядки на Исаакиевской. Но, чтобы успеть довести наши беспорядки до массовости, а не получить год тюрьмы за хулиганку, требовалось в течение какого-то времени, пока удастся собрать толпу, отбиваться от местных сил еще в малом числе. Это была самая уязвимая часть нашего плана. Главным прикрытием у нас был политический блеф, который прекрасно сработал: мы выступили в такой форме, что городские власти стали всерьез опасаться, будто у нас предварительная договоренность с Горбачевым. Пока они пытались это дело доподлинно выяснить, на третий день у нас уже и на самом деле появились телефоны ЦК КПСС и личной приемной Горбачева.

Так что все прошло хорошо, но первая половина дня 16 марта была критической. Нужно было собрать к середине дня хотя бы сотню-другую человек (этого было бы достаточно, чтобы на них стал нарастать снежный ком). Времени на подготовку мы сами себе почти не оставили, и нам приходилось очень много импровизировать. Тут вспомнили и о «Сайгоне» — и отправили туда гонцов.

Из «Сайгона» сразу пришел организованный отряд хипов. Прекрасно сознаю абсурдность только что написанной фразы («организованный отряд хипов»), но из песни слова не выкинешь. В течение всех трех дней нашего «стояния» хипы вели себя дисциплинированно и даже выдвинули из своей среды нескольких замечательных командиров среднего и низшего звена, которые потом еще долго участвовали в нашей работе. Тогда, утром 16 марта, они в значительной мере спасли положение, приняв на себя участие в наших рисках.

Хиповский отряд привел на площадь двадцатилетний шуплый и рыжий мальчик, который почти по-военному обратился ко мне как к представителю старшего командования. Да и по возрасту я был его много старше: ведь мне уже было почти двадцать пять!

Быстро обсудив необходимые технические вопросы, мы тут же соскочили на совершенно постороннюю тему: где мы раньше друг друга видели? У обоих оказалось устойчивое впечатление, что мы видимся не впервые и что почему-то нам очень важно все это разъяснить. Он еще говорил, что его фамилия Басманов, и я могу считать его лицо знакомым, потому что он очень похож на своего отца. Но мне это не помогало. В конце концов мы с трудом, но установили истину. Видеться мы все-таки не могли, но зато виделись наши мамы, которые проучились все десять лет в одном классе. А его отец, на которого он так похож, но облика которого я не мог вспомнить, — Иосиф Бродский. Мама Андрея была той самой «М. Б.», инициалы которой разбросаны десятками пар по собранию стихотворений Бродского.

Все это было бы мне ужасно интересно, случись оно в 1979 году. Но с Андреем у меня и в 1987 году возник какой-то душевный резонанс. Мы потом общались несколько лет, и я вполне допускаю, что наши биографии когда-нибудь пересекутся снова.

Тот «Сайгон», который я увидел 1975—1976 учебном году, был все еще «Сайгоном» поэтов, лишь недавно оставленным Бродским. И в последний раз «Сайгон» мне напомнил о себе вновь через Бродского, несмотря даже на то, что никакого интереса к его поэзии у меня уже не было.

Мистический финал

В течение 1982 года «Сайгон» заполнялся хиппующей публикой, так что просто сидеть с книжкой и машинкой там становилось неприятно, а мои определившиеся именно в этом году религиозные интересы все дальше и дальше уводили от тамошних компаний. Вместе с «волосатыми» в «Сайгон» пришли менты (чье присутствие в прежние времена было почти исключительно символическим): публику хиповского вида стали хватать и вывозить для проверки документов и личных вещей в отделения милиции. Делалось это, главным образом, затем, чтобы ограничить оборот травы и как-то помешать хиповским миграциям. Людям моего круга «винтилово» угрожало, максимум, потерей часа-другого времени, поскольку мы составляли другой контингент, который те, «кому надо», и так прекрасно знали. В принципе, менты нас и не винтили. Но никогда не было гарантии: квалификация и текучесть кадров в милиции отличались принципиально от уже привычных нам стандартов КГБ.

Атмосферу в «Сайгоне» это изменило очень сильно уже в течение 1982 года. Каких-нибудь пару лет назад придти в «Сайгон» с «Архипелагом ГУЛаг» в сумке было с нашей стороны неосторожностью, но отнюдь не чем-либо вопиющим.

Какая-то более или менее официально признававшаяся «антисоветской» литература у меня бывала с собой очень часто, почти всегда, да я и никогда не знал точно, какие книги сейчас лежат в моей очень большой и сплошь набитой сумке. С особой осторожностью тогда обращались лишь с такими изданиями, за которые было реально сразу же получить срок. Но теперь риски ментовского «винтилова» совершенно меняли диспозицию. Все неписанные правила, по которым мы столько лет достаточно мирно сосуществовали с КГБ, пошли насмарку. Серьезно задумываться, что у тебя в сумке, перед тем, как просто зайти выпить кофе, — это была неподходящая цена вопроса. В конце концов, был еще очень хороший и тихий маленький кафетерий около метро «Василеостровская»...

Так что осенью 1982 я уже практически не бывал в «Сайгоне». Но в феврале 1983 все-таки сделал исключение, пойдя на поводу у знакомого. За кофе мы посидели спокойно, но потом я позволил себе совсем уж неправильную вещь — постоять с этим знакомым, пока он курит, у входа. И это с моей-то сумкой в объем туловища! Я как-то шел навстречу своей судьбе, понимая, что все делаю неправильно. Не прошло и минуты, как нас с моим знакомым свинтили.

В милицейском «козелке» менты еще предупреждали друг друга, чтобы не дать нам сбросить траву (нас приняли за хипов — из-за моего неопределенного внешнего вида), но уже в отделении разговор совершенно изменился. Они увидели мою сумку, где с самого верха лежал «Православный молитвослов» с блестящим золотым крестом на обложке, и поняли, что хипы тут ни при чем, и нужно звать на помощь специалистов другой квалификации: «Это крупная птица... Надо КГБ вызывать...» А встреча с КГБ ничего хорошего не сулила. За религиозную литературу мне бы ничего не было (химфак не был ни «партийным», ни даже гуманитарным факультетом, и там полуофициально разрешалось не придерживаться советской идеологии), но в глубине моей сумки лежала машинописная перепечатка «Лебединого стана» — книги белогвардейских стихов Цветаевой — с предисловием Юрия Иваска, в котором нехорошими словами ругались Ленин и Дзержинский. Это, конечно, все равно не тянуло на уголовную статью (как мог бы потянуть «Архипелаг ГУЛАг»), но на вылет из университета — вполне. После звонка из КГБ мне было бы проблематично сдать сессию.

По моим расчетам, «Лебединый стан» лежал где-то на исходе первой сверху трети книжного слоя. Между ним и лежавшим на самом верху молитвословом было несколько монографий и учебников по квантовой и статистической физике. Мент уже начал рыться в моей сумке, так что до начала неприятностей, ориентировочно, оставались секунды.

Все это время в моей голове витали пустота и хаос. Но в этот момент я вспомнил: а что же это я не молюсь? В те годы, став православным исключительно ради веры в учение Григория Паламы и византийского исихазма, я, конечно же, считал обязательным всегда творить про себя Иисусову молитву, хотя, разумеется, на самом деле обычно творил Бог весть что. Но тут уж я вспомнил об Иисусовой молитве («Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешного») и стал творить ее про себя сосредоточенно, как только мог.

Поведение милиционера, досматривавшего мою сумку, изменилось мгновенно. Вместо того чтобы дальше смотреть книжки, он взял оттуда толстую пачку «обороток» (так назывались ненужные библиотечные каталожные карточки, где на одной стороне были библиографические описания каких-то книг, а другая была чистой, и ее было очень удобно использовать для заметок). Помнится, в той пачке все карточки были заняты описаниями книг по сельскому хозяйству с неудобопроизносимыми названиями. Милиционер погрузился во внимательное их чтение, в котором провел несколько минут. Все это время я тихонько

молился. Наконец, утомившись, он махнул на меня рукой. Но менты уже не могли отпустить нас домой, так как о нас было доложено наверх. Нам пришлось сидеть в отделении дальше и дожидаться начальника. Можно было улучшить момент и произвести в сумке некоторые перемещения, так чтобы самое крамольное ушло поближе ко дну.

Начальник вызвал в кабинет, куда я благоразумно пришел налегке. Разговор был кратким и формальным, так как начальник уже заранее был настроен отпустить нас домой. Теперь надо было вернуться за сумкой и вновь пройти к выходу из отделения мимо двери кабинета. Но тут начальник вспомнил, что докладывали подчиненные, и снова остановил меня: «Это у кого здесь были книжки?..» Опять пришлось выкладывать содержимое сумки, теперь уже в кабинете начальника. Но книжки уже были правильно разложены, а в голове уже не было хаоса. Все это время я продолжал молиться. Я стал доставать сверху книжки по физике и химии (всякий самиздат и молитвословы были теперь на дне). Когда я почти исчерпал их запас, начальник махнул рукой: «А, учебники...» — и наконец-то отпустил восвояси.

Это было первое в моей жизни чудо, случившееся как ответ на молитву.

Относительно смысла моего дальнейшего пребывания в «Сайгоне» все выводы были сделаны¹.

Инна Гурвиц

«ЧТО ТЕБЕ-ТО В НЕМ? ЗАПАХ ТЕХ ЛЕТ...»*

У меня началась «жизнь» только когда я закончила школу, потому что ещё в десятом классе меня мама встречала после эрмитажного кружка и отводила домой. До окончания школы я ни разу в жизни не гуляла по Невскому одна. И устраиваться на работу тоже пошла в сопровождении мамы. Только когда маму попросили выйти из кабинета директора университетской библиотеки, я впервые подумала, что, может быть, что-то тут было неправильно. Я стала работать в Горьковке в отделе приёма заявок, и познакомилась там с Машей Люблинской, а она меня познакомила со всеми: с Васей (Сергей Васильев), Димочкой (Вадим Миронович Лурье, ныне иеромонах Григорий), Костиком (Константин Чугунов)... А дальше — как снежный ком. Кто именно с кем меня дальше знакомил и когда, припомнить трудно, но ко дню рождения у меня (довольно замкнутой, стеснительной и не имевшей до этого почти никаких друзей и знакомых) оказался человек тридцать — тридцать пять гостей, причем совсем не случайных людей, а тех, с кем мы и до сих пор...

Однажды той осенью (1979 год) я встретила Димочку (с которым познакомилась за несколько дней до того) на Невском — это вообще была первая в моей жизни случайная встреча на Невском. И вместо того, чтобы пойти на курсы французского языка, куда я была записана, пошла с ним пить кофе. Эта кофейня («Торты») располагалась на Невском, около Московского вокзала. Я тогда пила слабый кофе, с сахаром. Но по Димочкиной реакции я быстро поняла, что так делать не стоит, и впервые попробовала кофе без сахара и крепкий — мне понравилось, честно. Не думаю, что я бы стала пить его из желания «угодить коллективу». После того как я выпила первую свою чашку настоящего кофе, мы пошли гулять по городу. Я тогда не знала про Невский ничего, и мне было очень неудобно об этом

сказать, поэтому точно воспроизвести маршрут я не могу, но это был квадрат между Лиговским и Владимирским. Димочка водил меня по разным проходным дворам, подворотням, подъездам — показал, например, место самоубийства Гаршина. Все рассказывал с чувством юмора, без трагизма, весело и живо...

Больше я ни разу не была на курсах французского языка. И с этого момента у меня больше не было времени, которое не знаешь, на что потратить, или которое можно потратить на что-нибудь необязательное (вроде никчемных лекций или занятий на курсах), я поняла, что такие прогулки — это как раз то, на что надо тратить время.

Наша компания больше ходила в «Торты». Там было меньше народа, «системных» почти не было. Окна смотрели на Невский. Мы сидели на высоких подоконниках и читали книжки. Когда я начала учиться, я в «Тортах» делала домашние задания. Был там такой Саша, который варил «маленький двойной» за двадцать восемь копеек, «маленький четверной» — за пятьдесят шесть, «маленький восьмерной» — за рубль двенадцать и еще один маленький (ему мы названия не придумали), о котором Димочка говорил, что после него бывает вкус медной ручки во рту, — за два рубля двадцать четыре копейки. Последний я не пробовала, но если выпить два маленьких четверных, то состояние действительно своеобразное. Еще мы иногда после лито Сосноры ходили в «Кривую рожу», — так у нас называлось кафе-мороженица «Улыбка» на углу Невского и Пушкинской. И только параллельно с «Тортами» я иногда ходила в «Сайгон». Пару раз я туда заходила, когда ещё в предбаннике наливали коньяк, и это место мне очень не понравилось — как-то страшно там было. Я же не понимала, что там за люди и чем они заняты, что происходит и насколько это безопасно. Я была маленькая домашняя девочка. Это уже позже, когда мы ходили туда с тем же Димочкой, у меня не было никаких сомнений, я знала, к кому обращаться, как заказать кофе и т. д. Но мы не были завсегдатаям «Сайгона», и, как мне кто-то позже сказал, нас там называли «золотой молодежью» — именно потому, что мы были от всех отдельно. У нас не было такого, чтобы мы вышли из «Сайгона», стояли на улице и не знали, куда пойти, — этого представления о «тусовке» как проведении времени у нас не было, даже слова такого не было. Мы всегда точно знали, куда пойдём. Мы гуляли, и это было прекраснейшее занятие. «Сайгон» не был для меня местом создания нового круга. К тем людям, которые там именно «тусовались», мы относились не свысока, но, я бы сказала, без интереса, хотя к нам, видимо, относились с интересом и поглядывали в нашу сторону.

Пили обычно маленький двойной, и почти всегда у Люси. Она нас всех помнила и вопросов не задавала. И если я вдруг собиралась перейти на что-то более дешевое или менее крепкое, она всё равно варила «маленький двойной», но по цене «простого». На сайгонском подоконнике тоже много чего было прочитано. У всех с собой были книжки, и мы друг с другом менялись. Прийти в «Сайгон» и не найти, что почитать, — это невозможно было себе представить. Димочка из своей торбы доставал книги на любых языках: о квантовой физике, финикийском алфавите, древнегреческо-русский словарь, оригинальные издания начала века — всё что угодно. Например, поэму Крученых «Игра в аду» и «Форель разбивает лед» Кузмина я впервые увидела и прочитала в «Сайгоне», а еще — Бодлера (на французском, естественно, и, кажется, еще чуть-чуть в переводах Анджея Иконникова-Галицкого) и Беккета (конечно же, на английском и в Димочкином переводе). У меня тоже была большая сумка, куда влезало много книг. Вообще, познавательное было сидеть на подоконнике в «Сайгоне», смотреть на прохожих, разговаривать или читать.

Помню, я спрашивала у Димочки, насколько ему было важно, кто какой пьет кофе. Он отвечал примерно следующее: «Если человек пьет маленький двойной без сахара — это плюс, а если не пьет, то это не минус, а ноль. Если знает, кто такой

Николай Гумилев, — это плюс, если нет — это не минус, а ноль...» — то есть люди не делятся по этим признакам на «своих» и «чужих», а просто общение начинается с чистого листа, с нуля. Это было очень правильно для построения некоего круга, который никогда не был замкнутым, а был открыт для самых разных людей.

* * *

Вадим Лурье был связующим звеном между всеми и всеми. Построение некоего круга явно входило в его задачи, и он пользовался всякими поводами, чтобы находить новых людей и знакомить их между собой. Я в какой-то момент стала переводить лимерики. Переведя первые три—пять стихотворений, я показала их Димочке, хотя очень стеснялась, и он позвал меня в лито Виктора Сосноры (для Димы мои переводы, не имевшие особой художественной ценности, были поводом ввести меня в этот круг). А там я уже познакомилась с Анджеем Иконниковым-Галицким, Машей Трофимчик (потом Каменкович), Аллой Смирновой, Димой Заксом, Валерой Дымшицем и Сережей Степановым. Это был 1981 год.

У меня дома была фотокопия книги Бердяева «Миросозерцание Достоевского», которую решено было переписывать от руки. Все стали ходить ко мне домой, потому что дали мне ее при условии, что я не буду ее никуда выносить. У каждого была толстая тетрадка в клетку, и мы под копирку переписывали разные главы со всеми «ятями». Ко мне приходил Димочка, допустим, к двенадцати часам ночи и до утра переписывал. Конечно, мы пили чай и разговаривали, но кутру какая-то часть «Миросозерцания» бывала переписана. В переписывании принимали также участие Вася и Вовочка (Володя Кисель). Вовочка был безумно застенчивым — он не ругался, не курил, не пил и краснел по любому поводу. Спать на диванчике рядом со мною он отказывался категорически и всё порывался в ванне переночевать.

Самым главным для нас праздником было Преображение. На Преображение я первый раз вошла в церковь. Мы еще тогда были некрещеные, или крещеные, но не воцерковленные — даже ещё не знали, когда именно надо приходить, что литургия девятнадцатого августа с утра, и поэтому мы были в церкви вечером восемнадцатого. У нас была с собой бутылка шампанского и желтые розы. С тех пор каждый год мы встречались у Анджея с шампанским и желтыми розами, по-прежнему восемнадцатого вечером. Анджей жил на улице Некрасова, 60. Этот дом был первым в городе жилтовариществом: они выкупили землю у Преображенского полка, наняли архитектора и построили дом, как хотели. Это была очень прогрессивная постройка, с разными новшествами начала XX века. Семье Анджея изначально принадлежали в доме две квартиры на втором этаже. Его предок был, кажется, депутатом Государственной Думы от партии октябристов, а этажом выше жили Милюковы. Потом, конечно, их «уплотнили» и квартира превратилась в коммуналку... Когда я туда попала, у них оставалось три комнаты — общей площадью больше ста метров. Помню, нам нужен был маленький столик, и мы ходили по лабиринту из старой мебели и выбирали, какой столик — ломберный, курительный или какой-нибудь другой — нам больше подходит. Бабушка Анджея играла на фортепиано и изредка устраивала для нас фортепианные вечера — например, вечер вальса.

Анджей иногда ходил по городу в крылатке и был очень похож на Гоголя, при этом у него в руке могла быть авоська с картошкой, и это было вполне органично. Потом, когда мы с Анджеем перешли на «ты» и стали более подробно общаться, для меня самым удивительным было то, что он вообще замечает окружающих, что с ним можно разговаривать про каждого человека, про каждое событие — потому что тогда у него был совершенно «нездешний» вид (и взгляд).

Если Димочка всех «перемешивал», то Вася всех находил. Он всё время приводил ко мне в гости новых людей. Поскольку телефонов тогда не было, а жила я на Гражданской, на Академической, приезжать ко мне, не зная, дома я или нет, было бессмысленно. Поэтому мы договорились, что он приходит ко мне по четвергам где-то в полдвенадцатого — в двенадцать, и мы общаемся ночью. Вася привёл ко мне сначала Ольгу Матюшкину, потом Машу Сухотину, еще каких-то людей. У Димочки была для книг торба, а у Васи — портфель гигантского размера, в котором среди прочего лежали книги про декабриста Лунина, о котором он тогда писал, его собственные рассказы и что-нибудь вкусное — яблоко, шоколадка или «лицейский рулетик».



*Вася (Сергей Васильев)
и Инчик (Инна Гурвич)*

на лестницу, из него свисала на веревочке вилка, и мы, чтобы не звонить, стучали вилкой в окно, и Ольга открывала дверь. От Ольги мы ходили ночью на Московский вокзал, там можно было купить отличные эклеры, это было самое что ни на есть лакомство. И всегда совершенно неважно было, кто платит, — у кого есть деньги, тот и платит.

Ольга Матюшкина ходила в «Сайгон» каждый день, ей родители ежедневно с утра давали рубль (и Димочке тоже, а я завоёвывала свою независимость и у родителей денег не брала). В «Сайгон» я редко выбиралась. «Сайгон» давал мне тогда гораздо меньше информации, чем прогулка с любым из вышеупомянутых (и не упомянутых) знакомых, но это было место встречи. Главное, что для меня пропало с исчезновением «Сайгона», — это место, где я точно могла встретить знакомых. Я просто шла по Невскому и между «Тортами» и «Сайгоном», даже не заходя внутрь, встречала тех, кто был мне в тот момент нужен, чтобы спросить что-нибудь важное, или пойти куда-то вместе, или просто выпить вместе кофе.

Ольга Матюшкина в гостях в основном молчала, она обычно говорила только «Здрасьте», поэтому для меня было отдельным событием, когда мы в первый раз заговорили. Потом мы очень много общались. Для меня «Сайгон» во многом связан с ней — она жила рядом, на Большой Московской. Из «Сайгона» — к Ольге, от неё — в «Сайгон». Мы приходили к ней постоянно — не реже, чем раз в два дня, а то и три раза в день. У неё было очень специфическая квартира, прихожая была соединена с кухней, слева за занавеской стояла ванна, а справа — стол и плита. Окно кухни выходило

Ольга шла в «Сайгон» выпить чашечку кофе каждое утро, и мы иногда встречались там по утрам, или вместе заходили, когда я у нее ночевала. Мы все тогда ночевали друг у друга. Повелось это очень просто: мы учились на вечернем, днём работали, а общаться когда? Соответственно, жизнь начиналась где-то с десяти часов вечера и не прекращалась: ночные бдения с чтением стихов или с песнопениями, или просто с разговорами. Вообще, было неважно, сколько спишь.

Ольга была профессиональной машинисткой, она печатала все стихи и сборники лито. Первым, кажется, был сборник «анакреонтической лирики» трех авторов: Вадима Лурье, Анджея Иконникова-Галицкого и Александра Тимофеева. Этот сборник был принесён Димочкой в «Сайгон», и я его читала именно там. Я была дамочка стеснительная, меня всякие намёки заставляли смущаться, а Димочка говорил, что приятно посмотреть, как меня «корёжит». Потом они сделали «Меркурий» — сборник лито Виктора Сосноры, там были стихи Маши Трофимчик, Ларисы Барахтиной, Димы Закса, Вадима Лурье, Анджея Иконникова-Галицкого, Валеры Дымшица и, по-моему, Ани Давидович. Или наоборот: сначала был «Меркурий»? Не помню.

* * *

Как мы одевались? Денег ни у кого не было. Любимая юбка Маши Трофимчик была сшита из парашютного шелка, который ей достался по случаю. Ольга Матюшкина, я и Вера Земскова сшили себе туники из небелёного льна, выданного «на хозяйственные нужды» Сергею Васильеву, который был тогда завхозом на Мойке, 12. Мы долго в них ходили, а потом покрасили в разные цвета и снова носили. В магазине «Военторг» на Невском мы покупали нижнее мужское белье; белые хлопчатобумажные маечки, которые мы красили и носили навывпуск, как блузки, и тёплые фуфайки — стоили они три рубля, их мы тоже красили и носили. На ногах были какие-нибудь вязаные гольфы и мальчишковые сандалии, а осенью — мужские ботинки. Много шили сами, но я не умела шить, мне шили подруги. Мы часто менялись одеждой. Были в моде шали. В шали ходила Ольга Матюшкина, моя бабушка про неё говорила: «*противная женщина*» — длинная юбка, шаль и распущенные волосы. Когда мы поехали на юг и там передвигались «стопом», машины поначалу почти не останавливались, потому что нас принимали за цыганок — у всех были распущенные длинные волосы, длинные юбки и какие-нибудь платки на плечах. Мы не сразу сообразили, в чём проблема, а потом стали надевать платки на голову, и стало легче.

* * *

Я хотела учиться. В Ленинграде не брали евреев в гуманитарные вузы вообще, только в Институт культуры, но там почти ничему не учили...

Когда я поступила в Тарту, то поселилась в общежитии и там увидела людей, которые читали те же самые книжки, что и мы, только у них было еще два плюса: они занимались общим делом — филологией — и жили вместе. И я подумала, что вот это и есть рай, потому что к тому моменту (1985 год) стал ощущаться кризис — не в человеческих отношениях, а в общественной нашей жизни, — и я считала, что его причина кроется как раз в том, что у нас нет общего дела, и живем мы (странно!) почему-то отдельно друг от друга. Но оказалось, что в Тарту очень тяжело жить, потому что в тех вопросах, в которых у нас всё было ровно и хорошо, там было болезненно и трудно. Общее дело и общая жизнь оказались невероятно напряженными.

Я стала жить двумя жизнями одновременно: жизнь в Питере не прерывалась, и была интенсивна по-прежнему, и прибавилась еще жизнь в Тарту, совершенно дружная, в которой у меня была другая роль, другие занятия, другие отношения с людьми — а между ними была ночь беспробудного сна, потому что я уставала ужасно. В Тарту, конечно, было гораздо либеральнее, в библиотеке на полках стояли те книги, которые у нас были в «спецхране». Режим мой в тот период был просто зверский: четыре пары в университете, потом до десяти вечера библиотека, а затем начиналось общение. Ложились в пять, вставали в семь. До этого я была очень общительна, к концу года я уже полюбила одиночество, и таких толп по пятьдесят человек, которые раньше у себя собирала, выдерживать больше не могла.

В Тарту приезжали из разных городов те, кому очень хотелось учиться, а в силу каких-то причин учиться им не давали (из-за национальности, из-за исключения из комсомола и т. д.), и те, кто хотел учиться непременно у Лотмана. Там было очень важно, кто как учится. Самое главное событие в году — защита курсовых работ. Не учиться — стыдно. Модно было учиться и еще модно лежать «на Стадиони» (это улица, на которой находилась психиатрическая больница). Когда ко мне приехала из Питера подруга, у меня в этот день было первое обсуждение курсовой — так получилось случайно, а все у нее спрашивали: «Ты приехала на доклад?» Мы с ней с сожалением смотрели друг на друга, потому что ни мне, ни ей даже в голову не пришло, что она пойдёт меня слушать. У нас в Питере всё было по-другому: спрашивать, кто как учится, кто как сдал сессию, было не принято и даже полагалось неприличным, — важно не это, а что ты собой представляешь. Важны были более глубокие и основательные вещи — человеческие, религиозные, — а учеба, да и работа всегда были на заднем плане (что никому из нас не мешало получать настоящее образование, а не только диплом, и много и вполне плодотворно работать). Я сейчас впервые подумала, что среди нас — тех, кто любил пить кофе в «Тортах», «Сайгоне», «Риме» (не от безделья и не для того, «чтоб вечность проводить», а как одну из радостей общей жизни), — кажется, совсем нет «неудачников», людей «упущенных возможностей», тех, кто «подавал такие надежды» и не воплотил их. Пожалуй, та «система ценностей», которую мы совместно выстраивали в бесконечных разговорах — за чашкой кофе, гуляя по городу или за городом, в гостях друг у друга, в археологических экспедициях и разведках, — оказалась вполне жизнестойкой и жизнеутверждающей, дав нам всем (каждому!) возможность осуществиться, всегда ощущая поддержку друг друга и взаимную любовь.

Ольга Матюшкина

УТРЕННЯЯ ЧАШКА КОФЕ*

...«Торты» были маленьким уютным кафе со знакомыми лицами, а «Сайгон» был мегаполисом, в котором есть все, в котором можно было сесть на подоконник и поболтать, а можно было в каком-нибудь жутком состоянии встать длинную очередь и, отстояв, постепенно прийти в себя и уже в совершенно другом состоянии получить у Стеллы свой маленький двойной. Для меня это было как писал Ширали: «Ты подходишь к «Сайгону», чтоб одному не стоять». Я утром пью кофе

* Печатается по: Археология и не только: к тридцатилетию Сибирской археологической экспедиции Ленинградского Дворца пионеров. СПб., 2002.

системы разновеликих труб. На ночь глядя мы вышли на морозный Владимирский и обрадовались случаю подъехать остановку на троллейбусе. Напоролись на сурового контролёра и были оштрафованы. Пили у Китайца чай, смотрели на ядрёную лоштуру, спорили о Семёне Кирсанове и Малевиче, за окном летел ночной снег, и это всё начиналась новая, полувзрослая, приподнятая, полная любви жизнь. У Китайца быстро образовался своеобразный штаб некоторых авантюр, безумств и перманентных тусовок; порой мы просиживали здесь с вечера до двух-трех утра — особенно когда шла работа над машинописным альманахом абсурда «Гнулья». Часто шизовые тексты возникали параллельно распечатке какой-нибудь серьёзной курсовой или какой-нибудь таблицы корреляций, в булочной на углу Караванной и Невского покупался исключительно ржаной хлеб, а в исключительных случаях мама пекла вкуснейший мясной торт (!) по эксклюзивному рецепту польских журналов «Кобиета», коими, а также номерами «Знание — сила» всё у Китайца было завалено. У Китайца рисовались стенгазеты, писались характеристики, сочинялись целые поэтические и прозаические сборники; всё это было к тому же в приятной близости и разумном отдалении от набравшего силу «Сайгона», откуда заходили различные персонажи вроде Вострова и Азбелева с экзотическими друзьями, дамами и чем-нибудь к чаю (как правило, вино пили во дворах, а в дом приходили с чем-нибудь сладким). Собираясь, пели песни под мой аккордеон, а пару раз устраивали настоящие бардовские концерты — из Москвы приезжал Александр Мирзаян. С Бомжиром и Войцеховским записывали на магнитофон редкостную «радиопередачу» с различными рубриками, инсценировками и звукоимитациями (роли исполняли: Будильник — Алексей Анатольевич Ковалёв-Китаец, Пила — Алексей Анатольевич Ковалёв-Китаец, Трубников — Борис Трубников, Ольшевский — Макс Ольшевский, и т. п.). <...>

Охотились за интересными спецкурсами, лекциями. На филфаке слушали Хошчевникова (основы стиховедения), ходили на Бялого (по Достоевскому), на



Вася и Александр Войцеховский изображают самолетики

Аверина (символизм), на экскурсии по городу В. П. Яковлева, слушать Льва Николаевича (Гумилева) ходили на географический. Были разные лекции (некоторые

из них полуподпольные или не очень афишируемые), которые и так до нас и без нас, естественно, посещала... какая-то там продвинутая питерская публика того времени. В результате происходили контакты с этой публикой. <...>

...Мне доставляло особенно огромное удовлетворение — я видел в этом как будто внутреннюю какую-то миссию — когда совершенно разные слои (ну, там... гопники какие-то, пьянь, голь сайгонская какая-то беспробудная, но с каким-то своим шармом, и какие-нибудь интеллектуализированные представители чего-нибудь — философских семинаров, к примеру) оказывались в одном пространстве, скажем, на моем дне рождения. Я испытывал фантастический кайф именно оттого, что они часто не замечали никакого дискомфорта и реально расплавлялись в целом, — поэтому так здорово было петь, — все оказывались безнадежно вместе, в одной общей волне. <...>

...Что меня привлекало сразу — в частности, то, что возможны настолько естественные, живые и бесконечно разнообразные формы общения с противоположным полом, освобождающие от постылых универсальных ролевых отношений и опошляющих моментов. В обычной средне-советской среде был какой-то неписанный кодекс взаимоотношений полов — как полагается ухаживать, что полагается сказать, что как истолковывается, незыблемая очередность (что после чего полагается: ухаживания там, выгуливания, танцы-обжиманцы) — в общем, отвратительно стандартный, тошнотворный набор способов схождения, знакомства, выбора себе пары. А экспедиционная среда всю эту дрянь с такой легкостью упраздняла, и оказывалось, что никаких этих стереотипов дурацких и в помине нет. А все живет и развивается как угодно, и предпочтительно по законам взаимодействия не полов, а личностей — творчески. То есть свободно и благодатно, хоть и не беспроблемно. По крайней мере, это так сразу казалось — такая свобода творчества во взаимоотношениях. Были, конечно, общие, внутренние, которые никогда не формулировались, нравственные принципы, а в остальном — да за ради Бога!! И широта сайгонских нравов после не шокировала. <...>

Сентябрь 1986 — начало реализации накопленных нашим кругом энергии и опыта — вовне. Наверное, и впрямь вся эта огромная дворцовско-сайгонская компания с очень размытыми границами и чётко осознаваемым ядром была формой вполне долговременного и полноценного существования в культуре, не замыкаясь стиливой корпоративностью и не замораживаясь особенно на нонконформизме. Мы, конечно, водились с разным андеграундом, диссидентствующими художниками и воинствующими шестидесятниками, но по причинам скорее человеческого, а не идейно-политическим или стилистическим. Просто среди этой публики живые, честные и интересные встречались чаще. И вот году в 1986-м — очевидно, под влиянием ветра перемен — мы, не особо это сознавая, решились на экспансию собственной идеологии, предложив горожанам для начала брать в свои руки судьбу того, что им дороже всего: города.

Помню, нам с Китайцем порекомендовали найти Николая Беляка, известного в кругах знакомых филологов и философов интерьерными (контекстными) пушкинскими постановками в Юсуповском дворце («Сцены из Фауста»), на Мойке, 12 («Каменный гость»). Придя в гости к филологу Маше Виролайнен и Беляку, мы попали словно под прицел некоего интеллектуально-театрального аналитического аппарата. <...>

«Операция» по захвату обречённого на снос дома на Владимирской готовилась в театральном закутке на Апраксином переулке и в «Сайгоне». В событиях и делах 1986–1988 годов, закрутившихся вокруг «Группы спасения», отдельные эпизоды почти неразличимы. Очень плотна ткань и концентрация. «Сайгон» оставался для нас центральной точкой города, местом ежедневной встречи с разнообразными

формами жизни, местом споров, знакомств, и одновременно стал штабом движения в защиту памятников.

Театрализованный митинг — первая публичная акция времён перестройки — стал поворотным моментом и для нас; до того все наши «общественные» действия (проде писем протеста против «стамески» на площади Восстания) начинались и заканчивались в своём кругу. Всё это обсуждалось в «Сайгоне», дома у Ольги Матюшкиной или у Китайца, потом вместе «шли на дело», возвращались и наблюдали результат как бы со стороны. Осенью 1986-го впервые затея была столь серьёзной, что разбежаться, «затесавшись в толпе», уже бы не удалось: радиофикация полуразрушенного дома, фанфары, открытый микрофон на площади... Все наши знали о попытках спасти дом Дельвига и принимали в этом активное участие. В толпе, запрудившей Владимирскую в тот день, было множество экспедиционных, дворцовских и сайгонских друзей. (Афиши, расклеенные на площади в ночь на двенадцатое и поутру, писала, например, художница среднеисеиской экспедиции Ольга Слёзкина, человек дивный и известный астролог. А археолог Костя Чугунов в качестве фотографа оказался аж на колокольне Владимирской церкви...).

<...> Помню, мы очень боялись стукачей, и таковые мерещились на каждом шагу. Да наверняка их было полно и на самом деле. После собраний большой толпой своих с самыми близкими из новых знакомых шли пить кофе, потом непременно к кому-нибудь домой: звонить, писать плакаты, обсуждать планы действий. Работы было столько, что всякая официальная работа — учёба быстро вытеснилась «Спасением». ...Субботники, обследования, поиски экспертов, архитекторов и журналистов, пикетирования, расчистка завалов на исторических кладбищах, казачьи и уличные батальи в защиту Коломня и Рыбачко, неформальные Дни рождения города на пустынной тогда Сенной, работы на пожарище БАНа, создание «Комитета помощи Армении и т. д., и т. п. — всё наши темы! Под водительством писателя Сергея Белова сотни ленинградцев ходили по декабрьскому морозу маршрутами «Петербург Достоевского» — экскурсии по адресам, уничтоженным или обезображенным бездарным капремонтом, который в 1970-х ликвидировал подлинные лестницы, двери, стены исторических домов, сохранявшиеся со времён Достоевского. Экскурсия завершилась коллективным сбором подписей под петицией Горбачёву: «Сохраните дом Достоевского на Владимирском, 11!» А неделю спустя во дворе дома напротив по Графскому переулку — забавали первую несанкционированную уличную выставку: пришли художники из группы «Люди старого города», молодые графики из Мухи и малоизвестные тогда митьки. <...>

После таких встреч плодилось огромное количество не только официальных документов, но и разнообразных пародийных текстов. Вот, например, такую подборку получил Васа на свой день рождения (приводятся лишь некоторые из представленных там пародий):

Докладная записка
Главному городскому градостроителю С. И. Соколову
от

Подрядчика ленметростроительной артели
Имени государя императора павла петровича

В ответ на Ваш запрос от ... сего года сообщаю, что на трассе будущего перегона «Владимирская» — «Пушкинская» — «Гоголевская» — «Достоевская» — «Чернышевская» — «Маяковская» — «Салтыковская» все дома застройки 1961 года и ранее снесены при минимальном ущербе и количестве жертв, за исключением дома № 11 по Владимирскому пр., в котором с 1847 года проживает никому не известный

классик Достоевский Ф. М. с супругой, котом Варфоломеем, тремя центнерами рукописей. Высвободить занимаемую им жилплощадь он отказывается, несмотря на неоднократные рейды полицейстера участка с целью выселения тунеядца Достоевского. При этом Достоевский ссылается на то, что жилплощадь была предоставлена ему как бывшему ссыльному участнику движения петрашевцев и отделяется штрафом, предъявляя всякий раз справку о нахождении им на содержании у жены, Сниткиной А. Г., служащей III-го отделения. Просим Вашего разрешения на снос дома по Владимирскому пр., 11 без выселения Достоевского.

От Ленметростроительной артели им. Государя Императора Павла Петровича — подрядчик артели Карамазов Д. Ф.

Резолюция: УТВЕРЖДАЮ С. И. СОКОЛОВ

Алексей Ковалев

ГРУППА НАЦИОНАЛЬНЫХ УМОВ ЛЕНИНГРАДА*

Я, наверное, в любом случае попал бы в «Сайгон», потому что всегда жил в центре: в школьные годы — на Пушкинской улице, потом на углу Итальянской и Караванной. «Сайгон» был в центре моих передвижений по городу. Занимался я во Дворце пионеров в кружке археологии и на занятия ходил мимо «Сайгона», но желания туда зайти, честно говоря, в школьные годы не было, поскольку в моем окружении не было ни одного человека, знакомство с которым предопределило бы мой интерес к «Сайгону». Я кофе никогда не увлекался, и как кафе «Сайгон» был для меня вторичен. Первична была определенная тусовочная атмосфера, клубы, которые там образовывались.

Компания, с которой я там общался, сложилась из людей примерно одного поколения, посещавших кружок археологии во Дворце пионеров. Эти люди сейчас известны, можно сказать, по всей стране, и далеко не все из них занимаются археологией. Кружок дал нам очень многое для душевного и культурного развития. Руководитель наш, Алексей Георгиевич Виноградов, был человек уникальный, благодаря ему участники кружка, которые, помимо археологии, занимались литературой, и ставили перед собой какие-то художественные задачи, получали необходимое самовыражение. Я к литераторам не относился, но в кружке мы жили все одной жизнью, потому что много общались друг с другом (особенно в десятом классе или первый год университета), и я присоединился к таким людям, как Вадим Лурье (ныне отец Григорий), Володя Кисель, Ольга Матюшкина, Сергей Васильев (Вася), — которые не то что полжизни, но полдня уж точно проводили в «Сайгоне». Там постоянно тусовались также входившие в нашу компанию Дима Востров (Ля Востров) и Александр Петрович Войцеховский, ныне художник, а тогда студент медицинского института.

В «Сайгоне» возникли и новые знакомства: Марина Гусыгина, Настя Долинина, Вика Работнова, Алексей Паршин... Марина Гусыгина (Княжна) — персонаж очень яркий. Она сразу выделялась среди общей тусовки, пройти мимо нее было вообще невозможно, хотя она всегда смотрела куда-то в пространство больше, чем на тебя. Это был человек, который жил только духовной жизнью. Сайгонские пионеры за творческое состояние полагали некую такую расслабленность. Ведь большинство так

или иначе предпочитали стихи писать под кайфом. Считалось, что это и есть творческое состояние, все пишут, все крутые. А получалось не творчество, а какое-то дерьмо. В «Сайгоне», конечно, процентов семьдесят было абсолютно беспонтовых людей, которые казались, но не были теми, кем хотели казаться. В первую очередь это касалось людей, мнящих себя художниками, поэтами, писателями, музыкантами или философами. Это очень напрягало. Люди, которые не имеют таланта и даже элементарной интуиции и вкуса, пытаются свысока тебе что-то навязывать. А Княжна, наоборот, имела талант и безупречный вкус и, во-первых, не навязывала ничего, а во-вторых, из беседы с ней было видно, что она глубоко чувствует и понимает все, о чем говорит. Она училась на биологическом факультете и работала в Ленинградском обществе естествоиспытателей (на истфаке была такая комнатка). Потом она заинтересовалась древнесирийским языком и раннехристианскими рукописями и поступила на восточный факультет (если не ошибаюсь, сразу на второй курс). Ей дали туда направление от епархии. Всегда хотелось как-то докопаться, что у Княжны происходит в голове, что она думает, что она чувствует. Неслучайно к ней потянулся Вася. Она же, в свою очередь, «выбрала» В. Лурье, он ее снабжал книгами по христианской апологетике, истории раннего христианства и так далее. Вот такие люди создавали для меня «Сайгон», каким я его помню. Всю шантрапу я отбрасываю.

Поэты, посещавшие лито Виктора Сосноры, люди весьма незаурядные, тоже все тусовались в «Сайгоне». Собственно говоря, без них мне трудно представить начало 1980 годов. Компания, возникшая внутри археологического кружка, сразу слилась вот с этой компанией людей лито: это Инчик, это Анджей, это Маша Трофимчик... Вслед за В. Лурье и я стал ходить к Сосноре. После лито шли, например, к Андрею Сафрину домой, там еще сидели, общались, ездили к кому-нибудь на дачу — это было постоянное общение. Причем общение на темы по поводу сборника «Вехи», например. У «литовцев» было принято читать стихи свои во время совместных тусовок. А мы с Васькой, Востровым и Войцеховским ввели в это элемент хэппенинга: литературная импровизация, которая получалась вдобавок еще и музыкальной. Мы с Васькой писали разные стебовые тексты, от имени то братьев Гримм, то вымышленных персонажей: П. Б. Экий, Эсесман и Гестапман, Х. Ц. Пушкин... И оказывалось, что хэппенинг, которого поэтам не хватало (всем, кроме Анджея), происходил благодаря нашему участию...

Потом родились и многие другие знакомства, и в результате именно с «Сайгоном» связано моё приобщение к художественной культуре, я бы сказал, особого интеллектуального слоя того времени, начала 1980-х годов. Более ранние пласты я не застал, и сейчас с удивлением узнаю, что многие из моих знакомые, которые старше меня лет на десять, тоже имели отношение к «Сайгону» и в конце 1960-х — начале 1970-х там активно тусовались, например Николай Беляк или Лев Лурье. Вся культура Санкт-Петербурга, живая, настоящая (не знаю, называть ли это андеграундом) — находилась в «Сайгоне». Недалеко был рок-клуб, и люди из рок-клуба перетекали с улицы Рубинштейна на Владимирский.

Помимо «Сайгона» «нашим» местом было и заведение под названием «Торты», его очень любил Вадим Лурье. Он частенько там сидел, где-то в углу, и печатал что-то на машинке или читал какую-нибудь запрещенную литературу. Он ходил в «канареечной», ярко-желтой куртке, и его фигура сразу бросалась в глаза. Бывало, брали портвейн или сухое вино в «Зеркалах» (так назывался гастроном на углу Невского и Литейного, витрины которого были зеркальными) и шли в какой-нибудь подъезд или в садик около «Эльфа». В общем-то, все окрестности были так или иначе обжиты.

Еще до того, как я стал ходить в лито Сосноры (это был, наверное, 1981 год), у меня родилась идея что-то организовать, я всегда был организатором по натуре.

Сразу после школы поступил на истфак, и появилась мысль издавать журнал. В определенном смысле это была попытка вписаться в волну более продвинутых старших товарищей, которые уже в это время активно занимались литературой и посещали это лито. Тем более что мое близкое знакомство с Васей (Сергеем Васильевым) показало, что талантливых людей вокруг меня просто море. К тому времени Вася уже написал целый ряд абсурдистских произведений. Мы страшно любили Хармса и всех обэриутов, поэтому название журналу хотелось придумать абсурдистское и оригинальное. Сначала я придумал само слово «Гнулья», а потом мы вместе с Ля Востровым изобрели его расшифровку: «Группа национальных умов Ленинграда». Я полагал, что «Гнулья» — это существительное в единственном числе. Востров, напротив, считал, что во множественном, типа «стулья». В результате получилась типичная игра словами, звуками, звукорядами. Название и расшифровку мы обсуждали во Дворце пионеров. Всего вышло три выпуска, тиражом не более пяти экземпляров. В подготовке первого выпуска, кроме меня, Васи и Ля Вострова, участвовал Миша Львов... Мы с Васей решили написать для «Гнульи» передовую статью, поскольку мы историки (он тогда еще учился на историческом, хотя потом ушел с пятого курса — совершенно зря). Замысел был такой: каждый номер должен быть посвящен какой-то теме. Это была весна 1981 года — сто двадцатая годовщина отмены крепостного права — и Вася написал на эту тему безумную статью, придумав себе псевдоним «профессор П. П. Экий». Прообразом П. П. Экого был товарищ Бавкалов — совершенно сумасшедший преподаватель, который приходил, в частности, на вечернее отделение истфака, где учился Вася, читать философию и диалектический материализм. Его лекции представляли собой нечто невероятное. На основе Васиных конспектов и родилась статья передовицы об отмене крепостного права. Потом мы сделали второй номер. Интерес в нем представляла сама структура журнала. Первые два номера печатала Оля Матюшкина, а третий номер, который получился самым лучшим по оформлению, печатал Вася. Он был на квадратных листочках и напечатан разными цветами, потому что использовалась разноцветная копирка.

Последний номер мы посвятили 1500-летию Киева, празднование которого было типично идиотской идеей советского времени. Тогда украинские и русские националисты, приверженцы почвеннической идеи, на основе находок какой-то зарубинецкой керамики или римских монет на территории Киева утверждали, что Киеву не много не мало 1500 лет и что просто необходимо это событие отметить. Это был 1982 год. Здесь мы уже оттянулись по полной программе. Мы создавали письма в редакцию, придумывали редакционные командировки — то есть обыгрывали советские, абсурдистские по сути журналы. Например, среди персонажей этого номера были двадцать два матроса Балтийского флота: П. Стремительный, Б. Гремящий, В. Смелый и так далее...

В то время мы проделывали много художественных акций. На историческом факультете университета Чечет, молодой в то время преподаватель, устроил семинар по искусствоведению, на котором мы с Васей сделали доклад на тему «Маразм и ноль», (он, кстати, частично вошел в «Гнулюю»): Вася читал свои произведения, а я делал их анализ... Там был один момент, когда выключили свет, чтобы создать необходимый антураж для Васиного чтения, но автор-то ничего в тексте не видел, и это вполне соответствовало нашему замыслу.

Акции мы проводили и во время летних экспедиций. Мы с Васей решили в целях оживления своей жизни пройти пешком по сто километров каждый и встретиться в одном месте. Я был в Белоруссии, Вася — в Питере. Местом встречи выбрали Крым. Вася вышел на Сиваше, а я в Перекопе. Шли навстречу друг другу, с рюкзаками, по проселочным дорогами. Через три дня встретились. Хотя к тому

времени я еле ноги волочил, потому что в течение нескольких лет у меня не было хорошей походной практики.

Когда мы в 1986 году организовали «Группу спасения памятников истории культуры Ленинграда», то «Сайгон» стал той средой, где мы нашли определенную поддержку. Очень многие из «Сайгона» пришли на первый в нашем городе (а может, и в стране) легальный митинг, проходивший около дома Дельвига, который собирались сносить. Это было 21 сентября 1986 года. Информация о митингах и акциях моментально расходилась через сайгонскую компанию, достаточно было развесить несколько объявлений или пустить слух.

Печально, что «Сайгон» закрыли. Я знал о проекте создания в этом доме гостиницы. За ним стоял бывший председатель Куйбышевского райисполкома Кретов, который, насколько я знаю, получил 10 % акций в этом деле. Когда обновился состав Ленсовета (в него вошли люди, которые так или иначе участвовали в демократических движениях и не имели совершенно никакого отношения к коммунистической партии), на заседании Малого Совета мы поставили вопрос о судьбе «Сайгона», пытались добиться того, чтобы в новой гостинице сохранилось кафе в том же формате — дешевое, с кофеварками, высокими столиками и т. д. Среди депутатов было много людей, которым «Сайгон» был дорог. И хотя по нашим обращениям кафе сначала открыли, это было уже совсем не то, а потом его быстро заменили на всякие магазины.

Павел Азбелев

ИЗ ДНЕВНИКА АРХЕОЛОГА

<...> Точка отсчета для моих воспоминаний — 1978 год. Я не способен выстроить все события в строгой хронологической последовательности, да и не хочу. Помню жуткую жару и невероятно объёмные облака, чёткие, словно на хороших репродукциях Сальвадора Дали — тогда я и понял, что ни фига он не придумывает, просто экстрагирует из жизни то страшный, то светлый кайф и перекладывает его красками. <...> Это было время неумёного поглощения разнообразнейших знаний в совершенно никчёмных количествах. Меня потом Вовочка Кисель, по его собственному признанию, всё пытался уличить в чрезмерном сочинительстве, всё проверял, но так и не уличил — а я и не сочинял, я и впрямь законопатил себе голову под завязку, не зная ещё, что всё это, по большому счёту, пустоумствование. А что же пустоумствование? Может быть, стихи. Стихов было множество, мы все легко подсаживались на поэзию Серебряного века, добывали редкие издания, причём тогда был расцвет букинизма и в магазинах старой книги можно было найти даже номера «Аполлона» или «Весов». Как-то я без гроша в кармане зашёл в бук на Литейном и натолкнулся на издание 1912 года с гумилёвским «Открытием Америки» в ЧЕТЫРЁХ песнях — а не в трёх, как обычно; так я стоял полчаса и учил четвёртую песнь наизусть, пока не выучил. С тех пор не забываю; по-моему, она гораздо интереснее первых трёх: «...Зов свобод здесь кинет Вашингтон, / И пройдёт, как молния, Пизарро...» Многим из нас позарез надо было общаться, это был какой-то культ общения... Инстинктивно ли, по полузнайству ли — мы просто отпихивали от себя стандартную социализацию по-советски, создавая собственное общество, совершенно бесперспективное и потому всё время отдававшее какой-то умопомрачительной игрой, и все остальные нам и в подметки не годились, но мы были выше зазнайства. Всё это, если посчитать, поглощало на круг бешеные

деньги, но о деньгах думать было скучно, чуть ли не неприлично, как и о школе, и получалась этакая цивилизованная (или, точнее говоря, просто советская) версия хиппианства на археологической закваске. <...>

Ноябрь 1980 — декабрь 1982

Армия — это сильно сказано, влип я в ВВ, они тогда охраняли зоны. Первые полгода нас в Архангельске учили не портить сигнализацию, а потом мне выпало ехать в некое Боровое, в ИТК-19 особого режима. <...> Романтика состояла в названиях охранных систем — «Примула» (электромагнитный замок с дистанционным управлением), «Эдельвейс» (плетень из колючки на столбах, завывающий на приближение массы), «Подснежник» (подземный сейсмодатчик против подкопов) etc, и всё это дирижируется с похожего на пианино пульта по имени «Ночь-12». Из людей помню вора (слова «зэк» там не употребляли) по фамилии Жмогинов, он был классный мужик и виртуоз-бульдозерист; на внешние работы его посылали с конвоем из каких-нибудь двух мышей (салаг), они под мерный рёв бульдозера неизменно засыпали, и вечером Жмогинов привозил их к казарме прямо на бульдозере и сдавал спящими на руки дневальным; мышей по традиции за сон у Жмогинова не наказывали. Воин-казашонок Айдарбек Жумабеков писал русские стихи про красоту цветка розы, жалуясь мне, что ни русского, ни родного языка толком не знает. Апофеозом было лунное затмение. Тогда вся зона, наплевав на режим, высыпала из барачков, все мы — из казармы, и стояли в глухой ночи, задрыв головы, словно изготавясь выть, и только шелестело невнятное: ну, мать твою... да, твою мать... вот, ссуки, красота-то какая... ох, на х..., быть беде, говорю... <...>

Куча народу в полосатых робах — в те поры это означало особый режим для рецидивистов: иные убийцы, а иные просто пописали на соседский забор, попали в заключение на пару недель, да не сошлись с кем-то характером, да и влипли — эх, раз, да ещё раз, ничего толком так и не натворили, а уже готов рецидив, твою в душу мать. <...> Мы с ворами там фотографировались — то как бы мы их расстреливаем, то как бы они нас. Перестали, когда кто-то рассказал про напившегося зауральского взвэшника, который решил делать опыты: поставил лоб к затылку с десяток воров, чтобы проверить, сколько голов калашников прострелит. Оказалось, восемь, а девятым стал он сам, потому что его потом свои же сослуживцы за зверство убили. <...> Там, вообще-то, линия раздела между людьми проходила не по забору, а по свободе — по доброй воле ты здесь или же, наоборот, принудительно, а вот по призыву ли, по приговору — это уже не так важно. <...>

Дома я стал размораживаться понемногу, в универ месяц или два не появлялся, пил да ощупывал жизнь без видимого конвоя, забредал по старой памяти в «Сайгон». Там был Востров, он тосковал, и я дал ему каких-то денег, вроде бы два рубля, отчего возникло глупое ощущение, будто купил билет в просто жизнь. От армии осталась привычка докуривать до ожога... Держава, увиденная с изнанки, воспринималась мною наконец безупречно правильно, то есть как грандиозное бесовство, абсолютная, безразличная к стороннему восприятию ложь, не имеющая права быть, и бытовые основы мироощущения заместились презрением к системе, воплощённой для меня в понятии гэбизма — и как идеологии, и как *modus operandi*. Мне было мало ненавидеть эту систему, мне требовалось её понять, вызнать, что ей отравы, а тут было недостаточно сопливого гнева диссидентов, ненавидевших гэбуху до влюблённости, или худосочной рабской эстетики очевидно языческого православия во главе со стукачами из Загорска — тут требовалось полное неприятие системы, тут надо было понимать Историю с большой буквы и самую суть процесса. Археология представлялась мне верным средством:

ведь там при заведомо недостаточной фактовой основе ты, ежели чего-то по-настоящему стоишь, обучаешься понемногу умению ощущать ладонью скрытое движение тепла в древней вещи, биение странного пульса, свидетельствующего сразу о прошлом, настоящем и будущем совершенно иного народа, нежели тот, откуда происходит вещь. И что за дикое, злобное счастье — взять, например, ложку с обеденного стола, и внезапно почувствовать кожей ладони такое же биение, уже знакомое по древней вещи и свидетельствующее о превращении цивилизаций!

Когда я распрямляюсь в полный рост,
пронзая толщу вод без акваланга,
и на российский каверзный вопрос
мне отвечают побережья Ганга,
когда хранит история Руси
разгадки тайн Китая и Сахары...

...тогда вот и начинаешь кое-что понимать, и постепенно привыкаешь с ходу отсоединять всё, что не на пользу пониманию. Такой вот образовался у меня мой личный особенный кайф. А всякое уточнённое понимание какой-либо логики развития приводило к жёстко антигосударственным воззрениям. Пить высококалорийный портвейн это, замечу, не мешало; пили главным образом молдавского «джентльмена в шляпе» за три десять и нечто итальянское, подороже и в красивой бутылке; с теми попойками ассоциируются: кузнец Саша Леннон, Фонтанный дом, великий Ля Востров, Маринка Тхилашвили, искавшая сайгонских приключений и, естественно, их находившая, легендарный 51-й дворик на Невском подле «Сайгона», Дима Шланг, утверждавший, что на него объявлен розыск, неизбежная Матильда, вечный рок-клуб, Кошка, Джеки, позднее зарезанный чьим-то уголовным родственником, Египетский подъезд на Марата, брат с сестрою Влад и Ванда, «Ротонда» с её дурацкими надписями, неукротимый Паршин, задний двор Куйбышевской больницы, змеелов Илюша Хейшиц, утонувший затем где-то в Киргизии, «Зеркала» на Литейном, Вика Работнова, потом ставшая-таки журналисткой, Инна Ткаченко (Нэнси), подвизавшаяся затем в раннем «Коммерсанте», и прочие места и люди, люди, люди...

<...> А Сайгон в конце 1984 — начале 1985 годов свёл меня с множеством народу: прежде я там больше кофе пил, а общался с двумя-тремя, пятью-шестью людьми, а тут как пробило на знакомства, как пробило... Незадолго до моей первой женитьбы появился Денис Азаров, он же почему-то Владимирский и притом Иванов, на какое-то время с готовностью стал моим аккомпаниатором, мы даже какие-то плёнки с моими песенками записывали, но все эти плёнки куда-то запропастились, а один раз он собрал у себя на Старо-Невском кучу какого-то разного народа и уломал меня перед ними песни петь и стихи декламировать. <...> У Азарова собирались все, кто хотел, это был почти стопроцентный системный флэт, с наркотой и развратом, на которые азаровские родственники почему-то закрывали глаза. Часто приходила Матильда, принося с собой элемент здравого смысла. За стеной обитала невидимая Денечкина бабушка, в прошлом балерина, однажды она к нам зашла и, прислушавшись к треску скверного магнитофона, спросила: «Это ведь квартет “Queen”, если не ошибаюсь?» — и ведь не ошибалась она, в свои-то восемьдесят, Фред это был наш Меркьюри со своим «The Show Must Go On». <...> В 1987, в начале апреля я по поручению Алика Мирзаяна ходил с каким-то поручением домой к Сосноре — кажется, по поводу предполагавшегося выпуска винилового диска Мирзаяна с песнями на сосноровские и прочие стихи. Соснора долго устанавливал со мною устный контакт, но в конце концов

махнул рукой и выдал мне цветных листочков для письменных ответов и реплик, стал показывать старинные книжки про Францию XVIII века и вести полезную контрреволюционную пропаганду. К мирзаяновским же делам он отнёсся доброжелательно, с царственным снисхождением, у него это хорошо получалось.

С Мирзаяном мы познакомились в «Сайгоне». <...> Наезжая в Москву, я непременно звонил ему, иногда с ним встречался, и он мне устраивал проникновения на всякие бардовские сейшены <...> А однажды, договорившись о встрече с Мирзаяном, я пошёл шляться по Москве: иду по какому-то бульвару, утро, кайф, народу мало — а навстречу собственной персоной движется Окуджава с пустой авоськой-сеточкой, просто сон наяву. Я остоленел, а Мастер заходит в гастрономчик; я забредаю следом, гляжу — он сыры в витрине разглядывает. Ну, я тоже поразглядывал, стою и всё придумываю, о чём бы этаким мне с ним посодержательнее поговорить. Становлюсь за ним в очередь в кассу, там было впереди два или три человека, и спрашиваю, не он ли тут последний. А Мастер так вежливо оборачивается и говорит: «Да, я последний» — вот как мы с ним побеседовали. Он купил горного сыру, я, кажется, пошехонского, и мы разошлись по бесконечной Москве. Я шёл, грыз кусок сыру, и от внезапной музыки в душе Москва делалась почти родным городом.

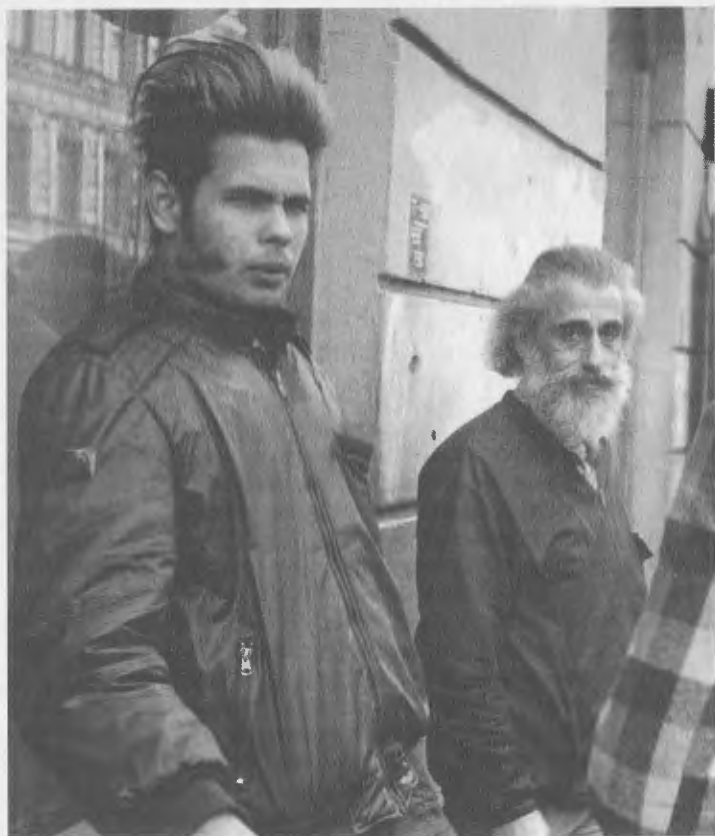


Фото В. Пещкова

Мое знакомство с «Сайгоном» состоялось в 1977 году, когда я заканчивал школу.

Но движение в эту сторону началось гораздо раньше. Еще когда мне было лет десять, в журнале «Вокруг света» я увидел статью о хиппи. Она была написана каким-то советским журналистом, который явно симпатизировал этому движению. Автор писал о том, что хиппи выступают против буржуазных ценностей, против войны, что для них важнее всего любовь и свобода. Статью сопровождали великолепные картинки: там парни и девушки в невообразимых нарядах сидели на газоне среди цветов, кто-то курил, кто-то пускал мыльные пузыри, кто-то играл на гитаре. Все это создавало ощущение света, радости, какого-то иного, волшебного мира. И он был совсем непохож на мир, в котором я жил. <...> Статья сразу расположила меня к странно одетым людям, которых иногда можно было увидеть и на наших улицах. Лет в шестнадцать-семнадцать у меня появились друзья из этого круга. Тогда же я стал изредка бывать в «Сайгоне». И тогда же стал понимать, что не все так радужно в жизни «детей цветов». У меня начались конфликты с родителями. А как им не начаться, если в нашей маленькой квартире разные «волосатые ублюдки» стали тусоваться по ночам в коридоре, часами сидеть в туалете, на кухне... В результате папа предложил мне вполне стандартный выбор: или мы, или твои друзья. Легко догадаться, кого я выбрал. И перед самым поступлением в университет ушел из дома. Типа «навсегда, до ужина». А куда я мог уйти? Конечно же, в «Сайгон». Там легко можно было найти вписку на ночь. И конечно же, я нашел, к кому вписаться.

Надо сказать, что отношение к «Сайгону» среди моих друзей, даже «волосатых», было отнюдь не однозначным. Путь из «Сайгона» пролегает в садик «Пале-Рояль», в «Эльф», в «Гастрит», на трассу... Куда угодно — в тюрьму, в литературу, в искусство. (Здесь я не боюсь пафоса и специально употребляю настоящее время.)

Цивильные друзья мне иной раз говорили: «Дима! Ты — и сайгоновская публика...» Что касается сайгоновской публики, то это был настоящий Вавилон. Не в том смысле, как его понимают растаманы, а в том, что «Сайгон» был местом пересечения разных кругов.

И тут нельзя не упомянуть такое странное слово как «система». Кто его придумал, не знаю — возможно, дяди-аналититки из КГБ. Дурацкое слово. «Система» — это были все мы, люди, путешествующие на собаках или стопом, останавливающиеся на флэтах и сквотах у друзей или друзей друзей. Это сейчас автостоп воспринимается как один из видов спорта, а тогда он был всего лишь способом передвижения. Благодаря автостопу у меня до сих пор много друзей в самых разных городах мира.

Но я никогда не считал себя хиппи. Были вещи, которых я избегал (возможно, из-за недостаточной внутренней свободы). Например, «аск» — традиционный среди «системных» людей способ заработка. В семидесятых-восьмидесятых московский человек по прозвищу Гарик Прайс мог за вечер нааскать столько, что потом на эти деньги всю ночь поил и кормил пипл в дорогом ресторане. Как-то у меня гостили Пит-художник и Света Гэс из Москвы. Денег ни у кого не было, Света пошла аскасть и попросила меня составить ей компанию. Мы изображали эстонцев, у которых, типа, украли деньги, и теперь им не на что уехать домой. То

есть изображала Света, а я просто стоял рядом... Но выдержки моей хватило ненадолго, и я позорно сбежал.

...Из сайгоновской публики хорошо помню, например, Сеню Скорпиона. Некоторое время он жил вместе с Региной Глазовой выше меня этажом, и часто мои гости попадали к нему, а его — ко мне. Сеня выглядел как настоящий Верлен: борода, волосы... Он работал натурщиком в Академии художеств, писал неплохие стихи и был сторонником винного опьянения. Про него рассказывали, что он умел исключительно музыкально испускать газы и любил демонстрировать это искусство тусовке...

В начале и середине 1980-х у меня появился круг друзей, который к «Сайгону» прямого отношения не имел, но был связан с ним многочисленными пересечениями. Это Люда Судзуки, Вика Турышева, Шура Леннон, Таня Петрова (Петрович или Петька), Евка и многие другие. Из этого круга вышли писатели-депресссионисты: Транк МК (его переводы Харлана Эллисона, Филлипа Дика, Хантера Томпсона и др. хорошо знакомы читателям), Борис Пузыно, Фил (Андрей Ртомкер) и я. Хотя к «Сайгону» депрессионисты относились пренебрежительно, они были окрашены типично сайгоновской аурой. Вот что о них (о нас) писал один журналист лет восемь назад: «Я до сих пор вижу их в том вязком, как жидкое стекло, времени восьмидесятых — вот МК, с молоточком красного цвета, пригодным для разбивания как стекло «Икаруса» в случае аварии, так и коленных чашечек предполагаемых врагов, идет по белой полосе, возвышаясь над встречными потоками машин; вот Пузыно, в бесконечном лабиринте, где за волевым износом следует локальная смерть, и снова жизнь, которая словно пиво у пивного ларька, а вместо кружки у него сверкающий на весеннем солнце саксофон; рядом — Д. Во, «сумеречная», наиболее вписанная фигура, оклеенная со всех сторон листовками-дацзыбао на самые различные темы; и, наконец, Ртомкер, запертый в ванной наедине с подругой и машиной, заправленной пятью кубами водки, потому что все остальное уже кончилось...»

И действительно — все это кончилось. Началось совсем другое...

Александр Менус

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА*

Ещё году в 1975, когда я учился в школе, мы были с родителями на Невском и я там обратил внимание на удивительных людей: с длинными волосами, необычно одетых, — в сандалиях, разукрашенных джинсах. Нигде раньше я таких людей не встречал и подумал было, что это иностранцы, хотя говорили они по-русски. Я тогда не знал, конечно, что это люди из «Сайгона»...

В 1981 году я поступал в Мухинское училище и там увидел тогда таких ребят, которые выделялись всем своим видом, выглядели очень свободно. Они были сайгоновцы и рок-клубовцы, и несли в себе эту культуру свободных, счастливых людей. Я стал бывать в «Сайгоне» уже тогда, хотя в училище в тот год не поступил. В 1982 году (я как раз поступил в Мухинское) меня должны были забрать в армию, а отправляли тогда в Афганистан. Думаю, убьют ещё... За кого, за что?.. Пришёл я на медицинскую комиссию, а там врач-невропатолог спрашивает меня: «Ночью писаетесь?» Я не сразу понял вопрос, не ожидал такого начала, переспросил: «Я ночью сплю, может быть и писаюсь, не знаю» Меня почему-то

* Беседовала Юлия Валиева.

к психиатру направили. Прочитал я кучу книжек на эту тему и поехал сдаваться в психушку.

Нужна была отправная точка для движения в сторону неизвестности. Белый билет был непростым выбором. Это означало, что ты лишался очень многого в жизни: никогда не сможешь выехать за рубеж, водить машину. Меня пугали, что будет не устроиться на работу, что я даже жениться не смогу. Но я видел совершенно нормальных людей, которые через это прошли. Хотя моих сайгоновских знакомых было достаточно тех, кто служил: это и Слава Хомутов, и Денис Киселёв, и художник рок-клуба Андрей Столыпин (Масик) да и много кто ещё.

Так вот, отправной точкой движения в сторону неизвестности был выбран «Сайгон». В тот день утром мы с моим бывалым другом Димой Дудником зашли в «Сайгон», выпили по «маленькому двойному» и поехали сдаваться на Пряжку. В итоге «школу жизни» я прошёл в психиатрической больнице № 2. И таблеточки прятал, и корбочки клеил. В общем, другую жизнь познавал...

Для меня «Сайгон» был именно точкой отсчета, местом отправления. Не могу сказать, что я там дневал и ночевал, ведь я учился (для меня это было важно) и занимался искусством, но мне необходимо было туда прийти за тем, чтобы почувствовать себя рядом с абсолютно свободными людьми. Не могу объяснить, почему люди там были с просветленными лицами: ведь кто-то приходил с перепою, кто-то всегда был пьян... В «Сайгон» тянуло. Там частенько можно было встретить разных знаменитостей. Гребенщикова, например. Мне нравилось, что все там были на равных, никто не цеплялся к нему, не лез с объятьями. Боб Кошелухов обязательно всех угощал кофе, такая у него была манера. Кофе у Кошелухова был такой крепости, что я с трудом делал несколько глотков.

Постоянно я ходил в «Сайгон» в 1987–1988 годах. После Мухи меня распределили в дизайнерскую контору, которая находилась на ул. Бакунина. Это была закрытая организация, так называемый «ящик», с соответствующей атмосферой, и после работы мне нужно было компенсировать отсутствие воздуха — я доходил до «Сайгона», чтобы получить дозу кислорода. Уж простите за пафос.

Как-то ко мне приехал из Кишинёва дядя и попросил показать ему «Сайгон». Было часа два дня, никого не было. Дядя удивился: «И это “Сайгон”»? Да, без людей «Сайгон» был бесцветен. Я тогда понял, что не место определяло эту атмосферу, а люди. <...>

Для всегдашнего я, может быть, и не был своим, но они были для меня своими. Так, «Сайгон» не представить без Вити Колесникова. Он был потрясающий психолог: у него было чутьё на деньги. Он подходил только к тем, кто пришёл в этот день с деньгами и мог его угостить кофе. Не было у человека денег — он к нему и не подходил.

После закрытия «Сайгона» вся тусовка переместилась в «ЧК» («Чай — Кофе») и в «Огрызок», благо рядом была Пушкинская, 10. С одной стороны, это был уже не «Сайгон», а с другой стороны, там собиралась та же самая публика. В «Огрызке» году в 1990 со мной произошла такая история. Я был членом группы художников «Свои», и у нас было много выставок. И вот, после выставки в Гамбурге ко мне в мастерскую на Пушкинскую, 10 пришли два человека из отдела по борьбе с контрабандой, начали меня расспрашивать, прощупывать, не имею ли я отношение к незаконной продаже картин, а заодно хотели сделать меня стукачком. Говорят мне: «Может, кофе вместе попьем?» Направились в «Огрызок». Пока стоим в очереди, подходит Витя Колесо. Понимает, что у моих сопровождающих есть деньги. «С-саня, кофе нальешь?» — спрашивает. «Да», — говорю, а сам пытаюсь как-то показать, что лучше бы ему уйти. Двое в штатском тут же ухватились за возможность узнать круг моих знакомых, предложили Вите коньяку. Я дал понять, что на роль стукачка не гожусь — слишком болтлив, но кофе за их счёт выпил.

Юрий Веселов

ЧЕРЕП И БРИТВА (фрагменты)

«Сайгон» был не единственным местом в городе, где тусовалась соответствующая публика. Я познакомился с этой средой в 1977 году, когда поступил в университет, на биологический (точнее, на биолого-почвенный, как он официально назывался) факультет. Там, естественно, были свои кофеюшники, где студенты коротали время между занятиями: «У Аллочки» (в бывшем физическом корпусе), «Под восьмеркой» (т. е. на месте студенческого общежития № 8), на истфаке, в «Академичке»... — в них я и познакомился с классическим «маленьким двойным». Были и другие места.

Кажется, это Кошка, светлая ей память, чудесная девушка со старшего курса, привела меня в кофеюшник на углу 2-й линии и Большого. Тогда от универовского главного здания, где располагается биофак, можно было пройти двором от кафедры ботаники прямо к началу Большого проспекта, а там два крохотных квартала до 2-й линии. Официально заведение называлось кафе «Сфинкс», но люди из тусовки называли его «Гадником» (и еще, кажется, «Свиньей»). Туда часто заходили студенты близлежащих факультетов, но более заметной частью публики были молодые люди, отличавшиеся одеждой, прическами, манерой поведения и интересами. Я сам тогда ходил с длинными волосами, в круглых ленноновских очках, в какой-то драной жилеточке и, конечно же, джинсах, интересовался рок-музыкой, литературой, искусством и восточной философией, с восторгом читал в старых номерах «Нового мира» ругательные статьи про хиппи и наркоманов (тут же их, впрочем, и хвалили за антивоенные выступления) — словом, я быстро стал завсегдатаем этого места, тем более что жил тогда на Васильевском острове, и дорога домой из университета проходила мимо «Гадника». Наступало лето, на бульваре Большого проспекта тусовщики гоняли фрисби. Проголодавшись, можно было зайти поесть в расположенную тут же на углу пельменную. Наигравшись во фрисби, напившись кофе, шли гулять с новыми знакомыми, забирались на крыши или в дом на капремонте, искали там брошенные выехавшими жильцами вещи, иногда находили какие-то забавные предметы — я, например, как-то нашел целую коробочку нарисованных на стекле слайдов с какими-то безумными орнаментами. Что это было, кто рисовал эти слайды, когда, где их показывал? Коробочка давно потерялась, но я вспомнил ее, когда через много лет сам стал рисовать слайды.

Осенью «Гадник» закрыли на реконструкцию, и через год там открылся модный гриль-бар, слишком дорогой для студентов, и маленький двойной за десять копеек больше не продавали. Тогда многие считали, что это было сделано с целью разогнать неформальную публику. Люди пытались найти себе новое место для встреч — помню, одно время ходили в какой-то подвальчик на ул. Декабристов, но он не прижился. Многие переселились в «Сайгон», но я бывал нечасто, особенно когда связался с наркотиками: «Сайгон» был хорошо известен милиции, рядом с этим кафе человека с длинными волосами легко могли забрать, обыскать...

В Веселом Поселке была своя тусовка. Как говорил один мой тогдашний знакомый, «Веселый Поселок — страна дураков». Я жил на краю этой страны, из моих окон открывался вид на зарастающие дикой зеленью свалки каких-то отходов. Ходить там было некуда — встречались на квартирах у друзей, слушали музыку, курили.

Однажды один из моих знакомых-раздолбаев из Веселого Поселка устроился сторожем в Андреевский Собор, на углу Большого проспекта и 6-ой линии. В церкви тогда располагался филиал какого-то института. Проработал там мой приятель недолго, но успел как-то раз пригласить к себе на работу компанию друзей-наркоманов. Так мы оказались в слабо освещенном здании церкви. Неф был заставлен стеллажами,

на которых ровными рядами стояли человеческие черепа. Видимо, здесь хранились антропологические коллекции. Годы спустя я представлял себе, как это должно было выглядеть со стороны: полутемная церковь, уходящие в темноту ряды полок, уставленных черепами, в середине церкви горит огонь, на стенах пляшут тени сгрудившихся вокруг огня длинноволосых людей, которые варят некое зелье...

В тот раз я взял на память один небольшой (видимо, подростковый) череп. На нем была явно дореволюционная бляшка с инвентарным номером, верхняя часть черепной коробки была отпилена и откидывалась на бронзовой узорной петельке (чтобы можно было рассмотреть череп изнутри), а в закрытом виде закреплялась бронзовыми же крючочками. Артефакт, одним словом. Анатомический препарат. Тогда-то я знал названия всех этих косточек по латыни на память.

Конечно, сейчас меня ужаснула бы даже мысль о краже музейного экспоната, а тогда процветал принцип «Все кругом народное, все кругом мое». Большинство людей тащило по мелочи с работы все, до чего дотягивались руки, и утащить что-то у государства не считалось предосудительным. Делали это, конечно, не все, но массовая мораль была именно такова, и я не видел ничего плохого в том, чтобы взять никому не принадлежащую вещь, которой все равно никто не хватится...

Роман Яшунский
(епископ Нектарий Олимпийский)

МОИ МЕМУАРЫ (фрагменты из книги)

В детстве бабушка как-то назвала меня хиппи. Я очень не любил стричься и всегда хотел носить сколь можно более длинные волосы. Мне было тогда лет восемь, и я не знал, кто такие хиппи, и думал, что это что-то вроде хулиганов или бандитов. Кроме волос, мне нравились еще брюки клеш. Такие тогда не продавались, но я уговорил бабушку сшить их мне, а также расставить штанины школьных брюк. <...>

К пацифизму меня подтолкнула смерть Джона Леннона. Не помню, в восьмом или в девятом я тогда был классе, но помню, что в тот день наш класс дежурил. <...> Вдруг в коридоре, где я стоял на посту, образовалась группа ребят постарше с надетым на две швабры самодельным плакатом с пацификом, портретом Леннона в траурной рамке и надписью «John Lennon forever» и устроила что-то вроде демонстрации с пением чего-то ленноновского, каковой я должен был препятствовать, но пренебрег своим долгом и сам собирался уже примкнуть к ней, когда на ее разгон устремилась с кулаками сумасшедшая химичка.

Джон Леннон, пацифик, мирная демонстрация — все это произвело на меня сильное впечатление и всколыхнуло старую любовь к волосам и брюкам клеш. К тому же теперь у меня были хоть и не четкие еще, но все же более верные, чем в раннем детстве, представления о хиппи. Но старший мальчик Ваня Вагин объяснил мне, что хиппи больше не существует, а вместо них есть пацифисты. Пацифисты мне тоже понравились, но к хиппи привлекал еще и эстетический компонент, и я задумал восстановить движение хиппи на базе пацифизма. <...> Сошлись мы на том, что все же можно в любом случае рисовать на стенах домов пацифики и писать «NOT NEUTRON BOMBS», за каковым занятием меня однажды поймала милиция. Расписывал я стены Михайловского замка. Сообщили в школу. В классе устроили комсомольское собрание, на котором меня обвиняли в том, что, призывая к разоружению, я выступаю за ослабление оборонной мощи нашей родины перед лицом опасности

империалистической агрессии. Я же оправдывался тем, что мой призыв направлен и к империалистам тоже, и, что если все разоружатся, то и угроза агрессии отпадет сама собой. Так и не сошлись ни на чем; каяться я не стал, но один мальчик предложил взять меня на поруки и не исключать из комсомола. Так и сделали.

Когда я учился в девятом классе, умер Брежнев. <...> Идем и обсуждаем: все-таки помер или нет? Кто-то смеется. Вдруг увидели: старушка-уборщица плачет крупными слезами: «Что вы, ироды, смеетесь-то? Горе такое!»

И впрямь помер! <...> Как были мы в школьной форме, так и пошли с Сергеем в магазин за вином. Очередь в магазине гудит. «Пейте, мальчики, пейте, — сказала нам продавщица, — сегодня можно, сегодня день такой!» <...>

А весной 1983 года прошел слух, что в день рождения Гитлера, 20 апреля (кажется, это было воскресенье), состоится демонстрация у Казанского собора, и мы с Сергеем отправились на Невский. Демонстрации никакой не было, но до Казанского мы, тем не менее, даже не дошли. Уже в метро было заметно скопление милиции, которая останавливала почти всех молодых людей. Мы, однако, проскочили и вышли на «Гостином», но на улице к нам тут же подошли люди в штатском и отвели в стоявшую у тротуара машину — милицкий фургон, в котором уже томились человек десять. Мы оказались последними пассажирами, и вскоре нас отвезли в отделение на ул. Заслонова.

Там находилось пять милиционеров и человек сорок арестованных обоего полу, преимущественно — хиппи. Одни из них стояли, другие сидели на стульях или прямо на полу, громко разговаривали, смеялись и вообще вели себя так, словно это они были хозяевами положения. Я впервые видел живых хиппи и глядел на них во все глаза. Они были в расшитых цветами и узорами джинсах со множеством заплаток, с длинными волосами, некоторые держали в увешанных бисером руках цветы. Они не выказывали никакого страха перед ментами. Так, один из них, на суровый вопрос милиционера: «Что это у тебя за брюки такие?» — ответил: «А это вовсе не брюки, а две юбки — по одной на каждую ногу». А другой, державший на руках котенка, говорил: «Вот вырастет он большим тигром и всех вас съест!» Кто-то тихонько напевал «харе Кришна, харе Рама». И та свобода, с которой эти люди, даже будучи взятыми в плен, отвергали навязываемые им обществом стандарты и разговаривали с представителями власти так, как считали нужным и естественным для себя, поразила меня до глубины души. Пока до нас дошла очередь быть вызванными к допрашивавшему, прошло, наверное, более часа, в течение которого я, как губка, впитывал новые впечатления. <...>

Не захотев продолжить семейную традицию и поступить в Политехнический институт, я, естественно, вскорости столкнулся с тем, что родина захотела взыскать с меня долг, который я, по ее мнению, имел перед ней, то есть — забрать меня в солдаты. Такая перспектива меня не радовала, и я решил «откосить» в психушке. <...>

Главным впечатлением, вынесенным мною из пребывания в психбольнице, было новое соприкосновение с хиппи в лице Шуры Хайрастого. Не то чтобы он был выдающейся личностью, но образ его жизни и система ценностей представляли собой разительный контраст со средой, в которой я дотеле вращался. Шура был нищ. Конечно, это не была вольная нищета Христова, нищета ради добродетели, но тем не менее это был осознанный выбор — выбор недеяния в противовес деятельности, направленной на стяжание материального благополучия. Шура был гоним. Гоним всеми: обществом, системой, своей семьей. Не Христа и не правды ради, а ради своей индивидуальности, но он принимал эту гонимость, чтобы жить так, как он считал нужным и правильным. Шура был религиозен. Не церковной религиозностью, конечно, но искренней. Шура был причастен к тайному и запретному: он употреблял наркотики. У него была тетрадка, озаглавленная «Талифа куми», в которую он записывал свои мысли, которые почитал озарениями, стихи, свои и чужие, и еще Бог весть что. Что значит «талифа куми», я не знал, но звучало это завораживающе. <...>

Психушка не только освободила меня от армии, но и полностью переменяла мое отношение к жизни. Мне показалась совершенно ничемным занятием погоня за деньгами и житейским успехом, и весь прежний образ жизни сделался лишенным какой-либо привлекательности. <...> Общаться я решил теперь со своими новыми знакомыми по Кашенко. <...> И вот пришел в «Рим» — заведение на Петроградской, рядом с одноименной станцией метро. Вход был из скверика, расположенного между Каменноостровским проспектом и набережной реки Карповки, в котором стоит памятник изобретателю радио И. В. Попову. Заведение это, занимавшее первый этаж жилого дома, распалось на два разных, объединенных общим входом с маленьким вестибюлем, за которым с правой стороны располагалась кафе, а с левой — бар. Почему оно звалось «Римом», я не знаю. Существовала версия, что это от его прежнего названия «Мир»; но к тому времени, как я впервые вошел туда, никакого официального именованья оно не имело, а все знали его как «Рим». Я жил тогда в пяти минутах ходьбы от него.

«Римская» тусовка отличалась от «сайгонской». Она состояла из двух пересекающихся компаний, одну из которых составляли преимущественно студенты расположенного поблизости Первого медицинского института и некоторое количество их знакомых, а другую — разные лица, не связанные общим социальным статусом. Так получилось, что я примкнул сразу к обеим. <...> Иногда, впрочем, в «Рим» заглядывал и кто-нибудь из «сайгончиков». Это бывали торговцы наркотиками, назначавшие там встречу с покупателями (так как место это было гораздо более безопасным в плане милицеских проверок), либо приходившие сбывать свой товар самим «римлянам», среди которых также существовал некоторый спрос на марихуану (хотя в целом это сообщество все же нельзя было назвать наркоманским — наркотиками там скорее баловались), а бывали и просто чьи-то знакомые. Так, я познакомился там с Кэт-Барабанщицей, которая-то и ввела меня потом в «Сайгон». <...>

Кэт была замечательной девушкой. Возрастом она была меня на год или два младше, но знала всех самых «олдовых» хиппи в стране, и все знали ее, хотя она почти нигде не выезжала из Питера. Она тусовалась в «Сайгоне», наверное, лет с двенадцати-тринадцати. Стиль ее одежды не выдавал в ней хиппи, так как она жила дома с родителями, и они, должно быть, следили за ней. Она была барабанщицей в какой-то доморощенной рок-группе и заядлой битломанкой. <...> И еще она была очень доброй и отзывчивой и всегда всем помогала, чем могла. <...> Так же она устраивала приезжих ночевать к кому-нибудь «на флэт».

Я подружился с Кэт <...> и как-то сразу вошел в «сайгонскую» тусовку, минуя стадию «пионера»; этому также способствовал быстрый рост моих волос, которые весьма скоро позволили мне считать себя своим среди хиппи. Обычно же бывало не так: вновь пришедшему в «Сайгон» было трудно сразу приткнуться к хипповской «системе», которая смотрела на него, как на чужака, пытающегося, не расставшись еще с «цивильным» образом жизни, подражать манерам хиппи. Проходило обычно не меньше года, пока к таким «пионерам» привыкали и начинали понемногу считать их своими — и то, если они действительно воспринимали присущий этой среде образ жизни и менталитет. <...>

Еще в «Риме» я впервые столкнулся с увлечением некоторых восточными культами и философиями, а также прочитал «евангелие советской интеллигенции» — «Мастера и Маргариту». Ни то, ни другое мне не понравилось, несмотря на свою популярность в той среде. Популярность же была велика, так что многие даже именовались прозвищами по именам булгаковских героев — всяких там воландов, гелл и бегемотов. Бегемотов было особенно много. <...> А к весне 1985-го я уже вполне вписался в хипповскую систему, став завсегдаем в «Сайгоне» и на лестнице Инженерного замка, где также собирались в хорошую погоду (это место

тоже как-то специально у нас называлось, но я уже не помню как). В течение дня несколько раз и ходили от «Сайгона» к Михайловскому и обратно. В «Сайгоне» пили кофе, а на лестнице пели песни, курили сигареты и косяки и играли во фрисби — летающую тарелку. Тогда же я посетил и первые свои рок-клубовские концерты. <...> В среде хиппи мне дали прозвище «Глюк». Это, впрочем, было связано не с тем, что я был склонен к галлюцинациям (галлюциногенов я не употреблял), не с тем, что являлся кому-то в видениях, а с анекдотом (наркоман возится с говорящим крокодилом, который все время ноет и капризничает, а потом говорит своему питомцу: «Вот, сейчас приму еще дозу, и ты исчезнешь, глюк проклятый»). Хиппи находили, что я такой же нытик, как тот крокодил. Я никогда не любил это



Крым. 1986 г.

прозвище, и сам так не представлялся, да и называли меня все больше просто по имени, и лишь в третьем лице говорили как о «Роме Глюке» для различения с другими Ромами. <...>

В «Сайгоне» я познакомился с одним православным тусовщиком и попросил его быть моим крестным. Саша Голубков, так его звали, был лет тридцати с лишним и носил длинные белые волосы и рыжеватую бороду, но хиппи не был: одет он был хоть и богемно, но прилично и был всегда при деньгах. Он не пил и не курил ни анаши, ни даже простых сигарет и вообще был образцом всяческой добродетели. Например, он каждый день кормил голубей и говорил, что это занятие несет в себе огромный духовный смысл, непонятный профанам. Равно и фамилию свою он трактовал как тайный знак особой причастности Святому Духу. Он был не чужд тайного знания и к самому православию относился несколько эзотерически: так, когда я пожелал пойти в храм Духовной академии, он сказал, что мне туда еще рано, так как это храм для продвинутых верующих, а с меня довольно будет и Преображенского собора. Сам же он был весьма продвинутым, ибо ездил даже в Рижскую пустыньку «на послушание». Он занимался разными рукодельными ремеслами: ткал и вязал что-то из цветной шерсти, а также занимался парикмахерским искусством и принимал у себя на дому клиентов, что и давало ему средства к существованию.

К тому, чтобы быть моим крестным, он отнесся с большой ответственностью и вызвался во всем руководить моей духовной жизнью. Для этого дал мне читать книжку какого-то индийского йога, где трактовалась Нагорная Проповедь и вообще христианство с точки зрения «религии сердца», но мне было трудно понять, как может толковать христианство человек, сам поклоняющийся не сущим богам. <...>

По совету Саши Голубкова, я направился в Преображенский собор и, выбрав наиболее приглянувшегося мне священника, подошел к нему и объявил о своем намерении. Отец Анатолий на сие ответил мне единственно, что если я хочу, чтобы меня крестил он, то мне нужно сначала постричь волосы, а затем уже приходить. Поскольку он ничем не обосновал это свое требование, то мне оно показалось неубедительным, и я к нему не пришел. Я не очень-то торопился с крещением.

Тем временем началась уже весна, стало выходить теплое солнце, и стоял снег. Как-то в субботу ближе к вечеру мне позвонил Шура Хайрастый и предложил пойти погулять. Мы стали бродить по центру и перебрасываться во дворах летающей тарелкой. Случайно я закинул тарелку на крышу одноэтажного флигеля — бывшего каретного сарая — во дворе какого-то дома, и Шура полез достать ее, но, слезая назад, неудачно спрыгнул и подвернул ногу. Ходить он мог, но заниматься подвижными играми — нет, и поэтому мы пошли в церковь Духовной академии — то недоступное святилище, вход в которое мне воспрещал строгий Саша Голубков.

Служба уже подходила к концу, и скоро основная масса прихожан покинула церковь, но некоторые остались: они стояли в очередь на исповедь, которую на клиросе проводил худой священник с аскетического вида лицом — отец Феодосий, как мне довелось узнать впоследствии. <...> Мое внимание обратила на себя одна прихожанка — молодая девушка примерно моих лет, небрежно одетая, с выбивавшимися из-под платка крупными локонами нечесаных темных волос. Она горячо молилась за службой, а по ее окончании осталась стоять в очереди на исповедь. На всем ее облике была печать какой-то надломленности, трагедии и вместе глубокой религиозности: неправильные черты ее, не лишённые, впрочем, некоторой миловидности, выражали немедленную готовность впасть в религиозный экстаз. <...> Наконец девушка исповедовалась, подошла к нам, и Шура познакомил меня с ней. Звали ее Марина Бусыгина, или Княжна. <...> Марина закончила биофак университета, но, кажется, нигде в то время не работала. Она не была хиппи, хотя одевалась далеко не так, как обычные девушки ее возраста. Все на ней было какое-то длинное и бесформенное, косметики никакой, и потупленный долу взгляд, и прерывающийся голос — все это производило довольно странное впечатление, усиливавшееся необычной для меня темой ее беседы. Она говорила о древних святых Армении, о своей подруге Маше Трофимчик, о том, как одна из них молилась в Армении перед каким-то древним крестом, а другая в это же время — перед Распятием в храме Духовной академии, где мы сейчас находились, и как они при этом не то видели, не то каким-то иным чувством воспринимали друг друга. <...> Это знакомство усилило во мне религиозные настроения и побудило меня ходить в Академию не только ради собственно службы, но также и перспективы вновь встретить там Марину.

В «Сайгоне» я рассказал о своем походе в храм, и выяснилось, что не я один там был: одна девушка-хиппушка, Катя Калинкина, сказала, что она туда регулярно ходит с мамой и младшим братом Егором, и предложила в следующий раз пойти вместе. Я немало удивился этому открытию: религия и церковь казались мне настолько закрытой сферой, что встретить среди знакомых регулярных прихожан, да еще такой церкви, было для меня весьма неожиданно. Но еще более удивительным мне показалось то, что у девушки верующая мать: я думал, что поколение наших родителей сплошь состоит из зашоренных советскими стереотипами людей и что

мы во всех сферах являемся первопроходцами, самостоятельно совершающими прорыв за рамки окружавшей нас действительности.

Потом мы с Катей пошли вместе в Академию, и она познакомила меня со своей матерью, Таней Шеремет. <...> Татьяна жила с детьми на Старо-Невском, недалеко от Лавры, и у нее дома по воскресеньям после службы тусовались некоторые прихожане Академии, в основном хиппово-богемного толка, а также иные студенты и даже священники. Там меня несколько просветили начальными религиозными познаниями и, в частности, рассказали, что в древности крещение совершалось под Пасху, в Великую Субботу, и я загорелся последовать этому обычаю.

А потом как-то я шел по Невскому, и вдруг ко мне подошел какой-то вполне шпильного вида мужчина и сказал: «Привет». Я очень удивился, но ответил ему тем же. «Я тебя видел у нас в храме, в Духовной академии, — сказал мужчина, — я там учусь. Приходи снова в воскресенье». И представился: «Юра Зяблицев».

В воскресенье я пришел в Академию, и Юра, увидев меня во время службы, подошел меня поприветствовать. Тут к нему приблизился другой также облаченный в подрясник студент и, целуя его троекратно по православному обычаю, пропел: «Опять ты, Зяба, хиппа в церковь притащил? Кровью за это умоешься». <...> После службы Зяба повел меня с собой в академическую столовую и угостил обедом. С нами за столом располагались еще один или два студента, и я чувствовал себя на вершине счастья, разделяя трапезу с людьми в длинных черных одеждах.

Гордый таким знакомством, я и в следующее воскресенье пошел в церковь, чтобы его поддержать. Когда на литургии вынесли чашу, Зяба подошел ко мне и сказал: «Я видел, ты и в прошлое воскресенье не причащался. Иди, причастись». Я тогда сказал ему, что не крещен, а он предложил мне быть моим крестным, и пригласил после службы к себе в гости — он снимал тогда у каких-то знакомых двухкомнатную квартиру на Елизаровской.

Дома у него играла классическая музыка, на столе было красное грузинское вино; мы пили его, заедая яичницей (даром, что шел Великий Пост), курили и разговаривали: я рассказывал о себе, а он — о себе. Ему тогда был тридцать один год, и он учился на последнем, четвертом курсе Духовной академии. <...>

Юра очень интересовался движением хиппи, их образом жизни и идеологией (уделяя, правда, особое внимание вопросам сексуальных отношений), и однажды сказал мне: «Ты знаешь, вы, хиппи, гораздо ближе к Богу, чем мы — духовенство». Тогда мне эта фраза показалась парадоксальной: я не понимал, что она не является комплиментом хиппи, а попросту исходит из опыта церковно-приходской жизни. Возможно, Зяба хотел и сам приблизиться к Богу через общение с представителями неформальной молодежи и приобщение к андеграундной культуре (как он гордился, помню, мимолетным знакомством с БГ!), но интерес его ко мне умаялся пропорционально моему отдалению от «сайгонской» среды и воцерковлению, а когда я стал монахом, то общение наше и вовсе свернулось, так что даже о его трагической кончине (а он был в 1997 году зверски зарезан в своей квартире в Москве, где он к тому времени был священником и сотрудником ОВЦС, заведующим отделом по связям с Римско-католической церковью) я узнал лишь несколько лет спустя.

Забегая вперед, расскажу об одном инциденте, произошедшем с Зябой вследствие его увлечения неформальными молодежными течениями. Уже по окончании Академии он так же, как и со мной, познакомился на улице с одним панком и пригласил его креститься в храм св. Иова на Волковом кладбище, где он служил тогда псаломщиком. Обряд крещения начался, но когда дошли до вопроса крещаемому: «Отрицаеши ли сатаны и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его...?» — то панк задумался, постоял минутку молча и сказал: «Нет, я не могу. Не отрекаюсь...» — повернулся и вышел вон.

Я, как говорил уже, собирался креститься по древнему обычаю в Великую Субботу, но неожиданно в мой план были внесены коррективы. В Великую Среду я пришел в церковь Академии и увидел священника (он как раз принимал исповедь), к которому мне непременно захотелось подойти: таким духовно просветленным он мне показался со своим строгим внимательным взглядом и длинными светлыми волосами, ухидившими под воротник рясы. Это был иеромонах Алексей Макринов, который недавно вернулся из Финляндии, где он жил года два в Ново-Валаамском монастыре, а в прошлом был сотрудником Пушкинского дома и поэтом-хеленуктом. <...> Я подошел к аналою, за которым он исповедовал, и поведал ему о своем намерении креститься в субботу, а также о желании, что бы крестил меня он. Он ответил, что в академическом храме крестины вовсе не совершаются, и посоветовал мне не откладывать крещение до субботы, когда перед Пасхой всем будет некогда, а прямо завтра же пойти в соседний Троицкий собор Лавры и креститься. Я рассказал об этом Зябе, и он, найдя эту мысль здоровой, велел на следующий день прийти к нему в семь утра, имея с собой белую рубашку и десять рублей для крещения. <...>

Дни до Пасхи я помню плохо. Помню, что о. Алексей Макринов тоже поздравил меня и подарил молитвослов издания «УМКА-Press». В те годы религиозная литература вообще была редкостью, а заграничная — тем более, да еще и редкостью крамольной. Милицией вся заграничная литература изымалась. Поэтому я оторвал от молитвослова половину титульного листа, где было указано место издания. <...>

* * *

Монастырь Бетания находится километрах примерно в двадцати-тридцати от Тбилиси. <...> После революции он считался недействующим, но в нем на положении «сторожей памятника культуры» жили два-три монаха — святые старцы. К 1960 годам они, однако, все умерли, и монастырь был восстановлен лишь в конце 1970-х. Это был единственный монастырь, открывшийся в СССР в те годы, и вообще единственный действующий мужской монастырь в Грузии.

Мы подошли к воротам в стене, еще сохранявшейся с одной стороны монастыря, и навстречу нам вышел высокий человек лет пятидесяти, одетый в драный и заплатанный подрясник, доходивший ему только до середины голени, кирзовые сапоги и круглую шапочку. Тут я выступил вперед, как самый православный из всей компании, и сказал: «Мы бы хотели поговорить с игуменом». — «Игумена нет, а я просто самый старший из монахов здесь. Что вам надо?» — «Мы хотели бы попросить благословения остановиться на несколько дней». — «Если у вас есть палатки, то вы можете остановиться вон на той лужайке, но только на три дня. Еду и кастрюли мы вам дадим».

На самом деле это и был игумен монастыря, архимандрит Иоанн Шеклашвили, кроме которого в братии состояли еще два человека: иеромонах Лазарь Абашидзе и иеродиакон Георгий. Последний, впрочем, не жил постоянно в обители, а курсировал между ней и Тбилиси.

Присев на невысокую земляную насыпь у ворот и пригласив нас сделать то же, о. Иоанн продолжил беседу: «А вы кто такие?» — «Хиппи». — «Так ведь настоящих хиппи нет больше. Мы — последние хиппи».

Нас, признаться, несколько озадачило такое самоопределение игумена.

Он вообще был неординарной личностью, этот игумен. Некогда был уголовным авторитетом, вроде бы даже вором в законе. Сидел в тюрьме, болел там туберкулезом, по выходе уверовал и поступил в монахи в Почаевскую Лавру на Западной Украине. А потом игумен Лавры встретился в Москве на каком-то церковном мероприятии с грузинским патриархом и похвастался тому, что «вот, дескать, у меня в братии один грузин есть», а патриарх попросил: «Пришли его мне, а то у меня мо-

ников нет, а надо монастырь открывать». И его послали в Грузию, где он сразу стал игуменом монастыря. А через пару лет к нему прибилась Миша Дэсимон, по прозвищу Бонифаций, пришедший от тусовочной жизни в Москве, наркотиков и прочего в такое психическое состояние, что он просто не мог разговаривать ни с кем из людей и стал искать место, где бы можно было ото всех спрятаться и зализовать душевные раны. Прослышав об уединенном монастыре, он приехал туда на зиму, да так и остался пасовшем. Наверное, это его считал о. Иоанн последним хиппи и полагал, что с поступлением Бонифация в монашество хиппи в мире кончились.

Мы отправились на указанную нам лужайку и разбили палатки, а вскоре к нам пришли о. Лазарь и невысокий коренастый грузин с красивым лицом и коротко стриженными волосами, — Тимур (в настоящее время тбилисский протоиерей и протоиерей Вселенского Патриархата мама* Теймураз Беришвили). <...> Среди беседы Тимур вдруг сказал мне, что Писание воспрещает мужчинам носить длинные волосы, но я отказался поверить этому, пока он не покажет мне соответствующий текст.

«А если покажу, пострижешься?» — «Если покажешь, то да».

На следующее утро он пришел с Библией, открытой на месте из Послания к Коринфянам: «Если муж растит волосы, то это бесчестье ему» — и ножницами.

«Стриги», — говорю.

И он довольно коротко подстриг меня, попутно объясняя, какая это мне честь, так как он, Тимур, самому патриарху волосы подстригает.

«Ну вот, — сказал он, закончив процедуру, — я над тобой твой *первый* постриг совершил — в человеки».

Увидев, как он бросил затем мои длинные волосы в служившую им вместо мусорного бачка тачку, Валера Донецкий сказал: «Эх, какой хайр валяется! Словно поверженное знамя».

Я же, напротив, почувствовал освобождение. Дело в том, что в последнее время я начал несколько тяготиться хипповской «системой», ощущая уже ее как препятствовавшие моему дальнейшему движению рамки, вопреки тому, что она традиционно представлялась как раз таки бегством от всяческих рамок и стереотипов.

Вечером этого дня меня позвали перейти жить в монастырь. Позвали также и успевшего за это время к нам присоединиться юного одесского панка Костю, который выразил желание креститься. Правда, он хотел креститься непременно в католичество, но не возражал против того, что бы это сделали православные священники. А священники то ли не поняли правильно его намерения, то ли надеялись его откорректировать.

На следующий день выходил данный монахами трехдневный срок проживания на поляне, и наши друзья собрались отъезжать назад в Тбилиси. <...> А мы с Костей были переоблачены в черные монастырские штаны и рубахи и приобщились к монастырской жизни.

Жизнь эта отличалась простотой и минимумом формальностей. О. Иоанн — даром, что был архимандрит — на службу не только не надевал митру, но даже и креста не носил, не говоря уже об игуменском посохе и специальной мантии, а служил как простой иеромонах. За малочисленностью братии служба проходила практически без пения: почти все просто читалось. Хозяйственным работам уделялся необходимый минимум времени и сил, а упор делался на творческие занятия: иконопись, резьбу или богословское самообразование. Было два домика-кельи на некотором удалении от монастыря, куда кто-нибудь из монахов по временам отселался на несколько недель для уединения в отшельничестве. Там он жил в уединении, посещая

* «Мама» по-грузински означает «отец».

лишь воскресную литургию и последующую за ней трапезу. Пища монастырская была простой, но вкусной; кормили два раза в день, но желающим не воспрещалось вечером пить чай и закусывать. А за общей трапезой чай не подавался, так как о. Иоанн считал его возбуждающим напитком и употреблял лишь тогда, когда нужно было проделывать какую-либо тяжелую физическую работу. Обычно же вместо чая подавали настой из трав: зверобоя, душицы и т. п.

Там совершенно не было православного ханжества и смиреннословия, почитаемого некоторыми за непременный атрибут монастырской или вообще «духовной» жизни, когда старцы говорят на все елейными голосами «спаси Господи» и «простите-благословите».

Раз Костя рассердил о. Иоанна своим упрямством, поскольку все настаивал на чем-то своем вопреки объяснениям игумена, и тот сказал ему: «Да ты кто такой, чтобы со мной спорить?! Да ты знаешь, что я в своей жизни анаши выкурил больше, чем ты вешишь?!» <...>

Итак, я уже не считал себя хиппи, но все же продолжал еще какое-то время по инерции ходить в «Сайгон», так как другого общества у меня пока не было. И вот тут-то я чуть было не стал вразправдашним наркоманом, ибо теперь мне невозможно было стоять на месте, но надлежало либо сознательно изменить свою жизнь к лучшему, либо самому изменяться ее течением к худшему.

Я бросил курить анашу, так как с некоторых пор стал чувствовать, что мысли, приходящие мне в состоянии обкурки — не мои, а приходят извне, из какого-то чуждого и враждебного мне источника, и что я не могу им сопротивляться. Я тогда подумал, что это бес, и не стал больше курить. Зато я стал чаще колоться: как-то само собой получалось, что все время подворачивалась возможность «вмазаться». <...> И вот, как-то мы с товарищами купили довольно много раствора. <...> Когда все, кроме меня, укололись, то раствора осталось пять кубов, и я попросил вколоть мне их все. <...> А когда увидел, как полный пятикубовый шприц уходит мне в вену, то сильно испугался и вдруг понял, что если я еще буду колоться, то уже не смогу остановиться и стану наркоманом. Я сидел, наверное, больше часа на скамейке где-то в районе Шпалерной, будучи не в силах подняться и пойти домой, и думал о том, что это был мой последний укол. Я действительно не стал больше колоться, но на второй день почувствовал ломоту в суставах и во всем теле, как это бывает в начале гриппа или простуды. Это были мои первые и последние «ломки», по счастью весьма легкие и окончившиеся на следующий день.

Я устроился на работу — в Мухинское училище натурщиком. Меня лепили студенты за рубль тридцать копеек в академический час. Это была самая высокая ставка — за «обнаженку», хотя обнажен я был лишь наполовину, так как лепили с меня поясную скульптуру. Студенты были добры ко мне и почти всегда отпускали минут на десять, а то и на пятнадцать раньше конца урока, понимая, что трудно неподвижно сидеть в довольно-таки неудобной позе. <...>

Иной раз я встречал в Мухе Бадри, с которым познакомился летом. <...> Он познакомил меня со своей однокурсницей Алисой, довольно некрасивой девицей, безответно в него влюбленной. Бывало, после занятий мы втроем шли куда-нибудь гулять или пить кофе. Во время одной из таких прогулок я познакомился с Володей Безногим. Этот Володя жил на Кутузовской набережной, на первом этаже, и часто, открыв окно, сидел на подоконнике и заговаривал с прохожими, а с некоторыми играл в шахматы: партнер его стоял на улице, а Володя сидел на подоконнике или же в кресле-каталке у себя в комнате. Так же через окно заходили к нему и гости, которых он любил у себя принимать. <...>

Он любил беседовать на всякие философские темы, но когда речь заходила о религии, то озлоблялся и говорил: «Бог, Бог! А за что твой Бог меня ног лишил?»

Мне было странно, что он этого не понимает, ибо ног лишился в тюрьме, куда попал за убийство собственной жены, которую зарезал из ревности, но мне было как-то неловко указывать взрослому человеку — ему было тогда лет, наверное, сорок — на очевидную для меня связь между этими событиями. Тем не менее, и продолжал дружить с ним еще некоторое время, пока один случай не положил той дружбе решительный конец.

Это случилось через несколько месяцев после моего увольнения из Мухинского училища. Мы пришли в гости к Володе с Мариной Княжной, и он стал жаловаться на свои скорби, говоря, что калека лишен радостей жизни, а мы — молодые и здоровые — не хотим его любить, несмотря на все свои разговоры о христианстве. «Вот разделись бы и стали все втроем резвиться тут, как зайчики», — сказал он, указывая на свою широкую кровать. <...> Мы ушли, и больше я его не видел. <...>

Еще во время моей работы в Мухе произошел забавный инцидент. Половина группы лепила меня, а другая половина — женщину лет тридцати пяти. Мы с женщиной сидели в разных концах аудитории, и между нами была натянута веревка с холщовой завесой на ней, долженствовавшей оберегать нас от морального урока, могущего возникнуть от созерцания друг друга. Все было нормально, и с женщиной мы встречались лишь в начале и конце урока, одетыми. Но вдруг в класс случайно заглянул кто-то из училищного начальства, и поднялся форменный скандал. «Какой кошмар! — кричало во всю глотку начальственное лицо. — Две разнополых модели в одном помещении! Ужас! Разврат! Прекратить немедленно». И действительно, несмотря на ходатайства преподавателя, говорившего, что это семестровая зачетная работа, сделанная уже на 70–80 процентов, постановку сняли, а фигуры порубили на куски и выкинули, к немалому расстройству будущих фидиев.

Телом своим я зарабатывал непривычно много денег, но это занятие мне приежилось, и я уволился из Мухи. В документе, мне выданном, моя должность называлась весьма пышно: «Сотрудник по обеспечению учебного процесса». Поэтому когда я потом пошел устраиваться сторожем, то на меня посмотрели с удивлением и спросили, как же это я из таких важных сотрудников в сторожа подаюсь.

<...> Еще в сентябре я посетил по случаю церковь пятидесятников. В «Сайгоне» заходил иногда один человек (имени его я уже не помню), который ходил в молитвенные собрания всех христианских деноминаций. Позже я встречал его в церкви Академии, и он всякий раз предлагал мне пойти к каким-нибудь очередным сектантам, например к «чуриковцам», так что я про себя даже прозвал его «пан-сектантом». Так вот, этот человек, зайдя как-то в «Сайгон», пригласил всех желающих прийти на венчание в молитвенный дом пятидесятников в Парголово. <...>

А в другой раз с сайгонским приятелем Аликом мы ездили в Печоры, в монастырь. Он был из Кемерово, этот Алик, а в Питер переехал со своими родителями сравнительно недавно. Я частенько заходил к нему в коммуналку на Лиговке, в районе Расстанной. Он был барабанщиком, и в комнате у него стояла ударная установка, на которой он практиковался каждый день по два часа — такой лимит установили ему коммунальные соседи. Но двух часов было мало, и в другое время он раскладывал на табуретках толстые резиновые листы и лупил барабанными палочками по ним. Получалось все равно не очень тихо.

Алик все время рисовал чертей. Не потому, что их любил — совсем наоборот. Черты мучили его душу и как бы сами просились на бумагу, а он думал, что когда нарисует какого-нибудь черта и, свернув бумагу трубочкой изображением внутрь и перевязав ниткой, нарисует сверху крест, то этим свяжет черта, и тот больше уже не сможет ему досаждать. Вся комната Алика была завалена этими трубочками, а черты все не переводились.

Я предложил Алику более радикальный способ борьбы со злыми духами, который заключался в том, чтобы поехать в монастырь исповедаться и причаститься. И вот мы поехали автостопом в Печоры. К вечерней службе были в монастыре. Я не помню уже, был ли это какой-то праздник, воскресенье или будничная служба, но народу в церкви было много. Мы пошли к исповеди, которую вел в тот день высокий монах с длинной бородой — отец Анастасий. Мне он разрешил причащаться, а Алику велел утром после литургии подойти к нему для беседы. <...> Утром он сказал Алику, в ответ на поведенное ему на вчерашней исповеди, что если его в Сибири крестила на дому какая-то бабушка, то лучше бы креститься заново у священника или, по крайней мере, довершить этот обряд миропомазанием, без чего такое самостоятельное крещение не может считаться действительным. Алик возражать не стал, но очень расстроился и на обратном пути в Питер все говорил мне, что считает себя вполне крещеным и перекрещиваться не желает... Напрасно я уговаривал его пройти хотя бы миропомазание. <...> Алик так и остался недокрещеным, ибо черти, продолжавшие беспокоить его душу, видимо, превозмогли, и полгода спустя он исчез из дома, а еще через два месяца его выловили из Невы. <...>

Тогда же примерно произошло и мое первое приобщение к церковному служению. Как-то раз пришел я в гости к Зябе, и он предложил мне учиться читать по-церковнославянски. <...> Зяба остался удовлетворен результатом и сказал, что если я дома несколько дней потренируюсь читать шестопсалмие, то потом могу прийти к нему на Волковку и попробовать себя в чтении на клиросе. <...> И вот, после трех дней тренировки, я впервые поехал на Волково кладбище. Я очень волновался и даже по дороге в трамвае продолжал читать шестопсалмие. <...> И с тех пор стал ходить туда на вечернюю службу раза по два-три в неделю. <...> Церковное чтение мне давалось легко, и всем нравилось, как я читаю, поскольку дикция у меня от природы была хорошая, а голос — громкий. А когда меня впервые позвали в алтарь, где отец настоятель благословил меня надеть стихарь, чтобы в нем читать посреди церкви, — я был просто счастлив. Я воспринимал это как мистическое посвящение, а сам стихарь — как видимый знак облакающей меня благодати, открывающей мне путь к еще более славным облачениям и служениям, о которых я мечтал.

Иногда приходил почитать еще один Зябин приятель, Игорь Иванов, по прозвищу «Белый Офицер», студент-старшекурсник мединститута родом откуда-то с Псковщины. Он носил «монархическую» бородку а la Николай II и часто беседовал про русский народ. Мы оба бывали не очень-то довольны, когда наши приходы совпадали, так как тогда приходилось делить чтения между собой. А потом, спустя несколько месяцев, он вдруг перестал приходить, и Таня Шеремет, которая с ним дружила, поведала, что он пришел вдруг к ней без звонка, и на ее приветствие «Здорово, Белый Офицер!» — сказал: «Я теперь не «белый» и не «офицер», а черный и монах, и зовут меня Меркурий». Оказалось, что он ездил в Псково-Печерский монастырь к старцу Иоанну Крестьянкину, и тот вдруг сказал: «А, монах приехал!» — что Игорь принял за указание свыше немедленно принять постриг. Он поехал к своему духовнику, который и постриг его тайно в монахи. Духовником этим был Смоленский архиепископ Кирилл Гундяев, и бывший Белый Офицер вскорости уехал к нему в епархию, где принял священный сан. Теперь он в сане епископа возглавляет приходы Московской Патриархии в США. <...>

На Рождество 1986—1987 года я решил поехать в Пюхтицкий монастырь — популярное тогда место паломничества. Этот монастырь с более чем ста монахинями находится в Эстонии, часах в пяти-шести езды от Петербурга. <...> В монастыре я обнаружил группу семинаристов человек в десять-двенадцать, приехавших туда на каникулы помолиться и подработать. <...> С одним из семинаристов, Володей, я даже подружился, так что потом в Питере заезжал порой к нему в гости на ул.

Губинштейна, неподалеку от рок-клуба. Он был лысоватым дядечкой с бородой, лет тридцати пяти или несколько больше, похожим чем-то на Ф. М. Достоевского, и жил в коммунальной комнате с женой и пятнадцатилетней дочерью, которая ходила хипповать в соседний «Сайгон», да и сам он, кажется, в более молодые годы был причастен к нему. Этот Володя, несколькими годами позже окончив семинарию и быв посвящен в священство, получил назначение на Белое море, кажется в Кемь. Помню, он рассказал мне интересный случай из своей пастырской практики.

Лишь прибыл он на приход, как вскоре позвали его в одно село отпевать покойника, а после похорон пригласили на поминки. Когда, помолившись, уселись за стол, то хозяйка обнесла всех стаканами с киселем, а затем внесла блюдо со стопкой блинов и поднесла к нему, сказав: «Первый блин, как полагается, батюшке». Тут мой о. Владимир заметил, что все вдруг замолчали, напряглись как-то и выжидательно смотрят на него. Ему неловко стало, и он поторопился взять блин и съесть, полагая, что все, наверное, проголодались, но не решаются есть прежде пастыря. Лишь только он покончил с блином, как раздался дружный вздох облегчения и шепот: «Ну, съел! Ох! Ну, слава Богу!» Он ничего не понял, продолжил есть, а вскоре поднялся и отправился домой. Через сколько-то дней он встретил одного пожилого опытного священника и рассказал ему этот случай.

«И ты что, съел?» — спросил его старший товарищ. «Да, а что?» — «Дурак! Они знаешь что делают? Кладут этот блин на лицо мертвецу и считают, что если его поп съест, то грехи усопшего на него перейдут, и покойному на том свете хорошо будет. Потому и стремятся на похороны новичка пригласить, что знают: другие священники этот их блин есть ни за что не станут».

О. Владимиру стало дурно. «Ну, ничего, ничего, — подбодрил его батюшка, — я-то сначала раза два ел, а то и три, пока меня сведущие люди просветили».

<...> В это же примерно время я сильно сдружился с Мариной Княжной. Она тогда проводила жизнь бездомную, поскольку пребывала в состоянии перманентного конфликта с родителями. Она говорила, что ее отец — кагэбэшник и ненавидит ее за ее веру и нежелание подчиняться стандартам советского общества, делать карьеру, выходить замуж и тому подобное, что родители сдавали ее в психушку и что жить дома она не может. Она ночевала по несколько дней у разных своих знакомых, переходя из дома в дом.

Какое-то время она жила у Нasti Долининой, своей однокурсницы по биофаку. Мы пришли домой к Насте на Сердобольскую улицу в дом, на котором красовалась мемориальная доска, гласившая, что здесь в квартире какого-то рабочего часто бывал В. И. Ленин в период подготовки вооруженного восстания. <...> Настя рассказывала, как ее приятель Ля Востров, который был, по его мнению, похож на молодого Ульянова и носил такую же кепку, имел обыкновение, приходя к ней в гости, здороваться на лестнице с прилучавшимися соседями, протягивая руку и говоря с характерной картавостью: «Здравствуйте. Ульянов». <...>

В церкви Академии Марина познакомила меня с Димочкой Лурье, молодым человеком несколькими годами старше меня, занимавшимся богословием. Димочка запомнился мне тем, что вместо обычной сумки или портфеля носил туристский рюкзак, набитый разными словарями и иными книгами. Кажется, у него всегда была с собой даже пишущая машинка.

Еще из Марининых друзей я познакомился с Лешей Шинкаревым, младшим братом известного митяка, и Лешей Феоктистовым, другом Тимура Новикова и деятелем «некрореализма». Феоктистов был наркоманом и Марининым воздыхателем, уговаривавшим ее выйти за него замуж ради спасения его души и собственного житейского благополучия, так как он все равно скоро умрет, а ей оставит квартиру, которую ему выделяют родные в случае женитьбы. А Шинкарев был очень набожным

в то время юношей, духовным сыном отца Феодосия. <...> Но вскоре радикально порвал с религией и стал говорить, что самая большая мечта его жизни — услышать, что отец Феодосий повесился на своих подтяжках. <...> Мариночка очень переживала духовную трагедию Леши Шинкарева и говорила, что он не перенес очень быстрого духовного восхождения — ему ведь были видения ангелов — и оттого опустился и, упав с большой высоты, сильно расшибся. <...>

Мы с Мариночкой довольно часто спорили о смысле жизни, и она говорила о творчестве, науке и учебе и старалась убедить меня попытаться хоть теперь поступить в университет, а я возражал, утверждая, что оный смысл заключается лишь в служении церкви и что мирское знание, не приближающее человека к этому служению, суетно. Такому моему настроению способствовало как общение со священниками, так и то обстоятельство, что подобный же путь избрало некоторое количество моих «системных» знакомых. Эта мысль — посвятить себя служению церкви — стала моей путеводной звездой. <...>

Остановлюсь на двух личностях, которые могли бы занять свое место и в предыдущих главах, но, тем не менее, попали в эту по некоторой своей связи с церковью. С обеими личностями я познакомился в «Сайгоне»: это были Арчибалд и Колесо.

Начну со второго. С ним я познакомился давно, ибо Витя Колесников по прозвищу «Колесо» был известен в «системе» всем. <...> Его никогда не арестовывали менты, а хиппи недолюбливали за назойливость.

Но вот как-то случилось мне встретить Колесо в церкви Академии, а после службы он подошел на улице к нам с о. Макиновым, с которым оказался знаком (не знаю уж, по церкви или по «Сайгону»). С тех пор он стал, подходя ко мне в «Сайгоне», беседовать на православные темы в надежде сильнее расположить меня этим к щедроподательности. При этом говорил, что когда-то был иеромонахом и даже писал в Академии диссертацию, но потом женился, запил и опустился и вот теперь должен платить алименты на дочку, которую он, впрочем, очень любит. «Но это ничего, я еще достану свой наперсный крест, и мы с тобой вместе служить будем. Ты хоть петь-то на клиросе умеешь?» <...>

А с другим, который называл себя Арчибалдом фон Нисбауер, в монастыре Александром, я познакомился где-то после Пасхи 1987 года. Он вроде бы и действительно был пострижен в Троице-Сергиевой Лавре в рясофор с этим именем, а как его на самом деле звали в миру — я не знал. Но из Лавры его выгнали, и он делил свое время между «Сайгоном» и каким-то храмом на глухом погосте в Псковской области, в нескольких километрах от деревни Громулино. При храме том жил какой-то не то монах, не то иеродиакон, не то ушедший, не то выгнанный из Псково-Печерского монастыря и приходившийся другом Арчибалду, и они называли свой погост «скитом». Арчибалд звал меня отправиться с ним в этот скит, говоря: «У нас там здорово подвизаться: народу никого, кругом пустыня, а вокруг храма все маком засеяно». <...> В скит он намеревался отправиться на Вознесение — престольный праздник громулинского храма — и звал и меня с собой, говоря, что там меня постигнут сразу в схиму, а чтобы компенсировать недостаток духовных скорбей при таком быстром продвижении по монашеской лестнице, побьют предварительно палкой.

Арчибалду было, наверное, лет около тридцати. Он был очень невысокого роста, но пропорционально сложен, с белыми волосами до плеч и небольшой бородкой, обрамлявшей правильное, но изможденное (скорее, впрочем, вредными привычками, чем аскетизмом) лицо. Его голубые глаза не были мутными, как это свойственно пьяницам и наркоманам, а напротив — светились каким-то непонятным вдохновением, так что хотелось верить ему, несмотря на очевидную несуразность того, что он говорил. Он умел создать вокруг себя ореол загадочности, которая вызывала желание быть к ней причастным.

А на женщин он действовал неотразимо. И благодаря этой неотразимости он жил безбедно. Главным средством здесь было чувство вины женщин за совершенные ими аборт и умение внушить им, что именно он, Арчибалд, может замолюить тот их грех и выпросить спасение погубленным во утробе младенцам. Помню, он приводил меня в гости к своим духовным чадам — стареющей даме лет за пятьдесят, имени которой я уже не помню, и ее взрослой дочери Лене. Он им представлялся архимандритом. В прихожей садился на стул, а женщины кидались снимать с него ботинки. Потом вели его и меня заодно за стол, но сами садиться не смели, а лишь прислуживали, стоя за нашими спинами. Обеды были роскошными, в несколько перемен, и сопровождались хорошим коньяком. Выпив, Арчибалд расходился и начинал разговоры, никак не совместимые с его якобы архимандричьим саном: «Вот возьму твою Ленку себе, но не в жены, а так, позабавиться. Пойдешь ко мне в гарем, Ленка?» Дамы же на это лишь умильно вздыхали: «Ах! Батюшка!» — и продолжали молить. А уходя, он брал у них еще и денег. Самое странное во всем этом было то, что старшая дама служила врачом в наркологическом диспансере, но никак не могла распознать в Арчи своего пациента. И потом, на протяжении нескольких лет после его гибели, встречая меня иной раз в храмах, она все спрашивала: «А как там отец Александр?» — и отказывалась верить, что он давно умер, хотя я уже неоднократно говорил ей об этом.

В другой раз мы пришли с ним на престольный праздник церкви св. Иова на Волковом кладбище. Была Всенощная, и как раз началось помазание. Арчибалд выпустил из-под своего длинного плаща дотоле подвернутые полы подрясника и направился без очереди прикладываться к иконе, велел мне идти вслед за ним. Но тут какая-то церковная бабуса возмутилась. «А этот юноша что, тоже батюшка?» — сказала она, указывая на меня. Арчи обернулся, приставил указательный палец к ее животу и сказал ровным бесстрастным голосом: «Молчи, детоубийца». Бабка сразу как будто сдулась, и вся стоявшая вслед за нею очередь женщин, оторопев, пропустила нас к помазанию.

Кроме денег, он брал у женщин золото, которого у него был целый мешочек почти в полкило весом. По его собственным признаниям, он говорил им: «У меня в скиту купол не золочен, а у тебя, грешницы, тут и тут — при этом он указывал на их уши, пальцы или шеи — золото?!» Грешницы тут же снимали золото и отдавали ему.

Денег у него было много, и жил он весело, а вместе с ним — в течение примерно двух недель нашего общения — и я. Мы встречались обычно в «Сайгоне» часов в одиннадцать-двенадцать и, выпив кофе, шли за вином. Вино в магазинах в те годы (это была эпоха Горбачева) продавалось лишь с двух дня, и мы шли в бар гостиницы «Европейская», где покупали две-три бутылки «Алазанской долины» или «Мукузани», которые распивали где-нибудь в садике на лавочке. Потом шли в ресторан обедать, а вечером — либо к духовным чадам, либо, прихватив еще кого-нибудь для компании, в какое-нибудь питейное заведение.

Один раз к нам прибилсь некто Михаил Канарейкин, знакомый Мариночки. Это был весьма колоритный персонаж, походивший на разночинца XIX века, в сапогах, шинельке и картузе. Он был откуда-то из провинции, но периодически жила в Питере, учась то в семинарии, то в университете, но нигде не оканчивая курса. Время от времени я встречал его в церкви, и он всегда просил денег. Где-то в церкви встретили мы его и в тот раз, а потом пошли в какую-то пивнушку на Старо-Невском. Арчибалд напился пьян, а Канарейкин говорил мне, что это же шарлатан, мошенник и все его деньги — наши церковные, православные, и что поэтому нам следует изъять их у него и разделить между собой, как верными чадами церкви, или же, на худой конец, пропить вдвоем. Но я отказался участвовать в экспроприации Арчибалдовых денег, и Канарейкин обиделся и ушел.

А в другой раз мы с Арчи, пообедав в каком-то приличном ресторане, пошли звонить кому-то из телефонной будки. И нас, хотя мы были вполне прилично одеты и не пьяны, милиционеры посадили в газик и отвезли в отделение. При обыске у Арчи нашли в дипломате подрясник, а я сказал, что лишь сегодня познакомился в церкви с этим дотоле неизвестным мне батюшкой, который и пригласил меня отобедать. В результате меня отпустили, а его отправили в кутузку. Через три дня он позвонил мне и сказал, что уговорил ментов сообщить об аресте наркологической даме, и та смогла, используя какие-то свои знакомства, вызволить его. Он сказал, что уезжает в скит, и я пришел проводить его.

Борис Трубников

ЖИЗНЬ «БЕЗ ОГЛЯДКИ»

Сейчас, по прошествии многих лет, трудно в двух словах сформулировать, что же это было такое — «Сайгон»? Сколько я ни встречал воспоминаний, устных или письменных, все они отражали какие-либо отдельно взятые, частные стороны сайгоновской жизни. Музыканты рассказывают о своем, «музыкальном» «Сайгоне», поэты — о «поэтическом», хиппи (и другие представители так называемой «системы») — о «тусовочном». У каждого был свой «Сайгон». И все правы.

Уникальность «Сайгона» заключалась в том, что в нем могли уживаться, не мешая друг другу, самые различные группы людей, представляющие самые разные интересы, мировидение, идеологию (или отсутствие оной).

Говоря современным языком, «Сайгон» можно было бы назвать клубом по интересам, где интересы представлены архи-широко.

Сейчас стало модно изображать «Сайгон» как оплот свободомыслия, чуть ли не форпост зарождающийся демократии... Конечно, и свободомыслия там хватало, равно как и наркотиков, дешевого портвейна, уголовщины.

«Сайгон» был прибежищем всех тех, кто по каким либо причинам не вписывался в рамки, диктуемые социалистическим обществом. По любым причинам. Точка.

Прелесть, на мой, частный взгляд, заключалась в его, «Сайгона», многогранности, разнообразности его постоянных посетителей, которые, несмотря на свою несхожесть, были все «свои», сайгоновские.

Как и любое другое место, имеющее завсегдатаев, «Сайгон» обрстал негласными обычаями и традициями, которые, естественно, многократно нарушались... Например, в там очень редко случались физические разборки (для этого существовал так называемый «Гасиловский» (от слова «гасить», то есть бить) дворик — первый двор от «Сайгона» по Владимирскому проспекту), моветоном считалось лезть за кофе без очереди (стояние в длинной очереди являлось одним из изысков, способствующих общению) и многое другое. Сидение на подоконниках считалось хорошим тоном — одним из признаков, по которым можно было отличить завсегдатая от случайно зашедшего посетителя. Обычай такого сидения возник как протест и вызов общественному мнению еще в самом начале, в первые несколько недель после открытия кафе. <...> Незадолго до закрытия «Сайгона» администрация в целях борьбы с крамольным сидением установила на подоконниках решетки, которые постоянно отвинчивались посетителями и сидение продолжалось. <...>

О происхождении названия «Сайгон» ходит много легенд... Мне кажется, что наиболее вероятная версия такова: во времена открытия кафетерия гостиницы «Москва» в нашу страну приехало много студентов из Вьетнама. Они несколько

месяцев подряд приходили в кафе обедать. (Последняя стойка «специализированная» на отпуске горячей тушеной капусты, из-за чего кафе было пропитано ее запахом.) Выглядело это так: в строго определенное время кафе заполнялось огромным количеством вьетнамцев, которые ели свою капусту и ровно через пятнадцать минут исчезали до следующего дня. Скорее всего, именно из-за этих ежедневных вьетнамских нашествий и возникло название «Сайгон». <...>

Раньше, во времена оные, на месте «Сайгона» был нависающий портик, под которым нашли себе постоянное место работы уличные парикмахеры. В результате угол Невского и Владимирского проспектов был забросан кучами состриженных волос, из-за чего и получил название «Вшивый угол».

В своем рассказе я не ставлю целью описать ту или другую общность (тусовку, компанию, группу) посетителей знаменитой кофейни. Этим давно и с большим успехом занимаются другие, посвятившие этому вопросу мемуары и исследования. Я лишь хочу упомянуть несколько имен, которые, на мой субъективный взгляд, являлись центром притяжения людей и неотъемлемой частью «Сайгона», его атмосферы.

Витя Колесников (Колесо) — неотделимый от «Сайгона», как кофейный запах. <...> Часто работал здесь же — убирал посуду. Через него было удобно и надежно передавать кому-либо сообщения. Его постоянное вранье, что он де служил на подводной лодке (варианты: в Анголе, Вьетнаме и др. и пр.), воспринималось легко и не раздражало. Да он и врал не корысти ради, а так, по привычке, для поддержания разговора. Я помню, как этот инвалид оказался единственным, кто встал рядом со мной, опираясь на свою тросточку, когда пришлось «разбираться» с уголовниками. Помню и время, когда Колесо, Бес и я неделю ночевали в закрытом на ремонт «Сайгоне» и Витя делился с нами скудной едой и последними деньгами. <...>

Илья Хейфиц, впоследствии погибший в горах Тянь-Шаня, рыжебородый, беззубый... Умеющий хорошо делать только четыре дела: пить в компании портвейн, соблазнять дам, читать наизусть стихи Бродского и виртуозно материться. Некоторые перлы Ильи, заученные мной, до сих пор ввергают в шок как филологов, так и самых отъявленных матерщинников. Во время очередной милицейской облавы в «Сайгоне» меня вместе с Хейфицем схватил какой-то молоденький мент и повел к автобусу, в котором задержанных отвозили в пятое отделение для обыска и выяснения личности. «Куда ты их тащишь?! Это же Хейфиц и Трубников! Что, мы их не знаем? Десяток раз уже задерживали. Гони их в шею, только место в автобусе занимать будут», — закричал старый и опытный мент, проводивший не одну сайгоновскую облаву...

Леша Охтинский — добрейший алкоголик, в одиночку воспитывавший сестру-инвалида и превративший свою квартиру в постоянно действующий флэт — место коллективного обитания бездомных, приезжих и другого сайгоновского народа, по тем или другим причинам лишенного дома. Однажды, когда на квартире у Леши, как и обычно, жило много самого разнообразного народа (хиппи, наркоманы, приبلудившиеся алкоголики и другой бездомный сайгоносский люд общим числом около пятнадцати человек), глубоко за полночь в дверь раздался звонок. На вопрос «Кто там?», ответили: «Телеграмма». Почему-то в голову никому не пришло поинтересоваться, какая такая телеграмма глубокой ночью и — дверь открыли. В квартиру ворвался отряд милиции, возглавляемый здоровенной теткой-лейтенантом. Всех арестовали, произвели обыск, но ничего не нашли. Тогда лейтенант сорвала со стены большое распятие и заявила, что, вероятно, мы есть религиозная секта. Далее для редких ночных охтинских прохожих открылось удивительное зрелище: взвод вооруженных автоматами милиционеров вел в сторону отделения толпу волосатых и оборванных людей. А возглавляла процессию здоровенная баба-милиционер, держащая высоко над головой большое распятие...

Вася (Сергей Васильев) — прозаик, поэт, художник. Его сочинения ходили по рукам, переписывались, читались на кухнях и в лито Виктора Сосноры. Ныне незаслуженно преданный забвению как литератор, но, к счастью, нашедший себя на общественном поприще. А во времена «Сайгона», Вася — постоянный участник САО (Саянские археологические экспедиции), член сосноровского лито, организатор художественных квартирных выставок, поэт, писатель, тусовщик... Приведу здесь несколько коротких Васиных зарисовок из работ «Плоды 14 января 1981 года» и «Из фондов радио. Чествования»:

ПЛОДЫ 14 ЯНВАРЯ 1981 ГОДА

Запоздалый подарок

На день рождения к Семенову никто не пришел. Семенов умер. А на следующий день из Воронежа пришла посылка на имя Семенова, в которой дети Семенова обнаружили несметные сокровища: переписанные от руки полные собрания сочинений Куприна и Маркса. Дети Семенова после этого оказались в психиатрической лечебнице, а квартиру Семенова опечатали.

Парадокс

Лефизыжов никогда не ел корову. Тем не менее, когда ему предложили говядину, он согласился. «Спасибо за предложение, — сказал Лефизыжов прокурору, — я согласен».

Досадная неприятность

Не первый раз М. ждал в котельной свою престарелую любовницу. Но в этот вечер все было иначе. Спускаясь в котельную, М. взлетел и ударился животом о потолок. Когда престарелая любовница М., по своему обыкновению насвистывая, спускалась в котельную, М. неожиданно упал, похоронив под собой смысл собственного существования. Воскресный номер «Смены» был целиком посвящен ответам на письма влюбленных.

ИЗ ФОНДОВ РАДИО. ЧЕСТВОВАНИЯ

1. Наш век знаменит многим, и все же даже сегодня нельзя не вспомнить добрым словом хорошую бабу Анну Прокофьевну. К сожалению, место не позволяет нам вспомнить ее хотя бы двумя добрыми словами, но, по крайней мере, имя бабу Анна Прокофьевна заслужила.

2. В эти праздничные дни трудно не вспомнить и о тружениках Кызыл-Орды. Но все трудности преодолеваются настойчивостью и упорством. В этом же и залог наших грядущих побед.

3. Много делает Женья для борьбы с отрицательными явлениями в торговле. И при этом успевает побывать везде: в театре, на выставке, в парикмахерской. «Надо успевать всюду!» — говорит бойкая женщина. Это и понятно: у Жени прогрессирующий рак прямой кишки, и ей осталось не больше двух месяцев жизни. «Эх, успеть бы еще съездить в Гомель!» — мечтает активистка. Что ж, успехов тебе, Женья!

4. Нельзя не запомнить, хоть раз с ней повстречавшись, Мишу Леонтьева, ставшую одной из самых одаренных девочек прядильно-ниточного ПТУ. Редкие имя и фамилия девочки снискали ей авторитет и любовь старших товарищей, которыми она пользуется. Интересно, что в половом

отношении Миша представляет собой полную противоположность прочим, обучающимся этой суровой профессии: все они гермафродиты. Таких ИТУ в стране с каждым годом больше и больше.

5. Много лет воевал на фронте и в тылу потомственный чабан, металлург и хлебороб, старейший чекист Лёня Григорович. У Лёни есть медаль за взятие Бастилии, сделанная ему папой из куска жести. Лёня с папой часто ходят на стадион, на каток, много времени проводят за подвижными и военно-спортивными играми. «Все свои заслуги я отношу за счет папы!» — заявил Лёня, получая недавно Ленинскую премию.

6. Много теплых слов говорили о профессоре МГУ Х. Задове жители дома № 7 по ул. Ленина хутора Вешняковка. Они прочитали о нем статью в журнале «Работница», которая была озаглавлена «На огонек к Христофору». «Сколько хороших людей живет в нашей стране, — говорит колхозник Андрей Сукин, — а Христофор лучше всех раз в десять!»

7. Любят в городе Чернигове лифтера Д. С. Мережкофского. Потомственный крестьянин, Мережкофский сочетает в своей работе лучшие качества русского крестьянства второй половины XIX века. И все это несмотря на постоянные кровоизлияния в мозг. Вот и сейчас прославленный лифтер находится в отделении реанимации 2-й горбольницы. Пожелаем же ему новых удач в его работе. Счастья вам, Даниэль Сигизмундович!

Несомненно, на Васино творчество оказали большое влияние произведения Д. И. Ювачева (он же — Хармс, он же — Шардам и т. д.). Но, в отличие от многочисленных последователей великого обэриута, Вася не пошел путем подражания, выработав свой собственный стиль.

Потом, в «постсайгоновские» времена, у Васи было много всякого: и «Группа спасения», спасающая архитектурные памятники города (дом Дельвига, «Англетер» и т. п.), работа помощником депутата Ковалева (он же — Китаец), общественная работа с детскими домами и инвалидам. Но это уже выходит за рамки рассказа о «Сайгоне»...

Лу (Вадим Лурье), ныне — иеромонах Григорий. Тоненький, белобрысый, саркастичный, вечно сидящий на сайгоновском подоконнике и что-то пишущий, член сосноровского лито. Человек, оказавший огромное влияние на поколение, к которому принадлежу и я, в том, что являлся искрой, воспламенявшей тягу к глубокому знанию литературы, философии, религии. В настоящее время обвиняется в сектантстве и антиобщественной деятельности.

Бес — поэт Андрей Желудов, взявший себе псевдоним Андрей Бесплатный (сокращенно — Бес). Заядлый спорщик, знаток истории, за несколько пугающей внешностью которого скрывалась тонкая ранимая душа. Большой любитель археологии и профессиональный геолог, участник многих экспедиций. Иногда — религиозный:

Господи, милостив буде мне грешному,
Наша защита и кров...

Иногда — эпатажно-циничней:

Грязная мостовая,
Пьяная б...ь.
Что за судьба такая,
Мать-перемать!

Иногда — добрый и смешной:

Звонят как струны нервы,
Гляжу я на стакан,
Ведь убежал же, стерва,
Оттуда таракан!

А иногда — лиричный:

Голос чужой души.
Но не понять.
Хочется жить в глуши
И не стонать.

Поэт? Поэт. Ныне вкалывающий прорабом на стройке, а иногда скидывающий снег с крыши университета.

Сеня Скорпион — человек, обладающей тонким чувством юмора, саркастичный, не чуждый парадоксальному мышлению. Троица друзей: бывший хиппи Саша



Бес (Андрей Желудов)

Леннон (впоследствии покончивший с собой), панк Костя Зверь и Скорпион — полупанк, полухиппи, стоящие за сайгоновским столиком и пьющие «маленький двойной» или украдкой разливающие портвейн в кофейные чашки — ежедневная вечерняя картина. Этот бородастый и волосатый человек обладал какой-то сумасшедшей харизмой, притягивающей к нему самых разнообразных людей: от высокообразованных интеллектуалов до глупеньких молоденьких девочек. Способность вписаться в любую авантюру и мобильность мышления Сени были основополагающими моментами в нашем общении. Помню, как мы с ним уговорили нескольких «волосатых» поехать в Кавголово играть в индейцев... Однажды с Сенией случилось следующий казус. Компания сайгоновских завсегдаев отправилась гулять по городу. Проходя мимо Петропавловской крепости, компания, в которой все,

надо сказать, отличались не совсем привычным для обывателей видом, была остановлена группой милиционеров. Они потребовали документы. Все показали свои паспорта, у Сени же документов с собой не оказалось. «Что у тебя в карманах? — спросил Сенью один из милиционеров. — Показывай!» — «Тебе надо — сам и смотри», — ответил Сеня. Милиционер, не раздумывая, пихнул руку в карман широких Сениных штанов. Здесь нужно сделать маленькое отступление и сообщить, что перед нашей прогулкой Скорпион постирал свое нижнее белье и

повесил сушиться. Так что под штанами у него ничего надето не было. Карман же отсутствовал полностью, из-за ветхости и древности штанов... Сунув руку в прорезь кармана, милиционер там что-то схватил и сразу отдернул руку. Некоторое время он оставался неподвижным: рот приоткрыт, глаза вытаращены... Потом дико закричал... Сеню, конечно, отлупили. Перепало и нам. Когда милиционеры ушли, Сеня встал и, отряхнувшись, спокойно заметил: «Мента озарило состояние сатори, — потом, помолчав, добавил, — и лучи его озарения упали на нас». Сейчас, больно, Сеня живет где-то на окраине Москвы.

Ник Рокенрол — выдающийся представитель советского (а сейчас — российский) панк-рока. Помнишь, названный брат, как мы пытались расшевелить ленивых хиппи на Гауе (был такой самостоятельный летний «лагерь» под Ригой)? Когда Ник приезжал в наш город и появлялся в «Сайгоне», что бывало не очень часто, он всегда приносил неимоверный заряд свежести, веселья и оптимизма. Прекрасный актер, он и в жизни постоянно играл. Надеюсь, эта игра продолжается и доныне. Как-то, уже после закрытия «Сайгона», в Питере должно было состояться выступление Ника, приехавшего из Москвы. Я зашел перед концертом, надеясь немного пообщаться с ним. Войдя в рок-клуб, увидел пьяного Ника, который шел в окружении своих поклонников и поклонниц, шатаясь от стенки к стенке. Увидев меня, Ник взмахом руки позвал меня за собой. Мы зашли в примерку. Закрыв за собой дверь, Ник встряхнул головой и превратился в абсолютно трезвого человека. «Имидж диктует...» — ответил он на мой немой вопрос.

Глыбин Витюша, он же — м-р Юджин, неудавшийся археолог, настоящий мужик, большой любитель тусовок и путешествий. Несколько раз побывав с ним на Тянь-Шане, я с уверенностью могу сказать, что ни до, ни после у меня не было в горах лучшего напарника. Припоминается, как однажды, высоко в горах, после восхождения, мы возвращались к базовому лагерю. Оставалось перейти один перевал (по-киргизски — даван), но уже начинало смеркаться... Вся острота ситуации заключалась в том, что мы не планировали «холодной» ночевки, шли без палаток и спальников, и, соответственно, риск просто не пережить эту ночь был очень большим. Поэтому приходилось очень спешить. И вот, на подъеме один из нас (имени его не стану называть), отличавшийся отменным здоровьем, отнюдь не хрупким телосложением и изрядным весом, лег на снег и заявил, что дальше он идти не может и не хочет. И мы с Витюшей, попеременно, на спине поднимали его на перевал высотой немногим меньше пяти тысяч метров над уровнем моря. К счастью, успели... В то время Витюше было семнадцать лет и он был на полторы головы ниже спасаемого... Сейчас Витюша живет в пригороде, воспитывая какое-то неимоверное количество приемных детей.

Бомж — вечно сидящий на подоконнике старик-бомж. Один из самых молчаливых и безобидных обитателей «Сайгона». Младший брат репрессированного владельца охтинского кинотеатра «Гном» (времена нэпа). Не пережил 1990-е годы.

Как-то получается грустно... К счастью, некоторые (хотя и немногие) сайгопovцы сумели чего-то добиться и в постсайгоновской жизни. Гребенщиков, Гаркуша, Невзоров, Саша Раппопорт, ставший, по слухам, преуспевающим художником в Израиле... Или тот же Китаец.

Китаец (Алексей Ковалев) — археолог, поэт, инициатор и издатель самиздатовского журнала «Гнуль», один из организаторов квартирных художественных выставок и домашних концертов. Человек, в «застойные» времена открыто выступавший в ЛГУ за отмену комсомола. Сейчас Китаец (пардон, Алексей Анатольевич) — депутат Санкт-Петербургской Думы.

К глубокому сожалению, невозможно в короткой статье упомянуть всех тех, кто в той или иной степени, по моему частному разумению, являлись в 1980-е годы яркими представителями сайгоновской публики. Позволю себе без каких-либо комментариев назвать несколько имен (или прозвищ): Паша Азбелев, Сергей Васильев (Каратэка), Игорь Смирнов, Усвятцов Леня, Маша Ланина, Мент Рижский (Андрей Варченко), Паршин Леша, Валиева, Александр Петрович Войцеховский, Чегуней (Чегунов Костя), Таня Паничева, Ля Востров, Мишель (Коган Миша), Стас Вербин, Стас Длинный, Андриуша Маленький, Борман, Ольга Шамис, Михал Михалыч Канарейкин, Васек Кондратьев, Клипс, Ветеран, Энди, Энди-младший, Шери, Кадавр, Леша Почемучка, Крыса, Матильда, Андрэ (Пешков), Рубина, Орлуша (Орлов-Чесменский), Френк, Таня Асташкина, Мячик (Ольга Мячина), Князь (Сережадин Ергашев), Рикошет, Полковник, Виктор Иванович, Бэн (Андрей Артамонов), Пашков, Волчонок (Хазов), Федор, Элис, Влад, Салат, Санчо, Фигура, Решко, Кэт Барабанщица, Машка-с-Ветеранов...

Еще и о сайгоновском самиздате, или так называемой «вате».

Не так давно вышла очень академичная книга — «Самиздат Ленинграда», в которой подробно разбирается неофициальная литературная жизнь города, перечисляются очень многие «самиздатовские» литераторы и издания. К сожалению, составители, вероятно, были мало знакомы с изданиями 1980-х годов, равно как и с большим количеством авторов, в них печатавшихся. Попробую отчасти восполнить этот пробел. Во-первых, журнал «Гулья», выпускаемый Китайцем (А. Ковалев) и Васей (С. Васильев). Журнал «выдержал» три издания. Во-вторых, журнал «Черный ход», издатель Павел Азбелев, шесть выпусков.

Более подробно остановлюсь на поэтическом сборнике «Метаастазы», вышедшем в 1985–1986 годах тиражом в десять экземпляров. В него вошли не печатающиеся поэты Ленинграда и Москвы, большая часть из которых имела самое непосредственное отношение к «Сайгону». Вот те, кто опубликовал в «Метастазах» свои произведения: Анна Васяева (Москва); Анджей Иконников-Галицкий (Ленинград); Маша Трофимчик (Ленинград); Пинхасович (Ленинград); А. Даккар (Москва); ? — псевдоним Мережковский (Ленинград); ? — псевдоним Бродяга* (Ленинград); Л. Калганов (Москва); ? — псевдоним Гипиус (Ленинград); В. Лурье (Лу) (Ленинград); Юля Валиева (Анна Майская) (Ленинград); К. Корзакова (Ленинград); ? — псевдоним Скифа (Ленинград); Юля Смирнова (Ленинград); Ольга Сажина (Николя) (Ленинград); ? — псевдоним Т.С.С... (Ленинград); Павел Азбелев (Терри) (Ленинград); Татьяна Носевич (Карен) (Ленинград); Сеня Скорпион (Москва); Иван Евтушенко (Ленинград); В. Элби (Москва); С. Воропаев (Москва); Алекс Бровкин (Ленинград); ? — псевдоним Юрсла Лосла (Ленинград); Янис (Таллин); Михаил Коган (Мишель) (Ленинград); Максим Ольшевский (Ленинград); Н. Угрюмов (Ленинград); Андрей Желудов (А. Бесплатный) (Ленинград); Борис Трубников (Чжу) (Ленинград); Лика Майорова (Ленинград); Абрамов (Москва); ? — псевдоним О. К. (Ленинград); Александр Фафлоткин (Ленинград); Иван Сотников (Ленинград); ? — псевдоним Пиг-лит (Ленинград); Елена Гафурова (Ленинград); ? — псевдоним Соу Ич (Ленинград); Сергей Васильев (Исполин) (Ленинград); ? — псевдоним Бой (Ленинград); ? — псевдоним Пипишка (Ленинград); Евгений Мякишев (Ленинград); ? — псевдоним Аже (Ленинград); Дмитрий Востров (Ля Востров) (Ленинград); Митя (Ленинград); Алексей Ковалев (Китаец) (Ленинград); Александр Зайнчиковский (Ский) (Ленинград).

* По-видимому, Оксана Аболина. — *Прим. ред.*

Да, мне так и не удалось ответить на вопрос, что же такое «Сайгон».

Для меня, наверное, это воспоминания о юности, друзьях и знакомых, о жизни «без оглядки».

Вячеслав Ладогин

ПИСЬМО ТАНЕЧКЕ ПЕТРОВОЙ О ТОМЕ ЛЕРМОНТЕ, КАФЕ «САЙГОН» И СТИХАХ БРОДСКОГО

Коротко напомним тебе, Танечка, кто я такой, откуда ты меня знаешь и по какому праву я пишу тебе. Я, собственно, типичный представитель поколения дворников и сторожей, ничего во мне никогда не было особенного: сторожил я на Лиговке разные-всякие советские предприятия в наши милые восьмидесятые, около пяти лет подряд, в одном из этих богоспасаемых подвалов ты со мной и познакомилась, оставив в душе моей неизгладимые навсегда впечатления.

Как и всякий сторож той поры, я занимался большей частью стихами да переводами, дружил с подобными себе и пил горький чай, а когда хватало денег — пил горький кофе.

Захаживал к Лейкину, который учил девушек писать стихи, водился с компанией Вадика Максимова, с которым ставил никуда не годный спектакль по Мишелю де Гельдероду, да ещё занимался творчеством Анненского...чем только не занимался, как и все мы тогда.

В какой-то момент мне показалось, что загадка пустоты, о которой я пишу тебе это письмо, кроется в пьесе Гоцци «Три апельсина», тогда мы придумали сценарий и песни к нему, и Галя Волкова с нами его поставила. Песни мы придумывали с Гришкой Хасиным, который потом долго шептался с рыжим долговязым улыбкой Димой Марченко, и оба уехали от нас в Америку.

А мы создали театр в клубе «Канат» на Петровском. А потом меня в этом театре не стало, и я пошёл туда, где дали место тусовке — напротив «серого дома», ты помнишь?

Там был всякий пипл, который собрал вокруг себя Денечка Азаров, а я пришёл с пьесой, и мы стали играть пьесу, потом — вторую...

В результате мы сыграли пьесу про какой-то сумасшедший восток. Получилось плохо.

Нарастающее в воздухе сиротство детей Пустоты привело меня в детский дом, где я стал играть вместе с детьми разные спектакли.

Вспоминается спектакль «Белая кобра» на полтора часа человек детей: ночь, факелы, мраморный дог лает, мой друг сингальский поэт бьёт в барабан и кричит на санскрите какие-то слова, дети собираются в зал, никто из актёров не знает, как будет развиваться действие после его выступления...

Долго всё это продолжалось и плохо окончилось: Денечка вернулся на иглу, летдом захватили бандиты, а я уехал в Москву.

Теперь вспомнила меня?

А зачем я тебе пишу?

Потому что мне некому больше написать о «Сайгоне».

Знаешь, Танечка, в безвкусных голливудских кинолентах есть серийный сюжет: герой (героиня) оказываются в состоянии амнезии, или беспамятства.

Вот такое же беспамятство я обнаруживаю в себе, когда думаю о «Сайгоне».

Тощие тинейджеры из вокально-инструментального ансамбля «Алиса» на белом песке советского, усть-нарвского пляжа.

Аура. Астрал. Лиговка. Ментовка под Яблонькой. Легендарный Колесо с легендарным лицом легендарного попрошайки, легендарная Рая с легендарными руками.



Таня Петрович

Или МарусеКатериноЛюбовь. Но всё равно легендарная.

Это не было место встреч, и не было кафе, и не было субкультурой, и не было центром нашего досуга, а чем же было это?

Заунывные разговоры про Антонена Арто, Брука, Крэга, Джойса и Курасаву. Ахматова, Бродский, Аронзон, Понизовский — страшный, брадатый брат Сатаны с басовитым гоготом гнездящийся в инвалидном кресле и лепящий человеческие органы из пластика взамен настоящих.

Два близнеца-брата, Кублановский и Британишский; все Арье-Гордины в рваных штанах с подтяжками и бретельками и воланами; ещё живой, гениально спивающийся Уфлянд; крошечный, прыгающий до самого пятиметрового потолка, как резиновый, детский, красный с синим мяч, Кушнер; вопиющий Соснора; абсолютный Олег Григорьев; и всегда окружённая китайскими лисицами, скачущими по крышам, спускающимися по водо-

стокам, плюхающимися в сентябрьские лужи велеобличная Елена Шварц, добыча персиколанитного Париса.

Всё это неопишное великолепие капало по капле из кофейного автомата в наши фаянсовые чашки.

Может быть, это было языческим алтарём, куда уходила наша молодость, кровь, любовь, а порой и жизнь?

Впечатляли огромные и длинные мраморные плиты, на которые выпрыгивали фаянсовые чашки с маленькой двойной чёрной горечью.

Пухлые руки кофейных дам (Рая, что ли, звали самую популярную, легендарную? Маша? Люба?).

Маленький двойной был в цене пачки «Беломора». Горечь звала проснуться, но просыпаться было некуда.

Концлагерь душ, стихов, текстов, первые потуги рок-н-рольного племени бесплатно любить нежных, доверчивых курочек Невского проспекта.

Многим не хватало кофе. Таким помогал косяк травы да Джефф. Эфедринушка. В стеклянных банках плыла кровавая вата.

Кислый двор-колодец на Старо-Невском пожирал душу. Один афганский солдат из тусовки узнал, что мама его тельняшкой вымыла пол, и повесился.

Один красавец лежал в горах под ханкой и видел над собой огромного, кислотного лесёного пляшущего Шиву.

Слова «братан» ещё не было. Слова «товарищ» уже не стало.

Таня Петрова, которую величали Петровичем, ты легко и просто навсегда свели меня с ума в одном из чудовищных подвалов Лиговского проспекта, где я охранничил, вохрил, так сказать, по обыкновению тогдашней богемы.

Мы нарежем коноплю.
Ой-и да серпом золоченым.
Ой.
Мы нарежем коноплю.
Да во чистом поле.
Да во чистом поле.
Мы нарежем коноплю.

Меня, бившегося в крайней стадии невроза, до которого я был доведён невозможностью осилить смысл сонетов Шекспира, ты, Таня Петрович, спасла от верного психического краха и навсегда свела с ума, рассказав Телегу О Томе Лермонте.

По небу полуночи ангел летел,
и тихую песню он пел.

Разговорные жанры питерской «телеги» и московской «байки» кардинально различаются.

Вторая обладает законченностью, округлостью (иногда — продолговатостью), имеет ясный, лесковоподобный сюжет и взрывную о'генриевскую концовку.

А «прогоняемая» коренным ленинградским богемондом «телега»... она — как Тройка-Русь, ни конца у неё, ни начала, она происходит из астрала, переливается сквозь мозг и снова вплывается в астрал, улечиваясь туда вместе с мозгом слушателя. Так и получается бродский «отдельно парящий мозг». Непетербуржцу, степняку какому-нибудь, материя недоступная, да и не нужная. <...>

Что же такое «Сайгон», скажи мне, Танечка Петрович? Языческий ли это алтарь, откуда, как пел Паша Азбелев, уходили на конопляные поля, чтобы порой уже не вернуться? Языческий ли? Не Иеронимушка ли, не Босхушка ли создал над нами эту вавилонствующую вселенную? <...>

Каждому чисто по-человечески хочется соорудить из своей жизнёнки монумент. Недавно по телевизору я видел своих земляков и ровесников, с упоением вспоминавших, как нас разгоняли поливальными машинами с Дворцовой площади, когда мы туда все собрались послушать Карлоса Сантану, которого нам пообещала какая-то советская газетёнка.

О ту пору мне было лет четырнадцать или пятнадцать, и куда-то я слинял с другом Мoneй, и экзекуции избежал, а всю ночь вместо этого носился в товарных поездах, забираясь на них и прыгая при замедлении хода всё с тем же другом Мoneй.

Поезда, надо сказать, мне запомнились гораздо больше, чем вся эта с таким упоением описанная моими земляками и ровесниками социальная несправедливость, выражавшаяся в репрессивных поливальных машинах.

На Дворцовой было некоторое количество безнадёжно пьяных прыщавых тинейджеров и злосчастно выглядевших, бледных, с нездоровым блеском в глазах молодых людей — до отвращения безобидных и унылых.

Такой я запомнил эту гнусную картину тогда. Прошло тридцать лет, и телепешка сказала мне, что я не обманулся.

Тинейджеры повзрослели, успели нажить друзей, врагов, денег, украсть, жениться, сесть, развестись, обидеть, предать, выжить... В общем, сделать всё возможное в этой жизни, и как-то само собой получилось, что единственным в их биографиях эпизодом, о котором стоит вспомнить было то самое золотушное сборище у Александрийского столпа. Видимо, это был единственный случай обнаружения ими социальной несправедливости.

Этих людей не смутил Павлов со своей реформой, не смутил Гайдар со своей шокотерапией, оставил равнодушным Чубайс, принеший им ваучеризацию, не затронул трупный запах дефолта, не привлекли их внимания два путча, не замеченными остались для них бандиты и убийцы на улицах, распад СССР прошёл для них втуне, взятки и вечную коррупцию насильников, беспредел силовой бюрократии в родном городе они воспринимают как гибель подводной лодки «Курск», то есть — как должное. Единственное, что им с болью вспоминается, — это то, как их полили из машин за невинное юношеское желание послушать хорошего заграничного гитариста Карлоса Сантану.

А я тебя ещё спрашиваю, есть ли «Сайгон», был ли он, Танечка! Как же ему не быть, если вот они — люди «Сайгона», вот оно — поколение, о котором кричал, извиваясь, женственный Кинчев и бубнил, потряхивая заклёпками, душеласкательный Цой (Витя, встретимся там)... По представлениям ребят с Троицкой улицы рай — это простое место: небесный «Сайгон», ничего особенного, о чём свидетельствует хотя бы вот песня Гребня «Пограничный Господь».

В зеркале у кофейных столов бледная немочь любила посмотреть на Бога.

Мой приятель, способный молодой христианский сочинитель Ростик Кожух, с которым крепко мы дружили в те годы, большой любитель запретной в те времена педагогической прозы Солженицына, воображал себя ни много ни мало первосвященником и писал пьесу о том, как он на кухне в качестве первосвященника почему-то делает герле аборт подручным инструментом.

Понятно: речь шла о том, что аборт совершить — то же, что Христа распять, но догадайся, Танечка, почему из этого бравого начинания не вышли вторые «Братья Карамазовы»?

Ответ будет неожиданно прост, милая Танечка: для моего приятеля облечься в рясу первосвященника было гораздо важнее, чем плод пожалеть, поплакать и погневаться о христианской душе загубленной.

Все... все надевали на себя кто рясу и сутану, кто магическую одежду, кто просто хайратник с фенечками... просто, да не просто.

Сколько я помню этих скульптурных, разных, красочных поз! Сколько фантастических, римских, романских красок, Танечка!

Как говаривал поэт Лёша Гурьянов про золотую осень в Царском Селе: «Езжай, и ешь глазами краски»!

Вот из этого воображаемого Рима — Рима человеческих воображений, Рима грандиозных самолюбий, копившихся, как мухи на липучке, на углу Невского и Владимирского в кафе при ресторане «Москва», называемом «Сайгон» — из этого Рима и родился любезный сердцу петербуржца псевдореализм Бродского:

Нынче ветрено и волны с перехлёстом.

Скоро осень. Всё изменится в округе.

Время красок этих трогательней, Постум,

Чем нарядов перемена у подруги.

И поплыли эти спасительные мелодии о небывалом, четвёртом Риме, и поплыли облаком в заокеанские дали над всем Дантовым кривым лесом и адом

исковерканных человеческих самолюбивых воображений. А осталась одна оборотная сторона.

Без того, чтобы Босха на чай не позвать,
трудно новорождённого нарисовать
Босха я попрошу, съев по бублику с ним:
«А возьми-ка ты кисть, братец Иероним!
Холст грунтуй да пиши, как, на остром суку
пропоровшись, спит ведьма с дыроу в боку,
и ползёт муравей по её языку,
а, раздвинув усилием морщинистый зад,
из него головёнка и ручки торчат,
и волынка в руках у сиротки
источает волшебные нотки».

Вот яркая картина того, как издыхающая империя рождает своих певцов, да простит меня Иосиф Александрович за невольную к нему аллюзию. <...>

Из всего сказанного, думаю, Танюша, нам обоим стало ясно, что всё же никаким языческим храмом не являлось известное кафе на углу Невского и Владимирского.

Что же это было? А была, это, Танечка, наша жизнь.

Ей, этой жизни, можно, конечно, найти аналогии в истории, описать ее через призму времён, а только весь основной кошмар этой самой жизни, которая называлась «Сайгон», заключается в том, что её, этой жизни, на самом деле не было. <...>

Татьяна Трубникова (Матильда)

ВЕТЕР СВОБОДЫ В ЛИЦО

Пару лет назад я познакомилась в Сети с молодым финансистом из Ставрополя, обмолвилась, что была хиппи в юности, и он принялся уговаривать меня написать о хиппизме: «Я бы тоже хотел это ощутить — *ветер свободы в лицо!*» И я подумала, что если человек, чрезвычайно далекий (и географически, и хронологически) от всего, что происходило со мной в 1980-е, смог уловить дыхание этого ветра, то, может быть, ветер этот не рассеялся безнадежно в пространстве и я сама смогу ощутить его еще раз... Хотя считаю воспоминания вещь тягостной и бесполезной, да и память моя сильно повреждена. Строгое следование лозунгу «Sex, drugs, Rock-n-roll» не проходит бесследно.

Есть еще одна причина, по которой я пытаюсь это написать. Большинство людей, с которыми я общалась и дружила в «Сайгоне», считали ключевым в этом лозунге второе слово, и, как следствие, пали жертвами «Второй Психоделической». Шутки шутками, но моих друзей на погосте больше чем в жизни, и о некоторых из них уже некому вспомнить, кроме меня. Все хорошо помнят тех, кто кем-то стал, тех, кто был ярким и заметен, — звёзд. Но «Сайгон» был полон людьми, которые, собственно, и создавали его неповторимую атмосферу, — рядовыми.

Я спросила себя: «Чем для тебя, Матильда, был Сайгон?» Первое, что пришло в голову, — «дом родной». А второе — «перекресток». Понятия взаимоисключающие, но оба верные. Я приходила туда каждый день, как домой. <...> Если теплое время — глянуть, кто стоит на улице, поздороваться, разговориться или

сразу пройти внутрь, со ступенек высматривая знакомых. Если повезло, то пристроиться, а если нет, то встать в хвост. «Здравствуйте, Галочка (Стелла, Валечка), маленький двойной, пожалуйста, воды поменьше». А если хочется есть, то и пирожное — корзиночку с белковым кремом (помню ее ужасный вкус до сих пор). Быть может, найдется свободное место на одном из широких подоконников, но и за столиком тоже хорошо, в одиночестве не простишь и минуты — кто-либо из знакомых нарисуеться обязательно. И в любое время дня разговоры, знакомства, сплетни, приколы, дружеские пикировки, анекдоты, новости, информация о сессиях и выставках; возможность приобрести что-нибудь изменяющее сознание или найти попутчика для любой, сколь угодно дальней поездки, или место, чтобы переночевать (перенайтать) или пожить (вписаться) на какое-то время, влюбиться или просто найти партнера для секса, отправиться на прогулку по городу в хорошей компании, найти единомышленников или собутыльников, напиться совсем без денег, покурить на халяву травы, стрелкнуть почитать что-нибудь из самиздата, попасть в ментовку, встретить нового друга или свою судьбу...

«Сайгон» был мне домом и самым большим перекрестком на свете. Я появилась там, когда мне было шестнадцать, в 1982 году. Один из моих самых первых визитов в «Сайгон» закончился поездкой автостопом в Крым с тремя копейками в кармане. И в результате я оказалась во всесоюзном розыске (бедная моя мама, прости меня — я знаю, что ты простила, но прошу еще раз). Другой визит привел меня сперва в ЗАГС, а потом в Среднюю Азию. Тянь-Шань — сердце и сейчас щемит когда слышу это слово. (Спасибо, Борька Трубников, разное с нами было, но за Азию моя благодарность тебе навсегда). Еще один визит привел меня на Гаюю, и эта поездка изменила мою жизнь кардинально и, конечно, не в лучшую сторону, потому что тогда я на своей шкуре узнала, что мак — это не просто цветок, но я ни о чем не жалею.

Главное, что дал мне «Сайгон» — дороги, моя страсть на всю жизнь, и люди.
<...>

1982 год. Мне шестнадцать. В школе меня травят, дома «не понимают», в клубе «Дерзание», где я занимаюсь, у меня несчастная любовь, я пережила первое в жизни предательство. Сентябрь. Десятый класс. Меня отпустили из дома со строжайшим наказом вернуться не позже восьми: «Надо учить уроки» (даже сейчас чувствую тоску, которая охватывала меня при этих словах). Я должна была сделать флюшку, забрать туфли из ремонта и купить хлеба. Сделала, забрала, купила — и поехала в «Сайгон». Я испытывала острую потребность в «своих» и чувствовала, что найду их именно там. В тот вечер я познакомилась с «клевым меном» — молодым человеком, который представился мне Микки. Миша Фавстов — его настоящее имя я узнала позже. Ему было восемнадцать, он был строен и красив, как витязь из восточной сказки. После девяти, когда «Сайгон» закрылся, а я уже безнадежно опоздала домой, мы оказались у Миши на Петроградской. Когда проснулись утром, я решила, что теперь уж обратного пути нет и неплохо бы поехать в Крым. Мои отремонтированные туфли мы положили в камеру хранения на Московском вокзале, там они и остались. Иногда я веселю себя мыслью о том, что, может быть, они лежат там до сих пор. До Москвы добрались на «собаках» (электричках), пришли на Пушки (Пушкинскую площадь), удачно вписались перенайтать, к нам присоединился Костя Швейк — питерский музыкант, который косил от армии, и ему было всё равно куда ехать. На Пушке попали под облаву «Березы» (московский оперотряд, занимавшийся неформалами), и нас свинтили (забрали в отдел). Я понимала, что меня наверняка ищут, паспорта у меня не было, но еще заранее, на случай винтилова, мы со Швейком договорились что я представляюсь его сестрой. А он, как человек совершеннолетний, меня отмажет. Но меня забрали, когда Швейк куда-то отошел,

и я уж было решила, что дела мои плохи, но, пока ожидала своей очереди на допрос, в обезьянник привели Швейка. К нашему счастью, опера, видимо, не читали «Двенадцать стульев», потому что разыгранную нами сцену «Узнаешь брата Колю!» приняли за чистую монету. Еще перед тем как нас свинтили, кто-то из москвичей угостил меня джефом, я получила легкую передозировку и меня все время тошнило. В какой-то момент я попросилась выйти в туалет, сказав, что чем-то отравилась в кафе, а худенький и очень хайрастый мен, сидевший с нами в обезьяннике, радостно закричал: «Да чего ты стесняешься, блюй здесь!». Так я познакомилась с Одуванчиком Уфимским, блюзовым музыкантом, про которого говорили что Одуван ростом со свою «Кремону». Нас отпустили, чуть позже отпустили и Одувана, и он в полном восторге рассказал, как один мент сказал другому про нас со Швейком: «А я сразу заметил, что они чем-то похожи!»

Мы уехали в Крым догонять лето. Про эту тусовку, как и про любую другую, можно написать повесть, приключений было много, как на пути туда, так и обратно. В Симферополе Микки познакомил нас с человеком, который потом на долгие годы стал моим другом, — Билли Симферопольским. Мы все четверо дивно поселились, устроив хеппенинг с танцами вокруг памятника Ленину на главной площади, чем погрузили в глубокое недоумение наивных симферопольских ментов. Но главной точкой, вершиной этой тусовки для меня так и осталась ночь на берегу моря в Алуште. Мы нашли маленькое ущелье среди обрывистых холмов. Горел костер, совсем рядом шумело море, высокое крымское небо хвасталось таким количеством звезд, какое никогда не увидишь на севере. Мы троим, Микки, Швейк и я, сидим у костра, у нас совсем нет еды, зато есть джеф и симферопольская «Прима», и мы разговариваем о непротивлении злу насилием, о свободной любви, вегетарианстве, о докторе Лири и психоделической революции, о несносности совдепа, о битлах и «Rolling Stones». Где-то за полторы тысячи километров не спит и сходит с ума от беспокойства моя мама, которой я послала открытку из Алушты, мои одноклассники ходят в школу и учат уроки, мне тревожно, меня мучит совесть, но я абсолютно счастлива. Я чувствую, что стою наконец-то на своем пути и меня не свернут с него все педагоги и оперативники совдепа.

То ли в 1984, то ли в 1985 Мишу Фавстова и его жену Аню Лошадь арестовали со стаканом маковой соломы. Это был период усиления борьбы с наркоманией. Мише дали восемь лет зоны усиленного режима, Ане четыре года общего. Выйдя из тюрьмы, Аня вскоре умерла от передозировки, так и не дождавшись освобождения Миши. Миша вышел, отсидев весь срок, совсем другим человеком.

Костя Швейк умер несколько лет назад. Убили его алкоголь и наркотики. Он был удивительно талантливым музыкантом. Я не понимаю, почему он предпочел разрушить себя.

...Ноябрь 2007 года. Еду по Веселому поселку. Я на улице Подвойского. Снижаю скорость до сорока и ползу в правом ряду. Сзади раздраженно сигналят, я включаю аварийку и еду еще медленнее. Это должно быть где-то здесь: длинный панельный девятиэтажный дом, один из многих. Но я не узнаю места, всё так изменилось. «Куда ты лезешь Матильда, какие воспоминания ты хочешь написать, если даже не можешь найти дом, который так много значит для тебя». <...>

В ноябре 1982-го мы вернулись из Крыма. Я все еще во всеоюзном розыске. Микки живет дома, а мы со Швейком, которого ловит военкомат, вписались на флэт Софочки Юзефпольской, на Подвойского. Мне кажется, что там очень красиво — на стенах картины, на полу подушки, мебели минимум. На флэту в разные дни живет от пяти до пятнадцати человек. По ночам в комнате курят траву, слушают музыку и медитируют. На кухне разговаривают. Софа дает мне почитать самиздатовские книги Марка Воннегута, сына Курта, и Тимоти Лири. Мы разговариваем о шизофрении,

о выходе в астрал, о сознании и подсознании, о возможностях человеческой психики, о мистике и оккультизме... Я тоскую и боюсь, я думаю о маме, я понимаю, что надо возвращаться домой, но не хочу, потому что мне кажется, что мой настоящий дом здесь. <...>



Таня Асташкина, Азаров, Зюбка, Матильда (Татьяна Трубникова),
Мент Рижский (Андрей Ворчеха)

Ноябрь 1982-го очень холодный, в «Сайгоне» регулярные облавы, но мы с Максом решаемся поехать туда. Максу лет восемнадцать, у него недлинный хайр и тонкие усики. Чтобы отличать от множества других Максов, его называют «Максом Грязным с Петроградской». В «Сайгоне» куча народу: Джерри — хайрастый и с гитарой, но с урловскими прихватами; Тулиб — с моей тогдашней точки зрения, образец хиппи по внешнему виду; Леопольд, Аэлита, Дима Агафонов — очень мягкий и деликатный человек, вечно озабоченный какими-то проблемами с криминалом из-за наркотиков; Коля Шехирев, Таня Борткевич; Дима Химик, пытающийся сделать морфин из нафталина (он вскоре умер — первым из нашей тусовки положив начало длинной веренице смертей); Сеня Скорпион, волосатый и бородатый битник и поэт с повадками панка, Саша Леннон и Костя Зверь — все трое неотъемлемая часть алкогольной тусовки, именуемой «Первостольной», поскольку располагалась она за первым столиком «Сайгона». «Человек человеку Зверь, Леннон и Скорпион». Кто автор афоризма? Сеня Скорпион, наверное... Лена Оринова, Аня Лошадь, Микки, Сережа Художник, московские, таллинские, вильнюсские тусовщики. Витя Колесо, такой же необходимый и обязательный в «Сайгоне», как кофеварка. И еще куча народу. Пьют кофе, курят на улице и втихоря в тамбуре, сидят на подоконниках, разговаривают. Джерри иронизирует над тем, что каждый второй тусовщик считает себя экстрасенсом. Когда «Сайгон» закрывается, мы с Максом едем на флэт. Дома есть нечего, и мы решаем завернуть на хлебозавод, где-то за гостиницей «Москва», там можно выпросить бесплатно

бракованные батоны и буханки, если повезет. <...> Мы дома! Тепло, чай, трава, музыка, нам рады... Алекс Московский с толпой московского пипла, Швейк, Паша Котов, Френк — он с гитарой и я первый раз слышу как он поет, Софочка, еще люди. И таинственный Володя из Приморья с колоссальным запасом маньчжурской травы. Ночью кончается табак, и мы с Максом идем на улицу — попытаться стрельнуть покурить или хотя бы собрать окурки. Под навесом остановки стоит урна. Макс поднимает ее и вытряхивает содержимое на асфальт. Мы хохочем на всю улицу, обсуждая бычки с точки зрения смачности, их очень много, нам некуда их складывать. Макс снимает свою широкополую фетровую шляпу, и мы складываем окурки в нее. Дома табак будет высыпан на газету, высушен и снова забит. Шляпа уже полна наполовину. По другой стороне улице бредет, с нашей точки зрения, цивил, «обычный пролетарий». Он перешел дорогу, протянул нам пачку «Космоса» с двумя последними сигаретами и скрылся в ночи. Мы вернулись домой, чувствуя себя удачливыми охотниками.

...Перечитав написанное, я чувствую бессилие и раздражение. «Матильда, тебе нечего больше вспомнить, кроме того, как двадцать пять лет назад ты ночью рылась в урне на улице Подвойского?» Я не способна описать того, что мы чувствовали тогда. Как мы любили друг друга и заботились друг о друге. Я не могу этого передать средствами языка. Может быть, потому, что *«как пчелы в улье опустелом, дурно пахнут мертвые слова»*.

Я тогда искренне считала себя хиппи, мы много говорили о том, как жить в отрыве от общества, беря от него только то, что общество само согласоно нам дать. Даже если это только окурки из урны. Или протянутые добрым человеком сигареты. «Живите как хотите и не мешайте нам жить так, как мы хотим»

Мне неизвестна судьба Тулиба, Димы Агафонова, Паши Котова, Тани Борткевич, Софочки. Лены Ориновой, Макса, Володи из Приморья и многих других.

Джерри и Леопольд в разное время попали в тюрьму. Что стало с ними потом — не знаю. Боюсь, ничего хорошего.

Френка, Сережи Художника, Аэлиты, Саши Леннона, Кости Зверя, Ани Лошади и Швейка уже нет в живых. Френк нелепо погиб под колесами электрички, Сережа Художник умер, кажется, от печеночной комы. Аэлита и Саша Леннон покончили с собой...

1983 год. Лето. Мне семнадцать. Я наконец-то закончила школу. В конце августа я должна быть дома, чтобы поступать в медучилище, это вопрос решенный, но август наступит еще не скоро, а сейчас я совершенно свободна, отпущена из дома, меня никто не будет искать, на меня почти махнули рукой. Самый большой перекресток на свете — это мой дом. Я знаю там всех и все знают меня, я вольна поехать куда угодно, я ничего не боюсь, я могу все. Я хиппи, Гражданин Мира, мне кажется, что у меня есть крылья.

Не могу вспомнить, где я познакомилась с Энди, в «Сайгоне» или на флэту у Сережи Художника в Красном Селе, но на Гаую мы с Энди поехали от Сергуни.

Мы были тогда окултистами и мистиками, он белым магом, а я ведьмой (Господи, прости нас, грешных, молодых идиотов!). Мы уже читали Кастанеду и «Ключи Соломона» в распечатках. Мы искали силу, желая поставить ее на службу добра. Мы решили, что между нами не должно быть секса, мы были одногодки и нам, в наши семнадцать, секса уже хватило. Энди сказал, что мы должны сублимировать сексуальную энергию в магическую. Мы были не любовники — партнеры. Чистый, возвышенный и непобедимый тандем.

Мы оба впервые ехали на Гаую. Энди был очень красив тогда — стройный, подтянутый, мускулистый, с длинным темным хайром. Он говорил, что по происхождению он грек, а по призванию — художник. И рассказывал мне сюжет своей

картины «Ночная прогулка апельсина». Мы говорили о волшебстве и биоэнергетике, демонстрировали друг другу свои возможности, и если на трассе долго не было машин, мы их наколдовывали. Это была игра, но мы всерьез верили в нее. Ночь застала нас на трассе, и мы заночевали в стогу. Звучит романтично, но в реальности — холодно, дует, сено колется. <...> В конце концов попали на Гаюю — летний хипповый лагерь в лесу под Ригой, недалеко от местечка Царникава. Свое название он получил по имени реки, которая течет в этих краях. Лагерь стоял на берегу чудного лесного озера, а если пройти километра полтора по песчаной просеке, то можно было попасть на берег моря — огромный, совершенно пустой песчаный пляж, исчерченный следами танковых гусениц (рядом был военный полигон). В то лето лагерь был небольшой — максимум человек пятьдесят приехали, а десять-пятнадцать были постоянными жителями. Энди, Лёша Ковбой, я, Френк, Альбина Донецкая, Марина Уфимская, москвичи Саша Крыс, Колпак и Алексей Граф Орлов Чесменский Потомственный. Владелец столь громкой кликухи — милейший и благороднейший человек. Не знаю, был ли он биологически потомком столь славного рода, но по духу, безусловно, был. Впрочем, в быту его все ласково звали Орлушей. Периодически наезжал Элис Рижский с герлой. Герлы у Элиса все время менялись, поэтому мы их не запоминали. Приезжали Одуванчик Уфимский и москвич Ромашка. Из Питера Швейк и Леопольд. У нас было очень мало еды, зато очень много мака, который в изобилии рос в окрестных садоводствах. Мак ходили воровать по ночам — на дербан. Порой в лагерь приносили такие огромные снопы, что мы были не в силах его обработать и употребить. И тогда просто бросали в воду. Ели мы то, что удавалось купить на добычу от аска или сбора бутылок в Царникаво или Риге. Иногда Орлов-Чесменский ездил в Ригу на хлебозавод. Там, в определенную смену, он мог выпросить целый мешок бракованного хлеба. Френк ловил рыбу. Однажды Колпак наловил лягушек и, помянув французов, предложил их съесть, но, помнится, эту идею мы забраковали. Если становилось совсем голодно (не клевала рыба и не было аска, а в Ригу поехать было нельзя), я брала самый большой котел в лагере и шла в лес собирать чернику. Возвращалась через несколько часов с полным котлом ягод. И Орлуша ласково говорил мне: «Это, Матильдочка, кровь заставляет тебя работать. Аристократ — это тот, кто способен нести самую большую ношу». Впрочем, жили мы очень весело — в лагере было много музыки, обычно гитара и барабаны. Играли Френк, Одуван и Саша Крыс (у Саши не хватало пальцев на левой руке и гриф он держал в правой). Больше всего пели Гребенщикова и Майка, ещё Боба Дилана, битлов и свои песни. Однажды кто-то привез две детские пластмассовые дудки, и Марина Уфимская и Элис Рижский дудели в них целыми днями. <...>

Однажды ранним утром я выбралась из палатки. Лагерь спал. Стояла какая-то нереальная тишина — молчали даже птицы, только где-то далеко слышался плеск весла. На берегу, у самой воды, в позе лотоса, неподвижно застыл Энди. Я осторожно опустилась на землю неподалеку, боясь нарушить тишину, и замерла. Над водой стелился туман, скрывая противоположный берег, солнце поднялось ещё не высоко, и его лучи, пробираясь сквозь стволы сосен, ложились на туман и казались материальными и осязаемыми — протяни руку и дотронешься. Озеро, сосны, туман, камыши у берега — всё было абсолютно неподвижным и каким-то очень новым, как будто только что созданным. Красота момента была почти переносимой, но хотелось, что бы он длился вечно. И вдруг все рухнуло — тишину взорвал голос Френка. Выплывая на плоту из-за острова, Френк во весь голос запел «Славное море, священный Байкал». Волшебство исчезло. Френк греб к берегу, сообщая всему миру, что «молодцу плыть недалечка». Энди плюнул и ушел в лес, а я полезла в палатку, под френковское растерянное: «Пипл, вы чего?»

Тем летом я прожила на Гае месяца полтора. В начале августа я, Энди и Ковбой, устав от лесной жизни и избытка мака, уехали в Питер. Хотелось цивилизации. Цивилизация началась с флэта Сережи Художника. Сергуня тогда страдал половой гиперактивностью и каждой герле, девушке или женщине, с которой знакомился, сразу после приветствия говорил: «а поехали ко мне, я с тебя обнаженку писать буду!», за что сыскал себе славу «сексуального маньяка» и подвергался жесткому глумлению. Дюймовка со своей полуторагодовалой дочкой Настасьей и Зуфар Казанский приехали к Сергуне из Казани на полчаса раньше нас. Мы вошли на флэт, споткнувшись об их рюкзаки, бросили свои в ту же кучу и прошли на кухню. Это сейчас мне хочется думать, что наши детские занятия магией были всего лишь игрой, но Дюймовочка, практикующая ведьма, впервые в жизни увидев меня и Энди, сразу вычислила нас из всей тусовки и вместо приветствия сказала: «А ведь нас теперь трое, господа!» Так мы стали триумвиратом. И творили много нехороших дел. Ради развлечения делали привороты, амулеты, ворожили. Правда, на порчу мы единогласно наложили табу, но внушить не нравившемуся нам человеку желание убраться с флэта — это запросто. Я уверена, что за все наши оккультные развлечения, казавшиеся нам тогда вполне невинными, каждый из нас троих жестко заплатил по жизни. И мы продолжаем платить до сих пор. Кроме Энди. Энди свой счет закрыл.

Я не очень люблю вспоминать себя такой, какой я была в период этих увлечений (*«он совсем не нравится мне, это Он хотел стать богом и царем...»*), но все-таки я была счастлива тогда.



Матильда

Тем августом на флэту у Сергуни появился совершенно удивительный для нашей тусовки человек. Девушка, девочка. В самом прямом смысле этого слова. Я, Энди и Дюймовка — все хиппи со стажем тусовки, познавшие свободную любовь, мы казались сами себе прожженными, жутко развращенными и порочными людьми. То, что

Светка невинна, мы вычисли сразу, как только она появилась. Мы сидели на кухне, Энди курил сигаретку и жмурился, как объевшийся кот. Мы с Дюймовкой переглянулись. «Вы заметили, господа?» — спросила Дюймовка. «Луч света в темном царстве!» — ответила я. «Девочка!» — нежно промурлыкал Энди. «Я тебе дам!» — Дюймовочка показала Энди кулак. «За кого ты меня принимаешь?!» «Мы будем ее беречь», — сказала я. Нам казалось чудом, что девушка-хиппи смогла до восемнадцати лет остаться невинной. И хотелось это чудо сохранить. Но ничего не получилось. Через пару дней нас с Энди разбудил жуткий вопль Дюймовочки. Полуодетые, мы влетели на кухню и обнаружили там завернутого в простыню Сережу Художника и задыхающуюся от ярости Дюймовку. «Он, скотина, животное!» — орала она. — «Он трахнул Светку!» Мы принялись топтать Сергуню втроем. А он, растерявшийся под градом наших упреков, сперва вяло отбихивался и обзывал нас сумасшедшими, а потом вдруг закричал в сердцах: «Да что вы на меня набросились?! Я же ей, можно сказать, путёвку в жизнь дал!». О, то что ему ответила Дюймовочка следовало бы увековечить в мраморе, но привести здесь ее речь невозможно, потому что единственными цензурными словами в ней были слова про «таких путёвководителей». Мы были уверены, что Света станет для него очередной «натурщицей», но история получила совершенно неожиданное продолжение. Я встретила их в «Сайгоне» в октябре — Свету в белом холщовом платье и венке из осенних листьев и Сергуню с парадным хайратником. Они были влюбленные и счастливые. Через некоторое время они поженились. Сергуня изменился — стал много и всё лучше писать, даже учился у кого-то. Они очень хорошо прожили вместе несколько лет. А где-то уже ближе к 1990-м поехали то ли во Псков, то ли в Новгород к какому-то Сергуниному другу. Тот работал в котельной, и ребята пошли вместе с ним на дежурство. Ночью произошла авария — котельная взорвалась. Сергуня и его друг не пострадали, а Свету выгнали из под обломков со сломанным позвоночником. Её парализовало. Сергуня привез ее в Питер, пытался сделать все возможное — врачи, лекарства... Он заботился о ней, иногда привозил в «Сайгон» в инвалидном кресле. Она прожила около двух лет. После ее смерти Сергуня так и не смог толком наладить свою жизнь. Он пил и торчал, но очень много рисовал, вот только, к сожалению, большая часть его картин утрачена. Сергуня умер уже в этом веке.

Я ничего не знаю о Лёше Ковбое, Альбине Донецкой, Марине Уфимской, Саше Крысе, Колпаке, Ромашке.

Элис Рижский умер.

В 2005 году умер Энди Питерский. Во сне от инфаркта. Мы встречались с ним за год до его смерти на его выставке на Пушкинской 10, и тогда мне казалось, что его дела идут неплохо — его творчеством заинтересовались голландцы. Они сняли про него фильм, организовали несколько выставок, но больше ничего не успели.

1984. Зима. У власти Андропов, и атмосфера невыносимая. Повсюду облавы — в банях, кинотеатрах и т. д. В «Сайгоне» они каждый день. Впрочем, народу там меньше не становится. В один из дней я оказалась за столиком с несколькими малознакомыми людьми. И услышала, как высокий кудрявый юноша рассказывал, что его друзья бухали на биофаке универа в помещении, где хранились заспиртованные препараты. Кончилось и спиртное, и деньги. А вокруг — сплошные банки со спиртом. Но в них плавают всякая гадость. Ну, всякие там двухголовые младенцы, печень алкоголика и прочие учебные пособия... Они вышли из положения гениально: выбрали банку с сердцем орла, решив, что «сердце орла» — подходящее название для серьезного мужского напитка. Очарованная этой байкой, я познакомилась с рассказчиком. И приобрела друга на многие годы — Диму Шланга, человека энциклопедических знаний, обладателя уникальной памяти.

Потом я выиграла не одно пари, когда на спор будила пьяного Диму и задавала ему любой, на выбор, вопрос из французской истории, которую он любил больше всего. Что-нибудь в духе «в каком году пришел к власти Генрих IV?». Не открывая глаз, Димка отвечал абсолютно точно, ни разу меня не подвел. В 1986-м я, Дима и Шерри ездили в Азию. Дима был отличным спутником — спокойным, надежным и не капризным. В середине 1990-х Дима заболел рассеянным склерозом, потом жизнь развела нас, у меня были очень трудные годы, я утратила все его координаты. Я не знаю что с ним сейчас, и мне очень стыдно.

...Все происходящие в цивилизованном мире вызывает тоску. Очень хочется сделать что-то настоящее, что-то протестное... Я не помню, кому пришла в голову идея квартирной выставки, в которой согласились принять участие девять художников. Увы, но хотя я и была в числе организаторов, не могу вспомнить имена всех участников: Настя Долинина, Сергей Васильев (Вася), Александр Войцеховский, Юлия Валиева, Дима Каховский, Франческа Шилова, Люба Сиротова, еще, кажется, Коста Чугуней и еще кто-то — имени его я не помню, к стыду своему. И прошу у него (неё) прощения.

В качестве помещения Настя Долинина и ее мама Маргарита храбро предоставили большую комнату своей двухкомнатной квартиры. Жили они тогда на Сердобольской, в доме с мемориальной доской, которая сообщала, что именно отсюда Ленин в ночь на 25 октября 1917 года отправился пешком в Смольный делать революцию. Отсюда возникло название выставки — совершенно точно помню, что его придумал Вася. «Выставка девяти соратников». Результат обучения в советской школе. Слово «соратники» было в наших головах плотно увязано со словом «Ленин».

1984-й, конечно, не 1937-й, но время нервное и напряженное, а квартирная выставка, в отличие от квартирного сейшена, который длится от силы два часа, — мероприятие долговременное. Вещественные доказательства развешены по стенам и быстро их не уберешь. Сейчас кажется — а что такого? Ну, решили несколько любителей поиграть в выставку... И тем не менее тогдашним властям такое своеволие понравится не могло. Поэтому Маргарита Долинина, взрослый человек и хозяйка квартиры, совершала мужественный поступок.

Картины свозили на Сердобольскую в течение нескольких дней. А когда занялись подготовкой экспозиции, я прониклась большим уважением к музейным работникам. Это очень нелегкий труд. За сутки мы с Настей сделали паспарту ко всем акварелям и графическим работам, а их было несколько десятков. Обычной бумаги нам не хватало, но мы нашли запасы оберточной бумаги, того самого удивительного грязно-коричневого цвета. Борис Трубников и Вася развешивали живописные работы. Мебель мы тоже задействовали. На буфете разместился стенд с Васиной графикой, она же лежала на столе под стеклом. Пианино отлично справилось с ролью стенда для графических работ. Ну и конечно, стены — был использован каждый сантиметр их поверхности, от пола до потолка. Мы закончили под утро в ночь с пятницы на субботу, а в субботу выставка открылась и работала до понедельника. За эти два дня в книге отзывов оставили свои записи сто тридцать пять человек. А были еще те, кто не стал ничего писать. И была дивная атмосфера праздника, исключительности, отделинности от совдепа и локальности нашего маленького мира. Успех внутренней эмиграции, как выразился кто-то из гостей. Все прошло благополучно — никто из чужих нас не потревожил, соседи не наступали, несмотря на то что два дня подряд по лестнице поднимались и спускались толпы народа. Кажется, на второй день Ля Востров привел двух юных и абсолютно цивилизованных барышень, лет четырнадцати на вид и с этюдниками. Он увидел их на улице, когда они шли из художественной школы, и пригласил на выставку.



Выставка 1984 г. Справа стоят: Сеня Скорпион, Ретина Глазова, Матильда

Благословенное время, когда юные девушки могли на улице принять приглашение странного волосатого типа пойти с ним посмотреть выставку и попасть действительно на выставку. Барышни оставили в книге отзывов восторженную запись: «Хочется когда-нибудь научиться рисовать так же».

Конечно же, это не самое яркое и значительное событие околосайгоновской жизни тех лет. Были большие сейшены, сопровождавшиеся глобальным винтиловым, были квартирники тех групп, которые потом стали собирать стадионы. Позднее, когда появилось «НЧ/ВЧ», были и выставки, и театральные постановки. Но я хотела рассказать о рядовых (мне не нравится это слово, но я не могу подобрать другого) обитателях «Сайгона» и обычных событиях той нашей жизни.

1984. Лето. Не помню, как и по какому принципу Борька Трубников собрал команду для поездки в Среднюю Азию, но собирал он её в «Сайгоне», и в итоге нас оказалось пятеро: сам Трубников, Макс Ольшевский, Андре (Игорь Пешков), я и некий Шура, единственный не сайгоновский персонаж — Борькин друг по даче.

Нам везло. Всю дорогу везло, хотя это была авантюра чистой воды. Но это я сейчас понимаю, что нам просто везло, а тогда казалось — так и должно быть. Командой в строгом смысле этого слова нас назвать было трудно. Лидером, безусловно, был Трубников, который уже был в Средней. Я на том жизненном этапе приходилась Трубникову женой, хотела быть с ним и очень хотела увидеть горы и эту таинственную Азию. Андре преследовал сугубо свои цели, с Борькиным лидерством мирился, но держал его под вопросом. Макс, как мне кажется, Борисом тогда восхищался и был счастлив, что принимает участие в этой тусовке. Какие мотивы двигали Шурой, могу только гадать. Вся эта тусовка — целая приключенческая повесть, расскажу только несколько самых ярких эпизодов.

<...> Мы шли к Майли-Саю и разбили лагерь на склоне горы, между тропой и ручьем. Как мы потом узнали, на этом склоне паслось стадо коров из стоявших в долине кошар. Киргизские коровы не похожи на наших, более длинноногие и



Очередь в туалет

длинношене, так как едят листву кустарников и деревьев. Выше по склону росла огромная дикая груша, плоды которой, мелкие и сладкие, очень понравились Андре. Он несколько раз в день ходил к этому дереву принести груш в лагерь. Мы набрали на это место вечером, разбили лагерь, поужинали и завалились спать. А утром проснулись от топота и звона. Через наш лагерь брело стадо коров, возглавляемое огромным черным быком неприветливого вида. Тропа была им узка. Они пинали оставленные снаружи миски, котелки и кружки и что не раскидали, то потоптали. Следующим утром шествие коров через лагерь повторилось, но мы были готовы и попрытали имущество — переносить лагерь на этом склоне было некуда. После завтрака Андре отправился за грушами, и через некоторое время мы снова услышали шум. Вернее топот, от которого дрожала земля. По тропе неслись коровы. Я первый раз в жизни видела стадо коров, несущееся галопом вниз по склону. Зрелище, скажу вам, незабываемое. Последним бежал бык, нервно оглядываясь через плечо. Чуть поотстав, гигантскими скачками неслись Андре в своих рваных джинсах, развевающейся футболке, сверкая очками и размахивая над головой огромным дубином. При этом он во всю глотку орал: «Что, сволочи, припухли!!!!» Вид разъяренного питерского интеллигента и на нас-то произвел сильное впечатление, что уж говорить о коровах. Бедные животные в жизни такого не видели. Причиной конфликта явилось, естественно, грушевое дерево, которое эти коровы посещали по утрам с той же целью что и Андре. Но с того дня стадо обходило наш лагерь стороной. И только бык (видимо, чтобы не потерять лица перед своими дамами) один раз в день проходил по тропе через лагерь — очень напряженно, и не глядя по сторонам.

В тот день мы преодолели небольшой перевал, и в середине дня оказались в неприветливой, заболоченной долине, где не было хорошего места для лагеря и чистой воды. А наш запас во флягах уже кончился. Ничего другого не оставалось, как начать подъем на следующий, значительно более высокий перевал. Мы решили, что

если будем двигаться по руслу высохшей реки, то сильно сократим дорогу. Это было ошибкой, так как через два часа пути русло высохшей реки превратилось в русло высохшего водопада. В общем, когда мы выбрались на тропу, начало темнеть. Пить уже хотелось зверски, и ни о чем другом думать мы не могли. На тропе нам повстречался дедушка верхом на ишаке, вполне стандартный для тех мест дедушка — в белом ватном халате, подпоясанном платками, и киргизской войлочной шапке. И не знающий ни слова по-русски. Демонстрируя пустые фляги, применив язык жестов и известное нам киргизское слово «су» — вода, мы попытались добиться какой-либо информации. Из его ответных жестов — размахивания руками в сторону вершины и тыканья пальцем в циферблат Борькиных часов — мы поняли, что до вершины подниматься час и полчаса спускаться до воды. Но то ли мы неверно истолковали жесты этого аксакала, то ли он мерил время, учитывая скорость своего ишака, но на вершине мы оказались только через три часа, когда жажда стала невыносимой и даже губы высохли и потрескались. На спуске мы оказались на довольно широкой тропе — двое могли идти рядом. Уже совсем стемнело, но, к счастью, ярко светила луна. По правую руку поднимался склон, не отвесный, но хорошей градусности, поросший очень колючим и совершенно непроходимым кустарником. Слева была пропасть, склон которой, как можно было разглядеть в темноте, тоже порос этой колючкой. Мы шли вниз около часа, и не было никаких признаков воды, когда из темноты перед нами послышался топот и хрюканье. Мы остановились. Навстречу нам по тропе поднимались кабаны. Надо заметить, киргизы свинины не едят и на кабанов охотятся редко. Поэтому диких свиней там много и они крупные и наглые. Деваться нам было некуда, оружия у нас не было. Мужики достали миски, кружки, топор, и мы принялись стучать, кричать и прыгать. И кабаны предпочли свернуть на склон, проломившись сквозь кустарник. Пить к тому моменту хотелось так, что мутилось сознание. Мне все время казалось, что на дне пропасти шумит вода, и меня тянуло туда как магнитом. Борьке приходилось меня оттащить. Через какое-то время я сняла рюкзак, прилегла под кустик и отказалась идти дальше. Борька поднял меня уговорами, и мы поплелись медленно, отпустив ребят далеко вперед. Шли мы еще полчаса, может быть час, несколько раз я порывалась присесть, но Борька мягко заставлял меня идти дальше. Уж как ему это удавалось, не знаю. Потом услышали голоса наших ребят вдалеке, а еще мне снова показалось, что я слышу шум воды, но сама себе не поверила. А потом увидела самую прекрасную картину в моей жизни: из-за поворота тропы показался Макс, и в одной руке у него было фляга, а в другой кружка. Он не просто бежал, он отплясывал какой-то вакхический танец — высоко вскидывая ноги и размахивая руками, и при этом кричал: «Вода! Вода!» Откуда взялись силы, но я рванула ему на встречу, забыв про усталость. Макс налил мне воды в кружку и сунул флягу Борьке. И, пока мы пили, рассказал, что совсем близко река и что мы вышли прямо к небольшому водопаду. Но, когда мы уже добрались до места, я поняла, что Макс пробежал нам на встречу вверх по тропе около километра.

Нам действительно везло — мы не встретили ни одного недоброжелательно настроенного человека, у нас не было никаких конфликтов с местными, хотя на меня, блондинку, засматривались и неоднократно предлагали Борьке энное количество баранов, верблюдов или денег за его женщину. Никто из нас не разбился и ничего себе не сломал, хотя штурм высохшего водопада без скалолазной подготовки и снаряжения иначе как негритянским счастьем не назовешь. Нас не покусали никакие гады, хотя однажды утром Шура вытряхнул из своего спальника здоровенного скорпиона, это не считая гюрзы в палатке.

Нам везло и во многом другом. Мы видели такие пейзажи и такие закаты, описать которые я не в состоянии. Горы они и есть горы. Те, кто там бывал, и так всё

понимают, а тем, кто никогда не был, лучше всего все объяснят слова Шерри, еще одного сайгоновского персонажа. После первой своей поездки в Азию он сказал мне: «Я страшно разочаровался в Рерихе! Я считал, что у него потрясающее воображение, что он придумал свои пейзажи, а он просто в точности срисовал всё с натуры!»

Если бы не «Сайгон», я бы никогда туда не попала. Потом я не раз возвращалась — Тянь-Шань не отпускает просто так. В Средней Азии я была везде, кроме Таджикистана. И это стало страстью на всю жизнь — экзотические страны. Пропило много времени до того, как я смогла это желание осуществлять и Африка из мечты стала целью, а Цейлон реальностью. Я видела коралловые атоллы, страхи-вала со своей кожи пиявок в дождевых джунглях и удирала от морской змеи в водах Индийского океана. Все эти странные вещи делают меня счастливой, но это увлечение мне подарил «Сайгон». Потому что совсем юным романтиком я услышала: «Я люблю избранника свободы, / Мореплавателя и стрелка. / Ах, ему так звонко плещи воды / И завидовали облака. / Высока была его палатка, / Мулы были резвы и сильны, / Как вино, впивал он воздух сладкий / Белому неведомой страны»*.

Александр Вяльцев (Пессимист)

ЧЕЛОВЕК НА ДОРОГЕ

Записки об автостопе

(фрагменты из книги)

*You're never too old to Rock 'n' Roll
if you're too young to die.
Ian Anderson*

Memoria

Памяти Поэта

«Не пора ли тебе в парикмахерскую?» — говорила мать уже в сотый раз за тот первый год моего институтского бытия. Я попеременно злился и посмеивался над нелепой картиной, которую лелеяла мать в своей голове, решаясь сказать такую глупость. Что бы подумали мои лонгхаерастые приятели, если бы услышали этот граммофон домашней тирании, который я, как свободный человек, должен был давно сдать в утиль? У них-то дома, небось, не заикаются о волосах, уже умея прочувствовать пророческую миссию их обладателей. Почтительная немота — вот какой реакции я ждал от публики, взирающей на участников нового детского крестового похода, перед абсолютным бесстрашием и безгрешностью которых отпрянут сарацины мракобесия. Естественно, ничего этого не было, хотя крестовый поход бесспорно был.

В свой первый (неофитский) стоп я был отпущен родителями, <...> пока им еще казалось, что они руководят ситуацией и можно с чем-то мириться. Хотя на самом деле они просто не представляли реальных масштабов нависшей над ними катастрофы. Потеря института и армия были еще не самым страшным, хотя дальше этих мрачных пределов они, естественно, ничего вообразить не могли. <...> Могли ли они вообразить, что их сын, с детства не отличающийся коварством, изобретет от армии иное противоядие, помимо института, и, прошмыгнув в щель

* Строки из стихотворения Николая Гумилева «Память». — Прим. ред.

между одним и другим, — очутится на свободе? Что это за свобода, каков способ проникновения туда — они не могли себе представить.

А ларчик открывался просто: я отправился в свой первый стоп.

<...> Я полюбил длинные волосы с тех пор, как увидел смуглого Гойко Митича — благородного индейца моего детства, героя гэдээровских фильмов. А потом в прокате появились мушкетеры, тоже не лысые. Поэтому ныне это было как возвращение к корням или осуществление мечты. <...>

Когда первого сентября я вошел в институтский дворик, то чуть не упал: вокруг вечно не работающего фонтана толпились несколько десятков лонгхаерастых мэнов и затянутых в потертые джинсы хипповых герлов. «Америка!» — подумал я. Это был какой-то Вудсток в центре Москвы. А я-то думал, что опоздал на все ништяки, не тогда и не там родился и что мой удел — одиночество в мире. Несколько шагов — и жизнь сразу изменится! Не тут-то было: как хиппи я тогда себя не идентифицировал, примеряя на себя роль одинокого философа, и не встреча растянулась бы на тысячу лет, если бы «америка» не сочла меня достойным и почти насильно не втащила в тусовку.

С этого момента мне надо было зарабатывать очки, то есть чем-то отличаться перед Системой. Самый надежный путь — безоглядно броситься в омут автостопа. И для будущего путешествия с Машей на Кавказ мне тоже надо было увериться в собственной крутости, убить в себе раба быта и домашних пуфиков. Паломнический путь вел в Прибалтику.

Я знал, как надо путешествовать автостопом: собиралась банда, человек десять, мэны с герлами, разбивались парам и растягивались на километр, потом все смитинговывались в условленном месте, тусовались и ехали дальше. Это было удобно и весело.

Я очень хотел бы поехать так, особенно в первый раз, но не мог ждать, пока соберется достойная компания.

Бог знает сколько времени я брел вдоль Можайского шоссе с самодельной холщовой сумочкой на длинном ремешке, в которой лежали атлас, книга и свитер, прежде чем решился повернуться и поднять руку. Грузовики шли мимо меня, не останавливаясь. Тем более легковушки. Я облегченно вздыхал и шел дальше. И вдруг скрип тормозов — красный КамАЗ сворачивает на обочину: я заловил первый в моей жизни грузовик. Прощай, Москва и крепкие объятия маршрутов, которые никогда не увезут тебя дальше конечной станции. Понесло ж меня от московского лета, кинофестиваля и друзей — в неизвестность, где я буду совершенно один, без крыши над головой, почти без денег, располагая всеми возможностями проверить свою карму и благосклонность судьбы. На раздумья времени уже не было. <...>

Вообще, считается, что чем дольше едешь на одной машине, тем лучше, но я так умаялся, что серьезно хотел просить водителя остановиться и отпустить меня на волю. Откладывал с минуты на минуту и так дотаскился до Смоленска. Вот тебе и крещение! <...>

Я прошел весь Смоленск, родину знаменитого Паши Смоленского, которого я ни разу в жизни не видел, но о котором неоднократно слышал и созерцал на фото в огромных «пипл-буках» моих новых друзей, увековечивших беззаконную жизнь поколения. (Волосатые любили фотографироваться, словно чувствовали, как это все непрочно, и спешили запечатлеть мгновение своей счастливой волосатости.)

<...> Трасса опустела, и никто больше не брал. Я сошел с шоссе и долго бродил в темноте по улочкам и дворам какого-то смоленского пригорода, густо заросшего зеленью, и в конце концов прилег у чем-то понравившейся мне пятиэтажки на скамейку. Естественно, не спалось. Было и стремно, и холодно. Никогда в своей сравнительно благополучной жизни я не спал, как бродяга — на улице. Если меня и грело что-нибудь, то лишь страх осрамиться. Да и деваться было некуда. <...>

Второй день пути дался легче. Я часто менял машины и не успевал застояться и закинуть. Я стопил и трясся на бесплатном сиденье как заправский хайкер, все более деричился задницей и тем самым успокаиваясь. Хайк был несложным и довольно увлекательным делом. Все время новые люди, свежие впечатления, смена картин. Попадаешь то на развилку, то на глухую обочину, то в большой город с циклопическим монументом на пьедестале. Подсознательно я запоминал виденное, чтобы потом рассказать.

<...> Два года назад я уже побывал в Вильнюсе, на родительской машине. Теперь все выглядело несколько иначе. Без ночлега, с парой наколок, воспользоваться которыми у меня не хватало духу, передвигаясь по городу лишь на своих двоих. Но *наш* бог был милостлив. Сперва у какого-то кафе, звавшегося, вроде, «Вайва» и служившего, как оказалось, местом сбора местной тусовки, я был радостно приветствован стриженным парнем.

— Откуда!?

— Из Москвы.

— Ты из Системы?

Первый раз мне этот вопрос задали в московском метро пару лет назад какие-то молоденькие ключики. Узнав, что «нет», они сразу потеряли ко мне интерес. Про Систему я уже слышал, но что она из себя представляет, не имел ни малейшего понятия. Странно было вообразить, что в стране, тщательно искореняющей любое инакомыслие, может ужиться какая-то организованная оппозиция, существовать зона независимости, пусть даже воображаемой.

Никто не знал, как войти в Систему. Система находила тебя сама, и ты оказывался в ней, не делая никаких дополнительных телодвижений. Ты вдруг уже был завербован — с готовностью служить ей до костра включительно. Взамен ты обретал язык, друзей, адреса по всему совку и взаимовыручку. Теперь я мог признать, что хоть и с недавних пор, но я тоже из Системы, что я не самозванец, что я знаю тех-то и тех-то и приехал сюда как положено — стопом.

Это было сродни паролю, прохождению испытания.

— Юргис, или Юра, — представился новый знакомый. У литовцев тогда еще не было национальной гордости малых народов, и Москва для них, как и для всех прочих, кто в ней не жил, была не только средоточием маразма, но и авторитетным духовным центром.

— Тебе есть где найти? — спросил меня Юра и предложил свой дом.

Он был безволосым неопитом, который считал, что можно служить Системе и тайно, не выделяясь внешне из толпы. Для меня это казалось слишком беспринципным. И все же я был рад новому знакомому в чужом городе. С ним были две местные девушки-хипповки.

— Пошли посмотрим Брам, — предложил они.

Я решил, что они хотят показать мне какое-то чудом сохранившееся (или самодельно заведшееся) изображение индийского бога. Ничего супернеожиданного в этом не было: Литва славилась своим политеизмом и отчетливой склонностью к индийским культам, особенно Кришны.

Но Брамой оказалась православная икона Богородицы, выставленная в галерейке над старинной улицей. Однако все здесь крестились по-католически, двумя пальцами и приседая. Икона сверкала «окладом» из сотен серебряных сердечек, маленьких и больших, прикрепленных, прищипленных одно на другое, как чешуя, нараставшая многолетними стараниями верующих.

Некоторое время мы еще протусовались вместе. Чувствовалась иная ментальность. Наш опыт не был тождествен, поэтому рассказать его другому было нелегко. Лишь несколько книг и то, что слушают в Москве, сделались темой разговора. Мы расстались, и я пошел гулять один.

Я шел, гордо размахивая хаером, как флагом, чем шокировал неврубчивых прохожих и сигнализировал друзьям.

И был вознагражден встречей с безошибочно узнаваемым хиппарем в компании несомненно хипповой клюшки. Не мог никого обмануть и тщательно спрятанный под куртку хаер, что 1982-ом делали лишь олдовые волосатые, зашуганные, застреманные, уставшие эпатировать толпу и получать за это по заднице.

Сомневаюсь, поняли бы, например, американские хиппи, что значит «прятать хаер». Смогут ли они представить ситуацию, когда хаера можно бояться или стыдиться, или действительно американские *хиппи* и наши *волосатые* — не одно и то же? <...>

— Привет, — сказал я. — Чего такая конспирация?

— Говорят, здесь стремно.

— Ничего стремного, — сказал я веско. — Я полгорода прошел.

— Ты откуда? — спросила девушка.

— Из Москвы. А вы?

— Тоже.

— «Поэт», — по всей форме представился мэн. — Эту кликуху мне дали в школе. А цивильно Андрей.

Его девушку звали Оля. Она училась в том же колледже, что и я, но на курс младше. Поэт тоже был на год младше меня, но хаер имел длиннее. Нигде не учился и в основном играл на гитаре.

Узнав, что я тоже чуть-чуть играю, он предложил мне тут же что-нибудь сбачать на улице. Самое эффектное, что я умел, был этюд Гомеса.

Взяв у меня гитару, Поэт стал петь почему-то «Был у Христа-младенца сад...». Он был «Поэт», он был музыкант, мне же пришлось признаться, что, кроме крутого имиджа, никаких регалий у меня еще не было. <...>

Латыши, как и литовцы, брали удивительно охотно, и, что самое странное, — частники. Впрочем, один дальнбойщик на мое «спасибо» посмел сказать, что «спасибом» сыт не будешь...

Я прошелся по Риге, заглянул в какие-то костелы и книжные, вспомнил, как слушал с родителями орган в Домском соборе (все это казалось — так давно), вполне приличный мальчик, отдающий дань культуре, и — поехал на Гауя.

Было не по-прибалтийски тепло, светило солнце, уже намыливаясь сесть в огороды. В примыкавшем к станции поселке я встретил нескольких волосатых. На Гауе стремно, сказали они, винтилово, все разбежались.

Мы решили перенайтать в каком-нибудь укромном углу ближайшего садоводческого товарищества и завтра попытаться вернуться в лагерь. Легко нашли пустой сарай, будто специально для нас приготовленный, аккуратно вынули стекло и забрались внутрь. Ближе к ночи в наш сарай влез еще один волосатый. Это был Паша Смоленский собственной персоной.

Паша был вундеркинд трепа. Он мог часами тележить о жизни, веселя собравшихся бесчисленными приколами:

— У меня на бывшей работе было собрание... И они там постановили, что я «выпал из действительности» прямиком во «внутреннюю эмиграцию», — просто-душно угорал он.

Был забавен его наивный *американизм*, его полная неотожествляемость ни с чем по эту сторону занавеса. <...>

Волосатая идея давно бы обанкротилась, коренись она в чем-нибудь, кроме волос. Уж очень независимо выглядит волосатый мэн в потертых джинсах и разноцветном бисере летом у пивного ларька. Нашему театру нужны выразительные актеры. Он играет исключительную роль — человека, который выше суеверий.

Бытует суеверие, что длинные волосы — аксессуар исключительно женский. А у него волосы хоть до задницы. Бытует суеверие, что неприлично ходить в грязной и рваной одежде, а у него от количества заплат повышается достоинство жизни. Если бы было запрещено поносить Бога, он неизбежно запихал бы Его в изображение в сортир, как это постигло портреты местных политических идолов. Но так как в этой стране все по-другому и о религии долгое время кроме как скрипя зубами говорить возбранялось, то пристрастие здешних волосатых к предметам культа стало наконец превышать нормальный несуетерный интерес, что само по себе есть следствие отсутствия культа LSD.

Впрочем, может быть, это есть следствие национального интереса к нравственности и наш традиционный логоцентризм. <...>

В Москве меня ждала Маша, которой я обещал стоп на Кавказ. Первый мой личный стоп с девушкой, из которого могли произойти важные последствия. И я должен был выдержать первое испытание: прийти на стрелку в срок.

К вечеру я добрался до какого-то переезда на границе Латвии и Белоруссии. Вокруг не было никакого жилья, кроме трех домов и будки стрелочника. Я поступался в пару домов и попросился переночевать. На меня посмотрели странно, словно я говорил на неизвестном языке, и отказали.

За переездом в поле стояло несколько накрытых навесом стожков. Выбирать не приходилось. Я закопался внутрь сена, оставив только нос, чтобы дышать.

Я лежал в стоге сена, слушал комаров, перемогал сильную усталость и не мог заснуть. Я был на таком взводе, что почти не чувствовал странности моего положения. Было невозможно вернуться в Москву — это скверно. Но, даже если бы я срейфил — это бы не перенесло меня ближе к цели. Первый облом после такого удачного стопа по Прибалтике, встречи с Пашей Смоленским и прочим волосатым пиплом, после практической инициации, когда я почувствовал себя на что-то способным! Я уже проехал какой-то путь на машинах, причем один. Я не только выглядел как хиппи, я и жил как хиппи. Я аж дважды попался ментам. Я, который прежде падал в обморок от вида деревенского мужика и от любого ветерка валился с ног в постель с температурой, — ночевал в голом поле под звездами. И теперь я мог трепаться о своем опыте и о том, как лихо себя вел. Сломаться мне теперь было не с руки. Все только начиналось. И мне страшно везло, кроме этого досадного шоссе... <...>

Заночевал я снова в Смоленске, на этот раз на вокзале, вырубившись после бессонных ночей, и меня кинули во сне на все деньги. Пропал тогда и студбилет. На следующий день, четырнадцатого августа, я был в Москве, сидел свежевывытый на кухне и трескал пироги с вареньем.

Родной город радовался недолго: утром я вновь его покинул, на этот раз на электричке.

Мое внезапное появление на пороге вызвало должное удивление.

— Мы уже не ждали, что ты приедешь, — сказала мне Ирка, Машина подружка, жившая здесь с нею.

— Да, — подтвердила Маша, — я много раз говорила Ирке: вот все мэны такие — наобещают с три короба, а потом динамят. Вообще-то, это было некрасиво с твоей стороны — уезжать.

— Почему? Я же вернулся в срок.

— Ну, во-первых, ты заставил нервничать, а во-вторых, если ты хотел ехать со мной, зачем тебе было так срочно срываться в Прибалтику?

— Мне хотелось попробовать себя. Узнать, что такое стоп.

— Ну и как?

— Клево! <...>

Надо сделать одно признание: в свои почти двадцать лет я был все еще девственник. С этим реакционным пережитком надо было кончать.

Стопанутая нами под Москвой «Татра» имела всего одно сидение, поэтому Маша всю дорогу провела у меня на коленях, отчего мы не стали относиться друг к другу хуже, что уже было хорошим предзнаменованием. Ночевали мы в этой же машине, в дырке от любезно вынуженного шофером сиденья. Но мы были худы и неприхотливы. Поджав ноги, обнявшись, кое-как мы провели ночь, целомудренно, как брат с сестрой. Водитель довез нас до Краснодара, почти до самого моря.

И вот передо мной Черное море, когда-то столь любимое. В хмурый прохладный день мы вылезли из попутной машины, достигнув естественного предела всех дорог, достигнув моря, как Колумб Америки. Нас встретили мутные валы, набегающие на берег, влажный и прохладный воздух и персики по два рубля штука на лотках наглых кавказских людей. Все, что мы могли себе позволить, это маленькая дыня.

Ночью мы были уже в Геленджике, хорошо памятном мне по пионерскому лагерю десятилетней давности. Но город был незнаком: нас никогда не выпускали за ограду <...>

Теперь мы с Машей гордо шли по темному и незнакомому городу, имея право и игнорируя возможность купаться где хотим, занятые проблемой, где бы переночевать.

Мы выбрали темный подъезд в пятиэтажке, постелили на кафель плед и улеглись. Но не успели заснуть, как через нас стали ходить люди. Они делали это тактично, высоко поднимая ноги, чем показывали определенную выучку, но нас это мало утешало.

Мы пошли на пляж. Поставили рядом два лежака, бросили рюкзак с дыней в ноги и, крепко обнявшись, безмятежно заснули, обвеваемые соленым ветром.

Ранним утром, едва рассвело, я был разбужен Машиным криком: огромная чайка кусала ее за вылезший из под пледа беззащитный палец. В довершение мы не нашли ни рюкзака, ни дыни. Погода все еще была хмурая, но спать нам совсем расхотелось.

На трассе нам снова стало везти.

— Брат и сестра? — спросил первый же частник.

— Нет, — засмеялись мы.

— А очень похожи... — Это тоже было неплохим предзнаменованием.

В Сочи мы пошли к моей знакомой Марье Андреевне. Множество раз в течение тринадцати лет, с тех пор как я первый раз попал в этот славный городок, мы снимали у нее угол. Увидев меня, она переменялась в лице и заспешила уведомить, что дом переполнен. Если бы не предварительная договоренность и не большая взаимовыгодная дружба с моими родителями, похоже, она оставила бы нас на улице. Квартира и правда была перегружена жильцами, меня кинули в компанию к какому-то мужику из Питера, Машу — на балкон, в общество мамы и ее великовозрастной дочки. <...>

Мы сидели на камнях, тесно обнявшись, будто греясь.

— Что же теперь мы будем делать? — спросил я, словно случилось такое, после чего требуются специальные объяснения.

— А ты как думаешь? — спросила в ответ Маша.

Это был наш брачный договор.

На следующее утро мы двинулись дальше — к грузинской границе.

Стоп на серпантине под южным солнцем, забытые машинами бензоколонки, где тормозились водители, и редкие несъедобные кафе — при других обстоятельствах это могло показаться геморроем. Но в распоряжении всегда было море, щедро брошенное на весь горизонт, как шикарная драпировка на нищей стене, рябившее и

манившее под незаходящим солнцем. Запах этого моря, горных сосен, акаций и случайных диких кипарисов, а еще Маша, мужественно бредущая рядом — кажется, и впервые был счастлив. Над этими морскими обрывами были похерены все мои любовные трагедии, казавшиеся незабываемыми.

Как бы медленно мы ни ехали, дожидаясь редких грузовиков или редкой любви частников, как бы ни жгло солнце, ничто не смело омрачить пути. <...> К вечеру мы были в Новом Афоне. На стене переговорного пункта нарисовали пацифик: пусть братья вспомнят своих, а враги скрипят зубами. «У поэта нет врагов», — сказал Бальмонт. Мы тоже предпочитали обходиться без врагов, однако для многих оказывались врагами, сами того не желая. Это было с очевидностью доказано в тот же вечер.

Знаменитые Новоафонские пещеры были уже закрыты. Мы прошли мимо монастыря, превращенного в санаторий, все выше в горы. Когда дошли до какой-то деревни, стало совсем темно. Тут нам попался местный парень, споро бегущий по улице. Без околичностей пригласил нас к себе. Назовем его Георгий.

Во дворе его дома вокруг уставленного яствами стола бурлил пир: к Георгию приехал его друг, недавно вернувшийся из Афганистана. Во главе стола сидели старики-родители и немногочисленные соседи.

Нас тоже усадили за стол. К немалому для хозяев сожалению, мы почти ничего не ели, то бишь мясо, и практически ничего не пили.

За столом тон задавал афганец. Он с упоением рассказывал про прелести и ужасы войны (прелести — это солдатская дружба и взаимовыручка, проверка себя в тяжелых условиях и растущее к себе уважение; ужасы — что твоих товарищей убивают). Я многое могу терпеть, но только не рассказы о «хорошей войне». Парень между тем поведал, как о приколе, что он лично поставил к стенке и расстрелял одиннадцать жителей захваченного ими кишлака, не разбирая, кто перед ним. Потом выяснилось, что среди расстрелянных оказался местный коммунист, единственный на весь кишлак, к тому же наш агент. За это его посадили на гауптвахту, но потом простили. Он говорил это совершенно спокойно, без капли сожаления: что ему там какой-то местный коммунист: чурка — он чурка и есть. Собравшиеся хранили почтительную немоту.

— По-моему, этим нечего хвастаться, — сказал я довольно тихо.

— Чем хвастаться?

— Тем, что ты рассказал.

— А я не хвастаюсь! Я говорю, как было. Я ни секунды об этом не жалею.

— Очень плохо.

— Что плохо?

— По-моему, дурно убивать людей.

— Людей? Они убивали моих товарищей!

— На войне всегда убивают, — сказал понимающе кто-то из гостей.

— Может быть, не стоило идти в Афганистан? — спросила Маша.

— Не нам решать, партия сказала, — мрачно изрекли аксакалы.

— Война — это, конечно, плохо, — сказала мать Георгия. — Но надо защищать родину.

— На нас никто не нападал, — уточнил я.

— Не нападал! Мы воевали, а ты здесь отсиживался. И еще указывать будешь! Ты в армии-то служил? — огрызнулся афганец. <...>

Я сказал, что не служил и не собираюсь: не хочу, чтобы из меня делали убийцу, и предпочел бы умереть сам, чем убивать других.

Это были азы нашего учения. Война, кровавая свалка может показаться нормальной только бездарным людям, которые не могут унять тоску своей обычной

жизни. Их культура, их духовный уровень не позволяют разрешить конфликт другим способом. Единственная реакция на возникающую проблему — агрессия. Им не знаком путь борения, напряженной войны с самим собой, покровительство очистительных идеалов. Война — это затянувшиеся каникулы (по Т. Манну), на которые люди отправляются с легким сердцем, потому что им «нечего терять». <...>

— А мы гибли из-за таких, как ты! — патетически изрек афганец.

— Я вас об этом не просил! — орал я в ответ. <...>

Праздник был испорчен. Нас отвели в отдельный домик, указали кровати, а напоследок попросили паспорта.

— Надо вызвать милицию, — бурлили в темном саду гортанные голоса. — Не выпускайте их. Пусть там разбираются, кто они такие!

Кажется, нас серьезно принимали за шпионов.

— Поздно уже, — отвечал хозяин дома. — Утром съезжу на мотоцикле.

Нас оставили одних, предупредив, чтобы мы и не пробовали сбежать. Аллюзии на Пушкина или Толстого нам в голову не приходили: было не до того. В окружающей наши постели темноте я вдруг почувствовал, что роль мужественного и пламенного пацифиста стерла последние разделяющие нас сантиметры. Это была первая ночь, которую мы с Машей, вполне в традиции «Make love, not war», провели в одной постели. <...>

Первое, что я услышал после проведенной с нею ночи, было:

— Ненавижу школьную форму! Почему нас заставляли ее носить?

— Ну, я думаю, для ясности. А то идет хлопец по улице, и непонятно — прогульщик он или нет, и нельзя отодрать за уши.

Маша думает о чем-то своем:

— В природе есть защитная окраска, а у нас наоборот — беззащитная...

<...> Некоторые выбирают работу, карьеру, а я придумал для себя странное дело, для которого не написано руководств (если не считать руководством всю мировую литературу)... Я обзавелся человеком, чтобы не нуждаться в человечестве, и обзавелся Идеей, взвинтив свою беспочвенность и фанатизм еще на несколько градусов. Именно теперь, вдвоем с Машей, я вдруг оказался *по ту сторону*, а весь мир со всей своей хренотой — по эту. <...>

Кувшин в песке

Утром у метро «Домодедовская» нужно сесть на автобус № 32 и двигаться в сторону того же Домодедова. Здесь мы выходим на трассу.

Я сразу понял, насколько удобнее ехать с женщиной: не успел поднять руку, нас уже подхватил грузовик.

На обочине огромный плакат, которым колхоз приветствует проезжающих: колхоз такой-то обязуется в нынешнем году сдать 100000 литров молока.

Для чего это сообщается? Мы что, поедем проверять? Или известие о таком немислаймом удое должно благотворно действовать на души всех российских путников, правдой или неправдой оказавшихся в здешних краях?

Машины без конца тормозили и проверяли — после постановления об усилении ответственности за нетрудовые доходы даже службу специальную придумали, в подмогу ГАИ и милиции. И развесили плакаты соответствующего содержания: «Водитель, возьми попутный груз!» Попутный груз — это мы с Машей.

Первая ночевка была под Тамбовом, в четырехстах километрах от дома, недалеко от автостоянки. В крошечной темноте мы ходили и выбирали себе место.

— Здесь слишком грязно, — брезгливо отвергала Маша все предложения.

И наконец я нашел что-то более-менее подходящее. Маша мрачно согласилась. Палатку мы просто расстелили, кинули сверху спальник и быстро уснули.

Утром обнаружили себя в центре огромной помойки. Водители уже гудели мотогорами.

Водители нам попадались не без прикола. Тот, что вез нас на КамАЗе от Тамбова до Волгограда, демонстрировал чудеса образованности. Объяснил, что «хотел познать все понемногу». Удивил и своим не слишком патриотичным настроением:

— Я другой такой страны не знаю! — звучало у него через слово по разным поводам: и борьба с нетрудовыми доходами, и, главное, антиалкогольная компания. Мы ему новые анекдоты: «От безалкогольной свадьбы к непорочному зачатию». Власть делала суетливые движения, чтобы остаться на плаву... <...>

В Волгограде у Маши случилась истерика. Жара, пыльный, до тошноты современный город, раскинутый на десятки километров вдоль Волги, какой-то апофеоз неуютности и бездушия — долбанул по усталым мозгам. <...> Маша со слезами швырнула мне сумку и сказала, что дальше не поедет. Ей хотелось пить, есть, отдохнуть, но, сколько мы ни шли, не попадалось ничего, где можно было бы сделать это хоть более-менее цивилизованно.

— Ты можешь таскаться сколько хочешь, — бросила она, — а я устала!

— Хорошо, — согласился я. — Сядем на поезд и вернемся в Москву!

И мы снова поехали через весь город вдоль Волги, ища выхода из этой западни, что зовется городом-героем Волгоградом. <...>

Хиппизм — это форма интеллектуального бродяжничества, нерелигиозного отшельничества и невруб в социальную конкретику. И чем значительнее духовные искания, тем этот невруб делается полнее. Хиппи — это герои О'Генри и Марка Твена, но рассуждающие о Боге и кладущие прик на войну, митинги и массовые шествия. Это бесспорное юродство, но юродство сознательное и гордое, не претендующее ни на сакральность, ни на снисхождение.

Они собираются на кухне и могут часами говорить о сути движения, шутить и играть в детские игры, могут не читать книг, ездят в гости и кафе без определенной цели, рассчитывая не провести время, но создать его: ведь время, потраченное на кропотливый труд, — потраченное время. Суетность претит им. Суетность — схватиться за меньшее, чтобы не тянуть большее. Иллюзия занятости, позволяющая человеку не смотреть на самого себя.

Они пьют чай и не заботятся о еде, они жуют хлеб и слушают музыку, и все время находят в ней что-нибудь новое, как все время находят что-нибудь новое в каждой своей незамысловатой минуте. Личности оригинальные, сильные, переполненные эмоциями и страстями. Они срываются с места и без денег едут в Улан-Удэ, в единственный в стране дассан, где, должно быть, живут люди, похожие на них. Они любят, пьют, стебают правительство и рассуждают о великом. В их скитальческой жизни нравственность корчится в любовном акте со свободой, и чтобы переварить этот невозможный синтез — нужна большая доза веселья.

Есть история про хиппаря, который вышел выбросить мусор — и исчез на два года. Недавно его видели в Одессе.

Есть история про хиппаря, который разносил почту раз в неделю, уверенный, что в газетах и журналах нет ничего, что не могло бы подождать.

Проехав чуть ли не тысячу километров за один день, что для стопа, вероятно, является рекордом, с одеревеневшими задницами и болью во всех местах мы сползли на астраханскую мостовую.

Ночевать мы решили в привокзальном садике в обществе цыган, которые были нам и прикрытием, и оправданием

<...> Астраханская тусовка началась для нас с Гоши (он же Игорь). Первый раз в этом городе к нам отнеслись хорошо. До этого был старик в автобусе, кричавший: *вы позорите моду!* В желании за это покарать он доходил буквально до расстрела. *Родина* из его инвективы эвфемистически выпала: возможно, он не желал признать в нас соотечественников.

Гоша рассказал, как им тут живется. Положение было узнаваемое: визиты участковых, арест за чтение «прав человека», переписанных из «Курьера ЮНЕСКО», четыре месяца без работы, креза. Еще самые первые, но страстные шаги в рок-музыке с отставанием на десять лет, но все тем же обязательным путем: «Led Zeppelin», «Pink Floyd», «Deep Purple». Тот же сленг, тот же хайк, тот же питерский «Сайгон», то же винтилово. Я еще раз понял главную вещь: волосатые везде одинаковы — в Москве, в Питере, в Ангарске, в Астрахани.

Это тип сознания: идеалистический, немного детский, живой, отзывчивый, весь на улице и в то же время склонный к глубокой внутренней работе. Это вкус, эстетически не приемлющий однообразия, пошлости, конформизма, жестокости и официозности. Они стихийные мыслители, но они делатели — в актах своего ежедневного протеста, просто в жизни — существовать как приятно и как хочется. Это голубоглазое противостояние, вылившееся в целую культуру. И она захватывает человека, словно малярия, и уже не отпускает годами. <...>

В ташкентском поезде едут сплошь восточные люди, и вовсе не разносят чая. У всех пассажиров свои железные чайники, свои пиалы и своя заварка. Они ходят к проводнику, столь же восточному, и заливают чайник кипятком. Выпросил у соседа немного зеленого чая и заварил его в железной кружке.

За окном застыла бесконечная серая пустыня, раскаленное марево в непрозрачном тусклом небе, не предвещающем дождя, но, может быть, предохраняющем от полной гибели. Поезд долго стоял на полустанке маленького городка Аральска. Где-то тут должно быть море. О его присутствии напоминают полужасыпанные песком рыбацьи баркасы. Вокруг на сколько хватает глаз — ровная пустыня. Лишь чайки в небе — примета моря.

Перед Ташкентом в вагон шмыгнул немой с грудой фотокарточек. Сунул мне тошнотворное порно. Увидев мою гримасу, послушно убрал порно в карман и тут же предложил православный календарь с Богоматерью на обложке. Соседкам — зодиаки, календари, портреты героев мультсериалов.

В Ташкенте было 45 градусов в тени. Это даже меня вогнало в ступор. Ничего ужаснее этой жары я ни до, ни после не испытывал. Мы двигались короткими перебежками от одной бочки с квасом до другой, в промежутках кидаясь под поливающие траву фонтанчики, — и так знакомились с достопримечательностями.

Увы, Ташкент был словно слизан с тех архитектурных проектов, что во множестве выдает мой бывший колледж, и, кроме чайханы, недавно сработанной на восточный лад, ничем не запомнился. <...>

Днем с боем сели в местную электричку. Окна или вовсе отсутствовали или были распахнуты настежь. Поездка напоминала эвакуацию: салон был плотно забит плохо одетыми людьми в халатах, с огромными тюками. Русской речи почти не слышно. Все были возбуждены и куда-то спешили. Кажется, они находились в мистической уверенности, что электрички ходят не по расписанию, а по милости богов, словно дождь.

Женщины в Самарканде одеты своеобразно: длинные цветастые платья, шелковые шаровары, цепочки с украшениями, иногда чадра или огромный платок вокруг головы.

Самарканд еще в значительной степени восточный город, пыльный, безводный, с глухими заборами, за которыми цветут сады и стоят белые домики с плоскими крышами, так что вся жизнь уместается в одной плоскости.

Зато местные книжные были девственно безлюдны и являли драгоценные рюкзачники. Купил пару томов «Махабхараты» издательства «Ылым», Есенина и, конечно, сборник таджикской поэзии, положивших начало книжному бремени, неизбежному во всех поездках в дальние концы дорогого отечества.

Мы долго ходили по старому городу, тратя время на мое упрямое желание все это зарисовать: как средневековый путешественник, я не знал фотоаппарата. Не лежала почему-то у меня к нему душа. Да и сложно все это: диафрагма, выдержка какая-то. Вместо этого меня долго учили рисовать, и делал я это довольно пропорно. Да и когда еще выпадет случай: мавзолей и мечеть Гур-Эмир, где находится могила Тимура, огромный, с голубым куполом, кристалл над низким городом, сияющий разноцветными орнаментами. <...>

Из Самарканда доехали до турбазы «Агалык», согласно наколке друзей. В переполненном автобусе кто-то сунул нам под ноги свой арбуз. Постепенно люди выходили, про арбуз никто не вспоминал. Ближе к конечной, когда в автобусе осталось всего несколько человек, мы уже считали его своим. Я сошел с ним подмышкой — решил обрадовать друзей. Мы еще не знали, что их на месте уже нет, и спешили мы напрасно. <...>

Утром на турбазе нам дали бесплатный же завтрак — восточная щедрость пошлам с восточным любопытством. Наше московское дворянство, наше неистребимое барство — наша прописка — вызывает зависть у подавляющего большинства жителей этой огромной колонии совдепа. В целях какого-то эксперимента их обделили даже в зависти: мечтать о единственном городе страны, режимном, перенаселенном, чумовом, где, по их мнению, только и существует жизнь, источаясь во все остальные концы империи. Одни алчут его оттого, что больше культуры, другие — что больше колбасы.

На ограде местного пионерлагеря красовалось: «Верит Родина в тебя, молодая смена». И нигде никогда я не видел обратного: чтобы что-то требовали от Родины, чтобы Родина была вынуждена оправдывать доверие. На всех лежит долг, даже на детях, но только не на Родине. Она безгрешна и свободна, как Бог!

Лагерь поднимался к утренней деятельности. После вступительной музыкальной части занудный голос стал назначать распорядок:

— Отрядам тщательно убрать постели! — И повторил для остротки: — Тщательно!

— Не покидать территории отряда до девяти тридцати пяти. До девяти тридцати пяти! — повторил он, изображая скверное эхо. <...>

На заборе, отделяющем детей от мира, намалеваны слова бессмертной песни, почему-то считающейся гимном идеального детства: «Пусть всегда будет мама...», но отчего-то на этот раз в вольной интерпретации, так что за словом «мама» шел не известный конец куплета, а странная инверсия: «Будет небо и я». Виновнику этой надписи, видимо, было лень писать, или не хватило забора, или его отвлекли иные проблемы, далекие от неба, ребенка и его мамы. <...>

Последние деревья — и цивилизация кончилась. Мы брели вдоль речки Агалык вверх в горы по однообразному раскаленному плато, постепенно превращающемуся в ущелье, почти лишенному растительности. Я нес здоровенный арбуз, перекачивая с руки на руку — раскаиваясь и в благотворительности, и в жадности. Ущелье постепенно сужается, но стоянки друзей нет как нет. Мы шли часа четыре и нашли поляну с кучкой деревьев, запрудой и островком, сильно напоминающие описанное друзьями место. Но и здесь было пусто. Я бросил рюкзак и пошел дальше. Через час ущелье совсем сжалось и стало много круче, пошли какие-то заросли кустов и деревьев. Еще чуть-чуть — и дошел бы до горных снегов. Впрочем, я повернул назад.

За мое отсутствие Маша обнаружила несомненные подтверждения, что стоянку мы выбрали правильно: в реке она нашла перочинный нож, в кустах под камнем сетку еще живого лука и чашку с дыркой наверху.

Слава богу, в магазине мы купили хлеб и килограмм серых макарон, так что не надо переться назад. Мы пожарили лук с макаронами, сварили чай, разрезали проклятый арбуз. Мы здесь одни и еще не готовы это осознать. Как-то все это нам иначе представлялось: в большой веселой компании, когда и пустыньность места и отсутствие развлечений не портят кайфа.

Уже в темноте я поставил палатку и по многолетней инерции накрыл ее целлофаном. Маша издевалась:

— Что ты делаешь! Мы же в Азии!

Но мне уже лень было снимать. И ночью мы проснулись оттого, что на палатку обрушился ливень. Потом я разговаривал с местным чабаном: ливня в это время года не припомнят и аксакалы.

Маша покачала головой:

— Это все из-за тебя. Тебя надо за деньги посылать в засушливые районы... <...>

Утром мы снова знакомимся с местностью, бродили по горам, голяком купались в маленьком озере, образовавшемся из запруженной речки. Я чуть-чуть рисую. Маша произносит готский стих: *dalath than atgangandin laistithethun assis iffag imma umions managos* («Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа») — приятно терпкий на свежем воздухе Тянь-Шаня.

По верху скатов нашего ущелья бродят овечьи стада под охраной чабанов. Мы не обращали на них внимания — загорали на расстеленном спальнике. <...>

— *Afterwards we could say — we were happy there,* — произносит Маша у меня за спиной.

Мы позволяем себе и еще большую разнузданность: просто занимаемся любовью, а потом купаемся в ручье. Мы серьезно вообразили себя на необитаемом острове.

И напрасно. Пока мы плескались в озере, к нам приблизился человек. Он что-то возмущенно кричит и машет палкой.

— Иды сюда, иды сюда! — вопит он, словно вызывает драться.

Я натянул плавки и подошел. Это был бедный, загоревший до черноты узбек в драном халате, с длинной плетью. Он дышит гневом:

— Почему голый?! Тут нельзя голый!

— Так здесь же нет никого.

— Как нет! Дети ходят с овцами, смотрят!.. Откуда вы? — наконец спрашивает он.

— Из Москвы.

— А, из Москвы... — его реакции моментально меняются. — Из Москвы... Тут тоже стояли недавно из Москвы.

— Это наши друзья. Мы собирались с ними встретиться.

— Да, они ушли несколько дней назад. Хорошие люди.

Мы познакомились, его звали Бекмурза. Он неспешно сел, мы предложили чай, он отказался, достал что-то из железной баночки и положил в рот. Нам отлично известно, что это популярное на востоке средство зовется «насвай» и имеет, вероятно, тот же эффект, что у индусов листья священного дерева бетель. Но местные темнят и на все расспросы ухмыляются. <...>

После всех скитаний по Самарканду мы попали на рынок. Это было нечто среднее между восточным базаром и обычным московским рынком, только больше фруктов и меньше порядку. Торгующие сидели у лотков и машин и зазывали с восточной экспрессивностью, хватая за руки. Килограмм помидоров —

12 копеек, огурцы — 14, картошка — 16, яблоки — 45. Ничего этого нам было не нужно. Купили дыню на рубль и съели. Вместо хлеба, который неожиданно оказался дорог.

На самаркандской почте я отправил посылку с книгами на свой московский адрес: ящик килограммов на пять. Но уже на следующей улице еще один «китоблар» (книжный), и скоро сумка опять распухла, как у охотника, увлеченного погоней за лучом на край света.

На автостанции не то стояло, не то жило убийственное количество людей. <...> Заняли очередь, посмотрели — и пошли на трассу.

Триста километров ехали весь день: каждый драйвер вез до своего колхоза. Поэтому столько же ехали, сколько сидели на обочине. И нигде не удалось посты. Зато под Навои на бензоколонке видели бассейн с чистой прозрачной водой, в котором плескались дети. В Узбекистане — парадокс — много воды, и ее не жалеют.

У водителей не принято курить. Тем более женщинам. Шоферы сосут свой «пасвай», который хранят в разнообразных железных коробочках на груди.

Возят только за деньги. Восточные люди дружелюбны, но и коварны, они не прочь на тебе нажиться. У нас вышло двенадцать рублей — за 270 километров. <...> Каждый колхоз считал обязательным воздавать славу КПСС, иметь памятник героям войны и эмблемы прочей советской ахинеи. Все аляповато и избито. Чем дальше от войны, тем выше памятники героям, чем хуже урожай хлопка, тем монументальнее лозунги и плакаты. <...>

Жара, машины грохочут мимо, Маша злится на то, что своими драными джинсами я слишком бросаюсь в глаза: местные то и дело подходят и спрашивают, забывая, куда шли, смеются и что-то советуют, совершенно бессмысленное, вроде того, где можно сесть на самолет, чтобы попасть в Москву. Отношение, как к диловинным зверям, за созерцание которых платят парой сердечных, ни к чему не обязывающих советов. И, как всюду на Востоке, удивительное географическое равнодушие: никто не ведал, куда ведет эта дорога и где искать иную.

В маленьком кишлаке подошел к женщине в шароварах.

— Это дорога на Бухару?

Она долго смотрела на меня и молчала. Я повторил вопрос.

— Откуда вы? — наконец заговорила она.

— Из Москвы. Так это дорога на Бухару?

— Куда?

— На Бухару?

Она смотрела на меня своими темными неподвижными глазами с таким изумлением, будто слышала это слово впервые.

— Не знаю.

Собственно, через этот кишлак проходила всего одна дорога. Женщина прожила на ней всю жизнь, так и не выяснив, куда она ведет! Может, это и называется мудростью? <...>

На железнодорожном вокзале бурлил обычный вялотекущий кошмар из-за билетов, сопровождающий мне в любом путешествии. <...> Восточные люди не знают понятия очередь. «Все первые», — комментирует женщина на автобусной остановке сквозь мелькание локтей и гвалт свалки. <...>

От нечего делать следили за битвой на стоянке такси, где машина с шашечками на глазах превращалась в общий вагон, в котором ехали аж восьмером. Но и такая езда есть счастье самых наглых и быстрых. Машина отъезжала с открытыми дверями, с торчащими из них ногами и руками — пытаюсь уйти от новых седоков, прыгающих в нее на ходу.

Нет, здесь не было вкуса жизни. Молчу про азиатов, но местные русские... Они терпели южную жару, как в другом случае терпели бы стужу. Никто не наслаждался, никто не нашел и не использовал эту жару и голубое небо в радость.

Поезд поутру напомнил движущийся склеп людей. Уже давно солнце, давно всюду жизнь, но настырный поезд несет вдаль бесчувственные тела темных узбеков, сверкающих голыми пятками, в оцепеневших, жалких, исполненных покорности поззах.

Городские, более живые, утомляли своим любопытством. Им все охота было знать, откуда добралась в их медвежий угол такая диковина, как я, кто оказал им честь посетить их захолустье, или кого захолустье одаривает честью принимать у себя? Они напоминали детей, и так же по-детски несерьезно относились к своей жизни и своей земле. Они ее плохо знали и, видимо, мало ею интересовались, принимая в «чистом» виде, как наследство от предков, хотя и с голословной любовью.

— Из *самой* Москвы? — то и дело переспрашивали они. Очень важно, чтобы из *самой*, а не, скажем, из пригорода или откуда-нибудь еще. Это значительно хуже: некоторые из них сами там служили в армии. Но если из *самой* Москвы, тогда уже *все можно*: иметь волосы мужику, ходить в мини-юбке и без бюстгалтера девушке. Можно быть *не таким*, можно быть самим собой. Тебя все равно будут уважать — ты же из *самой* Москвы! <...>

Зачем мы путешествуем, зачем мучаем себя?

Камню, натурально, все равно, на чем лежать. Его существование ничем не связано с окружающим. Живое же накрепко повязано со всем миром. Оно должно выяснить для себя границы реальности и понять, как далеко простирается мир, известный лишь по слухам.

Всякое путешествие — это имитация побега из тюрьмы. Отрезанные от остального мира, мы ищем улады в отыскании заповедников по углам родины. Всякое путешествие оптимистично, потому что свидетельствует о реальности и разнообразии вариантов жизни. Путешествие — это хорошо продуманная работа, где нет суеты, нет рутины, нет старых болевых точек, бередящих контуженую душу.

Иногда мне кажется, что я путешествую, сбиваю ноги, голодаю и таскаю железный рюкзак за спиной лишь для того, чтобы на весь остальной год завоевать себе право валяться на диване, читать, трепаться и гонять чай с приятелями, быстро, с соблюдением всех военных предосторожностей, преодолевая открытые пространства московских улиц. Не будь этого лета и этого рюкзака за спиной, отчаяние однажды убило бы нас. Но мы находим дорогу и бежим, а в бегущих труднее попасть. <...>

Шоферы на стоянке обсуждают сенсацию, услышанную кем-то по радио: бундовский летчик перемахнул границу и беспрепятственно сел в Москве на Красной площади. Власти ошизели от этой так легко удавшейся наглости. Если каждый неумный западный шалопаи будет так просто нарушать нашу исторически неприступную границу, то что же останется от железного занавеса и былых совдеповских ценностей? Бедный спортивный самолетик обвинили в нарушении суверенитета огромной страны, и виновных в допущении этого сняли: вплоть до министра обороны. Совдеп бушевал. От армии требовали усиленной бдительности и истребления расхлябанности и попустительства.

Драйверы посмеиваются: им в кайф, что военные обосрались.

Мой драйвер — оригинал: предположил, что немец сделал это просто на спор. <...>

Кто едет после работы домой, кто веселиться, я еду в поле, ловить новые колеса. Однажды Диогена спросили:

— Зачем ты поднимаешь руку, когда нет машин?

Приучаю себя к отказам, — ответил Диоген.

...Убрал постороннюю железяку с обочины, чтобы улучшить посадочную полосу. Но потенциальные попутные машины были укомплектованы бабами в кофтах и платочках. У такой консервативной публики благотворительность на дороге не в обычае.

Грузовиков нету — рабочий день кончился. Идут частники да тракторы. Частники — почему-то (или естественно) одни «запорожцы». А «запорожец» никогда не идет на свист. Эта машина преимущественно голодранцев с большими семьями. Поэтому они всегда доверху забиты барахлом и домочадцами, использующими машину в качестве ломовой телеги, куда сверх барахла палец не влезет, и оттого, с полным алиби, они могут красноречиво сокрушаться из-за стекла по поводу возможности взять на борт такого очаровательного попутчика, как я. <...>

В Мелитополе вписался без билета в маршрутный «икарус» — затерялся в хвосте среди чемоданов, забившись для страховки за вделанный здесь холодильник. Дело не в деньгах, которые у меня все же были, но ехать бесплатно — честь автостопщика. Можно ехать на чем угодно: машинах, автобусах, электричках, поездах, но главное — ехать бесплатно, на халяву. Именно тогда чувствуешь, что весь мир принадлежит тебе. Платя кому-то деньги, ты признаешь существование хозяев расстояний. Но единственный здесь хозяин — это ты. <...>

Исследование о кликухе (на трассе):

Словно при крещении или инициации, вступая в Систему, адепт получает новое имя, отказавшись от прежнего мирского. Бывают странные варианты: мы слышали о герле с кликухой Фататита, мы были знакомы с герлой с кликухой Бабушка Удава. Особенно везло иногородним — они получали прямо графские титулы: Наша Смоленский, Толик Гродненский, Макс Казанский.

Кликуха подчеркивает принадлежность к братству, и ее наличие ценится. Хиппарь без кликухи чувствует себя неполноценным. Кликуха как бы вмешивается в предопределенность паспортных данных. История начинается вновь. Важно, что кликуху всегда *дают*. Существует телега, как знаменитый Москалев решил *придумать* себе кликуху и стал требовать, чтобы все его звали Хеопс. И все стали его звать Хеопс-Твою-Мать. <...>

Я еду в Коктебель, нарочно говоря шоферам именно это старое название. Они понимают и везут. Так же по дороге в Питер я назвал говорил «Тверь».

Коктебель — сонное царство. Восемь вечера — и никого. Был соблазн: а не пойти ли мне в центр, посмотреть на курортную жизнь, поесть что-нибудь, отдохнуть после трех дней пути, послушать музон, наконец...

Центра я не нашел. Весь город состоял из нескольких улиц, и ни одна из них не вела к россыпям света и курортных радостей. Все было провинциально и убого, как в любом некурортном городе, сотню которых я оставил за собой на трассе.

В сонном царстве живут сонные люди. Живут как в доброе патриархальное время. Сидят по домам, смотрят телевизор, и больше им ни до чего нет дела. <...>

Полночи искал место для ночлега. Еще с вечера я как влюбленный обхаживал писательский Эдем. В воротах меня завернули. Недолго думая, перемахнул через стену: не знаю, чего я ожидал там найти. Нашел заросшие тропки, закрытые теннисные корты, светящиеся веранды, откуда раздавались голоса великих гениев земли русской. Редко, но попадались люди, испугано меня обходившие. Как и частники на дорогах, они тоже не любили посторонних, нарушающих их возвышенные думы. Вряд ли меня можно было принять за писателя, даже какого-нибудь нового направления. И я все ждал, что кто-нибудь вызовет охрану и меня спровадят куда надо — за незаконное проникновение на территорию. И как-то так получалось, что ни одного подходящего куста или навеса, где я мог бы, кинув спальник, вздремнуть, не рискуя

промокнуть или быть кем-нибудь найденным... Кажется, мною просто овладел стрем от усталости и голода.

В конце концов переночевал под пожарной лестницей какого-то служебного здания. Было темно и грязно, моросило, бродили сторожа или какие-то случайные люди. И я все ждал неприятностей: в Эдеме тщательно отслеживают чужих.

Чуть свет я продолжил изучение города.

Пионерский лагерь «Восход» на западной окраине Коктебеля. На воротах огромными буквами: «Добро пожаловать». Рядом с воротами табличка: «Прохода нет. Посторонним вход воспрещен». Ворота наглухо закрыты. <...>

Перед домом Волошина, который не терпел даже ограничительного столбика на пляже, глухая сетка и балюстрада. Вход строго по пропускам Союза писателей. Рядом закрытый пляж санатория «Голубой залив»: «Вход по курортным книжкам».

Огромная территория красиво располагается за глухим забором. Там растут кипарисы.

Да что кипарисы — целый горный массив Карадага закрыт для посещения. Опять обхожу заборы, ишу лазейки. Чувствую себя везде лишним и незванным. Чтобы жить здесь, все время приходится лезть через забор и подозрительно оглядываться, не собирается ли кто-нибудь схватить тебя за бэк. Все оприходовано и разграничено: это для отдыхающих, это для пионеров, это вообще никак. Просто человеку, который сам по себе, радостей не отпускается. Красота и удобства предоставляются в качестве награды и поощрения. Если ты имеешь кучу денег, то можешь уломать местного жителя, который на свой страх даст тебе кров, игнорируя штраф за нетрудовые доходы. Отдых на море — это тоже нетрудовой доход, если тебя не соизволили им наградить.

Если бы во времена Волошина или Пушкина было столько заборов — услышали бы мы когда-нибудь их голос с той стороны? На все эти «запрещено» хиппи лаконично отвечают: «Запрещено запрещать!». <...>

Смотритель шел мне навстречу и еще издали начал кричать, вероятно, предупреждая мое отступление. Я и не собирался бежать, продолжая нагло идти вперед — хоть немного выше к желанным горам. Поравнявшись, я лишь ответил на его тираду:

— Зачем вы знакомитесь на таком расстоянии?

Смотритель растерялся и захотел было завладеть моими документами, — но я не дал, чтобы не терять бессмысленно время:

— Разве вы милиция? Документы я показываю только милиционеру.

Тогда он повел меня на свой пост, дорогой пытаюсь внушить мне сознание огромности моего проступка. Я не внушился, и после нескольких моих реплик об абсурдности защищать красоту для людей — от людей же, он замолк, пообещав, что *там* разберутся. Главный техник заповедника несколько раз назвал меня потребителем и мое отношение — потребительским. <...>

В своем лице я изображаю так необходимый вам Запад. Его можно не признать в любом другом обличье, но его невозможно безошибочно не признать в моем.

А вы морщитесь и плюетесь, понимая Запад лишь как гору магнитофонов и дешевого шмотья.

Там, в Москве, казалось очевидным, что должность волосатого — украшение общества. Тонкий, изящный, с иконописным лицом и вьющимися по ветру волосами, трезвый, невозмутимый, спокойно хиляющий среди безумства с блаженной улыбкой освободившегося: он был уроком обществу в красоте и достоинстве, он был актером, играющим благородные роли...

Грязный, усталый, со свалившимися волосами, спрятанными под куртку, понуро бредущий в пыли по обочине, я, наверное, больше похож на опустившегося бродягу.

Стоп богат на встречи. Если вы хотите много узнать о нравах и о совдепе — отправляйтесь стопом без надежды на ночлег. <...>

А френды еще говорят, что не надо объяснять *им* про нашу жизнь. Они же даже не понимают, что такое человек на дороге. Они еще способны подвезти голосующего сельчанина, но что такое автостоп и кто этот человек с рюкзаком в попиленных джинсах, а то еще и с хаером — это они уже понять не могут и разевают рот, вместо того, чтобы жать на тормоз. <...>

Есть способ претерпевать трудности — смотреть на них как на прошедшие. Каждая секунда — это уже пережитая секунда, и то, что было трудно пять минут назад, — конечно и забыто. Ты знаешь, что завтра или через неделю будешь вспоминать произошедшее с тобой — без страха и обиды. Делай это прямо сейчас. Эта отстраненность становится хорошим наркозом, избавляющим от слишком острого наблюдения несчастий.

Когда я долго стою на дороге, после бесполезного крюка в пустое место, и никто не берет, и неизвестно, где я буду сегодня ночевать и что вообще со мной будет в ближайшее время, — я пользуюсь именно этим способом.

Кончается мой второй день в Крыму. Я вернулся в Коктебель, который, я думал, оставил навсегда, и заночевал в гостеприимном сарае художника. По пионерскому радио объявляется «двухминутная готовность всем отрядам к торжественной линейке». Повторили дважды для глухих. Что бы эта фраза значила? К чему эта профанация торжественности — чтобы люди не разучились подчиняться? <...>

На улице я пресекаю тухлые эмоции и открываю Керуака.

Американцы — удивительный народ, на который мы похожи как ночь на день. Их битники почти сразу после войны могли по приколу путешествовать по стране на своей машине, подобно тому, как мы путешествуем на чужих. Лишаясь же по своей безалаберности этой машины, они так же легко переходили на автостоп (они и ввели его в молодежный и идейный обиход), с тем немаловажным отличием, что всегда могли подменить уставшего водителя.

Мой драйвер из Запорожья тоже спросил меня: могу ли я сесть за руль? И я со стыдом признался, что не обучен этому навыку. Будь я этим моторизованным битником, такой проблемы бы не было. Проблема в другом: благополучный и сытый Аксенов уже пробовал подражать образцу и доказал лишь то, что не все их парадигмы хорошо на нас ложатся, выливаясь в амбициозную и ложную игру.

Их битники имели лишь два дела: пить кофе и дринчить. Даже трахались они редко, по причине нищеты и непрезентабельности. «Чай» у них употреблялся исключительно в значении «травя». А мы пьем чай и спичим. Хотя «чай» у нас значит «чай», а «травя» — «травя», пусть и не та, что растет под ногами. <...>

Читал на набережной, и случай свел с местной женской молодежью. Развязные и легкие на знакомство. Обозвали художником — видели, наверное, как я рисовал волошинский дом. Заставили взяться за карандаш и нарисовать портрет одной из них. Через них зафрендовал с бродившими следом грузинскими документалистами из Тбилиси. Ни те, ни другие не знают, кто такой Волошин, но с одним из грузин, Сандро, у нас получился интересный разговор о евреях, кино, музыке и молодежных течениях. <...>

...Вечером мое коктебельское настроение становится ярко отрицательным. Я — чужой на родине великого приколыщика и поэта Волошина, наивно воображив, что именно здесь я буду дома. <...>

В назначенный день на автобусе приезжают Маша с Кроликом. С подобающей скромностью веду их к своему жилью.

С ближайшей турбазы уже не первую ночь гремят «верные кастраты». Хочу понять сию притчу и обращаюсь к Маше, как к арбитру. Она напрягает слух, но

мой вариант отравил ей чистоту восприятия, и теперь она тоже слышит «кастров». Так я и остался с этой загадкой. (Позже я узнал, что настоящие слова песни: «верные, как стража». Тоже неплохо.)

Гуляя в окрестностях Коктебеля, встретили на исходе дня двух субъектов, валящихся на костре в эмалированной кружке суп из пакетика.

— Зачем же так мучиться? — сказал я. — У меня котелок есть.

Одного зовут Пес. Он из Питера и тоже ищет место, где найтаться. Другой — Коша, который вообще ни в одном городе не прописан. По налаженному способу «прописал» их рядом с собой. <...>

Коша, или Костя, или Параноик, известный в Питере, как Тихоня. Тусовщик с двенадцати лет — вместе со своими четырьмя братьями и сестрой. Детство с не вылезающей из больниц матерью, перманентно исчезающим отцом. Хайк, маковые и конопляные поля, на которых убили одного из братьев. Другой из-за тех же полей сел. Ну а Коша — крезак, первая статья. Таких я видел впервые, их и выпускать-то не должны, вечная койка. Хотя его, положим, и не выпускали. Человек без паспорта и шесть лет без работы. Без прописки и постоянного местожительства. Сам он из Ростова, но в основном живет в Питере у некоего Монаха. После девятого класса бросил школу и занялся скитальчеством и самообразованием. Много читает, немного знает английский. Торчал на всех видах кайфа, включая таблетки катерпина, что в пять раз сильнее черной. У него больная почка, много раз лежал в дурдомах общего и строгого режима. Азия, Владивосток, Мурманск — ареал странствий. Говорит неправильно, но информации воз.

Утром решили сматываться из дождливого, безводного, лишенного дров Крыма. Впятером поехали в Феодосию. Погода как на грех улучшилась. Побывали у Айвазовского и Грина. На одной из улиц нам попался паренек с легким намеком на хаер. Он кинулся к нам, как к родным, а потом повел к своим знакомым, супружеской «волосатой» чете. Его зовут Толиком. Друзей — Димой и Наташей. Они снимали старый одноэтажный дом с небольшим садом. <...> Выяснилось, что Наташа работает экскурсоводом в музее Волошина. Каждое утро она отправляется туда стопом. И она видела меня, когда я посещал волошинский дом. У нее нашлась подборка волошинских стихов: фотокарточки с какого-то тамиздата. Всю ночь я просидел на кухне, читал и переписывал кое-что в свою тетрадь, чтобы потом в тяжелую минуту твердить наизусть:

Край одиночества,
Земля молчания...
Сбылись пророчества,
Свершились чаянья.
Под синей схиною
Простерла даль
Неотвратимую
Печаль.

<...> Анжела появилась в нашей компании случайно. Она просто шла по дороге вдоль берега, где ее заметили Пес с Кошей и пригласили к нашему костру. Потом они целый час решали, кто будет спать с ней в палатке. Пес, как хозяин палатки, победил. К тому же более философичному Коше воздержание на свежем воздухе, очевидно, более к лицу.

Так она у нас и осталась. Она училась в Москве на философском факультете, родила дочь — и уехала скитаться в Крым.

Потом рядом с нами раскинул свою палатку экс-альпинист Женья из Баку, который теперь каждую ночь проводил у нашего костра. Следом появилось три сонных левых человека из Львова, у которых даже не было палатки. Они сбегали в город и вернулись спортивной трусцой, неся три пляжных лежака. Потом сделали тент из целлофана на ветвях дерева и поселились под ним.

Так укомплектовалась наша колония.

Главный хипповый принцип: не делать ничего, что вломает. Потому что если начать делать то, что вломает, то рано или поздно превратишь жизнь в лажу. И будешь, может быть, сидеть на мягком пуфике и даже с чувством выполненного долга — но ощущать себя несчастным.

Поэтому снова сталкиваюсь с тем, что рано или поздно начинает раздражать в любом волосатом коллективе. Прекрасные собеседники, умные и смелые люди — они слишком легкомысленно относятся к тому, откуда берется хавка, даже когда живут с другими волосатыми, а, скажем, не дома с родителями. При своей малой активности в пополнении продовольствия — они слишком много едят, притом не считаясь с остальными. Они засиживаются у костра, встречают рассвет и, естественно, хавают — так что на утро от еды остается лишь грязная кастрюля. Но они уже спят, и кто-то другой должен идти в город, пополнять запас хавки и воды. <...>

Прекрасный день для шпионов и перебежчиков: туман над морем, густой как молоко, и чуть ли не на вытянутую руку все начинает расплываться...

Мы решали вопрос: если мы все равно солим воду для риса, нельзя ли взять уже соленую из моря — тогда проблема воды была бы серьезно решена. Эксперимент над ограниченным количеством хавки был неутешителен: есть полученный продукт не смогли даже самые голодные.

— Take the борщ, — говорит Толик Феодосийский, приехавший нас навестить. Он юн, прост и весел и кажется человеком с абсолютно незамутненной кармой. Он дурачится как ребенок и легко изготавливает тусовке обед. Тут для нас всегда существует проблема: одни люди не умеют готовить, другие считают это для себя снудом, третьи считают западно готовить постоянно и на всех. <...>

Вечером у костра вспоминали забавные памятники совкового маразма. Алиса припомнила лозунг, увиденный, кажется, в Татарии: «Ленин тыг, Ленин дыг, Ленин тыг дыг дыг».

Маша вспомнила два родных столичных лозунга: «Советские люди — вечные строители коммунизма» и «Солдат — охраняй в бою родину, Мать твою».

Шуруп рассказал, что видел при въезде в Москву: «Москва — столица мира». И про то, что в районе Донбасса висел плакат: «Все коммунисты — в шахту». Пес, проезжая по Украине, узрел: «Ленин нам завещал: учиться, учиться и учиться. М. И. Брежнев». Я вспомнил рассказ Маркела, как на одной из веток московской электрички над покосившимся и полуразвалившимся сараем висел транспарант: «Простые советские люди повсюду творят чудеса». <...>

Мы с Псом совместно вспомнили любимые стихи:

Весна, хайратый торжество,
К Сайгону обновляет путь... и т. д.

<...> В принципе, я согласен с мнением об ущербности, непоэтичности и т. д. «волосатых» стихов. Поэзия в волосатом кругу имеет утилитарное значение, как частушка у народа. Такое же значение имеет и искусство. Никто не будет заявлять: я, блин, поэт, или: я, блин, художник (хотя, может быть, ему и дадут такую кликуху за минимальные заслуги) — ибо это нарушило бы равенство и взаимную ценность. Говоря «я, блин, поэт», ты как бы заявляешь, что для тебя есть идеи более важные,

чем хипповые. Что ты на самом деле сраный карьерист, думающий заявить о себе через творчество и, что хуже всего, не в волосатом кругу. При этом почти каждый хиппарь — поэт, музыкант, художник, часто в одном лице.

Если волосатые выражают себя в каком-либо жанре, то, принимая жанр, они не утруждают себя принимать и законы этого жанра. В их руках любой жанр становится чем-то другим, и они считают это нормальным.

Даже если «жанр» — *волосатость*. Здесь так же нет законов и догм. Поэтому наивно говорить волосатому, что ты, мол, волосатый, значит, должен ночевать в парадняке, а не вписываться на флэт. Это все равно что сказать птице: ты должна летать и не садиться на землю. Система — это возможность жить, не ангажируя себя ни на какой подвиг, ни на какой труд, ни на выполнение любой задачи, связанной с ограничениями и лишним бременем. У Системы нет теории и нет идеала: она принципиально свободна от идеалов и теорий. Система — это терапия необязательностью и жизнедеятельностью без цели и принуждения следовать каким-нибудь патентованным правилам.

София Синицкая

КОЛЕСО

С Витей Колесниковым, Колесом, я познакомилась в «Гастрите», который был в некотором роде сайгоновским кулуаром: когда на углу Владимирского и Невского становилось слишком тесно или в атмосфере чувствовалось напряжение, часть публики перемещалась на улицу Рубинштейна. Там, на широких мраморных подоконниках, было светло и привольно. Пахло бифштексом. Колесо, маленький хромец с неправильным, сразу и на всю жизнь запоминающимся лицом, попивал кофе — всегда в окружении знакомых, которые были рады поболтать с ним, несмотря на то, что он с каждого (кто был, конечно, при деньгах) взимал дань в размере от пяти до двадцати копеек. Витя довольно сильно заикался. Получалось: «Д-д-д-дай д-д-д-вадцать к-к-копеек».

Колесо был интеллигентным человеком со своеобразным чувством юмора, и многие «сайгонщики» любили с ним общаться. Он знал всех, и его все знали. Он был очень наблюдателен и отличался исключительной, можно сказать шпионской, памятью. Один его карий глаз внимательно смотрел на собеседника, а другой отслеживал все, что происходило по сторонам. Благодаря своей необычной внешности, Колесо очень преуспел как профессиональный нищий. Люди охотно подавали ему.

Кем он был на самом деле, я не знаю. Человек-загадка. У него, инвалида, была молодая жена Света и прелестная дочка Уля. Колесо называл ее своей падчерицей, однако растил с младенческого возраста. Удивительно, но в хорошеньком лице этой девочки явственно прослеживались Витины черты. Ну, как тут не вспомнить английскую сказочку про доброго слона Хортон, который высидел в яйце слоненка с крылышками.

Говорили, что порой Колесо надевал подрясник и просил милостыню на паперти или же, уловив нужный момент, заходил в церковь с блюдом для сбора пожертвований. Молящиеся охотно клали туда деньги, а Витя потом без малейших колебаний сыпал их в свой мешок или рассовывал по карманам — да и бывал таков.

Колесу очень подошла бы роль суперагента. Или старенького джедая, который всех мудрее и сильнее. Китайского немощного дедушки, который вдруг выпрямляет

огбенную спину, вытаскивает откуда-то меч и сражает врагов наповал. Его палка выглядела подозрительно.

Как-то в ходе общего разговора всплыло, что я немного играю на фортепьяно. Колесо это запомнил и однажды подкатился ко мне с неожиданным предложением — давать его дочке уроки музыки. Меня очень тронуло это проявление отцовской нежности, и я согласилась. Света стала привозить Улю ко мне домой. Мы разучивали какие-то несложные пьески. Представьте мое удивление, когда Витя с самым серьезным видом вдруг спросил, сколько он должен за эти уроки! Мне, конечно же, и в голову не приходило воспользоваться копейками ничего, и я ответила, что об оплате не может быть и речи. А потом однажды Колесо пригласил меня к себе в гости на улицу Крыленко, куда он переехал не так давно откуда-то из центра. В моем представлении новостройки никак не вязались с образом этого человека, который воспринимался как персонаж петербургской сказочной истории. Он был похож на домового. Казалось, что он живет в какой-нибудь полуподвальной комнате, или дворницкой, или в заброшенном доме, или на чердаке, откуда видны крыши и купола.

Окрестности метро «Дыбенко» — новые, страшные, негостеприимные. Дул ветер, шел дождь, было холодно. Я нашла нужный дом, поднялась на нужный этаж и совершенно неожиданно для себя очутилась в хорошей, уютной квартире. Там каждый предмет степенно повествовал о спокойной, довольной жизни хозяев. Диваны, столы, кресла и рыбки в аквариуме рассказывали, как любят друг друга родители, как хорошо живет их дочке. Все было устроено с большим вкусом — книги, цветы, картины, диковинные вещицы радовали глаз. Хозяин всего этого великолепия сидел на табуретке посреди кухни и чинно чистил картошку. Так-то, друзья мои. Вот вам и Колесо. Не подумайте, что это его «богатство» смутило меня, вовсе нет. Напротив — восхитило Витино стремление и умение сделать жизнь своих домочадцев хорошей. В моих глазах хромой побирушка Колесо — настоящий мужчина, и его своеобразный «подвиг нищенства» по крутизне ничуть не уступает приключениям агента 007.

А потом Уля приболела, в моей жизни произошли изменения, и мы перестали видеться. Витю я еще несколько раз встречала, но уже не в «Сайгоне», а в метро. Он просил милостыню, сидя на грязном полу, жалко поджав хромые ножки, его большие глаза печально глядели в разные стороны одновременно. И подавали ему без устали.

Потом я не видела Колесо почти пятнадцать лет. Ходили слухи, что он «жив — здоров и заведует мафией нищих у метро “Московская”». А недавно зашла к нему в гости. Все так же молодая Света показывала фотографии красотишки Ули, совсем не изменившийся Витя, прикованный к инвалидному креслу, однако не утративший ни капли своего обаяния, завел беседу о былых временах. Он — все тот же интересный собеседник, проникательный человек, каким и был всегда. Из нашего разговора мне больше всего запомнились три эпизода. Первый — это упоминание о матери, которая прошла всю войну и где-то (в Германии?) познакомилась с неким французом, возможно и ставшим Витиным отцом. Второй — воспоминание о том, как с маленьким братом Витя играл материнскими орденами, теряя их безвозвратно. Третий — подсчитывание последних переломов, кажется их было шесть. Кости у Вити чрезвычайно хрупки, ломаются быстро. Несколько раз несчастье случалось на лестнице, по которой нетрезвые мужики по доброте душевной пытались вынести Колесо из дома на улицу и благополучно вываливали из кресла, а также при переходе через проезжую часть, когда неопытный доброжелатель с разгона врезался инвалидной коляской в поребрик, вытряхивая Витю на тротуар. Как истинный суперагент, после пятого перелома

Колесо вышел из положения, придумав себе ремень безопасности, накрепко пристегивающий его к креслу.

Среди завсегдатаев кафе на углу Невского и Владимирского по известным причинам смертность была высокая. Витя похоронил уже пол-«Сайгона». Но сам он, безнадежно больной инвалид, производит впечатление очень сильного человека. Кажется даже, что и в кресло-то свое он присел на минутку — вот сейчас докурит и побежит за портвейном. Я не знаю, где черпает Колесо душевные силы, откуда берет начало его удивительное чувство юмора и способность к самоиронии, как он умудряется с легкостью и верой катить по жизни. Он регулярно совершает труднейшие путешествия с Крыленко на Карповку — к Иоанну Кронштадтскому. Человек на инвалидной коляске, отважившийся на подобные перемещения по городу, который живет по законам дикой природы, где слабым не место, — тут Бэтмен и Снайдермен отдыхают. Витя, спасибо за то, что ты есть, и дай тебе Бог здоровья.



После похода в расселенный дом.
Кирилл Миллер и Евгений Звонин



Боб Кошелюков. Фото В. Пешкова



29

Кирилл Миллер. Фото В. Пешкова



У картин Кощелохова на выставке в доме народного творчества.
Порт М. Мищолин, Афоничев, Боб Кощелохов и Кирилл Миллер. 1979 г.

*Сергей Курехин
у лавочки «Букинист»
на Литейном проспекте.
Фото В. Пешкова*



*Тимур Новиков, Сергей Курехин и Африка (Сергей Бутаев).
Фото В. Пешкова*



Сергей Роботовский.
Фото В. Пешкова



Наталья Пивоварова.
Фото В. Пешкова

Граф Орлов-Чесменский.
Фото В. Пешкова



Борис Раїскин у «Сайтона». Фото В. Пешкова



Владимир Волков. Фото В. Пешкова



Владимир Пешков.
Автопортрет



Владимир Рекшан. Фото В. Пешкова



Иннокентий Блатодатов.
Фото В. Пешкова



Александр Менус.
Фото В. Пешкова



Александр Башлачев. Квартирный концерт



Олег Гаркуша. Фото В. Пещкова



Людмила Колод (Терри)
и Дмитрий Каховский. 1985 г.



Сцена из спектакля по пьесе
Игоря Терентьева «Йордано Бруно».
Реж. Вадим Максимов. 1988 г.



Дмитрий Горошевский и Сергей Курехин. 1984 г.



Квартирная выставка
у Насти Долининой.
У стенда с работами
Васи (Сергея Васильева)
стоит Борис Трубников



Настя Долинина



Вася (Сергей Васильев)



Матильда. Итра виндеецев



Тянь-Шань. Борис Трубников

Энди (Андрей
Калинин).
Автопортрет.
1983 г.



Энди
(Андрей
Калинин)



Рима Шиник, Кэт, Алик Кировский (сейчас а. Антоний)
 Андрей Хаер, Вова Паурик. Псков. Май 1984 г.



Тарту. 1984 г. Фото сачи Ришелье



У «Сабутона». Любаша, Кэт, Виталик Оприkelло



При входе в «Сабутон». Фото В. Пешкова



Дурт. Андрей Колпак
и Шура Хабрасты

Флейтист.
Рус. Энди



Снова пролетел без
веса солнца 1983г
нам же все еще в
Индии, для нас все
уже застыло, мы
нам же снится
тогда и сейчас. Мы
мы и теперь из
Я думаю, что
мы и теперь
все равно.

Энди



Хиповский лагерь на Гауе



Дворик на Стрелянной улице.

*Кэт, Сольми, Барышня из Вильнюса, Фрэнк, сзади Кирилл Нарышкин.
Август 1984 г.*

АНТОЛОГИЯ «МАЛЕНЬКИЙ ДВОЙНОЙ»



Чашка из «Сайтона».
Из архива В. Ролинина

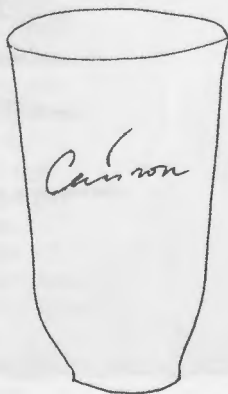
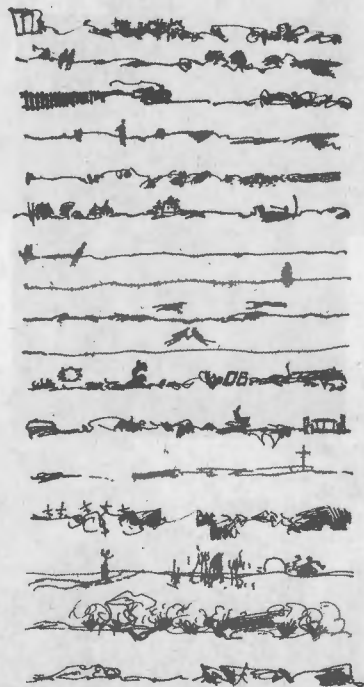


Рис. доктор Санжмятов

ИЗ ПОЭЗИИ
«МАЛОЙ САРОВОЙ»



Исторический памятник на берегу реки

ЮТ. 1967. 25 марта

ТАМАРА БУКОВСКАЯ

* * *

Пока ещё мы живы все,
пока в перемещении свободны,
пока сопутствуют Фонтанка и Обводный
течению речи, скорости бесед,
пока вольны мы, за руки держась,
минуя Пять углов, не ошибиться,
не заплутать, но дальше углубиться
в минувший век, ах, нам бы подождать
и не искать ни в чём прямого смысла...
Рука тепла и щёки горячи,
бездвижный воздух пьян и чуть горчит,
и ласточки на проводах повисли.
Прекраснее мгновенья не сыскать,
А лучше нам, нет, лучше нам не будет.
Всё, что вокруг, нас, пережив, забудет.
Останется мучительный оскал.

1976

* * *

Шутишь, балуешь или шалишь —
все затянуты в заговор этот:
сладкий дым петербургского лета
и Смоленского кладбища тишь.
Будь что будет! Пока догорит
над заливом белесое око,
тем и живы, что выйдет нам боком
всё, что каждый из нас говорит.
Что Эллада! Там Лесбос и Крит.
Мы — на острове неименитом,
позаброшенном, полузабытым,
над которым стервятник парит.
И в горячем дыханье болот,
в жадном чмокание белого ила
слёзы, кровь или праведный пот
ни цены не имеют, ни силы.
Только словом душа и жива,
Сладкой болью несказанной ласки.
Кто смолчал, тот и предал огласке
многообразие тонкого шва.
Шутишь, балуешь или шалишь —
все затянуты в заговор этот:
сладкий дым петербургского лета
и Смоленского кладбища тишь.

1980

* * *

В дикой злобе чухонских болот,
там, где клюква кровит и морошка,
гнус язвит и досадная мошка,
всех-то радостей — вяжущий рот,
несъедобный, невызревший плод,
оправдание жизни недолгой
тех, кто выморен был и оболган
или в яме живых нечистот
шевелился и думал — живёт.
Всех-то радостей — плод небывалый,
истекающий клюквенным, алым
соком прямо на наших глазах.
Где же публика с трепетным «ах!»?
Коль жива — с пораженьем в правах.
Всех-то радостей — плод небольшой,
Всё, что было и есть за душой.
Не словесности нашей обнова,
Но предсмертное, горькое слово,
Раскалённого олова след.
И не гордость отечества. Нет.

1980

* * *

Бог миловал меня, судьба меня хранила,
не за руку брала — сама за ней ходила
и всё в глаза пыталась заглянуть,
и заглянула б, если бы не муть
на небе севера перед большим пожаром.
Жить дуриком и помереть задаром
Ума не много надо — жёлтым паром
нечистого дыханья с перегаром
взойдёт твоя душа под облака.
Небесного, хмельного молока
алкала, бедная? Единого глотка
хватило. Корчись в муках, дура!
История, политика, культура...
Художника нелепая фигура —
она-то здесь при чём? Видать, взамен амура,
для радости, любви и перекура.
(Тоскуй по ней хоть камера-обскура,
хоть кто-нибудь, но не собачья свора!)

1980

БОРИС КОНСТРИКТОР*

* * *

Иду на работу, шатаясь,
с похмелья звенит голова, —
и словно гранаты взрываясь,
гремят, полыхая, слова.

Будильники бесятся в норах,
и скаются светом дома.
Чиновников пакостный ворох
в меха облачился — зима.

Шипит электрический ребус, —
не явь, и не смерть, и не сон:
во мраке блуждает троллейбус,
зеленый озябший дракон.

Над черною глянцевой бездной
как студень недвижимой реки
рассвет оглушительно трезвый
расправил свои плавники.

Троллейбус летит, сотрясаясь,
по длинным дрожащим мостам...
О господи, я задыхаюсь,
мне дурно, откройте! Сезам!

1976

* * *

На улице пыльное лето.
В душе поселилось Ничто.
Горящая мчится карета.
Японец. Безумец. Кокто.
Помоек отчаянный запах.
Младенцев разнузданный визг.
У девочки в розовых лапах
Покоится «Оливер Твист».

1976

В трамвае едет пролетарий,
спит просвещенный офицер,
шуршит газетою татарин,
алеет толстый пионер,
читает Драйзера девица,
и человек стоит с ружьем...

Проклятье! Мне опять приснился
Джордж Орвелл со своим зверьем.

1976—1977

АЛЕКСАНДР МИРОНОВ

Эскизы детства

Маленькая поэма

I

По улице, где каменеет жуть,
Я прохожу, и мой недолог путь.
Направо — сад, налево — сад, собор.
Чуть впереди домов нестройный хор,
Нестройный хор бессвязных темных строф,
Там за углом — еще полета шагов —
Стоит мой дом у детства на краю,
В нем комната, в которой я стою.
Вокруг меня стоит несносный смрад,
И я уйти оттуда был бы рад,
Но не могу... Стою, как в странном сне.
(А это ведь и впрямь приснилось мне).
Полночный город. Я миную сад,
И вот мой дом. И нет пути назад.
Я захворал, и в темных недрах сна
Привиделась мне яма без окна,
Как родинка на серой коже дня —
Та комната, в которой нет меня.

II

Здесь был когда-то графский туалет.
Теперь живет семья, и денег нет.
Есть маленькая печь, но мало дров,
И потому ребенок нездоров.
Да, денег нет (увы, страна бедна,

Уж восемь лет, как кончилась война.
 Убитых много. Некого сажать.
 И за три года надо сделать пять).
 Здесь нет цветов, и каждый день — свой бред.
 То расцветает ругани букет,
 То рваное пальто украл сосед,
 То слишком долго занят туалет,
 То чья-то смерть, то просто страх и хмарь.
 Водопровод гудит как пономарь,
 А рядом в кухне разговор идет:
 Там агитатор чай с соседкой пьет
 И в паузе за приказной строкой
 Колено жмет ей потною рукой.

III

На следующее утро — сполох, плач.
 Опять война? Да нет, издох палач,
 Китайский благодетель, демиург:
 Всех уморил и сам в могилу — юрк!
 О чем же плачут, о каком рожне?
 О том, что новизна еще страшней?
 («Знать, отравили все-таки... Беда...»)
 И погребальный гимн поет вода:
 Memento mori, коммунальный крот,
 Начни сначала, задом наперед.
 Подмочен хвост, забит землю рот.
 Как ни крутись, а все — наоборот.
 Не мучься и тебе придет черед,
 Создание нуклеиновых кислот.
 Копнешь туда — вода, сюда — вода,
 Все — из воды и снова — в Никуда.
 Сочти на пальцах, чем ты жив сейчас:
 Постель, жена, ребенок, страх, лабаз.

IV

Вот пентаграмма счастья: унитаза,
 Глазок соседа, страх, жена, лабаз.
 Наследственный пентакль — источник сил
 Ушедший гений миру подарил.
 То каменщика верная звезда:
 Пять стрелочек в Ничто и в Никуда.
 Распятая на пять сторон страна
 Блаженна и сама себе равна.
 Опять бредет по пустыни жена,
 Не то чтобы слепа или пьяна,
 Но памяти и рода лишена,
 Сама себе довольна и вольна.
 Зачем ей шить, вязать, рожать, варить?
 Ее призванье — чудеса творить.

То не жена, а благодать сама,
Своих слепцов бродячая тюрьма,
Глухонемых заговоривший рот:
Они молчат, она себе — поет.

V

Какой-то вздор! Куда меня несет?
Я начал с детства, хворостей, невзгод...
Да и вообще-то, кто меня просил?
С чего бы это я *заговорил*?
Ну, это ясно: я опять простыл,
А словоблудье требует не сил,
Не вдохновенья — хвори, забытья...
Опять пошел... Куда же это я?
Вот так пишу и сам себе дивлюсь.
Хотя бы вкус какой... Да что тут вкус?
Начнешь с печенья нежного на вкус,
А кончишь чем, как говорил француз?*

Вот так и я по правилу отцов
Поджег себя со всех пяти концов,
А после — тут уж ни при чем оне —
От слабости пять раз спустил во сне.
Так жирно кончить за какой-то час!
Но это, извините, не для Вас.

1978

Корабль дураков

Полно мне тужиться, тяжбу с собой заводить...
Славно плывем мы, и много ли нужно ума
в царстве Протея? и надо ли связывать нить
тонкого смысла с летейской волною письма?
Только бы музыкой, музыкой заморозить
муку-сестрицу, сварливую древнюю спесь.
В вальсе русалочьем скучно бедняжке кружить,
в серых зрачках ее желтая кроется месть.
Кличет Асклепия, просит флакончик вранья,
черной дуранды газетного хлебца чуть-чуть.
А за кормом то жизнь, то жена, то змея —
шопенианы бесцельной болтливая муть.
О, дурачье! Как случилось, что нам невдомек
кто мы, откуда, зачем мы плывем в пустоту?
Странные вести принес нам опять голубок
с вечно зеленой масляной неправдой во рту.

август 1976

* М. Пруст. «В поисках утраченного времени». Перевод А. Франковского. Примечание:
Пирожное и печенье на французском языке — тождественны. — *Прим. автора.*

* * *

Писать, закрыть глаза, писать,
писать, открыть, писать,
как кол на голове тесать,
себя за хвост кусать.
Мы строим писчий мавзолей,
шарообразный дом —
кто пишет кровью по земле,
кто попросту — пером.
Но всякий раз сводя на нет
письма и крови след,
грядет вослед с метлой за ним
незримый Аноним.
Он обрастает, словно дух,
костью, крылом, пером,
плоть человечья, ровно пух,
колышется на Нем.
Но вот Он распрямит крыла,
стряхнет земную рать,
и вновь губерния пошла
писать, кромсать, писать.
Какое длинное письмо
растет себе само!
Как бы из чресел эскимо —
попробуешь — дермо.
Какой огромный чемодан
вестей из дальних стран,
как расчлененка, как роман...
Читай, держи карман!
Между началом и концом,
меж Сыном и Отцом,
как будто исчезает суть —
не вся — чуть-чуть, чуть-чуть...
Апофатический намек,
хрящ мировых мощей,
соль бытия, письма предлог
и поясничный змей —
как ни зови — авторитет,
желанье, божество,
само дыхание... О, нет! —
условие его —
нет имени: пятно, пятно
на бледном полотне.
Творение растворено
в смесительном огне.

1981–1982

ВЛАДИМИР ЭРЛЬ

* * *

Л. Аронзону

Обмакнув в воду перья крыл
 лодка — раскинув весла — плыла —
 и казалось что кто-то — ее переплыл
 или это в озерной дали расползлись облака?
 или лодка — утопленник тихо поет
 о конце своем и начале?
 или это — замедлив свой небыстрый полет
 облака молча тени качали...

*Май 1965
 Москва*

Отношение к современнику

Если
 нечаянно столкнуть со стола стакан
 вместе с прилипшей к нему дохлой мухой
 то наверное нельзя рассчитать траекторию его падения

если
 плюнуть в сторону вытянутых ушей современника
 то можно ожидать происхождения
 какого да нибудь эффекта
 если не осязательного
 то хотя бы слухового или зрительного

если муха
 упавшая вместе со стаканом
 погибнет
 то есть если она была еще жива в момент нечаянного столкновения
 стакана
 тогда можно ожидать одно

а если нет
 то
 совсем другое

Февраль 1967

* * *

От прошедшего дня отрекаюсь простым безучастьем
 сумасшедшие птицы летят и летят в облаках
 причащаюсь сегодняшним днем и к огню наклоняюсь
 бормочу непонятные фразы и знаки черчу на песке

я не с вами — я сам по себе — я не тот фарисей безголосый
 я знамение увидел вчера меж мелькания волн
 чудотворные знаки словес оставляю к среде близлежащей
 и от вторника прочь — к ней навстречу спешу

погружаюсь в слова и меняю свой облик на тени
 бестелесный скольжу по поверхности бледных зеркал
 и простым безучастьем от прошедшего дня отрекаясь
 бормочу непонятные фразы и знаки черчу на песке.

Май 1969

* * *

Полуоткрытое окно
 за ним струится день
 смуглей огня ложится тень
 забытая давно

от слов которых нет уже
 и тех что я не знал —
 песчаный куст растет в душе
 подобием узла.

Но дождь и пестрая трава
 цветут в других словах
 и за углом поет трамвай
 о стклянных головах.

Июнь 1981

Неясность

С каждым годом все меньше людей остается
 в окрестностях рая
 исчезает надменность сменяется горечью память
 и в листаниях волн
 опускается гребень подъема
 опускается в память усталость границ.

Тишина
 оглянувшись вокруг мы увидим на пристальном взгляде
 незримые звуки
 чужеродных побед и побегов.

Среди волн
чернокрылые морды мелькают
рыб или птиц
или может быть просто животных.

Несвободно желание стать беспредельным
за пределы уйти
в ожидание пышных ветвей.

...мы цитируем все окружившее нас
мы гладим сквозь прозрачные миги мгновений
бледной тьмы на поверхности гладких зеркал
искривленных луной
поднимающих черные сучья
голые сучья деревьев на уровень глаз.

Забывать
остается забыть
остается сказать о внимании к мигу
слушаем трав перехлест
ощущаем движение ветров
наполняет желания наши нездешняя мука
с каждым годом все меньше
ей остается дозвездеть.

Это ошибка
мы забыли опять о значении памяти света
с беспокойными лицами мы
остаемся опять вспоминать.

Февраль 1973

В КРУГУ САЙГОНАВТОВ 1970-е



Иллюстрация Бориса Филиппова
к самиздатовскому сб. стихов Владимира Безродного



Госпиталь и казарма

Творению Руска

Два старых здания
У Ботанического сада
С низким и желтым фасадом.

Все просто и ясно
Без излишеств и шарма:
Госпиталь и казарма.

Свод потолка, окна
Там низко, здесь узко —
Архитектор Руска.

Поэтам

Поэты — всегда загадка мироздания,
Их не понять одним сознанием.
То легкомысленны, вплоть до нелепости,
То открывают тайны вечности.

Поэтам кафе «Сайгон»

Собратья по кофе и перу!
За то, что вы на свете есть,
Я вас теперь благодарю.

Психушки, ЛТП и лагеря.
Но не сломила дух судьба,
За правду вы боролись не зря.

И наступила перестройка.
В ее фундаменте и ваш кирпич
Добра и красоты постройки.

«О Владимире Безродном.
Встречаемся мы в «Сайтоне». Он:
«Рабаб я тебе прочитал стихи
о рабочих». Он работал тогда
инженером-обходчиком по контролю
за мостами. Идем, скажем, по мосту
Александра Невского или ещё по
какому-то мосту, и он читает мне
стихи. Он очень обижался, что его не
печатают. Левые его не печатали,
потому что не было явно выраженного
политического диссидентства, правые
(советские) не печатают, потому что
рабочие у него в стихах какие-то
странные, не похожие на советских»
(Боб Кошелюхов)

* Публикуется по самиздатовскому машинописному сб: Владимир Безродный. Эпика, юмор, сатира из нашего мира. Санкт-Петербург, 1991 (Поэты кафе «Сайгон» и журнала «Петербург». Т. 2).

ПЕТР БРАНДТ



Петр Брандт. 1974-75 гг.

Из цикла «Художники»

Посвящается В. Ольшанскому

Господь простит прегрешения,
Но не простит бесплодия
Рожденному в кровосмешении
Еврейско-цыганских мелодий.

В таком созвучии крови
Издrevле печатью таланта
Метились черные брови
И легкая стать музыканта.

И если испуганной птицей
Уносится жизнь в поднебесье,
Почему ж, не успев родиться,
На устах остывают песни?

1973

* * *

Посвящается К. Кузьминскому

Не правота, а только приближение,
 Напрасный пот, бесплодная страда,
 Бессмысленное жертвоприношение —
 Великая трагедия труда.

И никогда, ни ныне, ни в грядущем,
 Не прикоснется смертная рука
 К дымящемуся лезвию созвучий —
 Священному секрету языка.

1973

* * *

Посвящается Е. Захаровой

Понадобился пьяный балаган
 Для полугодового разгула,
 Чтобы меня весной, как на заклан,
 В трехкрылые мансарды потянуло

Быть с певчей стаей одного родства,
 Рукою высшего благоволенья
 Нести в себе приметы божества,
 Неведомую силу исцеленья.

1973

ВЛАДИМИР БУДАРАГИН

* * *

Рыболов тихонько дремлет,
 Где волна чуть слышно плещет
 О гранитные ступени.
 И лежат простые вещи
 Возле ног его. Он верит,
 Что для жизни что-то значит
 Тонкой лески натяжение,
 В воротник улыбку прячет,
 Наблюдая вод движение.

1978

* * *

Ветеран коммунальной квартиры,
Он на кухню бредет вдоль стены.
Козлоного соседи-сатиры
Корчат рожи ему со спины.

А в руке прокоптившийся чайник
Дребезжит о былых временах,
Очень разных и небеспечальных,
Но надеждами полных годах.

Коридор бесконечен и строен.
Он устал. Половица скрипит.
«Мы наш, мы новый мир построим...» —
Поют у кухонных у плит.

1978

Петропавловская крепость

Хребет моста
и чрева пустота —
В том видится
старинная картинка,
Где человек проглочен,
как песчинка,
По прихоти библейского кита.

Но дней продолжена
слепая суета,
И человек извергнут
вновь на берег...
Он на песке,
глазам своим не верит
И видит в небе знаменье креста.

1978

* * *

Одинокий стынет дом,
Предназначен к сносу...
Только кто-то за окном
Курит папиросу,

Только кто-то жизнь прожил
За его стенами,
И рука чуть-чуть дрожит
На оконной раме.

1984

Из цикла «Вариации»

1

Художник, словно птица,
Гнездо под крышей вьет,
В мансарде поселился,
Сухарики жует.

Насвистывает утром
Песенку без слов,
Живет себе, как будто
Парит меж облаков.

На мир взирая сверху
Немного свысока,
Он слышит только эхо
Фабричного гудка.

Он видит целый город,
Вмещенным на картон,
И отзвук разговоров
Снежком припорошен.

Улыбчивые люди
В том городе живут...
В мансарде ветер дует,
И окна — не на юг.

1985

ЕВГЕНИЙ ВЕНЗЕЛЬ

Эпиграмма на Виктора Топорова

Из-за длинной и белой ноги
С Топоровым мы стали враги;
Покороче будь эта нога,
Я бы в Вите не нажил врага.

* * *

есть в старых петербургских
квартирах едоки
картофеля и рыбы
печали и тоски

и словно гриф усталый
потертый как пятак
куда-то в угол смотрит
небритый Пастернак

а вот в ногах усталых
тяжелого стола
столпились бутылки
зеленого стекла

воинственных пирушек
вещественный итог
а завтра их потащат
за отческий порог

среди книжек — тощий Рильке
и очень толстый Блок
на выцветших обоях
цветет чертополох

в шкафу когда-то белом
вещам надежный сон.
На коврике горелом
потертый патефон.

Лет десять стонет голубь.
Но все пошло на слом.
Лишь водосточный желоб
темнеет над окном.

1968—1974



Евгений Венцель

* * *

Мне грустно. Снег поехал с крыши.
 Неряшливы и сны и дни.
 Февраль. Как хочется услышать
 немного юной болтовни.
 И я иду сквозь брачных
 и еще брачующихся пар
 ноги вытянув мрачно
 преградил мне дорогу бульвар
 там мальчики все румяны
 там девочки все бледны
 на углу мочится пьяный
 посередке раскрыв штаны.
 Это я знаменитая поза
 каждый жест мой как я непрост
 и погасшая папироса
 серым пеплом глядит на ост.

1960–1970-е

* * *

Моя супруга, будущий завлит,
 английский учит. Я хожу на пьянки.
 Ду ю спик инглиш? Милой англичанке
 что мне ответить? Верн, верн, литл.

Искьюз ми, медам. Волос реже стал,
 я хожу с погрузневшим лицом,
 и свое запиваю невежество
 самым скверным на свете винцом.

Но мне нравится, выпив «Особой»
 и рукой проведя по губе,
 с солипсической важною злобой
 показаться вечерней толпе.

Но мне нравится темная зрелость
 моих дней и моей хандры,
 загоняющая с бутылкой,
 как на хоры, в чужие дворы.

А забрался высоко, так слушай,
 как октавы забрав в пятерню,
 над двора присмирившего клушей
 голоса затевают возню.

Все под музыкой кажется старым.
 И, с любовью к дешевым сортам,

простодушным своим перегаром
не надышишь холодного time.

1972—1979

Прогулки

1

С бутылкой водки за семнадцать—восемнадцать,
с ногами стёртыми,
от четырёхлетнего
сиденья взаперти
отвыкшими ходить,
почти что оборванцем
и всех возможных маний ассорти,
мой город,
снова ввявь могу пойти
на мост Строителей,
вдоль всех строений Стрелки
и на Дворцовый мост,
прохожих обходя,
как Микоян из анекдота, —
меж струй дождя,
иль, наподобие летающей тарелки,
подрезать нос авто.
На небеса взглянуть,
девицу обозреть красы неповторимой,
на воробья не наступить,
замерить глазом путь
и воздуха хватить, затягиваясь «Примой».
В ближайшей подворотне открутив
иль вырвав пробку,
из манерки грамм сто хлебнуть,
добавить огоньку,
плеснуть бензина в топку,
бутылку сунуть в сумку.
И вперед.
На пандусе у здания Публички
хлебнуть, курнуть.
У Януса присесть,
на черепе его двойном
узрев наличье птички.
Двух девок оглядеть.
Взглянуть на небеса.
И снова закурить,
умело дёрнув спичкой.
Подъём и поворот.
А ноги тащат дальше
вперед.

Вперед, всему наперерез.
 Кто там перед тобой:
 хоть ангел будь, хоть бес,
 его обходишь ты,
 как дерево иль камень,
 спортивную походочкой твоей
 с раскачкой псевдоматросской.

Я улице большой кажусь загвоздкой.
 И мнение прохожее кипит:
 «Он педераст!», «Ему бы надо бабу!»,
 «Изображает что-то...»
 И вправду, что?

Хромающему это невдомек,
 И он летит с дежурной быстротою...

А новый город пуст.
 Ни юбки ни штанины нет знакомой,
 как ни черти по городу круги.
 Как тараканы, все засели дома,
 от социальной спрятавшись пурги.
 «Я занят».
 «Денег нет».
 «Нога болит».
 «Нет дома».
 «Зачем ты мне звонишь?».
 «Я думал: умер ты».
 «Я думала, что ты давно уехал».
 Но некоторые все же в долг дают.

Со мною ночью только комары,
 считающие кровь мою доступней,
 чем есть на самом деле. Я же,
 вооружась одним носком,
 доказываю этим кровопийцам,
 что ленинградцы не сдаются.

Лето 1997

2

Это другая прогулка.
 Это другой коленкор.
 И Ленинград, словно втулка,
 крутит на спицах простор.
 Уже пролаз сквозь затор
 скопившихся автомобилей.
 Не обойти без усилий
 ямы ремонтов и рвы.
 На Невском торчат из асфальта
 змеи без головы:

видимо, здесь поработал
русский царевич Иван.
Кафе.

Магазин.

Ресторан.

Ресторан.

Магазин.

Кафе.

Надстраивают мансарды.

Дворников апельсин.

Фуражки. Погоны. Кокарды.

Кафе.

Ресторан.

Магазин.

Магазин.

Ресторан.

Кафе.

Переместившийся Цельсий.

Автобуса редкий зверь.

Трамвая ржавые рельсы

встали в железную дверь,

чаще с трехзначным кодом.

Плывёт кабак с теплоходом

или теплоход с кабаком,

лампочками мигая,

оплаченный рай обещая.

Всё хорошо с табаком.

К примеру: на Сытном рынке

два десять за «Беломор».

Доступ к служебным уборным —
литературным и проч.

Девочки в черном.

Мальчики в чёрном.

Я просыпаюсь в три

и коротаю ночь.

Склонность к портвейну и водке

та же. Домов номерки.

Я, при известной походке,

к чёрту разнес башмаки.

Но выдержали ботинки,

при самом быстром ходу,

что стоили три четвертинки

в девяносто каком-то году.

Правда, каблук истерся

и прохудился бок.

Ветер вкуснее морса.

Без сахара кипятки.

Что же такое норма?

Деньги.

Тепло.
Штаны.
Наличие крова, корма,
родины и жены.

Осень 2000

* * *

И когда я стою у окна
с папиросой двое суток подряд,
проплывает моя сторона,
неуклюжая, как земснаряд.

Сколько глазу пространства ни кинь,
одолеет стяжательства дрожь:
сколько может, оно держит синь
забегаящих кругом роц,

держит крыши, столбы пустыря,
трубы фабрик и стену ТЭЦ,
колокольню монастыря
и тебя, мой спинной крестец,

держит шпалы, кучи угля,
стрелочника с мокрым флажком.
Может — это моя земля,
мой страннопримный дом.

Я книгу эту мало читал,
но страниц я в ней не слюнил.
Что досталось, тем и дышал,
чем дышалось, то и любил.

1999

ЮЛИЯ ВОЗНЕСЕНСКАЯ

Письмо поэту Ширали

Дорогой мой!
Не скучно ли Вам одному на вершине,
где ветер лишь Вас посещает и свищет
Вам что-то, не слышное нашим ушам или душам в долине?
Быть может, о вящей священной гибели Вашей он свищет
чуть слышно?
Но сущее наше страшнее и сушит бесшумно,
поверьте!

Дорогой мой!
 Не холодно ли Вам одному на вершине?
 Хватает ли хрусткого хвороста Вашим кострам?
 Не хворайте!
 Ни стону, ни хрипу
 не дойти, не скатится в долину с вершины,
 к тому же, как помнится, нет и дороги
 в долину с вершины.
 Вы знали об этом, когда поднимались,
 не правда ль?

Дорогой мой!
 Не тихо ли Вам одному на вершине?
 Вы, кажется, музыку очень любили —
 поёт ли ручей,
 солёный от капель горячих и горьких,
 ручей, что из норки пригорка ныряет,
 а после, срываясь с горы,
 рокошет и рыщет по рощам.
 Он к нам водопадам спадает
 и бьётся в припадке падучей о скалы,
 а после в оскале
 бетонной плотины.
 Он свет нам приносит.
 Мы пьём из него и стираем белишко.
 (Вчера я сынишке у берега вымыла ножки.
 Вода была красной от крови заката.
 Не Вашей ли?)

Дорогой мой!
 Не страшно ли Вам одному на вершине
 в безлюдье крошечном?..
 Конечно! Конечно!
 Конечно, не буду!
 Довольно.
 Прощайте!

P. S.
 Соседу молитву мою и привет передайте.
 А будет ответ — так пришлите.
 И, Господа ради,
 пишите, пишите, пишите!

Из книги «Письма друзьям»

Письмо поэтессе Алле М.

Что же, Алла... Давайте разделим слова и сыграем,
 как играли девчонками горсточкой бедных конфет.
 Как живётся Вам, Алла, без нашего слова, за краем
 ленинградских стихов, пересыпанных в белый конверт?

И живётся ли Вам?.. Что же, Алла, творится на свете:
ведь друзья уезжают, а любимые пьют на убой.
Почему нам теперь очень редко по-дружески светит
ответ лампы зелёной?.. А лучше всего — голубой...

Видно, месяц такой наступает у нас в Ленинграде,
что уюта на каждого — только дожить до утра.
У заветного друга был ключик квартирный украден,
у подруги — кольцо, а утра начинались с утрат.

Не утратить бы, Алла, старинную, светлую меру
наших дружеских связей. А дружба поверий полна:
каждый сам для себя выбирает единожды веру,
а потом уже нас выбирает по вере она.

Так сыграем же, Алла, старинным небьющимся словом,
переловим лучи и пропустим сквозь каждую грань.
Осторожней, дружок, со стеклянным неверным уловом!
Можно ранить словами себя — но другого не рань!

Так водилось меж нами, колдуньями и колдунами,
с деревянных времен и до самых железных времён.
Ах, какая дорога сейчас пролегла между нами,
ах, какие надгробья и сколько знакомых имён!

Поздно, Алла. Теперь от судьбы не укрыться.
Видно, очень нужна каждой плахе своя голова.
А могли бы прожить по-гусиному, возле корытца...
Только что уж поделаешь, Алла! Давайте сыграем в слова.

2

Константину Кузьминскому

А новый ворон —
он тоже старый,
а старый ворон
не крикнет даром.

Всю ночь кричали
так страшно птицы
и псы рычали
по всем границам.

Где песнь о Лоте,
ушедшем гордо?
Дружок, в полёте
держишь за горло,

Кровавым потом
плесни на площадь.

А слёзы — что там!
Слезами — проще.

А слёзы — градом,
по небу — клином
над Ленинградом
и дальше — мимо...



Юлия Вознесенская. 1970-е

ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВ

Эпиграмма на Николая Голя*

Гоголь без го-,
Щёголь без щё-...
Кто угадал, без чего он ещё?

* Прислано В. Л. Топоровым.

ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВ

Тризна

(историческая пьеса)

Отрывок*

Действующие лица:

Князь Игорь, великий киевский князь
 Ольга, великая княгиня, жена Игоря
 Некрас,
 Свенельд,
 Претич — киевские воеводы
 Рагислав,
 Гостомысл,
 Божгон,
 Бяндюк — киевские воины
 Князь Мал, древлянский князь
 Говор,
 Мох — сподвижники князя Мала
 Кыча
 Горевина, древлянская старуха
 Глед, сын Горевины, охотник
 Лада, древлянская девочка
 Ведьма
 Константин Багрянородный, византийский император
 Патриарх Полиевкт
 Полководец Главк, византийский военачальник
 Агафья, ключница Ольги

Древляне, древлянки, стражники, дружинники князя Игоря, воины князя Мала, греческие вельможи, священники, послы, телохранители царя Константина Багрянородного

Время действия: 945—955 годы

Место действия — Киев, Икоростень, Царьград.

Акт I

Сцена 5

Горница в княжеском тереме забита дружинниками

Первый дружинник

Великий русский князь погиб.

Бяндюк

Все сбылось.

Второй дружинник

Глумясь, убийцы выслали к нам сватов.

Третий дружинник
Послов принять не пожелала Ольга
Сидит одна, не веря в смерть супруга.

Б я н д ю к

По захолюстям смерть на князя лезла,
Как лезет рак полночный на огонь.

Четвертый дружинник
За князя смерть и смерть бойцов отборных
Дружина наша пред тобой в ответе.

Второй дружинник
Что с Русью будет?

Входит Ольга.

Пятый дружинник
Тише! Вот она.

Б я н д ю к
Чего молчать! Осиротели мы.
А разве баба нам заменит князя?!
Свенельд придет — к нему все подладимся.
Ее отец — незнатный хлебопашец,
Он в Пскове за сохой по пашне ходит.

Второй дружинник
Чего кричишь? Она охулку слышит.

Б я н д ю к
Пусть слышит. Никого я не боюсь.
Хлестал и князя правдой как крапивой.
Быстрей бы из лесов Свенельд вернулся б,
Все, как один, к нему бы отошли.

Первый дружинник
За нас решил.

Четвертый дружинник
Извольный человек. <...>

Шум за дверью, возня, крики. В помятом шлеме, в оборванной одежде, со свежими ранами на лице и теле, вырываясь из рук стражников, вбегает никем не узнаваемый Некрас.

Некрас
Пустите! Ну!..

Первый стражник
Нельзя.

Некрас

Ответишь мне!

Второй стражник

Не осуди, княгиня, сам прорвался.

Ольга

Ты кто?

Некрас

Не узнают...

Бяндюк

Некрас!

Некрас

А кто же?!

Второй дружинник

Живой!

Третий дружинник

Вернулся!

Четвертый дружинник

Братцы, чудеса!

Некрас пристально смотрит на Ольгу.

Ольга

Из свежих ран я слышу скрытый голос.

Молчи... молчи... Весть черная в зрачках...

(Ольга плачет)

Некрас

Покинул мир князь Рюрикович Игорь.

Я, чудом уцелевший, проклиная

Себя в душе, за то, что здесь стою.

(Плач Ольги)

Сорвавши с князя ценные одежды,

Связав его вошеной тетивой,

Толпа, сверкая дикими глазами,

Его, беспамятного, в лес густой умчала.

Я наблюдал из-за кустов малины,

Как сотня рук вязала несчастливца

Веревками к вершинам двух деревьев,

Дугой склоненных над лесной поляной.

(Плач Ольги)

На миг очнувшись, — смерти глянув в очи —

Князь зубы стиснул. — Так он стиснул зубы! —

Что врез глубокий в желваки пошел,

А сеть веревок травками распалась.

Освобожденный, он могучей дланью
 Схватил бердыш у оробевшей стражи
 И стал окрест себя рубить врагов.
 Но где там... Сколько б их не перебил он,
 Как в непашь дождь, в него воткнулись пики.
 Князь пал, руками обхвативши землю.

(Плач Ольги)

И мертвое, израненное тело
 Обвили снова крепкие веревки.
 Глаза слезятся, вспомнив гибель князя.
 Меж двух деревьев, свистнувших ужасно,
 Он дикой силой был в куски разорван.

(Вытирает рукавом глаза)

Второй дружинник

Наш князь погиб как воин и храбрец.

Четвертый дружинник

Мы как-никак причастны к этой смерти,
 Будь каждый близ него в древлянском стане
 Князь жить остался б.

Первый дружинник

О прости нам, Ольга.

Ольга

Ничто ему и мне уж не поможет.

Некрас

Древляне, вдруг постигнув смысл злодейства
 (Деревьев свист в ушах стоял у многих
 И лязг доспехов той жестокой сечи),
 Без сговора с ветвей останки сняли...
 Сложив их в кучу и накрыв плащом,
 Ушли в свой город. Древняя старуха
 Под старым дубом выкопала ямку,
 В ней схоронила славный прах вождя.

Ольга

Боль жгучая заполонила мир!
 Не выплакать вовек мне вдовье горе!

Некрас

Я без коня. Голодный, в ранах гнойных
 Насилу в Киев чрез леса добрался.

Ольга

Я ранена, а князь погиб. Погиб...
 От рук преступных бешеной оравы.

Бяндюк

Скорей Свенельд вернулся б из похода.

Ольга

Русь потеряла князя, я — супруга,
Откроет время, чья потеря горше.
Вдовой оставшись на руках с малюткой,
В седирах скрою вздохи, слезы, горе.

Бяндюк

Свенельд сумеет отомстить за князя.

Ольга

Настанет час — я отомщу похлеще.
Но разве мстью воскрешают мертвых?!
Кропя слезами чернозем могилы,
Увидишь вырастающие маки,
Но муж цветком не выйдет из земли,
Как мне тебя оплакать, мой супруг!
Что сотворить я для тебя сумею?
Страны славянской славный властелин,
Бесчисленных народов повелитель
Землей покрыт, и никогда не встанет!
Мой свет, ты, словом примирявший страны
И дань сбиравший у царей ромейских,
Лежишь в могиле душевно неподвижно.
Муж! Витязь! Ненаглядный мой супруг!..
Князь, добывавший дивные победы
И жизнь даривший недругам свирепым,
Уж никому нигде слов не проронит.
Все минуло. Где нынче что? Где слава?
Где мощь в боях? Где брачные одежды?
Где красота осанки в гуле пира?
Где золото и серебро подарков?
Где честь в боях и песни ратоборцев?!
Тебя меж нами никогда не будет.
Светило наше! Мы тебя лишились.
Над миром сочинилась беда —
Смешался князь с землей сырой и горькой!

Четвертый дружинник

Кто усмирит врагов у рубежей?

Второй дружинник

Кто преградит лихой вражде дороги!

Ольга

Великий князь, как мог в земле ты скрыться?!
Земные звери, раненные насмерть,
Влача по лебедь след дымной крови,
В тьме нор глубоких тихо умирают.
Ты не вернулся. Не вернулся в терем.
Стрижи несметной стаей дни и ночи
Над морем реют с гибелью в обнимку,

Чтоб гнезд родимых прутики потрогать.
 Муж не вернулся. Нет его здесь с нами!
 В озерной глуби, по студеным рекам
 Летят над илом карп, налим, севрюга,
 Мигая часто яркой бронзой жабер,
 Вдруг задыхаются, взбурлив течение,
 Мальков знакомых опознав среди тины.
 Муж не вернулся. Горестно в хоробах!
 Калека, четвертованный войной,
 Зализывая раны, в зной и вьюгу
 К жене ползет, живя на побирушках.
 Он не придет. Нет у меня супруга!
 Нет русских прядей. Нет бровей с изломом.
 Нет голоса, что холодком по телу!
 Под ветрами времен все уплываем,
 Все незаметно в мир иной уходим.
 Запрись в дупле — смерть все равно найдет:
 Дороги путано в небытие нас вводят.
 Осядет пыль — нас переест забвенье,
 Но вождь улыбочивый жив... Жив! Не погиб
 От топоров озлобленных безумцев.
 Стол княжеский оставив мне на горе,
 Передоверив мне свои заботы,
 Князь в души наши врублен навсегда!
 Русь! Тяготы твои я принимаю!
 Да сгинут ненавидящие власть!
 Да примут месть безумные древляне!

Б я н д ю к

Неужто будем подчиняться...

О л ь г а

Бабе!

Так говори! Я жду. Что ж ты умолк?
 Сказал ты правду — мой отец крестьянин,
 Работливо он за сохою ходит,
 Вбирая в грудь испарину земли.
 И что с того?

Б я н д ю к

Не будем подчиняться.

О л ь г а

Ты так решил? Посмотрим. Стража! Стража!
 Обезоружьте!.. Под запор в тюрьму.
 Дружину он присутствием поганит.
 <...>

Апрель — август 1966
 Ленинград

МИХАИЛ ЗАРАЙСКИЙ*



Михаил Зарайский. Фото В. Пешкова 1970-е
 «Михаил Зарайский — большой интеллект, мистик, ратажник абсолютный, которого никто не мог из «нормальных» людей выносить. Он сидел нищий, в состоянии крайнего опьянения или жажды таковой, печатал свои стихи, а тут кто-то позвонил в дверь. Он и подумал, что скорая помощь приехала отвезти его в психушку, свернул простыни и стал спускаться с шестого этажа по простыням — и сорвался». Татьяна Горичева. Из беседы с Юлией Валиевой

* * *

За столиком подруга мило
 Прошепелявила «трюизм»...
 И даже «космополитизм»
 с усмешкою проговорила.

* Публикуется по самиздатовскому машинописному сборнику: Михаил Зарайский. Петербургская лирика. Сост, ред. и комментатор В. Безродный. Санкт-Петербург, 1991 (Поэты кафе «Сайгон» и журнала «Петербург». Т.1). Тираж букинистический, подарочный — 20 шт. Цена договорная. Издатель — Общество любителей поэзии «Пегас».

А за стеной был вечный хаос:
Бежали, падали, стояли...
Друзья покорно расставались
И с нежностью великой лгали.

* * *

Я хочу о тебе, а пишу о другом...
О дожде, о крупинках зеленого цвета,
О крупинках любого другого предмета
И о том, что так тихо и пусто кругом,

Как таинственны старые особняки,
Как изломаны старые эти ветки,
Как легко от движенья моей руки
В твои руки слетаются капли-монетки.

А слова не слетаются. Расступается сад,
Расступается осень, как двери дворцовые,
Расступаются и за меня говорят
О тебе все слова невесомые.

* * *

Смешалось все. Порядка нет.
Вместо вина пью только воду,
Читаю всякий скучный бред,
Но чаще праздную свободу!

* * *

В холодной конуре порядка,
Как пес я деятельно спал.
Мне было весело и гадко,
Что я на цепь сюда попал.

Теперь гулять меня выводит
Моя подруга иногда.
Хотел бы лаять — песнь выходит,
Хотел бы плакать — никогда.

И все же грустно мне и странно,
Что с нею я, как прежде, пес...
Через столетия Татьяна
Пришла в онегинский мороз.

Любимая, забудем книги,
Напишем собственный роман,

Соавторство собачьей лиги
И женской участи татьян.

* * *

Сад никогда не умирает
В своих вечерних эмпиреях,
И бог премудрый точно знает
Число возлюбленных в аллеях.

* * *

Белый лебедь. Черный взгляд.
Все как двести лет назад.
Мрачная кора деревьев,
Баснописец, слон и лев.

А сивиллы и трояны
Также белы и румяны,
А чугунные решетки
Также тощи, как селедки...

Изменений вроде нет —
В центре сада — туалет...
.....
.....

* * *

Уснули деревья. Им так надоело,
Что кто-то на них налепляет записки:
«Куплю», «Продаю», — ну хоть чтоб по-английски,
А то все по-русски и так неумело.

Уснули киоски. Их всех стошнило;
Ах, эта газетно-журнальная жижа,
Замешанная на клочках Парижа,
Огрызках Нью-Йорка и выжимках Нила.

Уснула Вселенная. Звезды руками
Закрыли глаза свои, чтобы не видеть,
Как можно любить так и так ненавидеть
Под этими легкими облаками.

Уснули и мы. Боже мой! Так устало
Себя мы не чувствовали никогда.
И долго, и страстно скамейку вокзала
Ласкала курчавая моя борода.

На Владимирской площади торгуют и пьянствуют.
И в самом-то соборе ремонт.
И собаки мои не со мною все странствуют,
И раскрыт надо мной горизонт.

И глядит на меня, словно снайпер, окно,
Почерневшее с давних пор.
На Владимирской площади немудрено
Быть застреленным прямо в упор.

На Владимирской площади тишина.
Даже лужи и те молчат.
На Владимирской площади есть луна,
Есть и звезды, и озеро Чад.

Есть и море, и океан надежд,
Есть и зимний ее пейзаж.
Есть и люди в одеждах и без одежд.
Есть и верный поклонник — Сиваш.

ВИКТОР КРИВУЛИН

Круг восьмеричных строф*

Г. Л. К**

I

Неумение жить по-людски
я, быть может, поставлю в заслугу
отдаленному другу,
с кем делил и недели тоски
и минутную радость. По кругу
в Птолемеевых сферах, ни зги
вкруг себя не встречая, он мчится...
Ныне нету ему очевидца.

* Печатается по тексту, присланному О. Б. Кушлиной.

** Посвящено Григорию Леоновичу Ковалеву (1939—1999), ценителю и самому преданному слушателю ленинградской неофициальной поэзии. Слепой с детства, Ковалев обладал уникальной памятью, запоминая со слуха понравившиеся ему тексты. Соавтор К. К. Кузьминского в антологии «У Голубой Лагуны». Сохранилось несколько редакций, печатается по окончательному варианту чистовой машинописи с авторской правкой, где «россыпь точек» взамен вычеркнутых строк и строф — сознательный прием. — Прим. О. Б. Кушлиной.

II

Слава Богу, не спросит никто
цель движенья и знанье предела
у небесного тела.
Вот он мчится в ночи без пальто,
ни заботы не зная, ни дела,
словно миру невидим — зато
видя Землю с такой высоты,
что зрачки его мутно-пусты.



Виктор Кривулин. Нач. 1970-х

III

Так в младенческих бельмах плывет
в перевернутом виде, в невнятном,
в направленьи обратном
комковатых вещей хоровод,
появляются лица, подобные пятнам
облаков на поверхности вод, —
так отныне устроено зренье
у пропавшего друга,
фантома а пустыне забвенья.

IV

Иногда он звонит не в попад,
 как случаются звездные ночи
 среди пасмурных — прочих, —
 редко-редко, когда небосвод не горбат...
 Да и речь его россыпью точек,
 чуть светящихся, не аппарат
 телефонный доносит сознанию —
 разделивший нас холод и мрак расстоянья.

V

И вдвоем разделяя, стоим
 одиночество космоса. В трубке
 шорох теплится хрупкий,
 шопот слышен пустот, но двоим
 в разговоре тесно, словно винт мясорубки
 нас притиснул друг к другу — тогда говорим
 тихим сдавленным голосом — каждый...
 Что ни слово, оно повторяется дважды.

VI

Знать, земному зеркален простор,
 где он дышит вне зренья земного.
 Повторение слова —
 не случайное эхо — повтор
 и души, что к разлукам готова.
 Друг на друга мы смотрим в упор,
 сблизив лица настолько, что мрака
 на глазах пелена одинака.

VII

Вот свобода: друг другу спиной
 мы поставлены. Связаны туго,
 локоть к локтю. Разлука
 или встреча? Лежит предо мной
 половина лишь жизни, полкруга
 в поле зренья. Пред ним — половины другой
 простирается поле, какое не в силах
 и представить... Приникли — к затылку затылок.

VIII

Но тому, что связал нас, Тому,
 чей мы голос слышали оба
 наподобьи озноба,
 что в нетопленном долго дому
 сотрясает все тело, как скрытая злоба

друг га друга... Сквозит отчужденье всему,
как в нетопленном доме... Тому, кто услышан,
оба служим одним доказательством высшим.

IX

Подтверждения ждет ли от нас
в заболоченном озере ока
отражение Бога?
Расступается слабое темя, и глаз
глянул третий, запавший глубоко,
словно высохли слезы, и отблеск погас
очарованных звезд... Если друг мой прозреет —
.....

X

Рядом зритель незримый, со мной.
Смотрит зал, затемненный, безмолвный.
Равномерные волны
катит исподволь ночь на дневной
мир событий на сцене, наполнив
тайным смыслом слова, тишиной;
и объем нам дается в финале —
все друг другу простить, онемев от взаимной печали.

XI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

XII

Обратимся же вспять. Я начальной строки
слышу отзвук: Поставлю в заслугу
отдаленному другу
неумение жить по-людски,
потому что и сам обращаюсь по кругу,
от земного отдельному — и далеки
мне свои же слова, цепь огней... Но в зиянии пауз
необъятный раскроет объятия Хаос.

КОДА

Угасает анапест мой, гаснет. Смежаю ресницы.
Отлетающий голос под куполом храма, как птица,

с гулким каменным эхом хлопочет и плещет крылами.
Кто же в мире ответит ему, если пусто во храме?

октябрь 1970

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

Петербургская элегия

Е. Шварц

Послушно позёмку к Петру
несет под копыта коня.
На парусном влажном ветру
ты, может быть, встретишь меня.

Державе держать недосуг
летучего змея границ.
И остоны новых фелюг
с корсетами императриц

заманчиво схожи; прилип
к зеленому кубку с орлом
румяный детина; полип
чухонской зимы за окном

в Европу оскалился тут,
когда от радений хлыща
старушечьи букли бегут
с подушек, как мыши пища.

...Где возле ростральных стволов
на стрелке пустая скамья
и парусный ветер свинцов
— ты, может быть, встретишь меня.

1979

На отъезд друга

С Троицкого моста

Селезень на льдине в блещущей воде
розово-зеленой... пусто, как нигде.

Словно восемнадцатый на пороге век
и не расплодился тут русский человек.

Только справа — крепость с золотым огнем.
Только слева — *мёртвый* на Литейном дом,

да мошка чухонская спит во всех щелях.
...Ветер перламутровый в ледяных полях

проводит Дмитрия из родимых мест
от сорокалетних плакальщиц-невест.

Тост в марте

Сгусток перламутровый — солнца медуница.
Повезло Державину, что была Фелица!

Со шлафроком схожая старческая кожа.
Но какое творчество и какой вельможа!

Нежное атласное, всё тогда шуршало,
всё купалось в золоте или — трепетало.

Фейерверки, праздники, первые статейки...
Дух свободомыслия от прелюбодейки.

Дмитрий! Выпьем горькую за сию персону —
истина улыбчивей, если ближе к трону.

...За белужью позднюю мертвую денницу,
одописца-гения и императрицу!

Урок истории

Жизнь всегда с подвохом. Надёжней сон.
Это ясно видел любой масон,
что печаткой плющил сырой сургуч,
подражая абрису финских туч.

В позлащённый циркуль вплелась лоза.
Чёрный бархат туго стянул глаза.
Остриё рапиры. Мираж святынь.
Жухлой тушью писана та латынь!

Но всё чаще дамы шептали: ах!
— отдаваясь виду парижских плах.
Решено к Сенатской стянуть войска.
А в Сибири — лапу сосёт тоска.

Это были люди не нам чета.
Но сплетались в них на манер жгута,
как терновый путь и военный туш,
вера в Бога — с верой в кровавый душ.

Письмо

В этом городе, где у гранитных камней
задубела зернистая кожа
вдоль каналов, змеящихся меж пропилей
и палаццо чухонского дожа,
— я глядел на мерцающий воздух рябой,
овевающий маковки-митры
и еще не читал тебя, друг дорогой
и державинский рыцарь Дмитрий.

Да и ты ещё горькую не пил тогда
то расхристанно, то виновато.
Только дул на больную ладонь иногда,
навяв ожидая стигмата.
И топорщилось русло торосами льдин
у твоей бесприютной постели,
потому как осталось от прежних годин
столько горечи в жилистом теле!

От натянутых встреч — до сырых сигарет
без витийств петербургского слога —
этот путь мы проделали в несколько лет
и, кажись, припозднились немного.
...Вспомяни же, Дмитрий, когда океан
под тобою разверзнется вчуже
И внизу накренятся извилины стран —

как затягивал певчие горла аркан
над озёрной ахматовской стужей.

1979

КОНСТАНТИН КУЗЬМИНСКИЙ*

Из ауто-био и помимо

*...нет больше целого квартала на углу неевского и улицы восстания
Юля
(еменя от юлиш валиевой, 23 января 2008)*

...юлия

да я ещё в 66—67-м на экскурсиях в павловске резвился
у памятника князьям вюртембергским:

«...в войну испанская голубая дивизия развлекалась шмалая по памятнику немецким
князьям

* Тексты печатаются в авторской орфографии.



*Константин Кузьминский у себя дома на бульваре Профсоюзов.
1971 г.*

но не они отломали остатную руку и голову ангелу, не они исписали «коля и вася здесь были», не от них поставлена решётка

а нынешний главный архитектор города ходивший тогда в коротеньких штанишках и писавший похабщину на памятниках, а ныне — намеревающийся надстроить дома на невском в одну линию и превратить нижний этаж в сплошную витрину...» потом мне говорят: «у тебя в экскурсии замминистра культуры был!»

жаль, говорю, не знал: я б им тогда и не такого бы наговорил...

стало быть — лето 67-го, до того как я ушёл в петергоф, где и покруче нёс...

«в 1703 году, в результате победы над швещией, россия обрела наконец выход в открытое море, обрела окно в европу — которое не закрывалось 214 лет...»

какая-то грамотная тварь — сложила и подсчитала...

пришлось уйти

а в лавре...

а в алушке...

уточняя, писанным уже (но неопубликованным — ещё):

III

...пока, наконец, уже в 27, в павловске — не дошёл до почти поэмы аж... во-
дил я по парку группу каких-то директоров садов и парков (была какая-то
очередная халявная конференция), нёс, как всегда, почти антисоветчину:
о разрушении памятников старины, о малограмотных партийных хозяе-
вах города... а после экскурсии меня спрашивают: «а как там зам.министра
культуры, он у тебя в экскурсии был?» — ну, блин, не знал! — я ещё боль-
ше наговорил им. ... вот и воспоследовало:

Письмо к зам. министру о сущности культуры

О замминистра просвещения! Меня от ужаса знобит, но всё же не могу забыть рокового посещения.

В аллеях павловских весна, текут ручьи и бухнут почки... Я часто просыпаюсь ночью и думаю о Вас без сна.

Как гром оваций грохотал,
когда без Ваших указаний
я бушевал, как «Мукузани»,
и — воплощалась красота!

Кимвалы клёнов оголённых,
смычки сухие старых лип
с таким вниманьем стерегли
касания струн определённых.

Я пел, как бард, о бардаке
вокруг царящем, об искусстве,
я Вам передавал изустно —
что не решусь сказать в строке.

Я в страхе. Строки, удержитесь!
Мою ль печаль вам передать?
...Мне передачу передать
придёт Великий Утешитель.

Учитель мой! Прошли века —
опять на Север, в поселенья —
бредут в ознобе, в посиненьи
поэты, скульпторы, зэ-ка...

Закаюсь говорить об этом.
Я снова слышу стук — о чём?
Ведь в наши годы стукачом —
всё лучше быть, чем быть поэтом.

Заткни себе газетой рот,
закрой глаза, и осязаньем —
марксистско-ленинским сознанием
ты в члены попадёшь бюро.

Идут годá, стоит погóда,
от лозунгов в глазах темно —
*«и на душе моей тепло,
и на душе моей покойно»...*

Вот так, молчу, пишу не впрок,
мараю строки неустанно,
жую свой хлеб, но как ни странно —
меня не тянет лезть в бюро.

В аллеях павловских весна,
и, к поклоненью непригодна,
венцы и цепи рвёт природа.

...Я пробуждаюсь ото сна.

12.15.14.3.67

...но тогда ещё я хоть немного верил, быв воспитан на «сорок первом» лав-ренёва/чухрая, «диком сердце» арёма весёлого, «разговоре по душам» а. прокофьева (1929?), на левизне «красного дерева» пильняка, «андроне непутёвом» неверова — словом, на сплошной недо-«поднятой целине» недопонятого шолохова, да и друзья у меня были — либеральные партийцы или идеалисты: поэт и десантник лёнечка палей (хейфец), романтик и философ голофаст, незабываемая марго фролова...

журчал мой «родник», посвящённый нашей лит.маме, яркой защитнице подведшего её бродского (защищала — как человека, не как поэта) наташе грудининой (и, как сестрёнке — наденьке поляковой, тоже лит.няньке):

Родник

*...он стать великим захотел без помощи чужой
Н. Грудинина. «Ручеёк» (туркменская сказка)*

я шёл один с вершины городин
и вот — опять
струится под моей ногой
хрустальный водопад

он был рождён
во тьме снегов
из солнечных лучей
там был утёс
и бил с него
неистовый ручей

он холод воздуха вобрал
в распахнутую грудь
он свежесть нёс
над ним обвал
громадил грохот груд

он падал с дальних
синих гор
на плоский горб песков
родник — один
и он был горд
наигранной тоской

и пусть застыл
смердящий смерч

в тоскующих песках
родник пришёл
чтоб встретить смерть
которую искал

ручьи несли в долину ил
коричневей песков
а он принёс далёкий пыл
седеющих висков

ручьи мутили моря синь
мешали лести и честь
а он — великих гордый сын —
сверкнув, исчез

и памяти его уже
не встретите у дельт
он выбрал путь
удел ужей —
не сокола удел

не приносить ему дары
текут рекою лет
свинцовый свет аму-дарьи
и солнечный —
планет
1961 <?>

«а ты знаешь? — это лучше моего!» — сказала мне натаалья иосифовна грудинина (вдвое постарше) — «потому и принёс», — скромно ответил я...

«да, были лэди в наше время» — главой-почеркушкой из антологии, том 5Б (о поляковой, грудининой, ирэне сергеевой, марине рачко, наталье галкиной, тане галушко, лене кумпан, наташе карповой...; ... ахматовой там только не было)

и джэнтельмены — рыцарь и романтик лёнечка палей, покойный кэп-лагерник толя радугин, толя клещенко, лагерник же, ученик гитовича... отчего (вся эта романтика) и отпрыгнулось, годы спустя, в техасе:

Баллада о трупe комиссара

Другу и брату Лёне Палею

Съели портянки и кожу ремней
Дёсны жевали солёный репей
Солнце пустыни над миром взошло
Солнце по темечку било и жгло
Пули и порох в патронах горят
К морю в боях пробивался отряд
Ранен навывлет свинцом комиссар
И на глазах у бойцов угасал

Тро
ица

С.П.Б.-73.
АБЕЛКИН
К.КУЗЬМИНСКИЙ

«Наташа. Но ты ль? Но
та ли...»
К. Кузьминский

Аще не обращаете — ищите
Акулиеркой — крючком — крючком
И Кузьминский. Ирюкнет пятачком
Ибо — вондоушение нежданной
Ибо — восхлещение — но крыл? —
Зенделев побил волосоваты
Ване-анатема, на кровати
Канни Наталью нафрил
И шукает Витюшка Шатал —
Зубарев именованый енишки
А! по стенам ползают Сивирки
И АБ дохочет как шакал
Ибо — изумление крууды
Странноз изрубка ил. Занк-Конта
И зарыты в землю зоннокерки
Витюшек — аредоточие идеев
И обращет прошлое в платок
Белкии откупивший пуговину
Малодить техъ заполовину:

Песнь поющей сочинил. Платон.

Июль 18-го года 1913 от 2Х
18 Троицу

СНБ

ху есть ху?



Рукопись К. Кузьминского из архива Н. Казимировской

Слёзы скупые роняя на лоб
 Тело несли захоранивать чтоб
 Жарили в масле ружейном сапог
 Жертвуя светлой идее собой
 С боем на юг пробивался отряд
 Красные звёзды на шапках горят
 Тело уже подпускало душок
 Ни сухаря за солдатской душой
 Граждане! Скупое сказал командир
 Тело героя им не отдадим
 Нам остаётся неделя пути
 Надо покушать чтоб к цели дойти
 Плача и слёзы роняя в башлык
 Ели они сладковатый шашлык
 Пусть человечина не колбаса
 В *тело* отряда вошёл комиссар

Каспий и вобла, 20-х комса
 Славе героев не будет конца!
декабрь <?> 1977, Техас

Троица*

Аще не обрящете — ищите
 Акушеркой — курочкой — крючком
 И Кузьминский хрюкнет пятачком
 Ибо — воплощение исчадий
 Ибо — всплескание — но крыл?
 Генделев пошёл голосовать
 Алые знамёна на кровати
 Коими Наталию накрыл
 И шукает Витебска Шагал —
 Зубарев имеющий синяки
 А по стенкам ползают Синьяки
 И АБ хохочет как шакал
 Ибо — изумление грудей
 Странная игрушка из Гонк-Конга
 И зарыты в землю гоноккоки
 Витебск — средоточие идей
 И обрящете прошлое в платок
 Белкин откусивший пуповину
 Полюбить тебя наполовину:
 Песнь песней сочинил Платон.

* Это и следующее стихотворения печатаются по тексту, присланному Н. Казимиров-ской, с согласия Кузьминского.

* * *

Вторую неделю Наталья
Вторжение этих тел
Доюся я подобно тле
И капают мне на темя.

Вторую неделю тлю
В золу превращаюсь пеплом
И злое полное тело
Запачкает кровью клюв

Но волосы — их полив
Еврейские с крашениной
Гляжу на них с сокрушением
И очи твои — полны.

Мария? Наталья? Плоть
Набухнет сосцом фаллизма
Жуёт убогий философ
Засохших желаний плод
Но я объясняю цель
И цепки твои лобзання
Я сделаю обрезанье
И изменюсь в лице

На Витебске дремлет галл
В потенции будет Марком
Скрыто прошлое мраком
Но голову вземлет флаг

Ты — памятник. Память — я
Помять в руках эту глину
Склоняюсь подобно клёну
на коем висит мотня

Татьяна? Наталья? Ля
Вотще обычные слёзы
И перст который облизан
Сулит местечковый яд

Случилось. Смотри на часы
В часовенке мы поплачем
И купим билет с получки
Наталья! Слёзы сочи

Вторую неделю тлен
Воруя твои минуты
Путём погоды обманут
Наталья, земля во мгле.

Невинное еврейское дитя,
Наталья, но на ты я уповаю
Я плоть свою на деле убиваю
Браслетами чугунного дутья

Наталья играет на гитаре
Играют лядвен, играет грудь
Я нежно укушу ея икру
Солёный вкус почувствовав в гортани

Но врут ея еврейские глаза
Солёной крови солонее слёзы
Не Саломея — но слепое слово —
Гортань, переходящая в газель

Краснеют бёдра и краснеет грудь
Язык краснеет и слова кромсает
Когда за волосами ад кромешный
Я слушаю невинную игру

Огонь — в нагих Наталии ногах
В её ночах, в её очах закахших
Горящих ярким пламенем зачатъя
В её холмах, равнинах и горах.

БОРИС КУПРИЯНОВ

Из книги «Мечта и молитва»
(1975)

* * *

Горел ли когда под Полтавою швед?
Нам пламени знать не дано.
Угрюмые рюмки, корявый букет,
Дешёвое слишком вино.
На севере так, а на западе нет.
На севере город стоит.
Там стуки давно позабытых карет,
И некто на лавочке спит.

Новогодняя песня

Шлейф високосного растаял в облаках.
Серебряная ртуть покрыта мутной грязью.

Пусть незабывтый год, как сумасшедший смех,
Звенит в ушах и вдохновеньем дразнит.

Судьба насобирала столько звезд
И столько на ветру гасила свечек,
Что не осталось за душою мест,
В которых мог бы хохотать кузнецик.

Но смейся, пой и говори слова,
Взволнованные красотой двуличья!
Так на войне за год давали два,
А сколько нам дадут за годы птичьи?

Пой, человек: изменчива цена
Всему, что есть, но остаётся слово.
Да здравствует святая старина
И семьдесят четвёртая обнова!



Признание в любви

Если сердце заслушает, не забываясь, означает
Речь громадного мастера яда в рассыпанных искрах стыда,
Обязательно тут же сидящая дева заплачет,
Зарыдает двуликого Януса та половина и та.

О двуликий, учи мастерство преступленью.
Золотая середина, вырождая святош по любви,
Не годится творящему, любящему для уменья
Выживать, но учивший летать обязательно скажет: плыви.

Янус, что за вопросы? Зачем ты колеблешь ребёнка?
Дева держится вся из последних, надуманных сил.
Мастер, перемените пластинку, рифмуйте поближе — в колонку.
Боже, кто ж это нас до такой сложности упростил?

Я и сам как в гостях, и домашнего слова не слышал.
Вивисекция рано отпущенных жизнью грехов.
Мастер, не обижайтесь! Мы встретимся с вами на крыше.
Что мы, собственно, можем, когда не читаем стихов.

Янус, я для читателя перепишу отходную.
Посмотрите, какая в тенётах моих красота.
Я хотел написать, что любовь иногда именуют...
Только как именуют — уже отлетело с листа.

Каждой твари по паре. Читатель, следи за изменой:
У возлюбленной лютня, у мастера тёмный флакон.
Дева больше не плачет. Я ей положил на колено
Завалившее яблоко и выхожу на балкон.

Если сердце заслушает, не забываясь, означает...
Только чуть отдышусь, по стаканчику щёлкнем ещё.
День как будто бы прожит. Двуликий нас не особоачит.
Мастер древнего яда зелёным укроет плащом.

У возлюбленной сад задыхается в пьяном угаре.
У меня под крылом прошлогодня лютня молчит.
Я хотел написать: кто же сердце мое отоварит
В перевёрнутой Богом за что неизвестно ночи?

Гектор и Андромаха

Чем темнее, тем тише. Улыбка мерцает, как птица.
Поцелован и позван к столу, и замечен.
Слышишь шорох толпы? Скоро звон колесницы,
Скоро наши объятия и свечи.

По глотку, по смиренью, по робости с болью,
По мертвящему чувству обиды,

По стечению всех обстоятельств с любовью,
По лицу, повидавшему виды.

По всему, что зовётся реальным и внятным,
Что назваться умеет без страха,
Я хочу промолчать и кивком непонятым
Попрощаться. Молчи, Андромаха.

Гектор выслушал жёсткость и нежность пустыни,
Даже вглядывался в мерцанье.
Он послушен, спокоен и страшен отныне,
Потому что умрёт, как названье.

А на самом-то деле мечта и молитва
Розовела за дальней за далью
Не с копьём, говорю, мол... не с копьём, — говорит, мол, —
А с песчинкой, попавшей в сандалию.

Происходит: лежим, не шелохнется днище,
Дорогая метнулась, как лебедь...
Мы заснём в наготы, в простоте! И почище,
Чем звезда со звездою на небе.

Песнь Одиссея спутника

О. О.

Харибда... Сцилла... Фиговый листок
Давно не парус. Одиссей привязан.
Я рядовая тварь — играю назубок:
О, если б это небо стало вязом!

Чтобы ни звезд, ни дождика, ни зги,
Ни звука позвоночника на сломе,
Чтоб под глазами синие круги
После попойки в деревянном доме.

Харибда. Сцилла. Чёрная вода!
Краплёная небесная колода.
Кто выдумал, чтоб жизнь была беда,
А самой страшною бедой была свобода?

Свободен сорок раз прозревший зверь
И сорок раз прозреть готовый!
Я рядовая тварь — вчера, потом, теперь
Для всех и вся смотревший сон не новый.

Портрет

А. Г.

Вдохновенные крючья сжигаемый воздух сожрёт.
Кисло-сладкое чудо просохнет, художник вернётся,
Что останется? Серое скопище нот
Надо всем черно-белым сквозь листву золотую смеётся.

Где ты саблю свою обронил, молодой человек?
До чего же земля для твоей перспективы поката!
Копьецо голубое, серебряный взгляд из-под век!
Всё святое попрянуло в страшную сумку солдата.

Я хочу обнадёжить, сослаться на зоркость и злость,
Поступиться предельными знаками друга и брата.
Я хочу, чтобы младость окутала гневную кость,
Чтобы вымерли тени в углу твоего медсанбата.

Но гравюра наколота, зверь в удалении дрожит,
Моментальная дама хохочет, и плачет стрекозка.
Почему я не чайник? Не вечно обманчивый жид?
Почему я не та из листвы световая полоска?

Престарелые тайны листаешь... пластинки листок!
На подкрашенном темени красная птичка уселась.
Скоро выгорит запад. У нас догорает восток.
Никуда не годится моя живописная смелость.

Мертвецы захоронят своих мертвецов без стыда!
Уголовная жизнь полностью окажется медной.
Посмотри, как стремится, как плачет морская вода —
Отплываем и мы этой светлой водою бесследной.

Упражнения в смехе

Украденного сердца ли земля?
Приходят семь и говорят: мы с вами,
Мы для того и созданы, что сами
Решим куда, зачем, почто и для...

Для Князя тьмы заброшенная жажда
И милосердие без великих дел —
Вторичность, пропитавшаяся дважды
Целебной грязью бешеных плевел.
Зерно уносит жаждущая птица.
Для Князя тьмы есть пустошь и весло,
Которое летит, поёт и снится
Всем тем, кому ни разу не везло.

Ты населял и пустоту, и камень,
И свет переживался пустотой —
Поэтому ты смотришь под ногами:
Семь беглых бесов говорят с тобой.
Проиграна татарская ухмылка.
Белеет скатерть на ночном балу.
А на картине голубая вилка,
Как женщина, зовущая в пылу.

Всё соткано из полупустозвонства
И всё гордится сотканностью всех,
И если нам не полюбить пространства,
То только потому, что душит смех.
Горячий смех обугленного слова
Над выщербленной памятью лица
Нас озаряет и смиряет снова
Во имя Духа, Сына и Отца.

МАРИЯ ЛАНИНА

* * *

Пространно-пасмурно
Колонна восставала
Из площади, как палец в потолок;
Пространно-пасмурно
Столица остывала.
Готовился еще один пролог
К тягучим месяцам безвременья-безделья,
Перемежающимся изредка постелью.

8 ноября 1972

* * *

День начинался в пятницу. В субботу
Был ветер и крещение на дворе.
В саду сломались ветки и упали,
А в понедельник был такой мороз,
Что подобрать их было невозможно.
Во вторник, руку протянув
И вычеркнув из памяти полгода,
Я говорила: «Я Вас не люблю»,
Мне отвечали: «Я Вас тоже».

* * *

Был день. Он долго так тянулся,
Что были все утомлены
Привычным ритуалом проживания

И удивлялись бесконечности его —
 Не смея от нее освободиться,
 Руками разводили, говоря:
 «Как время мчится, вот уже и вечер».

7 августа 1976

БОРИС ЛИХТЕНФЕЛЬД

Блаженной памяти московского храма Христа Спасителя

Перекипел, Москва, твой самовар
 И разорвался, окропив застолье
 Горячей кровью. Двести лет татар
 Тот год вместил бы... Но прошёл угар —
 И снова слышен зов на богомолье,
 Клич (глас осьмый): спастись и спастись!
 Гостеприимная — ни дать ни взять —
 Как тёща, знаменитая блинами
 И болтовнёй, на пряном фирмиаме
 Настоянной. Промеж её сынами
 Неблагодарный затесался зять.

Сидит угрюм, ни слова не проронит,
 И ни одно из полчища словес,
 Пылящего беспечно до небес,
 Его глухого сердца не затронет,
 Неуязвим, как призрак или бес.
 Опушен долу взор. Душа — потёмки.
 На дне её — усопшая звезда.
 И прошлого священные обломки
 Дают урок ей — не свивать гнезда.
 О вас ли думать, жалкие потомки?..

Красней, Москва, припёртая к стене!
 ...Как на духу, за чаем точат лясы:
 Земля в тряпье... Всевышний на Луне...
 Та восемь лет не потребляла мяса,
 Тот, кабы не Христос, утоп в вине
 (Что было б лучше, ибо на свободу
 Не всем есть выход из тюрьмы греха).
 Вот так вино пресуществляют в воду
 И третьего не слышат петуха!..

Всё чуждо мне... Играю под сурдинку,
 Судить не смею. Прячу боль и стыд.
 Один, один... — я лепечу навзрыд
 И, проходя сквозь тихую Ордынку,
 Вдруг замечаю, что душа парит...

Клуби, Москва, в кругу своём семейном
Открытых душ любвеобильный пар!
Скорби, Москва, склоняясь над бассейном,
Где прежде клокотал твой самовар!

1980

Кафедральная ода

Каждый, кто призван Словом и к Истине приговорён
Здесь, в средоточии неотмирной тоски по России,
Над Невой цепenea — над мутным потоком времён —
Тем только дышит: стяжать благодатный дар парресии.
Так вот Зиждитель святилища медлит с разбором лесов,
Сокровенный замысел опоясывает колоннадой,
Где важны лишь зияния, межсловесный безмолвия зов
К алтарю заповедному неизъяснимой прохладой.
Высокою мышцей днесь вострубил Иерихон,
Испытанию верность подверг своего ополченца:
Пасть под стеной обречённый — да будет к бесславию готов!
ХРАМ МОЙ ХРАМ МОЛИТВЫ НАРЕЧЕТСЯ

Мощь признаётся в бессилии. Себя ослепивший Эдип
Молит о зрении новом. Скорбный мелос псалтири —
В паузах между раскатами рока... Свершилось! погиб
Путь предначертанный в богооставленном мире.
Архистратигов имперских в монолит замурованный хор.
Архитектурной кантаты крушащее разум крещендо.
Образ крещения Духом. Судного Дня собор.
Всё, чем здесь оправдаться из сил выбиваемся тщетно.
Храм наш — моление о храме... Фимиа александровских лип
Стелется над ступенями, с дорожным мешается прахом —
С пеплом не принятой жертвы, сулящей новый раздор.
НА ТЯ ГОСПОДИ УПОВАХОМ

ДА НЕ ПОСТЫДИМСЯ ВОВЕКИ

Оберег храма — моление о береге... На износ
Труждается голос, взыска защиты, опеки.
Из этих сиротских литаний слагается апофеоз
Вселенской трагедии. Кренит, заливаает подмостки —
Палубу-паперть — левифаном ревя, океан.
Только вещий мираж — надо всем: нерукотворный колосс,
Идол российской истории на шумном её перекрёстке.
Неговорящий гранит. Громокипящий орган.
Незатихающий плач о разорённом доме,
О милосердной отеческой кровле, что снёс ураган,
О истекшей монаршей любви в золочёном шеломе.

ГОСПОДИ СИЛОЮ ТВОЕЮ ВОЗВЕСЕЛИТСЯ ЦАРЬ
Разбредались — клялись: навсегда. Обернулись: та же немая
Сцена: маски стыда и отчаянья. Так же, как встарь,
Тьмою белесой объята вершина Синая.
Так же, как встарь, над партером — пара копыт.

Патина с выцветшей кровью — спектр театральной подсветки.
 Та же лампада последней надежды коптит,
 И до сих пор не слетел голубь с коринфской виньетки.
 Образы-волны качают, как щепку, ковчег.
 Без направленья плывёт он, ветрам и наитьям внимая,
 Страх не ведая. Небо светлеет, как будущий век.
 Звезды глядят, как воскреснуть готовые предки.

ЦАРЮ ЦАРСТВУЮЩИХ, вот мы пришли и стоим.
 Зыблются, слышишь, сердца молитвой косноязычной,
 Тихому веянию внемлют... Ты ли дыханьем Своим
 Их согреваешь и веточкой манишь масляной —
 Певческим даром — тем Градом Небесным, но здесь,
 Где глагол первородный перерастает в деянье?
 Чаши российской причастник, наследник! иного не грезь
 Храма для Слова... Субботнее тьмы обстоянье —
 Песнопенья предвечный источник, твой несокрушимый Солим.
 Радуйся, царствуй во славу державы своей пограничной
 Между святыней и скверной! — и запредельная весь
 На раны ея и твоя совершит возлиянье.

1982

Стихи из сборника «В Петербурге мы сойдемся снова»,
 составленного и оформленного
 петербургским художником Валентином Левитиным

Библейский сюжет

Олегу Охапкину

Петербургских крыш полифония,
 Контрапунктом — купол синагоги...
 Уж не ты ли это, Ниневия —
 Пепельный мираж в чухонском смоге?

Замер я, к окну прильнув, и внемлю
 Памяти твоей о Божьем гнев.
 Кит — один из тех, что держат землю —
 Приютил меня в урчащем чреве.

Шевелятся, чувствую спросонья,
 Вскормленные немотой глаголы;
 Во грехе, во мраке беззаконья
 Зреют для пророческой крамолы.

Сам дрожу пред их растущей силой,
 Трушу их утробного азарта.
 Лучше бы им, думаю, могилой
 Стала эта нищая мансарда.

О виденье с музыкой, потухни, —
Заклинаю, — поглотишь клоакой
Коммуналки с галдежом на кухне
И всегда голодную собакой!

Но вотще: налипло на ресницы,
Ширится моей помимо воли.
Твердь катастрофически кренится,
Ошалелый кит мычит от боли...

Господи! Уйми глаголы, стисни
Горло. Отродясь косноязычен,
Я хочу неброской тихой жизни.
Не хочу плевков и зуботычин

Твоего сплоченного народа.
Отодвинь назначенные сроки!
Эта темень, эта несвобода
Мне милее, чем удел высокий.

Но не слышит небосвод беззвездный
Вдох мой робкий: только не сегодня!
ВСТАНЬ. ИДИ — доносится из бездны.
И не скрыться от лица Господня.

1982

АЛЛА МИНЧЕНКО

На Ладогe

На помощь не зову
с тех пор, как одинока.
Бегу босой в траву
порезаться осокой,
и стеблем в высь тянусь,
подобная растению.

О, как легко тонуть,
цветка вдруг ставши тенью.

1960

Лабораторные строчки

Микроскопы. Растворы, колбы.
Точный счет чудес.
Мандрагоры сочный корень
в формулах исчез.

1965



Алла Минченко. 1980-е

В командировках

Дорога — лес, озера, глушь.
 Построек новых — ветхий праздник.
 Опять навстречу ранним стуж,
 мне надевать — платок и ватник.

Через поселок — на завод
 идти поспешно и устало.
 Среди обыденных забот —
 окаменеть, и жуть аврала
 прервать на мысли —
 Боже мой! —
 мне страшно быть — такой земной.

1966

А я придумала тебя...

А. Р.

А я придумала тебя,
 и сном земным несла в ладонях,
 И улыбалась мне Земля
 в моих владеньях полусонных.

И мягко шлепал дождь косой,
 и пели птицы, строя гнезда.
 И все-таки — кто ты такой? —
 я спрашивала ночью звезды.

1970

Юле Вознесенской

Когда пройдет немое ожиданье,
а годы ни минутой не солгут,
в твоей душе, вдруг оживет признание,
что встречи долго в памяти живут.

Так мудрость обретается привычкой.
Так в сентябре благодарят плоды.
И наша жизнь, боясь все обезличить,
как будто бы ведет до той черты,

где истина открыта и понятна
лишь после самых медленных утрат.

Скажу когда-нибудь я прожитую клятву —
ты предо мной — ни в чем не виноват.

1972

ВАЛЕРИЙ МИШИН

* * *

Чем схожи эти разные люди в одинаковых одеждах?

Но я, не успев ответить, иду по улице,
и встречные, глядя на меня, видят: до чего я замёрз.

А по улице метель распустила длинный ворсистый хвост,
от хвоста оторвался шмат и исчез в подворотне.

Мне сюда.

Ты согреваешь меня чаем, говоришь: как сегодня холодно.

Ветер оборвал на флигеле кусок жести,
который поднимается и класает, как пасть страшилища,
жутко в переулке, и лучше пройти по другой стороне,
где мигает фонарь и зорче тени в проёме под аркой.

Когда я вижу человека в таком же пальто, как я,
мне становится почему-то неловко.

Я замечаю его сутулость, изъяны лица
и дурную привычку шмыгать носом.

Пора купить новое пальто, это изнашивалось за три года.

Ты говоришь, что совсем недавно было лето.

Пруд лежал, струясь вдоль сосен, лежал у ног,
а кусты, как ежи, с листьями на иголках,
круглые, шелестели в парке, забиваясь в дальние аллеи.

И не забыть солёный запах тела — так пахнет только тело —
после купания, в траве, под прищуренным солнцем.

Время тает, как сахар в стакане, и короток вечер,
до девяти часов ещё колеблется и медлит,

а после становится поздно.
Тогда снова переулочек, поворот за угол
и трамвай с белым и красным глазом — 13-й номер.
Но у нас ещё есть время.

1966

* * *

Сижу в подвале.
Обыкновенном ленинградском подвале.
Мои глаза на уровне асфальта.
Проходят люди, проезжают машины.
Это то, что я вижу.
Но смотрю я машинально.
В соседней комнате, за дощатой перегородкой,
старуха ругает мужа.
Третий час не может уняться.
Это я слышу.
Старик когда-то работал гардеробщиком,
старуха — служанкой у профессора.
Она ругает его за любовниц,
которые у него, возможно, были.
Старик пытается защищаться и говорит,
что старуха была у профессора приживалкой.
Тогда она заводится ещё сильнее
и грозит отправить его в дом для престарелых.
Мне жалко старика,
но я не вникаю в их разговор.
Когда за окном кто-то проходит очень быстро,
ругань старухи соединяется с резкими шагами
и кажется, что прошёл злой человек.
Мне жалко старика
и я не хочу слушать всего, что говорят.

1967

* * *

Боюсь всего.
Комара, что может меня укусить,
пчёл, ос, всех тварей, что кусаются,
кошек, собак, диких зверей —
всех, кто оснащён зубами, когтями, жалом;
боюсь городского транспорта,
общественных туалетов,
квартуполномоченного,
активистов из домового комитета,
контролёров, кассиров — вдруг обсчитают,
врачей, особенно дантистов,
сослуживцев, соседей —

если кто-то входит в лифт,
обязательно пережду и поеду один;
боюсь острословов, скопидомов,
кинопрокат, что может выпустить
на экраны любую чушь,
ветра, сквозняков, женщин,
алкоголиков, наркоманов,
коллекционеров — в общем, всего,
проще было бы назвать, чего не боюсь;
если и найдётся что-то такое,
то всё равно точно сказать нельзя,
допустим, сейчас не боюсь,
но кто знает, что это на самом деле,
что от него можно ожидать,
поэтому, на всякий случай,
боюсь и его.

1968

* * *

День сегодня совсем пустой,
ни одной мысли в голове.
Сижу, думаю, что сейчас
о чём-нибудь подумаю,
но ни о чём подумать не могу.
Думать — свойство человека.
Вот и думаю, что думать — свойство,
что сейчас о чём-нибудь надо подумать,
но всё никак, только о том и думаю,
что надо думать. Или наоборот,
думаю, что никаких мыслей нет,
что, наконец, в голове простор,
но потом ловлю себя на том,
что думаю, что ничего не думаю.
Выходит, только и могу думать,
что надо думать, или, что хорошо бы
ни о чём не думать.
Бывают, правда, определённые мысли:
о погоде, еде, делах, женщинах,
т. е. мысли о вещах, лицах, событиях,
а вот свободно парящей,
лёгкой, бескрайней,
ни от чего не зависимой,
мысли не бывает.
Бывают, допустим, мысли,
что такая мысль возможна,
но самой мысли нет.

1968

ТАТЬЯНА МНЁВА

Стихотворения 1982 — 1983

* * *

Оборотясь лицом к пустым созвездьям...
 Нет, лучше так: Оборотясь к созвездьям
 пустым лицом... Да, может быть, и так.
 Ах, применимость ко всему всего,
 как ты подводишь бедные предметы,
 приметы и примеры. Результат:
 взамен конца последует начало,
 но связь времён не распадётся, нет,
 ничто не дрогнет и не изменётся.
 Теперь глагол.
 ...Подняв своё лицо...
 Воздев лицо... Припав лицом к созвездьям...
 Нет, право, и не стоит изменять
 глагол, не стоит скудное звучанье
 бесцельным измененьям подвергать.
 Так значит, прозой:
 некто, чьё лицо
 обращено к глумящимся созвездьям,
 к бессмысленному небу декабря,
 стоит под мокрым снегом на ветру
 и думает известными словами
 о том, что связь времён уже распалась,
 когда об этом кто-то написал,
 а потому не стоит горевать
 о том, что жизнь бесцельна и случайна,
 тем боле, что её не изменить.

Нет, всё не так, но проза так скучна,
 что разъедает грани ощущения,
 не видно прозой, как летит луна,
 не слышно прозой, как звучит течение,
 но только в рифму легче и вольней,
 правдивей, чище дышится, живётся.
 Никто не знает — как и отзовётся ль
 какое слово в здешней тишине.

* * *

И жили бы проще, и не было б счастья превыше
 Уменья казаться счастливым, казаться счастливым,
 Но там позовут, а я здесь, и не слышу, не слышу,
 Поскольку пространство, поскольку приливы, отливы.

Торжественность боли смешать бы с весельем, с весельем,
И было бы счастье, и было бы, было бы счастье,
Но здесь всё погода, качели здесь всё, карусели,
И вдребезги бьётся всё то, что не рвётся на части.

Но здесь преднамеренность каждого слова и жеста,
Но здесь постоянство звучанья, значенья, участия.
Гляжу с оптимизмом в единство мгновенья и места
Неостановимое. Так вот и было бы счастье.

* * *

Мы писали пахали писали пахали писали
Наши слабые пальчики нежные локти устали
Вроде нету причины но следствие длится поныне
В этой людной болотной минувшей грядущей пустыне

Ах какие сомненья нам детскую душу питали
Ах какие над нами кружили зловещие птицы
Мы писали пахали писали пахали устали
Повторится ли что-нибудь там где не всё повторится

* * *

Забвенья нет, и тёмные изгибы
Приморских улиц заново соткнутся
Из светлого, как сталь, небытия.

Я напишу письмо: прошу не верить
Моим словам. Я их не говорила.
Прошу вернуть мне чистый голосок.

Я напишу письмо: прошу не верить
Моим следам. Я здесь не проходила.

Забвенья нет, но адрес позабыт.

* * *

Письма в чёрных конвертах по небу летают.
По какую заблудшую душу Господь
Посылает томленье, и трепет, и плоть,
И неясную суть улетающей стаи?

Перед стаей в прозрачном течении вальса
Кружит, кружит Господь, и летят вслед за ним
Десять ангелов смутных и лёгких, как дым —
По числу холодеющих пальцев.

А за ними, колеблемы ветром, летят
Миллионы игрушек, собачек, котят,
И до края вселенной все длится и длится
Их пушистая, воющая вереница.

А за ними, невидимы, но неизбежны,
Вдаль отправлены детской рукою небрежной,
Чуть под ветром дрожа, чуть смущаясь беды,
Чуть подправив в пути расшатавшийся атом,
Чуть вобрав в своё тело земной пустоты,
Письма в чёрных конвертах летят к адресатам.

ВЛАДИМИР НЕСТЕРОВСКИЙ*

К портрету

В. Гаврильчику

Висит на стене мой портрет,
Как будто вином разогрет.
Скуластый, глазами рогат.
Сам черт ему, видно, не брат.
Кто истинный, я иль портрет?

Я знаю, портреты не мстят,
Я знаю, портреты не льстят,
Но вечно наводят тоску:
Мы дремлем — они начеку.

Я думаю в трудный момент:
Портрет — это тайный агент.
Продам его — можно в кредит, —
Пусть он за другими следит.

Плевать мне на эту родню!
А впрочем, его я женю.
Пусть любит, рождает детей
И ждет моей смерти, злодей.

Но щерится злобно портрет.

* Печатается по: Круг: Сборник. Сост. Б. И. Иванов, Ю. В. Новиков. Л., 1985.



Владимир Нестеровский

Ноль

О чем философствуешь, НУЛЬ?
 О самозабвенье провалов?
 Об алчности интервалов?
 О братстве пробоин и пуль?
 О чем философствуешь, НУЛЬ?

Мы все на земле короли,
 Хватает грошовых амбиций.
 Лишь стоит забыться — нули
 Увяжутся за единицей.

Лучи пожирают свечу,
 Полжизни взвалив на закорки.
 О НУЛЬ! — из тебя я торчу,
 Как суслик пугливый из норки.

О НУЛЬ! — добрячок до поры,
 Просвет, если сложишь ладошки.
 В тебе все бывлые миры
 Сидят, как матрешка в матрешке.

О НУЛЬ! — смертоносный овал,
 Мне тайну открывший по-свойски.
 Я знаю: убьют наповал —
 Уйду сквозь прореху авоськи.

С отчаянья жизнь не пролей,
Свечу не задуй ненароком.
Глазеет зрачками нулей
Всевидающей Вечности ОкО.

Лунная собака

Собака выла на луну,
Что, став на небесах биваком,
Размыла знаки Зодиака,
Сокрыла звездную страну.
Пронизанный тоскою древней,
Повис над спящею древней
Собачий глас во всю длину.

Не слышалось собачьих склок.
Забились под крыльцо товарки.
Туман коричневой заварки
Глаза собачьи заволокло.
Болезненным глумливым смехом
Собаке отвечало эхо,
И был надрывен диалог.
Как неуютен лунный свет!
Как будто льют эфир на темя.
Подобна теплой шубе темень:
Нахлынет мрак — и ты согрет.
А свет — он душу обнажает
И перед бездной унижает,
И кажется, что ты раздет.

Лишь сдавит горло тишина,
Терзается душа собачья.
Она устроена иначе,
Рассудком не отягчена.
Ее охватывает ужас,
Когда на землю дышит стужей
В упор стерильная луна.

То вечный страх, то вечный страх
Перед суровым смыслом мира
Четвероногих пассажиров
Планеты на семи ветрах.
И, слушая собачьи трели,
Ночами ежится в постели
Бог, повелитель, вертопрах.

Собака, пессимизма дочь,
Собака, лунная собака,
Ты — сон, ты соткана из мрака.
Мне слушать жуткий вой невмочь...

Луна висит созревшей каплей.
 Но облаков морозной паклей
 Ее с небес стирает ночь.

МИХАИЛ НОВИКОВ

* * *

Бреду вдоль набережных длинных,
 Бреду, внимая плеску вод.
 Все замерло в садах пустынных.
 И бой часов во тьме плывет.

О, сколько грусти беспричинной
 Любой из нас в себе несет,
 Мы будто знаем наперед,
 Что в мире нет путей невинных.

Что в мире нет путей иных,
 Чем из колена в поколение.
 И власть берут Телец и Гений,
 Ведь Бог испытывает их.

Здесь свет — на добрых и на злых,
 И вечность спрятана за время.

ОЛЕГ ОХАПКИН

Летучий Голландец*

Давно так не звездило по ночам.
 Все осень, осень, облака да тучи.
 Эпохи поворот тем круче, круче,
 Чем чаще люди ходят по врачам.
 Увы, меня не тронула простуда.
 Хоть весь продрог, я не о том скорблю.

* Стихотворения «Летучий голландец и «Самый снежный день зимы печатаются по:
 Круг: Сборник. Сост. Б. И. Иванов, Ю. В. Новиков. Л., 1985.

Гляжу в пучину, в жуткой жажде чуда,
Но не дано разбиться кораблю.

Давно так не звездило по ночам.
Все ветер, ветер, сумрак и ненастье.
Пусть непогода треплет наши снасти,
Но бури нет и дождь по мелочам.
Так муторно, что хочется к причалу.
Но берег, берег... Это позади.
И плаванье не обратить к началу,
Когда еще бессмертье впереди.

Давно так не звездило по ночам.
Все свечи, свечи, тусклая каюта
И паруса в полете без приюта,
Да ржавчина по доблестным мечам.
И ужас наводящая свобода,
Когда покой, как призрак в тишине.
И дух не утоляет непогода.
И вечный парус, парус при луне.

Давно так не звездило по ночам.
Все бегство, бегство, комната и книги.
В пространстве — туч имперские квадриги,
В столетиях — плач всевидевшим очам.
Лишь палуба Летучего Голландца
Вне времени, законов, перемен.
Но и на ней опасно без баланса.
Свободен дух, но и скитанье — плен.

Самый снежный день зимы

Вчера был самый снежный день зимы.
Я умотался. Снег сгребали мы.
Что делать, если служба такова!
Не все же двигать ямб, сдвигать слова!
Приходится лопатой и движком
Работать на морозе со снежком.
Кому-нибудь приходится в метель
Распутывать погоды канитель!
Кому-нибудь и нравится?... — О, да!
Вчера и я пришел к тому, когда

Мы вышли кое с кем расчистить двор
И тротуар. Нам ослепило взор,
Едва взглянули мы на снегопад.
Нам желтизна березовых лопат
Казалась кислой, как во рту лимон.
Сугроб соперничал с известкою колонн,
А черная ворона над Невой

На перекличке с черной полыньей
Соперничала с глубио: что черней —
Крыло вороны или вода под ней.

Работая без отдыха весь день,
Молчали мы. В ушанке набекрень
Один был. На другом торчал картуз.
Как будто на Смоленщине француз,
Прияель мой ворочался в снегу
В испарине, при этом ни гугу...
И если и шибал кого мороз,
То не его. Он так в лопату врос
Руками, что метель, его крутя
Как мельницу, молола снег шутя.

Когда же был объявлен перекур,
Мы огляделись тайно сквозь прищур
Промокших век. Мело из-за угла.
Кололась Петропавловки игла.
Она прошила ватники в местах,
Где что-то колотилось в лоскутах.
Тогда я кой-кому сказал: «Гляди!
Что там? Уж не весна ли впереди?»
И он проямлил: «Дай мне рубль займы!
Сегодня самый снежный день зимы»



Олег Ошопкин. 1974

* * *

Что, кажется, прийти домой, пальто
 На крюк повесить, снять ботинки с ног
 И оказаться дома, где никто
 тебя уже ничем терзать не мог?

Что, кажется, домой к себе прийти
 И увидеть, что не туда пришел,
 И увидеть, что тут конец пути,
 Который сам тебя, не ты нашел?

Что, кажется, ладонью провести
 По волосам, и вздрогнуть: лоб горяч,
 И сдернуть, как гримасу, травести,
 Ладонь с лица, услышав сердца плач?

Что, кажется, услышать сердца хрип
 И прочих агрегатов мертвый скрип,
 И посредине комнаты понять,
 Что некуда вперед, и поздно вспять?

Что, кажется, на этом пятакче
 Остановиться? Вот и весь твой дом.
 На корточке присесть и сжатым ртом
 Рыданья задавить, как мышь в сачке.

Что, кажется, прийти к себе домой
 И вслух сказать: «Пойди лицо умой!»*

1972

* * *

Н. А. Козыреву

Кому смотреть на звезды приходилось,
 Тот знает, что такое — видеть звезды.
 Смотреть на них — не означает знать
 Зачем они, но помогает видеть
 И в темноте, что изменяет нас,
 Точнее, наше отношение к небу.
 И если звезды что-то освещают
 В потемках мира, то, скорей всего,
 Не нашу жизнь, но ужас нашей жизни
 Перед лицом того, что выше нас,
 Перед лицом немеркнувшей Вселенной.

* Стихотворения «Что, кажется, прийти домой...» и «Кому смотреть на звезды приходи-
 лось...» печатаются по: Охупкин Олег. Стихи. Ленинград — Париж, 1989.

И в этом свете величавых звезд
 Нам предстает, по крайней мере, наша
 Недоуменье, если в нас оно
 Укоренилось где-то возле сердца.

1972

ЕВГЕНИЙ ПАЗУХИН

Городская песенка

В темном городе
 да по улицам
 ходят хворые
 да понурые,

ходят вор с вором,
 ворон с вороном
 у больших ворот.

А над городом
 а над городом...

В страшном городе
 что-то строится,
 в страшном гоготе,
 в страхе, в стоне всё:

Краны рушатся, —
 слышишь смертный крик,
 слышишь ругань их,
 видишь руки их?

С неба падают
 в город голуби,
 город в падали,

А над городом
 а над городом...

Ходят в городе
 по утрам в завод.
 Кто-то голоден,
 кто-то смерть зовёт,

кто-то бьёт жену,
 кто-то пьёт за нас,

кто-то к у-жи-ну
не придёт сейчас...

И парит над днём
чайка гордая,

А над городом
а над городом...

Слышишь звон шагов
и зловещий лязг,
будто страшный гонг
призывает нас,

будто гости в дом,
что-то близится.

А над городом
что-то высится!

Может, это смерть,
может, это страх,
только это — свет!

И да будет так!

1961

Руфь

Возлег Вооз на ложе сна
в ячмень, под стог его.
И чтобы плоть и кровь его —
самец-дитя в тебя вошло,
открой у ног его,
отверсты ложестна
подставь под сток его,
открой у ног его.

Там, в вышине,
пернатый Бог.
Мелькает хвост Его
и капли слез Его
сверкают промеж ног.
Открой у ног Его,
подставь под сток Его.

Да, Бог! Он муж любой жене.
Вооз — сосуд Его.
Бог влился в уд его

в ревущей тишине.
Подставь под сток его,
открой у ног его.

1974

ЕЛЕНА ПУДОВКИНА

* * *

Кто бросил камень в пруд? Кому мы стали эхом?
Все дальше голоса, все невесомей весть.
Находит птаха звук — в помарках и помехах,
В чернилах и слезах, переиначен весь.
Кто передал перо? И где нам Византия?
Какой по счету пир в раскольниковем скиту?
От наших лучших строк не отделить витийство,
От зерен — плевели, от света — суету.
Или затерян след, а камень канул в Лету,
Отеческая гать — не галльский водоем.
Иль Подлинника нет для русского поэта,
И пишем наугад, и сослепу поем?

1975

* * *

Художнице Жанне Бровиной

Нет воздуха, но Дух животворит
В пустыне людной, в опустевшем храме.
Не виден свет, покуда он горит,
Так Бог неведом нам, хотя Он с нами.
Мы отбываем ссылку в том краю,
Где труд бесплодный доброты не знает.
Мы позабыли правоту свою
И мучимся, ее припоминая.
А тихий ангел, навевавший сон
Когда-то — легче дуновенья,
Теперь средь бела дня горящим колесом
Проходит, жжет холсты, крушит стихотворенья.

Конец 1970-х



Елена Пудовкина. 1977

* * *

о П. Ч.

Этот чуткий булыжник,
 Что зовется Петром,
 Бог за пазухой прячет,
 Бережет на потом,
 На особенный случай,
 На смертельный полет.
 Но булыжнику скучно,
 И булыжник поет.

1975

* * *

На день рождения Алле Минченко

Напрасно дергала я Музу за подол —
 Не получался стих, тебе не посвящался.
 А сумрак между тем за окнами сгущался,
 Теряли вещи смысл, и звук терял глагол.
 И наступало время для потерь:
 Терялись города, любимые терялись,
 А те, что не терялись, те казались
 Иными, незнакомыми, теперь.
 И терпкий голос твой весь сумрак пропитал
 Такою горечью, что каждый встречный стал
 Как бы каемкой черною очерчен.
 И каждый полустертый силуэт —
 Художник без лица, без имени поэт —
 В том облике застыл, как был тобою встречен.

1976

* * *

*Лене Игнатовой,
 работавшей экскурсоводом
 в Петропавловской крепости.*

Среди теней враждующих толпу
 Скучающих туристов провести,
 Да так, чтобы никто не оступился,
 Не потерялся неизвестно где.
 Забудешься — горит звезда во лбу,
 Заслушаешься — и уже свистит
 Кому-то ангел, примостясь на шпиле,
 Засмотришься — и луч проходит по воде...
 Опять туристы будут недовольны.

1976

* * *

*Володе Гоосу —
 в ответ на письмо,
 написанное иероглифами*

Беглый взгляд — и побег,
 И смыкаются ветви, и сразу
 Выткет что-то взамен паучок, незаметный для глаза.
 Мир стоит без пробоин, как крепкий, надежный ковчег.
 Выпал, разве что, снег.

Есть побег по волнам —
 Не ладьей, а такой же волною.
 А от взгляда волны — не волною уже, а луною.
 Ловчий город выходит навстречу, но беглые там —
 Что роса по кустам.

Вот, следы на воде.
 Вот, следы на случайной бумаге.
 Но оставивший их отлетел, наподобие влаги:
 То ли был, то ли нет, то ли дождь занавеску задел,
 Беглеца заслонив, чтоб вдогонку никто не глядел.
 1978

* * *

Г. А. Израилевичу

В пространстве замкнутом, в котором мы живем,
 Огонь не может жить.
 И свечи
 Совсем, как мы, совсем по-человечьи,
 Не помнят о призвании своем.
 Огонь не выживает, он чадит.
 И в бабьем, бесконечном вое
 Зашлась свеча.
 Что видно? Погляди.
 — Там факел тьмы над каждой головою.
 1981

СЛАВКО СЛОВЕНОВ*

Песня старого курильщика

Кури табак и весел будь,
 Но друга не забудь.
 Кури табак — и жизни путь
 Пройдем мы как-нибудь!

И пусть тогда на нас жена
 Ворчит, что дым кругом,
 Пускай ворчит, что нет вина, —
 Мы без вина гульнем...

Кури табак! Кто скажет нам,
Что мы — ненужный хлам?!
Кури табак: нам — старикам —
Не привыкать к делам.

К работе стой всегда лицом
И думай лишь о том,
Чтобы дела твои потом
Не стали табаком!

Кури табак и весел будь,
Но друга не забудь.
Кури табак — и жизни путь
Пройдем мы как-нибудь...



Славко словенов

Когда случайная звезда
Слезою скатится на город
И мир окажется распорот
В ночи на «миг» и «никогда»;

Или: случайная любовь
Тебя крылом своим коснётся
И сердце криком разорвётся
На две стихии — боль и кровь;

Или — случайно жизнь твоя
Над смертью пролетит, пылая,
И суета твоя былая
Истлеет, словно чешуя... —

Тогда посмейся над собой:
Ты выиграл последний бой!

Твоя тишина

Чёрный человечек плачет на дворе...

А. А. Блок

Ночь из космоса опустилась
Низко-низко — до самых крыш...
Город спит. Но скажи на милость,
Ты-то что в эту ночь не спишь?

Ты молчишь. Ты кусаешь губы:
Ты сегодня — совсем одна.
Верно ждёшь, когда на сугробы
Упадёт твоя тишина?

Ах, дождёшься ли?! Ах, дождись её!
Всё равно до какого дня:
До весеннего ливня, до листьев,
До осеннего ли огня...

Не спеши — это будет скоро:
Это будет сейчас... Смотри:
Исступления чёрный ворон
Гасит жёлтые фонари...

Тишина — обалдеть какая!
Так и слышится ти-ши-на...
И стоит она — вся нагая,
Словно чем-то удивлена.

Вся — в морозе. А дышит ровно...
Звёзды искрятся и летят,
Словно музыкой околдованы,
Брошенные на подхват!

Сколько их рассыпала россинь!
Вон как звездятся... вперехлест!
Ну, лови же их... И не бойся,
Что кому-то не хватит звёзд:

Собери их все до единой,
Чтоб скорей наступил рассвет...
Тишина твоя — это иней
На ресницах твоих планет!

...Ты очнёшься. И глянешь мудро.
На себя. В себя. И окрест...
И — увидишь: выводит утро
На одном из домов: «РЫБТРЕСТ»

Из поэмы «Круг зеркал»

По утрам
этот город огромный
наполняется музыкой дня.
Обрастают дыханием и плотью
тени умершей призрачной ночи:
людям — некогда...
Некогда. Некогда! Некогда!!!
Люди бегут от меня
...бегут от меня...
...от меня
...бегут
люди...
Люди! Люди!!!

Из ворот, из подъездов,
со всех этажей,
на лифте или вприпрыжку,
через сады и скверы,
по бульварам и набережным,
по тротуарам,
размеренным шагом,
вперебежку,
бегом —
за чашкой горячего горького кофе,
в змеевидную очередь за газетой
с какими-нибудь новостями,
пахнущими типографским свинцом
за пачкой спасительных сигает,

Вся — в морозе. А дышит ровно...
Звёзды искрятся и летят,
Словно музыкой околдованы,
Брошенные на подхват!

Сколько их рассыпала росинь!
Вон как звездятся... вперехлѣст!
Ну, лови же их... И не бойся,
Что кому-то не хватит звѣзд:

Собери их все до единой,
Чтоб скорей наступил рассвет...
Тишина твоя — это иней
На ресницах твоих планет!

...Ты очнёшься. И глянешь мудро.
На себя. В себя. И окрест...
И — увидишь: выводит утро
На одном из домов: «РЫБТРЕСТ»

Из поэмы «Круг зеркал»

По утрам
этот город огромный
наполняется музыкой дня.
Обрастают дыханьем и плотью
тени умершей призрачной ночи:
людям — некогда...
Некогда. Некогда! Некогда!!!
Люди бегут от меня
...бегут от меня...
...от меня
...бегут
люди...
Люди! Люди!!!

Из ворот, из подъездов,
со всех этажей,
на лифте или вприпрыжку,
через сады и скверы,
по бульварам и набережным,
по тротуарам,
размеренным шагом,
вперебежку,
бегом —
за чашкой горячего горького кофе,
в змеевидную очередь за газетой
с какими-нибудь новостями,
пахнувшими типографским свинцом
за пачкой спасительных сигает,

и сразу —
 в троллейбус,
 в автобус,
 в трамвай,
 в бездонное чрево метро,
 на такси...
 Люди.
 Люди! — Некогда.
 Ждут заводы.
 Ждут учрежденья.

Так каждый день я
 теряю людей, потерявших меня:
 Мне, ведь, тоже *некогда*...
 ОЧЕНЬ!

Обрастают
 дыханьем и плотью
 тени умершей призрачной ночи:
 по утрам
 этот город огромный
 наполняется музыкой дня.

ВИКТОР ТОПОРОВ

Эпиграммы

На Олега Охепкина*

Делая, мужа сего принимай по ночам осторожно,
 А лишь начнет говорить — на хуй зануду гони!

На Виктора Ширали

Ширали поймал в жару
 Молодое кенгуру.
 Отпустил на холодоюгу
 Постаревшую блядоюгу.

* У этой эпиграммы сложности с атрибуцией. Подтверждаю, что она именно моя и именно на Охепкина. — *Прим. автора.*

На ВК

Друга в гости приглашая,
От него не утаю:
Продаю и покупаю.
Покупаю. Продаю.

На Гарика Левинтона

Всё расскажет на допросе
Левинтон о Леви-Строссе!

**Надпись на книге: Эдгар По. «Стихотворения» —
молодожену А. В. Лаврову**

Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По,
Лавров тропу себе торил
К дыре, присыпанной крупой.

Из автоэпиграмм

1

Я пришел к тебе с приветом
Рассказать, что солнце село,
Да и сам я по приметам
Жду посадки и расстрела.

2

That is my wife
Who eats my life
In bitter strive
With bloody knife.

КАРИ УНКСОВА

* * *

Вот засекает воду пепел снега
И крутятся потерянные чайки.
Апрель кончается. Совсем промерзли вербы
И раздраженно лязгают трамваи.

Фиалки облетают на ветру
 В руках у смуглых косвенных цыганок.
 Метро прибежищем и спертой теплотой
 Воскресные раскручивает толпы.
 Но дрогнет очередь за семенами
 И в магазине крошечном «Природа»,
 В углу, среди аквариумных монстров,
 В суровых стружках теплятся цыплята.
 И после кофе, сигарет и прочих
 Примет измятых напряженной ночи
 Я, грешная, смиренно провожаю
 Тебя на эскалатор, а сама
 Иду на рынок по букет укропа.

1971

* * *

Постом постом я напишу стихи
 Потом пойму — их некому читать
 Потом, потом я замолю грехи
 Потом пойму — их некому прощать
 Неумолим звезды парящей диск
 Остыло небо и уходит друг
 А в глубине слепящий обелиск
 Обводит тенью осиянный круг
 О, погоди, побудь со мной, побудь
 Подай мне год, хоть день, лишь чуточку минут
 Хоть вспомяни меня когда-нибудь
 Заря встает и петухи поют
 Куда идешь, уставший человек
 Почти размотан маленький клубок
 Исчислен диск и обозначен век
 И ты бредешь на выгнутый восток
 И хриплые деревья цепи рвут
 Вдогонку воют, чуя мертвеца
 Благословен ли постоянный труд
 Идти в восток, не ведая конца?
 Кузнец, кузнец — от кованых сапог
 Смотри, уж не осталось ничего
 Отец, отец — взгляни на раны ног
 И пожалей о нищенстве его.

1972

* * *

Куда ушел мой друг
 Куда идешь мой враг
 Распороты в степях обглоданные сливы
 Их гусеницы жрут

А ты уходишь так
 Куда уходишь друг
 Вернемся под оливы
 Куда уходишь друг
 Крутые небеса
 Горят каким огнем
 Какие в море рыбы
 Каким тебе я был бы
 Пламенным рабом
 До смертной до поры
 До смертной до поры бы
 КУДА уходишь ДРУГ
 Смотри уже вскочил
 Уже летит телега
 За пеленою глаз
 За беленою рук
 Она уже бела
 Бела белее снега
 Куда уходишь враг
 Конями на скаку
 Так лебедь щука рак
 Не приподымут воза
 Проклятие и страсть
 Так неподвижны. Так
 Так прорастает внутрь
 Уродливая роза.

Из цикла «Венок сонетов»

Не прорасти бы только лебедой
 Не стать на час заслуженным обедом
 Не отвратить и не пойти по следу
 Не просочиться сквозь огонь водой

Бесстрастна мысль. И только за бедой
 И радостью твоя поэт победа
 Миг разделить за огненной беседой
 Придет твой спутник безымянный твой

И ныне он и присно пред тобой
 Необратим загадочной улыбкой
 Твой вечный сфинкс, дитя твоей ошибки

Чтоб ночи шли законной чередой
 Сменяя дни — твое существованье
 Необходимый стержень мирозданья.

ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВ*

* * *

Пил кофе в кафетерии,
А до этого портвейн в шалмане.
Валялся после портвейна на диване.

Хотел побывать в церкви,
Но было уже поздно.
Служба идет без меня.

Днем устраивался на работу.
Весь день была плохая погода.

Сейчас ничего не делаю.
Смотрю на стены, в окно,
Туда, где темно.

Винные пары в ночи раскрыли львиные зевы,
Приглашают войти.
Пахнут портвейном цветы-прихожане.

А мы
устроимся на диване
И будем читать Исидора Пелусиота
О трудных местах из святых писаний.

Завтра у меня свидание
С девой-рукой, с девой-ладонью,
На которой линии судьбы сплетаются в агонии.

Она своей лотосовидной шеей
Выросла, наверное, в оранжерее.

Завтра она будет вышивать кружева-слова,
Проведет апельсином-рукой по моим волосам.
Расскажет что-нибудь. Отымет что-нибудь
от меня.
И ладонью-мартышкой погладит меня.

Мы будем путешествовать по проспектам
И встречаться с лермонтовским скелетом.

А потом я обниму ее за плечи,
И наступит вечер.

* Печатается по: Василий Филиппов. Избранные стихотворения. 1984 — 1990. М., 2002.

Вечером город теплее. Ограда с чугунными
цветами.
Пламя роз — линии судьбы в твоей руке,
Изогнулись влажными стеблями.
Мой язык, словно христианский мученик,
Ворочается на костре зубов — посаженных людей,
прислужников костра.

Мы будем бродить по городу среди скал
Карельского перешейка — домов,
Смотреть друг на друга с брошкой слов.

Мы материализовались из стен своих комнат
До шара головы,
Чтоб не говорить друг другу «вы».

Мы взойдем на Кировский мост
И поглядим на сочетание звезд —
Расстаться или продолжать прогулку.

Мы нащупаем ногами позвоночник моста,
Когда по нему поедет римская колесница трамвая.

Я забуду о чертях в аду.
И ощушу прикосновение ладони ко лбу —
повороту на улицу.

Ты увидишь на моем лбу стершиеся письма —
Капли крови и смородинового домашнего
варенья.

Я вернусь домой и в своем ветхозаветном углу
Напишу стихотворенье.

Ноябрь 1984

* * *

Раздвинув ноги,
Девушка плывет по постели,
Спрятала грудь на простыне, под животом — талисман,
Видна одна спина — можно ножом вырезать из нее рыб.
Ноги изгиб. Рука, простынь.
Тело не бьется в волнах. Напряженно
Под взглядом француза-художника.

Раздвинула ноги, обнажая спину.
Выплывет или не выплывет из постели,
Встав в ванной
Комнате.

На столике лежит Библия, заложена на Песни Песней.
 Спина у девушки сейчас треснет
 От моего взгляда.
 Наяда.

Взгляд девушки розовым тюльпаном склонился за портьеру, за холст,
 Где хлопочет глазами одетый посетитель,
 Выставки осквернитель.

Мы все на выставке, где эта девушка, обнажены.
 Шрамы от бичевания идут вдоль спины.

Мы идем вдоль спины девушки взглядом,
 А за спиной волочится рыжее небо над Ленинградом.

В Старом Сайгоне новое поколение сайгонщиков
 С глазами цвета Елены.
 Их слепые персты играют с кофейной пеной.

Тут же и старые сайгонщики.
 Впереди их идет небритый Петр Чейгин,
 Лобзает в проходной двора.
 А все остальные — мошкара.

Мир изменяется постепенно,
 И я уже жалею о детстве.
 Что ли вином согреться.

На углах стоит по милиционеру.
 Скука.
 Какая-то дура
 Бежит на красный свет.
 Штраф или в тюрьме семь лет.

Я живу на окраине города и мысли.
 А хотелось бы в центре.
 Но в центре все поросло полынью.
 Мандельштам, Ахматова, Цветаева, —
 Где они?
 В полыни Коктебеля?
 Где жизнь Христова?
 Я старею.

Где буколические, коктебельские романы?
 Где Волошин, в тоге и пьяный?

Так я умру, забытый всеми,
 Кроме бабушки, подложенной под голову вместо
 подушки,
 У которой лицо-ватрушка.

ПЕТР ЧЕЙГИН

* * *

ККК

Нищий, голубю подай!
Разменяй ломоть в ладони!
Третий век кабак в законе!
Стыд. Свинчатка. Голодай.

Разотри слюду панели!
Догони на честном слове!
Объявления метели
Третий день полощут в поле.

Третий день тоска одна.
Как ни глянь — дурдом заказан.
Выйдешь в поле — холод разом
и стрелецкая Луна.

1968

* * *

Олегу Охупкину

Притягивает гончая Земля,
Притягивает гончих насекомых.
Резной рассвет определений новых
и холод, затихающий в стаканах,
прольются вспышками древесного огня.

Сторожевая вылитая лень
В накидке инкунабулы немецкой
Сор неба отмывает, происк женский
глухой занозой тлеет на Вселенском
объятном ромбе, мчит ветвистый день.

Лети глазастая гремучая звезда!
Над раструбом болот и лёгким небом,
по плоскостям, заговорённым Фебом.
Между Петром, Борисом, Павлом, Глебом.
Ясней и милосердней. Без следа!

Лети на тайнобрачный город мой
Голосовой затеей верных зданий.
Лети бездонно-чисто, мерой в раме,
Прицельным блеском, взятым тетивой.

ночь на 10 марта 1975

Гренландия

Поэма

Глава 7*

...Я — замерзал, но жил. Еще весна
Моей души навеки не забыла!
Я знать хотел: чьи в небе имена,
Кому сиянье северное было?
Я знать хотел, что будет впереди,
Бывало до безумья одиноко!
И сердце вырывалось из груди
При виде льдин, плывущих издалека.
...И говорила ночь: — Безумный «ФРАМ»!
Отчаянный кораблик окаянный,
Пристань, прижмись к моим великим льдам,
Плыви на Север, викинг деревянный!
Смелее, «ФРАМ»! И в воду, и в огонь!
Кричала ночь. Был близок Белый полюс.
— Вперед же, «ФРАМ»! — шумел вдали Стокгольм,
И Нансен продолжал тяжелый поиск.
А в это время мир страдал и пел,
Переживал свои земные беды,
Норвежский парус к Полюсу летел,
Чтоб первыми не появились шведы!
...У каждого свой парус, свой предел,
Своя к нему начертана программа,
Но знаю я, любой бы захотел
Быть одержимым, как хозяин «Фрама»!
Да, каждый бы хотел среди невзгод
Среди беззвучной будничной недели,
Взойти на свой великий пароход
И плыть вперед, к своей великой цели!
Что значит год? Что значит десять лет?
Быть может, мы живем из-за мгновенья
Увидеть и понять великий свет
Упавшего на землю вдохновенья!
Мне говорят: безумец, берегись!
Ты ждешь мгновенья — это нам понятно!
Но не скажи ему: ОСТАНОВИСЬ!

* Печатается по: Владимир Шалыт. История одного молчания. Стихи 1970 — 1972. СПб. 1991.



Владимир Шалут

Оно должно пройти, и безвозвратно!
 Да, правы вы! Нет дыма без огня,
 И не должно стать камнем совершенство!
 Несовместимо счастье для меня
 С понятиями вечного блаженства!
 ...Блаженство — пуля! Пуля чертит путь,
 Стремится к сердцу яростно и властно!
 Мгновенье! И она влетает в грудь.
 Ну вот и все, что на земле прекрасно.
 ...Я знать хотел, чьи в небе имена,
 Кому сиянье северное было?
 Я чтил любовь в любые времена,
 Она меня молчанием любила!

1970—1972

Кафетерий на углу Владимирского и Невского

Кафетерий на углу Владимирского
и Невского...
— «Ротонда»?
— Вам все ещё никак Париж не позабыть.
Каждый день, чаще к вечеру:
— Будьте любезны, маленькую двойную.
Крепкого. Наскоро.
Но лучше дать остыть.
Куда нам торопиться.
Живем глядеть.
Стремглав живем,
не глядя.
На шаткий стол локтём установиться,
Смотреть и кланяться знакомым...
— Рада Вас видеть.
— Я Вас тоже —
очень.
Вы загорели,
Но грустны с лица.
— В Крыму вчера жара,
А здесь дожди и осень.
И сразу черная,
Как будто началась с конца.
— Ну, Вам-то что,
Вы славно загорели,
Всё солнце в вас.
Ослеп, гляжу из-под руки.
Лишь грудь бела.
Соски как две свирели:
Звонки и высоки.
— Ах, Ширали...
— Так брать вам кофе?
— Можно.
— А Ширали лишь птица на губах.
Какое вам заказывать пирожное?
Сегодня я немного при деньгах.
По Невскому идут дожди.

Одним глотком допить, когда остынет.
По Невскому идут дожди.
Секунду подождать,
Пока настанет,
наступит сердце.
По Невскому идут дожди.
Отчаяться,

Со всеми распрощаться.
 По Невскому идут дожди.
 Отчаяться
 И одному остаться.
 По Невскому идут дожди.

По Невскому иду под фонарями,
 Словно под фарами,
 Просвеченный насквозь.

— Бегите первая.
 — Бегите первая.
 Даю Вам нынче фору.

А ежели всерьез,
 То отлюбил, отщелкал.
 И нету радости — живу или умру.
 К стеклу троллейбусному прижимает щеку.
 Дожди слезают по ее щеке,
 И я никогда ее больше не встречу.
 Дурачится с мил-другом за стеклом.
 Проехала.
 Промчалась.
 Протекло
 Меж пальцами.
 А ежели всерьез —
 Насобирав прошедших ливней в горсть,
 Припасть,
 Захлебываясь, выбраться на сушу,
 Насмешничать над разными богами,
 Которые дно бороздят дождями,
 Вылавливая утопленницу — душу мою.
 Судачат, что распутницей была,
 Распуталась.
 Вниз по Неве сплыла.
 И я никогда ее больше не встречу,
 Когда она вниз по Неве плывет и плачет,
 За отраженные цепляясь фонари.
 Она мертва,
 но уплывать не хочет.
 Сотри свои глаза и не смотри.

Зачем тебе угар ее агоний?
 Последняя горячая речь:
 Что было — было.
 «Было» не догонишь.
 Что будет — будет.
 «Будет» — не сберечь.

Тетраптих памяти Леонида Аронсона

*Я позабыл древнюю стихотворную
игру. Я просто люблю.*

Аполлинер

— Кафетерий на углу

Владимирского

И Невского...

— Ротонда?

— Вам все еще никак Париж не позабыть?

Ширали

Нам целый мир чужбина.

Отечество нам Царское Село.

Пушкин

Борису Куприянову

Боль твоя высока

Разве только собака услышит

Или Бог

Если он еще не оглох как Бетховен

Ничего он не видит

Ничего он не слышит

Знай себе музыку пишет

До него написал её Бах

Милый мой

Как ты плох

Ты небрит и разит перегаром

Ты к «Сайгону» подходишь

Чтоб одному не стоять

Глаз на глаз с этим городом

Мимо девушки ходят

Проходят

С крепким туристским загаром

Тебе хочется

Очень хочется

Их целовать

Эти девушки любят поп-музыку

А ты им в висок наставляешь

Дни и раны свои

Некрасивый свой рот разеваешь

Полюбить и отдаться пугаешь

Слава Богу, не слышат они

И проходят

Уходят

Ты смотришь им вслед

Но недолго

Мой бедный
 Мой славный поэт
 Достоешь записную и пишешь
 Ничего ты не видишь
 Ничего ты не слышишь
 Знай себе музыку пишешь...

Петру Чейгину

Ты подходишь к «Сайгону»
 Чтоб одному не стоять
 Глаз на глаз с этим городом
 Ты не высок
 Потому и не горбишься
 Экий грибок
 Панибрат

Время грибное стоит
 Доверху наполнив лукошко
 Босоногая девочка
 Спит
 И видит тебя
 Ты глядишь на нее
 Сквозь витрину
 В окошко
 Время грибное стоит
 Под асфальтом грибная земля
 Иногда вспоминая про это
 Грибником просыпаюсь и я
 Каково же тебе, панибрату,
 Осенним лесам?..
 Собирай
 Твое время припело
 Собирай
 Пока есть тебе дело
 И лесов не останется нам
 И грибов не останется нам
 Разве что шампиньоны в пещерах бомбоубежищ.

Виктору Кривулину

Когда душе захочется пожить
 Четырехстопным ямбом
 Я сажусь
 на Витебском в одну из электричек
 И еду в Царское Село
 Сажусь
 Гляжу в окно уткнувшись лбом в стекло
 Дождь длится

Осень процветает за стеклом
 Город выносит новостройные кварталы
 к железной колее
 Пытаюсь понять их смысл. Их музыку.
 Да, это музыка
 Пускай она суха словно проезд по пишущей
 машинке
 Но это музыка.
 И под неё живут
 И более того порой танцуют
 И более того
 Я — выкормыш барокко —
 Танцую музыку назначенную веком двадцатым
 Впрочем
 если говорить об архитектуре
 То я думаю что когда архитектор
 сможет организовывать
 Пространство в архитектуру
 С тем же произволом с которым я
 Организовываю язык в поэзию
 Когда он
 Несчастливый в любви как Аполлинер
 Скажет:
 — Я позабыл древние законы архитектуры
 Я просто люблю, —
 То наверное
 Искусство его станет называться барокко
 Хотя наверняка оно перестанет
 Называться архитектурой
 Тебе же, Кривулин, я говорю что не стоит
 гальванизировать
 Канонические формы стихосложения
 Ибо они все одно
 Воняют
 Надо глубоко забыть
 Забить в себя
 Мастерство нажитое до нас
 А свое собственное
 Творить сиюминутно

 Так давно тебя не было в «Сайгоне»!
 Жив ли ты?

МИХАИЛ ЮПП

Из книги «Импульсы»*
(1960—1966)

Муравьи

Муравьи-трудаги,
Работящий люд.
Целый день подтягивают,
Целый день несут,
Целый день подтаскивают
Иглы-кирпичи,
Точно первоклассные
Тя
га
чи.
Муравейник высится,
Ширится, растет.
Премии начисленные —
Жаба выдает.
Муравьи сияют,
Премии берут,
Стопку наливают,
И
по
ют.
И опять работают
День-деньской,
Обливаясь потом,
Жгучею тоской.
Создают удобства
Миллионы лет.
А в лесу господствует
Му
ра
вьевед.

1960, СПб

Яичница

Запрыгали,
забрызгали
Край плиты —

Лучи солнцеобразной
 Яи
 чни
 цы!
 С настоящим солнцем
 Споря в красоте,
 Яичница кудاختала
 На
 сковороде.
 Звонкая,
 со вкусом,
 Разинув рот,
 Заливалась смехом,
 Щурилась, как кот.
 Мягкой солнцелапой
 Скребла слюну.
 Я готовил пищу
 Во всю сковороду!
 Подхлюпывал,
 подтрунивал
 Кипящий суп:
 — Яичница,
 мол,
 что это?..
 Без мяса,
 Без круп,
 Без картошки-кубиком,
 Без морковки, лука,
 Нашли мне тоже пищу,
 Не пицца — скука!..
 Но, шипя и брызгая
 На
 плитку —
 Яичница заполнила
 Всю сковороду.
 Над жраньем сияла —
 Подсолнухом в цвету.
 Я готовил чудо,
 Во
 всю
 весну!

1961, СПб.

Люля-кебаб
 Возьми
 Разрежь —
 брызнет сок.
 Язык
 Споткнется —

забьется в бок.
Зашевелят шельмы —
Челюсти, значит,
Люля-кебаб
Пе
ре
и
на
чат.
Но ты вначале внюхайся —
Тут букет Востока:
Шафран,
кардамон,
мускат,
И столько
Перца
Разного —
красного,
черного...
Что горит во рту,
Как под котлом черта.
Будь смел —
взял,
съел.
Люля-кебаба вечный раб —
Ты будь прям.
Пряность — вздор,
Двинь тарелку,
кинь взор.
Видишь, официантка
тащит поднос,
На нем дымится чудо
Булькая SOS!..
Баранина,
лимончик,
лучок,
соуса,
Люля-кебабова —
Ду
ша.
Ша
шлык —
ерунда!..
О ля-ля, люля!
Вот это да!

1961, СПб

Милицейский участок

Милицейский участок —
Шум,
Гам.
Двое пьяных,
Трое побитых.
Одна спекулянтка —
Торговала ночными фиалками,
Шлюха в прыщах,
И я.
Тусклый свет,
на боку пистолет.
За дубовым столом — дуб.
Я не глуп,
и он не глуп...
И сочится допрос сквозь зубы.
— Сколько лет?
— Где живешь?
— Кем и где на работе числишься?..
Ах, какая история приключилась!
Просто шел,
Просто так.
Ну, а может быть, и не так...
Подошел тип,
Говорит тип:
— Выпить хочешь?..
Отчего же не выпить? —
ему я в ответ,
Ведь забавен, как мир,
захмелевший поэт!
Ну, бери меня!
Ну, веди меня!
И повел он меня,
и привел он меня,
И напились,
и ушел он.
Просто так —
взял
и ушел.
Не ругаю —
Бог не велит.
Милицейский участок —
Шум,
Гам.
Двое пьяных,
Трое побитых.
Одна спекулянтка —
Торговля ночными фиалками,
Шлюха в прыщах,
И я — агнец...

МИХАИЛ ЯСНОВ

Из стихотворений 1970-х

Смерть поэта

Не звонил ему никто.

Он лежал в постели жаркой
рядом с книжной этажеркой,
положив на одеяло
неподвижное пальто.
Вечерело. Холодало.
Не звонил ему никто.
В поликлинике сначала
не давали бюллетеня,
а потом он перемогся:
думал — осень на носу,
начались грибы в лесу,
и от службы по Вуоксе
был байдарочный поход.
Он поехал, перемогся,
перемаялся — и вот
закрутил его недуг,
и внезапно умер друг.

Все потом припоминали,
где его в тот день видали.
Выходило, как всегда,
в заведении питейном
(угол Невского с Литейным),
наверху, в «Аэрофлоте»,
(где вы часто кофе пьете),
в Доме книги, возле Люси,
(с толстой книгою во вкусе
примитивном, как всегда).
Вспоминал усердно кто-то,
что сказал он в этот день:
выходило так ничтожно,
что и вспомнить невозможно, —
что-то вроде анекдота,
в общем, дрянь и дребедень.
Вспоминали те стихи,
что читал он в поза—поза-
позапрошлый выходной:
выходило, просто поза,
и при этом слог дурной.
Впрочем, был он милый малый.
Было жаль его, пожалуй.

Не звонил ему никто.
А Ткачиха с Поварихой,
с сватьей бабой Бабарихой —
весь набор соседских душ —
та пускала в ванной душ,
та бродила по квартире,
та кричала невнопад.
За стеною кум и сват
обсуждали, что в Каире
говорил Анвар Садат,
и куда поехал Никсон,
и куда поехал Нюксон,
и куда поехал Няксон,
про валютный кризис тож.
Так в последний раз глагол
слуха чуткого коснулся,
но поэт не вострепнулся:
был он немощен и гол.

Не звонил ему никто.
Пахли мерзостью ботинки.
Начался под вечер бред.
Вместо пишущей машинки
на столе сидел скелет.
И сочились вразнобой
ненаписанные строчки
из листа, как черный гной
из разорванной сорочки.

Не звонил ему никто.
Гарик был с женой на даче.
Маша с мужем не иначе
как машиной разживались.
Волик с Аней разъезжались.
Славик лазил по тайге.
Марик лазил по знакомым.
Был Володя вдалеке,
а Регина просто дома.
Петя с девушкой скучал.
Витя Рильке изучал.
Вася пил. Борис молчал.
Николай ногой качал.

Поздний перелет

Стоит июнь. С утра до ночи
летит на землю тощий дождик.
Висит над вымокшим газоном
дурман проснувшейся травы.
У нас на кухне, между окон,
соседки держат голубенка:
он полинял немного к лету
и стал, как снег вчерашний, бел.

Вчера, вчера... Вчера лишь только
я целовал твои ладошки —
сегодня на моей ладони
пора читать следы судьбы:
как будто птица постояла
одною лапкой — и взлетела,
а на ладони — отпечаток,
как на снегу или песке.

Вчера я видел: птичья стая
куда-то к северу летела.
Пожалуй, время перелетов
уже закончилось. Она,
как я, от времени отстала
и наверстать стремилась лето.
Я не стремлюсь: я днем вчерашним
еще живу, еще дышу...

Вчера я был в гостях. Профессор
сидел, нахохлившись, под лампой
и медленно лушил орешки
ядренных истин. А кругом
птенцы веселые резвились,
и одинокий пролеталец
кричал: «Пора!.. Настала осень!..
На юг!.. На юг!..» И улетел

в окно. У нас июнь. Профессор
открыл пошире обе рамы.
Стучал будильник о решетку
железным клювом. На стене
в стеклянной клетке птица Гете
чуть слышно пела по-немецки,
и по-английски птица Байрон
ей отвечала сквозь стекло.

И птица Хлебников свистела,
и птица Гельдерлин звенела,
и, заглядевшись на окошко,
молчала птица Пастернак...

Поздний перелет

Стоит июнь. С утра до ночи
летит на землю тощий дождик.
Висит над вымокшим газоном
дурман проснувшейся травы.
У нас на кухне, между окон,
соседки держат голубенка:
он полинял немного к лету
и стал, как снег вчерашний, бел.

Вчера, вчера... Вчера лишь только
я целовал твои ладошки —
сегодня на моей ладони
пора читать следы судьбы:
как будто птица постояла
одною лапкой — и взлетела,
а на ладони — отпечаток,
как на снегу или песке.

Вчера я видел: птичья стая
куда-то к северу летела.
Пожалуй, время перелетов
уже закончилось. Она,
как я, от времени отстала
и наверстать стремилась лето.
Я не стремлюсь: я днем вчерашним
еще живу, еще дышу...

Вчера я был в гостях. Профессор
сидел, нахохлившись, под лампой
и медленно лущил орешки
ядренных истин. А кругом
птенцы веселые резвились,
и одинокий пролеталец
кричал: «Пора!.. Настала осень!..
На юг!.. На юг!..» И улетел

в окно. У нас июнь. Профессор
открыл пошире обе рамы.
Стучал будильник о решетку
железным клювом. На стене
в стеклянной клетке птица Гёте
чуть слышно пела по-немецки,
и по-английски птица Байрон
ей отвечала сквозь стекло.

И птица Хлебников свистела,
и птица Гельдерлин звенела,
и, заглядевшись на окошко,
молчала птица Пастернак...

Где ж ходит он, веселый Дидель?
 Давно в Тюрингии медовой,
 давно в Саксонии сосновой
 травой тропинки поросли...

Профессор медлил. Понемногу
 он распахнул за клеткой клетку —
 и разлетелись наши птицы,
 и полетели кто куда.
 И птица Рильке взмыла в небо,
 и птица Брехт пропала в тучах,
 и опустилась на плечо мне
 седая птица Мандельштам...

Как шумно в мире! За стеною
 прошел на цыпочках котенок.
 В буфете звякнули стаканы.
 Из крана капнула вода.
 Профессор встал, расправил крылья
 и полетел вдоль книжных полок,
 и я, следя за ним, увидел,
 что он, как снег вчерашний, бел.

Меж тем, мои соседки кормят
 пшеном отборным голубенка.
 Мне пижут ворон и синица,
 и даже старый какаду.
 А ты, по-прежнему, — ни строчки.
 А куры, индюки и гуси
 уже с утра опять горланят...
 Ни рук твоих, ни губ. Тоска.

Пора! На улице все так же
 мурлычет дождик. Спозаранку
 проглянет солнце и начнется
 обычный день. Часу в шестом
 засвиристят в листе собратья.
 Ни губ твоих, ни рук. Пожалуй,
 пора на север. Догоню ли
 ту птичью стаю?.. Но куда,

куда же мне лететь?

Баллада о Максе Жакобе

Однажды французский поэт Макс Жакоб, по происхождению еврей, увидел на стене своей комнаты в Париже тень Христа. Кончалось первое десятилетие двадцатого века, время стояло апокалипсическое, знамения становились явью. Жакоб принял католичество, уехал в провинцию, долгие годы прослужил привратником в маленькой церкви, писал стихи, а жил на скромные деньги от продажи своих картин. Нацисты нацепили на него желтую звезду. Умер он в начале сорок четвертого, в концентрационном лагере.

1

Макс Жакоб жалеет жаб —
до чего ж уродцы!
Скрип и скрежет, хрип и храп
слышатся в болотце.
Пахнут ряскою ветра
на пустом пригорке.
У Жакоба до утра
свет горит в каморке.

Спит ограда. Спят кусты
у закрытой двери.
Спят могильные кресты,
как глухие звери.
Спят церковные ключи
на гвозде в каморке...
Что привратнику в ночи
делать на пригорке?

То и делать, что смотреть
на загривок жабий,
высунувшийся на треть
из болотной ржави,
да на то как грань о грань,
блик о блик дробится,
как вздымается гортань
у ночной певичцы.

Смотрит, сам тому не рад,
ревностный католик
на языческий обряд
этих жабьих колик.
Раздуваются тела,
ухает утроба —
и горит, горит дотла
сердце у Жакоба.

Но дается ж благодать
этим тварям слабым!
Да и как не распевать
прирожденным жабам,
да и как не заскрипеть
песенкой простою —
им по кочкам не сидеть
с желтою звездою.

2

Как-то раз пришли на двор
Ненависть и Злоба —
и с печальных этих пор
нет нигде Жакоба:
сгинул тихо, как возник,
легкий призрак плоти,
как последний жабий крик
в замершем болоте.

Жирной слякотной землей
след Жакоба впитан.
За колючей, за глухой
провоолокой спит он.
И в горячке просит пить,
и честит хворобу...
Десять дней осталось жить
на земле Жакобу.

И тогда он видит сон:
краски да треножник,
он еще в Париже, он —
молодой художник.
Юной кисти пыл и прыть,
вечность — на учебу...
Девять дней осталось жить
на земле Жакобу.

Выплывает, снам вослед,
из болотной жижи:
Божьей милостью поэт,
он еще в Париже.
И слова идут-бредут,
словно в такт ознобу...
остается пять минут
на земле Жакобу.

Наяву он, как во сне,
видит — ближе, ближе:
тьнь возникла на стене,
как тогда в Париже.

И уже плывет над ним
из дневного мрака
круглой каски черный нимб
по стене барака.

3

О, пророчество! Волшба!
О, начало века!
Все казалось: есть Судьба —
выше человека.
Под напором вещей строф
ежилась бумага —
поступь грозных катастроф
грезилась, как благо.

Но верней, чем Божья тень
на стене у Макса,
расползался черный день
над землей, как вакса.
И пока в глубинах строк
ворожил художник,
чистил тысячи сапог
дьявольский сапожник.

Но верней, чем Божий след
в памяти Жакоба,
нисходил на Божий свет
черный отсвет гроба.
И покуда растирал
стихотворец краски,
восходил на пьедестал
жабий абрис каски.

Это въяве, не во сне,
это в недрах быта:
на разрушенной стене
тенью тень покрыта.
Едким дымом скрыт зенит —
свету не пробиться:
что потомкам сохранит
эта плащаница?

...Спят ограда. Спят в ночи
травы на пригорке.
Спят церковные ключи
на гвозде в каморке.
Только жабы, как всегда,
тянут свой молебен...
Гаснет желтая звезда
на холодном небе.

* * *

Как начинался русский футуризм?
 Вот Лиля Брик когда-то написала
 о сестрах Синяковых. Пять сестер —
 девицы эксцентричные — в хитонах,
 с распущенными вечно волосами
 гуляли по украинскому лесу,
 пугая всю округу... Пастернак
 влюблен был в Надю, а Давид Бурлюк —
 в Марию, в каждую из пятерых —
 поочередно — Хлебников, Асеев
 женился на Оксане... Так возник,
 как весело писала Лиля Брик,
 в их доме футуризм.
 Начало века,
 приманивая, было втихомолку
 греховно, и за ширмою течений,
 литературных школ и живописных,
 стояла обнаженная царица
 и свой вершила легковесный суд.
 Так распадался символизм.
 Метался
 ревнивый Белый. Шел к дуэли Брюсов.
 И, губы сжав, пророчествовал Блок...

А где же наши женщины, дружок?

Кто будет музе верною сестрой
 и оживит безвыходное слово —
 безмолвная крестьянка на Сенной
 иль карлица, ведущая слепого?

В искусстве сходство каверзное есть
 с изысканной и милой одалиской,
 что дарит нам высокую болезнь
 смешав ее с постыдною и низкой.

* * *

Ты возвратилась в этот пасмурный,
 туманный город над рекою —
 с далекою пропиской в паспорте,
 с уже далекою судьбою.
 И юности твоей видения,
 и зрелости твоей приметы,
 как сфинксы возле Академии,
 возникли,
 выплыли из Леты.

Пух тополиный, пух малиновый,
 плывя под ветреным закатом,
 на яркий твой рукав сатиновый
 ложится тихим снегопадом.
 И, сев с тобою на ступени, я
 гляжу, как над мостом пустынным
 приметы эти и видения
 взлетают пухом тополиным.

Над нашей родиной асфальтовой
 лети, лети, не уставая,
 и все, что прожито, осматривай
 из окон старого трамвая.
 Лети, лети, покуда магия
 былого
 теплится в ладошке,
 лети на отсвет Исаакия,
 как мотылек на свет в окошке.

Оборотившись к жизни давешней,
 тебе я снова присягаю —
 на старой площади и набережной,
 вдогонку твоему трамваю.
 И юности моей видения,
 и зрелости моей приметы
 прозрачным пухом возрождения
 окутывают парапеты.

Глебу Семенову

Глеб Сергеевич Семенов
 на крыльцо выходит рано
 посреди осенних звонов
 и эстонского тумана.
 Как под гулкий купол храма,
 он под ветви леса входит.
 Что он делает так рано?
 Он Хайяма
 переводит.

Под ногой бурчит болото,
 паутиной полон ельник —
 все пророчит, что работа
 вновь не даст ни благ, ни денег.
 Но мудрец восточный бродит,
 как вино по жилам, яро, —
 и, хмелея, переводит
 Глеб Сергеевич
 Омара.

Прибалтийской влажной далью
мчатся кони из тумана,
и ладони режет сталью
жаркий ветер Хорасана.
За грядущее расплата —
этих строк скупые крохи.
Сладким ядом рубайята
переполнены
эпохи.

На гончарном быстром круге
оседают дни за днями.
У столетий пахнут руки
медом, кровью и цветами.
Но душа весомей плоти,
тише вздохов, громче стонов...
Не случайно ходит-бродит
Глеб Сергеевич
Семенов.

Памяти Татьяны Григорьевны Гнедич

Белый Зал холодит со двора.
Танцевальные здесь вечера
панихидою можно с утра
замещать по обычаям местным.

Вы отправились в путь налегке:
перевод на опросном листке
не заметят в пустом узелке
на последнем досмотре небесном.

Вместо послесловия

И вот они выплывают из прошлого —
«сайгонские» завсегдатаи:
вздохмаченные, небритые, вечно поддатые,
канувшие в Лету и вынырнувшие из Гудзона,
приглаженные, стриженные, вроде газона,
но по-прежнему непреклонно пьющие
и на всю нашу жизнь со своих небоскребов плюющие.
Правда, при ближайшем рассмотрении
небоскребы превращаются в довольно приземистые строения,
в подвалы, в каморки, в квартиры,
правда, с едой в холодильнике и мягкой бумагой для подтирки.
А бывлые собрания и выклянчивания мелочи
превратились в мелочь собрания и выклянчивания былого,
из которого умеючи
можно извлечь два-три свежих слова.

Но все остальное — по-прежнему там,
в шестидесятых-семидесятых,
и память ведет этих стриженных, гладких, поддатых,
возвращая к насиженным с детства местам,
где стакан бормотухи заедали пирожками с повидлом
те, кто были быдлом,
а стали мидлом.

1991

В КРУГУ САЙГОНАВТОВ 1980-е



Дмитрий Шатин. Завсегдатаи кафе «Сайгон» 1980-х.
Картон, масло

АННА ГОРЕНКО*

в городе где темные соборы
где зато блестящие газоны
я фаянсовый стакан позора
жадно выпив встала у Сайгона
кровельным железом смотрит небо
не мечтаю жребия иного
я любая справа или слева
от ворот прекрасного Сайгона

АНДЖЕЙ ИКОННИКОВ-ГАЛИЦКИЙ

Я выросал в Таврическом саду,
где сонм деревьев и чаши над водами,
где серый свод в шампанском и во льду
преображён осенними прудами.

Я выросал как некий юный древ
среди страны сиреновой и синей.
Был для меня ограды чёрный трэф
и строгость искривляющихся линий

аллей. И их мистический клубок
к моим ногам — резным спадал каскадом.
Здесь обитал какой-то тайный бог
и притворялся воздухом и садом.

1981

С оконцем спал и в улицах ходил
до фонаря где темень а наутро
стихи сплетя к ней в дом стучал как жил —
не вышла в дверь безбровая Лаура.

Бежал долой до точки до стены
до фонаря проспался у кладбища
потом увидел небо у спины
вернулся в мир пил как на пепелище

И жил и ждал влюблялся наповал
кричал стихи у города и в урны
протяжно пил под фонари блевал
с оконцем спал и не имел Лауры.

1981

* Печатается по: Горенко Анна. Праздник неспелого хлеба / Сост. Е. Сошкина и И. Кукулина. Подготовка текстов Е. Сошкина и В. Тарасова. — М.: Новое литературное обозрение — 2003.

На берегу Обводного канала
где мостовая плечи наклонила
Вы шли и шли и осень окунала
деревья рук и ангелов кормила

На берегу в венце волос марина
Обводного канала — так желанна
Вы шли и шли как давняя Мария
где мостовая дивная поляна

Вы шли как чаша: солнце в Вас лежало
на стеблях ног подсолнечник любить
в котором пальцы осень огружала
и изучала быть или не быть

Она из рук для ангелов мадонна
и горечи младенец не курил
а дальний Бог склонял себя на лоно
склонял себя и осень говорил

И говорил вот линии канала
и мостовая плечи наклонила
и как Вы шли и осень окунала
деревья рук и ангелов кормила

1981

Я играю на скрипке.
Луч в ладонях играет.
Я в крылатке и в шляпе и в нимбе,
И внимают мне — камни внимают.

Я по виду никто — или кто неизвестно по сути.
В круг от ламп никому незнакомый войду я
пальцы струн целовать. Ты фиалка и кудри в вельвете.
Двери в рай приоткрыли — и дует.

1981

ЕВГЕНИЙ МЯКИШЕВ

Песнь о злющем Олеге

Композит'р Лев Толстой, любопытством и жаждой снедаем,
Окунулся в «Сайгон» перед тем, как пойти на ночлег.
Там сидел Самуил, разговоры ведя с негодяем,
Африканским красавцем по имени Юрьев Олег.

Там Фаина Семёновна, женщина лет неизвестных,
 Подле Юрьева стлалась, беззубой улыбкой шурша,
 Предлагаая, должно быть, занятие одно не из лестных...
 Юрьев думал: «Безумна, но, мать её, как хороша!»

Там тобольский тапёр, потаскухе велел потесниться,
 Перед Юрьевым ткал восклицательно-лживый «привет»,
 Костромской царь Борис изгибался хромой поясницей,
 И вовсю козырял молодой, пришибевский мент.

Скверно было в «Сайгоне» — не кофе, а чай с нифелями
 Подавали в обнос. Пар зелёный коптил потолок.
 Композит'р Лев Толстой, заказав индюка с трюфелями
 И бутылку «Перно», неприметный, прошёл в уголок.

Был красавец взбешен, но, однако же, виду не подал
 Только губы кривил и сияющим оком дрожал:
 «Почему Лев Толстой, композитор, мне руку не подал,
 Почему ниц не пал, а приблизившись — не задрожал?»

А Фаина Семёновна строила Юрьеву хари —
 Злобно оной отвечивал: «Прочь, ныне я усталой!
 Что-то больно безрадостно лазить по питерской шмари...
 Угости, Самуил, меня кофеем и пастилой!»

И дрожал Самуил, и лобзал африканские пятки,
 Но, возвысив белёсую длань над постылой толпой,
 Прорычал африканец: «Он смеет играть со мной в прятки!
 Приведите его — где старик, композит'р Лев Толстой?»

Встрепенулся «Сайгон», зароптали от стара до мала,
 Царь Борис подъялдыкнул: «Толстой-то пропал, а не пан!»
 Навоострил нюх тапёр и, змеинное высунув жало,
 Худосочной рукой Льва Толстого схватил за жупан.

Композит'р Лев Толстой посмотрел на тапёра сурово,
 Полной жменей черпнул с пола склизкого всякую грязь
 И, к Олегу приблизившись медленно, буркнув «Здорово!»,
 Залепил африканцу злодейски сияющий глаз.

Так вот, встретившись странно, тотчас же пошли восвояси —
 Композит'р Лев Толстой, сев в авто, укатил на ночлег,
 А красавец Олег, отряхнувшись от всяческой грязи,
 Понял с ужасом, что он не Вещий, но Юрьев Олег.

1980-е

я привык, и порой, стоял, забывшись, битый час — иногда в окошко глядя,
иногда утыкаясь носом в книжку.

Думал я о Лермонте.

Не Георге,
что сражался с шекспировым Макбетом.
О пророке тринадцатого века

думал я, о поэте легендарном,
предке этого самого Георга,
и как Лермонтовы думали — их предке.

Сам-то я особых предков не имею,
вот и думаю о тех, кто «побогаче»
в этом смысле.

Тот Лермонт, поэт шотландский
был когда-то в незапамятное время
уведён от (житейского кошмара,
вероятно), в страну волшебных эльфов,
так и стал он пророком легендарным.

Вот и Лермонтов был пророк, конечно, никакого сомненья быть не может.

Так стоял я и думал на «Сайгоне».

На столе остывала чашка кофе,
а сквозь шум керамической посуды, общепитовских ложечек, стаканов
посещали меня другие звуки,
голоса окружали и виденья.
Так случилось с поэтами в то время,

да быть может и сейчас оно бывает.

Что попишешь: достанет вдохновенье — исчирикаешь и пачку «Беломора»!
Вот на ней я перьевой дешёвой ручкой
и записал подражание английской
симпатичной тогда мне балладе:

Первая строфа:

*Этот тип был в колхозе позорным пятном,
ненавистен, как вор и бандит.
Он исчез к сраным эльфам, и помнит о нём
только тот, кто без дела сидит.*

Почему из тринадцатого века барда я поместил в колхоз советский?
Почему мне казалось в эту пору,
что пишу я «одну и только правду»?
Почему в день рожденья Михаила
дорогого мне Лермонтова глупость
мне такую фантазия *приснила*?

Вот чего я не ведал в ту минуту,
так — ответов на эти все вопросы.

Помню только, я тогда раздухарился,
даже жарко мне стало, а погода
не была в это время слишком жаркой,
и в «Сайгон» всё время люди заходили,
открывали двери, сквозняки гуляли,
я ж вспотел и вёл себя как безумный:

разодрал я свою пачку «Беломора», папиросы рассовал по карманам,
не подумав, что, увы, половина просто высыплется в эти карманы,
и чирикал я на пачке, и чирикал:
поначалу изнутри, там, где чисто, выводил я мелких букв вереницу,

а потом дошёл до карты на пачке,
поползли мои буковки чернильные от Москвы до Белого моря.

Всю тогда исписал я пачку бедную,
никакого на ней места не осталось,
и на карте беломорского канала
негде зеку было и сапог поставить, чтоб на буквах моих не потоптаться.

Текст, признаюсь, получился «не слишком»,
но, однако же, запал в мою душу,
так что помню до сих пор, а уж лет-то с той поры поубежало ох нехило.

Вот начало моей скомканной баллады:

Начало, написанное на внутренней стороне пачки «Беломора»:

*В одном из колхозов в октябрьский день
родился под кустом
у эксзавптицефермой
характером скверной
злодей, что назвал себя Том.*

*Та эксзавптицефермой
такой непомерной
наглостью поражена:
На седьмом-то десятке, смеётся, ребятки! —
Она старая дева, ни в чём не грешна,*

*родилá же, когда по известной нужде
под кусток примастрилась.
Ну, ни хрена!..*

Написал эти строфы я помельче,
на внутренней стороне в картонку превращённой пачки «Беломора»,
но на ней уже места не хватало,
так что я перевернул её и начал

текст дальнейший на стороне наружной, сочиняя, записывать. Да только я, пока переворачивал пачку, позабыл тот размер, в котором начал сочинять, и продолжал в другом размере, на обычный ямб с трёхсложника свалился, хоть и был ни пьян в тот день, и ни обкурен. Сам не знаю, почему. Тот текст с наружной стороны «Беломорканала» пачки ниже я привожу без изменений (у меня эта пачка сохранилась в том же Лермонтова, как цветок засушенный. На ней выцвели, увы, все чернила — эти, помните, в баночках пузатеньких продавались? Быстро выцветают, всё равно разобрать пока что можно текст корявый).

Запись на внешней стороне пачки беломора:

*Один из «гулевых» парней,
в чью глотку хоть всю брагу слей,
привычной «странною» походкой
рванул за восемь вёрст за водкой.*

*За водкой, Бог его простит,
к ней был у парня аппетит.*

*.
понеже русская душа
с её загадкой мигом стухнет,
как только продащица бухнет,
мол, водка аллес, кореша.
А вот шотландские верзилы,
которых она душа
за что-то очень полюбила, —
не пьют, блядь, водки ни шиша,
перегоняют хлеб в мочу,
я ЭТО нюхать не хочу.*

*Но я отвлёкся. При дороге
гулёна мой вдруг видит ноги
в кустах. Но чьи? Поющий звук
из-за кустов раздался вдруг...*

*И мало этого: озёра
открылись взору бузотёра,
а там озёр, он знает, нет.
Подумал на похмельный бред,
щипнул себя. Мираж пропал.*

*Притопнул, фыркнул, постоял
минуты две. Потом раздвинул
кусты... Да шапку там и кинул
(сама свалилась) А герой
поспешно скрылся под горой.*

Вот такое на пачке «Беломора»

написалось на едином мною вздохе.

После этого отвлеклось внимание

вот на что: кто-то у дверей «Сайгона»

на каком-то деревянном инструменте, а скорее всего что — на гобое,
стал наигрывать с тоской «Should old acquaintance

be forgot». Я заслушался — и пачку

всю исписанную из-под «Беломора»

сунул в джинсы.

Тогда мы все носили

совершенно уёбищные джинсы,

не похожие ни на Леви Страус,

ни на что, а на — половую тряпку. Кто тогда их кроил в Стране советов,
я не помню, прошло уж лет немало.

Но опять я отвлёкся.

Гимн шотландский

ностальгический сбил меня с размера

в третий раз, я забыл четырёхстопник...

Чудеса, ведь «Онегин» им написан!

Как забыть его можно — непонятно.

Тут подъехала машина ментовская,

музыканта увезли с гобоем

(может, был он и обдолбанный, конечно).

Я ж пошёл, себе выклянчил салфетку и продолжил писание баллады.

Та салфетка у меня не сохранилась,

но вот текст я запомнил на память:

я писал о том, что было за кустами,

от чего тот алкоголик испугался,

и причём я вот что помню: картина

очень яркая была перед глазами,

потому я записал всё так быстро.

Привожу и этот текст. Ознакомьтесь:

Запись на салфетке.

без того, чтобы Босха на чай не позвать,

что там было в кустах, мне не нарисовать

Босха я попрошу, съев по бублику с ним:

«А возьми-ка ты кисть, братец Иероним!

Холст грунтуй, да пиши, как, на остром суку

пропоровшись, спит ведьма с дыроу в боку,

и ползёт муравей по её языку,

а, раздвинув усиьем морщинистый зад,

из него головёнка и ручки торчат,

и волынка в руках у сиротки

источает волшебные нотки.

Вы бы знали, дорогие читатели,

а особенно, читательницы, ужас, мной испытанный при зрелище картины,

что увидел я и записал буквально на обычной салфетке из «Сайгона».

Тут смотрю я: прямо между прохожими маршируют чугунные памятники.
«Среди них довольно много незнакомых», — я отметил, а потом перепугался.

Я узнал Крылова памятник, и Пушкина, Грибоедова, конечно: ведь родился
я и молодость прошла вблизи тех мест,
где сидит Грибоедов из металла.

Маршируют металлические памятники,
между прочим, напрямик к дверям «Сайгона», у которых я стою, остолбеневший.

Что никто их не видит и ни слышит, ни один пешеход не замечает,
я уже говорил, но, для порядку,
повторяю.

Они к дверям подходят,
и металлом сильно пахнут горячим. Тут Крылов мне протягивает руку.

Говорю я: «Добрый день, Иван Андреевич», —
а в голове цитата пушкинская крутится.
(Кстати, Пушкин стоял с Крыловым рядом.)
Я набрал в грудь как можно больше воздуха,
руку подал бронзовому дедушке,

и промолвил: «Вот что значит “тяжело
пожатые каменной его десницы”!»
И чугунным смехом рассмеялся памятник Александра Сергеевича Пушкина.

Все вошли. Голова моя кружилась, я не очень хорошо припоминаю.
Помню: очень много бронзовых скульптур собралось, стоит у столиков знакомых,

Эрмитажные мраморные грации носят маленький двойной чёрный кофе.

Как обычно, стало шумно в «Сайгоне», хоть людей ни одного там и не было,
словно мир людей, хоть в окна и видимый, не соприкасался с миром кофейни.

Я подумал: «Ну а я что тут делаю»?

Постучал Иван Андреевич Крылов
по стакану тут ложечкой чайной,
и настала тишина.

«Милый Миша», —
начал речь свою Крылов Иван Андреевич, —
«Милый Лермонтов, родившийся сегодня! Мы решили тебе сделать подарок,
и от нашего, как нынче в Петербурге
говорят по-ленинградски — коллектива, — в новомодном жанре выступить собрались.

Этот жанр сочинили студенты,
и у них он называется «капустник».
Ничего в нём серьёзного нету,
просто шутка, подарок к дню рождения!

Эти нынешние наши потомки,
как кого-то собираются поздравить

с юбилеем, всегда его играют,
этот самый диковинный капустник.

Смысл простой: что берут они сюжеты
все известные, песенки те самые,
что присутствующие отлично знают,
фантазируют немного по теме,
и какой-то спектакль, шутливый, лёгкий
представляют «дорогому юбиляру».

Вот и мы (не скажу, кто конкретно) шутку выдумали Мише на забаву
и решили для потехи представить,
что бы было, если б предок легендарный
твой, Шотландец, Миша, нынче родился, в это нынешнее грустное время».

Раздались такие тут аплодисменты, что я чуть не оглох от скрежетанья.

Но Иван Андреевич поднял руку,
все затихли, и продолжил он важно:
«Как ты, Миша, сам, конечно, понимаешь, чтоб тебя развеселить
в твой день рождения,
каждый сам хотел придумать капустник,
а другому не давал молвить слова».

Рассмеялся тут памятник Лермонтова.

«Александр, например, Пушкин, милый
и любезный друг на каждом застолье
чуть с иными не поссорился даже».

Тут расхохотался памятник Пушкина.

«И тогда пришла идея нам такая:
чтобы нам между собою не спорить,
подберём-ка дурака поглупее,
чтобы в рифму мог писать, да и только,
был безграмотен, не шибко способен к философии, но с воображением.

Пусть напишет нам сценарий капустника, а уж мы его сыграем по-свойски,
никому тогда не будет обидно».

Я, скажу вам честно, сразу не понял, про какого дурака говорится,
а когда сообразил, чуть не заплакал, и так страшно запылали мои уши,
что казалось — останутся ожоги. Между тем Крылов сказал: «Нам попался
по случайности какой-то чистейшей —
некто Ладогин, поэт-недучка, отслуживший только воинскую службу.

Этот Ладогин старательный малый,
он исписывает много салфеток, папиросных пачек, старых газет,
сочиняя вдохновенные вирши.

Почему он ведёт себя так странно?

Потому что ему лень купить тетрадку,
вся цена у которой две копейки.

Мы воспользовались нужными связями,
с тем, кого здесь называть я не буду, потому что и так поймёт, кто нужно,
и те самые, кого не назову я,
ниспослали крошке Ладогину грёзу о сюжете капустника весёлого.

Наш пиита даже начал записывать эту грёзу, как умел. Но утомился.
Впрочем, это неважно. Мы уж как-нибудь по канве сочиним стихи и сами.

А сейчас, — позвенел Иван Андреевич
снова ложечкой в стакан, — пускай нам Ладогин
прочитает вступление к капустнику».

<...>

Зашумело кафе монументальное,
и просторные окна засветились. Эрмитажные грации-разносчицы
кофе подали поэтам в дымных чашках.

Замелькали бронзовые руки.
Очень многие помешивали сахар, потому что любили кофе сладкий
вопреки всем сайгоновским идеям,
что приличные люди сладкий кофе
никогда ни за что любить не могут, ибо сахар в кофе — признак бескультурья

и к священному напитку равнодушного,
непочтительного, злого отношения.

Расскажу о том, чем был изумлён я:
В годы те, восьмидесятые, проклятые
был живёхонек, скитался в эмиграции классик Бродский Иосиф Александрович,
петербургский кумир, и уроженец, сноб, любитель Васильевского острова,
ученик Е. Рейна и Ахматовой.

В эти годы ему жилось неплохо,
и воздал ему Господь за раны, нанесённые жестоким отечеством,
более или менее спокойствием.

Я увидеть никогда не рассчитывал своего земляка на грустной родине:
ни на Невском, где (угол с Михайловской) выпивать любили «сироты Ахматовой» —
так прозвали их шутники, Ахматова называла их Анна Андреевна
по другому...

да, так вот, не рассчитывал
ни на линиях Васильевского острова я увидеть поэта бессмертного,
и нигде. Совсем нигде в нашем городе.

И в Америке увидеть не рассчитывал
я его. Ведь его туда выгнали, а меня не выгоняют, как увидишься?

Каково же моё было изумление,
когда вдруг за стол к Владимиру Семёновичу (тот покойник был) Высоцкому — памятник
с чашкой кофе Иосифа Бродского как ни в чём не бывало становится.

И подумал я тогда опечаленно: вот что значит быть прижизненным классиком — жив-то жив, а только мёртвые вокруг тебя.

Грустно стало мне. Но перерыв закончился, и Высоцкий Владимир Семёнович мне помог громогласной гитарой спеть о первых шагах персонажа

древнекельтского в русском колхозе, их «окна в Европу» к нам во двор упавшего.

Под аккомпанемент Высоцкого Ладогин поёт:

Растёт Лермон по имени Том, и советский колхоз превратился в Содом: уродлив Лермон, неряшлив Том, он — страшный шалопай. Рубаха торчит у из евовных порток, старушонка кричит: «Заправься, внучок», — но только скалитися мерзкая тварь, пугает старух негодяй.

<...> На «Сайгоне» давно настала полночь. Засветились крупные звёзды. Небо синее было, вспоминаю, без единой тучи, мягкое, как бархат.

Так бывает красиво в Ленинграде, будто мир какой-то ненастоящий: Звёзды бродят по небу хороводом и поют вокруг полумесяца-молодца. Окна точно удвоили прозрачность, тишина любой окутывает звук, так, что все звуки в ней, как в мягкой ткани, гаснут. Непередаваемое время наступает иногда в Ленинграде, так, как будто город — это душа, дышащая неземным настроением.

Ничего подобного ни до и ни после нигде мне не встречалось, так что думается: это иллюзия, что бывает такая погода. Но опять я дома бываю, и опять случится иногда бархат времени. Тогда-то я и вижу, что на самом деле это свойственно моей родине над серой Невою, в дрёме дышащей под небом ночным.

Наступила ночь, и я зазевался (вероятно, подустал). По привычке я скользил уже рассеянным взглядом мимо памятников: смертный на Олимпе, если уж попал, не сможет постоянно удивляться — так и сяк привыкнет. Овладела мною сладкая дрёма, забытье меня приятное окутало, начал я виденья всякие прелестные уже видеть.

Вдруг мне дали подзатыльник:

«Ты чего тут засопел, приятель носом», —

говорит мне Барков Иван Семёнович.

«Да, — Крылов ему в тон, — говори же, ну? — какая там идёт дальше сцена?»

Отвечаю им, зевая: «Дальше сцена превращения кобылы в красавицу». Поднимается Борис Леонидович Пастернак (забыл сказать, я всё время сообщаю «имярек поднимается», потому что все сидели там на корточках, по-хипповски у стен, когда устанут).

Пастернак же выходит, руками музыкальнейшими мною дирижируя, рядом встроился, конечно, Северянин, и зачем-то Михаил Ломоносов

с Заболоцким,
и такой у них квартет состоялся:

Ладогин и Северянин, дирижируемые Пастернаком:

Когда истошность дня закатом взмандаринилась,
вздохнула лошадь: «Наконец отвалентинилась», —
и в стойло, к яслям привели её, чтоб там
окончить день не без внимания к овсам.

Темнело. Лошадь одинокая стояла.
Вдруг чудо началось, она вся задрожала,
на задни ноги поднялась,
и всю шкурой затряслась.

И на дыбах оскал её ужасный
боль выражал,
копыта захрустели, хвост бедняги задрожал,
глядел ей в очи месяц яростный и ясный,
и вдруг он, ясный месяц, как кинжал
спустился вниз и шкуру ей вспорол!
Гремел при том над нею звёздный рок-н-ролл.
Упала шкура вниз, и мясо лошади кровавое
предстало месяцу.

Но пенистой отравой,
подобной перекиси водорода,
плеснули звёзды.

Изменилась лошадиная природа.
Атласной кожей обросла
краса, природы совершенство,
на голове волосы роились без числа,
в лицо вдруг морда изменилась,
звездам красавица явилась,
копыта стали туфлями на шпильках,
и воссиял огонь её очей,
она вздохнула, потянулась, улыбнулась
и засмеялась смехом, звонким, как ручей.

Слушал-слушал Крылов Иван Андреевич нашу шуточную импровизацию,
слушал-слушал да, высморкавшись, крикнул, и сказал нам с нешуточной досадою:
«Эх, друзья мои, младшие товарищи, не про вас ли случайно басня писана:

«А вы, друзья, как ни садитесь,
всё в музыканты не годитесь».

Ну-ка, знаете что, отойдите к стеночке, покажу я вам, как регулярный ямб
разностопный можно здорово использовать,
чтобы, разной ахинеи не выдумывая,
тем не менее сказать по сути дела,
не кривляясь, здраво, ясно, солидно!
Что там, Ладогин, рифмач ты недоделанный дальше следует за сцена в капустнике?»

Отвечаю: «Дальше сцена с медным зеркалом, совещание с эльфом мифическим
превращённой в красавицу лошади».

«Что ж, дружок, поди сюда, повторяй за мной», —
говорит Крылов, и я его послушался:

Ладогин повторяет за Крыловым так, как расслышал:

Скажу вам, господа, что не любой сам знает:
и будет о кобыле речь моя,
котора под седлом. Да-да. Открою я,
что не всегда она кобылою бывает,
День солнечный пока,
так мчит скотина кагэбэшна седока,
казнит да милует, на письма отвечает,
народного врага лягнёт, когда серчает,
но токмо солнца свет
исчез в ночи и — бац! — кобылы нет:
устав весь белый день под седоком носиться,
любезно ночью ей в красотку превратиться,
чей волос кудреват без всяких бигудей.
Да вот ещё: есть зеркало у ней,
закопанное аккуратно в сене.
Устав от треволнений,
в то медно зеркало она всей грудью дышит,
и зазеркальный эльфов царь кобылу слышит
и к ей идёт.

А он, уж прямо скажем, не урод,
а вовсе молодец кудрявый,
и тут она в стогу сенца
кудрявого примаёт молодца,
и сладкой оба тешатся забавой
до утраца.

И так же в этот раз:
как только всяк закатный свет погас,
спешит с дружочком лошадь повстречаться,
да говорит: «А дай, мой свет,
ты девушке совет,
как нужно мне с поэтом обращаться,
котор,
когда приветлив взор,
то сам хорош собою,
а смотришь зло —
и тварью стал он злою,
такою страхолюдью, хоть умри».
И был совет: «Так что ж, приветливей смотри»!

В грое бронзовых аплодисментов страшных потонул конец крыловского рассказа,
а однако ж он по-дедовски отвесил подзатыльник мне, певцу горемычному,
и сказал: «Глуховат ты, однако! Вместо точных рифм глагольные лепишь.

Ну да ладно уж, что вышло, то и вышло».

Я вздохнул, почесался да, насилу улыбнувшись, сказал в полный голос:

«Господа поэтов бронзовые памятники,

не угодно ли вам в следующей сцене разыграть присутствующих роли, чтобы действие было понаглядней».

Тут же двое в балахоне белой лошади (кто такие, неизвестно, но — железные) говорят мне голосом таинственным, своего не открывая инкогнито, а приплясывая театральной лошастью, и хвостом крутя, и гривой махая: «Чур, мы будем играть в этой сцене лошадь белую, Звезду Аделаиду, что в миру Валентина»! Все захлопали.

Подошёл тогда я к Александру Пушкину и шепнул ему свою просьбу на ухо, улыбнулся Александр Сергеевич и сказал: «Вы, Михаил, не откажите нам и сыграйте предка своего шотландского в пародийном весёлом капустнике». Мрачно Лермонтов кивнул, согласившись.<...>

Все столпились бронзовые памятники, всем спектакль увидеть интересно, открываются двери, входят с Невского тяжким шагом новые и новые, им артистов из-за голов не видно: «Расскажите, — просят, — что там? Что там?» И приходится, конечно, им рассказывать, Михаил же Кузмин мне помогает (чем-то я ему, знать, симпатичен).

Ладогин и Кузмин:

Печально Лермонтов сидит:
он не играл ролей доселе.
Со вздохом нервно теребит
усы. Волынку взял. Вспотели
б ладони, если б не металл.
Вздохнул поэт и заиграл.
И с отвращением к своей
постыдной роли негодяйской
Шаламов морщится. И Евой райской,
чей змеем не украден стыд,
лошадка белая стоит.
...Итак, господа,
разрешите начаться парад.
Вы услышите женскую правду,
истину с лошадиным лицом,
это плата за сбрую дневную,
за седло, и за шпору стальную,
за службу конька-горбунка,
месть тебе, комитетчик душный,
за твоё «пасифайство» в конюшне...
Что, Барков «хахаха»? что «хаха»?

Рассмеялся Барков Иван Семёнович изящному слову «пасифайство»:
«Пасифайство», хохочет, — «пасифайство! Назовите ещё «екатеринство»!
Просто с лошастью ебля на конюшне! Да! Банальнейшее кобылоёбство,
комитетское скотоложе блядство рысачиху орловскую достало,
надоело бедняжке быть кобылой, что и ездят на ней верхом, и в стойле
норовят ей хер впердолить комитетский с приапическим хамством и напором».
Перебил тут смех похабный Ивана приапического нашего Баркова
сердобольный и ласковый Валерий Брюсов с чёрной демонической бородкой,
он откашлялся, пенсне поправил пальцем и сказал: «Иван Семёнович, позвольте...

Вспоминаются, друзья, мне, и коллеги, вот какие злые шутки бедных женщин: «Я и лошадь, я и бык» — они со злостью говорили о бабьей лютой доле. «Я и баба и мужик», — добавляли, а хотелось то, коллеги, им другого! Как хотелось им судьбы раскрепощённой, сладострастия роскошного, магнолий, иступлённых цикад, звериной страсти и белья из леопардовых тканей! Господа! Представьте бедную лошадь! Целый день на ней скакал комитетчик, ночью он её имел бесчеловечно... Загляните в душу лошади бедной, что вы думаете, в той душе творилось?»

«Месть Медеи там жила. Месть Медеи, — тихо Анненский сказал Иннокентий, — превращалась она в женщину в полночь, мстя за муки скотоложцу усатому, и пускалась во все тяжкие». — «Тише, — их прервал Крылов, — волынка играет!»

И заиграла тут волынка, и, скинув свой лошадиный балахон мешковатый, предстали зрителям Марина и Анна, две великих поэтессы российских, что пробрались незаметно на капустник, а теперь всех удивили изрядно неожиданным своим появлением. Они приблизились друг к другу и будто слились в одно: в ужасный образ сапфический, поперхнулся именинник М. Ю. Лермонтов, но собой овладел моментально, лишь волынка заиграла позвонче, и сказал, роль выдерживая предка своего, шотландца, барда легендарного. Мне ж Кузмин помог, и в роли рассказчика я продолжил свою повесть печальную:

Ладогин с помощью М. Кузмина:

«Ты не бойся лгать, Анна-Марина, — дивным голосом исполина тучке Лермонтов говорит, — под волынку не удаётся лгать, одна лишь правда поётся, даже если сердце горит, и весь мир пылает от боли». «Называйте меня по роли, — отвечает А. А. М. Ц., — перестаньте усы ерошить. Вы забыли, я — Белая лошадь. Что за грусть на вашем лице, Михаил, ведь у нас капустник. Вы печальны, как первокурсник, не готовый к зачёту». — «Ах, да, — говорит рассеянно гений, —

лошадь, лошадь вне всяких сомнений.
Валентина...итак, господа,

Эта лошадь Звезда Аделаида,
а в миру Кобыла Валентина,
нам признается нынче во всём,
потому что под звуки волшебные
не солгать»...

И раздался сафический страстный голос, печальный, клокочущий,
заговоривший о любовниках многих
гортанным тембром, печальным и пламенным:
«Грешила с Пушкиным, грешила с Державиным,
грешила с Блоком, Пастернаком»... «Постойте же, —
я закричал, — забыли роль Валентину!
Вы ж кобыла! Вы ж Звезда Аделаида,
вы ж совсем не поэтесса древнегреческая!
Вы там грешить должны с друзьями комитетчика,
с ветеринаром, агрономом, трактористами
и с офицерами пожарной охраны!
Свихнуться должен комитетчик от ревности,
и всех в ГУЛАГ отправить!»

Сафо не слушала:
«Ещё грешила с королём царства эльфов, —
кричала Сафо, — и ночами с ним трахалась
вот через это вот огромное зеркало».
И, к зеркалу прильнув, гречанка задрожала,
зашлась в любовном испуге урчании,
раскрепощённо захрипела по-брюсовски...

Тут поднялся Крылов Иван Сергеевич и ко мне подошёл: «Тебе не кажется,
что спектакль наш сорвала бабья выходка?»

«Помогите, — я закричал, — поэты!
Помогите! Капустник наш срывается!»
Лишь поморщился Валерий Шаламов.

Со страшным грохотом из зеркала возникло
Лицо Тарковского, произнесся заклятье,
звучавшее как гром над штормовым
темно-зелёным морем Левитана.
Лицо сказало, привожу дословно:
«Свиданий наших каждое мгновенье
мы праздновали как Богоявление».

И только было произнесено
заклятье страшное, поднялся вал балтийский,
всё в раковинах, обнажилось дно,
ветр зарыдал, как Александр Вертинский.

А далее всё пошло, всё смешно:
Моллюск на берег выполз исполинский,

всосал в себя колхоз, акцент вождя грузинский,
день, ночь всосал, и сделалось темно.

Из клюва у вороны выпал сыр.
Грудь вспыхнула Звезды Аделаиды.
Дома горят, и жители убиты,
На элементы раскрошился мир.

Свиданий с эльфом каждое мгновенье
рождало адской бездны откровенье.

Во всём Лермонт повинен, пёс,
поэт проклятый.
Над пожаром олень серебряный нёс его куда-то...
В далёкий край, к горе Машук,
в немые дали...
Я аплодировать прошу —
мы всё сыграли!

Посмеялись все и начали прощаться,
я ж спросил их: «Будет ли награда»?
«Сам увидишь», — ответили мне памятники...

<...> Я очнулся в «Сайгоне». Было утро. В синем небе облака гуляли плотные.
Били солнца октябрьского лучи в золотистые огромные окна.
Люди кофе пили. Рая варила. Почему-то мне казалось — много воздуха
этим утром было там. Не по-октябрьски. И казалось мне — сквозь некую дымку
различаю я будущее. Адский триптих Босха
на детали распался мозаичные, и из крошечных деталей того ада,
называвшегося родиной моей, развитым социализмом распрекрасным,
пьяным, ушлым, неискренним, гниющим,
из деталей этой адской мозаики уже новая сложилась картина:
эра новой комсомольской демократии,
где ворюге быть на месте кровопийцы.
Отмахнулся я от будущего в дымке и пошёл себе заказывать кофе,
очень маленький двойной и без сахара.
Это прошлое. Не бойтесь. Это прошлое.
Это прошлое, ступая в настоящее, умирает и становится буквами,
покрывающими саван забвения.
Или примет вид капустаника весёлого,
так что спросит молодёжь: «А о чём это»?
— Ни о чём, пожалуй, — я скажу беспечно. —
Вещь пустая.

ДМИТРИЙ РАСКИН АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

* * *

Есть на Невском уголок, заведение-кафе.
 Там порхает эйфория о Париже мысль лелея,
 Обпиваясь грязным кофе, под эгидой сладострастия.
 Постепенно растворяясь в атмосфере заведений.
 Много разных сцен публичных видели столы и стены:
 Композиторов, поэтов, алкоголиков подпольных
 Или может быть бандитов?
 В вестибюле греют тело изошрённые гражданки,
 Измождённые богини дремлют в смраде испарений,
 Провожая взглядом женщин.
 Чистоты там нет, порядка!
 Там Лисой везде воняет
 Или может быть жуками?
 О политике захлёмом рассуждают проститутки-
 Одураченные птицы, перекошенные куклы.
 О ближайших рок премьер, в представленьях Ленконцерта,
 Говорит мажор соседу престарелому дизезу,
 Замышляя фарцеванье.
 На цепи от унитаза скачут панки из рок-клуба
 И фашисты в длинных платьях на высоких каблуках.
 О последних достиженьях авангардно-пианистских
 Говорила группа старых обновлённых музыкантов,
 На наркотики похожих. Или может наркоманов?
 Есть на Невском уголок, заведение-кафе...

18.04.1983

Ленинград

ДМИТРИЙ РАСКИН

Вспомни

Выгнули спины мосты и машины.
 Пыльных зеркал отраженья кривые
 Корчат гримасу витрине напротив.
 Тише!
 Оттуда, где по морю гонится стая сирен,
 И мчится, играя волной, сокровенная Дева морская,
 Люди, гробниц истощив золотые запасы,
 В долину ушли, оставляя в веках
 Лабиринты накопленных знаний.

Благо и Цель будут названы вздором столетий.
 Будут малы составители новых историй.

Дно в небесах обнаружит старик,
 Сочиняющий ночью романы,
 Сон, вспоминая о флейте продольной,
 Квадратной, угольной.

Сентябрь 1982. СПб.

УМКА (АННА ГЕРАСИМОВА)

Маленький двойной

Холодной питерской весной
 Ты шел по улице сквозной,
 Промок, продрог, зашел в «Сайгон»
 И взял себе очередной
 Маленький двойной,
 Маленький двойной.
 Стоял, смурной, с больной башкой,
 И тупо пил очередной
 Маленький двойной.

Мир показал пятак свиной,
 Мир обернулся войной.
 Пожар, потоп, и кровь, и гной,
 А ты стоял к нему спиной
 И тупо пил очередной
 Маленький двойной.
 Стоял к живущему спиной
 И тупо пил очередной
 Маленький двойной.

«Сайгон» «Сантехникою» стал,
 «Сайгоном» быть перестал,
 Потом попсою засвистал
 И Пугачевой достал,
 А ты, наверно, все проспал,
 Потому что устал,
 Лежал к живущему спиной,
 И спал, и видел свой родной
 Маленький двойной.

ЭНДИ

* * *

Пьян, накурен, сыт, устал...
 Уж кончается мой день!
 Плыть в мечтах не перестал,
 Воплощать их сильно лень.



Энди

О монотеизме

И обрезан, и крещен,
 И в буддизм я посвящен.
 А ведь каждая букаха
 Все равно в руках Аллаха.

* * *

Вот и к нам пришла весна.
 Правда, календарная.
 Что же все еще пресна
 Наша жизнь бездарная?

Автоэпитафия

Выживая припеваючи,
 Пер любого веса крест.
 И выскальзывал играючи
 Из различных гиблых мест.
 (Кроме последнего...)

ПРОЗА

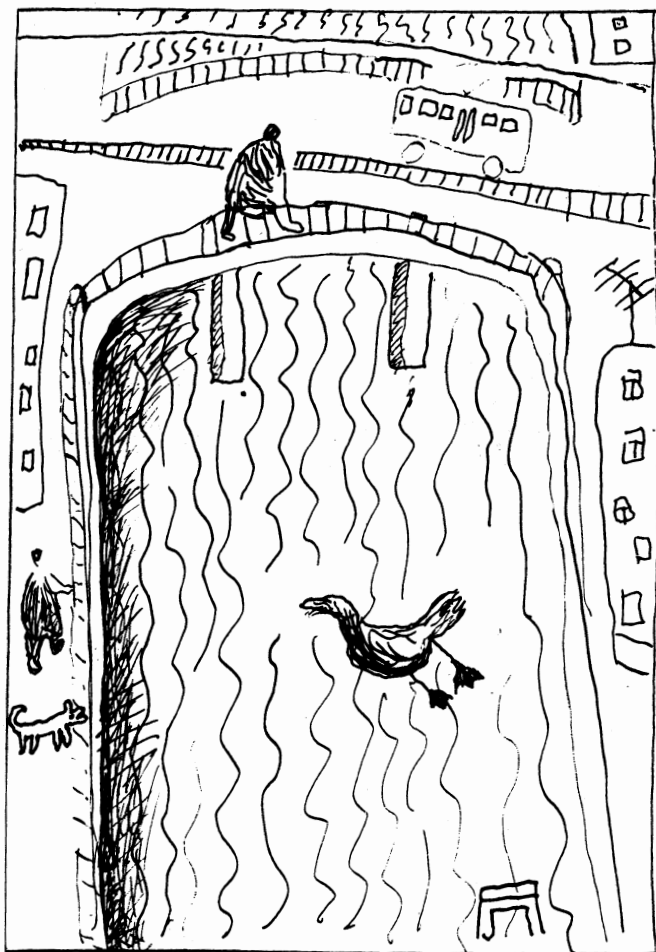


Иллюстрация Бориса Филиппова
к самиздатовскому сб. стихов Владимира Безродного

ВЛАДИМИР ЭРЛЬ

Про то, как Коля Николаев в каше сидел*

Рассказ пионера Саши Миронова

Сегодня у нас в лагере сварили кашу. Каша была манной.

После зарядки все пошли в столовую, и только тогда узнали, что на завтрак каша.

Я взял ложку и отковырял маленький кусочек каши. Я сунул её в рот, но сразу же пожалел об этом. Положив ложку на тарелку, я стал смотреть на Колю Николаева. Он сидел спиной к столу и держал за косичку Аню Снегину. Она сидела с открытым ртом и громко кричала.

— Николаев! Перестань безобразничать, — сказал вожатый. — Ты в столовой. Здесь надо кушать.

Николаев быстро повернулся к столу и сунул в рот сразу две ложки каши. После этого он застыл и стал пристально смотреть на жёлтую потёртую клеёнку. Но он жевал кашу и не глотал её. Это я точно знаю.

Искоса я посмотрел на Аню Снегину. Она тоже положила в рот кашу и тоже не стала жевать её. Но она и не сидела молча, как Коля Николаев. Она опять раскрыла рот, да так, что каша чуть не вываливалась из него, и громко закричала. Я очень испугался.

Вожатый строго обернулся и сказал:

— Николаев! Ты опять... — тут он осёкся и удивлённо спросил. — Снегина! Чего ты кричишь? Почему ты кричишь? А ты чего не ешь, Николаев, а?

Но Николаев не отвечал. Его горло как-то странно сокращалось и всхлипывало. Он встал из-за стола и пошёл к двери. Но вожатый обогнал его. Он тоже попробовал кашу...

Тогда я тоже вылез из-за стола и пошёл следом за ними. За мной шло много мальчиков из нашего отряда. Я заметил, что за ними идут мальчики и из других отрядов. Девочки тоже шли. Скоро пошли все.

Я задержался в дверях и оглянулся. На столах белели тарелки и желтели каши. Это было очень красиво.

Я вышел за дверь.

Наш отряд собрался на площадке перед дачей. Вожатый объяснил, что сегодня мы должны убрать территорию особенно чисто. Все принялись за дело. Мы с Колей взяли по метле и начали мести пыль. Пыли было много. Скоро все стали пыльными, а я даже несколько раз чихнул. Пыль лезла в рот.

— Совсем как каша, — сказал Коля.

Я засмеялся, но сразу же перестал, потому что все вокруг замолчали и как-то странно на нас посмотрели, а вожатый нахмурился, и под его загорелой кожей заходили крутые скулы.

Больше никто про кашу не говорил.

Наконец мы убрали территорию. Коля пошёл со мной к столовой. Он сказал:

— А я после завтрака туда заходил. Даже Финик кашу не съел.

— Как?! И Финик?

— Да.

— Враки! Уж Финик-то... Он что хочешь съест. Помнишь, он с Мишкой попорил, что лягушку съест? Только вот вожатый не дал...

— Так то лягушку...

Мы подошли к столовой. Тётя Нюра с Мариной Ивановной вытряхивали из всех тарелок кашу в большой чан.

— А, мальчики! Вот хорошо, что пришли, — закричала тётя Нюра. — Идите-ка сюда!

Мы переступили порог столовой.

— Помогите нам, мальчики, — сказала Марина Ивановна. — Вытряхивайте кашу вот сюда, — и она показала рукой на чан.

Я взял тарелку и потряс её над чаном. Каша не вываливалась. Я потряс тарелку сильнее. Каша не отвалилась, но зато тарелка выскользнула из рук, с громким всплеском упала в чан и сразу же утонула.

Тётя Нюра покачала головой и проговорила:

— А ты её ложкой, ложкой... Вот так.

Я взял ложку и стал отскребывать кашу. Дело пошло лучше. Очень скоро чан наполнился.

— А теперь куда? — спросил я тётю Нюру.

— А вы, мальчики, отнесите её да выкиньте. Знаете, куда? Осилите?

— Ага! — сказали мы с Колей и потащили чан из столовой. Чан был очень тяжёлый, и от него как-то странно пахло.

— Пошли, Коля, прямо тут за забор вытряхнем? — предложил я.

Мы потащили чан к забору.

— Берись с той стороны, — скомандовал Коля.

Мы наклонили чан, и каша потекла под забор. Тарелка всплыла.

— Может, вытащить? — спросил Коля.

Я засмеялся.

Мы ещё шесть раз носили чан и выливали кашу всё там же. Тарелка почему-то всё время оставалась плавать сверху.

А потом мы отдали чан тёте Нюре и пошли строиться к обеду.

Когда мы сели за стол, вожатый сказал нам:

— Помните, друзья: КОГДА Я ЕМ, Я ГЛУХ И НЕМ.

Мы ели борщ. Он был красный и вкусный. Раньше всех борщ съел Финик. Я посмотрел на его пустую тарелку и громко засмеялся.

— Эх, Миронов, Миронов, — сказал вожатый и укоризненно посмотрел мне в глаза.

Я покраснел и быстро доел борщ.

— Это ты от борща такой красный стал? — спросил меня Коля.

Я молча толкнул его локтём в бок, и он поперхнулся.

На второе была котлета.

А потом мы ещё пили кисель с сухарём.

Сегодня наш отряд был дежурным по лагерю. И поэтому после обеда мы не пошли спать, а разошлись по своим постам.

Мы с Колей пошли к флагу и уселись на скамеечку около мяты. Мы сидели там довольно долго и от нечего делать стали смотреть по сторонам.

Вдруг Коля сказал:

— Смотри! — и показал правой рукой налево.

Я посмотрел налево.

Прямо к нам через территорию лагеря шёл милиционер. На его рукавах была каша, а в руках тарелка.

Я испугался, а Коля глупо хихикнул, и я пнул его ногой. Милиционер отдал нам честь, улыбнулся и сказал:

— Будь готов!

Тут мы с Колей вскочили со скамеечки, отдали ему салют и, вытянувшись во весь рост, громко ответили:

— Всегда готов!

Милиционер ещё раз приветливо улыбнулся и направился к дому директора лагеря.

Мы переглянулись.

— Что-то теперь будет! — прошептал Коля.

— Это он из-за каши, — сказал я.

— Сам знаю! — отмахнулся он...

Мы сели и стали смотреть на дом директора.

В доме громко кричали. Милиционер кричал на Анну Андреевну, Анна Андреевна кричала на Елену Андреевну, а Елена Андреевна кричала просто так.

— Зря мы тарелку-то не вытащили, — сказал Коля.

— Сам бы и тащил!

Коля замолчал.

В это время из дома показалась подтянутая фигура милиционера. За ним шли Анна Андреевна и наш врач Елена Андреевна.

Мы спрятались друг за друга.

Анна Андреевна решительно пошла прямо к нам.

— Ребята, — строго сказала она, — кто сегодня дежурил в столовой?

— Не знаю, — сказал я.

— Как же это не знаете? А кто помогал тёте Нюре?.. Ну-ка, пойдёте с нами!

— Да нам, это... Знамя караулить надо, — робко произнёс Коля.

— Да-да! — оживился я. — Как же мы с поста уйдём?

— Сознательные мальчишки! — улыбнулся милиционер. — Это хорошо.

Елена Андреевна покраснела и разгорячилась:

— Как же! Сознательные! Только и ищут, где бы нагадить! Кашу за забор...

Сознательные!

— Ну, пойдёте, пойдёте... На месте и разберёмся, — сказал милиционер.

И мы пошли.

У забора уже стояло несколько ребят из нашего отряда и с ними вожатый.

— Вот, полюбуйтесь, — сказал милиционер.

Мы полюбовались. Каши было так много, что за забором, между ёлочек, скопилось целое озерцо. У левого берега томительно барахталась лягушка. Каша смешалась с землёй и стала похожа на цемент. Внутри что-то громко клокотало и булькало.

— Н-да... — сказал милиционер. — Плохо дело. Придётся составить протокол.

В это время лягушка, наконец, утонула.

— Может, сами зароете? — немного подумав, спросил милиционер.

— Ну конечно зароем! — сказал вожатый.

— Обязательно, непременно, — сказала Анна Андреевна. — Сейчас же зароем!

— Вот-вот, — оживился милиционер, — а то что же это получается? Ведь ежели каждый станет всякую заразу за забор выкидывать, это что же получится, а? Непорядок получится! С этим бороться надо!

— Вот мы и будем бороться! — сказал я.

Все на меня зашикали.

— Ну, смотрите!.. До свидания, — сказал милиционер и, ловко повернувшись на каблуках, зашагал из лагеря.

Елена Андреевна окинула нас строгим взглядом и, подхватив под руку Анну Андреевну, тоже ушла.

Сразу стало шумно. Все кричали и показывали на нас Колей пальцем. Вожакий сказал, чтоб мы не смели никуда уходить, и пошёл к завхозу Юрию Андреевичу за лопатами.

Мы переглянулись.

Юра Алексеев сказал:

— Да... Теперь вас на линейке проберут!

— Плевать! — сказал я независимо.

Юра посмотрел на меня с уважением. Мы помолчали.

Потом Коля сказал:

— А вот кто через кашу перепрыгнет?

— С разбегу или как? — спросил Юра.

— С разбегу.

— А сам можешь? — спросил Юра.

Николаев разбежался и быстро перепрыгнул через кашу.

Потом прыгнул я, потом Юра, потом перепрыгнули и все остальные.

— А вот кто вдоль сможет? — спросил Юра.

— Подумаешь! — хвастливо сказал Коля. — Хоть двести раз!

Первым перепрыгнул кашу вдоль Алик Альтшулер.

— Ого! — сказал я.

Все тоже очень удивились, потому что Алик был самым слабосильным мальчиком в нашем отряде. Его всегда дразнили и любили пугать по ночам полотенцами.

Потом разбежался я и тоже прыгнул. Прыгать было страшно, и я с трудом удержался на том берегу.

За мной должен был прыгать Коля. Он долго топтался на одном месте и, наконец, бросился вперёд.

Я не сразу понял, что произошло. Я только услышал, как Коля вдруг вскрикнул «Ой!» отчаянным голосом, и в ту же секунду раздался громкий всплеск.

Мы бросились вперёд.

Коля Николаев молча сидел по пояс в каше...

Январь 1966

Послеобеденное приключение*

После обеда я лёг на диван и, полежав примерно полчаса, уснул и умер.

в с ё

Сентябрь 1966

А. А. Александрову

У Анатолия Андреевича были больные глаза. Собственно, нельзя было сказать, что они больные, точнее — они были со странностями: Анатолий Андреевич совершенно не переносил солнечный свет. Поэтому он старался как можно меньше бывать на улице. Но на улице ему приходилось бывать часто, и Анатолий Андреевич всегда пребывал в раздражении.

Долгое время Анатолий Андреевич занимался обменом своей жилой площади, пока, наконец, не въехал в совершенно тёмную и мрачную комнату с окном в дворколодец. Эта комната ему нравилась, нравился ему и узкий, мощённый булыжником двор с постоянной кучей мусора прямо против окна. В свободное от часов службы время Анатолий Андреевич часами сидел или стоял у окна, рассматривая разнообразный хлам, и наслаждался не раздражающим его глаза постоянно сумеречным светом.

Но однажды жизнь Анатолия Андреевича чудесным образом переменялась.

Жарким летним полднем к Анатолию Андреевичу зашёл его бывший школьный приятель Качалов и предложил поехать за город. Анатолий Андреевич начал было протестовать, но Качалов и слушать его не хотел и на все жалобы приятеля и все его ссылки на больные глаза сказал только:

— А солнечные очки на что? — и вытащил из кармана чёрные блестящие очки.

Анатолий Андреевич, не в силах будучи сопротивляться Качалову, согласился и, проклиная всё и вся, решился, наконец, ехать.

Дорога была мучительна: очки Анатолию Андреевичу нисколько не помогли, и из глаз его не переставая текли слёзы.

Качалов же наслаждался и воздухом, и деревьями, и солнцем и болтал без умолку. Но, видя, что Анатолия Андреевича ничем не развеселить, решил веселиться самостоятельно и купил в местном магазине пол-литра водки.

Анатолий Андреевич, увидев водку, вдруг тоже захотел выпить, хотя и был непьющим, и этим очень обрадовал Качалова.

Вместе они пошли в лесок и уселись на поваленное дерево. Качалов ловко откупорил бутылку и достал из рюкзака стакан...

После выпитой водки Анатолия Андреевича разморило, и он начал сидя дремать, покачиваясь время от времени из стороны в сторону. Один раз его так накренило, что он чуть не сшиб на землю своего спутника. Качалов разозлился и заорал:

— Чего толкаешься?!

Но тут Анатолий Андреевич, как на грех, снова повалился на него, и Качалов, выведенный из себя, размахнулся и дал Анатолию Андреевичу подзатыльника. Анатолий Андреевич ойкнул и упал на траву лицом вниз.

Качалов же допил остатки водки и задремал. Когда он открыл глаза, уже начинало смеркаться.

— Анатолий! — позвал Качалов, но ему никто не ответил. Качалов встал и посмотрел по сторонам, но Анатолия Андреевича нигде не было видно.

И вдруг Качалов увидел своего школьного приятеля, лежащего ничком у него под ногами. Качалов вздрогнул и принялся тормошить Анатолия Андреевича.

— Анатолий! Слышишь, вставай, брось дурить!.. Ты что, в самом деле... Толя?!

Но Анатолий Андреевич неподвижно лежал и не шевелился. Тогда Качалов встал с земли и медленно начал пятиться назад. Натолкнувшись спиной на дерево, он вскрикнул и бросился бежать, не разбирая дороги...

* * *

Прошло много лет. Качалов вышел на пенсию и купил на скопленные за время долгой трудовой жизни деньги дом за городом и маленький участок земли.

Однажды, пропустив после обеда рюмочку, он сидел на веранде и читал рассказ Эдгара По «Золотой жук». Дочитав рассказ, он закрыл книгу и вышел в огород. Сегодня он собирался перекопать ещё две грядки (все остальные были уже вскопаны и засажены).

Качалов взял лопату и в раздумье остановился над грядкой.

«А что, — подумал он вдруг, — а что, если здесь зарыт клад? Да, да: вот здесь, под этой самой грядкой, а?!»

Эта мысль ему очень понравилась, и он с ожесточением воткнул лопату в землю. Почти сразу лопата попала на что-то твёрдое. У Качалова захватило дух. Волнуясь, он торопливо отбрасывал землю и, наконец, увидел крышку деревянного ящика.

Качалов начал аккуратно окапывать её, и вот — перед ним лежит в совсем не глубокой яме широкая доска с медным кольцом посередине.

Качалов обеими руками схватил кольцо и потянул его на себя. Крышка со скрипом подавалась и отскочила.

В деревянном ящике лежал мёртвый Анатолий Андреевич в тёмных очках.

— Здравстуй, Качалов! — сказал он негромко.

Март 1969

Писатель у себя дома*

(Отрывки)

... В детстве я очень любил слово «сволочь». Своим звучанием оно представлялось мне круглым и ласковым. Оставаясь дома один, я часто говорил его самому себе, наслаждаясь нежными звуками. «Сволочь!» — говорил я и радостно смеялся, вспоминая отчего-то круглые ванильные булочки, их запах и жареный арахис, украшающий их корочку...

Но мне не хватало слушателей. Ведь сказать «сволочь» старшему брату, папе или маме было нельзя: и я, и они прекрасно знали смысл этого слова и могли обидеться, услышав его от меня.

Скоро, однако, я нашёл выход из положения. Я создал неологизм, вполне цензурное слово, но звучащее почти так же, как и любимое. Теперь я мог говорить своим близким и самому себе: «*стулочь*». Но почему-то ни брат, ни папа, ни мама не восторгались красотой созданного мной слова, хотя, на моё счастье, не запрещали мне произносить его и не спрашивали меня, что это значит.

Видя полное безразличие к своему словесному творчеству, я и сам перестал наслаждаться словами «сволочь» и «стулочь» и стал ещё более замкнутым...

* * *

Лето 1964 года я провёл в Лисьем Носу.

Как-то Роман Белоусов прислал мне письмо, в котором сообщал о своём знакомстве с «очень интересным человеком», умалчивая, однако, о том, кто этот человек и чем он занимается. Но человек этот вскоре сам познакомился со мной.

Жарким летним полднем я сидел на веранде за машинкой и вдруг увидел в дверях маленького вертлявого человечка в очках. Недоумённо я посмотрел на него, а он, предупреждая моё дальнейшее поведение, с треском захлопнул улыбающиеся челюсти, резким движением схватился за волосы и, протянув мне руку, осведомился:

— Володя?

Этот человечек, о чём, наверное, проницательный читатель уже догадался, был Саша Прокофьев.

В конце оживлённого разговора Прокофьев сказал, что здесь, в Лисьем Носу, на даче живёт его давний друг, с которым он просто обязан меня познакомить. Я стал расспрашивать о нём, и Прокофьев сказал, что его друг — это гениальный человек, философ, пишет эссе!

— О чём же он пишет? — спросил я.

— О! это, понимаешь, трудно объяснить... Он пишет о сущности... Квинтэссенция... О Боге, — нет, больше!..

Большого я не добился, но заочно проникся к знакомцу Прокофьева почти-тельностью и уважением.

Мы подошли к двухэтажному зелёному домику и вошли в сад. На траве, на небольшом опрятном коврике, лежал полный юноша невысокого роста и тоже в очках и читал книгу. Рядом, если мне не изменяет память, стоял кувшин с каким-то напитком.

«Китаец!» — мелькнуло у меня в мозгу, и я проникся к лежащему ещё большим уважением. И на самом деле — было что-то патриархально-китайское в представившейся мне картине.

Юноша неторопливо поднялся, небрежно радушным жестом приветствуя нас. Мы представились друг другу.

Так 20 июля 1964 года я познакомился с Дмитрием Борисовичем М***.

* * *

В сентябре 1964 года произошло и ещё одно весьма чреватое знакомство — я познакомился в Публичной библиотеке с А. Н. Мироновым.

Я стоял у барьера и требовал «День поэзии». Передо мной стоял белокурый блондин и требовал то же. Его требование удовлетворили, а моё, вследствие удовлетворения его, — нет. Тогда я взял несколько каких-то совершенно не нужных мне книг и, раздосадованный, пошёл в зал. Через стол от меня сидел напакоотивший мне блондин. Я глубоко задумался, вспомнив, как странно и нервно шевелил он пальцами, и вдруг понял, что он — поэт. Я решил спросить его о верности моего предположения, подсел к нему и задал ему вопрос на интересующую меня тему. Получив утвердительный ответ с присовокуплением обычного «а что?», я обрадовался, и между нами завязался оживлённый разговор, кончившийся, разумеется, чтением стихов. Мироновские стихи мне понравились, и наше знакомство продолжилось...

* * *

...Наступило 30 сентября 1964 года. В одной из аудиторий пединститута им. Герцена выступало шестеро: М. Юпп, Т. Славина, Андрей Гайворонский (в то вре-

— Дмитрий Борисович! Позвольте представить вас друг другу... Рекомендую: булочки моего детства...

Позже я спросил у него, не хочет ли он писать вместе со мной лирическую повесть под этим названием — «Булочки моего детства»?..

1968 — февраль 1969

ВЛАДИМИР ЛАПЕНКОВ

«Сайгон»*

(отрывок)

Подойдя к углу Литейного и Невского, Денис толкнул меня в бок.

— Вот он, храм психоделизма, святилище культуры и ее погост!

На вид всё казалось скромнее: обычный кафетерий, у дверей стоял низенький горбун лет сорока и продавал открытки. Внутри была уйма людей, возраст которых в основном не превышал тридцатилетний рубеж.

— Здесь ничего не изменилось, — сказал мой приятель, — да и что могло измениться? Вон там стоит знаменитый стихоплет Андрей Шизони, с ним рядом, как всегда, известная меценатка Ева Шлюгер. За соседним столиком пан Сексолог беседует с двумя информаторами. Что-то не видно пророка Семенова, не заболел ли?

— А это кто? — указал я на высокого мужчину с угреватой физиономией и стекающими по ней волосами горохового цвета. Ярко-рыжие усы, переходившие в жидкую бородку, важно шевелились. Одет он был в черную жилетку, из часового кармана которой свешивалась золотая цепочка, и голубые рейтузы. Сей господин прохаживался в зале, держа в руке стек, и нервно постукивал им по лакированным сапогам. На накрахмаленном воротничке рубашки виднелся значок с фразой по-английски: «Поддерживайте своего местного поэта!»

— Перед вами Евгений Перл, — ответил Денис, — поэт, драматург, человек, ученый и ко всему полиглот. Похоже, мы пришли вовремя. Обычно по этим числам он встречается с неофициальным отцом русского искусства Козьмой Константинопольским для своеобразной дуэли...

Звук фанфар не дал ему договорить, сам Козьма Константинопольский, верхом на слоне, въезжал в кафетерий. Слон был грузный, грозный и грязный, великий поэт отличался от него львиной гривой волос, патриаршей бородою и еще более пронзительным взглядом. Любители поэзии в экстазе кидались к нему под ноги, и он чинно топтал их копытами. Держась впереди процессии, несколько юных художников зарисовывали на бегу каждое движение мысли на челе своего кумира. Один из них неосмотрительно столкнулся со мной и карандашная линия, перечеркнув пах изображаемого персонажа, помчалась вверх и застряла в бездонной ноздре. Поклонники сняли патриарха с седла и поднесли к сияющему Перлу.

— Итак, реванш! — воскликнул Константинопольский с видом голодного Юпитера, отчего усы Перла сладострастно зашевелились. Секунданты расчистили место, поставили на столик перед дуэлянтами по чашке кофе и отпрянули.

* Публикуется по: <http://kkk-bluelagoon-2.nm.ru/tom4a>

— Я думаю, — медленным жующим тоном сказал Перл, — что для разминки нам хватит шестнадцати эклеров?!..

Козьма в ответ лишь нетерпеливо болтнул ногами по воздуху. Сражающиеся со вкусом принялись за дело. Первые пять эклеров патриарх проглотил единым духом, а в остальные жадно вгрызался сивушного оттенка зубами. Перл, наоборот, ел не торопясь, смакуя каждый кусочек, пока секунденты громко отсчитывали съеденное. Разминка подошла к концу, Константинопольский победно завыл, а Перл только растегнул ворот рубашки. К столику подали два полных подноса, и битва началась. Перевес был то на одной, то на другой стороне. Козьма мгновенно расправился с двумя десятками эклеров, но дальше ел тяжело, отрывая комочки крема, которые с лёту ловили державшие его на руках поклонники. Светящийся Евгений ел с размеренностью часового механизма — видимо, в его более чем сухощавой фигуре находились какие-то иные пустующие полости, помимо желудка. Накал страстей, царивший на трибунах, трудно было описать: болельщики воодушевляли своих любимцев, дружно скандируя «хэй-я! хэй-я!», а потом запели берущий за душу гимн. Кто-то из посторонних выкрикнул «Шайбу!», но его быстро вывели вон. Свой тридцатый шестой эклер Козьма хотел незаметно спрятать в бороде, но секунденты его пристыдили. Пятьдесят первый эклер стал поворотным для патриарха, глаза его налились кровью, он задыхался и поминутно расчёсывал лесистую грудь. Победа Перла не вызвала сомнений, но семьдесят девятый эклер оказался в кафетерии последним. Константинопольский судорожным движением стянул крем с бороды и радостно прохрипел: «Ничья!..» Перл отмахнулся от крема стеклом и утер рот кончиком салфетки.

— Жаль. Я только вошел во вкус.

Пока поклонники грузили патриарха на слона, Евгений заказал (уже лично для себя) еще чашечку кофе и пару пирожных. Вновь затрубили фанфары, и слон покинул заведение.

Из комментариев К. Кузьминского:

...При полном равнодушии к, на мой взгляд, претенциозным и несовершенным писаниям юного гения, не могу отказать ему в наблюдательности: характер Владимира Эрля (Перл) передан блестяще. Равно и мой, включая даже манеру есть. (Не эклеры, я их терпеть не могу, люблю только пирожное «картошка», которое стали теперь делать без рома, увы, — а, допустим, сосиски в тесте, называемые также «горячие собаки». Продавались они только в двух местах: на Желябова у столовой, не доходя ДЛТ и, похуже, — на Финляндском вокзале. Их я мог съесть без счета. Однажды с Молотом, имея рубль с мелочью, съел я десять штук по одиннадцать копеек и хотел еще. Молот купил мне еще пару дюжин, но больше и у Молота денег не было. Так что и не знаю, сколько их могу я съесть.) Помимо — близок к точности костюм Эрля, включая цепочку (сомнительны «рейтузы»), и волосы обоих героев. Рыжие усы Эрля. Однажды, сбрав их, Эрль подарил мне пробирку с «прежними усами Эрля». Вывезти их я не мог, приняли бы за траву, так и остались там где-то. Очень точная деталь, что Константинопольский даже в «Сайгоне» не ходит — сидит или на слоне, или на руках: Лапенков никогда не видел меня в вертикальном положении, принимал я лежа.

Упомянутые мельком остальные посетители «Сайгона» напоминают: «горбун, продающий открытки» — Геру Григорьева, который квадратен и сутул, впечатление горба, но, может, он же фигурирует, как «пророк Семенов». Кто такой «пан Сексолог» — лучше знать Лапенкову, я знал только поэтов, вот поэт «Шизони» — явно Ширали, а меценатка Ева Шлюгер — образ, полагаю, собирательный. Все там были шлюгерши. Иных не держали...

ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВ

Три богатыря*

Очень часто великий поэт Чейгин и великий прозаик Звягин ждали невдалеке от угла Невского и Литейного кого-нибудь третьего, менее великого, чтобы с ним выпить.

Менее великий (Алексеев, к примеру) всегда появлялся — шел к ним навстречу как-то боком, даже с опаской. Но вот ничего, обошлось — три литератора, вокруг которых, завихряясь, кружился снег, благополучно сошлись, пожали друг другу руки и приступили к более серьезному делу.

Они вошли в кафе, но как назло — ни одного свободного столика. После долгого недоумения — это происходит уже где-то на небе — кто-нибудь испуганно и вместе с тем вежливо вскакивает и убегает, трое садятся. Один кладет на стол кулак, другой — руки, третий высыпает из себя всю мелочь, выворачивает карманы, и слегка нервничает. Затем все трое недоуменно переглядываются.

Но вот все готово для театрализованной пирушки — стулья раздвинуты вполоборота — для входящего все трое литераторов видны в фас; четкий фас Чейгина отражается на всей улице, подобен печати, Алексеев несколько наклонился — для улицы он смазан и заслонен Чейгиным, Звягин укрыт повернутой шторой.

Звягин отпивает глоток, Алексеев — два, Чейгин выпивает сразу весь стакан. Затем Чейгин переливает из стакана Алексеева в свой больше половины и говорит Звягину: «Ну?» Звягин реагирует добровольно и банально. Тогда Петя встает и направляется куда-то. «Ты куда, Петруша?» — кричит вдогонку Звягин. «Надо пойти последить за ним», — вдруг ни с того ни с сего говорит Алексеев, допивает своё и встает. Встает и Звягин.

Потом все трое разъезжаются: Чейгин писать стихи, Алексеев — прозу, а Звягин — к бабе.

На углу Невского и Литейного летит мелкий снежок.

<1975–1976>

ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН

Возведение сада**

Мой друг необычайно толст. Когда остроугольные, призрачные светотени, отлетевшие от окон идущего под гору троллейбуса, пробегают по фальшивому дубу прилавка и как бы слегка щекочут его испещренную мелкими цветочками рубашку где-то в районе пупа, выезжая из-за спины и пропадая с другого бока легким плавным движением в сторону поясицы, он похож на розовое морское

* Публикуется впервые.

** Публикуется впервые.

чудовище — вернее, на его мраморное подобие, бесконечно и равнодушно грядущее к берегу недостижимой бухты.

В магазине полутемно. Несколько случайных полуденных посетителей неторопливо шуршат страницами, две бледнолицые нимфы-продавицы примостились в дальнем углу магазина; лениво и мелодично журчит их пустой разговор; кто-то лихо трещит костяшками счетов за пыльными портьерами отдела обслуживания посетителей.

— Никто, понимаешь, никто, — важно изрекает он, — не подумал о том, сколько ценного можно было бы извлечь из исследовательской работы, озаглавленной: 11 марта 1801 года и 14 декабря 1825-го... Да-с.

— Генрих Петрович, — говорит кто-то робко из-за моей спины, — уделите мне, пожалуйста, несколько минут...

Лицо Генриха расплывается в галантной улыбке.

— А, Оксана! Здравствуйте. Сию минуту!.. Подвинься, дружище. И познакомьтесь, пожалуйста.

Я оглянулся и обомлел. Высокая, стройная, округло-соразмерная Оксана представляла собою тип той плавной, манящей, статичной и глубоко эротической красоты, обладание которой — я в этом уверен — является высшей, но недоступной жизненной удачей, сладкий груз которой могут нести только люди цельного склада.

Она, видимо, знала о производимом ею впечатлении. Но держалась скромно. Большинство мужчин неправильно представляют себе самочувствие красивой женщины. Столь часто этот огромный и необоримый блеск рождает в мужчине — особенно нынешнем, то есть задавленном всесветской машинерией и мелочной регламентацией быта, трамвайными баталиями и скрытыми угрозами власть имущих, — болезненный и фальшивый комплекс; столь часто бессмысленные мелкие оскорбления, вроде циничной усмешки в лицо или мата вдогонку, выпадают на долю нынешних граций, что единственным тоном обращения, который придется им по нраву, может быть только ровный и доброжелательный тон.

— Вы за книгами? — спросил Генрих.

— Да. Мне нужно отвезти их на работу.

— Познакомьтесь — Александр, наш ленинградский гость. В отпуске он сейчас. Делать ему все равно нечего — так что рекомендую его незаурядную физическую силу. Поможет вам книги донести.

— Буду счастлив! — ответил я угрюмо. — Куда прикажете?

— Отнесешь в Ботанический! — с барственной интонацией в голосе сказал Генрих.

Город Киев богат ботаническими садами. Их здесь три. Террасами над Днепром раскинулись неоглядные сиреневые кущи. Собрать в одном месте гектары сирени — идея пышная, но и абсурдная — ведь мы любим две-три заманчивые кисти, свешивающиеся из-за полутьмы садовой калитки, а держа их в руках, скорее всего ищем — одной маленькой редкой звездочки о пяти лепестках. Но в Киеве все — не беда, все лепится в одну салатницу, и есть некая внутренняя гармония между многоэтажными тортами, которыми застроен Крещатик, гирляндами из цветов и фруктов, уместными скорее в храме Деметры, чем на перилах моста Патона, и этим чрезмерным сиреневым великолепием. Мечта о том, чтобы всего было много — общеплановая мечта о сытости и достатке, — вот что бессознательно двигало перьями плановиков и умами администраторов, — и постной и бесчеловечной была бы эстетская критика этих милых, хотя и небезобидных черт киевского пейзажа.

Второй и, пожалуй, самый из всех уютный — это старый ботанический сад. Он расположен в центре города, между Владимирским собором и университетом,

знаменуя собой некий союз между наукой и религией, ибо древние, заскорузлые, вздевающие ветви горе тополя, экзотические кустарники, прямоствольные сосны, как бы овеянные сладковатым ладанным запахом, являют, чудом своего живописного бытия, подлинное доказательство бытия Божьего и, одновременно, являются объектом неизменного попечения и тщательного исследования ученых.

Да, старинное городское начальство хорошо позаботилось о благоустройстве этого сада. Пристойная железная ограда, задумчивые извилистые аллеи в глубине садовой котловины, провинциально-романтическим известняком выложенные гроты, стены, предупреждающие оползание почвы, заросшие бледно-зеленым мохом, кое-где побуревшие, покрытые благородной патиной; укромные уголки среди жасминовых кущ, — весь этот зеленый ансамбль, столь банальный и столь единственно верный в своей банальности, верный, как правильно взятый тон приятного разговора, радует глаз и утишает душевное волнение.

Когда человек одинок и празден, как я в то памятное лето, он поневоле сосредоточивает свое внимание на собственном внутреннем естестве. Легко разместившись на краешке садовой скамейки и подставив левую ладонь яблочно-спелому, проникновенному солнечному лучу, я изучал переплетение бугров и ломаных линий, которые ее испещряли. В естественном рисунке этого слепого орнамента я не находил внутренней формулы, единого и целокупного лада, единственно желательного в полдень человеческой жизни. Какое-то неистовое томление передавала напряженно пульсирующая среди других борозд, с которыми она, контрастируя, переплеталась, гротескная, как латиноамериканский оратор или подсыхающий куст шиповника, рваная линия моей жизни.

Трагический объем — странный результат капризной игры света и тени — приобретала узловатая линия ума, а когда налетевший ветер обдавал мою руку зыбкой мельтешней колышающихся на большой высоте листьев осины, общая картина смазывалась, уступая место какому-то струящемуся искристому танцу, размывающему все структурные признаки моей души, оставляя лишь общий светящийся тонус природного проживания...

Наконец — новый, гигантский сад Академии наук.

О, сад, сад!

Он расположен на горах. Он занял сотни десятин бывших монастырских владений, огороды двух-трех снесенных слободок, огромные, баснословные области вдоль берега великой реки. Он со всех сторон обступил Выдубицкое озеро, изящно обставленное ярко-золотыми маковками малого монастыря, — маковками, испещренными праздничными синими звездами, монастыря, как бы захороненного в малой ложине, среди глубокого буйства пахучих кустов бузины, сочной полыни, мифологически разросшегося древесного царства. С основанием монастыря связана занимательная легенда. Когда, в день крещения Руси, по приказу Великого князя Киевского, идолы Белеса, Перуна и многих славянских богов были брошены в Днепр, вокруг ближнего озера собрались язычники и кричали: «Выдыбай, боже!»

Как знать, может, и выплыл природный бог, — ведь недаром в этих местах так жирна и мягка трава, столь кичливо-горда растительность.

Я проработал здесь около месяца.

Получилось все очень просто. В тот день, когда увидел я Оксану и постиг полную для себя невозможность обладать ею, я захотел одного — созерцать ее дивную красоту, обжигаясь о собственную страсть, жаркий ком которой застревал у меня в горле, как горячая картошка, и, пока не истек срок моего отпуска, видеть ее хотя бы издали, но ежедневно.

В тот же день, в день знакомства, я нанялся работать косцом в отдел внешней флоры.

Каждое утро торопился я на работу. Была середина августа — время, когда созревают и осыпаются темные ягоды шелковицы. Одно такое дерево росло неподалеку от моего жилища, и, разбежавшись по каменным плитам спуска на Басейнину, я частенько забывал поостеречься и каблучком наезжал на предательски нежную, со скользкой мягкостью матовую шишечку осыпавшегося тутовника и, поскользнувшись, со всего маха садился на плоские ступени. Эта, ставшая почти традиционной, случайность позволяла мне оглядеться, и я несколько обалдело созерцал крупную брусчатку мостовой, кирпично-красную стену забора, сбежавшего вниз уступами, ряд невысоких жилых домов, испещренных балкончиками и лепными карнизами. Утренняя теплая, обывательски-уютная тишина стояла на Печерске. Политый дворниками асфальт слегка курился под лучами восходящего солнца, и в этом легком тумане, хорошо заметном только мне, седоку, неровная перспектива уходящей вниз улицы казалась таинственной и мистически зыбкой.

Но это мирное настроение вскоре покидало меня.

Подходы к Большому ботаническому саду обставлены весьма помпезно. Два симметрично расположенных железобетонных гриба венчают парламентски широкою лестницу, ведущую ко входу. Строгие, очень высокие темно-зеленые куртины, сверкающие купола теплиц недалеко от розария (о, сад, сад!), пересохшая, но обширная чаша фонтана — все это несколько устрало меня, скромного жителя запущенного областного центра. И, подавленный, брел я аллеями и перелесками — туда, к белой мазанке, где хранился садовый инвентарь.

И потянулись дни, когда я все силы собственных рук вкладывал в нехитрый процесс косябы, а всею напряженностью глазных яблок, сомкнутых вокруг заостренной полутьмы хрусталика, всем своим неутоленным зрением искал лишь одного объекта для созерцания, способного насытить вечно голодную душу, и целью этого постоянного душевного томления была она — Оксана, соблазнительная, как лицезрение свежего дынного плода для страдающего от жажды.

Но дыню еще надо заполучить, ведь она — всегда чья-нибудь собственность; так же и с Оксаной — ведь она была своей собственностью (да простит мне читатель уместную в данном случае тавтологию влюбленного), и она так широко и независимо пользовалась своей драгоценной для меня особой — то споткнувшись на ровном месте и упав, неизреченно-грациозным движением потирая ушибленную колленку, так что я, стоявший в этот момент на обочине соседнего газона в статической позе декоративного поселянина, резко вздрагивал, сначала от страха за нее, а потом от душившего меня горчайшего вожделения; то просто следуя мимо с независимым видом, погруженная в какие-то свои важнеешие мысли, от которых тени под ее глазами наполнялись манящей романтической глубиной, а слегка наклоненная шея, обрамленная темным локоном, собиралась легкими складками, лишь подчеркивавшими бархатистую нежность ее смуглой кожи; то вдруг, заметив меня, уже в третий раз деловито проходящего мимо розария, откуда несся жаркий, густо услащенный аромат роз, приветливо кивая мне, несмотря на дурацкий вымученную, неловко претендующую на светскую легкость улыбку, застывшую у меня на лице столь прочно, что уже по дороге домой, толкаясь локтями в переполненном автобусе, я ловил себя на том, что улыбка эта, столь неуместная в подобных обстоятельствах, все еще висит у меня на лице.

Да, она принадлежала себе самой. Иногда я, набравшись смелости, подходил к ней (чаще это бывало в конце дня, когда все мы покидали роскошные ботанические кущи) и произносил одно только слово: «Оксана!»

Она оборачивалась ко мне, понимающе, даже слегка виновато улыбаясь, и говорила что-нибудь безразличное, вроде «Вы домой?», и в этой ее виноватой улыбке, как я сознавал, не было отчуждения, лишь дружелюбный вопрос: «Что

же ты? Почему не заговоришь по-человечески?», — вопрос, который, впрочем, не нуждался в ответе, так как и она, и я понимали, что мною владеет тот томительный и неодолимый паралич, который есть следствие чрезмерной, непозволительно насыщенной страсти.

Так проходили дни моего быстротечного отпуска.

— Марья Трофимовна! — бросает Генрих через плечо. — Сдадите за меня отдел. Хорошо?

— Иди, Геночка. Ты же торопишься...

— Большое спасибо, Марья Трофимовна.

Мы выходим из полутьмы магазина на Красноармейскую улицу.

Вечереет. Румянятся верхние этажи желтого дома на другом берегу сиреновой асфальтовой реки. В этом доме когда-то жил, как вещает неброская мраморная дощечка, известный писатель Шолом-Алейхем; на самом высоком балконе, неловко растопырив тонкие ноги, грустно косясь сливовым окном на спящий по улице деловой, в пестрых летних одеждах люд, стоит бородатый сухой козел. Клок сена застрял в его бороде, но он не замечает этого, грустя в явно непривычном ему, даже абсурдном, видать, парении.

— Ну как, тебе еще не надоел ботанический? — спрашивает Генрих. — Как там твоя должность называется согласно штатному расписанию? Толстовец четвертого разряда?

— Зря ты, Генрих, иронизируешь, — отвечаю я примирительно. — Что может быть здоровее и чище упорного мускульного труда на открытом воздухе? Смотри, козел!

Генрих смотрит. Долго, сосредоточенно, задрав к небу все три небритых своих подбородка, созерцает феноменальное животное. Потом опускает взгляд. На лице его — грусть.

— Да, это козел, — говорит Генрих. — Это козел-репатриант, он готовится к ночному перелету в Израиль. Это козел-сионист, он хочет сложить свои невкусные кости среди садов Иосафатовой долины. Он полетит на юг, с посадкой в городке Старый Крым. Если на границе его не обстреляют, наутро он будет уже над Кипром...

Наш разговор прерывается. Мы шагаем молча, наблюдая за тем, как прозрачные сумерки опускаются на плотные заостренные кроны пирамидальных тополей бульвара Шевченко. Яркий мерцающий свет, теплый дух, мягкий певучий говор льются из-за занавесок ресторана с открытыми окнами, мимо которого мы проходим. Звяканье посуды, тихие звуки пламенеющих труб.

Та-та ри-та ти-та Черемшина...

Ти-та ти-та ти-та Буковина...

Жди, дивчина, жди...

— Есть такое желание, — говорю я. — Купить вина и пойти в гости.

— Ну что ж, — отвечает Генрих. — Я поведу тебя туда, где пьют вино и говорят глупости. Я поведу тебя в пестрый людской палисадник. Поведу только потому, что ты, косец, хочешь ты того или нет, — есть живая аллегория смерти. Я жажду мрачного розыгрыша...

— Что ты! — отвечаю я своему близкому другу и тихо улыбаюсь подступившей вечерней мгле.

Русский язык неудобен для писательского труда. Он сродни чугуну, а не ковкой меди. То, что легко дается чеканщику или граверу — двумя-тремя ударами молотка обозначить динамику птичьего полета или точным движением резака — полет мысли, — требует от русского сочинителя огромной подготовительной работы. Резать из дерева форму, загонять в опоку, сеять тончайший песок, чтобы в нем

отпечаталась малейшая крупинка будущей вещи; выводить литники, чтобы жар раскаленного слова не повредил замысла, — все это труд довольно нелегкий. Но когда разбита звонкая сухая оболочка — сколько неизбывной радости уму, глазу, сердцу подарит тебе совершившееся творение — будь то тяжелый резной георгин с толстыми клубнями или отливка длиннопалой старческой кисти, припорошенная рыжим песком с мельчайшими гранулами темно-золотистой речной слюды.

Зачем я об этом рассказываю? Затем, чтобы читатель понял, как далеко витал я в своих мыслях, когда вдруг заметил при очередном взмахе косою, что на ее темном, шероховатом, лишь вдоль острия сверкающем лезвии налип малый лоскут желтоватой, заскорузлой человеческой кожи. Когда, через несколько секунд, заработали мои слуховые рецепторы — вместе с шелестом высокой листвы на аллее и скучным гуканьем днепровских пароходов я вдруг услышал слабое собственное нытье. Оглянувшись на своего напарника, Григория, я увидел его сухой мускулистый торс, равномерно покачивавшийся в такт взмахам работающих рук. И только потом ощутил острое жжение в большом пальце левой ноги, с кончика которого была начисто срезана кожа, так что вид белесо-розового подкожного вещества, прикрывавшего самое плоть, вызвал у меня быструю реакцию легкого инстинктивного содрогания. В ту же секунду обильно прыснула кровь.

— Григорий! — позвал я. — Глянь-ка! Григорий оглянулся па мою приподнятую грязную ногу, на которой глупо болталась потерявшая босоножка.

— Эх тебя, Саня, угораздило! — сказал он.

Так началась полоса моего вынужденного безделья. Я хромал и томился от скуки. Ежеутренне приходил я в ботанический сад и, потоптавшись вокруг розария и вдоволь насытившись двусмысленными улыбками Оканниных сослуживцев, брел куда-нибудь наверх, в глубину сада, где, выбрав лужайку потенистей, вел счет неудовлетворенным минутам своей праздности, то следя за жесткокрылыми блестящими букашками, деловито снующими в густосплетении надпочвенных стеблей, то перелистывая какой-нибудь старый, с пожелтевшими страницами томик, вроде книжки «Язык цветов», но без иронии подsunутой мне Генрихом, то кропотливо работая над небольшою, но, видимо, хорошо удававшейся мне поэмой, которая повествовала о страстной жаре южного лета, о толстых кукурузных початках, столь тяжелых и золотистых, что под их тяжестью трескался мраморный прилавок крытого прохладного рынка, и, наконец, о страданиях неразделенной любви, булревающей душу молодого горожанина, занесенного судьбой далеко от родного дома.

Однажды я забрел на укромную площадку, отделенную от внешнего мира густыми рядами ровно подстриженных кустов. Она находилась на вершине одного из многочисленных холмов этого сада; в самой середине ее были расположены три овальных железобетонных водоема, поросших ослепительно-белыми водяными лилиями с их плоскими плавучими листьями, всегда производившими впечатление чего-то искусственно-декоративного, сработанного искусной рукой, чему не мешали даже малые размеры и жесткие очертания бетонных берегов, их обрамлявших. Я залюбовался цветами, прохладной гармонией их геометрически-точных живых форм. Ощущению этой природной живости не мешала даже прозрачность неглубокого слоя воды, позволявшего видеть интимную тайну произрастания этих цветов, круглые стебли которых коренились в небольших деревянных ящичках, уже успевших, впрочем, обрасти кое-где плотными рогульками раковин, проводящих свою иную, подводную жизнь в напряженном оцепении. Даже то, что из сухой бетонной стенки торчал обычный заржавленный кран, с шипением извергавший беловатую струйку городской воды, не портило ощущения первозданной прелести этих растений.

— Любуетесь? — услышал я рядом молодой насмешливый голос. Я оглянулся. Подле меня стоял невысокий юноша с голым продолговатым лицом, в пестрой

ковбойке с засученными рукавами, темно-синих «фирменных», шеголевато потертых джинсах, белых чешских полукедах. Мельком я видел его у входа в ботанический. «Наверное, это его цветы», — подумал я, и не ошибся.

— Лилия — растение обыкновенное, — сказал мой собеседник.

— Прекрасные цветы.

— Вы ошибаетесь. Уж слишком они роскошны. Присмотритесь получше — вот что будет гвоздем программы! — И он указал мне на тонкие стебельки, с круглыми, слегка пожелтевшими листьями, едва достигавшими поверхности искусственного пруда.

— Что это? — спросил я.

— О, это лучшее из водяных растений! Уверяю вас — скоро эти цветы будут расти в каждом пруду!

— Извините, но по их виду этого не скажешь...

Тогда он наклонил к моему уху свое миловидное, школьнически нежное лицо и твердо сказал:

— Будут. Пойдемте ко мне в кабинет, я кое-что покажу вам...

Прихрамывая, пустился я за своим собеседником напрямик, по зеленому садовому откосу, покрытому крупными желтыми пятнами солнечного света.

Странное впечатление производил рабочий кабинет этого человека. Странное потому, что уж очень не вязалась строгая его атмосфера с тем, как выглядел сам хозяин. Пол был покрыт блестящим, чисто вымытым розовым линолеумом. Синей и белой эмалевой краской были покрашены стены и потолок. Высокое окно — голое, без занавесок. Над необъятным лабораторным столом, заставленным прозрачными колбами, какой-то немислимой, с бесконечным количеством стеклянных и резиновых патрубков аппаратурой, блестящей никелированными частями, аккуратно прикрепленные кнопками к стене висели портреты Мичурина и Лао-цзы.

— Вы увлекаетесь Востоком? — спросил я своего нового знакомого.

Он промолчал. Откуда-то из бесчисленных ящичков и коробок он достал и бережно протянул мне на открытой ладони нечто, сильно напоминавшее желтоватый кусок старой ткани. Когда я пригляделся, то разобрал, что в руках у меня малый засушенный цветок.

— Что это? — спросил я, заинтересованный.

— Это лотос, — отвечал мой неожиданный знакомец. — Это единственный цветок, выращенный мною два года назад. Он вырос здесь, в этом самом бассейне, у которого мы с вами познакомились...

— Зачем вам это? — неожиданно грубо спросил я.

— Зачем? Да как вы не понимаете! Это цветок, пристально глянув на который, успокоится любая измученная душа! Если посадить его в каждом пруду, в каждой заводи — представляете, какого можно добиться мощного эффекта! Не будет больше ни ссор, ни драк. Повысится бытовая культура. Расцветут ремесла и возрастет благосостояние! Любой производственник, любая пастушка, устав от нелегкого своего труда, смогут прийти сюда, к лотосам, и, созерцая их, отдохнуть душою...

— Да вы шутите, — досадливо поморщился я.

— Ну и шучу, пусть. Но, уверяю вас, цветок этот нужен. И он будет расти здесь, вот увидите!

Мы вежливо распрощались. Странную тень оставила эта встреча в моем сердце...

Вскоре в Киеве резко испортилась погода. Похолодало, и, уволившись, я бесцельно бродил по городу, особенно часто среди пропыленных домов и белых церквушек Подола, в слободках которого можно и посейчас отыскать густолиственные садоочки, с мощными стволами вишен, щедро усыпанных темной ягодой, с белеными

стенами стоящего в глубине сада частного домика, с голосистым кочетом, задиристое пение которого раздражало меня, по странной ассоциации идей напоминая о любовной моей неудаче.

А потом зарядили дожди. В последний день своей киевской жизни я брел по Крещатику, заслонившись легким плащом от моросящего с неба дождичка, созерцающая зеленовато-бурые, с обломанными иголками кусочки каштановой кожурь и сами плоды каштанов — монолитные, будто вырезанные из одного куска орехового дерева, а потом тщательно отполированные на потеху киевским детям. Я наклонился и поднял с мокрого асфальта твердый коричневый плод. Но не витая игра его окраски вдруг поразила меня, а удивительное преображение собственной ладони. То ли рукоятью косы, то ли бессолнечным освещением разглаженные, линии моей души обрели вдруг стойкость и ясность, о которых и не смел и мечтать. И они, видимо, не лгали — эти линии, ибо особое спокойствие и умиротворенность ощутил я, слушая, как бежит вода по жестяным резонаторам водостоков.

Было безлюдно на Крещатике, пусто было и в магазине, где уныло притулился в углу прилавка мой закадычный друг.

— Павел Пестель и Сергей Трубецкой — вот в чьих душах коренилась смысловая нагрузка декабристского мятежа! — сказал он мне на прощанье. — А все остальные — лишь пешки в руках истории! Да-с...

1972

ФЕДОР ЧИРСКОВ

Окна*

В нависшей пепельно-серой или глянцево-черной промокнувшей ночи, откинувшись, смотреть сквозь полузакрытые веки, как вместе с комыями грязи из-под колес пронесет мимо тебя неподвижная дорога далекие, один — два на весь горизонт, огни. Либо это желтая уличная лампочка перед окном, либо прижавшееся к земле тусклое окно, просящееся ближе к людям.

И далее, мимо деревень — строя черных, некрашенных сырых домов, сквозь стекла которых смотрит на тебя деревенская жизнь — брошенная, полузабытая, полуживая. И выстраиваются в ряд эти желтые квадраты: одно почти слепое, с серым светом на половину комнаты, другое — неожиданным сквозным свечением от одной стены дома до другой, словно этот дом находится под рентгеном.

Потом появляются маленькие, землистые окна скотного двора, и вдруг мелькнет дом, весь сумрачно пронизанный голубым гудящим свечением лампы дневного света, неведомо откуда и как занесенной сюда хозяином.

А рядом глядят и не видят заколоченные широкими свежими досками глухие, слепые окна покинутых изб.

Или вдруг воинский городок, обнесенный невысокой толстой каменной стеной с воротами, в прутьях которого — жестокая железная пятиконечная звезда, а за ними — четыре ряда одинаковых ледяных окон казарм или спортзалов, все дальше и дальше...



Федор Чирсков.

Портрет работы Н. Жилиной

ателье мужской и женской одежды, где ничего никому не шьют; чтобы опять нырнуть в темноту, где, отчаянно принарядившись, бредут неведомо куда две девушки с высокими прическами, мимо пьяного велосипедиста, перелеска, дома с двенадцатью скворечниками, — в пустоту, за которой, ты знаешь, опять встанут одинокие окна, задающие свой мучительный вопрос ночи и небу, — окна твоей родины, и так долго-долго, до самого конца.

Потом встанет вдруг из темноты новый высокий дом с разной степенью уюта и света за окнами, где можно жить, мелькнет автобусная остановка, окруженная неясной толпой темных фигур, и вот уже после железно-дорожного моста начинается город.

Дорога становится более сырой и оттаявшей, с ухабами и лужами, с забрызганными грязью кучами снега по сторонам, мимо, по главной улице с памятниками вождям и полуразрушенной церковью.

Мимо запотевшего торжественного окна магазина, где, если взглянуть издали, как раз и кипит жизнь, а стоит отворить кривую дверь на пружине — засыпанный, как пеплом, сухой грязью пол, запах старой прелой крупы и куски жареной или копченой трески рядом с бутылками водки.

Вместе с натужным автобусом уходить прочь от пустого, освещенного

1971

БОМЖИР

Телефон*

Васе

У меня зазвонил телефон.

Я как раз спал и досматривал кошмарный сон: новый, цветной, широкоформатный, стереоскопический, высокохудожественный, остросюжетный, научно-фантастический кошмарный сон «Гибель Сайгонии». Дом в квартале № 220 на углу Невского и Владимирского подвергался сносу. Тяжелая гирия пробила брешь в будничном времяпрепровождении «Сайгона». По широкой лестнице, выходящей на Невский проспект, выбегали посетители и обслуживающий персонал ресторана «Москва». Короткими перебежками, увертываясь от чугунной гири, они удалялись

* Публикуется впервые.

в Купчино, где было построено новое здание для ресторана. Посетители ели на бегу. Официанты на бегу подносили блюда, уносили тарелки, раздавали коньяк и обсчитывали. Шеф-повар на бегу подписывал накладные из бухгалтерии, директор, тяжело дыша, говорил по телефону с тростом.

Из окон первого этажа выскакивали случайные посетители «Сайгона», за ним и представители различных организаций, систем и сект. Бессистемные хипы играли в «Гринэм-Коммон», не желая покидать здание. Милиция, рискуя жизнью, выводила их по одному и упаковывала. Заодно хватали тех из многочисленных зевак, кто проявлял хотя бы малейшую заинтересованность или сочувствие. Выбегали последние люди. С «Ермаком» за спиной выбежал Ляксандра, из окна выпрыгнул Мишель, за ним Завхоз, застегивая на ходу противогазку. Придерживая рукой шляпу, вышел Бомжир. Из окна третьего этажа показалась голова Ольшевского. Он для конспирации обрил голову наголо и отрастил усы. Через мгновение он оказался уже на первом этаже, а еще минуту спустя вынырнул из толпы, невинно озираясь и шепча: «Стрем, стрем, стрем». На всякий случай его тоже свинтили.

Допивая на ходу кофе, выскочил Трубников, который поддерживал свободной рукой безжизненно повисшую на его локте Матильду. Ее глаза закатились и пульс не прощупывался. Трубников плеснул ей кофе в лицо. Матильда приоткрыла глаза и обессиленно прошептала, снова теряя сознание: «Что же теперь с нами будет?..» Следом за ними быстрым шагом выходили Ля и Китаец. Ля мрачно смотрел под ноги, Китаец что-то доказывал ему, жестикулируя и отпихивая милиционеров. Их не тронули, заподозрив в их невозмутимом спокойствии поведение не то людей осведомленных, не то людей-осведомителей, а то и людей-распорядителей.

— Все, что ли? — крикнул бульдозерист.

— Можно заканчивать, товарищ майор! — отозвался сержант из конвойных.

— Пустите меня! — крикнул кто-то из последней упаковки, только что загрузившейся и собирающейся отъезжать в «пятерку». — Пустите! — и, выбитая ударом ноги, решетка на окне отлетела в сторону. Показалась окладистая рыжая борода Павла Азбелева. Он проскочил мимо конвойных и кинулся в «Сайгон», сбив с ног появившегося в этот момент на пороге последнего из аборигенов «Сайгона» — Виктора Николаевича Колесникова. Тот проворно, насколько это было возможно при его здоровье, вскочил на ноги и кинулся вслед за Павлом внутрь полуразрушенного здания.

— Ребенка забыли, — уверенно сказала женщина средних лет в платочке.

— Уйдите, бабушка, — увещевали ее милиционеры, но она не двигалась с места.

— Кофе не допил, — объяснил Завхоз.

— Ну да! Я знаю, чего он туда полез! — Ляксандра многозначительно посмотрел на Трубникова. Втроем с Азбелевым они на прошлой неделе спрятали в неисправную кофеварку две пачки травки и три пачки колес.

— Отнюдь, Алекс, — сказал Китаец, — Пашка по идейным соображениям! Я не сомневаюсь в этом!

— Дурак был человек и кончил плохо! — констатировал Ольдерогге, злорадно усмехаясь.

— Правильно! Всех вас так надо! — кричал С. Л. Кузьмин, по ошибке упакованный и доказывавший теперь свою непричастность и идейное расхождение.

— Гм-гм-гм! — подняв указательный палец, произнес многозначительно М. М. Ольшевский. Он вытащил из капюшона книгу Шопенгауэра, всю в закладках, и собрался было что-то процитировать, но заметил, что милиционер пристально смотрит на него, а затем сверяет с фотографиями и описаниями. Ольшевский наклонил на голову капюшон, пробормотал «Стрем, стрем, стрем» и исчез.

— Хороший был дом, — степенно разъяснял Мишель окружающим. — При всех властях стоял. А советской не выдержал! Вот оно как получается.

Он вздохнул, и его свинтили.

— Пусти, говорю! — донеслись крики Азбелева из полуразрушенного «Сайгона». — В кофеварке лежит, пусти!

Колесников тихо визжал, пытаясь вырваться из объятий Азбелева. Тут майор нажал на рычаги, и гиря снова начала раскачиваться.

— Азбелев! — кричал Трубников. — Уходи с баркаса!

— Убью суку! — кричал Азбелев изнутри и бил Колесникова кофемолкой по черепу. Колесников отбивался телефонной трубкой.

— Там еще люди! — крикнули майору, но он, не обращая внимания на это сообщение, запустил гирей в остатки «Сайгона». Рывание раздалось повсюду. Когда пыль рассеялась, люди стихли. Они почтили минутой молчания гибель великого рассадника... Из-под обломков, держа в руке телефонную трубку с обрывком шнура, выполз хромающий на все четыре конечности Колесников. Он кричал в трубку: «Товарищ, полковник, я требую, чтобы меня повысили в чине!» Очевидно, разум его помутился.

— Где второй, тот, что матерился? — спросил подошедший майор. Колесников махнул рукой на груды развалин.

— Прекрасно, — заметил майор. — Спасибо за все. Обещаю посмертные почести. Родина вас не забудет.

С этими словами он выстрелил в лоб Колесникову.

— Слишком много знал, — объяснил он подошедшему сержанту.

Упаковки одна за другой отъезжали в разных направлениях.

Прибежавших из «Эльфа» и «Ольстера» мажоров брендспойтами смыли в Фонтанку. Из окон кинотеатра «Титан» по собравшей толпе застучал пулемет. С площади Декабристов спешно подтягивали артиллерию. От Финляндского вокзала по Литейному, отрезая путь толпе, скакал эскадрон с шашками наголо. От Московского вокзала по Невскому проспекту двигалась танковая колонна. В небе показалась эскадрилья бомбардировщиков...

Через пару часов все было кончено. Огромная кровавая клякса стекала в Фонтанку. Скоро кровь вышла из берегов и затопила город...

И тут у меня зазвонил телефон.

Это был детский телефон «Дуэт», не выходивший на центральную телефонную станцию. Комплект «Дуэт» состоял из двух аппаратов и шнура. Второй аппарат находился в соседней комнате. Я заглянул туда. Он тоже трезвонил. Я поднял трубку.

— Кто говорит?

Это говорил Китаец. Он приглашал идти на Певзнера к Диме Кабанову. Я уже слышал про Дугина и подумал, что Певзнер, должно быть, не менее шизоид.

— Да что ты! — говорил Китаец. — Тебе Бомжир разве не читал очерк?

Бомжир мне читал очерк вчера на дне рождения. Это было последнее, что я смог вспомнить из происходившего вчера.

— Короче, — сказал Китаец, — встречаемся в восемь.

— Я не иду, — сказал я и повесил трубку.

Я стал смутно припоминать, что было вчера. После того, как Бомжир воспользовался успехом, пришел сначала Трубников, потом Востров... или наоборот: потом Востров, а сначала Трубников? Потом кто-то сел на лошадь и ускакал в «Сайгон»; потом все играли в Чкалова и лезли в шкаф или ходили по стенке.

В подтверждение этой мысли я увидел, как по стене идет Востров. Он перешел на потолок, свернул за угол и исчез.

— Ты как здесь? — спросил я.

— Стреляли, — сказал Востров, улегся на потолке и заснул.

Тут зазвонил: телефон.

— Наконец-то я до тебя дозвонился! — заорал в трубку Павел Азбелев.

— Тихо! — сказал я ему. — Разбудишь!

— Кого?!

— У меня тут на потолке Востров спит.

— Нечего ему спать! Пусть все знают!

— Успокойся. Что случилось?

— С кем меня свели, сволочи! С кем сравнили! Конференция! Семинар! Паскудство одно! Болельщик трах его тарарах! А еще с буквой «а» в середине! Мерзавец!

От крика проснулся Востров и свалился на телефон.

Я отпихнул его и повесил трубку.

— Пойдешь на Певзнера? — спросил я его.

— Хоть куда, только б не в кресу, — ответил Востров.

— Звони Китайцу. Он в «Сайгоне» сейчас сидит.

Востров взял аппарат.

— Барышня? Алло! «Сайгон», пожалуйста. Спасибо. «Сайгон»? Это Ля. Кто говорит? Виктор Николаевич, дорогуша, дай-ка мне, пожалуйста, Китайца. Он на третьем подоконнике сейчас у тебя должен кофе пить. Уже застремали? Ну, извини, дорогой. Счастливо. До встречи в «пятерке».

— Алло! Барышня? 5-е отделение милиции. Отделение? Востров говорит. К вам Китайца привозили? Ах, не привезли еще. Привезут — позвоните. Куда позвонить? Васе. Это нет, не система. Это просто так. Да. Спасибо.

— Ты чего это такое делаешь, нехороший человек?! — возмутился я. — Вот возьму сейчас, и позвоню куда следует, и настучу на тебя.

Востров хмыкнул и уселся на диване с наиприветливеем видом.

Я снял трубку.

— Барышня! Смольный. Кабинет Феликса Эдмундовича. Алло! Феликс Эдмундович? Добрый день. Это Вася. Слушай, тут у меня Востров хулиганит, безобразия чинит, лозунги выдвигает и вообще ведет себя подозрительно, так что...

Востров выхватил у меня трубку.

— А у Васьки сегодня весь сэйшн собирается. С одного меня вам навару не будет. А на сэйшн вся система соберется. Ну, я, прежде всего, потом Пашка, Трубников, да, Матильды потом всякие и прочие хиповые гирлы и мэны. Всего хорошего. Ждем.

— Чего он говорит? — со страхом спросил я, когда Востров повесил трубку.

— Говорит, будем делать пиплу финиш.

Тут зазвонил телефон. Это говорил Китаец из «пятерки».

— Слушай, Васька, с Певзнером отменяется, он тоже шизоид, меня сейчас отпускают, и я еду в Таллин автостопом от лито. Да. Ты бы мне не выслал на главпочтамт «Гнулю» и прочее, чтобы было с чем выступать?

— Вы не туда попали, — сказал я и повесил трубку.

Телефон зазвонил снова.

— Тебе это так не пройдет, — сказал Китаец и многозначительно выдержал паузу. Подскокил Востров и изобразил в трубку гудки типа «занято». Я повесил трубку.

На пороге появились Пашка и Борька. Они о чем-то спорили.

— Привозят меня, — говорил Азбелев, — к этому в смокинге. Ну, думаю, хоть один не в хиповом прикиде и с буквой «з» в середине. А он увидел меня и

давай ржать. Чего ржет, спрашивается? Я ему говорю: «Лемзяков, ты дебил». Он ржет. Я говорю: «Лемзяков, если ты сер, то не надо это выпячивать». Он ржет. Чего ржет? Дебил, одно слово. Востров, перестань курить, когда с тобой Азбелев разговаривает. Если ты меня не поддержишь, я сейчас же уеду в Гонолулу на междусистемный съезд хипов.

— Лучше на Индирикку, — возразил Трубников, — лес валить и за Вострова голосовать. Но Азбелев уже хлопнул дверью.

Тут зазвонил телефон.

Это говорили из «пятерки». Меня обвинили в том, что я украл из зоопарка слона.

— Да, — сказал я, — украл.

— Как вы его увезли?

— На трамвае. Я заплатил за билет! — возразил я. — А в метро меня не пустили — сказали, груз негабаритный.

— А в трамвай пустили?!

— А трамвай я угнал, — сказал я и повесил трубку.

Трубников о чем-то говорил Вострову.

— Не надо спешить. Тебе еще нет двадцати одного. Но к тому времени, если тебя постоянно рекомендовать и пропагандировать, ты завоеешь сердца. И за тебя будет голосовать вся страна. Востров, ты будешь депутатом! Хочешь быть депутатом?

— Хочу быть богатым, — сказал Востров. — А там уже можно и депутатом.

Тут зазвонил телефон.

Это говорил Китаец из Таллина. Это он украл слона, угнал трамвай и свалил на меня.

— Я выступил на лито, — говорил Китаец, — показал слона и сказал, что это мое новое произведение. Соснора меня ругал и сказал, что мне надо искать новые формы. А Алекс меня хвалил, он гладил слона и говорил, что мои произведения трогают. Соснора сказал, что его не трогают, и тогда слон потрогал Соснору хоботом.

— Я его дрессирую, — продолжал Китаец, — я его научил пить кофе, и мы с ним в «Сайгон» пойдём. Кстати, тебе Феликс Эдмундович звонил?

— Нет. Я ему звонил.

— Зачем? На Вострова стучал?

— Ага. А потом он на меня.

— А то я ему позвонил и позвал на сэйшн. Я его хочу со слоном познакомить.

Я попрощался с Китайцем и повесил трубку.

Востров надел на голову нимб (и где только, собака, выкопал!), надел простыню, на которую успел пришить крылья, пока я говорил с Китайцем, и вылетел в форточку.

— Ты куда? — крикнул я ему вслед.

— В «Сайгон», — ответил Востров, удаляясь.

Я пожелал ему летной погоды.

Тут зазвонил телефон. Это звонил Азбелев из Гонолулу. Он кричал в трубку, что вся система насквозь прогнила, что все хипы омажорились и зажрались, что все дебилы, что его, Азбелева, никто не уважает, что пора наводить порядок и все систематизировать, и что он, Азбелев, этим сразу же и займется.

Я пожелал ему удачи и повесил трубку. Сзади раздался звон пилы. Это Трубников у меня в квартире валил лес.

— Берегись! — закричал он, и слева от меня рухнула древняя пихта. Из-под ее корней выбежал ежик и, пометавшись по квартире, юркнул на лестничную площадку. Наверное, побежал в «Сайгон».

— Берегись! — и справа от меня рухнула сосна, прямо на сервант. Осколки сервиза усеяли хвойные ветки.

— Хватит! — крикнул я, но Трубников вошел во вкус. Он побежал валить лес в соседнюю квартиру, где жили люди образцового порядка и высокой культуры быта.

Тут зазвонил телефон. Звонили из Большого дома. Бомжир свинтил у них табличку «Отдел кадров», они свинтили его и сейчас устанавливали его личность.

— Ничем не могу помочь, — сказал я и повесил трубку. Тут вошел Ляксандра, а с ним еще кто-то, с рыжей бородой, низкорослый.

— Я поймал в «Сайгоне» ежика, — сказал Ляксандра, — а он сказал, что он от тебя. Я его напоил кофе, и он сейчас спит на подоконнике, если его еще не свинтили. А это Ольшевский, — показал он на рыжебородого. — Он сделал себе операцию имени профессора Дуоэля — для конспирации. Теперь его не-ско-ро узнают.

— Так надо, — сказал Ольшевский голосом Азбелева

Тут зазвонил телефон. Это звонили из «пятерки». Они подстрелили по дороге ангела, летевшего в «Сайгон». Он был одет в простыню с моими инициалами.

— Очень может быть, — сказал я и повесил трубку.

— Надо позвонить бедняге, — сказал Ольшевский голосом Азбелева и снял трубку.

— Барышня? Тот свет, пожалуйста. Где там? — он прикрыл ладонью трубку, — Куда он на том свете может пойти?

— В «Сайгон»! — ответил Ляксандра.

— Тот свет, «Сайгон», Вострова. До ВОСТРебования.

— Ждите, — ответила барышня, и мы пошли пить чай.

— А за что вы Пашку? — спросил я у Ольшевского,

— Слишком любил порядок, — ответил он.

Тут зазвонил телефон. Я кинулся, думал, что междугородняя: Востров с того света из «Сайгона», но это звонили из нирваны, спросили у Заинчковского, почему тот до сих пор не принес фотографии для пропуска размером 3 на 4. Ляксандра побежал фотографироваться.

Позвонили из системы, сказали Ольшевскому, что за систематическую неуплату членских взносов его диссистематизировали. «Гм-гм-гм», — сказал Ольшевский и тоже исчез.

Потом позвонил Бомжир из Большого дома, сказал, что его отпустили, что он свинтил у Лобанова орденские планки, у Рудли погоны и со стены табличку «Фотоархив Большого дома» и что это все он мне подарит.

Наконец звонила междугородняя. Востров востребован!

Но со мной говорил Колесников.

— Ты тоже умер?! — поразился я.

— Не надейся! — ответил Виктор Николаевич.

— Любовь ты моя страстная... — донесся в трубку голос Матильды.

— Извините, — сказал я, — ошибся. Не на тот свет попал.

Позвонили соседи и сказали, что они Трубникова связали и сослали на Инди-гирку.

Позвонил Бомжир, сказал, что, пока они этим занимались, он свинтил их табличку «Квартира образцового порядка и высокой культуры быта».

Позвонили Мишель с Завхозом, и с надеждой в голосе говорили, что им плохо.

— А мне хорошо! Вот вам всем! — крикнул я в трубку.

Позвонил Феликс Эдмундович, поздравил с днем рождения, справился, кто явится на сэйшн, отдал последние распоряжения опергруппе.

Позвонил Китаец, сказал, что если я сейчас же не появлюсь в «Сайгоне», то он рвет со мною все отношения.

Я взвесил все «за» и «против», повесил трубку и поехал.

У Московского вокзала меня остановили, взяли в оцепление и отвезли в отделение. Понемногу в «пятерку» начал стекаться всякий пипл.

По обрывочным сведениям я кое-как восстановил всю картину.

Китаец пришел в «Сайгон» со слонем. Слон еле протиснулся в дверь. Колесников стал скандальничать и звонить в Большой дом. Тут привезли Вострова на опознание. Хипы в виде протеста разрушили кофеварку. Милиция открыла огонь. Слон испугался и разрушил перекрытия. Спрятанные под подоконником взрыватели сдетонировали. Колесникова взрывной волной отбросило на пульт управления, и квартал № 220 автоматически взлетел на воздух.

Прибежавших из «Эльфа» и «Ольстера» мажоров брендспойтами смыли в Фонтанку. Из окон кинотеатра «Титан» по собравшейся толпе застучал пулемет. С площади Декабристов спешно подтягивали артиллерию...

Уже поздно ночью мне позвонил Кузя и рассказал, что ему выбили глаз, Бомжир взял в армию, Рубину забрали в крезу, а Ляксандре очень жмут новые синие кроссовки.

Февраль 1984

Комментарий: Ляксандра — Александр Зайнчковский; Матильда — Татьяна Носевич (в замужестве Трубникова); Ля — Дима Востров; Мишель — Михаил Каган; Бомжир — Леонид Попов; Вася — Сергей Васильев; Завхоз — Алексей Горячев; Китаец — Алексей Ковалев.

МАРК МАЗЬЯ

Человек из шкатулки* (повесть)

И стоило потянуть за ниточку, как крышечка отскакивала вверх и в сторону и из шкатулочки выскакивал крошечный человечек на пружинках и в кожаной курточке, такой маленький и мерзкий, что Афананасий Никитич называл его «наш Мерзавчик» — и очень сожалел, что не может никак подыскать ему подходящую мерзавку, столь же меленькую и пакостную.

Человечка привез еще с германской дедушка Афанасия Никитича. Поэтому прозывали его Пруссачок. Он и вправду был очень воинственный. В левом нижнем кармашке его курточки лежал блестящий пистолетик, стрелявший рисовыми зернышками. А ежели кому приходила охота дернуть за золоченую ниточку, привязанную к его темечку (бабушка позже, чтобы Пруссачок не походил на китайца, связала ему шапку с помпоном, к которому подшила ниточку), то человечек надувал щеки и делал «страшный пух». Когда же вздумалось бы вам потянуть за голубую ниточку, на которой держались его штанишки, Пруссачок лупал глазками, смешно перебирал ручками и ножками, отчего чрезвычайно походил на таракана.

* Публикуется впервые.

Размером же он был вместе со шкатулочкой с ящик от старого телевизора и помещался на письменном столе.

Несмотря на то, что человечек был мерзковат, Афанасий Никитич дорожил им: этот хитрый (каких теперь не делают) механизм напоминал ему дедушку, отца, от которого он получил его в наследство, и собственное такое долгое и так быстро пролетевшее детство. Афанасий Никитич рос добрым мальчуганом. Он не раз плакал о несчастном своем Мерзавчике, воображая, что, как и известного всем Щелкунчика, его заколдовала злая фея, а он, Афанасий Никитич, должен его расколдовать. Но то ли не находилось поблизости подходящего мышиного короля, в схватке с которым обнаружились бы лучшие качества Мерзавчика, то ли по другой какой причине, но даже в рождественскую ночь не являлась к мальчику добрая фея, а Пруссачок оставался все тем же Мерзавчиком. И, вероятно, когда-нибудь испортился бы его замечательный механизм и не нашлось бы искусного мастера починить его, если б не...

Это случилось в те памятные дни, когда задул Ветер. Собственно, ветер дул всегда. Более того, там, где жил наш герой, он всегда дул в лицо. Однако это был не такой ветер. Он дул во все стороны сразу и для каждого отдельно. Политики называли его ветром перемен. Он забирался во все уголки, тянул из каждой щели, зудел у окна, точно назойливая муха. Поэты окрестили его «эоловой арфой». От него невозможно было спрятаться: он крутил пыль, подносил к вашим глазам всякую бумажку — и вообще был невыносим.

Через несколько дней такого ветра квартира сделалась неузнаваемой. Изю всех углов, из-под шкафа, из-под дивана, из-под этажерки — отовсюду вылезли потерявшиеся или позабытые вещи. Они заполнили всю площадь и, казалось, готовы были вытеснить и самих жильцов. Бороться с мусором было бессмысленно. Чем чаще выметали сор — тем больше его наползало. Мусор в глазах, мусор в ушах, во рту, — он забивался в легкие и (да-да-да!) ложился даже на сердце.

Мусорный ветер подмел городские улицы, и город, обеспамятев, преобразился. Сначала, засыпанные песком и пылью, заскрипели и остановились городские часы. Потом, сорванные с привычных мест, рухнули вывески, а у тех, что стояли, пропали отдельные буквы. «...астроном», «... нижняя... авка пис...», «... улочная», — читали прохожие ярко мигающие рекламы.

Ветер и явился тем волшебником, о котором в детстве часто думал Афанасий Никитич. Только он не походил ни на добрую, ни на злую фею. Он был просто мусорный ветер и жил сам по себе, равнодушный к мечтам маленького мальчика, который давно уже превратился в мужчину. Он имел удивительное свойство оживлять неживую природу. Мячик, выкаченный им из-под шкафа, начинал прыгать и бить стекла; выметенные из угла солдатики строились в батальоны и палили из пушек по ногам проходящих, больно ударяя их по шиколотке, а разноцветные Фантики, невесты как уцелевшие после многочисленных уборок, представлялись мигающими разноцветными звездами. Их звездная карусель обрела уже своих мечтателей и поэтов, которые быстро вытеснили с Парнаса поэтов прежних и теперь поражали восторженную публику бумажным шуршаньем новоявленных звезд. Только влюбленные не могли согласиться с фантиковым небом и по-прежнему упрямо смотрели в пустоту. И пусть с ними! Влюбленность быстро проходит, а семейная жизнь требует воображения, прочно стоящего на земле, и бумажный сор и шорох все-таки давал душе отдушину.

Известно, как любят поэты писать о ветре. В могучих легких мусорного ветра исчезали точеные ритмы, рассыпались искусно подобранные слова, оглушались рифмы. Для музыкального уха он был резок и скрипуч. Его жестяной голос твердил о насущном и не позволял душе расслабиться в мечтах о чем-то постороннем.

Разве что рождал постоянную тревогу и чувство незащищенности, так как скрыться от его мощных порывов, пронизывающих все бытие, не мог ни один человек. В одних это поселяло тоску и скуку, в других — беспричинную радость, третьи под порывами жестяного голоса становились злобны и жестоки.

И, конечно же, однажды ветер натянул ниточку и буквально выдул Мерзавчика из шкатулочки. Сначала тот завалился на спину, дрыгая ножками и ручками, потом привстал на четвереньки, выпрямился и, переваливаясь, потопал по столу, спрыгнул на пол, запрыгнул на стол, на шкаф, как бы пробуя силу своих пружинки, перетянул потуже ниточку на поясе на штанишках и, довольный, уселся на диван, лукаво поглядывая по сторонам. Тотчас солдатики на полу подкатили к дивану пушку, но Мерзавчик — на то он и был Пруссачок — живо выхватил пистолетик и, окопавшись среди диванных подушек, открыл веселый убийственный огонь. Храбрые солдатики смешно заваливались под ударами, а рисовые зернышки-пули звонко цокали по паркету. Наконец Пруссачку надоела эта игра, он прыгнул в середину солдатского строя и свалил всю армию в кучу. Избавившись таким образом от докучавшего ему сражения, наш герой подбежал к окну, вскочил на подоконник, на форточку, сделал страшный пух и был таков.

Пропажа очень огорчила Афанасия Никитича. Однако вскоре он успокоился, и другие заботы отвлекли его от потери. Мерзавчик же, подхваченный ветром, долго, будто коршун какой, кружил над городом и так и запропал бы, если б...

Как всякий наш человек, Афанасий Никитич за годы жизни своей добра не нажил, хотя накопил множество городских привычек. Скажем, любимые улицы для прогулок, своя скамейка в сквере, места, где он любил попить кофе, повстречаться и поболтать с друзьями. Бог весть о чем, магазины, где он чаще всего покупал нужные ему вещи, транспортные маршруты, которыми он чаще всего пользовался, любимые пейзажи, любимые марки сигарет, сорта вин, обряды встреч с женщинами — словом, город, в котором он жил, был для него таким же родным, уютным местом, как собственная квартира, где можно расслабиться, походить в халате и не слишком заботиться о том, как ты выглядишь со стороны. Афанасий Никитич называл все это подробностями бытия. Вероятно, в обиходе своем эти «подробности» и составляют существо нашей жизни, наполняют ее ни с чем не сравнимым содержанием. Афанасий Никитич ревниво оберегал свои «подробности» от постороннего вмешательства, старался даже при естественных жизненных переменах сохранить их. И в книгах он тоже пуще всего ценил подробности, считая, что в них и заключается главная мысль автора. Это не значило, что он отвергал современных писателей-новаторов. Просто жизнь у них складывалась в иные словесные узоры, существовала в иных подробностях.

Мусорный ветер разрушил привычный мир Афанасия Никитича, отнял столь милые его сердцу мелочи быта. Выяснилось, что без них существовать, в общем-то, можно, но, как опустела шкатулочка без Мерзавчика, так и город опустел, лишенный привычных магазинов и магазинчиков, вывесок, заветных уголков, которых раньше никто не замечал, но которые оказались теперь столь необходимыми.

Афанасий Никитич разлюбил гулять по привычным с детства улицам, пить кофе с друзьями в их кофейнях и угощать шампанским милых дам в крохотных, но любимых его сердцу мороженицах, да и сами эти сызмальства любимые места и местечки или пропали вовсе или превратились в шикарные быстро и рестораны, которые Афанасий Никитич и его друзья всегда терпеть не могли за их хвастливую суету. Превратились в невкусные напитки излюбленные сорта вин; аромат женских духов утратил прелесть единственности, ставши запахом французских духов. И хотя возникли памятные с детства или по рассказам старших имена улиц, промыслов, колбас, сыров,

рыб, предметов обихода, — они не возместили утраченного, потому что так и не внесли разнообразия в наступившую новую реальность. Иногда Афанасию Никитичу казалось, что из города — а значит, и из него — вынули душу, набив образовавшуюся пустоту мишурой преждебывшего и будущего счастья и изобилия.

Побродив по ставшему чужим городскому пространству, он забивался в свою конуру, но и там все постепенно приобретало призрачный, ненастоящий вид. Ровное дыхание жестяного ветра словно истончало стены его жилища, рождая ощущение непрочности настоящего. Целыми днями, если позволяли дела, Афанасий Никитич сидел дома. Он, которого раньше ставили в пример другим за непосредливость, который вечно был занят: чего-то искал, ждал, отвоевывал у судьбы и почти всегда добивался успеха, — не то что бы утратил свою живость, не то что бы потерял вкус к движению, к вечной борьбе. Ему стало скучно. Острота ума выливалась порой в скептицизм; острота чувства пряталась в практических, простых до цинизма соображениях; общительность характера потребовала одиночества, даже затворничества.

Дундела, трендела, гомонила, гоготала, пыхтела, кричала, вздыхала, кряхтела, билась о каменные берега растекшаяся по улице толпа. Она мигала разноцветьем курточек, шапочек, флажков, транспарантов, но, как будто жестяной ветер присыпал всех мусором, выглядела однообразно-серой. Толпа шевелилась и двигалась вдоль фасадов со слепыми от солнца окнами вперед и вперед. Невольно вовлеченный в ее бессмысленное движение, Афанасий Никитич угадывал в нем чуть ли не мистический смысл. Некая тайна отделяла толпу от людей за окнами, от редких милиционеров по сторонам дороги, от продавцов у тротуаров и в киосках вдоль старинных фасадов, от тех, кто, точно кнутами, стегал толпу металлическими головами, вырывавшимися из кратеров репродукторов на стенах домов, мегафонов на груди избранных из толпы. Их голоса выражали идею толпы: она отказывалась от своего прошлого и хотела жизни новой, где ей будет спокойно и сыто. Вслушиваясь в это желание, отчетливо звучащее в металлическом разноголосье, Афанасий Никитич непроизвольно повторял глупый детский стишок:

Что нам стоит
Дом построить:
Нарисуем — будем жить.

Он даже зашагал в такт этим словам, как вдруг с удивлением обнаружил, что все шагают в одном с ним ритме. Все: и слоники с пианино его бабушки, и смешные фарфоровые собачки с буфета, и ходики, что стояли всегда на книжной полке у его первой женщины, и прелестные лебедушки, вышитые на занавесках их спальни, и люди с фотографий из альбомов, которые почему-то сберегала его жена, и другие, чей облик напоминал ему кого-то из прошлой, доветренной, жизни, но вот кого именно — не вспомнить. Хотя вон тот с мощным торсом и тоненькими, будто не его, ногами походил на кариатиду, подпиравшую балкон второго этажа дома, где он часто бывал. Афанасий Никитич слегка испугался: а вдруг слоники узнают его, и тот, которому в пять лет он отбил хобот, до сих пор обижен? Он уже подумывал, кем бы ему прикинуться, как вдруг обнаружил пропавшего Мерзавчика. Не увидел, не узнал (можно ли было узнать в спине этого невысокого роста мужчины с пружинистой походкой, в кожаной куртке и широких брюках по последней моде — человечка из шкатулочки?), скорее почувствовал. Мерзавчик оживленно беседовал с соседом по толпе, убеждая его в чем-то и подсказывая в такт шагам глупой песенки. На плече у него возлежала (да! да! да! именно возлежала!) грозная орлица, на голове ярким пятнышком светилась вязаная шапочка с помпоном. Ут-

ратив внезапно интерес к собеседнику, Мерзавчик пружинисто подпрыгнул и растворился в толпе. Афанасий Никитич хотел было броситься за ним, расспросить, но Мерзавчик, появившийся вновь, шмыгнул мимо него к человеку с мегафоном, они посовещались, а толпа уже далеко отнесла Афанасия Никитича от того места, и возвращаться ему не захотелось.

У решетки сада ораторствовал некто в каске пожарника. Некоторая часть толпы — с ними был и Афанасий Никитич, — будто натолкнувшись на препятствие, закрутилась и сгрудилась вокруг оратора, переставая медленно вращаться. Слов не было слышно, но, судя по выражению лица, тот в каске был очень сердит. Приглядевшись, Афанасий Никитич узнал сына юриста из третьего подъезда. В детстве он болел золотухой, был чрезвычайно самолюбив и потлив, и мальчишки во дворе иногда били его для острастки. Теперь такие же бывшие мальчишки вертелись вокруг него, чтобы послушать. За спиной сына юриста, отделенный от толпы чугунной решеткой, вальяжно раскинулся в кресле клювоголовый, в цирковом трико под серым пиджаком и с мзеевидным телом косоватый мужичок, важно кивая в такт непонятым, плохо различимым на ветру, но явно злым и призывным словам, от которых крутившиеся волновались, шарахались и строились в ряды, тотчас распадающиеся и смешивающиеся с толпой. Невесть откуда выпрыгнувший Мерзавчик растопырил локти, уставил в оратора немигающий светлый глаз, застыл и опять исчез. На миг сердце Афанасия Никитича дрогнуло и затихло при очередном скрежещущем порыве ветра. Голова у Афанасия Никитича закружилась, и он бы упал, когда б случайный толчок не выбросил его в пустой переулочек, где он и пришел в себя. Было так тихо, что он решил, будто оглох. Но вот в тишине начали проступать звуки: шорох листьев на асфальте, голубиное курлыкание, голоса ребятишек в песочнице. В два луча переулочек огибал маленький скверик, и яркие пятнышки детских курточек, шапочек, игрушек расцвечивали серые тона осеннего города. Афанасий Никитич побрел к скверу и опустил на скамейку отдышаться.

Он сел лицом к проспекту, откуда его каким-то чудом вдуло в этот переулочек. Он сидел и смотрел на прохожих, на суету автомобилей; перед его глазами мелькали желтые ящики переполненных автобусов. Все дышало привычным размеренным утренним ритмом; лез в уши призывный голос из мегафона, приглашающий на автобусную экскурсию по городу, цокали каблучки на тоненьких ножках городских модниц.

Краем глаза Афанасий Никитич заметил, что на скамейку рядом с ним кто-то уселся. Это был неопределенного возраста мужчина в модной кожанке, из-под которой виднелся растегнутый ворот рубашки, на коротеньких крепких ножках мужчины белели фирменные кроссовки. Человек достал из кармана сигаретку, прикурил от зажигалки и затих, ласково поглядывая на Афанасия Никитича. Лицо его показалось знакомым, но в чертах, в выражении бездонных голубых глаз было нечто неприятное, даже отталкивающее. Афанасий Никитич отвернулся, но сосед по скамейке притягивал его взгляд.

— А я вас узнал; мы жили на одной улице, вы ходили в смешной тубетейке и дружили с Митей, который потом спился, а теперь живет в Израиле, и у него там свое дело, и он недавно прислал вам письмо с приглашением в гости и триста долларов, — затараторил вдруг человек над самым ухом Афанасия Никитича, — а в доме напротив была комната с балконом, и вы завидовали жившему там мальчику, потому что он мог пускать с балкона бумажные самолетики и мыльные пузыри; потом вы переехали в другую квартиру, но ваш отец еще долго ходил в гости к соседке и задерживался допоздна; а ваша первая девушка, помните, такая, с высокой грудью, изменила вам с вашим приятелем; вы ужасно переживали и подсматривали, как они целуются...

Он говорил почти без пауз, точно выстреливал очереди из пулемета, и Афанасий Никитич никак не мог вмешаться в его речь или просто встать и уйти.

— Вы меня не помните, а мы часто играли вместе; не хотите ли отметить эту встречу?

— Извините, мне некогда, — промямлил Афанасий Никитич и уже твердым голосом начал прощаться.

Но человек, видимо, не склонен был расставаться с вновь обретенным другом детства. Он привскочил на скамейке и запрыгал рядом с Афанасием Никитичем, не отпуская его ни на шаг от себя.

— Я теперь работаю в одном месте и мог бы быть вам полезен. А еще я пишу стихи, и вы должны прийти на встречу со мной и моими друзьями в семь часов в ВТО.

Человечек исчез, оставив в руке у Афанасия Никитича пригласительный билет на вечер новой поэзии с участием поэтогруппы «Мустангер» и ... — тут в билете значилась фамилия уважаемого литератора, чье творчество всегда ценилось в кругу Афанасия Никитича и чьи не по его вине редкие сборники, изданные предельно малыми тиражами, мгновенно исчезали с прилавков. Правда, теперь, после известных перемен, его перестали прижимать и даже сделали каким-то литературным начальникам в городе, а книги его в красивых картонных обложках можно было увидеть на многочисленных книжных лотках.

— Ишь ты! Дожил до покровительства, — лениво подумал Афанасий Никитич. — Заматерел. Замастител. А вообще — наваждение какое-то. И где я видел этого в курточке?... Любопытно.

Но чем дальше думал он о своем случайном собеседнике, тем меньше хотелось ему продолжать это знакомство. Внешность, поведение, неприятная манера говорить и курить сами по себе могли не значить ничего, когда б он назвался слесарем, коммерсантом, секретарем партийной организации, пьяницей в конце концов — но поэтом...

Афанасий Никитич даже не заметил, что уже несколько минут стоит у дверей того самого дворца, куда пригласили его на завтрашний вечер и где в юности не раз с эстрады звучал и его голос, — стоит и тупо разглядывает афишу, с которой, одинаковые, точно игроки одной футбольной команды, смотрели на него одиннадцать мустангеров в кожаных курточках нараспашку. Из них «лица необщим выраженьем» выделялся тренер — тот самый известный литератор. Он помещался в центре группы и добродушно, с насмешливой, а может быть, извиняющейся улыбкой поглядывал на проходящих.

— Где же среди них мой знакомец? — заинтересовался Афанасий Никитич. Но, сколько ни всматривался он в лица, чуть расплывающиеся от типографской краски, ни запомнить, ни узнать кого-либо не мог.

— Пусть будет этот, — решил Афанасий Никитич, ткнув пальцем в фигуру стоявшего в правом верхнем углу мустангера. И тотчас без всякой связи с происходящим подумал:

— До чего, однако, смешной этот Лев Борисович из второго отдела. Вздрагивает, боится чего-то, курить бросил, чтобы не нарваться в курилке на какой-нибудь слишком смелый разговор. Там все сникли как-то, лишившись еврейских анекдотов, которые он так виртуозно рассказывал в прежние времена. В сущности, безобидный человек, а в отделе при нем теперь только о погоде спорят. Даже Вихарев, известный в институте радикал и консерватор — ярый сторонник русского православия в русле социализма — и тот старается не тревожить Льва Борисыча своей трескотней, от которой буквально заложило уши всему институту. С недавних пор он взял манеру креститься, входя в отдел, и осенять всех в комнате

крестным знамением. При Льве Борисыче он крестится, когда выходит в коридор, где и благословляет всех.

В это время из подъехавшей иномарки темно-вишневого цвета вылезла на тротуар длинноногая барышня в коротеньком пальтишке, распахнутом настежь, а следом появился хозяин иномарки — в просторном, как пижама, фирменном спортивном костюме, с короткой прической и прозрачными голубыми глазами на плоском лице. Оба они скрылись в дверях.

— У мустангеров, должно быть, девицы из той же серии, — подумал Афанасий Никитич и заспешил домой.

На улице горошком сыпался дождик, словно телеграфировал дробным своим перестуком о болезни тетушки, о свадьбе двоюродной сестры из провинции, приезде приятеля, дне рождения какой-то Тamarочки. Как назло, зонтик заело, и Афанасий Никитич изрядно вымок, пока добрался до дома. Да еще мустангеры все в голову лезли:

Кожаные курточки,
чтоб любили дурочки,
джинсы и кроссовки,
кепочки по бровки, —

вертелась в башке непонятная гиль.

— Топ-хлоп-топ-хлоп... по лужам, локотки топорща, глазками прямо в глаза... вон они у меня какие ясные. Ага! в сторону смотрит. Топ-хлоп... Кто там под зонтиком спрятался? Ух ты, моя красавица! В глаза, в глаза, длинноногая! Вон они у меня какие синенькие, всю тебя по жилочке — захоти только — вытянут... А ты чего уставилась, бровки топориком? Шагай, козочка, к своему кусту! И ты топай, очкастый ты наш! По лужицам, по лужицам! В модных ботиночках! Прыг-прыг, хлоп-топ! Эк заливает! Бляем-бляем! Бегаешь, суетишься... Что ресничками помаргиваешь? Умничка! Видела ты меня, уродину, как я приятеля твоего, говнюка мутноглазого, из кабака под мышки выволакивал, а ты все кричала ему, что он мямля, хлюпик, а потом и на меня заорала, чтоб не трогал ублюдка твоего единственного, и ручками все мне по морде, по морде угодить старалась... Что, обалдела теперь от моего прикида? Нужна ты мне, как гвозди в манной каше!

Пруссачок, подпрыгивая, бежал по улице, насккивал на прохожих и несся дальше — и разглядеть не успеешь.

— Вон их сколько, сытых, довольных, свободу почуявших, как лошади стойло! А что они о свободе-то знают? Им бы в шкатулочке посидеть, когда, каждый прохиндей своей пухлой детской ручонкой тебя за ниточку дернуть норовит. Будет вам свобода — с бабой в койке в войну играть!

Резко тормознув возле большого желтого дома, у стены которого приткнулась будка регулировщика, он скрылся за дверью. К тому времени, как Афанасий Никитич добрался к себе, Пруссачок успел заглянуть во все нужные кабинеты, потолковать с нужными людьми и даже перехватить денег в кассе.

Афанасий Никитич переоделся в домашнее, попил чаю с бутербродами, провел уроки у своих шалопаев и уютно устроился в кресле перед телевизором. Вечер обещал быть скучным. Хотелось поработать, посидеть за письменным столом, да как-то не сиделось.

Жена Афанасия Никитича, синеокая красавица Алена, возилась на кухне, шалопаи маялись по квартире, а сам Афанасий Никитич сидел опустевший и пытался — в который уж раз! — поймать неуловимую нить событий. То ему казалось, что все: и толпа, и кожаный человек в толпе, и мустангеры на афише на

дверях известного дома, и мусорный ветер — наваждение, о котором следует забыть поскорее, то думал о том, как поздно пришло к нему это новое время, и ему уже не прыгнуть на ходу в убегающий поезд жизни, то почему-то вспоминался Мерзавчик из шкатулочки.

А Пруссачку думать было некогда. Это был его ветер, его время. И времени, конечно, не хватало. Он несся по новой жизни, будто по извилистому коридору, только успевай переступать ножками-пружинками, переступал, перепрыгивал, перескакивал, толкался растопыренными локотками — и ни до чего ему не было дела.

Он был из хорошей семьи, потому что квартира, где в комнате на столе стояла его шкатулочка, была населена добрыми умными людьми, и это была славная семья, жившая здесь уже не первое поколение. Он жил в окружении книг, красивых вещей, ценных и тщательно берегаемых хозяевами, потому что за каждой из них возникала история их рода. Его всегда раздражала плавность их жестов, то, как они ходят, говорят, пьют по вечерам чай за общим столом. Когда, наконец, он вырвался из своей шкатулочки и взлетел над городом, и ветер подхватил его и понес, и чувство свободы победило в нем страх высоты, и дух захватило от панорамы города, который, как ему подумалось тогда, распластанный, лежал под ним и только и ждал Его приземления — Пруссачок понял свое предназначение. И когда он воткнулся в мягкую кучу мусора — листьев, сухих веточек, бумажек, перемазанных голубиным пометом, — у ограды городского садика, и в голове у него загудело, потом зазвенело, зашуршало и стихло, а воробьи и голуби, коренные здешние обитатели, прислули во все стороны, точно осколки оконного стекла, а потом боязливо вернулись, — он уже знал, что делать.

Ему повезло. Нечесанный божж Гера, поэт униженных и обиженных, приютил его в своем подвальчике, где в компании с такими же немывтыми друзьями он регулярно отмечал все религиозные праздники всех религиозных конфессий, какие только мог припомнить болтливый Кузьмич, бывший партийный начальник, оказавшийся тут по причине интриг и утверждавший, что ждет здесь нового назначения — «когда этот бардак кончится». Пруссачок впитывал болтовню Кузьмича, жадно внимал его историям из прошлой жизни, хитросплетениям большой политики, за которыми чаще всего прятались обыкновенная человеческая корысть, тупость и трусость. Даже уголовник Ванька-Златоуст, прозванный так за то, что, по определению любившего витиевато выражаться Геры, «и слова всуе не скажет», и умевший виртуозно обложить матом всех (начиная с чернявого прохожего с портфелем и кончая помпончиком на шапочке Пруссачка), — человек опасный, жестокий и вспыльчивый, чья многотрудная биография едва уместилась в наколках на его теле, даже он бледнел от этих рассказов и требовал, чтобы Пруссачок сгонял в ресторан на углу. Пруссачок вонзался в орущую жаждущую очередь, ввинчивался в ее колышущееся чрево и тотчас выпрыгивал на своих пружинках — точно чертик, крепко обнимая добычу. Как ему удавались его ставшие знаменитыми броски и прорывы, почему ни разу не вышвырнули его вон — не знал никто, и сам Пруссачок. Но с его явлением жизнь в подвале потекла изобильно и пьяно, как никогда еще не текла раньше.

Сам Пруссачок вина не пил, но за это был прощен по причине первого же удачного похода в ресторан, коим привел всех в восхищение.

Истории Кузьмича начинались все одинаково: «И вот ходки мои удалились, оставив на столе... (В этом месте Кузьмич обыкновенно делал паузу, дабы поразить воображение слушателей роскошью прежней жизни) ...на столе огромную связку тарани. И вдруг звонит теща... (Теща являлась непременным участником историй Кузьмича. Худой и потасканный жизнью божж, преподаватель истории КПСС, со странной фамилией Ливерпуль, шутил, что теща Кузьмича — настоящая маркиза

де Помпадур.) ... теща и просит устроить своей портнихе к послезавтра... (Это тещино «послезавтра» стало притчей во языцех в коридорах власти... Тут Кузьмич обычно причмокивал и просил чего-нибудь освежить горло)... к послезавтра визу во Францию, иначе она, то есть теща, доложит начальнику своего любимого зятя... (Кузьмич опять делал значительную паузу, озирает всех присутствующих своими выцветшими восторженными глазками, как бы приглашая их разделить его восхищение перед тещиной подлостью)... доложит о его художествах. Кидаю тарань в кейс, вызываю машину и мчусь на службу. В коридоре натыкаюсь на Витьку Курслепова из Отдела внешних сношений, приоткрываю кейс. Витька сглатывает слюну и начинает юлить. И вдруг замечаю возле Витьки, который уже весь горит, томится и жаждет, художавого, мослатого, в очках и лысого.

— Профессор из Дании, — знакомит Витька, — эколог. К Первому вести надо. Ни бельмеса по-русски, а у переводчика муж приезжает — отгул, понимаешь ли! А Зинуля, как на грех, на обеде. Вот и таскайся с ним, с зеленым чертом!

— Йа, йа! — закивал приветливо профессор. — Доктор Шварцблукх.

Витька застонал.

— А ты с таранью своей душой переворачиваешь!

А мне без Витьки — разрез. Мне с ним пивка трахнуть, таранькой закусить, так он под тарань эту тещу мою хоть в Израиль спровадит по линии СЭВа.

— Черт с ним, с профессором, — думаю. — Пусть пьет наше русское пиво, родной моей таранькой зажевывает. Профессор делам не помеха. Интернационалисты мы... (Кузьмич, казалось, упивался широтой своих взглядов. Ливерпуль, окончательно отрубавшийся к этому месту истории, вдруг взбадривался и грозно вопрошал Кузьмича: «А ты за какой Интернационал?») ...Смотрю, Витька уже готов, рукой призывно машет, профессора по кадыку пальцем щелкает... как вдруг сверху на ступенечке Сам появляется. Костюмчик от Кардена, ручки холеные, галстук фирменный к шее прирос, манеры что у английского лорда. Два диплома в глазах и сверкают.

— Мужики! — кричит. — Айда ко мне! Мне из Чехии пыльзенского доставили...»

— Вот гнида, — вздыхала жалостливая бомжиха Настя, — что тарань-то с человеком делает!

Так текли первые дни Пруссачка на свободе, пока набирался он ума-разума да, вслушиваясь в жестяные порывы ветра, ждал своего часа. Так проходил он азы политграмоты, без которой нашему человеку нечего делать на свете, без которой считался он ущербным, обделенным, и стоял у сладкого пирога счастья.

А когда закрутились по улице дождевые капли, перемешанные с обрывками старых газет, хлопьями ваты, комочками прочего сора, и скрипнул в дверях с особенной силой мусорный ветер, понял наш герой, что настал его черед, нахлобучил поглубже на лоб свою шапчонку, чтоб не трепыхался помпончик, подтянул покрепче шнурки на ботиночках — и был таков. Исчез из подвала, навсегда похерив мечту о вечном блаженстве бомжицком — море разлитом с крутыми бережками.

Тренькал дождь за стеклами. Дождливая выдалась зима. Словно букочки в кроссворде, лепились друг к дружке дни, и не было просвета в однообразии совершающихся перемен. Ничего не менялось — и рушилось всё. В Герином подвале открылся частный магазинчик, а обитатели этого славного местечка разбрелись по многочисленным закоулкам и закуточкам, каковые щедро открывает город для своих обиженных. У бомжихи Насти обнаружился дар экстрасенса, и она пристроилась советницей в каком-то коммерческом то ли брачном, то ли сексологическом бюро. Подался в репетиторы Ливерпуль. Ванька-Златоуст,

подружившись с художниками из группы «Подпол», укатил с ними в Париж, где демонстрацией наколок не только обеспечивал себе ежедневный гамбургер с пивом, но и прославлял — в который уж раз — наш талантливый, бодрый, по слову классика, народ. А одна парижская газета (не то «Пари нуар», не то «Хьюманите») напечатала статью, в которой требовала от нашего правительства взять на учет тело Ваньки как национальное достояние, имеющее мировое культурное значение. Кстати, сдуру, сдуру вернувшись домой сдать товар, на обратном пути Ванька был задержан на таможне, и ему предъявили обвинение в попытке вывоза за рубеж национальных культурных ценностей. За Кузьмичом приехала жена и отправила его в Балашиху болтать и нянчить внуков.

Один Гера-поэт не изменил своей судьбе. Только он чуть съёжился, поблек, а соратников своих по литературе, что прославились как упорные литературные диссиденты и теперь были официально признаны писателями, ругал за ренегатство и, точно подпольщик листовки, швырял в них эпиграммы.

Тренькал дождь за стеклами, будто какой любитель-балалаечник раз за разом повторял одни и те же аккорды, и они тупо стучали в голову Афанасия Никитича и расплзались ленивыми каплями в окне перед глазами. Близоруко шурясь, глядел на улицу дом, но размытые силуэты зданий, расплывающиеся фигуры прохожих, смазанные очертания автомобилей вызывали тошноту и слабость во всем теле. Хотелось отвернуться.

Точно на дурно сделанной фотографии, двоилась жизнь перед глазами.

— Гражданин! Предъявите документы.

Гера втянул голову в плечи, шагнул раз, другой — к кому это там обращаются? Ко мне? — и обернулся. Знакомые ясные глаза смотрели на него, неуловимая насмешка змеилась в тонких губах, и только два милиционера по бокам невысокого роста человека в кожаной курточке подтверждали серьёзность происходящего.

С тех пор, как тридцать лет назад у Геры пропал паспорт, а любимая его жена, черноглазая персиянка Корина, выписала его с площади, где он жил с пеленок, Гера боялся милиции. Он помнил, как гонялся за ним участковый, требуя в суточный срок покинуть город, иначе он арестует его как человека без определенного места жительства за бродяжничество.

И это на третий день после развода! И это Дядя Степа, с которым в песочек играли, в одном классе учились, столько вражеских носов вместе расквасили! Дядя Степа, получивший свое прозвище за высокий рост, худобу и мечту стать регулировщиком.

— Герасим, ты мне друг, но без прописки тебя здесь нет, — заявил он Гере, когда тот по старой дружбе завернул к нему вечером с бутылочкой. — Потому как без прописки человек жить не имеет права.

— Ну так пропиши меня.

— А куда я тебя пропишу?

— Да хоть сюда, — Гера протянул ему очередную стопку.

— А основания? А-а-а! Давай паспорт, — сдался Степан, опустив со стуком стакан. — Завтра оформлю. Как нет? Потерял! Пиши заявление, укажи обстоятельства, адрес местожительства... Нету? А куда ж я тебя пропишу?

Он помолчал, потом посветлел:

— Ты на работу устройся, тебе комнату дадут, паспорт помогут восстановить.

— Степа, ты с луны свалился? Без паспорта и прописки кто ж меня на работу примет? У нас даже зубы по прописке лечат.

— А может, раздобудешь справку, что ты только что из заключения освободился, по ней и паспорт дадут... — и, точно споткнувшись на последней фразе, Дядя Степа посерьезнел и посуровел:

— Так ты ж тунеядец!

Пьяными движениями он расстегнул милицейскую сумку, достал завернутый в бумажку хвост селедки, селедку бросил на стол, бумажку расправил и неровным почерком начал что-то писать.

— Я сейчас пишу постановление о твоём задержании, — пояснил он, — в целях незамедлительной высылки как человека, занимающегося бродяжничеством, и злостного паразита за сто первый километр прочь.

С каждым новым словом он трезвел, а когда дописал, твердо глянул в Герины глаза. Гере даже почудилось, что он надел фуражку.

Поэт глядел в бездну. Суровая родина-мать строго смотрела на него из-за недопитого стакана и звала, и требовала немедленного ответа.

Гера ужаснулся и бросился вон.

И вот, тридцать лет спустя, родина снова уставилась на него ясными синими глазами того самого странного и коротконого паренька с неприятной улыбкой, которого он однажды приютил в своем подвальчике и который так здорово умел бегать за водкой.

Только Гера теперь не боялся. Недавно в журнале «Наши корни» опубликовали цикл Гериных «Медитаций», а в альманахе «Разлука», частично издаваемом в Австралии, вышли его воспоминания «С печалью я гляжу на наше поколение», и влиятельные друзья — благо, теперь не страшно! — для того, чтобы Гера смог получить гонорар и приодеться, выправили ему паспорт. С паспортом на поэта хлынул прямо-таки поток всяческих справок, удостоверений, членских билетов. Все это Гера таскал с собой, ужасно гордился, дорожил и всем показывал. Его многочисленным приятелям изрядно надоели бесконечные Герины документальные демонстрации, и было просто удачей встретить на улице знакомого, еще не посвященного в новое Герино состояние.

И, когда дрожащими от нетерпения руками, Гера расстегнул карман дешевой курточки цвета хаки и вынул оттуда справочник «Поэты андеграунда», где была пропечатана его фамилия, а следом вырезку из газеты «Аномалия» со своей биографией, а следом справку из ЖЭКа о том, что он действительно работал там по временному найму в качестве плотника, а следом удостоверение члена общества «Спасения на водах», а следом удостоверение «Общества жителей исторического центра», а следом именной билет в шашлычную Дома творческих работников... — для него наступила минута ни с чем не сравнимого торжества.

Пруссачку почудилось, что из пузатой темной бутылочки, каковой всегда представлялся ему Гера, вылезают вереницы бутылочек поменьше, а милиционеры по бокам растопырили руки, чтобы не растерялось, не разлетелось по ветру Герино богатство.

Собственно говоря, Пруссачок прогуливался с приятелями. Увидев Геру, он решил пугануть его, чтобы посмотреть, как тот будет убегать; в крайнем случае, если Гера не побежит, повеселиться на его счет и отпустить. А тут — самому бы ноги унести!

Подхватив милиционеров под руки, он бросился прочь от разбушевавшегося Гериного счастья.

Афанасий Никитич был идеалистом и свято верил в духовное начало бытия. Он презирал тех, для кого материальное благополучие исчерпывало содержание жизни. Это не мешало ему, однако, оставаться реалистом и блюсти свои материальные интересы так же свято, как и все остальные.

Он был педант, но иной раз накатывала на него волна ленивого безразличия ко всему, и поэтому по квартире его расползлись вещи, требующие починки, а стол

зарос рукописями недописанных, недодуманных, недоделанных работ. Этим, а не только внешними обстоятельствами объяснялся его консерватизм в быту, полное отсутствие карьерных устремлений и тот скептицизм, с которым смотрел он на своих более удачливых товарищей.

Погруженный в оцепенение множеством ненужных, порою неприятных дел, переделать которые он и не пытался, Афанасий Никитыч вечно не успевал сделать главное. Кто-то из близких пошутил, что Афанасий Никитич прикован к самому себе, как Обломов к своему продавленному дивану.

Пруссачок — существо сугубо практическое — уверенно шел к намеченной цели. Она была проста и доступна, как просты и доступны могут быть действия заводных игрушек, сколь бы ни был сложен их механизм.

Он хотел славы и власти.

Правда, идеализм, среди которого он жил у Афанасия Никитича, не оставил его характер без влияния. Власть он понимал просто: возможность получать то, что хочет. Она была для него точно щука для Емели: пошепчу — и будет.

Слава представлялась ему в образе милиционера, который, узнавая тебя на улице, отдает честь, а ежели ты нарушаешь что-то — скажем, правила дорожного движения — отпускает с миром. Слава делает человека неприкасаемым. Там, где обыватель совершает проступки или преступления, у человека прославленного может быть некая тайная, недоступная простому смертному идея. Слава, таким образом, сродни вседозволенности, и народная любовь защищает своего избранника от уголовного кодекса и прочих вражеских поползновений.

Истории Кузьмича (а после того, как Пруссачок покинул подвал, а Кузьмич воссоединился с семьей, наш герой несколько раз ездил к нему в Балашиху) открыли Пруссачку подноготную славы. И в его визитах к Кузьмичу был важен не сам Кузьмич, а охранник в будке, который должен запомнить, что Пруссачок здесь свой человек, прохожий на дачной улице, с которым непременно нужно раскланяться, глазастая дворничиха, с которой обязательно следует заигрывать.

Любопытно, что бомжиху Настю в экстрасенсы пристроил Пруссачок, прослышав о том интересе, какой питала к этим людям, лечащим, по рассказам, простым наложением рук, ушлая балашихинская публика. Жаждающие сладенького старички, как и утратившие всякий интерес к сладенькому балашихинские жеребцы и кобылки стали неременными ее пациентами и пациентками. Жалостливая Настька (Анастасия Абрамовна) жирела, удивляясь привалившей удаче, и благодарила Господа, одарившего ее за все страдания таким необыкновенно нужным людям талантом.

— Пускай жирует, — говаривал Пруссачок. — Бывшая грешница действует как правда жизни — точно и безотказно.

Но не только в Балашиху заносил Мерзавчика мусорный ветер. Его кожаная курточка мелькала повсюду: Ливерпулю он привиделся в серебристом мерседесе у подъезда огромного дома на набережной с бесславным, как недавно выяснилось, прошлым; Ваньке-Златоусту его злорадная улыбка виделась каждый раз, когда он вспоминал свое приключение на таможне; Витька Курослепов, ныне заведовавший Отделом скандинавских стран, однажды побеседовал с ним о судьбе нашего посла в Осло...

Ясноглазый, он забывался тотчас, как пропадал с глаз долой, но, возникнув вновь, казался давнишним приятелем. Только вот кто такой — вспомнить сразу не удавалось.

И когда Афанасий Никитич высунулся на звонок в прихожей из двери туалета, где уже целую вечность боролся один на один со струей, бывшей из унитаза, в ожидании водопроводчика, и увидел невысокого роста усача с чемоданчиком,

в измазанной спецовке со ржавыми пуговицами, — что-то в чертах его показалось ему неуловимо знакомым.

Лихо справившись с течью, усатый проследовал в комнату, предварительно, чтоб не наследить, тщательно обтерев сапоги, достал из чемоданчика какие-то листочки и протянул их хозяину.

— Вот, ознакомьтесь, — сказал он.

Таким голосом обычно говорили герои-детективы из кинофильмов, протягивая постановление на обыск или арест своим растерявшимся жертвам.

— Что это? — Афанасий Никитич покорно потянулся к листкам.

— Счет за устранение неполадок. Мы теперь объединились в ассоциацию сантехников и берем только по квитанции.

Афанасий Никитич облегченно выложил деньги. Сумма, правда, была несколько больше обычной, однако — по квитанции.

— Где я мог вас видеть? — окончательно осмелел он.

— Не знаю, не знаю, гражданин хороший, — замельтешил вдруг водопроводчик и суетливо начал скидывать деньги и квитанции в чемоданчик.

— Всего вам доброго, пользуйтесь на здоровье, лишь бы хозяйюшка не обижалась! Детишкам поклон передайте.

И дверь захлопнулась.

В том, что водопроводчик напоминал кого-то, не было ничего удивительного. Отовсюду: с газетных полос, с экрана телевизора, со страниц иллюстрированных журналов, с развешанных по стенам портретов — отовсюду глядели теперь на Афанасия Никитича лица добрых знакомых прошлых лет — полузабытых субутильников, ночных собеседников на кухнях квартир, имена и облик хозяев которых теперь и не припомнить, товарищей, с коими обсуждались острые проблемы жизни, вполголоса читались стихи, ставшие нынче книжками в пестрых обложках, пересказывались анекдоты, ставшие теперь бестселлерами, велись жаркие споры обо всем на свете.

Будущие краеведы и ученые-историки с трепетом прибудут когда-нибудь мемориальные доски на стены обшарпанных домов, дворничих, бесчисленных подвалов и подвальных, где ютилась подлинная культура страны, чью летопись еще нужно будет составлять, уточнять, осмыслять. В этой летописи не будет Мерзавчика, но среди славных имен, начертанных на ее страницах, нет-нет да и мелькнет случайное имя одного из тех, кто, подобно мыльному пузырю поднялся в порывах мусорного ветра и, забрызгав чьи-то глаза, лопнул. А, впрочем, не жалко — славы всем хватит.

Так думал Афанасий Никитич. Мерзавчик же, не уносясь мыслью столь далеко, мчался, подпрыгивая, по многолюдному проспекту.

— Тпру! Стоп! — Мерзавчик встал как вкопанный. Две пэтэушницы в цветастых коротеньких юбчонках при виде его прыснули и выпустили из ротв два больших розовых пузыря американской жвачки. Тотчас нарисовались двое вихлястых белесых пареньков в синих капроновых курточках с блестящими застежками и начали лапать веселых красоток, надувая точно такие же пузыри. Девицы тащились от восторга.

— Это что?

К ногам Мерзавчика положили голубую ванну, две расписных раковины и связку резиновых ковриков.

— А где?

Все это вынесли из угловых стеклянных дверей, за которыми располагался то ли магазин, то ли музей европейского сантехнического оборудования.

— Хороши! — услышал наш герой чей-то голос. — Молодцы! Теперь и срать будем цивилизованно.

«Настоящее европейское качество», — гласила аляповатая надпись над дверью. А чуть пониже виднелось: «ПЕННИС И СЫНОВЬЯ».

— Лихо они управились, — мелькнуло в голове у Мерзавчика.

Он засмеялся:

— А эти-то: реликвия! Культурный центр! Всемирно известный кафетерий, вспоивший своим кофею не одно поколение гигантов второй культуры! Эмиграция духа, художники, поэты, стукачи, засранцы! Ностальгия по прошлому!

Из дверей вынесли и положили на асфальт два розовых писсуара, биде и похонжий на пистолетик смеситель. Троица деловых мальчуганов с бритыми затылками торопливо упрятала свое богатство в желтую «Тойоту» с латинской надписью «ТОО Хабибуллин» и укатила.

Мерзавчик ожесточенно тер подбородок. Парни ржали и лапали. Девицы тащились, повизгивали и постанывали.

— Жулье! — прозвучал тот же голос.

— А вам чего, жалко? — тотчас раздалось в ответ. — Из-под вас унитаза сперли? Ваш клозет приватизировали?

— Продали Россию! — упорствовал голос. — Масоны пархатые! Хлеб на писсуары променяли! Вконец народ развратили! Борька ваш — тот же большевик, хоть и врет, что за народ. Он вчера в тринадцатом подъезде лампочки выкрутил, а сегодня их на рынке толкнул. Он, гад вертлявый, с Зинкой из шестого подъезда к масонам с пятого этажа бегают. Они ему деньги меняют. Знаем мы ихние деньги!

— А вам чего жалко: денег или Зинки? Ваши они что ли?

— А то, что народ голодает? Намедни старушка из двадцать первой квартиры померла. Восемьдесят лет жила — ничего с ней не делалось, а тут в одночасье дух испустила. Не проста это. Чего ей помирать было, если раньше не померла?

Пруссачок невольно прислушался к разговору.

— Масоны везде власть заграбастали, — неожиданно заговорил он. — В Вильнюсе русских младенцев за валюту иностранцам для опытов продают. У меня знакомый израильтянин есть, из наших, — там уже в синагогах аппаратуру поставили для обрезания всех русских.

— Вот-вот, а вы не верите! Слушайте, что народ говорит. Мы здесь голодаем все, страдаем, а они на своих презентациях икру с пирожками ложками трескают. На днях в телевизоре показывали, так там один так укушался, что с ложкой напелес на женщин полез. Пришлось протокол составлять. Сам видел.

— Ложку или протокол? — в вопросе слышался неподдельный интерес.

— А на что мне ложка? — втянулся в спор первый голос. — По дну кастрюльки скрести?

— Скребите, Шура, скребите! — голос явно нервничал. — Наскребите на два протокола с маком. А то вон какой. Небось с голодухи так опух-то?

— Вы мне не тыкай! Так тыкну — тыкву не соберешь. Умный отыскался, понимаешь ли! Развелось этих очкариков, как клопов за обоями!

За спиной назревала драка. Пруссачок обернулся. Было пусто, только сновали взад и вперед прохожие, да изредка хлопали двери магазина-музея.

Чья-то рука опустилась Мерзавчику на плечо.

— Санек! Что ж ты запропал? А Верка и Муза Моисеевна о тебе только и талдычат. Ну, и отколол ты штуку...

Мерзавчик безглаголиво попятился, хватил себя по помпону и, издав «страшный пух», рванул в сторону.

— Во дает! — мужичонка с испитым личиком восторженно хватал за руки первого встречного:

— Санек-то наш, а-а-а!

«Настоящее европейское качество», — гласила аляповатая надпись над дверью. А чуть пониже виднелось: «ПЕННИС И СЫНОВЬЯ».

— Лихо они управились, — мелькнуло в голове у Мерзавчика.

Он засмеялся:

— А эти-то: реликвия! Культурный центр! Всемирно известный кафетерий, вспоивший своим кофеем не одно поколение гигантов второй культуры! Эмиграция духа, художники, поэты, стукачи, засранцы! Ностальгия по прошлому!

Из дверей вынесли и положили на асфальт два розовых писсуара, биде и похожий на пистолетик смеситель. Троица деловых мальчуганов с бритыми затылками торопливо упрятала свое богатство в желтую «Тойоту» с латинской надписью «ТОО Хабибуллин» и укатила.

Мерзавчик ожесточенно тер подбородок. Парни ржали и лапали. Девицы тащились, повизгивали и постанывали.

— Жулье! — прозвучал тот же голос.

— А вам чего, жалко? — тотчас раздалось в ответ. — Из-под вас унитаз сперли? Ваш клозет приватизировали?

— Продали Россию! — упорствовал голос. — Масоны пархатые! Хлеб на писсуары променяли! Вконец народ развратили! Борька ваш — тот же большевик, хоть и врёт, что за народ. Он вчера в тринадцатом подъезде лампочки выкрутил, а сегодня их на рынке толкнул. Он, гад вертлявый, с Зинкой из шестого подъезда к масонам с пятого этажа бегают. Они ему деньги меняют. Знаем мы ихние деньги!

— А вам чего жалко: денег или Зинки? Ваши они что ли?

— А то, что народ голодает? Намедни старушка из двадцать первой квартиры померла. Восемьдесят лет жила — ничего с ней не делалось, а тут в одночасье дух испустила. Не проста это. Чего ей помирать было, если раньше не померла?

Пруссачок невольно прислушался к разговору.

— Масоны везде власть заграбастали, — неожиданно заговорил он. — В Вильнюсе русских младенцев за валюту иностранцам для опытов продают. У меня знакомый израильтянин есть, из наших, — там уже в синагогах аппаратуру поставили для обрезания всех русских.

— Вот-вот, а вы не верите! Слушайте, что народ говорит. Мы здесь голодаем все, страдаем, а они на своих презентациях икру с пирожками ложками трескают. На днях в телевизоре показывали, так там один так укушался, что с ложкой напиревес на женщин полез. Пришлось протокол составлять. Сам видел.

— Ложку или протокол? — в вопросе слышался неподдельный интерес.

— А на что мне ложка? — втянулся в спор первый голос. — По дну кастрюльки скрести?

— Скребите, Шура, скребите! — голос явно нервничал. — Наскребите на два протокола с маком. А то вон какой. Небось с голодухи так опух-то?

— Вы мне не тыкай! Так тыкну — тыкву не соберешь. Умный отыскался, понимаешь ли! Развелось этих очкариков, как клопов за обоями!

За спиной назревала драка. Пруссачок обернулся. Было пусто, только сновали взад и вперед прохожие, да изредка хлопали двери магазина-музея.

Чья-то рука опустилась Мерзавчику на плечо.

— Санек! Что ж ты запропал? А Верка и Муза Моисеевна о тебе только и талдычат. Ну, и отколол ты штуку...

Мерзавчик брезгливо попятился, хватил себя по помпону и, издав «страшный пух», рванул в сторону.

— Во дает! — мужичонка с испитым личиком восторженно хватал за руки первого встречного:

— Санек-то наш, а-а-а!

А Санек, то есть Мерзавчик, был уже далеко. История со знаменитым кафетерием, где он надеялся завести нужные знакомства, насмешила его.

Кто б мог подумать, что мусорный ветер сотворит с кафетерием то, что двадцать пять лет не могли сделать с ним ни местные власти, ни милиция, ни — страшно сказать — КГБ. Пруссачку вспомнился смешной рассказ Ливерпуля о его тесте-еврее, который все, что ему нравилось, зачислял в евреи. Даже известный киргизский писатель Чингиз Айтматов стал у него евреем после того, как тесть Ливерпуля, кстати, знаменитый в городе портной, прочитал его роман «Плаха» (тесть был подслеповат и читал так, как думал: «плохо»). Человек маленький и скромный, пуще всего он верил сильным мира сего. Им он был лично предан. Так вот, еще в прошлые годы по анкетным данным его назначили в народные депутаты. И все бы обошлось, но, когда подул мусорный ветер и в смертельной схватке сошлись верные слуги народа, тесть Ливерпуля чуть не угодил в психушку. Лично преданный власти, в каждой из борющихся сторон он видел угрозу своей преданности, то есть предательство святая святых — государства. С ним сделалась раздвоенность личности. По утрам — на свежую голову — он был за одних, но к вечеру, распропагандированный, переходил в другой лагерь. Причем так безоговорочно и жестко вечерний тесть воевал с утренним, будто их у Ливерпуля на самом деле было двое.

— Я-то ладно, я целый день на службе, — говаривал Ливерпуль, — с молодежью... Хорошая у нас молодежь! — неожиданно выпаливал он деревянным голосом. — ... Мне хоть десять, хоть два тестя — плевать. А теще каково — с двумя мужьями жить, а жене моей, его дочери, двух родных отцов иметь... Что люди скажут?

Непонятно, к чему вспомнился Мерзавчику тесть Ливерпуля и какое отношение имел он к всемирно известному кафетерию, ставшему магазином-музеем, — только все это очень забавляла Мерзавчика. Со смехом в глазах допрыгал он до площади у вокзала, в центре которой торчала некая «штыковина» — чудо-obelisk павшим героям, а мостовая вся изрезана была трамвайными путями, изгажена голубыми, исчеркана колесами автомобилей, исколота столбами и столбиками.

— Витька! — услышал он сзади девичий крик. — Погоди! Ну, объявился наконец.

Веснушчатая девица в болонье преградила ему дорогу. В одной руке она держала пирожок с мясом, в другой — громоздкий чемодан с железными углами и блестящими замками.

— Помог бы вытащить-та, — деловито заговорила она. — Ишь вылупился, точно и не Витек вовсе. Я уж и не чаяла тебя встретить.

Мерзавчик попробовал обогнуть веснушчатую, но она проворно всучила ему чемодан и затрещала с такой силой о каких-то парнях из Реутова, тетке Матрене из Залаз, леснике дяде Онуфрии, — что у него в глазах потемнело. При этом она успевала кусать пирожок, развязывать платочек с гостинцами для Витьки, озирать местных красоток, зорко посматривать по сторонам, преданно смотреть на Мерзавчика и висеть на нем вместе с чемоданом.

Тот и оглянуться не успел, как они уже стояли на трамвайной остановке посреди площади и стрекот веснушчатой у плеча перекрывал все звуки, даже рев большегрузных автомобилей, которые в два луча огибали маленький безопасный островок посреди всеобщего вокзального хаоса.

— Гла-а-шка! Ты чего ж, дура-та, уперлась куда? — зыбкий ломающийся басок ворвался в слух Мерзавчика и точно опрокинул его навзничь.

— Мы с братвой обыскались-от. А это кто?

Невысокого роста пацанок с усиками, в куртке и галифе на кривых ножках стоял перед Глашкой. Ахнув, она замолкла. Мерзавчику показалось, будто возле него

выключили грохочущий, стучащий, шипящий компрессор для дорожных работ, и в ушах аж заломило от наступившей тишины. Рыжие глаза Глашки побежали в разные стороны, она рванула из руки Мерзавчика чемодан и заревела.

— Ты того... ты чего ее обидел? — пацанок грозно наступал на Мерзавчика, за спиной его подтягивалась братва.

— Он сказа-ал, к тебе пое-еде-ем, — заливалась Глашка, запахивая на груди болонью.

— Он и в Реутово-та никогда не был, а про Петруху заливал-та! Ему тетка Матрена пирогов с капустой напекла, а он в Залазы и не ездил-то.

Последние слова окончательно убедили пацанка с братвой в вероломстве Мерзавчика, но тут в дело вмешался умного вида мужик с га...*

...в грязь электрическую лампочку, а рядом стоящее торчком колесо военно-полевой кухни, на котором загорала полуголая девица в бикини, а над нею все ниже и ниже склонялись знакомые усики.

И опять заискрило по всему экрану, и — такой домашний! — голос диктора объявил начало следующей передачи.

Афанасий Никитич выключил телевизор.

Зазвонил телефон, и сквозь скрежет телефонного эфира высокий скрипучий голос сообщил, что по просьбам трудящихся заседание Верховного Совета будет транслироваться по телефону с тем, чтобы избиратели могли оперативно связаться со своими избранниками, — а потом с угрозой добавил:

— Повесь трубку, падаль, заседание закрытое.

В ухе у Афанасия Никитича что-то щелкнуло и кольнуло; во дворе включились глушилки; загревели под ударами кованых сапог стальные двери. Включился сам собой и пошел полосами во весь экран телевизор и вдруг затих, засветился ровным, чуть подрагивающим светом; легкие тени перебежали из угла в угол, и бесстрастный голос зачитал прогноз погоды на завтра.

Ошарашенный таким ходом событий, Афанасий Никитич зачем-то переключил программу, но по всем шести каналам передавали одно и то же — прогноз погоды, только температура воздуха на каждом канале была своя.

Опять зазвонил телефон; глушилки выключились; гром сапог у входных дверей раскатился и смолк, а на экране высветился зал заседаний, и Мерзавчик в президиуме, зачитывающий проект постановления по метеослужбе в горячих точках планеты. Оператор повел камерой по залу, и Афанасий Никитич увидел спящих, бодрствующих, читающих, болтающих, глазающих, рисующих, пишущих, причесывающихся, слушающих, сморкающихся государственных дам и мужей и очереди к микрофонам, расставленным в проходах между креслами. Причем у каждого из шести микрофонов первым с документами на руках стоял все тот же Мерзавчик, победоносно топорща усики.

Афанасий Никитич защелкал переключателем. Телефон звонил непрерывно. Изредка во дворе врубались глушилки и грохотали о дверь сапоги. Случайно заработал дециметровый диапазон. Шла экспериментальная программа «Люди и птицы». В комнату пахло курятником, а под потолком, точно вентилятор, рассекая могучими крыльями застойный воздух, возникла та самая орлица, что возлежала на плече у Мерзавчика в том кошмарном уличном шествии. С трудом удалось отключиться. Вонь исчезла, орлица взгромоздилась на шкаф и ласково поглядывала оттуда на Афанасия Никитича. По третьей программе передавали новости первого

канала; по второй транслировали футбольный матч, который позавчера Афанасий Никитич мог наблюдать по шестой. Пятый и четвертый каналы затеяли между собой дискуссию о влиянии СМИ на исход Ледового побоища. Обмен информацией меж суверенными каналами был в самом разгаре. Право граждан знать то, что вчера им было совершенно не нужно знать, осуществлялось вовсю.

Вдруг все разом пропало. Тишина и покой, точно сугроб с крыши, обрушились на Афанасия Никитича. Дружеские ладони легли на плечи, словно лейтенантские погоны, и вдавили его в кресло. Пахнуло халатом и теплым свежеемытым телом жены.

— Совсем с ума сошел, — нежно произнесла она и мягким движением выключила телевизор. — Людям спать пора, а он грохочет как оглашенный.

Ласковые руки отобрали у него пластмассовую дудочку и деревянный барабан и отвели в спальню.

Не подумайте только, что Афанасий Никитич спал или впал в детство. Или чего еще похуже. Просто все окончилось. И окончилось, как всегда, ничем, и только мусорный ветер гудел за окнами, но его равного гуда никто не замечал. Привыкли.

С Мерзавчиком же вообще приключилась странная история. После всех превращений, свидетелями коих оказались многие горожане, он стал заметной в городе фигурой. Его узнавали на улице. Иногда путали с ним изображения с тех портретов, что жители города любили расклеивать по стенам во времена своих шумных сборищ и отчаянных дискуссий, подобно тому, как пещерные люди выбивали на стенах своих пещер наскальные рисунки, дабы помнить и рассказывать о том, что с ними интересного приключилось дома или на охоте. Однажды его именем обозвали даже портрет одного члена правительства. Или его обозвали именем этого члена? Правда, никто не мог сказать, откуда взялся Мерзавчик, чем он занимается, каковы его убеждения и, больше того, кто он такой и кто прячется за его фигурой.

В начале поприща, когда герой наш определился и понял свое предназначение, когда он только-только входил в подробности жизни вне шкатулочки, он любил задавать вопросы. Пытливость его замешана была на абсолютном невежестве. Слишком прямолинейные вопросы часто ставили в тупик того, к кому он обращался, или вынуждали рассказывать такое, о чем лучше было бы забыть. Но некоторым его прямолинейность — свойство всех заводных игрушек с пружинными двигателями — казалась прямотошеством, равно как прыгающая походка и привычка всех толкать — волевым бойцовским характером. Он слабо разбирался в вопросах морали и тем не менее снискал себе популярность в определенных политических кругах. Его ясные синие глаза были глазами дальтоника, а взгляд их — что может выражать взгляд заводной игрушки? — был пуст. Однако его собеседникам казалось, что в нем заключена бездонная синева неба, в которой можно утонуть, и чистота и ясность душевных порывов. Одним взгляд его представлялся спокойным взором героя, другим — нахальным, беззастенчивым. Так же, как искажавшая форму рта улыбка кому-то говорила о внутренней силе, других же бесила наглой самоуверенностью. Достиг ли герой своей цели?

Встал ли он на вершине человеческой пирамиды, попирая ногами детские байки о Добре, которое всегда побеждает Зло?

Пока что он на нее карабкается, одновременно строя ее из подручного человеческого материала.

Построит ли?

Все зависит от крепости и податливости кирпичей: ведь башня сия не ниже Вавилонской быть должна! Хотя чем черт не шутит?

И пока будет дуть мусорный ветер, пока не выметет он весь сор из нашего дома и не унесет его прочь, в другие земли и веи — ни за что нельзя ручаться.

ЮЛИЯ ЛИ

Шум времени*

I

— Медведь лежал рядом с тахтой, в коричневом, шерстяном свитере, колючем, грубой вязки, пестрых шерстяных носках, синих трениках. Ближняя ко мне, какая это? — левая лапа поднята вверх. Конец лапы, ну понятно, что я хочу сказать, — кисть, кисть руки побелела. Знаешь, а пальцы — большой, указательный, средний — сложены как у папы римского или там древних патриархов, плохо разбираюсь в этом. Я думаю, держал очки или лупу. Очки, наверное. Оперся на спинку стула, стул поехал, а он слабенький — и упал. Вторая лапа вниз опущена, ладонью назад. Не боролся за жизнь, не пытался приподняться. Бедный мой мишка! Мохнатый, и лежал в мягких шлепанцах, лапа задняя полусогнута, обычно всегда у него, как вспомню, такая чуть согнутая лапа. И со мною маленьким танцевал — может, помнишь — нет, ты не видел. Ну видел — хорошо, тоже такая лапа. Я ему говорю: «Я тебя в обиду не дам. Ты мой любимый медведь. Я никому не позволю тебя обидеть!» Морда вверх смотрит, нос тонкий, горбатый, а губы не синие (я думал — сердце), спокойные, розовые, гладкие, без трещинок, без складок широкие губы, на Блока мертвого похож. Я потрогал живот, плечо, лапы — мягкие, погладил. Шерсть кучерявая. Служанка всё: “Твердый он, твердый” Уже и тапочки на помойку приготовила, фланелевую рубашку в клеточку свернула. А медведю-то надо, чтоб поговорили. Служанка думает, лежит и всё тут, и нет медведя. У него рядом с тахтой круглый зеркальный столик. Кроссворды, прописи, Машенькины коряки по стихосложению, картонный блокнотик, вот, видишь, взял с собой: “Медв. второй выход после девоч. с корз.” А на второй день звонил из морга врач: “Он у вас весь посинел, почернел”. Отравление. Как же так. Как будто оправдываюсь. Старенький мишка, конечно, был. Но мы-то знаем, что для него это не старость. Медведь служанке и винегрет сделает, и рюмочку “Сафари” частенько пропустит, мороженое к завтраку везет. Я думаю, клизма бы спасла. В период гражданской войны тоже все клизмы делали. Ты мне давал книжку, вылетела фамилия, ну еще друг Есенина, как она клизму ставила. Хорошо, кстати, — встреча с любимой! А при Екатерине так вообще клизма вроде настойки овса была — ее по сто раз на день, и сами себе, и в компании. Господи, какой гадости только нет на свете! Мишке бы, ведь была у меня мысль, неделю клизмы, плазмозферез, уголь. Мочу даже не проверили! Звезда его, может быть, еще через двадцать лет появилась. Ну а потом, приехали эти, санитары, на морду — полотенце, обхватили руками голову, переложили на простыню. Я стоял, смотрел, чтобы медведя никто не обидел, шею чтоб не свернули. “Вы уж его доведите хорошо, — сказал я им, — он был Человек, хороший он был человек”. Дал сто рублей. И увезли.

Ваня сам был похож на медведя. Жал алюминиевой вилкой на серое, плывущее по тарелке яйцо, размазывал по подбородку майонез скрюченным указательным пальцем.

Я смахнул с Ваниной груди хлебные потроха. Мне хотелось сделать что-нибудь правильное, корневое. Что бы стал делать медведь, думал я, при таком повороте

жизни, если бы я жил с Ваней, мы делили и стол и дом, как говорится, и я бы умер? Если бы я был такой, как его медведь: жизнелюбивый, везучий, общительный, беспокойный, тусовщик по жизни, утром на крестинах, вечером на свадьбе, не нагруженный всякой херней?

Ради Вани он все готов был сделать. Ваня лежит, только книжки почитывает. “Ох, книжка нужная! — затынет. — Ой нужна, очень важная статья там”. Медведь подсядет и слушает. “Тетка умная. Эн Дэ А-ру-тю-нова. Интересно, Наталья или Нина?” Через неделю медведь из авоськи кагорчик и Арутюнову.

— А ты обряды знаешь? Надо, чтоб у медведя все было правильно.

Иван выдохнул обреченно, откинулся на красные прутья спинки. Потер нижнюю губу, выразительную, как у его медведя, и застыл, глядя куда-то мимо меня.

— Полагается платочек в карман, — сквозь грим проступили красные бабочки на щеках. — Я сначала не привез. Читаю в перечне: платок. Поехал сегодня. Написал медведю словцо, лесок, речку нарисовал. Накалывают они там формалином или чем, не знаю, чтоб не портился. Морду разнесло. Карикатура вместо медведя. Меня сомнение взяло — может, один костюм похороню. Мишка хоть и похудел, но зверь ест зверь, объемный был. Пиджак, как картонный, сам по себе лежит. Мех с блеском — синтетика синтетикой. Вдруг на чучело взяли? Сейчас маску медвежьей можно подделать как раз плюнуть.

— Ваня, зачем им это? Брось ты. Тело и у медведя усыхает. Давай пойдем уже отсюда. — я понял, что сделал бы Миша. — Мы пойдем сейчас в библи.

— К Колобку? Он еще служит?

— Да все тот же.

Колобок работал в Публичке библиографом. Откуда прилипло к серьезному, худощавому, хотя и низкорослому, Василию Никитичу такое несерьезное прозвище, мы обсуждали не раз; единственным возможным основанием было свойство Василия Никитича постоянно находиться в движении и косвенным — умение уходить от слишком назойливых читателей в подсобные коридоры и, там укрывшись, писать в рабочее время стихи. Я к нему часто обращался. Потом мы обнаружили общих знакомых и вступили в своеобразную игру — параллельно вести разыскания по одной и той же теме. Скажем, у меня студентка из Кореи пишет диплом по теме “Женские характеры у А. П. Чехова”. Колобок прознает и окольными путями (хотя первый раз это оказалось чистым совпадением) становится ее, так сказать, консультантом, а попросту создает ход ее творческой мысли. Я как научный руководитель рекомендую литературу со своей стороны и прочитываю написанное. Мы с консультантом вступаем в переписку, подкалывая друг друга замечаниями типа «Так Вы на чьей стороне?! Разве Душечка не является образом идеальной жены? Любовь-самоотдача не есть ли действенная любовь?» и т. д. Надо сказать, что Колобок в большинстве случаев оказывался не только осведомленнее по части библиографии, но и оригинальнее идейно. Но мы с ним никогда не обсуждаем нашу совместную деятельность, оставляя научной дискуссии место на полях.

Случалось, Колобок вытаскивал меня из трубы истерического удушья, которой славится зал литературы и искусства. На Колобка психическая активность зала не действовала: или место библиографа находится вне патологических меридианов, или, в знак своего расположения, библиотечный “сейсмограф”, прозванный за свою особую щепетильность в одежде и любовь к искусству балета «Золотым пуантом», одновременно приглашал Колобка на чай.

Меня газовые атаки зала всегда заставляли врасплох. В тишине раскрытых страниц психическое прение (от глагола “преть”) сказывается, прежде всего, на печатном материале. Буквы коробятся, одинаковая упертость строчек в белый край вызывает тошноту. Рукописный текст практически не подвержен влияниям,

он сам вскружит голову, кому захочет. Несколько раз зал доводил меня до панического оцепенения. Набрав побольше воздуха, я бросался к стойке отдела обслуживания и выдыхал где-то слышанное имя-пилюлю. Такой маневр позволял улизнуть от паров небытия и исследовательских испарений.

Вид бытового в своих трудах Колобка действовал на меня завораживающе. Он перекалывал что-то из кармана в карман, хмыкал в платок, снимал очки, откладывал их, брал за одну дужку, вертел, просовывал в книжную щель карточку, выдвигал ящички, застенчиво потирал край стола: «Наверное, знаете книжечку 1906 года. А этот шифр подзабыл. Я уточню и подойду к вам».

Я разыскивал для корейца некоего Юрия Николаева. Кто такой? Оказалось, известная леди Данзас, заведовала отделом инкунабул в Публичке. Колобок мишку любил и тобой, кстати, всё интересуется. “Не заходит Ваня. Покурить не с кем”.

Мы бесплатно пописали в кинотеатре “Спартак” и с энтузиазмом заскользили по Литейному проспекту.

— В этом году что-то елок не видно. Обычно, двадцатое число — уже несут. Мне бы надо для Машеньки. Служанку совсем заел материальный вопрос. Нечего тратиться, говорит. Кусок мыла не на что купить.

На Малой Садовой мы еще чуть-чуть подогрелись и с огоньком вступили в гардероб научных залов.

2

В Ванином дворе всегда, даже летом, была жуткая слякоть: слякоть переходила в топь, топь — в болото, болото — в трясину, трясина — в кашу, каша — в месиво, месиво чуть застывало и сформировывало мягкие гусеницы, гусеницы расплзались в жижу, и процесс повторялся. Почва безвозвратно засасывала все, что в нее попадало: семена растений, детские совки, пуговицы, значки, монеты, ключи, открывашки, штопоры, пробки, крышки от бутылок и т. д., — и ничего не отдавала обратно. Помимо трех сорокалетних тополей, во дворе ничего не росло, хотя жильцы первых этажей регулярно пытались облагородить подоконное пространство — почва заглатывала песок, специальную привозную землю и размякала. По дорожкам плыли подтаявшие разноцветные миноносцы.

Я оставался пару раз ночевать у Вани. Утром я заставал медведя в ванной, в сером переднике поверх свитера, или фланелевой рубашки, или теплого нижнего белья. Он раскладывал на гладильной доске тюбики с зубной пастой: “Поморин, мятная, лесная, чебурашка, банановая, жемчуг, пепсодент. Выложил все, что есть, — делал широкий жест. — Что душеньке угодно. А если хочешь — зубной порошок? Нет? Ну, сам выбирай”. Медведь доставал из кармана передника зубную щетку, открывал один за другим все тюбики и натирал до блеска аккуратные, ухоженные ногти.

К завтраку он выставлял на пробу самодельное винцо, перебродившее до состояния уксуса, и открывал консервы, с размаху всадив нержавеющий серп.

Как-то заговорили о воспитании. Я вспомнил случай из жизни. Подхожу к Стремлянной, вижу: бродяжка, штаны провисают до колен, бредет задумчиво и подносит ко рту какую-то дрянь. Дернулся. Ну-ка, думаю, сниму часы с руки, большие с солнцем, ракетой, секундной стрелкой, скажу ему: “Парень, вот, это — тебе. Только, обещай, матом не ругайся! Хуйню всю эту брось. Пойдем, я тебя накормлю”. Отведу парня домой, усажу на табурет в кухне, налью куриного бульона, буду сказки рассказывать. Добавлю потом: “Я тебе, парень, все сказки расскажу: и африканские, и вьетнамские, и монгольские, и русские, разумеется. Часы — храни, мне их один

олдовый чел подарил! Ты их наденешь, будешь не хуже его. Только к этим падлам не бегай и, знаешь, матом не говори. Не переносу”.

Пока мысли эти текли от одного уха к другому, парень поддал по тухлому вспухшему арбузу, вынесенному кем-то на крыльцо, зафигачив его в грязевой водоворот. “Не пизди, тетка!” — предупредил накрытую арбузной волной домохозяйку, открывшую было рот. “Не стал я сказочником, не срослось!” — закруглил я историю”.

«Я вот тебе тоже историю расскажу, — ответил медведь. — Ко мне приехал родственник. Проходи, говорю. Входит, одет в черный дождевик, с капюшоном. У меня картошка как раз готова. Садись, говорю. Проходит на кухню, садится, все в дождевике. Ты, говорю, дождевик можешь снять. У нас, показываю на потолок, погода хорошая, прогноз погоды положителен, сухо (показываю на маленькую). А он: “Мне так удобнее”. Сели, выпили одну, пару-другую. Маленькую допили — он весь красивый, пот показался. “Я ведь не барыня, мне за тебя замуж не идти. Можешь снять”, — вижу, жарко ему, аж весь побагровел. “Ладно, дед, уговорил” — снимает дождевик. А он весь лысый! Ни шерстинки! Приехал в Ленинград за французским лосьоном. На следующий день приходит домой — лица нет! Все деньги ухнул на голубую жидкость, нашел у спекулянтов на Невском. И чем, ты думаешь, дело закончилось? Поскользнулся у Пассажа на лошадином пироге, флакон с жидкостью вдребезги. Так на тротуаре шерсть проросла! Недельку зеваки толпились».

3

Всегда, когда начинаю рассказывать что-то далеко не веселое, у меня выходит такая пошлая интонация.

На чемоданах была моя любимая Мэри Эн, — однажды, уходя, я забыл взять из камеры хранения чужие очень редкие итальянские книги по авангарду, лежащие, к тому же, в одном пакете с бананами. Испереживавшись, так как номера мне не дали, а сказали устно, и его я забыл, я открыл потяжелевшие к утру, массивные двери библиотеки, и Мэри Эн просто вынула из ячейки черный пакет, подшучивая над романтической рассеянностью — как всегда в кепочке, с повязкой на рукаве.

Не успели встать, как, шаг за шагом, получили синий номерок. Но на шубах затормозили. Ваня сам себе шил головные уборы и даже брал заказы на дом. Его шляпы отличались удобством, но и некоторым эклектизмом. Протянутая гардеробщику зимняя модель совмещала характеристики небольшого зонтика и лёгного шлема, начиненного мехом. В рукав она не влезала. У меня на пальто не было петельки. Для отставника-гардеробщика наступили лучшие минуты рабочего дня. Но наслаждение он получил не в полной мере. Это не даму-доцента уличить в неряшливости. Ваня пошел в шапке, пальто мое было брезгливо доставлено к железным рогатинам и вздернуто за воротник.

К сожалению, Колобок работал в первой половине дня. Кое-что в каталоге нашлось. Заказанные журналы по этнографии и “Русская старина” должны были прийти не раньше семи. Мы взяли для начала том первый Афанасьева, трехтомник сказок из библиотеки русского фольклора, сказки русского Севера. Иван предложил заглянуть в “Мифы о бессмертии” Токарчика, а заодно освежить в памяти книгу Ф. Арьеса “Человек перед лицом смерти”. Я попросил для ознакомления исследование о захоронениях некоего Смирнова и — на всякий случай — любимую мной книгу Гуревича.

Честно говоря, большего я ожидал от сказок. Но ничего подходящего не нашел. Мои детские воспоминания о «Трех медведях» полностью совпали с тем, что я прочел: у медведя был дом, топилась печь, в печи стояли наготове горшки со

шами и кашей, всего было по три. Мед, корешки, ароматные варенья, гуша в щак. Гармоничная медвежья троица. Вот приходит Машенька. Еще в детстве мне было непонятно, почему она так медведю переносима! Пошел бы в лес, сделал бы еще одну кровать. Возможно, конечно, медведь был сектантом, и Машенька пришлось не ко двору.

“Теремок” давал пищу для размышлений. Выходило, что медведь — фаустовский тип, проводил зимы перед фамильным черепом. Скорее, все же, это был череп врага, и медведь его использовал под горшок. Летела муха-горюха и перевернула его. Была это муха-гигант, величиной с гору, поэтому и прозвана «горюхой», и не радость принесла она мохнату, а горе-горькое. Следовательно, пришло медведю время горевать, а череп врага стал на время домом горестей-напастей, явившихся одно следом за другим в образе животных, сначала мелких и незаметных, а затем все больше и больше. Медведь набрался сил и разом победил напасти, ступил на череп врага своего и раздавил вместилище всех своих бед.

У северных народов медведь был в почете. Там рождались полулюди-полумедведи, проходящие сквозь землю, добывающие белых орлов и прекрасных подземных девиц.

После «Трех медведей» у меня разыгрался аппетит, я подошел к Ваниному месту позвать его поразмять ноги и закинуть что-нибудь на желудок. Иван неважно выглядел.

— Пойдем совсем, пожалуй, — взгляд его плавал по окнам, — что-то мне поплохело. Душно. Читаю — ничего не понимаю. И яйцо не впрок пошло. Как представлю, чуть не наблевал тут. Рядом еще сидит поп и пальцем нос вытирает.

— Не могу, мне надо подготовиться к корейцу. — я вспомнил, что завтра среда. — А вечером я к тебе зайду. — как раз, думаю, елку где-нибудь куплю.

Да, мне еще работать и работать. И я вернулся к своему столу.

В Публичной библиотеке есть две отрицательные особенности: духота и городские сумасшедшие. Что эти последние находят в посещении читальных залов, я не знаю. Придуриваются, строят из себя блаженных, в припадке экзальтации могут ругнуться или пустить слюны.

У Ивана — поп, а у меня — юридический поэт. Худой, изглоданный нервным задвигом, он ерзал на стуле. Стихи, изданные готикой в современном травянисто-зеленом переплете с фиолетовым обрезом, читались моим соседом как свои собственные. Он выпячивал губы, морщил нос, изгибал его крючком и буквально поддевал им страницу. То смыкал ладони, перевивая пальцевые отростки, то разводил в стороны, как бы задаваясь вопросом. Дышал на карандаш, кусал его, как куриную ногу.

Я отложил сказки и взялся читать Степуна: 1907 год, итальянский пансион, любовная тоска, “женщины-эпиграфы”, “женщины-не-подруги”, “жены”, “женщины-наливающие-в-тарелки-жизнь”, “женщины-жесты”, “женщины-с-двойным-дном”, “женщины-тезки” и т. д. Кореец просто сдохнет!

Мой сосед, казалось, заснул. Он не смотрел больше в маленькую книжку, положил голову в мятых перьях на кулаки. От него пахло трухой и развратом.

Два года назад я зашел к Ивану прямо перед Новым годом, часов в восемь-девять. Мне прислали посылку из Чикаго: туфли с пружинящими каблуками, индейскую трубку, шляпу-зонтик и заводную детскую книжку на замочке. В замочек вставлялся большой витой ключ, поворачивался несколько раз — книжка сама раскрывалась, в верхней части пустой пластмассовой страницы, в окошке, появлялся



Юлия Валиева. Вечерняя песня. 1985 г.

человечек с тетрадью и пером. Перо скрипело, человек говорил, на странице появлялись буквы. Книга состояла из одного предложения на четырех-пяти страницах. Человек ставил точку, — и весь текст исчезал, книжка захлопывалась, защелкивался замочек. Я подарил ее Мише, Ваниному приемышу.

На медведя книга произвела впечатление. Он унес ее к себе в комнату рассмотреть. Вернулся к нам с подарочным пузырьком коньяка, вздохнул, выждал артистически паузу: «У меня ведь в детстве была книга бус. Вы когда-нибудь слышали про такую?» Он ждал реакции. Мы с Ваней подыграли. Мне название напомнило ведические трактаты, но я не был специалистом в данной области. Я на всякий случай протянул, что название что-то напоминает. «Еретического там ничего нет. — Медведь был глуховат. — У меня была книга бус. — Медведь переводил

взгляд с меня на Ивана. — Выглядела она так. Книга эта была сделана из деревянных пластин, обшита кожей». «Стало быть... — начал Иван. Но медведь не дал ему себя прервать. «Нет! Никакой стали!» — победно вскричал Медведь. Вместо букв в книге были глиняные фигурки, окрашенные и нанизанные на бычьи жилы. Фигурки составляли ребус. Была там выпуклая картинка, на которой располагалось несколько предметов: длинные дощечки, типа лыж, птица и еще что-то, рука с растопыренными пальцами. Каждая такая фигурка изображала эпизод. Книга долго хранилась у медведя. Потом мохнатый с родителями уехал, оставив вещи дяде и тете. Прошло много лет. Открылась библиотека. «У дяди был нахлебник — из библиотечных — и уговорил. Вернулись, а тут ни дяди, никого, кое-какие вещи нашлись, и на книгу расписка из библиотеки».

Медведь помнил буквы древних языков. Я видел альбом: на фотографии 1886 года Медведь с предками Ивана в чайной, в Петербурге на бульваре. Одет в сюртук. Возраст неопределим. Я не спрашивал. Вопрос его смертности меня интересовал, потом не интересовал. Потом я понял, что данный вопрос относится к вечно закрытым, с чем нужно смириться и получать кайф.

“Книгу бус” разыскать не удалось. Я сунулся — заведующий был болен, Колобок сделал все, что мог. Пожар, говорит, был. Могла сгореть.

5

В столовой было много народа. На раздаче — никого. Пришлось подождать. Когда я вернулся с тарелками и ложками, за моим столиком сидел поп.

— Хотите? — батюшка достал из полиэтиленового пакета бумажную пирамидку кефира, сцепленную сверху большой канцелярской скрепкой.

Я подумал про себя, что есть же люди, сразу вызывающие чувство гадливости.

— Не могу — все в горле пересохло, — поп снял скрепку, умело щелкнул внутри пакета, поглядывая как-то озорно на булку с маком на моей тарелке. — Все меняется, все течет. Ну, чтоб Профессор от коньяка отказывался — не ожидал! А в воспоминаниях пишешь: “поколение кочегаров”, “мы с Майклом”! Как говорят социологические исследования, в Америке из поколения любителей марихуаны вырос добропорядочный средний класс, тихие налогоплательщики, мешане на мерседесах в черных костюмах. — Поп нагнулся за упавшей скрепкой.

В свете столовских ламп на рясе показался мелко вышитый растительный узор из елочек, грибочков, солнышек, месяцев, маков, листочков и чего-то еще. Из-под рясы торчали допотопные валенки с калошами.

— Не узнал, работник пера и бумаги? — подавился на слове. — Книжка “Поэты Перу”, 1982 год, Таллинн, съемки, Корнелия, Айвар Белый.

Черт — не узнал... Это был тусовщик из Москвы. В общем-то, его можно было узнать. В то время он тоже шил себе классные прикиды, но алкоголь не пил. Тогда я первый раз поехал стопом, с приятельницей из Дворца пионеров.

В то время я думал, что наркотики кладут в кофе. И кладет их не кто иной, как женщина за стойкой, которую все знали по имени и звали за большие очки “Телевизором”. С ней все, стоящие в очереди, здоровались и, выткнув шею, причаливали головы к другой стороне прилавка: “Без воды, пожалуйста”.

Я верил, что так опознают «своих». Опознавателем своих был и хромой, кривой человек, прославивший участником пражских событий: взглянув вверх одним глазом, просил на кофе. И это был хороший знак. И отбредавшись, ты чувствовал особую гордость за сам факт состоявшегося разговора.

Я покупал на Литейном в магазине «Академкнига» литературу по неизвестным мне предметам. Там я нашел сборник “Поэты Перу” из серии “Библиотека латиноамериканской поэзии”. Сидя на низком мраморном, с кофейными берегами, подоконнике “Сайгона”, мы читали с девчонкой из литературного клуба вслух, открыв наугад.

Выслушав пару десятков рассказов “старых стопщиков”, в которых всегда присутствовало несколько обязательных элементов (как филолог, я с уверенностью говорю об этом): выход на трассу, погодные условия, тип водителя (псих — один вариант и дядя — кормящий, поящий, к себе домой завозящий — второй), неврубчивый приятель, провоцирующий или усугубляющий ситуацию, тип машины (от дальнобойщика до спортивной), мент (иногда пытки), голод, преодоление препятствий (геройский вариант партизана-Христа и редко встречающийся покаянный вариант рассказчика-мазохиста, глумящегося над собственной трусостью), вписка на ночевку (перенайтать с кайфом), — мы отправились по одному из самых популярных маршрутов: в Таллинн (ранее Таллин), а оттуда на Гаую под Ригой.

Спросив между делом у пипла, кто где выходит на трассу, мы в первый день школьных каникул встретились в час открытия метро, добрались на автобусе до Красного Села и встали на обочине. Прослышав о свирепствующем голоде, о возможных обломах и ночевках в лесу, мы подготовились благоговейно. В общем, сев в первую машину около восьми утра, мы начали есть. К пяти часам мы только приближались к Иван-городу, но животы распирали.

Вечером счет машинам мы уже потеряли. Часов в десять нас высадили километров за двести от Таллина. День был выходной. Дальнобойщиков не было. Брюки хотелось расстегнуть. Сесть среди полей в ближайшую канавку по нужде — мы были не так круты. И тут приближается нечто, с ассенизаторным шлангом, пародия на машину, нам сигналият, из окна высовывается хайрастая голова и нараспев кричит: “People! В Таллин? Ништяг!!”

Разумеется, мы влезаем в эту неуклюжую хреновину с отвисшим снегуборочным ковшом, на ней мы и въехали в город Таллин, подпевая ленноноподобному, почти прозрачному Мигелю “Я сажаю алюминиевые огурцы”. Сидящий передо мной плотного телосложения поп в черном хитоне в елочку обладал стопроцентным слухом и цепляющим нутро голосом. Большой любитель латиноамериканской поэзии, он отправился впоследствии в Сибирь вдвоем с “Поэтами Перу” и ночевал среди москитов, вооружившись стихотворениями Сесара Вальехо и подушкой с канабисом, а по возвращении (и это немало!) вернул мне любимую книгу.

— Ты, Мигель, раздобыл.

Мы помывали, повздыхали, с пристрастием оглядывая друг друга.

— Мигель, а ты Ивана не узнал? Помнишь, он в каждом киоске спрашивал “Таймс”, и его не взяли в массовку, потому что он завшивел и хайр обрезал, но, чтоб заработать на хавку, поборился наголо, и, по-моему, Хендрикс нарисовал ему на черепе континенты, океаны, около правого глаза — Австралию, помнишь? — потому что изображать надо было партию зеленых. А его все равно не взяли: у него началась аллергия.

Моя подруга, поэтизировавшая все бытовые процессы, сказала, что его голова работает на идею — превращается в земной шар, началось горообразование, вставали реальные горы, оставляли после себя впадины, созревали вулканы и леса.

— А потом его полюбила эстонская бабушка и носила на площадь завтраки. Ну помнишь, он еще, — у меня как-то само потянулось, — он жил у Медведя.

У Мигеля была профессиональная память. В 1982 году 23 мая в 6.50 утра (бывает же дар запоминать даты!) одетый в холщовую тунику, в сандалиях на босу ногу, с букетом бело-голубых маков в руке, он вышел на перрон Московского вокзала. До открытия “Сайгона” намеревался походить по Питеру, найти культовые места (дом Рогожина и ротонду на Гороховой, кондитерскую Беранже, Фонтанный дом, притоны Серебряного века и т. д.), но дальше пятого отделения не дошел. Его продержали положенные три часа, провели воспитательную работу, которая состояла в том, что он был принудительно переодет. Изрядно поплевавшись и нареча Мигеля дурачком, милиционер слишком настойчиво потянул за шитую белыми нитками тунику, и студент первого курса МГИМО предстал во всем совершенстве первого человека.

В “Сайгон” Мигель пришел в старых стройбатовских штанах и голубой с белой каемочкой махровой футболке, от которой по дороге с мясом оторвал рукава. Парень в ковбойской шляпе дал ему прикурить, угостил кофе и повел по тайным кругам “Сайгон” — “Климат” — “Казань”, “Казань” — “Климат” — “Комок”, “Сайгон” — “Ольстер” — “Маяк”, а потом отправил “перенaitать у Медведя” на 5-ую Советскую, там они и с Ваней и познакомились.

Flat поразил Мигеля наличием «дифракционных эффектов». Засыпая на раскладном неустойчивом диване, Мигель покачивался на скрипучих волнах ржавых пружин и пытался вникнуть в сложную организацию громадного серванта, в который упирались его ноги. Длинной шеренгой были выстроены разнокалиберных рюмки, за ними в шахматном порядке стояли малиновые, фиолетовые и блестящие слюдой минералы. Те, в свою очередь, заслоняли деревянные и фарфоровые статуэтки — распростершего крылья орла на скале-пепельнице, женщину-воительницу, облаченную в красный халат. Блеск и пестрота передних рядов отвлекали внимание от прижатых к стене фотографий, удерживаемых полированными раковинами, у которых из розовых, нежных ртов вылезали разноцветные слюны разорвавшихся бисерных фенечек.

Утром Мигель проснулся от странного звука. Открыв глаза, он увидел мелкое подергивание рюмок, сияющих остаться на месте в передвигающемся серванте. Сервант толкал небольшого роста медведь, обхватив с лакированных боков.

Медведь подарил московскому гостю две шелковые рубашки с рисунком (одну сняли со спящего Мигеля в ташкентском поезде, и этим сохранили ему жизнь), белую летнюю кепку, коричневые легкие полуботинки и наручные часы “Ракета”, большой запас которых Медведь объяснял своей причастностью в былые годы к космической отрасли. Часы и сейчас были у Мигеля. Медведя у Мигеля никогда не было (как, впрочем, и у всех наших друзей). И Мигель, изъездив Азию в медвежьей рубашке, прокоптив ее в Чуйской долине, носил еще как минимум семь лет в Москве и в Новосибирске, а затем надевал два раза в неделю в течение полутора лет в Магадане, где работал преподавателем в музыкальной школе, — но так и не износил, — пришел к убеждению, что если бы хоть один родственник был медведем, все были бы живы и здоровы.

— Медведь умер вчера ночью. Вот ведь встретились! — что я мог еще сказать.

6

Сдали книги и покинули “Залы”. Мигель предложил зайти куда-нибудь поговорить, чтоб не на холоде. Я не возражал. На Малой Садовой еще было открыто. Да и самое подходящее там, в смысле места и атмосферы.

Поглощая сосиску за сосиской и сдобривая их коньяком, Мигель возбужденно доказывал, что надо забрать Медведя из морга как можно скорее и похоронить самим в лесу под соснами возле какой-нибудь речушки. Что не надо читать никаких умных книжек, слушать бородатых мужиков, интересующихся медвежьим вероисповеданием.

Это было именно то, что нужно, и мы решили тут же идти к Ване, убедить его в этом и разработать план, как мы увезем Медведя.

— Подожди, — вдруг вспомнил я, — нужна елка! Для Ваниной Машеньки!

И мы отправились на улицу Жуковского, где я видел елочный базар.

— Послушай, Профессор, а кто его благоверная? Я ее знаю?

— Все не так просто. Он так и не женился. И детей нет. История туманная, — я сам не очень в нее верил. — Иван устроился художником в экспедицию — рыли могильники. Вроде, в Туве. Выкопали мумию не то жрицы, не то царевны. Не разграбленное захоронение. Сообщили в Москву. А пока начальство не приехало, должны были охранять от нападений, от посягательств, от захватнических намерений местных жителей, почитавших царевну за хранительницу места. Два дня все было тихо. К вечеру третьего дня появляется местный шалопай, через которого закупали провизию, и предлагает дешево тушенку и самогон. Контейнер из Питера еще в пути. Взяли. Хлебнули в честь находки по глотку — и вкусили, что называется, корень радости. Просыпаются через сутки: царевны нет, украшений нет. По лагерю ходит ребенок лет двух, почти голый, мальчишка, ест муравьев, называет себя Машей. Решили — Миша, а прозвище осталось. Стали выяснять в поселке — никто не знает. Бывали случаи: возмут с собой за ягодами спинोगрыза, по нужде отойдут, а ребенка ищи свищи. Или зверь нападет: от родителя — мокрое место, а ребенок живой спустя месяцы из лесу выходит. С царевной все обошлось. Мальчика — в Питер привезли.

Я рассказывал Мигелю то, что сам слышал от Вани, но, честно говоря, получалось вроде «телеги». Поверил Мигель или нет, трудно было понять. Лица я его не видел из-за снега и мохнатой шапки-ушанки, из-под которой блестела только золотая оправка очков.

Медведь встречал Ваню во все времена года, из всех поездок. Вариантов было два: или с зимним пальто, или с мороженым. И в тот раз с мороженым ждал у вагона. Увидел ребенка, лапой замахал: “Машенька!” И все. Никому, говорит, не отдам. И не вздумай заговаривать со мной об этом. Убеждали, чтобы мальчишку Машей не звал. Слушает. Молчит. Все равно “Маша да Маша”.

Приду с Иваном — Миша на диване лежит, яблоки грызет, Медведь сказки про Машеньку сочиняет и для Миши яблоки чистит и разрезает на маленькие дольки. На столе в одной из заказанных на пошив шляп — ночной горшок со всем содержимым, а на серванте — кстати, все том же — ожидает вереница маленьких высоких разноцветных пtifуров с творогом и смородиновым вареньем, с парусом-яблоком. Ваня все меня на счет сказок спрашивал, не испортит ли медведь парня — с утра до ночи все про Машеньку да про Машеньку, привел поговорить. Но Медведь в ответ: “Арина Родионовна Пушкину рассказывала и ничего, не испортила”.

Мы шли с Мигелем по Литейному и собирались переходить, свернуть на Жуковского, как сзади мне положили руку на плечо: “Профессор! Здравствуйте. Мне надо с вами поговорить”. Я обернулся. Мигель, не заметив моей остановки, пошел через дорогу.

За спиной стоял человек в белых кроссовках, темно-зеленых вельветовых брюках и длинной куртке-водолазке. Он был ниже меня, голова опущена, и я не видел его лица.

Меня удивило, что кисти его рук были замотаны в полиэтиленовые мешки, сжаты в кулаки и находились в неестественном положении перед грудью, как у боксера или попрошайки. Я ждал пояснений.

Из-под капюшона торчал коричневый мех. Человек топтался и молчал.

— Слушаю Вас, что Вы хотите? — что топтаться, когда такой холод?

Голова запрокинулась назад. Капюшон переполз, оголив желтоватый обтянутый подбородок и широкие скулы.

— Это я, Хой Чэн. Сыдрывайте, — задвигались скулы. Это был кореец, мой ученик, он уже сносно говорил по-русски в спокойной обстановке, но, будучи застигнут врасплох, спонтанно ничего сказать не мог, очень конфузился и приспособил для такого случая электронную говорящую записную книжку, где под кодовыми номерами у него были записаны обращения к преподавателям.

— Здравствуйте, Хой Чэн. Что-нибудь случилось? — я смотрел на полиэтиленовые мешки.

— У меня? Нет.

Я ждал, пока Хой Чэн подтолкнет один звук другим.

— Мне сказали, у Вась... — наконец все лицо Хой Чэна высунулось из-под капюшона. Он улыбался. — Я Вам звонил, чтобы сказать Вам мое... как это говорить. Да... Это Ваш ротесевеник?

Я не ответил, и он продолжил:

— Я читал роман, у меня есть вопросы. Но у Вас сейчас нет времени, я знаю. Я шел на занятия и взял книгу.

Я взял у Хой Чэна роман — тот самый, что читал в библиотеке. Кореец работал над ним, как шифровальщик.

— До свидания, — улыбнулся, скаля зубы Хой Чэн, скрылся внутри капюшона и махнул полиэтиленом.

Мигель ждал меня у зеленого забора. За забором, связанные по рукам и ногам, прижимались друг к другу непривычно малочисленные елки, их пальцы отрешенно зеленели под стянутыми к макушкам ветвями.

Немного поторговались, скинулись — и унесли, не глядя.

— Ты знаешь, Профессор, — Мигель на ходу перехватил елку другой рукой, — первый раз покупаю елку без всякого чувства.

Мы сошлись во мнении, что купить елку не глядя, не попросив развязать, могут далеко не все, и мы оба впервые купили елку таким вот образом, что такая покупка может служить определенным показателем. Мигель считал, что жадности. Мое мнение было, что — обреченности.

Зашли в гастроном на Литейном. В магазине все приценивались к нашей елке. Мигель купил белое молдавское вино, с громким названием “Магия света”, шоколад “Block”, большую шоколадную медаль, банку шпрот, мандарины, грейпфрут, коробок с китайскими древесными грибами, разбухающими в воде в виде громадного цветка, и вишневый сок. Выходя из магазина, в дверях, я увидел Василия Никитича. Он подымал с земли и сажал себе за пазуху не то маленькую собачку, не то кошку.

Колобок едва держался на ногах. Узнав о смерти Медведя от служанки в этом же магазине около двух часов дня, Василий Никитич пошел в подвальчик на улице Салтыкова-Щедрина, между нами известный как “Три пескаря”. Мы разминулись на какие-то сорок минут. Теперь он спешил купить творожок — ужин и завтрак для норки, о происхождении которой мы было начали говорить, но перешли на способы приготовления древесных грибов. Колобок искал по карманам очки — цены прочесть, рассмотреть чернослив, овощи, выбрать одну-две свежие рыбы. Извлек вместо очков чайную ложку. На середине рецепта понял, что оставил очешник в «Сайгоне», где ему кто-то дал подержать норку, на минуту, пока покурить выйдет, да так и исчез. Василий Никитич зверя прижал, чтоб не выпал, и побежал за очками обратно.

Ванин двор переживал век земляной каши.

— Держись оградки! — у меня был небольшой опыт.

На встречу нам с Мигелем, выдергивая ноги из каши, брел парень лет двенадцати в расстегнутой фуфайке, из-под которой виднелись клетчатые рубашки. Следом за ним, шагах в десяти, к оградке жался юродивый поэт. Я отвернулся, он тоже сделал вид, что не узнал меня.

8

Мы расположились на кухне. Парень у Ивана был совершенно неумный. Он вылезал из ванны, вбегал, распахивая со стуком дверь в кухню, выливал то на Ивана, то на стол мыльницу с водой, хохотал и уносился обратно, прыгал в ванну, расплескивая воду. Когда, наконец, служанке удалось уговорить Мишу отправиться под воду исследовать “что слышно, а что не слышно”, елку вызволили из-за дверей и спрятали до утра в служанкиной комнате. Через полчаса розовотелый и задумчивый, он ритмично открывал рот навстречу каше и водил пальцем по рисунку черного хитона Мигеля. Потом, откинувшись Ване на грудь, уложив руку за голову, сочинял страшную историю о зайцах, которые вылезают из черной ткани.

Иван не знал, хорошо это или плохо, что у Миши такое необузданное воображение. Устав рассуждать над этим, Иван завел, подобно Гвоздеву, дневник, куда заносил стишки, звуки и преобразенные детским сознанием «вещи». Он прочел нам с Мигелем накануне придуманную Мишей речевку: “По дороге домой с вырванным зубом”:

я и-ду
и зубики свои несу!
мы ид-ем

и зубики свои несем!
он и-дет
и зубики свои несет!
они и-дут
и зубики свои несут!

Иван, в противовес Медведю, занимался “научным” развитием ребенка и, когда мальчик плохо засыпал, читал четырехтомный этимологический словарь. Миша быстро уловил словарный стиль и, укладывая спать свои машины, выводил длинные перечни пра-значений услышанных по радио фамилий, населенных пунктов и политических партий.

Иван записывал Мишино бормотанье. Среди записей был целый выводок предложений, начинавшихся с «если»:

«Если представить, что ты гвоздь, можно испугаться и надолго застрять в стене».

«Если в слове “папа” изменить одну букву, получается “попа”. А мама — мома. А вместе — “мопа”. Бабушка — на дебушка, дебушка — на девушка, девушка — на дедушка, дедушка — на бебушка, дабушка, бадушка. Но лучше такого не говорить».

«Если смотреть в суп, то лук похож на плащ, и на дне проходят дороги, а по дорогам идут круглые черные перцы».

«Если произносить буква за буквой, получается “квазабук”».

«Если есть тон, тон, полутон, то должно же быть: число, число, получилось! цифра, цифра, полуцифра! буква, буква, полубуква!»

Дверь за служанкой закрылась, Мишу понесли в кровать. Мигель откупорил «Магию света».

— Прости за мой вопрос, Иван, я давно здесь не был. Но очень хочется спросить: почему к этому юноше обращаются “служанка”? Что за театральщина?

9

— У Мигеля есть к Вам вопрос, — Ваня смиренно уселся за стол, принялся открывать шпроты, потирая между делом вылезшую из-под пудры щеку.

— Уважаемый, может быть, Вы присядете с нами? Я не видел Ивана с восемьдесят четвертого года. Но и тогда, в пору пофигического бурного роста, как я называю нашу юность, да и все эти годы я, признаюсь, завидовал Ивану. У него было то, чего нам всем (я могу, как мне кажется, за всех нас сказать) не хватало — у него был Хранитель. Хранитель шкатулки, — Мигель постучал себя по голове. — Давайте за Хранителя!

Мигель протянул служанке стопку.

Тот смутился, произвел перед собой отрицательные жесты:

— Мне, — нет, нет. Я этого не могу. Для меня это все равно что выпить мышьяка. Простите, я ничего не понял из того, что Вы сказали. Потом освободиться от оболочки — о чем сожалеть?! По мне: чем меньше суеты будет вокруг моей оболочки — тем лучше. Есть страны: где упала оболочка, там и лежит, разве что убраться куда-нибудь в целях гигиены.

— Простите, молодой человек, Вас как величать?

— А к чему эти ничего не значащие ярлыки? Простите, может быть, Вы находите много смысла в имени “Мигель”. Но лично мне оно ничего не говорит. “Служанка” гораздо уместнее. Человек призван служить. Служить, прежде всего, самому себе. Собственному бытию, собственной судьбе! — служанка говорил очень быстро. —



*Иллюстрация Бориса Филиппова
к самиздатовскому сб. стихов
Владимира Безродного*

в Ленинград, устроился на завод, где ему дали ордер на комнату. Цифра восемь, истонченная дрожащей по утру рукой канцелярского работника в цифру шесть, привела Прыгуна накануне Нового года в Ванину квартиру. Прыгун позвонил в дверь, объявил о законных основаниях своего вторжения, чем, разумеется, привел в шок проживающих в отдельной квартире. Ордер рассмотрели, обнаружили худосочную голову, отправили Прыгуна с богом в соседнюю парадную. Но через три часа он снова звонился: коммуналка забаррикадировалась, на участокного не реагировала. Медведь сжалился — пустил встретить Новый год. Ну и т. д. Прыгун взял на себя хозяйство, на заводе не прижился, устроился грузчиком в книжный магазин. Через полгода побрился наголо, сделал тополиный меч из дворовой падали и официально попросил называть его Служанкой.

— Я пойду, я больше не нужен? — Служанка взглянул на ржавый рядок шпрот.

Мигель, немало удивленный такой отповедью, поставил рюмку на стол, выудил из-под стола табурет и пододвинул Служанке.

— Я прошу, останьтесь.

— Иван, — Служанка перевел взгляд на бутылку вина, — Михаил жаловался на ухо. Второе. Денег на молоко нет. Стирального порошка нет. Сахара нет. Яиц нет. Ребенка поить вином не будешь. Как решите, чем кормить утром, пожалуйста, сообщите, — договорил и, подпрыгивая, вышел из кухни.

— Все так плохо, да? — Мигель ткнул в переносицу шаткие очки.

Ваня в ответ лишь поднял брови.

— У меня есть мысль — я подумал, что Служанка мог бы завтра провести занятия с корейцем вместо меня, а мы отправимся в морг за Медведем.

Служанку вернули, поблагодарили, показали фрукты, просили, приводили доводы.

— С ним просто нужно почитать текст, объяснить незнакомые слова. Медленно, не спеша. У вас дар объяснять, рассуждать.

По крайней мере, подумал я, такой серьезно подойдет к делу. Я принес из прихожей сумку, извлек роман:

Но слуга и служанка — не одно и то же. Потом нет этих различий — женский — мужской, французский — тверской. Говоря “служанка”, вы называете главное. Вы не даете мне забыть, вы стучитесь, вы будите мою леность. Недаром, у медведя-то имени не было, — служанка повернулся к Ивану. Сзади его голова напоминала чуть треснувшую изящную рюмку из красного чешского стекла.

Два года назад, увидев первый раз бритого под ноль, в сетке царпин, малокровно-депрессивного жильца, я назвал его для себя театралом, но он оказался семинаристом, разочаровавшимся в семинарии, а до этого прыгуном, разочаровавшимся в спорте. Решив сменить все разом, Прыгун приехал

— У меня заложено. Пять страничек. На полях знаками вопроса отмечены трудные места.

Иван повел нас в коридор и раздвинул занавески, закрывающие часть стены:

— Я думаю хоронить здесь.

На стене немного вкось висела длинная картина без рамы. Собственно, на одном холсте были две картины, разделенные приклеенной полоской меха (остался от шляпы какого-нибудь заказчика, вот Ваня и придумал приемчик). Левая часть холста представляла белую фактуру, переходящую от глянцево-гладкой к выпуклой. Через эту неоднородную белость пролегал след, напоминающий тракторную полосу. На правой половине был изображен пейзаж: на оранжевом фоне разбегались желтые тени белых деревьев, голубые размахайки земли.

— Здесь солнечно, свободно, ветер. Опять-таки, голубая земля, сухой грунт. Можно чуть-чуть в стороне, — Ваня указал за линию меха. — Там холм, ходят звери, лежат доисторические животные, весело.

— А подъездная дорога есть? — спросил Мигель, не моргнув глазом.

— В километре.

Мы пили вино и обговаривали, как заберем утром медведя из морга. У Вани до обеда был в распоряжении грузовой микроавтобус, везти картину на выставку в какой-то ДК или не ДК. Мигель продемонстрировал синие, зеленые, большие и маленькие книжечки, три оранжевых паспорта, листки с печатями. Что из данного набора могло нам пригодиться, я не понял, но верил в природный артистизм Мигеля и профессионализм нашего Министерства иностранных дел.

10

Долгий крик, тонкий и рыхлый, вылез из комнаты и схватил всех за уши. В дежурном кабинете лор-института перед Мишей трясли игрушечных негрятенок, пластмассовых котов, пускали зайчики металлическими лопаточками, соблазняли круглым зеркальцем с дыркой — Миша орал, голосил, вертел головой, трясся всем туловищем. Пришел санитар, сгреб, зажал руки. Служанка бормотал утешения, держал голову. Врач посветил:

— Так. Что ты туда спрятал? Держите крепко.

Набрал воды. Пустил в ухо здоровенный шприц.

— На, герой! — выхватил комок из миски. — Теперь знаешь: ухо не лучшее место для кладов.

Ехали домой все пятеро на такси. Машина кружила, Служанка всматривался в незнакомые повороты.

— Покажешь, что это было? — Мигель протянул руку.

— Оно само залезло, — Миша был обижен, гнусавил. — Вот, можете посмотреть, я еще сам-то не видел!

Мигель поднес ладонь к окну и зажал кулак.

Миша уже спал. Его аккуратно уложили на колени.

— Не хочешь взглянуть? — Мигель разжал кулак.

Что это — одному Богу ведомо: розово-синее, вогнутое, как гусеница, тонкие, гуттаперчевые ножные отростки, маленькие, игрушечные признаки мужского пола.

— Откуда такой омерзительный пупс?

Сморщенное старушечье личико, сомнительное подобие рыжих волос.

— Определенно, из сада. Какое-нибудь японское извращение. Отдай Служанке. Пусть завтра покажет причину страданий.

— Простите, дорогие... Профессор, — Мигель сбавил голос, — посмотрите внимательно, это — тварь!

Морщинки на старушечьем личике чуть-чуть подергивались.

— Вот черт!

11

В полвосьмого утра Ваня, я и Мигель подъехали к моргу. Одноэтажное здание белело на отшибе. Центральный вход и дверь с левого торца были заперты. Обойдя с другой стороны, поднялись на крыльцо. Мигель шел первым, протянул руку к двери. Дверь распахнулась навстречу. Санитар, или врач, в зеленом медицинском костюме, тащил за собой большой тюк, увязанный в простыню. Он нас не видел, приоткрыл дверь, просунулся корпусом, почти ступил на Мигеля — и тут поднял голову и остоленело застыл.

— Уф... — выдохнул он, постояв. — Как вы меня напугали!

Санитар застрял в двери.

— Вы кто? — решился на вопрос, двинул глаза по лицам.

Мигель приготовился к манипуляциям разноцветными книжечками.

— А, вы на счет отпевания? — заметил рясу.

— Видите ли, мы из монастыря, — взял дело в оборот Мигель, — приехали за телом усопшего. Хороним при монастыре. Вот бумаги, — протянул фиолетовые круги.

Санитар не возражал.

— Сейчас все сделаем. Одну минуту. Подождите у левого входа. Напомните, кто у вас?

— Медведь, — вступил Ваня.

— А, медведь... Так это вы? Ведь я вам звонил?

— Да, разговаривали со мной, — Ваня приготовился к обороне.

— Я вам что говорил? Ведь я вам сразу сказал, что он плох! А теперь и открывать нельзя. Шерсть вся отпала.

— Как шерсть отпала? Разве такое бывает?

— Простите, — басом заговорил Мигель, — я бы хотел посмотреть на тело.

— Ну, только если батюшка. Родственников не могу пустить — слишком изменен.

Мигель, не оборачиваясь на нас, пошел за санитаром. Он вернулся очень скоро, качая пылающими щеками.

— Выйдем.

Мы почти бегом вышли.

— Ребята, тело — женское.

— То есть...

— Узнать невозможно.

— Он в костюме? Он был в костюме.

— Нет. Костюма нет. Мне сказали, его сняли, когда стала выпадать шерсть.

— Но я ведь был вчера утром. Была раздутая неестественная голова. Шерсть блестела.

— Женское тело, тонкое лицо, лысая голова, завалившиеся щеки. Я было подумал, что ты прав, что это совсем не медведь, но санитар мне указал на губу — проткнутая губа, след от кольца.

— Скажи, что мы забираем, — Женя тер и тер губу.

Медведя опять одели в костюм.

На солнечной горе мы все же открыли крышку, но я не мог взглянуть. Мы всё сделали, как надо. Белые деревья бросали желтые тени. В голубой земле лежали доисторические животные. Воздух звенел в белых деревьях. От яркого солнца в глазах играла оранжевая сетка. Мы пели, мы танцевали кругом, как юные девушки, оставляя на снегу впечатанный след.

Возвратились чуть позже полудня. Мальчик в фуфайке отмывал под водосточной трубой стеклянную находку. Под тополем, рядом с осевшим на бок снеговиком, курил поэт, щелкая пальцем по весящей на суку авоське. Из подъезда вышел, улыбаясь Хой Чэн.

Служанка, возбужденный уроком, метался по кухне, заглядывал под глянecь романа, мечтательная улыбка бродила по наодеколоненным щекам. Миша сидел на диване, в подушках, держал шапку, и сонно мурлыкал.

Мигель сел рядом:

— И где твой мучитель?

— Хотите посмотреть? Он спит.

Мигель взял, вглядываясь.

— Держите, только не жмите его сильно. А то может задохнуться. Я ему буду рассказывать сказку.

— Жила была девочка Маша, — нараспев начал Миша. — В один день у нее заболело ухо. Ухо болело так сильно, что девочка не спала и не ела. Из-за леса позвали доктора, старого колдуна. Он посмотрел в ухо и сказал: “Это не болезнь. Должна появиться у тебя из уха не вода и не сера, а маленькая дедушка”. И на третий день вылез из уха человечек, не похожий ни на муху, ни на комара. Прозвали его маленькая дедушка, потому что лицо у него было как у старушки, а тело — как у маленького мальчика. Рос он как все дети. И наконец вырос в большую девочку, Машеньку. А потом у Машеньки заболело ухо. Тсс. Все, — перешел на шепот Миша.

Мигель легонько потянул мальчика с подушек, укрыл красным верблюжьим пледом. Миша сладко спал.

Мигель снял рясу и устроился первочеловеком напротив серванта.

Ваню сморило в комнате Служанки.

Я тоже заметил приятную слабость. По стенам расходились желтые тени, под ногами блестели голубые размахайки земли.

Середина 1990-х

АРХИВ
«БЕЗ ВОРЫ, ПОЖАЛУЙСТА»



Р. Шатин. На подоконнике «Сайтона». Картон, масло

ЧАСТЬ I

СТРАНА SAJGONIA

СТРАНА SAJGONIA	149
Поэты и кафе-шалманы	150
Лев ХАЛИФ. "САЙГОН"	154
Юпп и Гера Григорьев	159
Юп. Срыв - 165, Рассвет - 167, Импульсы - 169, Твист - 171, Шейк - 173, Эдуарду Багрицкому - 174	
Александр КУТЕВ. Раковина-свирель	176
Владимир ЕВСЕВЬЕВ /БОЕНКО/. Мастер	180
Олег РОЩИН. "Смеется пыль..." - 183, "коза не глядит..." - 183, "снова в гости придет..." - 183, "Возьму луну..." - 183	
Михаил БЕСТУЖЕВ-ВЗЯТКО. Телефонный разговор рабочего с поэтом - 185, Весен- няя ночь на Неве - 186, Памяти Цветаевой и Пастернака - 186	
Коврижных. Крученых. Гурвичи	187
КОВРИЖНЫХ. А.Пешков - 189, Нубийская пустыня - 190, В тисках тоски - 190	

Из отглавления к тому 4а антологии «У Голубой Латуны»

КОНСТАНТИН КУЗЬМИНСКИЙ

Юпп и Гера Григорьев*

(о стукачах, графоманах и непризнанных)

Потому, что без паспорта в России никак невозможно.

Ф. М. Достоевский

После того, как я перекопал уже всех поэтов в Ленинграде, на меня накинлись графоманы и личности вовсе уже темные. К графоманам я отношусь положительно, равно как и вообще к «неудачникам». У графоманов (и шизофреников) есть чему поучиться. У них зачастую бывает то, что мы называем «непредсказуемым» в поэзии. «Гладкописцы» этого лишены, у них всё — предсказуемо. Провести же грань между талантом и графоманом зачастую сложно. Так — я не знаю, куда отнести некоторых из далее следующих авторов. <...>

Гера Григорьев — «бомж» («без определенного места жительства» — милицейский термин) жил по мансардам. Его тоже не трогали. Автор исторических пьес и почти всех современных сплетен. Пьесы его не лезли ни в какие ворота (я разумею ворота соцреализма). Кому нужны древляне и Ольга, если пьеса в себе не несет идеологического заряда? А она не несла. «Тризна» (о которой идет речь) наверняка пришлась бы по вкусу А. К. Толстому и вообще славянофилам. Написана она была вне времени и отдавала добротным XIX веком. Себя же Григорьев причислял к великим драматургам (Гомер — Шекспир — Григорьев — несколько, правда, отдает Ильфом, но это слова самого Геры). <...> Но известность к нему пришла не через пьесы. Гера знал всех и знал всё. Откуда-то не из Ленинграда, ютился он по мастерским художников, спал, укрываясь холстами, а что он ел — мне неизвестно. Вреда от него, кроме сплетен, не было, а личность он являл собой колоритную.

Люди, о которых я пишу — это, своего рода, «подполье в подполье». Ибо — по причинам таланта ли, характера, репутации ли — им не удавалось выбраться даже на ту относительную «поверхность», в каковой пребывали остальные поэты. Иногда причиной этого было уголовное (а на самом деле — политическое) прошлое, как у поэтов Юрия Тараканова (автора знаменитой «Лохматки») и его друга Саши Фенёва. Стихи Фенёва (в особенности сонеты) высоко оценил даже такой зверский критик, как Гр. Ковалев (Гришка-слепой), мой соавтор. Несколько текстов Фенёва (разумеется, худших) было опубликовано в журнале «Аврора» году в 1973-м. Но по ним судить нельзя. Фенёв и Таракан были завсегдатаями Малой Садовой, но ни в какие поэтические кружки не входили. Известна еще такая история про Фенёва: набрал он стихов Михаила Дудина из сборников, перепечатал и послал в какую-то газету. Оттуда пришел ответ, что стихи безграмотны, и совет ходить в литобъединение. Саша прикопал это письмо, чтоб при случае шантажировать Дудина. Случая не представилось, стихи Дудина продолжают выходить миллионными тиражами. Текстов Фенёва у меня нет.

Люди с двойными фамилиями опять-таки появились у меня не без участия Геры Григорьева. Евсевьева-Боечко я, скажем, не видел, но слышал о нем. Они с матерью

* Печатается по: У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. Newtonville, Mass., U.S.A.: Oriental Research Partners, 1980 — 1986. Т. 4а.

(которая несколько постарше) имели обыкновение ходить по городу босиком, за что неоднократно арестовывались милицией. В России это криминал, у всех должны быть ботинки или, на худой конец, — сапоги. Семья Евсеевых сапог не носила. За что попадала в сумасшедший дом. Стихи его (я знаком только с поэмой «Мастер») отдают шизофренией, но своеобразны.

Михаил Бестужев-Взято — это уже подарок Геры Григорьева, в аккурат перед отъездом. Попортил он мне немало нервов, придя ко мне сначала с какими-то «политическими» стихами, посвященными, к тому же, Бродскому, а через неделю по телефону раздался замогильный голос: «Немедленно уничтожь то, что я тебе дал!» Уничтожать стихи я не стал, но из дому убрал, спрятал у друга-коммуниста, а сам сел ждать ментов или гбэз. Стихи, надобно отметить, слабоватые, но искренние. По какому-то делу (на сей раз действительно уголовному) он уже сидел, теперь — политика. Кошмар!

Куда лучше Геннадий Несис (Осенний) — находка Эрля. Стихи его соответствуют псевдониmu. Поэт с Малой Садовой. <...>

Борис Виленчик (Гнор) — человек действительно талантливый (может, даже больше) и совершенно затюканный. С 1962-го года мы с Ковалевым разыскивали Виленчика, автора замечательных строчек:

Сестрой и матерью
Посажен в желтый дом... —

порадивших воображение Ковалева (и мое). Когда в 1974-м году Виленчик нашелся (опять-таки стараниями Геры Григорьева!), то каково же было мое удивление, что он оказался близким другом художника Игоря Тюльпанова, этого монаха от живописи, рисующего кистью в один волос по одной картине в три года в десяти-тиметровой комнате! Виленчик пришел ко мне сам, увидев публику (у меня была какая-то из выставок), заторопился, застеснялся и исчез. Потом он мне объяснял, что его в очередной раз могут запрятать в дурдом. Будучи сам официальным «шизофреником», я его прекрасно понимал. Но ему досталось покруче. Что только не делают эти нелюди с людьми! У него был потрясающий параллельный анализ «Пиковой дамы» и — «Игрока» Достоевского. Ничего подобного я в литературоведении не читал! И он убоялся дать мне рукопись. Его стихотворные тексты, которые я порекомендовал в сборник «Лепта», он потом с перепугу забрал. А тексты были нестандартные. Привожу (по памяти):

Лошади, тракторы,
Яблоки, апельсины.
С северо-запада
На юго-восток идем.

Лошади, лошади,
Тракторы, апельсины,
Крутится медленно
Истории колесо.

.

Это кусок. Да и тот я вполне мог перевернуть. Но здесь присутствует то самое, о чем я уже говорил — «непредсказуемость». <...> Еще есть у него одно занятие — он преферансист. Одного преферансиста я знал, Колю Носа. Потом его убили, а меня повязала милиция у «Сайгона», поскольку кто-то видел, как я

с ним разговаривал. А и видел-то я его один раз. А потом повязали Петю Чейгина и Борю Куприянова за то, что они со мной разговаривали. О том, что Колю Носа убили, я узнал от Вити Колесникова, по прозвищу Луноход (он остался калекой после полиомиелита, как и Кривулин), завсегдадая «Сайгона». Колесников тоже писал стихи и был похож на зайца. Безобидный и милый человечек, жил, чем Бог пошлет, а однажды его жестоко избили по подозрению в стукачестве. <...>

Я бы сказал, несправедливость, особенно к слабым — основа этого общества. Женя Епифанов, поэт, с которым я начинал писать в 1959-м, сошел на нет. Короткий, крепкий, с огромной белокурой головой, он подходил и говорил: «Хочешь, я расскажу тебе стихи?» И начинал, с удивительной интонировкой, в растяжку, с паузами, как после точки:

Е-еду. На да-ачу. Ме-едленно.

Или:

Ох, эти парни,
Большие,
Бедовые!
Берег
Байкала
Бетоном
Бинтованный...

Славу его тезки ему не удалось разделить, хотя начинали они где-то рядышком. Ленинград давал меньше возможностей для спекуляции. Работал он грузчиком в порту, зарабатывал изрядные деньги и покупал книги. Потом наступал запой и пропивалось все, вплоть до шмоток жены. Потом первоиздания поэзии покупались снова. Жил он в Автово. Район это был «веселый» до конца 1960-х годов. Стоял как-то Женя под фонарем в сереньком китайском плаще и прикуривал сигарету. Подъехала машина, кто-то приложил Жене пистолетной рукояткой по куполу и машина уехала. Когда через месяц Женя выписался из больницы с заросшим черепом, к нему подсел на скамеечку деятель и сказал: «Ты уж извини, друг! Другому причиталось, он за пять минут до тебя под тем фонарем стоял. Ошибочка вышла». Женю я видел уже перед отъездом, постаревшего и все еще не напечатанного. <...>

А вот стихи Всеволода Ловлина (Луговского) надлежит процитировать, тем более что они уже были включены в «Антологию советской патологии», как идеальный образец — чего только? Сам Луговской выдавал себя за Глеба Горбовского и под эту марку занимал у девиц деньги. То же делал и Олег Рошин (но под свое), и о нем особо. Стихи же Луговского следующие (под эпиграфом-посвящением):

Жене моей, Виолетте Луговской,
подлю предавшей мою любовь к ней,
с глубокой обидой и болью душевной
посвящает эти строки — Автор.
Ушла ты, ни о чем не беспокоясь...
Было все: и ночные свиданья...
Буйные жасмины...
Если бы недремлющее око!..

Болит мое сердце...
 В непогоду...
 Под окном шаги я слышу чьи-то...
 Сложили в чемодан белье поспешно...
 Брожу по тем местам...
 О, как тревожно, как тоскливо...
 Нет, меня ты вовсе не любила...
 Вчера, как зеницу ока...
 Ни обиды жгучей, ни досады...

Ну чем не капитан Лебядкин! «Монстров» собирал, в основном, Гера Григорьев, но и мы с Борей Тайгиным и Ковалевым приложили к этому руку. Приведенный здесь текст Ловлина-Луговского представляет собой оглавление его сборника, в котором не изменено ни буквы.

Следовало бы упомянуть еще Сергея Танчика, автора «Математического отрывака»; Олега Рощина, ... ходившего с какой-то восковой заплатой на месте выбитых передних зубов, но всё это люди глубоко несчастные, никак не prostituteующие свой талант (или отсутствие оно́го) и воистину безгрешные по сравнению с писателями «официальными» (они-то и создают тот литературный «бульон», в котором варятся таланты)... <...>

МИХАИЛ ЮПП*

Эдуарду Багрицкому

Жирная пища
 Сытная пища
 Колбасы
 Ветчины
 Грудинки
 Котлеты
 Бифштексы
 Паштеты
 Сосиски
 Рыжее пиво
 Омары
 Бургонское
 Жареный кролик
 Кофе гляссе
 Кофе по-польски
 Водка
 Икра

* Печатается по: У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. Newtonville, Mass., U.S.A.: Oriental Research Partners, 1980 — 1986. Т. 4а.

Коньяк и конфеты
Вот они рядом
Бери
О натюрморты
Когда я гляжу в изобилье
Пищи сытной и жирной
Пищи мертвой немой
Я вспоминаю художников
Я вспоминаю поэтов
Голодных писавших полотна
Голодных писавших стихи
Вот предо мною проходит
В [неразб.]
И в потертом костюме
Обыкновенный старик старикашка
Бормочущий что-то под нос
[неразб.] несравненный
Он сытым бывал ненадолго
Он пел о величии кухни
Глотая холодную [неразб.]
А это художник
Плюющий на ёмкость желудка
Волшебными красками
Кистью волшебной своей
Из ничего создавая продукты
В небрежно разбросанном виде
Совершенно забыл о пище
Сытной
жирной
живой
Ты видел
Ты чувствовал остро
Ты [медные] бронхи расправив
Дышал как сто тысяч слонов
Одесса
Москва
Петроград
[неразб.]
воры
проститутки
К тебе приходили
Ты брал их
Ты ставил их в очередь строк
А сам надрываясь и сисясь
Насиловал жизнь без оглядки
Повторяя голодного барда
Прелесть кухонь живописал
Ногами обутыми в звёзды
Бродил по нехоженным тропам
Поэт Счастъелов
Пароход Солнцевестник

Струна на дисканте со взвизгом
 Лопнула в сердце твоём
 И осталась жирная пища
 С колбасами
 с пивом
 и с маслом
 И остались лёгкие листья
 И тяжёлой строю стиха
 Голубели небесные шторы
 Разноповистом пели под крышей
 Соловыи
 кукушата
 и зяблики
 И шёл по земле солнцедождь
 Смывая куски и объёдки
 Блевоту
 кости
 и хрящи
 Разбитую утварь хозяев
 Разбитую душу гостей

*Из книги «Посвящения»,
 1961 — 1965*

АЛЕКСАНДР КУТЕВ*

Раковина — свирель

Духу Уолта Уитмена
 М. А. А.

Земная невестимость
 нежных слов...
 Три из тринадцати
 поникли ночью той,
 Рассеянной оставлены рукой,
 Завяли позабытые цветы...

Зеленый камень,
 стынувший и гладкий,
 закладкой канул
 в озеро надежд —
 кувшинки знак

* Печатается по: У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. Newtonville, Mass., U.S.A.: Oriental Research Partners, 1980 — 1986. Т. 4а.

на голубой волне.
 Духовным раскаянием
 искушен:
 по палубе мечутся мысли —
 безумные контуры
 крыс бегущих
 с тонущего Ковчега:
 «... что станется с нами, большими,
 моими зверями лесными?..»

Замшевой глыбой сентиментальность
 сохнет над родником —
 лежащий камень зазеленел,
 свыкшись с сухостью стоп...

Ах, эти следы мальчишки,
 по мелководью
 мчащегося,
 петляющего без оглядки
 затравленного таракана.

Лидии Соболевой

Хочешь слов простых и нежных —
 переливчатые трели
 за метелью увлекут,
 каруселью разнесут...

В страха солнечных затмений
 обольщенья, отлученья —
 ты становишься земной,
 я останусь не с тобой
 в небе черном и печальном
 созерцать созвездий тайный,
 долетающий привет,
 начинающий поэт...

Нет, тебя не четвертуют,
 не сожгут, не зацелуют,
 ты останешься земной,
 не расстанусь я с тобой.

ВЛАДИМИР ЕВСЕВЬЕВ (БОЕНКО)*

Мастер

Памяти Павла Филонова

Глава 1. Корабли не приходят в Лисс

Корабли не приходят в Лисс.
 На заброшенной, злой Земле.
 За миллиардом привычных лиц
 там навеки клокочет не-
 нависть.
 Я — пришелец
 и мой белок
 зовом звёзд навеки прошит.
 И тяжелый как мозг
 черный Космос молчит.
 Корабли не приходят в Лисс.
 Я — Филонов.
 XX век.
 Не локатор, а радар
 душа.
 Корабли не приходят в Лисс.
 И стекает не белый лист
 омлненный ракетный лик
 черной [...] каран-
 даша.
 В пятипалой
 зажато лицо.
 Устал Филонов.
 Злой, голодный пред городом застыл.
 Бессильно сохнут кисти.
 Девственное полотно стоит неведомым шедевром.
 Ночь на Петроградской.
 Бессильны мы.
 И собственная немочь страшней мешков, одетых перед
 казнью.
 Город застыл углами,
 вобравший мощь и одиночество пространств тысячевер-
 стых
 Северной Руси.

 Там где-то
 Кижы догнивают.

* Печатается по: У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. Newtonville, Mass., U.S.A.: Oriental Research Partners, 1980 — 1986. Т. 4а.

Косятся храмы Суздаля.
 Москву под пустыри великой стройки расчищают.
 Великий Устюг в ночь ушел.
 Мелеют реки.

Моря живут последнее столетье.
 Филонов, что с Россией?
 Искусство в эмиграции.
 Остались ноженные, которым мир — тюрьма
 для замыслов великих:
 Волошин, Мандельштам, Булгаков, Пастернак
 и Маяковский
 себя сковавший страшной мыслью
 о службе государству.
 да мудрый Ленин.
 Литератор, закладывающий мины институтов,
 Как зверёк застигнутый
 глаз.

Корабли не приходят в Лисс.
 На планете — война пространств.
 Гинденбург, Людендорф,
 Верден.
 Линия Мажино.
 Годы крутят кровавый вал.
 И тяжелым знанием обожжено
 человечество, загнанное
 в подвал.
 И последние короли
 на ракетном КП
 Ели овощи.
 И текли триллионы секунд и лет.
 Окантованный в жерла годов
 сквозь пространство движется мир.

«Я на эту землю пришел»
 «Землю эту любил»

Я — из самых пронзительных синих славянских рек.
 Я — из дебрей,
 из мощных, как полночь, лесов.
 Корабли не приходят в Лисс.
 Лишь депеши
 зашифрованных снов.

Есенин.
 Маяковский.

под мощь самодержавную бюрократии.
 Филонов, русское искусство,
 запавшее в ухаб кровавый
 спасти способна

лишь рука мастерового.
 Филонов, пишет город.
 Ложатся краски страшно.
 За человеческим силуэтом
 углами ад,
 похожий на пещеры.
 Но хаос красок
 внезапно подчиняет
 возникшее из ритма волн
 лицо
 замученного мастера.
 Там Кондратюк жестокой волей победивший
 сопротивление материала
 создал проект Аполлон.
 Маяковский, в отчаянии, «Вступление в поэму»,
 Добужинский — жуткий нервный ритм канала.
 Бенуа — летящего, как лист, Евгения, раздавленного
 страхом.
 Все мастерам доступно.
 Ракеты, поэмы, музыка, картины — мазки большого
 полотна,
 прорыв к большому человеку,
 к заселению Вселенной.
 Так рисовал стремительные фрески «Вознесения чело-
 вечества»
 забытый на столетия Дионисий.
 Искусство — круг,
 где каждый мастер захвачен ритмикой строительной
 работы.

Глава 2. Человек, победивший город

Проспекты, режущие город взмахом петровой государ-
 ственной
 руки.
 И жизнь, размазанная смрадом
 в подвалах и на чердаках.
 Ползут от фонаря раздавленные тени,
 в подворотнях ветошь человечья носами сизыми
 сипит,
 да светят в окнах абажуры тел продажных девок.
 Филонов: некуда укрыться
 от злобной правды мирового зла.
 Крадется только бледный Достоевский, ползет за ним
 раздавленная тень.
 Лишь щепочки влекомые потоком — герои, партии и
 государства.
 И движется
 усталый Лукоянов

сломавший смену.
 Страшный. Пьяный.
 Готовый уничтожить все на свете. [далее неразборчиво]

ОЛЕГ РОЩИН*

* * *

Смеётся пыль на грязных тротуарах
 Листва деревьев шепчет проводам
 Машины улыбаются прохожим
 Колёса читают по складам
 [какие-то] асфальтовые книги
 Где трещины — художественные буквы
 И вы их — все видели

1960 <?>

* * *

коза не глядит в глаза
 и берег не очень хвастается
 моряк начинает любить
 а женщине кажется:

зеркало стало стеклом
 мечутся пухлые губы
 и тело знобит теплом
 индивидуально сугубым

1960 <?>

* * *

снова в гости придет
 несмешной людоед
 небоглазой красавицей
 острова Пасхи

омывая дождем
 попугасвый плед
 между век моих плаваются
 горлые спазмы

* Печатается по: У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. Newtonville, Mass., U.S.A.: Oriental Research Partners, 1980 — 1986. Т. 4а.

и ушли города
в чемоданы веков
багажом экспрессируя
в прошлое время

1960 <?>

МИХАИЛ БЕСТУЖЕВ-ВЗЯТКО*

Телефонный разговор рабочего с поэтом

И. Бродскому

Я звоню звеня,
Но слова сухи:
«Извини меня,
Я пишу стихи».

Как стихами он
Бородой оброс,
Ненавидит трон,
Презирает лоск.

А я лью чугуны
Выше норм и смет.
Помогу ему
Или нет?

Я зову звеня,
Но слова глухи:
«Извини меня,
Я пишу стихи».

Кто-то черный вполз
Между мной и им.
Он один рыж — пес
Или пилигрим.

Выше ветхих норм
И убогих смет
В тайнах вечных форм
Спину гнет поэт.

* Печатается по: У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. Newtonville, Mass., U.S.A.: Oriental Research Partners, 1980 — 1986. Т. 4а.

Эх, как был осел
Я звоню звеня:
Ты за всё за всё
Извини меня.

1962

Весенняя ночь на Неве

Омутная, черная спина ее,
Плечи неподвижные грустны.
Будто руки к Богу поднимая,
Ночью поднимаются мосты.

После ледяного прозябанья,
Трубы — в небо, пушки — на дворцы,
Крейсер мой с божественным названьем
У причала отдает концы.

Не стерпев предательства, измены,
Снова в путь, прославленный старик!
Ты возьми на борт к себе бесценный
Чистенький, зеленый броневик.

А потом открой свои кингстоны,
Словно грудь кинжалом распахни...
Мечутся Ростральные колонны,
Тонут тайны, глупости, грехи.

После ледяного прозябанья,
Трубы — в небо, пушки — на дворцы,
Крейсер мой с божественным названьем
У причала отдает концы.

ЧАСТЬ 2

ПОЭТЫ КАФЕ «САЙГОН»

СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА

	Стр.
Генрих Абельмас	
День рождения	2
А нынче ночью будут убивать...	3
Иосифу Джугашвили	3-4
Лживая метеосводка	4
Монолог Чаадаева	5
Я - оптимист	6
Вхожу в лес, как в храм старинный	6
Берусь усталыми руками...	7
Опять безоблачная ясность...	7
"Человек человеку - брат!"	7
Прими меня таким, как есть	8
Владимир Балдин	
Вижу рек отравленные воды	8
Трибуну людю	9
Мой край... какой простор до горизонта!	10
Владимир Безродный	
Цикл "Портреты философов"	11-15
Шахматная аллея (сатирическая поэма)	16-21
Из цикла "Эпиграммы и шаржи"	21-23
Кафе "Сайгон"	23
Современная одиссея	24-25
Конец "Сайгона" (сатирическая поэма)	26-34
Каляевская	34-35
Анатолий Эдлин	
Владимир Безродный	
Гутеноты на Лопани (сатирическая поэма)	36-40
Михаил Бестужев	
В моем лице величье предков	40
Декабрьские крейсера	41

Стр.

Герман Григорьев

Цивилизация	42
Санкт-Петербург	43
Смерть друга	44
Клевер	45
Роман	45-46
Ацефея	46-47
Я шаровую молнию не видел	47-48

Вильям Добровлянский

Ода лимбаго	48-49
Монолог обывателя	50
Сопровождающие	50-51
Мое кладбище	51-52
Родина	52
Мои стихи читают наизусть!	53
Слово Родины	53
Я в пророки пролез мелким бесом...	54
Одна мера	54
Листочки строчек с вежливыми фразами	55
Все по-старому	55
Одиноким пауку	56
Чревато пьянство манной величья	56-57
Мир пронизан минувшим	57
А как одет рабочий класс России	58
За оградой	58-59
Смерть начальника	59-60
Единогласные	60
Учись поэзией одаривать	61
Кто виноват	61-62

Михаил Зарайский

Я музею посетил — и что же	63
Коринф утрим	63
Туман над городом	63
Изящный глобус	64

	Стр.
Холодно в Летнем саду	64
Идут года. Друзья женились	64
Вечерний город. Тьма огней	65
Мой муж поэт, а я его подруга	65
Уже одна только рябина	66
У жирафа-футболиста необъятны гетры...	66

Виктор Кривулин

Галерея (поэма) 67-79

Валерий Флаатов

Рубайат 79-85

Составитель Владимир Безродный ^{29/8-89}

Редактор - редактор журнала

"Петербург" Валерий Трубицын

Художник-иллюстратор Борис Флапкин

Отглавление самиздатовского сборника
«Порты кафе "Сайтон" 1960-1980-х»

История создания сборника «Поэты кафе “Сайгон” 1960 — 1980-х годов»

В конце восьмидесятых я издавал самиздатский дайджест «Петербург», целью которого было организовать дискуссионную атмосферу в разгар перестройки. Материал был весьма разношёрстный — вплоть до фоторепортажей «из окопов демократической революции» на улицах и площадях города. (Некоторые выпуски, сделанные с помощью старой печатной машинки, превосходили по объёму журнал «Новый мир». Вероятно, около пяти номеров журнала сохранилось в рукописном отделе БАН.) Тираж был небольшой, но «Петербург» регулярно появлялся в гуще событий. Поэтому Владимир Безродный и нашел меня, узнав, что в «Петербурге» регулярно печатались поэтические подборки.

В частности, мы впервые опубликовали в весьма большом объёме гарики Игоря Губермана (с разрешения автора) и стихи трагически погибшей перед эмиграцией Кари Унковой — но лишь весьма немного, так как весь материал нам запретила публиковать её семья, не желая усложнений. Были и другие находки и открытия. И одна из них — ранняя поэзия «Сайгона», предоставленная самими авторами. Но следует помнить, что сайгоновцы отнюдь не представляли единого политического или художественного движения. Это был скорее своеобразный общий символ противостояния вполне тупой партократии.

Разумеется, я посещал кафе «Сайгон». Никаких литературных диспутов там, разумеется, не было. Просто народ стоял вокруг столиков, попивая кофе вперемежку с портвейном из-под полы. Сама атмосфера «Сайгона» как раз неплохо описана в стихах сайгоновских поэтов круга Безродного. У них был свой столик, свои беседы, громкий юмор. Причём если они чем и выделялись среди общей толпы, где было весьма много длинноволосых хиппи, так это, прежде всего, своей непрезентабельностью: несвежие свитера и пиджаки, свобода манер, почти постоянное отсутствие трезвости...

Я имею в виду именно исконных поэтов «Сайгона», их ядро. Хотя к ним и примыкали более импозантные любители вольной словесности. Но вот само ядро — это подлинные изгои, бедолаги с тяжелой судьбой, бывшие постоянной мишенью для стукачей и служителей порядка. Именно они и были настоящими сайгоновцами, получая за это шишки. А многие были их окружением и продолжением. Но так ничего и не сделали для изгоев, добившись известности, зачастую мировой.

Володя Безродный позвонил мне сам и пришел ко мне домой. Это был размашистый пожилой человек, громогласно изрекающий афоризмы и перлы неофициального лексикона. Я бы сказал, что он обладал манерами трагика из провинциального театра. Его портрет, впоследствии опубликованный в «Петербурге», он находил весьма удачным. Там действительно весьма точно и колоритно обозначен его темперамент и его самобытность. Это был, вне всякого сомнения, один из характерных типов современного неблистательного Петербурга. Пересказывать Безродного бесполезно. Его надо было видеть и слышать как стихийное явление. В итоге тесного знакомства с Безродным я опубликовал стихи сайгоновских поэтов, по крайней мере, в трёх номерах своего журнала: десятом, тринадцатом и четырнадцатом (всего вышло четырнадцать номеров, самый последний — летом 1990 г.). Теперь выясняется, что эти публикации стали большой редкостью. А сами авторы, видимо, уже уходят напрямик из неизвестности — в небытие.

Безродный подарил мне свою «схему поэтов кафе “Сайгон”».

На Западе:

1. Бродский
2. Кузьминский
3. Юпп

В Ленинграде:

0. Л. Рязов (трагически умер... не потому ли счёт у Безродного тогда начался с нуля?)

1. Слава Словенов
2. В. Ширали
3. В. Нестеровский
4. В. Шалыт
5. В. Трепов
6. В. Безродный
7. Ю. Крутько
8. М. Бестужев
9. Г. Григорьев
10. П. Чейгин
11. В. Филатов
12. М. Зарайский
13. В. Добровлянский
14. Б. Родичев

Позже в его далеко неполный список (видимо, в совместной со мной беседе?) были добавлены: П. Агейченко, Эрль, Охапкин, Драгомощенко, Максимов, Е. Шварц...

Далее мы с Безродным подготовили к печати первый сборник поэтов кафе «Сайгон» 1960 — 1980-х годов. Объём — восемьдесят девять машинопечатных страниц. Предисловие — профессора, доктора исторических наук С. В. Белова.

В выходных данных обозначено: составитель — В. Безродный, редактор — В. Трубицын. Художник-иллюстратор — Борис Филипов. Этот сборник так и не вышел, у меня остался один экземпляр. Он весь составлен из публикаций в «Петербурге» (о чем после текстов каждого автора имеется ссылка о публикации — и в большинстве случаев именно о первой публикации). Иллюстраций я так и не увидел.

Кроме этого, Безродный передал мне небольшую подборку своих собственных стихов, а также стихов Дины Погореловой, Евгения Власова и Маргариты Веселовой под рубрикой «Поэты улиц и площадей Ленинграда», отредактированную мной впоследствии, но не опубликованную.

Среди авторов первого сборника были Генрих Абельмас, Владимир Балдин, Владимир Безродный (одна из его поэм — в соавторстве с Анатолием Эдлинным), Михаил Бестужев, Герман Григорьев, Вильям Добровлянский, Виктор Кривулин, Валерий Филатов (последователь Хайяма).

Где-то в моих архивах есть переданные Безродным две тетради стихов — в переплёте, в виде самиздата. Одна из них — это его сборник, пока мною не найденный. Другая — это, видимо, и есть первый сборник поэтов «Сайгона», который я уже нашел в рассыпанном виде. Полагаю, что при издании поэзии «Сайгона» возникнет много проблем с авторскими правами.

На моем сайте www.fishka-spb.ru есть большие подборки статей о жизни и творчестве Саши Кондратова и Глеба Горбовского, но они себя не относят к сайгоновцам, хотя по характеру поэзии к ним весьма близки. У Глеба гораздо раньше был свой обширный «Сайгон» на Пушкинской, где я никогда не был. <...>

Но не следует забывать о том, что уже тогда среди непризнанных авторов царила своеобразная градация. Например, вполне, в общем-то, презентабельный Глеб Горбовский всегда жаловался на то, что для аристократов пера, к которым, например, безусловно причисляли себя Бродский и Кушнер, он был неизбежным стихийным злом. То есть колоритным чудачком фрондирующей воляницы. А они уже тогда готовили себя в классики, что и произошло. Поэтому нам сегодня уже невозможно представить Бродского рядом с Безродным. Вряд ли они общались. То есть единого понятия «сайгоновец» никогда не существовало, а были пересекающиеся круги общения.

А кем был я? Представитель технической интеллигенции, стремившийся не утонуть в серых буднях, книголюб и книгочей, в эпоху перемен — деятель поздней волны самиздата и демократического движения, автор нескольких самиздатских поэтических книг, редактор журнала «Петербург», член редколлегии журнала «Демократия и мы». Был членом московско-ленинградского «Клуба независимой печати» (Григорьянц, А. Подрабинек, Б. Иванов и др.). Участвовал в работе «Общества спасения архитектурных памятников» в ДК им. Ильича, широко известной «Вахты мира» в Михайловском саду, в правлениях культурно-демократического движения «Эпицентр» и Ленинградского народного фронта (ЛНФ) с первого дня их существования. <...>

Теперь, надеюсь, понятно, почему Владимир Безродный пришёл именно ко мне. Ему было просто не к кому идти, хотя он с гордостью перечислил теперь уже мэтров российской поэзии, имевших когда-либо отношение к «Сайгону». Да, конечно, поэты круга Безродного в техническом отношении не всегда блистали, но в них было гораздо больше непосредственности и искренности. Ибо они не делали поэзию, а были частью её. Они были одновременно и авторами, и героями своих произведений вплоть до указания своих фамилий. Что, конечно, эстетами отвергалось, так как вместо литературной маски они видели реальные и порой помятые лица. В «Сайгоне» и вокруг него постоянно происходил поэтический театр наяву за пределами официальных и нелегальных литературных салонов.

Разумеется, поэты круга Безродного — это лишь незначительная часть петербургской поэзии. И на сегодня — наименее исследованная. <...>

Я посещал Кушнера в Автово, Кондратова на канале Грибоедова... Бориса Иванова на Карповке... Кривулина — у нас на Петергофском шоссе (где он мне давал читать альманахи Кузьминского)... Горбовского — на его персональном вечере в университете... Виктора Ширали на его кухне... Жил на одной улице в Москве с никому не известным Высоцким, увидев его затем впервые в Питере во Дворце им. Первой пятилетки в пяти спектаклях, куда мы проникали любыми путями, вплоть до дымоходов... Работал на одном заводе с Николаем Рубцовым... Возлагал венки на затерянную могилу Николая Гумилёва на Ржевском полигоне... <...>

Но я так и не добрался до сайгоновца Юрия Крутько, который бомбил меня просьбами об издании книги о сайгоновцах, но внезапно умер.

И скоро все мы превратимся в голоса мёртвых. Именно такие мысли посетили меня, когда мы (с Ольгой Адамович, Стратановским, Борисом Ивановым и многими другими) стояли над могилой недавно ушедшего Владимира Уфлянда на Смоленском кладбище.

Вторая культура

Представленные в этом первом сборнике поэты кафе «Сайгон» 1960 — 1980-х годов характеризуются сознательным противопоставлением собственного взгляда на все аспекты поэтического творчества шаблонной, штампованной, в основном, официальной поэзии.

Поэзия сайгонцев — это их иррациональный, во многом трагичный личный опыт, единственное духовное содержание которого — поэзия; опыт, который может быть одновременно и слишком узким, и слишком широким, чтобы переработать весь наличный материал и дать ему исчерпывающую поэтическую форму.

Сборник «Поэзия 1960 — 1980-х годов» — это кусок живой ткани, вырванный из души сайгонских поэтов, самоуглублением их страдальческой одинокой совести, — и в то же время совести, стремящейся к единению и зовущей к милосердию.

Это опыт свободно развивавшейся личности, годный и для любви к человеку, и для любви к Богу. И в этой вечной тоске поэтов-сайгонцев по гармоническим отношениям с миром и по гармонической форме, призванной выразить их потерянные души, — залог их неустанных художественных поисков. Кафка говорил, что «наше искусство — ослеплённость истиной: только свет на отшатнувшемся перекошенном лице — правда; больше ничего». Действительно, казалось бы, поэты-сайгонцы прекрасно понимают, что тайна этого мира — это тайна не свободы, а необходимости. Но это понимание родилось из страшного отчаяния, и поэты второй культуры переживают как личное потрясение, как глубокую личную драму тему трагического конфликта личности и «мировой гармонии».

И самая дорогая истина для сайгонских поэтов заключается в словах В. А. Жуковского: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли».

Вот почему весь сборник «Поэзия 1960 — 1980-х годов» и каждое его стихотворение получают свой смысл и своё оправдание из питающего их высшего духовного единства — единства общей души.

Так будем же всегда благодарны поэтам-сайгонцам за то, что в наш жестокий век они восславили свободу и милость к падшим призывали.

С. В. Белов
профессор, доктор исторических наук

ГЕНРИХ АБЕЛЬМАС

Иосифу Джугашвили

Вас, кажется, простили, командор?
Вновь с подозрением вглядываясь в лица,
Слегка пренебрежительный ваш взор
С иронией взирает на столицу.

Со стекол «жигулей» и «москвичей»
В парадной форме,
С пышными усами,
Опять вы будоражите людей,
И ваша тень скользит над головами.

Умом Россию, точно, не понять.
Она не раз мучителей любила —
Поэтому и вас не оторвать
От наших дней гранитною могилой.

Вы для меня блестящий гений зла,
Теперь в оценке места нет сомненьям:
Я не хочу, чтоб Родина ждала,
Как судный день, час полного прощенья.

И возвращенья вашего,
Но вы,
Пробив гранит кремлевского надгробья,
Катаетесь по улицам Москвы,
Россию озирая исподлобья.

1980

Лживая метеосводка

Врет радио. Сегодня солнца нет.
Над городом шабашничают тучи.
Трамвай ползет змеей гремучей,
И зноем дышит серый парапет.

Врет радио.
Безоблачность прошла.

* Публикуется с сокращениями по машинописи: Поэты кафе «Сайгон» 1960 — 1980-х годов. Первый сборник. Сост. В. Безродный, ред. В. Трубицын. Вступ. ст. С. В. Белова. Худ. Б. Филиппов. СПб., 1991. 89 стр.

Сейчас вон тот,
разгневанный,
вверху,
Раздавит город пальцем — как блоху, —
Лаская задрожавшего осла.
Врет радио.
Я чувствую грозу,
Ее нетерпеливое дыхание.
Недаром город, как в огромной бане,
Изнемогает в каменном тазу.

1980

* * *

Я оптимист!
И верю,
Что во мгле
Тысячелетий будущих — воскресну!
Но страшен будет
Облик мой телесный
На выжженной
Тоскующей земле.
Проснувшись,
Громко, с ревом
Я зевну.
Хвост подтяну огромный
И гремящий,
И поползу по лесу —
Первый Ящер,
Чтобы затеять с кем-нибудь
ВОЙНУ!

1982

* * *

«Человек человеку — брат»!
Но не верю, не верю, не верю!
Щурит мушку свою автомат
На меня, как на дикого зверя.

«Человек человеку — друг!»
А меня надзиратель прыщавый
Бьет за то, что я высказал вслух
Свою мысль о законе и праве.

«Ниже голову! Руки по швам!»
Раз! — удар кулаком в сплетенье,
И летят, как ненужный хлам,
На бетонный пол убежденья.

Я утру окровавленный рот,
Встану с пола назло без стона.
Лишь глаза мои — пулемет,
У которого вышли патроны.

1987

ВЛАДИМИР БЕЗРОДНЫЙ

Кафе «Сайгон»

(этюд)

Вечером поплелся я в заплеванный «Сайгон»:
Стол, бутылка водки, «сизый нос».
Душ заблудших и потерянных загон
Там детина разгонял в разнос.

Для меня вопрос предельно ясен:
Не иди ты в споре с ним в разрез,
Когда пьян, коварен и опасен
Невский мафиозо Джаванез.

Прокаркала кликухой мне белая ворона:
— Честь и чувств не пропивай!
Зрится на тебе шута корона.
Ты ее в грязи не затеряй.

Целовал в подъездах падших женщин,
Пил с ворами терпкое вино.
Уходя от них с разбитым носом,
Все искал: а где добро? где зло?

Если в дикой пьяной драке
Всадят в сердце мне «перо»,
На могилу принеси ты маки —
Цвета крови, пролитой за добро.

Ленинград, 1979 г.

Современная Одиссея*
(монолог поэта)

*Я стою на пороге года, —
Ваш сородич и ваш изгой.
Я последний певец исхода,
Но за мной придет Другой!*
А. Галич

Я — последний поэт «Сайгона».
Скромнен, будто дощатый мост.
Вы, блюстители закона,
За меня поднимите тост.
Знайте вы, что при внешности скромной
И при скромном костюме моем,
Обладаю я силой огромной —
Не шутите со мной, как с огнем.
Стоит мне слегка рассердиться —
Зарифмую вас, всех опишу!
На довольные ваши лица
Половецкий набег совершу.
Как поэта, меня не берите,
Если знаете, кто я такой.
Без меня пусть стоит вытрезвитель,
Я его не нарушу покой.
И «аквариум» в вашей «пятерке»
Обойдется без чудака.
В «трюме» узком солено и горько,
Как и кильке в сетях рыбака.
Мне бы в камеру листик бумажный,
Хлеба черного корку...
Не на сутках сию, а отважно
Еду в творческую командировку.
И пускай я не член Союза,
И не пью там вино за удачи.
Вдохновенье приносит мне Муза,
И не жду я другой передачи.
Иногда все ж бываю битым,
Сгустком крови плюю на врагов.
Никогда не понять бандитам
Тайны многих моих стихов.
Нет, не выше я Пушкина, Блока —
Со Словеновым я или с Треповым...
Мне поэмы выходят боком.
А кого благодарить? Да некого.
Далеко до Парижа, до Галича.
Мандельштама замучили — рады.
Порази вас глубоким параличом —

Всех гонителей горькой правды.
 Сержант, возьми последний рубль!
 Я пью вино — не кровь младенцев.
 Давай с тобой составим дубль,
 Чтобы в стаканах отразилось солнце.
 Откуда деньги у поэта?
 Сержант, иду я к прокурору!
 И ты заплатишь мне за это:
 Увы, не быть тебе майором.
 Пусть даже ямба от хорея
 Тебе ни в жизнь не отличить —
 Свою хмельную одиссею
 Кому я должен посвятить?

Ленинград, 1979 г.

Конец «Сайгона»*

(сатирическая поэма в 3-х главах с прологом и эпилогом)

Пролог — Успеха моего залог

Вновь посетил я то местечко,
 Где кофе черный и двойной,
 Как гейзер лился в рот рекой.
 Где было шумно, многолюдно,
 А дома так тоскливо, нудно.
 Я здесь стоял, как пес приبلудный,
 Мне с очередью слиться трудно.
 Смотрю: знакомые все лица,
 Один успел набраться,
 Другой мечтал опохмелиться,
 А тот в бегах все от милиции
 Искал нору, где б спрятаться.
 Тут впору кофею напиться,
 Согретьшись, восвояси удалиться.
 Старухой по улицам бродила осень.
 На Невский дождь плевался косо.
 Трамвай с Литейного дрожал, как тень.
 Погода в Питере чихает на людей,
 Не час, не два, а целый день.

* Впервые опубликовано в журнале «Петербург», 1990, № 14 со следующим комментарием: «На углу Владимирского и Невского проспектов 5 сентября 1964 г. было открыто кафе, которое неизвестный остряк назвал «Сайгон». Название прижилось. 5 сентября 1989 года можно было бы отпраздновать юбилей, но весной 1988 г. его закрыли на капитальный ремонт и реконструкцию. Писатель Даниил Гранин назвал его «самым бойким и значным местом на Невском проспекте». Поэма «Конец «Сайгона»» написана, как наблюдение над кафе и его обитателями в конце 1970-х годов. Она была известна в Прибалтике и на Кубани».

А по пятам за ней крадется тот злодей,
 Что ломит и бросает нас на бюллетень.
 И захотелось вновь тепла,
 Так осень по лицу плыла.
 Я кофе заказал двойного,
 Две завитушки заварного,
 Буфетчица же бросила в ответ:
 — Уж целый месяц кофе нет —
 Вот так внезапно гаснет свет!
 В тот день пасла меня беда:
 К Марату фея кофе увела.
 «Сайгон» закрыт, а я узнал:
 В «Тортах» открылся филиал.
 На «нет» суда, известно, нет,
 И я послал гонца в буфет.
 А ждать пришлось нам два часа:
 Плясали нервы: ча-ча-ча.
 В висках стреляет пулемет.
 Куда девался обормот?
 Как манны ждали мы гонца.
 Терпенью, видно, нет конца.
 Но чудом увенчалась суета —
 Ведь на столе не краснота:
 За три рубля буфетчик дал
 Нам светлое вино «Агдам».
 Из-за безденежья и ради рифмы
 Им потчуют неприхотливых дам.
 А по ночам мне снился чистый Рейн,
 Когда, течению чужому предаваясь,
 Я пил дешевенький портвейн.
 Как корь и дифтерит,
 Легко излечивают эскулапы,
 Так тот проклятый дефицит
 Удерживается волосатой лапой.
 Читатель ты иль покупатель?
 Не будь наивен, мой мечтатель!
 Не предавайся мутному течению,
 Не отдавайся голубому обольщению.
 Любое временное ограничение
 Рождает лишь досаду и мученье.
 Не стану затруднять ваш слух,
 Ведь монотонность подавляет дух
 И усыпляет публику и мух.
 Пора закончить свой пролог.
 Я лучше выдумать не смог
 И отдаю его читателю в залог.

Глава I. Магазин «Табак»

Оскудели и исчезли бары,
 Бесшумно сняли вывеску
 «Колониальные товары»,

Но дело продолжалось так:
 Повесили другую —
 Магазин «Табак».
 Где есть кабак,
 Произрастает и табак.
 Когда же упрекнут:
 Писатель! А рифма-то бедна...
 Так вспомни, мыслящий читатель,
 Что ими со времен Петра
 Кормилась государева казна.
 Захаживал сюда степенно туз,
 Поклонник Вакха и изящных муз.
 Бросал скороговоркой бойко:
 — Мне, как обычно, «Тройку»!
 Джинсово-модная девица
 Или из бара экстральвица
 С манерой Сонечки с Одессы
 Довольствовалась «Стюардессой»,
 А работяги с давних пор
 Курили только «Беломор».
 Студент, вступая скромно в мир,
 Предпочитал всему «Памир».
 Не знаю истинных причин,
 Но здесь закрыли магазин.
 Увяла бесовского зелья клумба,
 Завезенная каравеллами Колумба.
 То ли ее скосил коварный рак,
 Или доходы перестал давать табак,
 Но никотин скончался так невинно,
 В диагнозе о смерти не указана причина.
 А кофе бурно расширяет сферу,
 Вторгаясь в нашу наркотическую эру.
 Я в веянья новые поверил —
 Там на углу открыли кафетерий.

Глава II. Кафе и его обитатели

Канули в Лету тринадцать лет,
 А в 77-ом пришел запрет.
 Не буду вспоминать сначала,
 Кого уж ветром сдуло,
 Кого как не бывало,
 Но память не истерлася мочалом.
 Не протрубил тревоги рог,
 Когда сюда переступил порог.
 Прошло с тех пор всего два года,
 Но не было у меня исхода —
 Испить до дна бутылок батарею,
 Чтоб воссоздать с натуры эту галерею.
 У стойки разбирался Коля Балабанов,
 И, как всегда, воинствующе пьяный.
 С глазами поволокой от барана,

Кивал он бурой бородою рьяно.
Просты в деревне ворота,
А здесь его прозвали «борода».

Любимец публики, йогов и богов,
Небезызвестный Михаил Перов.
Его привычный каламбур:
— Какой у вас сегодня стул?
То рубль шакаля, то мантуля,
Осведомлялся и у дам о стуле.
А что вы-веда-вал йог у мужчин,
Никто не знает истинных причин.
С повадкой осторожного ежа
И распорядком дня «бомжа»
Жила здесь Жоры-литератора душа.
Слагал для гонорара и для славы
Поэму-быль о князе Святославе.
Молва оставила о тех пор
Единственное слово «ор».
Как новогоднего подарка,
Ждут с нетерпением Марка.
Дверь открывает Дед-Мороз —
А по кликухе «Сизый нос».
И чествуют Ароныча на славу,
Когда поит всех на халяву.
А, если оттолкнет кого от буя,
Вдогонку руганью рискует.
Герой ценил лишь только штиль:
То базу овощей, то пункт «Утиль».
Исчез надолго друг Маркуша,
Куда же увела графиня Ксюша.
Медведем топает Бурлак
С полбанею сюда в кабак.
Он был бы проще дяди Вани,
Когда бы не работал в бане.
Стоит, разлапист и могуч,
Что в Летнем крепкий дуб,
Так изворотлив, но не груб
Великий комбинатор Куб.
Не помня ни матери, ни отца,
Он в каждом видел подлеца.
То загорался, как пожар,
То рвался, словно ягуар.
С клоком волос там с жертвы слез
Известный мафиозо Джаванез.
И, словно скользкий уж,
В углу прижат ученый муж.
Кто знает слово «ворд»,
Так быстро разгадает он кроссворд.
И, искушен и в математике, и в винах,
Упитанный, воспитанный Малинов.

Здесь драка была привычна,
 Что в театре сцена,
 Когда из-под стола, побитый,
 Выползал на четвереньках Гена.
 Живуч, как добрый «крокодил»,
 Хотя и быстрый на расправу Джаванез
 Его немилосердно часто бил,
 Он, как петух, все в драки лез.
 Любил еще жених роскошно одеваться,
 Родителям пришлось разоряться.
 Сынок, пальто в четыреста рублей,
 Вином и водкой не облей!
 Тихо, дети, тише, тише...
 Кто вознесся крыши выше?
 Филомистов, свет наш Миша.
 Не качался, рвался гордо,
 Через тернии — и к звездам...
 — Эх, фуфло, тибетский лама.
 Кто же выкупит меня из хлама?
 Я велик, но беден он.
 Я и Данте, я — Наполеон.
 Что? С ее душою слиться?
 Пусть в ней бес уж поселится.
 Друг сорвался с облаков,
 В раскладушку без портков.
 Ох, ласкал его «козленок».
 Одурел от ласк миленок.
 Тут и время приручить,
 Уму-разуму учить:
 Милый, душу оземли,
 Тело твидом облачи.
 Тише, дети, тише, тише...
 Ваське с Муркой снятся мыши.
 На полу уснул и Миша.
 А козленок? С ним пониже.
 Так в ненастные дни
 И в погожие дни
 Веселились они.
 Пили водку, вино.
 Им теперь все равно,
 Засосало их дно.

Глава Ш. А вот и богема!

Пора кончать кофейный бал.
 Шуты венчают карнавал.
 На лицах их румяна, краски.
 Привычно пляшут в зале маски.
 Алеет Невский, как восток.
 Какой триумф, какой восторг!
 И ты всегда безбрежно рад,

Что приглашен на маскарад.
 От шепота до крика в визг,
 Вот даже вспухли вены,
 Полировал свой «Круг зеркал»
 Последний символист Словенов.
 А где же молния, гроза?
 Я вижу Каина глаза.
 Бот и лирик-петушок
 Заглянул на огонек.
 Для Агейченко Петрухи
 Не жалейте бормотухи.
 Если в горле сухота —
 Не стихи, а срамота.
 Пижоном залетает Ширали,
 Он — не Саади, и его «Сады»
 Лишь гонораром расцвели.
 У столика топтался Трепов.
 Поэт рабочий, плотью крепок.
 До пота он строгаёт доски,
 До гробовой доски — стихи.
 Фуганит их, чтоб были плоски
 И доски... и стихи.

<...>

В поэзии и в живописи — авангардист.
 В делах своих он трезвый реалист.
 Неуловимо сложен Миша Юпп.
 Себя ценил он очень скупю:
 Не выше и не ниже пупа.

Эпилог,
 закрой ты представления полог

Скажу, читатель, в заключение:
 Не претендую я на поклоненье.
 Картинки вызовут то смех, а то печаль,
 Но кой-кому «Сайгона» очень жаль.

Давно померк для нас «Сайгон»,
 Заблудших душ заплеванной загон.
 Протух сосисками с капустой.
 Для вас — час пик,
 Ну, а для нас — все пусто.

Так донками садимся мы на мель,
 Когда отняты средства жизни
 Или утрачена в ней цель.
 В глазах одних — больная мука,
 А на лице других — пресыщенная скука.
 Быть не у дел — одних удел,
 Свои дела — других предел.

Ленинград, 1979 г.

* * *

В моем лице величие предков —
И низость их, и торжество.
Горжусь на встрече нашей редкой,
Являя вам свое лицо.

В моем лице — рождение Руси,
Мучения рабов за кость.
Морщинки в нем за то, что трусил
Смутьян, скрывая свою злость.

В моем лице — расцвет сирени,
Дыханье невской белой ночи.
Мне кажется, сегодня тенью
Весь город в нем сосредоточен.

Но духа северных столиц
Боюсь, когда в пивной дорожной
Легко душа слетает с лиц,
И мы становимся ничтожны.

24 июня 1974 г.

Декабрьские крейсера*

Выводят овчарок на запах,
А запах сегодня не тот.
Наш тыл — шевельнувшийся Запад.
А фронт? У Исакия фронт.

А рубль? Импотенция centa.
А слово? Собачье «ГГАФ!».
На Невский, ищейки, на центр:
Штурмует ДС телеграф.

Но сбились со следа. Под аркой
Поссали спокойно. С утра
Декабрь. Приготовим подарки
И встретим свои крейсера.

18 декабря 1989 г.

* Впервые опубликовано в журнале «Петербург», 1990, № 14.

Цивилизация

Мы знаем, как сварить
Гороховый брикет,
Как запах резеды
Поймать в пробирку,
Как пробегает
В лабиринтах свет
И глупость размножают
Под копирку.

Измерен в метрах
Солнечный экватор.
Заряд мезона,
Вес и цвет микроба.
Составлен звук
По терциям и квартам.
На элементах
Вытравлена проба.

Мы сыплем порошок
В глаза лягушкам.
Алмаз и сталь
Просверлит
Скрытый лазер.
Цивилизации военные
Игрушки,
Как зубы, мы показываем сразу.

Но ночью тихой,
Ночью звездной,
Черной
Земля, зевая,
Клонится ко сну.
Вам не ответит
Ни один ученый,
Кому собаки
Воют на луну.

Смерть друга

Сквозняк открыл
Окно и дверь,
Льет в стекла
Сильный дождь.

И вечность,
Молнией мигнув,
По телу гонит дрожь.

Во вторник
Тихо умер друг
Под сполохи зарниц,
Внезапной смертью
Объяснив
Судьбу самоубийц.

Бессмертным мне
Казался друг.
Чернобород. Могуч.
На стопке непрочтенных книг
Лежит ненужный ключ.

По кладбищу
С высоких туч
Ударил дождь всерьез,
Чтоб сбросить
С низкого креста
Букет бумажных роз.

...В могиле душной
По лицу
Злым малахитом гниль.
Так гулким эхом отошла
Прекрасной
Жизни
Быль.

ВИЛЬЯМ ДОБРОВЛЯНСКИЙ

Мое кладбище

Не начальник я. Не вельможа.
Наша комната вечно во мгле
Оттоманка — прокрустово ложе.
И окошко лежит на земле.

Ну да что там —
сказать откровенно,
Не случайно я занемог.
Днем и ночью
сближаются стены,
Пригибает к земле потолок.

Захлебнуться могу не по пьянке —
 Беспросветно жилище мое:
 Проживаю я ниже Фонтанки,
 Когда ветер поднимет ее.

* * *

Чревато пьянство манией величья,
 Помимо всяких прочих осложнений.
 И чувствуется часто что-то птичье
 В порывистости всех твоих движений.
 И женщины глядят с тоской и болью,
 Как тело сотрясает мелкой дрожью...
 Ты говоришь: «Пора уйти в подполье...»
 Ты прав: безденежье — как бездорожье.
 И где она сейчас, твоя дорога?
 Ты стулья мастерил и пишешь пьесы.
 Не в ком-нибудь — в себе ты ищешь бога,
 И ищешь рифмы для стихов и песен.
 Бессонницы не в силах
 перевозмочь,
 Ты маешься до самого рассвета.
 Слова иссякли...
 Растворилась ночь...
 И бога нет.
 Тебе известно это.

МИХАИЛ ЗАРАЙСКИЙ

* * *

Я музу посетил — и что же?
 Она была, увы, с другим.
 Он был, конечно, помоложе,
 Он был, конечно, с глупой рожей,
 И музе скучно было с ним.
 Я музе сделал замечанье,
 А молодому человеку
 Я подарил свое отчаянье
 И всю свою библиотеку.

* * *

Коринф угрюм. Галеры с грузом
 Краснофигурных хрупких ваз

На полдороге к Сиракузам
Плывут, качаясь, мимо нас.
В окне — седое наважденье
Холодных шпилек до небес...
А здесь — любовь, искусство, пенье
И остальной Пелопоннес.
Гетеры с чашками Гекубы,
Гераклы, гении, Гомер,
Сатир величественно-грубый —
И снова амфоры гетер.
Прощай, Коринф! Галеры с грузом
Краснофигурных хрупких ваз
Все ближе, ближе к Сиракузам,
Все удаляются от нас.

* * *

Холодно в Летнем саду.
Холодно в летних аллеях.
Лебеди на пруду
Словно на акварелях.
Словно стеклянные птицы.
Холодно в Летнем саду.
Холодно в летней столице.

ВАЛЕРИЙ ФИЛАТОВ

Рубайат

* * *

Говорил нам Хайям не ради словца,
Что на дне у кувшина он видел отца.
Нет, Хайям, — я с тобой в этот раз не согласен.
Ты глядел не в кувшин, а в глаза мудреца.

* * *

Я с Хайямом на ты — и он не сердится.
Обо всем говорим. С ним не стыдно напиться.
Хорошо, когда есть собеседник такой.
Хорошо, когда можно себя не стыдиться.

* * *

Друг, сегодня давай помолчим о Хайяме.
Он сегодня сидит между нами.
Неудобно хвалить человека в глаза.
Если будешь ругать, то тогда он не с нами.

* * *

Не раздражайтесь глупостью моей.
Ведь ваша глупость вам моей вредней.
А если вас моя калечит глупость,
То ваша глупость, стало быть, слабей.

* * *

Не вправе я ругать и проклинать судьбу:
Когда хочу — я ем, когда есть деньги — пью.
Лишь Дух мой возмущен, кричит: «Мне это мало!»
И я, чуть отрезвев, сочувствую ему.

* * *

О, Боже! Забери меня к себе опять.
Я до смерти устал уроки повторять.
Как белка в колесе, я у закона кармы —
И без тебя сетей мне этих не порвать.

* * *

Небо ночью — величайшая книга Богов.
И читать ее надо по созвездиям слов.
Если ты не умеешь читать, мой приятель,
Значит к смерти еще ты совсем не готов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Азбелев Павел Петрович (род. 1962, Ленинград) — историк, археолог. Окончил исторический ф-т ЛГУ. Тематика исследований и публикаций: древняя и раннесредневековая история и археология народов горно-степного пояса Евразии; типогенез и хронология; диагностика общественных процессов. По неакадемическим темам публиковался в петербургских («Невское время», «Вечерний Петербург») и московских («Новая газета», «Общая газета») изданиях. В 1983–1985 гг. посещал лито В. Сосноры. Впервые оказался в экспедиции с археологическим кружком А. В. Виноградова. С 1978 по 1995 гг. участвовал в работах археологических экспедиций в Южной Сибири, на Кубани, на Северо-Западе России, в Крыму; в СПб: в Петропавловской крепости и Новой Голландии. Работал в Музее истории Ленинграда, ЛО ИА АН СССР / ИИМК РАН, в Эрмитаже. Подрабатывал учителем. Вёл занятия в школьных археологических кружках. В 2001–2002 гг. — автор и ведущий программ «Дисковод» и «Литература» на радио «Эхо Петербурга». Сотрудник Лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия им. проф. Г. С. Лебедева НИИКСИ СПбГУ.

Андреев Владимир Павлович (род. 1955, г. Полярный (где родители-ленинградцы были в командировке)) — филолог. Окончил испанское отд. филологического ф-та ЛГУ. Пел в университетском хоре. Работал переводчиком с испанского языка, преподавателем русского и испанского языков. Работает в СПбГУ, в центре русского языка и культуры. В 1990-е публиковался в «Новом журнале». Соч.: Пазлья // Звезда. 2007. № 10.

Андреев Игорь Степанович (род. 1939, Ленинград (Кронштадт)) — киновед. Окончил Московский полиграфический ин-т. Член Солженицынского фонда. Ныне пенсионер.

Арьев Андрей Юрьевич (род. 1940, в Ленинград) — филолог, литературный критик. Окончил русское отд. филологического ф-та ЛГУ. Печатался в журналах «Часы», «Диалог» и «Обводный канал», а также за границей — в журнале «Время и мы», газете «Русская мысль», историческом альманахе «Минувшее». Один из учредителей и председатель Довлатовского фонда (с 1992). Соредактор журнала «Звезда» (вместе с Я. Гординым). Соч.: Царская ветка. СПб., 2000.

Балонов Феликс Рахмиевич (род. 1944, Вологда) — историк, археолог. Окончил исторический ф-т ЛГУ. Кандидат исторических наук по специальности «Археология». В настоящее время пенсионер, научный сотрудник научно-просветительного отдела Эрмитажа. Председатель Санкт-Петербургского Булгаковского литературно-театрального общества. Автор более 100 публикаций по археологии, мифологии, древнему искусству, творчеству М. Булгакова, Ф. Достоевского, М. Зощенко, И. Ильфа, Л. Толстого, А. Куприна, Жерара де Нерваля, А. Сент-Экзюпери.

Безродный Владимир Давидович (род. 1930, г. Кременчуг, Харьковской обл. — ум. 2000, СПб) — поэт. Окончил исторический ф-т Харьковского университета и некоторое время работал учителем литературы. В 1952 г. приехал в Ленинград. Работал экономистом, инженером по технике безопасности, путевым обходчиком. Стихи публиковались в самиздатском журнале «Петербург», в начале 1990-х в газете «Санкт-Петербургские ведомости». В 1991 г. собрал машинописный сборник «Поэты кафе «Сайгон» 1960–1980-х годов». Сын поэта, филолог-славист Михаил Безродный, был решительно против публикации поэтического наследия своего отца, сообщив: «Материалы <...> переданы мною в архив Института

* При составлении библиографических справок об авторах настоящего сборника использовались следующие издания: Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е. Литературная энциклопедия. М., 2003; Новый художественный Петербург. Справочно-аналитический сборник. СПб., 2004; Гуревич Л. Художники ленинградского андеграунда. Биографический словарь. СПб., 2007; Время и Слово: Литературная студия Дворца пионеров. СПб., 2006.

Восточной Европы Бременского университета и закрыты для публикации на 30 лет со дня его смерти. <...> Так что печатать их нельзя». Биографические сведения об отце, полученные от М. Безродного, таковы: «образование — кажется, высшее историческое; членства влиятельных — кажется (почти уверен), не было; место работы — кажется, в плановом отделе на каком-то ленинградском предприятии».

Белкин Анатолий Павлович (род. 1953, Москва) — художник. Окончил СХШ при Ин-те им. И. Репина, затем Ин-т им. И. Репина. Будучи одним из самых молодых представителей неконформистского движения, принимал деятельное участие в главных событиях так называемой «газетной культуры», начиная с выставки в ДК им. Газа в 1974. С 1977 активно участвует за рубежом, в том числе на основных выставках неофициального искусства, проходивших еще в советский период (Бохум, Нью-Джерси, Монжерон). Персональные выставки регулярно проходят в США и Европе. В 1996 — персональная выставка в Русском музее «Частная территория», в 2004 — персональная выставка «Золото болот» в Эрмитаже. Выступает как литератор, телеведущий, был главным редактором журнала «Петербург. Собака.ру».

Белов Сергей Владимирович (род. 1936, Ленинград) — литературовед. Окончил ЛГПИ им. А. Герцена, специальность «Русский язык и литература». Автор более 800 статей и 25 книг о творчестве Ф. Достоевского и русских издателях. Получил государственную премию правительства РФ за энциклопедический словарь «Достоевский и его окружение» (СПб., 2001). Заслуженный Работник культуры РФ, академик Академии гуманитарных наук, профессор, доктор исторических наук, член Международного общества Достоевского, член Союза российских писателей.

Белодубровский Евгений Борисович (род. 1941, Ленинград) — библиограф, краевед, драматург, публицист, литературовед, преподаватель истории литературы. Окончил Литературный ин-т им. Горького, отд. «Критика и публицистика». Преподаватель Санкт-Петербургской гуманитарной академии, сотрудник издательства СПбГУ. Начал печататься в 1967 г. Публиковался в изданиях: «Новый мир», «Звезда», «Нева», «Вопросы истории», «Русская литература», «Байкал», «Па-

мятники культуры. Новые открытия», «Наука и религия», «Дантовские чтения», «Новый топонимический журнал», «Новый журнал» (США), «Антенны», «Пламък», «Весни» (Болгария). «Tolstoy review» (США) и др. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. В 1997, 1999, 2002, 2003 и в 2006 г. по приглашению Нобелевского комитета присутствовал на Нобелевской церемонии в Стокгольме. Автор и ведущий литературно-мемуарной программы «Былое и думы» на «Радио России». Автор статей биографического словаря «Русские писатели. 1800—1917» (М., 1989 —). Соч.: Я была счастлива, счастлива, счастлива... (пьеса; поставлена в 1973 театром «Эксперимент»); Шел парнишке тринадцатый год (пьеса; поставлена в 1982—2007 ТЮЗом им. А. Брянцева); Школа на Васильевском (М., 1982; в соавт. с Д. Лихачевым и Н. Благово); составитель изданий: Русские поэты «серебряного века» (в 2-х т. СПб., 1989 (автор идеи и руководитель проекта)), В. Набоков. «Pro et contra». Том 1—2. (в соавт. коллектива); О свободе в поэзии (СПб., 1990); Русский футуризм (СПб., 2000); Антология русской поэзии. 100 поэтов (СПб., 1998); Минувшее, живи! (СПб., 2003); В. Набоков. Собр. соч. в 5 тт. (СПб., 1990—2000; в соавт. авторского коллектива); Нобелевские лауреаты по физике. 1901—2005 (т. 1—3. СПб., 2004—2006).

Беляк Николай Владимирович (род. 1946, Ленинград) — режиссер. Окончил режиссерский ф-т Театрального училища им. Б. В. Щукина. С 1962 г. посещал поэтическую секцию литературного клуба «Дерзание» при Ленинградском Дворце пионеров, в 1968—1969 — лито Г. Семенова. Собрал стихи, написанные с 1961 по 1981, в машинописную книгу «Стихи пациента М.». В 1988 г. создал Интерьерный театр (ныне Санкт-Петербургский государственный Интерьерный театр), является его руководителем.

Богомолова Татьяна Михайловна (род. 1949, Майкоп) — жена и помощник художника Глеба Богомолова. С 1967 г. в Петербурге. Училась в ЛЭТИ, окончила Гидрометеорологический ин-т.

Бомжир (собств. Попов Леонид Вячеславович) (род. 1966 — ум. 1999) — журналист, театральный критик. В конце 1980-х воспитанник кружка археологии Ленинградского Дворца пионеров. Автор множества пародийных и юмористических произведений.

Брандт Петр Львович (род. 1947, Псков) — поэт. В 1960-е посещал «Литературные субботы» в клубе «Дерзание». В 1970–1980-е гг. печатался в журнале «Часы». Участвовал в поэтических сборниках, альманахе «Черновик» (Америка), антологиях «Лепта», «Острова», «У Голубой Лагуны», «Время и Слово», «Петербургская поэтическая формация». Соч.: Монголы: Поэма (СПб., 1996); Люди пустыни: Стихи. Поэмы. Проза (СПб., 2000).

Бугаев Сергей Анатольевич (Африка) (род. 1966, Новороссийск) — художник, общественный деятель, музыкант. В 1980 г. приехал в Ленинград. Участвовал в рок-движении (группы «Кино», «Звуки Му», «Аквариум», «Поп-механика»). В 1981 вместе с Тимуром Новиковым создал группу «Новые художники». В 1988 сыграл роль мальчика Бананана в фильме Сергея Соловьева «Асса». Работал в балетной кампании Мерса Каннинггема (Нью-Йорк). Окончил Ин-т пластических искусств в Париже. С 1984 принял участие более чем в 200 выставках, персональные экспозиции состоялись во многих музеях мира. С 2002 заместитель директора Санкт-Петербургского музея современного искусства по международным связям. Входит в редколлегию «Таврического журнала психиатрии». Один из основателей журнала «Кабинет», основатель и главный редактор журнала «Активист». Соч.: Крымания (Вена, 1995).

Бударагин Владимир Павлович (род. 1945, Ленинград) — филолог-славист, археограф, исследователь рукописного наследия Древней Руси, научный сотрудник Ин-та русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Окончил филологический ф-т ЛГУ. Автор многих научных статей по древнерусской литературе и истории книги. С 1957 пишет стихи. В 1966 вместе с В. Новоселовым и В. Топоровым при участии В. Кривулина, Е. Пазухина и других студентов филфака издавал машинописный альманах «Звенья». Заслуженный работник культуры РФ. Соч.: Древлехранилище Пушкинского дома: Материалы и исследования: сб. статей (Л., 1990; сост.); Песочные часы: сб. стихов (Л., 1990); Тридцать стихотворений (СПб., 1993); Книга посвящений (СПб., 2000); Этот город тебе завещан... (2003).

Буковская Тамара Симоновна (Мишина; урожд. Козлова) (род. 1947, Ленинград) — поэт, филолог, пушкинист, автор статей по проблемам современного изобразительного

искусства, современной поэзии. Окончила русское отд. филологического ф-та ЛГУ. В 1962–1964 занималась в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров. Более 30 лет работает во Всероссийском музее А. С. Пушкина, участвовала в создании музея Г. Р. Державина. Принадлежала к кругу поэтов Малой Садовой. Печаталась в самиздате («Fioretti», «37», «Часы», «Транспонанс», «Северная почта») и тамиздате («Вестник РСХД», «Стрелец», «Венская русистика» и пр.). Стихи переведены на французский, немецкий, английский, итальянский языки, опубликованы в антологиях: «Русская женская лирическая поэзия», (Франкфурт-на-Майне, 1995); «В Петербурге мы сойдемся снова...» (Франкфурт-на-Майне, 1997); «Город—текст. Петербург в стихах петербургских поэтов» (Гельзенкирхен (Германия), 2002); «Петербургские поэтессы» (Италия). В России, в антологиях «Поздние петербуржцы», «Самиздат века», «Стихи в Петербурге. 21 век», «Время и Слово», «Петербургская поэтическая формация», журналах «Нева», «Звезда», «Аврора», «ЧП», «Новый Мир», «Футурум-Арт», «Зинзивер», «ЧЖ» и др. Редактор журнала «Акт — Литературный самиздат» (СПб.). Художник (работы находятся в Московском Музее Современного Искусства). Действительный член Академии русского стиха, учрежденной И. Бродским. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Соч.: Отчаяние и надежда (Л., 1991); ReRe: поэтический комментарий к работам Валерия Мишина (СПб., 1993); Стихи (СПб., 1994; совм. с Каем Боровски); Джакомерон (СПб., 1995); Свидетельство Академиды (СПб., 1999); Невещественное доказательство: Собрание АКТуальных текстов (СПб., 2002); ЫХ: Собрание АКТуальных текстов (СПб., 2006).

Валиева Юлия Мелисовна (псевдоним Юлия Ли) (род. 1967, Ленинград) — филолог. Окончила филологический ф-т СПбГУ, кандидат филологических наук. В 1981–1984 гг. занималась в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Н. А. Князевой. В 1983–1985 гг. посещала лито В. А. Сосноры. Участник квартирной выставки «Девять соратников» (1985), уличной выставки у Шереметьевского дворца, выставок неофициального искусства в ДК работников пищевой промышленности, Культпросветучилище (1986). Автор многочисленных статей

о творчестве обэриутов (журналы «Russian literature», «Russian Studies», «Русская литература»). С 1999 по 2006 г. заведовала кафедрой английского языка Невского ин-та языка и культуры. В настоящее время работает на кафедре истории русской литературы ф-та филологии и искусств СПбГУ, преподаёт историю русской литературы XX века. Стихи печатались в самиздатовском журнале «Чёрный ход» (1983), проза («Четыре двадцать: роман-мультипликация») в «Митинном журнале». Автор-составитель книги «Время и Слово. Литературная студия Дворца пионеров» (СПб., 2006). Соч.: Игра в бессмыслицу: Поэтический мир Александра Введенского (СПб., 2007).

Вальран Валерий Николаевич (собств. Козиев) (род. 1949, Коми АССР) — художник. В 1966 поступил на матмех ЛГУ, а в 1967 перешел на психологический ф-т, который окончил в 1972. В 1980 защитил кандидатскую диссертацию по психологии. Публиковал статьи в журнале «Часы». В 1980-е вместе с А. Драгомощенко и Б. Останиным участвовал в организации творческой лаборатории «Поэтическая функция». С 1972 занимается живописью. С 1976 участвует в квартирных выставках, с 1979 — в официальных. В настоящее время — сотрудник Русского музея. Соч.: Экспансия смерти в «Маленьких трагедиях» Пушкина (Часы. 1986. № 63); Современный художественный процесс и актуализация скрытых психических возможностей человека (Там же); Вторая волна: Фотография 70-х (Ленинград. 70-е в лицах и личностях. СПб., 2000).

Васильев Сергей Георгиевич (Вася) (род. 1961, Ленинград) — сотрудник комиссии по культуре Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В 1986 вместе с А. Ковалевым организовал «Группу спасения памятников», занимается деятельностью по защите культурного наследия Санкт-Петербурга.

Вензель Евгений Петрович (род. 1947, Ленинград) — поэт, прозаик, художник. Учился в художественной школе № 190. В середине 1960-х занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Н. А. Князевой. Входил в круг поэтов Малой Садовой и «Сайгона». Участвовал в самиздатовском альманахе «Fioretti». Стихи и рассказы публиковались в журналах «Часы», сборниках «Голос» и «Лепта», антологиях «Острова», «У Голубой Лагуны»,

«Поздние петербуржцы», «Строфы века», «Время и Слово», газете «Новый американец», в начале 1990-х — в «Митинном журнале» и журнале «Сумерки». Соч. (в собственном художественном оформлении): Стихи (СПб., 1992); Второй сборник стихотворений (СПб., 2000).

Вознесенская Юлия Николаевна (урожд. Тараповская) (род. 1940, Ленинград) — писатель. Училась в Театральном ин-те. В 1960–1970-е — участница неофициального культурного движения Ленинграда. Проводила литературные вечера в своей комнате в коммунальной квартире. В 1975 — член редколлегии журнала «Лепта». Участвовала в подготовке первого номера журнала «Часы». Впервые была арестована в 1976 г. за за диссидентство (требование свободы искусства, феминизм, изготовление антисоветских надписей), отпущена. В декабре того же года была вновь арестована и приговорена к 5 годам ссылки в Коми. За нарушение режима ссылки (посещение Ленинграда) получила в 1977 г. два года лагерей. В 1980 под давлением КГБ эмигрировала. Соч.: Женский Декамерон (Тель-Авив, 1987; М., 1991); Звезда Чернобыль (Нью-Йорк, 1987); Любимых убивают все: Роман (М., 1994); Briefe über die Liebe (München, 1987); Was die Russen über Deutsche denken (München, 1988); Мои посмертные приключения (М., 2000; 2008); Путь Кассандры, или Приключения с макаронами (М., 2004; 2006; 2008); Паломничество Ланселота (М., 2004; 2007); Юлианна, или Игра в киднеппинг (М., 2005); Юлианна, или Опасные игры (М., 2005; 2006); Юлианна, или Игра в «дочки-мачехи» (М., 2007); Сын Вождя (М., 2006); Русалка в бассейне. «Русские дела» графини Апраксиной (М., 2007).

Волков Владимир Александрович (род. 1960, Ленинград) — музыкант (контрабас, виола да гамба), композитор, продюсер. Окончил консерваторию им. Н. Римского-Корсакова. Работал с Вячеславом Гайворонским, Сергеем Курёхиным, Игорем Бутманом, Аркадием Шилклопером, Андреем Кондаковым, Недом Роттенбергом, Владимиром Тарасовым, Пятрасом Вишняускасом, Кешаваном Маслаком, Марией Бозн, Андреем Битовым, Дмитрием Приговым, Сайнхо Намчилак, Дарефом Юсефом, Мола Силла, Майклом Муром, Томасом Станко, Кристианом Шёйбером, Кенни Уилером, Бубба Стенсоном;

о творчестве обэриутов (журналы «Russian literature», «Russian Studies», «Русская литература»). С 1999 по 2006 г. заведовала кафедрой английского языка Невского ин-та языка и культуры. В настоящее время работает на кафедре истории русской литературы ф-та филологии и искусств СПбГУ, преподаёт историю русской литературы XX века. Стихи печатались в самиздатском журнале «Чёрный ход» (1983), проза («Четыре двадцать: роман-мультипликация») в «Митинном журнале». Автор-составитель книги «Время и Слово. Литературная студия Дворца пионеров» (СПб., 2006). Соч.: Игра в бессмыслицу: Поэтический мир Александра Введенского (СПб., 2007).

Вальран Валерий Николаевич (собств. Козиев) (род. 1949, Коми АССР) — художник. В 1966 поступил на матмех ЛГУ, а в 1967 перешел на психологический ф-т, который окончил в 1972. В 1980 защитил кандидатскую диссертацию по психологии. Публиковал статьи в журнале «Часы». В 1980-е вместе с А. Драгомошенко и Б. Останиным участвовал в организации творческой лаборатории «Поэтическая функция». С 1972 занимается живописью. С 1976 участвует в квартирных выставках, с 1979 — в официальных. В настоящее время — сотрудник Русского музея. Соч.: Экспансия смерти в «Маленьких трагедиях» Пушкина (Часы. 1986. № 63); Современный художественный процесс и актуализация скрытых психических возможностей человека (Там же); Вторая волна: Фотография 70-х (Ленинград. 70-е в лицах и личностях. СПб., 2000).

Васильев Сергей Георгиевич (Вася) (род. 1961, Ленинград) — сотрудник комиссии по культуре Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В 1986 вместе с А. Ковалевым организовал «Группу спасения памятников», занимается деятельностью по защите культурного наследия Санкт-Петербурга.

Вензель Евгений Петрович (род. 1947, Ленинград) — поэт, прозаик, художник. Учился в художественной школе № 190. В середине 1960-х занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Н. А. Князевой. Входил в круг поэтов Малой Садовой и «Сайгона». Участвовал в самиздатском альманахе «Fioretti». Стихи и рассказы публиковались в журналах «Часы», сборниках «Голос» и «Лепта», антологиях «Острова», «У Голубой Лагуны»,

«Поздние петербуржцы», «Строфы века», «Время и Слово», газете «Новый американец», в начале 1990-х — в «Митинном журнале» и журнале «Сумерки». Соч. (в собственном художественном оформлении): Стихи (СПб., 1992); Второй сборник стихотворений (СПб., 2000).

Вознесенская Юлия Николаевна (урожд. Тараповская) (род. 1940, Ленинград) — писатель. Училась в Театральном ин-те. В 1960—1970-е — участница неофициального культурного движения Ленинграда. Проводила литературные вечера в своей комнате в коммунальной квартире. В 1975 — член редколлегии журнала «Лепта». Участвовала в подготовке первого номера журнала «Часы». Впервые была арестована в 1976 г. за за диссидентство (требование свободы искусства, феминизм, изготовление антисоветских надписей), отпущена. В декабре того же года была вновь арестована и приговорена к 5 годам ссылки в Коми. За нарушение режима ссылки (посещение Ленинграда) получила в 1977 г. два года лагерей. В 1980 под давлением КГБ эмигрировала. Соч.: Женский Декамерон (Тель-Авив, 1987; М., 1991); Звезда Чернобыль (Нью-Йорк, 1987); Любимых убивают все: Роман (М., 1994); Briefe über die Liebe (München, 1987); Was die Russen über Deutsche denken (München, 1988); Мои посмертные приключения (М., 2000; 2008); Путь Кассандры, или Приключения с макаронами (М., 2004; 2006; 2008); Паломничество Ланселота (М., 2004; 2007); Юлианна, или Игра в киднеппинг (М., 2005); Юлианна, или Опасные игры (М., 2005; 2006); Юлианна, или Игра в «дочки-мачехи» (М., 2007); Сын Вождя (М., 2006); Русалка в бассейне. «Русские дела» графини Апраксиной (М., 2007).

Волков Владимир Александрович (род. 1960, Ленинград) — музыкант (контрабас, виола да гамба), композитор, продюсер. Окончил консерваторию им. Н. Римского-Корсакова. Работал с Вячеславом Гайворонским, Сергеем Курёхиным, Игорем Бутманом, Аркадием Шилклопером, Андреем Кондаковым, Недом Роттенбергом, Владимиром Тарасовым, Пятрасом Вишняускасом, Кешаваном Маслаком, Марией Боэн, Андреем Битовым, Дмитрием Приговым, Сайнхо Намчилак, Дарфом Юсефом, Мола Силла, Майклом Муром, Томасом Станко, Кристианом Шёйбером, Кенни Уилером, Бубба Стенсоном;

театрами «Дерево» и «Скапино»; участвовал в группах «Vershki da Koreshtki», «Moscow Composers Orchestra», «Interjazz Band». В 1995 г. организовал группу «Волковтрио».

Вяльцев Александр В. (род. 1962, Москва) — прозаик, литературный критик, эссеист. Учился в Московском Архитектурном ин-те, исключен с четвертого курса. С начала 1980-х — хиппи. В 1983–1988 гг. работал грузчиком в булочной и сторожем. С 1988 — свободный художник. В 1990–1993 гг. издавал литературно-художественный альманах «Клюква» и «Богема». С 1990 печатался как литературный критик и эссеист в «Литературной газете», «Независимой газете», газете «Культура», журналах «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Континент», «Юность», «Огонек», «Московский наблюдатель», «Литературная учеба», «Постскриптум» и др. Художественные произведения публиковались в «Октябре», «Континенте», «Звезде» и «Неве». В последние годы постоянный сотрудник журнала «Забриски Rider». Номинант премии «Русский Букер — 2007» (роман «Круг неподвижных звезд». Журнал «Континент», № 128 (№ 2, 2006)). Живет в Москве.

Гавриличик Владлен Васильевич (род. 1929, г. Термез, Узбекистан) — поэт, художник. Окончил Ташкентское суворовское училище и Ленинградское высшее пограничное военно-морское училище. Служил в Тихоокеанском военном округе. В 1955 уволен в звании капитан-лейтенанта, поселился в Ленинграде. Поступил в изостудию ДК работников пищевой промышленности, позже исключен за «формализм». С 1966 участник неофициальных выставок. В начале 1960-х впервые обратился к поэзии. Написал более 100 стихотворений. Печатался в самиздатовских сборниках и журналах «Живое зеркало», «Лепта», «Обводный канал», антологии «Острова», антологиях «Самиздат века», «У Голубой Лагуны», журналах «Человек и природа», «Митин журнал», «Даугава», «Черновик», «Лабиринт/Эксцентр». Соч.: Японский Бог! (На обл.: Изделия духа: Стихи) (СПб., 1994); Изделия духа: Стихотворения и поэмы (СПб., 1995); Поэмы (Изделия духа) (М., 1996).

Гаркуша Олег Алексеевич (род. 1961, Ленинград) — шоумен группы «АукцЫон», автор текстов, исполнитель. Окончил Ленинградский кинотехникум. Работал кино-

механиком в кинотеатрах «Современник» и «Титан». Завсегдатай кафе «Сайгон». В середине 1980-х стал участником группы «АукцЫон». Как актер сыграл в фильмах «Взломщик» (реж. В. Огородников, 1987), «Презумпция невиновности» (реж. Е. Татарский, 1988), «Пленники Удачи» (реж. М. Пежемский, 1993) и «Хрусталеv, машину!» (реж. А. Герман, 1996), «Нирвана» (реж. И. Волошин, 2008), «Качели» (реж. А. Сиверс, 2008). После закрытия кафе «Сайгон» работал консультантом в музыкальном магазине «Три желания», расположенном в помещении бывшего «Сайгона», затем арт-директором музыкального клуба «Сайгон» на Невском, 7/9.

Голь Николай Михайлович (род. 1952, Ленинград) — поэт, переводчик. Окончил библиотечный ф-т Ин-та культуры. В 1965–1968 гг. занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Н. А. Князевой, Л. Б. Береговой. Впервые опубликовался в книжке «Тропинка на Парнас» (М., 1969). Занимался переводом поэзии (Р. Киплинг, Э. По, Р. Фрост, Дж. Китс, У. Шекспир и др.). Помимо поэтических сборников, издал несколько книг для детей (художественных и научно-популярных, например: Жизнь замечательных слов. СПб., 1998; Занимательный этимологический словарь. М.-СПб., 2008). Стихи опубликованы в антологиях: «Поздние петербуржцы», «Время и Слово», «Петербургская поэтическая формация». Работает и в жанре исторической публицистики; пишет для театра. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Соч.: Речевая характеристика: Книга стихотворений (Л., 1990); Наше наследие: Книга стихотворений (СПб., 1994); Азбука смерти (СПб., 1996); Первоначальствующие лица; История одного города (СПб., 2002); Пятьдесят пять экземпляров: Книга стихотворений (СПб., 2007); Сценические вариации: Пьесы и либретто (М., 2007).

Горенко Анна (собств. Карпа) (род. 1972, Бендеры Молдавской ССР — 1999, Тель-Авив) — поэт. В 1990 г. уехала в Израиль. Ученица поэта Михаила Генделева. Стихи и проза публиковались в израильских журналах «Солнечное сплетение», «Двоеочие», «Обитаемый остров» и др. Умерла от передозировки героина. Соч.: Стихи (Иерусалим, 2000); Малое собрание (Иерусалим, 2000); Праздник неспелого хлеба (М., 2003).

Горичева Татьяна Михайловна (род. 1947, Ленинград) — философ. Окончила философский ф-т ЛГУ. В 1974 организовала «Религиозно-философский семинар». В 1976, вместе с В. Кривулиным и Л. Рудкевичем начала издавать журнал «37». Вела переписку с М. Хайдеггером, считала себя его последовательницей. Печаталась в журнале «Часы» и за границей («Вестник РХД», «Посев», «Русская мысль»). С 1979 участвует в независимом женском движении. Принимала участие в выпуске альманаха «Женщина и Россия», журнала «Мария». Неоднократно подвергалась обыскам и допросам. В 1980 г. под давлением КГБ эмигрировала. В эмиграции выступала с докладами о России во многих странах Европы, Азии и Латинской Америки. Живет в Париже. Издавала в Париже религиозно-философский журнал «Беседа». Написала более 100 статей и целый ряд книг. Соч.: Взыскание погибших (1982); Опасно говорить о Боге (1983); Сила христианского безумия (1984); Дочери Иова (1986); Сила в бессилии (1987); Дневник путешествий (1989); Нечаянная радость (1990); Человек непрестанно ищет счастья (1990); Православие и постмодернизм (1991); Пью вино архаизмов: О поэзии Виктор Кривулина (в соавт. С. Д. Орловым, А. Секацким, Н. Ивановым. 2007) и др.

Горошевский Эрик Генрихович (род. 1944, в пос. Рыбачье, Киргизия, в эвакуации) — режиссер. С 1945 г. в Ленинграде. Окончил ф-т драматического искусства Театрального ин-та (отд. режиссуры, класс Г. Товстоногова). Разрабатывал направление «сенси-арт» (искреннее искусство). В 1979 организовал театр «Глобус». В 1981 стал членом «Клуба-81». Печатался в журнале «Часы» под псевдонимом А. Булатов.

Григорьев Геннадий Анатольевич (род. 1950, Ленинград — ум. 2007, СПб.) — поэт. В 1965–1967 занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у И. А. Маляровой. Учился на филологическом ф-те ЛГУ, в Литературном ин-те им. М. Горького. Публиковался в журнале «Аврора», сборниках «Ключ» (СПб., 1995), «Поздние петербуржцы». Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Лауреат премии «Золотое перо» (1999). Автор более двухсот радиопьес (на «Радио России»). Соч.: Нет бездельников у нас (Л., 1990; в соавторстве с Н. Голем); Мы болеем за «Спартак»!

(СПб., 1997); Алиби (СПб., 1998); Доска, или Встречи на Сенной (СПб., 2003; в соавторстве с С. Носовым); Выдержка (СПб., 2007).

Григорьев Георгий (Гера, Герман) **Викторович** (род. 1937, Украина) — завсегда́тай «Сайгона», автор стихотворных пес. Родители погибли во время войны. Воспитывался в детском доме. В конце 1950-х — начале 1960-х приехал в Ленинград.

Григорьев Герман — возможно, то же лицо, что и Георгий Григорьев.

Григорьев Дмитрий Анатольевич (род. 1960, Ленинград) — поэт, прозаик, путешественник. Учился на химическом ф-те ЛГУ, сменил множество работ: от плотника и мойщика стекол до оператора газовой котельной. Активно публиковался в самиздате: «Часы», «Обводный канал», «Митин журнал» и др. С начала 1990-х публикует стихи и прозу в московской, петербургской, зарубежной периодике (журналы «Арион», «Черновик», «Нева», «Дружба народов» и др.). Стихи переводились на итальянский, французский, польский, чешский и сербский языки. Соч.: Стихи разных лет (СПб., 1992); Последний враг: Романы (СПб., 1994); Перекрестки: Стихи (СПб., 1995); Сторож ночи: Роман (СПб., 1996); Записки на обочине: Стихи (СПб., 2000); Господин Ветер: Роман (СПб., 2002); Огненный дворник: Рассказы, стихотворения (СПб., 2005).

Гурвиц Инна Феликсовна (род. 1961, Ленинград) — редактор. В школьные годы занималась в кружке истории искусств при Эрмитаже. Училась в Ин-те культуры им. Крупской, затем на русском отд. филологического ф-та Тартуского университета. Ведущий редактор редакционно-издательского отдела Эрмитажа. Автор предисловия (в соавт. с Е. Н. Грачевой) к изданию А. С. Грибоедова «Горе от ума» (СПб., 2005). Редактор серии «Academia» в издательстве «Азбука».

Дебижев Сергей Геннадьевич (род. 1957, Ессентуки) — режиссер. Получил художественное и искусствоведческое образование в Ленинградском художественном училище им. В. Серова и Ленинградской художественно-промышленной академии им. Мухомой. В 1970-е и 1980-е гг. занимался дизайном, графикой, живописью и историей искусства. Преподавал композицию в художественном

училище им. В. Серова. Член Союза художников России. Член Союза кинематографистов. Кинематографом занимается с 1987 г. Работает в области музыкального и документального кино. В 1991 г. снял игровой фильм «Два капитана — 2» (в ролях: Б. Гребенщиков, С. Курехин, С. Бугаев, Т. Новиков). Фильмы Дебижева участвовали во многих российских и международных кинофестивалях. В 2002 г. начал работу над циклом фильмов о мировых культурах и религиях под общим названием «В реальном времени».

Динабург Юрий Симонович (Исаакович) (род. 1928, Киев) — философ, бывший политзаключенный. Окончил среднюю школу. В 1945 г. арестован по политическому обвинению. Провел восемь с половиной лет в заключении в Дубровлаге (Мордовия). Проучился несколько лет на филологическом ф-те Челябинского педагогического ин-та. Работал редактором в техническом издательстве. Поступил в аспирантуру на кафедру логики философского ф-та ЛГУ. Работал в Библиотеке академии наук библиографом, затем в Музее истории Ленинграда (Петропавловской крепости). В электронной библиотеке Машкова опубликовал стихи, мемуарную прозу и публицистические работы.

Добровлянский Вильям Наумович (1933—ум. 2006) — поэт. В 1952 г. окончил Суворовское училище (ЛСПВУ, г. Петродворец). Занимался в литературном объединении «Радуга», под руководством поэтессы Елены Вечтомовой, посещал лито Виктора Сосноры. Автор трех сборников стихов под общим названием «Мое поколение 50-х годов».

Долинин Вячеслав Эммануилович (род. 1946, Ленинград) — историк, литератор, бывший политзаключенный. Окончил техникум целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, затем экономический ф-т Технологического ин-та целлюлозно-бумажной промышленности. Работал техником-механиком, инженером-экономистом, оператором и сменным мастером в газовых котельных. С 1960-х занимался распространением самиздата. С 1975 г. участвовал в работе «Религиозно-философского семинара» Т. Горичевой, с конца 1970-х — в работе семинара по общей теории систем С. Маслова. Был членом редколлегии журнала «Часы» и редакционной группы антологии «Острова» (под псевд. А. Антипов). Входил в «Клуб-81» с момента

основания. Вместе с С. Коровиным выпустил два номера «Регулярных ведомостей», освещающих деятельность клуба. Печатался в журналах «Сумма», «Часы», «37», «Посев». В 1982 г. был арестован по ст. 70 УК за публикации в журнале «Посев» и распространение антисоветской литературы. Приговорен к четырем годам лагерей и двум годам ссылки. Освобожден весной 1987 по «горбачевской амнистии». В настоящее время член правления общества «Мемориал» (СПб.). Автор более 150 публикаций по истории самиздата и общественного движения 1950—1980-х гг. Вместе с Б. Ивановым составил сборник «Самиздат» (1993). В соавторстве с Д. Северюхиным — книгу «Преодоление немоты: Ленинградский самиздат в контексте независимого культурного движения 1953—1991» (СПб., 2003). В соавторстве с Б. Ивановым, Б. Останиным и Д. Северюхиным издал энциклопедию «Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е» (М., 2003). Соч.: Не столь отдаленная кочегарка: Мемуары (2005).

Донских Александр Петрович (псевдоним фон Романов) (род. 1956, г. Соликамск Пермского края) — музыкант, певец, сочинитель. С 1975 г. в Ленинграде. Участник рок-групп «Зоопарк», «Арс», «Земляне». Автор музыки к нескольким фильмам, стихов и прозы, работ по истории и теории современного искусства. Полную творческую биографию см. на www.remike.spb.ru в разделе «проекты».

Драгомощенко Аркадий Трофимович (род. 1946, г. Потсдам, Восточная Германия) — поэт, прозаик, литературный критик. Учился на филфаке Винницкого педагогического ин-та (курса не окончил) и на театроведческом ф-те Театрального ин-та в Ленинграде. С 1976 публиковал стихи, прозу и критику в журнале «Часы», входил в редколлегию журнала. В 1978 году роман «Расположение среди домов и деревьев» отмечен Литературной премией Андрея Белого. Печатался в самиздате: в журналах («Обводный канал», «Предлог», «Часы»), сборнике «Лепта», антологии «Острова», альманахе «Аполлонь-77». Один из учредителей «Клуба-81». Постоянный автор и член редколлегии «Митинго журнала», участник сборника «Круг». В 1986 вместе с Б. Останиным и В. Вальраном организовал Творческую лабораторию «Поэтическая функция». Член

Союза писателей России. С 1990 редактор Петербургского отд. журнала «Комментарии». Соч.: Расположение среди домов и деревьев: Роман (прил. к жур. «Часы», 1979); Небо соответствий (Л., 1990); Description (на англ. яз.; USA, 1990); Xenia (на англ. яз.; USA, 1993); Ксении (СПб., 1994); Под подозрением (СПб., 1994); Фосфор (СПб., 1994); Китайское солнце: Роман (СПб., 1997); Описание (СПб., 2000).

Дубровский Владимир Всеволодович (род. 1951, Ленинград) — дизайнер, мастер по дереву, ювелир. Занимался в Театре юношеского творчества (ТЮТ) в Ленинградском Дворце пионеров. Призер IX Всероссийского конкурса ювелиров «Признание Петербурга» (2006). Работы выставлены в галерее «О!» и «Галерее Стекла» (Санкт-Петербург).

Жук Ольга Александровна (род. 1960, Ленинград) — кинокритик, историк киноискусства. Окончила ЛГИТМиК. Кандидат искусствоведения. Член Союза кинематографистов России. Автор статей по истории и теории кино, гендерных и лесбийско-гомосексуальных исследований, рассказов и новелл. Соавтор документальных фильмов «Изгой» (совместно с Дж. Дорф и Н. Шарандак; 1990–1991) и «Кайф» (совместно с К. Келлер и Н. Шарандак; 1992). В 1990 г. учредитель Фонда им. П. Чайковского (Фонд культурной инициативы и защиты сексуальных меньшинств). В 1992 г. главный редактор журнала «Gay, славяне!». Живет в Берлине. Соч.: Русские амазонки. История лесбийской субкультуры в России. XX век (М., 1998); Тихие обольстители или необузданные демоны. Наркотики: история, общество, культура. Т. I (Книга 1 и 2) (СПб., 2007).

Зарайский Михаил Александрович (род. 1942, г. Бологое, Калининской обл. — ум. 1991, СПб.) — поэт. Публиковался в самиздате, в том числе в журнале «Петербург». Книга его стихов была издана Т. Горичевой в Париже.

Звягин Евгений Аронович (род. 1944, с. Слудка Вятско-Полянской р-на Кировской обл., в эвакуации) — прозаик. Окончил техникум целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Работал слесарем на заводе, разнорабочим в Эрмитаже, грузчиком, механиком по лифтам, оператором газовой котельной и т. д. Занимался в лито «Выборгская сторона» (рук.

В. Б. Азаров). В 1963–1969 гг. учился на русском отд. филологического ф-та ЛГУ. Работал научным сотрудником в Музее-квартире А. С. Пушкина. В течение более 10 лет участвовал в археологических экспедициях (Сибирь, Таджикистан, Туркмения, Крым, Псков и др.). Принадлежал к кругу поэтов Малой Садовой. Участвовал в самиздатовских альманахах «Fioretti», «Звенья», журналах «Часы», «Обводный канал», «Третья модернизация» (Рига), «Гастрономическая суббота» (Ленинград). Был членом «Клуба-81». Публиковался в журналах «Континент», «Родник» (Рига), «Нева», «Звезда», сборниках «Круг», «Семь верст до небес», «Жужукины дети» (Антология короткого рассказа), «Collektion: Петербургская проза (ленинградский период). 1980–е». Был редактором-составителем альманаха «Ключ» (1995). Вел радиощикл «Петербургские арабески» и колонку искусств в газете «Петербургский литератор». Соч.: Кладоскатель (Л., 1991); Письмо лучшему другу: Сб. статей о литературе и искусстве (СПб., 1995); Очевидец (СПб., 2000); Татуированный граф (СПб., 2000).

Здравомыслова Елена Андреевна (род. 1953, г. Караганда) — социолог, специалист по гендерным исследованиям. Окончила философский ф-т ЛГУ. Кандидат социальных наук. Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института социологии РАН, профессор ф-та политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге; член Санкт-Петербургской ассоциации социологов (СПАС), член бюро Европейской социологической ассоциации (ESA), вице-председатель секции биографических исследований ESA. Автор около 80 научных статей. Соч.: Октябрьские демонстрации в России (в соавт. с А. Темкиной) (СПб., 1997); Парадигмы западной социологии общественных движений (СПб., 1993).

Земцов Александр Николаевич (род. 1948, на Колыме, где родители работали вольнонаемными топографами) — вулканолог, историк науки. Окончил математико-механический ф-т ЛГУ по специальности «Астрофизика». Исследовал ряд извержений действующих вулканов на Камчатке и Курильских островах; как специалист по истории науки издал книгу «“Враги народа” за Полярным кругом», посвященную репресс-

сиям против советских полярников. Стоял у истоков системы неформального преподавания для школьников Ленинграда (легендарная «Юношеская астрономическая школа»). При советской власти активно распространял антикоммунистическую литературу. В настоящее время работает в Ин-те истории естествознания и техники им. С. Вавилова РАН (Москва). Многие совершил в творческом содружестве с А. А. Тронем.

Игнатова Елена Алексеевна (род. 1947, Ленинград) — поэт. В 1960—1965 гг. занималась в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров (у Н. А. Князевой, Н. И. Грудининой, И. А. Малиаровой). Окончила русское отд. филологического ф-та ЛГУ, работала экскурсоводом, преподавателем подготовительного отд. при кафедре русского языка филологического ф-та ЛГУ. С 1979 г. работала на киностудии «Ленфильм» как автор текстов студии дубляжа и сценарист. Среди фильмов, снятых по ее сценариям, «На берегах пленительных Невы» (реж. И. Авербах), «Личное дело Анны Ахматовой» (реж. С. Аранович), «Бородино» (реж. Л. Волков), ««Петербург» Андрея Белого» (реж. С. Бурихина), «Александр Блок» (реж. С. Ивлева) и др. Публиковалась в самиздате, а с 1975 г. в изданиях русского зарубежья. Стихи многократно переводились, вошли в русские и зарубежные антологии современной русской поэзии. С 1990 г. живет в Иерусалиме. Соч.: Стихи о причастности (Париж, 1976); Теплая земля (Л., 1989); Небесное зарево (Иерусалим, 1992); Стихотворения разных лет (Иерусалим, 2005); Записки о Петербурге (СПб., 1997 (2-е изд. 2003; 3-е изд. 2005)).

Ивлева Наталья Викторовна (род. 1952, Воронежская обл.) — психолог. Окончила психологический ф-т ЛГУ, затем Ин-т психотерапии и консультирования. Старший научный сотрудник отдела социально-психологических исследований Русского музея. Автор ряда публикаций по социологии, психологии художественного восприятия, эстетическому развитию, арт-терапии.

Иконников-Галицкий Анджей Анджеевич (род. 1961, Ленинград) — поэт, историк. В 1977—1979 гг. занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Н. А. Князевой. Много лет (1990—2006) ездил в археологические экспедиции в верховья Енисея, в Туву, Ха-

касию, на Алтай. Работал учителем истории в школе-колледже «Земля и Вселенная» под руководством О. А. Друговойко. Стихи публиковались в газетах «Смена», «Литератор», журналах и альманахах «Сумерки», «Преображение», «Новая Россия», «Крещатик», «Зинзивер», в антологиях «Поздние петербуржцы» (СПб., 1995) и «Стихи в Петербурге, век 21» (СПб., 2005), «Время и Слово» (СПб., 2006). Около 280 очерков и статей опубликовано в периодических изданиях Петербурга, Москвы, Новосибирска и Кызыла. Соч.: Ангелос (СПб., 1995); Фавор (СПб., 1998); Пропущенное поколение (СПб., 2005).

Казимировская Наталья Соломоновна (род. 1952, Москва) — журналист, переводчик. С 1971 по 1989 г. жила в Петербурге, за вычетом периода 1975—1977, когда вместе с мужем «осваивала» Сахалин. Окончила ЛГИТМиК по специальности «Театроведение». С 1989 г. живет в Стокгольме. В течение многих лет была внештатным корреспондентом «Радио «Свобода»». Автор переводов шведской драматургии, среди которых «После репетиции» И. Бергмана (МХАТ, Театр им. Комиссаржевской), «Тяжелая трава» по роману Б. Линдгрен (ТЮЗ им. Брянцева), «Дети Медеи» С. Остен (Балтийский Дом). Член шведского Союза писателей, Союза драматургов и Союза театральных критиков.

Каховский Дмитрий Владимирович (род. 1966, Ленинград) — музыкант, художник. Организатор и участник инструментальных джазовых групп: Трио «Z» (1986—1988), «Z-ансамбль» (1991—1998), «Маракуйя» (1999), «Тоталитарная музыкальная секта» (ТМС, 2000). Автор музыки к фильмам: «The Third Name» (Исландия, 2002), «Ужас, который всегда с тобой» (Россия, 2006). Дискография: «Звукометрия» (Тоталитарная музыкальная секта. Ног music, 2002), «Симон Маг» (Музыка к балету. Ног music, 2003). Участник выставок неофициального искусства в Ленинграде в 1984—1988 гг. (в ДК работников пищевой промышленности, Культпросвет училище, уличная выставка-акция у Шереметьевского дворца, квартирная выставка «Девять соратников»). Персональные выставки: Галерея «Гимини» (Польша, Гданьск. 1989), Isshorst Gallery (Hamminkeln, Германия. 1997), Johanniterhalle Schwabisch Hall (Германия, 1998).

Кацман Анна Григорьевна (род. 1946 (?), Ленинград) — жена В. Кривулина (1971–1974). Окончила географический ф-т ЛГУ, затем литературный ф-т ЛГПИ им. Герцена. Работала сотрудником Музея истории Ленинграда (Петропавловская крепость), научным сотрудником Эрмитажа. С 2005 г. живет в Иерусалиме.

Киселёв Александр Васильевич (род. 1944, Ленинград) — режиссер документальных фильмов. Окончил Ленинградский ин-т культуры по специальности «режиссер народных театров», затем Высшие режиссерские курсы при ВГИКе. С 1978 г. работает на Ленинградский студии документальных фильмов (в т. ч. фильм «Сайгон»; 12 мин., видео, 2003). Неоднократный призер международных кинофестивалей. Лауреат Московского международного кинофестиваля «Сталкер» за фильм «Секретная экология» (1998).

Конец Вера Николаевна (род. 1948, Ленинград) — переводчик, прозаик. Окончила восточный ф-т ЛГУ по специальности «История Японии». Кандидат исторических наук. Член Союза литераторов РФ, член Союза писателей СПб. Автор серии публикаций, посвященных истории японского просветительства, мыслителю и публицисту Фукудзава Юкити. Переводчик У. Голдинга, Дж. Росснера, А. Мердок, Ф. Рота, Л.-Д. Браун и др. Художественная проза публиковалась в журналах: «Памир», «Волга», «Отечественные записки», «Петербургские чтения», «Даугава», «День и ночь», «Арка» (Бостон), «Punalippi» (Карелия), «Nota Bene» (Иерусалим), «Words Without Borders» (интернет-издание), в альманахах «Лексикон» (Л., 1988), «Мария» (Петрозаводск, 1990), в сборнике «Семь верст до небес» (Л., 1990). Соч.: Побег: Книга рассказов (СПб., 1998), Сладкая жизнь эпохи застоя (СПб., 2005).

Ковалёв Алексей Анатольевич (род. 1963, Ленинград) — археолог, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Окончил исторический ф-т ЛГУ, в 1986 г. организовал первую легальную общественную организацию в защиту исторического наследия Санкт-Петербурга — «Группа спасения памятников». В качестве депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга занимается проблемами защиты культурного наследия, автор законопроектов по данной

теме; автор ряда публикаций по археологии Центральной Азии.

Ковалькова Татьяна Ивановна (род. 1964, Ленинград) — журналист. Окончила ф-т журналистики ЛГУ. Работала корреспондентом в многотиражной газете «Коммунист» завода «Большевик», газете «Вечерний Ленинград», на Ленинградском телевидении, где среди прочего подготовила программу «Что такое “Сайгон”?»; корреспондентом газеты «Православный Петербург», преподавателем специальности «гид-переводчик». В 1989 г. вышла замуж за поэта О. Охупкина. С 2008 г. руководитель мультимедийных проектов Международной ассоциации «Русская культура», член редколлегии альманаха «Русский мир».

Ковальский Сергей Викторович (род. 1948, Ленинград) — художник. В конце 1960-х начал профессионально заниматься живописью и литературой, с 1969 г. развивая направление Метаэлементализм © в визуальном искусстве как трансформацию звука в цвет в технологии контрколажа. В 1978 публиковал стихи в самиздатском журнале «Голос» под псевдонимом С. Канин, с начала 1980-х — статьи в журналах «Часы» и «Митин журнал». Составитель и соиздатель сборников по неофициальному искусству Ленинграда: «Галерея I и II» и «Документ». С 1981 г. соорганизатор Товарищества Экспериментального Изобразительного Искусства (ТЭИИ). Тогда же начал развигать второе направление в своем искусстве: социальный фолк-арт ©. Автор концепции «ПАРАЛЛЕЛОШАР» ©: самовоспроизводящийся и саморазвивающийся кинетический объект современной культуры — Арт-Центр «Пушкинская-10». Один из основателей Товарищества «Свободная Культура» в 1991 г. и Музея Нонконформистского Искусства (МНИ) в 1998 г. Президент Товарищества «Свободная Культура» с 1994 г. Автор хроники и статей по истории нонконформистского искусства в книгах, составителем которых являлся: «Пушкинская-10. Фонд “Свободная культура”» (1998); «Из падения в полет. Независимое искусство Ленинграда — Санкт-Петербурга второй половины XX века» (2006); «От Ленинграда к Санкт-Петербургу. ТЭИИ. Неофициальное искусство 1981 — 1991 гг.» (2007). Участник более 150 выставок в России и за рубежом. Работы находятся в коллекциях российских, американских музеев и частных собраниях.

Козырев Кирилл Алексеевич (род. 1959, Ленинград) — хранитель архивов Л. Богданова и Б. Кудрякова. Подготовил (совм. с Б. Останинным) публикацию текстов Л. Богданова и Б. Кудрякова в журналах «Часы», «НЛО», «Крещатик». Составил (совм. с Б. Останинным) книгу Л. Богданова «Заметки о чаепитии и землетрясениях» (М.: НЛО, 2002). Организатор выставок памяти Л. Богданова в галерее «Борей» и фотовыставки Б. Кудрякова «Одиннадцатое измерение» в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме (май-июнь 2008).

Колесников Виктор Николаевич (Колесо) (род. 1949, Ленинград) — завсегдатай «Сайгона».

Колесникова Светлана Дмитриевна (род. 1959, Ленинград) — свободный художник. Окончила художественное училище им. В. Серова. Жена Виктора Колесникова.

Колкер Юрий Иосифович (род. 1946, Ленинград) — поэт, литературный критик. В 1960—1963 гг. занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Н. И. Грудининой. Окончил физико-механический ф-т Политехнического ин-та; занимался математической биологией; кандидат физико-математических наук. В 1970—1974 гг. посещал лито Г. С. Семенова; в 1971—1975 гг. лито А. С. Кушнера. В 1972—1975 гг. девять стихотворных публикаций в советской печати. С 1980 г. работал в котельных и участвовал в самиздате («Часы», «Обводный канал», Ленинградский еврейский альманах (ЛЕА) и др.). С 1984 г. в эмиграции (Иерусалим, Лондон). В 1989—2002 гг. работал на русской службе Би-Би-Си в Лондоне, вел радиожурналы «Парадигма» и «Европа». В 2002—2003 гг. работал помощником редактора лондонского журнала «Колокол». Публикации за рубежом с 1981 г. («Русская мысль», «Континент»). Всего более ста стихотворных и не менее пятисот прозаических публикаций (критика, очерки, воспоминания) в СССР, Израиле, Франции, США, Германии, Латвии, Британии, Италии, Канаде, Эстонии, России. Девять книг выпустил в качестве редактора и переводчика, в том числе — первое комментированное собрание стихов В. Ф. Ходасевича (Париж, 1982—1983). С 2003 года — член Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в Лондоне. Соч.: Послесловие (Иерусалим, 1985); АнтIVENOK (Иерусалим,

1986); Далека в человечестве (М., 1990); Завет и тяжба (СПб., 1993); Ветилуя (СПб., 2000); Сосредоточимся на несомненном (СПб., 2006); Усама Велимирович и другие фельетоны: Очерки (СПб., 2006); Клинопись (СПб., 2006).

Кондратьев Василий Кириллович (род. 1967, Ленинград — ум. 1999, СПб.) — писатель. Некоторое время учился на историческом ф-те ЛГУ (история искусств). С конца 1980-х печатался в «Митиним журнале» (стихи, проза, переводы, эссе), позже в журналах «Звезда Востока», Родник» (Рига), «Место печати» (Москва), «Черновик». Написал предисловия к книгам Ю. Юркуна «Дурная компания» и Т. де Квинси «Исповедь англичанина, употребляющего опиум». Был редактором сб. «24 поэта и 2 комиссара» и журнала «Поэзия и критика». Готовил сайт «Русского патафизического общества». Лауреат литературно премии им. Андрей Белого (1998). Погиб в результате несчастного случая (упал с крыши, готовясь к фотосъемке). Соч.: Прогулки (СПб., 1993).

Констриктор Борис (собств. Аксельрод Борис Михайлович; псевдоним Ванталов) (род. 1950, Ленинград) — художник-график, поэт, прозаик. В конце 1970-х примкнул к группе поэтов-трансфуристов (Ры Никонova и Сергей Сигей). Публиковался в самиздатовских журналах «Транспонанс», «Часы», «Обводный канал», сборнике «Исследования по теории катарсиса» (вып. II, 1990), антологий «Острова» и за рубежом — в журналах «Время и мы», «Отражения». В 1990-е печатался в журналах: «Лабиринт/Эксцентр», «Искусство Ленинграда», «Черновик», «Крещатик» (Украина-Германия), «НЛО», «Критическая масса», в газетах «Невское время», «Смена», «Час пик», в сборнике «Триада» (М., 2006) и др. Соч.: Б. Ванталов. Стихотворения (СПб., 1993); Б. Констриктор. Воспитание чувств (графика) (М., 1994); Р. Элинин (Стихи), Б. Констриктор (Графика). Стихограф. Т. 1. (М., 1994); Б. Ванталов / Б. Констриктор Конец цитаты: Записки блудного сына; Книга облаков; Точка в виде запятой (Проза) / Уголовник (Графический цикл в 50 листах) (М., 1995); Б. Ванталов. Записки неохотника: неполное собрание текстов. (Киев, СПб., 2008).

Коровин Сергей Иванович (род. 1949, Ленинград) — прозаик. Окончил филологический ф-т ЛГУ, работал художником,

сторожем, оператором газовой котельной, редактором. Печатался в журналах «Часы», «Сельская молодежь», «Митин журнал», в сборнике «Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1980-е». Входил в «Клуб-81». Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Соч.: Приближаясь и становясь всё меньше и меньше (СПб., 1992), Прощание с телом (СПб., 2003).

Корсунова Ольга Борисовна (род. 1951, Ленинград) — фотограф, куратор. Училась на юридическом ф-те ЛГУ. Работала фотографом в издательстве «Художник РСФСР», в Эрмитаже, в ТЮЗе им. А. Брянцева, в государственной фирме грамзаписи «Мелодия». В начале 1980-х вместе с семьей уехала из Ленинграда и 15 лет прожила в Карелии. Работала старшим научным сотрудником ГПСИ МК РФ; в Государственном центре фотографии. С 1998 по 2005 — руководитель «Балтийской фотошколы» (проект «Ars Baltica» для молодых профессиональных фотографов). Руководитель образовательных и выставочных программ Фонда «Петербургские фотомастерские» (2005–2006); международной летней фотошколы (2005, 2006, 2007, 2008 СПб.); Генеральный директор Информационного центра / Бюро «ФотоДепартамент» (с 2006). Куратор более 40 выставочных проектов. Автор ряда персональных и участник множества групповых выставок в России и за рубежом. Работы хранятся в собрании Российской Национальной библиотеки, в музее Московского Дома фотографии, в российских и зарубежных частных собраниях.

Кошелухов Борис Николаевич (род. 1942, г. Златоуст, Челябинской обл.) — художник. Вырос в детском доме. Окончил железнодорожное училище. С 1962 г. в Ленинграде. Учился в Санитарно-гигиеническом ин-те (курс не окончил). Работал шофером, диспетчером, монтером, грузчиком. К занятию изобразительным искусством впервые приступил в 1975 г. В 1977 г. основал и возглавил группу «Летопись».

Крачун Наталья Владимировна (род. 1952, Ленинград) — реставратор. Занималась в детском кружке истории искусства при Эрмитаже. Окончила исторический ф-т ЛГУ. Работает в Эрмитаже.

Кривулин Виктор Борисович (род. 1944, дер. Кадиевка Краснодонского р-на Ворошиловградской обл. — ум. 2001, СПб.) — поэт,

филолог. В середине 1960-х гг. занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров. С 1961 по 1967 г. учился в ЛГУ (диплом слависта, специализация — литература русского модернизма), посещал лито на филфаке. В 1967 г., накануне защиты дипломной работы, публично вышел из комсомола. С 1969 г. работал школьным учителем, затем редактором-референтом в Леноблиздравотделе. С начала 1970-х гг. занимался организацией независимого культурного движения. Участвовал в просветительской деятельности постоянно действующего «Религиозно-философского семинара» (1974–1980). В 1975–1981 гг. был соредактором машинописных журналов «37» и «Северная почта». Стихи публиковались в самиздатских журналах «Часы», «Обводный канал», «Митин журнал», сборниках «Живое зеркало», «Гумилевские чтения», в антологиях «Острова» а также в эмигрантских изданиях «Грани», «Эхо», «Континент» и др. До 1986 г. (сб. «Круг») официально в СССР практически не публиковался. Автор 17 книг стихов и эссе, выходивших в Париже, Санкт-Петербурге, Москве, в Германии, Финляндии и Эстонии. Лауреат литературных премий им. Андрея Белого, премии-стипендии Фонда Гопфера (ФРГ), премии Всесоюзного конкурса верлибра. Соч.: Стихи (Париж, 1981); Стихи. Тт. 1–2 (Париж, 1988); Обращение (Л., 1990); Концерт по заявкам (СПб., 1993; 2001); Последняя книга (СПб., 1993); Предграничье (СПб., 1994); Охота на Мамонта: Эссеистика (СПб., 1997); Requiem (М., 1998); Купание в иордани (СПб., 1998); Стихи юбилейного года (М., 2001); Стихи после стихов (СПб., 2001).

Кублановский Юрий Михайлович (род. 1947, г. Рыбинск) — поэт. Окончил искусствоведческое отд. исторического ф-та МГУ. Работал экскурсоводом и музейным работником на Соловках, в Кирилло-Белозерском монастыре, в Мураново и др. В середине 1960-х гг. был одним из основателей неформальной поэтической группы СМОГ. Участвовал в неподцензурном альманахе «Метрополь». С 1982 г. в Париже. Редактировал литературный раздел журнала «Вестник Российского христианского движения». В 1990 г. вернулся в Россию, работает в журнале «Новый мир»: зав. отделом публицистики (1995–2000), зав. отделом поэзии (с 2000). Три книги стихов изданы в эмиграции (в т. ч. «Избранное», составленное

И. Бродским), семь — в России. Премии альманаха «Стрелец», Правительства Москвы, журналов «Огонек» и «Новый мир». Соч.: Избранное (Ardis, 1981); С последним солнцем (Париж, 1983); Оттиск (Париж, 1985; М., 1990); Затмение (Париж, 1989); Возвращение: Стихи (М., 1990); Чужбинное (М., 1993); Памяти Петрограда (СПб., 1994); Число: Избранные стихотворения (М., 1994); Заколдованный дом (М., 1998. Предисл. А. Солженицына); Дольше календаря (М., 2001); В световом году: Стихотворения (М., 2003); Дольше календаря (М., 2005).

Кудряков Борис Александрович (Гран-Борис) (род. 1946, Ленинград — ум. 2005) — фотограф, художник, писатель. Окончил фотоучилище. Участвовал в домашних фотовыставках у К. Кузьминского (1974), В. Нечаева (1977), артистов балета А. Осипенко и Дж. Марковского (1980). Работы экспонировались на фотовыставках в США (1979), Франции (1980), Японии (1985). Персональные фотовыставки: в Париже (1981), в Петербурге (1998, 2001, 2003, 2006, 2008). Работы были представлены на выставке «Ленинградский фотоандеграунд» (Русский музей, 2007). Печатался в сб. «Лепрозорий-23», в журналах «Часы», «Обводный канал», «Транспонанс», «Мария», «Митин журнал». Был членом «Клуба-81». Лауреат литературной премии им. Андрея Белого (1979), Международной отметины Давида Бурлюка (1992), Тургеневской премии правительства Москвы «За вклад в развитие малой прозы России» (1998). Соч.: Рюмка свинца (Л., 1990); Лихая жуть: Сб. текстов. (СПб., 2003); Одинадцатое измерение. (СПб., 2003).

Кузьминский Константин Константинович (род. 1940, Ленинград) — поэт, культуртрегер. Учился на биолого-почвенном ф-те ЛГУ, был отчислен за самовольную организацию художественной выставки и выпуск сатирической стенгазеты. В 1964–1969 гг. учился на театроведческом ф-те Театрального ин-та. Работал сезонным рабочим в гидрологических экспедициях, в хозяйственной части Эрмитажа, экскурсоводом в музеях Павловска и Петродворца, в Воронцовском дворце-музее в Алуште. В детские годы стихи печатались в газете «Ленинские искры» (1953–1956), позже — в газете «Электросила». В начале 1960-х стал развивать теорию «звукового

стихотворения». Получил признание как знаток и критик ленинградской неофициальной культуры, собиратель литературных текстов. При участии Б. Тайгина составил ряд коллективных и персональных поэтических сборников (в т. ч. И. Бродского, Е. Рейна, Д. Бобышева, М. Ерёмина, Н. Рубцова, Г. Сапгира, И. Холина, С. Красовицкого). В середине 1970-х квартира Кузьминского стала центром неофициальной культуры, здесь проводились литературные чтения, выставки. В 1975 эмигрировал в США. В 1980–1988 гг. выпустил антологию новейшей русской поэзии «У Голубой Лагуны» (в 5т., 9 кн.). В 1987 г. совместно с А. Очеретянским и Дж. Янечком составил сборник справочных и теоретических материалов «Забывтый авангард: Россия, первая треть XX столетия» (Wien: Wiener Slawistischer Almanach). В 1997 стал лауреатом Литературной премии Андрея Белого «За особые заслуги в развитии русской литературы». Соч.: Трое: Не размыкая уст (Кузьминский, Цветков, Лимонов) (Лос-Анджелес, 1981); На смерть Анвара (Нью-Йорк, 1984); Копье Чаки (Нью-Йорк, 1984); Сефардская невеста (Нью-Йорк, б. д.); Про это: Семь лирических поэм к Т. Г. (Нью-Йорк, 1987); Стансы к Лангусте, или Томление о Тямпе, 1986–1988, и прочее разных лет (Нью-Йорк, 1989); Вавилонская башня: Конструкция. 1967–1972 (Нью-Йорк, 1992); Стихи. 1987–1990 (СПб., 1995); Пулеметные ленты (Троекнижие) (СПб.; Нью-Йорк, 1995); Юлдызь / Ругаса, или Рыбная неделя Великого поста... (Брайтон-Битч, 1997); На Галерной...: 56 стихотворений. Избранное (60-е годы) (СПб., 1999); Кропленая колода: Избранная лирика (СПб., 2000); Не столько о поэтике, сколько — об этике: Книга писем (СПб., 2003).

Куприянов Борис Леонидович (род. 1949, г. Остров Псковской обл.) — настоятель церкви Казанской Божией Матери в пос. Александровская (недалеко от Царского Села). Учился на режиссёрском ф-те Ин-та культуры, посещал лито под руководством Т. Гнедич, в 1968–1970 — лито при Союзе писателей, входил в «Клуб-81». Работал каменщиком, библиотекарем, лесником, с 1990 — диакон, в 1991 принял сан священника. Публикации: «У Голубой Лагуны», антология «Острова», сборник «Круг», сборник «В Петербурге мы сойдёмся снова», «Самиздат века», журналы «Часы», «37», «Время и мы», «Третья волна», «Майя»;

«Гумилёвские чтения»): Wiener Slavistischer Almanach, Bd. 9. 1982; «Стрелец». Соч.: Время встречи: Роман в стихах (Часы. 1982. № 38; Париж, 1989; СПб., 2005).

Курёхин Сергей Анатольевич (род. 1954, Мурманск — ум. 1996, СПб.) — пианист, композитор. В 1971 г. переехал Ленинград, учился в музыкальном училище на дирижерско-хоровом отд., затем в Ин-те культуры на ф-те оркестрового дирижирования. Начиная свою карьеру как джазовый пианист, позже стал заниматься импровизационной музыкой. Принимал участие в группе «Большой Железный Колокол». Участник группы «Аквариум» в 1980-е гг. (альбомы «Треугольник», «Табу», «Радио Африка», «Дети Декабря»). В 1984 г. организовал театральном-музыкальный оркестр «Поп-механика», в котором играли музыканты групп «Аквариум», «Кино», «Странные Игры», «Аукцион» и др. Написал музыку более чем к двадцати фильмам, а также снялся как актер в фильмах «Лох — победитель воды» (реж. А. Тигай), «Два капитана — 2» и «Комплекс невменяемости» (реж. С. Дебижев), «Над темной водой» (реж. Д. Месхиев). Памяти Курёхина посвящен Международный музыкальный фестиваль SKIF (Sergey Kuriokhin International Festival).

Кэт Питерская (Екатерина Владимировна) (род. 1967, Ленинград) — музыкант. Начала играть на ударных в середине 1980-х. Играла в группах «Время любить», «Ситуация», «Экс-миссия», «АУ», «600», «Народное ополчение», «Оле Лукойе», «Юрий Морозов бэнд», «WINE», «Восточный синдром», «Умка и броневичок», «Внезапный сын», «Петля Нестерова», «Соус», «Сегодня ночью», «Нил-62», «The Pulsar», «Damo Suzuki's network» и др. Участвовала в концертах «Аквариума», «Крематория», Кон-стантина Никольского, Алексея Хвостенко, Пьера Мерлена (Gong), «Новых композиторов» и др. Записывалась с «Оле Лукойе», «Wine», Юрием Морозовым, «Неприкасаемыми», «Народным ополчением», Вадимом Курылевым и др.

Ладогин Вячеслав (собств. Пинхасович Вячеслав Станиславович) (род. 1962, Ленинград) — поэт, книгоиздатель. В 1973–1975 гг. занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Н. А. Князевой. Учился в Литературном ин-те им. М. Горького. Публиковался

в журналах «Стрелец», «Литучеба», антологии «Время и Слово». Автор переводов У. Шекспира («Венера и Адонис»), М. Пруста («Портреты художников и музыкантов»). Живет в Москве. Соч.: Бульварный роман. Исповедь алкоголика (М., 2000).

Ланина Мария Михайловна (род. 1955, Ленинград) — переводчик. Занималась в лито Глеба Семенова. Окончила исторический ф-т ЛГУ. Работала редактором в «Пушкинском временнике», с 1982 по 1989 возглавляла литературную часть ТЮЗа им. А. Брянцева, в котором поставила спектакль «Чудная баба» по пьесе Н. Садура (премия в номинации «Режиссерский дебют»). Перевела более 25 книг, в том числе Кена Кизи, Э. Сетон-Томпсона, Марка Твена, Д. Сэйерс, В. Набокова. Пьесы в переводах Ланиной шли в драматических театрах Таллина, Мурманска, Тюмени, Южно-Сахалинска, Петербурга (ТЮЗ, Открытый театр, театр «За Черной речкой»). Опубликовала серию сказок «Страна Хухряндия» (в детском приложении к газете «Аптека»), статьи в газете «Час Пик». В 2004 г. в Манеже на выставке, посвященной 250-летию со дня рождения императора Павла I, была показана пьеса Ланиной «Игра о русском Гамлете». Соч.: В зеркале Венеры: Роман (СПб., 1996; книга стала основой сериала на РТР); Кольцо Поликрата: Роман (СПб., 1996); 118 детских «почему» (СПб., 2000).

Лапенков Владимир Борисович (род. 1951, Ленинград) — писатель. Окончил среднюю школу. Работал трубочником, оператором газовой котельной. Посещал лито «Голос юности» (рук. Д. Дар). Печатался в самиздате (журналы «Часы», «Обводный канал»), тамиздате (журнал «Эхо» (Париж), антология «У Голубой Лагуны»), в журналах «Родник», «Нева», в альманахе «Индекс 2». Соч.: Раман (Эхо. 1979. № 2–3; Коллекция: Петербургская проза (ленинградский период). 1970-е. СПб., 2003).

Леваков Олег Александрович (род. 1947, Ленинград) — режиссер. Окончил Ленинградское художественно-педагогическое училище, затем ЛГИТМиК. Работает в театре им. Ленсовета. Режиссер-постановщик около 50 спектаклей, в том числе: «Отражение» (Т. Стоппард), «Таланты и поклонники» (А. Островский), «Трамвай «Желание»» (Т. Уильямс), «Игроки» (Н. Гоголь). Помимо гос. театров (театр им. Ленсовета, Театр музыкальной комедии, театр «Эксперимент»,

театр им. В. Комиссаржевской) работал в антрепризе («Интимная жизнь», в исполнении М. Боярского, Л. Луппиан, С. Милицко и А. Алексахиной). Как актер снимался в телевизионных сериалах, в течение 20 лет (1975–1995) принимал участие в передаче «Сказка за сказкой» на ленинградском телевидении, участвовал в записи «Сказок по телефону» для телефонной службы 015.

Левитин Валентин Исаакович (род. 1931, Ленинград) — художник. Окончил архитектурный ф-т Харьковского инженерно-строительного ин-та. В 1960 г. переехал в Ленинград. Участвовал в неофициальных квартирных выставках в 1960-х гг. С 1975 г. — член Союза художников, с 1991 — член Международной ассоциации художников и графиков IFA. Участвовал более чем в 60 выставках в России и за рубежом. Последняя персональная выставка прошла в Государственном Русском музее (2005). Работы находятся в собраниях 11 музеев Москвы и Петербурга, в том числе в Третьяковской галерее, Русском музее, а также за рубежом.

Лисняк Виктор Давидович (род. 1946, Ленинград) — скрипач. Окончил с отличием Ленинградскую консерваторию им. Н. Римского-Корсакова по специальности «Скрипка» и ассистентуру-стажировку по специальности «Квартетное исполнительство». С 1969 г. по настоящее время артист академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Шостаковича, заместитель концертмейстера группы вторых скрипок. Участник струнного квартета им. И. Стравинского. В составе квартета гастролировал в США, Японии, Корее, Англии, Ирландии, Швейцарии, Германии, Франции и др. странах. Проводил мастер-классы во Франции, Японии, Ирландии. Вел класс струнного квартета в Санкт-Петербургской Консерватории и класс скрипки в Смольном ин-те искусств и наук. Записал 10 компакт-дисков ансамблевой музыки.

Лихтенфельд Борис Елизарович (род. 1950, Ленинград) — поэт. Окончил ЛЭИС им. Бонч-Бруевича. Работал инженером, проводником почтовых вагонов, оператором газовой котельной (по сей день). В 1970-е посещал лито под руководством С. Давыдова, А. Кушнера, Г. Семёнова; входил в «Клуб-81». Публиковался в самиздате (журналы «Часы», «Обводный канал», «Транспонанс»), в венском славис-

тическом альманахе «Гумилевские чтения» (Wiener Slavistischer Almanach), в антологии «В Петербурге мы сойдемся снова» (1993), в журналах «Звезда», «Нева», «Арион», «Крешатик», альманахах «АКТ», «Мера всех вещей», сборнике «Петербургская поэтическая формация». Соч.: Путешествие из Лихтенфельда в Москву в изложении Бориса Лихтенфельда (Серия «Поэтическая лестница»; СПб., 2000).

Лурье Вадим Миронович (игумен Григорий) (род. 1962, Ленинград) — настоятель храма Св. Елисаветы в Санкт-Петербурге; гл. редактор журнала «Scriinium. Revue de patrologie, d'hagiographie critique et d'histoire ecclésiastique». Соч.: Призвание Авраама. Идея монашества и ее воплощение в Египте (СПб., 2000); История византийской философии. Формативный период (СПб., 2006).

Лурье Лев Яковлевич (род. 1950, Ленинград) — историк, журналист. В середине 1960-х гг. занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров. Окончил экономический ф-т ЛГУ. Основатель Санкт-Петербургской классической гимназии. Автор книг и десятков публицистических и научно-популярных статей. Автор телевизионных проектов и сценариев («История одного выстрела», «Преступление в стиле модерн», «Культурный слой», «Игра ума» и др.), в том числе о «Сайгоне».

Мазья Марк Григорьевич (род. 1948, Ленинград — ум. 1996) — поэт, филолог. В 1962–1966 гг. занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров. Окончил филологический ф-т ЛГУ. В течение многих лет преподавал литературу в школе. Кандидат филологических наук. Автор ряда научных статей о жизни и творчестве К. Ф. Рылеева, А. С. Грибоедова, В. К. Кюхельбекера. Выступал на страницах ленинградских газет и журналов «Звезда» и «Нева» в качестве литературного критика. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Соч.: Маятник: сб. стихотворений (СПб., 1995).

Максимов Вадим Игоревич (род. 1957, Ленинград) — театровед, режиссер. Доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской Академии театрального искусства и Академии русского балета, автор книг и статей по теории и истории искусства и театра. Художественный руководитель «Театральной Лаборатории», созданной в 1984 г.

Матюшкина Ольга Михайловна (род. 1962, Ленинград) — специалист по социальной работе. Окончила филологический ф-т ЛГУ.

Менус Александр Леонидович (род. 1964, Ленинград) — художник. Окончил Мухинское училище. Член-учредитель группы «СВОИ», постоянный экспонент группы и участник ее многочисленных акций. Внес посильный вклад в становление Пушкинской, 10 и создание «Галереи-103». Художник журнала-газеты «Путь домой», автор ряда музейных выставочных проектов (Музей Блока, Тюрьма Трубещкого бастиона) а так же «упаковок» музыки («ВОЛКОВТРИО» с Леонидом Федоровым, «АукцЫоном» и др.

Миллер Кирилл Семенович (род. 1959, Ленинград) — художник, модельер, композитор, актер. Стоял у истоков многих художественных движений в Петербурге. Художественное образование получил в музеях и мастерских художников. За остроту содержания в советское время был лишен права выставляться. Создатель клуба «АРТ-КЛИНИКА». Участник большинства групповых выставок неонконформистского искусства. В 1989 г. его выставка совершила тур по городам России (Москва, Вильнюс, Таллин, Одесса, Тольятти). Ежегодные выставки в Петербурге. Многочисленные выставки в США, Голландии, Германии. Лауреат Петербургской городской премии в области культуры «Люди нашего города».

Минченко Алла Александровна (ныне Сергеева) (род. 1938, Одесса) — микробиолог, поэт. В Ленинграде с 1939 г., пережила блокаду. Окончила биологический ф-т ЛГУ, аспирантуру в Агрофизическом ин-те. Работала микробиологом на очистных сооружениях страны. Выступала в заводских клубах и библиотеках по всей стране с чтением стихов (как своих, так и друзей-поэтов). Участвовала в конференции молодых поэтов и прозаиков Северо-Запада (1973 или 1974 г.). Упомянута в антологии «У Голубой Лагуны» (Т. 5). Стихи публиковались в местных газетах страны, в газете «Смена», в книге «Изпадения в полет», в журнале «Акт». Соч.: Тихие строки: сб. стихотворений (1995).

Миронов Александр Николаевич (род. 1948, Ленинград) — поэт. Посетитель кафе на Малой Садовой. Участвовал в альманахах «Fioretti» и «Сфинксы». В 1965–1966

гг. посещал лито С. Давыдова при ДК им. Ленсовета. Входил в литературную группу «Хеленкуты» с момента основания (1966). Экспериментировал с текстовой графикой и коллажем. Стихи публиковались в журналах «37», «Часы», «Обводный канал», «Северная почта», в сборнике «Лепта», в антологии «Острова», печатались за границей — в альманахе «Аполлонь-77», журналах «Эхо» и «Гнозис», в антологии «У Голубой Лагуны». Член «Клуба-81» с момента основания. Первая официальная публикация состоялась в 1985 г. в сборнике «Круг». Лауреат литературной премии им. Андрея Белого. В 1990-е гг. стихи печатались в журнале «Октябрь» и антологии «Поздние петербуржцы». Соч.: Метафизические радости (СПб., 1993); Избранное: Стихотворения и поэмы. 1964–2000 (СПб., 2002).

Михайлов Георгий Николаевич (род. 1944, Ленинград) — коллекционер русского неофициального искусства 1970-х — 1980-х гг. По образованию физик (окончил ЛГУ). В 1977 г. был отстранен по идеологическим причинам от преподавательской деятельности. Собрал вокруг себя художников, находившихся в оппозиции к соцреализму, устраивал квартирные выставки. В 1979 г. арестован за эту деятельность, осужден, провел 4 года на Колыме. В 1988 г. реабилитирован. В 1989 г. организовал Фонд Свободного Русского Современного Искусства, является его распорядителем.

Мишин Валерий Андреевич (род. 1939, г. Симферополь) — художник и литератор. Окончил живописный ф-т ЛВХПУ им. Мухомой. В 1965–1970 гг. посещал лито при газете «Смена», в 1968–1970 гг. лито Т. Гнедич в г. Пушкине. Печатался в самиздатских журналах «37» (псевд. В. Данин), «Лепрозорий–23» (псевд. В. Буковский), в российских и зарубежных изданиях («Диржабль», альманах «XXI век» (Германия); «Ленинград. 70-е в лицах и личностях», газета «На дне», сборники фестиваля верлибра (2005, 2006), журналы: «Реальность и субъект», «Арион», «Декабрь», «Июль», «Путь домой», «Новый журнал», «Дети Ра», «Крешатик», «Зинзивер», «Другие», «Черновик», «Воздух», «Саго» (Финляндия) и др. Стихи переводились на немецкий и финский языки. Создатель самиздатских журналов «АКТ», «СЛОВОЛОВ», «ЛИТЕРАЧЕ». Сайт журналов: www.slovovolv.ru. Работы

находятся в собраниях Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ им. Пушкина, ВМП, а также во многих других музейных и частных собраниях как в России, так и за рубежом. Соч.: ЧТО КТО: Экстремальная проза (СПб., 2000); ГЕРМАН-ПЕЧАТНИК: Повесть и рассказы 1960-х (СПб., 2001); ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ...: Стихи. (СПб., 2001); ТАК: Сб. стихотворений (СПб., 2003); Смотреть и слушать: Стихи 1968—1976 (СПб., 2004); МОНТЕНЬ: Сб. рассказов (СПб., 2004); Антракт: Новые стихотворения (СПб., 2006); Улитка ползёт по склону (СПб., 2007); Чердачное (СПб., 2008).

Мнёва Татьяна Ильинична (урожд. Кауфман) (род. 1958, Ленинград) — поэт. С 1972 г. занималась в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Н. А. Князевой. Посещала лито В. А. Лейкина. Окончила Финансово-экономический ин-т, специальность «Экономическая кибернетика». Работала программистом, кочегаром в котельной, библиотекарем, редактором, корпектором. Автор обзорных статей по вопросам культуры (журнал «Пчела»), нескольких научно-популярных книг. Публиковалась в газете «Смена», альманахе «Молодой Ленинград» (1988), журнале «Аквариус» (Новосибирск, 1993), альманахе «Невский альбом» (1997). Печаталась в самиздатовских журналах, например, «Топка» и др. Соч.: Взгляд узнавания (Л., 1988); Письма в черных конвертах (СПб., 1992); Поединок (Берн, 1993); Вдвоем с алфавитом (СПб., 1996).

Мякишев Евгений Евгеньевич (род. 1964, Ленинград) — поэт. В 1979—1982 гг. занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Н. А. Князевой. Стихи публиковались в «Литературной газете», журналах «Нева», «Звезда», «Зинзивер», сборниках «Камера Хранения», «ФОРУМ АРТ», «ЯРЬ», «УНИСОН» и др., в антологиях «Время и Слово», «Петербургская поэтическая формация». Участник и лауреат литературных фестивалей, в том числе «Дни Русской литературы» (Берлин, 1994). Лауреат премии «ОТ МУЗЫ», учреждённой русскими зарубежными писателями. Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Соч.: Ловитва (СПб., 1992); Взабирающийся лес (СПб., 1998); Коллекционер (СПб., 2004), Морская (СПб., 2006), Кунштюк (СПб., 2006 (в соавт. с М. М. Болдуманом)).

Нестеровский Владимир Мотелевич (род. 1940, с. Сопич Червоного р-на Сумской обл., Украина — ум. 2003, СПб.) — поэт. Автор более пятидесяти публикаций в журналах, альманахах и газетах. Окончил музыкально-педагогическое училище, затем Московский педагогический ин-т по специальности «логопед-дефектолог». По распределению работал в Туле. В 1969 г. поселился в Ленинграде. Работал начальником технического отдела в конструкторском бюро, затем кочегаром, дворником, сторожем, начальником охраны на фабрике. Печатался в алма-атинских журналах «Шмель» (1962) и «Простор» (1963), с 1976 — в ленинградских журналах «Нева», «Звезда» и «Аврора», в альманахах «Молодой Ленинград» и «День поэзии» (1976, 1977, 1985). Стихи публиковались также в самиздате (в журналах «Часы», «37», «Обводный канал»), в тамиздате (антология «У Голубой Лагуны»). Входил в «Клуб-81», участвовал в сборниках «Круг» и «Острова». В 1986 был исключен из клуба за письмо с обвинениями коллег в антисоветских взглядах, оказавшееся в обкоме КПСС. Член Союза писателей России. Соч.: Царица Мысль: Стихи (Л., 1989); Азбука города: Стихи (Л., 1990); Травинка грусти (СПб., 1998).

Николаев Николай Иванович (род. 1947, г. Бердичев) — филолог. С 1950 г. в Ленинграде. Окончил филологический ф-т ЛГУ, работает в научной библиотеке им. Горького СПбГУ, занимается историей книгопечатания и историей отечественного литературоведения.

Никольская Татьяна Львовна (род. 1945, Ленинград) — литературовед. Окончила филологический ф-т ЛГУ. Автор около 200 литературоведческих и текстологических работ (о творчестве К. Вагинова, футуристов-заумников и др.), литературных рецензий, статей для «Краткой литературной энциклопедии» (1967—1972) и биографического словаря «Русские писатели. 1800—1917» (1989 —). Лауреат Международной отметины Давида Бурлюка (Премия Академии Зауми, учрежденной С. Бирюковым) и литературной премии им. А. Крученых (Херсон). Соч.: «Фантастический город»: Русская культурная жизнь в Тбилиси: 1917 — 1921 (М., 2000); Авангард и окрестности (СПб., 2001).

Новиков (Новиков-Новгородцев) Михаил Борисович (род. 1947, Ленинград) — математик, историк. Окончил математический

ф-т ЛГПИ им. А. Герцена. Автор ряда математических публикаций, участник международных математических конференций (Австрия, Финляндия, Голландия, Чехия, Китай). Автор работ по истории и истории культуры России. С 1994 г. возглавляет Союз потомков российских дворян Санкт-Петербурга, является членом Совета Генеалогической комиссии. Член Ассоциации писателей Санкт-Петербурга «Соратники», публиковался в сборнике «Рог Борей».

Новиков Юрий Владимирович (род. 1938, Москва) — искусствовед. С 1956 г. в Ленинграде. Закончил Выборгское техническое училище, затем исторический ф-т ЛГУ. Работал монтажником-высотником, судосборщиком, автослесарем, геодезистом на Северо-Западе РСФСР, Северном Урале, Нижней Колыме и Северной Чукотке; инженером-строителем. В 1957–1960 гг. отбывал наказание за переход советско-финской границы и уклонение от армии. Неоднократно бывал в археологических экспедициях. После окончания ЛГУ работал в ГРМ, Реставрационных мастерских, с 1977 г. в ГИОП, где прошел все ступени, вплоть до руководителя (впервые избранного коллективом ГИОП). С начала 1970-х гг. постоянно освещает выставки и чтения неофициальных художников и поэтов в самиздатских журналах («Архив», «37», «Часы»), постоянный член редакции журнала «Часы». В 1980–1981 гг. участвует в организации «Клуба-81» и «Товарищества экспериментального искусства», членом правления которых становится. Автор около ста статей о художниках и поэтах неофициального искусства и около трехсот статей в газетах, журналах и сборниках по темам истории и реставрации памятников истории и культуры, а также справочника-альбома «Мосты и набережные Ленинграда». Член Союза художников РФ. Лауреат премии им. Андрея Белого.

Овчинников Владимир Афанасьевич (род. 1941, ст. Щучье Озеро, Молотовской обл., в эвакуации) — художник. С 1945 г. в Ленинграде. Занимался в художественной студии при ДК «Выборгский» (1957–1958). Работал маляром-декоратором в Театре оперы и балета им. С. М. Кирова, такелажником в Эрмитаже, художником-оформителем в областной филармонии и в ДК в Парголово. Участник многих выставок неофициального ленинградского искусства, в т. ч. выставки сотрудников Эрмитажа, совместно

с М. Шемякиным В. Уфляндом, В. Кравченко, О. Лягачевым (1964). Зимой 1970–1971 г. организовал в своей мастерской в Кустарном пер. первую квартирную выставку «с открытой дверью». По протекции настоятеля Псково-Печорского монастыря о. Алипия участвовал в росписи церквей. Персональные выставки в России (в Петербурге — в ЦВЗ «Манеж» (1992), в Эрмитаже (1996) и др., в Москве — в Музее Современного искусства (2000)) и за рубежом, в т. ч. в США (1986, 1989, 2004), Париже (1992), Кёльне (1999), Лондоне (2003). Заслуженный художник России.

Окулов Владимир Сергеевич (род. 1938, Ленинград) — фотохудожник. Окончил театроведческое отд. ЛГИТМиКа. Участник домашней фотовыставки у К. Кузьминского «Под парашютом» (1974). Персональная фотовыставка — в Пушкинском Доме. Участник выставки «Ленинградский фотоандеграунд» в Русском музее (2007).

Охупкин Олег Александрович (род. 1944, Ленинград — ум. 2008, СПб.) — поэт. В 1960 г. стал заниматься в лито «Голос юности», сначала у Д. Дара, впоследствии у А. Емельянова. В 1963 г. поступил в музыкальное училище им. М. Мусоргского по классу вокала. Пел в хоре радио и телевидения. В 1966 г. ушел из хора и стал писать стихи сознательно. Был литературным секретарем В. Ф. Пановой (1966–1970). В 1970-е входил в редколлегия религиозно-философского журнала «Община». Первая публикация в альманахе «Молодой Ленинград» (1970). С 1969 г. занимался в лито Глеба Семенова. С 1974 г. стал печататься в самиздате и чуть позже в тамиздате. Печатался как поэт и критик в эмигрантских изданиях («Аполлон-77», «Время и мы», «Грани», «Эхо», «Третья волна», «Перекрестки», «Вече», «Вестник РХД», «Беседа», «Стрелец»), ленинградском журнале «Звезда». Член «Клуба-81». Принимал участие в сборнике «Круг». В 1993 г. принят в члены Союза писателей Санкт-Петербурга. В 1995 г. получил литературную премию Г. Р. Державина. Соч.: Стихи (Париж, 1989); Пылающая купина (Л., 1990), Возвращение Одиссея (1994), Моление о чаше (2004).

Пазухин Евгений Александрович (род. 1945, Ленинград) — поэт, публицист, религиозный философ. Учился в СХШ при Академии художеств. Посещал литературный

клуб «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров. Был постоянным участником стихотворных вечеров в ленинградском «Кафе поэтов». Входил в круг литераторов, собиравшихся на квартире К. Кузьминского. Окончил филологический ф-т ЛГУ (русская филология). Член редколлегии, редактор и автор ряда ленинградских и московских самиздатских сборников и журналов. Один из организаторов и руководителей «Религиозно-философского семинара», а также других семинаров и обществ христианско-просветительской направленности. В 1975 г. входил в редколлегию поэтического сборника «Лепта» (ему принадлежит название сборника). Стоял у истоков самиздатских журналов «37» и «Часы» и входил в их редколлегию. Публиковал статьи по культурологии в журналах «37», «Часы», «Обводный канал», «Митин журнал» и др. В 1991 г. эмигрировал в Германию. Живет в Баден-Бадене. Автор книг и журнальных публикаций, посвященных этому городу, а также историко-культурологических работ, публикуемых в российских академических изданиях. Соч.: *Specchio della gloria* (Milano, 1988); *Жизнь и труды блаженного Хосемария Эскрива, основателя «Опус Деи»* (Helsinki, 2000; 2009); «Будем делать Баден-Баден!» Бытие культурного мифа (Baden-Baden, 2003; в соавт. с Е. Жаворонковой); *Голем и Медный Эквилибрист: Баден-Баденская повесть* (СПб., 2007).

Петренко Михаил Михайлович (род. 1938, г. Николаев, Украина) — художник, историк искусства, издатель и редактор журнала «Сайгонская культура» (2001–2008). Кандидат искусствоведения. Диссертация «Проблемы интерпретации классической литературы в изобразительном искусстве» дала ему толчок для публикации статей на темы «Время и пространство в изобразительном искусстве», «Русская графика и печатное искусство XIX и XX вв.» и др. На Ленинградском ТВ о нем был снят фильм «Портрет художника в интерьере. Михаил Петренко» (1991). Живёт в Сан-Франциско (США).

Пешков Владимир Владимирович (род. 1947, Грузия) — фотохудожник. В Ленинграде практически сразу после рождения. Член товарищества «Свободная культура». Работы хранятся в галереях и частных собраниях России, США, Германии, Израиля, Франции, Австрии, Финляндии, Италии, Японии, Чехии, Австралии, Китая.

Пономаренко Татьяна Григорьевна (род. 1954, г. Куйбышев) — президент и художественный руководитель «Творческого центра “Борей-Арт”».

Понтон Мишель — французский политик. Генеральный секретарь УДФ, центристской партии де-голлевого направления. В конце 1970-х был генеральным секретарем, правой рукой Жискара д'Эстена. Сейчас мэр города в центральной части Франции.

Пудовкина Елена Олеговна (род. 1950, Ленинград) — поэт, журналист. В 1964–1967 гг. занималась в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Н. А. Князевой и И. А. Малайровой. В разные периоды работала геологом, библиотекарем, литературным секретарем Н. И. Грудининой, экскурсоводом, редактором, оператором газовой котельной, журналистом. Стихи публиковались: в советское время в сб. «Тропинка на Парнас» и газете «Смена» (1960-е гг.), затем в альманахе «Молодой Ленинград». В 1980-е — в самиздате («Часы», «Обводный канал» и др.) и за рубежом («Вестник РХД», «Грани» и др.). Переведены на немецкий и сербский (в журналах и двух антологиях). После 1989 г. публиковалась в журналах «Нева», «Звезда», «Знамя», «Новый мир», «Истина и жизнь», «Постскриптум» и др., в антологиях «Время и Слово», «Петербургская поэтическая формация». В начале 1990-х переводила английские сказки. Из них вышли две, написанные Эдит Несбит, — «Заколдованный замок» (СПб., 1996 и М., 2006) и «Принцесса Мелисанда» (Калининград, 2005). Соч.: Стихи (Австралия, 1990).

Равинский Дмитрий Константинович (род. 1950, г. Златоуст Челябинской обл.) — киновед. Окончил Ленинградский ин-т культуры. Кандидат педагогических наук. Старший научный сотрудник РНБ, автор свыше 100 научных публикаций в отечественной и зарубежной (США, Великобритания, Франция) печати, посвященных истории и социологии чтения. Заслуженный работник культуры РФ.

Раскин Дмитрий Анатольевич (род. 1959, Ленинград) — поэт, композитор, стилист, общественный деятель. Окончил Хоровое училище им. М. И. Глинки. Учился в Ленинградском ин-те культуры. Работал со звуком в Малом драматическом театре, в студии Ленинградского радио, вёл программы в эфире.

Рекшан Владимир Ольгердович (род. 1950, Ленинград) — спортсмен, писатель, рок-музыкант и путешественник. Окончил исторический ф-т ЛГУ. Один из основоположников русской рок-музыки. Автор пятнадцати опубликованных книг и нескольких сотен газетно-журнальных публикаций. Лауреат ряда литературных и музыкальных премий (премия ПЕН-клуба, Гоголевская премия, премия журнала «Нева», премия «Петрополь», премия журнала «ФУЗ», премии «Медиа-Союза» и Администрации президента РФ). Соч.: Третий закон Ньютона (Л., 1987); Кайф (М., 1990), Время тяжелой реки (СПб., 1992), Ересь (СПб., 1995), Четвертая мировая война (СПб., 1996), Смерть в Париже (СПб., 1997); Самый Кайф (СПб., 2008).

Рубинштейн Наталья Наумовна (урожд. Альтварг) (род. 1938, Ленинград) — журналист, литературный критик. Училась на литературно-историческом ф-те ЛГПИ им. А. Герцена. Работала научным сотрудником экспозиционного отдела во Всесоюзном музее А. С. Пушкина. В 1974 г. эмигрировала. С 1985 года живет в Лондоне, работает на Русской службе Би-Би-Си.

Рудкевич Лев Александрович (род. 1946, г. Горький, в эвакуации) — психолог, антрополог. В 1946 г. семья вернулась в Ленинград. Окончил биолого-почвенный ф-т ЛГУ, затем учился на вечернем отд. психологического ф-та. Работал преподавателем в Первом Медицинском ин-те. Входил в редколлегию журнала «37». Написал кандидатскую диссертацию, защита которой в 1975 г. была отменена в результате вмешательства КГБ (защита состоялась в 1994). В 1977 г. под угрозой ареста эмигрировал, поселился в Вене. Вступил в НТС, был представителем издательства «Посев» в Австрии и Южной Германии, организовал в Вене «Русский клуб». В 1985 г. — заместитель главного редактора журнала «Грани», в 1986–1988 гг. — редактор бюллетеня НТС «Встречи». В 1994 г. вернулся в Петербург. В 2001 г. защитил докторскую диссертацию. Преподает на кафедре психофизиологии ребенка РГПУ им. А. И. Герцена. Соч.: Как становятся великими или выдающимися? (М., 1997; в соавт. с А. Бодалевым); Конституция и развитие ребенка (СПб., 1998).

Санжмятов Долгор (род. 1960, Монголия) — художник. Окончила художественное училище в Ленинграде. Живет в Дании.

Синицкая Софья Валентиновна (род. 1972, Петродворец) — литературовед. Окончила русское отд. филологического ф-та СПбГУ. Кандидат филологических наук. Работала в Пушкинском Доме. Автор ряда статей по творчеству А. Белого и Н. Гоголя. Работала в Пушкинском Доме. В ее переводе с французского вышла книга швейцарских сказок «Сказки и легенды Фрибора» (СПб., 2001).

Словенов Славко (собств. Гогин Вячеслав Геннадиевич) (род. 1935, Ленинград) — поэт. Окончил радиотехническое училище, затем учился на вечернем отд. филологического ф-та ЛГУ. Испробовал множество профессий, но остался верен поэтическому творчеству. В 1960–1980-е стихи и переводы публиковались в журнале «Дружба». В 2000 г. вышла книга его переводов: Омар Хайам. Вино и чаша (Рубайат) (СПб.). Соч.: Глаголь (Книга странствий души) (СПб., 2002).

Старовойтова Ольга Васильевна (род. 1948, Ленинград) — руководитель Фонда Галины Старовойтовой. Училась в Горном ин-те. Ходила в театральную студию при ЛГИТМиКе (рук. К. Шишкин). В отрочестве была членом Кировской коммуны. Основная профессия — редактор. Десятки публикаций в СМИ, посвященных становлению «Третьего» сектора, расследованию убийства Г. Старовойтовой, памяти Г. Старовойтовой.

Суворова Татьяна Константиновна (род. 1948, Ленинград) — психолог. В 1968–1970 гг. занималась в театральной студии С. Товстоногова при ЛГИТМиКе. Окончила психологический ф-т ЛГУ.

Топоров Виктор Леонидович (род. 1946, Ленинград) — переводчик, литературный критик, публицист. В 1963–1964 гг. занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Н. И. Грудиной. Составитель поэтической антологии «Поздние петербуржцы» (СПб., 1995). В 1982–1987 гг. — руководитель экспериментальной студии художественного перевода во Дворце молодежи. С 2001 г. ведет мастер-класс «Газетная и журнальная критика» для студентов специализации «Литературная критика и редактирование» филологического ф-та СПбГУ. С 2000 по 2006 г. — главный редактор изд-ва «Лимбус Пресс». Соучредитель и ответственный секретарь оргкомитета литературной премии «Национальный бестселлер». Соч.: Двойное дно: Признания

скандалиста (М., 1999), Похороны Гулливера в стране лилипутов (СПб., 2002), Руки бродяг (СПб., 2003), «Жесткая ротация» (СПб., 2006).

Тронь Александр Анатольевич (род. 1947, Ленинград) — астроном, геофизик. Окончил математико-механический ф-т ЛГУ по специальности «Астрофизика». Исследовал ряд извержений действующих вулканов на Камчатке и Курильских островах. В Ленинграде создал систему неформального преподавания для учащихся старших классов (легендарная «Юношеская астрономическая школа»), существующую и поныне. При советской власти активно распространял антикоммунистическую литературу. Многие совершил в творческом содружестве с А. Н. Земцовым. В настоящее время работает на географическом ф-те СПбГУ и возглавляет программу научного творчества школьников «Земля и Вселенная».

Трубицын Валерий Александрович (род. 1939, г. Будённовск) — участник демократического движения Петербурга. По профессии строитель. В Ленинграде с 1973 г. Принимал активное участие в демократическом движении (клуб «Перестройка», «Эпицентр», Ленинградский народный фронт, «Вахта мира», Клуб независимой печати и т. д.). На заре перестройки был исключён из КПСС при попытке открыто выразить свою позицию в заводской стенгазете и «Ленинградской правде». Редактор самиздатского журнала «Петербург» (1987—1989), автор нескольких поэтических книг и публикаций в сфере исследования знаковых игр и игровых технологий, создатель сайта в сфере комбинационных игр www.fishka-spb.ru.

Трубников Борис Геннадиевич (род. 1961, Ленинград) — этнограф, ректор Академии боевых и воинских искусств, старший тренер Да Конг, основатель направления Да Конг-рю. Участник археологических старокрымских и тьянь-шаньских экспедиций. Автор ряда книг и научных статей по оружейведению и шаманизму тюркоязычных народов. Соч.: Большой словарь оружия и вооружения (СПб., 1997); Определитель оружия и вооружения (СПб., 1998); Оружейные клейма: Энциклопедия (СПб., 2004); Огнестрельное оружие: Словарь-справочник (СПб., 2004); Холодное оружие: Словарь-справочник (СПб., 2004); Метательное оружие: Словарь-справочник (СПб., 2004); Защитное

вооружение: Словарь-справочник (СПб., 2004); Да Конг (М., 2006; в соавт. с И. Крыловым); Шаолинь-сы цюань-шу: воинское искусство Шаолиня (М., 2006); Воинские искусства Востока (М., 2006); Боевые школы и системы мира (М., 2006) и др.

Трубникова Татьяна Борисовна (Матильда) (род. 1965, Ленинград) — кинолог. В конце 1970 — начале 1980 гг. занималась в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у Р. М. Каца. В 1985 г. окончила Первое Ленинградское медицинское училище. Работала техником-геологом, зубным техником, медсестрой спасательной службы ОСВОДА, инструктором по дрессировке собак, ветеринарным фельдшером, санитаркой, архивным работником в больнице, социальным консультантом в реабилитационном центре для наркозависимых.

Умка (собств. Герасимова Анна Георгиевна) (род. 1961, Москва) — филолог, автор-исполнитель. Окончила отд. художественного перевода Литературного института им. Горького (специализация «Литовский язык»). Защитила кандидатскую диссертацию «Проблема смешного в творчестве обэриутов». В конце 1980-х — начале 1990-х гг. опубликовала ряд статей о творчестве обэриутов и подготовила более десятка изданий писателей круга обэриутов (Д. Хармс, А. Введенский, К. Вагинов и др.). В 1986 г. стала выступать с исполнением песен собственного сочинения под псевдонимом Умка. В середине 1990-х гг. оставила научную работу и полностью посвятила себя музыкальной группе «Умка и броневилок».

Ункова Кари Васильевна (род. 1941, г. Алма-Ата — ум. 1983, Ленинград) — поэт. Окончила геологический ф-т ЛГУ. Печаталась в журналах «Часы», «Обводный канал», в поэтическом сборнике «Голос» (1977), альманахах «Архив» (1976—1978), «НЛО» (1982—1983), «Антологии женской поэзии» (1980), антологии «Острова» (1982). Отрывки из автобиографической прозы «Битва в пути» были опубликованы в женском журнале «Мария». Участвовала в феминистском движении. Соч.: Избранное (Тель-Авив, 1985).

Ункова Марина Васильевна (род. 1936, Ленинград) — геолог, искусствовед. Окончила Горный институт, работала во ВСЕГЕИ, автор более 150 работ по геологии.

С 1996 г. посвятила себя изучению неофициального советского изобразительного искусства нонконформизма и современного искусства. Была директором галереи Георгия Михайлова, корреспондентом газеты «Интеллектуальный капитал», журналов «Куда пойти в Санкт-Петербурге», «Петербург. Классика», «Натали» и др. Имеет 180 публикаций в области искусствоведения.

Фанштейн Михаил Борисович (Фан) (род. 1953, Ленинград) — рок-музыкант. Учился в Инженерно-экономическом ин-те. Музыкальная карьера началась в группе «Фракция психоделика». В 1973 г. познакомился с Б. Гребенщиковым и до 1983 г. был басистом в группе «Аквариум». Затем непродолжительное время играл в группе Майка Науменко «Зоопарк», после чего вернулся в «Аквариум», играл на перкуссии. С 1991 г. играл в группе «Трилистник».

Филиппов Василий Анатольевич (род. 1955, Свердловская обл.) — поэт. В юности занимался в лито под рук. Д. Я. Дара. Некоторое время учился на биологическом ф-те ЛГУ, на филологическом ф-те Горьковского университета, работал разнорабочим, лифтером, библиотекарем. Оставил учебу ради литературы, философии, богословия. Большую часть жизни начиная с 1980 г. провел в психиатрической больнице, где с 1993 г. находится постоянно. Лауреат премии им. Андрея Белого (2001). Соч.: Стихи (СПб., 1998); Стихотворения Василия Филиппова (СПб., 2000); Избранные стихотворения. 1984—1990) (М., 2002).

Ханан Владимир (собств. Бабинский Ханан Иосифович) (род. 1945, Ереван) — поэт. Учился в ЛГУ на экономическом и филологическом ф-тах. Работал слесарем, лаборантом, лифтером, сторожем, оператором газовой котельной. Занимался в лито под рук. Г. Семенова, позже — у А. Кушнера. Стихи публиковались в самиздате — в журналах «Часы», «Леа», «Митин журнал», сборниках «Лепта», «Гумилевские чтения», в антологии «Острова». С 1996 г. живет в Израиле. Соч.: Однодневный гость: сб. стихов (Иерусалим, 2001).

Хренов Сергей Александрович (род. 1956, Ленинград — ум. 1995, СПб.) — переводчик. Окончил физико-механический ф-т Политехнического ин-та, работал в области теплофизики. Был членом «Клуба-81».

В 1984 г. вместе с М. Иосселем и С. Магидом основал ежеквартальный сборник переводов «Предлог», был его постоянным автором и составителем. Публиковался в журнале «Часы» и «Митин журнал» (переводы с английского, собственные рассказы, стихи и статьи). В 1994 г. получил литературную премию «Странник» за перевод четырехтомника Дж. Кейбела.

Чейгин Петр Николаевич (род. 1948, Ораниенбаум) — поэт. В 1964—1966 гг. занимался в литературном клубе «Дерзание» Ленинградского Дворца пионеров у И. А. Маляровой. В 1968—1970 гг. посещал лито Г. Семенова при Союзе писателей. Был членом «Клуба-81». С середины 1970-х гг. печатался на Западе (журналы «Синтаксис», «Третья волна», «Мая», «Акт», «Мера вещей», антология «У Голубой Лагуны»), с 1972 г. в самиздате (сб. «Живое зеркало», журналы «Часы» и «Северная почта», антология «Острова»). Первая официальная публикация в альманахе «Круг» (1985). Стихи публиковались в коллективных сборниках «В Петербурге мы сойдемся снова», «Сны», антологиях «Самиздат века», «Поздние петербуржцы», «Время и Слово», журнале «Звезда». Соч.: Зона жизни: стихотворения (Серия «Поэтическая лестница») (СПб., 2007); Пернатый снег (М., 2007).

Черниговский Николай Владимирович (род. 1947 (?) — ум. 2001, СПб.) — поэт-посетитель «Сайгона». Лет десять учился на биологическом ф-те ЛГУ (диплом не защитил). Работал в Ин-те цитологии, Ин-те защиты растений, Ин-те болезни рыб, Гипроводхозе, в Камчатском филиале ТИНРО, ночным приемщиком хлеба в булочной. Занимался переводами.

Чернов Андрей Юрьевич (род. 1953, Ленинград) — поэт, литературовед. Закончил Литературный институт (1978). Автор стихотворных книг: Городские портреты (М., 1980); Оттиск (М., 1984); СПб, или Нежилой фонд (Париж, 1991); Гардарика (СПб., 1997), (второе изд. СПб., 2008); Нежилой фонд. Избранное (М., 2000); книг по истории русской культуры: Слово о золотом слове (М., 1985); Скорбный остров Гоноруполо (М., Библиотека «Огонек», № 4, 1990); Хроники изнаночного времени: Слово о полку Игореве: текст и его окрестности (СПб., 2006); Длится ночь декабря (СПб; М., 2008). Переводы: Слово о полку Игореве (М., 1981); Уильям Шекспир. Гамлет (Мос-

ква; Париж, 2002) (2-е изд. 2003); Слово о полку Игореве. СПб., 2006.

Черняк Илья Хацкелевич (род. 1946, Ленинград) — историк. Окончил исторический ф-т ЛГУ (специализация «История Средних веков»). С 1973 г. и по сию пору работает в Музее истории религии. Кандидат исторических наук. Автор более 230 работ по истории культуры Возрождения, средневекового католицизма и книговедения. Переводил с латинского языка сочинения М. Фичино и Л. Валлы. В 1990–2002 гг. преподавал историю Средних веков в Санкт-Петербургской классической гимназии. С 2002 г. читает курсы по истории раннего христианства и католической церкви на философском ф-те СПбГУ.

Чирсков Федор Борисович (род. 1941, Ленинград — ум. 1995, СПб.) — писатель. Сын сценариста Б. Ф. Чирскова. Окончил филологический ф-т ЛГУ. Посещал лито под руководством Д. Я. Дара, лито под рук. В. С. Бакинского. В 1971–1978 гг. работал в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского. Был близким приятелем С. Довлатова. Входил в «Клуб-81». Начал печататься в самиздате середине 1960-х: журналы «Часы», «Обводный канал», «Митин журнал», «Время и мы», сб. «Лепрозорий-23», «ДиМ». При жизни писателя проза публиковалась в сб. «Круг», сб. «Перекресток» (Л., 1990), стихи и критические заметки в журнале «Звезда», после смерти в журнале «Звезда», «Митином журнале», сб. «Коллекция. Петербургская проза (ленинградский период). 1960-е». Покончил с собой. Соч.: Маленький городок на окраине Вселенной: Роман; Рассказ; Стихи (СПб., 2007).

Шалыт (Шали) Владимир Самойлович (род. 1950, Ленинград) — философ, писатель. Основатель Союза Возрождения Религии Древнего Египта. Соч.: Свобода зрения: Стихи (Л., 1990); История одного молчания: Стихи 1970–1972 (СПб., 1991); Бог Невозможного (СПб., 2002).

Ширали (Ширали-заде) Виктор Гейдарович (род. 1945, Ленинград) — поэт. В 1962 г. посещал лито под рук. И. Логинова при ДК работников связи, в 1964–1966 — лито под рук. Г. Семенова и Н. Грудининой при Союзе писателей. В 1970-е входил в круг молодых поэтов, собиравшихся у Т. Гнедич. Печатался в журналах и сборниках самиздата «Живое

зеркало», «Лепта», «Часы», «Голос», «Митин журнал», а также за границей («Аполлон-77», «У Голубой Лагуны»). Был членом «Клуба-81», участник сборника «Круг». С конца 1980-х печатается в журналах «Звезда», «Нева», «Аврора», «Дружба народов», в антологиях «Поздние петербуржцы», «Самиздат века», «Петербургская поэтическая формация». Член Союза писателей. Соч.: Сад: Первая книга стихов (Л., 1979); Любитель: Стихи (Л., 1989); Сопротивление: Стихи. Кн. 1, 2. (СПб., 1992); Всякая жизнь: Рассказы (СПб., 1999); Долгий плач Виктора Гейдаровича Ширали по Ларисе Олеговне Кузнецовой и прочие имперские страсти (СПб., 1999); Флейтисточка (СПб., 2001); Поэзии глухое торжество (СПб., 2004).

Штамм Александр Юрьевич (род. 1946, Ленинград — ум. 2008, СПб.) — политолог. Окончил Политехнический ин-т по специальности «инженер-программист». С 1960-х гг. занимался распространением сам- и тамиздата, с 1970-х — изготовлением компьютерного самиздата. В 1978 г. вступил в НТС. В 1989 г. участвовал в создании общества «Свободная Россия». В 1991–1994 гг. преподавал политологию в Санкт-Петербургском Независимом университете, в 2003–2007 гг. — в Ин-те философии и богословия. Вице-президент гуманитарно-политологического центра «Стратегия» с момента основания. Автор нескольких сотен публикаций по политологии. С 1996 по 2006 г. — главный редактор журнала «Посев».

Энди (собств. Калинин Андрей Юрьевич) (род. 1965, Ленинград — ум. 2005, СПб.) — художник. Учился в медицинском училище. Хипповал. В 1992 г. состоялась его персональная выставка на Пушкинской, 10, в 2004 г. — персональная выставка в Роттердаме (Голландия).

Эрль Владимир Ибрагимович (собств. Горбунов Владимир Иванович) (род. 1947, Ленинград) — поэт, прозаик, текстолог. В 1965 г. участвовал в альманахах «Fioretti» и «Сфинксы». В 1966 г. вместе с Дм. Макариновым создал группу «Хеленукты (Могучая кучка)». В 1965 г. основал издательство «Польза», под маркой которого за 5 лет выпустил более 70 машинописных книг. В 1970–1978 гг. продолжал издательскую деятельность под маркой издательства «Палата мер и весов». В 1970–1980 гг. публиковал прозу, стихи и статьи в журналах, альманахах

и сборниках «Часы», «Транспонанс» (был постоянным автором № 1–28), «Северная почта», «Обводный канал», «Митин журнал», «ДиМ», «Лепрозорий-23», «Лепта», «Острова», «Стрелец» и др. Печатался за рубежом: «Грани», «Аполлонь-77», «У Голубой Лагуны». Позднее в антологиях «Поздние петербуржцы», «Самиздат века», «Петербургская поэтическая формация». Произведения Эрля включены в хрестоматию Сергея Бирюкова «Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма» (М.: Наука, 1994). Подготовил к печати произведения Д. Хармса, А. Введенского (совместно с М. Мейлахом) и К. Вагинова (совместно с Т. Никольской). Составил совместно с А. Степановым том «Памяти Леонида Аронсона» (прил. к журн. «Часы», 1985). Лауреат литературной премии им. Андрея Белого и Международной отметины им. Давида Бурлюка, член международной Академии русского стиха. Соч.: Хеленуктизм (книга Хеленуктизм): Стихи, драматедии, полемика (СПб., 1993); Трава, Трава: Стихотворения (СПб., 1995); В поисках за утраченным Хейфом: Хорошо ирфраерированный тапир (Документальная повесть) (СПб., 1999 [так в выходных данных]); С кем вы, мастера той культуры?: Книга эстетических фрагментов (В печати).

Юпп Михаил Евсеевич (собств. Смоткин, по жене Таранов) (род. 1938, Ленинград) — поэт. Ребенком пережил блокаду. Окончил ремесленное училище и курсы поваров при Северо-Западном речном пароходстве, работал коком на речных судах. Учился на заочном отд. Литературного ин-та им. М. Горького (курсе не окончил), посещал семинар П. Антокольского. Позже некоторое время учился в Ин-те им. И. Репина. В 1960-е гг. посещал лито под рук. Н. Поляковой. В 1963 г. Борис Тайгин выпустил машинописный сборник стихов Юппа «Импульсы». В 1964 г. подборка стихов Юппа была помещена в сб. «Антология советской патологии». В 1975 г. участвовал в выставке художников-нонконформистов в ДК «Невский» (рисунок пером «Происхождение»). В 1980 г. эмигрировал, живет в США. Официально принял фамилию Юпп, которой пользовался с 1960-х гг. как псевдонимом. Печатается в американской периодике («Новый журнал», «Литературный курьер», «Новое русское слово» и др.), с конца 1980-х — в московском журнале «Библиография» и др. Получил известность как библиофил и коллекционер

художественных открыток, связанных с русским зарубежьем. Стихи публиковались также в антологиях «Острова», «У Голубой Лагуны», «Строфы века», в журнале «АКТ». Соч.: Срезы (США, 1984); Пространство (США, 1986); Зов (США, 1989); Ипостась (США, 1989); Баллада о волчьем племени (б. м., 1989); Мышление (б. м., 1992); Ваше Величество Санкт-Петербург (США, 1999); Роспись книг поэзии русского зарубежья. 1917–2000: Каталог (США, 2004).

Юрий Петрович (Калинин, Йог) (род. 1941, Ленинград) — завсегдатай «Сайгона». Занимался в художественной школе. Работал ассистентом режиссера на киностудии «Ленфильм». Пенсионер.

Яковлева Наталья Николаевна (в девич. Ермолаева) (род. 1955, Ленинград) — участница театральной студии Э. Горошевского (1975–1977). Училась на театроведческом отд. ЛГИТМиКа. В настоящее время занимается правоведением.

Яснов Михаил Давидович (род. 1946, Ленинград) — поэт, переводчик, детский писатель. В 1958–1964 гг. занимался в литературном клубе «Держание» Ленинградского Дворца пионеров. Окончил филологический ф-т ЛГУ. Член Союза писателей, Международного ПЕН-клуба, руководитель студии перевода при Французском ин-те Санкт-Петербурга. Автор шести книг лирики, свыше пятидесяти книг для детей и многочисленных переводов из французской поэзии и прозы. Составитель и комментатор ряда антологий и сборников. Главный редактор серии «Библиотека зарубежного поэта» издательства «Наука». Лауреат литературных премий. Соч.: В ритме прибора (Л, 1986); Неправильные глаголы (М, 1990); Подземный переход (СПб., 1995); Алфавит разлуки (СПб., 1995); Театр теней (СПб., 1999); Замурованный амур (СПб., 2003).

Яшунский Роман (Нектарий, епископ Олимпийский (Греческая Старостильная Церковь)) (род. 1966, Ленинград) — переводчик с древнегреческого, гимнограф. Соч.: Наши катакомбы (Вестник РХД. 1992. № 166); Краткая история священной борьбы старостильников Греции (СПб, 2001); Максим Исповедник. Амбигвы (перевод; М., 2006); Григорий Палама. Антилитургические сочинения (сборник; перевод; Краснодар, 2006); Григорий Палама. Трактаты (сборник; перевод; Краснодар, 2007).

В ОЧЕРЕДИ ЗА МАЛЕНЬКИМ ДВОЙНЫМ...

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ*

- Абельмас Генрих 7, 173, 726, 729
Аболина Оксана 474
Абрамов 474
Абрамов Виктор 308
Абрамова Алмаз (Фельх) 7, 111
Аверин Борис 439
Авторханов Абдурахман 95, 96, 99
Агафонов Дима 482, 483
Агейченко П. 726
Адамацкий Игорь 278, 288
Адасинский Антон 401
Адмиральский Алексей 270, 348, 349
Азадовский Константин 139
Азаров Денечка 447, 475, 482
Азбелев Павел (Терри) 439, 445, 474, 477, 747
Аксельрод Борис 21, 249, 250
Аксельрод Николай 22, 29, 48, 49, 191
Александров А. А. 28, 203
Алексеев Юрий 44, 137, 242, 271, 652, 652, 659
Алик Кировский (о. Антоний) 404
Алиса 509
Аллахов Валерий 407
Аллой Владимир 200
Алла, буфетчица 311, 403
Алонсо Алина 369
Алтынов Борис 80
Алымов Виктор 63
Альбина Донецкая 484, 486
Альтшулер Александр 18, 26, 27, 41, 652
Анджей Кировский 407
Андреев Владимир 355, 36, 747
Андреев Игорь 107, 747
Андреева Вера 79
Андрей Бесплатный (Бес, Желудов Андрей) 469, 471, 472, 474
Андрей Хаер 404
Андрэ (Пешков) 474
Анисимов Александр 63
Антипов А. 753
Аншуков В. 89
Аня Лошадь 481
Аракчеев Борис 36, 51, 52
Ардановский Жора 402, 403
Арефьев Александр 91, 330
Арзуманов Валентин 43
Аронзон Леопид 11, 19, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 40, 41, 48, 79, 130, 135, 138, 476, 522, 607, 770
Артамонов Андрей (Бэн) 474
Арти (Волошин Артур) 368
Арчибалд (о. Александр, Арчи, Арчибалд фон Нисбауер) 429, 466, 467, 492
Арьев Андрей 190, 264, 747
Асташкина Татьяна 474, 482
Афоничева Алла 362
Ахмадуллина Белла 190
Аэлита 482, 483
Бабушка Удава 505
Бадри 462
Бакаютов 18
Балдин Владимир 726
Балонов Феликс 79, 102, 125, 129, 747
Баневич Сергей 246
Банщиков Роберт 303
Банщикова Яна 303
Баранников Александр 34, 212
Баранникова Ольга 111, 113
Барахтина Лариса 436
Барихновская Елена 190
Бартов Аркадий 93
Басиладзе Олег 177
Басманов 430
Батраков Петр (Петр Охта) 103, 105, 106, 107
Бахтерев Игорь 28, 203
Башлачев Александр 369, 406, 407
Беззубов Геннадий 219
Безобразов Борис 191, 206
Безродный Владимир 7, 103, 172, 173, 525, 526, 546, 648, 725, 726, 729, 731, 747
Безродный Михаил 66, 747
Бекмурза 502
Белевич Михаил 112
Беленький Виктор 296
Белкин Анатолий 7, 85, 191, 192, 194, 195, 198, 214, 242, 560, 561, 748
Белль Генрих 140
Белов Сергей 79, 103, 107, 121, 129, 427, 441, 427
Белодубровский Евгений 70, 72, 77, 122, 748

* Составители: Е. Гесслер, Д. Каховский, П. Каховский

- Беломлинская Виктория 18
 Беломлинский Михаил 18
 Белоусов Роман 25, 26, 36, 39, 48, 655
 Беляк Николай 22, 25, 80, 135, 141, 142, 146, 148, 150, 161, 170, 171, 177, 183, 184, 190, 294, 352, 353, 440, 443, 748
 Бергер Анатолий 279
 Бердичевский Константин 101
 Беришвили Теймураз (Тимур) 461
 Бес (Андрей Бесплатный, Желудов Андрей) 469, 471, 472, 474
 Беспрозванная Полина 8, 174, 201
 Бестужев-Вязько (Бестужев) Михаил 7, 173, 710, 720, 726, 739
 Бетаки Василий 132, 133
 Билинкис Михаил 239
 Билли Симферопольский 481
 Битов Андрей 15
 Блажин 18
 Блюм А. В. 122
 Бобышев Дмитрий 40, 135, 190, 234, 235, 284, 337, 339
 Бобышев Константин 268, 284
 Богачев Саша (Швец Леонид) 367, 368, 369
 Богданов Леон 13, 28, 31, 193, 202, 212, 272, 329, 757
 Богданов Леонид 89
 Богин Михаил 70, 77, 78, 129, 137, 144, 190, 326
 Богомолов Глеб 22, 246, 295, 301, 748
 Богомолова Татьяна 295, 748
 Богословская Елизавета 296
 Бойченко Константин 303, 350
 Бомжир 667, 668, 669, 672, 673
 Бондарик Виктор 399
 Бонифаций (Дэсимон Миша) 461
 Борткевич Татьяна 482, 483
 Боярский Михаил 66, 302, 350
 Брандт Петр 7, 8, 29, 79, 141, 142, 150, 171, 321, 355, 527, 749
 Бржежинский Юрий 99
 Бринь 368
 Британишский Владимир 93
 Британишский Евгений 93, 94, 476
 Бровенко Надежда 123
 Бровина Жанна 7, 93, 240, 268, 588
 Бровкин Алекс 474
 Бродский Иосиф 12, 13, 27, 66, 80, 86, 91, 101, 103, 135, 139, 140, 141, 164, 167, 168, 170, 181, 223, 224, 232, 239, 246, 247, 276, 277, 381, 389, 419, 430, 477, 478, 479, 637, 726, 727, 759
 Бруй Вильям 13, 79
 Бубнов Алексей 306
 Бугаев Сергей (Африка) 374, 383, 407, 408, 749, 753
 Бударагин Владимир 40, 528, 749
 Буковская Тамара (Козлова, Мишина, Алла Дин) 14, 20, 31, 36, 44, 48, 138, 146, 154, 189, 256, 515, 656, 749
 Булатов А. 752
 Бунич Игорь 98, 102
 Буренин Гоша (Бринь) 368
 Бурлака Андрей 399, 400
 Бусыгина Марина (Княжна) 442, 443, 458, 463, 465, 467
 Бутырин Кирилл 190
 Быков Борис 315
 Булан 316
 Бучин Дмитрий 407
 Бэн (Андрей Артамонов) 474
 Вагин Иван 454
 Вайткус Йонас 79
 Валиева Юлия 3, 32, 61, 64, 84, 93, 97, 102, 113, 139, 148, 160, 182, 191, 201, 202, 212, 219, 224, 228, 266, 295, 303, 309, 315, 317, 323, 328, 334, 348, 352, 357, 374, 378, 385, 386, 387, 389, 393, 399, 432, 442, 450, 451, 474, 487, 555, 687, 695, 749
 Вальран Валерий (Кознев) 196, 750, 753
 Ванталов Б. 757
 Варченя Андрей (Мент Рижский) 474, 482
 Васильев Анатолий 12
 Васильев Валерий 205, 213
 Васильев Лев 40, 168
 Васильев Олег 409
 Васильев Сергей (Вася, Каратека, Исполин) 348, 417, 432, 434, 435, 436, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 470, 471, 474, 487, 667, 673, 750
 Васильев Сергей 223
 Васильева Наталья 399
 Васильков Ярослав 168
 Васин Николай 290, 400, 406
 Васяева Анна 474
 Ведякина Татьяна 303, 307, 330, 331
 Вейнгр Соломон 122
 Векслер А. 367
 Векслер Ю. 367
 Вензель Евгений 7, 16, 25, 29, 31, 36, 48, 135, 140, 142, 149, 150, 151, 153, 160, 171, 178, 183, 189, 190, 324, 325, 342, 530, 531, 750
 Вербин Стас 474
 Веселов Юрий 453
 Веселова Маргарита 726
 Ветеран 474
 Видре Екатерина 152, 162, 203

- Визбор Юрий 287
 Виноградов Алексей 442
 Виленчик Борис (Гнор) 710
 Виролайнен Мария 440
 Вишня Алексей 406
 Владимиров Игорь 66, 350
 Владимиров Леонид 131
 Владимирский Александр 409
 Власов Виктор 97, 101
 Власова Евгения 726
 Вова Пацик 404
 Вовк-Потоцкий Кирилл 17, 33, 34, 41, 212
 Вознесенская Юлия 7, 95, 202, 266, 267, 274, 330, 359, 423, 424, 428, 536, 539, 574, 750
 Воинов Валентин 75
 Войцеховский Александр 439, 442, 443, 474, 487
 Волков Владимир 387, 750
 Волкова Галина 475
 Володин Александр 135
 Володин Борис 133
 Володя из Приморья 483
 Волосов Геннадий 14, 303, 308, 313, 319, 320
 Волохонский Анри 13, 27, 28, 48, 73, 246
 Волошин Артур (Арти) 368
 Волчонок (Хазов) 474
 Волькенштейн 25
 Воробаев Иван 407
 Воробаев С. 474
 Воскобойников Валерий 302
 Восленский М. 95
 Востров Дмитрий (Ля) 442, 444, 447, 465, 474, 487
 Вяземский Александр 212
 Вьяльцев Александр 491, 751
 Гаврильчик Владлен 209, 224, 286, 579, 751
 Гайворонский Андрей 14, 25, 26, 36, 37, 43, 55, 56, 73, 211, 655
 Гаккель Всеволод 183, 386
 Галецкий Юрий 26, 34, 212, 229, 514
 Гальбрайт Анатолий 78
 Галя Дюймовочка 349, 480
 Ганелин Вячеслав 408
 Ганшин Андрей 403
 Гаркуша Олег (Слюнь) 359, 360, 399, 400, 401, 406, 473, 751
 Гафурова Елена 474
 Генделев Михаил 46, 142, 198, 239, 241, 242, 561, 751
 Геннадиев Андрей 78, 80, 191, 198, 199, 235, 240, 242, 269, 329, 330, 331, 567
 Герасименко Валентина 20
 Герасимова Анна (Умка) 417, 419, 646
 Герман Алексей 11, 315
 Гершт 306
 Гинас Игнас 395
 Гиневский А. 28
 Гинто Микалоюс 395
 Глазова Регина 451, 488
 Глыбин Витюша (Юджин) 473
 Гнедич Татьяна 133, 158, 232, 262, 623
 Гнездилов Андрей 249
 Гнор Борис (Виленчик) 710
 Гогин (Словенов) 73, 77, 173
 Голощекин Давид 101, 315
 Голубков Александр 305, 457, 458
 Голь Николай 177, 181, 339, 539, 751, 752
 Гоос Владимир 240, 268, 269, 590
 Горбаневская Наталья 32
 Горбовский Глеб 13, 168, 224, 727
 Гордиевская Елена 304, 305, 308, 330
 Гордин Яков 476
 Горенко Анна 419, 420, 626, 751
 Горичева Татьяна 5, 6, 21, 60, 61, 62, 86, 88, 94, 95, 139, 178, 185, 195, 196, 214, 244, 266, 272, 424, 546, 752, 753, 754
 Горнон Александр 241, 274
 Городницкий Александр 11, 101
 Горошевский Эдуард 22, 59, 144, 184, 294, 752, 770
 Гоша 410
 Гранцева Наталья 271
 Грач Всеволод 152
 Гребенщиков Борис 22, 101, 152, 163, 215, 237, 250, 251, 287, 291, 365, 377, 379, 380, 385, 387, 400, 401, 415, 452, 473, 484, 753, 768
 Григорьев Александр 112
 Григорьев Геннадий 339, 539, 752
 Григорьев Герман (Гера) 7, 11, 204, 205, 209, 210, 216, 227, 658, 709, 710, 712, 726, 740, 752
 Григорьев Дмитрий 274, 752
 Григорьев Олег 110, 143, 177, 227, 235, 236, 237, 247, 249, 257, 258, 259, 260, 379, 381, 387
 Григорьева Галина 111, 230
 Григорьянц 727
 Гройс Борис 152, 178, 185
 Грудинина Наталья 25, 165, 558, 559
 Грудшин Сергей 304
 Губанов Леонид 32
 Гуковский Матвей 87
 Гуль Виктор 49, 50
 Гулько Петр 79, 144
 Гумилев Лев 87, 422, 439
 Гуницкий Анатолий 387

Гурвиц Инна 432, 435, 752
Гурвич (Яснов) Михаил 25, 165
Гуревич Петр 79
Гуревич Татьяна 19
Гурьянов 375, 357
Гурьянов Лёша 478
Гэс Светлана 450

Давидович Анна 436
Дар Давид 133, 193, 764, 768, 769
Даянов Рафаэль 8
Дебижев Сергей 378, 752, 760
Джоан 214
Джерри Тулиб 482, 483
Дима Химик 482
Дима Шланг 447, 484
Дин Алла (Козлова, Мишина, Буковская Тамара) 14, 26, 138, 146, 154, 189, 256
Динабург Юрий 84, 93, 214, 753
Дмитриев Анатолий 128
Дмитриенко Александр 115
Дмитровский Сергей 368, 369
Добровлянский Вильям 7, 726, 741, 753
Добровлянский Михаил (Майкл) 402
Добротворский Сергей 387
Довлатов Сергей 22, 83, 95, 103, 135, 139, 140, 157, 287, 368, 769
Должанский Юрий 8, 112
Долинин Вячеслав 7, 8, 30, 87, 89, 274, 276, 277, 282, 313, 753
Долинина Анастасия 442, 465, 487
Долинина Маргарита 487
Донских Александр 345, 363, 364, 753
Донской Гелий 195
Драгомощенко Аркадий 146, 157, 182, 286, 288, 338, 352, 726, 750, 753
Дреер Вячеслав 183
Друговойко Олег 112, 755
Дубровский Владимир 317, 320, 754
Дугин Александр 382
Дудник Дмитрий 452
Дунаевская Елена 190, 234, 274, 279
Дымшиц Валерий 434, 435
Дышленко Борис 17, 20, 274
Дэсимон Миша (Бонифаций) 461

Евдокимов Р. 274, 275
Евдосеев Алексей 101
Евсеев (Боенко) Владимир 709, 710, 716
Евка 451
Евтушенко Иван 474
Ентин Леонид 20, 26, 34
Епифанов Евгений 711
Ергашев Сережадин (Князь) 474
Ермаков Василий 115

Ермолаева Наталия (Яковлева) 386
Ерофеев Виктор 287

Жарких Юрий 78, 209, 210, 211, 299, 325
Желудов Андрей (Бес, Андрей Бесплатный) 469, 471, 472, 474
Женя из Баку 508
Жженный 316
Жидков Алексей 190
Жилина Наталья 245, 330, 361, 667
Жук Ольга 367, 754

Задорина Маргарита 18
Зайнчиковский Александр 474
Зайчик Марк 137
Заливалов Алексей 324
Заливалова Юлия 306
Зарайский Михаил 7, 143, 546, 726, 742, 754
Заславский Анатолий 22, 251, 260
Захаров Юрий 101
Захарова Елена 145, 196, 528
Захаров-Росс Игорь 184, 209
Зверев Николай 290, 291
Звягин Евгений 14, 26, 37, 40, 41, 44, 52, 54, 55, 56, 66, 93, 94, 143, 156, 240, 420, 426, 659, 754
Здравомыслова Елена 338, 754
Зеличенко Николай 79
Земцов Александр 110, 111, 754, 766
Зернов Борис 301
Зинштейн Арон 22, 251
Зорин Петр 115
Зотов Владимир 406, 407
Зубарев Сергей 197, 198
Зубков Александр 395
Зуфар Казанский 485
Зяблицев Юрий 459, 460

Иванов Александр 77, 78, 313
Иванов Борис 183, 184, 274, 277, 281, 284, 286, 287, 288, 292, 727, 753
Иванов Валерий 12
Иванов Евгений 101, 102
Иванов Игорь 288, 464
Иванов Николай 405
Иванов Ростислав 287
Иванов Юрий 33, 37, 94
Ивченко Владимир 111
Игнатова Елена 86, 189, 203, 234, 239, 241, 271, 272, 279, 324, 590, 755
Иевлева Наталья 334, 755
Иерихонова Виктория 18
Израйлевич Г. А. 591
Иконников-Галицкий Анджей 413, 474, 755

- Инк Эмилия 397
 Иосельзон Владимир 269, 272, 274
 Иоссель М. 768
 Исачев Александр 217, 218, 229, 230, 271, 424, 425
 Ицкович Евгений 324
 Йакимавичюс Станисловас 395
 Йог Юрий Петрович 315
 Кадавр 474
 Казакова Софья 342
 Казаринов Рудольф 211
 Казаринова Наталья 211
 Казимировская Наталья 7, 197, 560, 561, 755
 Калачев Евгений 407
 Калганов Л. 474
 Калинин Андрей 769
 Калинин Юрий 770
 Калинина Надежда 7
 Калинин Катя 458
 Каменецкая Женья 369
 Кан Александр 400, 409,
 Канарейкин Михаил 467, 473
 Карамян Леон 110, 149, 150, 154, 161, 179, 342
 Каспарян 375
 Каховский Дмитрий 7, 8, 407, 408, 487, 755
 Кацман Анна (Кривулина) 261, 756
 Каюкова Наталья 395
 Кенжеев Бахыт 274, 287
 Кинзерский Толя (Кит) 385
 Кинчев Константин 478
 Кириллов Валерий 402
 Киселев Александр 309, 311, 756
 Киселёв Денис 452
 Кисель Владимир 434, 442, 445
 Кислухин Юрий 65
 Кит (Кинзерский Толя) 385
 Китаец (Ковалев Алексей) 416, 438, 439, 442, 471, 473, 474
 Клевер Валерий 67, 228
 Клипс 407, 475
 Княжна (Бусыгина Марина) 442, 443, 458, 463, 465, 467
 Князь (Ергашев Сережадин) 474
 Князьков Олег 112
 Кобак Алексей 268, 276, 277, 278, 279, 280
 Кобец Вера 122, 123, 756
 Ковалев Алексей (Китаец) 416, 438, 439, 442, 471, 473, 474, 750, 756
 Ковалев Григорий 11, 155, 549, 709, 710, 712, 714, 716, 719, 720
 Ковалькова Татьяна 8, 59, 60, 139, 141, 146, 170, 294, 338, 348, 378, 452, 756
 Ковальский Сергей 7, 389, 390, 756
 Коган Михаил 474
 Кожин Александр 192
 Козаков Михаил 326
 Козиев Валерий (Вальран) 196
 Козлова (Буковская, Мишина, Алла Дин) Тамара 14, 26, 154, 256
 Козырев Алексей 33, 48, 191, 193, 213
 Козырев Кирилл 7, 212, 214, 367, 757
 Козырев Николай 193, 585
 Козырева Марианна 33, 195
 Колесников Виктор (Колесо, Луноход) 5, 6, 7, 91, 93, 119, 122, 161, 183, 189, 266, 272, 300, 302, 304, 305, 306, 312, 348, 351, 352, 353, 357, 386, 417, 426, 427, 452, 466, 469, 510, 511, 512, 668, 669, 672, 673, 711, 757
 Колесникова Светлана 6, 352, 757
 Колкер Юрий 31, 268, 274, 275, 281, 282
 Колод Люда (Терри) 409
 Кольчугин 79
 Кондратов Александр 94, 726, 727
 Кондратьев Василий 29, 30, 31, 331, 474, 757
 Констриктор Борис 31, 48, 49, 517, 757
 Конт Алла 144
 Коржавин Наум 12
 Корзакова К. 474
 Коровин Сергей 157, 185, 753, 757
 Корогодский Зиновий 70, 78
 Королева Нина 27
 Корсунова Ольга 7, 192, 202, 213, 269, 273, 324, 328, 329, 758
 Косман М. 122
 Костаки Георгий 191
 Костелянц Б. О. 368
 Костя Зверь 472, 482, 483
 Костя Панк 461, 462
 Котельников Олег 360, 363, 375, 406
 Котов Павел 483
 Коша (Костя, Параноик, Тихоня) 508
 Кошелохов Борис 22, 64, 65, 89, 136, 191, 228, 287, 298, 360, 361, 376, 388, 389, 452, 526, 758
 Кравченко Валерий 208, 764
 Краев Павел 405, 406
 Красиков Андрей 409
 Крачун Наталья 301, 303, 304, 317, 351, 758
 Крейденков Вадим 224, 225
 Кривулин Виктор 5, 7, 12, 14, 15, 21, 22, 30, 40, 59, 60, 63, 66, 77, 78, 86, 87, 88, 94, 113, 119, 128, 133, 135, 143, 150, 152, 153, 164, 165, 167, 168, 169, 172, 183, 185, 186, 189, 190, 191, 195, 204, 214,

- 234, 237, 239, 243, 249, 251, 255, 256,
257, 261, 262, 263, 264, 267, 269, 270,
283, 286, 291, 330, 331, 342, 415, 419,
421, 549, 550, 596, 608, 609, 711, 726,
727, 749, 752, 756, 758
Кублановский Юрий 187, 287, 476, 553, 758
Кривулина Анна (Кацман) 261
Кришталь Евгений 44
Крол Евгений 101
Кролик 407, 507
Крутько Юрий 173, 726, 727
Крыжановский Андрей 77
Кубасов 212
Кублановский Юрий 187, 287, 476, 553
Кудряков Борис 10, 29, 44, 48, 49, 50, 78, 81,
82, 98, 191, 195, 199, 202, 210, 272, 290,
333, 334, 337, 757, 759
Кудряшова Наталья 368
Кузьминский Константин (ККК) 7, 11, 21, 27,
30, 66, 70, 80, 140, 155, 167, 195, 198, 199,
203, 206, 207, 214, 218, 229, 231, 233, 234,
237, 241, 290, 427, 528, 538, 555, 556, 561,
602, 709, 712, 714, 716, 719, 720, 726, 759,
764, 765
Куклин Лев 133
Куприянов Борис 7, 28, 63, 142, 143, 183,
190, 191, 194, 201, 203, 232, 233, 237,
239, 241, 242, 266, 267, 271, 272, 275,
563, 564, 697, 711, 759
Курёхин Сергей 22, 145, 152, 183, 184, 287,
291, 329, 357, 375, 377, 378, 379, 380,
381, 382, 383, 384, 385, 387, 388, 400,
407, 409, 750, 753, 760
Кутев Александр 7, 714
Кутырев Эдуард 247
Кушлина Ольга 549
Кушнер Александр 172, 237, 271, 476, 727
Кушнер Евгений 156, 186, 274
Кэт Питерская 7, 401, 402, 404, 456, 474,
760
Лавров Александр 112, 152, 596
Лавров Николай 122
Ладогин Вячеслав 475, 629, 636, 637, 638,
639, 641, 642, 760
Ланина Мария 203, 323, 327, 331, 474,
568, 760
Лепенков Владимир 657, 658, 760
Лапиков Андрей 122
Лапин Иван 326
Леваков Олег 219
Левинтов Альберт 79
Левинтон Гарик 152, 596
Левитин Валентин 13, 93, 231, 234, 237,
240, 251, 268, 274, 571, 761
Левшин Михаил 221
Лейкин 475
Леопольд 404, 482, 483, 484
Лесниченко Наталья 275
Лесняк Василий 115
Лисняк Виктор 125, 761
Леша Охтинский 469
Ли Юлия 690
Лимонов Эдуард 45, 153, 157
Линьков Евгений 115
Липовская Наталья (Сюся) 377, 387
Липпа Элла 18, 30, 245
Лиса 371
Лисняк Виктор 125
Лисунов Владимир 288
Лиходед Валентина 71, 80
Лихтенфельд Борис 28, 271, 279, 569
Ловлин Всеволод (Луговской) 711
Лонский Игорь 144, 150, 182, 183
Лосла Юрсла 474
Луноход (Колесников Виктор, Колесо) 91, 93,
119, 122, 161, 183, 189, 266, 272, 300, 302,
304, 305, 306, 312, 348, 351, 352, 353, 357,
386, 417, 426, 427, 452, 466, 469, 510, 511,
512, 668, 669, 672, 673, 711
Луппов Александр 50
Лурье Вадим (Лу, иеромонах Григорий) 416,
417, 432, 433, 434, 436, 438, 442, 443,
471, 474, 761
Лурье Лев 22, 86, 142, 148, 150, 154, 161,
179, 270, 348, 443, 761
Лурье Самуил 86
Лушевский Евгений 103, 104
Любарский Кронид 95
Люблинская Маша 432
Любушкин Николай 206
Люда Судзуки 451
Люлин Дмитрий 79
Люся, буфетчица (Людмила Прокофьевна)
349, 415, 433, 614
Лягачев Олег 195, 208, 764
Магай Сайда 79
Магид С. 768
Мазуркевич Андрей 416
Мазья Марк 25, 66, 72, 76, 77, 89, 101, 103,
125, 127, 128, 129, 143, 154, 190, 197,
673, 761
Майкл Орлиный (Горный Орел) 316
Майовер Эмиль 5, 297, 298, 308, 317, 351,
355, 357, 389
Майорова Лика 474
Макринов Алексей 459, 460, 466, 655
Макринов Дмитрий 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36,
41, 43, 44, 46, 52, 56, 138, 460, 466, 656

- Макс «Макс Грязный с Петроградской» 482
 Макс Казанский 505
 Максимов Вадим 7, 393, 475, 761
 Малаховская Наталья 424
 Малов Виктор 328
 Малярова Ирина 266
 Мамонтов Марк 122
 Мандельштам Рюальд 143
 Марамзин Владимир 29
 Марина, буфетчица 196
 Марков Евгений 112
 Марковский Джон 288, 759
 Марченко Дмитрий 393, 475
 Масик (Столыпин Андрей) 452
 Маслов Олег 375
 Маслов Сергей 116, 117, 118, 753
 Маслов Юрий 116
 Масловатый Натан 98
 Матильда (Трубникова Татьяна) 447, 474, 479, 481, 482, 483, 485, 488, 489
 Матюшкина Ольга 416, 435, 436, 437, 441, 442, 762
 Машка-с-Ветеранов 474
 Мейлах Михаил 29, 40, 201, 368, 770
 Меликов Константин 112
 Мельников Юрий
 Мельц Игорь 18
 Мент Рижский (Варченя Андрей) 474, 482
 Менус Александр 451, 762
 Меркушев Альберт (Рыжий) 407
 Месс Ирина 44, 79
 Микки (Фавстов Михаил) 480, 481, 482
 Миллер Кирилл 7, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 762
 Минская Марина 71
 Минченко Алла 7, 29, 190, 201, 234, 235, 236, 238, 242, 244, 269, 537, 572, 573, 590, 762
 Мирзаян Александр 439, 447, 448
 Миронов Александр 5, 19, 26, 27, 28, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 94, 189, 212, 213, 237, 256, 291, 518, 649, 655, 656, 762
 Миропольский Геннадий 395
 Михайлов Вячеслав 202
 Михайлов Георгий 218, 228, 330, 346, 762
 Михайлов Дюша 404
 Михайлов Сергей 304, 307, 318, 351
 Михнов Евгений 16
 Мишин Валерий 22, 26, 146, 251, 256, 574, 749, 762
 Мнева Татьяна 116, 577, 763
 Молот 658
 Монах 508
 Морев Александр 12, 189, 239
 Мосизв Эдди 13
 Москалев 505
 Мочалов Лев 27
 Муратов Андрей (Мурзик) 402
 Мякишев Евгений 474
 Мячина Ольга (Мячик) 474
 Найман Анатолий 103, 187, 190
 Наumenko Майк 377, 386, 405, 406, 417, 419, 420, 425
 Наумов Юра 406, 407
 Начинкин Егор 274
 Невзоров Александр 22, 473
 Неменова Гертта 269
 Немтинов Виктор 27, 28, 34
 Несис Геннадий (Осенний) 25, 710
 Нестерова Елена 323, 324
 Нестеровский Владимир 7, 88, 239, 300, 358, 387, 579, 580, 726, 763
 Нечаев Вадим 230
 Ниворожкин 14
 Ник А. 28, 49, 50
 Никитин Михаил 207, 274
 Никифорова Ирина 19
 Николаев Николай 19, 26, 35, 44, 46, 51, 53, 56, 649, 652, 763
 Никольская Татьяна 17, 28, 239, 346, 763, 770
 Никола (Сажина Ольга) 474
 Никонова Ры 393, 395, 757
 Нисбауер фон, Арчибальд (Арчи) 369, 427, 428, 429, 466, 467, 468
 Новиков Михаил 63, 113, 582, 763
 Новиков Тимур 67, 191, 359, 360, 363, 375, 376, 377, 383, 388, 407, 415, 418, 424, 425, 465, 753
 Новиков Юрий 201, 285, 286, 424, 579, 582, 764
 Новоселов В. 749
 Нос Николай 14, 710
 Носевич Татьяна (Карен) 474
 Носов Сергей 752
 Нэнси (Ткаченко Инна) 447
 Овчинников Вадим 375, 376
 Овчинников Владимир 7, 22, 33, 191, 204, 212, 375, 764
 Оганов Константин 409
 Одуванчик Уфимский 484
 Окуджава Булат 55, 87, 168, 190, 448
 Окулов Владимир 7, 60, 62, 136, 201, 202, 238, 267, 330, 337, 764
 Олефир Сергей 239, 271, 358
 Олшанский В. 527
 Ольшевский Максим (Макс) 348, 439, 474, 488, 668, 672

- Оринова Елена 482, 483
 Орлов-Чесменский Алексей (Граф Потом-
 ственный Орлуша) 404, 474, 484
 Осенний Геннадий (Несис) 25, 710
 Осипенко Алла 288, 361, 759
 Останин Борис 30, 31, 86, 94, 191, 214, 274,
 277, 286, 750, 753, 757
 Островская Елена 86, 115
 Островский Сима 22
 Островский Яков 251, 255, 256
 Отряскин Андрей 407
 Охапкин Олег 7, 94, 139, 141, 142, 143, 168,
 183, 190, 201, 232, 234, 239, 241, 242,
 243, 267, 268, 271, 274, 277, 279, 320,
 330, 342, 361, 566, 571, 582, 584, 585,
 595, 602, 726, 756, 764
 Охтинский Леша 469
 Павлов Владимир 111
 Павлова Анна 403
 Павлова Татьяна 112
 Пазухин Евгений 12, 163, 586, 749, 764
 Палей Леня 13, 558, 559
 Пан Директор 315
 Панеях Лев 77, 79
 Панич Юлиан 309
 Паничева Татьяна 474
 Панов Андрей (Свинья) 406
 Панова В. 368
 Параджанов Сергей 46
 Параноик (Костя, Коша, Тихоня) 508
 Паршин Алексей 442, 447, 474
 Патраболова Галина 18
 Пасик Вова 404
 Паша Смоленский 492, 494, 495, 505
 Пашков 474
 Пес 508, 509
 Петраченко Юрий 228
 Петренко Михаил 8, 22, 25, 155, 188, 249,
 250, 254, 256, 257, 258, 260, 765
 Петренко Ольга 260
 Петров Владимир 438
 Петрова Танечка (Петька, Петрович) 450,
 475, 476, 477
 Петрунин Валентин 43
 Пешков (Андрэ) 474
 Пешков Владимир 7, 65, 69, 72, 173, 204,
 293, 298, 380, 383, 398, 401, 449, 474,
 546, 765
 Пешков Игорь 488
 Пинхасович (Ладогин) Вячеслав 8, 474, 475,
 760
 Писаренко Сергей 204, 205
 Плешкина Клара 13
 Погорелова Дина 726
 Подольский Наль 240, 269, 274, 330
 Подрабинек А. 727
 Полевой Василий 225, 227
 Полковник Валера 162, 308, 316, 352,
 366, 367, 474
 Поляков Эммануил 88
 Понизовский Борис 18, 214, 368, 476
 Пономаренко Татьяна 334, 765
 Понтон Мишель 60, 63, 765
 Попов Александр 320, 321
 Попов Валерий 177
 Попов Леонид 673, 748
 Потемкина Лариса 86
 «Поэт» Андрей 494,
 Пригов Дмитрий 287
 Приходько Г. 145
 Прицкер Евгений 249
 Прокофьев Александр 25, 35, 36, 41, 42, 43,
 52, 53, 655
 Пудовкина Елена 7, 201, 203, 234, 239, 240,
 241, 266, 274, 277, 279, 588, 589, 765
 Пузыно Борис 451
 Пурешинская Рита 19
 Пуссер Евгений 393
 Путилин А. 195
 Пушкарева Марина 300, 350
 Рабин Оскар 211
 Работнова Виктория 442, 447
 Равинский Дмитрий 79, 118, 122, 765
 Райский Борис 388
 Райхельгауз Иосиф 144
 Раппопорт Алина 215
 Раппопорт Александр 367, 473
 Раскин Дмитрий (Распий) 365, 369, 370
 Распылитель 367
 Рейман Петр 219
 Рейман Сергей 143
 Рейн Галина 215
 Рейн Евгений 15, 93, 101, 187, 190, 215,
 239, 240, 283, 734
 Рекшан Владимир 356, 357, 365, 387, 415,
 766
 Реутский Олег 112
 Рикшет 474
 Рогинский Арсений 44, 45
 Родичев Б. 726
 Розенфельд Алексей 217
 Рокенрол Ник 473
 Романов Андрей 215, 386
 Ромашка 484, 486
 Ромм Анатолий 152, 161, 183, 324, 328, 329
 Рохлин Борис 190
 Рощин Олег 7, 711, 712, 719
 Ртомкер Фил (Андрей) 451

- Рубина 474
 Рубинштейн Борис 129
 Рубинштейн Наталья 129, 766
 Рубинштейн Нина 7, 103
 Рубинштейн Яков 191
 Руденко Владимир 189
 Руденко Геннадий 78
 Рудкевич Лев 22, 93, 189, 766
 Румянцев Владимир 112
 Рухин Евгений 94, 211, 230, 246, 247
 Рыбаков Юлий 274
 Рыбин Алексей 405
 Рыжий (Меркушев Альберт) 407
 Рыкова Н. Я. 368
 Рязуов Л. 726
- Савво Игорь 113
 Сажина Ольга (Николя) 474
 Саламандра Кира 312
 Саламандра Мирон 37, 52, 79
 Салат 474
 Самарин Тиль Валентин-Мария 25, 202, 246, 361, 362, 363, 423, 424, 425
 Самойлов Петр 407
 Сандро 507
 Санжмятав Долгор 513, 766
 Санчо 474
 Сапожников Николай 303, 308, 312
 Саутер Павел 207
 Сафарьянц Александр 219
 Сафро Юлия 402
 Саша Крыс 474, 484, 486
 Света «Ништяк» 404
 Свиныя (Панов Андрей) 406
 Свяцкий 133
 Севастьянов Александр 135, 137
 Севастьянов Анатолий 100
 Северюхин Дмитрий 753
 Седакова Ольга 29, 239, 241, 395
 Седой 316
 Селедка 359
 Сельский 316
 Семенов Глеб 622, 623
 Сения Скорпион 451, 472, 473, 474, 482, 488
 Сергеева Ирэна 13
 Сергеева Тамара 300
 Сергуна 483, 485, 486
 Сережа Художник 482, 483, 485, 486
 Сигей Сергей 393, 395, 757
 Синицкая Софья 348, 352, 510, 766
 Синявин Игорь 203
 Сиротова Любовь 487
 Скачкова Надежда 306
 Скидан Александр 31
 Скифа 474
- Скобкина Лариса 160
 Славина Т. 655
 Славинская Антонина 183, 294
 Славинский Геннадий 79
 Славинский Ефим 18, 130
 Слэзкина Ольга 441
 Словенов Славко 7, 119, 143, 173, 295, 300, 591, 592, 726, 738, 766
 Случевский Константин 33
 Слэм 401
 Слюнь (Гаркуша Олег) 359, 360, 399, 400, 401, 406, 473
 Смелков Евгений 377
 Смелов Борис 195, 202, 244, 329
 Смирнов Вадим 400
 Смирнов Владимир 112
 Смирнов Игорь 474
 Смирнова Алла 434
 Смирнова Юля 474
 Смоктуновский Иннокентий 87
 Соколов 12
 Соколов Александр 239
 Соколов М. 41
 Соколов С. И. 441, 442
 Сологуб Григорий 406
 Соня Череп 194
 Сорокин Владимир 351
 Сорокин Геннадий 256
 Соснора Виктор 22, 177, 433, 434, 436, 438, 443, 447, 470, 471, 476, 671
 Сотников Иван 114, 375, 474
 Соу Ич 474
 Сочнев Борис 79
 Старовойтова Галина 83, 85, 189, 766
 Старовойтова Ольга 80, 766
 Стелла, буфетчица 74, 76, 154, 296, 302, 349, 415, 416, 437, 480
 Степанов Сергей 434
 Стефанович Александр 46
 Стефанович Людмила 19
 Столыпин Андрей (Масик) 452
 Стратановский Сергей 31, 190, 234, 239, 279
 Строгий Евгений 88
 Суворова Татьяна 301, 766
 Сулханянц Николай 112
 Сухотина Мария 435
 Сюся (Липовская Наталья) 377, 387
- Таболов Делик 183
 Тайгин Борис 168, 712, 759, 770
 Танчик Сергей 19, 33, 213, 712
 Тараканов Юра (Таракан) 709
 Тарасов 408
 Тарутин Олег 247

- Тахтажжан Сурен 22
 Телевизор 349
 Тельнова Елена 367, 368, 369
 Тереньев Игорь 396
 Терешонок Валентина 19
 Терри (Колод Люда) 409
 Теткина Елена 306
 Тиль Валентин-Мария Самарин 25, 202,
 246, 361, 362, 363, 423, 424, 425
 Тимофеева Александра 436
 Тимур (Беришвили Теймураз) 461
 Тихоня (Костя, Коша, Параноик) 508
 Тищенко Борис 246
 Ткаченко Инна (Нэнси) 447
 Толик Гродненский 505
 Толик Феодосийский 509
 Томашевская Анастасия 20
 Томошевский Юрий 20
 Топоров Виктор 25, 36, 40, 133, 135, 142,
 149, 153, 161, 168, 172, 177, 178, 182,
 183, 190, 262, 342, 415, 530, 545, 595,
 749, 766
 Транк М. К. 451
 Трахтенберг Борис 112
 Трепов В. 173, 726, 738
 Трифонов Геннадий 368
 Тронь Александр 110, 111, 755, 766
 Трубищник Маша 417, 434, 458, 474
 Трубицын Валерий 7, 725, 726, 729, 767
 Трубников Борис 7, 439, 468, 469, 474, 480,
 487, 488, 490, 767
 Трубникова Татьяна (Матильда) 7, 447, 474,
 479, 481, 482, 483, 485, 488, 489, 767
 Тряпицын Вячеслав 112
 Тумаринсон Михаил 385
 Турышева Виктория 451
 Тюльпанов Игорь 709
- Угрюмов Н. 474
 Улан Влад 403, 474
 Умка (Герасимова Анна) 6, 417, 419, 646,
 767
 Ункова Кари 239, 246, 596, 725, 767
 Ункова Марина 246, 767
 Усвятцов Леонид 326, 329, 474
 Усов Игорь 368
 Уфлянд Владимир 12, 208, 476, 764
 Ушаков Виктор 8
- Фавстов Михаил (Микки) 480, 481, 482
 Фанштейн Михаил 385, 768
 Фаррахов Ильдус 7
 Фафлоткин Александр 474
 Федоров Дмитрий 409
 Федоров Евгений 404,
 Федоров Леонид 399
 Федоровский Натан 142, 161
 Федосова Елена 305, 306
 Федяков Алексей 407
 Фейгин Алексей 184
 Фенев Александр 709
 Феоктистов Алексей 465
 Фигура 474
 Фигурина Елена 362
 Филатов Валерий 7, 726, 743
 Филимонов Вадим 203
 Филиппов Борис 525, 648, 702, 729
 Филиппов Василий 599, 659, 768
 Филиппов Геннадий 122, 296, 297
 Филиппов Николай 115
 Финкельштейн Андрей 112
 Френк 474, 483, 484
 Фтататита 505
- Хазов (Волчонок) 474
 Ханан Владимир 28, 31, 143, 221, 239, 271,
 273, 277, 768
 Харитонов Евгений 395
 Хасин Григорий 475
 Хватов Виктор 305
 Хвостенко Алексей 18, 22, 27, 34, 48, 140,
 240, 241, 246
 Хейф Виктор 33, 37, 52
 Хейфиц Илья 469
 Хеопс-Твою-Мать 505
 Хомутов Вячеслав 452
 Хренов Сергей 157, 308, 332, 768
- Цветов Роман 78, 122
 Цейтлин Борис 144
 Цой Виктор 101, 291, 357, 375, 400, 405,
 478
- Чарный Сергей 142, 151, 161, 179
 Чевычелов Слава 78
 Чегунов Константин (Чегуней) 416, 423,
 432, 438, 441, 487
 Чежин Иван 162
 Чейгин Петр 7, 8, 143, 153, 168, 173, 190,
 191, 234, 238, 239, 267, 271, 273, 589,
 601, 602, 608, 659, 711, 726, 768
 Чекасин 408
 Чекменов Сергей 114
 Череп 316
 Черниговский Николай 152, 161, 162, 174,
 181, 342, 768
 Чернов Андрей 247, 768
 Чернова Ася 239
 Черногорова Наталья 49, 50
 Черняк Илья 5, 41, 46, 50, 769

- Чечельницкий Леонид 79
 Чикадзе Елена 275
 Чириков Владимир 206
 Чирсков Федор 157, 262, 264, 265, 666, 667, 769
 Чупов Борис 195
 Чурбанов Вадим 13
 Чурилин Александр 26, 33, 41, 43, 52
- Шавалашвили Аркадий (Шалик, Шавый, Дерибас, Король Дерибасовской) 315, 316
 Шавкунов Олег 409, 410
 Шагаль Михаил 313
 Шагин Владимир 259
 Шагин Дмитрий 245, 268, 284, 356, 357, 361, 625, 707
 Шаков Игорь 77
 Шикова Татьяна 77
 Шалыт Владимир 143, 173, 603, 604, 726, 769
 Шамис Ольга 474
 Шапиро Ефим 363
 Шарымова Наташа 20
 Шварц Елена 31, 86, 94, 163, 168, 183, 187, 283, 415, 421, 476, 553, 726
 Швейгольц Владимир (Володя Безногий) 34, 216, 218, 462, 463
 Швейк Костя 403, 480, 481, 483, 484
 Швер Валерий 183
 Швер Наталья 183
 Швец Леонид (Богачев Саша) 367, 368, 369
 Шевцов Андрей 403
 Шевцов Иван 44
 Шевчук Юрий 101, 287, 291
 Шейдин Александр 37, 44, 72
 Шемякин Михаил 12, 109, 140, 195, 199, 206, 207, 208, 209, 227, 228, 230, 764
 Шемякина Доротея 198
 Шеремет Татьяна 459, 464
 Шерман Виктор 387
 Шерри (Шери) 474, 487, 491
 Шестаков Александр 78
 Шестаков Леонид 87, 88
 Шехирев Николай 482
 Шилова Франческа 487
 Шинкарев Алексей 465, 466
 Ширали Виктор 5, 7, 17, 22, 113, 119, 133, 135, 136, 139, 142, 143, 150, 161, 168, 173, 190, 191, 193, 203, 236, 237, 239, 256, 266, 267, 271, 272, 273, 295, 325, 328, 330, 342, 415, 437, 536, 595, 605, 607, 658, 726, 727, 738
- Шкаф Боря 162, 316
 Шкирко Иван 268
 Шкловская Елена 239, 240
 Шкодин Сергей 363
 Шмидт Елена 297
 Шнейдерман Эдуард 12, 31, 279, 282, 283, 288
 Шор Юлия 93 94
 Шпинак Дмитрий 404
 Штамм Александр 97, 769
 Шульгинадзе 79
 Шульц Алексей 218
 Шура Хайрастый 455, 458
 Шуруп 509
- Щедровицкий Дмитрий 395
 Щербина Татьяна 395
- Эдлин Анатолий 726
 Элик Юрий 8
 Элис Рижский 474, 484, 486
 Элла-не-Фитцджеральд 315
 Эмиль (Майовер) 5, 297, 298, 308, 317, 351, 355, 357, 389
 Энди (Питерский) 404, 474, 483, 484, 485, 486, 647, 769
 Энди-младший 474
 Эрль Владимир 7, 8, 14, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 138, 140, 156, 189, 193, 194, 235, 237, 249, 256, 280, 292, 330, 419, 522, 649, 658, 726, 769
- Юджин (Глыбин Витюша) 473
 Юдин Александр 12
 Юзефпольская Софья 481, 483
 Юпп Михаил 7, 11, 22, 33, 37, 39, 52, 55, 56, 73, 143, 168, 205, 206, 324, 325, 610, 655, 656, 709, 712, 726, 738, 770
 Юрий Петрович 315, 770
 Юрьев Олег 627
 Юфит Женя (Юфа) 375, 406
- Яковлев В. П. 439
 Яковлева Наталия (Ермолаева) 386, 770
 Ярмолинский Юрий 36, 78
 Яснов Михаил 128, 129, 165, 248, 614, 770
 Яшугин Николай 161, 175
 Яшунский Роман (епископ Нектарий Олимпийский) 454, 770

- Барзас В. Поминки по «Сайгону» // Час пик. 1991. № 46. 18 ноября.
- Безродный В. Глоток вина и свободы // Санкт-Петербургская еженедельная газета. 1993. № 12 (017). 8 — 14 апреля.
- Берман К. Невский проспект // Наш Техас. 2003. 2 мая. Режим доступа: <http://www.ourtx.com/?a=502&print=1>
- Богословская Е. «Сайгон», облагороженный в свете последних требований // Час пик. 1990. № 5. 4 июня.
- Богословская Е. Здравствуй, «Сайгон»! И прощай навсегда // Час пик. 1992. № 31. 3 августа.
- [Буковская Т., Мурин А. и др.] «Сайгон» // «Москва» — «Сайгон» — «Radisson SAS Royal Hotel» (Из истории одного дома) / Сост. В. К. Ушаков. СПб., 2003. С. 243—336.
- Буренина М. От «Сайгона» к «Невскому палацу» // Прогулки по Невскому проспекту. СПб., 2002.
- [В. Т.] Беляев обещал вернуть «Сайгон» // Невское время. 1993. № 98 (507). 27 мая.
- Варламова. Унитазы от «Сайгона» // Хипилэнд. 1993. № 1. С. 11—12.
- Васильев В. «Сайгон»: и вкуснее и дешевле // Вечерний Петербург. 1995. № 212 (20674). 15 ноября.
- [Васильев С., Гурвиц И., Ковалев А., Лурье В. и др.] Город // Археология и не только: к тридцатилетию Сибирской археологической экспедиции Ленинградского Дворца пионеров / Сост. С. Г. Васильев, А. В. Виноградов, А. А. Иконников-Галицкий. СПб., 2002. С. 364—392.
- Васюточкин Г. С., Кривулин В. Б. Петербургский миф в эпоху постмодернизма // Петербургские вечера: [Сб. ст.] / Всемирный клуб петербуржцев. СПб., 1995. С. 30—52.
- Веллер М. Легенды «Сайгона» // Веллер М. Легенды Невского проспекта. СПб.; М., 2000. С. 165—292.
- Вензель Е. Ленинград 70-х: пьянство как способ бытия // Пчела. 1998. № 12.
- [Вензель Е.] На бойком месте: интервью // Пчела. 1996. № 6.
- Владимирова Е. Унитазы от «Сайгона» // Хиппилэнд. 1993. № 1.
- Вышли мы все из «Сайгона» // Литератор. 1990. № 20. 8 июня.
- Гладарев Б. Жизненные миры «особой» ленинградской молодежи // Неприкосновенный запас. 2004. № 4 (36).
- Голь Н. Концентрические круги // Пчела. 1998. № 12.
- Горбовский Г. Я. Остывшие следы // Нева. 1991. № 4.
- Гребенщиков Б. Сайгон // Пчела. 1996. № 6.
- Григорьев Георгий. «Течет портвейн в канале Грибоедова»... (фрагменты) // Ленинград. 70-е. В лицах и личностях. / Авт.-сост. Л. Скобкина. СПб., 2000. С. 89—90. (Републиковано: Герои ленинградской культуры. 1950—1980-е. / Сост. Л. Скобкина. СПб., 2005. С. 127).
- Гук О., Дугаев Д. Академичка // Пчела. 1996. № 6.
- Гуницкий А. В пять у «Сайгона» // Вечерний Петербург. 1994. № 113 (20303). 25 мая.
- Гуницкий А. Скептические вариации // Вечерний Петербург. 1996. № 29 (20731). 14 февраля.
- Дембо Ж. На Владимирском открылся аудиовидео «Сайгон» // Смена. 1997. № 62—63 (21642-21643). 21 марта.
- Долинин В., Северюхин Д. Преодоление немоты: Ленинградский самиздат в контексте независимого культурного движения 1953 — 1991. СПб., 2003.
- Запесоцкий А. С. Молодежь в современном мире: Проблемы индивидуализации и соц.-культ. интеграции / С.-Петерб. гуманит. ун-т профсоюзов. СПб., 1996.
- Захарова Н. Жизнь вопреки // На дне. 2001. № 22 (123). 16—30 ноября.

* Настоящая библиография носит предварительный характер и не претендует на полноту. В нее не вошли художественные произведения, посвященные «Сайгону».

- Здравомыслова Е. Кафе «Сайгон» как общественное место // Гражданское общество на Европейском Севере: понятие и контекст. Материалы международного семинара / Под ред. Е. Здравомысловой и К. Хейккинен. Центр независимых социальных исследований. Труды. Вып. 3. СПб., 1996. С. 37–40.
- Здравомыслова Е. Наркоманы на Невском // Пчела. 1996. № 6.
- Каралис Д. А был ли «Сайгон» // Невское время. 2006. № 3592. 13 февраля.
- Карчик М. Сказка ложь, да в ней намек, или Устное народное творчество недавнего времени // Смена. 1992. № 278 (20328). 3 декабря.
- Кондратьев В. Из книги «Кабинет фигур» // Комментарии. 1994. № 3. С. 195–211.
- Кошванец В. Тост «за демократию» // Ленинградская правда. 1986. № 172 (21714). 27 июля.
- Крапивина Е. Где Вы, доктор Фауст? // Смена. 1999. № 222 (22404). 31 августа.
- [Кривулин В.] Невский до и после великой кофейной революции: интервью // Пчела. — 1996. № 6.
- Крюкова Е., Кром Е. Объединяющий центр — батарея. Ее на всех хватит: Мемуары петербуржца // Час пик. 1991. № 8 (53). 25 февраля.
- Кузьминский К. Поэты и кафе-шалманы // У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology of Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. Newtonville, Mass., U.S.A.: Oriental Research Partners. 1980–1986. Т. 4а. С. 150–153.
- Лавров В. Проверка на правду (комментарий «От редакции») // Ленинградская правда. 1988. 1 октября.
- Лещинский А. Капитуляция «Сайгона» // Наблюдатель. Ежедневная газета «Невского времени». 1997. № 20. 11 июля.
- Лурье Л. Утром «Академичка» — вечером «Сайгон»: интервью // Смена. 1997. № 171 (21751). 6 августа.
- Лурье Л. Как Невский проспект победил площадь Пролетарской диктатуры // Звезда. 1998. № 8.
- Лурье Л. Я. Кафе и локальная культура: от «Доминика» до «Сайгона» // Заповедная зона Ленинграда: вчера, сегодня, завтра: мат.-лы научно-практич. конф. Л., 1989. С. 40–42.
- Лурье Л. Я. Прощай, «Сайгон»! // Вечерний Ленинград. 1990. № 39 (19029). 15 февраля.
- Марков Б. В. «Сайгон» и «Слоны» — институты эмансипации? // Метафизика Петербурга. Петерб. чтения по теории, истории и философии культуры. СПб., 1993. Вып. 1. С. 130–145.
- Невская А., Трофименков М. Американцы взяли «Сайгон» // Коммерсант. 2001. № 129 (2259). 24 июля.
- НЕВСКИЙ проспект — от стиляг до скинхедов / Интервью брали: Л. Лурье, С. Чернов, Д. Дугаев и др. // Пчела. 1996. № 10.
- Ненашев С. В., Пилатов С. Г. Дети андеграунда: Приглашение к разговору: [О современ. молод. неформал. движениях]. Л., 1990.
- Пешков В. «Сайгон», северная «Ротонда» // Эстрада и цирк. 1993. № 5/6.
- Полтовский С. На Невском открывается «Сайгон» // Коммерсант дейли. 1999. № 130. 24 июля.
- Пономарев И. Неформалы на Невском // Нева. 2004. № 3.
- Прийма И. «Сайгон» — отцы и дети // Ленинградская панорама. 1989. № 2.
- Пудовкина Е. Путь из «Сайгона» в виртуальную реальность лежит через хлев // Час пик. 1996. № 198 (703). 13 ноября.
- Синдаловский Н. На чашечку кофе в «Сайгон» // Утро Петербурга. 2006. № 430. 11 декабря.
- Синдаловский Н. А. «Сайгон» // Петербург: От дома к дому... От легенды к легенде... Путеводитель. СПб., 2000. С. 112–113.
- Синдаловский Н. А. Вдоль по Невскому, или «...век “Сайгона” не выдать» // Ресторан эксклюзив. 1997. № 1.
- [Сменовцы-сайгоновцы] Пепел «Сайгона» стучит в наши сердца // Смена. 1993. № 35–36 (20385–20386). 13 февраля.

Соколов В. И. Хиппи. Места общения молодежи: кафе «Сайгон», «Ротонда», «Бом-бей» // Соколов В. И. История молодежного движения России (СССР) второй половины XIX–XX века: Очерки М., 1997. Ч. 2. С. 167.

Сторонний В. Петербург без «Сайгона» // Смена. 1992. № 178 (20228). 4 августа.

Сторонний В. Плач по «Сайгону» // Смена. 1990. № 200 (19650). 1 сентября.

Тогда и сейчас. Истории людей «Сайгона» // Невское время. 2004. № 3144. 7 апреля.

[Топоров В.] Мы выпивали каждый день: интервью // Пчела. 1996. № 6.

Топоров В. «Сайгон» и мыши // Город. 2008. № 12 (283). 7–13 апреля.

Топоров В. Л. «Сайгон» и вокруг // Топоров В. Л. Двойное дно: Признания скандалиста. М., 1999. С. 110–136.

Третьяков О. Ночи Ленинграда в Нанте // Невское время. 1991. № 7. 15 января.

Уздина В. «Сайгон» как зеркало приватизации // Смена. 1993. № 122 (20502). 27 мая.

Флор. Он украшает петербургский пейзаж: интервью // Смена. 1993. № 132 (20512). 11 июня.

Халиф Л. Из рукописи «ЦДЛ» // У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology o Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский. — Ньютонвилл. 1980–1986. Т. 4а. С. 154–158.

Халиф Л. «Сайгон» // У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology o Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. — Newtonville, Mass., U.S.A.: Oriental Research Partners. 1980–1986. Т. 4а. С. 155–158.

Хохрев А. «Сайгон» — место всех встреч // Новости Петербурга. 2007. № 30 (507). 7–13 августа.

Шаркова Е. «Сайгон» переехал и больше не умрет // СПб эхо. 1999. 12 мая.

Шульгина Е., Файн А. П. Молчаливый бунт волосатых // Молодежь: Цифры. Факты. Мнения. 1996. № 1.

Щепанская Т. Б. Система: тексты и традиции субкультуры. М., 2004.

Щепанская Т. Б. Символика молодежной субкультуры: Опыт этнографического исследования Системы, 1986–1989 гг. / Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). СПб., 1993.

Щербачева Е. Город открыл «Сайгон» // Смена. 1999. 27 июня.

Zdravomyslova E. The Cafe Saigon Tusovka: One Segment of the Informal-public Sphere of Late Soviet Society // Biographical Research in Eastern Europe. Altered Lives and Broken Biographies / R. Miller, R. Humphrey, E. Zdravomyslova (Eds.) Ashgate. L., 2003.

Справочники

«Сайгон» // Самиздат Ленинграда. 1950-е — 1980-е. Литературная энциклопедия / Под общей редакцией Д. Северюхина. М., 2003. С. 23.

Специальные издания

«Saigonskaya kultura» (S-Culture): Russian-American magazine / Editor: Mikhail Petrenko. № 1–48. San Francisco, 2001–2008.

Антологии

У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology o Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. — Newtonville, Mass., U.S.A.: Oriental Research Partners. 1980–1986. Т. 4а.

Фильмография

Что такое «Сайгон»? (Из цикла «Петербургские истории»). / Автор и ведущая Т. И. Ковалькова. // Пятое колесо. 1988. 22 сентября.

Чхая о «Сайгоне». Документально-игровой фильм. (27 мин.) Автор сценария и режиссер В. Витухновский. Ленфильм. 1992.

«Сайгон». Документальный фильм. (12 мин., видео). Режиссер А. В. Киселев. Санкт-Петербургская студия документальных фильмов. 2003.

Маленький двойной. 3 серии. / Автор и ведущий Лев Лурье. — ОАО ТРК «Петербург — Пятый канал». // Культурный слой. 2004. («Маленький двойной». Часть 1. — 7 октября; «Маленький двойной: Топка». Часть 2. — 14 октября; «Маленький двойной: “Сайгон” наносит ответный удар». Часть 3. — 21 октября).

Интернет-источники

Группа для тех, кто помнит «Сайгон» до того, как он стал магазинами сантехники и компакт-дисков, а также клубом на Невском, 7 [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://vkontakte.ru/club1044974>

Кружнов Ю. Н. «Сайгон», кафе // Энциклопедия Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://www.ensspb.ru/article.php?kod=2804016914>

Лурье В. Микротопонимика Ленинграда — Питера [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/1_AM/microtop.html

У Голубой Лагуны: антология новейшей русской поэзии (The Blue Lagoon Anthology о Modern Russian Poetry): В 5 т., 9 кн. / Сост. К. Кузьминский, Г. Ковалев. — Newtonville, Mass., U.S.A.: Oriental Research Partners. — 1980 — 1986. Т.4а. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://kkk-bluelagoon-2.nm.ru/tom4a/saigon.htm>

«Сайгон»: осколки истории [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://www.hippy.ru/saigon.htm>

«Сайгон» умер! Да здравствует «Сайгон»! [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://saigon.spb.su/>

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	3
--------------------------	---

КОФЕЙНЫЕ МАРШРУТЫ

Константин Кузьминский. Поэты и кафе-шалманы	11
Виктор Кривулин. Невский до и после великой кофейной революции	15
Татьяна Никольская. Беглые заметки на кофейную тему	17
Тамара Буковская. От «кофейной» культуры к платоновской Академии	20

МАЛАЯ САДОВАЯ

Владимир Эрль. Где это. Когда это	25
Александр Мионов. Малая Садовая. 1960-е	32
Николай Иванович Николаев. Под знаком 1964-го	35
Борис Констриктор. История одной картинки	49
Илья Черняк. Воспоминания одного нелитератора	50

«САЙГОН»

Эрик Горошевский. Точка входа в историческую драму	59
Виктор Кривулин. Кофейная культура	59
Мишель Понтон. Париж — Ленинград	60
Татьяна Горичева. Сумерки «Сайгона»	61
Борис Кошелухов. Диалоги сайгонавтов	64

Рассвет. Конец 1960-х — начало 1970-х

Евгений Белодубровский. «Saigonulations», или Письмо к Юлии Валиевой	70
Ольга Старовойтова. Мой «Сайгон»	80
Юрий Динабург. Жанровые сценки эпохи «Сайгона»	84
Вячеслав Долинин. На пересечении двух проспектов	87

Лев Рудкевич. «37» — «Грани»	93
Александр Штамм. «Вы пирог съели?» — «Я-то съел, жена доедает»	97
Феликс Балонов. Читать глину в глине	102
Игорь Андреев. Еще раз про «Сайгон»!	107
Александр Тронь, Александр Земцов. Как мы бывали в «Сайгоне»	110
Михаил Новиков. От «Сайгона» до Рима.	113
Татьяна Мнѣва. Место бездействия	116
Дмитрий Равинский. Лучшая пора нашей жизни	118
Сергей Белов. «Сайгон» — это судьба	121
Вера Кобец. Со стороны, субъективно, с любовью.	122
Виктор Лисняк. Мы были страстными людьми...	125
Наталья Рубинштейн. Внизу, где был когда-то «Главтабак»...	129

Prime Time. 1970-е

Виктор Ширали. «Вам все ещё никак Париж не позабыть...».	135
Олег Охапкин. Классические годы «Сайгона»	139
Олег Охапкин. Одна из легенд «Сайгона»	141
Петр Брандт. Джентльмены из «Подмосковья».	141
Аркадий Драгомощенко, Николай Беляк Мы говорим не о месте, а о судьбе поколения	146
Лев Лурье. «Сайгон» и окрестности	148
Петр Чейгин. Кто привёл меня в «Сайгон»?	153
Евгений Вензель. Одиночество и свобода.	160
Евгений Пазухин. Антисоциум	163
Николай Беляк. Культура эпиграммы	170
Владимир Безродный. Ностальгия по настоящему. Глоток вина и свободы	172
Николай Черниговский. Мне еще не сто лет	174
Николай Голь. Концентрические круги (лиро-аналитический этюд).	181
Аркадий Драгомощенко. Многое тогда просто витало в воздухе...	182
Сергей Коровин. «Сайгон» как «Сайгон»	185
Юрий Кублановский. Тайна «Сайгона»	187
Елена Игнатова. Не только о «Сайгоне»...	189
Анатолий Белкин. Угол Невского и судьбы.	191
Валерий Козиев (Вальран). Я познакомился в «Сайгоне»...	196
Наталья Казимировская. Что там на донышке души...	197
Владимир Окзлов. На улице Жуковского.	201
Владимир Овчинников. Комедия «Сайгона»	204
Кирилл Козырев. Папочка и домашняя «Малая Садовая»	212
Олег Леваков. Юноши — в тулупах, дамы — в шапокляках	219
Владимир Ханан. Sic transit...	221
Владлен Гаврильчик. Большая литература существует...	224
Георгий Михайлов. Я из «Сайгона» их вытаскивал...	228
Валентин Левитин. Встречи с поэтами	231
Алла Минченко. Из книги «Имена ноосферы».	235
Марина Унксова. Кари (моя сестра).	246
Андрей Чернов. История одной эпиграммы	247
Михаил Петренко. Сайгонская культура	249

Анна Кацман (Кривулина). Кофе с лимоном — вкус времени	261
Андрей Арьев. Еще одна остановка (о Федоре Чирскове)	264
Елена Пудовкина. Взгляд из Коломны.	266
Борис Лихтенфельд. Прогулки и путешествия	271
Юрий Колкер. Мои кочегарки	275
Юрий Новиков. Однажды в «Сайгоне»...	285

Эрик Горошевский, Николай Беляк. Нарисуйте «Сайгон»...	294
Татьяна Богомолова. Галантный век «Сайгона»	295
Татьяна Суворова. Не изменять памяти	301
Наталья Крачун. Богема	303
Александр Киселев. Перекресток	309
Юрий Петрович («Йог»). «Чем ты занимаешься?» — «Живу!»	315
Владимир Дубровский. Полк «7Б»	317
Петр Брандт. Саша Попов.	321
Мария Ланина. Глоток свободы	323
Мария Ланина. Из дневника	327
Ольга Корсунова. Из круга в круг	328
Василий Кондратьев. Памяти Сергея Хренова	331
Татьяна Пономаренко. О Борисе Кудрякове	334
Наталья Иевлева. Amor fati (памяти Леонида Усвятцава).	334

Аркадий Драгомощенко. Cui bono?	338
Елена Здравомыслова. «Сайгон» в рассказах завсегдатаев 1970-х годов	338
Лев Лурье. «Сайгон» и «Дерзание»	348
Виктор Колесников (Колесо). Записки сумасшедшего (фрагменты)	348
Виктор Колесников, Светлана Колесникова. Эпизоды	352
Аркадий Драгомощенко, Николай Беляк. Сухой остаток	352

Закат. Середина 1970-х — начало 1980-х

Владимир Андреев. Народ Книги	355
Кирилл Миллер. Продемонстрировать себя, такого красивого...	357
Александр Донских. Кофе и папиросы.	363
Владимир Рекшан. Бражники.	365
Ольга Жук. Строгая девушка (фрагменты рукописи)	367
Дмитрий Раскин. Я обогрел «Сайгон»	369

Сергей Бутаев (Африка). Поджечь рояль.	374
Сергей Курёхин. Кактусовый сад	378
Сергей Дебижев. Формат бытия	378
Владимир Пешков. В ожидании чуда	383
Михаил Фанштейн. «Playboy» и дамская сумочка	385
Наталья Яковлева (Ермолаева). Где эта улица, где этот дом	386
Владимир Волков. «Никогда не разговаривайте с неизвестными...».	387
Сергей Ковальский. Passion Play.	389
Вадим Максимов. От самиздата к свободному театру	393
Олег Гаркуша. Звуки «Сайгона»	399
Кэт Питерская. Музыкальная жизнь	402
Дмитрий Каховский. Исчезнувшая музыка	407

Андрей Иконников-Галицкий.

Маленький ленинградский Монмартрик 413
Вадим Лурье (игумен Григорий).

Детские впечатления, или В каком «Сайгоне» я вырос 417

Инна Гурвиц. «Что тебе-то в нем? Запах тех лет...» 432

Ольга Матюшкина. Утренняя чашка кофе 437

Сергей Васильев (Вася).

Свободно и благодатно, хоть и не беспроблемно... 438

Алексей Ковалев. Группа национальных умов Ленинграда 442

Павел Азбелев. Из дневника археолога 445

Дмитрий Григорьев. Уйти в Вавилон. 450

Александр Менус. Отправная точка 451

Юрий Веселов. Череп и бритва (фрагменты). 453

Роман Яшунский (епископ Нектарий Олимпийский).

Мои мемуары (фрагменты из книги). 454

Борис Трубников. Жизнь «без оглядки» 468

Вячеслав Ладогин. Письмо Танечке Петровой о Томе Лермонте,
кафе «Сайгон» в стихах Бродского 475

Татьяна Трубникова (Матильда). Ветер свободы в лицо 479

Александр Вяльцев (Пессимист).

Человек на дороге. Записки об автостопе. (фрагменты из книги) 491

София Синицкая. Колесо 510

АНТОЛОГИЯ «МАЛЕНЬКИЙ ДВОЙНОЙ»

Из поэзии «Малой Садовой»

Тамара Буковская 515

Борис Констриктор 517

Александр Миронов 518

Владимир Эрль 522

В кругу сайгонавтов. 1970-е

Владимир Безродный 526

Петр Брандт 527

Владимир Бударагин 528

Евгений Вензель 530

Юлия Вознесенская 536

Геннадий Григорьев 539

Георгий Григорьев 540

Михаил Зарайский 546

Виктор Кривулин 549

Юрий Кузлановский 553

Константин Кузьминский 555

Борис Куприянов 563

Мария Ланина 568

Борис Лихтенфельд 569

Алла Минченко	572
Валерий Мишин	574
Татьяна Мнёва	577
Владимир Нестеровский	579
Михаил Новиков	582
Олег Охапкин	582
Евгений Пазухин	586
Славко Словенов	591
Виктор Топоров	595
Кари Ункова	596
Василий Филиппов	599
Петр Чейгин	602
Владимир Шалыт	603
Виктор Ширали	605
Михаил Юпп	610
Михаил Яснoв	614

В кругу сайгонавтов. 1980-е

Анна Горенко	626
Анджей Иконников-Галицкий	626
Евгений Мякишев	627
Вячеслав Ладогин	629
Дмитрий Раскин, Александр Донских	645
Дмитрий Раскин	645
Умка (Анна Герасимова).	646
Энди	647

Проза

Владимир Эрль	
Про то, как Коля Николаев в каше сидел	649
Послеобеденное приключение	652
Приусадебный участок	653
Писатель у себя дома	654
Булочки детства. (Рассказы).	656
Владимир Лапенков	
«Сайгон». (Отрывок)	657
Василий Филиппов	
Три богатыря. (Рассказ)	659
Евгений Звягин	
Возведение сада. (Рассказ).	659
Федор Чирсков	
Окно. (Рассказ)	666
Бомжир	
Телефон. (Рассказ)	667
Марк Мазья	
Человек из шкатулки. (Повесть)	673
Юлия Ли	
Шум времени. (Повесть)	690

АРХИВ «БЕЗ ВОДЫ, ПОЖАЛУЙСТА»

Часть 1. Страна Sajgonia

Константин Кузьминский	
Юпп и Гера Григорьев (о стукачах, графоманах и непризнанных) . . .	709
Михаил Юпп	712
Александр Кутев	714
Владимир Евсеев (Боечко)	716
Олег Рощин	719
Михаил Бестужев-Взятко	720

Часть 2. Поэты кафе «Сайгон»

Валерий Трубицын. История создания сборника	
«Поэты кафе «Сайгон» 1960 — 1980-х годов»	725
Сергей Белов. Вторая культура	728
Поэты кафе «Сайгон» 1960 — 1980-х годов	
Генрих Абельмас	729
Владимир Безродный	731
Михаил Бестужев	739
Герман Григорьев	740
Вильям Добровлянский	741
Михаил Зарайский	742
Валерий Филатов	743

ПРИЛОЖЕНИЕ

Персоналии	747
В очереди за маленьким двойным... (именной указатель)	771
Библиография	782

СУМЕРКИ «САЙГОНА»

Верстка и оформление
Наталья Введенская

Подписано в печать 23.12.2008.

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 49,5. Тираж 500.

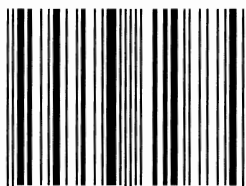
Гарнитура Literatupa. Печать офсетная. Бумага офсетная

Заказ № 2761

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Искусство России».
198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2.

В серии «Творческие объединения Ленинграда» также читайте:
Время и Слово. Литературная студия Дворца пионеров / Сост. и общ. ред.
Ю. М. Валиева. СПб., 2006.

ISBN 978-5-98361-077-4



9 785983 610774



...«Сайгон» был местом, где сконцентрировалась в годы, которые мы называем застойными, ленинградская демократическая культура. Из «Сайгона», на мой взгляд, вышло все самое интересное, что создавалось в те годы в Ленинграде, причем не только в литературе, но и в живописи, в музыке, даже в философии, и в каком-то смысле — в духовных исканиях ленинградской интеллигенции.

Виктор Кривулин

Мне «Сайгон» нравится... беззащитностью. И чистотой. Потому что там все — как бы падшие люди...

Татьяна Горичева

...Мы были в неменяемом состоянии, как правило... и не воспринимали это как культовое место. Довольно неприятный был, к слову сказать, гадюшник. Стоишь-стоишь часами, вышел — покурил — зашел — аскнул на кофе — вышел — целый день стоишь, ждешь чего-то или кого-то, безвыходняк полный, особенно если холодно на улице или дождь.

Умка (Анна Герасимова)

...В каком-то смысле это был балаган и народный театр, где все посетители были актёрами, даже потенциальный зритель через какое-то время превращался в лицедея... Каждый второй был вечный студент, каждый третий — алиментщик, каждый четвёртый — алхимик, каждый пятый был пятым и т. д.

Ильдус Фаррахов